Владимир

НАБОКОВ

В.СИРИНЪ

EXCLUSIVE
AUTHORIZED
EDITION
▪
THE ESTATE
OF VLADIMIR
NABOKOV

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СИМПОЗИУМ»

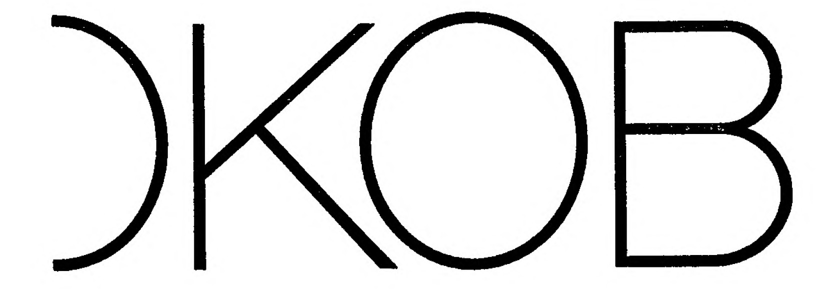
Владимир НАБО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ РУССКОГО ПЕРИОДА В ПЯТИ ТОМАХ

Столетие со дня рождения

1899

1999



Vladimir Nabokov
COLLECTED
RUSSIAN LANGUAGE
WORKS
In Five Volumes

Volume Four

This edition published by arrangement
with the Estate of Vladimir Nabokov

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
(В. Сиринъ)

1935-1937

Приглашение на казнь

Дар

Рассказы

Эссе

Санкт-Петербург
«Симпозиум»
2002

ББК 84 Р
Н14

*Издание осуществлено в рамках соглашения
The Estate of Vladimir Nabokov
и Издательства «Симпозиум»*

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Предисловие
А. А. Долинина

Примечания
*О. Ю. Сконечной, А. А. Долинина,
Ю. Левинга, Г. Б. Глушанок*

Художник
М. Г. Занько

Редактор тома
М. В. Козикова

Издательство выражает признательность Д. В. Набокову, N. Smith, D. Barton Johnson, С. Б. Ильину, Е. Б. Белодубровскому, Е. Б. Шиховцеву, И. С. Зверевой, Г. Б. Глушанок, А. В. Глебовской и С. Р. Федякину за их помощь и содействие в процессе подготовки этого издания.

ISBN 5-89091-083-3 (Т. 4)
ISBN 5-89091-051-5

От Издательства

Этот том собрания сочинений В. В. Набокова-Сирина (1899–1977) русского периода включает в себя романы «Приглашение на казнь» (1935–1936; 1938) и «Дар» (1937–1938; 1952), отражающие многогранность таланта автора — тонкого психолога и виртуоза слова.

В данном томе, продолжая следовать хронологическому принципу, мы располагаем рассказы, позднее объединенные автором в сборники, в порядке их первых публикаций в периодической печати, дабы ознакомить читателя с жанровой и творческой эволюцией В. Набокова.

Приводя тексты в соответствие с современными нормами правописания, мы бережно сохраняем авторскую пунктуацию (в том числе и в способе оформления прямой речи) и некоторые особенности орфографии того времени (в основном это касается заимствованных слов и имен собственных), внося лишь необходимые коррективы. Так, нами намеренно оставлена разница в написании прописных и строчных букв в названиях литературных произведений в романе «Дар».

Во всех возможных случаях тексты сверяются с первыми публикациями, расхождения с последующими изданиями отражаются в примечаниях.

В настоящем собрании впервые в примечаниях детально отражен процесс авторских изменений текста эссе, посвященного памяти А. О. Фондаминской (1937): приводится сравнение автографа, машинописи и окончательной печатной редакции.

Собрание сочинений публикуется по согласованию с The Estate of Vladimir Nabokov, с разрешения сына писателя, Дмитрия Владимировича Набокова.

ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ ПИСАТЕЛЯ СИРИНА: ДВЕ ВЕРШИНЫ – «ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ» И «ДАР»

В письме к Г. П. Струве 25 августа 1933 года Набоков сообщал: «...задумал новый роман, который будет иметь непосредственное отношение — угадайте к кому? — к Чернышевскому! Прочел переписку, «Что делать?» и пр., и пр. и вижу перед собой как живого забавного этого господина. Надеюсь, что это известие Вас несколько позабавит. Книга моя, конечно, ничем не будет смахивать на преснейшие и какие-то, на мой вкус, полуинтеллигентные биографии "романсэ" а-ла Моруа»[1].

Нам остается только гадать, почему Набокова вдруг заинтересовала жизнь автора «Что делать?». Возможно, ему — как и герою «Дара» Федору Годунову-Чердынцеву — случайно попалась на глаза юбилейная статейка «Шахматы в жизни и творчестве Чернышевского» в советском журнале «64» за 1928 год, где были напечатаны фрагменты из студенческого дневника «выдающегося мыслителя-революционера», в которых Николай Гаврилович чудовищным слогом описывал свои комические злоключения с приобретением шахмат: то ему попался неполный комплект, то он не смог как следует пересчитать фигуры и потерял пешку, то купил руководство без двух частей. Весьма правдоподобным представляется и предположение Джона Мальмстада о том, что толчком для Набокова могла оказаться газетная заметка В. Ходасевича «Лопух», в которой тоже цитировались отрывки из недавно опубликованного в СССР дневника Чернышевского — но только не на шахматные, а на любовные темы[2]. В них Ходасевич обнаружил

---

[1] Gleb Struve // Hoover Institution Archives. Box 108, folder 18 (Nabokov, Vladimir).

[2] См.: И. Паперно. Как сделан «Дар» Набокова // В. В. Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей / Антология. СПб., РХГИ, 1997. С. 492–493, прим. 2.

семена того «социалистического лопуха», который, как он заметил, произрастает ныне в советских романах, где «партийные и комсомольские союзы» нередко «заключаются на основе общего служения заветам Ильича, следования директивам партии или предначертаниям заводского комитета». Приведя два примера подобного смешения беспомощной эротики с революционной идеологией у Чернышевского (очень похожих на те, которые Годунов-Чердынцев приведет в своей книге), Ходасевич саркастически заключил: «Этот человек состоял (да и до сих пор состоит для многих) в числе “властителей дум”»[1]. Наконец, Набокову мог попасться на глаза процитированный в известном лефовском сборнике «Литература факта» призыв московского критика Ю. Соболева «написать такие увлекательные романы, как биографии — берем почти наугад — Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, Полежаева. История их жизни стоит выдумки беллетриста. Факты их биографий ярче всякого вымысла»[2]. Похожий совет, кстати, дает Годунову-Чердынцеву в «Даре» однофамилец «великого шестидесятника», предлагающий ему описать жизнь «сущего сподвижника» в форме художественной биографии. Собственно говоря, жизнеописание Чернышевского в «Даре» выполняет «заманчивое» задание, предложенное Соболевым, хотя, конечно, совсем не в том ключе, который имел в виду советский критик.

Как бы то ни было, на протяжении многих месяцев Набоков изучал разнообразные материалы для книги о Чернышевском и параллельно обдумывал общий план огромного романа, куда, по его замыслу, эта книга должна была войти как вставной текст. К весне 1934 года у него складываются общие представления о главном герое будущего «Дара» — авторе биографии Чернышевского — и о его семье. В это время он пишет рассказ «Круг», своего рода эскиз для семейного портрета Годуновых-Чердынцевых, и прежде всего отца Федора — аристократа, знаменитого пренебрежением к опасностям, видного ученого-энтомолога и путешественника по Центральной Азии, чьим именем «названы были новые виды фазана, антилопы, рододендрона и даже целый горный хребет». Впоследствии в «Даре» Набоков изменит целый ряд деталей этого эскиза и отбросит за ненадобностью как повествователя рассказа, так и историю его любви к Тане Годуновой-Чердынцевой, сестре Федора, но сохранит и разовьет центральный для «Круга» образ потерянного семейного рая, к которому будет снова и снова возвращаться главный герой романа в своих воспоминаниях, в своих лирических стихах и мемуарной прозе.

[1] В. Ходасевич. Мелочи // Возрождение. 13 июля 1933.

[2] Н. Чужак. «Писательская памятка» // Литература факта. М., 1929. С. 25.

Прежде чем заняться подробной разработкой основных сюжетных линий «Дара», Набоков хотел закончить вставную «Жизнь Чернышевского», которая по самому своему жанру резко отличалась от всего, что он когда-либо писал. Впервые ему приходилось иметь дело с реальным историческим лицом, с отдаленной и малознакомой эпохой, с обширнейшим документальным материалом, с политической, философской, социальной проблематикой. «Роман, который теперь пишу — после “Отчаяния”, — чудовищно труден, — признался он Ходасевичу в апреле 1934 года, — между прочим, герой мой работает над биографией Чернышевского, а потому мне пришлось прочесть те многочисленные книги, которые об этом господине написаны, — и все это по-своему переварить, и теперь у меня изжога. Он был бездарнее многих, но многих мужественнее... Тома его писаний совершенно, конечно, мертвые теперь, но я выискал там и сям (особенно в двух его романах и мелких вещах, написанных на каторге) удивительно человеческие, жалостливые вещи. Его здорово терзали. 〈...〉 Жена называла его “мой канашенька” и бешено ему изменяла...»[1]

Углубленное изучение биографии Чернышевского и его сочинений дало неожиданный побочный результат: летом 1934 года, прервав работу над четвертой главой «Дара», Набоков очень быстро — по его словам, с «чудным восторгом и неутихающим вдохновением»[2] — пишет роман «Приглашение на казнь», который он впоследствии назвал своей «единственной поэмой в прозе»[3]. В истории главного героя романа — одинокого мечтателя Цинцинната Ц., арестованного и приговоренного к смертной казни за опасную «гносеологическую гнусность», — явно преломились самые «жалостливые» факты из жизни Чернышевского: бесстыдные измены жены, которую, несмотря ни на что, продолжает любить оскорбленный муж; арест, единственной причиной которого является неугодный властям образ мысли «государственного преступника»; заключение в крепости, где совершается превращение узника в писателя, пытающегося перелить в слово (как сказано в «Даре» о «Что делать?») «весь жар его личности»; публичная казнь на площади (в случае Чернышевского, правда, только гражданская) при огромном стечении народа и т. п.

---

[1] Письмо находится в архиве Н. Берберовой, хранящемся в библиотеке Байнеке при Йельском университете.

[2] V. Nabokov. Strong Opinions. N. Y., 1990. P. 68.

[3] From Vladimir Nabokov's letter to Andrew Field. September 29. 1966. Цит. по: B. Boyd. «Welcome to the Block»: *Priglashenie na kazn'/ Invitation to a Beheading*, A Documentary Record // Nabokov's «Invitation to a Beheading». A Critical Companion. Ed. by Julian W. Connolly. Evanston, Il., 1997. P. 172.

Все эти параллели, однако, лишь подчеркивают принципиальные различия между двумя узниками и их «преступлениями». Набоков в «Даре» отдает должное мужественности и стойкости Чернышевского в «борьбе с государственным порядком вещей» — порядком настолько «тлетворным и пошлым», что его противники и разрушители правы по определению. Другое дело, что кроме праведного гнева и образцовой гражданской доблести Чернышевский — вождь, наставник, властитель дум — способен был предложить своим молодым ученикам только вульгарную материалистическую философию, убогую теорию «разумного эгоизма», примитивную утопическую мечту о всеобщем равенстве и благоденствии, ненависть к чистому искусству и прочим бесполезным занятиям, а также «маленькую, мертвую книгу» — кодекс «призрачной этики», на котором воспитывались поколения мучеников догмата. В самом мышлении Чернышевского — схематически-абстрактном, одноплановом, сводящем все сложное и индивидуальное к простым понятиям здравого смысла и общей пользы, — доказывает Набоков, таился «роковой изъян», та «частица гноя», из которой в итоге разовьется (процитируем рассказ «Адмиралтейская Игла») «зеленая жижа ленинских мозгов».

Подобным сознанием, только достигшим предельных, окончательно окостеневших форм, в «Приглашении на казнь» Набоков наделяет не главного героя, а окружающих его людей, счастливых граждан благоденственного государства — обывателей, чиновников, тюремщиков и всенародного кумира с парикмахерским именем м-сье Пьер, ловко отсекающего головы нарушителям общественного покоя. У них, как писал эмигрантский публицист В. Варшавский, «осталась только поверхностная объективированная и социализированная кора сознания: самые элементарные одинаковые у всех впечатления и полученные от общества в готовом виде чувства и понятия, но нет ничего личного, непосредственного, никакой свободы. ⟨...⟩ Все их “бытие” исчерпывается готовыми чувствами, мыслями и поступками, предусмотренными ролью, исполняемой ими в обществе. Впрочем, все эти роли мало между собой отличаются — характеры этих безличных фантомов только разные персонификации одной и той же пошлой житейской мудрости, и они легко заменимы один другими. Так Родион время от времени превращается то в директора тюрьмы, то в адвоката»[1].

В черновой редакции «Приглашения на казнь» Набоков дал двум взаимозаменяемым персонажам, тюремному надзирателю и адвокату, имена Николай и Гавриил, чтобы подчеркнуть гене-

[1] В. С. Варшавский. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 216, 218.

тическую связь мучающей Цинцинната «крашеной сволочи» с гражданской линией, восходящей к Николаю Гавриловичу Чернышевскому. На эту связь прямо указывает и похвальба м-сье Пьера, кичащегося тем, что для него — как для легендарного римского Цинцинната, образца гражданских добродетелей, — «слава, почести — ничто по сравнению с сельской тишиной» и что, подобно генералу Вашингтону, которого боготворил Чернышевский, он не умеет лгать. Когда по дороге на эшафот м-сье Пьер грозит пальцем из экипажа восторженным девицам, бросающим цветы, эта сценка в точности повторяет детали гражданской казни Чернышевского, но с инвертированным значением, ибо правнучки «стриженых дам в черных бурнусах» приветствуют не мученика, а убийцу: в мире оборотней, призраков, запрограммированных кукол, усвоивших все принципы «разумного эгоизма» и утилитарной эстетики, образцовым гражданином неминуемо оказывается палач.

Поскольку действие «Приглашения на казнь» отнесено к отдаленному будущему, роман по ряду внешних признаков примыкает к жанру антиутопии, к книгам-предупреждениям об опасностях тоталитаризма. Однако вопреки конвенциям жанра (известным читателю 1930-х годов прежде всего по классическим образцам — «Мы» Е. Замятина и «Прекрасному новому миру» О. Хаксли) «Новая Россия» в изображении Набокова — это отнюдь не всемогущее, научно организованное государство, которое с помощью технических достижений подавляет индивидуальную свободу. В ней нет ни городов с искусственным климатом и огромными зданиями из стекла и бетона, ни летательных аппаратов, ни инкубаторов, где в колбах выращивают детей, ни хитроумных автоматов, ни сложных систем для наблюдения и пыток — нет ничего «научно-фантастического», кроме каких-то безобидных заводных автомобильчиков и «электрических вагонеток в виде лебедей и лодок» (напоминающих скорее о луна-парке, чем о футурологических кошмарах). Мир, в котором черт догадал родиться Цинцинната Ц., единственного человека с умом и талантом, давно утратил всякую творческую энергию и погрузился в глубокую духовную спячку (недаром место храма в нем занимает мавзолей капитана Сонного). В финале антиутопии Замятина Единое Государство, дабы навсегда искоренить свободолюбие и открыть своим гражданам «путь к стопроцентному счастью», заставляет их подвергнуться хирургической операции: им прижигают некий мозговой узелок, особый центр фантазии, без которой человек превращается в совершенный механизм. У сограждан Цинцинната этот «узелок» полностью атрофирован, и потому они органически неспособны ни создать что-либо новое, ни даже сохранить и употребить в дело технику прошлых веков: в старинном

журнале Цинциннат находит фотографию «умащенной летами правнучки *последнего* изобретателя», на заросшем аэродроме ржавеет последний самолет, служащий «для развлечения калек», а товары «по городским выдачам» развозят дряхлые, страшные лошади. Это выродившаяся, деградировавшая, повернутая вспять цивилизация, которая больше похожа на странный гибрид гоголевского Миргорода, щедринского Глупова и уютного немецкого городка, нежели на обычные утопические или антиутопические пророчества.

Если традиционная антиутопия, усиливая и проецируя в будущее характерные особенности нарождающихся тоталитарных систем, сосредоточивает внимание прежде всего на социально-политическом устройстве «Единого Государства», на механизмах воспитания идеально послушного человека и контроля над ним, то Набокова эти «технические» вопросы занимают крайне мало. Жизнь в его городе будущего, конечно, организована по определенным правилам — людей направляют на работы, «воспитательный совет» следит за общественным порядком, проводятся какие-то собрания и съезды, — но не кажется особенно жестко регламентированной. Цинцинната «приглашает на казнь» не жестокая диктатура, а благодушная полудемократия; в застенке его не пытают, не морят голодом, а разрешают свидания с женой и угощают директорскими харчами. Внешняя «человечность», однако, лишь подчеркивает устрашающую бесчеловечность внутреннюю: в наигранно дружелюбном тоне обывателей-убийц, пытающихся внушить Цинциннату, что его казнят ради его же собственного (и, конечно, всеобщего) блага, в омерзительно пошлом стиле поведения и речи «крашеной сволочи» выявляется ее родство с теми «крашеными» режимами всех цветов — красными, черными, коричневыми, — современником которых оказался Набоков по воле «дуры-истории». Как он писал в письме Э. Уилсону, очарованному ленинским биографическим мифом, именно «это наигранное добродушие, эти глаза с прищуринкой, этот мальчишеский смех» Владимира Ильича и создают особенно невыносимую атмосферу, — «ведро, наполненное млеком человеколюбия, но с дохлой крысой на дне», — которую он использовал в «Приглашении на казнь». «Вас “приглашают” из лучших побуждений, и все пройдет так мило и приятно, если только вы не станете волноваться и капризничать (как говорит палач своему “пациенту”)»[1].

---

[1] The Nabokov—Wilson Letters. Correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson 1940—1971. Ed. by Simon Karlinsky. N.Y. a.o., 1980. P. 33.

Задолго до Ханны Арендт, которой процесс Адольфа Эйхмана открыл глаза на то, что она назвала «банальностью зла» (*banality of evil*), Набоков демифологизировал зло, творимое коммунацистами всех мастей, распознав в нем одуряющий дух (или, в метафорах романа, нестерпимую вонь, которая исходит от палача, как от его тезки в «Мертвых душах») торжествующей пошлости. Объясняя американским студентам значение этого чисто русского понятия, он заметил, что пошлость в ее особо опасной разновидности представляет собой соединение деспотизма с культурной мимикрией: «Пошлятина — это не только откровенно дрянное, но, главным образом, псевдозначительное, псевдокрасивое, псевдоумное, псевдопривлекательное»[1]. Неподлинность, поддельность и есть определяющее свойство общества, уничтожающего Цинцинната, единственного живого, «непрозрачного» человека среди взаимозаменяемых автоматов. Это общество порождает лишь симулякры, бессмысленные подобия истинных социокультурных ценностей, подменяя правосудие издевательским ритуалом, любовь — «красивым и полезным физическим упражнением», дом — мебелью, творчество — грубым фотографическим суррогатом. Здесь не сжигают книги, а разучаются их читать и писать, не запрещают классиков, а делают из них мягкие куклы для школьниц, не взрывают музеи, а тупо пялятся на собранные в них «редкие, прекрасные вещи», не в силах «оторвать глаз от какого-нибудь пикантного торса, — увы, из бронзы или мрамора».

Подчеркивая неподлинность окружающего Цинцинната мира, Набоков на протяжении всего романа отождествляет его с дешевым театральным, кукольным или цирковым представлением, где актеры носят грубо намалеванные маски, парики и накладные бороды, а каждый элемент реальности — даже зловещий паук в углу камеры, «официальный друг заключенных», которого регулярно подкармливает надзиратель Родион, — рано или поздно обнаруживает свою бутафорскую природу. Все изощренные издевательства, которым подвергают «приглашенного на казнь» тюремщики и их предводитель м-сье Пьер, дабы сломить дух Цинцинната и заставить его «признать и раскаяться», уподобляются некоему жуткому шутовскому действу: палач притворяется узником и демонстрирует цирковые трюки, директор Родриг Иванович не только старательно ему подыгрывает, но и время от времени, меняя костюм и грим, перевоплощается в Родиона, его дочь Эммочка, как Саломея, выпрашивающая голову Иоанна Крестителя, танцует, адвокат Роман Виссарионович (не то брат

---

[1] V. Nabokov. Lectures on Russian Literature. Ed. by F. Bowson. N. Y. & L., 1981. P. 313.

Иосифа Виссарионовича, не то сын неистового Виссариона) забавляет публику репризами. Само повествование, как проницательно заметил еще П. Бицилли, включает в себя намеки, благодаря которым «и то, что относится к “действительности”, приобретает характер какой-то бутафорской фикции: “Луну уже убрали, и густые башни крепости сливались с тучами”»[1].

Восприятие мира как театра было вовсе не чуждо Набокову, чья игровая метафизика, как показал В. Александров, имеет ряд точек соприкосновения с идеями Н. Н. Евреинова о театрализованности бытия[2]. В статье «Драматургия» Набоков писал: «Если (а я убежден, что это так) единственным приемлемым дуализмом является непреодолимый разрыв между я и не-я, то тогда можно сказать, что театр представляет собой отличную иллюстрацию этой философской неизбежности. Моя... формула отношений между X — зрителем и Y — драмой на сцене выражается следующим образом: X осознает Y, но не имеет над ним никакой власти; Y ничего не знает о X, но властно над его чувствами, в широком смысле это очень близко к тому, как взаимоотносятся друг с другом мое “я” и мир, который я вижу, и в этом — не только формула существования, но и необходимая условность, без которой не могли бы существовать ни я, ни мир»[3].

Коль скоро, говоря словами Шекспира, мир есть театр, а люди — актеры, то с точки зрения зрителя спектакль и все его компоненты — пьеса, постановка, декорации, актерская игра, освещение — подлежат эстетической оценке. В кульминационной сцене последней главы «Дара» Федор Годунов-Чердынцев, лежа в лесу, наблюдает за тем, как пять «евангелических сестер» (благая весть, которую приносят творцу пять чувств, а читателю — пять глав романа?), напевая милую песенку, рвут цветы, и вдруг понимает: «...ведь все это сценическое действие, — и какое умение во всем, какая бездна грации и мастерства, какой режиссер за соснами, как все рассчитано... Как это поставлено! Сколько труда было положено на эту легкую, быструю сцену, на это проворное прохождение, какие мускулы под этим тяжелым с виду черным сукном, которое после антракта будет сменено на газовые пачки!» Театральное действо, развертывающееся перед героем «Пригла-

[1] П. Бицилли. В. Сирин. «Приглашение на казнь». — Его же. «Соглядатай». Париж, 1938 // Современные записки. 1939. Кн. LXVIII. С. 475.

[2] См.: V. Alexandrov. Nabokov and Evreinov // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. Ed. by V. Alexandrov. N. Y. & L., 1995. P. 402–405.

[3] V. Nabokov. The Man from the USSR and Other Plays. With Two Essays on the Drama. San Diego, N. Y., L., 1984. P. 321.

шения на казнь», поставлено и сыграно, напротив, вопиюще бездарно. Мизансцены не согласуются друг с другом, невидимый «распорядитель» за стенами то и дело делает ошибки, не вовремя выпуская действующих лиц из-за кулис, декорация «кое-как выдумана», праздничная иллюминация «не совсем выходит», костюмы рвутся и пачкаются, маски подбираются наспех, «без любви», коронный номер м-сье Пьера, поднимающего стул зубами, заканчивается тем, что у него выпадает вставная челюсть на шарнирах, актеры торопятся, принимают фальшивые позы, забывают роли, то и дело подглядывая в шпаргалки. Не менее бездарен и «драматург»: реплики и монологи *его* персонажей почти полностью составлены из литературных штампов и стертых формул, больше всего напоминая, как заметил В. Варшавский, казенную советскую беллетристику[1]. Чем ближе спектакль подходит к концу, тем сильнее разваливается вся постановка и тем хуже играют лицедеи, под костюмами которых обнаруживаются не сильные мускулы, а чахлые тела. Абсурдность и эстетическая гнусность всего ритуального действа объясняется тем, что в его основе лежит профанный, враждебный творчеству и потому этически преступный замысел: подавить индивидуальность, закабалить свободный человеческий дух, умертвить его всякое живое воплощение — «разъять, искромсать, изничтожить нагло ускользающую плоть и все то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она собой, все то невозможное, вольное, ослепительное». Если угодно, главным его «автором» является сама смерть, персонифицированная в романе образами женской фигуры в черной шали (аллюзия на «Черную шаль» Пушкина) — сначала Марфиньки в гротескной сцене тюремного визита, затем востроносой старухи, восседающей за чайным столом директора тюрьмы, и, наконец, загадочной женщины в финальном абзаце книги, несущей «на руках маленького палача, как личинку».

То, что герой «Приглашения на казнь» с самого начала осознает дурную театральность своего тюремного заключения, помогает ему сопротивляться всем попыткам палаческой труппы втянуть его в свой пошлый балаган и убедить, что от этого нет спасения. «Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми, — говорит Цинциннат своему адвокату. — Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров — и все то, что сходит у нас за жизнь». Расслышав в монологе своей матери интонацию героинь чеховских пьес, он спешит обвинить ее в том, что она «только пародия... Как этот паук, как эта решетка, как этот бой часов». В этом мнимом, сфабрикованном мире единственной подлинной

---

[1] В. С. Варшавский. Незамеченное поколение. С. 220.

реальностью для Цинцинната остается он сам — его «преступное пламя», «тайная жизнь» его непрозрачной души, его внутреннее «я», которого «не отнимет никто»: «я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец... не знаю, как описать, — но вот что знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь! — как перстень с перлом в кровавом жиру акулы, — о мое верное, мое вечное... и мне довольно этой точки, — собственно, больше ничего не надо». В своих «творческих снах» (которые то и дело вторгаются в повествование, создавая эффект двойного или параллельного видения одних и тех же событий) «истинный», внутренний Цинциннат выходит из-под власти своих тюремщиков, свободно передвигается в пространстве и времени, становится бесплотным, «погружается в трепет другой стихии», и поэтому на иронический вопрос палача, кто же его чаемый спаситель, убежденно отвечает: «Воображение».

Однако само воображение Цинцинната долгое время остается не вполне свободным, слишком скованным «привычными представлениями», чтобы принести ему спасение. Любовь к Марфиньке — одной из кукол в вертепе смерти — заставляет его ностальгически вспоминать о потерянном рае Тамариных Садов, где они когда-то бродили, мечтать о свидании с ней и о возвращении «на знакомые пестрые улицы», в свой дом, «хотя все в этом городе на самом деле было всегда совершенно мертво и ужасно». Вера в «старые, романтические бредни» уводит его фантазию к сюжетам побега из тюрьмы, заимствованным из литературы: ему кажется, что кто-то пробьет тайный ход в его камеру (как в «Графе Монте-Кристо») и что дочь тюремщика Эммочка (как в стихотворении Лермонтова «Соседка» и десятках авантюрных романов) выведет его на волю. За девятнадцать дней, которые проходят в романе между вынесением приговора и казнью, иллюзии героя рушатся одна за другой, свидания с женой оказываются едва ли не самой жуткой профанацией человеческих чувств, добрый сосед — палачом, а тайный ход — очередной жестокой шуткой тюремщиков; вместо того чтобы напоить сторожей, предательница Эммочка приводит Цинцинната пить с ними чай; в Тамариных Садах отцы города устраивают прием по случаю экзекуции, оскверняя «знакомые лужайки... рощи, тропинки, ручьи» праздничной иллюминацией. Воображаемые Цинциннатом маршруты побега, не выходящие за рамки «привычных представлений», всякий раз возвращают его обратно в крепость, и в конце концов он начинает понимать, что спастись он может, только если полностью отвергнет поддельный мир. «Все сошлось, — пишет он в день казни, — то есть все обмануло, — все это театральное, жалкое, — посулы ветреницы, влажный взгляд матери, стук за

стеной, доброхотство соседа, наконец — холмы, подернувшиеся смертельной сыпью... Все обмануло, сойдясь, все. Вот тупик тутошней жизни, — и не в ее тесных пределах надо было искать спасения».

Структура «Приглашения на казнь» с ее характерными для иносказаний оппозициями и образами (тут/там, сон/явь, телесное/духовное, свет/тьма, тюрьма/свобода, мнимое/подлинное, паук/бабочка и т. д.) давно навела исследователей на мысль, что в романе следует видеть не столько фантасмагорическую сатиру, в которой отразилась общественно-политическая ситуация 1920-х—начала 1930-х годов, сколько притчу или аллегорию о жизни и смерти, где, по словам П. Бицилли, место действия — «это мир вообще, как Цинциннат — человек вообще, everyman»[1], и, добавим, казнь — смерть вообще[2]. Как убедительно показал С. Давыдов, в топике романа просматриваются явные параллели к гностическим мифам, согласно которым божественная душа человека (обычно уподобляемая, как и у Набокова, перлу или искре) заточена в смертном теле и ложном материальном космосе, созданных не Богом, а узурпатором-демиургом. Весь мир для гностика подобен темной тюрьме-лабиринту, выстроенной демонами, чтобы не дать душе соединиться с истинным Праотцем — чтобы, пленив ее земными вожделениями и страхом смерти, погрузить в сон и оторвать от вечности. Лишь немногим избранным через откровение дается спасительный «гнозис», тайное знание истинного Бога и путей к нему, которое позволяет душе выйти из-под власти демонов и после смерти возвратиться в Царство Света[3]. Когда Набоков уподобляет тело Цинцинната тюрьме («самое строение его грудной клетки... выражало решетчатую

---

[1] П. Бицилли. Возрождение Аллегории // Современные записки. 1936. Кн. LXI. С. 203.

[2] «Казнь» в метонимическом значении «смерть» часто употребляется в классической поэзии. Среди многочисленных примеров — первая строфа стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...», к которой восходит заглавие романа «Дар». Можно сказать, что «Дар» и «Приглашение на казнь» последовательно отвечают на два поставленных в этой строфе риторических вопроса: первый роман — на «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана?», а второй — на «Иль зачем судьбою тайной / Ты на казнь обречена?».

[3] См.: С. Давыдов. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. München, 1982. С.100—140; его же. «Гносеологическая гнусность» Владимира Набокова: Метафизика и поэтика в романе «Приглашение на казнь» // В. В. Набоков. Pro et contra. С. 476—490; S. Davydov. Invitation to a Beheading // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. P. 188—203.

сущность его среды, его темницы») и теми же метафорами описывает весь теснящий его «страшный, полосатый мир», когда он постоянно подчеркивает двойственную сущность своего героя, в котором словно бы соприсутствует иное, «главное», постороннее материально-телесному космосу и микрокосму, соприродное свету и воздуху «я», обладающее уникальным тайным знанием («Я кое-что знаю, я кое-что знаю», — повторяет Цинциннат), то в этом, безусловно, есть прямые (и, видимо, намеренные) переклички с гностическим дуализмом и его символикой.

Значение гностических мотивов в «Приглашении на казнь», впрочем, не следует особенно преувеличивать. Возражая С. Давыдову, В. Александров справедливо заметил, что сама набоковская концепция двоемирия имеет мало общего с гностицизмом и скорее сближается с различными «неоплатоническими» представлениями[1]. Потусторонность, которую предощущает Цинциннат, — это отнюдь не гностическое Царство Света, антитеза сотворенному демиургом материальному космосу, а совершенный, лишенный зла и уродства, одухотворенный прообраз «тутошнего мира», продолжение жизни, достигающей божественной полноты, когда сознание, сохраняя память и чувственное восприятие, подчиняет себе пространство и время, вырывается из тюрьмы земного бытия и преодолевает смерть:

Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд, там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем 〈...〉 *Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик...*

Соответственно, и в «тутошнем мире», согласно Набокову, не следует видеть гностическое замкнутое Царство Тьмы, внеположное и постороннее истинному Богу, или всеобъемлющий абсурд, через который человеку, несмотря на все его попытки, никогда не удается пробиться к Верховному Судие или хозяину Замка, как у Кафки[2]. Испакощенный человеческой тупостью и злобой,

[1] V. Alexandrov. Nabokov's Otherwold. Princeton, New Jersey, 1991. P. 88.

[2] В предисловии к английскому переводу «Приглашения на казнь» Набоков раздраженно заметил: «Озадаченные, но благосклонные рецензенты из эмигрантов усмотрели в романе “кафкианскую” струю, не подозревая, что я совершенно не владею немецким,

ввергнутый в кошмар истории, от которого, по словам Джойса, хотелось бы проснуться, он в конечном счете представляет собой скрытую эстетическую теодицию, отражение идеального замысла благого Творца, неявно манифестирующего себя своим избранникам.

Тайными манифестациями авторского промысла, обращенными к избраннику-Цинциннату (и, конечно, к внимательному читателю), пронизано все повествование в романе. Прежде всего к ним относятся как бы случайные, смещенные, вырванные из контекста чужие слова — гномические надписи на стене Цинциннатовой камеры, которые тюремщики не успевают вовремя

о современной немецкой литературе не имею ни малейшего представления, а французских или английских переводов Кафки тогда еще не читал. Несомненно, у "Приглашения на казнь" есть кое-какие стилевые связи, скажем, с моими прежними рассказами... но ничто не связывает его с "Le Chateau" [*фр.* «Замком»] или с "The Trial" [*англ.* «Процессом»]» (В. Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. М., 1989. С. 406. Перевод Г. А. Левинтона). Хотя в «Приглашении на казнь» действительно нет никаких следов влияния Кафки, а фундаментальные различия между двумя писателями самоочевидны (см. интересное рассуждение на этот счет в кн.: М. Шульман. Набоков, писатель. Манифест. М., 1998. С. 50–52), само заявление Набокова требует некоторых уточнений. Во-первых, ни в одной рецензии на «Приглашение на казнь» в эмигрантской печати Кафка не упоминался, и лишь Г. Струве в газетной статье «О В. Сирине» заметил: «...недавно я слышал мнение, что в последних своих вещах Сирин многим обязан Францу Кафке, рано погибшему немецко-еврейскому писателю, стяжавшему некоторую посмертную славу во Франции» (Русский в Англии. 15 мая 1936). Если верить не вполне достоверным мемуарам В. Яновского, именно он высказал это мнение в разговоре с Набоковым (В. С. Яновский. Поля Елисейские. Нью-Йорк, 1983. С. 249), а, по воспоминаниям самого Набокова, о том, читал ли он «Процесс», его спрашивал Г. Адамович в 1936 г. Во-вторых, читать Кафку (или о Кафке) Набоков все-таки мог, поскольку, вопреки его уверениям, он знал немецкий язык вполне неплохо и, как явствует из его прозы и переписки, внимательно следил за литературной модой в Германии, а также во Франции (где Кафку начали переводить и обсуждать с 1928 г.). В то же время нужно отметить, что кочующие из работы в работу утверждения, что о Кафке еще в начале 1930-х гг. много писали в эмигрантской критике, не соответствуют действительности. Об этом свидетельствует статья В. Вейдле «Механизация бессознательного», опубликованная в одном номере «Современных записок» со второй частью «Приглашения на казнь», где Кафка был представлен как доселе неизвестный, новооткрытый писатель (см.: Современные записки. 1935. Кн. LIX. С. 467–469).

замазать, невзначай брошенная реплика какого-то незнакомца, воображенного героем: «А ведь он ошибается», цитаты из стихов Пушкина, Лермонтова, Тютчева, всплывающие в его памяти. В тот же ряд входят и трижды упомянутые в романе книги на непонятном языке, опять-таки случайно принесенные Цинциннату, и их «узористый набор» (ср. образ «узорчатого ковра» в мечтах героя о потусторонности), напоминающий «надписи на музейных кинжалах»[1], — метафора универсума как текста, который нельзя прочесть, но в котором можно предположить связный смысл. Сам повествователь романа время от времени вступает в контакт с «главным Цинциннатом», — предостерегает его, поощряет, подсказывает ему слова, — и эти отцовские наставления отзываются в писаниях героя. Более того, творец романного мира исподволь вмешивается в течение спектакля, разыгрываемого куклами по заданной им «тутошней» программе, и путает им карты (буквальное значение этого выражения реализовано в сцене, когда у м-сье Пьера не выходит карточный фокус), так что сквозь сбои и прорехи в жестоком социально-историческом фарсе начинает просвечивать узор божественной комедии. Помимо своей воли персонажи иногда выходят из роли и вдруг начинают говорить не на своем языке, передавая Цинциннату секретные послания невидимого Творца. Так, псевдоитальянская фраза «Mali è trano t'amesti», которую дважды пропевает брат Марфиньки, — это, безусловно, некое зашифрованное сообщение, скорее всего, анаграмма, остроумно декодированная Г. Барабтарло как «Смерть мила; это тайна»[2]. Нарушает сценарий тюремщиков и мать Цинцинната, Цецилия Ц., в глазах которой герой внезапно замечает нечто «настоящее, несомненное (в этом мире, где все было под

---

[1] Образ, как кажется, контаминирует два классических подтекста: «Поэт» Лермонтова, в котором повешенный на стену восточный кинжал, чьи надписи больше «никто с усердьем не читает», сравнивается с поэтическим словом, утратившим свое предназначение и власть, и «Что в имени тебе моем...» Пушкина, где поэт предсказывает, что его имя «Оставит мертвый след, подобный / Узору надписи надгробной / На непонятном языке».

[2] См.: G. Barabtarlo. Aerial View: Essays on Nabokov's Art and Metaphisics. N. Y., San Francisco, Bern et al., 1993. P. 193—197; Г. Барабтарло. Очерк особенностей устройства двигателя в «Приглашении на казнь» // В. В. Набоков: Pro et contra. С. 450. Мне представляются более близкими к поэтике Набокова такие возможные (хотя и не более обязательные) расшифровки, которые включали бы в себя слова из центрального для романа фонетико-семантического ряда «там/том/мать/тема/мета», а также его писательскую роспись «Сирин», например: «Там — тема; тело — я, Сирин», «Там тэло [*др.-греч.*: конечная цель] — тема Сирина» и т. п.

сомнением), словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка».

Ту же, важнейшую для его миропонимания, метафору Набоков дважды использует в тех эпизодах «Дара», когда душе Федора ниспосылается откровение: в первый раз через любовь, когда, стоя рядом с Зиной, он вдруг чувствует «странность жизни, странность ее волшебства, будто на миг она завернулась и он увидел ее необыкновенную подкладку»; а во второй — через помышление о смерти, когда жизнь, наоборот, представляется ему «изнанкой великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее лицевой стороне». «Текстильная» метафора имеет и двойное дно, поскольку подразумевает отождествление «ткани» (*лат.* textum) жизни с литературным текстом. Тем самым трансцендентальная точка зрения на мир — точка зрения «с другой стороны» земного бытия, которая дает возможность полностью увидеть весь его «великолепный узор» (или, иными словами, прочитать его искусно построенный текст), — уподобляется целостному авторскому видению своего творения. Для сознания, находящегося внутри этого мира (на его изнаночной стороне), это видение достижимо лишь частично, только в редкие моменты, которые дают любовь и творческое воображение, но такие озарения намекают на существование невидимого Творца (для персонажа текста — его автора) и вселяют надежду на то, что физическая смерть есть лишь переход на высшую ступень познания, откуда открывается «лицевая сторона» ткани.

Благую весть о существовании Творца-автора и приносит Цинциннату его мать, когда рассказывает ему о странной игрушке — особом, хитро устроенном зеркале, к которому прилагалась коллекция абсолютно нелепых предметов, «неток»:

> *...всякие такие бесформенные, пестрые, — в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые штуки, вроде каких-то ископаемых, — но зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу, то есть когда вы такой непонятный и уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно; нет на нет давало да, все восстанавливалось, все было хорошо* (...) *Ах, я помню, как было весело и немного жутко — вдруг ничего не получится! — брать в руку вот такую новую непонятную нетку и приближать к зеркалу, и видеть в нем, как твоя рука совершенно разлагается, но зато как бессмысленная нетка складывается в прелестную картину, ясную, ясную...*

Эта притча, не понятая героем, точно описывает позицию подразумеваемого автора «Приглашения на казнь» по отношению к изображенному в романе уродливому миру. Для него, словно

для волшебного преображающего зеркала (которое противопоставлено в романе фотоаппарату или кинокамере как символам миметического лжеискусства), все персонажи романа, за исключением Цинцинната, есть лишь «нетки», грубые штуки, «ископаемые» мировой пошлости, из которых он создает ясную, осмысленную картину; страшные с внутренней точки зрения, они смешны и ничтожны с точки зрения творца, пользующегося ими как необходимым антуражем в драме воспитания и спасения единственного героя романа. Ключом к такому прочтению притчи служит сцена разоблачения — как в прямом, так и в переносном смысле — «кукол» адвоката и директора, когда они предстают перед Цинциннатом в своем истинном виде, «без всякого грима, без подбивки и без париков, со слезящимися глазами, с проглядывающим сквозь откровенную рвань чахлым телом»: у них одинаковые головки в шишках и пятнах, что точно соответствует атрибутам «неток».

В самом общем виде сюжет «Приглашения на казнь» сводится к борьбе «двух Цинциннатов», или, иными словами, двух точек зрения на мир — внутренней и внешней, имманентной и трансцендентной. Один Цинциннат, маленький, слабый, беспомощный, видит в «тутошнем» мире единственную реальность и потому отчаянно боится его потерять — боится смерти. Другой Цинциннат знает, что «тупое “тут”... темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас» есть лишь коллекция «неток», отраженных в невидимом зеркале творца, и готовится к казни как к освобождению своего вечно-сущего «Я» (или, на вербальном уровне, «Аз», спрятанного в слове «кАЗнь»), как к переходу на «лицевую сторону» бытия. В этой борьбе постепенно берет верх «главный Цинциннат», на что в предфинальной сцене романа указывает появление огромной бабочки (традиционный символ бессмертной души, освобожденной из кокона плоти) с узорчатыми крыльями, которая ускользает от убийцы-паука. Родион, принесший бабочку-ночницу в камеру, полагает пленницу мертвой, но она внезапно пробуждается ото сна, и ее «воскрешение» наводит на тюремщика жуткий страх. Снявшись с письменного стола, бабочка вдруг пропадает, словно бы сливаясь с воздухом, и становится невидимой и неуязвимой для преследователей, хотя Цинциннат «отлично видел, куда она села». Подобно Годунову-Чердынцеву в Груневальдском лесу, герой романа прозревает в этом мистериальном действе волю и мысль невидимого режиссера и потому, написав на последнем листе свое последнее слово «смерть», немедленно вычеркивает его. За это ему дается возможность не только снова увидеть бабочку-вестницу и восхититься ее «вечно отверстыми очами» (явный отголосок пушкинского «Пророка») и «совершенной симметрией всех расходящихся

черт», но и *прикоснуться* к «неприкосновенным крыльям» — то есть приобщиться к тайне иного мира, в который ему предстоит перейти.

В черновике «Приглашения на казнь» Набоков попытался прямо связать прикосновение к бабочке с окончательным прозрением героя, предварив появление палача и тюремщиков следующим абзацем:

Да, наконец и я, кажется, знаю [зачеркнуто: что дальше], — проговорил он вслух. — Как это можно так просто... Как же я раньше не сообразил? Да, да, конечно... Как просто!

Затем писатель вычеркнул этот абзац, решив, очевидно, что полное прозрение Цинцинната должно избавить его от страха смерти еще до казни, из-за чего драматизм финальной сцены романа будет ослаблен. В печатной редакции герой до последнего вздоха продолжает бороться «со своим захлебывающимся, рвущим, ничего знать не желающим страхом», хотя и понимает, «что этот страх втягивает его как раз в ту ложную логику вещей... из которой ему еще в то утро удалось как будто выбраться». Однако еще по дороге на эшафот «внутренний Цинциннат» начинает разрушать окружающий его мир, который постепенно, по мере роста его тайного знания, теряет свою существенность, превращаясь в медленно разваливающуюся театральную декорацию. Окончательную же победу над бредовым миром и, следовательно, над смертью он одерживает в самый последний момент земной жизни, лежа на плахе, под занесенным топором палача:

...один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета — и с не испытанной доселе ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнившей веселием все его естество, — подумал: «Зачем я тут? Отчего так лежу?» — и, задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся.

Обсуждая эту сцену, критики обычно задаются вопросом — казнен или не казнен Цинциннат? — и, в зависимости от интерпретации романа, отстаивают один из трех возможных вариантов ответа: да, казнен; нет, не казнен; или, как писал еще Ходасевич, и «не казнен и не не-казнен». Само описание декапитации дается у Набокова глазами «привставшего Цинцинната» и включает в себя намеренно противоречивые подробности. С одной стороны, он видит «еще вращавшегося» — и, значит, еще не успевшего нанести удар — палача, а с другой — блюющего библиотекаря, явно реагирующего на кровавое зрелище. Это противоречие, однако, может быть снято, если учесть, что Набоков резко

противопоставляет здесь двух Цинциннатов, прощаясь с *ненужной* более, исчезающей из нашего поля зрения, смертной его ипостасью и наделяя духовного Цинцинната абсолютной полнотой сознания, которая дает ему способность воспринимать разделенные во времени события как синхронные. Важно, что с подобной точки зрения сама смерть оказывается «вычеркнутой», «пропущенной», призрачной, ибо определяется только через ожидание (вращающийся палач) и эмоциональную реакцию на нее (блюющий библиотекарь). В этом смысле можно сказать, что казнь «первого» Цинцинната происходит, но оказывается мнимой, как весь балаган неподлинной жизни, а казнь «главного» бессмертного Цинцинната, невозможная по определению, оборачивается казнью пошлого мира, на которую его, как и читателей романа, пригласил невидимый творец. Простой вопрос и подъем героя восстанавливают истинное соотношение «ноуменов» и обманных «феноменов»: люди-куклы во много раз уменьшаются в размерах и в страхе разбегаются, а «винтовой вихрь» — часто встречающийся у Набокова атрибут божества, его «пневма» — разносит в клочья весь бутафорский космос, «пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши»[1].

Прячась под маской французского мудреца Делаланда, которому приписан эпиграф «Приглашения на казнь», Набоков писал в «Даре»: «Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующей раскрыться нам по распаде тела, это — освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии». Финал романа,

---

[1] В литературе о «Приглашении на казнь» его концовку нередко сравнивают с финалом «Алисы в Стране чудес» Кэрролла, в котором сказочный сон героини завершается несостоявшейся казнью, изменением масштабов, разрушением карточного мира и пробуждением. Ср. соответствующее место в переводе Набокова: «— Отрубить ей голову, — взревела Королева. ⟨...⟩ — Кто вас боится? — сказала Аня. (Она достигла уже обычного своего роста.) — Ведь все вы — только колода карт. — И внезапно карты взвились и посыпались на нее...» В последней фразе романа тоже можно заметить перекличку с фразой, которой заканчивается основное действие сказки Кэрролла: «И Аня встала и побежала к дому, еще вся трепещущая от сознанья виденных чудес» (т. 1 наст. изд. С. 431–432). Другая возможная параллель — финал «Балаганчика» Блока, где «даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге» и лопается, «декорации взвиваются и улетают вверх», люди-маски «бросаются в ужасе в разные стороны» и «разбегаются», а Пьеро остается один на пустой сцене.

как кажется, драматизирует эту метафизическую апофегму, но с одной оговоркой: поскольку мир, в котором доселе существовал Цинциннат, неподлинен, освобожденный дух отказывает ему в своем «внутреннем участии» и тем самым обрекает на распад и уничтожение. Победив смерть, герой «Приглашения на казнь» без сожалений покидает рухнувший город, с которым его больше ничего не связывает, и переходит в некое другое измерение, направляясь, как пишет Набоков в заключительной фразе романа, «в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

Провоцирующе неопределенная формула, завершающая «Приглашение на казнь», оставляет неясным, какими «существами» населена невидимая, но «сущая» потусторонность, предназначенная герою за пределами текста. Чтобы понять, кому именно Набоков уподобляет Цинцинната, нужно прежде всего обратить внимание на единственный признак, определяющий подобие. Голос здесь, как кажется, означает поэтическое слово, бессмертный звук поэтической речи — то, что у Пушкина названо «животворящим гласом», «вольным гласом цевницы», «голосом лиры вдохновенной», «сладким голосом вдохновенья» и т. п. Когда Цинциннат пытается вызнать у матери, кто был его загадочный отец, она, неожиданно переходя на трехсложные стихотворные размеры, отвечает двумя многозначительными фразами: «Только голос, — лица не видала ⟨...⟩ Он тоже, как вы, Цинциннат». Если вспомнить, что мать героя носит имя святой Цецилии, почитаемой в романтической литературе как покровительница гармонии, то его родословная приобретает черты универсального мифа о рождении поэзии как соединении слова и музыки. Зачатый от «животворящего гласа», набоковский Цинциннат подобен своему прародителю потому, что ему тоже дарован голос, его собственное, уникальное поэтическое мышление.

«Что такое поэт? — спрашивал Блок в предсмертной речи о Пушкине. — Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Он называется поэтом не потому, что он пишет стихами; но он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он — сын гармонии, поэт»[1]. Не написавший ни одной стихотворной строчки, но «преступным чутьем» догадывающийся о том, «как складываются слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень», Цинциннат является поэтом в блоковском смысле — он один из «сыновей гармонии», ощущающий тайную связь с «родимой областью» и желающий выразить ее — «всей мировой немоте назло». Он осознает в себе «силу, которая

[1] А. Блок. Собрание сочинений в 8 т. Т. 6. М.—Л., 1962. С. 161.

нудит высказаться», им движет желание «что-нибудь запечатлеть, оставить», он берется за карандаш без всякой надежды быть прочитанным и понятым, но только чтобы воплотить свое «невозможное, вольное, ослепительное» видение мира.

В письме авторам театральной инсценировки «Приглашения на казнь», написанном по просьбе мужа, В. Е. Набокова объясняла его замысел: «В Цинциннате Ц. нужно видеть поэта, творца. Это характеризует его мышление, его отношение к жизни, к его согражданам и, конечно, к жене. Мой муж полагает, что в пьесу следует включить образцы того, как он мыслит или пишет»[1]. Те шесть фрагментов писаний Цинцинната, включенные Набоковым в роман, — его драгоценные листы, которые он умоляет сохранить, — и есть единственно возможное земное спасение для его внутреннего «Я», обретающего в творчестве «тайную свободу», оправдание и доказательство его подлинности. Не случайно, конечно, мерой жизни Цинцинната в «Приглашении на казнь» является длина его карандаша, а сам он неоднократно отождествляется с листами (ср., например: «Это был *мерный*... стук, и Цинциннат, у которого сразу затрепетали все *листики*, почуял в нем приглашение): только складывая слова на бумаге, он становится сущим; только в них, как писал еще Гораций, остается его лучшая часть, и он умирает не весь.

Поставленный в ситуацию *последнего* русского поэта, явившегося в одряхлевший мир, где, по его словам, «давно забыто древнее врожденное искусство писать» (то есть в ситуацию «Последнего поэта» Баратынского), Цинциннат пробует свой голос в полном вакууме, без всякой надежды быть услышанным современниками. Его заставляет писать только ощущение, что «сила, которая нудит [его] высказаться» — не от мира и века сего, и он обращается не к «прозрачным друг для друга» мертвым душам, а к самой своей «родимой области» — к самому бессмертному поэтическому языку, который получает в его набросках новое воплощение. Сочинения Цинцинната продолжают традицию русской лирики, как бы переводя ее на язык прозы, и потому в них то и дело «оживают» голоса «древних» предшественников-прародителей — Жуковского, Баратынского, Кюхельбекера, Тютчева, Лермонтова (недаром героя ведут на его собственную тризну «кремнистыми тропами»), Блока и, конечно же, Пушкина, чья кровь (пользуясь знаменитой метафорой из «Дара») бежит, согласно Набокову, в жилах каждого истинного русского поэта.

---

[1] Цит. по: B. Boyd. «Welcome to the Block». P. 166. В одном из интервью Набоков также назвал Цинцинната поэтом (V. Nabokov. Strong Opinions. P. 76).

Уже латинское имя Цинциннат, означающее «курчавый, кудрявый», отсылает к Пушкину, которого по давней традиции принято именовать курчавым (или кудрявым) поэтом. Некоторые важные мотивы романа соотнесены с обстоятельствами жизни и смерти Пушкина; в том, что пишет, думает и говорит Цинциннат, обнаруживается целый ряд цитат и реминисценций из «Евгения Онегина», «Андрея Шенье», «Пророка», «Странника», отрывка «Альфонс садится на коня...» и других пушкинских произведений[1]. Разумеется, речь здесь не идет о том, что герой «Приглашения на казнь» равен Пушкину или собственному создателю. Цинциннат сам скромно сравнивает себя с Ленским («пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт»), словно бы отдавая себе отчет в том, что он тоже лишь персонаж, придумка богоподобного автора романа, который отнимет у него жизнь, но сохранит его листы. Однако в пределах романного мира герой принадлежит к пушкинской поэтической традиции — он, если угодно, есть тот «хоть один пиит», живой «в подлунном мире», последний хранитель «заветной лиры», в ком голос Пушкина, как сказано в «Памятнике», переживает его прах. В «Последнем поэте» Баратынского герой — подобно Цинциннату, «нежданный сын последних сил природы», отвергнутый человечеством, окончательно утратившим творческий дух, — бросается в море, а мир после его смерти продолжает сиять «хладной роскошью». Финалом «Приглашения на казнь» Набоков переворачивает это мрачное пророчество. Когда его последнему пииту отрубают голову, гибнет не поэзия, а «подлунный мир», потерявший единственный смысл своего существования, и голос Цинцинната присоединяется к голосам других замученных и убиенных поэтов, которые звучат вечно. Если же мы прочитаем финал «Приглашения на казнь», пользуясь металитературным кодом, как завершение игры автора со своим героем, то и в этом случае Цинцинната ожидает завидная участь: с завершением романа он вступает в Элизий тех немногочисленных набоковских персонажей, которым дарован собственный поэтический голос, или, иначе говоря, направляется в сторону «Дара», где прежде всего и появляются «существа, подобные ему».

В «Приглашении на казнь» можно видеть своего рода поэтический конденсат «Дара», а котором те же темы и приемы развиваются с иной мерой условности и сложности, в формах, обновляющих, по словам Федора, «классический роман, с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами» и заменяющих фантастические

---

[1] Подробнее об этом см. мою статью «Пушкинские подтексты в романе Набокова “Приглашение на казнь”» (Пушкин и культура русской эмиграции. М., 2000, в печати).

допущения реалистическими мотивировками. В центре повествования здесь опять становление творческого голоса героя-писателя, понятого как его «главное, второе “я”» («кто-то внутри него, за него, помимо него»), но теперь это не мгновенный взлет, а постепенная эволюция, протекающая в жизнеподобной обстановке русского Берлина и растянутая на три года. Смягченным аналогом тюремного заключения выступает в «Даре» эмиграция, вынужденная изоляция от родной страны: роль тюремщиков-кукол выполняет пошлая среда — немецкая, эмигрантская, литературная; смерть не грозит герою топором, но переживается им как личная утрата (отца, возлюбленной, друга) и осмысляется как важнейшая философская проблема. Подобно Цинциннату, Федор Годунов-Чердынцев воссоздает в памяти образ своих Тамариных Садов — идиллического предреволюционного имения Лешино, пытается разгадать тайну своего отца, грезит о «там», «вожделеет бессмертия — хотя бы его земной тени» и надеется остаться жить в своих книгах.

Как и в «Приглашении на казнь», Набоков включает в «Дар» образцы того, что пишет герой, но в значительно большем количестве и объеме. Вставные тексты, сочиненные (или сочиняемые) Федором, составляют более трети романа. Они не только относятся к разным жанрам — от частного письма и лирических стихотворений до мемуара, документально-художественного жизнеописания и философских афоризмов, но и представляют все стадии творческого процесса: стихи, складывающиеся в сознании, но еще не записанные, набросок, незавершенная рукопись, черновик, опубликованная книга и даже, в случае новеллы о самоубийстве Яши Чернышевского, виртуальный рассказ, не имеющий «реального» статуса в биографии героя. Многим из этих текстов в романе предшествует история их создания, когда мы становимся свидетелями первоначального зарождения творческого замысла и писательской работы с материалом. Кроме того, Набоков часто показывает, как тот или иной вставной текст воспринимается читателями, критиками и, a posteriori, самим Федором. Пятую главу «Дара», например, открывают несколько рецензий на книгу Федора о Чернышевском, которая затем еще раз обсуждается в воображаемом разговоре самого автора с его идеальным собеседником и читателем, поэтом Кончеевым. Если к этому добавить вложенные в роман пародии на символистскую драму (фрагмент из пьесы Буша в первой главе), на ранние стихи Георгия Иванова (патриотическое четверостишие во второй главе), на Андрея Белого («капустный гекзаметр» в третьей главе) и ультрасовременную «монтажную» прозу (фрагмент Ширина в пятой главе), а также множество литературных цитат и культурно-исторических аллюзий, становится очевидным, что мозаичная композиция

«Дара» строится как микрокосм культуры, как ее отражение в «подвижном зеркале» индивидуального творческого сознания.

Прихотливой многосоставности романа соответствует его прихотливая, чрезвычайно сложная повествовательная структура. Рассказ в «Даре» попеременно ведется от третьего и от первого лица, причем точка зрения и ее пространственно-временные координаты часто и неожиданно изменяются, иногда даже в пределах одной фразы. Повествователь может дистанцироваться от изображаемого времени, чтобы тут же погрузиться в него; воспоминания, сны или воображаемые события подаются как непосредственно переживаемая реальность, а то, что представляется нам непосредственным опытом героя, вдруг оказывается его позднейшим художественным пересозданием. Планы повествования переплетаются, теряют определенность; объективное описание сливается с внутренним монологом, авторский голос — с чужим словом, проза — с поэзией, вымышленное — с действительным.

Великолепно проанализировав основные приемы этой поэтики «просачивании и смешений», Ю. И. Левин пришел к выводу, что «Дар» — это «образец синтетической прозы», где «мир предстает перед нами в потоке комплексного и неиерархического “восприятия—воображения—воспоминания—осмысления” главного героя романа, который подобен дирижеру, исполняющему многоголосую партитуру[1]. С этим определением можно согласиться, но с одной оговоркой. Синтетизм здесь, как мне кажется, не следует понимать как полифонию в духе Бахтина, подразумевающую равноправие голосов, ибо за ним стоит единое, вполне авторитарное — скорее не дирижерское, а композиторское — творческое сознание, которое разрушает установленные иерархии только для того, чтобы утвердить иерархию собственную[2]. В этом смысле «Дар» представляет собой монологический, даже «учительский» роман, и недаром тема обучения и даже поучения занимает в нем столь важное место. Незрячие менторы-идеологи (близорукий Н. Г. Чернышевский для XIX века, критик Мортус, страдающий «неизлечимой болезнью глаз», — для современности) своими «пискливыми голосками», в которые с отвращением вслушивается Федор Годунов-Чердынцев, могут научить только дурному. Они навязывают многообразию жизни мертвые схемы «общих мыслей», и потому их верные ученики становятся убийцами

---

[1] См.: Ю. И. Левин. Об особенностях повествовательной структуры и образного строя романа В. Набокова «Дар» // Russian Literature. IX—II. Special Issue: The Russian Avant-Garde IV. 1981. С. 191—229.

[2] Об антиполифонизме «Дара» см. важные соображения П. Тамми: Pekka Tammi. Problems of Nabokov's' Poetics. A Narratological Analysis. Helsinki, 1985. P. 97—101.

(Софья Перовская, Ленин) или самоубийцами (Яша Чернышевский). Столь же пагубными в эстетике оказываются коллективные уроки школ или направлений, подавляющие индивидуальность. Так, зрелый Федор называет поэзию русского Серебряного века, которой он восхищался в юности, «уродливой и вредоносной школой», ибо она провоцировала его на подражание. И наоборот, герой «Дара» с благодарностью вспоминает «сладость уроков», преподанных ему отцом, ибо он учил сына наблюдать, тренировал его внимание, показывал ему необычное в природе и делился своими собственными уникальными открытиями — то есть помогал ему развить зоркость сугубо индивидуального зрения и оценить «невероятное художественное остроумие мира», словно бы созданного для «умных глаз человека». Такие же уроки — но в области литературы — Федор берет у Пушкина, чей голос, как сказано в романе, «сливался с голосом отца». Задумывая свое первое прозаическое произведение, он вслушивается в «подсказки пушкинской прозы», учась у нее «меткости слов и предельной чистоте их сочетания»; он вчитывается в Пушкина, не для того, чтобы ему подражать, а чтобы развить свой собственный, особый дар, настроив его по пушкинскому камертону.

Всякий истинный художник, считал Набоков, суверенен, так как обладает индивидуальным зрением и языком, которые не подлежат тиражированию («...не мне учить вас, — говорит Федор талантливому и умному поэту Кончееву, — черному очарованию каменных прогулок»). Однако в своей исходной позиции по отношению к миру все «суверены», «цари» и «одинокие короли» подобны и образуют некую транснациональную и трансисторическую семью, которая не зависит «ни от каких дубовых дружб, ослиных симпатий, “веяний века”, ни от каких духовных организаций или сообществ поэтов, где дюжина крепко сплоченных бездарностей общими усилиями “горит”». Их объединяет, говоря словами Кончеева о его заочной дружбе с Годуновым-Чердынцевым, «довольно божественная связь» — родство творческих установок, которые сформулированы в третьей главе «Дара» как главные уроки креативности.

Размышляя о том, чему он — «один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может, даже миллиона людей» — на самом деле мог бы «хорошо учить» желающих, Федор выделяет три основополагающих свойства творческого сознания. Во-первых, это «многопланность мышления», или способность чувственно воспринимать объект («хрустально ясно» его видеть) и одновременно воссоздавать в воображении и памяти (которая, по определению Набокова, есть лишь одна из форм воображения) ассоциирующиеся с ним образы. Во-вторых, это любовно-сострадательное отношение к милому «сору жизни» и установка на сохранение прехо-

дящего в искусстве как своего рода алхимической трансмутации, перегонке случайного и незначимого в нечто «драгоценное и вечное»[1]. В-третьих, это «постоянное чувство» таинственного иного мира, Цинциннатова «там», дающего о себе знать «в виде снов, слез счастья, далеких гор». Если художник руководствуется этими уроками, он преодолевает давление среды, истории, «общей мысли» и получает возможность свободно творить в любых условиях — будь то изгнание, как у Федора, или даже тюрьма, как у Цинцинната, — и из любого материала, поставляемого личным опытом и культурой. «Дар», по-видимому, и был задуман Набоковым как дефинитивный учебник творческого поведения, адресованный русской зарубежной литературе, как весомая реплика в ожесточенном споре о ней, о ее смысле и возможностях, который эмигрантские писатели и критики вели на протяжении многих лет.

В «Даре» нетрудно заметить полемические отклики на целый спектр мнений о судьбе эмигрантской литературы, высказывавшихся в печати, — на утверждения М. Слонима о ее творческом бессилии и конце, на всеобщие сомнения по поводу того, может ли русский писатель существовать вне родины[2], на сетования Г. Адамовича об отсутствии у зарубежной литературы «пафоса общности» и ее неспособности наладить «разговор с Россией»[3], на обращенный к молодым писателям призыв Ф. Степуна выйти из одиночества в «общее дело» эмиграции, в «общность духовного служения», и осознать ответственность за свою эпоху и свой народ[4], на мрачный прогноз В. Ходасевича, предсказавшего гибель «младшей литературе» из-за отсутствия читателей, издательств и материальной поддержки[5]. Оторванный от России, потерявший дом, отца, возлюбленную, разлученный с близкими, живущий в «безвоздушном пространстве» ненавистного ему Берлина, нищий и неустроенный, — то есть в полной мере испытавший все те моральные и физические страдания молодого изгнанника,

---

[1] О происхождении алхимической метафоры см.: А. Долинин. Плата за проезд. Беглые заметки о генезисе некоторых литературных оценок Набокова // Набоковский вестник. Вып. 1. СПб., 1998. С. 14.

[2] См. об этом: Г. Струве. Русская литература в изгнании. Изд. 3-е. Париж—М., 1996. С. 140–141.

[3] Г. Адамович. О литературе в эмиграции // Современные записки. 1932. Кн. L. С. 327–329.

[4] Ф. Степун. Пореволюционное сознание и задача эмигрантской литературы // Новый град. 1935. № 10. С. 12–28.

[5] См. его знаменитую статью «Литература в изгнании» (1933): В. Ходасевич. Колеблемый треножник. Избранное. М., 1991. С. 466–472.

о которых писал В. Ходасевич, — Федор Годунов-Чердынцев продолжает благодарно радоваться «удивительной поэзии» мира как материалу для творческой алхимии и ищет «создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе».

При такой позиции всякая потеря в бытовом, биографическом и — шире — экзистенциальном плане дает стимул для ее преодоления в плане творческом и потому в конечном счете хотя бы отчасти компенсируется неким приобретением. Не без оглядки на «Капитанскую дочку» Набоков строит сюжет романа на теме неожиданного вознаграждения или, словами Годунова-Чердынцева, «тайного возмещения» за утраты и неудачи. Основное действие «Дара» начинается с того, что герой претерпевает подряд несколько досадных неприятностей, каждая из которых щедро возмещается «даровой» наградой для его творческого сознания. У табачника не находится нужных папирос, но зато оказывается почти гоголевский «крапчатый жилет с перламутровыми пуговицами», дающий пищу воображению; неуклюжая первоапрельская шутка Александра Яковлевича Чернышевского, обманувшего Федора известием о выходе хвалебной рецензии на сборник его стихотворений, побуждает героя воскресить в памяти как собственные стихи, так и то, что в них оказалось недовоплощенным; наконец, неудачный день завершается тем, что Годунов-Чердынцев, забывший ключи от новой квартиры, не может попасть домой, но колебание фонарей на пустой улице вдруг дает толчок его душе, и «главный и, в сущности, единственно важный Федор Константинович», забыв обо всем, сочиняет стихотворение с изъявлением благодарности за «злую даль» изгнания. Такой же механизм лежит в основе и всех важнейших, поворотных событий в личной и творческой судьбе Федора: потеря временного жилья приводит его к встрече с Зиной, его идеальной возлюбленной—читательницей—Музой, и к посвященным ей новым стихам; разочарование в советском шахматном журнальчике, напрасно купленном в долг, — к замыслу книги о Чернышевском; а кража одежды и ключей в финале романа предвещает новый ответный дар — и «Дар», главную книгу, которую задумывает написать герой.

Бытовые потери, возмещаемые нежданными подарками судьбы, выступают в романе как сниженные метафоры тех мучительных утрат, которые причиняют Федору неослабевающую боль, — гибели горячо любимого отца и гибели горячо любимой России. Его личное отчаяние, однако, отнюдь не ищет себе облегчения в том, что Набоков назвал «густо населенной областью душевных излияний». Напротив, оно побуждает его искать для утраченного новые перевоплощения, которые сохраняли бы верность его духу. В незавершенной книге об отце он не только в подробностях

воссоздает дорогой для него образ, но и доказывает, что в нем самом жив бессмертный родительский творческий ген. Вспоминая Константина Кирилловича и его уроки, читая его труды, пытаясь увидеть мир его глазами и осмыслить тайну его личности, он как бы становится отцовской реинкарнацией и тем самым «возмещает» физическую смерть. За это Федор получает бесценное вознаграждение из потусторонности в виде «чудного сна», когда ему является воскресший — «невредимый, целый, человечески настоящий отец» — и говорит, что он «доволен, доволен, — охотой, возвращением, книгой сына о нем».

Подобная реинкарнация родительского творческого духа, согласно Набокову, есть «единственный способ» сохранения русской культуры в условиях изгнания. Передразнивая Чернышевского и отвечая на основной вопрос эмигрантской литературы, Годунов-Чердынцев размышляет: «И “что делать” теперь? Не следует ли раз навсегда отказаться от тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды? Когда-нибудь, оторвавшись от писания, я посмотрю в окно и увижу русскую осень». Россия, о которой он говорит, существует в его богатейшей памяти, в книгах, прочитанных и по-своему усвоенных им, в самом складе его творческой личности, и потому она (как и его отец) «всегда с ним», более реальная, чем недоступное географическое пространство. Если старший Годунов-Чердынцев бесстрашно путешествовал по Центральной Азии и описывал ее в научных трудах, обогащая русскую науку, то его сын столь же бесстрашно путешествует по своей воображаемой, только ему принадлежащей России, исследует ее культурную память, пишет о ней стихи и прозу и тем самым обогащает русскую литературу. В этом смысле потеря родины для него оказывается ее приобретением, а «злая даль» изгнания — доброй, потому что, в формулировке Федора, одиночество поднимает температуру творческого горения, создавая чудный контраст «между моим внутренним обыкновением и страшно холодным миром вокруг». Замещая и возмещая все утраты в свободном творчестве, герой «Дара» с благодарностью принимает жизнь и свою личную судьбу, видя в них обещание грядущего бессмертия.

Стоическому оптимизму Федора (разделяемому всеми его «кровными» родственниками — отцом, Пушкиным, поэтом Кончеевым) Набоков резко противопоставляет несколько разновидностей враждебного творчеству миропонимания, имея в виду целый комплекс идей, влиятельных в эмигрантской критике и философии, а также их конкретных выразителей. Главной мишенью он избрал позицию группы парижских писателей и поэтов

во главе с Г. Адамовичем, так называемых монпарнасцев, которые в начале 1930-х годов составляли ядро журнала «Числа». В основе этой позиции лежал тезис о том, что современный мир и современный человек переживают острейший духовный кризис, искусство — и, шире, культура в обычном понимании этого термина — «становится недостаточным и нужным». Долг всякого чуткого к смыслу эпохи художника в ситуации распада — бороться с «эстетикой» и культурой, не стремиться к гармонии, а разрушать ее, не сочинять «хорошие стихи», а в отчаянии говорить о «самом главном», то есть о гибели мира, Бога и человека. Из этого, помимо прочего, вытекает и переоценка русской литературной традиции. Прежде всего развенчивается Пушкин, как чуждый эпохе «гармонический художник», не ведавший «мировых бездн», а на щит поднимаются «певцы отчаяния», начиная с Лермонтова и кончая авторами современных «человеческих документов».

Программные положения «монпарнасцев» Набоков язвительно пародирует в двух вставных текстах — рецензиях на книги Кончеева и Годунова-Чердынцева, написанных прославленным критиком Мортусом (псевдоним, прямо отсылающий к центральной для «Чисел» теме смерти), в котором современники сразу узнали сатирический портрет Г. Адамовича[1]. Их жизненной проекцией служит в «Даре» история молодого поэта Яши Чернышевского, выбирающего, в отличие от Федора, «общий путь» по рецептам «Чисел», который приводит его к смерти: он пишет искренние, но банальные и безграмотные «человеческие документы», бредит Шпенглером, пророчащим закат Европы, придумывает себе умозрительную гомосексуальную страсть к немецкому «буршу», явно навеянную чтением Вейнингера и Зинаиды Гиппиус, и, наконец, убивает себя, подражая знаменитым поэтам-самоубийцам[2].

---

[1] Подробнее о полемике Набокова с «Числами» и Адамовичем см.: A. Dolinin. The Gift // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. P. 142–144; А. Долинин. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // В. В. Набоков: Pro et contra. С. 710–721.

[2] Хотя история самоубийства Яши Чернышевского основана на реальном эпизоде, зафиксированном в газетной хронике русского Берлина, в ней, как представляется, содержится намек на гибель Бориса Поплавского, талантливого поэта и одного из главных идеологов «Чисел», и его приятеля, которые умерли от передозировки героина. По слухам, их смерть явилась намеренным коллективным самоубийством. В статье «О смерти Поплавского» В. Ходасевич писал об «ужасной внутренней неслучайности этого несчастья», связав его с тем, «что ложно и гибельно в умонастроениях Монпарнаса» (Борис Поплавский в оценках и воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 142–143).

Если для «иного мыслящего пошляка, беллетриста в роговых очках — домашнего врача Европы и сейсмографа социальных потрясений» (за которым просматривается несколько вполне реальных прототипов) смерть Яши — это «симптом века», типичное проявление духовного кризиса, в котором пребывает молодежь послевоенной эпохи, то для Набокова она знаменует прежде всего несостоятельность и бессилие индивидуального творческого духа, одурманенного модными, но ложными идеями. В современных жалобах на эпоху и в атаках на суверенность искусства, от которого требуют, как изъясняется Мортус, «ценностей, необходимых душе», он видит лишь новые формы старой, как мир, «гносеологической гнусности», вечного «м-сье Пьера», всегда апеллирующего к истории и утверждающего, что «одним "искусством", одной "лирой" сыт не будешь».

Истоки этого мировоззрения Федор Годунов-Чердынцев исследует в своей книге о Чернышевском, которую он называет «упражнением в стрельбе». Если вспомнить, что его отец, как и реальные русские путешественники, Пржевальский и Козлов, «на стоянках упражнялся в стрельбе», чтобы напугать туземцев и избавиться от их приставаний, то смысл «оружейной» метафоры становится совершенно прозрачен. Цель Федора — вовсе не «убить» Чернышевского, а доказать собственную творческую силу и тем самым защитить искусство, оградить его от демонов историзма и утилитаризма, позволить ему двигаться в «неисследованные области». В одной из рецензий на биографию Чернышевского строгий историк Анучин обвиняет Годунова-Чердынцева в том, что «у него совершенно не чувствуется сознание той *классификации времени*, без коей история превращается в произвольное вращение пестрых пятен, в какую-то импрессионистическую картину с фигурой пешехода вверх ногами на не существующем в природе зеленом небе». Если очистить это замечание от критического пафоса, то оно, как кажется, довольно точно определяет замысел книги. Согласно Набокову, само понятие эпохи есть ложное обобщение, ибо «рулетка истории не знает законов» и подчиняется только случаю. Определенной закономерностью обладает лишь личная судьба, но она имеет метаисторический, эстетический характер и постижима поэтому лишь для зоркого взгляда художника, читающего чужую и свою собственную судьбу как полустертый текст на полупонятном языке. При обращении к историческому материалу художник разрушает иллюзию исторической закономерности и заменяет ее реальностью личной судьбы; его объект тем самым получает то, что можно назвать вторичной художественностью, и осмысляется поверх раздробленного исторического контекста под знаком вечности.

Именно такой опыт и ставит Годунов-Чердынцев над жизнью Н. Г. Чернышевского, апологета социально-исторических теорий и утилитарной эстетики, прадедушки современных Мортусов. Он использует множество документальных источников и обращается с ними весьма аккуратно, ничего не выдумывая, а лишь в некоторых случаях заполняя лакуны, оставленные мемуаристами, художественно значимыми деталями — дает имена анонимам, окрашивает предметы, реконструирует незафиксированные высказывания, драматизирует описание[1]. По обращению с материалом, по стратегии отбора и группировки книга Федора принципиально отличается как от документальных, так и от романизированных биографий обычного типа, исходящих из критериев исторической значимости. В отличие от Тынянова, он не «начинает там, где кончается документ», смешивая факты с исторически правдоподобным домыслом, а вычитывает из фактов связный «вымысел» судьбы. К документальному материалу Федор подходит как к «сору жизни», подлежащему алхимической трансмутации, и извлекает из него художественно значимые элементы: повторяющиеся ситуации, складывающиеся в тематические ряды, смысловые переклички между внешне не связанными событиями, подробности, которые могут быть метафоризированы (например, близорукость Чернышевского), и т. п. В результате этих операций из-под напластований исторических определений (вождь, мыслитель, борец, общественный деятель) высвобождается гротескный, почти гоголевский характер честного и смелого, но недалекого и нелепого человека, чья трагикомическая несчастная жизнь — это цепь ошибок, разочарований, измен, потерь и лишений. По контрасту с судьбой самого Федора и его отца, судьба Чернышевского не дает ему никаких возмещений за утраты, а, напротив, словно бы наказывает его за гносеологическую и эстетическую гнусность. Лишенный творческого дара, слепой к красоте и тайне бытия, он обречен оставаться в порочном круге своего незоркого, ущербного сознания, и сама кольцевая композиция книги Федора реализует эту ключевую метафору, осуждая Чернышевского на вечную муку по закону не исторической, а поэтической справедливости.

Завершенной биографии Чернышевского в структуре «Дара» противостоит биография Константина Кирилловича Годунова-Чердынцева, которую Федор оставляет недописанной. Если личная судьба «незрячего» общественного деятеля и автора «мертвых» книжонок легко поддается художественной реконструкции

[1] О приемах художественной обработки документального материала в «Даре» см.: И. Паперно. Как сделан «Дар» Набокова // В. В. Набоков: Pro et contra. С. 491–513.

с точки зрения вечности, то судьба «зоркого» творца требует иного подхода, ибо в ней всегда остается некая тайна, ведомая только ему самому. Смысл такой судьбы выявляется не во внешних обстоятельствах биографии, а в деяниях творческой личности — в том, чем ей удалось себя выразить. Не случайно рассказ Федора об отце незаметно соскальзывает в монтаж цитат из книг русских путешественников — Пржевальского, Грум-Гржимайло, Козлова, Роборовского, Певцова, которые он присваивает себе. Самодостаточное и самоцельное творчество другого подлежит усвоению, впитыванию, «цитированию», но не вторичной художественной перегонке — оно вытесняет собственно биографию, делает ее ненужной и, по определению, незавершимой, поскольку завершить ее могло бы только «цитирование» всех без исключения чужих— родных текстов (в том числе и незаписанных), что в принципе невозможно. Именно это, как кажется, Федор имеет в виду, когда пытается объяснить матери, почему он прекратил работу над книгой об отце:

Знаешь, когда я читаю его или Грума книги, слушаю их упоительный ритм, изучаю расположение слов, не заменимых ничем и не переместимых никак, мне кажется кощунственным взять да и разбавить все собой. Хочешь, я тебе признаюсь: ведь я-то сам лишь искатель словесных приключений, — и прости меня, если я отказываюсь травить мою мечту там, где на свою охоту ходил отец. Видишь ли, я понял невозможность дать произрасти образам его странствий, не заразив их вторичной поэзией, все более удаляющейся от той, которую заложил в них живой опыт восприимчивых, знающих и целомудренных натуралистов.

Уважение к суверенному творчеству отца (как в прямом, так и в переносном смысле), любовь к нему не позволяют сыну заключить его судьбу в замкнутый круг жизнеописания, как он это делает с Чернышевским, поскольку она навсегда остается незавершенной. Выписки, фрагменты, комментарии на полях, пристальное чтение — вот, согласно Набокову, единственно допустимый биографический метод по отношению к отцовскому наследию[1].

В 1931 году критик В. Вейдле, которого при известных допущениях можно считать единомышленником Набокова, писал: «Мы чувствуем, что биография художника, поэта по-настоящему

---

[1] Поскольку отец Годунова-Чердынцева отождествляется в «Даре» с Пушкиным, то в набоковской трактовке биографии можно увидеть завуалированный отклик на роман Тынянова «Пушкин» и отдельные главы из оставшейся незаконченной книги Ходасевича о Пушкине, печатавшиеся в газете «Возрождение» в 1932–1933 гг.

будет написана только тогда, когда биограф сумеет в нее вместить не одну лишь действительность его жизни, но и порожденный этой жизнью вымысел, не только реальность существования, но и реальности воображения. Истинной биографией творческого человека будет та, что и самую жизнь покажет как творчество, и в творчестве увидит преображенную жизнь. Для подлинного биографа не может быть "Пушкина в жизни" и другого Пушкина — в стихах; для него есть только один Пушкин, настоящая жизнь которого — именно та, что могла воплотиться в стихах, изойти в поэзии». Труднейшая и фактически никем еще не разрешенная задача биографа, полагает Вейдле, — «найти формулу совместного выражения жизни и творчества»[1]. Именно такую магическую формулу и находит Набоков в «Даре» — но только не для реального — и неприкосновенного — художника, а для художника вымышленного. По сути дела, роман представляет собой модель идеальной творческой биографии молодого писателя, где в деталях прослеживается закономерное становление его неслучайного и ненапрасного дара — путь от поэзии к прозе, который повторяет парадигму, канонизированную Пушкиным, Ходасевичем и самим Набоковым; последовательное усвоение «отцовской» литературной традиции, от Пушкина и Гоголя до русского модернизма, и построение собственной генеалогии; рост зрячести и контроля над словом. Вне постоянного творчества жизнь Федора не имеет смысла, и потому даже объяснение в любви он заменяет рассказом о новом замысле. Все, что происходит с ним в «реальности», в конечном счете оказывается либо подсказкой судьбы, внешним толчком, стимулирующим его творческое воображение, либо материалом для преображения, который рано или поздно находит свое место и применение в его творческой биографии.

В финале романа, испытав момент трансцендентальной эпифании, когда его «я» — «то, которое писало книги, любило слова, цвета, игру мысли, Россию, шоколад, Зину, — растворилось в лучах света, пронизывающих весь космос, Федор начинает как бы заново перечитывать роман собственной жизни и распознает в ней хитроумную художественную телеологию, соприродную его дару. Ретроспективно возвращаясь к событиям, которые раньше казались ему случайными, несвязанными и незначимыми, он интерпретирует их как усложняющиеся и все более остроумные попытки судьбы свести его с Зиной и планирует в будущем построить на этой теме «замечательный» автобиографический роман, окружив ее «чащей жизни — моей жизни, с моими писательскими страстями, заботами». Это описание точно соответствует

[1] В. Вейдле. Об искусстве биографа // Современные записки. 1931. Кн. XLV. С. 492, 494.

построению почти дочитанного нами к этому моменту текста и парадоксально меняет его статус: то, что прежде казалось читателю книгой о Федоре, теперь воспринимается как будущая книга Федора, как реализованный в некоем гипотетическом будущем ее замысел. При повторном чтении роман тогда приобретает черты метафикции, или рассказа о самом себе и своем создании, где многие «реалистические» подробности могут быть поняты и как самообращенные метафоры (например, Груневальдский лес есть в то же время «чаща жизни», о которой говорит Федор); он одновременно пишется на наших глазах и уже написан; его герой — одновременно персонаж и автор текста; его конец — одновременно его начало. Омри и Ирэна Ронен сравнили такую структуру романа с так называемой лентой Мёбиуса, где внешняя поверхность переходит во внутреннюю и можно перемещаться, не прерывая движения, с лицевой стороны кольца на изнаночную и обратно: подобно этому, Федор-персонаж, достигнув конца книги о нем, как бы проскальзывает на лицевую сторону вымышленной реальности и становится ее автором[1].

Полное отождествление Дара с задуманным романом Федора, однако, оказывается невозможным, если учитывать принцип творческого преображения реальности, которым руководствуется герой. Как он сам объясняет Зине, в его замысел входит не правдивая «автобиография, с массовыми казнями добрых знакомых», а вымысел, использующий «линию судьбы» как структурную модель: «Я это все так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну... таких своих специй добавлю, что от автобиографии останется только пыль, конечно, из которой делается самое оранжевое небо». Иными словами, по отношению к будущей книге Федора реальность его жизни выступает как материал, подлежащий полному преображению; если же сам текст романа считать результатом этого преображения, то тогда мы не имеем ключей к биографическому материалу, лежащему в его основе, и не знаем реального лица истинного автора книги, для которого Федор Годунов-Чердынцев есть лишь повествовательная маска (подобно вымышленным писателям — мемуаристу Сухощекову и биографу Страннолюбскому — в сочинениях самого героя).

При ближайшем рассмотрении в тексте «Дара» обнаруживается немало указаний на присутствие в нем Неизвестного Автора, имперсонатора судьбы Федора и сочинителя его жизни и книг, который, конечно же, не равен Набокову, но, в свою очередь,

[1] Irena and Omry Ronen. «Diabolically evocative»: An Inquiry into the Meaning of a Metaphor // Slavica Hierosolymitana. Slavic Studies of the Hebrew Unversity. Vol. V–VI. Jerusalem, 1981. P. 378. См. также: С. Давыдов. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. С. 196–199.

является его художественным образом, так сказать, автопроекцией набоковского творческого сознания, или, условно говоря, писателем Сириным. Как убедительно показал П. Тамми, Годунов-Чердынцев, несмотря на свою зоркость, в целом ряде эпизодов демонстрирует неполный контроль над воспринимаемой реальностью. Хотя задним числом он и распознает общий абрис рисунка своей судьбы, целый ряд важнейших нюансов остается им не замеченным и не понятым (самый яркий, но отнюдь не единственный пример — финальная шутка с отсутствующими ключами, перекликающаяся с эпизодом в первой главе романа)[1]. В нескольких случаях повествователь романа неожиданно использует местоимение «мы», антецедентами которого могут быть только автор и его герой, как в первой главе «Евгения Онегина». Даже книги Федора содержат улики, разоблачающие их фиктивную природу. В «Жизнеописании Чернышевского» эту роль играют цитаты из публикаций тридцатых годов, которые никак не могли быть известны Годунову-Чердынцеву, а в отрывке о путешествиях отца — сам его состав, так как буквально для каждой его фразы устанавливается конкретный источник, что подрывает «реальность» книг и путешествий Константина Кирилловича, за которыми якобы следует Федор. Есть в романе и обычные для Набокова сиринские факсимиле, и отсылки к его предшествующим романам (заметим, что Годунов-Чердынцев состоит членом того же литературного общества, к которому ранее принадлежали Подтягин, Лужин-старший и Зиланов — персонажи соответственно «Машеньки», «Защиты Лужина» и «Подвига»), и очередной двойник скрытого автора — писатель Владимиров. Кажется, что тот неизвестный вор, который украл у Федора обувь, одежду и ключи, оставив благодарственную записку, и тот Неизвестный, которого Федор хочет благодарить за дар жизни и сло́ва, — это одно и то же лицо: автор как бы отбирает у персонажа его личину, а вместе с ней и временно дарованные ему ключи от романа его, Федора, жизни, заставляя писать роман собственный[2].

В последнем абзаце «Дара», написанном хотя и в строчку, но стихами — четырехстопным ямбом и онегинской строфой — доселе скрытое авторское «я» впервые открыто заявляет о себе, по-пушкински прощаясь с законченным романом и приглашая на праздник его перечитывания и переосмысления. Связывая открытый финал своего романа с открытым финалом «Евгения Онегина», Набоков, как кажется, хотел подчеркнуть, что отношение

---

[1] Pekka Tammi. Problems of Nabokov's Poetics. P. 91–92.

[2] О теме ключей в «Даре» см.: D. Barton Johnson. Worlds in Regression: Some Novels of Bladimir Nabokov. Ann Arbor, Michigan, 1985. P. 93–107.

автора и героя в «Даре» построены как развитие и усложнение поэтической модели, разработанной в романе Пушкина. Если у Пушкина его главный герой имеет определенные автобиографические черты, но начисто лишен авторского поэтического дара, то у Набокова Федор, наоборот, имеет поэтический дар, соприродный авторскому, но почти полностью лишен автобиографических черт. Когда Набоков в предисловии к английскому переводу «Дара» объяснял читателям, что он — «не Федор Годунов-Чердынцев и никогда им не был», то его надо понимать именно в этом смысле. Действительно, Федор не похож на Набокова, но «главный Годунов-Чердынцев», как и «главный Цинциннат», похожи на Сирина, ибо искусно придуманы им как существа, подобные ему и всем их общим отцам в русской литературе, за которыми он признавал дар свободного творческого духа.

Обратимся к романам.

А. Долинин

В. СИРИНЪ

ПРИГЛАШЕНІЕ НА КАЗНЬ

РОМАНЪ

...ИГИ - ПАРИЖЪ

В. СИРИНЪ

ПРИГЛАШЕНІЕ НА КАЗНЬ

РОМАНЪ

ДОМЪ КНИГИ · ПАРИЖЪ

Приглашение
на
казнь
РОМАН
1935 — 1936; 1938

Comme un fou se croit Dieu nous nous croyons mortels.

Delalande
Discours sur les ombres[1]

I

Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. Засим Цинцинната отвезли обратно в крепость. Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножья и уходила под ворота: змея в расселину. Был спокоен: однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался, как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг усомнившийся: да можно ли? Тюремщик Родион долго отпирал дверь Цинциннатовой камеры, — не тот ключ, — всегдашняя возня. Дверь наконец уступила. Там, на койке, уже ждал адвокат, — сидел, погруженный по плечи в раздумье, без фрака (забытого на венском стуле в зале суда, — был жаркий, насквозь синий день), и нетерпеливо вскочил, когда ввели узника. Но Цинциннату было не до разговоров. Пускай одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь. Все равно, — он заявил, что хочет остаться один, и, поклонившись, все вышли.

Итак — подбираемся к концу. Правая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакомого чтенья, легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная

---

[1] Как безумец полагает, что он Бог, так мы полагаем, что мы смертны. *Делаланд. Рассуждение о тенях (фр.).*

толщина), вдруг, ни с того ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтенья — и... ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, ссохшись вокруг кости (самая же последняя непременно — тверденькая, недоспелая). Ужасно! Цинциннат снял шелковую безрукавку, надел халат и, притоптывая, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, длинный как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста. Цинциннат написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь этот финал я предчувствовал этот финал». Родион, стоя за дверью, с суровым шкиперским вниманием глядел в глазок. Цинциннат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное и начал тихо тушевать, причем получился зачаточный орнамент, который постепенно разросся и свернулся в бараний рог. Ужасно! Родион смотрел в голубой глазок на поднимавшийся и падавший горизонт. Кому становилось тошно? Цинциннату. Вышибло пот, все потемнело, он чувствовал коренек каждого волоска. Пробили часы — четыре или пять раз, и казематный отгул их, перегул и загулок вели себя подобающим образом. Работая лапами, спустился на нитке паук с потолка — официальный друг заключенных. Но никто в стену не стучал, так как Цинциннат был пока что единственным арестантом (на такую громадную крепость!).

Спустя некоторое время тюремщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Цинциннат согласился. Они закружились. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе, от него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы (не те годы, увы, опух, одышка). Их вынесло в коридор. Цинциннат был гораздо меньше своего кавалера. Цинциннат был легок как лист. Ветер вальса пушил светлые концы его длинных, но жидких усов, а большие, прозрачные глаза косили, как у всех пугливых танцоров. Да, он был очень

мал для взрослого мужчины. Марфинька говаривала, что его башмаки ей жмут. У сгиба коридора стоял другой стражник, без имени, под ружьем, в песьей маске с марлевой пастью. Описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока.

Опять с банальной унылостью пробили часы. Время шло в арифметической прогрессии: восемь. Уродливое окошко оказалось доступным закату; сбоку по стене пролег пламенистый параллелограмм. Камера наполнилась доверху маслом сумерек, содержавших необыкновенные пигменты. Так, спрашивается: что это справа от двери — картина ли кисти крутого колориста или другое окно, расписное, каких уже не бывает? (На самом деле это висел пергаментный лист с подробными, в две колонны, «правилами для заключенных»; загнувшийся угол, красные заглавные буквы, заставки, древний герб города — а именно: доменная печь с крыльями — и давали нужный материал вечернему отблеску.) Мебель в камере была представлена столом, стулом, койкой. Уже давно принесенный обед (харчи смертникам полагались директорские) стыл на цинковом подносе. Стемнело совсем. Вдруг разлился золотой, крепко настоянный электрический свет.

Цинциннат спустил ноги с койки. В голове, от затылка к виску, по диагонали, покатился кегельный шар, замер и поехал обратно. Между тем дверь отворилась и вошел директор тюрьмы.

Он был, как всегда, в сюртуке, держался отменно прямо, выпятив грудь, одну руку засунув за борт, а другую заложив за спину. Идеальный парик, черный как смоль, с восковым пробором, гладко облегал череп. Его без любви выбранное лицо, с жирными желтыми щеками и несколько устарелой системой морщин, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами. Ровно передвигая ноги в столбчатых панталонах, он прошагал между стеной и столом, почти дошел до койки, — но, несмотря на свою сановитую плотность, преспокойно исчез, растворившись в воздухе. Через минуту, однако, дверь отворилась снова, со знакомым на этот раз скрежетанием, — и, как всегда в сюртуке, выпятив грудь, вошел он же.

— Узнав из достоверного источника, что нонче решилась ваша судьба, — начал он сдобным басом, — я почел своим долгом, сударь мой...

Цинциннат сказал:

— Любезность. Вы. Очень. — (Это еще нужно расставить.)

— Вы очень любезны, — сказал, прочистив горло, какой-то добавочный Цинциннат.

— Помилуйте, — воскликнул директор, не замечая бестактности слова. — Помилуйте! Долг. Я всегда. А вот почему, смею спросить, вы не притронулись к пище?

Директор снял крышку и поднес к своему чуткому носу миску с застывшим рагу. Двумя пальцами взял картофелину и стал мощно жевать, уже выбирая бровью что-то на другом блюде.

— Не знаю, какие еще вам нужны кушанья, — проговорил он недовольно и, треща манжетами, сел за стол, чтобы удобнее было есть пудинг-кабинет.

Цинциннат сказал:

— Я хотел бы все-таки знать, долго ли теперь.

— Превосходный сабайон! Вы хотели бы все-таки знать, долго ли теперь. К сожалению, я сам не знаю. Меня извещают всегда в последний момент, я много раз жаловался, могу вам показать всю эту переписку, если вас интересует.

— Так что может быть в ближайшее утро? — спросил Цинциннат.

— Если вас интересует, — сказал директор. — Да, просто очень вкусно и сытно, вот что я вам доложу. А теперь, pour la digestion[1], позвольте предложить вам папиросу. Не бойтесь, это в крайнем случае только предпоследняя, — добавил он находчиво.

— Я спрашиваю, — сказал Цинциннат, — я спрашиваю не из любопытства. Правда, трусы всегда любопытны. Но уверяю вас... Пускай не справляюсь с ознобом и так далее, — это ничего. Всадник не отвечает за дрожь коня. Я хочу знать когда — вот почему: смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Меня же оставляют в том неведении,

[1] Для пищеварения *(фр.)*.

которое могут выносить только живущие на воле. И еще: в голове у меня множество начатых и в разное время прерванных работ... Заниматься ими я просто не стану, если срок до казни все равно недостаточен для их стройного завершения. Вот почему.

— Ах, пожалуйста, не надо бормотать, — нервно сказал директор. — Это, во-первых, против правил, а во-вторых — говорю вам русским языком и повторяю: не знаю. Все, что могу вам сообщить, это что со дня на день ожидается приезд вашего суженого, — а он, когда приедет, да отдохнет, да свыкнется с обстановкой, еще должен будет испытать инструмент, если, однако, не привезет своего, что весьма и весьма вероятно. Табачок-то не крепковат?

— Нет, — ответил Цинциннат, рассеянно посмотрев на свою папиросу. — Но только мне кажется, что по закону — ну не вы, так управляющий городом обязан...

— Потолковали, и будет, — сказал директор, — я, собственно, здесь не для выслушивания жалоб, а для того... — Он, мигая, полез в один карман, в другой; наконец из-за пазухи вытащил линованный листок, явно вырванный из школьной тетради.

— Пепельницы тут нет, — заметил он, поводя папиросой, — что ж, давайте утопим в остатке этого соуса... Так-с. Свет, пожалуй, чуточку режет. Может быть, если... Ну да уж ничего, сойдет.

Он развернул листок и, не надевая роговых очков, а только держа их перед глазами, отчетливо начал читать:

«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры...» Я думаю, нам лучше встать, — озабоченно прервал он самого себя и поднялся со стула.

Цинциннат встал тоже.

«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры направлены на тебя, и судьи твои ликуют, и ты готовишься к тем непроизвольным телодвижениям, которые непосредственно следуют за отсечением головы, я обращаюсь к тебе с напутственным словом. Мне выпало на долю, — и этого я не забуду никогда, — обставить твое житье в темнице всеми теми многочисленными удобствами, которые дозволяет закон. Посему я счастлив буду уделить всевозможное

внимание всякому изъявлению твоей благодарности, но желательно в письменной форме и на одной стороне листа».

— Вот, — сказал директор, складывая очки. — Это все. Я вас больше не удерживаю. Известите, если что понадобится.

Он сел к столу и начал быстро писать, тем показывая, что аудиенция кончена. Цинциннат вышел.

В коридоре на стене дремала тень Родиона, сгорбившись на теневом табурете, — и лишь мельком, с краю, вспыхнуло несколько рыжих волосков. Далее, у загиба стены, другой стражник, сняв свою форменную маску, утирал рукавом лицо. Цинциннат начал спускаться по лестнице. Каменные ступени были склизки и узки, с неосязаемой спиралью призрачных перил. Дойдя донизу, он пошел опять коридорами. Дверь с надписью на зеркальный выворот: «Канцелярия» — была отпахнута; луна сверкала на чернильнице, а какая-то под столом мусорная корзинка неистово шеберстила и клокотала: должно быть, в нее свалилась мышь. Миновав еще много дверей, Цинциннат споткнулся, подпрыгнул и очутился в небольшом дворе, полном разных частей разобранной луны. Пароль в эту ночь был: молчание, — и солдат у ворот отозвался молчанием на молчание Цинцинната, пропуская его, и у всех прочих ворот было то же. Оставив за собой туманную громаду крепости, он заскользил вниз по крутому, росистому дерну, попал на пепельную тропу между скал, пересек дважды, трижды извивы главной дороги, которая, наконец стряхнув последнюю тень крепости, полилась прямее, вольнее, — и по узорному мосту через высохшую речку Цинциннат вошел в город. Поднявшись на изволок и повернув налево по Садовой, он пронесся вдоль седых цветущих кустов. Где-то мелькнуло освещенное окно; за какой-то оградой собака громыхнула цепью, но не залаяла. Ветерок делал все, что мог, чтобы освежить беглецу голую шею. Изредка наплыв благоухания говорил о близости Тамариных Садов. Как он знал эти сады! Там, когда Марфинька была невестой и боялась лягушек, майских жуков... Там, где, бывало, когда все становилось невтерпеж и можно было одному, с кашей во рту из разжеванной сирени, со слезами...

Зеленое, муравчатое Там, тамошние холмы, томление прудов, тамтатам далекого оркестра... Он повернул по Матюхинской мимо развалин древней фабрики, гордости города, мимо шепчущих лип, мимо празднично настроенных белых дач телеграфных служащих, вечно справляющих чьи-нибудь именины, и вышел на Телеграфную. Оттуда шла в гору узкая улочка, и опять сдержанно зашумели липы. Двое мужчин тихо беседовали во мраке сквера на подразумеваемой скамейке. «А ведь он ошибается», — сказал один. Другой отвечал неразборчиво, и оба вроде как бы вздохнули, естественно смешиваясь с шелестом листвы. Цинциннат выбежал на круглую площадку, где луна сторожила знакомую статую поэта, похожую на снеговую бабу, — голова кубом, слепившиеся ноги, — и, пробежав еще несколько шагов, оказался на своей улице. Справа, на стенах одинаковых домов неодинаково играл лунный рисунок веток, так что только по выражению теней, по складке на переносице между окон, Цинциннат и узнал свой дом. В верхнем этаже окно Марфиньки было темно, но открыто. Дети, должно быть, спали на горбоносом балконе: там белелось что-то. Цинциннат вбежал на крыльцо, толкнул дверь и вошел в свою освещенную камеру. Обернулся, но был уже заперт. Ужасно! На столе блестел карандаш. Паук сидел на желтой стене.

— Потушите! — крикнул Цинциннат.

Наблюдавший за ним в глазок выключил свет. Темнота и тишина начали соединяться; но вмешались часы, пробили одиннадцать, подумали и пробили еще один раз, а Цинциннат лежал навзничь и смотрел в темноту, где тихо рассыпались светлые точки, постепенно исчезая. Совершилось полное слияние темноты и тишины. Вот тогда, только тогда (то есть лежа навзничь на тюремной койке, за полночь, после ужасного, ужасного, я просто не могу тебе объяснить, какого ужасного дня) Цинциннат Ц. ясно оценил свое положение.

Сначала на черном бархате, каким по ночам обложены с исподу веки, появилось, как медальон, лицо Марфиньки: кукольный румянец, блестящий лоб с детской выпуклостью, редкие брови вверх, высоко над круглыми, карими глазами. Она заморгала, поворачивая голову, и на мягкой,

сливочной белизны шее была черная бархатка, а бархатная тишина платья, расширяясь книзу, сливалась с темнотой. Такой он увидел ее нынче среди публики, когда его подвели к свежепокрашенной скамье подсудимых, на которую он сесть не решился, а стоял рядом, и все-таки измарал в изумрудном руки, и журналисты жадно фотографировали отпечатки его пальцев, оставшиеся на спинке скамьи. Он видел их напряженные лбы, он видел ярко-цветные панталоны щеголей, ручные зеркала и переливчатые шали щеголих, — но лица были неясны, — одна только круглоглазая Марфинька из всех зрителей и запомнилась ему. Адвокат и прокурор, оба крашеные и очень похожие друг на друга (закон требовал, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда гримировались), проговорили с виртуозной скоростью те пять тысяч слов, которые полагались каждому. Они говорили вперемежку, и судья, следя за мгновенными репликами, вправо, влево мотал головой, и равномерно мотались все головы, — и только одна Марфинька, слегка повернувшись, неподвижно, как удивленное дитя, уставилась на Цинцинната, стоявшего рядом с ярко-зеленой садовой скамьей. Адвокат, сторонник классической декапитации, выиграл без труда против затейника прокурора, и судья синтезировал дело.

Обрывки этих речей, в которых, как пузыри воды, стремились и лопались слова «прозрачность» и «непроницаемость», теперь звучали у Цинцинната в ушах, и шум крови превращался в рукоплескания, а медальонное лицо Марфиньки все оставалось в поле его зрения и потухло только тогда, когда судья, — приблизившись вплотную, так что можно было различить на его крупном смуглом носу расширенные поры, одна из которых, на самой дуле, выпустила одинокий, но длинный волос, — произнес сырым шепотом: «С любезного разрешения публики, вам наденут красный цилиндр», — выработанная законом подставная фраза, истинное значение коей знал всякий школьник.

«А я ведь сработан так тщательно, — думал Цинциннат, плача во мраке. — Изгиб моего позвоночника высчитан так хорошо, так таинственно. Я чувствую в икрах так много

туго накрученных верст, которые мог бы в жизни еще пробежать. Моя голова так удобна...»

Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину.

II

Утренние газеты, которые с чашкой тепловатого шоколада принес ему Родион, — местный листок «Доброе Утречко» и более серьезный орган «Голос Публики», — как всегда, кишели цветными снимками. В первой он нашел фасад своего дома: дети глядят с балкона, тесть глядит из кухонного окна, фотограф глядит из окна Марфиньки; во второй — знакомый вид из этого окна на палисадник с яблоней, отворенной калиткой и фигурой фотографа, снимающего фасад. Он нашел, кроме того, самого себя на двух снимках, изображающих его в кроткой юности.

Цинциннат родился от безвестного прохожего и детство провел в большом общежитии за Стропью (только уже на третьем десятке он познакомился мимоходом со щебечущей, щупленькой, еще такой молодой на вид Цецилией Ц., зачавшей его ночью на Прудах, когда была совсем девочкой). С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому в состоянии покоя производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов, но стоило на мгновение забыться, не совсем так внимательно следить за собой, за поворотами хитро освещенных плоскостей души, как сразу поднималась тревога. В разгаре общих игр сверстники вдруг от него отпадали, словно почуя, что ясность его взгляда да голубизна висков — лукавый отвод и что в действительности Цинциннат непроницаем. Случалось, учитель среди наступившего молчания, в досадливом недоумении собрав и наморщив все запасы кожи около глаз, долго глядел на него и наконец спрашивал:

— Да что с тобой, Цинциннат?

Тогда Цинциннат брал себя в руки и, прижав к груди, относил в безопасное место.

С течением времени безопасных мест становилось все меньше, всюду проникало ласковое солнце публичных забот, и было так устроено окошечко в двери, что не существовало во всей камере ни одной точки, которую наблюдатель за дверью не мог бы взглядом проткнуть. Поэтому Цинциннат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, — как сделал его призрак (призрак, сопровождающий каждого из нас — и тебя, и меня, и вот его, — делающий то, что в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя...). Цинциннат спокойненько отложил газеты и допил шоколад. Коричневая пенка, покрывавшая шоколадную гладь, превратилась на губе в сморщенную дрянь. Затем Цинциннат надел черный халат, слишком для него длинный, черные туфли с помпонами, черную ермолку — и заходил по камере, как ходил каждое утро, с первого дня заключения.

Детство на загородных газонах. Играли в мяч, в свинью, в карамору, в чехарду, в малину, в тычь... Он был легок и ловок, но с ним не любили играть. Зимою городские скаты гладко затягивались снегом, и как же славно было мчаться вниз на «стеклянных» сабуровских санках... Как быстро наступала ночь, когда с катанья возвращались домой... Какие звезды, — какая мысль и грусть наверху, — а внизу ничего не знают. В морозном металлическом мраке желтым и красным светом горели съедобные окна; женщины в лисьих шубках поверх шелковых платьев перебегали через улицу из дома в дом; электрические вагонетки, возбуждая на миг сияющую вьюгу, проносились по запорошенным рельсам.

Голосок: «Аркадий Ильич, посмотрите на Цинцинната...»

Он не сердился на доносчиков, но те умножались и, мужая, становились страшны. В сущности темный для них, как будто был вырезан из кубической сажени ночи, непроницаемый Цинциннат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью стараясь так стать, чтобы казаться светопроводным. Окружающие понимали друг друга с полуслова, — ибо не было у них таких слов, которые

бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями. В пыльном маленьком музее, на Втором Бульваре, куда его водили в детстве и куда он сам потом водил питомцев, были собраны редкие, прекрасные вещи, — но каждая была для всех горожан, кроме него, так же ограниченна и прозрачна, как и они сами друг для друга. То, что не названо, — не существует. К сожалению, все было названо.

«Бытие безымянное, существенность беспредметная...» — прочел Цинциннат на стене там, где дверь, отпахиваясь, прикрывала стену.

«Вечные именинники, мне вас —» — написано было в другом месте.

Левее, почерком стремительным и чистым, без единой лишней линии: «Обратите внимание, что когда они с вами говорят —» — дальше, увы, было стерто.

Рядом — корявыми детскими буквами: «Писателей буду штрафовать» — и подпись: директор тюрьмы.

Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строку: «Смерьте до смерти, — потом будет поздно».

— Меня, во всяком случае, смерили, — сказал Цинциннат, тронувшись опять в путь и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стенам. — Как мне, однако, не хочется умирать! Душа зарылась в подушку. Ох, не хочется! Холодно будет вылезать из теплого тела. Не хочется, погодите, дайте еще подремать.

Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать лет было Цинциннату, когда он начал работать в мастерской игрушек, куда был определен по причине малого роста. По вечерам же упивался старинными книгами под ленивый, пленительный плеск мелкой волны, в плавучей библиотеке имени д-ра Синеокова, утонувшего как раз в том месте городской речки. Бормотание цепей, плеск, оранжевые абажурчики на галерейке, плеск, липкая от луны водяная гладь, — и вдали, в черной паутине высокого моста, пробегающие огоньки. Но потом ценные волюмы начали портиться от сырости, так что в конце концов пришлось речку осушить, отведя всю воду в Стропь посредством специально прорытого канала.

Работая в мастерской, он долго бился над затейливыми пустяками, занимался изготовлением мягких кукол для школьниц, — тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других, например: застегнутый на все пуговки Добролюбов в очках без стекол. Искусственно пристрастясь к этому мифическому девятнадцатому веку, Цинциннат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют, но другое отвлекло его внимание.

Там-то, на той маленькой фабрике, работала Марфинька, — полуоткрыв влажные губы, целилась ниткой в игольное ушко: «Здравствуй, Цинциннатик!» — и вот начались те упоительные блуждания в очень, очень просторных (так что даже случалось — холмы в отдалении бывали дымчаты от блаженства своего отдаления) Тамариных Садах, где в три ручья плачут без причины ивы, и тремя каскадами, с небольшой радугой над каждым, ручьи свергаются в озеро, по которому плывет лебедь рука об руку со своим отражением. Ровные поляны, рододендрон, дубовые рощи, веселые садовники в зеленых сапогах, день-деньской играющие в прятки; какой-нибудь грот, какая-нибудь идиллическая скамейка, на которой три шутника оставили три аккуратных кучки (уловка, — подделка из коричневой крашеной жести), — какой-нибудь олененок, выскочивший в аллею и тут же у вас на глазах превратившийся в дрожащие пятна солнца, — вот они были каковы, эти сады! Там, там — лепет Марфиньки, ее ноги в белых чулках и бархатных туфельках, холодная грудь и розовые поцелуи со вкусом лесной земляники. Вот бы увидеть отсюда — хотя бы древесные макушки, хотя бы гряду отдаленных холмов...

Цинциннат подвязал потуже халат. Цинциннат сдвинул и потянул, пятясь, кричащий от злости стол: как неохотно, с какими содроганиями он ехал по каменному полу, его содрогания передавались пальцам Цинцинната, нёбу Цинцинната, отступавшего к окну (то есть к той стене, где высоко, высоко была за решеткой пологая впадина окна). Упала громкая ложечка, затанцевала чашка, покатился карандаш, заскользила книга по книге. Цинциннат поднял

брыкающийся стул на стол. Сам наконец влез. Но, конечно, ничего не было видно, — только жаркое небо в тонко зачесанных сединах, оставшихся от облаков, не вынесших синевы. Цинциннат едва мог дотянуться до решетки, за которой покато поднимался туннель окошка с другой решеткой в конце и световым повторением ее на облупившейся стенке каменной пади. Там, сбоку, тем же чистым презрительным почерком, как одна из полустертых фраз, читанных давеча, было написано: «Ничего не видать, я пробовал тоже».

Цинциннат стоял на цыпочках, держась маленькими, совсем белыми от напряжения руками за черные железные прутья, и половина его лица была в солнечную решетку, и левый ус золотился, и в зеркальных зрачках было по крохотной золотой клетке, а внизу, сзади, из слишком больших туфель приподнимались пятки.

— Того и гляди, свалитесь, — сказал Родион, который уже с полминуты стоял подле и теперь крепко сжал ножку дрогнувшего стула. — Ничего, ничего, держу. Можете слезать.

У Родиона были васильковые глаза и, как всегда, чудная рыжая бородища. Это красивое русское лицо было обращено вверх к Цинциннату, который босой подошвой на него наступил, то есть призрак его наступил, сам же Цинциннат уже сошел со стула на стол. Родион, обняв его как младенца, бережно снял, — после чего со скрипичным звуком отодвинул стол на прежнее место и присел на него с краю, болтая той ногой, что была повыше, а другой упираясь в пол, — приняв фальшиво-развязную позу оперных гуляк в сцене погребка, а Цинциннат ковырял шнурок халата, потупясь, стараясь не плакать.

Родион баритонным басом пел, играя глазами и размахивая пустой кружкой. Эту же удалую песню певала прежде и Марфинька. Слезы брызнули из глаз Цинцинната. На какой-то предельной ноте Родион грохнул кружкой об пол и соскочил со стола. Дальше он уже пел хором, хотя был один. Вдруг поднял вверх обе руки и вышел.

Цинциннат, сидя на полу, сквозь слезы посмотрел ввысь, где отражение решетки уже переменило место.

Он попробовал — в сотый раз — подвинуть стол, но, увы, ножки были от века привинчены. Он съел винную ягоду и опять зашагал по камере.

Девятнадцать, двадцать, двадцать один. В двадцать два года был переведен в детский сад учителем разряда Ф, и тогда же на Марфиньке женился. Едва ли не в самый день, когда он вступил в исполнение новых своих обязанностей (состоявших в том, чтобы занимать хроменьких, горбатеньких, косеньких), был важным лицом сделан на него донос второй степени. Осторожно, в виде предположения высказывалась мысль об основной нелегальности Цинцинната. Заодно с этим меморандумом были отцами города рассмотрены и старые жалобы, поступавшие время от времени со стороны его наиболее прозорливых товарищей по работе в мастерской. Председатель воспитательного совета и некоторые другие должностные лица поочередно запирались с ним и производили над ним законом предписанные опыты. В течение нескольких суток ему не давали спать, принуждали к быстрой бессмысленной болтовне, доводимой до опушки бреда, заставляли писать письма к различным предметам и явлениям природы, разыгрывать житейские сценки, а также подражать разным животным, ремеслам и недугам. Все это он проделал, все это он выдержал — оттого что был молод, изворотлив, свеж, жаждал жить, — пожить немного с Марфинькой. Его нехотя отпустили, разрешив ему продолжать заниматься с детьми последнего разбора, которых было не жаль, — дабы посмотреть, что из этого выйдет. Он водил их гулять парами, играя на маленьком портативном музыкальном ящичке, вроде кофейной мельницы, — а по праздникам качался с ними на качелях: вся гроздь замирала, взлетая; пищала, ухая вниз. Некоторых он учил читать.

Между тем Марфинька в первый же год брака стала ему изменять: с кем попало и где попало. Обыкновенно, когда Цинциннат приходил домой, она, с какой-то сытой улыбочкой прижимая к шее пухлый подбородок, как бы журя себя, глядя исподлобья честными карими глазами, говорила низким голубиным голоском: «А Марфинька нынче опять это делала». Он несколько секунд смотрел на нее,

приложив, как женщина, ладонь к щеке, и потом, беззвучно воя, уходил через все комнаты, полные ее родственников, и запирался в уборной, где топал, шумел водой, кашлял, маскируя рыдания. Иногда, оправдываясь, она ему объясняла: «Я же, ты знаешь, добренькая: это такая маленькая вещь, а мужчине такое облегчение».

Скоро она забеременела — и не от него. Разрешилась мальчиком, немедленно забеременела снова — и снова не от него — и родила девочку. Мальчик был хром и зол; тупая, тучная девочка — почти слепа. Вследствие своих дефектов оба ребенка попали к нему в сад, и странно бывало видеть ловкую, ладную, румяную Марфиньку, ведущую домой этого калеку, эту тумбочку. Цинциннат понемножку перестал следить за собой вовсе, — и однажды, на каком-то открытом собрании в городском парке, вдруг пробежала тревога, и один произнес громким голосом: «Горожане, между нами находится...» — тут последовало страшное, почти забытое слово, — и налетел ветер на акации, — и Цинциннат не нашел ничего лучше, как встать и удалиться, рассеянно срывая листики с придорожных кустов. А спустя десять дней он был взят.

«Вероятно, завтра», — сказал Цинциннат, медленно шагая по камере. «Вероятно, завтра», — сказал Цинциннат и сел на койку, уминая ладонью лоб. Закатный луч повторял уже знакомые эффекты. «Вероятно, завтра, — сказал со вздохом Цинциннат. — Слишком тихо было сегодня, а уже завтра, спозаранку...»

Некоторое время все молчали: глиняный кувшин с водой на дне, поивший всех узников мира; стены, друг другу на плечи положившие руки, как четверо неслышным шепотом обсуждающих квадратную тайну; бархатный паук, похожий чем-то на Марфиньку; большие черные книги на столе...

«Какое недоразумение!» — сказал Цинциннат и вдруг рассмеялся. Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто

наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело —

Грянул железный гром засова, и Цинциннат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до ермолки. Тюремщик Родион принес в круглой корзиночке, выложенной виноградными листьями, дюжину палевых слив — подарок супруги директора.

Цинциннат, тебя освежило преступное твое упражнение.

III

Цинциннат проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре.

Хотя накануне он и готовился к такому пробуждению, — все равно — с сердцем, с дыханием не было сладу. Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело, — тише, это ничего (как говорят ребенку в минуту невероятного бедствия), — прикрыв сердце и слегка привстав, Цинциннат слушал. Было шарканье многих шагов, в различных слоях слышимости; были голоса — тоже во многих разрезах; один набегал, вопрошающий; другой, поближе, ответствовал. Спеша из глубины, кто-то пронесся и заскользил по камню, как по льду. Бас директора произнес среди гомона несколько слов — невнятных, но бессомненно повелительных. Страшнее всего было то, что сквозь эту возню пробивался детский голос, — у директора была дочка. Цинциннат различал и жалующийся тенорок своего адвоката, и бормотание Родиона... Вот опять, на бегу, кто-то задал гулкий вопрос, и кто-то гулко ответил. Кряхтение, треск, стукотня, — точно шарили палкой под лавкой. «Не нашли?» — внятно спросил директор. Пробежали шаги. Пробежали шаги. Пробежали, вернулись. Цинциннат, изнемогая, спустил ноги на пол: так и не дали свидания с Марфинькой... Начать одеваться, или придут меня наряжать? Ах, довольно, войдите...

Но его еще промучили минуты две. Вдруг дверь отворилась и, скользя, влетел адвокат.

Он был взлохмачен, потен. Он теребил левую манжету, и глаза у него кружились.

— Запонку потерял, — воскликнул он, быстро, как пес, дыша. — Задел обо что... должно быть... когда с милой Эммочкой... шалунья всегда... за фалды... всякий раз как зайду... я, главное, слышал, как что-то... но не обратил... смотрите, цепочка, очевидно... очень дорожил... ну, ничего не поделаешь... может быть, еще... я обещал всем сторожам... а досадно...

— Глупая, сонная ошибка, — тихо сказал Цинциннат. — Я превратно истолковал суету. Это вредно для сердца.

— Да нет, спасибо, пустяки, — рассеянно пробормотал адвокат. При этом он глазами так и рыскал по углам камеры. Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы.

Цинциннат с легким стоном лег обратно в постель. Тот сел у него в ногах.

— Я к вам шел, — сказал адвокат, — такой бодрый, веселый... Но теперь меня расстроил этот пустяк, — ибо в конце концов это же пустяк, согласитесь, — есть вещи поважнее. Ну, как вы себя чувствуете?

— Склонным к откровенной беседе, — прикрыв глаза, отвечал Цинциннат. — Хочу поделиться с вами некоторыми своими умозаключениями. Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров — и все то, что сходит у нас за жизнь. В теории — хотелось бы проснуться. Но проснуться я не могу без посторонней помощи, а этой помощи безумно боюсь, да и душа моя обленилась, привыкла к своим тесным пеленам. Из всех призраков, окружающих меня, вы, Роман Виссарионович, самый, кажется, убогий, но с другой стороны, — по вашему логическому положению в нашем выдуманном быту, — вы являетесь в некотором роде советником, заступником...

— К вашим услугам, — сказал адвокат, радуясь, что Цинциннат наконец разговорился.

— Вот я и хочу вас спросить: на чем основан отказ сообщить мне точный день казни? Погодите, — я еще не кончил. Так называемый директор отлынивает от прямого ответа, ссылается на то, что... Погодите же! Я хочу знать,

во-первых: от кого зависит назначение дня. Я хочу знать, во-вторых: как добиться толку от этого учреждения, или лица, или собрания лиц...

Адвокат, который только что порывался говорить, теперь почему-то молчал. Его крашеное лицо с синими бровями и длинной заячьей губой не выражало особого движения мысли.

— Оставьте манжету, — сказал Цинциннат, — и попробуйте сосредоточиться.

Роман Виссарионович порывисто переменил положение тела и сцепил беспокойные пальцы. Он проговорил жалобным голосом:

— Вот за этот тон...

— Меня и казнят, — сказал Цинциннат, — знаю. Дальше!

— Давайте переменим разговор, умоляю вас, — воскликнул Роман Виссарионович. — Почему вы не можете остаться хоть теперь в рамках дозволенного? Право же, это ужасно, это свыше моих сил. Я к вам зашел, просто чтобы спросить вас, нет ли у вас каких-либо законных желаний... например, — (тут у него лицо оживилось), — вы, может, желали бы иметь в печатном виде речи, произнесенные на суде? В случае такового желания вы обязаны в кратчайший срок подать соответствующее прошение, которое мы оба с вами сейчас вместе и составили бы, — с подробно мотивированным указанием, сколько именно экземпляров речей требуется вам и для какой цели. У меня есть как раз свободный часок, давайте, ах, давайте этим займемся, прошу вас! Я даже специальный конверт заготовил.

— Курьеза ради... — проговорил Цинциннат, — но прежде... Неужто же и вправду нельзя добиться ответа?

— Специальный конверт, — повторил адвокат, соблазняя.

— Хорошо, дайте сюда, — сказал Цинциннат и разорвал толстый, с начинкой, конверт на завивающиеся клочки.

— Это вы напрасно, — едва не плача, вскричал адвокат. — Это очень напрасно. Вы даже не понимаете, что вы сделали. Может, там находился приказ о помиловании. Второго не достать!

Цинциннат поднял горсть клочков, попробовал составить хотя бы одно связное предложение, но все было спутано, искажено, разъято.

— Вот вы всегда так, — подвывал адвокат, держа себя за виски и шагая по камере. — Может, спасение ваше было в ваших же руках, а вы его... Ужасно! Ну что мне с вами делать? Теперь пиши пропало... А я-то — такой довольный... Так подготовлял вас...

— Можно? — растянутым в ширину голосом спросил директор, приоткрыв дверь. — Я вам не помешаю?

— Просим, Родриг Иванович, просим, — сказал адвокат, — просим, Родриг Иванович, дорогой. Только не очень-то у нас весело...

— Ну, а как нонче наш симпатичный смертник, — пошутил элегантный, представительный директор, пожимая в своих мясистых лиловых лапах маленькую холодную руку Цинцинната. — Все хорошо? Ничего не болит? Все болтаете с нашим неутомимым Романом Виссарионовичем? Да, кстати, голубчик Роман Виссарионович... могу вас порадовать, — озорница моя только что нашла на лестнице вашу запонку. La voici[1]. Это ведь французское золото, не правда ли? Весьма изящно. Комплиментов я обычно не делаю, но должен сказать...

Оба отошли в угол, делая вид, что разглядывают прелестную штучку, обсуждают ее историю, ценность, удивляются. Цинциннат воспользовался этим, чтобы достать из-под койки — и с тоненьким бисерным звуком, под конец с запинками...

— Да, большой вкус, большой вкус, — повторял директор, возвращаясь из угла под руку с адвокатом. — Вы, значит, здоровы, молодой человек, — бессмысленно обратился он к Цинциннату, влезавшему обратно в постель. — Но капризничать все-таки не следует. Публика — и все мы, как представители публики, хотим вашего блага, это, кажется, ясно. Мы даже готовы пойти навстречу вам в смысле облегчения одиночества. На днях в одной из наших литерных камер поселится новый арестант. Познакомитесь, это вас развлечет.

---

[1] Вот она *(фр.)*.

— На днях? — переспросил Цинциннат. — Значит, дней-то будет еще несколько?

— Нет, каков, — засмеялся директор, — все ему нужно знать. А, Роман Виссарионович?

— Ох, друг мой, и не говорите, — вздохнул адвокат.

— Да-с, — продолжал тот, потряхивая ключами, — вы должны быть покладистее, сударик. А то все: гордость, гнев, глум. Я им вечор слив этих, значит, нес, — так что же вы думаете? — не изволили кушать, погнушались. Да-с. Вот я вам про нового арестантика-то начал. Ужо накалякаетесь с ним, а то, вишь, нос повесили. Что, не так говорю, Роман Виссарионович?

— Так, Родион, так, — подтвердил адвокат с невольной улыбкой.

Родион погладил бороду и продолжал:

— Оченно жалко стало их мне, — вхожу, гляжу, — на столе-стуле стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, ровно мартышка кволая. А небо-то синехонько, ка̀саточки летают, опять же облачка, — благодать, ра-адость! Сымаю их это, как дите малое, со стола-то, — а сам реву, — вот истинное слово — реву... Оченно, значит, меня эта жалость разобрала.

— Повести его, что ли, наверх? — нерешительно предложил адвокат.

— Это, что же, можно, — протянул Родион со степенным добродушием, — это всегда можно.

— Облачитесь в халат, — произнес Роман Виссарионович.

Цинциннат сказал:

— Я покоряюсь вам, — призраки, оборотни, пародии. Я покоряюсь вам. Но все-таки я требую, — вы слышите, требую, — (и другой Цинциннат истерически затопал, теряя туфли), — чтобы мне сказали, сколько мне осталось жить... и дадут ли мне свидание с женой.

— Вероятно, дадут, — ответил Роман Виссарионович, переглянувшись с Родионом. — Вы только не говорите так много. Ну-с, пошли.

— Пожалуйте, — сказал Родион и толкнул плечом отпертую дверь.

Все трое вышли: впереди — Родион, колченогий, в старых выцветших шароварах, отвисших на заду; за ним — адвокат, во фраке, с нечистою тенью на целлулоидовом воротничке и каемкой розоватой кисеи на затылке, там, где кончался черный парик; за ним, наконец, Цинциннат, теряющий туфли, запахивающий полы халата.

У загиба коридора другой стражник, безымянный, дружески отдал им честь. Бледный каменный свет сменялся областями сумрака. Шли, шли, — за излукой излука, — и несколько раз проходили мимо одного и того же узора сырости на стене, похожего на страшную ребристую лошадь. Кое-где надо было включить электричество; горьким, желтым огнем загоралась пыльная лампочка, вверху или сбоку. Случалось, впрочем, что она была мертвая, и тогда шаркали в плотных потемках. В одном месте, где нежданно и необъяснимо падал сверху небесный луч и дымился, сиял, разбившись на щербатых плитах, дочка директора, Эммочка, в сияющем клетчатом платье и клетчатых носках, — дитя, но с мраморными икрами маленьких танцовщиц, — играла в мяч, мяч равномерно стукался об стену. Она обернулась, четвертым и пятым пальцем смазывая прочь со щеки белокурую прядь, и проводила глазами коротенькое шествие. Родион, проходя, ласково позвенел ключами; адвокат вскользь погладил ее по светящимся волосам; но она глядела на Цинцинната, который испуганно улыбнулся ей. Дойдя до следующего колена коридора, все трое оглянулись. Эммочка смотрела им вслед, слегка всплескивая блестящим красно-синим мячом.

Опять долго шли в темноте, покуда не попали в тупик, где, над свернутой кишкой брандспойта, светилась красная лампочка. Родион отпер низкую, кованую дверь; за ней круто заворачивались вверх ступени каменной лестницы. Тут несколько изменился порядок: Родион, потопав в такт на месте, пропустив вперед сперва адвоката, затем Цинцинната, мягко переступил и замкнул шествие. По крутой лестнице, с постепенным развитием которой совпадало медленное светление тумана, в котором она росла, подниматься было нелегко, а поднимались так долго, что Цинциннат от нечего делать принялся считать ступени, досчитал до трехзначной цифры, но спутался, оступившись.

Воздух исподволь бледнел. Цинциннат, утомясь, лез как ребенок, начиная все с той же ноги. Еще один заворот, и вдруг налетел густой ветер, ослепительно распахнулось летнее небо, пронзительно зазвучали крики ласточек.

Наши путешественники очутились на широкой башенной террасе, откуда открывался вид на расстояние, дух захватывающее, ибо не только башня была громадна, но вообще вся крепость громадно высилась на громадной скале, коей она казалась чудовищным порождением. Далеко внизу виднелись почти отвесные виноградники, и бланжевая дорога, виясь, спускалась к безводному руслу реки, и через выгнутый мост шел кто-то крохотный в красном, и бегущая точка перед ним была, вероятно, собака.

Дальше большим полукругом расположился на солнцепеке город: разноцветные дома то шли ровными рядами, сопутствуемые круглыми деревьями, то криво сползали по скатам, наступая на собственные тени, — и можно было различить движение на Первом Бульваре и особенное мерцание в конце, где играл знаменитый фонтан. А еще дальше, по направлению к дымчатым складкам холмов, замыкавших горизонт, тянулась темная рябь дубовых рощ, там и сям сверкало озерцо, как ручное зеркало, — а другие яркие овалы воды собирались, горя в нежном тумане, вон там на западе, где начиналась жизнь излучистой Стропи. Цинциннат, приложив ладонь к щеке, в неподвижном, невыразимо-смутном и, пожалуй, даже блаженном отчаянии, глядел на блеск и туман Тамариных Садов, на сизые, тающие холмы за ними, — ах, долго не мог оторваться...

В нескольких шагах от него, на широкий каменный парапет, поросший поверху каким-то предприимчивым злаком, положил локти адвокат, его спина была запачкана в известку. Он задумчиво смотрел в пространство, левым лакированным башмаком наступя на правый и так оттягивая пальцами щеки, что выворачивались нижние веки. Родион нашел где-то метлу и молча мел плиты террасы.

— Как это все обаятельно, — обратился Цинциннат к садам, к холмам, — (и было почему-то особенно приятно это «обаятельно» на ветру, вроде того как дети зажимают и вновь обнажают уши, забавляясь обновлением слышимого мира). — Обаятельно! Я никогда не видал именно

такими этих холмов, такими таинственными. Неужели в их складках, в их тенистых долинах нельзя было бы мне. — Нет, лучше об этом не думать.

Он обошел террасу кругом. На севере разлеглась равнина, по ней бежали тени облаков; луга сменялись нивами; за изгибом Стропи виднелись наполовину заросшие очертания аэродрома и строение, где содержался почтенный, дряхлый, с рыжими, в пестрых заплатах, крыльями самолет, который еще иногда пускался по праздникам — главным образом для развлечения калек. Вещество устало. Сладко дремало время. Был один человек в городе, аптекарь, чей прадед, говорят, оставил запись о том, как купцы летали в Китай.

Цинциннат, обойдя террасу, опять вернулся к южному ее парапету. Его глаза совершали беззаконнейшие прогулки. Теперь мнилось ему, что он различает тот цветущий куст, ту птицу, ту уходящую под навес плюща тропинку.

— Будет с вас, — добродушно сказал директор, бросая метлу в угол и надевая опять свой сюртук. — Айда по домам.

— Да, пора, — откликнулся адвокат, посмотрев на часы.

И то же маленькое шествие двинулось в обратный путь. Впереди — директор Родриг Иванович, за ним — адвокат Роман Виссарионович, за ним — узник Цинциннат, нервно позевывающий после свежего воздуха. Сюртук у директора был сзади запачкан в известку.

IV

Она вошла, воспользовавшись утренним явлением Родиона, — проскользнув под его руками, державшими поднос.

— Тю-тю-тю, — предостерегающе произнес он, заклиная шоколадную бурю. Мягкой ногой прикрыл за собой дверь, ворча в усы: — Вот проказница...

Эммочка между тем спряталась от него за стол, присев на корточки.

— Книжку читаете? — заметил Родион, светясь добротой. — Дело хорошее.

Цинциннат, не поднимая глаз со страницы, издал мычание, утвердительный ямб, — но глаза уже не брали строчек.

Родион, исполнив нехитрые свои обязанности, — тряпкой погнав расплясавшуюся в луче пыль и накормив паука, — удалился.

Эммочка — все еще на корточках, но чуть вольнее, чуть покачиваясь, как на рессорах, — скрестив голые пушистые руки, полуоткрыв розовый рот и моргая длинными, бледными, как бы даже седыми, ресницами, смотрела поверх стола на дверь. Уже знакомое движение: быстро, первыми попавшимися пальцами, отвела льняные волосы с виска, кинув искоса взгляд на Цинцинната, который отложил книжку и ждал, что будет дальше.

— Ушел, — сказал Цинциннат.

Она встала с корточек, но, еще согбенная, смотрела на дверь. Была смущена, не знала, что предпринять. Вдруг, оскалясь, сверкнув балеринными икрами, бросилась к двери, — разумеется, запертой. От ее муарового кушака в камере ожил воздух.

Цинциннат задал ей два обычных вопроса. Она ужимчиво себя назвала и ответила, что двенадцать.

— А меня тебе жалко? — спросил Цинциннат.

На это она не ответила ничего. Подняла к лицу глиняный кувшин, стоявший в углу. Пустой, гулкий. Погукала в его глубину, а через мгновение опять метнулась, — и теперь стояла, прислонившись к стене, опираясь одними лопатками да локтями, скользя вперед напряженными ступнями в плоских туфлях — и опять выправляясь. Про себя улыбнулась, а затем хмуро, как на низкое солнце, взглянула на Цинцинната, продолжая сползать. По всему судя, — это было дикое, беспокойное дитя.

— Неужели тебе не жалко меня? — сказал Цинциннат. — Невозможно, не допускаю. Ну, поди сюда, глупая лань, и поведай мне, в какой день я умру.

Но Эммочка ничего не ответила, а съехала на пол и там смирно села, прижав подбородок к поднятым сжатым коленкам, на которые натянула подол, показывая снизу гладкие ляжки.

— Скажи мне, Эммочка, — я так прошу тебя... Ты ведь все знаешь, — я чувствую, что знаешь... Отец говорил за

столом, мать говорила на кухне... Все, все говорят. Вчера в газете было аккуратное оконце, — значит, толкуют об этом, и только я один...

Она, как поднятая вихрем, вскочила с пола и, опять кинувшись к двери, застучала в нее — не ладонями, а скорее пятками рук. Ее распущенные, шелковисто-бледные волосы кончались длинными буклями.

«Будь ты взрослой, — подумал Цинциннат, — будь твоя душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потемней...»

— Эммочка! — воскликнул он. — Умоляю тебя, скажи мне, я не отстану, скажи мне, когда я умру?

Грызя палец, она подошла к столу, где громоздились книги. Распахнула одну, перелистала с треском, чуть не вырывая страницы, захлопнула, взяла другую. Какая-то зыбь все бежала по ее лицу, — то морщился веснушчатый нос, то язык снутри натягивал щеку.

Лязгнула дверь: Родион, посмотревший, вероятно, в глазок, вошел, довольно сердитый.

— Брысь, барышня! Мне же за это достанется.

Она визгливо захохотала, увильнула от его ракообразной руки и бросилась к открытой двери. Там, на пороге, остановилась вдруг с очаровательной танцевальной точностью, — и, не то посылая воздушный поцелуй, не то заключая союз молчания, взглянула через плечо на Цинцинната; после чего — с той же ритмической внезапностью — сорвалась и убежала большими высокими, упругими шагами, уже подготовлявшими полет.

Родион, бурча, бренча, тяжело за нею последовал.

— Постойте! — крикнул Цинциннат. — Я кончил все книги. Принесите мне опять каталог.

— Книги... — сердито усмехнулся Родион и с подчеркнутой звучностью запер за собой дверь.

Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат, — и безжалостный бой часов, и жирный паук, и желтые стены, и шершавость черного шерстяного одеяла. Пенка на шоколаде. Взять в самом центре двумя пальцами и сдернуть целиком с поверхности — уже не плоский покров, а сморщенную коричневую юбочку.

Он едва тепл под ней, — сладковатый, стоячий. Три гренка в черепаховых подпалинах. Кружок масла с тисненым вензелем директора. Какая тоска, Цинциннат, сколько крошек в постели.

Погоревав, поохав, похрустев всеми суставами, он встал с койки, надел ненавистный халат, пошел бродить. Снова перебрал все надписи на стенах с надеждой открыть где-нибудь новую. Как вороненок на пне, долго стоял на стуле, неподвижно глядя вверх на нищенский паек неба. Опять ходил. Опять читал уже выученные наизусть восемь правил для заключенных:

1. Безусловно воспрещается покидать здание тюрьмы.

2. Кротость узника есть украшение темницы.

3. Убедительно просят соблюдать тишину между часом и тремя ежедневно.

4. Воспрещается приводить женщин.

5. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни.

6. Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас сам пресекал ночные сны, могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника, каковы: роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обеды, а также половое общение с особами, в виде реальном и состоянии бодрствования не подпускающими данного лица, которое посему будет рассматриваться законом как насильник.

7. Пользуясь гостеприимством темницы, узник, в свою очередь, не должен уклоняться от участия в уборке и других работах тюремного персонала постольку, поскольку таковое участие будет предложено ему.

8. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, равно как и самого заключенного.

Тоска, тоска, Цинциннат. Опять шагай, Цинциннат, задевая халатом то стены, то стул. Тоска! На столе наваленные книги прочитаны все. И хотя он знал, что прочитаны все, Цинциннат поискал, пошарил, заглянул в толстый том... перебрал, не садясь, уже виденные страницы.

Это был том журнала, выходившего некогда, — в едва вообразимом веке. Тюремная библиотека, считавшаяся по количеству и редкости книг второй в городе, содержала

несколько таких диковин. То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности; маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой; ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел; текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов; ласточкой вольно летела дева в трико — так высоко над блестящим бассейном, что он казался не больше блюдца; в прыжке без шеста атлет навзничь лежал в воздухе, достигнув уже такой крайности напряжения, что если бы не флажные складки на трусах с лампасами, оно походило бы на ленивый покой; и без конца лилась, скользила вода; грация спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью на ней. Все было глянцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству, которое определялось одним отсутствием трения. Упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног, и, поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности... сказать ли?.. очутившись как бы в другом измерении —. Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен, — две-три машины, два-три фонтана, — и никому не было жаль прошлого, да и само понятие «прошлого» сделалось другим.

«А может быть, — подумал Цинциннат, — я неверно толкую эти картинки. Эпохе придаю свойства ее фотографии. Это богатство теней, и потоки света, и лоск загорелого плеча, и редкостное отражение, и плавные переходы из одной стихии в другую, — все это, быть может, относится только к снимку, к особой светописи, к особым формам этого искусства, и мир на самом деле вовсе не был столь изгибист, влажен и скор, — точно так же, как наши нехитрые аппараты по-своему запечатлевают наш сегодняшний наскоро сколоченный и покрашенный мир».

«А может быть, — (быстро начал писать Цинциннат на клетчатом листе), — я неверно толкую... Эпохе придаю... Это богатство... Потоки... Плавные переходы... И мир был

вовсе... Точно так же, как наши... Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, — что мне делать с тобой, с собой? Как смеют держать от меня в тайне... Я, который должен пройти через сверхмучительное испытание, я, который для сохранения достоинства хотя бы наружного (дальше безмолвной бледности все равно не пойду, — все равно не герой...) должен во время этого испытания владеть всеми своими способностями, я, я... медленно слабею... неизвестность ужасна, — ну скажите мне наконец... Так нет, замирай каждое утро... Между тем, знай я, сколько осталось времени, я бы кое-что... Небольшой труд... запись проверенных мыслей... Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране. То есть я хочу сказать, что я бы его заставил вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, — и, когда он пройдет через это, мир будет чище, омыт, освежен. Но как мне приступить к писанию, когда не знаю, успею ли, а в том-то и мучение, что говоришь себе: вот вчера успел бы, — и опять думаешь: вот и вчера бы... И вместо нужной, ясной и точной работы, вместо мерного подготовления души к минуте утреннего вставания, когда... ведро палача, когда подадут тебе, душа, умыться... так, вместо этого, невольно предаешься банальной, безумной мечте о бегстве, — увы, о бегстве... Когда она примчалась сегодня, топая и хохоча, — то есть я хочу сказать... Нет, надобно все-таки что-нибудь запечатлеть, оставить. Я не простой... я тот, который жив среди вас... Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, — не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, — но главное: дар сочетать все это в одной точке... Нет, тайна еще не раскрыта, — даже это — только огниво, — и я не заикнулся еще о зарождении огня, о нем самом. Моя жизнь. Когда-то в детстве, на далекой школьной поездке, отбившись от прочих, — а может быть, мне это приснилось, — я попал знойным полднем в сонный городок, до того сонный, что, когда человек, дремавший на завалинке под яркой беленой стеной, наконец встал, чтобы проводить меня до околицы, его синяя тень на стене не сразу за ним последовала... о, знаю, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка, что вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем,

зацепилась за шероховатость стены... — но вот что я хочу выразить: между его движением и движением отставшей тени, — эта секунда, эта синкопа, — вот редкий сорт времени, в котором живу, — пауза, перебой, — когда сердце как пух... И еще я бы написал о постоянном трепете... и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, — с чем, я еще не скажу... Но как мне писать об этом, когда боюсь не успеть и понапрасну разбередить... Когда она сегодня примчалась, — еще ребенок, — вот что хочу сказать, — еще ребенок, с какими-то лазейками для моей мысли, — я подумал словами древних стихов — напоила бы сторожей... спасла бы меня. Кабы вот таким ребенком осталась, а вместе повзрослела, поняла, — и вот удалось бы: горящие щеки, черная ветреная ночь, спасение, спасение... И напрасно я повторяю, что в мире нет мне приюта... Есть! Найду я! В пустыне цветущая балка! Немного снегу в тени горной скалы! А ведь это вредно — то, что делаю, — я и так слаб, а разжигаю себя, уничтожаю последние свои силы. Какая тоска, ах, какая... И мне ясно, что я еще не снял самой последней пленки со своего страха».

Он задумался. Потом бросил карандаш, встал, заходил. Донесся бой часов. Пользуясь их звоном как платформой, поднялись на поверхность шаги; платформа уплыла, шаги остались, и вот в камеру вошли: Родион с супом и господин библиотекарь с каталогом.

Это был здоровенного роста, но болезненного вида мужчина, бледный, с тенью у глаз, с плешью, окруженной темным венцом волос, с длинным станом в синей фуфайке, местами выцветшей и с кубовыми заплатами на локтях. Он держал руки в карманах узких, как смерть, штанов, сжав под мышкой большую переплетенную в черную кожу книгу. Цинциннат уже раз имел удовольствие видеть его.

— Каталог, — сказал библиотекарь, речь которого отличалась какой-то вызывающей лаконичностью.

— Хорошо, оставьте у меня, — сказал Цинциннат, — я выберу. Если хотите подождать, присесть, — пожалуйста. А если хотите уйти...

— Уйти, — сказал библиотекарь.

— Хорошо. Тогда я потом передам каталог Родиону. Вот, можете забрать... Эти журналы древних — прекрасны, трогательны... С этим тяжелым томом я, знаете, как с грузом, пошел на дно времен. Пленительное ощущение.

— Нет, — сказал библиотекарь.

— Принесите мне еще, я выпишу, какие годы. И роман какой-нибудь, поновее. Вы уже уходите? Вы взяли все?

Оставшись один, Цинциннат принялся за суп; одновременно перелистывал каталог. Его основная часть была тщательно и красиво отпечатана; среди печатного текста было множество заглавий мелко, но четко вписано от руки красными чернилами. Не специалисту разобраться в каталоге было трудно из-за расположения названий книг — не по алфавиту, а по числу страниц в каждой, причем тут же отмечалось, сколько (во избежание совпадений) вклеено в ту или другую книгу лишних листов. Цинциннат поэтому искал без определенной цели, а так, что приглянется. Каталог содержался в образцовой чистоте; тем более удивительно было, что на белом обороте одной из первых страниц детская рука сделала карандашом серию рисунков, смысл коих Цинциннат не сразу разгадал.

V

— Позвольте вас от души поздравить, — маслянистым басом сказал директор, входя на другое утро в камеру к Цинциннату.

Родриг Иванович казался еще наряднее, чем обычно: спина парадного сюртука была, как у кучеров, упитана ватой, широкая, плоско-жирная, парик лоснился, как новый, сдобное тесто подбородка было напудрено, точно кала, а в петлице розовел восковой цветок с крапчатой пастью. Из-за статной его фигуры, — он торжественно остановился на пороге, — выглядывали с любопытством, тоже праздничные, тоже припомаженные, служащие тюрьмы. Родион надел даже какой-то орденок.

— Я готов. Я сейчас оденусь. Я знал, что сегодня.

— Поздравляю, — повторил директор, не обращая внимания на суетливые движения Цинцинната. — Честь имею

доложить, что у вас есть отныне сосед, — да, да, только что въехал. Заждались небось? Ничего, — теперь, с наперсником, с товарищем по играм и занятиям, вам не будет так скучно. Кроме того, — но это, конечно, должно остаться строго между нами, могу сообщить, что пришло вам разрешение на свидание с супругой: demain matin[1].

Цинциннат опять опустился на койку и сказал:

— Да, это хорошо. Благодарю вас, кукла, кучер, крашеная сволочь... Простите, я немножко...

Тут стены камеры начали выгибаться и вдавливаться, как отражения в поколебленной воде; директор зазыблился, койка превратилась в лодку. Цинциннат схватился за край, чтобы не свалиться, но уключина осталась у него в руке, — и, по горло среди тысячи крапчатых цветов, он поплыл, запутался и начал тонуть. Шестами, баграми, засучив рукава, принялись в него тыкать, поддевать его и вытаскивать на берег. Вытащили.

— Мы нервозны, как маленькая женщина, — сказал с улыбкой тюремный врач, он же Родриг Иванович. — Дышите свободно. Есть можете все. Ночные поты бывают? Продолжайте в том же духе, и если будете очень послушны, то, может быть, может быть, мы вам позволим одним глазком на новичка... но чур, только одним глазком...

— Как долго... это свидание... сколько мне дадут... — с трудом выговорил Цинциннат.

— Сейчас, сейчас. Не торопитесь так, не волнуйтесь. Раз обещано показать, то покажем. Наденьте туфли, пригладьте волосы. Я думаю, что... — Директор вопросительно взглянул на Родиона, тот кивнул. — Только, пожалуйста, соблюдайте абсолютную тишину, — обратился он опять к Цинциннату, — и ничего не хватайте руками. Ну, вставайте, вставайте. Вы не заслужили этого, вы, батюшка мой, ведете себя дурно, но все же разрешается вам... Теперь — ни слова, тихонько...

На цыпочках, балансируя руками, Родриг Иванович вышел, и с ним Цинциннат в своих больших шепелявых туфлях. В глубине коридора, у двери с внушительными

[1] Завтра утром *(фр.)*.

скрепами, уже стоял, согнувшись, Родион и, отодвинув заслонку, смотрел в глазок. Не отрываясь, он сделал рукой жест, требующий еще большей тишины, и незаметно изменил его на другой — приглашающий. Директор еще выше поднялся на цыпочках, обернулся, грозно гримасничая, но Цинциннат не мог не пошаркивать немножко. Там и сям, в полутьме переходов, собирались, горбились, прикладывали козырьком ладонь, словно стараясь что-то вдали разглядеть, смутные фигуры тюремных служащих. Лаборант Родион пустил Родрига Ивановича к наставленному окуляру. Плотно скрипнув спиной, Родриг Иванович впился... Между тем, в серых потемках, смутные фигуры беззвучно перебегали, беззвучно подзывали друг друга, строились в шеренги, и уже как поршни ходили на месте их мягкие многие ноги, готовясь выступить. Директор наконец медленно отодвинулся и легонько потянул Цинцинната за рукав, приглашая его, как профессор — захожего профана, посмотреть на препарат. Цинциннат кротко припал к светлому кружку. Сперва он увидел только пузыри солнца, полоски, — а затем: койку, такую же, как у него в камере, около нее сложены были два добротных чемодана с горящими кнопками и большой продолговатый футляр, вроде как для тромбона...

— Ну что, видите что-нибудь? — прошептал директор, близко наклоняясь и благоухая, как лилии в открытом гробу.

Цинциннат кивнул, хотя еще не видел главного; передвинул взгляд левее и тогда увидел по-настоящему.

На стуле, бочком к столу, неподвижно, как сахарный, сидел безбородый толстячок, лет тридцати, в старомодной, но чистой, свежевыглаженной арестантской пижамке, — весь полосатый, в полосатых носках, в новеньких сафьяновых туфлях, — являл девственную подошву, перекинув одну короткую ногу через другую и держась за голень пухлыми руками; на мизинце вспыхивал прозрачный аквамарин, светло-русые волосы на удивительно круглой голове были разделены пробором посредине, длинные ресницы бросали тень на херувимскую щеку, между малиновых губ сквозила белизна чудных, ровных зубов. Весь он был как бы подер-

нут слегка блеском, слегка таял в снопе солнечных лучей, льющихся на него сверху. На столе ничего не было, кроме щегольских дорожных часов в кожаной раме.

— Будет, — шепнул с улыбкой директор, — я тозе хоцу, — и он прильнул опять.

Родион знаками показал Цинциннату, что пора восвояси. Смутные фигуры служащих почтительно приближались гуськом: позади директора уже составился целый хвост желающих взглянуть; некоторые привели своих старших сыновей.

— Балуем мы вас, — проворчал Родион напоследок — и долго не мог отпереть дверь Цинциннатовой камеры, — даже наградил ее круглым русским словцом, и это подействовало.

Все стихло. Все было как всегда.

— Нет, не все, — завтра ты придешь, — вслух произнес Цинциннат, еще дрожа после давешней дурноты.

«Что я тебе скажу? — продолжал он думать, бормотать, содрогаться. — Что ты мне скажешь? Наперекор всему я любил тебя, и буду любить — на коленях, со сведенными назад плечами, пятки показывая кату и напрягая гусиную шею, — все равно, даже тогда. И после, — может быть, больше всего именно после, — буду тебя любить, — и когда-нибудь состоится между нами истинное, исчерпывающее объяснение, — и тогда уж как-нибудь мы сложимся с тобой, приставим себя друг к дружке, решим головоломку: провести из такой-то точки в такую-то... чтобы ни разу... или — не отнимая карандаша... или еще как-нибудь... соединим, проведем, и получится из меня и тебя тот единственный наш узор, по которому я тоскую. Если они будут каждое утро так делать, то вышколят, буду совсем деревянный...»

Цинциннат раззевался, — слезы текли по щекам, и опять, и опять вырастал во рту холм. Нервы, — спать не хотелось. Надо было чем-нибудь себя занять до завтра, — книг свежих еще не было, каталога он не отдал... Да, рисуночки! Но теперь, при свете завтрашней встречи...

Детская рука, несомненно Эммочки, нарисовала ряд картиночек, составлявших (как вчера Цинциннату казалось) связный рассказ, обещание, образчик мечты. Сначала:

горизонтальная черта, то есть сей каменный пол, на нем — элементарный стул вроде насекомого, а вверху — решетка в шесть клеток. То же самое, но с участием полной луны, кисло опустившей уголки рта за решеткой. Далее: на табурете из трех черточек тюремщик без глаз, значит — спящий, а на полу — кольцо с шестью ключами. То же кольцо с ключами, но покрупнее, и к нему тянется рука, весьма пятипалая, в коротком рукавчике. Начинается интересное: дверь полуоткрыта, из-за нее — как бы птичья лапа: все, что видно от утекающего узника. Он сам, с запятыми на голове вместо кудрей, в темном халатике, посильно изображенном в виде равнобедренного треугольника; его ведет девочка: вилкообразные ножки, волнистая юбочка, параллельные линии волос. То же самое, но в виде плана, а именно: квадрат камеры, кривая коридора, с пунктиром маршрута и гармоникой лестницы в конце. Наконец эпилог: темная башня, и над ней довольная луна — уголки рта кверху.

Нет, — самообман, вздор. Дитя намарало, без мысли... Выпишем заглавия и отложим каталог. Да, дитя... Высунув справа язык, крепко держа изрисованный карандашик, напирая на него побелевшим от усилия пальцем... А затем — после удачно замкнувшейся линии — откидываясь, поводя так и сяк головой, вертя лопатками, и опять, припав к бумаге и переводя язык налево... так старательно... Вздор, не будем больше об этом...

Ища, чем себя занять и как оживить вялое время, Цинциннат решил освежить свою внешность ради завтрашней Марфиньки. Родион согласился притащить опять такую же лохань, в какой Цинциннат полоскался накануне суда. В ожидании воды Цинциннат сел за стол, стол сегодня немножко колыхался.

«Свидание, свидание, — писал Цинциннат, — означает, по всей вероятности, что мое ужасное утро уже близко. Послезавтра, вот в это время, моя камера будет пуста. Но я счастлив, что тебя увижу. Мы поднимались к мастерским по двум разным лестницам, мужчины по одной, женщины по другой, — но сходились на предпоследней площадке. Я уже не могу собрать Марфиньку в том виде, в каком встретил ее в первый раз, но, помнится, сразу заметил, что

она приоткрывает рот за секунду до смеха, — и круглые карие глаза, и коралловые сережки, — ах, как хотелось бы сейчас воспроизвести ее такой, совсем новенькой и еще твердой, — а потом постепенное смягчение, — и складочка между щекой и шеей, когда она поворачивала голову ко мне, уже потеплевшая, почти живая. Ее мир. Ее мир состоит из простых частиц, просто соединенных; простейший рецепт поваренной книги сложнее, пожалуй, этого мира, который она, напевая, печет, — каждый день для себя, для меня, для всех. Но откуда, — еще тогда, в первые дни, — откуда злость и упрямство, которые вдруг... Мягкая, смешная, теплая, и вдруг... Сначала мне казалось, что это она нарочно: показывает, что ли, как другая на ее месте остервенела бы, заупрямилась. Как же я был удивлен, когда оказалось, что это она сама и есть! Из-за какой ерунды, — глупая моя, какая голова маленькая, если прощупать сквозь все русое, густое, которому она умеет придать невинную гладкость, с девическим переливом на темени. “Жонка у вас — тишь да гладь, а кусачая”, — сказал мне ее первый, незабвенный любовник, причем подлость в том, что эпитет — не в переносном... она действительно в известную минуту... одно из тех воспоминаний, которые надо сразу гнать от себя, иначе одолеет, заломает. “Марфинька сегодня опять...” — а однажды я видел, я видел, я видел — с балкона, — я видел, — и с тех пор никогда не входил ни в одну комнату без того, чтобы не объявить издали о своем приближении — кашлем, бессмысленным восклицанием. Как страшно было уловить тот изгиб, ту захлебывающуюся торопливость, — все то, что было моим в тенистых тайниках Тамариных Садов, — а потом мною же утрачено. Сосчитать, сколько было у нее... Вечная пытка: говорить за обедом с тем или другим ее любовником, казаться веселым, щелкать орехи, приговаривать, — смертельно бояться нагнуться, чтобы случайно под столом не увидеть нижней части чудовища, верхняя часть которого, вполне благообразная, представляет собою молодую женщину и молодого мужчину, видных по пояс за столом, спокойно питающихся и болтающих, — а нижняя часть — это четырехногое нечто, свивающееся, бешеное... Я опустился в ад за оброненной

салфеткой. Марфинька потом о себе говаривала (в этом же самом множественном числе): “Нам очень стыдно, что нас видели”, — и надувала губы. И все-таки: я тебя люблю. Я тебя безысходно, гибельно, непоправимо... Покуда в тех садах будут дубы, я буду тебя... Когда тебе наглядно доказали, что меня не хотят, от меня сторонятся, — ты удивилась, как это ты ничего не заметила сама, — а ведь от тебя было так легко скрывать! Я помню, как ты умоляла меня исправиться, совершенно не понимая, в сущности, что именно следовало мне в себе исправить и как это, собственно, делается, и до сих пор ты ничего не понимаешь, не задумываясь над тем, понимаешь ли или нет, а когда удивляешься, то удивляешься почти уютно. Но когда судебный пристав стал обходить со шляпой публику, ты все-таки свою бумажку бросила в нее».

Над качающейся у пристани лоханью поднимался ничем не виноватый, веселый, заманчивый пар. Цинциннат порывисто — в два быстрых приема — вздохнул и отложил исписанные страницы. Из скромного своего сундучка он извлек чистое полотенце. Цинциннат был такой маленький и узкий, что ему удалось целиком поместиться в лохани. Он сидел, как в душегубке, и тихо плыл. Красноватый вечерний луч, мешаясь с паром, возбуждал в небольшом мире каменной камеры разноцветный трепет. Доплыв, Цинциннат встал и вышел на сушу. Обтираясь, он боролся с головокружением, с сердечной истомой. Был он очень худ, — и сейчас, при закатном свете, подчеркивавшем тени ребер, самое строение его грудной клетки казалось успехом мимикрии, ибо оно выражало решетчатую сущность его среды, его темницы. Бедненький мой Цинциннат. Обтираясь, стараясь развлечь себя самим собой, он разглядывал все свои жилки и невольно думал о том, что скоро его раскупорят и все это выльется. Кости у него были легкие, тонкие: выжидательно, с младенческим вниманием, снизу вверх взирали на него кроткие ногти на ногах (вы-то милые, вы-то невинные), — и когда он так сидел на койке — голый, всю тощую спину от куприка до шейных позвонков показывая наблюдателям за дверью (там слышался шепот, обсуждалось что-то, шуршали, — но ничего, пусть), Цин-

циннат мог сойти за болезненного отрока, — даже его затылок, с длинной выемкой и хвостиком мокрых волос, был мальчишеский — и на редкость сподручный. Из того же сундучка Цинциннат достал зеркальце и баночку с душистой вытравкой, ему всегда напоминавшей ту необыкновенно густошерстую мышку, которая была у Марфиньки на боку. Втер в колючие щеки, тщательно обходя усы.

Теперь хорошо, чисто. Вздохнул и надел прохладную, еще пахнущую домашней стиркой ночную рубашку.

Стемнело. Он лежал и все продолжал плыть. Родион в обычный час зажег свет и убрал ведро, лохань. Паук спустился к нему на ниточке и сел на палец, который Родион протягивал мохнатому зверьку, беседуя с ним, как с кенарем. Между тем дверь в коридор оставалась чуть приоткрытой, — и там мелькнуло что-то... на миг свесились витые концы бледных локонов и исчезли, когда Родион двинулся, глядя вверх на уходившего под купол цирка крохотного акробата. Дверь все оставалась на четверть приотворенной. Тяжелый, в кожаном фартуке, с курчаво-красной бородой, Родион медлительно двигался по камере и, когда захрипели перед боем часы (приблизившиеся теперь благодаря сквозному сообщению), вынул откуда-то из-за пояса луковицу и сверил. Затем, полагая, что Цинциннат спит, довольно долго смотрел на него, опираясь на метлу, как на алебарду. Неизвестно до чего додумавшись, он зашевелился опять... Тем временем в дверь беззвучно и не очень скоро вбежал красно-синий резиновый мяч, прокатился по катету прямо под койку, на миг скрылся, там звякнулся и выкатился по другому катету, то есть по направлению к Родиону, который, так его и не заметив, случайно его пнул, переступив, — и тогда, по гипотенузе, мяч ушел в ту же дверную промежку, откуда явился. Родион, взяв метлу на плечо, покинул камеру. Свет погас.

Цинциннат не спал, не спал, не спал, — нет, спал, но со стоном опять выкарабкался, — и вот опять не спал, спал, не спал, — и все мешалось, Марфинька, плаха, бархат, — и как это будет, — что? Казнь или свидание? Все слилось окончательно, но он еще на один миг разжмурился, оттого что зажегся свет, и Родион на носках вошел, забрал со стола черный каталог, вышел, погасло.

VI

Что это было — сквозь все страшное, ночное, неповоротливое, — что это было такое? Последним отодвинулось оно, нехотя уступая грузным, огромным возам сна, и вот сейчас первым выбежало, — такое приятное, приятное, — растущее, яснеющее, обливающее горячим сердце: Марфинька нынче придет!

Тут на подносе, как в театре, Родион принес лиловую записку. Цинциннат, присев на постель, прочел следующее: «Миллион извинений! Непростительная оплошность! Сверившись со статьей закона, обнаружилось, что свидание дается лишь по истечении недели после суда. Итак, отложим на завтра. Будьте здоровеньки, кланяйтесь, у нас все то же, хлопот полон рот, краска, присланная для будок, оказалась опять никуда не годной, о чем я уже писал, но безрезультатно».

Родион, стараясь не глядеть на Цинцинната, собирал со стола вчерашнюю посуду. Погода, верно, стояла пасмурная: сверху проникающий свет был серый, и темная кожаная одежда сердобольного Родиона казалась сырой, жухлой.

— Ну что ж, — сказал Цинциннат, — пожалуйста, пожалуйста... Я все равно бессилен. — (Другой Цинциннат, поменьше, плакал, свернувшись калачиком.) — Завтра так завтра. Но я попрошу вас позвать...

— Сию минуту, — выпалил Родион с такой готовностью, словно только и жаждал этого, — метнулся было вон, — но директор, слишком нетерпеливо ждавший за дверью, явился чуть-чуть слишком рано, так что они столкнулись.

Родриг Иванович держал стенной календарь — и не знал, куда его положить.

— Миллион извинений, — крикнул он, — непростительная оплошность! Сверившись со статьей закона... — Дословно повторив свою записку, Родриг Иванович сел в ногах у Цинцинната и поспешно добавил: — Во всяком случае, можете подать жалобу, но считаю долгом вас предупредить, что ближайший съезд состоится осенью, а к тому времени много чего утечет. Ясно?

— Я жаловаться не собираюсь, — сказал Цинциннат, — но хочу вас спросить: существует ли в мнимой природе мнимых вещей, из которых сбит этот мнимый мир, хоть одна такая вещь, которая могла бы служить ручательством, что вы обещание свое исполните?

— Обещание? — удивленно спросил директор, перестав обмахивать себя картонной частью календаря (крепость на закате, акварель). — Какое обещание?

— Насчет завтрашнего прихода моей жены. Пускай в данном случае вы не согласитесь мне дать гарантию, — но я ставлю вопрос шире: существует ли вообще, может ли существовать в этом мире хоть какое-нибудь обеспечение, хоть в чем-нибудь порука, — или даже самая идея гарантии неизвестна тут?

Пауза.

— А бедный-то наш Роман Виссарионович, — сказал директор, — слыхали? Слег, простудился, и, кажется, довольно серьезно...

— Я чувствую, что вы ни за что не ответите мне; это логично, — ибо и безответственность вырабатывает в конце концов свою логику. Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений, скрывая, что жив и действителен, — но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего. По крайней мере, проверю на опыте всю несостоятельность данного мира.

Директор кашлянул — и продолжал как ни в чем не бывало:

— Настолько серьезно, что я как врач не уверен, сможет ли он присутствовать, — то есть выздоровеет ли он к тому времени, — bref[1], удастся ли ему быть на вашем бенефисе...

— Уйдите, — через силу произнес Цинциннат.

— Не падайте духом, — продолжал директор. — Завтра, завтра осуществится то, о чем вы мечтаете... А миленький календарь, правда? Художественная работа. Нет, это я не вам принес.

Цинциннат прикрыл глаза. Когда он взглянул опять, директор стоял к нему спиной посредине камеры. На стуле

---

[1] Короче говоря *(фр.)*.

все еще валялись кожаный фартук и рыжая борода, оставленные, по-видимому, Родионом.

— Нонче придется особенно хорошо убрать вашу обитель, — сказал он, не оборачиваясь, — привести все в порядок по случаю завтрашней встречи... Покамест будем тут мыть пол, я вас попрошу... вас попрошу...

Цинциннат зажмурился снова, и уменьшившийся голос продолжал:

— ...вас попрошу выйти в коридор. Это продлится недолго. Приложим все усилия, дабы завтра должным образом, чисто, нарядно, торжественно...

— Уйдите, — воскликнул Цинциннат, привстав и весь трясясь.

— Никак не могим, — степенно произнес Родион, возясь с ремнями фартука. — Придется тут того, — поработать. Вишь пыли-то... Сами спасибочко скажете.

Он посмотрелся в карманное зеркальце, взбил на щеках бороду и, наконец подойдя к койке, подал Цинциннату одеться. В туфли было предусмотрительно напихано немного скомканной бумаги, а полы халата были аккуратно подогнуты и зашпилены. Цинциннат, покачиваясь, оделся и, слегка опираясь на руку Родиона, вышел в коридор. Там он сел на табурет, заложив руки в рукава, как больной. Родион, оставив дверь палаты широко открытой, принялся за уборку. Стул был поставлен на стол; с койки сорвана была простыня; звякнула ведерная дужка; сквозняк перебрал бумаги на столе, и один лист спланировал на пол.

— Что же вы это раскисли? — крикнул Родион, возвышая голос над шумом воды, шлепаньем, стуком. — Пошли бы прогуляться маленько, по колидорам-то... Да не бойтесь, — я тут как тут в случае чего, только кликните.

Цинциннат послушно встал с табурета, — но едва он двинулся вдоль холодной стены, несомненно сродной скале, на которой выросла крепость; едва он отошел несколько шагов, — и каких шагов! слабых, невесомых, смиренных; едва он обратил местоположение Родиона, отворенной двери, ведер в уходящую вспять перспективу, — как Цинциннат почувствовал струю свободы. Она плеснула шире, когда он завернул за угол. Голые стены, кроме потных разводов и трещин, не были оживлены ничем; только

в одном месте кто-то расписался охрой, малярным махом: «Проба кисти, проба кис» — и уродливый оплыв. От непривычки ходить одному у Цинцинната размякли мышцы, в боку закололо.

Вот тогда-то Цинциннат остановился и, озираясь, как будто только что попал в эту каменную глушь, собрал всю свою волю, представил себе во весь рост свою жизнь и попытался с предельной точностью уяснить свое положение. Обвиненный в страшнейшем из преступлений, в гносеологической гнусности, столь редкой и неудобосказуемой, что приходится пользоваться обиняками вроде: непроницаемость, непрозрачность, препона; приговоренный за оное преступление к смертной казни; заключенный в крепость в ожидании неизвестного, но близкого, но неминучего срока этой казни (которая ясно предощущалась им как выверт, рывок и хруст чудовищного зуба, причем все его тело было воспаленной десной, а голова этим зубом); стоящий теперь в коридоре темницы с замирающим сердцем, — еще живой, еще непочатый, еще цинциннатный, — Цинциннат Ц. почувствовал дикий позыв к свободе, к самой простой, вещественной, вещественно-осуществимой свободе, и мгновенно вообразил — с такой чувственной отчетливостью, точно это все было текучее, венцеобразное излучение его существа, — город за обмелевшей рекой, город, из каждой точки которого была видна, — то так, то этак, то яснее, то синее, — высокая крепость, внутри которой он сейчас находился. И настолько сильна и сладка была эта волна свободы, что все показалось лучше, чем на самом деле: его тюремщики, каковыми, в сущности, были все, показались сговорчивей... в тесных видениях жизни разум выглядывал возможную стежку... играла перед глазами какая-то мечта... словно тысяча радужных иголок вокруг ослепительного солнечного блика на никелированном шаре... Стоя в тюремном коридоре и слушая полновесный звон часов, которые как раз начали свой неторопливый счет, он представил себе жизнь города такой, какой она обычно бывала в этот свежий утренний час: Марфинька, опустив глаза, идет с корзинкою из дому по голубой панели, за ней в трех шагах черноусый хват; плывут, плывут по бульвару сделанные в виде лебедей или

лодок электрические вагонетки, в которых сидишь как в карусельной люльке; из мебельных складов выносят для проветривания диваны, кресла, и мимоходом на них присаживаются отдохнуть школьники, и маленький дежурный с тачкой, полной общих тетрадок и книг, утирает лоб, как взрослый артельщик; по освеженной, влажной мостовой стрекочут заводные, двухместные «часики», как зовут их тут в провинции (а ведь это выродившиеся потомки машин прошлого, тех великолепных лаковых раковин... почему я вспомнил? да — снимки в журнале); Марфинька выбирает фрукты; дряхлые, страшные лошади, давным-давно переставшие удивляться достопримечательностям ада, развозят с фабрик товар по городским выдачам; уличные продавцы хлеба, с золотистыми лицами, в белых рубахах, орут, жонглируя булками: подбрасывая их высоко, ловя и снова крутя их; у окна, обросшего глициниями, четверо веселых телеграфистов пьют, чокаются и поднимают бокалы за здоровье прохожих; знаменитый каламбурист, жадный хохлатый старик в красных шелковых панталонах, пожирает, обжигаясь, поджаренные хухрики в павильоне на Малых Прудах; вот облака прорвались, и под музыку духового оркестра пятнистое солнце бежит по пологим улицам, заглядывает в переулки; быстро идут прохожие; пахнет липой, карбурином, мокрой пылью; вечный фонтан у мавзолея капитана Сонного широко орошает, ниспадая, каменного капитана, барельеф у его слоновых ног и колышемые розы; Марфинька, опустив глаза, идет домой с полной корзиной, за ней в трех шагах белокурый франт... Так Цинциннат смотрел и слушал сквозь стены, пока били часы, и хотя все в этом городе на самом деле было всегда совершенно мертво и ужасно по сравнению с тайной жизнью Цинцинната и его преступным пламенем, хотя он знал это твердо и знал, что надежды нет, а все-таки в эту минуту захотелось попасть на знакомые, пестрые улицы... но вот часы дозвенели, мыслимое небо заволоклось, и темница опять вошла в силу.

Цинциннат затаил дыхание, двинулся, остановился опять, прислушался: где-то впереди, в неведомом отдалении, раздался стук.

Это был мерный, мелкий, токающий стук, и Цинциннат, у которого сразу затрепетали все листики, почуял в нем приглашение. Он пошел дальше, очень внимательный, мерцающий, легкий; в который раз завернул за угол. Стук прекратился, но потом словно перелетел поближе, как невидимый дятел. Ток, ток, ток. Цинциннат ускорил шаг, и опять темный коридор загнулся. Вдруг стало светлее, — хотя не по-дневному, — и вот стук сделался определенным, довольным собой. Впереди бледно освещенная Эммочка бросала об стену мяч.

Проход в этом месте был широк, и сначала Цинциннату показалось, что в левой стене находится большое глубокое окно, откуда и льется тот странный добавочный свет. Эммочка, нагнувшись, чтобы поднять мяч, а заодно подтянуть носок, хитро и застенчиво оглянулась. На ее голых руках и вдоль голеней дыбом стояли светлые волоски. Глаза блестели сквозь белесые ресницы. Вот она выпрямилась, откидывая с лица льняные локоны той же рукой, которой держала мяч.

— Тут нельзя ходить, — сказала она, у нее было что-то во рту — щелкнуло за щекой, ударилось о зубы.

— Что это ты сосешь? — спросил Цинциннат.

Эммочка высунула язык; на его самостоятельно живом кончике лежал ярчайший барбарисовый леденец.

— У меня еще есть, — сказала она, — хотите?

Цинциннат покачал головой.

— Тут нельзя ходить, — повторила Эммочка.

— Почему? — спросил Цинциннат.

Она пожала плечом и, ломаясь, выгибая руку с мячом и напрягая икры, подошла к тому месту, где ему показалось — углубление, окно, — и там, ерзая, вдруг становясь голенастее, устроилась на каменном выступе вроде подоконника.

Нет, это было лишь подобие окна; скорее — витрина, а за ней — да, конечно, как не узнать! — вид на Тамарины Сады. Намалеванный в нескольких планах, выдержанный в мутно-зеленых тонах и освещенный скрытыми лампочками, ландшафт этот напоминал не столько террариум или театральную макету, сколько тот задник, на фоне которого тужится духовой оркестр. Все передано было довольно

точно в смысле группировок и перспектив, — и кабы не вялость красок, да неподвижность древесных верхушек, да непроворность освещения, можно было бы, прищурившись, представить себе, что глядишь через башенное окно, вот из этой темницы, на те сады. Снисходительный глаз узнавал эти дороги, эту курчавую зелень рощ, и справа портик, и отдельные тополя, и даже бледный мазок посреди неубедительной синевы озера, — вероятно, лебедь. А в глубине, в условном тумане, круглились холмы, и над ними, на том темно-сизом небе, под которым живут и умирают лицедеи, стояли неподвижные кучевые облака. И все это было как-то не свежо, ветхо, покрыто пылью, и стекло, через которое смотрел Цинциннат, было в пятнах, — по иным из них можно было восстановить детскую пятерню.

— А все-таки выведи меня туда, — прошептал Цинциннат, — я тебя умоляю.

Он сидел рядом с Эммочкой на каменном выступе, и оба всматривались в искусственную даль за витриной, она загадочно водила пальцем по вьющимся тропам, и от ее волос пахло ванилью.

— Тятька идет, — вдруг хрипло и скоро проговорила она, оглянувшись; соскочила на пол и скрылась.

Действительно, со стороны, противоположной той, с которой пришел Цинциннат (сперва даже подумалось — зеркало), близился Родион, позванивая ключами.

— Пожалте домой, — сказал он шутливо.

Свет потух в витрине, и Цинциннат сделал шаг, намереваясь вернуться тем же путем, которым сюда добрался.

— Куды, куды, — крикнул Родион, — подите прямо, так ближе.

И только тогда Цинциннат сообразил, что коленья коридора никуда не уводили его, а составляли широкий многоугольник, — ибо теперь, завернув за угол, он увидел в глубине свою дверь, а не доходя до нее, прошел мимо камеры, где содержался новый арестант. Дверь этой камеры была настежь, и там, в своей полосатой пижамке, стоял на стуле уже виденный симпатичный коротыш и прибивал к стене календарь: ток, ток — как дятел.

— Не заглядывайтесь, девица красная, — добродушно сказал Родион. — Домой, домой. Убрано-то как у вас, а? Таперича и гостей принять не стыдно.

Особенно, казалось, был он горд тем, что паук сидел на чистой, безукоризненно правильной, очевидно только что созданной паутине.

VII

Очаровательное утро! Свободно, без прежнего трения, оно проникало сквозь зарешеточное стекло, промытое вчера Родионом. Новосельем так и несло от желтых, липких стен. Стол покрывала свежая скатерть, еще с воздухом, необлегающая. Щедро окаченный каменный пол дышал фонтанной прохладой.

Цинциннат надел лучшее, что у него с собой было, — и пока он натягивал белые, шелковые чулки, которые на гала-представлениях имел право носить как педагог, — Родион внес мокрую хрустальную вазу со щекастыми пионами из директорского садика и поставил ее на стол, посередке, — нет, не совсем посередке; вышел, пятясь, а через минуту вернулся с табуретом и добавочным стулом, и мебель разместил не как-нибудь, — а с расчетом и вкусом. Входил он несколько раз, и Цинциннат не смел спросить: «Скоро ли?» — и, как бывает в тот особенно бездеятельный час, когда, празднично выглаженный, ждешь гостей и ничем как-то нельзя заняться, — слонялся, то присаживаясь в непривычных углах, то поправляя в вазе цветы, — так что наконец Родион сжалился и сказал, что теперь уже скоро.

Ровно в десять вдруг явился Родриг Иванович, в лучшем, монументальнейшем своем сюртуке, пышный, неприступный, сдержанно возбужденный; поставил массивную пепельницу и все осмотрел (за исключением одного только Цинцинната, поступая как поглощенный своим делом мажордом, внимание направляющий лишь на убранство мертвого инвентаря, живому же предоставляя самому украситься). Вернулся он, неся зеленый флакон, снабженный резиновой грушей, и с мощным шумом стал выдувать

сосновое благовоние, довольно бесцеремонно оттолкнув Цинцинната, когда тот попался ему под ноги. Стулья Родриг Иванович поставил иначе, чем Родион, и долго смотрел выпученными глазами на спинки: они были разнородны — одна лирой, другая покоем. Наконец, надув щеки и выпустив со свистом воздух, повернулся к Цинциннату.

— А вы-то готовы? — спросил он. — Все у вас нашлось? Пряжки целы? Почему у вас тут как-то смято? Эх вы... Покажите ладошки. Bon[1]. Теперь постарайтесь не замараться. Я думаю, что уже не долго.

Он вышел, и с перекатами зазвучал в коридоре его сочный распорядительский бас. Родион отворил дверь камеры, закрепил ее в таком положении и на пороге развернул поперечно-полосатый половичок.

— Идут-с, — шепнул он с подмигом и снова скрылся.

Вот где-то трижды трахнул ключ в замке, раздались смешанные голоса, прошло дуновение, от которого зашевелились волосы у Цинцинната...

Он очень волновался, и дрожь на губах все принимала образ улыбки.

— Сюда, вот мы уже и пришли, — донеслось басистое приговаривание директора, и в следующее мгновение он появился, галантно, под локоток, вводя толстенького полосатенького арестантика, который, прежде чем войти, остановился на половичке, беззвучно составил вместе сафьяновые ступни и ловко поклонился.

— Позвольте вам представить м-сье Пьера, — обратился, ликуя, директор к Цинциннату. — Пожалуйте, пожалуйте, м-сье Пьер, вы не можете вообразить, как вас тут ждали... Знакомьтесь, господа... Долгожданная встреча... Поучительное зрелище... Не побрезгайте, м-сье Пьер, не взыщите...

Он сам не знал, что говорит, — захлебывался, тяжело пританцовывал, потирал руки, лопался от сладостного смущения.

М-сье Пьер, очень спокойный и собранный, подошел, поклонился снова, — и Цинциннат машинально обменялся с ним рукопожатием, причем тот на какие-то полсекунды

---

[1] Хорошо *(фр.)*.

дольше, чем это бывает обычно, задержал в своей мягкой маленькой лапе ускользавшие пальцы Цинцинната, как затягивает пожатие пожилой ласковый доктор, — так мягко, так аппетитно, — и вот отпустил.

Певучим, тонким горловым голосом м-сье Пьер сказал:

— Я тоже чрезвычайно рад с вами наконец познакомиться. Смею надеяться, что мы сойдемся короче.

— Именно, именно, — захохотал директор, — ах, садитесь... Будьте как дома... Коллега так счастлив вас видеть у себя, что не находит слов.

М-сье Пьер сел, и тут оказалось, что его ножки не совсем хватают до полу: это, впрочем, нисколько не отнимало у него ни солидности, ни той особой грациозности, которою природа одаривает некоторых отборных толстячков. Своими светлыми, глазированными глазами он вежливо глядел на Цинцинната, а Родриг Иванович, присев тоже к столу, посмеивающийся, науськивающий, опьяневший от удовольствия, переводил взгляд с одного на другого, жадно следя после каждого слова гостя за впечатлением, производимым им на Цинцинната.

М-сье Пьер сказал:

— Вы необыкновенно похожи на вашу матушку. Мне лично никогда не довелось видеть ее, но Родриг Иванович любезно обещал показать мне ее карточку.

— Слушаю-с, — сказал директор, — достанем.

М-сье Пьер продолжал:

— Я и вообще, помимо этого, увлекаюсь фотографией смолоду, мне теперь тридцать лет, а вам?

— Ему ровно тридцать, — сказал директор.

— Ну вот видите, я, значит, правильно угадал. Раз вы тоже этим интересуетесь, я вам сейчас покажу...

С привычной прыткостью он вынул из грудного карманчика пижамной куртки разбухший бумажник, а из него — толстую стопочку любительских снимков самого мелкого размера. Перебирая их, как крохотные карты, он принялся их класть по одной штучке на стол, а Родриг Иванович хватал, вскрикивал от восхищения, долго рассматривал, — и медленно, продолжая любоваться снимком или уже потягиваясь к следующему, передавал дальше, — хотя дальше

все было недвижно и безмолвно. На всех этих снимках был м-сье Пьер, м-сье Пьер в разнообразнейших положениях, — то в саду, с премированным томатищем в руках, то подсевший одной ягодицей на какие-то перила (профиль, трубка во рту), то за чтением в качалке, а рядом стакан с соломинкой...

— Превосходно, замечательно, — приговаривал Родриг Иванович, ёжась, качая головой, впиваясь в каждый снимок или даже держа сразу два и перебегая взглядом с одного на другой. — У-ух, какие у вас тут бицепсы! Кто бы мог подумать — при вашей-то изящной комплекции. Сногсшибательно! Ах ты прелесть какая, — с птичкой разговариваете!

— Ручная, — сказал м-сье Пьер.

— Презабавно! Ишь как... А это что же такое — никак арбуз кушаете!

— Так точно, — сказал м-сье Пьер. — Те вы уже просмотрели. Вот — пожалуйте.

— Очаровательно, доложу я вам. Давайте-ка эту порцию сюда, он еще ее не видал...

— Жонглирую тремя яблоками, — сказал м-сье Пьер.

— Здорово! — директор даже прицокнул.

— За утренним чаем, — сказал м-сье Пьер: — это — я, а это — мой покойный батюшка.

— Как же, как же, узнаю... Благороднейшие морщины!

— На берегу Стропи, — сказал м-сье Пьер. — Вы там бывали? — обратился он к Цинциннату.

— Кажется, что нет, — ответил Родриг Иванович. — А это где же? Какое элегантное пальтецо! Знаете что, а ведь вы тут выглядите старше своих лет. Погодите, я хочу еще раз ту, где с лейкой.

— Ну вот... Это все, что у меня с собой, — сказал м-сье Пьер и опять обратился к Цинциннату: — Если бы я знал, что вы так этим интересуетесь, я бы захватил еще, у меня альбомов с десяток наберется.

— Чудесно, поразительно, — повторял Родриг Иванович, вытирая сиреневым платком глаза, увлажнившиеся от всех этих счастливых смешков, ахов, переживаний.

М-сье Пьер сложил бумажник. Вдруг у него очутилась в руках колода карт.

— Задумайте, пожалуйста, любую, — предложил он, раскладывая карты на столе; локтем отодвинул пепельницу; продолжал раскладывать.

— Мы задумали, — бодро сказал директор.

М-сье Пьер, немножко дурачась, приставил перст к челу; затем быстро собрал карты, молодцевато протрещал колодой и выбросил тройку треф.

— Это удивительно, — воскликнул директор. — Просто удивительно!

Колода исчезла так же незаметно, как появилась, — и, сделав невозмутимое лицо, м-сье Пьер сказал:

— Приходит к доктору старушка: у меня, говорит, господин доктор, очень сурьезная болесть, страсть боюсь, что от нее помру... «Какие же у вас симптомы?» — «Голова трясется, господин доктор», — и м-сье Пьер, шамкая и трясясь, изобразил старушку.

Родриг Иванович дико захохотал, хлопнув кулаком по столу, едва не упал со стула, закашлялся, застонал, насилу успокоился.

— Да вы, м-сье Пьер, душа общества, — проговорил он, плача, — сущая душа! Такого уморительного анекдотца я отроду не слыхал!

— Какие мы печальные, какие нежные, — обратился м-сье Пьер к Цинциннату, вытягивая губы, как если бы хотел рассмешить надувшегося ребенка. — Все молчим да молчим, а усики у нас трепещут, а жилка на шейке бьется, а глазки мутные...

— Все от радости, — поспешно вставил директор. — N'y faites pas attention[1].

— Да, в самом деле, радостный день, красный день, — сказал м-сье Пьер, — у меня самого душа так и кипит... Не хочу хвастаться, но во мне, коллега, вы найдете редкое сочетание внешней общительности и внутренней деликатности, разговорчивости и умения молчать, игривости и серьезности... Кто утешит рыдающего младенца, кто подклеит его игрушку? М-сье Пьер. Кто заступится за вдовицу? М-сье Пьер. Кто снабдит трезвым советом, кто укажет

[1] Не обращайте внимания *(фр.)*.

лекарство, кто принесет отрадную весть? Кто? Кто? М-сье Пьер. Все — м-сье Пьер.

— Замечательно! Талант! — воскликнул директор, словно слушал стихи, — а между тем все поглядывал, шевеля бровью, на Цинцинната.

— Вот мне и кажется, — продолжал м-сье Пьер. — Да, кстати, — перебил он самого себя, — вы довольны помещением? По ночам не холодно? Кормят вас досыта?

— Он получает то же, что и я, — ответил Родриг Иванович, — стол прекрасный.

— Прекрасный стол под орех, — пошутил м-сье Пьер.

Директор собрался опять грохнуть, но тут дверь отворилась и появился мрачный, длинный библиотекарь с кипой книг под мышкой. Горло у него было обмотано шерстяным шарфом. Ни с кем не поздоровавшись, он свалил книги на койку, — над ними в воздухе на мгновение повисли стереометрические призраки этих книг, построенные из пыли, — повисли, дрогнули и рассеялись.

— Постойте, — сказал Родриг Иванович, — вы, кажется, незнакомы.

Библиотекарь не глядя кивнул, а учтивый м-сье Пьер приподнялся со стула.

— М-сье Пьер, пожалуйста, — взмолился директор, прикладывая ладонь к манишке, — пожалуйста, покажите ему ваш фокус!

— Ах, стоит ли... Это так, пустое... — заскромничал м-сье Пьер, но директор не унимался:

— Чудо! Красная магия! Мы вас все умоляем! Ну сделайте милость... Постойте, постойте же, — крикнул он библиотекарю, который двинулся было к двери. — Сейчас м-сье Пьер кое-что покажет. Просим, просим! Да не уходите вы...

— Задумайте одну из этих карт, — с комической важностью произнес м-сье Пьер; стасовал; выбросил пятерку пик.

— Нет, — сказал библиотекарь и вышел.

М-сье Пьер пожал кругленьким плечом.

— Я сейчас вернусь, — пробормотал директор и вышел тоже.

Цинциннат и его гость остались одни. Цинциннат раскрыл книжку и углубился в нее, то есть все перечитывал первую фразу. М-сье Пьер с доброй улыбкой смотрел на него, положив лапку на стол ладошкой кверху, точно предлагал Цинциннату мир. Директор вернулся. Он крепко держал в кулаке шерстяной шарф.

— Может быть вам, м-сье Пьер, пригодится, — сказал он, подал шарф, сел, шумно, как лошадь, отсапал и стал рассматривать большой палец, с конца которого серпом торчал полусорванный ноготь.

— О чем, бишь, мы говорили? — с прелестным тактом, будто ничего не случилось, воскликнул м-сье Пьер. — Да — мы говорили о фотографиях. Как-нибудь я принесу свой аппарат и сниму вас. Это будет весело. Что вы читаете, можно взглянуть?

— Книжку бы отложили, — заметил директор срывающимся голосом, — ведь у вас гость сидит.

— Оставьте его, — улыбнулся м-сье Пьер.

Наступило молчание.

— Становится поздно, — глухо произнес директор, посмотрев на часы.

— Да, сейчас пойдем... Фу, какой бука... Смотрите, смотрите, — губки вздрагивают... солнышко, кажись, вот-вот выглянет... Бука, бука!..

— Пошли, — сказал директор, встав.

— Сейчас... Мне здесь так приятно, что прямо не оторваться... Во всяком случае, милый мой сосед, буду пользоваться разрешением приходить к вам часто, часто, — если, конечно, вы мне разрешение даете, — а ведь вы мне даете его, — правда?.. Итак, до свидания. До свидания! До свидания!

Смешно кланяясь, кому-то подражая, м-сье Пьер отретировался; директор опять взял его под локоток, издавая сладострастно гнусавые звуки. Ушли, — но в последнюю минуту донеслось: «Виноват, кое-что забыл, сейчас догоню вас», — и директор хлынул назад в камеру, близко подошел к Цинциннату, улыбка сошла на мгновение с его лилового лица.

— Мне стыдно, — просвистел он сквозь зубы, — стыдно за вас. Вы себя вели как... Иду, иду, — заорал он, опять

сияя, — схватил со стола вазу с пионами и, расплескивая воду, вышел.

Цинциннат все глядел в книгу. На страницу попала капля. Несколько букв сквозь каплю из петита обратились в цицеро, вспухнув, как под лежачей лупой.

VIII

(Есть, которые чинят карандаш к себе, будто картошку чистят, а есть, которые стругают от себя, как палку... К последним принадлежал Родион. У него был старый складной нож с несколькими лезвиями и штопором. Штопор ночевал снаружи.)

«Нынче восьмой день, — (писал Цинциннат карандашом, укоротившимся более чем на треть), — и я еще не только жив, то есть собою обло ограничен и затмен, но, как и всякий смертный, смертного своего предела не ведаю и могу применить к себе общую для всех формулу: вероятность будущего уменьшается в обратной зависимости от его умозримого удаления. Правда, в моем случае осторожность велит орудовать только очень небольшими цифрами, — но ничего, ничего, я жив. На меня этой ночью, — и случается так не впервые, — нашло особенное: я снимаю с себя оболочку за оболочкой, и наконец... не знаю, как описать, — но вот что знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь! — как перстень с перлом в кровавом жиру акулы, — о мое верное, мое вечное... и мне довольно этой точки, — собственно, больше ничего не надо. Быть может, гражданин столетия грядущего, поторопившийся гость (хозяйка еще и не вставала), быть может, просто так — ярмарочный монстр в глазеющем, безнадежно-праздничном мире, — я прожил мучительную жизнь, и это мучение хочу изложить, — но все боюсь, что не успею. С тех пор, как помню себя, — а помню себя с беззаконной зоркостью, — собственный сообщник, который слишком много знает о себе, а потому опасен, а потому... Я исхожу из такого жгучего мрака, таким вьюсь волчком, с такой толкающей силой, пылом, — что до сих пор ощу-

щаю (порою во сне, порою погружаясь в очень горячую воду) тот исконный мой трепет, первый ожог, пружину моего я. Как я выскочил, — скользкий, голый! Да, из области, другим заказанной и недоступной, да, я кое-что знаю, да... но даже теперь, когда все равно кончено, даже теперь... Боюсь ли кого соблазнить? Или ничего не получится из того, что хочу рассказать, а лишь останутся черные трупы удавленных слов, как висельники... вечерние очерки глаголей, воронье... Мне кажется, что я бы предпочел веревку, оттого что достоверно и неотвратимо знаю, что будет топор; выигрыш времени, которое сейчас настолько мне дорого, что я ценю всякую передышку, отсрочку... я имею в виду время мысли, — отпуск, который даю своей мысли для дарового путешествия от факта к фантазии — и обратно... Я еще многое имею в виду, но неумение писать, спешка, волнение, слабость... Я кое-что знаю. Я кое-что знаю. Но оно так трудно выразимо! Нет, не могу... хочется бросить, — а вместе с тем — такое чувство, что, кипя, поднимаешься как молоко, что сойдешь с ума от щекотки, если хоть как-нибудь не выразишь. О нет, — я не облизываюсь над своей личностью, не затеваю со своей душой жаркой возни в темной комнате; никаких, никаких желаний, кроме желания высказаться — всей мировой немоте назло. Как мне страшно. Как мне тошно. Но меня у меня не отнимет никто. Мне страшно, — и вот я теряю какую-то нить, которую только что так ощутимо держал. Где она? Выскользнула! Дрожу над бумагой, догрызаюсь до графита, горбом стараюсь закрыться от двери, через которую сквозной взгляд колет меня в затылок, — и кажется, вот-вот все скомкаю, разорву... Ошибкой попал я сюда — не именно в темницу, — а вообще в этот страшный, полосатый мир: порядочный образец кустарного искусства, но в сущности — беда, ужас, безумие, ошибка, — и вот обрушил на меня свой деревянный молот исполинский резной медведь. А ведь с раннего детства мне снились сны... В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; люди, которых я наяву так боялся, появлялись там в трепетном преломлении, словно пропитанные и окруженные той игрой воздуха, которая в зной дает жизнь самым очертаниям предметов; их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение

одежды — приобретали волнующую значительность; проще говоря: в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным и воздушным, что потом мне уже бывало тесно дышать прахом нарисованной жизни. К тому же я давно свыкся с мыслью, что называемое снами есть полудействительность, обещание действительности, ее преддверие и дуновение, то есть что они содержат в себе, в очень смутном, разбавленном состоянии, — больше истинной действительности, чем наша хваленая явь, которая, в свой черед, есть полусон, дурная дремота, куда извне проникают, странно, дико изменяясь, звуки и образы действительного мира, текущего за периферией сознания, — как бывает, что во сне слышишь лукавую, грозную повесть, потому что шуршит ветка по стеклу, или видишь себя проваливающимся в снег, потому что сползает одеяло. Но как я боюсь проснуться! Как боюсь того мгновения, вернее: половины мгновения, — уже тогда срезанного, когда, по-дровосечному гакнув... А чего же бояться? Ведь для меня это уже будет лишь тень топора, и низвергающееся “ать” не этим слухом услышу. Все-таки боюсь! Так просто не отпишешься. Да и нехорошо, что мою мысль все время засасывает дыра в будущем, — хочу я о другом, хочу другое пояснить... но пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт. У меня, кажется, скоро откроется третий глаз сзади, на шее, между моих хрупких позвонков: безумное око, широко отверстое, с дышащей зеницей и розовыми извилинами на лоснистом яблоке. Не тронь! Даже — сильнее, с сипотой: не трожь! Я все предчувствую! И часто у меня звучит в ушах мой будущий всхлип и страшный клокочущий кашель, которым исходит свежеобезглавленный. Но все это — не то, и мое рассуждение о снах и яви — тоже не то... Стой! Вот опять чувствую, что сейчас выскажусь по-настоящему, затравлю слово. Увы, никто не учил меня этой ловитве, и давно забыто древнее врожденное искусство писать, когда оно в школе не нуждалось, а загоралось и бежало как пожар, — и теперь оно кажется таким же невозможным, как музыка, некогда извлекаемая из чудовищной рояли, которая проворно журчала или вдруг раскалывала мир на огромные, сверкающие, цельные куски, — я-то сам так отчетливо представляю себе все это,

но вы — не я, вот в чем непоправимое несчастье. Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя этим отражением, — так что вся строка — живой перелив; догадываясь о таком соседстве слов, я, однако, добиться его не могу, а это-то мне необходимо для несегодняшней и нетутошней моей задачи. Не тут! Тупое "тут", подпертое и запертое четою "твердо", темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. Но какие просветы по ночам, какое... Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же существовать образец, если существует корявая копия. Сонный, выпуклый, синий, он медленно обращается ко мне. Это как будто в пасмурный день валяешься на спине с закрытыми глазами, — и вдруг трогается темнота под веками, понемножку переходит в томную улыбку, а там и в горячее ощущение счастья, и знаешь: это выплыло из-за облаков солнце. Вот с такого ощущения начинается мой мир: постепенно яснеет дымчатый воздух, — и такая разлита в нем лучащаяся, дрожащая доброта, так расправляется моя душа в родимой области... Но дальше, дальше?.. Да, вот черта, за которой теряю власть... Слово, извлеченное на воздух, лопается, как лопаются в сетях те шарообразные рыбы, которые дышат и блистают только на темной, сдавленной глубине. Но я делаю последнее усилие, и вот, кажется, добыча есть, — о, лишь мгновенный облик добычи! Там — неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки; там время складывается по желанию, как узорчатый ковер, складки которого можно так собрать, чтобы соприкоснулись любые два узора на нем, — и вновь раскладывается ковер, и живешь дальше, или будущую картину налагаешь на прошлую, без конца, без конца, — с ленивой, длительной пристальностью женщины, подбирающей кушак к платью, — и вот она плавно двинулась по направлению ко мне, мерно бодая бархат коленом, — все понявшая и мне понятная... Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своею чарующей

очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто той забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик... И все это — не так, не совсем так, — и я путаюсь, топчусь, завираюсь, — и чем больше двигаюсь и шарю в воде, где ищу на песчаном дне мелькнувший блеск, тем мутнее вода, тем меньше вероятность, что найду, схвачу. Нет, я еще ничего не сказал или сказал только книжное... и в конце концов следовало бы бросить, и я бросил бы, ежели трудился бы для кого-либо сейчас существующего, но так как нет в мире ни одного человека, говорящего на моем языке; или короче: ни одного человека, говорящего; или еще короче: ни одного человека, то заботиться мне приходится только о себе, о той силе, которая нудит высказаться. Мне холодно, я ослаб, мне страшно, затылок мой мигает и жмурится, и снова безумно-пристально смотрит, — но все-таки — я, как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу, — и не встану, пока не выскажусь... Повторяю (ритмом повторных заклинаний, набирая новый разгон), повторяю: кое-что знаю, кое-что знаю, кое-что... Еще ребенком, еще живя в канареечно-желтом, большом, холодном доме, где меня и сотни других детей готовили к благополучному небытию взрослых истуканов, в которые ровесники мои без труда, без боли все и превратились; еще тогда, в проклятые те дни, среди тряпичных книг, и ярко расписанных пособий, и проникающих душу сквозняков, — я знал без узнавания, я знал без удивления, я знал, как знаешь себя, я знал то, что знать невозможно, — знал, пожалуй, еще яснее, чем знаю сейчас. Ибо замаяла меня жизнь: постоянный трепет, утайка знания, притворство, страх, болезненное усилие всех нервов — не сдать, не прозвенеть... и до сих пор у меня еще болит то место памяти, где запечатлелось самое начало этого усилия, то есть первый раз, когда я понял, что вещи, казавшиеся мне естественными, на самом деле запретны, невозможны, что всякий помысел о них преступен. Хорошо же запомнился тот день! Должно быть, я тогда только что научился выводить буквы, ибо вижу себя с тем медным колечком на мизинце, которое надевалось детям, умеющим уже списывать слова с куртин в школьном саду, где пету-

нии, флоксы и бархатцы образовали длинные изречения. Я сидел с ногами на низком подоконнике и смотрел сверху, как на газоне сада мои сверстники, в таких же долгих розовых рубашках, в какой был я, взявшись за руки, кружатся около столба с лентами. Был ли я наказан? Нет, вернее неохота других детей принимать меня в игру и смертельное стеснение, стыд, тоска, которые я сам ощущал, присоединяясь к ним, заставили меня предпочесть этот белый угол подоконника, резко ограниченный тенью полуотворенной рамы. До меня доносились восклицания, требуемые игрой, повелительно-звонкий голос рыжей гички, я видел ее локоны и очки, — и с брезгливым ужасом, никогда не покидавшим меня, наблюдал, как самых маленьких она подталкивала, чтобы они вертелись шибче. И эта учительница, и полосатый столб, и белые облака, пропускавшие скользящее солнце, которое вдруг проливало такой страстный, ищущий чего-то свет, так искрометно повторялось в стекле откинутой рамы... Словом, я чувствовал такой страх и грусть, что старался потонуть в себе самом, там притаиться, точно хотел затормозить и выскользнуть из бессмысленной жизни, несущей меня. В это время в конце каменной галереи, где я находился, появился старейший из воспитателей — имени его не помню, — толстый, потный, с мохнатой черной грудью, — отправлялся купаться. Еще издали крикнув мне голосом, преувеличенным акустикой, чтобы я шел в сад, он быстро приблизился, взмахнул полотенцем. В печали, в рассеянии, бесчувственно и невинно, — вместо того чтобы спуститься в сад по лестнице (галерея находилась в третьем этаже), — я, не думая о том, что делаю, но, в сущности, послушно, даже смиренно, прямо с подоконника сошел на пухлый воздух и, — ничего не испытав особенного кроме полуощущения босоты (хотя был обут), — медленно двинулся, естественнейшим образом ступил вперед, все так же рассеянно посасывая и разглядывая палец, который утром занозил... но вдруг необыкновенная, оглушительная тишина вывела меня из раздумья, — я увидел внизу поднятые ко мне, как бледные маргаритки, лица оцепеневших детей и как бы падавшую навзничь гичку, увидел и кругло остриженные кусты, и еще не долетевшее до газона полотенце, увидел себя самого —

мальчика в розовой рубашке, застывшего стоймя среди воздуха, — увидел, обернувшись, в трех воздушных от себя шагах только что покинутое окно и протянувшего мохнатую руку, в зловещем изумлении...»

(Тут, к сожалению, погас в камере свет, — он тушился Родионом ровно в десять.)

IX

И снова день открылся гулом голосом. Родион угрюмо распоряжался, ему помогали еще трое служителей. На свидание явилась вся семья Марфиньки, со всею мебелью. Не так, не так воображали мы эту долгожданную встречу... Как они вваливались! Старый отец Марфиньки — огромная лысая голова, мешки под глазами, каучуковый стук черной трости; братья Марфиньки — близнецы, совершенно схожие, но один с золотыми усами, а другой со смоляными; дед и бабка Марфиньки по матери — такие старые, что уже просвечивали; три бойкие кузины, которых, однако, в последнюю минуту почему-то не пропустили; Марфинькины дети — хромой Диомедон и болезненно полненькая Полина; наконец, сама Марфинька, в своем выходном черном платье, с бархаткой вокруг белой холодной шеи и зеркалом в руке; при ней неотступно находился очень корректный молодой человек с безукоризненным профилем.

Тесть, опираясь на трость, сел в прибывшее вместе с ним кожаное кресло, поставил с усилием толстую замшевую ногу на скамеечку и, злобно качая головой, из-под тяжелых век уставился на Цинцинната, которого охватило знакомое мутное чувство при виде бранденбургов, украшающих теплую куртку тестя, морщин около его рта, выражающих как бы вечное отвращение, и багрового пятна на жилистом виске, со вздутием вроде крупной изюмины на самой жиле.

Дед и бабка (он — дрожащий, ощипанный, в заплатанных брючках; она — стриженая, с белым бобриком, и такая худенькая, что могла бы натянуть на себя шелковый чехол зонтика), расположились рядышком на двух одинаковых стульях с высокими спинками; дед не выпускал из малень-

ких волосатых рук громоздкого, в золоченой раме, портрета своей матери — туманной молодой женщины, державшей, в свою очередь, какой-то портрет.

Между тем все продолжали прибывать мебель, утварь, даже отдельные части стен. Сиял широкий зеркальный шкаф, явившийся со своим личным отражением (а именно: уголок супружеской спальни, — полоса солнца на полу, оброненная перчатка и открытая в глубине дверь). Вкатили невеселый с ортопедическими ухищрениями велосипедик. На столике с инкрустациями лежал уже десять лет плоский гранатовый флакон и шпилька. Марфинька села на свою черную, вытканную розами, кушетку.

— Горе, горе! — провозгласил тесть и стукнул тростью.

Старички испуганно улыбнулись.

— Папенька, оставьте, ведь тысячу раз пересказано, — тихо проговорила Марфинька и зябко повела плечом.

Ее молодой человек подал ей бахромчатую шаль, но она, нежно усмехнувшись одним уголком тонких губ, отвела его чуткую руку. («Я первым делом смотрю мужчине на руки».) Он был в шикарной черной форме телеграфного служащего и надушен фиалкой.

— Горе! — с силой повторил тесть и начал подробно и смачно проклинать Цинцинната. Взгляд Цинцинната увело зеленое в белую горошинку платье Полины: рыженькая, косенькая, в очках, не смех возбуждающая, а грусть этими горошинками и круглотой, тупо передвигая толстые ножки в коричневых шерстяных чулках и сапожках на пуговках, она подходила к присутствующим и словно каждого изучала, серьезно и молчаливо глядя своими маленькими темными глазами, которые сходились за переносицей. Бедняжка была обвязана салфеткой, — забыли, видно, снять после завтрака.

Тесть перевел дух, опять стукнул тростью, и тогда Цинциннат сказал:

— Да, я вас слушаю.

— Молчать, грубиян, — крикнул тот, — я вправе ждать от тебя, — хотя бы сегодня, когда ты стоишь на пороге смерти, — немножко почтительности. Ухитриться угодить на плаху... Изволь мне объяснить, как ты мог, как смел...

Марфинька что-то тихо спросила у своего молодого человека, который осторожно возился, шаря вкруг себя и под собой на кушетке.

— Нет, нет, ничего, — ответил он также тихо, — я, должно быть, ее по дороге... Ничего, найдется... А скажите, вам наверное не холодно?

Марфинька, отрицательно качая головой, опустила мягкую ладонь к нему на кисть; и, тотчас отняв руку, поправила на коленях платье и шипящим шепотом позвала сына, который приставал к своим дядьям, отталкивавшим его, — он им мешал слушать. Диомедон, в серой блузе с резинкой на бедрах, весь искривляясь с ритмическим выкрутом, довольно все же проворно прошел расстояние от них к матери. Левая нога была у него здоровая, румяная; правая же походила на ружье в сложном своем снаряде: ствол, ремни. Круглые карие глаза и редкие брови были материнские, но нижняя часть лица, бульдожьи брыльца, — это было, конечно, чужое.

— Садись сюда, — сказала вполголоса Марфинька и быстрым хлопком задержала стекавшее с кушетки ручное зеркало.

— Ты мне ответь, — продолжал тесть, — как ты смел, ты, счастливый семьянин, — прекрасная обстановка, чудные детишки, любящая жена, — как ты смел не принять во внимание, как не одумался, злодей? Мне сдается иногда, что я просто-напросто старый болван и ничего не понимаю, — потому что иначе надобно допустить такую бездну мерзости... Молчать! — взревел он — и старички опять вздрогнули и улыбнулись.

Черная кошка, потягиваясь, напрягая задние лапки, боком потерлась о ногу Цинцинната, потом очутилась на буфете, проводившем ее глазами, и оттуда беззвучно прыгнула на плечо к адвокату, который, только что на цыпочках войдя, сидел в углу на плюшевом пуфе — очень был простужен — и, поверх готового для употребления носового платка, оглядывал присутствующих и различные предметы домашнего обихода, придававшие такой вид камере, точно тут происходил аукцион; кошка испугала его, он судорожно ее скинул.

Тесть клокотал, множил проклятия и уже начинал хрипеть. Марфинька прикрыла рукой глаза, ее молодой человек смотрел на нее, играя желваками скул. На диванчике с изогнутым прислоном сидели братья Марфиньки; брюнет, весь в желтом, с открытым воротом, держал трубку нотной бумаги еще без нот, — был одним из первых певцов города; его брат, в лазоревых шароварах, щеголь и остряк, принес подарок зятю — вазу с ярко сделанными из воска фруктами. Кроме того, он на рукаве устроил себе креповую повязку и, ловя взгляд Цинцинната, указывал на нее пальцем.

Тесть на вершине красноречивого гнева вдруг задохнулся и так двинул креслом, что тихонькая Полина, стоявшая рядом и глядевшая ему в рот, повалилась назад, за кресло, где и осталась лежать, надеясь, что никто не заметил. Тесть начал с треском вскрывать папиросную коробку. Все молчали.

Примятые звуки постепенно начинали расправляться. Брат Марфиньки, брюнет, прочистил горло и пропел вполголоса: «Mali è trano t'amesti...» — осекся и посмотрел на брата, который сделал страшные глаза. Адвокат, чему-то улыбаясь, опять принялся за платок. Марфинька на кушетке перешептывалась со своим кавалером, который упрашивал ее накинуть шаль — тюремный воздух был сыроват. Они говорили на «вы», но с каким грузом нежности проплывало это «вы» на горизонте их едва уловимой беседы... Старичок, ужасно дрожа, встал со стула, передал портрет старушке и, заслоняя дрожавшее, как он сам, пламя, подошел к своему зятю, а Цинциннатову тестю, и хотел ему... Но пламя потухло, и тот сердито поморщился.

— Надоели, право, со своей дурацкой зажигалкой, — сказал он угрюмо, но уже без гнева, — и тогда воздух совсем оживился, и сразу заговорили все.

«Mali è trano t'amesti...», — полным голосом пропел Марфинькин брат.

— Диомедон, оставь моментально кошку, — сказала Марфинька, — позавчера ты уже одну задушил, нельзя же каждый день. Отнимите, пожалуйста, у него, Виктор, милый.

Пользуясь общим оживлением, Полина выползла из-за кресла и тихонько встала. Адвокат подошел к Цинциннатову тестю и дал ему огня.

— Возьми-ка слово «ропот», — говорил Цинциннату его шурин, остряк, — и прочти обратно. А? Смешно получается? Да, брат, — втяпался ты в историю. В самом деле, как это тебя угораздило?

Между тем дверь незаметно отворилась. На пороге, оба одинаково держа руки за спиной, стояли м-сье Пьер и директор — и тихо, деликатно, двигая только зрачками, осматривали общество. Смотрели они так с минуту, прежде чем удалиться.

— Знаешь что, — жарко дыша, говорил шурин, — послушайся друга муругого. Покайся, Цинциннатик. Ну сделай одолжение. Авось еще простят? А? Подумай, как это неприятно, когда башку рубят. Что тебе стоит? Ну покайся — не будь остолопом.

— Мое почтение, мое почтение, мое почтение, — сказал адвокат, подходя. — Не целуйте меня, я еще сильно простужен. О чем разговор? Чем могу быть полезен?

— Дайте мне пройти, — прошептал Цинциннат, — я должен два слова жене...

— Теперь, милейший, обсудим вопрос материальный, — сказал освежившийся тесть, протягивая так палку, что Цинциннат на нее наскочил. — Постой, постой же, я с тобою говорю!

Цинциннат прошел дальше; надо было обогнуть большой стол, накрытый на десять персон, и затем протиснуться между ширмой и шкафом, для того чтобы добраться до Марфиньки, прилегшей на кушетке. Молодой человек шалью прикрыл ей ноги. Цинциннат уже почти добрался, но вдруг раздался злобный взвизг Диомедона. Он оглянулся и увидел Эммочку, неизвестно как попавшую сюда и теперь дразнившую мальчика: подражая его хромоте, она припадала на одну ногу со сложными ужимками. Цинциннат поймал ее за голое предплечье, но она вырвалась, побежала; за ней спешила, переваливаясь, Полина, в тихом экстазе любопытства.

Марфинька повернулась к нему. Молодой человек очень корректно встал.

— Марфинька, на два слова, умоляю тебя, — скороговоркой произнес Цинциннат, споткнулся о подушку на полу и неловко сел на край кушетки, запахиваясь в свой пеплом запачканный халат.

— Легкая мигрень, — сказал молодой человек. — Оно и понятно. Ей вредны такие волнения.

— Вы правы, — сказал Цинциннат. — Да, вы правы. Я хочу вас попросить... мне нужно наедине...

— Позвольте, сударь, — раздался голос Родиона возле него.

Цинциннат встал, Родион и другой служитель взялись, глядя друг другу в глаза, за кушетку, на которой полулежала Марфинька, крякнули, подняли и понесли к выходу.

— До свиданья, до свиданья, — по-детски кричала Марфинька, покачиваясь в лад с шагом носильщиков, но вдруг зажмурилась и закрыла лицо. Ее кавалер озабоченно шел сзади, неся поднятые с полу черную шаль, букет, свою фуражку, единственную перчатку. Кругом была суета. Братья убирали посуду в сундук. Их отец, астматически дыша, одолевал многостворчатую ширму. Адвокат всем предлагал пространный лист оберточной бумаги, неизвестно где им добытый; его видели безуспешно пытающимся завернуть в него чан с бледно-оранжевой рыбкой в мутной воде. Среди суеты широкий шкаф со своим личным отражением стоял, как брюхатая женщина, бережно держа и отворачивая зеркальное чрево, чтобы не задели. Его наклонили назад и, шатаясь, унесли. К Цинциннату подходили прощаться.

— Ну-с, не поминай лихом, — сказал тесть и с холодной учтивостью поцеловал Цинциннату руку, как того требовал обычай. Белокурый брат посадил чернявого к себе на плечи, и в таком положении они с Цинциннатом простились и ушли, как живая гора. Дед с бабкой, вздрагивая, кланялись и поддерживали туманный портрет. Служители все продолжали выносить мебель. Подошли дети: Полина, серьезная, поднимала лицо, а Диомедон, напротив, смотрел в пол. Их увел, держа обоих за руки, адвокат. Последней подлетела Эммочка: бледная, заплаканная, с розовым носом и трепещущим мокрым ртом, — она молчала, но вдруг поднялась на слегка хрустнувших носках, обвив

горячие руки вокруг его шеи, — неразборчиво зашептала что-то и громко всхлипнула. Родион схватил ее за кисть, — судя по его бормотанию, он звал ее давно и теперь решительно потащил к выходу. Она же, изогнувшись, отклонив и обернув к Цинциннату голову со струящимися волосами и протянув к нему ладонью кверху очаровательную руку, с видом балетной пленницы, но с тенью настоящего отчаяния, нехотя следовала за влачившим ее Родионом, — глаза у нее закатывались, бридочка сползла с плеча, — и вот он размашисто, как из ведра воду, выплеснул ее в коридор; все еще бормоча, вернулся с совком, чтобы подобрать труп кошки, плоско лежавший под стулом. Дверь с грохотом захлопнулась. Трудно было теперь поверить, что в этой камере только что...

X

— Когда волчонок ближе познакомится с моими взглядами, он перестанет меня дичиться. Кое-что, впрочем, уже достигнуто, и я сердечно этому рад, — говорил м-сье Пьер, сидя, по своему обыкновению, бочком к столу, с плотно скрещенными жирными ляжками, и беря одной рукой беззвучные аккорды на клеенкой покрытом столе. Цинциннат, подпирая голову, лежал на койке.

— Мы сейчас одни, а на дворе дождь, — продолжал м-сье Пьер. — Такая погода благоприятствует задушевным шушуканиям. Давайте раз навсегда выясним... У меня создалось впечатление, что вас удивляет, даже коробит, отношение нашего начальства ко мне; выходит так, будто я на положении особом, — нет, нет, не возражайте, — давайте уж начистоту, коли на то пошло. Позвольте же мне сказать вам две вещи. Вы знаете нашего милого директора (кстати: волчонок к нему не совсем справедлив, но об этом после...), вы знаете, как он впечатлителен, как пылок, как увлекается всякой новинкой, — думаю, что и вами он увлекался в первые дни, — так что пассия, которой он теперь ко мне воспылал, не должна вас смущать. Не будем так ревнивы, друг мой. Во-вторых, как это ни странно, но, по-видимому, вам до сих пор неизвестно, за что я угодил

сюда, — а вот когда я вам скажу, вы многое поймете. Простите, — что это у вас на шее, — вот тут, тут, — да, тут.

— Где? — машинально спросил Цинциннат, ощупывая себе шейные позвонки.

М-сье Пьер подошел к нему и сел на край койки.

— Вот тут, — сказал он, — но я теперь вижу — это просто тень так падала. Мне показалось — какая-то маленькая опухоль. Вы что-то неловко двигаете головой. Болит? Простудили?

— Ах, не приставайте ко мне, прошу вас, — скорбно сказал Цинциннат.

— Нет, постойте. У меня руки чистые, позвольте мне тут прощупать. Как будто все-таки... Вот тут не болит? А тут?

Маленькой, но мускулистой рукой он быстро трогал Цинцинната за шею, внимательно осматривая ее и с легким присвистом дыша через нос.

— Нет, ничего. Все у вас в исправности, — сказал он наконец, отодвигаясь и хлопая пациента по загривку. — Только ужасно она у вас тоненькая, — но так все нормально, а то, знаете, иногда случается... Покажите язык. Язык — зеркало желудка. Накройтесь, накройтесь, тут прохладно. О чем мы беседовали? Напомните мне.

— Если вы бы действительно желали мне блага, — сказал Цинциннат, — то оставили бы меня в покое. Уйдите, прошу вас.

— Неужели вы не хотите меня выслушать, — возразил с улыбкой м-сье Пьер, — неужели вы так упрямо верите в непогрешимость своих выводов, — неизвестных мне вдобавок, — заметьте это, неизвестных.

Цинциннат молчал, пригорюнившись.

— Так позвольте рассказать, — с некоторою торжественностью продолжал м-сье Пьер, — какого рода совершено мною преступление. Меня обвинили, — справедливо или нет, это другой вопрос, — меня обвинили... В чем же, как вы полагаете?

— Да уж скажите, — проговорил с вялой усмешкой Цинциннат.

— Вы будете потрясены. Меня обвинили в попытке...

Ах, неблагодарный, недоверчивый друг... Меня обвинили в попытке помочь вам бежать отсюда.

— Это правда? — спросил Цинциннат.

— Я никогда не лгу, — внушительно сказал м-сье Пьер. — Может быть, нужно иногда лгать, — это другое дело, — и, может быть, такая щепетильная правдивость глупа и не приносит в конце концов никакой пользы, — допустим. Но факт остается фактом: я никогда не лгу. Сюда, голубчик мой, я попал из-за вас. Меня взяли ночью... Где? Скажем, в Вышнеграде. Да, — я вышнеградец. Солеломни, плодовые сады. Если вы когда-нибудь пожелали бы приехать меня навестить, угощу вас нашими вышнями, — не отвечаю за каламбур, — так у нас в городском гербе. Там — не в гербе, а в остроге — ваш покорный слуга просидел трое суток. Затем экстренный суд. Затем — перевели сюда.

— Вы, значит, хотели меня спасти... — задумчиво произнес Цинциннат.

— Хотел ли я или не хотел — мое дело, друг сердечный, таракан запечный. Во всяком случае, меня в этом обвинили, — доносчики, знаете, все публика молодая, горячая, и вот: «Я здесь перед вами стою в упоенье...» — помните романс? Главной уликой послужил какой-то план сей крепости с моими будто бы пометками. Я, видите ли, будто бы продумал в мельчайших деталях идею вашего бегства, таракаша.

— Будто бы или?.. — спросил Цинциннат.

— Какое это наивное, прелестное существо! — осклабился м-сье Пьер, показывая многочисленные зубы. — У него все так просто, — как, увы, не бывает в жизни!

— Но хотелось бы знать, — сказал Цинциннат.

— Что? Правы ли были мои судьи? Действительно ли я собирался вас спасать? Эх вы...

М-сье Пьер встал и заходил по камере.

— Оставим это, — сказал он со вздохом, — решайте сами, недоверчивый друг. Так ли, иначе ли, — но сюда я попал из-за вас. Более того: мы и на эшафот взойдем вместе.

Он ходил по камере, тихо, упруго ступая, подрагивая мягкими частями тела, обхваченного казенной пижам-

кой, — и Цинциннат с тяжелым унылым вниманием следил за каждым шагом проворного толстячка.

— Смеха ради, поверю, — сказал наконец Цинциннат, — посмотрим, что из этого получится. Вы слышите, — я вам верю. И даже, для вящей правдоподобности, вас благодарю.

— Ах, зачем, это уже лишнее... — проговорил м-сье Пьер и опять сел у стола. — Просто мне хотелось, чтобы вы были в курсе... Вот и прекрасно. Теперь нам обоим легче, правда? Не знаю, как вам, но мне хочется плакать. И это — хорошее чувство. Плачьте, не удерживайте этих здоровых слез.

— Как тут ужасно, — осторожно сказал Цинциннат.

— Ничего не ужасно. Кстати, я давно хотел вас пожурить за ваше отношение к здешней жизни. Нет, нет, не отмахивайтесь, разрешите мне на правах дружбы... Вы несправедливы ни к доброму нашему Родиону, ни тем более к господину директору. Пускай он человек не очень умный, несколько напыщенный, ветроватый, — при этом любит поговорить, — все так, мне самому бывает не до него, и я, разумеется, не могу с ним делиться сокровенными думами, как с вами делюсь, — особенно когда на душе кошки, простите за выражение, скребутся. Но каковы бы ни были его недостатки, — он человек прямой, честный и добрый. Да, редкой доброты, — не спорьте, — я не говорил бы, кабы не знал, а я никогда не говорю наобум, и я опытнее, лучше знаю жизнь и людей, чем вы. Вот мне и больно бывает смотреть, с какой жестокой холодностью, с каким надменным презрением вы отталкиваете Родрига Ивановича. Я у него в глазах иногда читаю такую муку... Что же касается Родиона, то как это вы, такой умный, не умеете разглядеть сквозь его напускную грубоватость всю умилительную благость этого взрослого ребенка. Ах, я понимаю, что вы нервны, что вам трудно без женщины, — а все-таки, Цинциннат, — вы меня простите, но нехорошо, нехорошо... И вообще, вы людей обижаете... Едва притрагиваетесь к замечательным обедам, которые мы тут получаем. Ладно, пускай они вам не нравятся, — поверьте, что я тоже кое-что смыслю в гастрономии, — но вы издеваетесь

над ними, — а ведь кто-то их стряпал, кто-то старался... Я понимаю, что тут иногда бывает скучно, что хочется и погулять, и пошалить, — но почему думать только о себе, о своих хотениях, почему вы ни разу даже не улыбнулись на старательные шуточки милого, трогательного Родрига Ивановича?.. Может быть, он потом плачет, ночей не спит, вспоминая, как вы реагировали...

— Защита, во всяком случае, остроумная, — сказал Цинциннат, — но я в куклах знаю толк. Не уступлю.

— Напрасно, — обиженно сказал м-сье Пьер. — Это вы еще по молодости лет, — добавил он после молчания. — Нет, нет, нельзя быть таким несправедливым...

— А скажите, — спросил Цинциннат, — вы тоже пребываете в неизвестности? Роковой мужик еще не приехал? Рубка еще не завтра?

— Вы бы таких слов лучше не употребляли, — конфиденциально заметил м-сье Пьер. — Особенно с такой интонацией... В этом есть что-то вульгарное, недостойное порядочного человека. Как это можно выговорить, — удивляюсь вам...

— А все-таки — когда? — спросил Цинциннат.

— Своевременно, — уклончиво ответил м-сье Пьер. — Что за глупое любопытство? И вообще... Нет, вам еще многому надобно научиться, так нельзя. Эта заносчивость, эта предвзятость...

— Но как они тянут... — сонно проговорил Цинциннат. — Привыкаешь, конечно... Изо дня в день держишь душу наготове, — а ведь возьмут врасплох. Так прошло десять дней, и я не свихнулся. Ну и надежда какая-то... Неясная, как в воде, — но тем привлекательнее. Вы говорите о бегстве... Я думаю, я догадываюсь, что еще кто-то об этом печется... Какие-то намеки... Но что, если это обман, складка материи, кажущаяся человеческим лицом...

Он остановился, вздохнув.

— Нет, это любопытно, — сказал м-сье Пьер, — какие же это надежды, и кто этот спаситель?

— Воображение, — отвечал Цинциннат. — А вам бежать хочется?

— Как так — бежать? Куда? — удивился м-сье Пьер.

Цинциннат опять вздохнул:

— Да не все ли равно — куда. Мы бы с вами вместе... Но я не знаю, можете ли вы при вашем телосложении быстро бегать? Ваши ноги...

— Ну, это вы того, заврались, — ерзая на стуле, проговорил м-сье Пьер. — Это в детских сказках бегут из темницы. А замечания насчет моей фигуры можете оставить при себе.

— Спать хочется, — сказал Цинциннат.

М-сье Пьер закатал правый рукав. Мелькнула татуировка. Под удивительно белой кожей мышца переливалась, как толстое круглое животное. Он крепко стал, схватил одной рукой стул, перевернул его и начал медленно поднимать. Качаясь от напряжения, он подержал его высоко над головой и медленно опустил. Это было еще только вступление.

Незаметно дыша, он долго, тщательно вытирал руки красным платочком, покамест паук, как меньшой в цирковой семье, проделывал нетрудный маленький трюк над паутиной.

Бросив ему платок, м-сье Пьер вскричал по-французски и оказался стоящим на руках. Его круглая голова понемножку наливалась красивой розовой кровью; левая штанина спустилась, обнажая щиколотку; перевернутые глаза, — как у всякого в такой позитуре, — стали похожи на глаза спрута.

— Ну что? — спросил он, снова вспрянув и приводя себя в порядок.

Из коридора донесся гул рукоплесканий — и потом, отдельно, на ходу, расхлябанно, захлопал клоун, но бацнулся о барьер.

— Ну что? — повторил м-сье Пьер. — Силушка есть? Ловкость налицо? Али вам этого еще недостаточно?

М-сье Пьер одним прыжком вскочил на стол, встал на руки и зубами схватился за спинку стула. Музыка замерла. М-сье Пьер поднимал крепко закушенный стул, вздрагивали натуженные мускулы, да скрипела челюсть.

Тихо отпахнулась дверь — и в ботфортах, с бичом, напудренный и ярко, до сиреневой слепоты, освещенный, вошел директор цирка.

— Сенсация! Мировой номер! — прошептал он и, сняв цилиндр, сел подле Цинцинната.

Что-то хрустнуло, и м-сье Пьер, выпустив изо рта стул, перекувырнулся и очутился опять на полу. Но, по-видимому, не все обстояло благополучно. Он тотчас прикрыл рот платком, быстро посмотрел под стол, потом на стул, вдруг увидел и с глухим проклятием попытался сорвать со спинки стула впившуюся в нее вставную челюсть на шарнирах. Великолепно оскаленная, она держалась мертвой хваткой. Тогда, не потерявшись, м-сье Пьер обнял стул и ушел с ним вместе.

Ничего не заметивший Родриг Иванович бешено аплодировал. Арена, однако, оставалась пуста. Он подозрительно глянул на Цинцинната, похлопал еще, но без прежнего жара, вздрогнул и с расстроенным видом покинул ложу.

На том представление и кончилось.

XI

Теперь газет в камеру не доставлялось: заметив, что из них вырезается все, могущее касаться экзекуции, Цинциннат сам отказался от них. Утренний завтрак упростился: вместо шоколада — хотя бы слабого — давали брандахлыст с флотилией чаинок; гренков же было не раскусить. Родион не скрывал, что обслуживание молчаливо-привередливого узника наскучило ему.

За всем этим он как бы нарочно возился в камере все дольше и дольше. Его жарко-рыжая бородища, бессмысленная синева глаз, кожаный фартук, руки, подобные клешням, — все это повторно слагалось в такое гнетущее, нудное впечатление, что Цинциннат отворачивался к стене, покуда происходила уборка.

Так было и нынче, — и только возвращение стула, с глубокими следами бульдожьих зубов на верхнем крае прямой спинки, послужило особой меткой для начала этого дня. Вместе со стулом Родион принес от м-сье Пьера записку, — барашком завитой почерк, лепота знаков препинания, подпись, как танец с покрывалом. В шутливых и ласковых словах сосед благодарил за вчерашнюю дру-

жескую беседу и выражал надежду, что она вскоре повторится.

«Позвольте вас заверить, — так кончалась записка, — что физически я очень, очень силен, — (дважды, по линейке, подчеркнуто), — и если вы в этом еще не убедились, буду иметь честь как-нибудь показать вам еще некоторые интересные, — (подчеркнуто), — примеры ловкости и поразительного мускульного развития».

Затем три часа сряду, с незаметными провалами печального оцепенения, Цинциннат, то пощипывая усы, то листая книгу, ходил по камере. Он теперь изучил ее досконально, — знал ее гораздо лучше, чем, скажем, комнату, где прожил много лет.

Со стенами дело обстояло так: их было неизменно четыре; они были сплошь выкрашены в желтый цвет; но, будучи в тени, основной тон казался темно-гладким, глинчатым, что ли, по сравнению с тем переменным местом, где дневало ярко-охряное отражение окна: тут, на свету, были отчетливо заметны все пупырки густой, желтой краски, — даже волнистый заворот бороздок от дружно проехавшихся волосков кисти, — и была знакомая царапина, до которой этот драгоценный параллелограмм света доходил в десять часов утра.

От дикого каменного пола поднимался ползучий, хватающий за пятки, холодок; недоразвитое, злое, маленькое эхо обитало в какой-то части слегка вогнутого потолка, с лампочкой (окруженной решеткой) посредине, — то есть нет, не совсем посредине: неправильность, мучительно раздражавшая глаз, — и в этом смысле не менее мучительна была неудавшаяся попытка закрасить железную дверь.

Из трех представителей мебели — койки, стола, стула — лишь последний мог быть передвигаем. Передвигался и паук. Вверху, там, где начиналась пологая впадина окна, упитанный черный зверек нашел опорные точки для первоклассной паутины с той же сметливостью, которую выказывала Марфинька, когда в непригоднейшем с виду углу находила, где и как развесить белье для сушки. Сложив перед собою лапы, так что торчали врозь мохнатые локти, он круглыми карими глазами глядел на руку с карандашом, тянувшимся к нему, и начинал пятиться, не спуская с нее

глаз. Зато с большой охотой брал кончиками лап из громадных пальцев Родиона муху или мотылька, — и вот сейчас, например, на юго-западе паутины висело сиротливое бабочкино крыло, румяное, с шелковистой тенью и с синими ромбиками по зубчатому краю. Оно едва-едва шевелилось на тонком сквозняке.

Надписи на стенах были теперь замазаны. Исчезло и расписание правил. Унесен был — а может быть, разбит — классический кувшин с темной пещерной водой на гулком донце. Голо, грозно и холодно было в этом помещении, где свойство «тюремности» подавлялось бесстрастием — канцелярской, больничной или какой-то другой — комнаты для ожидающих, когда дело уже к вечеру и слышно только жужжание в ушах... причем ужас этого ожидания был как-то сопряжен с неправильно найденным центром потолка.

На столе, покрытом с некоторых пор клетчатой клеенкой, лежали, в сапожно-черных переплетах, библиотечные томы. Карандаш, утративший стройность и сильно искусанный, покоился на мельницей сложенных, стремительно исписанных листах. Тут же валялось письмо к Марфиньке, оконченное Цинциннатом еще накануне, то есть в день после свидания; но он все не мог решиться отослать его, а потому дал ему полежать, точно от самого предмета ждал того созревания, которого никак не достигала безвольная, нуждавшаяся в другом климате мысль.

Речь будет сейчас о драгоценности Цинцинната; о его плотской неполноте; о том, что главная его часть находилась совсем в другом месте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его, — Цинциннат бедный, смутный, Цинциннат сравнительно глупый, — как бываешь во сне доверчив, слаб и глуп. Но и во сне — все равно, все равно — настоящая его жизнь слишком сквозила.

Прозрачно побелевшее лицо Цинцинната, с пушком на впалых щеках и усами такой нежности волосяной субстанции, что это, казалось, растрепавшийся над губой солнечный свет; небольшое и еще молодое, невзирая на все терзания, лицо Цинцинната, со скользящими, непостоянного оттенка, слегка как бы призрачными, глазами, — было по выражению своему совершенно у нас недопустимо, —

особенно теперь, когда он перестал таиться. Открытая сорочка, распахивающийся черный халатик, слишком большие туфли на тонких ногах, философская ермолка на макушке и легкое шевеление (откуда-то все-таки был сквозняк!) прозрачных волос на висках — дополняли этот образ, всю непристойность которого трудно словами выразить, — она складывалась из тысячи едва приметных, пересекающихся мелочей, из светлых очертаний как бы не совсем дорисованных, но мастером из мастеров тронутых губ, из порхающего движения пустых, еще не подтушеванных рук, из разбегающихся и сходящихся вновь лучей в дышащих глазах... но и это все, разобранное и рассмотренное, еще не могло истолковать Цинцинната: это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит из тени в блеск, так что не разберешь, где начинается погружение в трепет другой стихии. Казалось, что вот-вот, в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры, Цинциннат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха, в какую-то воздушную световую щель, — и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух, в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала. При этом все в нем дышало тонкой, сонной, — но, в сущности, необыкновенно сильной, горячей и своебытной жизнью: голубые, как самое голубое, пульсировали жилки, чистая, хрустальная слюна увлажняла губы, трепетала кожа на щеках, на лбу, окаймленном растворенным светом... и так это все дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять, искромсать, изничтожить нагло ускользающую плоть и все то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она собой, все то невозможное, вольное, ослепительное, — довольно, довольно, — не ходи больше, ляг на койку, Цинциннат, так, чтобы не возбуждать, не раздражать, — и действительно, почувствовав хищный порыв взгляда сквозь дверь, Цинциннат ложился или садился за стол, раскрывал книгу.

Книги, черневшие на столе, были вот какие: во-первых, современный роман, который Цинциннат в бытность свою

на свободе прочитать не удосужился; во-вторых, одна из тех без числа издаваемых хрестоматий, в которых собраны сжатые переделки и выдержки из древней литературы; в-третьих, переплетенные номера старого журнала; в-четвертых, несколько потрепанных томиков плотненького труда на непонятном языке, принесенных по ошибке, — он этого не заказывал.

Роман был знаменитый «Quercus»[1], и Цинциннат прочел из него уже добрую треть: около тысячи страниц. Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба. Там, где Цинциннат остановился, дубу шел третий век; простой расчет подсказывал, что к концу книги он достигнет по крайней мере возраста шестисотлетнего.

Идея романа считалась вершиной современного мышления. Пользуясь постепенным развитием дерева (одиноко и мощно росшего у спуска в горный дол, где вечно шумели воды), автор чередой разворачивал все те исторические события — или тени событий, — коих дуб мог быть свидетелем; то это был диалог между воинами, сошедшими с коней — изабелловой масти и в яблоках, — дабы отдохнуть под свежей сенью благородной листвы; то привал разбойников и песнь простоволосой беглянки; то — под синим зигзагом грозы поспешный проезд вельможи, спасающегося от царского гнева; то на плаще труп, как будто еще трепещущий — от движения лиственной тени; то — мимолетная драма в среде поселян. Был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на «п».

Автор, казалось, сидит со своим аппаратом где-то в вышних ветвях Quercus'а — высматривая и ловя добычу. Приходили и уходили различные образы жизни, на миг задерживаясь среди зеленых бликов. Естественные же промежутки бездействия заполнялись учеными описаниями самого дуба, с точки зрения дендрологии, орнитологии, колеоптерологии, мифологии, — или описаниями популярными, с участием народного юмора. Приводился, между прочим, подробный список всех вензелей на коре с их толкованием. Наконец немало внимания уделялось музыке вод, палитре зорь и поведению погоды.

---

[1] «Дуб» *(лат.)*.

Цинциннат почитал, отложил. Это произведение было бесспорно лучшее, что создало его время, — однако же он одолевал страницы с тоской, беспрестанно потопляя повесть волной собственной мысли: на что мне это далекое, ложное, мертвое, — мне, готовящемуся умереть? Или же начинал представлять себе, как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове в Северном, что ли, море, сам будет умирать, — и это было как-то смешно, — что вот когда-нибудь непременно умрет автор, — а смешно было потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным была всего лишь смерть, — неизбежность физической смерти автора.

Свет менял место на стене. Являлся Родион с тем, что он называл фриштык. Опять бабочкино крыло скользило у него в пальцах, оставляя на них цветную пудру.

— Неужели он все еще не приехал? — спросил Цинциннат, задавая уже не впервые этот вопрос, сильно сердивший Родиона, который и теперь не ответил ничего.

— А свидания больше не дадут? — спросил Цинциннат.

В ожидании обычной изжоги, он прилег на койку и, повернувшись к стене, долго-долго помогал образоваться на ней рисункам, покладисто составлявшимся из бугорков лоснившейся краски и кругленьких их теней; находил, например, крохотный профиль с большим мышьим ухом; потом терял и уже не мог восстановить. От этой вохры тянуло могилой, она была прыщевата, ужасна, но все-таки взгляд продолжал выбирать и соображать нужные пупырки, — так недоставало, так жаждалось хотя бы едва намеченных человеческих черт. Наконец он повернулся, лег навзничь и с тем же вниманием стал рассматривать тени и трещины на потолке.

«А в общем, они, кажется, доконали меня, — подумал Цинциннат. — Я так размяк, что это можно будет сделать фруктовым ножом».

Несколько времени он сидел на краю койки, зажав руки между коленями, сутулясь. Испустив дрожащий вздох, пошел снова бродить. Интересно все-таки, на каком это языке. Мелкий, густой, узористый набор, с какими-то точками и живчиками внутри серпчатых букв, был, пожалуй, восточный, — напоминал чем-то надписи на музейных

кинжалах. Томики такие старые, пасмурные странички... иная в желтых подтеках...

Часы пробили семь, и вскоре явился Родион с обедом.

— Он, наверное, еще не приехал? — спросил Цинциннат.

Родион было ушел, но на пороге обернулся.

— Стыд и срам, — проговорил он, всхлипнув, — денно-нощно груши околачиваете... кормишь вас тут, холишь, сам на ногах не стоишь, а вы только и знаете, что с неумными вопросами лезть. Тьфу, бессовестный...

Время, ровно жужжа, продолжало течь. В камере воздух потемнел, и когда он уже был совсем слепой и вялый, деловито зажегся свет посредине потолка, — нет, как раз-то и не посредине, — мучительное напоминание. Цинциннат разделся и лег в постель с «Quercus»'ом. Автор уже добирался до цивилизованных эпох, — судя по разговору трех веселых путников, Тита, Пуда и Вечного Жида, тянувших из фляжек вино на прохладном мху под черным вечерним дубом.

— Неужели никто не спасет? — вдруг громко спросил Цинциннат и присел на постели (руки бедняка, показывающего, что у него ничего нет).

— Неужели никто, — повторил Цинциннат, глядя на беспощадную желтизну стен и все так же держа пустые ладони.

Сквозняк обратился в дубравное дуновение. Упал, подпрыгнул и покатился по одеялу сорвавшийся с дремучих теней, разросшихся наверху, крупный, вдвое крупнее, чем в натуре, на славу выкрашенный в блестящий желтоватый цвет, отполированный и плотно, как яйцо, сидевший в своей пробковой чашке бутафорский желудь.

XII

Он проснулся от глухого постукивания, свербежа, что-то где-то осыпалось. Так, уснув с вечера здоровым, просыпаешься за полночь в жару. Он довольно долго слушал эти звуки, — туруп, туруп, тэк, тэк, тэк, — без мысли об их значении, а просто так, — потому что они разбудили его

и потому что слуху ничего другого не оставалось делать. Турупт, стук, скребет, сыпь-сыпь-сыпь-сыпь. Где? Справа? Слева? Цинциннат приподнялся.

Он слушал, — вся голова обратилась в слух, все тело в тугое сердце; он слушал и уже со смыслом разбирался в некоторых признаках: слабый настой темноты в камере... темное осело на дно... За решеткой окна — серый полусвет: значит — три, половина четвертого... Замерзшие сторожа спят... Звуки идут откуда-то снизу, — нет, пожалуй, сверху, нет, все-таки снизу, — точно за стеной, на уровне пола, скребется железными когтями большая мышь.

Особенно волновала Цинцинната сосредоточенная уверенность звуков, настойчивая серьезность, с которой они преследовали в тишине крепостной ночи — быть может, еще далекую, — но несомненно достижимую цель. Сдерживая дыхание, он, с призрачной легкостью, как лист папиросной бумаги, соскользнул... и на цыпочках, по липкому, цепкому... к тому углу, откуда как будто... как будто... но, подойдя, понял, что ошибся, — стук был правее и выше; он двинулся — и опять спутался, попавшись на том слуховом обмане, когда звук, проходя голову наискось, второпях обслуживается не тем ухом.

Неловко переступив, Цинциннат задел поднос, стоявший у стены на полу: «Цинциннат!» — сказал поднос укоризненно, — и тогда стук приостановился с резкой внезапностью, в которой была для слушателя отраднейшая разумность, — и, неподвижно стоя у стены, большим пальцем ноги придавливая ложечку на подносе и склонив отверстую, полую голову, Цинциннат чувствовал, что неизвестный копальщик тоже стынет и слушает, как и он.

Полминуты спустя, тише, сдержаннее, но еще выразительнее, еще умнее, возобновились звуки. Поворачиваясь и медленно сдвигая ступню с цинка, Цинциннат попробовал снова определить их положение: справа, ежели стать лицом к двери, — да, справа, — и во всяком случае еще далеко... вот все, что после долгого прислушивания ему удалось заключить. Двинувшись наконец обратно к койке, за туфлями, — а то босиком становилось невмочь, — он в тумане вспугнул громконогий стул, никогда не ночевавший на том же месте, — и опять звуки оборвались — на сей

раз окончательно, то есть, может быть, они бы и продолжались после осторожного перерыва, но утро уже входило в силу, и Цинциннат видел — глазами привычного представления, — как на своем табурете в коридоре, весь дымясь от сырости и разевая ярко-красный рот, потягивается Родион.

Все утро Цинциннат прислушивался да прикидывал, чем бы и как изъявить свое отношение к звукам в случае их повторения. На дворе разыгралась — просто, но со вкусом поставленная — летняя гроза, в камере было темно, как вечером, слышался гром, то крупный, круглый, то колкий, трескучий, и молния в неожиданных местах печатала отражение решетки. В полдень явился Родриг Иванович.

— К вам пришли, — сказал он, — но я сперва хотел узнать...

— Кто? — спросил Цинциннат, одновременно подумав: только бы не теперь... (то есть только бы не теперь возобновился стук).

— Видите ли, какая штукенция, — сказал директор, — я не уверен, желаете ли вы... Дело в том, что это ваша мать, — votre mère, paraît-il[1].

— Мать? — переспросил Цинциннат.

— Ну да, — мать, мамаша, мамахен, — словом, женщина, родившая вас. Принять? Решайте скорей.

— ...Видал всего раз в жизни, — сказал Цинциннат, — и право, никаких чувств... нет, нет, не стоит, не надо, это ни к чему.

— Как хотите, — сказал директор и вышел.

Через минуту, любезно воркуя, он ввел маленькую, в черном макинтоше, Цецилию Ц.

— Я вас оставлю вдвоем, — добавил он добродушно, — хотя это против наших правил, но бывают положения... исключения... мать и сын... преклоняюсь...

Exit[2], пятясь, как придворный.

В блестящем, черном своем макинтоше и в такой же непромокаемой шляпе с опущенными полями (придававших ей что-то штормово-рыбачье), Цецилия Ц. осталась

[1] По-видимому, ваша мать *(фр.)*.
[2] Вышел *(лат.)*.

стоять посреди камеры, ясным взором глядя на сына; расстегнулась; шумно втянула сопельку и сказала скорым, дробным своим говорком:

— Грозница, грязища, думала, никогда не долезу, навстречу по дороге потоки, потопы...

— Садитесь, — сказал Цинциннат, — не стойте так.

— Что-что, а у вас тут тихо, — продолжала она, все потягивая носом и крепко, как теркой, проводя пальцем под ним, так что его розовый кончик морщился и вилял. — Одно можно сказать — тихо и довольно чисто. У нас, между прочим, в приюте нету отдельных палат такого размера. Ах, постель, — миленький мой, — в каком у вас виде постель!

Она плюхнула свой профессиональный саквояжик, проворно стянула черные нитяные перчатки с маленьких подвижных рук — и, низко наклонившись над койкой, принялась стелить, стелясь как бы сама, постель наново. Черная спина с тюленьим глянцем, поясок, заштопанные чулки.

— Вот так-то лучше, — сказала она, разогнувшись, — и затем, на мгновение подбоченясь, покосилась на загроможденный книгами стол.

Она была моложава, и все ее черты подавали пример Цинциннатовым, по-своему следовавшим им; Цинциннат сам смутно чувствовал это сходство, смотря на ее востроносое личико, на покатый блеск прозрачных глаз. Посредине довольно открытой груди краснелся от душки вниз треугольник веснушчатого загара, — но вообще кожа была все та же, из которой некогда выкроен был отрезок, пошедший на Цинцинната, — бледная, тонкая, в небесного цвета прожилках.

— Ай-я-яй, тут тоже следовало бы... — пролепетала она и быстро, как все, что делала, взялась за книги, складывая их кучками. Мимоходом заинтересовавшись картинкой в раскрытом журнале, она достала из кармана макинтоша бобовидный футляр и, опустив углы рта, надела пенснэ. — Двадцать шестой год, — проговорила она, усмехнувшись, — какая старина, просто не верится.

(...две фотографии: на одной белозубый президент на вокзале в Манчестере пожимает руку умащенной летами

правнучке последнего изобретателя; на другой — двуглавый теленок, родившийся в деревне на Дунае...)

Она беспричинно вздохнула, отодвинула книжку, столкнула карандаш, не успела поймать и произнесла «упс!».

— Оставьте, — сказал Цинциннат, — тут не может быть беспорядка, тут может быть только перемещение.

— Вот — я вам принесла, — (вытянула, вытягивая и подкладку, фунтик из кармана пальто). — Вот. Конфеток. Сосите на здоровьице.

Села и надула щеки.

— Лезла, долезла и устала, — сказала она, нарочито пыхтя, а потом застыла, глядя со смутным вожделением на паутину вверху.

— Зачем вы пришли? — спросил Цинциннат, шагая по камере. — Ни вам этого не нужно, ни мне. Зачем? Ведь это дурно и неинтересно. Я же отлично вижу, что вы такая же пародия, как все, как все. И если меня угощают такой ловкой пародией на мать... Но представьте себе, например, что я возложил надежду на какой-нибудь далекий звук, как же мне верить в него, если даже вы обман. Вы бы еще сказали: гостинцев. И почему у вас макинтош мокрый, а башмачки сухие, — ведь это небрежность. Передайте бутафору.

Она — поспешно и виновато:

— Да я же была в калошах, внизу в канцелярии оставила, честное слово...

— Ах, полно, полно. Только не пускайтесь в объяснения. Играйте свою роль, — побольше лепета, побольше беспечности, — и ничего, — сойдет.

— Я пришла, потому что я ваша мать, — проговорила она тихо, и Цинциннат рассмеялся:

— Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма. Смешное смешным — но все-таки не следует слишком удаляться от вокзала: драма может уйти. Вы бы лучше... да, вот что, повторите, повторите мне, пожалуй, предание о моем отце. Неужели он так-таки исчез в темноте ночи и вы никогда не узнали ни кто он, ни откуда, — это странно...

— Только голос, — лица не видала, — ответила она все так же тихо.

— Во, во, подыгрывайте мне, я думаю, мы его сделаем странником, беглым матросом, — с тоской продолжал Цинциннат, прищелкивая пальцами и шагая, шагая, — или лесным разбойником, гастролирующим в парке. Или загулявшим ремесленником, плотником... Ну, скорей, придумайте что-нибудь.

— Вы не понимаете, — воскликнула она (в волнении встала и тотчас села опять), — да, я не знаю, кто он был — бродяга, беглец, да, все возможно... Но как это вы не понимаете... да, — был праздник, было в парке темно, и была я девчонкой, — но ведь не в том дело. Ведь обмануться нельзя! Человек, который сжигается живьем, знает небось, что он не купается у нас в Стропи. То есть я хочу сказать: нельзя, нельзя ошибиться... Ах, как же вы не понимаете!

— Чего не понимаю?

— Ах, Цинциннат, он — тоже...

— Что — тоже?

— Он тоже, как вы, Цинциннат...

Она совсем опустила лицо, уронила пенснэ в горсточку. Пауза.

— Откуда вам это известно, — хмуро спросил Цинциннат, — как это можно так сразу заметить?..

— Больше вам ничего не скажу, — произнесла она, не поднимая глаз.

Цинциннат сел на койку и задумался. Его мать высморкалась с необыкновенным медным звуком, которого трудно было ожидать от такой маленькой женщины, и посмотрела наверх на впадину окна. Небо, видимо, прояснилось, чувствовалось близкое присутствие синевы, солнце провело по стене свою полоску, то бледневшую, то разгоравшуюся опять.

— Сейчас васильки во ржи, — быстро заговорила она, — и все так чудно, облака бегут, все так беспокойно и светло. Я живу далеко отсюда, в Докторском, — и когда приезжаю к вам в город, когда еду полями, в старом шарабанчике, и вижу, как блестит Стропь, и вижу этот холм с крепостью и все, — мне всегда кажется, что повторяется, повторяется какая-то замечательная история, которую все не успеваю или не умею понять, — и все ж таки кто-то мне ее повторяет — с таким терпением! Я работаю целый день в нашем

приюте, мне все трын-трава, у меня любовники, я обожаю ледяной лимонад, но бросила курить, потому что расширение аорты, — и вот я сижу у вас, — я сижу у вас и не знаю, почему сижу, и почему реву, и почему это рассказываю, и мне теперь будет жарко переть вниз в этом пальто и шерстяном платье, солнце будет совершенно бешеное после такой грозы...

— Нет, вы все-таки только пародия, — прошептал Цинциннат.

Она вопросительно улыбнулась.

— Как этот паук, как эта решетка, как этот бой часов, — прошептал Цинциннат.

— Вот как, — сказала она и снова высморкалась.

— Да, вот, значит, как, — повторила она.

Оба молчали, не глядя друг на друга, между тем как с бессмысленной гулкостью били часы.

— Вы обратите внимание, когда выйдете, — сказал Цинциннат, — на часы в коридоре. Это — пустой циферблат, но зато каждые полчаса сторож смывает старую стрелку и малюет новую, — вот так и живешь по крашеному времени, а звон производит часовой, почему он так и зовется.

— А вы не шутите, — сказала Цецилия Ц., — бывают, знаете, удивительные уловки. Вот, я помню: когда была ребенком, в моде были, — ах, не только у ребят, но и у взрослых, — такие штуки, назывались «нетки», — и к ним полагалось, значит, особое зеркало, мало что кривое — абсолютно искаженное, ничего нельзя понять, провалы, путаница, все скользит в глазах, но его кривизна была неспроста, а как раз так пригнана... Или, скорее, к его кривизне были так подобраны... Нет, постойте, я плохо объясняю. Одним словом, у вас было такое вот дикое зеркало и целая коллекция разных неток, то есть абсолютно нелепых предметов: всякие такие бесформенные, пестрые, в дырках, в пятнах, рябые, шишковатые штуки, вроде каких-то ископаемых, — но зеркало, которое обыкновенные предметы абсолютно искажало, теперь, значит, получало настоящую пищу, то есть, когда вы такой непонятный и уродливый предмет ставили так, что он отражался в непонятном и уродливом зеркале, получалось замечательно;

нет на нет давало да, все восстанавливалось, все было хорошо, — и вот из бесформенной пестряди получался в зеркале чудный стройный образ: цветы, корабль, фигура, какой-нибудь пейзаж. Можно было — на заказ — даже собственный портрет, то есть вам давали какую-то кошмарную кашу, а это и были вы, но ключ от вас был у зеркала. Ах, я помню, как было весело и немного жутко — вдруг ничего не получится! — брать в руку вот такую новую непонятную нетку и приближать к зеркалу, и видеть в нем, как твоя рука совершенно разлагается, но зато как бессмысленная нетка складывается в прелестную картину, ясную, ясную...

— Зачем вы все это мне рассказываете? — спросил Цинциннат.

Она молчала.

— Зачем все это? Неужели вам неизвестно, что на днях, завтра, может быть...

Он вдруг заметил выражение глаз Цецилии Ц., — мгновенное, о, мгновенное, — но было так, словно проступило нечто, настоящее, несомненное (в этом мире, где все было под сомнением), словно завернулся краешек этой ужасной жизни и сверкнула на миг подкладка. Во взгляде матери Цинциннат внезапно уловил ту последнюю, верную, все объясняющую и ото всего охраняющую точку, которую он и в себе умел нащупать. О чем именно вопила сейчас эта точка? О, неважно, о чем, пускай — ужас, жалость... Но скажем лучше: она сама по себе, эта точка, выражала такую бурю истины, что душа Цинцинната не могла не взыграть. Мгновение накренилось и пронеслось. Цецилия Ц. встала, делая невероятный маленький жест, а именно — расставляя руки с протянутыми указательными пальцами, как бы показывая размер — длину, скажем, младенца... Потом сразу засуетилась, подняла с полу черный, толстенький, на таксичьих лапках саквояж, поправила клапан кармана.

— Ну вот, — сказала она прежним лепечущим говорком, — посидела и пойду. Кушайте мои конфетки. Засиделась. Пойду, мне пора.

— О да, пора! — с грозной веселостью грянул Родриг Иванович, широко отворяя дверь.

Наклонив голову, она скользнула вон. Цинциннат, дрожа, шагнул было вперед...

— Не беспокойтесь, — сказал директор, подняв ладонь, — эта акушерочка совершенно нам не опасна. Назад!

— Но я все-таки... — начал Цинциннат.

— Арьер! — заорал Родриг Иванович.

Из глубины коридора между тем появилась плотная полосатая фигурка м-сье Пьера. Он шел, приятно улыбаясь издали, чуть сдерживая, однако, шаг, чуть бегая глазами, как люди, которые попадают на скандал, но не хотят это подчеркивать, и нес шашечницу перед собой, ящичек, полишинеля под мышкой, еще что-то...

— Гости были? — вежливо справился он у Цинцинната, когда директор оставил их в камере одних. — Матушка ваша? Так-с, так-с. А теперь я, бедненький, слабенький м-сье Пьер, пришел вас поразвлечь и сам поразвлечься. Смотрите, как он на вас смотрит. Поклонись дяде. Правда, уморительный? Ну, сиди прямо, тезка. А я принес вам еще много забавного. Хотите сперва в шахматы? Али в картишки? В якорек умеете? Знатная игра! Давайте я вас научу!

XIII

Ждал, ждал, и вот — в мертвейший час ночи сызнова заработали звуки. Один в темноте, Цинциннат улыбнулся. Я вполне готов допустить, что и они — обман, но так в них верю сейчас, что их заражаю истиной.

Были они еще тверже и точнее, чем прошлой ночью; не тяпали сослепу; как сомневаться в их приближающемся, поступательном движении? Скромность их! Ум! Таинственное, расчетливое упрямство! Обыкновенной ли киркой или каким-нибудь чудаковатым орудием (из амальгамы негоднейшего вещества и всесильной человеческой воли), — но кто-то как-то — это было ясно — пробивал себе ход.

Стояла холодная ночь; серый, сальный отблеск луны, делясь на клетки, ложился по внутренней стенке оконной пади; вся крепость ощущалась как налитая густым мраком снутри и вылощенная луной снаружи, с черными изломами теней, которые сползали по скалистым скатам и бесшумно

рушились во рвы; да, — стояла бесстрастная, каменная ночь, — но в ней, в глухом ее лоне, подтачивая ее мощь, пробивалось нечто совершенно чуждое ее составу и строю. Или это старые, романтические бредни, Цинциннат?

Он взял покорный стул и покрепче ударил им в пол, потом несколько раз в стену, — стараясь, хотя бы посредством ритма, придать стуку смысл. И действительно: пробирающийся сквозь ночь сначала стал, как бы соображая — враждебны ли или нет встречные стуки, — и вдруг возобновил свою работу с такой ликующей живостью звука, которая доказывала Цинциннату, что его отклик понят.

Он убедился, — да, это именно к нему идут, его хотят спасти, — и, продолжая постукивать в наиболее болезненные места камня, он вызывал — в другом диапазоне и ключе — полнее, сложнее, слаще — повторение тех нехитрых ритмов, которые он предлагал.

Он уже подумывал о том, как наладить азбуку, когда заметил, что не месяц, а другой, непрошенный, свет разбавляет потемки, — и не успел он заметить это, как звуки втянулись. Напоследок довольно долго что-то сыпалось, но и это постепенно смолкло, — и странно было представить себе, что так недавно ночная тишь нарушалась жадной, жаркой, пронырливой жизнью, вплотную принюхивающейся и придавленным щипцом храпящей — и снова роющей с остервенением, как пес, добирающийся до барсука.

Через зыбкую дремоту он видел, как входил Родион, — и было уже за полдень, когда совсем проснулся — и, как всегда, подумал прежде всего о том, что конец еще не сегодня, а ведь могло быть и сегодня, как может и завтра быть, но завтра еще далеко.

Весь день он внимал гудению в ушах, уминая себе руки, тихо здороваясь с самим собой; ходил вокруг стола, где белелось все еще не отправленное письмо; а не то воображал опять мгновенный, захватывающий дух, — как перерыв в этой жизни, — взгляд вчерашней гостьи или слушал про себя шорох Эммочки. Что ж, пей эту бурду надежды, мутную, сладкую жижу, надежды мои не сбылись, я ведь думал, что хоть теперь, хоть тут, где одиночество в таком почете, оно распадется лишь надвое, на тебя и на меня, а не размножится, как оно размножилось — шумно, мелко,

нелепо, я даже не мог к тебе подойти, твой страшный отец едва не перешиб мне ноги клюкой, поэтому пишу, это — последняя попытка объяснить тебе, что происходит, Марфинька, сделай необычайное усилие и пойми, пускай сквозь туман, пускай уголком мозга, но пойми, что происходит, Марфинька, пойми, что меня будут убивать, неужели так трудно, я у тебя не прошу долгих вдовьих воздыханий, траурных лилий, но молю тебя, мне так нужно — сейчас, сегодня, — чтобы ты, как дитя, испугалась, что вот со мной хотят делать страшное, мерзкое, от чего тошнит, и так орешь посреди ночи, что даже когда уже слышишь нянино приближение, — «тише, тише», — все еще продолжаешь орать, вот как тебе должно страшно стать, Марфинька, даром что мало любишь меня, но ты должна понять, хотя бы на мгновение, а потом можешь опять заснуть. Как мне расшевелить тебя? Ах, наша с тобой жизнь была ужасна, ужасна, и не этим расшевелю, я очень старался вначале, но ты знаешь — темп был у нас разный, и я сразу отстал. Скажи мне, сколько рук мяло мякоть, которой обросла так щедро твоя твердая, горькая, маленькая душа? Да, снова, как привидение, я возвращаюсь к твоим первым изменам и, воя, гремя цепями, плыву сквозь них. Поцелуи, которые я подглядел. Поцелуи ваши, которые больше всего походили на какое-то питание, сосредоточенное, неопрятное и шумное. Или когда ты, жмурясь, пожирала прыщущий персик и потом, кончив, но еще глотая, еще с полным ртом, каннибалка, топырила пальцы, блуждал осоловелый взгляд, лоснились воспаленные губы, дрожал подбородок, весь в каплях мутного сока, сползавших на оголенную грудь, между тем как приап, питавший тебя, внезапно поворачивался с судорожным проклятием, согнутой спиной ко мне, вошедшему в комнату некстати. «Марфиньке всякие фрукты полезны», — с какой-то сладко-хлюпающей сыростью в горле говорила ты, собираясь вся в одну сырую, сладкую, проклятую складочку, — и если я опять возвращаюсь ко всему этому, так для того, чтобы отделаться, выделить из себя, очиститься, — и еще для того, чтобы ты знала, чтобы ты знала... Что? Вероятно, я все-таки принимаю тебя за кого-то другого, — думая, что ты поймешь меня, — как сумасшедший прини-

мает зашедших родственников за звезды, за логарифмы, за вислозадых гиен, — но еще есть безумцы — те неуязвимы! — которые принимают самих себя за безумцев, — и тут замыкается круг. Марфинька, в каком-то таком кругу мы с тобой вращаемся, — о, если бы ты могла вырваться на миг, — потом вернешься в него, обещаю тебе, многого от тебя не требуется, но на миг вырвись и пойми, что меня убивают, что мы окружены куклами и что ты кукла сама. Я не знаю, почему так мучился твоими изменами, то есть, вернее, я-то сам знаю почему, но не знаю тех слов, которые следовало бы подобрать, чтобы ты поняла, почему я так мучился. Нет этих слов в том малом размере, который ты употребляешь для своих ежедневных нужд. Но все-таки я опять попытаюсь: «Меня убивают!» — так, все разом, еще: «Меня убивают!» — еще раз: «...убивают!» — я хочу это так написать, чтобы ты зажала уши — свои тонкокожие, обезьяньи уши, которые ты прячешь под прядями чудных женских волос, — но я их знаю, я их вижу, я их щиплю, холодненькие, мну их в своих беспокойных пальцах, чтобы как-нибудь их согреть, оживить, очеловечить, заставить услышать меня. Марфинька, я хочу, чтобы ты настояла на новом свидании, и уж разумеется: приди одна, приди одна! Так называемая жизнь кончена, передо мною только скользкая плаха, меня изловчились мои тюремщики довести до такого состояния, что почерк мой — видишь — как пьяный, — но ничего, у меня хватит, Марфинька, силы на такой с тобой разговор, какого мы еще никогда не вели, потому-то так необходимо, чтобы ты еще раз пришла, и не думай, что это письмо — подлог, это я пишу, Цинциннат, это плачу я, Цинциннат, который собственно ходил вокруг стола, а потом, когда Родион принес ему обед, сказал:

— Вот это письмо. Вот это письмо я вас попрошу... Тут адрес...

— Вы бы лучше научились, как другие, вязать, — проворчал Родион, — и связали бы мне фаршик. Писатель! Ведь только что видались, — с жонкой-то.

— Попробую все-таки спросить, — сказал Цинциннат. — Есть ли тут, кроме меня и этого довольно навязчивого Пьера, какие-нибудь еще заключенные?

Родион побагровел, но смолчал.

— А мужик еще не приехал? — спросил Цинциннат.

Родион собрался свирепо захлопнуть уже визжавшую дверь, но, как и вчера, — липко шлепая сафьяновыми туфлями, дрыгая полосатыми телесами, держа в руках шахматы, карты, бильбокэ...

— Симпатичному Родиону мое нижайшее, — тоненьким голосом произнес м-сье Пьер и, не меняя шага, дрыгая, шлепая, вошел в камеру.

— Я вижу, — сказал он, садясь, — что симпатяга понес от вас письмо. Верно, то, которое вчера лежало тут на столе? К супруге? Нет, нет — простая дедукция, я не читаю чужих писем, хотя, правда, оно лежало весьма на виду, пока мы в якорек резались. Хотите нынче в шахматы?

Он разложил шерстяную шашечницу и пухлой рукой со взведенным мизинцем расставил фигуры, прочно сделанные — по старому арестантскому рецепту — из хлебного мякиша, которому камень мог позавидовать.

— Сам я холост, но я понимаю, конечно... Вперед. Я это быстро... Хорошие игроки никогда много не думают. Вперед. Вашу супругу я мельком видал, — ядреная бабенка, что и говорить, — шея больно хороша, люблю... Э, стойте. Это я маху дал, разрешите переиграть. Так-то будет правильнее. Я большой любитель женщин, а уж меня как они любят, подлые, прямо не поверите. Вот вы писали вашей супруге о ее там глазках, губках. Недавно, знаете, я имел... Почему же я не могу съесть? Ах, вот что. Прытко, прытко. Ну, ладно, — ушел. Недавно я имел половое общение с исключительно здоровой и роскошной особой. Какое получаешь удовольствие, когда крупная брюнетка... Это что же? Вот тебе раз. Вы должны предупреждать, так не годится. Давайте сыграю иначе. Так-с. Да, роскошная, страстная, — а я, знаете, сам с усам, обладаю такой пружиной, что — ух! Вообще говоря, из многочисленных соблазнов жизни, которые, как бы играя, но вместе с тем очень серьезно, собираюсь постепенно представить вашему вниманию, соблазн любви... Нет, погодите, я еще не решил, пойду ли так. Да, пойду. Как — мат? Почему — мат? Сюда — не могу, сюда — не могу, сюда... Тоже не могу. Позвольте, как же раньше стояло? Нет, еще раньше. Ну, вот это другое дело. Зевок. Пошел так. Да, — красная роза в зубах, черные ажурные

чулки по сии места и больше ни-че-го, — это я понимаю, это высшее... а теперь вместо восторгов любви — сырой камень, ржавое железо, а впереди... сами знаете, что впереди. Не заметил. А если так? Так лучше. Партия все равно — моя, вы делаете ошибку за ошибкой. Пускай она изменяла вам, но ведь и вы держали ее в своих объятиях. Когда ко мне обращаются за советами, я всегда говорю: господа, побольше изобретательности. Ничего нет приятнее, например, чем окружиться зеркалами и смотреть, как там кипит работа, — замечательно! А вот это вовсе не замечательно. Я, честное слово, думал, что пошел не сюда, а сюда. Так что вы не могли... Назад, пожалуйста. Я люблю при этом курить сигару и говорить о незначительных вещах, и чтобы она тоже говорила, — ничего не поделаешь, известная развратность... Да, — тяжко, страшно и обидно сказать всему этому «прости» — и думать, что другие, такие же молодые и сочные, будут продолжать работать, работать... Эх! не знаю, как вы, но я в смысле ласок обожаю то, что у нас, у борцов, зовется макароны: шлеп ее по шее, и чем плотнее мяса... Во-первых, могу съесть, во-вторых, могу просто уйти; ну, так. Постойте, постойте, я все-таки еще подумаю. Какой был последний ход? Поставьте обратно и дайте подумать. Вздор, никакого мата нет. Вы, по-моему, тут что-то, извините, смошенничали, вот это стояло тут или тут, а не тут, я абсолютно уверен. Ну, поставьте, поставьте...

Он как бы нечаянно сбил несколько фигур и, не удержавшись, со стоном, смешал остальные. Цинциннат сидел, облокотясь на одну руку; задумчиво копал коня, который в области шеи был, казалось, не прочь вернуться в ту хлебную стихию, откуда вышел.

— В другую игру, в другую игру, в шахматы вы не умеете, — суетливо закричал м-сье Пьер и развернул ярко раскрашенную доску для игры в гуся.

Бросил кости — и сразу поднялся с трех на двадцать семь, — но потом пришлось спуститься опять, — зато с двадцати двух на сорок шесть взвился Цинциннат. Игра тянулась долго. М-сье Пьер наливался малиной, топал, злился, лез за костями под стол и вылезал оттуда, держа их на ладони и клянясь, что именно так они лежали на полу.

— Почему от вас так пахнет? — спросил Цинциннат со вздохом.

Толстенькое лицо м-сье Пьера исказилось принужденной улыбкой.

— Это у нас в семье, — пояснил он с достоинством, — ноги немножко потеют. Пробовал квасцами, но ничто не берет. Должен сказать, что, хотя страдаю этим с детства и хотя ко всякому страданию принято относиться с уважением, еще никто никогда так бестактно...

— Я дышать не могу, — сказал Цинциннат.

XIV

Они были еще ближе — и теперь так торопились, что грешно было их отвлекать выстукиванием вопросов. И продолжались они позже чем вчера, и Цинциннат лежал на плитах крестом, ничком, как сраженный солнечным ударом, и, потворствуя ряжению чувств, ясно, через слух видел потайной ход, удлиняющийся с каждым скребом, и ощущал, словно ему облегчали темную, тесную боль в груди, как расшатываются камни, и уже гадал, глядя на стену, где-то она даст трещину и с грохотом разверзнется.

Еще потрескивало и шуршало, когда пришел Родион. За ним, в балетных туфлях на босу ногу и шерстяном платьице в шотландскую клетку, шмыгнула Эммочка и, как уже раз было, спряталась под стол, скрючившись там на корточках, так что ее льняные волосы, вьющиеся на концах, покрывали ей и лицо, и колени, и даже лодыжки. Лишь только Родион удалился, она вспрянула — да прямо к Цинциннату, сидевшему на койке, и, опрокинув его, пустилась по нем карабкаться. Холодные пальцы ее горячих голых рук впивались в него, она скалилась, к передним зубам пристал кусочек зеленого листа.

— Садись смирно, — сказал Цинциннат, — я устал, всю ночь сомей не очкнул, — садись смирно и расскажи мне...

Эммочка, возясь, уткнулась лбом ему в грудь; из-под ее рассыпавшихся и в сторону свесившихся буклей обнажилась в заднем вырезе платья верхняя часть спины, со впадиной, менявшейся от движений лопаток, и вся ровно

поросшая белесоватым пушком, казавшимся симметрично расчесанным.

Цинциннат погладил ее по теплой голове, стараясь ее приподнять. Схватила его за пальцы и стала их тискать и прижимать к быстрым губам.

— Вот ластушка, — сонно сказал Цинциннат — ну, будет, будет. Расскажи мне...

Но ею овладел порыв детской буйности. Этот мускулистый ребенок валял Цинцинната, как щенка.

— Перестань! — крикнул Цинциннат. — Как тебе не стыдно!

— Завтра, — вдруг сказала она, сжимая его и смотря ему в переносицу.

— Завтра умру? — спросил Цинциннат.

— Нет, спасу, — задумчиво проговорила Эммочка (она сидела на нем верхом).

— Вот это славно, — сказал Цинциннат, — спасители отовсюду! Давно бы так, а то с ума сойду. Пожалуйста, слезь, мне тяжело, жарко.

— Мы убежим, и вы на мне женитесь.

— Может быть, — когда подрастешь; но только жена у меня уже есть.

— Толстая, старая, — сказала Эммочка.

Она соскочила с постели и побежала вокруг камеры, как бегают танцовщицы, крупной рысью, тряся волосами, и потом прыгнула, будто летя, и наконец закружилась на месте, раскинув множество рук.

— Скоро опять школа, — сказала она, мгновенно сев к Цинциннату на колени, — и, тотчас все забыв на свете, погрузилась в новое занятие: принялась колупать черную продольную корку на блестящей голени, корка уже наполовину была снята, и нежно розовел шрам.

Цинциннат, щурясь, глядел на ее склоненный, обведенный пушистой каемкой света профиль, и дремота долила его.

— Ах, Эммочка, помни, помни, помни, что ты обещала. Завтра! Скажи мне, как ты устроишь?

— Дайте ухо, — сказала Эммочка.

Обняв его за шею одной рукой, она жарко, влажно и совершенно невнятно загудела ему в ухо.

— Ничего не слышу, — сказал Цинциннат.

Нетерпеливо откинула с лица волосы и опять приникла.

— Бу... бу... бу... — гулко бормотала она — и вот отскочила, взвилась, — и вот уже отдыхала на чуть качавшейся трапеции, сложив и вытянув клином носки.

— Я все же очень на это рассчитываю, — сквозь растущую дрему проговорил Цинциннат; медленно приник мокрым гудящим ухом к подушке.

Засыпая, он чувствовал, как она перелезала через него, — и потом ему неясно мерещилось, что она или кто-то другой без конца складывает какую-то блестящую ткань, берет за углы, и складывает, и поглаживает ладонью, и складывает опять, — и на минуту он очнулся от визга Эммочки, которую выволакивал Родион.

Потом ему показалось, что осторожно возобновились заветные звуки за стеной... как рискованно! Ведь середина дня... но они не могли сдержаться и тихонько проталкивались к нему все ближе, все ближе, — и он, испугавшись, что сторожа услышат, начал ходить, топать, кашлять, напевать, — и когда, с сильно бьющимся сердцем, сел за стол, звуков уже не было.

А к вечеру, — как теперь завелось, — явился м-сье Пьер, в парчовой тюбетейке; непринужденно, по-домашнему прилег на Цинциннатову койку и, пышно раскурив длинную пенковую трубку с резным подобием пэри, оперся на локоток. Цинциннат сидел у стола, дожевывая ужин, выуживая чернослив из коричневого сока.

— Я их сегодня припудрил, — бойко сказал м-сье Пьер, — так что прошу без жалоб и без замечаний. Давайте продолжим наш вчерашний разговор. Мы говорили о наслаждениях.

— Наслаждение любовное, — сказал м-сье Пьер, — достигается путем одного из самых красивых и полезных физических упражнений, какие вообще известны. Я сказал — достигается, но, может быть, слово «добывается» или «добыча» было бы еще уместнее, ибо речь идет именно о планомерной и упорной добыче наслаждения, заложенного в самых недрах обрабатываемого существа. В часы досуга работник любви сразу поражает наблюдателя соколиным выражением глаз, веселостью нрава и свежим

цветом лица. Обратите также внимание на плавность моей походки. Итак, мы имеем перед собой некое явление или ряд явлений, которые можно объединить под общим термином любовного или эротического наслаждения.

Тут, на цыпочках, показывая жестами, чтобы его не замечали, вошел директор и сел на табурет, который сам принес.

М-сье Пьер обратил на него взор, блестевший доброжелательством.

— Продолжайте, продолжайте, — зашептал Родриг Иванович, — я пришел послушать. Pardon, одну минуточку, — только поставлю так, чтобы можно было к стене прислониться. Voilà[1]. Умаялся все-таки, — а вы?

— Это у вас с непривычки, — сказал м-сье Пьер. — Так разрешите продолжать. Мы тут беседовали, Родриг Иванович, о наслаждениях жизни и разобрали в общих чертах эрос.

— Понимаю, — сказал директор.

— Я следующие отметил пункты... вы извините, коллега, что повторю, но мне хочется, чтобы Родригу Ивановичу тоже было интересно. Я отметил, Родриг Иванович, что мужчине, осужденному на смерть, труднее всего забыть женщину, вкусное женское тело.

— И лирику лунных ночей, — добавил от себя Родриг Иванович, строго взглянув на Цинцинната.

— Нет, вы уж не мешайте мне развивать тему, захотите — после скажете. Итак, я продолжаю. Кроме наслаждений любовных имеется целый ряд других, и к ним мы теперь перейдем. Вы, вероятно, не раз чувствовали, как расширяется грудь в чудный весенний день, когда наливаются почки и пернатые певцы оглашают рощи, одетые первой клейкой листвой. Первые скромные цветики кокетливо выглядывают из-под травы и как будто хотят завлечь страстного любителя природы, боязливо шепча: «Ах не надо, не рви нас, наша жизнь коротка». Расширяется и широко дышит грудь в такой день, когда поют пташки и на первых деревьях появляются первые скромные листочки. Все радуется, и все ликует.

---

[1] Вот *(фр.)*.

— Мастерское описание апреля, — сказал директор, тряхнув щеками.

— Я думаю, что каждый испытал это, — продолжал м-сье Пьер, — и теперь, когда не сегодня завтра мы все взойдем на плаху, незабвенное воспоминание такого весеннего дня заставляет крикнуть: «О, вернись, вернись; дай мне еще раз пережить тебя...» «Пережить тебя», — повторил м-сье Пьер, довольно откровенно заглянув в мелко исписанный свиточек, который держал в кулаке.

— Далее, — сказал м-сье Пьер, — переходим к наслаждениям духовного порядка. Вспомните, как бывало в грандиозной картинной галерее или музее, вы останавливались вдруг и не могли оторвать глаз от какого-нибудь пикантного торса — увы, из бронзы или мрамора. Это мы можем назвать: наслаждение искусством, — оно занимает в жизни немалое место.

— Еще бы, — сказал в нос Родриг Иванович и посмотрел на Цинцинната.

— Гастрономические наслаждения, — продолжал м-сье Пьер. — Смотрите: вот — лучшие сорта фруктов свисают с древесных ветвей; вот — мясник и его помощники влекут свинью, кричащую так, как будто ее режут; вот — на красивой тарелке солидный кусок белого сала; вот — столовое вино, вишневка; вот — рыбка, — не знаю, как остальные, но я большой охотник до леща.

— Одобряю, — пробасил Родриг Иванович.

— Этот чудный пир приходится покинуть. И еще многое приходится покинуть: праздничную музыку; любимые вещички, вроде фотоаппарата или трубки; дружеские беседы; блаженство отправления естественных надобностей, которое некоторые ставят наравне с блаженством любви; сон после обеда; курение... Что еще? Любимые вещицы, — да, это уже было, — (опять появилась шпаргалка). — Блаженство... и это было. Ну, всякие еще мелочи...

— Можно кое-что добавить? — подобострастно спросил директор, но м-сье Пьер покачал головой:

— Нет, вполне достаточно. Мне кажется, что я развернул перед умственным взором коллеги такие дали чувственных царств...

— Я только хотел насчет съедобного, — заметил вполголоса директор. — Тут, по-моему, можно некоторые подробности. Например, en fait de potage...[1] Молчу, молчу, — испуганно докончил он, встретив взгляд м-сье Пьера.

— Ну что ж, — обратился м-сье Пьер к Цинциннату, — что вы на это скажете?

— В самом деле, что мне сказать? — проговорил Цинциннат. — Сонный, навязчивый вздор.

— Неисправим! — воскликнул Родриг Иванович.

— Это он так нарочно, — сказал с грозной, фарфоровой улыбкой м-сье Пьер. — Поверьте мне, он в достаточной мере чувствует всю прелесть описанных мною явлений.

— ...Но кое-чего не понимает, — гладко въехал Родриг Иванович, — он не понимает, что если бы сейчас честно признал свою блажь, честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами, например на первое черепаховый суп, говорят, это стихийно вкусно, то есть я хочу только заметить, что если бы он честно признал и раскаялся, — да, раскаялся бы, — вот моя мысль, — тогда была бы для него некоторая отдаленная — не хочу сказать надежда, но во всяком случае...

— Пропустил насчет гимнастики, — зашептал м-сье Пьер, просматривая свою бумажку, — экая досада!

— Нет, нет, прекрасно сказали, прекрасно, — вздохнул Родриг Иванович, — лучше нельзя было. Во мне встрепенулись желания, которые дремали десятки лет. Вы что — еще посидите? Или со мной?

— С вами. Он сегодня просто злюка. Даже не смотрит. Царства ему предлагаешь, а он дуется. Мне ведь нужно так мало, — одно словцо, кивок. Ну, ничего не поделаешь. Пошли, Родриго.

Вскоре после их ухода потух свет, и Цинциннат в темноте перебрался на койку (неприятно, чужой пепел, но больше некуда лечь), и, по всем хрящикам и позвонкам выхрустывая длинную тоску, весь вытянулся; вобрал воздух и подержал его с четверть минуты. Может быть: просто каменщики. Чинят. Обман слуха: может быть, все это происходит далеко, далеко (выдохнул). Он лежал на спине,

---

[1] Насчет супа *(фр.)*.

шевеля торчавшими из-под одеяла пальцами ног и поворачивая лицо то к невозможному спасению, то к неизбежной казни. Свет вспыхнул опять.

Почесывая рыжую грудь под рубашкой, явился Родион за табуретом. Увидев искомый предмет, он не долго думая сел на него, тяжело крякнул, громадной ладонью помял опущенное лицо и, по-видимому, собрался всхрапнуть.

— Еще не приехал? — спросил Цинциннат.

Родион немедленно встал и вышел с табуретом.

Мрик — мрак.

Оттого ли, что со дня суда прошел некоторый цельный срок: две недели, — оттого ли, что приближение спасательных звуков сулило перемену в судьбе, — но в эту ночь Цинциннат мысленно занимался тем, что делал смотр часам, проведенным в крепости. Невольно уступая соблазну логического развития, невольно (осторожно, Цинциннат!) сковывая в цепь то, что было совершенно безопасно в виде отдельных, неизвестно куда относившихся звеньев, он придавал смысл бессмысленному и жизнь неживому. На фоне каменной темноты он сейчас разрешал появляться освещенным фигурам всех своих обычных посетителей... впервые, впервые воображение его так снисходило к ним. Появлялся докучный сосед-арестантик, с наливным личиком, лоснящимся, как то восковое яблоко, которое на днях приносил балагур зять; появлялся адвокат, подвижной, поджарый, высвобождающий из рукавов фрака манжеты; появлялся мрачный библиотекарь, и в черном, гладком парике дебелый Родриг Иванович, и Эммочка, и вся Марфинькина семья, и Родион, и другие, смутные сторожа и солдаты, — и, вызывая их, — пускай не веря в них, но все-таки вызывая, — Цинциннат давал им право на жизнь, содержал их, питал их собой. Ко всему этому присоединялась ежеминутная возможность возвращения волнующего стука, действующая как разымчивое ожидание музыки, — так что Цинциннат находился в странном, трепетном, опасном состоянии, — и с каким-то возрастающим торжеством били далекие часы, — и вот, выходя из мрака, подавая друг другу руки, смыкались в круг освещенные фигуры — и, слегка напирая вбок, и кренясь, и тащась, начинали — сперва тугое, влачащееся — круговое движе-

ние, которое постепенно выправлялось, легчало, ускорялось, и вот уже пошло, пошло, — и чудовищные тени от плеч и голов пробегали, повторяясь, все шибче по каменным сводам, и тот неизбежный весельчак, который в хороводе высоко поднимает ноги, смеша остальных, более чопорных, отбрасывал на стены громадные черные углы своих безобразных колен.

XV

Утро прошло тихо, но зато около пяти пополудни начался сокрушительнейший треск: тот, кто работал, рьяно торопился, бесстыдно гремел; впрочем, не намного приблизился со вчерашнего дня.

Внезапно произошло нечто особенное: рухнула будто какая-то внутренняя преграда, и уже теперь звуки проявились с такой выпуклостью и силой (мгновенно перейдя из одного плана в другой — прямо к рампе), что стало ясно: они вот тут, сразу за тающей, как лед, стеной, и вот сейчас, сейчас прорвутся.

И тогда узник решил, что пора действовать. Страшно спеша, трепеща, но все же стараясь не терять над собой власти, он достал и надел те резиновые башмаки, те полотняные панталоны и куртку, в которых был, когда его взяли; нашел носовой платок, два носовых платка, три носовых платка (беглое преображение их в те простыни, которые связываются вместе); на всякий случай сунул в карман какую-то веревочку с еще прикрученной к ней деревянной штучкой для носки пакетов (не засовывалась, кончик висел); ринулся к постели с целью так взбить и покрыть одеялом подушку, чтобы получилось чучело спящего; не сделал этого, а кинулся к столу, с намерением захватить написанное; но и тут на полпути переменил направление, ибо от победоносной, бешеной стукотни мешались мысли... Он стоял, вытянувшись как стрела, руки держа по швам, когда, в совершенстве воплощая его мечту, желтая стена на аршин от пола дала молниевидную трещину, тотчас набрякла, толкаемая снутри, и внезапно с грохотом разверзлась.

Из черной дыры в облаке мелких обломков вылез, с киркой в руке, весь осыпанный белым, весь извивающийся и шлепающийся, как толстая рыба в пыли, весь зыблющийся от смеха, м-сье Пьер, и, сразу за ним — но раком, — толстозадый, с прорехой, из которой торчал клок серой ваты, без сюртука, тоже осыпанный всякой дрянью, тоже помирающий со смеху, Родриг Иванович, и, выкатившись из дыры, они оба сели на пол и уже без удержу затряслись, со всеми переходами от хо-хо-хо до кхи-кхи-кхи и обратно, с жалобными писками в интервалах взрывов, — толкая друг друга, друг на друга валясь...

— Мы, мы, это мы, — выдавил наконец м-сье Пьер, повернув к Цинциннату меловое лицо, причем желтый паричок его с комическим свистом приподнялся и опал.

— Это мы, — проговорил неожиданным для него фальцетом Родриг Иванович и густо загоготал снова, задрав мягкие ноги в невозможных гетрах эксцентрика.

— Уф! — произнес м-сье Пьер, вдруг успокоившись; встал с пола и, обивая ладонь о ладонь, оглянулся на дыру: — Ну и поработали же мы, Родриг Иванович! Вставайте, голубчик, довольно. Какая работа! Что же, теперь можно и воспользоваться этим превосходным туннелем... Позвольте вас пригласить, милый сосед, ко мне на стакан чаю.

— Если вы только меня коснетесь... — прошелестел Цинциннат, — и так как с одной стороны, готовый его обнять и впихнуть, стоял белый, потный м-сье Пьер, а с другой, — тоже раскрыв объятия, голоплечий, в свободно висящей манишке, — Родриг Иванович, и оба как бы медленно раскачивались, собираясь навалиться на него, то Цинциннат избрал единственное возможное направление, а именно то, которое ему указывалось. М-сье Пьер легонько подталкивал его сзади, помогая ему вползать в отверстие.

— Присоединяйтесь, — обратился он к Родригу Ивановичу, но тот отказался, сославшись на расстройство туалета.

Сплющенный и зажмуренный, полз на карачках Цинциннат, сзади полз м-сье Пьер, и, отовсюду тесня, давила на хребет, колола в ладони, в колени кромешная тьма, полная осыпчивого треска, и несколько раз Цинциннат

утыкался в тупик, и тогда м-сье Пьер тянул за икры, заставляя из тупика пятиться, и ежеминутно угол, выступ, неизвестно что больно задевало голову, и вообще тяготела над ним такая ужасная, беспросветная тоска, что, не будь сзади сопящего, бодучего спутника, — он бы тут же лег и умер. Но вот, после длительного продвижения в узкой, угольно-черной тьме (в одном месте, сбоку, красный фонарик тускло обдал лоском черноту), после тесноты, слепоты, духоты, — вдали показался округлявшийся бледный свет: там был поворот и наконец — выход; неловко и кротко Цинциннат выпал на каменный пол — в пронзенную солнцем камеру м-сье Пьера.

— Милости просим, — сказал хозяин, вылезая за ним; тотчас достал платяную щетку и принялся ловко обчищать мигающего Цинцинната, деликатно сдерживая и смягчая движение там, где могло быть чувствительно. При этом он, сгибаясь, будто опутывая его чем, ходил кругом Цинцинната, который стоял совершенно неподвижно, пораженный одной необыкновенно простой мыслью, пораженный, вернее, не самой мыслью, — а тем, что она не явилась ему раньше.

— А я, разрешите, сделаю так, — произнес м-сье Пьер и стянул с себя пыльную фуфайку; на мгновение, как бы невзначай, напряг руку, косясь на бирюзово-белый бицепс и распространяя свойственное ему зловоние. Вокруг левого соска была находчивая татуировка — два зеленых листика, — так что самый сосок казался бутоном розы (из марципана и цуката). — Присаживайтесь, прошу, — сказал он, надевая халат в ярких разводах, — чем богат, тем и рад. Мой номер, как видите, почти не отличается от вашего. Я только держу его в чистоте и украшаю... украшаю чем могу. — (Он слегка задохнулся, вроде как от волнения.)

Украшаю. Аккуратно выставил малиновую цифру стенной календарь с акварельным изображением крепости при заходящем солнце. Одеяло, сшитое из разноцветных ромбов, прикрывало койку. Над ней кнопками были прикреплены снимки игривого жанра и висела кабинетная фотография м-сье Пьера; из-за края рамы выпускал гофрированные складки бумажный веерок. На столе лежал крокодиловый альбом, золотился циферблат дорожных часов,

и над блестящим ободком фарфорового стакана с немецким пейзажем глядели в разные стороны пять-шесть бархатистых анютиных глазок. В углу камеры был прислонен к стене большой футляр, содержавший, казалось, музыкальный инструмент.

— Я чрезвычайно счастлив вас видеть у себя, — говорил м-сье Пьер, прогуливаясь взад и вперед и каждый раз проходя сквозь косую полосу солнца, в которой еще играла известковая пыль. — Мне кажется, что за эту неделю мы с вами так подружились, как-то так хорошо, тепло сошлись, как редко бывает. Вас, я вижу, интересует, что внутри? Вот дайте, — (он перевел дух), — дайте договорить и тогда покажу вам...

— Наша дружба, — продолжал, разгуливая и слегка задыхаясь, м-сье Пьер, — наша дружба расцвела в тепличной атмосфере темницы, где питалась одинаковыми тревогами и надеждами. Думаю, что я вас знаю теперь лучше, чем кто-либо на свете, — и уж конечно интимнее, чем вас знала жена. Мне поэтому особенно больно, когда вы поддаетесь чувству злобы или бываете невнимательны к людям... Вот сейчас, когда мы к вам так весело явились, вы опять Родриг Ивановича оскорбили напускным равнодушием к сюрпризу, в котором он принимал такое милое, энергичное участие, а ведь он уже далеко не молод и немало у него собственных забот. Нет, об этом сейчас не хочу... Мне только важно установить, что ни один ваш душевный оттенок не ускользает от меня, и потому мне лично кажется не совсем справедливым известное обвинение... Для меня вы прозрачны, как — извините изысканность сравнения — как краснеющая невеста прозрачна для взгляда опытного жениха. Не знаю, у меня что-то с дыханием, простите, сейчас пройдет. Но если я вас так близко изучил и — что таить — полюбил, крепко полюбил, — то и вы, стало быть, узнали меня, привыкли ко мне, — более того, привязались ко мне, как я к вам. Добиться такой дружбы — вот в чем заключалась первая моя задача, и, по-видимому, я разрешил ее успешно. Успешно. Сейчас будем пить чай. Не понимаю, почему не несут.

Он сел, хватаясь за грудь, к столу против Цинцинната, но сразу вскочил опять; вынул из-под подушки кожаный

кошелек, из кошелька — замшевый чехольчик, из чехольчика — ключ и подошел к большому футляру, стоявшему в углу.

— Я вижу, вы потрясены моей аккуратностью, — сказал он и бережно опустил на пол футляр, оказавшийся увесистым и неповоротливым. — ...Но видите ли, аккуратность украшает жизнь одинокого человека, который этим доказывает самому себе...

В раскрывшемся футляре, на черном бархате, лежал широкий, светлый топор.

— ...самому себе доказывает, что у него есть гнездышко... Гнездышко, — продолжал м-сье Пьер, снова запирая футляр, прислоняя его к стене и сам прислоняясь, — гнездышко, которое он заслужил, свил, наполнил своим теплом... Тут вообще большая философская тема, но по некоторым признакам мне кажется, что вам, как и мне, сейчас не до тем. Знаете что? Вот мой совет: чайку мы с вами попьем после, — а сейчас пойдите к себе и прилягте, идите. Мы оба молоды, вам не следует оставаться здесь дольше. Завтра вам объяснят, а теперь идите. Я тоже возбужден, я тоже не владею собой, вы должны это понять...

Цинциннат тихо теребил запертую дверь.

— Нет, нет, вы — по нашему туннелю. Недаром же трудились. Ползком, ползком. Я дыру занавешиваю, а то некрасиво. Пожалуйте...

— Сам, — сказал Цинциннат.

Он влез в черное отверстие и, шурша ушибленными коленями, пополз на четвереньках, проникая все глубже в тесную темноту. М-сье Пьер, гулко вдогонку крикнув ему что-то насчет чая, по-видимому, завел сторку, — ибо Цинциннат сразу почувствовал себя отрезанным от светлой камеры, где только что был.

С трудом дыша шероховатым воздухом, натыкаясь на острое — и без особого страха ожидая обвала, — Цинциннат вслепую пробирался по извилистому ходу и попадал в каменные мешки, и, как смирное отступающее животное, подавался назад, и, нащупав продолжение хода, полз дальше. Ему не терпелось лечь на мягкое, хотя бы на свою койку, завернуться с головой и ни о чем не думать. Это обратное путешествие так затянулось, что, обдирая плечи,

он начал торопиться, поскольку ему это позволяло постоянное предчувствие тупика. Духота дурманила, — и он решил было замереть, поникнуть, вообразить себя в постели и на этой мысли, быть может, уснуть, — как вдруг дно, по которому он полз, пошло вниз, под весьма ощутимый уклон, и вот мелькнула впереди красновато-блестящая щель, и пахнуло сыростью, плесенью, точно он из недр крепостной стены перешел в природную пещеру, и с низкого свода над ним, каждая на коготке, головкой вниз, закутавшись, висели в ряд, как сморщенные плоды, летучие мыши в ожидании своего выступления, — щель пламенисто раздвинулась, и повеяло свежим дыханием вечера, и Цинциннат вылез из трещины в скале на волю.

Он очутился на одной из многих муравчатых косин, которые, как заостренные темно-зеленые волны, круто взлизывали на разных высотах промеж скал и стен уступами поднимавшейся крепости. В первую минуту у него так кружилась голова от свободы, высоты и простора, что он, вцепившись в сырой дерн, едва ли что-либо замечал, кроме того, что по-вечернему громко кричат ласточки, черными ножницами стригущие крашеный воздух, что закатное зарево охватило полнеба, что над затылком поднимается со страшной быстротой слепая каменная крутизна крепости, из которой он, как капля, выжался, а под ногами — бредовые обрывы и клевером курящийся туман.

Отдышавшись, справившись с игрой в глазах, с дрожью в теле, с напором ахающей, ухающей, широко и далеко раскатывающейся воли, он прилепился спиной к скале и обвел глазами дымящуюся окрестность. Далеко внизу, где сумерки уже осели, едва виднелся в струях тумана узористый горб моста. А там, по другую сторону, дымчатый, синий город, с окнами как раскаленные угольки, не то еще занимал блеск у заката, не то уже засветился за свой счет, — можно было различить, как, постепенно нанизываясь, зажигались бусы фонарей вдоль Крутой, — и была необычайно отчетлива тонкая арка в верхнем ее конце. За городом все мглисто мрело, складывалось, ускользало, — но над невидимыми садами, в розовой глубине неба, стояли цепью прозрачно-огненные облачка и тянулась одна длинная лиловая туча с горящими прорезами по нижнему

краю, — и пока Цинциннат глядел, там, там, вдали, венецианской ярью вспыхнул поросший дубом холм и медленно затмился.

Пьяный, слабый, скользя по жесткому дерну и балансируя, он двинулся вниз, и к нему сразу из-за выступа стены, где предостерегающе шуршал траурный терновник, выскочила Эммочка, с лицом и ногами, розовыми от заката, и, крепко схватив его за руку, повлекла за собой. Во всех ее движениях сказывалось волнение, восторженная поспешность.

— Куда мы? Вниз? — прерывисто спрашивал Цинциннат, смеясь от нетерпения.

Она быстро повела его вдоль стены. В стене отворилась небольшая зеленая дверь. Вниз вели ступени, — незаметно проскочившие под ногами. Опять скрипнула дверь; за ней был темноватый проход, где стояли сундуки, платяной шкаф, прислоненная к стене лесенка и пахло керосином; тут оказалось, что они с черного хода проникли в директорскую квартиру, ибо, — уже не так цепко держа его за пальцы, уже рассеянно выпуская их, Эммочка ввела его в столовую, где, за освещенным овальным столом, все сидели и пили чай. У Родрига Ивановича салфетка широко покрывала грудь; его жена — тощая, веснушчатая, с белыми ресницами — передавала бублики м-сье Пьеру, который нарядился в косоворотку с петушками; около самовара лежали в корзинке клубки цветной шерсти и блестели стеклянистые спицы. Востроносая старушка в наколке и черной мантильке хохлилась в конце стола.

Увидев Цинцинната, директор разинул рот, и что-то с угла потекло.

— Фуй, озорница! — с легким немецким акцентом проговорила директорша.

М-сье Пьер, помешивая чай, застенчиво опустил глаза.

— В самом деле, что за шалости? — сквозь дынный сок произнес Родриг Иванович. — Не говоря о том, что это против всяких правил!

— Оставьте, — сказал м-сье Пьер, не поднимая глаз. — Ведь они оба дети.

— Каникулам конец, вот и хочется ей пошалить, — быстро проговорила директорша.

Эммочка, нарочито стуча стулом, егозя и облизываясь, села за стол и, навсегда забыв Цинцинната, принялась посыпать сахаром, сразу оранжевевшим, лохматый ломоть дыни, в который затем вертляво впилась, держа его за концы, доходившие до ушей, и локтем задевая соседа. Сосед продолжал хлебать свой чай, придерживая между вторым и третьим пальцем торчавшую ложечку, но незаметно опустил левую руку под стол.

— Ай! — щекотливо дернулась Эммочка, не отрываясь, впрочем, от дыни.

— Садитесь-ка покамест там, — сказал директор, фруктовым ножом указывая Цинциннату зеленое, с антимакассаром, кресло, стоявшее особняком в штофном полусумраке около складок портьеры. — Когда мы кончим, я вас отведу восвояси. Да садитесь, говорят вам. Что с вами? Что с ним? Вот непонятливый!

М-сье Пьер наклонился к Родригу Ивановичу и, слегка покраснев, что-то ему сообщил.

У того так и громыхнуло в гортани.

— Ну, поздравляю вас, поздравляю, — сказал он, с трудом сдерживая порывы голоса. — Радостно!.. Давно пора было... Мы все... — он взглянул на Цинцинната и уже собрался торжественно.

— Нет, еще рано, друг мой, не смущайте меня, — прошептал м-сье Пьер, тронув его за рукав.

— Во всяком случае, вы не откажетесь от второго стаканчика чаю, — игриво произнес Родриг Иванович, а потом, подумав и почавкав, обратился к Цинциннату:

— Эй, вы там. Можете пока посмотреть альбом. Дитя, дай ему альбом. Это к ее, — (жест ножом), — возвращению в школу наш дорогой гость сделал ей... сделал ей... Виноват, Петр Петрович, я забыл, как вы это назвали?

— Фотогороскоп, — скромно ответил м-сье Пьер.

— Лимончик оставить? — спросила директорша.

Висячая керосиновая лампа, оставляя в темноте глубину столовой (где только вспыхивал, откалывая крупные секунды, блик маятника), проливала на уютную сервировку стола семейственный свет, переходивший в звон чайного чина.

XVI

Спокойствие. Паук высосал маленькую, в белом пушку, бабочку и трех комнатных мух, — но еще не совсем насытился и посматривал на дверь. Спокойствие. Цинциннат был весь в ссадинах и синяках. Спокойствие, ничего не случилось. Накануне вечером, когда его отвели обратно в камеру, двое служителей кончали замазывать место, где давеча зияла дыра. Теперь оно было отмечено всего лишь наворотами краски покруглее да погуще, — и делалось душно при одном взгляде на снова ослепшую, оглохшую и уплотнившуюся стену.

Другим останком вчерашнего дня был крокодиловый, с массивной темно-серебряной монограммой альбом, который он взял с собой в смиренном рассеянии: альбом особенный, а именно — фотогороскоп, составленный изобретательным м-сье Пьером, то есть серия фотографий, с естественной постепенностью представляющих всю дальнейшую жизнь данной персоны. Как это делалось? А вот как. Сильно подправленные снимки с сегодняшнего лица Эммочки дополнялись частями снимков чужих — ради туалетов, обстановки, ландшафтов, — так что получалась вся бутафория ее будущего. По порядку вставленные в многоугольные оконца каменно-плотного, с золотым обрезом картона и снабженные мелко написанными датами, эти отчетливые и на полувзгляд неподдельные фотографии демонстрировали Эммочку сначала — какой она была сегодня, затем — по окончании школы, то есть спустя три года, скромницей, с чемоданчиком балерины в руке, затем — шестнадцати лет, в пачках, с газовыми крыльцами за спиной, вольно сидящей на столе, с поднятым бокалом, среди бледных гуляк, затем — лет восемнадцати, в фатальном трауре, у перил над каскадом, затем... ах, во многих еще видах и позах, вплоть до самой последней — лежачей.

При помощи ретушировки и других фотофокусов как будто достигалось последовательное изменение лица Эммочки (искусник, между прочим, пользовался фотографиями ее матери), но стоило взглянуть ближе, и становилась безобразно ясной аляповатость этой пародии на работу времени. У Эммочки, выходившей из театра в мехах

с цветами, прижатыми к плечу, были ноги, никогда не плясавшие; а на следующем снимке, изображавшем ее уже в венчальной дымке, стоял рядом с ней жених, стройный и высокий, но с кругленькой физиономией м-сье Пьера. В тридцать лет у нее появлялись условные морщины, проведенные без смысла, без жизни, без знания их истинного значения, — но знатоку говорящие совсем странное, как бывает, что случайное движение ветвей совпадает с жестом, понятным для глухонемого. А в сорок лет Эммочка умирала, — и тут позвольте вас поздравить с обратной ошибкой: лицо ее на смертном одре никак не могло сойти за лицо смерти!

Родион унес этот альбом, бормоча, что барышня сейчас уезжает, а когда опять явился, счел нужным сообщить, что барышня уехала:

(Со вздохом.) «У-е-хали!.. — (К пауку.) — Будет с тебя... — (Показывает ладони.) — Нет у меня ничего. — (Снова к Цинциннату.) — Скучно, ой скучно будет нам без дочки, ведь как летала, да песни играла, баловница наша, золотой наш цветок. — (После паузы другим тоном.) — Чтой-то вы нынче, сударь мой, никаких таких вопросов с закавыкой не задаете? А?»

«То-то», — сам себе внушительно ответил Родион и с достоинством удалился.

А после обеда, совершенно официально, уже не в арестантском платье, а в бархатной куртке, артистическом галстуке бантом и новых, на высоких каблуках, вкрадчиво поскрипывающих сапогах с блестящими голенищами (чем-то делавших его похожим на оперного лесника), вошел м-сье Пьер, а за ним, почтительно уступая ему первенство в продвижении, в речах, во всем, — Родриг Иванович и, с портфелем, адвокат. Все трое разместились у стола в плетеных креслах (из приемной), Цинциннат же сперва ходил по камере, единоборствуя с постыдным страхом, но потом тоже сел.

Не очень ловко (неловкость, однако, испытанная, привычная) завозясь с портфелем, отдергивая черную его щеку, держа его частью на колене, частью опирая его о стол — и съезжая то с одной точки, то с другой, — адвокат извлек большой блокнот, запер или, вернее, застегнул

слишком податливый и потому не сразу попадающий на зуб портфель; положил его было на стол, но передумал и, взяв его за шиворот, опустил на пол, прислонив его в сидячем положении пьяного к ножке своего кресла; быстро вынул — точно из петлицы — эмалированный карандаш, наотмашь открыл на столе блокнот и, ни на что и ни на кого не обращая внимания, начал ровно исписывать отрывные страницы; но именно это невнимание ко всему окружающему сугубо подчеркивало связь между бегом его карандаша и тем заседанием, на которое тут собрались.

Родриг Иванович сидел в кресле, слегка откинувшись — нажимом плотной спины заставляя трещать кресло и опустив одну лиловатую лапу на подлокотник, а другую заложив за борт сюртука; время от времени он производил такое движение отвислыми щеками и напудренным, как рахат-лукум, подбородком, словно высвобождал их из какой-то вязкой, засасывающей среды.

М-сье Пьер, сидевший посередине, налил себе воды из графина, затем бережно-бережно положил на стол кисти рук со сплетенными пальцами (игра фальшивого аквамарина на мизинце) и, опустив длинные ресницы, секунд десять благоговейно обдумывал, как начнет свою речь.

— Милостивые государи, — не поднимая глаз, тонким голосом сказал наконец м-сье Пьер, — прежде всего и раньше всего позвольте мне обрисовать двумя-тремя удачными штрихами то, что мною уже выполнено.

— Просим, — пробасил директор, сурово скрипнув креслом.

— Вам, конечно, известны, господа, причины той забавной мистификации, которая требуется традицией нашего искусства. В самом деле. Каково было бы, если бы я, с бухты-барахты открывшись, предложил Цинциннату Ц. свою дружбу? Ведь это значило бы, господа, заведомо его оттолкнуть, испугать, восстановить против себя, — совершить, словом, роковую ошибку.

Докладчик отпил из стакана и осторожно отставил его.

— Не стану говорить о том, — продолжал он, взмахнув ресницами, — как драгоценна для успеха общего дела атмосфера теплой товарищеской близости, которая постепенно,

с помощью терпения и ласки, создается между приговоренным и исполнителем приговора. Трудно, или даже невозможно, без содрогания вспомнить варварство давно минувших времен, когда эти двое, друг друга не зная вовсе, чужие друг другу, но связанные неумолимым законом, встречались лицом к лицу только в последний миг перед самым таинством. Все это изменилось, точно так же, как изменилось с течением веков древнее, дикое заключение браков, похожее скорее на заклание, — когда покорная девственница швырялась родителями в шатер к незнакомцу.

(Цинциннат нашел у себя в кармане серебряную бумажку от шоколада и стал ее мять.)

— И вот, господа, для того чтобы наладить самые дружеские отношения с приговоренным, я поселился в такой же мрачной камере, как он, во образе такого же, чтобы не сказать более, узника. Мой невинный обман не мог не удасться, и поэтому странно было бы мне чувствовать какие-либо угрызения; но я не хочу ни малейшей капли горечи на дне нашей дружбы. Несмотря на присутствие очевидцев и на сознание своей конкретной правоты, я у вас, — (он протянул Цинциннату руку), — прошу прощения.

— Да, это — настоящий такт, — вполголоса произнес директор, и его воспаленные лягушачьи глаза увлажнились; он достал сложенный платок, поднес было к бьющемуся веку, но раздумал, и вместо того сердито и выжидательно уставился на Цинцинната. Адвокат тоже взглянул, но мельком, при этом беззвучно двигая губами, ставшими похожими на его почерк, то есть не прерывая связи со строкой, отделившейся от бумаги и вот готовой опять побежать по ней дальше.

— Руку! — побагровев, с надсадом крикнул директор и так треснул по столу, что ушибся.

— Нет, не заставляйте его, если не хочет, — сказал спокойно м-сье Пьер. — Это ведь только проформа. Будем продолжать.

— Кро́ткий! — пророкотал Родриг Иванович, бросив из-под брове́й влажный, как лобзание, взгляд на м-сье Пьера.

— Будем продолжать, — сказал м-сье Пьер. — За это время мне удалось близко сойтись с соседом. Мы проводили...

Цинциннат посмотрел под стол. М-сье Пьер почему-то смешался, заерзал и покосился вниз. Директор, приподняв угол клеенки, посмотрел туда же и затем подозрительно взглянул на Цинцинната. Адвокат в свою очередь нырнул, после чего всех обвел взглядом и опять записал. Цинциннат выпрямился. (Ничего особенного — уронил серебряный комочек.)

— Мы проводили, — продолжал м-сье Пьер обиженным голосом, — долгие вечера вместе в непрерывных беседах, играх и всяческих развлечениях. Мы, как дети, состязались в силе; я, слабенький, бедненький м-сье Пьер, разумеется, о, разумеется, пасовал перед могучим ровесником. Мы толковали обо всем — об эротике и других возвышенных материях, и часы пролетали как минуты, минуты как часы. Иногда, в тихом молчании...

Тут Родриг Иванович вдруг гоготнул.

— Impayable ce[1] «разумеется», — прошептал он, несколько запоздало оценив шутку.

— ...Иногда, в тихом молчании, мы сидели рядом, почти обнявшись, сумерничая, каждый думая свою думу, и обе сливались, как реки, лишь только мы открывали уста. Я делился с ним сердечным опытом, учил искусству шахматной игры, веселил своевременным анекдотом. Так протекали дни. Результат налицо. Мы полюбили друг друга, и строение души Цинцинната так же известно мне, как строение его шеи. Таким образом, не чужой, страшный дядя, а ласковый друг поможет ему взойти на красные ступени, и без боязни предастся он мне, — навсегда, на всю смерть. Да будет исполнена воля публики! — (Он встал; встал и директор; адвокат, поглощенный писанием, только слегка приподнялся.) — Так. Я попрошу вас теперь, Родриг Иванович, официально объявить мое звание, представить меня.

Директор поспешно надел очки, разгладил какую-то бумажку и, рванув голосом, обратился к Цинциннату:

— Вот... Это — м-сье Пьер... Bref...[2] Руководитель казнью... Благодарю за честь, — добавил он, что-то спутав, —

[1] Презабавно это *(фр.)*.
[2] Одним словом *(фр.)*.

и с удивленным выражением на лице опустился опять в кресло.

— Ну, это вы не очень, — проговорил недовольно м-сье Пьер. — Существуют же некоторые официальные формы, которые надобно соблюдать. Я вовсе не педант, но в такую важную минуту... Нечего прижимать руку к груди, сплоховали, батенька. Нет, нет, сидите, довольно. Теперь перейдем... Роман Виссарионович, где программка?

— А я вам ее дал, — бойко сказал адвокат, — но впрочем... — и он полез в портфель.

— Нашел, не беспокойтесь, — сказал м-сье Пьер, — итак... Представление назначено на послезавтра... на Интересной площади. Не могли лучше выбрать... Удивительно! — (Продолжает читать, бормоча себе под нос.) — Совершеннолетние допускаются... Талоны циркового абонемента действительны... Так, так, так... Руководитель казнью — в красных лосинах... ну, это, положим, дудки, переборщили, как всегда... — (К Цинциннату.) — Значит — послезавтра. Вы поняли? А завтра, — как велит прекрасный обычай, — мы должны вместе с вами отправиться с визитами к отцам города, — у вас, кажется, списочек, Родриг Иванович.

Родриг Иванович начал бить себя по разным частям ватой обложенного корпуса, выпучив глаза и почему-то встав. Наконец листок отыскался.

— Хорошо-с, — сказал м-сье Пьер, — приобщите это к делу, Роман Виссарионович. Кажется, все. Теперь по закону предоставляется слово...

— Ах нет, c'est vraiment superflu...[1] — поспешно перебил Родриг Иванович. — Это ведь очень устарелый закон.

— По закону, — твердо повторил м-сье Пьер, обращаясь к Цинциннату, — предоставляется слово вам.

— Честный! — надорванно произнес директор, тряся щеками.

Последовало молчание. Адвокат писал так быстро, что больно было глазам от мелькания его карандаша.

— Я подожду одну полную минуту, — сказал м-сье Пьер, положив перед собой на стол толстые часики.

---

[1] Это, право, излишне *(фр.)*.

Адвокат порывисто вздохнул; начал складывать густо исписанные листки.

Минута прошла.

— Заседание окончено, — сказал м-сье Пьер, — идемте, господа. Вы мне дайте, Роман Виссарионович, просмотреть протокол, прежде чем гектографировать. Нет — погодя, у меня сейчас глаза устали.

— Признаться, — сказал директор, — я иногда невольно жалею, что вышла из употребления сис... — Он в дверях нагнулся к уху м-сье Пьера.

— О чем вы, Родриг Иванович? — ревниво заинтересовался адвокат. Директор и ему шепнул.

— Да, действительно, — согласился адвокат, — впрочем, закончик можно обойти. Скажем, если растянуть на несколько разиков...

— Но, но, — сказал м-сье Пьер, — полегче, шуты. Я зарубок не делаю.

— Нет, мы просто так, теоретически, — искательно улыбнулся директор, — а то раньше, когда можно было применять...

Дверь захлопнулась, голоса удалились.

Но почти тотчас явился к Цинциннату еще один гость, библиотекарь, пришедший забрать книги. Его длинное, бледное лицо в ореоле пыльно-черных волос вокруг плеши, длинный дрожащий стан в синеватой фуфайке, длинные ноги в куцых штанах, — все это вместе производило странное, болезненное впечатление, точно его прищемили и выплющили. Цинциннату, однако, сдавалось, что, вместе с пылью книг, на нем осел налет чего-то отдаленно человеческого.

— Вы, верно, слышали, — сказал Цинциннат, — послезавтра — мое истребление. Больше не буду брать книг.

— Больше не будете, — подтвердил библиотекарь.

Цинциннат продолжал:

— Мне хочется выполоть несколько сорных истин. У вас есть время? Я хочу сказать, что теперь, когда знаю в точности... Какая была прелесть в том самом неведении, которое так меня удручало... Книг больше не буду...

— Что-нибудь мифологическое? — предложил библиотекарь.

— Нет, не стоит. Мне как-то не до чтения.

— Некоторые берут, — сказал библиотекарь.

— Да, я знаю, но право — не стоит.

— На последнюю ночь, — с трудом докончил свою мысль библиотекарь.

— Вы сегодня страшно разговорчивы, — усмехнулся Цинциннат. — Нет, унесите все это. «Quercus»'а я одолеть не мог! Да, кстати: тут мне ошибкой... эти томики... по-арабски, что ли... я, увы, не успел изучить восточные языки.

— Досадно, — сказал библиотекарь.

— Ничего, душа наверстает. Постойте, не уходите еще. Я хоть и знаю, что вы только так — переплетены в человечью кожу, все же... довольствуюсь малым... Послезавтра...

Но, дрожа, библиотекарь ушел.

XVII

Обычай требовал, чтоб накануне казни пассивный ее участник и активный вместе являлись с коротким прощальным визитом ко всем главным чиновникам, — но для ускорения ритуала было решено, что оные лица соберутся в пригородном доме заместителя управляющего городом (сам управляющий, его племянник, был в отъезде — гостил у друзей в Притомске) и что к ужину, запросто, придут туда Цинциннат и м-сье Пьер.

Была темная ночь, с сильным теплым ветром, когда они, оба в одинаковых плащах, пешие, в сопровождении шести солдат с алебардами и фонарями, перешли через мост в спящий город и, минуя главные улицы, кремнистыми тропами между шумящих садов стали подниматься в гору.

(Еще на мосту Цинциннат обернулся, высвободив голову из капюшона плаща: синяя, сложная, многобашенная громада крепости поднималась в тусклое небо, где абрикосовую луну перечеркнула туча. Темнота над мостом моргала и морщилась от летучих мышей.

— Вы обещали... — прошептал м-сье Пьер, слегка сжав ему локоть, — и Цинциннат снова надвинул куколь.)

Эта ночная прогулка, которая, казалось, будет так обильна печальными, беспечными, поющими, шепчущими

впечатлениями, ибо что есть воспоминание, как не душа впечатления? — получилась на самом деле смутной, незначительной и мелькнула так скоро, как это только бывает среди очень знакомой местности, в темноте, когда разноцветная дневная дробь заменена целыми числами ночи.

В конце узкой и мрачной аллеи, где хрустел гравий и пахло можжевельником, вдруг явился театрально освещенный подъезд с белесыми колоннами, фризами на фронтоне, лаврами в кадках, и, едва задержавшись в вестибюле, где метались, как райские птицы, слуги, роняя перья на черно-белые плиты, — Цинциннат и м-сье Пьер перешли в зал, гудевший многочисленным собранием. Тут были все.

Тут выделялся характерной шевелюрой заведующий городскими фонтанами; тут вспыхивал червонными орденами черный мундир шефа телеграфистов; тут находился румяный, с похабным носом, начальник снабжения; и с итальянской фамилией укротитель львов; и судья, глухой старец; и, в зеленых лакированных туфлях, управляющий садами; — и множество еще других осанистых, именитых, седовласых особ с отталкивающими лицами. Дамы отсутствовали, ежели не считать попечительницы учебного округа, очень полной, в сером сюртуке мужского покроя, пожилой женщины с большими плоскими щеками и гладкой, блестящей, как сталь, прической.

Кто-то при общем смехе поскользнулся на паркете. Люстра выронила одну из своих свечей. На небольшой, для осмотра выставленный гроб кем-то уже был положен букет. Стоя с Цинциннатом в стороне, м-сье Пьер указывал своему воспитаннику эти явления.

Но вот хозяин, смуглый старик с эспаньолкой, хлопнул в ладоши, распахнулись двери, и все перешли в столовую. М-сье Пьер и Цинциннат были посажены рядом во главе ослепительного стола, — и, сперва сдержанно, не нарушая приличий, с доброжелательным любопытством, переходившим у некоторых в скрытое умиление, все поглядывали на одинаково, в гамлетовки, одетую чету; затем, по мере того как на губах м-сье Пьера разгоралась улыбка и он начинал говорить, взгляды гостей устремлялись все откровеннее на него и на Цинцинната, который неторопливо, усердно

и сосредоточенно, — как будто ища разрешения задачи, — балансировал рыбный нож разными способами, то на солонке, то на сгибе вилки, то прислонял его к хрустальной вазочке с белой розой, отличительно от других украшавшей его прибор.

Слуги, навербованные среди самых ловких франтов города, — лучшие представители его малиновой молодежи, — резво разносили кушанья (иногда даже перепархивая с блюдом через стол), и общее внимание привлекала учтивая заботливость, с которой м-сье Пьер ухаживал за Цинциннатом, сразу меняя свою разговорную улыбку на минутную серьезность, пока бережно клал лакомый кусок ему на тарелку, — после чего, с прежним игривым блеском на розовом, безволосом лице, продолжал на весь стол остроумнейший разговор — и вдруг, на полуслове, чуть-чуть засутулясь, хватая соусник или перечницу, вопросительно взглядывал на Цинцинната, который, впрочем, не притрагивался ни к какой еде, а все так же тихо, внимательно и усердно переставлял ножик.

— Ваше замечание, — весело сказал м-сье Пьер, обращаясь к начальнику городского движения, влепившему свое словцо и теперь предвкушавшему очаровательную реплику, — ваше замечание напоминает мне известный анекдот о врачебной тайне.

— Расскажите, мы не знаем, ах, расскажите, — потянулись со всех сторон к нему голоса.

— Извольте, — сказал м-сье Пьер. — Приходит к гинекологу...

— Звините за перебивку, — сказал укротитель львов (седой усач с пунцовой орденской лентой), — но утвержен ли господин, что та анекдота вцельно для ушей... — он выразительно показал глазами на Цинцинната.

— Полноте, полноте, — строго отвечал м-сье Пьер, — я бы никогда не разрешил себе ни малейшей скабрезности в присутствии... Значит, приходит к гинекологу старенькая дама, — (м-сье Пьер слегка выпятил нижнюю губу). — У меня, говорит, довольно серьезная болезнь и боюсь, что от нея помру. «Симптомы?» — спрашивает тот. «Голова, доктор, трясется...» — и м-сье Пьер, шамкая и трясясь, изобразил старушку.

Гости грохнули. В другом конце стола глухой судья, страдальчески кривясь, как от запора смеха, лез большим серым ухом в лицо к хохотавшему эгоисту соседу и, теребя его за рукав, умолял сообщить, что рассказал м-сье Пьер, который между тем, через всю длину стола, ревниво следил за судьбой своего анекдота и только тогда перемигнул, когда кто-то наконец удовлетворил любопытство несчастного.

— Ваш удивительный афоризм, что жизнь есть врачебная тайна, — заговорил заведующий фонтанами, так брызгая мелкой слюной, что около рта у него играла радуга, — может быть отлично применен к странному случаю, происшедшему на днях в семье моего секретаря. Представьте себе...

— Ну что, Цинциннатик, боязно? — участливым полушепотом спросил один из сверкающих слуг, наливая вино Цинциннату; он поднял глаза; это был его шурин-остряк: — Боязно, поди? Вот хлебни винца до венца...

— Это что такое? — холодно осадил болтуна м-сье Пьер, и тот, горбатясь, проворно отступил — и вот уже наклонялся со своей бутылкой над плечом следующего гостя.

— Господа! — воскликнул хозяин, привстав и держа на уровне крахмальной груди бокал с бледно-желтым, ледянистым напитком. — Предлагаю тост за...

— Горько! — крикнул кто-то, и другие подхватили.

— ...На брудершафт, заклинаю... — изменившимся голосом, тихо, с лицом, искаженным мольбой, обратился м-сье Пьер к Цинциннату, — не откажите мне в этом, заклинаю, это всегда, всегда так делается...

Цинциннат безучастно потрагивал свившиеся в косые трубочки края мокрой белой розы, которую машинально вытянул из упавшей вазы.

— Я, наконец, вправе требовать, — судорожно прошептал м-сье Пьер — и вдруг, с отрывистым, принужденным смехом, вылил из своего бокала каплю вина Цинциннату на темя, а затем окропил и себя.

— Браво, браво! — раздавались кругом крики, и сосед поворачивался к соседу, выражая патетической мимикой изумление, восхищение, и звякали, чокаясь, небьющиеся бокалы, и яблоки с детскую голову ярко громоздились

среди пыльно-синих гроздей винограда на крутогрудом серебряном корабле, и стол поднимался, как пологая алмазная гора, и в туманах плафонной живописи путешествовала многорукая люстра, плачась, лучась, не находя пристанища.

— Я тронут, тронут, — говорил м-сье Пьер, и к нему по очереди подходили, поздравляли его. Иные при этом оступались, кое-кто пел. Отец городских пожарных был неприлично пьян; двое слуг под шумок пытались утащить его, но он пожертвовал фалдами, как ящерица хвостом, и остался. Почтенная попечительница, багровея пятнами, безмолвно и напряженно откидываясь, защищалась от начальника снабжения, который игриво нацеливался в нее пальцем, похожим на морковь, как бы собираясь ее проткнуть или пощекотать, и приговаривал: «Ти-ти-ти-ти!»

— Перейдем, господа, на террасу, — провозгласил хозяин, и тогда Марфинькин брат и сын покойного доктора Синеокова раздвинули, с треском деревянных колец, занавес: открылась, в покачивающемся свете расписных фонарей, каменная площадка, ограниченная в глубине кеглеобразными столбиками балюстрады, между которыми густо чернелись двойные доли ночи.

Сытые, урчащие гости расположились в низких креслах. Некоторые околачивались около колонн, другие у балюстрады. Тут же стоял Цинциннат, вертя в пальцах мумию сигары, и рядом с ним, к нему не поворачиваясь, но беспрестанно его касаясь то спиной, то боком, м-сье Пьер говорил при одобрительных возгласах слушателей:

— Фотография и рыбная ловля — вот главные мои увлечения. Как это вам ни покажется странным, но для меня слава, почести — ничто по сравнению с сельской тишиной. Вот вы недоверчиво улыбаетесь, милостивый государь, — (мельком обратился он к одному из гостей, который немедленно отрекся от своей улыбки), — но клянусь вам, что это так, а зря не клянусь. Любовь к природе завещал мне отец, который тоже не умел лгать. Многие из вас, конечно, его помнят и могут подтвердить — даже письменно, если бы потребовалось.

Стоя у балюстрады, Цинциннат смутно всматривался в темноту, — и вот, как по заказу, темнота прельстительно

побледнела, ибо чистая теперь и высокая луна выскользнула из-за каракулевых облачков, покрывая лаком кусты и трелью света загораясь в прудах. Вдруг с резким движением души Цинциннат понял, что находится в самой гуще Тамариных Садов, столь памятных ему и казавшихся столь недостижимыми; мгновенно приложив одно к одному, он понял, что не раз с Марфинькой тут проходил, мимо этого самого дома, в котором был сейчас и который тогда ему представлялся в виде белой виллы с забитыми окнами, сквозившей в листве на пригорке... Теперь, хлопотливым взглядом обследуя местность, он без труда освобождал от пленок ночной мглы знакомые лужайки или, напротив, стирал с них лишнюю лунную пыль, дабы сделать их точно такими, какими были они в памяти. Реставрируя замазанную копотью ночи картину, он видел, как по-старому распределяются рощи, тропинки, ручьи... Вдали, упираясь в металлическое небо, застыли на полном раскате заманчивые холмы в синеватом блеске и складках мрака...

— Луна, балкон, она и он, — сказал м-сье Пьер, улыбаясь Цинциннату, который тут заметил, что все смотрят на него с ласковым, выжидательным участием.

— Вы любуетесь ландшафтом? — вкрадчиво, держа руки за спиной, проговорил управляющий садами. — Вы... — Он осекся и, как бы слегка смутясь, повернулся к м-сье Пьеру: — Простите... вы разрешаете? Я, собственно, не был представлен...

— Ах, помилуйте, моего разрешения не требуется, — вежливо ответил м-сье Пьер и, прикоснувшись к Цинциннату, тихо сказал: — Этот господин хочет с тобой побеседовать.

— Ландшафт... Любуетесь ландшафтом? — повторил, кашлянув в кулак, управляющий садами. — Но сейчас мало что видно. Вот погодите, ровно в полночь, — это мне обещал наш главный инженер... Никита Лукич! А, Никита Лукич!

— Я за него, — бодрым баском отозвался Никита Лукич и подался вперед, услужливо, вопросительно и радостно поворачивая то к одному, то к другому свое моложавое, мясистое, с белой щеткой усов лицо и удобно положа руки

на плечи управляющему садами и м-сье Пьеру, между которыми он, высовываясь, стоял.

— Я рассказывал, Никита Лукич, что вы обещали ровно в полночь, в честь...

— А как же, — сочно отрезал главный инженер. — Беспременно сюрприз будет. Это уже будьте покойны. А который-то час, ребята?

Он освободил чужие плечи от напора своих широких рук и озабоченно ушел в комнаты.

— Что же, через каких-нибудь восемь часов будем уже на площади, — сказал м-сье Пьер, вновь придавив крышку своих часиков. — Спать придется немного. Тебе, милый, не холодно? Господин сказал, что будет сюрприз. Нас, право, очень балуют. Эта рыбка за ужином была бесподобна.

— ...Оставьте, бросьте, — раздался низкий голос попечительницы, которая надвигалась генеральской спиной и ватрушкой седого шиньончика прямо на м-сье Пьера, отступая перед указательным пальцем начальника снабжения.

— Ти-ти-ти, — игриво пищал тот, — ти-ти-ти.

— Полегче, мадам, — крякнул м-сье Пьер, — мозоли у меня не казенные.

— Обворожительная женщина, — без всякого выражения, вскользь, заметил начальник снабжения и, потанцовывая, направился к группе мужчин, стоявших у колонн, — и тень его смешалась с их тенями, и ветерок качал бумажные фонари, и выделялись из мрака то рука, важно расправляющая ус, то чашечка, поднятая к старческим рыбьим губам, пытающимся со дна достать сахар.

— Внимание! — вдруг крикнул хозяин, вихрем проносясь между гостей.

Сначала в саду, потом за ним, потом еще дальше, вдоль дорожек, в дубравах, на прогалинах и лугах, поодиночке и пачками, зажигались рубиновые, сафирные, топазовые огоньки, постепенно цветным бисером выкладывая ночь. Гости заахали. М-сье Пьер, со свистом вобрав воздух, схватил Цинцинната за кисть. Огоньки занимали все большую площадь: вот потянулись вдоль отдаленной долины, вот перекинулись в виде длинной брошки на ту сторону, вот

уже повыскочили на первых склонах, — а там пошли по холмам, забираясь в самые тайные складки, обнюхивая вершины, переваливая через них!

— Ах, как славно, — прошептал м-сье Пьер, на миг прижавшись щекой к щеке Цинцинната.

Гости аплодировали. В течение трех минут горел разноцветным светом добрый миллион лампочек, искусно рассаженных в траве, на ветках, на скалах и в общем размещенных таким образом, чтобы составить по всему ночному ландшафту растянутый грандиозный вензель из П. и Ц., не совсем, однако, вышедший. Затем все разом потухли, и сплошная темнота подступила к террасе.

Когда опять появился инженер Никита Лукич, его окружили и хотели качать. Но пора было думать и о заслуженном отдыхе. Перед уходом гостей хозяин предложил снять м-сье Пьера и Цинцинната у балюстрады. М-сье Пьер, хотя был снимаемым, все же руководил этой операцией. Световой взрыв озарил белый профиль Цинцинната и безглазое лицо рядом с ним. Сам хозяин подал им плащи и вышел их проводить. В вестибюле, спросонья гремя, разбирали алебарды сумрачные солдаты.

— Несказанно польщен визитом, — обратился на прощание хозяин к Цинциннату. — Завтра, — вернее, сегодня утром — я там буду, конечно, и не только как официальное лицо, но и как частное. Племянник мне говорил, что ожидается большое скопление публики.

— Ну-с, ни пера ни пуха, — в промежутках тройного лобзания сказал он м-сье Пьеру.

Цинциннат и м-сье Пьер в сопровождении солдат углубились в аллею.

— Ты в общем хороший, — произнес м-сье Пьер, когда они немножко отошли, — только почему ты всегда как-то... Твоя застенчивость производит на свежих людей самое тягостное впечатление. Не знаю, как ты, — добавил он, — но хотя я, конечно, в восторге от этой иллюминации и все такое, но у меня изжога и подозрение, что далеко не все было на сливочном масле.

Шли долго. Было очень тихо и туманно.

«Ток-ток-ток, — глухо донеслось откуда-то слева, когда они спускались по Крутой. — Ток-ток-ток».

— Подлецы, — пробормотал м-сье Пьер. — Ведь клялись, что уже готово...

Наконец перешли через мост и стали подниматься в гору. Луну уже убрали, и густые башни крепости сливались с тучами. Наверху, у третьих ворот, в шлафроке и ночном колпаке, ждал Родриг Иванович.

— Ну что, как было? — спросил он нетерпеливо.

— Вас недоставало, — сухо сказал м-сье Пьер.

XVIII

«Прилег, не спал, только продрог, и теперь — рассвет, — (быстро, нечетко, слов не кончая, — как бегущий оставляет след неполной подошвы, — писал Цинциннат), — теперь воздух бледен, и я так озяб, что, мне кажется, отвлеченное понятие "холод" должно иметь форму моего тела, и сейчас за мною придут. Мне совестно, что я боюсь, а боюсь я дико, — страх, не останавливаясь ни на минуту, несется с грозным шумом сквозь меня, как поток, и тело дрожит, как мост над водопадом, и нужно очень громко говорить, чтобы за шумом себя услышать. Мне совестно, душа опозорилась, — это ведь не должно бы, не должно бы было быть, было бы быть, — только на коре русского языка могло вырасти это грибное губье сослагательного, — о, как мне совестно, что меня занимают, держат душу за полу, вот такие подробы, подрости, лезут, мокрые, прощаться, лезут какие-то воспоминания: я, дитя, с книгой, сижу у бегущей с шумом воды на припеке, и вода бросает колеблющийся блеск на ровные строки старых, старых стихов, — о, как на склоне, — ведь я знаю, что этого не надо, — и суеверней! — ни воспоминаний, ни боязни, ни этой страстной икоты: и суеверней! — и я так надеялся, что будет все прибрано, все просто и чисто. Ведь я знаю, что ужас смерти — это только так, безвредное, — может быть, даже здоровое для души, — содрогание, захлебывающийся вопль новорожденного или неистовый отказ выпустить игрушку, — и что живали некогда в вертепах, где звон вечной капели и сталактиты, смерторадостные мудрецы, которые — большие путаники, правда, — а по-своему одолели, — и хотя я все

это знаю, и еще знаю одну главную, главнейшую вещь, которой никто здесь не знает, — все-таки смотрите, куклы, как я боюсь, как все во мне дрожит, и гудит, и мчится, — и сейчас придут за мной, и я не готов, мне совестно...»

Цинциннат встал, разбежался и — головой об стену, но настоящий Цинциннат сидел в халате за столом и глядел на стену, грызя карандаш, и вот, слегка зашаркав под столом, продолжал писать — чуть менее быстро:

«Сохраните эти листы, — не знаю, кого прошу, — но: сохраните эти листы, — уверяю вас, что есть такой закон, что это по закону, справьтесь, увидите! — пускай полежат, — что вам от этого сделается? — а я так, так прошу, — последнее желание, — нельзя не исполнить. Мне необходима, хотя бы теоретическая, возможность иметь читателя, а то, право, лучше разорвать. Вот это нужно было высказать. Теперь пора собираться».

Он опять остановился. Уже совсем прояснилось в камере, и по расположению света Цинциннат знал, что сейчас пробьет половина шестого. Дождавшись отдаленного звона, он продолжал писать, — но теперь уже совсем тихо и прерывисто, точно растратил всего себя на какое-то первоначальное восклицание.

«Слова у меня топчутся на месте, — писал Цинциннат. — Зависть к поэтам. Как хорошо, должно быть, пронестись по странице и прямо со страницы, где остается бежать только тень, — сняться — и в синеву. Неопрятность экзекуции, всех манипуляций, до и после. Какое холодное лезвие, какое гладкое топорище. Наждачной бумажкой. Я полагаю, что боль расставания будет красная, громкая. Написанная мысль меньше давит, хотя иная — как раковая опухоль: выразишь, вырежешь, и опять нарастает хуже прежнего. Трудно представить себе, что сегодня утром, через час или два...»

Но прошло и два часа и более, и как ни в чем не бывало Родион принес завтрак, прибрал камеру, очинил карандаш, накормил паука, вынес парашу. Цинциннат ничего не спросил, но когда Родион ушел и время потянулось дальше обычной своей трусцой, он понял, что его снова обманули, что зря он так напрягал душу и что все осталось таким же неопределенным, вязким и бессмысленным, каким было.

Часы только что пробили три или четыре (задремав и наполовину проснувшись, он не сосчитал ударов, а лишь приблизительно запечатлел их звуковую сумму), когда вдруг отворилась дверь и вошла Марфинька. Она была румяна, выбился сзади гребень, вздымался тесный лиф черного бархатного платья, — при этом что-то не так сидело, это ее делало кривобокой, и она все поправлялась, одергивалась или на месте быстро-быстро поводила бедрами, как будто что-то под низом неладно, неловко.

— Васильки тебе, — сказала она, бросив на стол синий букет, — и почти одновременно, проворно откинув с колена подол, поставила на стул полненькую ногу в белом чулке, натягивая его до того места, где от резинки был на дрожащем нежном сале тисненый след. — И трудно же было добиться разрешения! Пришлось, конечно, пойти на маленькую уступку, — одним словом, обычная история. Ну, как ты поживаешь, мой бедный Цинциннатик?

— Признаться, не ждал тебя, — сказал Цинциннат. — Садись куда-нибудь.

— Я уже вчера добивалась, — а сегодня сказала себе: лопну, а пройду. Он час меня держал, твой директор, — страшно, между прочим, тебя хвалил. Ах, как я сегодня торопилась, как я боялась, что не успею. Утречком на Интересной ужас что делалось.

— Почему отменили? — спросил Цинциннат.

— А говорят, все были уставши, плохо выспались. Знаешь, публика не хотела расходиться. Ты должен быть горд.

Продолговатые, чудно отшлифованные слезы поползли у Марфиньки по щекам, подбородку, гибко следуя всем очертаниям, — одна даже дотекла до ямки над ключицей... но глаза смотрели все так же кругло, топырились короткие пальцы с белыми пятнышками на ногтях, и тонкие губы, скоро шевелясь, говорили свое.

— Некоторые уверяют, что теперь отложено надолго, да ни от кого по-настоящему нельзя узнать. Ты вообще не можешь себе представить, сколько слухов, какая бестолочь...

— Что ж ты плачешь? — спросил Цинциннат усмехнувшись.

— Сама не знаю, измоталась... — (Грудным баском.) — Надоели вы мне все. Цинциннат, Цинциннат, — ну и наделал же ты делов!.. Что о тебе говорят — это ужас! Ах, слушай, — вдруг переменила она побежку речи, заулыбавшись, причмокивая и прихорашиваясь: — на днях — когда это было? да, позавчера — приходит ко мне как ни в чем не бывало такая мадамочка, вроде докторши, что ли, совершенно незнакомая, в ужасном ватерпруфе, и начинает: так и так... дело в том... вы понимаете... Я ей говорю: нет, пока ничего не понимаю... Она: ах, нет, я вас знаю, вы меня не знаете... Я ей говорю... — (Марфинька, представляя собеседницу, впадала в тон суетливый и бестолковый, но трезво тормозила на растянутом: я ей говорю — и, уже передавая свою речь, изображала себя как снег спокойной.) — Одним словом, она стала уверять меня, что она твоя мать, хотя, по-моему, даже с возрастом не выходит, но все равно, и что она безумно боится преследований, будто, значит, ее и допрашивали и всячески подвергали. Я ей говорю: при чем же тут я, и отчего, собственно, вы желаете меня видеть? Она: ах, нет, так и так, я знаю, что вы страшно добрая, что вы все сделаете... Я ей тогда говорю: отчего, собственно, вы думаете, что я добрая? Она: так и так, ах нет, ах да, — и вот просит, нельзя ли ей дать такую бумажку, чтобы я, значит, руками и ногами подписала, что она никогда не бывала у нас и с тобой не видалась... Тут, знаешь, так смешно стало Марфиньке, так смешно! Я думаю, — (протяжным, низким голоском), — что это какая-то ненормальная, помешанная, правда? Во всяком случае, я ей, конечно, ничего не дала, Виктор и другие говорили, что было бы слишком компрометантно, — что, значит, я вообще знаю каждый твой шаг, если знаю, что ты с ней незнаком, — и она ушла, очень, кажется, сконфуженная.

— Но это была действительно моя мать, — сказал Цинциннат.

— Может быть, может быть. В конце концов, это не так важно. А вот почему ты такой скучный, кислый, Цин-Цин? Я думала, ты будешь так рад мне, а ты...

Она взглянула на койку, потом на дверь.

— Я не знаю, какие тут правила, — сказала она вполголоса, — но если тебе нужно, Цинциннатик, пожалуйста, только скоро.

— Оставь. Что за вздор, — сказал Цинциннат.

— Ну, как желаете. Я только хотела тебе доставить удовольствие, раз это последнее свидание и все такое. Ах, знаешь, на мне предлагает жениться — ну, угадай кто? никогда не угадаешь, — помнишь, такой старый хрыч, одно время рядом с нами жил, все трубкой смердел через забор да поглядывал, когда я на яблоню лазила. Каков? И главное — совершенно серьезно! Так я за него и пошла, за пугало рваное, фу! Я вообще чувствую, что мне нужно хорошенько, хорошенько отдохнуть, — зажмуриться, знаешь, вытянуться, ни о чем не думать, — отдохнуть, отдохнуть, — и конечно, совершенно одной или с человеком, который действительно бы заботился, все понимал, все...

У нее опять заблестели короткие, жесткие ресницы, и поползли слезы, змеясь по ямкам яблочно-румяных щек.

Цинциннат взял одну из этих слез и попробовал на вкус: не соленая и не солодкая, — просто капля комнатной воды. Цинциннат не сделал этого.

Вдруг дверь взвизгнула, отворилась на вершок, Марфиньку поманил рыжий палец. Она быстро подошла к двери.

— Ну что вам, ведь еще не пора, мне обещали целый час, — прошептала она скороговоркой. Ей что-то возразили.

— Ни за что! — сказала она с негодованием. — Так и передайте. Уговор был, что только с дирек...

Ее перебили; она вслушалась в настойчивое бормотание; потупилась, хмурясь и скребя туфелькой пол.

— Да уж ладно, — грубовато проговорила она и с какой-то невинной живостью повернулась к мужу: — Я через пять минуточек вернусь, Цинциннатик.

(Покамест она отсутствовала, он думал о том, что не только еще не приступил к неотложному, важному разговору с ней, но что не мог теперь даже выразить это важное... Вместе с тем у него ныло сердце, и все то же воспоминание скулило в уголку, — а пора, пора было от всей этой тоски поотвыкнуть.)

Она вернулась только через три четверти часа, неизвестно по поводу чего презрительно, в нос, усмехаясь; поставила ногу на стул, щелкнула подвязкой и, сердито одернув складки около талии, села к столу, точь-в-точь как сидела давеча.

— Зря, — произнесла она с усмешкой и начала перебирать синие цветы на столе. — Ну, скажи мне что-нибудь, Цинциннатик, петушок мой, ведь... Я, знаешь, их сама собирала, маков не люблю, а вот эти — прелесть. Не лезь, если не можешь, — другим тоном неожиданно добавила она, прищурившись. — Нет, Цинциннатик, это я не тебе. — (Вздохнула.) — Ну, скажи мне что-нибудь, утешь меня.

— Ты мое письмо... — начал Цинциннат и кашлянул, — ты мое письмо прочла внимательно — как следует?

— Прошу тебя, — воскликнула Марфинька, схватясь за виски, — только не будем о письме!

— Нет, будем, — сказал Цинциннат.

Она вскочила, судорожно оправляясь, — и заговорила сбивчиво, слегка шепеляво, как говорила, когда гневалась:

— Это ужасное письмо, это бред какой-то, я все равно не поняла, можно подумать, что ты здесь один сидел с бутылкой и писал. Не хотела я об этом письме, но раз уже ты... Ведь его, поди, прочли передатчики, списали, сказали: ага! она с ним заодно, коли он ей так пишет. Пойми, я не хочу ничего знать о твоих делах, ты не смеешь мне такие письма, преступления свои навязывать мне...

— Я не писал тебе ничего преступного, — сказал Цинциннат.

— Это ты так думаешь, — но все были в ужасе от твоего письма, — просто в ужасе! Я — дура, может быть, и ничего не смыслю в законах, но и я чутьем поняла, что каждое твое слово невозможно, недопустимо... Ах, Цинциннат, в какое ты меня ставишь положение, — и детей, подумай о детях... Послушай, — ну послушай меня минуточку, — продолжала она с таким жаром, что речь ее становилась вовсе невнятной, — откажись от всего, от всего. Скажи им, что ты невиновен, а что просто куражился, скажи им, покайся, сделай это, — пускай это не спасет твоей головы, но подумай обо мне, на меня ведь уже пальцем показывают: от она, вдова, от!

— Постой, Марфинька. Я никак не пойму. В чем покаяться?

— Так! Впутывай меня, задавай каверзные... Да кабы я знала в чем, то, значит, я и была бы твоей соучастницей. Это ясно. Нет, довольно, довольно. Я безумно боюсь всего этого... Скажи мне в последний раз, — неужели не хочешь, ради меня, ради всех нас...

— Прощай, Марфинька, — сказал Цинциннат.

Она задумалась, сев, облокотившись на правую руку, а левой чертя свой мир на столе.

— Как нехорошо, как скучно, — проговорила она, глубоко, глубоко вздохнув. Нахмурилась и провела ногтем реку. — Я думала, что свидимся мы совсем иначе. Я была готова все тебе дать. Стоило стараться! Ну, ничего не поделаешь. — (Река впала в море — с края стола.) — Я ухожу, знаешь, с тяжелым сердцем. Да, но как же мне вылезти? — вдруг невинно и даже весело спохватилась она. — Не так скоро придут за мной, я выговорила себе бездну времени.

— Не беспокойся, — сказал Цинциннат, — каждое наше слово... Сейчас отопрут.

Он не ошибся.

— Плящай, плящай, — залепетала Марфинька. — Постойте, не лапайтесь, дайте проститься с мужем. Плящай. Если тебе что нужно в смысле рубашечек или там... Да, дети просили тебя крепко, крепко поцеловать. Что-то еще... Ах, чуть не забыла: папаша забрал себе ковшик, который я подарила тебе, и говорит, что ты ему будто...

— Поторапливайтесь, барынька, — перебил Родион, фамильярной коленкой подталкивая ее к выходу.

XIX

На другое утро ему доставили газеты, — и это напомнило первые дни заключения. Тотчас кинулся в глаза цветной снимок: под синим небом — площадь, так густо пестрящая публикой, что виден был лишь самый край темно-красного помоста. В столбце, относившемся к казни, половина строк была замазана, а из другой Цинциннат выудил только то,

что уже знал от Марфиньки, — что маэстро не совсем здоров и представление отложено — быть может, надолго.

— Ну и гостинец тебе нонче, — сказал Родион — не Цинциннату, а пауку.

Он нес в обеих руках, весьма бережно, но и брезгливо (заботливость велела прижать к груди, страх — отстранить), ухваченное комом полотенце, в котором что-то большое копошилось и шуршало.

— На окне в башне пымал. Чудище! Ишь как шастает, не удержишь...

Он намеревался пододвинуть стул, как всегда делал, чтобы, став на него, подать жертву на добротную паутину прожорливому пауку, который уже надувался, чуя добычу, — но случилась заминка, — он нечаянно выпустил из корявых опасливых пальцев главную складку полотенца и сразу вскрикнул, весь топорщась, как вскрикивают и топорщатся те, кому не то что летучая, но простая мышь-катунчик внушает отвращение и ужас. Из полотенца выпросталось большое, темное, усатое, — и тогда Родион заорал во всю глотку, топчась на месте, боясь упустить, схватить не смея. Полотенце упало; пленница же повисла у Родиона на обшлаге, уцепившись всеми шестью липкими своими лапками.

Это была просто ночная бабочка, — но какая! — величиной с мужскую ладонь, с плотными, на седоватой подкладке, темно-коричневыми, местами будто пылью посыпанными крыльями, каждое из коих было посредине украшено круглым, стального отлива, пятном в виде ока. То цепляясь, то отлипая членистыми, в мохнатых штанишках, лапками и медленно помавая приподнятыми лопастями крыльев, с исподу которых просвечивали те же пристальные пятна и волнистый узор на загнутых пепельных концах, бабочка точно ощупью поползла по рукаву, а Родион между тем, совсем обезумевший, отбрасывая от себя, отвергая собственную руку, причитывал: «Сыми! Сыми!» — и таращился. Дойдя до локтя, бабочка беззвучно захлопала, тяжелые крылья как бы перевесили тело, и она на сгибе локтя перевернулась крыльями вниз, все еще цепко держась за рукав, — и можно было теперь рассмотреть ее сборчатое, с подпалинами, бурое брюшко, ее беличью мордочку,

глаза, как две черных дробины, и похожие на заостренные уши сяжки.

— Ох, убери ее! — вне себя взмолился Родион, и от его исступленного движения великолепное насекомое сорвалось, ударилось о стол, остановилось на нем, мощно трепеща, и вдруг, с края, снялось. Но для меня так темен ваш день, так напрасно разбередили мою дремоту. Полет — ныряющий, грузный — длился недолго. Родион поднял полотенце и, дико замахиваясь, норовил слепую летунью сбить, но внезапно она пропала; это было так, словно самый воздух поглотил ее.

Родион поискал, не нашел и стал посреди камеры, оборотясь к Цинциннату и уперши руки в боки.

— А? Какова шельма! — воскликнул он после выразительного молчания. Сплюнул; покачал головой и достал туго тукающую спичечную коробку с запасными мухами, которыми и пришлось удовлетвориться разочарованному животному. Но Цинциннат отлично видел, куда она села.

Когда Родион наконец удалился, сердито снимая на ходу бороду вместе с лохматой шапкой волос, Цинциннат перешел с койки к столу. Он пожалел, что поторопился сдать все книги, и от нечего делать сел писать.

«Все сошлось, — писал он, — то есть все обмануло, — все это театральное, жалкое, — посулы ветреницы, влажный взгляд матери, стук за стеной, доброхотство соседа, наконец — холмы, подернувшиеся смертельной сыпью... Все обмануло, сойдясь, все. Вот тупик тутошней жизни, — и не в ее тесных пределах надо было искать спасения. Странно, что я искал спасения. Совсем — как человек, который сетовал бы, что недавно во сне потерял вещь, которой у него на самом деле никогда не было, или надеялся бы, что завтра ему приснится ее нахождение. Так создается математика; есть у нее свой губительный изъян. Я его обнаружил. Я обнаружил дырочку в жизни, — там, где она отломилась, где была спаяна некогда с чем-то другим, по-настоящему живым, значительным и огромным, — какие мне нужны объемистые эпитеты, чтобы их налить хрустальным смыслом... — лучше не договаривать, а то опять спутаюсь. В этой непоправимой дырочке завелась гниль, — о, мне кажется, что все-таки выскажу все —

о сновидении, соединении, распаде, — нет, опять соскользнуло, — у меня лучшая часть слов в бегах и не откликаются на трубу, а другие — калеки. Ах, знай я, что так долго еще останусь тут, я бы начал с азов и, постепенно, столбовой дорогой связных понятий, дошел бы, довершил бы, душа бы обстроилась словами... Все, что я до сих пор тут написал, — только пена моего волнения, пустой порыв, — именно потому, что я так торопился. Но теперь, когда я закален, когда меня почти не пугает...»

Тут кончилась страница, и Цинциннат спохватился, что вышла бумага. Впрочем, еще один лист отыскался.

«...смерть», — продолжая фразу, написал он на нем, — но сразу вычеркнул это слово; следовало — иначе, точнее: казнь, что ли, боль, разлука — как-нибудь так; вертя карликовый карандаш, он задумался, а к краю стола пристал коричневый пушок, там, где она недавно трепетала, и Цинциннат, вспомнив ее, отошел от стола, оставил там белый лист с единственным, да и то зачеркнутым словом и опустился (притворившись, что поправляет задок туфли) около койки, на железной ножке которой, совсем внизу, сидела она, спящая, распластав зрячие крылья в торжественном неуязвимом оцепенении, вот только жалко было мохнатой спины, где пушок в одном месте стерся, так что образовалась небольшая, блестящая, как орешек, плешь, — но громадные, темные крылья, с их пепельной опушкой и вечно отверстыми очами, были неприкосновенны, — верхние, слегка опущенные, находили на нижние, и в этом склонении было бы сонное безволие, если бы не слитная прямизна передних граней и совершенная симметрия всех расходящихся черт, — столь пленительная, что Цинциннат не удержался, кончиком пальца провел по седому ребру правого крыла у его основания, потом по ребру левого (нежная твердость! неподатливая нежность!), — но бабочка не проснулась, и он разогнулся — и, слегка вздохнув, отошел, — собирался опять сесть за стол, как вдруг заскрежетал ключ в замке и, визжа, гремя и скрипя по всем правилам тюремного контрапункта, отворилась дверь. Заглянул, а потом и весь вошел розовый м-сье Пьер, в своем охотничьем гороховом костюмчике, и за ним еще двое, в которых почти невозможно было узнать директора и адвоката:

осунувшиеся, помертвевшие, одетые оба в серые рубахи, обутые в опорки, — без всякого грима, без подбивки и без париков, со слезящимся глазами, с проглядывающим сквозь откровенную рвань чахлым телом, — они оказались между собою схожи, и одинаково поворачивались одинаковые головки их на тощих шеях, головки бледно-плешивые, в шишках с пунктирной сизостью с боков и оттопыренными ушами.

Красиво подрумяненный м-сье Пьер поклонился, сдвинув лакированные голенища, и сказал смешным тонким голосом:

— Экипаж подан, пожалте.

— Куда? — спросил Цинциннат, действительно не сразу понявший, так был уверен, что непременно на рассвете.

— Куда, куда... — передразнил его м-сье Пьер, — известно куда. Чик-чик делать.

— Но ведь не сию же минуту, — сказал Цинциннат, удивляясь сам тому, что говорит, — я не совсем подготовился... — (Цинциннат, ты ли это?)

— Нет, именно сию минуту. Помилуй, дружок, у тебя было почти три недели, чтобы подготовиться. Кажись, довольно. Вот это мои помощники, Родя и Рома, прошу любить и жаловать. Молодцы с виду плюгавые, но зато усердные.

— Рады стараться, — прогудели молодцы.

— Чуть было не запамятовал, — продолжал м-сье Пьер, — тебе можно еще по закону... Роман, голубчик, дай-ка мне перечень.

Роман, преувеличенно торопясь, достал из-за подкладки картуза сложенный вдвое картонный листок с траурным кантом; пока его он доставал, Родриг механически потрагивал себя за бока, вроде как бы лез за пазуху, не спуская бессмысленного взгляда с товарища.

— Вот тут для простоты дела, — сказал м-сье Пьер, — готовое меню последних желаний. Можешь выбрать одно, и только одно. Я прочту вслух. Итак: стакан вина; или краткое пребывание в уборной; или беглый просмотр тюремной коллекции открыток особого рода; или... это что тут такое... составление обращения к дирекции с выражением... выражением благодарности за внимательное... Ну

это извините, — это ты, Родриг, подлец, вписал. Я не понимаю, кто тебя просил? Официальный документ! Это же по отношению ко мне более чем возмутительно, — когда я как раз так щепетилен в смысле законов, так стараюсь...

М-сье Пьер в сердцах шмякнул картоном об пол, Родриг тотчас поднял его, разгладил, виновато бормоча:

— Да вы не беспокойтесь... это не я, это Ромка, шут... я порядки знаю. Тут все правильно... дежурные желания... а то можно по заказу...

— Возмутительно! Нестерпимо! — кричал м-сье Пьер, шагая по камере. — Я нездоров, — однако исполняю свои обязанности. Меня потчуют тухлой рыбой, мне подсовывают какую-то шлюху, со мной обращаются просто нагло, — а потом требуют от меня чистой работы. Нет-с! Баста! Чаша долготерпения выпита! Я просто отказываюсь, — делайте сами, рубите, кромсайте, справляйтесь как знаете, ломайте мой инструмент...

— Публика бредит вами, — проговорил льстивый Роман, — мы умоляем вас, успокойтесь, маэстро. Если что было не так, то как результат недомыслия, глупости, чересчур ревностной глупости — и только! Простите же нас. Баловень женщин, всеобщий любимец да сменит гневное выражение лица на ту улыбку, которою он привык с ума...

— Буде, буде, говорун, — смягчаясь, пробурчал м-сье Пьер, — я, во всяком случае, добросовестнее свой долг исполняю, чем некоторые другие. Ладно, прощаю. А все-таки еще нужно решить насчет этого проклятого желания. Ну, что же ты выбрал? — спросил он у Цинцинната (тихо присевшего на койку). — Живее, живее. Я хочу наконец отделаться, а нервные пускай не смотрят.

— Кое-что дописать, — прошептал полувопросительно Цинциннат, но потом сморщился, напрягая мысль, и вдруг понял, что, в сущности, все уже дописано.

— Я не понимаю, что он говорит, — сказал м-сье Пьер. — Может быть, кто понимает, но я не понимаю.

Цинциннат поднял голову.

— Вот что, — произнес он внятно, — я прошу три минуты, — уйдите на это время или хотя бы замолчите, — да, три минуты антракта, — после чего, так и быть, доиграю с вами эту вздорную пьесу.

— Сойдемся на двух с половиной, — сказал м-сье Пьер, вынув толстые часики. — Уступи-ка, брат, половинку? Не желаешь? Ну, грабь, — согласен.

Он в непринужденной позе прислонился к стене; Роман и Родриг последовали его примеру, но у Родрига подвернулась нога, и он чуть не упал, — панически при этом взглянув на маэстро.

— Ш-ш, сукин кот, — зашипел на него м-сье Пьер. — И вообще, что это вы расположились? Руки из карманов! Смотреть у меня... — (Урча сел на стул.) — Есть для тебя, Родька, работа, — можешь помаленьку начать тут убирать; только не шуми слишком.

Родригу в дверь подали метлу, и он принялся за дело.

Прежде всего концом метлы он выбил целиком в глубине окна решетку; донеслось, как бы из пропасти, далекое, слабое «ура», — и в камеру дохнул свежий воздух, — листы со стола слетели, и Родриг их отшваркнул в угол. Затем, метлой же, он снял серую толстую паутину и с нею паука, которого так, бывало, пестовал. Этим пауком от нечего делать занялся Роман. Сделанный грубо, но забавно, он состоял из круглого плюшевого тела, с дрыгающими пружинковыми ножками, и длинной, тянувшейся из середины спины, резинки, за конец которой его держал на весу Роман, поводя рукой вверх и вниз, так что резинка то сокращалась, то вытягивалась, и паук ездил вверх и вниз по воздуху. М-сье Пьер искоса кинул фарфоровый взгляд на игрушку, и Роман, подняв брови, поспешно сунул ее в карман. Родриг между тем хотел выдвинуть ящик стола, приналег, двинул, — и стол треснул поперек. Одновременно стул, на котором сидел м-сье Пьер, издал жалобный звук, что-то поддалось, и м-сье Пьер чуть не выронил часов. С потолка посыпалось. Трещина извилисто прошла по стене. Ненужная уже камера явным образом разрушалась.

— ...пятьдесят восемь, пятьдесят девять, шестьдесят, — досчитал м-сье Пьер, — все. Пожалуйста, вставай. На дворе погода чудная, поездка будет из приятнейших, другой на твоем месте сам бы торопил.

— Еще мгновение. Мне самому смешно, что у меня так позорно дрожат руки, — но остановить это или скрыть не могу, — да, они дрожат, и все тут. Мои бумаги вы уничто-

жите, сор выметете, бабочка ночью улетит в выбитое окно, — так что ничего не останется от меня в этих четырех стенах, уже сейчас готовых завалиться. Но теперь прах и забвение мне нипочем, я только одно чувствую — страх, страх, постыдный, напрасный...

Всего этого Цинциннат на самом деле не говорил, он молча переобувался. Жила была вздута на лбу, на нее падали светлые кудри, рубашка была с широко раскрытым узорным воротом, придававшим что-то необыкновенно молоденькое его шее, его покрасневшему лицу со светлыми вздрагивавшими усами.

— Идем же! — взвизгнул м-сье Пьер.

Цинциннат, стараясь ничего и никого не задеть, ступая как по голому пологому льду, выбрался наконец из камеры, которой, собственно, уже не было больше.

XX

Цинцинната повели по каменным переходам. То спереди, то сзади выскакивало обезумевшее эхо, — рушились его убежища. Часто попадались области тьмы, оттого что перегорели лампочки. М-сье Пьер требовал, чтобы шли в ногу.

Вот присоединилось к ним несколько солдат, в собачьих масках по регламенту, — и тогда Родриг и Роман, с разрешения хозяина, пошли вперед — большими, довольными шагами, деловито размахивая руками, перегоняя друг друга, и с криком скрылись за углом.

Цинцинната, вдруг отвыкшего, увы, ходить, поддерживали м-сье Пьер и солдат с мордой борзой. Очень долго карабкались по лестницам, — должно быть, с крепостью случился легкий удар, ибо спускавшиеся лестницы, собственно, поднимались и наоборот. Сызнова потянулись коридоры, но более обитаемого вида, то есть наглядно показывавшие — либо линолеумом, либо обоями, либо баулом у стены, — что они примыкают к жилым помещениям. В одном колене даже пахнуло капустой. Далее прошли мимо стеклянной двери, на которой было написано: «анцелярия», и после нового периода тьмы очутились внезапно в громком от полдневного солнца дворе.

Во время всего этого путешествия Цинциннат занимался лишь тем, что старался совладать со своим захлебывающимся, рвущим, ничего знать не желающим страхом. Он понимал, что этот страх втягивает его как раз в ту ложную логику вещей, которая постепенно выработалась вокруг него и из которой ему еще в то утро удалось как будто выйти. Самая мысль о том, как вот этот кругленький, румяный охотник будет его рубить, была уже непозволительной слабостью, тошно вовлекавшей Цинцинната в гибельный для него порядок. Он вполне понимал все это, но — как человек, который не может удержаться, чтобы не возразить своей галлюцинации, хотя отлично знает, что весь маскарад происходит у него же в мозгу, — Цинциннат тщетно пытался переспорить свой страх, хотя и знал, что, в сущности, следует только радоваться пробуждению, близость которого чуялась в едва заметных явлениях, в особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого, — но солнце было все еще правдоподобно, мир еще держался, вещи еще соблюдали наружное приличие.

За третьими воротами ждал экипаж. Солдаты дальше не пошли, а сели на бревна, наваленные у стены, и поснимали свои матерчатые маски. У ворот пугливо жалась тюремная прислуга, семьи сторожей, — босые дети выбегали, засматривая в аппарат, и сразу бросались обратно, — и на них цыкали матери в косынках, и жаркий свет золотил рассыпанную солому, и пахло нагретой крапивой, а в стороне толпилась дюжина сдержанно гагакающих гусей.

— Ну-с, поехали, — бодро сказал м-сье Пьер и надел свою гороховую с фазаньим перышком шляпу.

В старую, облупившуюся коляску, которая со скрипом круто накренилась, когда упругенький м-сье Пьер вступил на подножку, была впряжена гнедая кляча, оскаленная, с блестяще-черными от мух ссадинами на острых выступах бедер, такая вообще тощая, с такими ребрами, что туловище ее казалось обхваченным поперек рядом обручей. У нее была красная лента в гриве. М-сье Пьер потеснился, чтобы дать место Цинциннату, и спросил, не мешает ли ему громоздкий футляр, который положили им в ноги.

— Постарайся, дружок, не наступать, — добавил он. На козлы влезли Родриг и Роман. Родриг, который был за кучера, хлопнул длинным бичом, лошадь дернула, не сразу могла взять и осела задом. Некстати раздалось нестройное «ура» служащих. Приподнявшись и наклонившись вперед, Родриг стегнул по вскинутой морде и, когда коляска судорожно тронулась, от толчка упал почти навзничь на козлы, затягивая вожжи и тпрукая.

— Тише, тише, — с улыбкой сказал м-сье Пьер, дотронувшись до его спины пухлой рукой в щегольской перчатке.

Бледная дорога обвивалась с дурной живописностью несколько раз вокруг основания крепости. Уклон был местами крутоват, и тогда Родриг поспешно заворачивал скрежетавшую рукоятку тормоза. М-сье Пьер, положив руки на бульдожий набалдашник трости, весело оглядывал скалы, зеленые скаты между ними, клевер и виноград, коловращение белой пыли и заодно ласкал взглядом профиль Цинцинната, который все еще боролся. Тощие, серые, согнутые спины сидевших на козлах были совершенно одинаковы. Хлопали, хляпали копыта. Сателлитами кружились оводы. Экипаж временами обгонял спешивших паломников (тюремного повара, например, с женой), которые останавливались, заслонившись от солнца и пыли, а затем ускоряли шаг. Еще один поворот дороги, — и она потянулась к мосту, распутавшись окончательно с медленно вращавшейся крепостью (уже стоявшей вовсе нехорошо, перспектива расстроилась, что-то болталось...).

— Жалею, что так вспылил, — ласково говорил м-сье Пьер. — Не сердись, цыпунька, на меня. Ты сам понимаешь, как обидно чужое разгильдяйство, когда всю душу вкладываешь в работу.

Простучали по мосту. Весть о казни начала распространяться в городе только сейчас. Бежали красные и синие мальчишки за экипажем. Мнимый сумасшедший, старичок из евреев, вот уже много лет удивший несуществующую рыбу в безводной реке, складывал свои манатки, торопясь присоединиться к первой же кучке горожан, устремившихся на Интересную площадь.

— ...но не стоит об этом вспоминать, — говорил м-сье Пьер, — люди моего нрава вспыльчивы, но и отходчивы. Обратим лучше внимание на поведение прекрасного пола.

Несколько девушек, без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у жирной цветочницы с бурыми грудями, и наиболее шустрая успела бросить букетом в экипаж, едва не сбив картуза с головы Романа. М-сье Пьер погрозил пальчиком.

Лошадь, большим мутным глазом косясь на плоских пятнистых собак, стлавшихся у ее копыт, через силу везла вверх по Садовой, и уже толпа догоняла, — в кузов ударился еще букет. Но вот повернули направо по Матюхинской, мимо огромных развалин древней фабрики, затем по Телеграфной, уже звенящей, ноющей, дудящей звуками настраиваемых инструментов, — и дальше — по немощеному шепчущему переулку, мимо сквера, где со скамейки двое мужчин в партикулярном платье, с бородками поднялись, увидя коляску, и, сильно жестикулируя, стали показывать на нее друг другу, — страшно возбужденные, с квадратными плечами, — и вот побежали, усиленно и угловато поднимая ноги, туда же, куда и все. За сквером белая, толстая статуя была расколота надвое, — газеты писали, что молнией.

— Сейчас проедем мимо твоего дома, — очень тихо сказал м-сье Пьер.

Роман завертелся на козлах и, обратившись назад, к Цинциннату, крикнул:

— Сейчас проедем мимо вашего дома, — и сразу отвернулся опять, подпрыгивая, как мальчик, от удовольствия.

Цинциннат не хотел смотреть, но все же посмотрел. Марфинька, сидя в ветвях бесплодной яблони, махала платочком, а в соседнем саду, среди подсолнухов и мальв, махало рукавом пугало в продавленном цилиндре. Стена дома, особенно там, где прежде играла лиственная тень, странно облупилась, а часть крыши... Проехали.

— Ты все-таки какой-то бессердечный, — сказал м-сье Пьер, вздохнув, — и нетерпеливо ткнул тростью в спину вознице, который привстал и бешеными ударами бича добился чуда: кляча пустилась галопом.

Теперь ехали по бульвару. Волнение в городе все росло. Разноцветные фасады домов, колыхаясь и хлопая, поспешно украшались приветственными плакатами. Один домишко был особенно наряден: там дверь быстро отворилась, вышел юноша, вся семья провожала его, — он нынче как раз достиг присутственного возраста, мать смеялась сквозь слезы, бабка совала сверток ему в мешок, младший брат подавал ему посох. На старинных каменных мостиках над улицами (некогда столь спасительных для пеших, а теперь употребляемых только зеваками да начальниками улиц) уже теснились фотографы. М-сье Пьер приподнимал шляпу. Франты на блестящих «часиках» обгоняли коляску и заглядывали в нее. Из кофейни выбежал некто в красных шароварах с ведром конфетти, но, промахнувшись, обдал цветной метелью разбежавшегося с того тротуара, в скобку остриженного молодца с хлеб-солью на блюде.

От статуи капитана Сонного оставались только ноги до бедер, окруженные розами, — очевидно, ее тоже хватила гроза. Где-то впереди духовой оркестр нажаривал марш «Голубчик». Через все небо подвигались толчками белые облака, — по-моему, они повторяются, по-моему, их только три типа, по-моему, все это сетчато и с подозрительной прозеленью...

— Но, но, пожалуйста, без глупостей, — сказал м-сье Пьер. — Не сметь падать в обморок. Это недостойно мужчины.

Вот и приехали. Публики было еще сравнительно немного, но беспрерывно длился ее приток. В центре квадратной площади, — нет, именно не в самом центре, именно это и было отвратительно, — возвышался червленый помост эшафота. Поодаль скромно стояли старые казенные дроги с электрическим двигателем. Смешанный отряд телеграфистов и пожарных поддерживал порядок. Духовой оркестр, по-видимому, играл вовсю, страстно размахался одноногий инвалид-дирижер, но теперь не слышно было ни одного звука.

М-сье Пьер, подняв жирные плечики, грациозно вышел из коляски и тотчас повернулся, желая помочь Цинциннату, но Цинциннат вышел с другой стороны. В толпе зашикали.

Родриг и Роман соскочили с козел; все трое затеснили Цинцинната.

— Сам, — сказал Цинциннат.

До эшафота было шагов двадцать, и, чтобы никто его не коснулся, Цинциннат принужден был побежать. В толпе залаяла собака. Достигнув ярко-красных ступеней, Цинциннат остановился. М-сье Пьер взял его под локоть.

— Сам, — сказал Цинциннат.

Он взошел на помост, где, собственно, и находилась плаха, то есть покатая, гладкая дубовая колода, таких размеров, что на ней можно было свободно улечься раскинув руки. М-сье Пьер поднялся тоже. Публика загудела.

Пока хлопотали с ведрами и насыпали опилок, Цинциннат, не зная, что делать, прислонился к деревянным перилам, но, почувствовав, что они так и ходят мелкой дрожью, а что какие-то люди снизу потрагивают с любопытством его щиколотки, он отошел и, немножко задыхаясь, облизываясь, как-то неловко сложив на груди руки, точно складывал их так впервые, принялся глядеть по сторонам. Что-то случилось с освещением, — с солнцем было неблагополучно, и часть неба тряслась. Площадь была обсажена тополями, не гибкими, валкими, — один из них очень медленно...

Но вот опять прошел в толпе гул: Родриг и Роман, спотыкаясь, пихая друг друга, пыхтя и кряхтя, неуклюже взнесли по ступеням и бухнули на доски тяжелый футляр. М-сье Пьер скинул куртку и оказался в нательной фуфайке без рукавов. Бирюзовая женщина была изображена на его белом бицепсе, а в одном из первых рядов толпы, теснившейся, несмотря на уговоры пожарных, у самого эшафота, стояла эта женщина во плоти, и ее две сестры, а также старичок с удочкой, и загорелая цветочница, и юноша с посохом, и один из шурьев Цинцинната, и библиотекарь, читающий газету, и здоровяк инженер Никита Лукич, — и еще Цинциннат заметил человека, которого каждое утро, бывало, встречал по пути в школьный сад, но не знал его имени. За этими первыми рядами следовали ряды похуже в смысле отчетливости глаз и ртов, за ними — слои очень смутных и в своей смутности одинаковых лиц, а там —

отдаленнейшие уже были вовсе дурно намалеваны на заднем фоне площади. Вот повалился еще тополь.

Вдруг оркестр смолк, — или вернее: теперь, когда он смолк, вдруг почувствовалось, что до сих пор он все время играл. Один из музыкантов, полный, мирный, разъяв свой инструмент, вытряхивал из его блестящих суставов слюну. За оркестром зеленела вялая аллегорическая даль: портик, скалы, мыльный каскад.

На помост, ловко и энергично (так что Цинциннат невольно отшатнулся), вскочил заместитель управляющего городом и, небрежно поставив одну, высоко поднятую, ногу на плаху (был мастер непринужденного красноречия), громко объявил:

— Горожане! Маленькое замечание. За последнее время на наших улицах наблюдается стремление некоторых лиц молодого поколения шагать так скоро, что нам, старикам, приходится сторониться и попадать в лужи. Я еще хочу сказать, что послезавтра на углу Первого Бульвара и Бригадирной открывается выставка мебели, и я весьма надеюсь, что всех вас увижу там. Напоминаю также, что сегодня вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс «Сократись, Сократик». Меня еще просят вам сообщить, что на Киферский Склад доставлен большой выбор дамских кушаков, и предложение может не повториться. Теперь уступаю место другим исполнителям и надеюсь, горожане, что вы все в добром здравии и ни в чем не нуждаетесь.

С той же ловкостью скользнув промеж перекладин перил, он спрыгнул с помоста под одобрительный гул. М-сье Пьер, уже надевший белый фартук (из-под которого странно выглядывали голенища сапог), тщательно вытирал руки полотенцем, спокойно и благожелательно поглядывая по сторонам. Как только заместитель управляющего кончил, он бросил полотенце ассистентам и шагнул к Цинциннату.

(Закачались и замерли черные квадратные морды фотографов.)

— Никакого волнения, никаких капризов, пожалуйста, — проговорил м-сье Пьер. — Прежде всего нам нужно снять рубашечку.

— Сам, — сказал Цинциннат.

— Вот так. Примите рубашечку. Теперь я покажу, как нужно лечь.

М-сье Пьер пал на плаху. В публике прошел гул.

— Понятно? — спросил м-сье Пьер, вскочив и оправляя фартук (сзади разошлось, Родриг помог завязать). — Хорошо-с. Приступим. Свет немножко яркий... Если бы можно... Вот так, спасибо. Еще, может быть, капельку... Превосходно! Теперь я попрошу тебя лечь.

— Сам, сам, — сказал Цинциннат и ничком лег как ему показывали, — но тотчас закрыл руками затылок.

— Вот глупыш, — сказал сверху м-сье Пьер, — как же я так могу... (да, давайте. Потом сразу ведро). И вообще — почему такое сжатие мускулов, не нужно никакого напряжения. Совсем свободно. Руки, пожалуйста, убери... (давайте). Совсем свободно и считай вслух.

— До десяти, — сказал Цинциннат.

— Не понимаю, дружок? — как бы переспросил м-сье Пьер и тихо добавил, уже начиная стонать: — Отступите, господа, маленько.

— До десяти, — повторил Цинциннат, раскинув руки.

— Я еще ничего не делаю, — произнес м-сье Пьер с посторонним сиплым усилием, и уже побежала тень по доскам, когда громко и твердо Цинциннат стал считать: один Цинциннат считал, а другой Цинциннат уже перестал слушать удалявшийся звон ненужного счета — и с не испытанной дотоле ясностью, сперва даже болезненной по внезапности своего наплыва, но потом преисполнившей веселием все его естество, — подумал: «Зачем я тут? Отчего так лежу?» — и, задав себе этот простой вопрос, он отвечал тем, что привстал и осмотрелся.

Кругом было странное замешательство. Сквозь поясницу еще вращавшегося палача просвечивали перила. Скрюченный на ступеньке, блевал бледный библиотекарь. Зрители были совсем, совсем прозрачны, и уже никуда не годились, и все подавались куда-то, шарахаясь, — только задние нарисованные ряды оставались на месте. Цинциннат медленно спустился с помоста и пошел по зыбкому сору. Его догнал во много раз уменьшившийся Роман, он же Родриг.

— Что вы делаете! — хрипел он, прыгая. — Нельзя, нельзя! Это нечестно по отношению к нему, ко всем... Вернитесь, ложитесь, — ведь вы лежали, все было готово, все было кончено!

Цинциннат его отстранил, и тот, уныло крикнув, отбежал, уже думая только о собственном спасении.

Мало что оставалось от площади. Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли. Последней промчалась в черной шали женщина, неся на руках маленького палача, как личинку. Свалившиеся деревья лежали плашмя, без всякого рельефа, а еще оставшиеся стоять, тоже плоские, с боковой тенью по стволу для иллюзии круглоты, едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расползалось. Все падало. Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

ДАР

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк

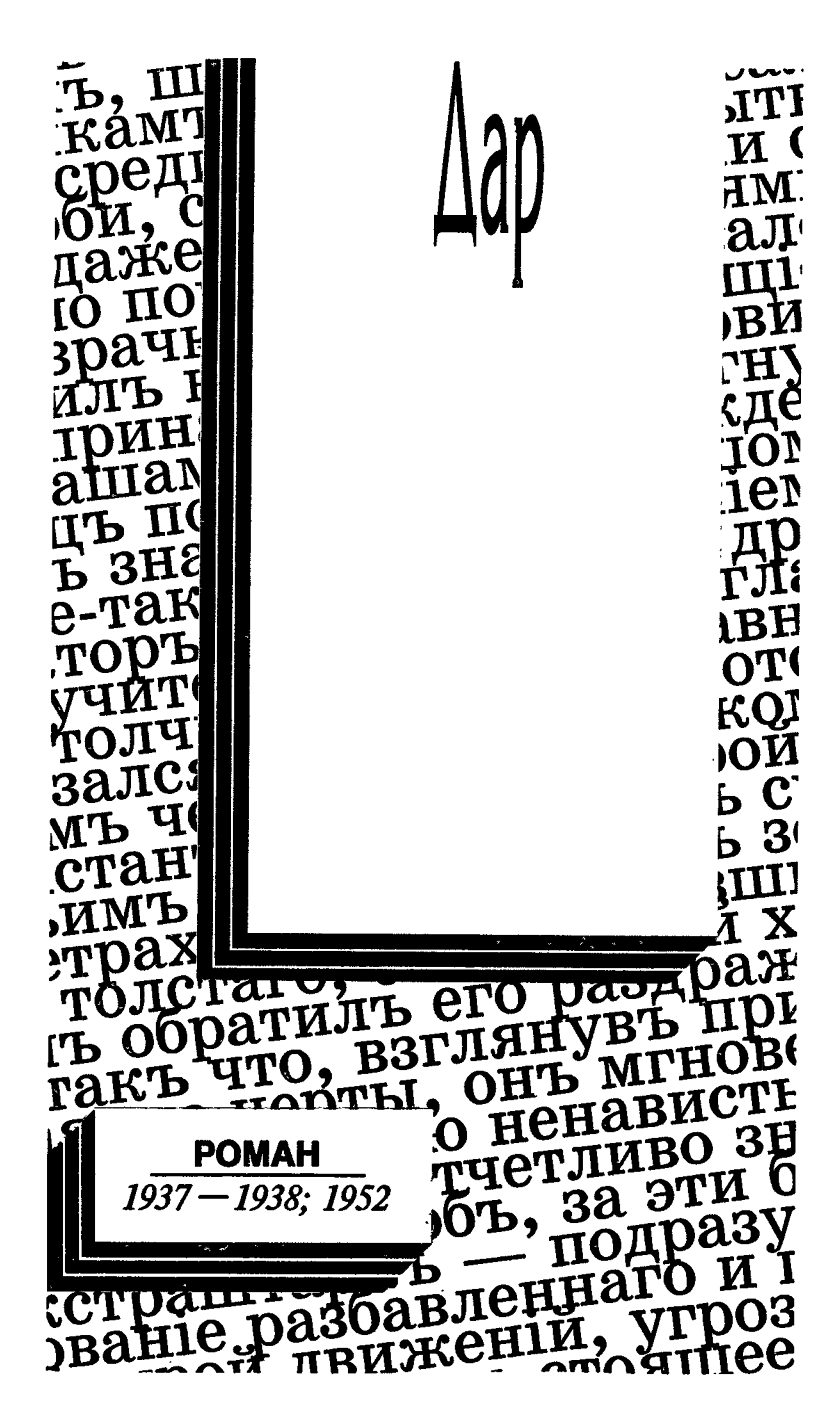
ВЛАДИМИР НАБОКОВ
(В. СИРИН)

ДАР

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
Нью-Йорк
1952

Дар



РОМАН

1937 — 1938; 1952

Памяти моей матери

Роман, предлагаемый вниманию читателя, писался в начале тридцатых годов и печатался (за выпуском одного эпитета и всей главы IV) в журнале «Современные Записки», издававшемся в то время в Париже.

Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше отечество. Смерть неизбежна.

П. Смирновский
Учебник русской грамматики

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192... года (иностранный критик заметил как-то, что хотя многие романы, все немецкие например, начинаются с даты, только русские авторы — в силу оригинальной честности нашей литературы — не договаривают единиц), у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина, остановился мебельный фургон, очень длинный и очень желтый, запряженный желтым же трактором с гипертрофией задних колес и более чем откровенной анатомией. На лбу у фургона виднелась звезда вентилятора, а по всему его боку шло название перевозчичьей фирмы синими аршинными литерами, каждая из коих (включая и квадратную точку) была слева оттенена черной краской: недобросовестная попытка пролезть в следующее по классу измерение. Тут же перед домом (в котором я сам буду жить), явно выйдя навстречу своей мебели (а у меня в чемодане больше черновиков, чем белья), стояли две особы. Мужчина, облаченный в зелено-бурое войлочное пальто, слегка оживляемое ветром, был высокий, густобровый старик с сединой в бороде и усах, переходящей в рыжеватость около рта, в котором он бесчувственно держал холодный, полуоблетевший сигарный окурок. Женщина, коренастая и немолодая, с кривыми ногами и довольно красивым, лжекитайским лицом, одета была в каракулевый жакет; ветер, обогнув ее, пахнул неплохими, но затхловатыми духами. Оба, неподвижно и пристально, с таким вниманием, точно их собирались обвесить, наблюдали за тем, как

трое красновыйных молодцов в синих фартуках одолевали их обстановку.

«Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку», — подумалось мельком с беспечной иронией — совершенно, впрочем, излишнею, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него, все это уже принял, записал и припрятал. Сам только что переселившись, он в первый раз теперь, в еще непривычном чине здешнего обитателя, выбежал налегке, кое-чего купить. Улицу он знал, как знал весь округ: пансион, откуда он съехал, находился невдалеке; но до сих пор эта улица вращалась и скользила, ничем с ним не связанная, а сегодня остановилась вдруг, уже застывая в виде проекции его нового жилища.

Обсаженная среднего роста липами с каплями дождя, расположенными на их частых черных сучках по схеме будущих листьев (завтра в каждой капле будет по зеленому зрачку), снабженная смоляной гладью саженей в пять шириной и пестроватыми, ручной работы (лестной для ног) тротуарами, она шла с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как эпистолярный роман. Опытным взглядом он искал в ней того, что грозило бы стать ежедневной зацепкой, ежедневной пыткой для чувств, но, кажется, ничего такого не намечалось, а рассеянный свет весеннего серого дня был не только вне подозрения, но еще обещал умягчить иную мелочь, которая в яркую погоду не преминула бы объявиться; все могло быть этой мелочью: цвет дома, например, сразу отзывающийся во рту неприятным овсяным вкусом, а то и халвой; деталь архитектуры, всякий раз экспансивно бросающаяся в глаза; раздражительное притворство кариатиды, приживалки — а не подпоры, — которую и меньшее бремя обратило бы тут же в штукатурный прах; или, на стволе дерева, под ржавой кнопкой, бесцельно и навсегда уцелевший уголок отслужившего, но не до конца содранного рукописного объявленьица — о расплыве синеватой собаки; или вещь в окне, или запах, отказавшийся в последнюю секунду сообщить воспоминание, о котором был готов, казалось, завопить, да так на углу и оставшийся — самой за себя заскочившею тайной. Нет, ничего такого не было (еще не было), но хорошо бы, подумал он, как-нибудь на досуге

изучить порядок чередования трех-четырех сортов лавок и проверить правильность догадки, что в этом порядке есть свой композиционный закон, так что, найдя наиболее частое сочетание, можно вывести средний ритм для улиц данного города, — скажем: табачная, аптекарская, зеленная. На Танненбергской эти три были разобщены, находясь на разных углах, но, может быть, роение ритма тут еще не настало и в будущем, повинуясь контрапункту, они постепенно (по мере прогорания или переезда владельцев) начнут сходиться: зеленная с оглядкой перейдет улицу, чтобы стать через семь, а там через три, от аптекарской, — вроде того, как в рекламной фильме находят свои места смешанные буквы, — причем одна из них напоследок как-то еще переворачивается, поспешно встав на ноги (комический персонаж, непременный Яшка Мешок в строю новобранцев); так и они будут выжидать, когда освободится смежное место, а потом обе наискосок мигнут табачной — сигай сюда, мол; и вот уже все стали в ряд, образуя типическую строку. Боже мой, как я ненавижу все это: лавки, вещи за стеклом, тупое лицо товара и в особенности церемониал сделки, обмен приторными любезностями, до и после! А эти опущенные ресницы скромной цены... благородство уступки... человеколюбие торговой рекламы... все это скверное подражание добру, — странно засасывающее добрых: так, Александра Яковлевна признавалась мне, что когда идет за покупками в знакомые лавки, то нравственно переносится в особый мир, где хмелеет от вина честности, от сладости взаимных услуг, и отвечает на суриковую улыбку продавца улыбкой лучистого восторга.

Род магазина, в который он вошел, достаточно определялся тем, что в углу стоял столик с телефоном, телефонной книжкой, нарциссами в вазе и большой пепельницей. Тех русского окончания папирос, которые он предпочтительно курил, тут не держали, и он бы ушел без всего, не окажись у табачника крапчатого жилета с перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка. Да, всю жизнь я буду кое-что добирать натурой в тайное возмещение постоянных переплат за товар, навязываемый мне.

Переходя на угол в аптекарскую, он невольно повернул голову (блеснуло рикошетом с виска) и увидел — с той

быстрой улыбкой, которой мы приветствуем радугу или розу, — как теперь из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкаф, по которому, как по экрану, прошло безупречно-ясное отражение ветвей, скользя и качаясь не по-древесному, а с человеческим колебанием, обусловленным природой тех, кто нес это небо, эти ветви, этот скользящий фасад.

Он пошел дальше, направляясь к лавке, но только что виденное, — потому ли, что доставило удовольствие родственного качества, или потому, что встряхнуло, взяв врасплох (как с балки на сеновале падают дети в податливый мрак), — освободило в нем то приятное, что уже несколько дней держалось на темном дне каждой его мысли, овладевая им при малейшем толчке: вышел мой сборник; и когда он, как сейчас, ни с того ни с сего падал так, то есть вспоминал эту полусотню только что вышедших стихотворений, он в один миг мысленно пробегал всю книгу, так что в мгновенном тумане ее безумно ускоренной музыки не различить было читательского смысла мелькавших стихов, — знакомые слова проносились, крутясь в стремительной пене (кипение сменявшей на мощный бег, если привязаться к ней взглядом, как делывали мы когда-то, смотря на нее с дрожавшего моста водяной мельницы, пока мост не обращался в корабельную корму: прощай!), — и эта пена, и мелькание, и отдельно пробегавшая строка, дико блаженно кричавшая издали, звавшая, вероятно, домой, — все это вместе со сливочной белизной обложки сливалось в ощущение счастья исключительной чистоты... «Что я, собственно, делаю!» — спохватился он, ибо сдачу, полученную только что в табачной, первым делом теперь высыпал на резиновый островок посреди стеклянного прилавка, сквозь который снизу просвечивало подводное золото плоских флаконов, между тем как снисходительный к его причуде взгляд приказчицы с любопытством направлялся на эту рассеянную руку, платившую за предмет, еще даже не названный.

«Дайте мне, пожалуйста, миндального мыла», — сказал он с достоинством.

Затем, все тем же взлетающим шагом, он воротился к дому. Там, на панели, не было сейчас никого, ежели

не считать трех васильковых стульев, сдвинутых, казалось, детьми. Внутри же фургона лежало небольшое коричневое пианино, так связанное, чтобы оно не могло встать со спины, и поднявшее кверху две маленьких металлических подошвы. На лестнице он встретил валивших вниз, коленями врозь, грузчиков, а пока звонил у двери новой квартиры, слышал, как наверху переговариваются голоса, стучит молоток. Впустив его, квартирохозяйка сказала, что положила ключи к нему в комнату. У этой крупной, хищной немки было странное имя; мнимое подобие творительного падежа придавало ему звук сентиментального заверения: ее звали Clara Stoboy.

А вот продолговатая комната, где стоит терпеливый чемодан... и тут разом все переменилось: не дай Бог кому-либо знать эту ужасную унизительную скуку, — очередной отказ принять гнусный гнет очередного новоселья, невозможность жить на глазах у совершенно чужих вещей, неизбежность бессонницы на этой кушетке!

Некоторое время он стоял у окна: небо было простоквашей; изредка в том месте, где плыло слепое солнце, появлялись опаловые ямы, и тогда внизу, на серой кругловатой крыше фургона, страшно скоро стремились к бытию, но, недовоплотившись, растворялись тонкие тени липовых ветвей. Дом насупротив был наполовину в лесах, а по здоровой части кирпичного фасада оброс плющом, лезшим в окна. В глубине прохода, разделявшего палисадник, чернелась вывеска подвальной угольни.

Само по себе все это было видом, как и комната была сама по себе; но нашелся посредник, и теперь этот вид становился видом из этой именно комнаты. Прозревши, она лучше не стала. Палевые в сизых тюльпанах обои будет трудно претворить в степную даль. Пустыню письменного стола придется возделывать долго, прежде чем взойдут на ней первые строки. И долго надобно будет сыпать пепел под кресло и в его пахи, чтобы сделалось оно пригодным для путешествий.

Хозяйка пришла звать его к телефону, и он, вежливо сутулясь, последовал за ней в столовую. «Во-первых, — сказал Александр Яковлевич, — почему это, милостивый государь, у вас в пансионе так неохотно сообщают ваш новый

номер? Выехали, небось, с треском? А во-вторых, хочу вас поздравить... Как — вы еще не знаете? Честное слово?» («Он еще ничего не знает», — обратился Александр Яковлевич другой стороной голоса к кому-то вне телефона.) «Ну, в таком случае возьмите себя в руки и слушайте, я буду читать: "Только что вышедшая книга стихов до сих пор неизвестного автора, Федора Годунова-Чердынцева, кажется нам явлением столь ярким, поэтический талант автора столь несомненен..." Знаете что, оборвем на этом, а вы приходите вечером к нам, тогда получите всю статью. Нет, Федор Константинович, дорогой, сейчас ничего не скажу, ни где, ни что, — а если хотите знать, что я сам думаю, то не обижайтесь, но он вас перехваливает. Значит, придете? Отлично. Будем ждать».

Вешая трубку, он едва не сбил со столика стальной жгут с карандашом на привязи; хотел его удержать, но тут-то и смахнул; потом въехал бедром в угол буфета; потом выронил папиросу, которую на ходу тащил из пачки; и наконец, зазвенел дверью, не рассчитав размаха, так что проходившая по коридору с блюдцем молока фрау Стобой холодно произнесла «упс!». Ему захотелось сказать ей, что ее палевое в сизых тюльпанах платье прекрасно, что пробор в гофрированных волосах и дрожащие мешки щек сообщают ей нечто жорж-сандово-царственное; что ее столовая — верх совершенства; но он ограничился сияющей улыбкой и чуть не упал на тигровые полоски, не поспевшие за отскочившим котом, но в конце концов он никогда и не сомневался, что так будет, что мир, в лице нескольких сот любителей литературы, покинувших Петербург, Москву, Киев, немедленно оценит его дар.

Перед нами небольшая книжка, озаглавленная «Стихи» (простая фрачная ливрея, ставшая за последние годы такой же обязательной, как недавние галуны — от «лунных грез» до символической латыни), содержащая около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме — детству. При набожном их сочинении автор, с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой, он дозволил проникнуть в стихи только тому,

что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая изысканность. Одновременно ему приходилось делать большие усилия, как для того, чтобы не утратить руководства игрой, так и для того, чтобы не выйти из состояния игралища. Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак прозрачной прозы — вот определения, кажущиеся нам достаточно верными для характеристики творчества молодого поэта. Так, запершись на ключ и достав свою книгу, он упал с ней на диван, — надо было перечесть ее тотчас, пока не остыло волнение, дабы заодно проверить доброкачественность этих стихов и предугадать все подробности высокой оценки, им данной умным, милым, еще неизвестным судьей. И теперь, пробуя и апробируя их, он совершал работу, как раз обратную давешней, когда мгновенной мыслью пробегал книгу. Теперь он читал как бы в кубе, выхаживая каждый стих, приподнятый и со всех четырех сторон обвеваемый чудным, рыхлым деревенским воздухом, после которого так устаешь к ночи. Другими словами, он, читая, вновь пользовался всеми материалами, уже однажды собранными памятью для извлечения из них данных стихов, и все, все восстанавливал, как возвратившийся путешественник видит в глазах у сироты не только улыбку ее матери, которую в юности знал, но еще аллею с желтым просветом в конце, и карий лист на скамейке, и всё, всё. Сборник открывался стихотворением «Пропавший Мяч», — и начинал накрапывать дождик. Тяжелый облачный вечер, один из тех, которые так к лицу нашим северным елям, сгустился вокруг дома. Аллея на ночь возвратилась из парка, и выход затянулся мглой. Вот створы белых ставней отделили комнату от внешней темноты, куда уже было переправились, пробно расположившись на разных высотах в беспомощно черном саду, наиболее светлые части комнатных предметов. Теперь недолго до сна. Игры становятся вялыми и не совсем добрыми. Она стара и мучительно кряхтит, когда в три медленных приема опускается на колени.

Мяч закатился мой под нянин
комод, и на полу свеча
тень за концы берет и тянет
туда, сюда, — но нет мяча.

Потом там кочерга кривая
гуляет и грохочет зря —
и пуговицу выбивает,
а погодя полсухаря.
Но вот выскакивает сам он
в трепещущую темноту, —
через всю комнату, и прямо
под неприступную тахту.

Почему мне не очень по нутру эпитет «трепещущую»? Или тут колоссальная рука пуппенмейстера вдруг появилась на миг среди существ, в рост которых успел уверовать глаз (так что первое ощущение зрителя по окончании спектакля: как я ужасно вырос)? А ведь комната действительно трепетала, и это мигание, карусельное передвижение теней по стене, когда уносится огонь, или чудовищно движущий горбами теневой верблюд на потолке, когда няня борется с увалистой и валкой камышовой ширмой (растяжимость которой обратно пропорциональна ее устойчивости), — все это самые ранние, самые близкие к подлиннику из всех воспоминаний. Я часто склоняюсь пытливой мыслью к этому подлиннику, а именно — в обратное ничто; так, туманное состояние младенца мне всегда кажется медленным выздоровлением после страшной болезни, удалением от изначального небытия, — становящимся приближением к нему, когда я напрягаю память до последней крайности, чтобы вкусить этой тьмы и воспользоваться ее уроками ко вступлению во тьму будущую; но, ставя жизнь свою вверх ногами, так что рождение мое делается смертью, я не вижу на краю этого обратного умирания ничего такого, что соответствовало бы беспредельному ужасу, который, говорят, испытывает даже столетний старик перед положительной кончиной, — ничего, кроме разве упомянутых теней, которые, поднявшись откуда-то снизу, когда снимается, чтобы уйти, свеча (причем, как черная, растущая на ходу голова, проносится тень левого шара с постельного изножья), всегда занимают одни и те же места над моей детской кроватью

и по углам наглеют ночью,
своим законным образцам
лишь подражая между прочим.

В целом ряде подкупающих искренностью... нет, вздор, кого подкупаешь? кто этот продажный читатель? не надо его. В целом ряде отличных... или даже больше: замечательных стихотворений автор воспевает не только эти пугающие тени, но и светлые моменты. Вздор, говорю я, вздор! Он иначе пишет, мой безымянный, мой безвестный ценитель, — и только для него я переложил в стихи память о двух дорогих, старинных, кажется, игрушках: первая представляла собой толстый расписной горшок с искусственным растением теплых стран, на котором сидело удивительно вспорхливое на вид чучело тропической птички, оперения черного, с аметистовой грудкой, и когда большой ключ, выпрошенный у Ивонны Ивановны и заправленный в стенку горшка, несколько раз туго и животворно поворачивался, маленький малайский соловей раскрывал... нет, он даже и клюва не раскрывал, ибо случилось что-то странное с заводом, с какой-то пружиной, действовавшей, однако же, впрок: птица отказывалась петь, но если забыть про нее и через неделю случайно пройти мимо ее высокого шкафа, то от таинственного сотрясения вдруг рождалось ее волшебное щелкание, — и как дивно, как длительно заливалась она, выпятив растрепанную грудку; кончит, ступишь, уходя, на другую половицу, и напоследок, отдельно, она еще раз свистнет и на полуноте замрет. Схожим образом, но с шутовской тенью подражания — как пародия всегда сопутствует истинной поэзии, — вела себя вторая из воспетых игрушек, находившаяся в другой комнате, тоже на высокой полке. Это был клоун в атласных шароварах, опиравшийся руками на два беленых бруска и вдруг от нечаянного толчка приходивший в движение

при музыке миниатюрной
с произношением смешным,

позванивавшей где-то под его подмостками, пока он поднимал едва заметными толчками выше и выше ноги в белых чулках, с помпонами на туфлях, — и внезапно все обрывалось, он угловато застывал. Не так ли мои стихи... Но правда сопоставлений и выводов иногда сохраняется лучше по сю сторону слов.

Постепенно из накопляющихся пьесок складывается образ крайне восприимчивого мальчика, жившего в обстановке крайне благоприятной. Наш поэт родился двенадцатого июля 1900 года в родовом имении Годуновых-Чердынцевых Лешино. Мальчик еще до поступления в школу перечел немало книг из библиотеки отца. В своих интересных записках такой-то вспоминает, как маленький Федя с сестрой, старше его на два года, увлекались детским театром и даже сами сочиняли для своих представлений... Любезный мой, это ложь. Я был всегда равнодушен к театру; но, впрочем, помню, были какие-то у нас картонные деревца и зубчатый дворец с окошками из малиновокисельной бумаги, просвечивавшей верещагинским полымем, когда внутри зажигалась свеча, от которой, не без нашего участия, в конце концов и сгорело все здание. О, мы с Таней были привередливы, когда дело касалось игрушек! Со стороны, от дарителей равнодушных, к нам часто поступали совершенно убогие вещи. Все, что являло собой плоскую картонку с рисунком на крышке, предвещало недоброе. Такой одной крышке я посвятил было условленных три строфы, но стихотворение как-то не встало. За круглым столом при свете лампы семейка: мальчик в невозможной, с красным галстуком, матроске, девочка в красных зашнурованных сапожках; оба с выражением чувственного упоения нанизывают на соломинки разноцветные бусы, делая из них корзиночки, клетки, коробки; и с увлечением неменьшим в этом же занятии участвуют их полоумные родители — отец с премированной растительностью на довольном лице, мать с державным бюстом; собака тоже смотрит на стол, а на заднем плане видна в креслах завистливая бабушка. Эти именно дети ныне выросли, и я часто встречаю их на рекламах: он, с блеском на маслянисто-загорелых щеках, сладострастно затягивается папиросой или держит в богатырской руке, плотоядно осклабясь, бутерброд с чем-то красным («ешьте больше мяса!»), она улыбается собственному чулку на ноге или с развратной радостью обливает искусственными сливками консервированный компот; и со временем они обратятся в бодрых, румяных, обжорливых стариков, — а там и черная инфернальная кра-

сота дубовых гробов среди пальм в витрине... Так развивается бок о бок с нами, в зловеще-веселом соответствии с нашим бытием, мир прекрасных демонов; но в прекрасном демоне есть всегда тайный изъян, стыдная бородавка на заду у подобия совершенства: лакированным лакомкам реклам, объедающимся желатином, не знать тихих отрад гастронома, а моды их (медлящие на стене, пока мы проходим мимо) всегда чуть-чуть отстают от действительных. Я еще когда-нибудь поговорю об этом возмездии, которое как раз там находит слабое место для удара, где, казалось, весь смысл и сила поражаемого существа.

Вообще смирным играм мы с Таней предпочитали потные — беготню, прятки, сражения. Как удивительно такие слова, как «сражение» и «ружейный», передают звук нажима при вдвигании в ружье крашеной палочки (лишенной, для пущей язвительности, гуттаперчевой присоски), которая затем, с треском попадая в золотую жесть кирасы (следует представить себе помесь кирасира и краснокожего), производила почетную выбоинку.

И снова заряжаешь ствол
до дна, со скрежетом пружинным
в упругий вдавливая пол,
и видишь, притаясь за дверью,
как в зеркале стоит другой —
и дыбом радужные перья
из-за повязки головной.

Автору приходилось прятаться (речь теперь будет идти об особняке Годуновых-Чердынцевых на Английской Набережной, существующем и поныне) в портьерах, под столами, за спинными подушками шелковых оттоманок — и в платяном шкафу, где под ногами хрустел нафталин и откуда можно было в щель незримо наблюдать за медленно проходившим слугой, становившимся до странности новым, одушевленным, вздыхающим, чайным, яблочным; а также

под лестницею винтовой
и за буфетом одиноким,
забытым в комнате пустой, —

на пыльных полках которого прозябали: ожерелье из волчьих зубов, алматолитовый божок с голым пузом, другой фарфоровый, высовывающий в знак национального приветствия черный язык, шахматы с верблюдами вместо слонов, членистый деревянный дракон, сойотская табакерка из молочного стекла, другая агатовая, шаманский бубен, к нему заячья лапка, сапог из кожи маральих ног со стелькой из коры лазурной жимолости, тибетская мечевидная денежка, чашечка из кэрийского нефрита, серебряная брошка с бирюзой, лампада ламы, — и еще много тому подобного хлама, который — как пыль, как с немецких вод перламутровый Gruss[1] — мой отец, не терпя этнографии, случайно привозил из своих баснословных путешествий. Зато запертые на ключ три залы, где находились его коллекции, его музей... но об этом в стихах перед нами нет ничего: особым чутьем молодой автор предвидел, что когда-нибудь ему придется говорить совсем иначе, не стихами с брелоками и репетицией, а совсем, совсем другими, мужественными словами о своем знаменитом отце.

Опять что-то испортилось, и доносится фамильярно-фальшивый голосок рецензента (может быть, даже женского пола). Поэт с мягкой любовью вспоминает комнаты родного дома, где оно протекало. Он сумел влить много лирики в поэтическую опись вещей, среди которых протекало оно. Когда прислушиваешься... Мы все, чутко и бережно... Мелодия прошлого... Так, например, он отображает абажуры ламп, литографии на стенах, свою парту, посещение полотеров (оставляющих после себя составной дух из «мороза, пота и мастики») и проверку часов:

По четвергам старик приходит,
учтивый, от часовщика,
и в доме все часы заводит
неторопливая рука.
Он на свои украдкой взглянет
и переставит у стенных.
На стуле стоя, ждать он станет,
чтоб вышел полностью из них
весь полдень. И, благополучно
окончив свой приятный труд,

[1] Привет *(нем.)*.

на место ставит стул беззвучно,
и, чуть ворча, часы идут.

Щелкая языком иногда и странно переводя дух перед боем. Их тиканье, как поперечно-полосатая лента сантиметра, без конца мерило мои бессонницы. Мне было так же трудно уснуть, как чихнуть без гусара или покончить с собой собственными средствами (проглотив язык, что ли). В начале мученической ночи я еще пробавлялся тем, что переговаривался с Таней, кровать которой стояла в соседней комнате; дверь мы приоткрывали, несмотря на запрет, и потом, когда гувернантка приходила в свою спальню, смежную с Таниной, один из нас дверь легонько затворял: мгновенный пробег босиком и скок в постель. Из комнаты в комнату мы долго задавали друг другу шарады, замолкая (до сих пор слышу тон этого двойного молчания в темноте): она — для разгадки моей, я — для придумывания новой. Мои были всегда попричудливее да поглупее, Таня же придерживалась классических образцов:

Mon premier est un métal précieux,
mon second est un habitant des cieux,
et mon tout est un fruit délicieux[1].

Иногда она засыпала, пока я доверчиво ждал, думая, что она бьется над моей загадкой, и ни мольбами, ни бранью мне уже не удавалось ее воскресить. С час после этого я путешествовал в потемках постели, накидывая на себя простыню и одеяло сводом, так чтобы получилась пещера, в далеком, далеком выходе которой пробивался сторонкой синеватый свет, ничего общего не имевший с комнатой, с невской ночью, с пышными, полупрозрачными опадениями темных штор. Пещера, которую я исследовал, содержала в складках своих и провалах такую томную действительность, полнилась такой душной и таинственной мерой, что

[1] Мой первый слог — драгоценный металл,
второй — обитатель небес,
а целое — восхитительный фрукт *(фр.)*.

Разгадка шарады: orange = or + ange (апельсин = золото + ангел). — *Здесь и далее прим. комментатора.*

у меня как глухой барабан начинало стучать в груди, в ушах; и там, в глубине, где отец мой нашел новый вид летучей мыши, я различал скулы идола, высеченного в скале, а когда наконец забывался, то меня десяток рук опрокидывали, и кто-то с ужасным шелковым треском распарывал меня сверху донизу, после чего проворная ладонь проникала в меня и сильно сжимала сердце. А не то я бывал обращен в кричащую монгольским голосом лошадь: камы посредством арканов меня раздирали за бабки, так что ноги мои, с хрустом ломаясь, ложились под прямым углом к туловищу, грудью прижатому к желтой земле, и, знаменуя крайнюю муку, хвост стоял султаном; он опадал, я просыпался.

Пожалуйте вставать. Гуляет
по зеркалам печным ладонь
истопника: определяет,
дорос ли доверху огонь.
Дорос. И жаркому гуденью
день отвечает тишиной,
лазурью с розовою тенью
и совершенной белизной.

Странно, каким восковым становится воспоминание, как подозрительно хорошеет херувим по мере того, как темнеет оклад, — странное, странное происходит с памятью. Я выехал семь лет тому назад; чужая сторона утратила дух заграничности, как своя перестала быть географической привычкой. Год Семь. Бродячим призраком государства было сразу принято это летоисчисление, сходное с тем, которое некогда ввел французский ражий гражданин в честь новорожденной свободы. Но счет растет, и честь не тешит; воспоминание либо тает, либо приобретает мертвый лоск, так что взамен дивных привидений нам остается веер цветных открыток. Этому не поможет никакая поэзия, никакой стереоскоп, лупоглазо и грозно-молчаливо придающий такую выпуклость куполу и таким бесовским подобием пространства обмывающий гуляющих с карлсбадскими кружками лиц, что пуще рассказов о камлании меня мучили сны после этого оптического развлечения: аппарат стоял в приемной дантиста, американца Lawson, сожительница

которого Mme Ducamp, седая гарпия, за своим письменным столом среди флаконов кроваво-красного Лоусоновского эликсира, поджимая губы и скребя в волосах, суетливо прикидывала, куда бы вписать нас с Таней, и наконец, с усилием и скрипом, пропихивала плюющееся перо промеж la Princesse Toumanoff с кляксой в конце и Monsieur Danzas с кляксой в начале. Вот описание поездки к этому дантисту, предупредившему накануне, что that one will have to come out...[1]

Как буду в этой же карете
чрез полчаса опять сидеть?
Как буду на снежинки эти
и ветви черные глядеть?
Как тумбу эту в шапке ватной
глазами провожу опять?
Как буду на пути обратном
мой путь туда припоминать?
(Нащупывая поминутно
с брезгливой нежностью платок,
в который бережно закутан
как будто костяной брелок.)

«Ватная шапка» — будучи к тому же и двусмыслицей, совсем не выражает того, что требовалось: имелся в виду снег, нахлобученный на тумбы, соединенные цепью где-то поблизости памятника Петра. Где-то! Боже мой, я уже с трудом собираю части прошлого, уже забываю соотношение и связь еще в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание. Какая тогда оскорбительная насмешка в самоуверении, что

так впечатление былое
во льду гармонии живет...

Что же понуждает меня слагать стихи о детстве, если все равно пишу зря, промахиваясь словесно или же убивая и барса и лань разрывной пулей «верного» эпитета? Но не будем отчаиваться. Он говорит, что я настоящий поэт, — значит, стоило выходить на охоту.

---

[1] Вот тот [зуб] придется удалить... *(Англ.)*

Вот еще двенадцатистишие о том, что мучило мальчика, — о терниях городской зимы; как например: когда чулки шерстят в поджилках, или когда на руку, положенную на плаху прилавка, приказчица натягивает тебе невозможно плоскую перчатку. Упомянем далее: двойной (первый раз соскочило) щипок крючка, когда тебе, расставившему руки, застегивают меховой воротник; зато какая занимательная перемена акустики, емкость звука, когда воротник поднят; и если мы уже коснулись ушей: как незабвенна музыка шелковой тугости при завязывании (подними подбородок) ленточек шапочных наушников.

Весело ребятам бегать на морозце. У входа в оснеженный (ударение на втором слоге) сад — явление: продавец воздушных шаров. Над ними, втрое больше него, — огромная шуршащая гроздь. Смотрите, дети, как они переливаются и трутся, полные красного, синего, зеленого солнышка Божьего. Красота! Я хочу, дяденька, самый большой (белый, с петухом на боку, с красным детенышем, плавающим внутри, который, по убиении матки, уйдет к потолку, а через день спустится, сморщенный и совсем ручной). Вот счастливые ребята купили шар за целковый, и добрый торговец вытянул его из теснящейся стаи. Погоди, пострел, не хватай, дай отрезать. После чего он снова надел рукавицы, проверил, ладно ли стянут веревкой с ножницами, и, оттолкнувшись пятóй, тихо начал подниматься стояком в голубое небо, все выше и выше, вот уж гроздь его не более виноградной, а под ним — дымы, позолота, иней Санкт-Петербурга, реставрированного, увы, там и сям по лучшим картинам художников наших.

Но без шуток: было очень красиво, очень тихо. Деревья в саду изображали собственные призраки, и получалось это бесконечно талантливо. Мы с Таней издевались над салазками сверстников, особенно если были они крытые ковровой материей с висячей бахромой, высоким сиденьем (снабженным даже грядкой) и вожжиками, за которые седок держался, тормозя валенками. Такие никогда не дотягивали до конечного сугроба, а, почти сразу выйдя из прямого бега, беспомощно крутились вокруг своей оси, продолжая спускаться, с бледным серьезным ребенком, принужденным по замирании их, толчками собственных

ступней, сидя, подвигаться вперед, чтобы достигнуть конца ледяной дорожки. У меня и у Тани были увесистые брюшные санки от Сангалли: прямоугольная бархатная подушка на чугунных полозьях скобками. Их не надо было тащить за собой, они шли с такой нетерпеливой легкостью по зря усыпанному песком снегу, что ударялись сзади в ноги. Вот горка.

Влезть на помост, облитый блеском... —

(взнашивая ведра, чтобы скат о б л и в а т ь, воду расплескивали, так что ступени обросли корою б л е с т я щ е г о льда, но все это не успела объяснить благонамеренная аллитерация).

Влезть на помост, облитый блеском,
упасть с размаху животом
на санки плоские — и с треском
по голубому... А потом, —
когда меняется картина
и в детской сумрачно горит
рождественская скарлатина
или пасхальный дифтерит, —
съезжать по блещущему ломко,
преувеличенному льду
в полутропическом каком-то,
полутаврическом саду... —

куда из нашего Александровского, волею горячечной мечты, перекочевывал вместе со своим каменным верблюдом генерал Николай Михайлович Пржевальский, тут же превращающийся в статую моего отца, который в это время находился где-нибудь, скажем, между Кокандом и Асхабадом — или на склонах Сининских Альп. Как мы с Таней болели! То вместе, то по очереди; и как мне страшно бывало услыхать между вдали стукнувшею и другою, сдержанно тихою, дверьми ее прорвавшийся шаг и высокий смех, звучавший небесным ко мне равнодушием, райским здоровьем, бесконечно далеким от моего толстого, начиненного желтой клеенкой компресса, ноющих ног, плотской тяжести и связанности, — но если хворала она, каким земным и здешним, каким футбольным мячом, чувствовал себя я,

глядя на нее, лежащую в постели, отсутствующую, обращенную к потустороннему, а вялой изнанкой ко мне! Опишем: последнюю попытку обороны перед капитуляцией, когда, еще не выйдя из течения дня, скрывая от самого себя жар, ломоту и по-мексикански запахиваясь, маскируешь притязания озноба под видом требований игры, а через полчаса, сдавшись и попав в постель, тело уже не верит, что вот только что играло, ползало по полу залы, по ковру, пока врем. Опишем: вопросительно тревожную улыбку матери, только что поставившей мне градусник (чего она не доверяла ни дядьке, ни гувернантке). «Что же ты так окапутился?» — говорит она, еще пробуя шутить. А через минуту: «Я уже вчера знала, что у тебя жар, меня не обманешь». А еще через минуту: «Сколько, думаешь, у тебя?» И наконец: «Мне кажется, можно вынуть». Она подносит раскаленный градусник к свету и, сдвинув очаровательные котиковые брови, которые унаследовала и Таня, долго смотрит... и потом, ничего не сказав, медленно отряхнув градусник и вкладывая его в футляр, глядит на меня, словно не совсем узнает, а отец, задумавшись, едет шагом по весенней, сплошь голубой от ирисов, равнине; опишем и бредовое состояние, когда растут, распирая мозг, какие-то великие числа, сопровождаемые непрекращающейся, словно посторонней, скороговоркой, как если бы в темном саду при сумасшедшем доме задачника, наполовину (точнее — на пятьдесят семь сто одиннадцатых) выйдя из мира, отданного в рост, — ужасного мира, который они обречены представлять в лицах, — торговка яблоками, четыре землекопа и Некто, завещавший детям караван дробей, беседовали под ночной шумок деревьев о чем-нибудь крайне домашнем и глупом, но тем более страшном, тем более неминуемо оказывавшимся вдруг как раз этими числами, этой безудержно расширяющейся вселенной (что, для меня, проливает странный свет на макрокосмические домыслы нынешних физиков). Опишем и выздоровление, когда уже ртуть не стоит спускать и градусник оставляется небрежно на столе, где толпа книг, пришедших поздравить, и несколько просто любопытных игрушек вытесняют полупустые склянки мутных микстур.

Бювар с бумагою почтовой
всего мне видится ясней;
она украшена подковой
и монограммою моей.
Уж знал я толк в инициалах,
печатках, сплющенных цветках
от девочки из Ниццы, алых
и бронзоватых сургучах.

В стихи не попал удивительный случай, бывший со мной после одного особенно тяжелого воспаления легких. Когда все перешли в гостиную, один из мужчин, весь вечер молчавший... Жар ночью схлынул, я выбрался на сушу. Был я, доложу я вам, слаб, капризен и прозрачен — прозрачен, как хрустальное яйцо. Мать поехала мне покупать... что — я не знал — одну из тех чудаковатых вещей, на которые время от времени я зарился с жадностью брюхатой женщины, — после чего совершенно о них забывал, — но мать записывала эти desiderata[1]. Лежа в постели пластом среди синеватых слоев комнатных сумерек, я лелеял в себе невероятную ясность, как случается, что между сумеречных туч длится дальняя полоса лучезарно-бледного неба, и там видны как бы мыс и мели Бог знает каких далеких островов, — и кажется, что, если еще немножко отпустить вдаль свое легкое око, различишь блестящую лодку, втянутую на влажный песок, и уходящие следы шагов, полные яркой воды. Полагаю, что в ту минуту я достиг высшего предела человеческого здоровья: мысль моя омылась, окунувшись недавно в опасную, не по-земному чистую черноту; и вот, лежа неподвижно и даже не жмурясь, я мысленно вижу, как моя мать, в шеншилях и вуали с мушками, садится в сани (всегда кажущиеся такими маленькими по сравнению со стеатопигией русского кучера того времени), как мчит ее, прижавшую сизо-пушистую муфту к лицу, вороная пара под синей сеткой. Улица за улицей развертывается без всякого моего усилия; комья кофейного снега бьют в передок. Вот сани остановились. Выездной Василий соскальзывает с запяток, одновременно отстегивая медвежью полость, и моя мать быстро идет к магазину, название

[1] Пожелания *(лат.)*.

и выставку которого я не успеваю рассмотреть, так как в это мгновение проходит и окликает ее (но она уже скрылась) мой дядя, а ее брат, и на протяжении нескольких шагов я невольно сопутствую ему, стараясь вглядеться в лицо господина, с которым он, удаляясь, беседует, но, спохватившись, я поворачиваю обратно и поспешно втекаю в магазин, где мать уже платит десять рублей за совершенно обыкновенный, зеленый фаберовский карандаш, который бережно заворачивается в коричневую бумагу двумя приказчиками и передается Василью, вот уже несущему его за моей матерью в сани, вот уже мчащиеся по таким-то и таким-то улицам назад к нашему дому, вот уже приближающемуся к ним; но тут хрустальное течение моего ясновидения прервалось тем, что Ивонна Ивановна принесла мне чашку бульона с гренками: я так был слаб, что мне понадобилась ее помощь, чтобы присесть на постели, она дала тумака подушке и установила передо мной поперек живого одеяла постельный столик на карликовых ножках (с извечно липким уездом у юго-западного угла). Вдруг растворилась дверь, вошла мать, улыбаясь и держа, как бердыш, длинный коричневый сверток. В нем оказался фаберовский карандаш в полтора аршина длины и сообразно толстый: рекламный гигант, горизонтально висевший в витрине и возбудивший как-то мою взбалмошную алчность. Должно быть, я находился еще в блаженном состоянии, когда любая странность, как полубог, сходит к нам, чтобы неузнанной смешаться с воскресной толпой, ибо в ту минуту я вовсе не поразился случившемуся со мной, а только вскользь про себя отметил, как ошибся насчет величины предмета; но потом, окрепнув, хлебом залепив щели, я с суеверным страданием раздумывал над моим припадком прозрения (никогда, впрочем, не повторившимся), которого я так стыдился, что скрыл его даже от Тани, — и едва ли не расплакался от смущения, когда нам попался навстречу, чуть ли не в первый мой выход, дальний родственник матери, некто Гайдуков, который тут-то и сказал ей: «А мы с вашим братцем недавно видели вас около Треймана».

Между тем воздух стихов потеплел, и мы собираемся назад в деревню, куда до моего поступления в школу

(а поступил я только двенадцати лет) мы переезжали иногда уже в апреле.

> В канавы скрылся снег со склонов,
> и петербургская весна
> волнения и анемонов
> и первых бабочек полна.
> Но мне не надо прошлогодних,
> увядших за зиму ванесс,
> лимонниц никуда не годных,
> летящих сквозь прозрачный лес.
> Зато уж высмотрю четыре
> прелестных газовых крыла
> нежнейшей пяденицы в мире
> средь пятен белого ствола.

Это любимое стихотворение самого автора, но он не включил его в сборник, потому, опять же, что тема связана с темой отца, а экономия творчества советовала не трогать ее до поры до времени. Вместо нее воспроизведены такие весенние впечатления, как первое чувство сразу по выходе со станции: мягкость земли, ее близость к ступне, а вокруг головы — ничем не стесненное течение воздуха. Наперебой, яростно расточая приглашения, вставая с козел, взмахивая свободной рукой, мешая галдеж с нарочитым тпруканием, извозчики зазывали ранних дачников. Поодаль нас ожидал открытый автомобиль, пунцовый снутри и снаружи: идея скорости уже дала наклон его рулю (меня поймут приморские деревья), однако общая его внешность еще хранила — из ложного приличия, что ли, — подобострастную связь с формой коляски, но если это и была попытка мимикрии, то она совершенно уничтожалась грохотанием мотора при открытом глушителе, столь зверским, что задолго до нашего появления мужик на встречной телеге спрыгивал с нее и поворачивал лошадь — после чего, бывало, вся компания немедленно оказывалась в канаве, а то и в поле — где, через минуту, уже забыв нас и нашу пыль, опять собирается свежая нежная тишина с мельчайшим отверстием для пения жаворонка.

Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах и давно сбитых каблуках, чувствуя себя привидением,

несмотря на идиотскую вещественность изоляторов, я еще выйду с той станции и, без видимых спутников, пешком пройду стежкой вдоль шоссе с десяток верст до Лешина. Один за другим телеграфные столбы будут гудеть при моем приближении. На валун сядет ворона, — сядет, оправит сложившееся не так крыло. Погода будет, вероятно, серенькая. Изменения в облике окрестности, которые я не могу представить себе, и старейшие приметы, которые я почему-то забыл, будут встречать меня попеременно, даже смешиваясь иногда. Мне кажется, что при ходьбе я буду издавать нечто вроде стона, в тон столбам. Когда дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то и то-то — или же, вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, не увижу ни того, ни этого (но все-таки кое-что, бесконечно и непоколебимо верное мне, разгляжу — хотя бы потому, что глаза у меня все-таки сделаны из того же, что тамошняя серость, светлость, сырость), то, после всех волнений, я испытаю какую-то удовлетворенность страдания — на перевале, быть может, к счастью, о котором мне знать рано (только и знаю, что оно будет с пером в руке). Но одного я наверняка не застану — того, из-за чего, в сущности, стоило городить огород изгнания: детства моего и плодов моего детства. Его плоды — вот они, — сегодня, здесь, — уже созревшие; оно же само ушло в даль, почище северно-русской.

Автор нашел верные слова для изображения ощущения при переходе в деревенскую обстановку. Как весело, говорит он, что:

ни шапки надевать не надо,
ни легких башмаков менять,
чтоб на песок кирпичный сада
весною выбежать опять.

К этому в десять лет прибавилось новое развлечение. Он еще в городе въехал ко мне, и сначала я его долго водил за рога из комнаты в комнату, и с какой застенчивой грацией он шел по паркету, пока не накололся на кнопку! По сравнению с трехколесным, детским, дребезжащим и жалким, который по узости ободков увязал даже в песке садовой площадки, новый обладал божественной легко-

стью передвижения. Это поэт хорошо выразил в следующих стихах:

О, первого велосипеда
великолепье, вышина;
на раме «Дукс» или «Победа»;
надутой шины тишина.
Дрожанье и вилы в аллее,
где блики по рукам скользят,
где насыпи кротов чернеют
и низвержением грозят.
А завтра пролетаешь через,
и, как во сне, поддержки нет,
и, этой простоте доверясь,
не падает велосипед.

А послезавтра неизбежно начинает развиваться мечта о «свободной передаче», — сочетание слов, которое я до сих пор слышать не могу без того, чтоб не замелькала под едва уловимый резиновый шелест и легчайшее лепетание спиц полоса полого бегущей, гладкой, липкой земли.

Катанье на велосипеде и на лодке, верховая езда, игра в лоун-теннис и в городки, «крокет, купанье, пикники», заманчивость мельницы и сенника, — этим в общих чертах исчерпываются темы, волнующие нашего автора. Что же можно сказать о формальной стороне его стихотворений? Это, конечно, миниатюры, но сделанные с тем феноменально тонким мастерством, при котором отчетлив каждый волосок, не потому что все выписано чересчур разборчивой кистью, а потому что присутствие мельчайших черт невольно читателю внушено порядочностью и надежностью таланта, ручающегося за соблюдение автором всех пунктов художественного договора. Можно спорить о том, стоит ли вообще оживлять альбомные формы и есть ли еще кровь в жилах нашего славного четырехстопника (которому уже Пушкин, сам пустивший его гулять, грозил в окно, крича, что школьникам отдаст его в забаву), но никак нельзя отрицать, что в пределах, себе поставленных, свою стихотворную задачу Годунов-Чердынцев правильно разрешил. Чопорность его мужских рифм превосходно оттеняет вольные наряды женских; его ямб, пользуясь всеми тонкостями ритмического отступничества, ни в чем, однако, не

изменяет себе. Каждый его стих переливается арлекином. Кому нравится в поэзии архиживописный жанр, тот полюбит эту книжечку. Слепому на паперти она ничего не может сказать. У, какое у автора зрение! Проснувшись спозаранку, он уже знает, каков будет день, по щели в ставне, которая

синеет, синего синей,
почти не уступая в сини
воспоминанию о ней,

и тем же прищуренным глазом он смотрит вечером на поле, одна сторона которого уже забрана тенью, между тем как другая, дальняя,

от валуна
посередине до опушки
еще, как днем, освещена.

Нам даже думается, что, может быть, именно живопись, а не литература с детства обещалась ему, и, ничего не зная о теперешнем облике автора, мы зато ясно воображаем мальчика в соломенной шляпе, необыкновенно неудобно расположившегося на садовой скамейке со своими акварельными принадлежностями и пишущего мир, завещанный ему предками.

Фарфоровые соты синий,
зеленый, красный мед хранят.
Сперва из карандашных линий
слагается шершаво сад.
Березы, флигельный балкончик —
всё в пятнах солнца. Обмакну
и заверну погуще кончик
в оранжевую желтизну.
Меж тем в наполненном бокале,
в лучах граненого стекла —
какие краски засверкали,
какая радость расцвела!

Такова книжечка Годунова-Чердынцева. В заключение добавим... Что еще? Что еще? Подскажи мне, мое воображение. Неужто и вправду все очаровательно дрожащее, что снилось и снится мне сквозь мои стихи, удержалось в них

и замечено читателем, чей отзыв я еще сегодня узнаю? Неужели действительно он все понял в них, понял, что кроме пресловутой «живописности» есть в них еще тот особый поэтический смысл (когда за разум зашедший ум возвращается с музыкой), который один выводит стихи в люди? Читал ли он их по скважинам, как надобно читать стихи? Или просто так: прочел, понравилось, он и похвалил, отметив как черту модную в наше время, когда время в моде, значение их чередования: ибо если сборник открывается стихами о «Потерянном Мяче», то замыкается он стихами «О Мяче Найденном».

Одни картины да киоты
в тот год остались на местах,
когда мы выросли, и что-то
случилось с домом: второпях
все комнаты между собою
менялись мебелью своей:
шкафами, ширмами, толпою
неповоротливых вещей.
И вот тогда-то, под тахтою,
на обнажившемся полу,
живой, невероятно милый,
он обнаружился в углу.

Внешний вид книги приятен.

Выжав из нее последнюю каплю сладости, Федор Константинович потянулся и встал с кушетки. Ему сильно хотелось есть. Стрелки его часов с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь двигаться против времени, так что нельзя было положиться на них, но, судя по свету, день, собравшись в путь, присел с домочадцами и задумался. Когда же Федор Константинович вышел на улицу, его обдало (хорошо, что надел) влажным холодком: пока он мечтал над своими стихами, шел, по-видимому, дождь, вылощив улицу до самого ее конца. Фургона уже не было, а на том месте, где недавно стоял его трактор, у самой панели осталось радужное, с приматом пурпура и перистообразным поворотом, пятно масла: попугай асфальта. А как было имя перевозчичьей фирмы? Max Lux. Что это у тебя, сказочный огородник? Мак-с. А то? Лук-с, ваша светлость.

«Да захватил ли я ключи?» — вдруг подумал Федор Константинович, остановившись и опустив руку в карман макинтоша. Там, наполнив горсть, успокоительно и веско звякнуло. Когда, три года тому, еще в бытность его тут студентом, мать переехала к Тане в Париж, она писала, что никак не может привыкнуть к освобождению от постоянного гнета цепи, привязывающей берлинца к дверному замку. Ему представилась ее радость при чтении статьи о нем, и на мгновение он почувствовал по отношению к самому себе материнскую гордость; мало того: материнская слеза обожгла ему края век. Но что мне внимание при жизни, коли я не уверен в том, что до последней, темнейшей своей зимы, дивясь, как ронсаровская старуха, мир будет вспоминать обо мне? А все-таки! Мне еще далеко до тридцати, и вот сегодня — признан. Признан! Благодарю тебя, отчизна, за чистый... Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар. Ты как безумие... Звук «признан» мне, собственно, теперь и не нужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, Р о с с и я, за чистый и... второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке — а жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело, я не успел удержать.

Он купил пирожков (один с мясом, другой с капустой, третий с сагой, четвертый с рисом, пятый... на пятый не хватило) в русской кухмистерской, представлявшей из себя как бы кунсткамеру отечественной гастрономии, и скоро справился с ними, сидя на сырой скамье в сквере.

Дождь полил шибче, точно кто-то вдруг наклонил небо. Пришлось укрыться в круглом киоске у трамвайной остановки. Там, на лавке, двое с портфелями обсуждали сделку, да с такими диалектическими подробностями, что сущность товара пропадала, как при беглом чтении теряешь обозначенный лишь заглавной буквой предмет брокгаузовской статьи. Тряся стрижеными волосами, вошла девушка с маленьким, сопящим, похожим на жабу бульдогом. А странно — «отчизна» и «признан» опять вместе, и там что-то упорно звенит. Не соблазнюсь.

Ливень перестал. Страшно просто, без всякого пафоса или штук, зажглись все фонари. Он решил, что уже можно — с расчетом прийти в рифму к девяти — отправиться к Чернышевским. Как пьяных, что-то его охраняло, когда он в таком настроении переходил улицы. В мокром луче фонаря работал на месте автомобиль: капли на кожухе все до одной дрожали. Кто мог написать? Федору Константиновичу никак не удавалось выбрать. Этот был добросовестен, но бездарен; тот — бесчестен, а даровит; третий писал только о прозе; четвертый — только о друзьях; пятый... и воображению Федора Константиновича представился этот пятый: человек его возраста, даже, кажется, на год моложе, напечатавший за те же годы, в тех же эмигрантских изданиях не больше его (тут стихи, там статью), но который, каким-то непонятным образом, едва ли не с физиологической естественностью некой эманации, исподволь оделся облаком неуловимой славы, так что имя его произносилось — не то чтоб особенно часто, но совершенно иначе, чем все прочие молодые имена; человек, каждую новую строчку которого он, презирая себя, брезгливо, поспешно и жадно поглощал в уголку, стараясь самым действием чтения истребить в ней чудо, — после чего дня два не мог отделаться ни от прочитанного, ни от чувства своего бессилия и тайной боли, словно в борьбе с другим поранил собственную сокровенную частицу; одинокий, неприятный, близорукий человек, с какой-то неправильностью во взаимном положении лопаток. Но я все прощу, если это ты.

Ему казалось, что он сдерживает шаг до шляния, однако попадавшиеся по пути часы (боковые исчадия часовых лавок) шли еще медленнее, и когда у самой цели он одним махом настиг Любовь Марковну, шедшую туда же, он понял, что во весь путь нетерпение несло его как на движущихся ступеньках, превращающих и стоячего в скорохода.

Почему, если уж носила пенснэ эта пожилая, рыхлая, никем не любимая женщина, то все-таки подкрашивала глаза? Стекла преувеличивали дрожь и грубость кустарной росписи, и от этого ее невиннейший взгляд получался до того двусмысленным, что нельзя было от него оторваться: гипноз ошибки. Да и вообще, едва ли не все в ней было

основано на недоразумении, — и как знать, не было ли это даже формой умопомешательства, когда она думала, что по-немецки говорит как немка, что Гольсуорти крупный писатель или что Георгий Иванович Васильев патологически неравнодушен к ней? Она была одной из вернейших посетительниц литературных посиделок, которые Чернышевские в союзе с Васильевым, толстым, старым журналистом, устраивали дважды в месяц по субботам; сегодня был только вторник; и Любовь Марковна еще жила впечатлениями прошлой субботы, щедро ими делясь. Роковым образом мужчины в ее обществе становились рассеянными невежами. Федор Константинович сам это чувствовал, но, к счастью, до дверей оставалось всего несколько шагов, и там уже ждала с ключами горничная Чернышевских, высланная, собственно, навстречу Васильеву, у которого была весьма редкая болезнь сердечных клапанов, — он даже сделал ее своей побочной специальностью и, случалось, приходил к знакомым с анатомической моделью сердца и все очень ясно и любовно демонстрировал. «А нам лифта не нужно», — сказала Любовь Марковна — и пошла наверх, сильно топая, но как-то особенно плавно и бесшумно поворачивая на площадках; Федору Константиновичу приходилось подниматься сзади нее замедленными зигзагами, как иногда видишь: прерывчато идет пес, пропуская голову то справа, то слева от каблука хозяина.

Им отворила сама Александра Яковлевна, и не успел он заметить неожиданное выражение ее лица (точно она не одобряла чего-то или хотела быстро что-то предотвратить), как в переднюю, на коротких, жирных ножках, выскочил опрометью ее муж, тряся на бегу газетой.

«Вот, — крикнул он, бешено дергая вниз углом рта (тик после смерти сына), — вот, смотрите!»

«Я, — заметила Чернышевская, — ожидала от него более тонких шуток, когда за него выходила».

Федор Константинович с удивлением увидел, что газета немецкая, и неуверенно ее взял.

«Дату! — крикнул Александр Яковлевич. — Смотрите же на дату, молодой человек!»

«Вижу, — сказал Федор Константинович со вздохом — и почему-то газету сложил. — Главное, я отлично помнил!»

Александр Яковлевич свирепо захохотал.

«Не сердитесь на него, пожалуйста», — с ленивой скорбью произнесла Александра Яковлевна, слегка балансируя бедрами и мягко беря молодого человека за кисть.

Любовь Марковна, защелкнув сумку, поплыла в гостиную.

Это была очень небольшая, пошловато обставленная, дурно освещенная комната с застрявшей тенью в углу и пыльной вазой танагра на недосягаемой полке, и когда наконец прибыл последний гость и Александра Яковлевна, ставшая на минуту — как это обычно бывает — замечательно похожа на свой же (синий с бликом) чайник, начала разливать чай, теснота помещения претворилась в подобие какого-то трогательно уездного уюта. На диване, среди подушек — всё неаппетитных, заспанных цветов — подле шелковой куклы с бескостными ногами ангела и персидским разрезом очей, которую оба сидящих поочередно мяли, удобно расположились: огромный, бородатый, в довоенных носках со стрелками, Васильев и худенькая, очаровательно дохлая, с розовыми веками барышня — в общем, вроде белой мыши; ее звали Тамара (что лучше пристало бы кукле), а фамилия смахивала на один из тех немецких горных ландшафтов, которые висят у рамочников. Около книжной полки сидел Федор Константинович и, хотя в горле стоял кубик, старался казаться в духе. Инженер Керн, близко знавший покойного Александра Блока, извлекал из продолговатой коробки, с клейким шорохом, финик. Внимательно осмотрев кондитерские пирожные на большой тарелке с плохо нарисованным шмелем, Любовь Марковна, вдруг скомкав выбор, взяла тот сорт, ка котором непременно бывает след неизвестного пальца: пышку. Хозяин рассказывал старинную первоапрельскую проделку медика первокурсника в Киеве... Но самым интересным из присутствующих был сидевший поодаль, сбоку от письменного стола, и не принимавший участия в общем разговоре, за которым, однако, с тихим вниманием следил, юноша... чем-то действительно напоминавший Федора Константиновича: он напоминал его не чертами лица, которые сейчас было трудно рассмотреть, но тональностью всего облика — серовато-русым оттенком

круглой головы, которая была коротко острижена (что по правилам поздней петербургской романтики шло поэту лучше, чем лохмы), прозрачностью больших, нежных, слегка оттопыренных ушей, тонкостью шеи с тенью выемки у затылка. Он сидел в такой же позе, в какой сиживал и Федор Константинович, — немножко опустив голову, скрестив ноги и не столько скрестив, сколько поджав руки, словно зяб, так что покой тела скорее выражался острыми уступами (колено, локти, щуплое плечо) и сжатостью всех членов, нежели тем обычным смягчением очерка, которое бывает, когда человек отдыхает и слушает. Тень двух томов, стоявших на столе, изображала обшлаг и угол лацкана, а тень тома третьего, склонившегося к другим, могла сойти за галстук. Он был лет на пять моложе Федора Константиновича, и что касается самого лица, то, судя по снимкам на стенах комнаты и в соседней спальне (на столике, между плачущими по ночам постелями), сходства, может быть, и не существовало вовсе, ежели не считать известной его удлиненности при развитости лобных костей да темной глубины глазниц — паскальевой, по определению физиогномистов, — да еще, пожалуй, в широких бровях намечалось что-то общее... но нет, дело было не в простом сходстве, а в одинаковости духовной породы двух нескладных по-разному, угловато-чувствительных людей. Он сидел, этот юноша, не поднимая глаз, с чуть лукавой чертой у губ, скромно и не очень удобно, на стуле, вдоль сиденья которого блестели медные кнопки, слева от заваленного словарями стола, и, — как бы теряя равновесие, с судорожным усилием, Александр Яковлевич снова отрывал взгляд от него, продолжая рассказывать все то молодецки смешное, чем обычно прикрывал свою болезнь.

«А отзывы всё равно будут, — сказал он Федору Константиновичу, непроизвольно подмигивая, — уж будьте покойны, угорьки из вас повыжмут».

«Кстати, — спросила Александра Яковлевна, — что это такое “вилы в аллее”, — там, где велосипед?»

Федор Константинович скорее жестами, чем словами показал: знаете, — когда учишься ездить и страшно виляешь.

«Сомнительное выражение», — заметил Васильев.

«Мне больше всего понравилось о детских болезнях, да, — сказала Александра Яковлевна, кивнув самой себе, — это хорошо: рождественская скарлатина и пасхальный дифтерит».

«Почему не наоборот?» — полюбопытствовала Тамара.

Господи, как он любил стихи! Стеклянный шкафчик в спальне был полон его книг: Гумилев и Эредиа, Блок и Рильке, — и сколько он знал наизусть! А тетради... Нужно будет когда-нибудь решиться и всё просмотреть. Она это может, а я не могу. Как это странно случается, что со дня на день откладываешь. Разве, казалось бы, не наслаждение — единственное, горькое наслаждение — перебирать имущество мертвого, а оно, однако, так и остается лежать нетронутым (спасительная лень души?); немыслимо, чтобы чужой дотронулся до него, но какое облегчение, если бы нечаянный пожар уничтожил этот драгоценный маленький шкаф. Александр Яковлевич вдруг встал и, как бы случайно, так переставил стул около письменного стола, чтобы ни он, ни тень книг никак не могли служить темой для призрака.

Разговор тем временем перешел на какого-то советского деятеля, потерявшего после смерти Ленина власть. «Ну, в те годы, когда я видал его, он был в зените славы и добра», — говорил Васильев, профессионально перевирая цитату.

Молодой человек, похожий на Федора Константиновича (к которому именно поэтому так привязались Чернышевские), теперь очутился у двери, где, прежде чем выйти, остановился вполоборота к отцу, — и, несмотря на свой чисто умозрительный состав, ах, как он был сейчас плотнее всех сидящих в комнате! Сквозь Васильева и бледную барышню просвечивал диван, инженер Керн был представлен одним лишь блеском пенснэ, Любовь Марковна — тоже, сам Федор Константинович держался лишь благодаря смутному совпадению с покойным, — но Яша был совершенно настоящий и живой, и только чувство самосохранения мешало вглядеться в его черты.

«А может быть, — подумал Федор Константинович, — может быть, это все не так и он (Александр Яковлевич) вовсе сейчас не представляет себе мертвого сына,

а действительно занят разговором, и если у него бегают глаза, так это потому, что он вообще нервный, Бог с ним. Мне тяжело, мне скучно, это все не то, — и я не знаю, почему я здесь сижу, слушаю вздор».

И все-таки он продолжал сидеть и курить, и покачивать носком ноги, — и промеж всего того, что говорили другие, что сам говорил, он старался, как везде и всегда, вообразить внутреннее прозрачное движение другого человека, осторожно садясь в собеседника, как в кресло, так чтобы локти того служили ему подлокотниками и душа бы влегла в чужую душу, — и тогда вдруг менялось освещение мира и он на минуту действительно был Александр Яковлевич, или Любовь Марковна, или Васильев. Иногда к прохладе и легким нарзанным уколам преображения примешивалось азартно-спортивное удовольствие, и ему было лестно, когда случайное слово ловко подтверждало последовательный ход мыслей, который он угадывал в другом. Он, для которого так называемая политика (все это дурацкое чередование пактов, конфликтов, обострений, трений, расхождений, падений, перерождений ни в чем не повинных городков в международные договоры) не значила ничего, погружался, бывало, с содроганием и любопытством в просторные недра Васильева и на мгновение жил при помощи его, васильевского, внутреннего механизма, где рядом с кнопкой «Локарно» была кнопка «локаут» и где в ложно умную, ложно занимательную игру вовлекались разнокалиберные символы: «пятерка кремлевских владык», или «восстание курдов», или совершенно потерявшие человеческий облик отдельные имена: Гинденбург, Маркс, Пенлеве, Эррио, — головастая э-оборотность которого настолько самоопределилась, на столбцах васильевской «Газеты», что грозила полным разрывом с первоначальным французом; это был мир вещих предсказаний, предчувствий, таинственных комбинаций, мир, который, в сущности, был во сто крат призрачней самой отвлеченной мечты. Когда же Федор Константинович пересаживался в Александру Яковлевну Чернышевскую, то попадал в душу, где не все было ему чуждо, но где многое изумляло его, как чопорного путешественника могут изумлять обычаи заморской страны, базар на заре, голые дети, гвалт, чудовищная величина

фруктов. Сорокапятилетняя, некрасивая, сонная женщина, потеряв два года тому назад единственного сына, вдруг проснулась: траур окрылил ее, и слезы омолодили, — так, по крайней мере, говорили знавшие ее прежде. Память о сыне, обернувшаяся у ее мужа недугом, в ней разгорелась какой-то живительной страстью. Неправильно было бы сказать, что эта страсть заполняла ее всю; нет, она еще далеко перелетала через душевный предел Александры Яковлевны, едва ли не облагораживая даже белиберду этих двух меблированных комнат, в которые она с мужем после несчастья переехала из большой старой берлинской квартиры (где еще до войны живал ее брат с семьей). Своих знакомых она теперь рассматривала лишь под углом их восприимчивости к ее утрате, да еще, для порядка, вспоминала или воображала суждение Яши о том или другом лице, с которым приходилось встречаться. Ее охватил жар деятельности, жажда обильного отклика; сын в ней рос и выбивался наружу; литературный кружок, в прошлом году учрежденный Александром Яковлевичем совместно с Васильевым, дабы чем-нибудь себя и ее занять, показался ей лучшим посмертным чествованием поэта-сына. Тогда впервые я и увидел ее и был немало озадачен, когда вдруг эта пухленькая, страшно подвижная, с ослепительно синими глазами женщина среди первого разговора со мной залилась слезами, точно без всякой причины распался полный доверху хрустальный сосуд, и, не спуская с меня танцующего взгляда, смеясь и всхлипывая, пошла повторять: «Боже мой, как вы мне напомнили его, как напомнили!» Откровенность, с которой при следующих встречах со мной она говорила о сыне, о всех подробностях его гибели и о том, как он теперь ей снится (что будто беременна им, взрослым, а сама, как пузырь, прозрачна), показалась мне вульгарным бесстыдством, тем более покоробившим меня, когда я стороной узнал, что она была немножко обижена тем, что я не отвечал ей соответственной вибрацией, а просто переменил разговор, когда зашла речь о моем горе, о моей утрате. Но очень скоро я заметил, что этот восторг скорби, среди которого она беспрерывно жила, умудряясь не умереть от разрыва аорты, начинает как-то меня забирать и чего-то от меня требовать.

Вы знаете это характерное движение, когда человек вам дает в руки дорогую для него фотографию и следит за вами с ожиданием... а вы, длительно и набожно посмотрев на невинно и без мысли о смерти улыбающееся лицо на снимке, притворно замедляете возвращение, притворно тормозите взглядом свою же руку, отдавая карточку с задержкой, словно было бы неучтиво расстаться с ней вдруг. Вот эту серию движений мы проделывали с Александрой Яковлевной без конца. Александр Яковлевич сидел за своим освещенным в углу столом и работал, изредка прочищая горло, — составлял свой словарь русских технических терминов, заказанный ему немецким книгоиздательством. Было тихо и нехорошо. Следы вишневого варенья на блюдце мешались с пеплом. Чем дальше она мне рассказывала о Яше, тем слабее он меня притягивал, — о нет, мы с ним были мало схожи (куда меньше, чем полагала она, вовнутрь продлевая совпаденье наших внешних черт, которых она к тому же находила больше, чем их было на самом деле, а было, опять-таки, только то немногое на виду, что соответствовало немногому внутри нас) и едва ли мы подружились бы, встреться я с ним вовремя. Его пасмурность, прерываемая резким крикливым весельем, свойственным безъюморным людям; его сентиментально-умственные увлечения; его чистота, которая сильно отдавала бы трусостью чувств, кабы не болезненная изысканность их толкования; его ощущение Германии; его безвкусные тревоги («неделю был как в чаду», потому что прочитал Шпенглера); наконец, его стихи... словом, все то, что для матери было преисполнено очарования, мне лишь претило. Как поэт он был, по-моему, очень хил; он не творил, он перебивался поэзией, как перебивались тысячи интеллигентных юношей его типа; но если не гибли они той или другой более или менее геройской смертью — ничего общего не имеющей с русской словесностью, которую они, впрочем, знали досконально (о, эти Яшины тетради, полные ритмических ходов — треугольников да трапеций!), — они в будущем отклонялись от литературы совершенно и если выказывали в чем-либо талант, то уж в области науки или службы, а не то попросту хорошо налаженной жизни. Он в стихах, полных модных банальностей, воспевал «горчай-

шую» любовь к России, — есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя. Его мать читала их мне, сбиваясь, волнуясь, с неумелой гимназической интонацией, вовсе не шедшей к этим патетическим пэонам, — которые сам Яша, должно быть, читал самозабвенным певком, раздувая ноздри и раскачиваясь, в странном блистании какой-то лирической гордыни, после чего тотчас опять оседал, вновь становясь скромным, вялым и замкнутым. Эпитеты, у него жившие в гортани: «невероятный», «хладный», «прекрасный», — эпитеты, жадно употребляемые молодыми поэтами его поколения, обманутыми тем, что архаизмы, прозаизмы или просто обедневшие некогда слова вроде «роза», совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть, возвращаясь с другой стороны, — эти слова, в спотыкавшихся устах Александры Яковлевны, как бы делали еще один полукруг, снова закатываясь, снова являя всю свою ветхую нищету — и тем вскрывая обман стиля. Кроме патриотической лирики, были у него стихи о каких-то матросских тавернах; о джине и джазе, который он писал на переводно-немецкий манер: «яц»; были и стихи о Берлине с попыткой развить у немецких наименований голос, подобно тому как, скажем, названия итальянских улиц звучат подозрительно приятным контральто в русских стихах; были у него и посвящения дружбе, без рифмы и без размера, что-то путаное, туманное, пугливое, какие-то душевные дрязги и обращение на «вы» к другу, как на «вы» обращается больной француз к Богу или молодая русская поэтесса к любимому господину. И все это было выражено бледно, кое-как, со множеством неправильностей в ударениях, — у него рифмовало «предан» и «передан», «обезличить» и «отличить», «октябрь» занимал три места в стихотворной строке, заплатив лишь за два, «пожарище» означало большой пожар, и еще мне запомнилось трогательное упоминание о «фресках Врублёва» — прелестный гибрид, лишний раз доказывавший мне наше несходство, — нет, он не мог любить живопись так, как я. Свое настоящее мнение о его поэзии я скрывал от Александры Яковлевны, а те принужденные звуки

нечленораздельного одобрения, которые я из приличия издавал, понимались ею как хаос восхищения. Она подарила мне на рождение, сияя сквозь слезы, лучший Яшин галстук, свежевыутюженный, старомодно муаровый, с еще заметной петербургской маркой «Джокей Клуб», — думаю, что сам Яша вряд ли его часто носил; и в обмен за все, чем она поделилась со мной, за полный и подробный образ покойного сына, с его стихами, ипохондрией, увлечениями, гибелью, Александра Яковлевна властно требовала от меня некоторого творческого содействия; получалось странное соответствие: ее муж, гордившийся своим столетним именем и подолгу занимавший историей оного знакомых (деда его в царствование Николая Первого крестил, — в Вольске, кажется, — отец знаменитого Чернышевского, толстый, энергичный священник, любивший миссионерствовать среди евреев и в придачу к духовному благу дававший им свою фамилию), не раз говорил мне: «Знаете что, написали бы вы, в виде biographie romancée[1], книжечку о нашем великом шестидесятнике, — да-да, не морщитесь, я все предвижу возраженья на предложение мое, но, поверьте, бывают же случаи, когда обаяние человеческого подвига совершенно искупает литературную ложь, а он был сущий подвижник, и если бы вы пожелали описать его жизнь, я б вам много мог порассказать любопытного». Мне совсем не хотелось писать о великом шестидесятнике, а еще того меньше о Яше, как со своей стороны настойчиво советовала мне Александра Яковлевна (так что в общем получался заказ на всю историю их рода). Но невзирая на то, что меня и смешило и раздражало это их стремление указывать путь моей музе, я чувствовал, что еще немного, и Александра Яковлевна загонит меня в такой угол, откуда я не вылезу, и что, подобно тому как мне приходилось являться к ней в Яшином галстуке (покуда я не придумал отговориться тем, что боюсь его затрепать), точно так же мне придется засесть за писание новеллы с изображением Яшиной судьбы. Одно время я даже имел слабость (или смелость, может быть) прикидывать в уме, как бы я за это взялся, если бы да кабы... Иной мыслящий пошляк, белле-

[1] Романизированная биография *(фр.)*.

трист в роговых очках, — домашний врач Европы и сейсмограф социальных потрясений, — нашел бы в этой истории, я не сомневаюсь, нечто в высшей степени характерное для «настроений молодежи в послевоенные годы», — одно это сочетание слов (не говоря про область идей) невыразимо меня бесило; я испытывал притворную тошноту, когда слышал или читал очередной вздор, вульгарный и мрачный вздор, о симптомах века и трагедиях юношества. А так как загореться Яшиной трагедией я не мог (хотя Александра Яковлевна и думала, что горю), я невольно бы увяз как раз в глубокомысленной с гнусным фрейдовским душком беллетристике. С замиранием сердца упражняя воображение, носком ноги как бы испытывая слюдяной ледок зажоры, я доходил до того, что видел себя переписывающим и приносящим Чернышевской свое произведение, садящимся так, чтобы лампа с левой стороны освещала мой роковой путь (спасибо, мне так отлично видно), и после короткого предисловия насчет того, как было трудно, как ответственно... но тут все заволакивалось багровым паром стыда. К счастью, я заказа не исполнил, — не знаю, что именно уберегло: и тянул я долго, и какие-то случайно выдались благотворные перерывы в наших встречах, и самой Александре Яковлевне я, может быть, чуть-чуть приелся в качестве слушателя; как бы то ни было, история осталась писателем неиспользованной, — а была она, в сущности, очень проста и грустна, эта история.

Мы почти в одно время попали в берлинский университет, но я не знал Яши, хотя не раз, должно быть, мы проходили друг мимо друга. Разность предметов, — он занимался философией, я — инфузориями, — уменьшала возможность общения. Если бы я теперь вернулся в это прошлое, и лишь с одним обогащением — с сознанием сегодняшнего дня — повторил бы в точности все тогдашние мои петли, то, уж конечно, я бы сразу приметил его лицо, столь теперь знакомое мне по снимкам. Забавно: если вообще представить себе возвращение в былое с контрабандой настоящего, как же дико было бы там встретить в неожиданных местах, такие молодые и свежие, в каком-то ясном безумии не узнающие нас, прообразы сегодняшних знакомых; так, женщина, которую, скажем, со вчерашнего

дня люблю, девочкой, оказывается, стояла почти рядом со мной в переполненном поезде, а прохожий, пятнадцать лет тому назад спросивший у меня дорогу, ныне служит в одной конторе со мной. В толпе минувшего с десяток лиц получило бы эту анахроническую значительность: малые карты, совершенно преображенные лучом козыря. И с какой уверенностью тогда... Но, увы, когда и случается, во сне, так пропутешествовать, то на границе прошлого обесценивается весь твой нынешний ум, и в обстановке класса, наскоро составленного аляповатым бутафором кошмара, опять не знаешь урока — со всею забытой тонкостью тех бывших школьных мук.

В университете Яша близко сдружился со студентом Рудольфом Бауманом и студенткой Олей Г., — русские газеты не печатали полностью ее фамилии. Это была барышня его лет, его круга, родом чуть ли не из того же города, как и он. Семьи, впрочем, друг друга не знали. Только раз, года два после Яшиной гибели, на литературном вечере мне довелось видеть ее, и я запомнил ее необыкновенно широкий, чистый лоб, глаза морского оттенка и большой красный рот с черным пушком над верхней губой и толстой родинкой сбоку, а стояла она сложив на мягкой груди руки, что во мне сразу развернуло всю литературу предмета, где была и пыль ведренного вечера, и шинок у тракта, и женская наблюдательная скука. Рудольфа же я не видал никогда и только с чужих слов заключаю, что был он бледноволос, быстр в движениях и красив — жилистой, легавой красотой. Таким образом, для каждого из помянутых трех лиц я пользуюсь другим способом изучения, что влияет и на плотность их, и на их окраску, покамест в последнюю минуту не ударяет по ним, озарением их уравнивая, какое-то мое, но мне самому непонятное солнце.

В дневниковых своих заметках Яша метко определил взаимоотношения его, Рудольфа и Оли как «треугольник, вписанный в круг». Кругом была та нормальная, ясная, «эвклидова», как он выразился, дружба, которая объединила всех троих, так что с ней одной союз их остался бы счастливым, беспечным и нерасторгнутым. Треугольником же, вписанным в него, являлась та другая связь отношений,

сложная, мучительная и долго образовывавшаяся, которая жила своей жизнью, совершенно независимо от общей окружности одинаковой дружбы. Это был банальный треугольник трагедии, родившийся в идиллическом кольце, и одна уж наличность такой подозрительной ладности построения, не говоря о модной комбинационности его развития, — никогда бы мне не позволила сделать из всего этого рассказ, повесть, книгу.

«Я дико влюблен в душу Рудольфа, — писал Яша своим взволнованным, неоромантическим слогом. — Я влюблен в ее соразмерность, в ее здоровье, в жизнерадостность ее. Я дико влюблен в эту обнаженную, загорелую, гибкую душу, которая на все имеет ответ и идет через жизнь, как самоуверенная женщина через бальный зал. Я умею только представить себе в сложнейшем, абстрактнейшем порядке, по сравнению с которым Кант и Гегель игра, то дикое блаженство, которое я бы испытывал, если бы... Если бы что? Что я могу сделать с его душой? Вот это-то незнание, это отсутствие какого-то таинственнейшего орудия (вроде того как Альбрехт Кох тосковал о “золотой логике” в мире безумных), вот это-то и есть моя смерть. Моя кровь кипит, мои руки холодеют, как у гимназистки, когда мы с ним вдвоем остаемся, и он знает это, и я становлюсь ему гадок, и он не скрывает брезгливого чувства. Я дико влюблен в его душу, — и это так же бесплодно, как влюбиться в луну».

Можно понять брезгливость Рудольфа, — но, с другой стороны... мне иногда кажется, что не так уж ненормальна была Яшина страсть, — что его волнение было в конце концов весьма сходно с волнением не одного русского юноши середины прошлого века, трепетавшего от счастья, когда, вскинув шелковые ресницы, наставник с матовым челом, будущий вождь, будущий мученик, обращался к нему... и я бы совсем решительно отверг непоправимую природу отклонения («Месяц, полигон, виола заблудившегося пола...» — как кто-то в кончеевской поэме перевел «и степь, и ночь, и при луне...»), если бы только Рудольф был в малейшей мере учителем, мучеником и вождем, — ибо на самом деле это был, что называется, «бурш», — правда, бурш с легким заскоком, с тягой к темным стихам, хромой музыке, кривой живописи, — что не исключало

в нем той коренной добротности, которой пленился, или думал, что пленился, Яша.

Сын почтенного дурака-профессора и чиновничьей дочки, он вырос в чудных буржуазных условиях, между храмообразным буфетом и спинами спящих книг. Он был добродушен, хоть и недобр, общителен, а все же диковат, взбалмошен, но и расчетлив. В Олю он окончательно влюбился после велосипедной прогулки с ней и с Яшей по Шварцвальду, которая, как потом он показывал на следствии, «нам всем троим открыла глаза»; влюбился по последнему классу, просто и нетерпеливо, однако встретил в ней резкий отпор, еще усиленный тем, что бездельная, прожорливая, с угрюмым норовцом, Оля в свою очередь (в тех же еловых лесах, у того же круглого черного озера) «поняла, что увлеклась» Яшей, которого это так же угнетало, как его пыл — Рудольфа и как пыл Рудольфа — ее самое, так что геометрическая зависимость между их вписанными чувствами получилась тут полная, напоминая вместе с тем таинственную заданность определений в перечне лиц у старинных французских драматургов: такая-то — «amante»[1], с тогдашним оттенком действенного причастия такого-то.

Уже к зиме, ко второй зиме их союза, они отчетливо разобрались в положении; зима ушла на изучение его безнадежности. Извне все казалось благополучным: Яша беспробудно читал, Рудольф играл в хоккей, виртуозно мча по льду пак, Оля занималась искусствоведением (что в рассуждении эпохи звучит, как и весь тон данной драмы, нестерпимо типичной нотой); внутри же безостановочно развивалась глухая, болезненная работа, — ставшая стихийно разрушительной, когда наконец эти бедные молодые люди начали находить услаждение в своей тройственной пытке.

Долгое время по тайному соглашению (каждый о каждом бесстыдно и безнадежно все давно уже знал) они переживаний своих не касались вовсе, когда бывали втроем; но стоило любому из них отлучиться, как двое оставшихся неминуемо принимались обсуждать его страсть и страда-

[1] Возлюбленная, любящая *(фр.)*.

ния. Новый Год они почему-то встречали в буфете одного из берлинских вокзалов, — может быть потому, что на вокзалах вооружение времени особенно внушительно, — а потом пошли шляться в разноцветную слякоть по страшным праздничным улицам, и Рудольф предложил иронический тост за разоблачение дружбы, — и с той поры, сначала сдержанно, но вскоре в упоении откровенности, они уже совместно, в полном составе, обсуждали свои чувства. И тогда треугольник стал окружность свою разъедать.

Чета Чернышевских, как и родители Рудольфа, как и Олина мать (скульпторша, жирная, черноглазая, еще красивая дама с низким голосом, похоронившая двух мужей и носившая всегда какие-то длинные бронзовые цепи вокруг шеи), не только не чуяла, какое нарастает событие, но с уверенностью ответила бы, найдись праздный вопрошатель среди ангелов, уже слетавшихся, уже кипевших с профессиональной хлопотливостью вокруг колыбели, где лежал темненький новорожденный револьвер, — ответила бы, что все хорошо, все совершенно счастливы. Зато потом, когда все уже случилось, обокраденная память прилагала все усилия, чтобы в былом ровном потоке одинаково окрашенных дней найти следы и улики будущего, — и, представьте себе, находила, — так что госпожа Г., *нанося*, как она выражалась, визит соболезнования Александре Яковлевне, вполне верила в свои слова, когда рассказывала, что давно предчувствовала беду — с того самого дня, как вошла в полутемную залу, где на диване в неподвижных позах, в различных горестных преклонениях аллегорий на могильных барельефах, молчали Оля и ее двое приятелей; это было одно мгновение, одно мгновение гармонии теней, но госпожа Г. будто бы это мгновение отметила, или, вернее, отложила его, чтобы через несколько месяцев к нему фуксом возвратиться.

К весне револьвер вырос. Он принадлежал Рудольфу, но долгое время незаметно переходил от одного к другому, как теплое на веревке кольцо или карта с негритяночкой. Как это ни странно, мысль исчезнуть всем троим, дабы восстановился — уже в неземном плане — некий идеальный и непорочный круг, всего страстнее разрабатывалась

Олей, хотя теперь трудно установить, кто и когда впервые высказал ее; а в поэты предприятия вышел Яша, положение которого казалось наиболее безнадежным, так как все-таки было самым отвлеченным; но есть печали, которые смертью не лечат, оттого что они гораздо проще врачуются жизнью и ее меняющейся мечтой: вещественная пуля их не берет, отлично зато справляясь с вещественной страстью Рудольфовых и Олиных сердец.

Выход был теперь найден, и разговоры о нем стали особенно увлекательны. В середине апреля, на тогдашней квартире Чернышевских (родители мирно ушли в кино напротив), случилось кое-что, послужившее, по-видимому, окончательным толчком для развязки. Рудольф неожиданно подвыпил, разошелся, Яша силой отрывал его от Оли, и все это происходило в ванной комнате, и потом Рудольф, рыдая, подбирал высыпавшиеся каким-то образом из кармана штанов деньги, и как было тяжело, как стыдно всем, и каким заманчивым облегчением представлялся назначенный на завтра финал.

После обеда в четверг, восемнадцатого, в восемнадцатую же годовщину смерти Олиного отца, они запаслись ставшим уже совсем толстым и самостоятельным револьвером и в легкую дырявую погоду (с влажным западным ветром и фиолетовой ржавчиной анютиных глазок во всех скверах) отправились на пятьдесят седьмом номере трамвая в Груневальд, чтобы там, в глухом месте леса, один за другим застрелиться. Они стояли на задней площадке, все трое в макинтошах, с бледными, распухшими лицами, и Яшу как-то странно опрощала старая кепка с большим козырьком, которой года четыре он не носил, а сегодня надел почему-то; Рудольф был без шапки, ветер трепал его светлые, откинутые с висков волосы; а Оля, опершись спиной о задний борт и держась за черную штангу белой, крепкой рукой с большим перстнем на указательном пальце, глядела прищуренными глазами на пробегавшие улицы и все наступала нечаянно на рычажок нежного звоночка в полу (предназначенного каменной ножище вагоновожатого, когда зад вагона становится передом). Эту группу увидел изнутри, сквозь дверцу, Юлий Филиппович Познер, бывший репетитор Яшиного двоюродного брата. Быстро высу-

нувшись, — это был напористый и уверенный господин, — он поманил Яшу, и тот, узнав его, вошел к нему.

«Очень удачно, что я встретил вас», — сказал Познер и, обстоятельно пояснив, что едет с пятилетней дочкой (сидевшей отдельно у окна и прижимавшей мягкий, как резина, нос к стеклу) проведать жену в родильном приюте; вынул бумажник, а из бумажника визитную карточку и, воспользовавшись невольной остановкой вагона (соскочил на повороте контактный шест), вечным пером вычеркнул старый адрес и надписал новый. «Сие, — сказал он, — передайте вашему кузену, как только он вернется из Базеля, и напомните ему, пожалуйста, что у него осталось несколько моих книг, которые мне нужны, и даже очень нужны».

Трамвай летел по Гогенцоллерндам, Оля и Рудольф все так же строго и молча стояли на ветру, но кое-что загадочным образом изменилось: тем, что Яша оставил их вдвоем на минуту (Познер с дочкой очень скоро сошел), союз как бы нарушился, и началось его, Яшино, отделение от них, так что когда он к ним вернулся на площадку, он, не зная этого, как и они не знали, уже был совсем сам по себе, причем незаметная трещина неудержимо, по закону всех трещин, продолжала ползти и шириться.

В пустом весеннем лесу, где мокрые коричневые березы, особенно которые поменьше, стояли безучастные, обращенные всем вниманием внутрь себя, — невдалеке от сизого озера (на всем громадном побережье которого не было никого, кроме маленького человека, закидывавшего по просьбе пса палку в воду) они без труда нашли удобную глушь и тотчас приступили к делу; вернее, приступил Яша: в нем жила та честность духа, которая придает самому безрассудному поступку почти будничную простоту. Сказав, что застрелится первым по праву старшинства (ему было на год больше Рудольфа и на месяц больше Оли), он этой пустой ссылкой сделал излишним удар грубого жребия, который все равно по слепоте своей пал бы, вероятно, на него; и, скинув макинтош и не простившись с друзьями, что было только естественно ввиду одинаковости маршрута, безмолвно, с неловкой торопливостью, он спустился между сосен по скользкому скату в буерак, густо поросший

дубком и терновыми кустами, которые, несмотря на апрельскую прозрачность, совершенно скрыли его от оставшихся.

Те двое долго ждали выстрела. Папирос у них не было, но Рудольф догадался ощупать карман Яшиного макинтоша, там оказалась нераспечатанная коробочка. Небо заволокло, сосны осторожно шумели, и снизу казалось, что их слепые ветви стараются нашарить что-то. Высоко и сказочно быстро, вытянув длинные шеи, пролетели две диких утки, одна чуть отстав от другой. Впоследствии Яшина мать показывала визитную карточку, Dipl. Ing.[1] Julius Posner, на обороте которой Яша карандашом написал: «Мамочка, папочка, я еще жив, мне очень страшно, простите меня». Наконец Рудольф не выдержал и спустился туда, чтоб посмотреть, что с ним. Яша сидел на коряге, среди прошлогодних, еще не отвеченных листьев, но не обернулся, а только сказал: «Я сейчас готов». В его спине было что-то напряженное, словно он превозмогал сильную боль. Рудольф вернулся к Оле, но не успел до нее добраться, как оба ясно услышали сухой хлопок выстрела, а в комнате у Яши еще несколько часов держалась, как ни в чем не бывало, жизнь, бананная выползина на тарелке, «Кипарисовый Ларец» и «Тяжелая Лира» на стуле около кровати, пингпонговая лопатка на кушетке; он был убит наповал, однако, чтобы его оживить, Рудольф и Оля еще протащили его сквозь кусты к тростникам и там отчаянно кропили и терли, так что он был весь измазан землею, кровью, илом, когда полиция нашла труп. Затем они стали звать, но никто не откликнулся: архитектор Фердинад Штокшмайсер давно ушел со своим мокрым сеттером.

Они вернулись к тому месту, где ждали выстрела, и тут история начинает смеркаться. Ясно только то, что у Рудольфа, потому ли, что для него открылась кое-какая земная вакансия, потому ли, что он просто был трус, пропала всякая охота стреляться, а что Оля если и упорствовала в своем намерении, то все равно ничего сделать не могла, так как он немедленно револьвер спрятал. В лесу, где было холодно, темно, где моросил, шелестя, слепой дождь, они

[1] Дипломированный инженер *(фр., сокр.)*.

оставались почему-то долго, до бессмысленно позднего часа. Молва утверждала, что тогда-то началась между ними связь, но это уж было бы чересчур плоско. Около полуночи, на углу улицы с лирическим названием Сиреневой, вахмистр недоверчиво выслушал их ужасный, но бойкий рассказ. Есть такое истерическое состояние, которое принимает вид ребячливой развязности.

Если б Александра Яковлевна непосредственно после случившегося свиделась с Олей, то, может быть, и вышел бы из этого для обеих какой-нибудь сентиментальный толк. К несчастью, это случилось несколькими месяцами позже, во-первых, потому, что Оля отсутствовала, а во-вторых, потому, что горе Александры Яковлевны не сразу приняло ту деятельную и даже восторженную форму, какую застал Федор Константинович. Оле в некотором смысле не повезло: была как раз помолвка ее сводного брата, дом был полон гостей, и когда без предупреждения, под тяжелой траурной вуалью и с лучшей частью своего скорбного архива (фотографиями, письмами) в сумке, и вся готовая к блаженству обоюдных рыданий, явилась Чернышевская, то к ней вышла хмуро вежливая, хмуро нетерпеливая барышня в полупрозрачном платье, с кровавыми губами и толстым белым носом, и рядом с боковой комнаткой, куда она ввела гостью, подвывал граммофон, и, конечно, никакого разговора не получилось... «Я только долго на нее посмотрела», — рассказывала Чернышевская и после этого тщательно отрезала на многих маленьких снимках и Олю, и Рудольфа, — хотя этот-то посетил ее сразу, и валялся у нее в ногах, и головой бился о мягкий угол кушетки, и потом ушел своей чудной легкой походкой по синему после весеннего ливня Курфюрстендам.

Болезненнее всего смерть Яши отразилась на его отце. Целое лето пришлось ему провести в лечебнице, но он так и не выздоровел: загородка, отделявшая комнатную температуру рассудка от безбрежно безобразного, студеного, призрачного мира, куда перешел Яша, вдруг рассыпалась, и восстановить ее было невозможно, так что приходилось пробоину как-нибудь занавешивать да стараться на шевелившиеся складки не смотреть. Отныне его жизнь пропускала неземное; но ничем не разрешалось это постоянное

общение с Яшиной душой, о котором он наконец рассказал жене, в напрасной надежде этим обезвредить питающееся тайной привидение: тайна наросла, вероятно, опять, так как вскоре ему снова пришлось обратиться к скучной, сугубо бренной, стеклянно-резиновой помощи врачей. Таким образом, он только наполовину жил в нашем мире, но тем жаднее и отчаяннее цеплялся за него, и, слушая его щелкающую речь и глядя на его аккуратные черты, трудно было представить себе внежизненный опыт этого здорового с виду, кругленького, лысого с волосиками по бокам, человека, но тем страннее была судорога, вдруг искажавшая его; да еще то, что он время от времени по неделям не снимал с правой руки серой фильдекосовой перчатки (страдал экземой), страшновато намекало на тайну, словно он, гнушаясь нечистого прикосновения жизни или опаленный жизнью другой, берег голое рукопожатие для каких-то нечеловеческих, едва вообразимых свиданий. Меж тем ничто не остановилось после Яшиной смерти, и происходило много интересного, в России наблюдалось распространение абортов и возрождение дачников, в Англии были какие-то забастовки, кое-как скончался Ленин, умерли Дузе, Пуччини, Франс, на вершине Эвереста погибли Ирвинг и Маллори, а старик Долгорукий, в кожаных лаптях, ходил в Россию смотреть на белую гречу, между тем как в Берлине появились, чтобы вскоре исчезнуть опять, наемные циклонетки, и первый дирижабль медленно перешагнул океан, и много писалось о Куэ, Чан-Солине, Тутанкамоне, а как-то в воскресенье молодой берлинский купец со своим приятелем слесарем предпринял загородную прогулку на большой, крепкой, кровью почти не пахнувшей, телеге, взятой напрокат у соседа-мясника: в плюшевых креслах, на нее поставленных, сидели две толстых горничных и двое малых детей купца, горничные пели, дети плакали, купец с приятелем дули пиво и гнали лошадей, погода стояла чудная, так что на радостях они нарочно наехали на ловко затравленного велосипедиста, сильно избили его в канаве, искромсали его папку (он был художник) и покатили дальше, очень веселые, а придя в себя, художник догнал их в трактирном саду, но полицейских, попытавшихся установить их личность, они избили тоже,

после чего, очень веселые, покатили по шоссе дальше, а увидев, что их настигают полицейские мотоциклетки, стали палить из револьверов, и в завязавшейся перестрелке был убит трехлетний мальчик немецкого ухаря-купца.

«Послушайте, надо бы как-нибудь переменить разговор, — тихо сказала Чернышевская, — я этих штук для него боюсь. У вас, верно, есть новые стихи, правда? Федор Константинович прочтет стихи», — закричала она, — но Васильев, полулежа, в одной руке держа монументальный мундштук с безникотиновой папиросой, а другой рассеянно теребя куклу, производившую какие-то эмоциональные эволюции у него на колене, продолжал еще с полминуты рассказывать о том, как вчера разбиралась в суде эта веселая история.

«Ничего у меня с собой нет, и я ничего не помню», — несколько раз повторил Федор Константинович.

Чернышевский быстро к нему обернулся и положил ему на рукав свою маленькую волосатую руку. «Я чувствую, вы все еще на меня дуетесь. Честное слово, нет? Я потом сообразил, как это было жестоко. У вас скверный вид. Что у вас слышно? Вы мне так и не объяснили толком, почему вы переехали».

Он объяснил: в пансионе, где он прожил полтора года, поселились вдруг знакомые, — очень милые, бескорыстно навязчивые люди, которые «заглядывали поболтать». Их комната оказалась рядом, и вскоре Федор Константинович почувствовал, что между ними и им стена как бы рассыпалась и он беззащитен. Но Яшиному отцу, конечно, никакой переезд не помог бы.

Посвистывая, согнув слегка спину, громадный Васильев рассматривал корешки книг на полках; вынул одну и, раскрыв ее, перестал свистать, но зато, шумно дыша, начал про себя читать первую страницу. Его место на диване заняла Любовь Марковна с сумкой: обнажив усталые глаза, она обмякла и теперь приглаживала неизбалованной рукой Тамарин золотой затылок.

«Да! — резко сказал Васильев, захлопнув книгу и вдавив ее в первую попавшуюся щель. — Все на свете кончается, товарищи. Мне лично нужно завтра вставать в семь».

Инженер Керн посмотрел себе на кисть.

«Ах, посидите еще», — проговорила Чернышевская, просительно сияя синевой глаз, и, обратившись к инженеру, вставшему и зашедшему за свой стул и убравшему его на вершок в сторону (как иной, напившись, перевернул бы на блюдце стакан), она заговорила о докладе, который тот согласился прочитать в следующую субботу, — доклад назывался «Блок на войне».

«Я на повестках по ошибке написала “Блок и война”, — говорила Александра Яковлевна, — но ведь это не играет значения?»

«Нет, напротив, очень даже играет, — с улыбкой на тонких губах, но с убийством за увеличительными стеклами, отвечал инженер, не разнимая сцепленных на животе рук. — “Блок на войне” выражает то, что нужно, — персональность собственных наблюдений докладчика, — а “Блок и война” — это, извините, философия».

И тут все они стали понемногу бледнеть, зыблиться непроизвольным волнением тумана — и совсем исчезать; очертания, извиваясь восьмерками, пропадали в воздухе, но еще поблескивали там и сям освещенные точки, — приветливая искра в глазу, блик на браслете; на мгновение еще вернулся напряженно сморщенный лоб Васильева, пожимающего чью-то уже тающую руку, а совсем уже напоследок проплыла фисташковая солома в шелковых розочках (шляпа Любовь Марковны), и вот исчезло все, и в полную дыма гостиную, без всякого шума, в ночных туфлях, вошел Яша, думая, что отец уже в спальне, и с волшебным звоном, при свете красных фонарей, невидимки чинили черную мостовую на углу площади, и Федор Константинович, у которого не было на трамвай, шел пешком восвояси. Он забыл занять у Чернышевских те две-три марки, с которыми дотянул бы до следующей получки: сама по себе мысль об этом не беспокоила бы его, если бы не сочеталась, укрепляя горечь всего сочетания, с отвратительным разочарованием (уж слишком ярко он было вообразил успех своей книги), и с холодной течью в левом башмаке, и с боязнью предстоящей ночи на новом месте. Его томила усталость, недовольство собой — потерял зря нежное начало ночи; его томило чувство, что он чего-то не додумал за день, и теперь не додумает никогда.

Он шел по улицам, которые давно успели втереться ему в знакомство, — мало того, рассчитывали на любовь; и даже наперед купили в его грядущем воспоминании место рядом с Петербургом, смежную могилку; он шел по этим темно-блестящим улицам, и погасшие дома уходили, не глядя, кто пятясь, кто боком, в бурое небо берлинской ночи, где все-таки были там и сям топкие места, тающие под взглядом, который таким образом выручал несколько звезд. Вот, наконец, сквер, где мы ужинали, высокая кирпичная кирка и еще совсем прозрачный тополь, похожий на нервную систему великана, и тут же общественная уборная, похожая на пряничный домик Бабы Яги. Во мраке сквера, едва задетого веером уличного света, красавица, которая вот уже лет восемь все отказывалась воплотиться снова (настолько жива была память о первой любви), сидела на пепельной скамейке, но когда он прошел вблизи, то увидел, что это сидит тень ствола. Он свернул на свою улицу и погрузился в нее, как в холодную воду, — так не хотелось, такую тоску обещала та комната, недоброжелательный шкаф, кушетка. Отыскав свой подъезд (видоизмененный темнотой), он достал ключи. Ни один из них двери не отпер.

«Что такое...» — сердито пробормотал он, глядя на бородку, — и снова, стервенея, принялся совать. «Что за чорт!» — воскликнул он и отступил, чтобы задрать голову и посмотреть на номер дома. Нет, — правильно. Он опять было нагнулся к замку, — и вдруг его осенило: это были, конечно, ключи пансионские, которые при сегодняшнем переезде он с собой нечаянно в макинтоше увез, а новые остались, должно быть, в комнате, в которую ему теперь хотелось попасть гораздо сильнее, чем только что.

В те годы берлинские швейцары были по преимуществу зажиточные, с жирными женами, грубияны, принадлежавшие из мещанских соображений к коммунистической партии. Русские жильцы перед ними робели: привыкши к подвластности, мы всюду себе назначаем тень надзора. Федор Константинович вполне понимал, как глупо бояться старого дурака с кадыком, а все-таки разбудить его за полночь, вызвать из-под исполинской перины, сделать вот это движение, чтобы нажать кнопку (хотя весьма вероятно, что

не откликнулся бы никто, сколько ни жми), никак не решался, тем более что не было того гривенника, без которого немыслимо было пройти мимо ладони, на уровне бедра раскрытой мрачным ковшом: не сомневающейся в дани.

«Вот так штука, вот так штука», — шептал он, отходя и чувствуя, как сзади, от затылка до пят, наваливается на него бремя бессонной ночи, железный двойник, которого надо куда-то нести. «Как это глупо», — сказал он еще, произнося «глупо» с французским «l», как это делывал — рассеянно и привычно-шутливо — его отец, когда бывал чем-нибудь озадачен.

Не зная, что предпринять, ждать ли, что кто-нибудь впустит, пойти ли на розыски ночного сторожа в черном плаще, который блюдет замки на некоторых улицах, или все-таки заставить себя звонком взорвать дом, Федор Константинович начал шагать по панели до угла и обратно. Улица была отзывчива и совершенно пуста. Высоко над ней, на поперечных проволоках, висело по млечно-белому фонарю; под ближайшим из них колебался от ветра призрачный круг на сыром асфальте. И это колебание, которое как будто не имело ровно никакого отношения к Федору Константиновичу, оно-то, однако, со звенящим тамбуринным звуком, что-то столкнуло с края души, где это что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным близким рокотом прокатилось «Благодарю тебя, отчизна...», и тотчас, обратной волной: «за злую даль благодарю...». И снова полетело за ответом: «...тобой не признан...». Он сам с собою говорил, шагая по несуществующей панели; ногами управляло местное сознание, а главный, и, в сущности, единственно важный, Федор Константинович уже заглядывал во вторую качавшуюся, за несколько саженей, строфу, которая должна была разрешиться еще неизвестной, но вместе с тем в точности обещанной гармонией. «Благодарю тебя...» — начал он опять вслух, набирая новый разгон, но вдруг панель под ногами окаменела, все кругом заговорили сразу, и он кинулся, мигом отрезвясь, к двери своего дома, ибо за нею был теперь свет.

Скуластая, немолодая дама, в накинутом, сползавшем с плеча, каракулевом жакете, кого-то выпуская, задержа-

лась вместе с выпускаемым в дверях. «Так вы не забудьте, золотце», — просила она вялым житейским голосом, когда подоспел, осклабясь, Федор Константинович, тотчас ее узнавший: нынче утром встречала с мужем свою мебель. Но и выпускаемого он тоже узнал — это был молодой живописец Романов: раза два сталкивался с ним в редакции. С удивленным выражением на изящном лице, эллинскую чистоту коего бесповоротно портили темные, кривые зубы, он поздоровался с Федором Константиновичем, который затем, неловко поклонившись даме, державшей самое себя за ключицы, огромными шагами кинулся вверх по лестнице, отвратительно споткнулся на загибе ее и дальше полез, трогая перила. Заспанная, в халате, Стобой была страшна, но это продолжалось не долго. У себя в комнате он с трудом нащупал свет. На столе блестели ключи и белелась книга. «Уже кончилась», — подумал он. Так недавно он раздаривал знакомым экземпляры, со строгим приветом, на искренний суд, а теперь было стыдно вспомнить и эти надписи, и то, как все последние дни он жил счастьем книги. А ведь ничего особенного не произошло: нынешний обман не исключал завтрашней или послезавтрашней награды, но каким-то образом он пресытился мечтой, и теперь книга лежала на столе, вся в себе заключенная, собою ограниченная и законченная, и уже не изливалась могучими, радостными лучами, как прежде.

Когда же он лег в постель, только начали мысли укладываться на ночь и сердце погружаться в снег сна (он всегда испытывал перебои, засыпая), Федор Константинович рискнул повторить про себя недосочиненные стихи — просто чтобы еще раз порадоваться им перед сонной разлукой; но он был слаб, а они дергались жадной жизнью, так что через минуту завладели им, мурашками побежали по коже, заполнили голову божественным жужжанием, и тогда он опять зажег свет, закурил и, лежа навзничь — натянув до подбородка простыню, а ступни выпростав, как Сократ Антокольского, — предался всем требованиям вдохновения. Это был разговор с тысячью собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно, и как

хорошо... И в разговоре татой ночи сама душа нетататот... безу безумие безочит, тому тамузыка татот...

Спустя три часа опасного для жизни воодушевления и вслушивания он наконец выяснил всё, до последнего слова, завтра можно будет записать. На прощание попробовал вполголоса эти хорошие, теплые, парные стихи.

Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет... —

и только теперь поняв, что в них есть какой-то смысл, с интересом его проследил — и одобрил. Изнеможенный, счастливый, с ледяными пятками, еще веря в благо и важность совершённого, он встал, чтобы потушить свет. В рваной рубашке, с открытой худой грудью и длинными, мохнатыми, в бирюзовых жилах ногами, он помешкал у зеркала, все с тем же серьезным любопытством рассматривая и не совсем узнавая себя, эти широкие брови, лоб с мыском коротко остриженных волос. В левом глазу лопнул сосудец, и скользнувший с угла рудой отлив придавал что-то цыганское темному блеску зрачка. Господи, как за эти ночные часы обросли впалые щеки — словно влажный жар стихотворчества поощрял и рост волос! Он повернул выключатель, но в комнате нечему было сгуститься, и, как встречающие на дымном дебаркадере, стояли бледные и озябшие предметы.

Он долго не мог уснуть: оставшаяся шелуха слов засоряла и мучила мозг, колола в висках, никак нельзя было от нее избавиться. А тем временем комната совсем просветлела, и где-то — должно быть, в плюще — шалые воробьи, все вместе, вперебивку, до одури звонко: большая перемена у маленьких.

Так началось его жительство в новом углу. Хозяйка не могла привыкнуть к тому, что он спит до часу дня, неизвестно где и как обедает, а ужинает на промасленных

бумажках. О его сборничке так никто и не написал, — он почему-то полагал, что это само собою сделается, и даже не потрудился разослать редакциям, — если не считать краткой заметки (экономического сотрудника васильевской «Газеты»), где высказывался оптимистический взгляд на его литературную будущность и приводилась одна из его строф с бельмом опечатки. Танненбергскую улицу он узнал ближе, и она выдала ему все свои лучшие тайны: так, в следующем доме внизу жил старичок сапожник по фамилии Канариенфогель, и действительно у него стояла клетка, хоть и без палевой пленницы, в окне, среди образцов починенной обуви, но башмаки Федора Константиновича он, посмотрев на него поверх железных очков своего цеха, чинить отказался, и пришлось подумать о том, как купить новые. Узнал он и фамилию верхних жильцов: по ошибке взлетев однажды на верхнюю площадку, он прочел на дощечке: Carl Lorentz, Geschichtsmaler[1], — а как-то встреченный на углу Романов, который снимал пополам с гешихтсмалером мастерскую в другой части города, кое-что рассказал о нем: труженик, мизантроп и консерватор, всю жизнь писавший парады, битвы, призрак со звездой и лентой в садах Сан-Суси, — и теперь, в безмундирной республике, обедневший и помрачневший вконец, — он пользовался до войны 1914—1918 года почетной известностью, ездил в Россию писать встречу кайзера с царем и там, проводя зиму в Петербурге, познакомился с еще молодой тогда и обаятельной, рисующей, пишущей, музицирующей Маргаритой Львовной. Его союз с русским художником заключен был случайно, по объявлению в газете: Романов, тот был совсем другого пошиба. Лоренц угрюмо привязался к нему, но с первой же его выставки (это было время его портрета графини д'Икс: абсолютно голая графиня, с отпечатками корсета на животе, стояла, держа на руках себя же самое, уменьшенную втрое) считал и сумасшедшим и мошенником. Многих же обольстил его резкий и своеобразный дар; ему предсказывали успехи необыкновенные, а кое-кто даже видел в нем зачинателя новонатуралистической школы: пройдя все искусы модернизма (как

[1] Карл Лоренц, исторический живописец *(нем.)*.

выражались), он будто бы пришел к обновленной — интересной, холодноватой — фабульности. Еще сквозила некоторая карикатурность в его ранних вещах — в этой его «Coïncidence»[1], например, где, на рекламном столбе, в ярких, удивительно между собой согласованных красках афиш, можно было прочесть среди астральных названий кинематографов и прочей прозрачной пестроты объявление о пропаже (с вознаграждением нашедшему) алмазного ожерелья, которое тут же на панели, у самого подножья столба, и лежало, сверкая невинным огнем. Зато в его «Осени», — сваленная в канаву среди великолепных кленовых листьев черная портняжная болванка с прорванным боком, — была уже выразительность более чистого качества; знатоки находили тут бездну грусти. Но лучшей его вещью до сих пор оставалась приобретенная разборчивым богачом и уже многократно воспроизводившаяся: «Четверо горожан, ловящих канарейку», все четверо в черном, плечистые, в котелках (но один почему-то босой), расставленные в каких-то восторженно-осторожных позах под необыкновенно солнечной зеленью прямоугольно остриженной липы, в которой скрывалась птица, улетевшая, может быть, из клетки моего сапожника. Меня неопределенно волновала эта странная, прекрасная, а все же ядовитая живопись, я чувствовал в ней некое п р е д у п р е ж д е н и е, в обоих смыслах слова: далеко опередив мое собственное искусство, оно освещало ему и опасности пути. Сам же художник мне был до противности скучен, — что-то было невозможное для меня в его чрезвычайно поспешной, чрезвычайно шепелявой речи, сопровождавшейся никак с нею не связанным, машинальным маячением лучистых глаз. «Послушайте, — сказал он, плюнув мне в подбородок, — давайте я познакомлю вас с Маргаритой Львовной, она заказала мне вас как-нибудь привести, приходите, мы устраиваем такие, знаете, вечеринки в мастерской, с музыкой, бутербродами, красными абажурчиками, бывает много молодежи, Полонская, братья Шидловские, Зина Мерц...»

---

[1] «Совпадение» *(фр.)*.

Имена эти были мне неведомы, желания проводить вечера в обществе Всеволода Романова я не испытывал никакого, плосколицая жена Лоренца меня тоже не занимала никак, — так что я не только не принял приглашения, но с тех пор стал художника избегать.

Со двора по утрам раздавалось — тонко и сдержанно-певуче: «Prima Kartoffel»[1], — как трепещет сердце молодого овоща! — или же замогильный бас возглашал: «Blumen Erde»[2]. В стук выколачиваемых ковров иногда вмешивалась шарманка, коричневая на бедных тележковых колесах, с круглым рисунком на стенке, изображавшим идиллический ручей, и вращая то правой, то левой рукой, зоркий шарманщик выкачивал густое «O sole mio». Оно уже приглашало в сквер. Там каштановое деревцо, подпертое колом (ибо, как младенец не умеет ходить, оно еще не умело расти без помощи), вдруг выступило с цветком больше него самого. Сирень же долго не распускалась; когда же решилась, то в одну ночь, немало окурков оставившую под скамейками, рыхлой роскошью окружила сад. На тихой улочке за церковью, в пасмурный июньский день, осыпались акации, и темный асфальт вдоль панели казался запачканным в манной каше. На клумбах, вокруг статуи бронзового бегуна, роза «слава Голландии» высвободила углы красных лепестков, и за ней последовал «генерал Арнольд Янссен». В июле, в веселый и безоблачный день, состоялся очень удачный муравьиный лет: самки взлетали, их подбирали воробьи, взлетая тоже; а там, где им никто не мешал, они долго потом ползали по гравию, теряя свои слабые бутафорские крылья. Из Дании сообщали, что вследствие необычайной жары там наблюдаются многочисленные случаи помешательства: люди срывают с себя одежды и бросаются в каналы. Бешеными зигзагами метались самцы непарного шелкопряда. Липы проделали все свои сложные, сорные, душистые, неряшливые метаморфозы.

Федор Константинович проводил большую часть дня на темно-синей скамейке в сквере, без пиджака, в старых парусиновых туфлях на босу ногу, с книгой в длинных

---

[1] Великолепный картофель *(нем.)*.

[2] Садовая земля *(нем.)*.

загорелых пальцах; а когда солнце слишком наваливалось, он закидывал голову на горячий край спинки и долго жмурился; призрачные колеса городского дня вращались сквозь внутреннюю бездонную алость, и пробегали искры детских голосов, и книга, раскрытая на коленях, становилась все тяжелее, все бескнижнее; но вот алость темнела наплывом, и, приподняв вспотевший затылок, он раскрывал глаза и опять видел сад, газон с маргаритками, свежеполитый гравий, девочку, самое с собой игравшую в классы, младенца в коляске, состоявшего из двух глаз и розовой трещотки, путешествие слепнувшего, дышащего, лучащегося диска сквозь облако, — и снова все разгоралось, и с грохотом проезжал вдоль сада по пятнистой, обсаженной волнующимися деревьями улице угольный грузовик, с черным угольщиком на высоком, тряском сиденье, державшим в зубах за стебель изумрудно-яркий лист.

Под вечер он шел на урок — к дельцу с бледными ресницами, смотревшему на него с недобрым недоумением в тусклом взгляде, когда он ему беспечно читал Шекспира; или к гимназистке в черном джампере, которую ему иногда хотелось поцеловать в склоненную желтоватую шею; или к развеселому коренастому морскому офицеру, который говорил «есть» и «обмозговать» и готовился «дать драпу» в Мексику, тайно от своей сожительницы, шестипудовой, страстной и скорбной старухи, случайно в одних розвальнях с ним бежавшей в Финляндию и с тех пор в вечном отчаянии ревности кормившей его кулебяками, варенцом, грибками... Кроме того, бывали прибыльные переводы, какая-нибудь докладная записка о низкой звукопроводности плиточных полов или трактат о подшипниках; и наконец, небольшой, но особенно драгоценный доход приносили стихи, которые он сочинял запоем и все с тем же отечественно-лирическим подъемом, причем одни не дотягивали до полного воплощения и рассеивались, оплодотворяя тайную глубину, а другие, до конца подчищенные и снабженные всеми запятыми, увозились в редакцию — сперва подземным поездом с бликами отражений, быстро поднимавшихся по медным вертикалам, затем — огромным и странно пустым лифтом на восьмой этаж, где в конце серого, как пластилин, коридора, в узкой комнатке, пах-

нувшей «разлагавшимся трупом злободневности» (как острил первый комик редакции), сидел секретарь, лунообразный флегматик, без возраста и словно без пола, не раз спасавший положение, когда граживали разгромом недовольные той или другой заметкой — какие-нибудь местные платные якобинцы или свой брат, шуан, здоровенный прохвост из мистиков.

Гремел телефон, промахивал, развеваясь, метранпаж, театральный рецензент все читал в углу приблудную из Вильны газетку. «Разве вам что-нибудь причитается? Ничего подобного», — говорил секретарь. Из комнаты справа, когда раскрывалась дверь, слышался сдобно диктующий голос Геца или покашливание Ступишина, и среди стука нескольких машинок можно было различить мелкую дробь Тамары.

Слева находился кабинет Васильева; люстриновый пиджак натягивался на его жирных плечах, когда, стоя за конторкой и как мощная машина сопя, он писал своим неопрятным почерком со школьными кляксами передовую статью: «Час от Часу не Легче» или: «Положение в Китае». Вдруг задумавшись, он со звуком железного скребка чесал одним пальцем большую бородатую щеку, приподнятую к сощуренному глазу, над которым нависла характерная, до сих пор еще в России не забытая, черная, без сединки, разбойничья бровь. Около окна (за которым был такой же высокий, многоконторный дом, с ремонтом, шедшим так высоко в небе, что казалось, можно было заодно починить серую, с рваным отверстием, тучу) стояла ваза с полутора апельсинами и аппетитная крыночка болгарской простокваши, а в книжном шкафу, в нижнем, закрытом отделении, хранились запретные сигары и большое сине-красное сердце. Старый хлам советских журналов, книжонки с лающими обложками, письма — просительные, напоминательные, поносительные, — выжатая половинка апельсина, лист газеты с вырезанным в Европу окном, зажимчики, карандаши, — все это занимало письменный стол, а над этим непоколебимо стоял, слепо отражая свет окна, фотографический портрет дочки Васильева, жившей в Париже, молодой женщины с очаровательным плечом и дымчатыми волосами, фильмовой неудачницы, — о которой, впрочем,

часто упоминалось в кинохронике «Газеты»: «...наша талантливая соотечественница Сильвина Ли...» — хотя никто не знал соотечественницы.

Добродушно принимая стихи Федора Константиновича, Васильев помещал их не потому, что они ему нравились (он обыкновенно даже их не прочитывал), а потому, что ему было решительно все равно, чем украшается неполитическая часть «Газеты». Выяснив раз навсегда тот уровень грамотности, ниже которого данный сотрудник не может спуститься по натуре, Васильев предоставлял ему полную волю, даже если данный уровень едва возвышался над нулем. Стихи же, будучи мелочью, вообще проходили почти без контроля, просачиваясь там, где задержалась бы дрянь бóльшего веса и объема. Зато какой стоял счастливый, взволнованный писк во всех наших поэтических павлятниках, от Латвии до Ривьеры, когда появлялся номер! Мои напечатаны! И мои! Сам Федор Константинович, считавший, что у него только один соперник — Кончеев (в «Газете», кстати, не участвовавший), соседями не тяготился, а радовался своим стихам не меньше других. Бывали случаи, когда он не мог дождаться вечерней почты, с которой номер приходил, а покупал его за полчаса на улице и, бесстыдно, едва отойдя от киоска, ловя красноватый свет около лотков, где горели горы апельсинов в синеве ранних сумерек, разворачивал газету — и, бывало, не находил: что-нибудь вытеснило; если же находил, то, собрав удобнее листы и тронувшись по панели, перечитывал свое несколько раз, на разные внутренние лады, то есть поочередно представляя себе, как его стихотворение будут читать, может быть сейчас читают, все те, чье мнение было ему важно, — и он почти физически чувствовал, как при каждом таком перевоплощении у него меняется цвет глаз, и цвет заглазный, и вкус во рту, — и чем ему самому больше нравился дежурный шедевр, тем полнее и слаще ему удавалось перечесть его за других.

Проваландав таким образом лето, родив, воспитав и разлюбив навеки дюжины две стихотворений, в ясный и прохладный день, в субботу (вечером будет собрание), он отправился за важной покупкой. Опавшие листья лежали на панели не плоско, а коробясь, жухло, так что под

каждым торчал синий уголок тени. Из своей пряничной, с леденцовыми оконцами, хибарки вышла старушка с метлой, в чистом переднике, с маленьким острым лицом и непомерно огромными ступнями. Да, осень! Он шел весело, все было отлично: утро принесло письмо от матери, собиравшейся на Рождество его посетить, и сквозь распадавшуюся летнюю обувь он необыкновенно живо осязал землю, когда проходил по немощеной части, вдоль пустынных, отзывающих гарью, огородных участков между домов, обращенных к ним срезанной чернотой капитальных стен, и там, перед сквозными беседками, виднелась капуста, осыпанная стеклярусом крупных капель, и голубоватые стебли отцветших гвоздик, и подсолнухи, склонившие тяжелые морды. Он давно хотел как-нибудь выразить, что чувство России у него в ногах, что он мог бы пятками ощупать и узнать ее всю, как слепой ладонями. И жалко было, когда окончилась полоса жирноватой коричневой земли и пришлось опять шагать по звонким тротуарам.

Молодая женщина в черном платье, с блестящим лбом и быстрыми рассеянными глазами, в восьмой раз села у его ног, боком на табуретку, проворно вынула из шелестнувшей внутренности картонки узкий башмак, с легким скрипом размяла, сильно расправив локти, его края, быстро разобрала завязки, взглянув мельком в сторону, и затем, достав из лона рожок, обратилась к большой, застенчивой, плохо заштопанной ноге Федора Константиновича. Нога чудом вошла, но, войдя, совершенно ослепла: шевеление пальцев внутри никак не отражалось на внешней глади тесной черной кожи. Продавщица с феноменальной скоростью завязала концы шнурка — и тронула носок башмака двумя пальцами. «Как раз! — сказала она. — Новые всегда немножко... — продолжала она поспешно, вскинув карие глаза. — Конечно, если хотите, можно подложить косок под пятку. Но они — как раз, убедитесь сами!» И она повела его к рентгеноскопу, показала, куда поставить ногу. Взглянув в оконце вниз, он увидел на светлом фоне свои собственные, темные, аккуратно-раздельно лежавшие суставчики. «Вот этим я ступлю на брег с парома Харона». Обув и левый башмак, он прогулялся взад и вперед по

ковру, косясь на щиколотное зеркало, где отражался его похорошевший шаг и на десять лет постаревшая штанина. «Да, — хорошо», — сказал он малодушно. В детстве царапали крючком блестящую черную подошву, чтобы не было скользко. Он унес их на урок под мышкой, вернулся домой, поужинал, надел их, опасливо ими любуясь, и пошел на собрание.

Как будто, пожалуй, и ничего, — для мучительного начала.

Собрание происходило в небольшой, трогательно роскошной квартире родственников Любови Марковны. Рыжая, в зеленом выше колен, барышня помогала (громким шепотом с ней говорившей) эстонской горничной разносить чай. Среди знакомой толпы, где новых лиц было немного, Федор Константинович тотчас завидел Кончеева, впервые пришедшего в кружок. Глядя на сутулую, как будто даже горбатую фигуру этого неприятно тихого человека, таинственно разраставшийся талант которого только дар Изоры мог бы пресечь, — этого все понимающего человека, с которым еще никогда ему не довелось потолковать по-настоящему — а как хотелось — и в присутствии которого он, страдая, волнуясь и безнадежно скликая собственные на помощь стихи, чувствовал себя лишь его современником, — глядя на это молодое, рязанское, едва ли не простоватое, даже старомодно-простоватое лицо, сверху ограниченное кудрей, а снизу крахмальными отворотцами, Федор Константинович сначала было приуныл... Но три дамы с дивана ему улыбались, Чернышевский издали по-турецки кланялся ему, Гец как знамя поднимал принесенную для него книжку журнала с «Началом Поэмы» Кончеева и статьей Христофора Мортуса «Голос Мэри в современных стихах». Кто-то сзади произнес с ответной объясняющей интонацией: Годунов-Чердынцев. «Ничего, ничего, — быстро подумал Федор Константинович, усмехаясь, осматриваясь и стуча папиросой о деревянный с орлом портсигар, — ничего, мы еще кокнемся, посмотрим, чье разобьется». Тамара указывала ему на свободный стул, и, пробираясь туда, он опять как будто услышал звон своего имени. Когда молодые люди его лет, любители стихов, провожали его, бывало, тем особенным взглядом, который

ласточкой скользит по зеркальному сердцу поэта, он ощущал в себе холодок бодрой живительной гордости: это был предварительный проблеск его будущей славы, но была и слава другая, земная, — верный отблеск прошедшего: не менее, чем вниманием ровесников, он гордился любопытством старых людей, видящих в нем сына знаменитого землепроходца, отважного чудака, исследователя фауны Тибета, Памира и других синих стран.

«Вот, — сказала со своей росистой улыбкой Александра Яковлевна, — познакомьтесь».

Это был недавно выбывший из Москвы некто Скворцов, приветливый, с лучиками у глаз, с носом дулей и жидкой бородкой, с чистенькой, моложавой, певуче-говорливой женой в шелковой шали, — словом, чета того полупрофессорского типа, который так хорошо был знаком Федору Константиновичу, по воспоминаниям о людях, мелькавших вокруг отца. Скворцов любезно и складно заговорил о том, как его поражает полная неосведомленность за границей в отношении к обстоятельствам гибели Константина Кирилловича: «Мы думали, — вставила жена, — что если у нас не знают, так это в порядке вещей». — «Да, — продолжал Скворцов, — со страшной ясностью вспоминаю сейчас, как мне довелось однажды быть на обеде в честь вашего батюшки и как остроумно выразился Козлов, Петр Кузьмич, что Годунов-Чердынцев, дескать, почитает Центральную Азию своим отъезжим полем. Да... Я думаю, что вас еще тогда не было на свете».

Тут Федор Константинович вдруг заметил скорбно-проникновенный, обремененный сочувствием взгляд Чернышевской, направленный на него, — и, сухо перебив Скворцова, стал его без интереса расспрашивать о России. «Как вам сказать...» — отвечал тот.

«Здравствуйте, Федор Константинович, здравствуйте, дорогой», — крикнул поверх его головы, хотя уже пожимая ему руку, движущийся, протискивающийся, похожий на раскормленную черепаху адвокат — и уже приветствовал кого-то другого. Но вот поднялся со своего места Васильев и, на мгновение опершись о столешницу легким прикосновением пальцев, свойственным приказчикам и ораторам, объявил собрание открытым. «Господин Бущ, — добавил

он, — прочтет нам свою новую, свою философскую трагедию».

Герман Иванович Буш, пожилой, застенчивый, крепкого сложения, симпатичный рижанин, похожий лицом на Бетховена, сел за столик ампир, гулко откашлялся, развернул рукопись; у него заметно дрожали руки и продолжали дрожать во все время чтения.

Уже в самом начале наметился путь беды. Курьезное произношение чтеца было несовместимо с темнотою смысла. Когда, еще в прологе, появился идущий по дороге Одинокий Спутник, Федор Константинович напрасно понадеялся, что это метафизический парадокс, а не предательский ляпсус. Начальник Городской Стражи, ходока не пропуская, несколько раз повторил, что он «навернóе не пройдет». Городок был приморский (Спутник шел из Hinterland'a[1]), и в нем пьянствовал экипаж греческого судна. Происходил такого рода разговор на Улице Греха:

Первая Проститутка. Всё есть вода. Так говорит гость мой Фалес.

Вторая Проститутка. Всё есть воздух, сказал мне юный Анаксимен.

Третья Проститутка. Всё есть число. Мой лысый Пифагор не может ошибиться.

Четвертая Проститутка. Гераклит ласкает меня, шептая: всё есть огонь.

Спутник *(входит)*. Всё есть судьба.

Кроме того, было два хора, из которых один каким-то образом представлял собой волну физика де Бройля и логику истории, а другой, хороший хор, с ним спорил. «Первый матрос, второй матрос, третий матрос», — нервным, с мокрыми краями, баском пересчитывал Буш беседующих лиц. Появились какие-то: Торговка Лилий, Торговка Фиалок и Торговка Разных Цветов. Вдруг что-то колыхнулось: в публике начались осыпи.

Вскоре установились силовые линии по разным направлениям через все просторное помещение, — связь между взглядами трех-четырех, потом пяти-шести, а там и десяти

[1] Внутренняя территория или часть страны *(нем.)*.

людей, что составляло почти четверть собрания. Кончеев медленно и осторожно взял с этажерки, у которой сидел, большую книгу (Федор Константинович заметил, что это альбом персидских миниатюр) и, все так же медленно поворачивая ее то так, то сяк на коленях, начал ее тихо и близоруко рассматривать. У Чернышевской был удивленный и оскорбленный вид, но вследствие своей тайной этики, как-то связанной с памятью сына, она заставляла себя слушать. Буш читал быстро, его лоснящиеся скулы вращались, горела подковка в черном галстуке, а ноги под столиком стояли носками внутрь, — и чем глубже, сложнее и непонятнее становилась идиотская символика трагедии, тем ужаснее требовал выхода мучительно сдерживаемый, подземно-бьющийся клекот, и многие уже нагибались, боясь смотреть, и когда на площади начался Танец Масков, то вдруг кто-то — Гец — кашлянул, и вместе с кашлем вырвался какой-то добавочный вопль, и тогда Гец закрылся ладонями, а погодя из-за них опять появился, с бессмысленно-ясным лицом и мокрой лысиной, между тем как на диване, за спиной Любови Марковны, Тамара просто легла и каталась в родовых муках, а лишенный прикрытия Федор Константинович обливался слезами, изнемогая от вынужденной беззвучности происходившего в нем. Внезапно Васильев так тяжко повернулся на стуле, что он неожиданно треснул, поддалась ножка, и Васильев рванулся, переменившись в лице, но не упал, — и это малосмешное происшествие явилось предлогом для какого-то звериного, ликующего взрыва, прервавшего чтение, и покуда Васильев переселялся на другой стул, Герман Иванович Буш, наморщив великолепный, но совершенно недоходный лоб, что-то в рукописи отмечал карандашиком, и среди облегченного затишья неизвестная дама еще отдельно простонала что-то, но уже Буш приступал к дальнейшему чтению:

Торговка Лилий. Ты сегодня чем-то огорчаешься, сестрица.

Торговка Разных Цветов. Да, мне гадалка сказала, что моя дочь выйдет замуж за вчерашнего прохожего.

Дочь. Ах, я даже его не заметила.

Торговка Лилий. И он не заметил ее.

«Слушайте, слушайте!» — вмешался хор, вроде как в английском парламенте.

Опять произошло небольшое движение: началось через всю комнату путешествие пустой папиросной коробочки, на которой толстый адвокат написал что-то, и все наблюдали за этапами ее пути, написано было, верно, что-то чрезвычайно смешное, но никто не читал, она честно шла из рук в руки, направляясь к Федору Константиновичу, и когда наконец добралась до него, то он прочел на ней: «Мне надо будет потом переговорить с вами о маленьком деле».

Последнее действие подходило к концу. Федора Константиновича незаметно покинул бог смеха, и он раздумчиво смотрел на блеск башмака. «С парома на холодный брег». Правый жал больше левого. Кончеев, полуоткрыв рот, досматривал альбом. «Занавес», — воскликнул Буш с легким ударением на последнем слоге.

Васильев объявил перерыв. У большинства был помятый и размаянный вид, как после ночи в третьем классе. Буш, свернув трагедию в толстую трубку, стоял в дальнем углу, и ему казалось, что в гуле голосов все расходятся круги от только что слышанного; Любовь Марковна предложила ему чаю, и тогда его могучее лицо вдруг беспомощно подобрело, и он, блаженно облизнувшись, наклонился к поданному стакану. Федор Константинович с каким-то испугом смотрел на это издали, а за собой различал:

«Скажите, что это такое?» (гневный голос Чернышевской).

«Ну что ж, бывает, ну, знаете...» (виновато-благодушный Васильев).

«Нет, я вас спрашиваю, что это такое?»

«Да что ж я, матушка, могу?»

«Но вы же читали раньше, он вам приносил в редакцию? Вы же говорили, что это серьезная, интересная вещь. Значительная вещь».

«Да, конечно, первое впечатление, пробежал, знаете, — не учел, как будет звучать... Попался! Я сам удивляюсь. Да вы пойдите к нему, Александра Яковлевна, скажите ему что-нибудь».

Федора Константиновича взял повыше локтя адвокат. «Вас-то мне и нужно. Мне вдруг пришла мысль, что это что-то для вас. Ко мне обратился клиент, ему требуется перевести на немецкий кое-какие свои бумаги для бракоразводного процесса, не правда ли. Там, у его немцев, которые дело ведут, служит одна русская барышня, но она, кажется, сумеет сделать только часть, надо еще помощника. Вы бы взялись за это? Дайте-ка я запишу ваш номер. Гемахт».

«Господа, прошу по местам, — раздался голос Васильева. — Сейчас начнутся прения по поводу заслушанного. Прошу желающих записываться».

Федор Константинович вдруг увидел, что Кончеев, сутулясь и заложив руку за борт пиджака, извилисто пробирается к выходу. Он последовал за ним, едва не забыв своего журнала. В передней к ним присоединился старичок Ступишин, часто переезжавший с квартиры на квартиру, но живший всегда в таком отдалении от города, что эти важные, сложные для него перемены происходили, казалось, в эфире, за горизонтом забот. Накинув на шею серополосатый шарфик, он по-русски задержал его подбородком, по-русски же влезая толчками спины в пальто.

«Порадовал, нечего сказать», — проговорил он, пока они спускались в сопровождении горничной.

«Я, признаться, плохо слушал», — заметил Кончеев.

Ступишин пошел ждать какой-то редкий, почти легендарный номер трамвая, а Годунов-Чердынцев и Кончеев направились вместе в другую сторону, до угла.

«Какая скверная погода», — сказал Годунов-Чердынцев.

«Да, совсем холодно», — согласился Кончеев.

«Паршиво... Вы живете в каких же краях?»

«А в Шарлоттенбурге».

«Ну, это не особенно близко. Пешком?»

«Пешком, пешком. Кажется, мне тут нужно — —»

«Да, вам направо, мне — напрямик».

Они простились. Фу, какой ветер...

«...Но постойте, постойте, я вас провожу. Вы, поди, полуночник, и не мне, стать, учить вас черному очарованию каменных прогулок. Так вы не слушали бедного чтеца?»

«Вначале только — и то вполуха. Однако я вовсе не думаю, что это было так уж скверно».

«Вы рассматривали персидские миниатюры. Не заметили ли вы там одной — разительное сходство! — из коллекции петербургской публичной библиотеки — ее писал, кажется, Riza Abbasi, лет триста тому назад: на коленях, в борьбе с драконятами, носатый, усатый... Сталин».

«Да, это, кажется, самый крепкий. Кстати, мне сегодня попалось в "Газете", — не знаю уж, чей грех: "На Тебе, Боже, что мне негоже". Я в этом усматриваю обожествление калик».

«Или память о каиновых жертвоприношениях».

«Сойдемся на плутнях звательного падежа, — и поговорим лучше "о Шиллере, о подвигах, о славе", — если позволите маленькую амальгаму. Итак, я читал сборник ваших очень замечательных стихов. Собственно, это только модели ваших же будущих романов».

«Да, я мечтаю когда-нибудь произвести такую прозу, где бы "мысль и музыка сошлись, как во сне складки жизни"».

«Благодарю за учтивую цитату. Вы как — по-настоящему любите литературу?»

«Полагаю, что да. Видите-ли, по-моему, есть только два рода книг: настольный и подстольный. Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком».

«Э, да вы строги. Не опасно ли это? Не забудьте, что как-никак вся русская литература, литература одного века, занимает — после самого снисходительного отбора — не более трех — трех с половиной тысяч печатных листов, а из этого числа едва ли половина достойна не только полки, но и стола. При такой количественной скудости нужно мириться с тем, что наш Пегас пег, что не все в дурном писателе дурно, а в добром не все добро».

«Дайте мне, пожалуй, примеры, чтобы я мог опровергнуть их».

«Извольте: если раскрыть Гончарова или — —».

«Стойте! Неужто вы желаете помянуть добрым словом Обломова? "Россию погубили два Ильича", — так, что ли? Или вы собираетесь поговорить о безобразной гигиене тогдашних любовных падений? Кринолин и сырая скамья? Или, может быть, — стиль? Помните, как у Райского

в минуту задумчивости переливается в губах розовая влага? — точно так же, скажем, как герои Писемского в минуту сильного душевного волнения рукой растирают себе грудь?»

«Тут я вас уловлю. Разве вы не читали у того же Писемского, как лакеи в передней во время бала перекидываются страшно грязным, истоптанным плисовым женским сапогом? Ага! Вообще, коли уж мы попали в этот второй ряд — — Что вы скажете, например, о Лескове?»

«Да что ж... У него в слоге попадаются забавные англицизмы, вроде “это была дурная вещь” вместо “плохо дело”. Но всякие там нарочитые “аболоны”... — нет, увольте, мне не смешно. А многословие... матушки! “Соборян” без урона можно было бы сократить до двух газетных подвалов. И я не знаю, что хуже — его добродетельные британцы или добродетельные попы».

«Ну, а все-таки. Галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы? Или пасть пса с синеватым, точно напомаженным, зевом? Или молния, ночью освещающая подробно комнату, — вплоть до магнезии, осевшей на серебряной ложке?»

«Отмечаю, что у него латинское чувство синевы: lividus[1]. Лев Толстой, тот был больше насчет лилового, — и какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком! Я, конечно, не должен был их покупать».

«Вы правы, жмут нестерпимо. Но мы перешли в первый ряд. Разве там вы не найдете слабостей? “Русалка” — —»

«Не трогайте Пушкина: это золотой фонд нашей литературы. А вон там, в чеховской корзине, провиант на много лет вперед, да щенок, который делает “уюм, уюм, уюм”, да бутылка крымского».

«Погодите, вернемся к дедам. Гоголь? Я думаю, что мы весь состав его пропустим. Тургенев? Достоевский?»

«Обратное превращение Бедлама в Вифлеем, — вот вам Достоевский. “Оговорюсь”, как выражается Мортус. В Карамазовых есть круглый след от мокрой рюмки на садовом столе, это сохранить стоит, — если принять ваш подход».

[1] Синеватый, сине-серый *(лат.)*.

«Так неужели ж у Тургенева все благополучно? Вспомните эти дурацкие тэтатэты в акатниках? Рычание и трепет Базарова? Его совершенно неубедительная возня с лягушками? И вообще — не знаю, переносите ли вы особую интонацию тургеневского многоточия и жеманное окончание глав? Или всё простим ему за серый отлив черных шелков, за русачью полежку иной его фразы?»

«Мой отец находил вопиющие ошибки в его и толстовских описаниях природы, и уж про Аксакова нечего говорить, добавлял он, — это стыд и срам».

«Быть может, если мертвые тела убраны, мы примемся за поэтов? Как вы думаете? Кстати, о мертвых телах. Вам никогда не приходило в голову, что лермонтовский “знакомый труп” — это безумно смешно, ибо он, собственно, хотел сказать “труп знакомого”, — иначе ведь непонятно: знакомство посмертное контекстом не оправдано».

«У меня все больше Тютчев последнее время ночует».

«Славный постоялец. А как вы насчет ямба Некрасова — нету на него позыва?»

«Как же. Давайте-ка мне это рыданьице в голосе: “загородись двойною рамою, напрасно горниц не студи, простись с надеждою упрямою и на дорогу не гляди”. Кажется, дактилическую рифму я сам ему выпел, от избытка чувств, — как есть особый растяжной перебор у гитаристов. Этого Фет лишен».

«Чувствую, что тайная слабость Фета — рассудочность и подчеркивание антитез — от вас не скрылась?»

«Наши общественно настроенные олухи понимали его иначе. Нет, я все ему прощаю за “прозвенело в померкшем лугу”, за росу счастья, за дышащую бабочку».

«Переходим в следующий век: осторожно, ступенька. Мы с вами начали бредить стихами рано, не правда ли? Напомните мне, как это все было? “Как дышат края облаков...” Боже мой!»

«Или освещенные с другого бока “Облака небывалой услады”. О, тут разборчивость была бы преступлением. Мое тогдашнее сознание воспринимало восхищенно, благодарно, полностью, без критических затей, всех пятерых, начинающихся на “Б”, — пять чувств новой русской поэзии».

«Интересно, которому именно вы отводите вкус. Да-да, я знаю, есть афоризмы, которые, как самолеты, держатся только пока находятся в движении. Но мы говорили о заре... С чего у вас началось?»

«С прозрения азбуки. Простите, это звучит изломом, но дело в том, что у меня с детства в сильнейшей и подробнейшей степени audition colorée»[1].

«Так что вы могли бы тоже — —».

«Да, но с оттенками, которые ему не снились, — и не сонет, а толстый том. К примеру: различные, многочисленные "а" на тех четырех языках, которыми владею, вижу едва ли не в стольких же тонах — от лаково-черных до занозисто-серых — сколько представляю себе сортов поделочного дерева. Рекомендую вам мое розовое фланелевое "м". Не знаю, обращали ли вы когда-либо внимание на вату, которую изымали из майковских рам? Такова буква "ы", столь грязная, что словам стыдно начинаться с нее. Если бы у меня были под рукой краски, я бы вам так смешал sienne brûlée[2] и сепию, что получился бы цвет гуттаперчевого "ч"; и вы бы оценили мое сияющее "с", если я мог бы вам насыпать в горсть тех светлых сапфиров, которые я ребенком трогал, дрожа и не понимая, когда моя мать, в бальном платье, плача навзрыд, переливала свои совершенно небесные драгоценности из бездны в ладонь, из шкатулок на бархат, и вдруг всё запирала, и никуда не ехала, несмотря на бешеные уговоры ее брата, который шагал по комнатам, давая щелчки мебели и пожимая эполетами, и если отодвинуть в боковом окне фонаря штору, можно было видеть вдоль набережных фасадов в синей черноте ночи изумительно неподвижные, грозно-алмазные вензеля, цветные венцы...»

«Buchstaben von Feuer[3], одним словом... Да, я уже знаю наперед. Хотите, я вам доскажу эту банальную и щемящую душу повесть? Как вы упивались первыми попавшимися стихами. Как в десять лет писали драмы, а в пятнадцать элегии, — и всё о закатах, закатах... "И медленно, пройдя меж пьяными..." Кстати, кто она была такая?»

---

[1] Цветной слух *(фр.)*.
[2] Сиена жженая *(фр.)*.
[3] Огненные буквы *(нем.)*.

«Молодая замужняя женщина. Продолжалось неполных два года, до бегства из России. Она была так хороша, так мила — знаете, большие глаза и немного костлявые руки, — что я как-то до сих пор остался ей верен. От стихов она требовала только ямщикнегонилошадейности, обожала играть в покер, а погибла от сыпного тифа — Бог знает где, Бог знает как...»

«А теперь что будет? Стоит, по-вашему, продолжать?»

«Еще бы! До самого конца. Вот и сейчас я счастлив, несмотря на позорную боль в ногах. Признаться, у меня опять началось это движение, волнение... Я опять буду всю ночь...»

«Покажите. Посмотрим, как это получается: вот этим с черного парома сквозь (вечно?) тихо падающий снег (во тьме в незамерзающую воду отвесно падающий снег) (в обычную?) летейскую погоду вот этим я ступлю на брег. Не разбазарьте только волнения».

«Ничего... И вот посудите, как же тут не быть счастливым, когда лоб горит...»

«...как от излишка уксуса в винегрете. Знаете, о чем я сейчас подумал: ведь река-то, собственно, — Стикс. Ну да ладно. Дальше. И к пристающему парому сук тянется, и медленным багром (Харон) паромщик тянется к суку сырому (кривому)...»

«...и медленно вращается паром. Домой, домой. Мне нынче хочется сочинять с пером в пальцах. Какая луна, как черно пахнет листьями и землей из-за этих решеток».

«Да, жалко, что никто не подслушал блестящей беседы, которую мне хотелось бы с вами вести».

«Ничего, не пропадет. Я даже рад, что так вышло. Кому какое дело, что мы расстались на первом же углу и что я веду сам с собою вымышленный диалог по самоучителю вдохновения».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Еще летал дождь, а уже появилась, с неуловимой внезапностью ангела, радуга: сама себе томно дивясь, розово-зеленая, с лиловой поволокой по внутреннему краю, она

повисла за скошенным полем, над и перед далеким леском, одна доля которого, дрожа, просвечивала сквозь нее. Редкие стрелы дождя, утратившего и строй, и вес, и способность шуметь, невпопад, так и сяк вспыхивали на солнце. В омытом небе, сияя всеми подробностями чудовищно сложной лепки, из-за вороного облака выпрастывалось облако упоительной белизны.

«Ну вот, прошло», — сказал он вполголоса и вышел из-под навеса осин, столпившихся там, где жирная, глинистая, «земская» (какой ухаб был в этом прозвании!) дорога спускалась в ложбинку, собрав в этом месте все свои колеи в продолговатую выбоину, до краев налитую густым кофе со сливками.

Милая моя! Образчик элизейских красок! Отец однажды, в Ордосе, поднимаясь после грозы на холм, ненароком вошел в основу радуги, — редчайший случай! — и очутился в цветном воздухе, в играющем огне, будто в раю. Сделал еще шаг — и из рая вышел.

Она уже бледнела. Дождь совсем перестал, пекло, овод с шелковыми глазами сел на рукав. В роще закуковала кукушка, тупо, чуть вопросительно: звук вздувался куполком и опять — куполком, никак не разрешаясь. Бедная толстая птица, вероятно, перелетела дальше, ибо все повторялось сызнова, вроде уменьшенного отражения (искала, что ли, где получается лучше, грустнее?). Громадная, плоская на лету бабочка, иссиня-черная с белой перевязью, описав сверхъестественно плавную дугу и опустившись на сырую землю, сложилась, тем самым исчезла. Такую иной раз приносит, зажав ее обеими руками в картуз, сопящий крестьянский мальчишка. Такая взмывает из-под семенящих копыт примерной докторской поньки, когда доктор, держа на коленях почти ненужные вожжи, а то просто прикрутив их к передку, задумчиво едет тенистой дорогой в больницу. А изредка четыре черно-белых крыла с кирпичной изнанкой находишь рассыпанными, как игральные карты, на лесной тропе: остальное съела неизвестная птица.

Он перепрыгнул лужу, где два навозных жука, мешая друг другу, цеплялись за соломинку, и отпечатал на краю дороги подошву: многозначительный след ноги, все

глядящий вверх, все видящий исчезнувшего человека. Идя полем, один, под дивно несущимися облаками, он вспомнил, как с первыми папиросами в первом портсигаре подошел тут к старому косарю, попросил огня; мужик из-за тощей пазухи вынул коробок, дал его без улыбки, — но дул ветер, спичка за спичкой гасла, едва вспыхнув, — и после каждой становилось все совестнее, а тот смотрел с каким-то отвлеченным любопытством на торопливые пальцы расточительного барчука.

Он углубился в лесок; по тропе проложены были мостки, черные, склизкие, в рыжих сережках и приставших листках. Кто это выронил сыроежку, разбившую свой белый веерок? В ответ донеслось ауканье: девчонки собирали грибы, чернику — кажущуюся в корзине настолько темнее, чем на своих кустиках! Среди берез была одна издавна знакомая — с двойным стволом, береза-лира, и рядом старый столб с доской, на ней ничего нельзя было разобрать кроме следов пуль, — как-то в нее палил из браунинга гувернер-англичанин, тоже Браунинг, а потом отец взял у него пистолет, мгновенно-ловко вдавил в обойму пули и семью выстрелами выбил ровное К.

Дальше, на болотце, запросто цвела ночная фиалка, за ним пришлось пересечь проезжую дорогу, — и справа забелелась калитка: вход в парк. Извне отороченный папоротником, снутри пышно подбитый жимолостью и жасмином, там омраченный хвоей елей, тут озаренный листвой берез, громадный, густой и многодорожный, он весь держался на равновесии солнца и тени, которые от ночи до ночи образовали переменную, но в своей переменности одному ему принадлежащую гармонию. Если на аллее, под ногами, колебались кольца горячего света, то вдалеке непременно протягивалась поперек толстая бархатная полоса, за ней опять — оранжевое решето, а уже дальше, в самой глуби, густела живая чернота, которая при передаче удовлетворяла глаз акварелиста лишь покуда краски были еще мокры, так что приходилось накладывать слой за слоем, чтобы удержать красоту — тут же умиравшую. К дому приводили все тропинки, — но, вопреки геометрии, ближайшим путем казалась не прямая аллея, стройная и холеная, с чуткой тенью (как слепая, поднимавшаяся навстречу,

чтобы ощупать тебе лицо) и со взрывом изумрудного солнца в самом конце, а любая из соседних, извилистых и невыполотых. Он шел к еще невидимому дому по любимой из них, мимо скамьи, на которой по установившейся традиции сиживали родители накануне очередного отбытия отца в путешествие: отец — расставив колени, вертя в руках очки или гвоздику, опустив голову, с канотье, сдвинутым на затылок, и с молчаливой, чуть насмешливой улыбкой около прищуренных глаз и в мягких углах губ, где-то у самых корней бородки; а мать — говорящая ему что-то, сбоку, снизу, из-под большой дрожащей белой шляпы, или кончиком зонтика выдавливающая хрустящие ямки в безответном песке. Он шел мимо валуна со взлезшими на него рябинками (одна обернулась, чтобы подать руку меньшой), мимо заросшей травой площадки, бывшей в дедовские времена прудком, мимо низеньких елок, зимой становившихся совершенно круглыми под бременем снега: снег падал прямо и тихо, мог падать так три дня, пять месяцев, девять лет, — и вот уже впереди, в усеянном белыми мушками просвете, наметилось приближающееся мутное, желтое пятно, которое, вдруг попав в фокус, дрогнув и уплотнившись, превратилось в вагон трамвая, и мокрый снег полетел косо, залепляя левую грань стеклянного столба остановки, но асфальт оставался черен и гол, точно по природе своей неспособен был принять ничего белого, и среди плывущих в глазах, сначала даже непонятных надписей над аптекарскими, писчебумажными, колониальными лавками только одна-единственная могла еще казаться написанной по-русски: К а к а о, — между тем как кругом все только что воображенное с такой картинной ясностью (которая сама по себе была подозрительна, как яркость снов в неурочное время дня или после снотворного) бледнело, разъедалось, рассыпалось, и если оглянуться, то — как в сказке исчезают ступени лестницы за спиной поднимающегося по ней — все проваливалось и пропадало, — прощальное сочетание деревьев, стоявших как провожающие и уже уносимых прочь, полинявший в стирке клочок радуги, дорожка, от которой остался только жест поворота, трехкрылая, без брюшка, бабочка на булавке, гвоздика на песке, около тени скамейки, — еще какие-то

самые последние, самые стойкие мелочи, — и еще через миг все это без борьбы уступило Федора Константиновича его настоящему, и, прямо из воспоминания (быстрого и безумного, находившего на него как припадок смертельной болезни в любой час, на любом углу), прямо из оранжерейного рая прошлого он пересел в берлинский трамвай.

Он ехал на урок, как всегда опаздывал, и, как всегда, в нем росла смутная, скверная, тяжелая ненависть и к неуклюжей медлительности этого бездарнейшего из всех способов передвижения, и к безнадежно знакомым, безнадежно некрасивым улицам, шедшим за мокрым окном, а главное — к ногам, бокам, затылкам туземных пассажиров. Он рассудком знал, что среди них могут быть и настоящие, вполне человеческие особи, с бескорыстными страстями, чистыми печалями, даже с воспоминаниями, просвечивающими сквозь жизнь, — но почему-то ему сдавалось, что все эти скользящие, холодные зрачки, посматривающие на него так, словно он провозил незаконное сокровище (как, в сущности, и было), принадлежат лишь гнусным кумушкам и гнилым торгашам. Русское убеждение, что в малом количестве немец пошл, а в большом — пошл нестерпимо, было, он знал это, убеждением, недостойным художника; а все-таки его пробирала дрожь, — и только угрюмый кондуктор с загнанными глазами и пластырем на пальце, вечно мучительно ищущий равновесия и прохода среди судорожных толчков вагона и скотской тесноты стоящих, внешне казался если не человеком, то хоть бедным родственником человека. На второй остановке перед Федором Константиновичем сел сухощавый, в полупальто с лисьим воротником, в зеленой шляпе и потрепанных гетрах, мужчина, — севши, толкнул его коленом да углом толстого, с кожаной хваткой, портфеля — и тем самым обратил его раздражение в какое-то ясное бешенство, так что, взглянув пристально на сидящего, читая его черты, он мгновенно сосредоточил на нем всю свою грешную ненависть (к жалкой, бедной, вымирающей нации) и отчетливо знал, за что ненавидит его: за этот низкий лоб, за эти бледные глаза; за фольмильх и экстраштарк — подразумевающие законное существование разбавленного и поддельного; за полишинелевый строй движений, —

угрозу пальцем детям — не как у нас стойком стоящее напоминание о Небесном Суде, а символ колеблющейся палки, — палец, а не перст; за любовь к частоколу, ряду, заурядности; за культ конторы; за то, что если прислушаться, что у него говорится внутри (или к любому разговору на улице), неизбежно услышишь цифры, деньги; за дубовый юмор и пипифаксовый смех; за толщину задов у обоего пола, — даже если в остальной своей части субъект и не толст; за отсутствие брезгливости; за видимость чистоты — блеск кастрюльных днищ на кухне и варварскую грязь ванных комнат; за склонность к мелким гадостям, за аккуратность в гадостях, за мерзкий предмет, аккуратно нацепленный на решетку сквера; за чужую живую кошку, насквозь проткнутую в отместку соседу проволокой, к тому же ловко закрученной с конца; за жестокость во всем, самодовольную, как-же-иначную; за неожиданную восторженную услужливость, с которой человек пять прохожих помогают тебе подбирать оброненные гроши; за... Так он нанизывал пункты пристрастного обвинения, глядя на сидящего против него — покуда тот не вынул из кармана номер васильевской «Газеты», равнодушно кашлянув с русской интонацией.

«Вот это славно», — подумал Федор Константинович, едва не улыбнувшись от восхищения. Как умна, изящно лукава и, в сущности, добра жизнь! Теперь в чертах читавшего газету он различал такую отечественную мягкость — морщины у глаз, большие ноздри, по-русски подстриженные усы, — что сразу стало и смешно, и непонятно, как это можно было обмануться. Его мысль ободрилась на этом нечаянном привале и уже потекла иначе. Ученик, к которому он ехал, малообразованный, но любознательный старый еврей, еще в прошлом году вдруг захотел научиться «болтать по-французски», что казалось старику и выполнимее, и свойственнее его летам, характеру, жизненному опыту, чем сухое изучение грамматики языка: эти графы переплыли эти реки. Неизменно в начале урока, кряхтя и примешивая множество русских, немецких слов к щепотке французских, он описывал свое утомление после дня работы (заведовал крупной бумажной фабрикой), и от этих длительных жалоб переходил, сразу попадая с головой

в безвыходные потемки, к обсуждению — по-французски! — международной политики, причем требовал чуда: чтобы все это дикое, вязкое, тяжкое, как перевозка камней по размытой дороге, обратилось вдруг в ажурную речь. Вовсе лишенный способности запоминать слова (и любящий говорить об этом не как о недостатке, а как об интересном свойстве своей натуры), он не только не делал никаких успехов, но даже успел за год учения позабыть те несколько французских фраз, которые застал у него Федор Константинович и на основе которых старик мнил построить за три-четыре вечера свой собственный, легкий, живой, переносный Париж. Увы, бесплодно шло время, доказывая тщетность усилий, невозможность мечты, — да и преподаватель попался неопытный, совершенно терявшийся, когда бедному фабриканту вдруг требовалась точная справка (как по-французски «ровница»?), от которой, впрочем, спрашивающий тотчас из деликатности отказывался, и оба приходили в минутное смущение, как в старой идиллии невинные юноша и дева, невзначай коснувшиеся друг друга. Мало-помалу становилось невыносимо. Оттого что ученик все удрученнее ссылался на усталость мозгов и все чаще отменял уроки (небесный голос его секретарши по телефону, — мелодия счастья!), Федору Константиновичу казалось, что тот наконец убедился в неумелости учителя, но из жалости к его поношенным штанам длит и будет длить до гроба эту взаимную пытку.

И сейчас, сидя в трамвае, он так несбыточно-ярко увидел, как через семь-восемь минут войдет в знакомый, с берлинской, животной роскошью обставленный кабинет, сядет в глубокое кожаное кресло подле низкого металлического столика с открытой для него стеклянной шкатулкой, полной папирос, и лампой в виде географического глобуса, закурит, дешево бодро закинет ногу на ногу и встретится с изнемогающим, покорным взглядом безнадежного ученика, — так живо услышит его вздох и неискоренимое «ну, вуй», которым тот уснащал свои ответы, что вдруг неприятное чувство опаздывания заменилось в душе Федора Константиновича отчетливым и каким-то нагло-радостным решением не явиться на урок вовсе, а слезть на следующей остановке и вернуться домой, к недочитанной

книге, к внежитейской заботе, к блаженному туману, в котором плыла его настоящая жизнь, к сложному, счастливому, набожному труду, занимавшему его вот уже около года. Он знал, что нынче получил бы за несколько уроков плату, знал, что иначе придется опять в долг курить и обедать, но совершенно мирился с этим ради той деятельной лени (все тут, в этом сочетании), ради возвышенного прогула, который он себе разрешал. И разрешал не впервые. Застенчивый и взыскательный, живя всегда в гору, тратя все свои силы на преследование бесчисленных существ, мелькавших в нем, словно на заре в мифологической роще, он уже не мог принуждать себя к общению с людьми для заработка или забавы, а потому был беден и одинок. И, как бы назло ходячей судьбе, было приятно вспоминать, как однажды летом он не поехал на вечер в «загородной вилле» исключительно потому, что Чернышевские предупредили его, что там будет человек, который «может быть ему полезен», или как прошлой осенью не удосужился снестись с бракоразводной конторой, где требовался переводчик, — оттого что сочинял драму в стихах, оттого что адвокат, суливший ему этот заработок, был докучлив и глуп, оттого, наконец, что слишком откладывал, а потом уж не мог решиться.

Он выбрался на площадку вагона. Тотчас же ветер грубо его обыскал, после чего Федор Константинович потуже затянул поясок макинтоша, поправил шарф, — но небольшое количество трамвайного тепла было уже у него отнято. Снег валить перестал, а куда пропал — неизвестно; оставалась только вездесущая сырость, которая сказывалась и в шуршащем звуке автомобильных шин, и в каком-то по-свински резком, терзающем слух, рваном вопле рожков, и в темноте дня, дрожавшего от холода, от грусти, от омерзения к себе, и в особом желтом оттенке уже зажженных витрин, в отражениях, в отливах, в текучих огнях, — во всем этом болезненном недержании электрического света. Трамвай выехал на площадь и, мучительно затормозив, остановился, но остановился лишь предварительно, так как впереди, у каменного островка, где теснились осаждающие, застряли два других номера, оба с прицепными вагонами, и в этом косном нагромождении тоже как-то сказывалось

гибельное несовершенство мира, в котором Федор Константинович все еще пребывал. Он больше не мог, он выскочил и зашагал через скользкую площадь к другой трамвайной линии, по которой обманным образом мог вернуться в свой район с тем же билетом — годным на одну пересадку, а отнюдь не на обратный путь; но честный казенный расчет, что пассажир будет ехать только в одном направлении, подрывался в некоторых случаях тем, что, при знании маршрутов, можно было прямой путь незаметно обратить в дугу, загибающуюся к отправной точке. Этой остроумной системе (приятно доказывавшей некий чисто немецкий порок в планировке трамвайных линий) Федор Константинович следовал охотно, однако по рассеянности, по неспособности длительно ласкать мыслью выгоду и думая уже о другом, машинально платил наново за билет, который намеревался сэкономить. И все-таки процветал обман, все-таки не он, а ведомство городских путей сообщения оказывалось внакладе — и притом на гораздо, гораздо большую сумму (норд-экспрессную!), чем можно было ожидать: перейдя площадь и свернув на боковую улицу, он пошел к трамвайной остановке сквозь маленькую, на первый взгляд, чащу елок, собранных тут для продажи по случаю приближавшегося Рождества; между ними образовалась как бы аллейка; размахивая на ходу рукой, он кончиком пальцев задевал мокрую хвою; но вскоре аллейка расширилась, ударило солнце, и он вышел на площадку сада, где, на мягком красном песке, можно было различить пометки летнего дня: отпечатки собачьих лап, бисерный след трясогузки, данлоповую полосу от Таниного велосипеда, волнисто раздвоившуюся при повороте, и впадинку от каблука там, где она легким, немым движением, в котором была какая-то четверть пируэта, вбок соскользнула с него и сразу пошла, все держась за руль. Старый, в елочном стиле, деревянный дом, выкрашенный в бледно-зеленый цвет, с зелеными же водосточными трубами, с узорными вырезами под крышей и высоким каменным основанием (где в серой замазке мерещились словно круглые, розовые крупы замурованных коней), большой, крепкий и необыкновенно выразительный дом, с балконами на уровне липовых веток и верандами, украшенными драгоценными стек-

лами, плыл навстречу, облетаемый ласточками, идя на всех маркизах, чертя громоотводом по синеве, по ярким белым облакам, без конца раскрывавшим объятья. На каменных ступенях носовой веранды, в упор освещенные солнцем, сидят: отец, явно с купанья, в мохнатом полотенце чалмой, так что не видать — а как хотелось бы! — его темного бобрика с проседью, низко, мыском, находящего на лоб; мать, вся в белом, глядящая прямо перед собой и как-то молодо обхватившая колени руками; рядом — Таня, в широкой блузке, с концом черной косы на ключице, опустившая гладкий пробор и державшая на руках фокс-терьера, во весь рот улыбающегося от жары; повыше — невышедшая почему-то Ивонна Ивановна, черты смазаны, но ясно видна тонкая талия, кушачок, цепочка часов; боком, пониже, полулежа и опираясь головой на колени круглолицей барышни (бантики, бархатка), учившей Таню музыке, — брат отца, толстый военный врач, балагур и красавец; еще ниже — два кисленьких, исподлобья глядящих гимназиста, двоюродные братья Федора: один в фуражке, другой без, — тот, который без, убит спустя лет семь под Мелитополем; совсем низко, уже на песке, точь-в-точь в позе матери, — сам Федор, каким он был тогда, — впрочем, мало с тех пор изменившийся, белозубый, чернобровый, коротко остриженный, в открытой рубашке. Кто снимал, забылось, но эта мгновенная, блеклая, негодная даже для переснятия и в общем незначительная (сколько было других, лучших) фотография одна чудом сбереглась и стала бесценной, доехав до Парижа в вещах матери, которая на прошлое Рождество ему и привезла ее в Берлин, — ибо теперь, выбирая сыну подарок, она руководилась уже не тем, что всего дороже приобрести, а тем, с чем всего труднее расстаться.

Она тогда приехала к нему на две недели после трехлетней разлуки, и в первое мгновение, когда, до смертельной бледности напудренная, в черных перчатках и черных чулках, в распахнутой старой котиковой шубке, она сошла по железным ступенькам вагона, посматривая одинаково быстро то себе под ноги, то на него, и вдруг, с лицом, искаженным мукой счастья, припала к нему, блаженно мыча, целуя его в ухо, в шею, ему показалось, что красота,

которой он так гордился, выцвела, но по мере того, как его зрение приспособлялось к сумеркам настоящего, столь сначала отличным от далеко отставшего света памяти, он опять узнавал в ней все, что любил: чистый очерк лица, суживающийся к подбородку, изменчивую игру зеленых, карих, желтых восхитительных глаз под бархатными бровями, легкую, длинную поступь, жадность, с которой она закурила в такси, внимание, с которым вдруг посмотрела — не ослепнув, значит, от волнения встречи, как ослепла бы всякая, — на обоими замеченный гротеск: невозмутимый мотоциклист провез в прицепной каретке бюст Вагнера; и уже когда приблизились к дому, прошлый свет догнал настоящее, пропитал его до насыщения, и все стало таким, каким бывало в этом же Берлине три года назад, как бывало когда-то в России, как бывало и будет всегда.

У фрау Стобой нашлась свободная комната, и там, в первый же вечер (раскрытый несессер, снятые кольца на мраморе умывальника), лежа на диване и быстро-быстро поедая изюм, без которого не могла прожить ни одного дня, она заговорила о том, к чему постоянно возвращалась вот уже скоро девятый год, снова повторяя — невнятно, угрюмо, стыдливо отводя глаза, словно признаваясь в чем-то таинственном и ужасном, — что все больше верит в то, что отец Федора жив, что траур ее нелепость, что глухой вести о его гибели никто никогда не подтвердил, что он где-то в Тибете, в Китае, в плену, в заключении, в каком-то отчаянном омуте затруднений и бед, что он поправляется после долгой-долгой болезни — и вдруг, с шумом распахнув дверь и притопнув на пороге, войдет. И в еще большей мере, чем прежде, Федору от этих слов становилось и хорошо, и страшно. Поневоле привыкнув за все эти годы считать отца мертвым, он уже чуял нечто уродливое в возможности его возвращения. Допустимо ли, что жизнь может совершить не просто чудо, а чудо, лишенное вовсе (непременно так, — иначе не вынести) малейшего оттенка сверхъестественности? Чудо этого возвращения состояло бы в его земной природе, в его уживчивости с рассудком, в немедленном введении невероятного случая в условно-понятную связь обыкновенных дней; но чем больше росло с годами требование такой естественности, тем станови-

лось жизни труднее исполнить его, — и теперь не просто призрак было представить себе страшно, а призрак, который бы страшным не был. Бывали дни, когда Федору казалось, что внезапно на улице (есть в Берлине такие тупички, где в сумерки душа как бы расплывается) к нему подойдет, в сказочных отрепьях, нищий старик лет семидесяти, обросший до глаз бородой, и вдруг подмигнет, и скажет, как говаривал некогда: здравствуй, сыне! Отец часто являлся ему во сне, будто только что вернувшийся с какой-то чудовищной каторги, перенесший телесные пытки, о которых упоминать заказано, уже переодевшийся в чистое белье, — о теле под ним нельзя думать, — и с никогда ему не свойственным выражением неприятной, многозначительной хмурости, потный и слегка как бы оскаленный, сидящий за столом, в кругу притихшей семьи. Когда же, превозмогая ощущение фальши в самом стиле, навязываемом судьбе, он все-таки заставлял себя вообразить приезд живого отца, постаревшего, но несомненно родного, и полнейшее, убедительнейшее объяснение немого отсутствия, его охватывал, вместо счастья, тошный страх, — который, однако, тотчас исчезал, уступая чувству удовлетворенной гармонии, когда он эту встречу отодвигал за предел земной жизни.

А с другой стороны... Бывает, что в течение долгого времени тебе обещается большая удача, в которую с самого начала не веришь, так она не похожа на прочие подношения судьбы, а если порой и думаешь о ней, то как бы со снисхождением к фантазии, — но когда наконец, в очень будничный день с западным ветром, приходит известие, просто, мгновенно и окончательно уничтожающее всякую надежду на нее, то вдруг с удивлением понимаешь, что хоть и не верил, а все это время жил ею, не сознавая постоянного, домашнего присутствия мечты, давно ставшей упитанной и самостоятельной, так что теперь никак не вытолкнешь ее из жизни, не сделав в жизни дыры. Так и Федор Константинович, вопреки рассудку и не смея представить себе ее воплощения, жил привычной мечтой о возвращении отца, таинственно украшавшей жизнь и как бы поднимавшей ее выше уровня соседних жизней, так что было видно много далекого и необыкновенного, как когда

его, маленького, отец поднимал под локотки, чтобы он мог увидеть интересное за забором.

После первого вечера, освежив надежду и убедившись, что в сыне та же надежда жива, Елизавета Павловна больше не упоминала о ней словесно, но, как всегда, она подразумевалась во всех их разговорах, особенно потому, что не так уж много они разговаривали вслух: часто случалось, что после нескольких минут оживленного молчания Федор вдруг замечал, что все время оба отлично знали, о чем эта двойная, как бы подтравная речь, вдруг выходившая наружу одним ручьем, обоим понятным словом. И бывало, они играли так: сидя рядом и молча про себя воображая, что каждый совершает одну и ту же лешинскую прогулку, они выходили из парка, шли дорожкой вдоль поля (слева, за ольшаником, речка), через тенистое кладбище, где кресты в пятнах солнца показывали руками размер чего-то пребольшого и где было как-то неловко срывать малину, через речку, опять вверх, лесом, опять к речке, к Pont des Vaches[1], и дальше, сквозь сосняк, и по Chemin du Pendu[2], — родные, не режущие их русского слуха прозвания, придуманные еще тогда, когда деды были детьми. И вдруг, среди этой безгласной прогулки, которую две мысли проделывали, пользуясь по правилам игры мерой человеческого шага (хотя в один миг могли бы облететь свои владения), оба останавливались и говорили, где кто находится, и когда оказывалось, как это бывало часто, что ни один не обогнал другого, остановившись в том же перелеске, — у матери и сына вспыхивала одна и та же улыбка сквозь общую слезу.

Очень скоро они опять вошли в свой внутренний ритм общения, ибо мало было нового, чего бы они уже не знали из писем. Она дорассказала ему о недавней свадьбе Тани, которая теперь, с незнакомым Федору мужем, ладным, спокойным, очень вежливым и ничем не замечательным господином, «работающим в области радио», уехала до января в Бельгию, и что когда вернутся, то она поселится с ними на новой квартирке, в огромном доме у одной

[1] Коровий мост *(фр.)*.
[2] Дорога повешенного *(фр.)*.

из парижских застав: рада была выехать из маленькой, с крутой темной лестницей, гостиницы, где до того жила с Таней в крохотной, но многоугольной комнате, целиком поглощаемой зеркалом и посещаемой разнокалиберными клопами — от прозрачно-розовых малюток до коричневых, дубленых толстяков, — жившими семьей то за стенным календарем с левитановским видом, то поближе к делу, за пазухой рваных обоев, прямо над двуспальной кроватью; но, радуясь новоселью, она и опасалась его: зять не пришелся ей по душе, и было что-то притворное в Танином бодром, показном счастье, — «ну, понимаешь, он не совсем нашего круга», — как-то, сжав челюсти и глядя вниз, выговорила она, — но это было не все, да, впрочем, Федор уже знал о том другом человеке, которого любила Таня, который не любил ее.

Они довольно много выходили, Елизавета Павловна, как всегда, будто искала чего-то, быстро обводя мир летучим взглядом переливчатых глаз. Немецкий праздничек выдался дождливым, панели от луж казались дырявыми, в окнах тупо горели огни елок, кое-где на углах рекламный рождественский дед в красном зипуне, с голодными глазами, раздавал объявления. В витринах универсального магазина какой-то мерзавец придумал выставить истуканы лыжников, на бертолетовом снегу, под Вифлеемской звездой. Как-то видели скромное коммунистическое шествие, — по слякоти, с мокрыми флагами, — все больше подбитые жизнью, горбатые, да хромые, да квелые, много некрасивых женщин и несколько солидных мещан. Отправились посмотреть на дом, на квартиру, где втроем два года прожили, но швейцар уже был другой, прежний хозяин умер, в знакомых окнах были чужие занавески, и как-то ничего нельзя было сердцем узнать. Побывали в кинематографе, где давалась русская фильма, причем с особым шиком были поданы виноградины пота, катящиеся по блестящим лицам фабричных, — а фабрикант все курил сигару. И конечно, он ее повел к Александре Яковлевне.

Знакомство не совсем удалось. Чернышевская встретила гостью со скорбной ласковостью, явно показывая, что опыт горя давно и крепко связывает их; а Елизавету Павловну больше всего интересовало, как та относится к стихам

Федора и почему никто не пишет о них. «Можно вас поцеловать?» — спросила Чернышевская на прощание, уже привставая на цыпочки, — была на голову ниже Елизаветы Павловны, которая и склонилась к ней с какой-то невинной и радостной улыбкой, совершенно уничтожавшей смысл объятья. «Ничего, надо терпеть, — сказала Александра Яковлевна, выпуская их на лестницу и прикрывая подбородок краем пухового платка, в который куталась. — Надо терпеть, — я так научилась терпеть, что могла бы давать уроки терпения, но я думаю, вы тоже хорошо прошли эту школу».

«Знаешь, — сказала Елизавета Павловна, осторожно-легко сходя с лестницы и не оборачивая опущенной головы к сыну, — я, кажется, просто куплю гильзы и табак, а то так выходит дороговатенько», — и тотчас добавила тем же голосом: «Господи, как ее жалко». И точно, нельзя было Александру Яковлевну не пожалеть. Ее муж вот уже четвертый месяц содержался в приюте для ослабевших душой, в «желтоватом доме», как он сам игриво выражался в минуты просвета. Еще в октябре Федор Константинович как-то и посетил его там. В разумно обставленной палате сидел пополневший, розовый, отлично выбритый и совершенно сумасшедший Александр Яковлевич, в резиновых туфлях и непромокаемом плаще с куколем. «Как, разве вы умерли?» — было первое, что он спросил — скорее недовольно, чем удивленно. Состоя «председателем общества борьбы с потусторонним», он все изобретал различные средства для непропускания призраков (врач, применяя новую систему «логического потворства», не препятствовал этому) и теперь, исходя, вероятно, из другой ее непроводности, испытывал резину, но, по-видимому, результаты до сих пор получались скорее отрицательные, потому что когда Федор Константинович хотел было взять для себя стул, стоявший в сторонке, Чернышевский раздраженно сказал: «Оставьте, вы же отлично видите, что там уже сидят двое», — и это «двое», и шуршащий, всплескивающий при каждом его движении плащ, и бессловесное присутствие служителя, точно это было свидание в тюрьме, и весь разговор больного показались Федору Константиновичу невыносимо карикатурным огрублением того сложного, про-

зрачного, еще благородного, хотя и полубезумного, состояния души, в котором так недавно Александр Яковлевич общался с утраченным сыном. Тем ядрено-балагурным тоном, который он прежде приберегал для шуток — а теперь говорил всерьез, — он стал пространно сетовать, все почему-то по-немецки, на то, что люди-де тратятся на выдумывание зенитных орудий и воздушных отрав, а не заботятся вовсе о ведении другой, в миллион раз более важной борьбы. У Федора Константиновича была на окате виска запекшаяся ссадина — утром стукнулся о ребро парового отопления, второпях доставая из-под него закатившийся колпачок от пасты. Вдруг оборвав речь, Александр Яковлевич брезгливо и беспокойно указал пальцем на его висок. «Was haben Sie da?»[1] — спросил он, болезненно сморщась, — а затем нехорошо усмехнулся и, все больше сердясь и волнуясь, начал говорить, что его не проведешь, — сразу признал, мол, свежего самоубийцу. Служитель подошел к Федору Константиновичу и попросил его удалиться. И, идя через могильно-роскошный сад, мимо жирных клумб, где в блаженном успении цвели басисто-багряные георгины, по направлению к скамейке, на которой его ждала Чернышевская, никогда не входившая к мужу, но целые дни проводившая в непосредственной близости от его жилья, озабоченная, бодрая, всегда с пакетами, — идя по этому пестрому гравию между миртовых, похожих на мебель, кустов и принимая встречных посетителей за параноиков, Федор Константинович тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзенного надеждой горя, — и лишь гораздо позднее он понял все изящество короллария и всю безупречную композиционную стройность, с которой включалось в его жизнь это побочное звучание.

За три дня до отъезда матери, в большом, хорошо знакомом русским берлинцам зале, принадлежащем обществу зубных врачей, судя по портретам маститых дантистов, глядящих со стен, состоялся открытый литературный вечер, в котором участвовал и Федор Константинович. Народу

[1] Что это у вас там? *(Нем.)*

набралось мало, было холодно, у дверей покуривали всё те же примелькавшиеся представители местной русской интеллигенции, — и, как всегда, Федор Константинович, увидев то или иное знакомое, симпатичное лицо, устремлялся к нему с искренним удовольствием, сменявшимся скукой после первого разгона беседы. К Елизавете Павловне присоединилась в первом ряду Чернышевская; и по тому, как мать изредка поворачивала то туда, то сюда голову, поправляя сзади прическу, Федор, витавший по залу, заключил, что ему малоинтересно общество соседки. Наконец начали. Сперва читал писатель с именем, в свое время печатавшийся во всех русских журналах, седой, бритый, чем-то похожий на удода старик, со слишком добрыми для литературы глазами; он прочел толково-бытовым говорком повесть из петербургской жизни накануне революции, с героиней, нюхавшей эфир, шикарными шпионами, шампанским, Распутиным и апокалиптически-апоплексическими закатами над Невой. После него некто Крон, пишущий под псевдонимом Ростислав Странный, порадовал нас длинным рассказом о романтическом приключении в городе стооком, под небесами чуждыми: ради красоты, эпитеты были поставлены позади существительных, глаголы тоже куда-то улетали, и почему-то раз десять повторялось слово «сторожко» («она сторожко улыбку роняла», «зацветали каштаны сторожко»). После перерыва густо пошел поэт: высокий юноша с пуговичным лицом, другой, низенький, но с большим носом, барышня, пожилой в пенснэ, еще барышня, еще молодой, наконец — Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих тихо и вяло пробормотавший свои стихи, но в них сама по себе жила такая музыка, в темном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки и так изумительно было, что вот, из тех же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое-то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеродное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были непритворны. Последним выступил Годунов-Чердынцев. Он прочел из сочиненных за лето стихотворений те, которые Елизавета Павловна так любила, — русское:

Березы желтые немеют в небе синем... —

и берлинское, начинающееся строфой:

Здесь все так плоско, так непрочно,
так плохо сделана луна,
хотя из Гамбурга нарочно
она сюда привезена... —

и то, которое больше всего ее трогало, хотя она как-то не связывала его с памятью молодой женщины, давно умершей, которую Федор в шестнадцать лет любил:

Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
«Скажи мне, — спросил я, — до гроба
запомнишь — вон ласточку ту?»
И ты отвечала: «Еще бы!»

И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету...
До завтра, навеки, до гроба, —
однажды, на старом мосту...

Но было уже поздно, многие продвигались к выходу, какая-то дама одевалась спиной к эстраде, ему аплодировали жидко... Чернела на улице сырая ночь, с бешеным ветром: никогда, никогда не доберемся домой. Но все-таки трамвай пришел, и, повисая в проходе на ремне, над молчаливо сидящей у окна матерью, Федор Константинович с тяжелым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах-щелях, об утечке поэзии, и в то же время с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением уже искал создания чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, который он как бремя чувствовал в себе.

Накануне ее отъезда они вдвоем поздно засиделись в его комнате, она в кресле, легко и ловко (а ведь прежде вовсе не умела) штопала и подшивала его бедные вещи, а он, на диване, грызя ногти, читал толстую, потрепанную книгу; раньше, в юности, пропускал некоторые страницы, — «Анджело», «Путешествие в Арзрум», — но последнее время именно в них находил особенное наслаждение: только что

попались слова: «Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой», как вдруг его что-то сильно и сладко кольнуло. Еще не понимая, он отложил книгу и слепыми пальцами полез в картонку с набитыми папиросами. В ту же минуту мать, не поднимая головы, сказала: «Что я сейчас вспомнила! Смешные двустишия о бабочках, которые ты с ним вместе сочинял, когда гуляли, — помнишь: “Надет у fraxini под шубой фрак синий”». — «Да, — ответил Федор, — некоторые были прямо эпические: “То не лист, дар Борея, то сидит arborea”». (Что это было! Самый первый экземпляр отец только что привез из путешествия, найдя его во время переднего пути по Сибири, — еще даже не успел описать, — а в первый же день по приезде, в лешинском парке, в двух шагах от дома, вовсе не думая о бабочках, гуляя с женой, с детьми, бросая теннисный мяч фокс-терьерам, наслаждаясь возвращением, нежной погодой, здоровьем и веселостью семьи, но бессознательно, опытным взглядом ловца замечая всякое попадавшееся на пути насекомое, он внезапно указал Федору концом трости на пухленького, рыжеватого, с волнистым вырезом крыльев, шелкопряда из рода листоподобных, спавшего на стебельке, под кустом; хотел было пройти мимо, — в этом роде виды друг на друга похожи, — но вдруг сам присел, наморщил лоб, осмотрел находку и вдруг сказал ярким голосом: «Well, I'm damned![1] Стоило так далеко таскаться». — «Я тебе всегда говорила», — смеясь вставила мать. Мохнатое, крошечное чудовище в его руке было как раз привезенная им новинка, — и где, в Петербургской губернии, фауна которой так хорошо исследована! Но, как часто бывает, разыгравшаяся сила совпадения на этом не остановилась, ее хватило еще на один перегон, — ибо через несколько дней выяснилось, что эта новая бабочка только что описана, по петербургским же экземплярам, одним из коллег отца, — и Федор всю ночь проплакал: опередили!)

И вот она собралась обратно в Париж. В ожидании поезда они долго стояли на узком дебаркадере, у подъемной машины для багажа, а на других линиях задерживались

---

[1] Будь я проклят! *(Англ.)*

на минуту, торопливо хлопая дверьми, грустные городские поезда. Влетел парижский скорый. Мать села и тотчас высунулась из окна, улыбаясь. У соседнего добротного спального вагона, провожая какую-то простенькую старушку, стояла бледная, красноротая красавица, в черном шелковом пальто с высоким меховым воротом, и знаменитый летчик-акробат: все смотрели на него, на его кашнэ, на его спину, словно искали на ней крыльев.

«Хочу тебе кое-что предложить, — весело сказала мать на прощание. — У меня осталось около семидесяти марок, они мне совершенно не нужны, а тебе необходимо лучше питаться, не могу видеть, какой ты худенький. На, возьми». — «Avec joie»[1], — ответил он, зараз вообразив годовой билет на посещение государственной библиотеки, молочный шоколад и корыстную молоденькую немку, которую иногда, в грубую минутку, все собирался себе подыскать.

Задумчивый, рассеянный, смутно мучимый мыслью, что матери он как бы не сказал самого главного, Федор Константинович вернулся к себе, разулся, отломил с обрывком серебра угол плитки, придвинул к себе раскрытую на диване книгу... «Жатва струилась, ожидая серпа». Опять этот божественный укол! А как звала, как подсказывала строка о Тереке («то-то был он ужасен!») или — еще точнее, еще ближе — о татарских женщинах: «Оне сидели верхами, окутанные в чадры: видны были у них только глаза да каблуки».

Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона — и уже знал, чего именно этот звук от него требует. Спустя недели две после отъезда матери он ей написал про то, что замыслил, что замыслить ему помог прозрачный ритм «Арзрума», и она отвечала так, будто уже знала об этом. «Давно я не бывала так счастлива, как с тобой в Берлине, — писала она, — но смотри, это предприятие не из легких, я чувствую всей душой, что ты его осуществишь замечательно, но помни, что нужно много точных сведений и очень мало семейной сентиментальности. Если тебе что нужно, я сообщу тебе все, что могу, но

[1] С удовольствием *(фр.)*.

о специальных сведениях сам позаботься, ведь это главное, возьми все его книги, и книги Григория Ефимовича, и книги великого князя, и еще, и еще, ты, конечно, разберешься в этом, и непременно обратись к Крюгеру, Василию Германовичу, разыщи его, если он еще в Берлине, он с ним раз вместе ездил, помнится, а также к другим, ты лучше меня знаешь к кому, напиши к Авинову, к Верити, напиши к немцу, который до войны приезжал к нам, Бенгас? Бонгас? напиши в Штутгарт, в Лондон, в Тринг, всюду, débrouille-toi[1], ведь сама я ничего в этом не смыслю, и только звучат в ушах эти имена, а как я уверена, что ты справишься, мой милый». Но он еще ждал, — от задуманного труда веяло счастьем, он спешкой боялся это счастье испортить, да и сложная ответственность труда пугала его, он к нему не был еще готов. В течение всей весны продолжая тренировочный режим, он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, — у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. Учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания, он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его, — живым примером служило:

Не приведи Бог видеть русский бунт,
бессмысленный и беспощадный.

Закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами «Пугачева», выученными наизусть. Навстречу шла Каролина Шмидт, девушка сильно нарумяненная, вида скромного и смиренного, купившая кровать, на которой умер Шонинг. За груневальдским лесом курил трубку у своего окна похожий на Симеона Вырина смотритель, и так же стояли горшки с бальзамином. Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов. Он находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосонья.

Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца. Он целовал горячую маленькую руку, принимая ее за другую, крупную, руку, пахнувшую утрен-

---

[1] Поступай как считаешь нужным *(фр.)*.

ним калачом. Он помнил, что няню к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна, — из-за Гатчины, с Суйды: это было в часе езды от их мест — и она тоже говорила «эдак певком». Он слышал, как свежим летним утром, когда спускались к купальне, на дощатой стенке которой золотом переливалось отражение воды, отец с классическим пафосом повторял то, что считал прекраснейшим из всех когда-либо в мире написанных стихов: «Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль», и рыжим крылом да перламутром ниобея мелькала над скабиозами прибрежной лужайки, где в первых числах июня попадался изредка маленький «черный» аполлон.

Без отдыха, с упоением, он теперь (в Берлине с поправкой на тринадцать дней уже тоже было начало июня) по-настоящему готовился к работе, собирал материалы, читал до рассвета, изучал карты, писал письма, видался с нужными людьми. От прозы Пушкина он перешел к его жизни, так что вначале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца. Ученые книги (со штемпелем берлинской библиотеки всегда на девяносто девятой странице), знакомые тома «Путешествия натуралиста» в незнакомых черно-зеленых обложках лежали рядом со старыми русскими журналами, где он искал пушкинский отблеск. Там он однажды наткнулся на замечательные «Очерки прошлого» А. Н. Сухощокова, в которых были, между прочим, две-три страницы, относящиеся к деду, Кириллу Ильичу (отец как-то говорил о них — с неудовольствием), и то, что мемуарист касался его в случайной связи с мыслями о Пушкине, теперь показалось как-то особенно значительным, даром что тот вывел Кирилла Ильича хватом и шелопаем.

«Говорят, — писал Сухощоков, — что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина. Есть нечто соблазнительное, как пропасть, в его роковой участи, да и сам он чувствовал, что с роком у него были и будут особые счеты. В дополнение к поэту, извлекающему поэзию из своего прошедшего, он еще находил ее в трагической мысли о будущем. Тройная формула человеческого бытия: невозвратимость,

несбыточность, неизбежность — была ему хорошо знакома. А как же ему хотелось жить! В уже упомянутом альбоме моей "академической" тетки им было собственноручно записано стихотворение, которое до сих пор помню умом и глазами, так что вижу даже положение его на странице:

О, нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жить люблю.
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость свою.

Еще судьба меня согреет,
Романом гения упьюсь,
Мицкевич пусть еще созреет,
Кой-чем я сам еще займусь.

Ни один поэт, кажется, так часто, то шутя, то суеверно, то вдохновенно-серьезно, не вглядывался в грядущее. До сих пор у нас в Курской губернии живет, перевалив за сто лет, старик, которого помню уже пожилым человеком, придурковатым и недобрым, — а Пушкина с нами нет. Между тем, в течение долгой жизни моей встречаясь с замечательными талантами и переживая замечательные события, я часто задумывался над тем, как отнесся бы он к тому, к этому: ведь он мог бы увидеть освобождение крестьян, мог бы прочитать "Анну Каренину"!.. Возвращаясь теперь к этим моим мечтаниям, вспоминаю, что в юности однажды мне даже было нечто вроде видения. Этот психологический эпизод сопряжен с воспоминанием о лице, здравствующем поныне, которое назову Ч., — да не посетует оно на меня за это оживление далекого прошлого. Мы были знакомы домами, дед мой с его отцом водили некогда дружбу. Будучи в 36-м году за границей, этот Ч., тогда совсем юноша (ему и семнадцати не было), повздорил с семьей, тем ускорив, говорят, кончину своего батюшки, героя Отечественной войны, и в компании с какими-то гамбургскими купцами преспокойно уплыл в Бостон, а оттуда попал в Техас, где успешно занимался скотоводством. Так прошло лет двадцать. Нажитое состояние он проиграл в экартэ на миссисипском кильботе, отыгрался в притонах Нового Орлеана, снова все просадил и после

одной из тех безобразно продолжительных, громких, дымных дуэлей в закрытом помещении, бывших тогда фешионебельными в Луизиане, — да и многих других приключений он заскучал по России, где его, кстати, ждала вотчина, и с той же беспечной легкостью, с какой уезжал, вернулся в Европу. Как-то в зимний день, в 1858 году, он нагрянул к нам на Мойку; отец был в отъезде, гостя принимала молодежь. Глядя на этого заморского щеголя в черной мягкой шляпе и черной одежде, среди романтического мрака коей особенно ослепительно выделялись шелковая, с пышными сборками, рубашка и сине-сиренево-розовый жилет с алмазными пуговицами, мы с братом едва могли сдержать смех и тут же решили воспользоваться тем, что за все эти годы он ровно ничего не слыхал о родине, точно она куда-то провалилась, так что теперь, сорокалетним Рип-ван-Винкелем проснувшись в изменившемся Петербурге, Ч. был жаден до всяческих сведений, которыми мы и принялись обильно снабжать его, причем врали безбожно. На вопрос, например, жив ли Пушкин и что пишет, я кощунственно отвечал, что “как же, на днях тиснул новую поэму”. В тот же вечер мы повели нашего гостя в театр. Вышло, впрочем, не совсем удачно. Вместо того чтобы его попотчевать новой русской комедией, мы показали ему “Отелло” со знаменитым чернокожим трагиком Ольдриджем в главной роли. Нашего плантатора сперва как бы рассмешило появление настоящего негра на сцене. К дивной мощи его игры он остался равнодушен и больше занимался разглядыванием публики, особливо наших петербургских дам (на одной из которых вскоре после того женился), поглощенных в ту минуту завистью к Дездемоне.

“Посмотрите, кто с нами рядом, — вдруг обратился вполголоса мой братец к Ч. — Да вот, справа от нас”.

В соседней ложе сидел старик... Небольшого роста, в поношенном фраке, желтовато-смуглый, с растрепанными пепельными баками и проседью в жидких, взъерошенных волосах, он преоригинально наслаждался игрою африканца: толстые губы вздрагивали, ноздри были раздуты, при иных пассажах он даже подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями.

“Кто же это?” — спросил Ч.

“Как, не узнаете? Вглядитесь хорошенько”.

“Не узнаю”.

Тогда мой брат сделал большие глаза и шепнул:

“Да ведь это Пушкин!”

Ч. поглядел... и через минуту заинтересовался чем-то другим. Мне теперь смешно вспомнить, какое тогда на меня нашло странное настроение: шалость, как это иной раз случается, обернулась не тем боком, и легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть; я не в силах был оторваться от соседней ложи, я смотрел на эти резкие морщины, на широкий нос, на большие уши... по спине пробегали мурашки, вся Отеллова ревность не могла меня отвлечь. Что, если это и впрямь Пушкин, грезилось мне, Пушкин в шестьдесят лет, Пушкин, пощаженный пулей рокового хлыща, Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения... Вот это он, вот эта желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала “Анчар”, “Графа Нулина”, “Египетские Ночи”... Действие кончилось; грянули рукоплескания. Седой Пушкин порывисто встал и, все еще улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах, быстро вышел из ложи».

Сухощоков напрасно рисует моего деда пустоголовым удальцом. Интересы последнего находились просто в другой плоскости, чем мысленный быт молодого петербургского литератора-дилетанта, каким был тогда наш мемуарист. Если Кирилл Ильич и кудесил в молодости, то, женившись, не только остепенился, но поступил на государственную службу, заодно удвоил удачными операциями унаследованное состояние, затем, удалясь в свою деревню, выказал необыкновенное умение в хозяйстве, изобрел мимоходом новый сорт яблок, оставил любопытную «Записку» (плод зимних досугов) о «Равенстве перед законом в царстве животных» да предложение остроумной реформы под модным тогда замысловатым заглавием «Сновидения Египетского Бюрократа», а уже стариком принял важный торгово-дипломатический пост в Лондоне. Он был добр, смел, правдив, с причудами и страстями, — чего еще надобно? В семье осталось предание, что, заклявшись играть, он физически не мог пребывать в комнате, где лежала колода

карт. Старинный кольт, хорошо послуживший ему, и медальон с портретом таинственной женщины притягивали неизъяснимо мечты моего отрочества. Он мирно завершил жизнь, сохранившую до конца свежесть своего грозового начала. В 1883 году, воротясь в Россию, уже не луизианским бретером, а российским сановником, он, в июльский день на кожаном диване, в маленькой, синей угловой комнате, где потом я держал собрание моих бабочек, без мучений скончался, в предсмертном бреду все говоря о каких-то огнях и музыке на какой-то большой реке.

Мой отец родился в 1860 году. Любовь к бабочкам ему привил немец-гувернер (кстати: куда девались нынче эти учившие русских детей природе чудаки, — зеленый сачок, жестянка на перевязи, уколотая бабочками шляпа, длинный ученый нос, невинные глаза за очками, — где они все, где их скелетики, — или это была особая порода немцев, на русский вывод, или я плохо смотрю?). Рано, в 1876 году, окончив в Петербурге гимназию, он университетское образование получил в Англии, в Кембридже, где занимался биологией под руководством профессора Брайте. Первое свое путешествие, кругосветное, он совершил еще до смерти своего отца, и с тех пор до 1918 года вся его жизнь состоит из странствий и писания ученых трудов. Главные эти труды суть: «Lepidoptera Asiatica»[1] (8 томов, выпусками с 1890 года по 1917 год), «Чешуекрылые Российской Империи» (вышли первые 4 тома из предполагавшихся 6-ти, 1912—1916 гг.) и, наиболее известные широкой публике, «Путешествия Натуралиста» (7 томов, 1892—1912 гг.). Эти труды были единогласно признаны классическими, и еще в молодые годы имя его заняло одно из первых мест в изучении состава русско-азиатской фауны, наряду с именами зачинателей, Фишера-фон-Вальдгейма, Менетриэ, Эверсмана.

Он работал в тесной связи со своими замечательными русскими современниками. Холодковский называет его «конквистадором русской энтомологии». Он был сотрудником Шарля Обертюра, вел. кн. Николая Михайловича, Лича, Зайтца. В специальных журналах рассеяны сотни его

---

[1] «Чешуекрылые Азии» *(лат.)*.

статей, из коих первая — «Об особенностях появления некоторых бабочек в Петербургской губернии» (Horae Soc. Ent. Ross.[1]) относится к 1877 году, а последняя — «Austautia simonoides n. sp., a Geometrid moth mimicking a small Parnassius» (Trans. Ent. Soc. London) — к 1916-му. Он едко и веско полемизировал со Штаудингером, автором пресловутого «Katalog». Он был вице-президентом Русского Энтомологического Общества, действительным членом Московского Об-ва Испытателей Природы, членом Императорского Русского Географического О-ва, почетным членом множества ученых обществ за границей.

Между 1885 годом и 1918-м он обошел пространство невероятное, производя съемки пути в пятиверстном масштабе на протяжении многих тысяч верст и собирая поразительные коллекции. За эти годы он совершил восемь крупных экспедиций, длившихся в общей сложности восемнадцать лет; но между ними было еще множество мелких путешествий, «диверсий», как он их называл, причем этой мелочью почитал не только поездки в наименее исследованные европейские страны, но и то кругосветное путешествие, которое проделал в молодости. Взявшись серьезно за Азию, он исследовал Восточную Сибирь, Алтай, Фергану, Памир, Западный Китай, «острова Гобийского моря и его берега», Монголию, «неисправимый материк» Тибета — и в точных, полновесных словах описал свои странствия.

Такова общая схема жизни моего отца, выписанная из энциклопедии. Она еще не поет, но живой голос я в ней уже слышу. Остается сказать, что в 1898 году, имея 38 лет от роду, он женился на Елизавете Павловне Вежиной, двадцатилетней дочке известного государственного деятеля, что у него было от нее двое детей, что в промежутках между его путешествиями — —

Мучительный, едва выразимый словами, чем-то кощунственный вопрос: хорошо ли ей жилось с ним, врозь и вместе? Затронуть ли этот внутренний мир, или ограничиться лишь описанием дорог — arida quaedam viarum

[1] «Временник Российского энтомологического общества» (*лат., сокр. библиогр. описание*).

descripto?[1] «Дорогая мама, у меня уже есть к тебе большая просьба. Сегодня 8 июля, его день рождения. В другой день я бы не решился об этом обращаться к тебе. Напиши мне что-нибудь о нем и себе. Не такое, что могу найти в нашей общей памяти, а такое, что ты одна перечувствовала и сохранила». И вот ответный отрывок: «...представь себе — свадебное путешествие, Пиренеи, дивное блаженство от всего, от солнца, от ручьев, от цветов, от снежных вершин, даже от мух в отелях, — и оттого что мы каждое мгновение вместе. И вот, как-то утром, у меня разболелась, что ли, голова, или было уж чересчур для меня жарко, он сказал, что до завтрака выйдет на полчаса прогуляться. Почему-то запомнилось, что я сидела на балконе отеля (кругом тишина, горы, чудные скалы Гаварни) и в первый раз читала книгу не для девиц, "Une Vie" Мопассана, мне тогда она очень понравилась, помню. Смотрю на часики, вижу, уже пора завтракать, прошло больше часа с тех пор, как он ушел. Жду. Сперва немножко сержусь, потом начинаю тревожиться. Подают на террасе завтрак, не могу ничего съесть. Выхожу на лужайку перед отелем, возвращаюсь к себе, опять выхожу. Еще через час я уже была в неописуемом состоянии ужаса, волнения, Бог знает чего. Я путешествовала впервые, была неопытна и пуглива, а тут еще "Une Vie"... Я решила, что он бросил меня, самые глупые и страшные мысли лезли в голову, день проходил, мне казалось, что служащие смотрят на меня с каким-то злорадством, — ах, не могу тебе описать, что это было! Я даже начала совать платья в чемоданы, чтобы уехать немедленно в Россию, а потом решила вдруг, что он умер, выбежала, начала что-то безумное лепетать людям, посылать в полицию. Вдруг вижу, он идет по лужайке, лицо веселое, каким я его еще не видала, хотя все время был весел, идет, машет мне как ни в чем не бывало, светлые штаны в мокрых зеленых пятнах, панама исчезла, пиджак на боку порван... Я думаю, ты уже понимаешь, что случилось. Слава Богу, по крайней мере, что он ее наконец все-таки поймал, — в платок, на отвесной скале, — а то заночевал бы в горах, как он мне и объяснил преспокойно... Но теперь

[1] Сухое описание неких путей *(искаж. лат.).*

я хочу тебе рассказать другое, из немного более позднего времени, когда я уже знала, что такое всамделишная разлука. Вы были тогда совсем маленькими, тебе шел третий годок, ты не можешь этого помнить. Он весной уехал в Ташкент. Оттуда первого июня должен был отправиться в путешествие и отсутствовать не меньше двух лет. Это уже был второй большой отъезд за наше с ним время. Я теперь часто думаю, что если сложить все те годы, которые он со дня нашей свадьбы провел без меня, то выйдет в общем не больше его теперешнего отсутствия. И еще я думаю о том, что мне тогда казалось иногда, что я несчастна, но теперь я знаю, что я была всегда счастлива, что это несчастие было одной из красок счастья. Словом, я не знаю, что со мной случилось в ту весну, я всегда была как шалая, когда он уезжал, но тогда нашло что-то прямо неприличное. Я вдруг решила, что догоню его и поеду с ним хоть до осени. Я тайком от всех накупила тысячу вещей, я абсолютно не знала, что нужно, но мне казалось, что закупаю все очень хорошо и правильно. Я помню бинокль, и альпеншток, и походную койку, и шлем от солнца, и заячий тулупчик из "Капитанской Дочки", и перламутровый револьверчик, и какую-то брезентовую махину, которой я боялась, и какую-то сложную фляжку, которую не могла развинтить. Одним словом, вспомни снаряжение Tartarin de Tarascon! Как я могла вас маленьких оставить, как я прощалась с вами, — это в каком-то тумане, и я уж не помню, как выскользнула из-под надзора дяди Олега, как добралась до вокзала. Но мне было и страшно и весело, я себя чувствовала молодцом, и на станциях все смотрели на мой английский дорожный костюм с короткой (entendons-nous[1]: по щиколотку) клетчатой юбкой, с биноклем через одно плечо и сакошкой через другое. Такой я выскочила из тарантаса в поселке за Ташкентом, когда увидела, при ярком солнце, никогда не забуду, в ста шагах от дороги, твоего отца: он стоял, поставив ногу на белый камень, а локоть на изгородь, и разговаривал с двумя казаками. Я побежала по щебню, крича и смеясь, он медленно обернулся, и когда я вдруг как дура остановилась перед

[1] Отметим *(фр.)*.

ним, то всю меня осмотрел, прищурился и сказал ужасным неожиданным голосом всего два слова: “Марш домой”. И я сразу повернулась и пошла к своей повозке, и села, и видела, как он совершенно так же опять поставил ногу и облокотился, продолжая разговор с казаками. И вот я ехала назад, в оцепенении, каменная, и только где-то далеко внутри меня шли уже приготовления к буре слез. Ну а через версты три — (и тут в строке письма вдруг пробивалась улыбка) — он меня догнал, в облаке пыли на белом коне, и уж простились мы с ним совсем иначе, так что потом я ехала обратно в Петербург почти такая же бодрая, как уезжала, только все волновалась, что с вами, как вы, но ничего, были здоровеньки».

Нет, — мне почему-то кажется, что я все-таки помню все это, может быть потому, что впоследствии о нем часто говорилось. Вообще весь наш быт был проникнут рассказами об отце, тревогой о нем, ожиданием его возвращения, скрытой грустью проводов и дикой радостью встреч. Отсвет его страсти лежал на всех нас, по-разному окрашенный, по-разному воспринимаемый, но постоянный и привычный. Его домовый музей, где стояли рядами узкие дубовые шкафы с выдвижными стеклянными ящиками, полными распятых бабочек (остальное — растения, жуков, птиц, грызунов и змей — он отдавал на изучение коллегам), где пахло так, как пахнет, должно быть, в раю, и где у столов вдоль цельных окон работали препараторы, был как бы таинственным срединным очагом, освещавшим снутри весь наш петербургский дом, — и только гул Петропавловской пушки мог вторгаться в его тишину. Наши родственники, не энтомологические друзья, прислуга, смиренно-обидчивая Ивонна Ивановна говорили о бабочках не как о чем-то действительно существующем, а как о некоем атрибуте моего отца, существующем только поскольку он сам существует, или как о недуге, с которым все давно привыкли считаться, так что энтомология у нас превращалась в какую-то обиходную галлюцинацию, вроде домашнего, безвредного привидения, которое, никого уже не удивляя, каждый вечер садится у камелька. И вместе с тем никто среди наших несметных дядьев и теток не только не интересовался его наукой, но вряд ли даже прочел тот его

общедоступный труд, который десятки тысяч интеллигентных русских людей читали и перечитывали. Я-то сам и Таня с самого раннего детства оценили отца, и он нам казался еще волшебнее, чем, скажем, Гаральд, о котором он же рассказывал нам, Гаральд, который дрался со львами на Цареградской арене, преследовал разбойников в Сирии, купался в Иордане, брал штурмом восемьдесят крепостей в Африке, «Синей Стране», спасал исландцев от голода, — и был славен от Норвегии до Сицилии, от Йоркшира до Новгорода. Затем, когда и я подпал под обаяние бабочек, в душе у меня что-то раскрылось, и я переживал все путешествия отца, точно их сам совершал, видел во сне вьющуюся дорогу, караван, разноцветные горы, завидовал отцу безумно, мучительно, до слез — горячих и бурных, которые вдруг вырывались у меня за столом, при обсуждении писем от него с дороги или даже при простом упоминании далекой-далекой местности. Каждый год с приближением весны, перед переездом в деревню я чувствовал в себе бедную частицу того, что испытал бы перед отбытием в Тибет. На Невском проспекте, в последних числах марта, когда разлив торцов синел от сырости и солнца, высоко пролетала над экипажами вдоль фасадов домов, мимо Городской думы, липок сквера, статуи Екатерины, первая желтая бабочка. В классе было отворено большое окно, воробьи садились на подоконник, учителя пропускали уроки, оставляя вместо них как бы квадраты голубого неба, с футбольным мячом, падавшим из голубизны. Почему-то по географии у меня был всегда дурной балл, а ведь с каким выражением наш географ, случалось, упоминал имя моего отца, как при этом обращались ко мне любопытные глаза моих товарищей, как у меня самого от стесненного восторга и боязни восторг выказать приливала и отливала кровь, — и ныне, когда я думаю о том, как мало знаю, как легко могу совершить где-нибудь дурацкий промах, описывая исследования отца, я вспоминаю себе на пользу и утешение его смешнейший смешок, когда, посмотрев мимоходом книжонку, рекомендованную нам в школе тем же географом, нашел очаровательный ляпсус, сделанный компиляторшей (некой госпожой Лялиной), которая, невинно обрабатывая Пржевальского для среднеучебных заведений,

приняла, видимо, солдатскую прямоту слога в одном из его писем за орнитологическую деталь: «Жители Пекина льют все помои на улицу, и здесь постоянно можно видеть, идя по улице, сидящих орлов, то справа, то слева».

В начале апреля, открывая охоту, члены Русского Энтомологического Общества по традиции отправлялись за Черную Речку, где, в березовой роще, еще голой и мокрой, еще в проплешинах ноздреватого снега, водилась на стволах, плашмя прижимаясь к бересте прозрачными слабыми крыльцами, излюбленная нами редкость, специальность губернии. Раза два они брали с собой и меня. Среди этих пожилых, семейных людей, сосредоточенно и осторожно колдующих в апрельском лесочке, был и старый театральный критик, и врач-гинеколог, и профессор международного права, и генерал, — я почему-то особенно ясно запомнил фигуру этого генерала (Х. В. Барановского — в нем было что-то пасхальное), низко согнувшего толстую спину, одну руку за нее заложившего, рядом с фигурой отца, как-то легко, по-восточному, присевшего на корточки, — оба со вниманием рассматривают вырытую совком горсточку рыжей земли, — и до сих пор меня занимает мысль, что думали обо всем этом ожидавшие на дороге кучера.

Случалось, летним утром вплывала в нашу классную бабушка, Ольга Ивановна Вежина, полная, свежая, в митенках и кружевах: «Bonjour, les enfants», — выпевала она звучно, и затем, делая сильное ударение на предлогах, сообщала: «Je viens de voir *dans* le jardin, *près* du cèdre, *sur* une rose un papillon de toute beauté: il était bleu, vert, pourpre, doré, — et grand comme ça»[1]. «Живо бери рампетку, — продолжала она, обращаясь ко мне, — и ступай в сад. Может, еще застанешь», — и уплывала, совершенно не поняв, что попадись мне такое сказочное насекомое (даже не стоило гадать, какую садовую банальность так украсило ее воображение), то я бы умер от разрыва сердца. Случалось, француженка наша, желая мне сделать особое удовольствие, выбирала мне для выучивания наизусть басню Флориана

---

[1] Доброе утро, дети... Я только что видела в саду, возле кедра, на розе необычайно красивую бабочку: синюю, зеленую, золотистую — и вот такую огромную *(фр.)*.

о столь же неестественно нарядном пти-метре мотыльке. Случалось, какая-нибудь тетка мне дарила книгу Фабра, к популярным трудам которого, полным болтовни, неточных наблюдений и прямых ошибок, отец относился с пренебрежением. Помню еще: хватился я однажды сачка, вышел искать его на веранду и встретил откуда-то возвращавшегося с ним на плече, раскрасневшегося, с ласковой и лукавой усмешкой на малиновых губах, денщика моего дяди: «Ну уж и наловил я вам», — сообщил он довольным голосом, как-то свалив на пол сачок, сетка которого была поближе к обручу перехвачена какой-то веревочкой, так что получился мешок, в котором кишела и шуршала всякая живность, — и Боже мой, что тут была за дрянь: штук тридцать кузнечиков, головка ромашки, две стрекозы, колосья, песок, обитая до неузнаваемости капустница да еще подосиновый гриб, замеченный по пути и на всякий случай прибавленный. Русский простолюдин знает и любит родную природу. Сколько насмешек, сколько предположений и вопросов мне доводилось слышать, когда, превозмогая неловкость, я шел через деревню со своей сеткой! «Ну это что, — говорил отец, — видел бы ты физиономии китайцев, когда я однажды коллекционировал на какой-то священной горе, или как на меня посмотрела передовая учительница в городе Верном, когда я объяснил ей, чем занят в овраге».

Как описать блаженство наших прогулок с отцом по лесам, полям, торфяным болотам, или постоянную летнюю мысль о нем, если был в отъезде, вечное мечтание сделать какое-нибудь открытие, встретить его этим открытием, — как описать чувство, испытываемое мной, когда он мне показывал все те места, где сам в детстве ловил то-то и то-то, — бревно полусгнившего мостика, где в 71-м поймал павлиний глаз, спуск дороги к реке, на котором однажды упал на колени, плача и молясь: промахнулся, и навсегда улетела! А что за прелесть была в его речи, в какой-то особой плавности и стройности слога, когда он говорил о своем предмете, какая ласковая точность в движении пальцев, вертящих винт расправилки или микроскопа, какой поистине волшебный мир открывался в его уроках! Да, я знаю, что так не следует писать, — на этих возгласах

вглубь не уедешь, — но мое перо еще не привыкло следовать очертаниям его образа, мне самому противны эти вспомогательные завитки. О, не смотри на меня, мое детство, этими большими, испуганными глазами.

Сладость уроков! В теплый вечер он водил меня на прудок, наблюдать, как осиновый бражник маячит над самой водой, окунает в нее кончик тела. Он показывал мне препарирование генитальной арматуры для определения видов, по внешности неразличимых. Он с особенной улыбкой обращал внимание мое на черных бабочек в нашем парке, с таинственной и грациозной нежданностью появлявшихся только в четные года. Он мешал для меня патоку с пивом, чтобы в страшно холодную, страшно дождливую осеннюю ночь ловить у смазанных стволов, блестевших при свете керосиновой лампы, множество больших, нырявших, безмолвно спешивших на приманку ночниц. Он то согревал, то охлаждал золотые куколки моих крапивниц, чтобы я мог получать из них корсиканских, полярных и вовсе необыкновенных, точно испачканных в смоле, с приставшим шелковым пушком. Он учил меня, как разобрать муравейник, чтобы найти гусеницу голубянки, там заключившую с жителями варварский союз, и я видел, как, жадно щекоча сяжками один из сегментов ее неповоротливого, слизнеподобного тельца, муравей заставлял ее выделить каплю пьяного сока, тут же поглощаемую им, — а за то предоставлял ей в пищу свои же личинки, так, как если б коровы нам давали шартрез, а мы — им на съедение младенцев. Но сильная гусеница одного экзотического вида до этого обмена не снисходит, запросто пожирая муравьиных детей и затем обращаясь в непроницаемую куколку, — которую наконец, к сроку вылупления, муравьи (эти недоучки опыта) окружают, выжидая появления беспомощно сморщенной бабочки, чтобы броситься на нее; бросаются, — а всетаки она не гибнет: «Никогда я так не смеялся, — говорил отец, — как когда убедился, что ее снабдила природа клейким составом, от которого слипались усики и лапки рьяных муравьев, теперь уже валявшихся и корчившихся вокруг нее, пока у нее самой, равнодушной и неуязвимой, крепли и сохли крылья».

Он рассказывал о запахах бабочек — мускусных, ванильных; о голосах бабочек: о пронзительном звуке, издаваемом чудовищной гусеницей малайского сумеречника, усовершенствовавшей мышиный писк нашей адамовой головы; о маленьком звучном тимпане некоторых арктид; о хитрой бабочке в бразильском лесу, подражающей свиресту одной тамошней птички. Он рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая необъяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих (малоразборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых), и словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека (догадка, которая могла бы далеко увести эволюциониста, наблюдавшего питающихся бабочками обезьян); он рассказывал об этих магических масках мимикрии: о громадной ночнице, в состоянии покоя принимающей образ глядящей на вас змеи; об одной тропической пяденице, окрашенной в точное подобие определенного вида денницы, бесконечно от нее отдаленной в системе природы, причем ради смеха иллюзия оранжевого брюшка, имеющегося у одной, складывается у другой из оранжевых пахов нижних крыльев; и о своеобразном гареме знаменитого африканского кавалера, самка которого летает в нескольких мимических разновидностях, цветом, формой и даже полетом подражающих бабочкам других пород (будто бы несъедобным), являющимся моделью и для множества других подражательниц. Он рассказывал о миграции, о том, как движется по синеве длинное облако, состоящее из миллионов белянок, равнодушное к направлению ветра, всегда на одном и том же уровне над землей, мягко и плавно поднимаясь через холмы и опять погружаясь в долины, случайно встречаясь, быть может, с облаком других бабочек, желтых, просачиваясь сквозь него без задержки, не замарав белизны, — и дальше плывя, а к ночи садясь на деревья, которые до утра стоят как осыпанные снегом, — и снова снимаясь, чтобы продолжить путь, — куда? зачем? природой еще не досказано — или уже забыто. «Наша репейница, — рассказывал он, — “крашеная дама” англичан, “красавица” французов, в отличие от родственных ей видов, не зимует

в Европе, а рождается в африканской степи; там, на заре, удачливый путник может услышать, как вся степь, блистая в первых лучах, трещит и хрустит от несчетного количества лопающихся хризалид». Оттуда без промедления она пускается в северный путь, ранней весной достигая берегов Европы, вдруг на день, на два оживляя крымские сады и террасы Ривьеры; не задерживаясь, но всюду оставляя особей на летний развод, поднимается дальше на север и к концу мая, уже одиночками, достигает Шотландии, Гельголанда, наших мест, а там и крайнего севера земли: ее ловили в Исландии! Странным, ни на что не похожим полетом, бледная, едва узнаваемая, обезумелая бабочка, избрав сухую прогалину, «колесит» между лешинских елок, а к концу лета, на чертополохе, на астрах, уже наслаждается жизнью ее прелестное, розоватое потомство. «Самое трогательное, — добавлял отец, — это то, что в первые холодные дни наблюдается обратное явление, отлив: бабочка стремится на юг, на зимовку, но, разумеется, гибнет, не долетев до тепла».

Одновременно с англичанином Tutt, в швейцарских горах наблюдавшим то же, что и он на Памире, мой отец открыл истинную природу роговистого образования, появляющегося под концом брюшка у оплодотворенных самок аполлонов, выяснив, что это супруг, работая парой шпадлевидных отростков, налагает на супругу лепной пояс верности собственной выделки, получающийся другим у каждого из видов этого рода, то лодочкой, то улиткой, то — как у редчайшего темно-пепельного orpheus Godunov — наподобие маленькой лиры. И как frontispiece к моему теперешнему труду мне почему-то хотелось бы выставить именно эту бабочку, — ах, как он говорил о ней, как вынимал из шести плотных треугольных конвертов шесть привезенных экземпляров, приближал к брюшку единственной самочки лупу, вставленную в глаз, — и как набожно его препаратор размачивал сухие, лоснистые, тесно сложенные крылья, чтобы потом гладко пронзить булавкой грудку бабочки, воткнуть ее в пробковую щель и широкими полосками полупрозрачной бумаги плоско закрепить на дощечках как-то откровенно-беззащитно-изящно распахнутую красоту, да подложить под брюшко ватку, да выправить черные

сяжки, — чтобы она так высохла навеки. Навеки? В берлинском музее многочисленные бабочки отцовского улова так же свежи сегодня, как были в восьмидесятых, девяностых годах. Бабочки из собрания Линнея хранятся в Лондоне с восемнадцатого века. В пражском музее есть тот самый экземпляр популярной бабочки-атлас, которым любовалась Екатерина Великая. Отчего же мне стало так грустно?

Его поимки, наблюдения, звук голоса в ученых словах, все это, думается мне, я сберегу. Но это так еще мало. Мне хотелось бы с такой относительной вечностью удержать то, что, быть может, я всего более любил в нем: его живую мужественность, непреклонность и независимость его, холод и жар его личности, власть над всем, за что он ни брался. Точно играючи, точно желая мимоходом запечатлеть свою силу на всем, он, там и сям выбирая предмет из области вне энтомологии, оставил след почти во всех отраслях естествоведения: есть только одно растение, описанное им, из всех им собранных, но это зато — замечательный вид березы; одна птица — дивнейший фазан; одна летучая мышь — но самая крупная в мире. И во всех концах природы бесконечное число раз отзывается наша фамилия, ибо другие натуралисты именем его называли кто паука, кто рододендрон, кто горный хребет, — последнее, кстати сказать, его сердило: «Выяснить и сохранить давнее туземное название перевала, — писал он, — всегда и научнее и благороднее, чем нахлобучить на него имя доброго знакомого».

Мне нравилась, — я только теперь понимаю, как это нравилось мне, — та особая вольная сноровка, которая появлялась у него при обращении с лошадью, с собакой, с ружьем, птицей или крестьянским мальчиком с вершковой занозой в спине, — к нему вечно водили раненых, покалеченных, даже немощных, даже беременных баб, воспринимая, должно быть, его таинственное занятие как знахарство. Мне нравилось то, что в отличие от большинства нерусских путешественников, например Свен Гедина, он никогда не менял своей одежды на китайскую, когда странствовал; вообще держался независимо; был до крайности суров и решителен в своих отношениях с туземцами, ни-

каких не давая поблажек мандаринам и ламам; на стоянках упражнялся в стрельбе, что служило превосходным средством против всяких приставаний. Этнография не интересовала его вовсе, что некоторых географов весьма почему-то раздражало, а большой приятель его, ориенталист Кривцов, чуть ли не плача укорял его: «Хоть бы ты одну свадебную песенку привез, Константин Кириллович, хоть бы одежку какую изобразил». Был один казанский профессор, который особенно нападал на него, исходя из каких-то гуманитарно-либеральных предпосылок, обличая его в научном аристократизме, в надменном презрении к Человеку, в невнимании к интересам читателя, в опасном чудачестве, — и еще во многом другом. А как-то, на международном банкете в Лондоне (и этот эпизод мне нравится всего больше), Свен Гедин, сидевший с моим отцом рядом, спросил его, как это так случилось, что, неслыханно свободно путешествуя по запретным местам Тибета, в непосредственной близости Лхассы, он не осмотрел ее, на что отец отвечал, что ему не хотелось пожертвовать ни одним часом охоты ради посещения еще одного вонючего городка (one more filthy little town), — и я так ясно вижу, как он, должно быть, прищурился при этом.

Он был наделен ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором; когда же он сердился, гнев его был как внезапно ударивший мороз (бабушка, за его спиной, говорила, что: «Все часы в доме остановились»), и я хорошо помню эти внезапные молчания за столом, и сразу появлявшееся какое-то рассеянное выражение на лице у матери (недоброжелательницы из нашей родни уверяли, что она «трепещет перед Костей»), и как в конце стола иная из гувернанток поспешно прикрывала ладошкой зазвеневший было стакан. Причиной его гнева мог быть чей-нибудь промах, просчет управляющего (отец хорошо разбирался в хозяйстве), легкомысленное суждение о близком ему человеке, политическая пошлость в базарно-патриотическом духе, развиваемая незадачливым гостем, и наконец — какой-нибудь мой проступок. Он, перебивший на своем веку тьму-тьмущую птиц, он, привезший однажды только что женившемуся ботанику Бергу целиком в е с ь растительный покров горной разноцветной лужайки

величиною с площадь комнаты (я его и представил себе так — свернутым в ящике, как персидский ковер), найденный где-то на страшной высоте, среди голых скал и снегов, — он не мог мне простить лешинского воробья, зря подстреленного из «монте-кристо», или шашкой изрубленную мною осинку на берегу пруда. Он не терпел мешканья, неуверенности, мигающих глаз лжи, не терпел ничего приторного и притворного, — и я уверен, что уличи он меня в физической трусости, то меня бы он проклял.

Я еще не все сказал; я подхожу к самому, может быть, главному. В моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами: дымка, тайна, загадочная недоговоренность, которая чувствовалась мной то больше, то меньше. Это было так, словно этот настоящий, очень настоящий человек был овеян чем-то, еще неизвестным, но что, может быть, было в нем самым-самым настоящим. Оно не имело прямого отношения ни к нам, ни к моей матери, ни к внешности жизни, ни даже к бабочкам (ближе всего к ним, пожалуй); это была и не задумчивость, и не печаль, — и нет у меня способа объяснить то впечатление, которое производило на меня его лицо, когда я извне подсматривал, сквозь окно кабинета, как, забыв вдруг работу (я в себе чувствовал, как он ее забыл, — словно провалилось или затихло что-то), слегка отвернув большую, умную голову от письменного стола и подперев ее кулаком, так что от щеки к виску поднималась широкая складка, он сидел с минуту неподвижно. Мне иногда кажется теперь, что, как знать, может быть, удаляясь в свои путешествия, он не столько чего-то искал, сколько бежал от чего-то, а затем, возвратившись, понимал, что оно все еще с ним, в нем, неизбывное, неисчерпаемое. Тайне его я не могу подыскать имени, но только знаю, что оттого-то и получалось то особое — и не радостное, и не угрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств — одиночество, в которое ни мать моя, ни все энтомологи мира не были вхожи. И странно: может быть, наш усадебный сторож, корявый старик, дважды опаленный ночной молнией, единственный из людей нашего деревенского окружения научившийся без помощи отца (научившего этому целый полк азиатских

охотников) поймать и убить бабочку, не обратив ее в кашу (что, конечно, не мешало ему деловито советовать мне не торопиться весной ловить мелких бабочек, «малявок», как он выражался, а дожидаться лета, когда они подрастут), именно он искренне и без всякого страха и удивления считавший, что мой отец знает кое-что такое, чего не знает никто, был по-своему прав.

Как бы то ни было, но я убежден ныне, что тогда наша жизнь была действительно проникнута каким-то волшебством, неизвестным в других семьях. От бесед с отцом, от мечтаний в его отсутствие, от соседства тысячи книг, полных рисунков животных, от драгоценных отливов коллекций, от карт, от всей этой геральдики природы и каббалистики латинских имен, жизнь приобретала такую колдовскую легкость, что казалось — вот сейчас тронусь в путь. Оттуда я и теперь занимаю крылья. В кабинете отца между старыми, смирными семейными фотографиями в бархатных рамках висела копия с картины: Марко Поло покидает Венецию. Она была румяна, эта Венеция, а вода ее лагун — лазорева, с лебедями вдвое крупнее лодок, в одну из коих спускались по доске маленькие фиолетовые люди, чтобы сесть на корабль, ждущий поодаль со свернутыми парусами, — и я не могу отделаться от этой таинственной красоты, от этих древних красок, плывущих перед глазами как бы в поисках новых очертаний, когда теперь воображаю снаряжение отцовского каравана в Пржевальске, куда обычно сам он прибывал из Ташкента на почтовых, вперед отправив на протяжных груз запасов на три года. Его казаки по соседним аулам закупали лошадей, ишаков, верблюдов; готовились вьючные ящики и сумы (чего только не было в этих веками испытанных сартских ягтанах и кожаных мешках, от коньяка до дробленого гороха, от серебра в слитках до гвоздей для подков); и после панихиды на берегу озера у могильной скалы Пржевальского, увенчанной бронзовым орлом — вокруг которого безбоязненно располагались местные фазаны, — караван трогался в путь.

Я вижу затем, как, прежде чем втянуться в горы, он вьется между холмами райски-зеленой окраски, столько же зависящей от их травяного покрова, кипца, сколько от

яблочно-яркой породы, эпидотового сланца, слагающей их. Идут гуськом, эшелонами, плотные, сбитые калмыцкие лошади: парные, ровного веса вьюки охвачены арканом дважды, так, чтобы не ерзало ничто, и каждый эшелон ведет за повод казак. Впереди каравана, с берданкой за плечом и сеткой для бабочек наготове, в очках, в коломянковой блузе, верхом на белом своем тропотуне едет отец в сопровождении джигита. Позади же отряда — геодезист Куницын (так я это вижу), величавый старик, невозмутимо пространствовавший полвека, со своими инструментами в футлярах — хронометрами, буссолями, искусственным горизонтом, — и когда он останавливается, чтобы делать засечки да записывать азимуты в журнал, его лошадь держит препаратор, маленький, анемичный немец, Иван Иванович Вискотт, бывший гатчинский аптекарь, которого мой отец когда-то научил приготовлению птичьих шкурок и который с тех пор участвовал во всех его экспедициях, покамест не помер от гангрены летом 1903 года в Дын-Коу.

Далее я вижу горы: хребет Тянь-Шань. В поисках перевалов (нанесенных на карты по расспросным данным, но впервые исследованных отцом) караван поднимался по кручам, по узким карнизам, соскальзывал на север, в степь, кишевшую сайгачатами, и поднимался опять на юг, тут переходя вброд потоки, там стараясь пройти в полную воду, — и вверх, вверх по едва проходимым тропам. Как играло солнце! От сухости воздуха была поразительно резка разница между светом и тенью: на свету такие вспышки, такое обилие блеска, что порой невозможно смотреть на скалу, на ручей; в тени же — мрак, поглощающий подробности: так что всякая краска жила волшебно умноженной жизнью и менялась масть лошадей, входивших в тополевую прохладу.

От гула воды в ущелье человек обалдевал; каким-то электрическим волнением наполнялась грудь и голова; вода мчалась со страшной силой, гладкая, однако, как раскаленный свинец, но вдруг чудовищно надувалась, достигнув порога, громоздя разноцветные волны, с бешеным ревом падая через блестящие лбы камней, и с трех саженей высоты, из-под радуг рухнув во мрак, бежала дальше уже

по-другому: клокоча, вся сизая и снежная от пены, и так ударялась то в одну, то в другую сторону конгломератового каньона, что казалось, не выдержит гудящая крепь горы, по скатам которой меж тем в блаженной тишине цвели ирисы, — и вдруг из еловой черни на ослепительную альпийскую поляну вылетало стадо маралов, останавливалось, трепеща... нет, это лишь воздух трепетал, — они уже скрылись.

Особенно ясно я себе представляю — среди всей этой прозрачной и переменчивой обстановки, — главное и постоянное занятие моего отца, занятие, ради которого он только и предпринимал эти огромные путешествия. Я вижу, как, наклоняясь с седла, среди грохота скользящих каменьев, он сачком на длинном древке зацепляет с размаху и быстрым поворотом кисти закручивает (так, чтобы полный шуршащего биения конец кисейного мешка перелег через обруч) какого-нибудь царственного родственника наших аполлонов, рыщущим полетом несущегося над опасными осыпями; и не только он сам, но и другие наездники (младший урядник Семен Жаркой, например, или бурят Буянтуев, или еще тот представитель мой, которого в течение всего моего отрочества я посылал вдогонку отцу), бесстрашно лепясь по скалам, преследуют белую, многоочитую бабочку, ловят ее наконец; — и вот она в пальцах отца, мертвая, с загнутым книзу, желтовато-волосистым, похожим на вербную сережку, телом и с кровавым крапом у корней сложенных крыльев, глянцевито-хрустких с исподу.

Он избегал мешкать, особенно для ночевок, на китайских постоялых дворах, не любя их за «суету, лишенную души», т. е. состоящую из одних криков, без малейшего намека на смех; но странно — потом в его памяти запах этих таней, этот особый воздух всякого места китайской оседлости — прогорклая смесь кухонного чада, дыма от сжигаемого назема, опия и конюшни — говорил ему больше о его любимой охоте, нежели вспоминаемое благовоние нагорных лугов.

Передвигаясь с караваном по Тянь-Шаню, я вижу теперь, как близится вечер, натягивая тень на горные скаты. Отложив на утро трудную переправу (через бурную реку

переброшен ветхий мост с каменными плитами поверх хвороста, а на той стороне подъем крутенек, а главное — гладок, как стекло), караван расположился на ночлег. Пока еще держатся закатные краски на воздушных ярусах неба и готовится ужин, казаки, сняв с животных сперва потники и войлочные подкидки, промывают им раны, набитые вьюками. В потухающем воздухе стоит чистый звон ковки поверх широкого шума воды. Совсем стемнело. Отец поднялся на скалу, ища места, где приладить калильную лампу для ловли ночниц. Оттуда, в китайской перспективе (сверху) виднеется в глубоком ущелье прозрачная среди мрака краснота костра; сквозь края его дышащего пламени как бы плавают плечистые тени людей, меняющие без конца очертания, и красный отблеск дрожит, но не трогается с места, на клокочущей воде реки. А наверху тихо и темно, только изредка позванивает колокольчик: это меж гранитных осколков бродят лошади, уже выстоявшиеся и получившие свою дачу сухого фуража. Над головой, в какой-то страшной и восхитительной близости, вызвездило, да так, что каждая звезда выделяется, как живое ядрышко, ясно обнаруживая свою шарообразную сущность. Начинается лет ночных бабочек, привлеченных лампой: они описывают бешеные круги вокруг нее, ударяясь со звоном в рефлектор, падают, ползают в кругу света по разложенному полотну, седенькие, с горящими угольками глаз, трепеща, снимаясь и падая снова, — и неторопливо-ловкая, большая, яркая рука с миндалевидными ногтями совку за совкой загребает в морилку.

Иногда он бывал совершенно один, — не было даже и этого соседства спящих людей в походных шатрах, на войлоках, вокруг верблюда, уложенного на кострище. Пользуясь продолжительными стоянками в местах, богатых кормом для караванных животных, отец на несколько суток уезжал на разведки и при этом, увлекаясь какой-нибудь новой пьеридой, не раз пренебрегал правилом горной охоты: никогда не двигаться по пути, по которому нет возврата. И ныне я все спрашиваю себя, о чем он, бывало, думал среди одинокой ночи: я страстно стараюсь учуять во мраке течение его мыслей и гораздо меньше успеваю в этом, чем в мысленном посещении мест, никогда не виданных мной.

О чем, о чем он думал? О недавней поимке? О моей матери, о нас? О врожденной странности человеческой жизни, ощущение которой он таинственно мне передал? Или, может быть, я напрасно навязываю ему задним числом тайну, которую он теперь носит с собой, когда, по-новому угрюмый, озабоченный, скрывающий боль неведомой раны, смерть скрывающий, как некий стыд, он появляется в моих снах, но которой тогда не было в нем, — а просто он был счастлив среди еще недоназванного мира, в котором он при каждом шаге безымянное именовал.

Проведя все лето в горах (не одно, а несколько, в разные годы, которые накладываются друг на друга просвечивающими пластами), наш караван направился на восток и вышел по сквозному ущелью в каменистую пустыню. Там мало-помалу исчезли и русло ручья, разбиваясь на веер, и до последней крайности верная путнику растительность: чахлый саксаул, чий, хвойник. Завьючив верблюдов водою, мы углубились в эти призрачные дебри, где крупная галька кое-где сплошь покрывала вязкую, красно-бурую глину пустыни, испещренной там и сям налетами грязного снега да выцветами соли, которые мы принимали издали за стены искомого города. Дорога была опасна вследствие страшных бурь, когда в полдень все застилала соленая коричневая мгла, гремел ветер, по лицу хлестала мелкая галька, верблюды лежали, а нашу брезентовую палатку рвало в клочки. Из-за этих бурь поверхность земли изменилась невероятно, представляя диковинные очертания каких-то замков, колоннад, лестниц; или же ураган выдувал котловину, — словно тут, в этой пустыне, еще действовали сгоряча стихийные силы, лепившие мир. Но бывали и дни чудного затишья, когда мимическими трелями заливались рогатые жаворонки (отец метко звал их «смешливыми») и сопровождали наших похудевших животных стаи обыкновенных воробьев. Бывало, мы дневали в одиноких селениях, состоявших из двух-трех дворов и развалившейся кумирни. Нападали, бывало, тангуты — в бараньих шубах и красно-синих, шерстяных сапогах: мгновенный пестрый эпизод среди пути. Бывали и миражи, причем природа, эта дивная обманщица, доходила до сущих чудес: видения

воды стояли столь ясные, что в них отражались соседние, настоящие скалы!

Далее шли тихие гобийские пески, проходил бархан за барханом, как волны, открывая короткие охряные горизонты, и только слышалось среди бархатного воздуха тяжелое, учащенное дыхание верблюдов да шорох их широких лап. То поднимаясь на гребень барханов, то погружаясь, шел караван, и к вечеру тень его принимала огромные размеры. Пятикаратный алмаз Венеры на западе исчезал вместе с вечерней зарей, которая все искажала бланжевым, оранжевым, фиолетовым светом. И отец любил рассказывать, как однажды на таком закате, в 1893 году, в мертвом сердце Гобийской пустыни он повстречал, — сначала приняв их за призраки, занесенные игрою лучей, — двух велосипедистов в китайских сандалиях и круглых фетрах, американцев Сахтлебена и Аллена, невозмутимо совершавших спортивную поездку через всю Азию в Пекин.

Весна ждала нас в горах Нань-Шаня. Все предвещало ее: журчание воды в ручейках, далекий гром реки, свист пищух, живущих в норках на скользком, мокром косогоре, и прелестное пение местного жаворонка, и «масса звуков, происхождение которых трудно себе объяснить» (фраза из записок друга моего отца, Григория Ефимовича Грум-Гржимайло, запомнившаяся мне навеки, полная удивительной музыки правды, именно потому, что это говорит не невежда-поэт, а гениальный естествоиспытатель). На южных склонах уже попадалась первая интересная бабочка — потанинская разновидность бутлеровой белянки, — а в долине, куда мы спустились ключевым логом, мы застали уже настоящее лето. Все склоны были затканы анемонами, примулой. Газель Пржевальского и фазан Штрауха соблазняли стрелков. И какие бывали рассветы! Только в Китае ранний туман так обаятелен, все дрожит, — фантастические очерки фанз, светающие скалы... Точно в пучину, уходит река во мглу предутренних сумерек, которые еще держатся в ущельях; а повыше, вдоль бегущей воды, все играет, все мреет, и уже проснулось на ивах у мельницы целое общество голубых сорок.

В сопровождении человек пятнадцати пеших китайских солдат, вооруженных алебардами и несущих громадные,

дурацки яркие знамена, мы пересекли множество раз хребет по перевалам. Несмотря на середину лета, там ночью стоят такие морозы, что утром цветы подернуты инеем и становятся столь хрупкими, что ломаются под ногами с неожиданным, нежным звоном, а через два часа, лишь только обогреет солнце, вновь сияет, вновь дышит смолою и медом замечательная альпийская флора. Лепясь по крутоярам, продвигались мы под жаркой синевой; прыскали из-под ног кузнечики, собаки бежали, высунув языки, ища защиты от зноя в короткой тени, бросаемой лошадьми. Вода в колодцах пахла порохом. Деревья казались ботаническим бредом: белая с алебастровыми ягодами рябина или береза с красной корой!

Поставя ногу на обломок скалы и слегка опираясь на древко сетки, отец смотрит с высокого отрога, с гольцев Танегмы, на озеро Куку-Нор — огромную площадь темно-синей воды. Там, внизу, в золотистых степях, проносится косяк киангов, а по скалам мелькает тень орла; наверху же — совершенный покой, тишина, прозрачность... и снова я спрашиваю себя, о чем думает отец, когда не занят охотой, а вот так, замерев, стоит... появляясь как бы на гребне моего воспоминания, муча меня, восхищая меня — до боли, до какого-то безумия умиления, зависти и любви, раздражая мне душу своим неуязвимым одиночеством.

Поднимаясь, бывало, по Желтой реке и ее притокам, роскошным сентябрьским утром, в прибрежных лощинах, в зарослях лилий, я с ним ловил кавалера Эльвеза — черное чудо, с хвостами в виде копыт. Перед сном, в ненастные вечера, он читал Горация, Монтэня, Пушкина — три книги, взятых с собой. Как-то зимой, переходя по льду через реку, я издали приметил расположенную поперек нее шеренгу темных предметов, большие рога двадцати диких яков, застигнутых при переправе внезапно образовавшимся льдом; сквозь его толстый хрусталь было ясно видно оцепенение тел в плывущей позе; поднявшиеся надо льдом прекрасные головы казались бы живыми, если бы уже птицы не выклевали им глаз; и почему-то я вспомнил о тиране Шеусине, который вскрывал из любопытства беременных, а однажды, увидав, как в холодное утро носильщики переходят вброд ручей, приказал отрезать им

голени, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится мозг в костях.

В Чанге, во время пожара (горел лес, заготовленный для постройки католической миссии), я видел, как пожилой китаец на безопасном от огня расстоянии, деловито, прилежно, без устали, обливал водой *отблеск* пламени на стенах своего жилища; убедившись в невозможности доказать ему, что дом его не горит, мы предоставили его этому бесплодному занятию.

Нередко приходилось идти напролом, не слушая китайских застращиваний и запрещений: умение метко стрелять — лучший паспорт. В Татцьен-лу по кривым и узким улицам бродили бритоголовые ламы, распространяя слух, что ловлю детей, дабы из глаз их варить зелье для утробы моего «кодака». Там, на склонах снеговых гор, залитых пышной розовой пеной громадных рододендронов (их ветки служили нам по ночам для костра), я в мае разыскал темно-сизую, в оранжевых пятнах, ларву императорского аполлона и его куколку, шелковинкой прицепленную к исподу камня. В тот же день, помнится, был убит белый тибетский медведь и открыта новая змея, питающаяся мышами, причем та мышь, которую я извлек из ее брюха, тоже оказалась неописанным видом. От рододендронов и от увешанных узорным лишаем сосен тянуло дурманом смолы. Невдалеке от меня какие-то знахари с опасливым и хитрым видом конкурентов собирали для своих корыстных нужд китайский ревень, корень которого необыкновенно напоминает гусеницу, вплоть до ее ножек и дыхалец, — а я между тем, переворачивая каменья, любовался гусеницей неизвестной ночницы, являющейся уже не в идее, а с полной конкретностью копией этого корня, так что было не совсем ясно, кто кому подражает — и зачем.

Все врут в Тибете: дьявольски трудно было добиться точных названий мест и указания правильных дорог; невольно и я их обманывал: не умея отличить светловолосого европейца от седого, они меня, молодого человека с выгоревшими от солнца волосами, принимали за глубокого старика. Всюду на гранитных глыбах можно было прочесть «мистическую формулу» — шаманский набор слов, кото-

рый иные поэтические путники «красиво» толкуют как: о, жемчужина в лотосе, о! Ко мне высылались из Лхассы какие-то чиновники, заклинавшие меня о чем-то, грозившие чем-то, — я на них мало обращал внимания; впрочем, помню одного дурака, особенно надоедливого, в желтом шелку, под красным зонтиком; он сидел верхом на муле, природная унылость которого усугублялась присутствием крупных ледяных сосулек под глазами, образовавшихся из замерзших слез.

Я видел с большой высоты темную болотную котловину, всю дрожащую от игры бесчисленных родников, что напоминало ночной небосклон с рассыпанными по нему звездами, — да так и называлась она: Звездная Степь. Перевалы поднимались за облака, переходы были тяжелые. Мы раны вьючных животных смазывали смесью йодоформа и вазелина. Случалось, проночевав в совершенно пустынном месте, вдруг утром видим: широким кольцом вокруг нас выросли за ночь, как черные грибы, юрты разбойников — очень скоро, однако, исчезавшие.

Исследовав тибетские нагорья, я пошел на Лоб-Нор, чтобы уже оттуда возвратиться в Россию. Тарым, одолеваемый пустыней, изнемогая, из самых последних вод образует обширное тростниковое болото, нынешний Кара-Кошук-Куль, Лоб-Нор Пржевальского, — и Лоб-Нор ханских времен, — что бы ни говорил Ритгофен. Оно окаймлено солончаками, но вода солена только у самых берегов, — да и не рос бы камыш вокруг соленого озера. Как-то весной я в пять дней объехал его. Там, в трехсаженных тростниках, мне удалось открыть замечательную полуводяную бабочку с первобытной системой жилок. Кочковатый солончак был усеян раковинами моллюсков. Вечерами, при полном безмолвии, доносились стройные мелодичные звуки лебяжьего полета; желтизна камыша особенно отчетливо выделяла матовую белизну птиц. В сих местах в 1862 году полгода прожило человек шестьдесят староверов с женами и детьми, после чего ушли в Турфан, а куда девались затем — неизвестно.

Далее — пустыня Лоб: каменистая равнина, ярусы глинистых обрывов, стеклянисто-соленые лужи; белое пятнышко в сером воздухе: одинокая пьерида Роборовского,

уносимая ветром. В этой пустыне сохранились следы древней дороги, по которой за шесть веков до меня проходил Марко Поло: указатели ее, сложенные из камней. Как в тибетском ущелье я слышал интересный гул вроде барабанного боя, пугавший наших первых пилигримов, так и в пустыне, во время песчаных бурь, я видел и слышал то же, что Марко Поло: «шепот духов, отзывающих в сторону» и среди странного мерцания воздуха без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц, как-то бесплотно прущих на тебя, насквозь тебя, и вдруг рассеивающихся. В двадцатых годах 14 века, когда великий землепроходец умирал, его друзья, собравшись у его ложа, умоляли его отказаться от того, что казалось им невероятным в его книге, — сбавить ее чудеса путем разумных выпусков; он же ответствовал, что не поведал и половины виденного на самом деле.

Все это волшебно держалось, полное красок и воздуха, с живым движением вблизи и убедительной далью; затем, как дым от дуновения, оно подалось куда-то и расплылось, — и опять Федор Константинович увидел мертвые и невозможные тюльпаны обоев, рыхлый холмик окурков в пепельнице, отражение лампы в черном оконном стекле. Он распахнул окно. Исписанные листы на столе вздрогнули, один завернулся, другой плавно скользнул на пол. В комнате сразу стало сыро и холодно. Внизу, по пустой, темной улице, медленно проехал автомобиль, — и странно, почему-то как раз эта медленность напомнила Федору Константиновичу множество мелких неприятных вещей: только что минувший день, пропущенный урок, — и когда он представил себе, что утром придется звонить обманутому старику, у него сразу стеснилось сердце каким-то отвратительным унынием. Но лишь снова он окно затворил и, уже ощущая пустоту между согнутыми пальцами, повернулся к терпеливо ожидавшей лампе, к рассыпанным черновикам, к еще теплому перу, незаметно скользнувшему в руку (объяснив пустоту и ее восполнив), он сразу попал опять в тот мир, который был столь же ему свойственен, как снег — беляку, как вода — Офелии.

Он помнил с живостью невероятной, словно сохранил тот солнечный день в бархатном футляре, последнее

возвращение отца, в июле 1912 года. Елизавета Павловна уже давно поехала встречать мужа за десять верст на станцию: она всегда встречала его одна, и всегда случалось так, что никто толком не знал, с какой стороны они вернутся, справа ли или слева от дома, так как дорог было две, одна — подлиннее и поглаже — по шоссе и через село, другая — покороче и поухабистей — через Песчанку. Федор на всякий случай надел галифе и приказал оседлать лошадь, — но все равно не мог решиться выехать отцу навстречу, боясь его пропустить. Он тщетно старался справиться с раздувшимся, преувеличенным временем. Редкая бабочка, на днях пойманная среди гонобобля торфяного болота, еще не высохла на расправилке: он все трогал кончиком булавки ее брюшко, — увы, оно было еще мягкое, значит, нельзя было снять бумажных полос, сплошь закрывающих крылья, которые ему так хотелось показать отцу в полной их красоте. Он слонялся по усадьбе в каком-то тяжелом болезненном волнении, завидуя тому, как другие переживают эти крупные, пустые минуты. С речки доносились отчаянно-страстные вопли купавшихся деревенских ребят, и этот гомон, всегда игравший в глубине летнего дня, теперь звучал вроде дальних оваций. Таня восторженно и мощно качалась на качелях в саду, стоя на доске; по летящей белой юбке так мчалась фиолетовая тень листвы, что рябило в глазах, блузка сзади то отставала, то прилипала к спине, обозначая впадину между сведенных лопаток, один фокс-терьер лаял снизу на нее, другой гонялся за трясогузкой, радостно скрипели канаты, и казалось, что Таня взмывает так, чтобы увидеть за деревьями дорогу. Француженка под муаровым зонтиком с давно не слыханной любезностью делилась своими опасениями (поезд опоздает часа на два, а то и совсем не придет) с Браунингом, которого ненавидела, а тот бил себя стеком по краге — он не был полиглотом. Ивонна Ивановна выходила то на одну, то на другую веранду с тем недовольным выражением на маленьком лице, которое у нее всегда появлялось при радостных событиях. Около служб было особое оживление: качали воду, кололи дрова, огородник нес в двух продолговатых, запачканных красным корзинах землянику.

Жаксыбай, пожилой киргиз, коренастый, толстолицый, со сложными морщинами у глаз, спасший в 92-м году Константину Кирилловичу жизнь (застрелил навалившуюся на него медведицу) и живший теперь на покое, больной грыжей, в лешинском доме, надел свой синий бешмет с карманами в виде полумесяцев, лакированные сапоги, красную в блестках тюбетейку, подпоясался шелковым кушаком с кисточками, уселся у кухонного крыльца и долго уже так сидел на угреве, с горящей на груди серебряной цепочкой часов, в тихом и праздничном ожидании.

Вдруг, тяжело взбегая по закругленной тропе, ведущей вниз, к речке, из теневой глубины появился с диким блеском в глазах, с уже кричавшим, но еще беззвучным ртом старый, в седых подусниках, слуга Казимир: прибежал с вестью, что из-за ближней излучины, с моста, послышался топот (быстрая деревянная дробь копыт, сразу осекавшаяся) — залог того, что сейчас промчится коляска мягкой дорогой вдоль парка. Федор бросился к ней — между стволами, по мху и чернике, — а там, за крайней тропинкой, уже неслись, скользя над уровнем низеньких елок, со стремительностью некоего видения, голова кучера и его васильковые рукава. Он кинулся назад, — и в саду содрогались покинутые качели, а у подъезда стояла порожняя коляска со смятым пледом, поднималась по ступеням мать, волоча за собой дымчатый шарф, — и Таня висела на шее у отца, который, свободной рукой вынув часы, смотрел на них, ибо всегда любил знать, за сколько минут доехал от станции до дому.

В следующем году, занятый научными трудами, он никуда не ездил, а уж весною 1914 года начал подготовлять новую экспедицию в Тибет, вместе с орнитологом Петровым и английским ботаником Россом. Внезапно война с немцами оборвала все это.

Войну он воспринял как досадную помеху, становившуюся со временем все досаднее. Родня была почему-то уверена, что Константин Кириллович тотчас отправится добровольцем, во главе дружины: его почитали чудаком, но чудаком мужественным. На самом же деле Константин Кириллович, который вступил в свой шестой десяток все с тем же запасом здоровья, легкости, свежести, нераз-

менных сил — и, пожалуй, еще охотнее, чем прежде, готов был одолевать горы, тангутов, непогоду и тысячу других опасностей, не снившихся домоседам, — теперь не только засел дома, но старался не замечать войны, а если и говорил о ней, то лишь со злобным презрением. «Мой отец, — писал Федор Константинович, вспоминая то время, — не только многому меня научил, но еще поставил самую мою мысль по правилам своей школы, как ставится голос или рука. Таким образом, к жестокости войны я был довольно равнодушен; я допускал даже, что можно находить известную прелесть в меткости выстрела, в опасности разведки, в тонкости маневра; но этими маленькими удовольствиями (к тому же лучше представленными в других специальных отраслях спорта, как-то: охота на тигра, игра в крестики, профессиональный бокс) — ничуть не искупался оттенок мрачного идиотизма, присущий всякой войне».

Между тем, несмотря на «непатриотическую позицию Кости», как выражалась тетя Ксения (прочно и умело, через «большие связи», укрывшая мужа-офицера в тыловую тень), суетность войны проникала в дом. Елизавету Павловну втянули в лазаретную работу, причем это освещалось так, что она, дескать, своей энергией возмещает праздность мужа, «больше занятого азиатскими козявками, чем славой русского оружия», как и было указано, между прочим, в одной бодрой газете. Завертелись граммофонные пластинки с романсом «Чайка», переодетым в защитную форму («...Вот прапорщик юный со взводом пехоты...»); появились в доме какие-то сестрички с кудряшками из-под косынки, ловко стучавшие папиросой о портсигар, прежде чем закурить; бежал на фронт сын швейцара, ровесник Федора, и Константина Кирилловича просили содействовать его возвращению; Таня хаживала в материнский лазарет учить русской грамоте мирного восточного бородача, которому резали ногу все выше и выше, обгоняя гангрену; Ивонна Ивановна вязала напульсники; по праздникам артист Феона развлекал солдат фарсовыми песенками; на любительских спектаклях играли «Вова приспособился»; в журналах печатались стишки, посвященные войне:

Теперь ты бич судьбы над родиною милой,
Но светлой радостью заблещет русский взор,
Когда постигнет он германского Аттилы
Бесстрастным временем отмеченный позор!

Весной 1915 года, вместо того чтобы собраться в Лешино, что всегда казалось столь же естественным и незыблемым, как чередование месяцев в календаре, поехали на лето в крымское имение — на берегу моря, между Ялтой и Алупкой. На покатых полянках райски-зеленого сада Федор, страдальчески скалясь (тряслись от счастья руки), ловил южных бабочек; но не там, среди миртов, мушмулы и магнолий, а гораздо выше, в горах, между скал Ай-Петри и на волнистой Яйле, водились настоящие крымские редкости: не раз за это лето с ним поднимался боровыми тропками отец, чтобы с улыбкой снисхождения к европейскому пустяку показывать ему сатира, недавно описанного Кузнецовым, перелетавшего с камня на камень у самого того места, где какой-то скверный смельчак на крутой скале вырезал свое имя. Одни эти прогулки и развлекали Константина Кирилловича. Он не то чтоб был мрачен или раздражителен (эти ограниченные эпитеты не вязались с его духовной осанкой), а попросту выражаясь, он не находил себе места, — и Елизавета Павловна, да и дети отлично понимали, чего именно хотелось ему. Вдруг в августе он ненадолго уехал, никто не знал куда, кроме самых близких: поездку свою он так законспирировал, что ему мог бы позавидовать любой путешествующий террорист; было смешно и страшно представить себе, как всплеснуло бы ручками русское общественное мнение, если бы узналось, что в разгар войны Годунов-Чердынцев ездил в Женеву, на свидание с толстым, лысым, необыкновенно жовиальным немецким профессором (туда же прибыл и третий заговорщик, старик англичанин, в легоньких очках и просторном сером костюме), что сошлись они там в маленьком номере скромного отеля для ученого совещания и, столковавшись о чем надобно было (речь шла о многотомном труде, упорно продолжавшем издаваться в Штутгарте, при давнем участии иностранных специалистов по отдельным группам бабочек), мирно разъехались — каждый восвояси. Но эта

поездка его не развеселила, напротив — постоянная мечта, тяготевшая над ним, еще усилила свое тайное давление. Осенью вернулись в Петербург; он усиленно работал над пятым томом «Чешуекрылых Российской Империи», мало выходил, играл в шахматы — более сердясь на промахи противника, чем на свои, — с недавно овдовевшим ботаником Бергом; просматривал, усмехаясь, газеты; брал Таню к себе на колени, вдруг задумывался, и его рука на ее круглом плече задумывалась тоже. Как-то в ноябре ему подали за столом телеграмму, он распечатал ее, прочел про себя, перечел, судя по вторичному пробегу глаз, отложил, отпил портвейна из ковшика и невозмутимо продолжал разговор с бедным родственником, старичком с веснушками по всему черепу, приходившим обедать дважды в месяц и неизменно приносившим Тане тянучки. Когда гости ушли, он опустился в кресло, снял очки, провел ладонью сверху вниз по лицу и сообщил ровным голосом, что дядя Олег опасно ранен осколком гранаты в живот (работая под огнем на перевязочном пункте), — и сразу в душе Федора выделился, краями разрывая душу, один из тех бесчисленных нарочито глупых диалогов, которые братья еще так недавно вели за столом:

Дядя Олег *(заигрывающим тоном)*. А скажи-ка, Костя, не приходилось тебе видеть в урочище Ви птичку Зо-вас?

Отец *(сухо)*. Не приходилось.

Дядя Олег *(воодушевляясь)*. А не видал ли ты, Костя, как муха Попова кусает лошадь Поповского?

Отец *(еще суше)*. Не видывал.

Дядя Олег *(в полном экстазе)*. А не случалось тебе, например, наблюдать диагональное передвижение энтоптических стаек?

Отец *(в упор глядя на него)*. Случалось.

В ту же ночь он поехал за ним в Галицию, необыкновенно скоро и удобно привез, добыл лучших из лучших врачей, Гершензона, Ежова, Миллер-Мельницкого, сам присутствовал на двух длительных операциях... К Рождеству брат был здоров. И затем что-то вдруг изменилось в настроении Константина Кирилловича: ожили и подобрели глаза,

послышалось вновь музыкальное мурлыкание, которое он на ходу издавал, будучи чем-нибудь особенно доволен, куда-то он ездил, прибывали и отбывали какие-то ящики, а в доме вокруг таинственной веселости хозяина чувствовалось нарастание смутного, выжидательного недоумения, — и однажды Федор, случайно проходя по золотистой, залитой весенним солнцем зале, вдруг заметил, как содрогнулась, но не сразу поддалась латуневая ручка белой двери, ведущей в отцовский кабинет, словно кто-то ее снутри вяло теребил, не отворяя; но вот она тихо раскрылась, вышла мать с рассеянно-кроткой улыбкой на заплаканном лице, странно махнула рукой, проходя мимо Федора... Он постучался к отцу и вошел в кабинет. «Что тебе?» — спросил Константин Кириллович, не оглядываясь, продолжая писать. «Возьми меня с собой», — сказал Федор.

То, что Константин Кириллович, в тревожнейшее время, когда крошились границы России и разъедалась ее внутренняя плоть, вдруг собрался покинуть семью года на два ради далекой научной экспедиции, большинству показалось дикой прихотью, чудовищной беззаботностью. Поговаривали даже о том, что правительство «не допустит закупок», что не будет у безумца ни спутников, ни вьючного скота. Но уже в Туркестане запашок эпохи почти не чувствовался: волостными управителями устраиваемый той, на который являлись гости с подарками в пользу войны (немного позже вспыхнуло восстание среди киргизов и казаков в связи с призывом на военные работы), был едва ли не единственным ее напоминанием. Перед самым отбытием, в июне 1916 года, Годунов-Чердынцев приехал в Лешино проститься с семьей. До крайней минуты Федору мечталось, что отец все-таки возьмет его с собой, — некогда говорил, что так сделает, как только сыну исполнится пятнадцать. «В другое время взял бы», — сказал он теперь, — точно забыв, что для него-то время было всегда другим.

Само по себе это последнее прощание ничем не отличалось от предыдущих. После стройной, выработанной семейным обычаем череды объятий родители, надев одинаковые желтые очки с замшевыми шорами, уселись в красный открытый автомобиль; кругом стояли слуги; старик

сторож, опираясь на дубинку, держался поодаль, у расщепленного молнией тополя; маленький толстый шофер с рыжим затылком и топазом на пухлой белой руке, весь круглый, в вельветиновой ливрее и оранжевых крагах, страшно напрягаясь, дернул, дернул и завел машину (отец и мать, сидя, задрожали), быстро сел за руль, переставил на нем рычажок, натянул перчатки с раструбами, оглянулся. Константин Кириллович ему задумчиво кивнул, автомобиль тронулся, захлебнулся лаем фокс, дико извиваясь у Тани на руках, переворачиваясь на спину, перегибая голову через ее плечо; красный кузов исчез за поворотом, и уже из-за елок донесся на восходящем взвое резкий перебор скоростей, и затем — облегченно удалявшийся рокот; все стихло, но через четверть минуты, с села за рекой, опять послышался победоносный гром мотора, постепенно смолкавший — навсегда. Ивонна Ивановна, обливаясь слезами, пошла за молоком для кота. Таня, притворно напевая, вернулась в прохладный, звонко-пустой дом. Тень Жаксыбая, умершего прошлой осенью, скользнула прочь с завалинки, обратно в свой тихий, нарядный, розами и баранами богатый рай.

Федор пошел через парк, отворил запевшую калитку, пересек дорогу, где виднелись только что выдавленные следы толстых шин. Плавно поднялась с земли и описала широкий круг знакомая черно-белая красавица, тоже участвуя в проводах. Он завернул в лес и тенистой дорогой, где в поперечных лучах висели на трепете золотые мухи, дошел до любимой лужайки — кочковатой, цветущей, влажно сверкающей на жарком солнце. Божественный смысл этой лужайки выражался в ее бабочках. Всякий нашел бы тут что-нибудь. Дачник бы отдохнул на пеньке. Прищурился бы живописец. Но несколько глубже проникала в ее истину знанием умноженная любовь: отверстые зеницы.

Свежие, от свежести кажущиеся смеющимися, почти апельсиновые селены с изумительной тихостью плыли на вытянутых крыльях, редко-редко вспыхивая, как плавником — золотая рыбка. Уже несколько потрепанный, без одной шпоры, но еще мощный махаон, хлопая доспехами, опустился на ромашку, снялся, словно пятясь, а цветок,

покинутый им, выпрямился и закачался. Лениво летали боярышницы, иная закапанная кукольной кровкой (пятна коей на белых стенах городов предсказывали нашим предкам гибель Трои, мор, трус). Подпрыгивающим валким аллюром первые шоколадные гиперанты уже порхали над травой; из нее вылетали, тотчас падая вновь, бледные моли. На скабиозе, в компании с мошкой, поместилась красно-синяя, с синими сяжками, цыганка, похожая на ряженого жука. Торопливо покинув лужайку и сев на лист ольхи, капустная самка странным задратием брюшка и плоским положением крыльев (чем-то напоминавшим приложенные уши) дала знать своему потертому преследователю, что она уже оплодотворена. Два медных с лиловинкой мотылька (их-то самки еще не вылупились) встретились на молниеносном лету, взвились, вертясь друг вокруг друга, бешено дерясь, поднимаясь все выше и выше, — и вдруг стрельнули врозь, обратно к цветам. Лазоревый амандус мимолетом пристал к пчелке. Смуглая фрея мелькнула среди селен. Маленький бражник с телом шмеля и стеклянистыми, невидимыми от быстроты биения крыльцами, с воздуха попытал длинным хоботком цветок, кинулся к другому, к третьему. Всю эту обаятельную жизнь, по сегодняшнему сочетанию которой можно было безошибочно определить и возраст лета (с точностью чуть ли не до одного дня), и географическое положение местности, и растительный состав лужайки, — все это живое, истинное, бесконечно милое Федор воспринял как бы мгновенно, одним привычным, глубоким взглядом. Вдруг он приложил кулак к березовому стволу и, к нему наклонясь, разрыдался.

Хотя отец фольклора недолюбливал, он, бывало, приводил одну замечательную киргизскую сказку. Единственный сын великого хана, заблудившись во время охоты (чем начинаются лучшие сказки и кончаются лучшие жизни), заприметил между деревьями какое-то сверкание. Приблизившись, он увидел, что это собирает хворост девушка в платье из рыбьей чешуи; однако не мог решить, что именно сверкало так, лицо ее или одежда. Пойдя с ней к ее старухе матери, царевич предложил дать в калым кусок золота с конскую голову. «Нет, — сказала невеста, — а вот возьми этот мешочек — он, видишь, едва больше наперст-

ка, да и наполни его». Царевич, рассмеявшись («И одна, — говорит, — не войдет»), бросил туда монету, бросил другую, третью, а там и все бывшие при нем. Весьма озадаченный, пошел он к своему отцу. Все сокровища собрав, всё в мешочек побросав, хан опустошил казну, ухо приложил ко дну, накидал еще вдвойне, — только звякает на дне. Призвали старуху: «Это, — говорит, — человеческий глаз, хотящий вместить всё на свете», — взяла щепотку земли да и разом мешочек наполнила.

Последнее достоверное сведение о моем отце (не считая его собственных писем) я отыскал в заметках французского миссионера (и ученого-ботаника) Баро, случайно встретившего его в горах Тибета (летом 1917 года) около деревни Чэту. «Я с удивлением увидел, — пишет Баро (“Exploration catholique”[1], за 1923 год), — пасущуюся среди горного луга белую лошадь под седлом, а затем появился, спускаясь со скал, человек в европейском платье, приветствовавший меня по-французски и оказавшийся знаменитым русским путешественником Годуновым. Я не видал европейца уже свыше восьми лет. Мы провели несколько прелестных минут, на мураве, в тени скалы, обсуждая номенклатурную тонкость в связи с научным названием крохотного голубого ириса, росшего по соседству. После чего, дружески простившись, мы разошлись, он — к своим спутникам, звавшим его из ущелья, я — к отцу Мартэну, умиравшему в дальней харчевне».

За этим начинается туман. Судя по последнему письму отца, как всегда краткому, но по-новому тревожному, чудом доставленному нам в начале 1918 года, он, вскоре после того, как встретил его Баро, собрался в обратный путь. Прослышав о революции, он в нем просил нас переехать в Финляндию, где у тетки была дача, и писал, что, по его расчету, он, «максимально спеша», к лету будет дома. Мы прождали его два лета, до зимы 19-го года. Жили то в Финляндии, то в Петербурге. Дом наш давно был разграблен, но отцовский музеум, душа дома, словно сохранив неуязвимость, присущую святыням, уцелел (перейдя затем в ведение Академии Наук), и этой радостью совершенно

[1] «Католические исследования» *(фр.)*. Вымышленное название журнала.

искупалась гибель знакомых с детства стульев и столов. Мы жили в Петербурге в двух комнатах на квартире у бабушки, которую почему-то дважды водили на допрос. Она простудилась и умерла. Через несколько дней после ее кончины, в один из тех страшных, зимних вечеров, голодных и безнадежных, которые принимали такое зловеще близкое участие в гражданской смуте, ко мне прибежал неизвестный юноша в пенснэ, невзрачный и малообщительный, прося меня немедленно зайти к его дяде, географу Березовскому. Он не знал или не хотел знать — по какому делу, но у меня вдруг все как-то обвалилось внутри, и я уже жил машинально. Теперь, спустя несколько лет, я этого Мишу иногда встречаю в Берлине, в русском книжном магазине, где он служит, — и всякий раз, как вижу его, хотя мало с ним разговариваю, я чувствую проходящую по всему становому столбу горячую дрожь и всем существом переживаю вновь наш с ним короткий путь. Матери моей не было, когда зашел этот Миша (имя его я тоже запомнил навеки), но мы ее встретили, спускаясь по лестнице; не зная моего спутника, она с волнением спросила, куда я иду. Я ответил, что — за машинкой для стрижки волос, о добывании которой случайно на днях была речь. Она потом мне часто снилась, эта несуществующая машинка, принимая самые неожиданные образы: горы, пристани, гроба, шарманки, — но всегда я знал, чутьем сновидения, что это она. «Постой», — крикнула мать, но мы уже были внизу. По улице мы шли скоро и молча, он чуть впереди меня. Я смотрел на маски домов, на горбы сугробов, я старался перехитрить судьбу, представляя себе (и этим наперед уничтожая его возможность) еще не осмысленное, черное, свежее горе, которое понесу обратно домой. Мы вошли в комнату, запомнившуюся мне почему-то совершенно желтою, и там старик с острой бородкой, в старом френче и длинных сапогах, без обиняков объявил мне, что, по сведениям, еще не проверенным, моего отца нет больше в живых. Мать ждала меня внизу, на улице.

В течение полугода (до того, как дядя Олег почти насильно нас перевел за границу) мы пытались узнать, как и где он погиб, — да и погиб ли. Кроме того, что это случилось в Сибири (Сибирь велика!), на обратном пути из

Средней Азии, мы не узнали ничего. Неужели скрывали от нас место и обстоятельства его загадочной гибели — и до сих пор продолжают скрывать? (Биография в советской энциклопедии кончается просто словами: «Скончался в 1919 году»). Или действительно противоречивость смутных вестей не допускала определенности в ответах? Уже в Берлине из разных источников и от разных лиц мы кое-что узнали дополнительно, но дополнения эти оказались лишь наслоениями неизвестности, а не просветами в ней. Две шатких версии, обе свойства скорей дедуктивного (к тому же не говорившие главного: как именно погиб он, — если погиб), беспрестанно путались между собой, взаимно друг друга опровергая. По одной, весть о его смерти доставил какой-то киргиз в Семипалатинск, по другой — какой-то казак в Ак-Булат. Как он шел? Ехал ли из Семиречья на Омск (ковыльной степью, с вожаком на чубарой юрге), или из Памира на Оренбург, через Тургайскую область (степью песчаной, с вожаком на верблюде, он сам на коне, ноги в березовых стременах, — все дальше на север, от колодца до колодца, избегая аулов и полотна)? Как проходил он сквозь бурю крестьянской войны, как уклонялся от красных, — не могу разобрать ничего, — да и какая шапка-невидимка могла прийтись ему впору — ему, который и такую носил бы набекрень? Скрывался ли он в рыбацких хатах (как полагает Крюгер) на станции Аральское Море, у степных уральцев-староверов? А если погиб, — как погиб? «В чем твое звание?» — спросил Пугачев астронома Ловица. «В исчислении звезд». Вот и повесил его, чтобы был поближе к звездам. Как, как он погиб? От болезни, от холода, от жажды, от руки человека? И если — от руки, неужто и по сей день рука эта жива, берет хлеб, поднимает стакан, гонит мух, шевелится, указывает, манит, лежит неподвижно, пожимает другие руки? Долго ли отстреливался он, припас ли для себя последнюю пулю, взят ли был живым? Привели ли его в штабной салон-вагон какого-нибудь карательного отряда (вижу страшный паровоз, отопляемый сушеной рыбой), приняв его за белого шпиона (да и то сказать: с Лавром Корниловым однажды в молодости он объездил Степь Отчаяния, а впоследствии встречался с ним в Китае)? Расстреляли ли

его в дамской комнате какой-нибудь глухой станции (разбитое зеркало, изодранный плюш) или увели в огород темной ночью и ждали, пока проглянет луна? Как ждал он с ними во мраке? С усмешкой пренебрежения. И если белесая ночница маячила в темноте лопухов, он и в эту минуту, я знаю, проследил за ней тем же поощрительным взглядом, каким, бывало, после вечернего чая, куря трубку в лешинском саду, приветствовал розовых посетительниц сирени.

А иногда мне сдается, что все это вздорный слух, вялая легенда, что создана она из тех же сомнительных крупиц приблизительного знания, которым пользуюсь я, когда путается моя мечта в областях, известных мне лишь понаслышке да из книг, так что первый же бывалый человек, видавший на самом деле упомянутые места в те годы, откажется признать их, высмеет экзотичность моей мысли, холмы моей печали, обрывы воображения и найдет в догадках моих столько же топографических ошибок, сколько анахронизмов. Тем лучше. Раз слух о гибели отца — вымысел, не следует ли допустить, что самый его путь из Азии лишь приделан в виде хвоста к вымыслу (вроде того змея, который молодой Гринев мастерил из географической карты) и что, может быть, по причинам еще неизвестным, мой отец, если и пустился в обратный путь (а не разбился в пропасти, не завяз в плену у буддийских монахов), избрал совершенно другую дорогу. Мне приходилось даже слышать предположения (звучащие как запоздалый совет), что ведь мог он пойти на запад в Ладак, чтобы спуститься в Индию, или почему было ему не отправиться в Китай, а оттуда на любом корабле — в любой порт на свете?

Так ли, иначе ли, но все материалы, касающиеся жизни его, у меня теперь собраны. Из тьмы черновиков длинных выписок, неразборчивых набросков на разнородных листках, карандашных заметок, разбредшихся по полям каких-то других моих писаний, из полувычеркнутых фраз, недоконченных слов и непредусмотрительно сокращенных, уже теперь забытых названий, в полном своем виде прячущихся от меня среди бумаг, — из хрупкой статики невозобновимых сведений, местами уже разрушенных слишком скорым движением мысли, в свою очередь распылившейся в пусто-

те, — из всего этого мне теперь нужно сделать стройную, ясную книгу. Временами я чувствую, что где-то она уже написана мной, что вот она скрывается тут, в чернильных дебрях, что ее только нужно высвободить по частям из мрака, и части сложатся сами... — но что мне в том проку, — когда этот труд освобождения кажется мне теперь таким тяжелым и сложным, — так страшно, что загрязню его красным словцом, замаю переноской, — что уже сомневаюсь, будет ли книга написана на самом деле. Ты хорошо сама знаешь, с каким набожным чувством, с каким волнением я готовился к ней. Ты сама мне писала о требованиях, которые следует к такому труду предъявить. Но теперь мне думается, что я бы исполнил их дурно. Не брани меня за слабость и трусость. Как-нибудь я тебе прочту случайные, разрозненные, неоформившиеся обрывки записанного мной: как оно не похоже на мою статную мечту! Все эти месяцы, пока я собирал, записывал, вспоминал, думал, я был блаженно счастлив: я был уверен, что создается что-то неслыханно прекрасное, что заметки мои — лишь маленькое подспорье ему, вешки, вешалки, а что главное развивается и творится само по себе, но теперь я вижу, точно проснувшись на полу, что ничего, кроме этих жалких заметок, и нет. Как же мне быть? Знаешь, когда я читаю его или Грума книги, слушаю их упоительный ритм, изучаю расположение слов, незаменимых ничем и непереместимых никак, мне кажется кощунственным взять да и разбавить все это собой. Хочешь, я тебе признаюсь: ведь я-то сам лишь искатель словесных приключений, — и прости меня, если я отказываюсь травить мою мечту там, где на с в о ю охоту ходил отец. Видишь ли, я понял невозможность дать произрасти образам его странствий, не заразив их вторичной поэзией, все больше удаляющейся от той, которую заложил в них живой опыт восприимчивых, знающих и целомудренных натуралистов.

«Что ж, понимаю и сочувствую, — отвечала мать. — Мне грустно, что это у тебя не получается, но, конечно, не надо себя форсировать. А с другой стороны, я убеждена, что ты немножко преувеличиваешь. Я убеждена, что, не думай ты так много о слоге, о трудностях, о том, что поцелуй — первый шаг к охлаждению, и т. д., у тебя, наверно бы,

вышло очень хорошо, очень правдиво, очень интересно. Только в том случае, если ты представляешь себе, что он читает твою книгу, и ему неприятно, и тебе совестно, только тогда брось, брось, конечно. Но я знаю, что этого не может быть, знаю, что он сказал бы тебе: молодец. Мало того, я убеждена, что эту книгу ты все-таки когда-нибудь напишешь».

Внешним толчком к прекращению работы послужил для Федора Константиновича переезд на другую квартиру. К чести его хозяйки следует сказать, что она долго, два года, терпела его. Но когда ей представилась возможность получить с апреля жилицу идеальную — пожилую барышню, встающую в половине восьмого, сидящую в конторе до шести, ужинающую у своей сестры и ложащуюся спать в десять, — фрау Стобой попросила Федора Константиновича подыскать себе в течение месяца другой кров. Он же все откладывал эти поиски, не только по лени и оптимистической склонности придавать дарованному отрезку времени округлую форму бесконечности, но еще потому, что ему было нестерпимо противно вторгаться в чужие миры для высматривания себе места. Чернышевская, впрочем, обещала ему свое содействие. Март был уже на исходе, когда однажды вечером она ему сказала:

«У меня, кажется, для вас что-то имеется. Вы раз видели у меня Тамару Григорьевну, такую армянскую даму. Она до сих пор снимала комнату у одних русских и, оказывается, теперь ищет, кому ее передать».

«Значит, было плохо, если ищет», — беспечно заметил Федор Константинович.

«Нет, она просто вернулась к мужу. Впрочем, если вам заранее не нравится, я хлопотать не стану, — я совсем не люблю хлопотать».

«Не обижайтесь, — сказал Федор Константинович, — очень нравится, клянусь».

«Понятно, не исключается, что уже сдано, но я все-таки советовала бы вам с ней созвониться».

«О, непременно», — сказал Федор Константинович.

«Так как я знаю вас, — сказала Александра Яковлевна, уже перелистывая черную записную книжку, — и так как знаю, что вы сами никогда не позвоните...»

«Завтра же», — сказал Федор Константинович.

«...так как вы этого никогда не сделаете... Уланд сорок восемь тридцать один... то сделаю это я. Сейчас соединю вас, и вы у нее все спросите».

«Постойте, постойте, — заволновался Федор Константинович, — я абсолютно не знаю, что нужно спрашивать».

«Не беспокойтесь, она сама вам все скажет», — и Александра Яковлевна, быстрым шепотом повторив номер, потянулась к столику с аппаратом.

Как только она приложила трубку к уху, тело ее на диване приняло привычную телефонную позу, из сидячего положения она перебралась в полулежачее, оправила, не глядя, юбку, голубые глаза задвигались туда и сюда в ожидании соединения. «Хорошо бы», — начала она, но тут барышня откликнулась, и Александра Яковлевна сказала номер с каким-то абстрактным увещеванием в тоне и особым ритмом в произношении цифр — точно 48 было тезисом, а 31 антитезисом, — прибавив в виде синтеза: яволь. «Хорошо бы, — обратилась она к Федору Константиновичу, — если б она пошла туда с вами. Я уверена, что вы никогда в жизни...» Вдруг, с улыбкой опустив глаза, поведя полненьким плечом, слегка скрестив вытянутые ноги: «Тамара Григорьевна? — спросила она новым голосом, мягким и приглашающим. Тихо засмеялась, слушая, и ущипнула складку на юбке. — Да, это я, вы правы. Мне казалось, что вы, как всегда, меня не узнаете. Хорошо, — скажем: часто». Усаживая тон свой еще уютнее: «Ну, что у вас слышно?» Слушала, что слышно, мигая; как бы в скобках подтолкнула коробку с зеленым мармеладом по направлению к Федору Константиновичу; затем носки ее маленьких ног в потертых бархатных башмачках начали легонько тереться друг о друга; перестали. «Да, мне уже об этом говорили, но я думала, что у него есть постоянная практика». Продолжала слушать. В тишине раздавалась бесконечно малая дробь потустороннего голоса. «Ну, это глупости, — сказала Александра Яковлевна, — ах, это глупости». «Значит, вот у вас какие дела, — протянула она через минуту, — и потом, на быстрый вопрос, прозвучавший для Федора Константиновича как микроскопический лай, ответила со вздохом: — Да так себе, ничего нового. Александр

Яковлевич здоров, занимается своим делом, сейчас в концерте, а я так, ничего особенного не делаю. У меня сейчас сидит... Ну, конечно, развлекает его, но вы не можете себе представить, как я иногда мечтаю куда-нибудь с ним поехать хотя бы на месяц. Что вы? Нет, не знаю куда. Вообще иногда очень на душе тяжко, а так ничего нового». Медленно осмотрела свою ладонь, да так и осталась с приподнятой рукой. «Тамара Григорьевна, у меня сейчас сидит Годунов-Чердынцев. Между прочим, он ищет комнату. У ваших этих еще свободно? А, это чудно. Погодите, передаю трубку».

«Здравствуйте, — сказал Федор Константинович, кланяясь телефону, — мне Александра Яковлевна...»

Звучный, так что даже защекотало в среднем ухе, необыкновенно проворный и отчетливый голос сразу завладел разговором. «Комната еще не сдана, — быстро стала рассказывать малоизвестная Тамара Григорьевна, — и они как раз очень хотели бы русского жильца. Я вам сейчас скажу, кто они. Фамилия — Щеголев, это вам ничего не говорит, но он был в России прокурором, очень, очень культурный, симпатичный человек... И, значит, жена его, тоже милейшая, и дочь от первого брака. Теперь так: живут они на Агамемнонштрассе, 15, чудный район, квартира малюсенькая, но хох-модерн, центральное отопление, ванна, — одним словом, все-все-все. Комната, в которой вы будете жить, — прелесть, но, — (с оттяжкой), — выходит во двор, это, конечно, маленький минус. Я вам скажу, сколько я за нее платила, я платила за нее тридцать пять марок в месяц. Чудный кауч, тишина. Ну вот. Что вам еще сказать? Я у них столовалась и должна признаться, что отлично, отлично, но о цене вы сами столкуетесь, я была на диэте. Теперь мы сделаем так. Я у них завтра все равно буду утром, так в пол-одиннадцатого, я очень точна, и вы туда, значит, приходите».

«Одну минуточку, — сказал Федор Константинович (для которого встать в десять было то же, что другому встать в пять), — одну минуточку. Я завтра, кажется... Может быть, лучше будет, если я вам...»

Он хотел сказать: «Позвоню», — но Александра Яковлевна, сидевшая близко, сделала такие глаза, что он, пере-

глотнув, тотчас поправился: «Да, в общем, могу, — сказал он без оживления, — благодарю вас, я приду».

«Ну вот... — (повествовательно), — значит, Агамемнонштрассе, 15, третий этаж, есть лифт. Так мы и сделаем. До завтра, буду очень рада».

«До свидания», — сказал Федор Константинович.

«Стойте, — крикнула Александра Яковлевна, — пожалуйста, не разъединяйте».

На другое утро, когда, с ватой в мозгу, раздраженный и какой-то половинчатый (словно другая половина по случаю раннего часа еще не открылась), он явился по указанному адресу, выяснилось, что Тамара Григорьевна не только не пришла, но звонила, что прийти не может. Его принял сам Щеголев (никого больше не было дома), оказавшийся громоздким, пухлым, очерком напоминавшим карпа, человеком лет пятидесяти, с одним из тех открытых русских лиц, открытость которых уже почти непристойна. Это было довольно полное лицо овального покроя, с маленькой черной бородкой под самой губой. У него была замечательная и тоже чем-то непристойная прическа: жидкие черные волосы, ровно приглаженные и разделенные пробором не совсем посредине головы, но и не сбоку. Крупные уши, простые мужские глаза, толстый, желтоватый нос и влажная улыбка дополняли общее приятное впечатление. «Годунов-Чердынцев, — повторил он, — как же, как же, известнейшая фамилья. Я знавал... позвольте — это не батюшка ли ваш, Олег Кириллович? Ага, дядя. Где же он обретается теперь? В Филадельфии? Ну, это не близко. Смотрите, куда забрасывает нашего брата! Удивительно. А вы с ним в контакте? Так, так. Ну-с, давайте, не откладывая долгов в ящик, покажу вам апартамент».

Из передней направо был короткий проход, сразу сворачивавший под прямым углом направо же и в виде зачаточного коридора упиравшийся в полуоткрытую дверь кухни. По его левой стене виднелись две двери, первую из которых Щеголев, энергично сопнув, отпахнул. Оглянулась и замерла перед нами маленькая, продолговатая комната, с крашенными вохрой стенами, столом у окна, кушеткой вдоль одной стены и шкафом у другой. Федору Константиновичу она показалась отталкивающей, враждебной,

совершенно не с жизни ему (как бывает «не с руки»), расположенной на несколько роковых градусов вкось (как пунктиром отмечается смещение геометрической фигуры при вращении) по отношению к тому воображаемому прямоугольнику, в пределах которого он мог бы спать, читать, думать; но если б даже и можно было чудом выправить жизнь согласно углу этой не так стоявшей коробки, все равно обстановка ее, окраска, вид на асфальтовый двор — все было невыносимо, и он сразу же решил, что ее не наймет ни за что.

«Ну-с вот, — бодро сказал Щеголев, — а тут рядом ванная. Тут немножко не убрано. Теперь, если разрешите...» Он сильно столкнулся с Федором Константиновичем, повернувшись в узком проходе, и, виновато охнув, схватил его за плечо. Вернулись в прихожую. «Тут комната дочки, тут — наша, — сказал он, указывая на две двери, слева и справа. А вот столовая», — и, отворив дверь в глубине, он на несколько секунд, словно снимая с выдержкой, подержал ее в открытом положении. Федор Константинович миновал взглядом стол, вазу с орехами, буфет... У дальнего окна, где стояли бамбуковый столик и высокое кресло, вольно и воздушно лежало поперек его подлокотников голубоватое газовое платье, очень короткое, как носили тогда на балах, а на столике блестел серебристый цветок рядом с ножницами.

«Вот и все, — сказал Щеголев, осторожно затворив дверь, — видите, — уютно, по-семейному, все у нас небольшое, но все есть. Ежели пожелаете получать от нас харчи, милости просим, поговорим об этом с моей супружницей, она, между нами, готовит неплохо. За комнату будем у вас по знакомству брать столько же, сколько у мадам Абрамовой, притеснять не будем, будете жить, как Христос за пазухой», — и Щеголев сочно рассмеялся.

«Да, мне комната, кажется, подходит, — сказал Федор Константинович, стараясь на него не глядеть. — Я, собственно, хотел бы уже в среду въехать».

«Сделайте одолжение», — сказал Щеголев.

Случалось ли тебе, читатель, испытывать тонкую грусть расставания с нелюбимой обителью? Не разрывается сердце, как при прощании с предметами, милыми нам. Увлаж-

ненный взор не блуждает округ, удерживая слезу, точно желал бы в ней унести дрожащий отсвет покидаемого места; но в лучшем уголку души мы чувствуем жалость к вещам, которых собой не оживили, едва замечали, и вот покидаем навеки. Этот мертвый уже инвентарь не воскреснет потом в памяти: не пойдет вслед за нами постель, неся самое себя; отражение в зеркальном шкафу не восстанет из своего гроба; один только вид в окне ненадолго пребудет, как вделанная в крест выцветшая фотография аккуратно подстриженного, немигающего господина в крахмальном воротничке. Я бы тебе сказал — прощай, но ты бы даже не услышала моего прощания. Все-таки — прощай. Ровно два года я прожил здесь, обо многом здесь думал, тень моего каравана шла по этим обоям, лилии росли на ковре из папиросного пепла, — но теперь путешествие кончилось. Потоки книг возвратились в океан библиотеки. Не знаю, перечту ли когда наброски и выписки, уже сунутые под белье в чемодан, но знаю, что никогда сюда не загляну более.

Федор Константинович запер, сидя на нем, чемодан, обошел комнату, напоследок осмотрел ее ящики, но ничего не нашел: мертвецы не воруют. По оконному стеклу ползла вверх муха, нетерпеливо срывалась, полупадала, полулетела вниз, словно что-то тряся, и опять принималась ползти. Дом насупротив, который он в позапрошлом апреле застал в лесах, теперь, очевидно, опять требовал ремонта: у панели лежали заготовленные доски. Он вынес вещи, пошел проститься с хозяйкой, в первый и последний раз пожал ее руку, оказавшуюся сухой, сильной, холодной, отдал ей ключи и вышел. Расстояние от старого до нового жилья было примерно такое, как где-нибудь в России от Пушкинской — до улицы Гоголя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Каждое утро, в начале девятого, один и тот же звук за тонкой стеной, в аршине от его виска, выводил его из дремоты. Это был чистый, круглодонный звон стакана, ставимого обратно на стеклянную полочку; после чего

хозяйская дочка откашливалась. Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом — спуск воды, захлебывающейся, стонущей и вдруг пропадавшей, потом — загадочный внутренний вой ванного крана, превращавшийся наконец в шорох душа. Звякала задвижка, мимо двери удалялись шаги. К ним навстречу шли другие, темно-тяжелые, с пришлепом: это Марианна Николаевна спешила на кухню варить дочке кофе. Было слышно, как сначала газ не брал спички, шумно лопаясь; укрощенный, вспыхивал и ровно шипел. Первые шаги возвращались, уже на каблуках; на кухне начинался скорый, сердито-взволнованный разговор. Как иные говорят с южным или московским акцентом, так мать и дочь неизменно говорили между собой с произношением ссоры. Голоса были схожи, оба смуглые и гладкие, но один был грубее и как бы теснее, другой — вольнее и чище. В рокоте материнского была просьба, даже виноватая просьба; в укорачивающихся ответах дочери звенела злость. Под эту невнятную утреннюю бурю Федор Константинович опять мирно засыпал.

В редеющей местами дремоте он различал звуки уборки; стена вдруг рушилась на него: это половая щетка поехала и хлопнулась у его двери. Раз в неделю толстая, тяжело переводившая дух, пахнувшая кислым потом швейцариха приходила с пылесосом, и тогда начинался ад, мир рвался на части, адский скрежет проникал в самую душу, разрушая ее, и гнал Федора Константиновича из постели, из комнаты, из дома. Обычно же около десяти Марианна Николаевна в свою очередь занимала ванную, а после нее, уже харкая на ходу, туда следовал Иван Борисович. Воду он спускал до пяти раз; ванной не пользовался, удовлетворяясь лепетом маленького умывальника. К половине одиннадцатого все в доме стихало: Марианна Николаевна уходила за хозяйственными покупками, Щеголев — по своим темным делам. Федор Константинович погружался в блаженную бездну, в которой теплые остатки дремоты мешались с чувством счастья, вчерашнего и предстоящего.

Довольно часто теперь он день начинал стихотворением. Лежа навзничь, с первой, утоляюще-вкусной, крупной и длительной папиросой между запекшихся губ, он снова, после перерыва почти в десять лет, сочинял того особого

рода стихи, которые в ближайший же вечер дарятся, чтобы отразиться в волне, вынесшей их. Он сравнивал строй этих со строем тех. Слова тех были забыты. Только кое-где среди стертых букв еще сохранились рифмы, богатенькие вперемежку с нищими: поцелуя—тоскуя, лип—скрип, аллея—алея (листья или закат?). В то шестнадцатое лето его жизни он впервые взялся за писание стихов серьезно; до того, кроме энтомологических частушек, ничего и не было. Но какая-то атмосфера сочинительства была ему давно знакома и привычна: в доме пописывали все — писала Таня, в альбомчик с ключиком; писала мать, трогательно непритязательные стихотворения в прозе о красоте родных мест; отец и дядя Олег складывали стишки на случай — и случаи эти были нередки; тетя Ксения, та писала стихи только по-французски, темпераментные и «звучные», совершенно игнорируя при этом тонкости силлабического стиха; ее излияния были очень популярны в петербургском свете, особенно поэма «La femme et la panthère»[1], а также перевод из Апухтина:

Le gros grec d'Odessa, le juif de Varsovie,
Le jeune lieutenant, le général âgé,
Tous ils cherchaient en elle un peu de folle vie,
Et sur son sein rêvait leur amour passager.

Наконец был и один «настоящий» поэт, двоюродный брат матери, князь Волховской, издавший толстый, дорогой, на бархатистой бумаге, дивным шрифтом набранный, весь в итальянских виноградных виньетках, том томных стихотворений «Зори и Звезды», с фотографическим портретом автора в начале и чудовищным списком опечаток в конце. Стихи были разбиты на отделы: Ноктюрны, Осенние Мотивы, Струны Любви. Над большинством был герб эпиграфа, а под каждым — точная дата и место написания: «Сорренто», «Ай-Тодор» или «В поезде». Я ничего не помню из этих пьесок, кроме часто повторяющегося слова «экстаз», которое уже тогда для меня звучало как старая посуда: «экс-таз».

[1] «Женщина и пантера» *(фр.)*.

Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина: он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декламировать. Мне иногда думается, что эхо «Пророка» еще до сих пор дрожит в каком-нибудь гулко-переимчивом азиатском ущелье. Еще он цитировал, помнится, несравненную «Бабочку» Фета и тютчевские «Тени сизые»; но то, что так нравилось нашей родне, жиденькая, удобозапоминаемая лирика конца прошлого века, жадно ждущая переложения на музыку, как избавления от бледной немочи слов, проходило совершенно мимо него. Поэзию же новейшую он считал вздором, — и я при нем не очень распространялся о моих увлечениях в этой области. Когда он однажды перелистал, с готовой уже усмешкой, книжки поэтов, рассыпанные у меня на столе, и как раз попал на самое скверное у самого лучшего из них (там, где появляется невозможный, невыносимый «джентльмен» и рифмуется «ковер» и «сёр»), мне стало до того досадно, что я ему быстро подсунул «Громкокипящий Кубок», чтобы уж лучше на нем он отвел душу. Вообще же мне казалось, что если бы он на время забыл то, что я, по глупости, называл «классицизмом», и без предубеждения вник бы в то, что я так любил, он понял бы новое очарование, появившееся в чертах русской поэзии, очарование, чуемое мной даже в самых нелепых ее проявлениях. Но когда я подсчитываю, что теперь для меня уцелело из этой новой поэзии, то вижу, что уцелело очень мало, а именно только то, что естественно продолжает Пушкина, между тем как пестрая шелуха, дрянная фальшь, маски бездарности и ходули таланта — все то, что когда-то моя любовь прощала или освещала по-своему, а что отцу моему казалось истинным лицом новизны, — «мордой модернизма», как он выражался, — теперь так устарело, так забыто, как даже не забыты стихи Карамзина; и когда мне попадается на чужой полке иной сборник стихов, когда-то живший у меня как брат, то я чувствую в них лишь то, что тогда, вчуже, чувствовал мой отец. Его ошибка заключалась не в том, что он свально охаял всю «поэзию модерн», а в том, что он в ней не захотел высмотреть длинный животворный луч любимого своего поэта.

Я с ней познакомился в июне 1916 года. Ей было года двадцать три. Ее муж, приходившийся нам дальним родственником, был на фронте. Она жила на дачке в пределах нашего имения и часто приезжала к нам. Из-за нее я едва не забыл бабочек и вовсе проглядел русскую революцию. Зимой 1917 года она уехала в Новороссийск, — и только в Берлине я случайно узнал о ее страшной смерти. Была она худенькая, с высоко причесанными каштановыми волосами, веселым взглядом больших черных глаз, ямочками на бледных щеках и нежным ртом, который она подкрашивала из флакона с румяной, душистой жидкостью, прикладывая стеклянную пробку к губам. Во всей ее повадке было что-то милое до слез, неопределимое тогда, но что теперь мне видится как какая-то патетическая беспечность. Она была не умна, малообразованна, банальна, т. е. полной твоей противоположностью... нет, нет, я вовсе не хочу сказать, что я ее любил больше тебя или что те свидания были счастливее наших вечерних встреч с тобой... но все ее недостатки таяли в таком наплыве прелести, нежности, грации, такое обаяние исходило от ее самого скорого, безответственного слова, что я готов был смотреть на нее и слушать ее вечно, — а что теперь было бы, если бы она воскресла, — не знаю, не надо спрашивать глупостей. По вечерам я провожал ее домой. Эти прогулки мне когда-нибудь пригодятся. В ее спальне был маленький портрет царской семьи, и пахло по-тургеневски гелиотропом. Я возвращался за полночь, благо гувернер уехал в Англию, — и никогда я не забуду того чувства легкости, гордости, восторга и дикого ночного голода (особенно хотелось простокваши с черным хлебом), когда я шел по нашей преданно и даже льстиво шелестевшей аллее к темному дому (только у матери — свет) и слышал лай сторожевых псов. Тогда-то и началась моя стихотворная болезнь.

Бывало, сижу за завтраком, ничего не вижу, губы движутся, — и соседу, попросившему сахарницу, передаю свой стакан или салфетное кольцо. Несмотря на неопытное желание как можно скорее перевести на стихи шум любви, наполнявший меня (вспоминаю, как дядя Олег так прямо и говорил, что ежели он издал бы сборник, то непременно назвал бы его «Сердечные Шумы»), я уже тогда соорудил

себе — грубую и бедную — мастерскую слов. При подборе прилагательных я уже знал, что такие, как «таинственный» или «задумчивый», просто и удобно заполняют зияющее, жаждущее петь пространство от цезуры до конечного слова; что опять-таки под это конечное слово можно взять дополнительное прилагательное, короткое, двусложное, так чтоб получилось, скажем, «таинственный и нежный», — звуковая формула, являющаяся, кстати сказать, настоящим бедствием в рассуждении русской (да и французской) поэзии; я знал, что сподручных прилагательных амфибрахического образца (т. е. тех, которые зрительно можно себе представить в виде дивана с тремя подушками — со впадиной в средней) — пропасть, — и сколько я загубил таких «печальных», «любимых», «мятежных»; что хореических тоже вдосталь, а дактилических — куда меньше, и как-то они все стоят в профиль; что, наконец, анапестов и ямбов — маловато, и всё скучноватые да негибкие, вроде «неземной» или «немой». Я знал далее, что в четырехстопный стих приходят с собственным оркестром длиннейшие, приятнейшие «очаровательные» и «неизъяснимые», а что комбинация «таинственной и неземной» придает четырехстопной строке некую муаровость: так посмотришь — амфибрахий, а этак — ямб. Несколько позже монументальное исследование Андрея Белого о ритмах загипнотизировало меня своей системой наглядного отмечания и подсчитывания полуударений, так что все свои старые четырехстопные стихи я немедленно просмотрел с этой новой точки зрения, страшно был огорчен преобладанием прямой линии, с пробелами и одиночными точками, при отсутствии каких-либо трапеций и прямоугольников; и с той поры, в продолжение почти года, — скверного, грешного года, — я старался писать так, чтобы получилась как можно более сложная и богатая схема:

Задумчиво и безнадежно
распространяет аромат
и неосуществимо нежно
уж полуувядает сад, —

и так далее, в том же духе: язык спотыкался, но честь была спасена. При изображении ритмической структуры этого

чудовища получалось нечто вроде той шаткой башни из кофейниц, корзин, подносов, ваз, которую балансирует на палке клоун, пока не наступает на барьер, и тогда все медленно наклоняется над истошно вопящей ложей, а при падении оказывается безопасно нанизанным на привязь.

Вследствие, вероятно, слабой моторности моей молодой роликовой лирики, глаголы и прочие части речи менее занимали меня. Не то — вопросы размера и ритма. Борясь с природной склонностью к ямбу, я волочился за трехдольником; а затем уклонения от метра увлекли меня. То было время, когда автор «Хочу быть дерзким» пустил в обиход тот искусственный четырехстопный ямб, с наростом лишнего слога посредине строки (или, иначе говоря, двухстопное восьмистишие с женскими окончаниями кроме четвертой и последней строки, поданное в виде четверостишья), которым, кажется, так никогда и не написалось ни одно истинно поэтическое стихотворение. Я давал этому пляшущему горбуну нести закат или лодку и удивлялся, что тот гаснет, та не плывет. Легче обстояло дело с мечтательной запинкой блоковского ритма, однако, как только я начинал пользоваться им, незаметно вкрадывался в мой стих голубой паж, инок или царевна, как по ночам к антиквару Штольцу приходила за своей треуголкой тень Бонапарта.

Рифмы по мере моей охоты за ними сложились у меня в практическую систему несколько картотечного порядка. Они были распределены по семейкам, получались гнезда рифм, пейзажи рифм. «Летучий» сразу собирал тучи над кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы. «Небосклон» направлял музу к балкону и указывал ей на клен. «Цветы» подзывали мечты, на «ты», среди темноты. Свечи, плечи, встречи и речи создавали общую атмосферу старосветского бала, Венского конгресса и губернаторских именин. «Глаза» синели в обществе бирюзы, грозы и стрекоз — и лучше было их не трогать. «Деревья» скучно стояли в паре с «кочевья», — как в наборной игре «городов» Швеция была представлена только двумя городами (а Франция, та — двенадцатью!). «Ветер» был одинок — только вдали бегал непривлекательный сеттер, — да пользовалась его

предложным падежом крымская гора, а родительный — приглашал геометра. Были и редкие экземпляры — с пустыми местами, оставляемыми для других представителей серии, вроде «аметистовый», к которому я не сразу подыскал «перелистывай» и совершенно неприменимого неистового пристава. Словом, это была прекрасно размеченная коллекция, всегда у меня бывшая под рукой.

Не сомневаюсь, что даже тогда, в пору той уродливой и вредоносной школы (которой вряд ли бы я прельстился вообще, будь я поэтом чистой воды, не подпадающим никогда соблазну гармонической прозы), я все-таки знал вдохновение. Волнение, которое меня охватывало, быстро окидывало ледяным плащом, сжимало мне суставы и дергало за пальцы, лунатическое блуждание мысли, неизвестно как находившей среди тысячи дверей дверь в шумный по-ночному сад, вздувание и сокращение души, то достигавшей размеров звездного неба, то уменьшавшейся до капельки ртути, какое-то раскрывание каких-то внутренних объятий, классический трепет, бормотание, слезы, — все это было настоящее. Но в эту минуту, в торопливой, неумелой попытке волнение разрешить, я хватался за первые попавшиеся заезженные слова, за готовое их сцепление, так что как только я приступал к тому, что мнилось мне творчеством, к тому, что должно было быть выражением, живой связью между моим божественным волнением и моим человеческим миром, все гасло на гибельном словесном сквозняке, а я продолжал вращать эпитеты, налаживать рифму, не замечая разрыва, унижения, измены, — как человек, рассказывающий свой сон (как всякий сон, бесконечно свободный и сложный, но сворачивающийся, как кровь, по пробуждении), незаметно для себя и для слушателей округляет, подчищает, одевает его по моде ходячего бытия, и если начинает так: «Мне снилось, что я сижу у себя в комнате», чудовищно опошляет приемы сновидения, подразумевая, что она была обставлена совершенно так, как его комната наяву.

Прощание навеки: в зимний день с крупным снегом, валившим с утра, всячески — и отвесно, и косо, и даже вверх. Ее большие ботики и маленькая муфта. Она увозила с собой решительно все — и между прочим тот парк, где

летом встречались. Оставалась только его рифмованная опись, да портфель под мышкой, потрепанный портфель восьмиклассника, не пошедшего в школу. Странное стеснение, желание сказать важное, молчание, рассеянные, незначительные слова. Любовь, скажем просто, повторяет перед последней разлукой музыкальную тему робости, предшествовавшую первому признанию. Клетчатое прикосновение ее соленых губ сквозь вуаль. На вокзале была мерзкая, животная суета: это было время, когда щедрой рукой сеялись семена цветка счастья, солнца, свободы. Он теперь подрос. Россия заселена подсолнухами. Это самый большой, самый мордастый и самый глупый цветок.

Стихи: о разлуке, о смерти, о прошлом. Невозможно определить (но, кажется, это случилось уже за границей) точный срок перемены в отношении к стихотворчеству, — когда опротивела мастерская, классификация слов, коллекция рифм. Но как было мучительно трудно все это сломать, рассыпать, забыть! Ложные навыки держались крепко, сжившиеся слова не хотели расцепиться. Сами по себе они не были ни плохи, ни хороши, но их соединение по группам, круговая порука рифм, раздобревшие ритмы, — все это делало их страшными, гнусными, мертвыми. Считать себя бездарностью вряд ли было бы лучше, чем верить в свою гениальность: Федор Константинович сомневался в первом и допускал второе, а главное, силился не поддаваться бесовскому унынию белого листа. Раз были вещи, которые ему хотелось высказать так же естественно и безудержно, как легкие хотят расширяться, значит, должны были найтись годные для дыхания слова. Часто повторяемые поэтами жалобы на то, что, ах, слов нет, слова бледный тлен, слова никак не могут выразить наших каких-то там чувств (и тут же кстати разъезжается шестистопным хореем), ему казались столь же бессмысленными, как степенное убеждение старейшего в горной деревушке жителя, что вон на ту гору никогда никто не взбирался и не взберется; в одно прекрасное, холодное утро появляется длинный, легкий англичанин — и жизнерадостно вскарабкивается на вершину.

Первое чувство освобождения шевельнулось в нем при работе над книжкой «Стихи», изданной вот уже больше

двух лет тому назад. Она осталась в сознании приятным упражнением. Кое-что, правда, из этих пятидесяти восьмистиший было вспоминать совестно, — например, о велосипеде или дантисте, — но зато было и кое-что живое и верное: хорошо получился закатившийся и найденный мяч, причем в последней строфе нарушение рифмы (словно строка перелилась через край) до сих пор пело у него в слухе, все так же выразительно и вдохновенно. Книгу он издал за свой счет (продал случайно оставшийся от прежнего богатства плоский золотой портсигар, с нацарапанной датой далекой летней ночи, — о как скрипела ее мокрая от росы калитка!) в количестве пятисот экземпляров, из которых четыреста двадцать девять лежали до сих пор, непочатые и пыльные, ровным плоскогорием с одним уступом на складе у распространителя. Девятнадцать он раздарил, один оставил себе. Иногда задумывался над вопросом, кто, собственно говоря, эти пятьдесят один человек, купившие его книжечку? Он представлял себе некоторое помещение, полное этих людей (вроде собрания акционеров — «читателей Годунова-Чердынцева»), и все они были похожи друг на друга, с вдумчивыми глазами и белой книжечкой в ласковых руках. Достоверно узнал он про судьбу только одного экземпляра: его купила два года тому назад Зина Мерц.

Он лежал и курил, и потихоньку сочинял, наслаждаясь утробным теплом постели, тишиной в квартире, ленивым течением времени: Марианна Николаевна еще не скоро вернется, а обед — не раньше четверти второго. За эти три месяца комната совершенно обносилась, и ее движение в пространстве теперь вполне совпадало с движением его жизни. Звон молотка, шипение насоса, треск проверяемого мотора, немецкие взрывы немецких голосов, — все то будничное сочетание звуков, которое всегда по утрам исходило слева от двора, где были гаражи и автомобильные мастерские, давно стало привычным и безвредным, — едва заметным узором по тишине, а не ее нарушением. Небольшой стол у окна можно было тронуть носком ноги, если вытянуть ее из-под солдатского одеяла, а выкинутой вбок рукой можно было коснуться шкафа у левой стены (который, кстати сказать, иногда вдруг, без всякой причины,

раскрывался с толковым видом простака-актера, вышедшего не в свое время на сцену). На столе стояла лешинская фотография, пузырек с чернилами, лампа под молочным стеклом, блюдечко со следами варенья; лежали «Красная Новь», «Современные Записки» и сборничек стихов Кончеева «Сообщение», только что вышедший. На коврике у кушетки-постели валялась вчерашняя газета и зарубежное издание «Мертвых Душ». Всего этого он сейчас не видел, но все это было тут: небольшое общество предметов, приученное к тому, чтобы становиться невидимым, и в этом находившее свое назначение, которое выполнить только и могло оно при наличии определенного состава. Он был исполнен блаженнейшего чувства: это был пульсирующий туман, вдруг начинавший говорить человеческим голосом. Лучше этих мгновений ничего не могло быть на свете. Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо; как родине, будь вымыслу верна. Наш час настал. Собаки и калеки одни не спят. Ночь летняя легка. Автомобиль, проехавший, навеки последнего увез ростовщика. Близ фонаря, с оттенком маскарада, лист жилками зелеными сквозит. У тех ворот — кривая тень Багдада, а та звезда над Пулковом висит. О, поклянись что — —

Из передней грянул звон телефона. По молчаливому соглашению Федор Константинович его обслуживал в отсутствие хозяев. А что, если я теперь не встану? Звон длился, длился, с небольшими перерывами для перевода дыхания. Он не желал умереть; оставалось его убить. Не выдержав, с проклятием, Федор Константинович как дух пронесся в переднюю. Русский голос раздраженно спросил, кто говорит. Федор Константинович мгновенно его узнал: это был неведомый абонент — по прихоти случая, соотечественник — уже вчера попавший не туда, куда хотел, и нынче опять, по сходству номера, нарвавшийся на это же неправильное соединение. «Уйдите, ради Христа», — сказал Федор Константинович и с брезгливой поспешностью повесил трубку. На минуту зашел в ванную, выпил на кухне чашку холодного кофе и ринулся обратно в постель. Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина, полумерцанье в имени

твоем, — и странно мне по сумраку Берлина с полувиденьем странствовать вдвоем. Но вот скамья под липой освещенной... Ты оживаешь в судорогах слез: я вижу взор, сей жизнью изумленный, и бледное сияние волос. Есть у меня сравненье на примете, для губ твоих, когда целуешь ты: нагорный снег, мерцающий в Тибете, горячий ключ и в инее цветы. Ночные наши, бедные владения, — забор, фонарь, асфальтовую гладь — поставим на туза воображения, чтоб целый мир у ночи отыграть! Не облака — а горные отроги; костер в лесу, — не лампа у окна... О поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна...

В полдень послышался клюнувший ключ, и характерно трахнул замок: это с рынка домой Марианна пришла Николавна; шаг ее тяжкий под тошный шумок макинтоша отнес мимо двери на кухню пудовую сетку с продуктами. Муза Российския прозы, простись навсегда с капустным гекзаметром автора «Москвы». Стало как-то неуютно. От утренней емкости времени не осталось ничего. Постель обратилась в пародию постели. В звуках готовившегося на кухне обеда был неприятный упрек, а перспектива умывания и бритья казалась столь же близкой и невозможной, как перспектива у мастеров раннего средневековья. Но и с этим тоже придется тебе когда-нибудь проститься.

Четверть первого, двадцать минут первого, половина... Он разрешил себе одну последнюю папиросу среди цепкого, хоть уже опостылого постельного тепла. Анахронизм подушки становился все явственнее. Недокурив, он встал и сразу перешел из мира многих занимательных измерений в мир тесный и требовательный, с другим давлением, от которого мгновенно утомилось тело и заболела голова; в мир холодной воды: горячая нынче не шла.

Стихотворное похмелье, уныние, грустный зверь... Вчера забыл сполоснуть бритвенный снарядик, между зубцами — каменная пена, ножик заржавел, а другого нет. Из зеркала смотрел бледный автопортрет с серьезными глазами всех автопортретов. Сбоку, на подбородке, в нежно-разражительном месте, среди за ночь выросших волосков (сколько еще метров я в жизни сбрею?) появился желтоголовый чиреек, который мгновенно сделался средоточием

всего Федора Константиновича, сборным пунктом, куда стянулись все неприятные чувства, жившие в различных частях его существа. Выжал, — хотя знал, что потом распухнет втрое. Как это все ужасно. Сквозь холодную мыльную пену пробивался красный глазок: L'oeil regardait Caïn[1]. Между тем «жиллет» не брал волоса, и ощущение щетины при проверке пальцем отзывало адовой безнадежностью. В соседстве кадыка появились кровавые росинки, а волоски были все тут как тут. Степь Отчаяния. Кроме всего, было темновато, а если зажечь свет, то ничем не помогала иммортелевая желтизна дневного электричества. Кое-как добрившись, он брезгливо полез в ванну, застонал под ледяным напором душа, а потом ошибся полотенцем и с тоской подумал, что весь день будет пахнуть Марианной Николаевной. Лицо горело отвратительно шероховато, с одним специально раскаленным угольком сбоку на подбородке. Вдруг сильно дернулась ручка двери (это вернулся Щеголев). Федор Константинович подождал, пока удалились шаги, и проскочил к себе.

Вскоре он уже был в столовой. Марианна Николаевна разливала суп. Он поцеловал ее шершавую руку. Ее дочь, только что пришедшая со службы, явилась к столу медленными шажками, изможденная и как бы затуманенная конторой; села с изящной вялостью — папироса в длинных пальцах, на ресницах пудра, бирюзовый шелковый джампер, отчесанные с висков светлые стриженые волосы, хмурость, молчание, пепел. Щеголев хлопнул водочки, засунул салфетку за воротник и начал хлебать, приветливо и опасливо поглядывая на падчерицу. Она медленно размешала в борще белый восклицательный знак сметаны, но затем, пожав плечом, отставила тарелку. Марианна Николаевна, угрюмо следившая за ней, бросила на стол салфетку и вышла из столовой.

«Поешь, Аида», — сказал Борис Иванович, вытягивая мокрые губы. Ничего не ответив, словно его не было, — только вздрогнули ноздри узкого носа, — она повернулась на стуле, легко и естественно изогнула длинный стан, достала с буфета сзади пепельницу, поставила у тарелки,

---

[1] Око смотрело на Каина *(фр.)*.

сбросила пепел. Марианна Николаевна с мрачно-обиженным выражением на полном, кустарно накрашенном лице вернулась с кухни. Дочь положила левый локоть на стол и, слегка на него опираясь, медленно принялась за суп.

«Ну что, Федор Константинович, — начал Щеголев, утолив первый голод, — дело, кажется, подходит к развязке! Полный разрыв с Англией, Хинчука по шапке... Это, знаете, уже пахнет чем-то серьезным. Помните, я еще так недавно говорил, что выстрел Коверды — первый сигнал! Война! Нужно быть очень и очень наивным, чтобы отрицать ее неизбежность. Посудите сами, на востоке Япония не может потерпеть — — ».

И Щеголев пошел рассуждать о политике. Как многим бесплатным болтунам, ему казалось, что вычитанные им из газет сообщения болтунов платных складываются у него в стройную схему, следуя которой логический и трезвый ум (его ум, в данном случае) без труда может объяснить и предвидеть множество мировых событий. Названия стран и имена их главных представителей обращались у него вроде как в ярлыки на более или менее полных, но по существу одинаковых сосудах, содержание которых он переливал так и этак. Франция того-то боялась и потому никогда бы не допустила. Англия того-то добивалась. Этот политический деятель жаждал сближения, а тот — увеличить свой престиж. Кто-то замышлял и кто-то к чему-то стремился. Словом — мир, создаваемый им, получался каким-то собранием ограниченных, безъюморных, безликих, отвлеченных драчунов, и чем больше он находил в их взаимных действиях ума, хитрости, предусмотрительности, тем становился этот мир глупее, пошлее и проще. Совсем страшно бывало, когда он попадал на другого такого же любителя политических прогнозов. Был, например, полковник Касаткин, приходивший иногда к обеду, и тогда сшибалась щеголевская Англия не с другой щеголевской страной, а с Англией касаткинской, такой же несуществующей, так что в каком-то смысле войны международные превращались в межусобные, хотя воюющие стороны находились в разных планах, никак не могущих соприкоснуться. Сейчас, слушая его, Федор Константинович поражался семейному сходству именуемых

Щеголевым стран с различными частями тела самого Щеголева: так, «Франция» соответствовала его предостерегающе приподнятым бровям; какие-то «лимитрофы» — волосам в ноздрях, какой-то «польский коридор» шел по его пищеводу; в «Данциге» был щелк зубов. А сидел Щеголев на России.

Он проговорил весь обед (гуляш, кисель) и, ковыряя сломанной спичкой в зубах, пошел соснуть. Марианна Николаевна, перед тем как сделать то же, занялась мойкой посуды. Дочь, так и не проронив ни слова, отправилась опять на службу.

Только Федор Константинович успел убрать постельное белье с кушетки, как к нему явился ученик, толстый, бледный юноша в роговых очках, с вечным пером в грудном кармане. Учась в берлинской гимназии, бедняга настолько пропитался местным бытом, что и в английской речи делал те же невытравимые ошибки, которые сделал бы кегельноголовый немец. Не было, например, такой силы, которая могла бы заставить его перестать употреблять несовершенный вид прошедшего времени вместо совершенного, что придавало всякому его вчерашнему случайному действию какое-то идиотское постоянство. Столь же упорно он английским «тоже» орудовал как немецким «итак», и, одолевая тернистое окончание в слове, означавшем «одежды», неизменно добавлял лишний свистящий слог, как если б человек поскользнулся после взятия препятствия. Вместе с тем он изъяснялся довольно свободно и только потому обратился к помощи репетитора, что хотел на выпускном экзамене получить высший балл. Он был самодоволен, рассудителен, туп и по-немецки невежественен, т. е. относился ко всему, чего не знал, скептически. Твердо считая, что смешная сторона вещей давным-давно разработана там, где ей и полагается быть, — на последней странице берлинского иллюстрированного еженедельника, — он никогда не смеялся — разве только снисходительно хмыкал. Единственное, что еще мало-мальски могло его развеселить, это рассказ о какой-нибудь остроумной денежной операции. Вся философия жизни сократилась у него до простейшего положения: бедный несчастлив, богатый счастлив. Это узаконенное счастье игриво складывалось, под

аккомпанемент первоклассной танцовальной музыки, из различных предметов технической роскоши. На урок он норовил прийти всегда на несколько минут раньше и старался уйти на столько же позже.

Спеша на следующую пытку, Федор Константинович вышел с ним вместе, и тот, сопровождая его до угла, попытался даром добрать еще несколько английских выражений, но Федор Константинович, сухо веселясь, перешел на русскую речь. Они расстались на перекрестке. Это был ветреный и растрепанный перекресток, не совсем доросший до ранга площади, хотя тут была и кирка, и сквер, и угловая аптека, и уборная среди туй, и даже треугольный островок с киоском, у которого лакомились молоком трамвайные кондуктора. Множество улиц, расходившихся во все стороны, выскакивавших из-за углов и огибавших упомянутые места молитвы и прохлаждения, превращало перекресток в одну из тех схематических картинок, на которых, в назидание начинающим автомобилистам, изображены все городские стихии, все возможности их столкновения. Справа виднелись ворота трамвайного парка, с тремя прекрасными березами, нежно выделявшимися на его цементном фоне, и если, скажем, иной рассеянный вагоновожатый не застопорил бы около киоска за три метра до законной остановки (причем непременно какая-нибудь женщина с пакетами суетливо пыталась сойти, и ее все удерживали), чтобы острием железного шеста переставить стрелку (увы, такая рассеянность не встречалась почти никогда), вагон торжественно свернул бы под стеклянный свод, где ночевал и чинился. Кирка, громоздившаяся слева, была низко опоясана плющом; над каймой газона вокруг нее темнело несколько кустов рододендрона в лиловых цветах, а по ночам там можно было видеть какого-нибудь таинственного человека с таинственным фонариком, ищущего на дерне земляных червей — для своих птиц? для ужения рыбы? Против кирки, через улицу, зеленела под сиянием струи, вальсировавшей на месте с призраком радуги в росистых объятиях, продолговатая лужайка сквера, с молодыми деревьями по бокам (среди них серебристая ель) и аллеей покоем, в наиболее тенистом углу которой была песочная яма для детей, а мы этот жирный песок

трогаем только тогда, когда хороним знакомых. За сквером было запущенное футбольное поле, вдоль которого Федор Константинович и пошел к Курфюстендаму. Зелень лип, чернота асфальта, толстые шины, прислоненные к решетке палисадничка около магазина автомобильных штук, рекламная молодуха с сияющей улыбкой, показывающая кубик маргарина, синяя вывеска трактира, серые фасады домов, стареющих по мере приближения к проспекту, — все это в сотый раз мелькнуло мимо него. Как всегда, за несколько шагов до Курфюрстендама он увидел, как впереди, поперек пролета, пронесся нужный автобус: остановка была сразу за углом, но Федор Константинович не успел добежать и пришлось ждать следующего. Над порталом кинематографа было вырезано из картона черное чудовище на вывороченных ступнях с пятном усов на белой физиономии под котелком и гнутой тростью в отставленной руке. В плетеных креслах на террасе соседнего кафе, одинаково развалясь и одинаково сложив перед собой пальцы крышей, сидела компания деловых мужчин, очень между собою схожих в смысле морд и галстуков, но, вероятно, различной платежеспособности; а между тем небольшой автомобиль, с сильно поврежденным крылом, разбитыми стеклами и окровавленным платком на подножке, стоял у панели, и на него еще глазело человек пять зевак. Все было пестро от солнца; на зеленой скамейке, спиной к улице, грелся щуплый, с крашеной бородкой, старик в пикейных гетрах, а против него, через тротуар, пожилая, румяная нищая с отрезанными до таза ногами, приставленная, как бюст, к низу стены, торговала парадоксальными шнурками. Между домами виднелось незастроенное место, и там что-то скромно и таинственно цвело, а задние, сплошные, аспидно-черные стены каких-то других отвернувшихся домов в глубине были в странных, привлекательных и как будто ни от чего не зависевших белесых разводах, напоминавших не то каналы на Марсе, не то что-то очень далекое и полузабытое, вроде случайного выражения из когда-то слышанной сказки, или старые декорации для каких-то неведомых драм.

С изогнутой лестницы подошедшего автобуса спустилась пара очаровательных шелковых ног: мы знаем, что это

вконец затаскано усилием тысячи пишущих мужчин, но все-таки они сошли, эти ноги, — и обманули: личико было гнусное. Федор Константинович взобрался, кондуктор, замешкав на империале, сверху бахнул ладонью по железу борта, тем давая знать шоферу, что можно трогаться дальше. По этому борту, по рекламе зубной пасты на нем, зашуршали концы мягких ветвей кленов, — и было бы приятно смотреть с высоты на скользящую, перспективой облагороженную улицу, если бы не всегдашняя, холодненькая мысль: вот он, особенный, редкий, еще не описанный и не названный вариант человека, занимается Бог знает чем, мчится с урока на урок, тратит юность на скучное и пустое дело, на скверное преподавание чужих языков, — когда у него свой, из которого он может сделать все что угодно — и мошку, и мамонта, и тысячу разных туч. Вот бы и преподавал то таинственнейшее и изысканнейшее, что он, один из десяти тысяч, ста тысяч, быть может даже миллиона людей, мог преподавать: например — многоплановость мышления: смотришь на человека и видишь его так хрустально-ясно, словно сам только что выдул его, а вместе с тем, нисколько ясности не мешая, замечаешь побочную мелочь — как похожа тень телефонной трубки на огромного, слегка подмятого муравья, и (все это одновременно) загибается третья мысль — воспоминание о каком-нибудь солнечном вечере на русском полустанке, т. е. о чем-то не имеющем никакого разумного отношения к разговору, который ведешь, обегая снаружи каждое свое слово, а снутри — каждое слово собеседника. Или: пронзительную жалость — к жестянке на пустыре, к затоптанной в грязь папиросной картинке из серии «национальные костюмы», к случайному бедному слову, которое повторяет добрый, слабый, любящий человек, получивший зря нагоняй, — ко всему сору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки, королевского опыта, становится чем-то драгоценным и вечным. Или еще: постоянное чувство, что наши здешние дни — только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты в виде снов, слез счастья, далеких гор. Всему этому и многому еще другому (начиная с очень редкого и мучительного, так

называемого чувства звездного неба, упомянутого, кажется, только в одном научном труде, паркеровском «Путешествии Духа», — и кончая профессиональными тонкостями в области художественной литературы) он мог учить, и хорошо учить, желающих, но желающих не было — и не могло быть, а жаль, брал бы за час марок сто, как берут иные профессора музыки. И вместе с тем он находил забавным себя же опровергать: все это пустяки, тени пустяков, заносчивые мечтания. Я просто бедный молодой россиянин, распродающий излишек барского воспитания, а в свободное время пописывающий стихи, вот и все мое маленькое бессмертие. Но даже этому переливу многогранной мысли, игре мысли с самой собою, некого было учить.

Он ехал — и вот доехал — к одинокой во всех смыслах молодой женщине, очень красивой, несмотря на веснушки, всегда в черном платье, с открытой шеей, и с губами как сургучная печать на письме, в котором ничего не написано. Она все смотрела на Федора Константиновича с задумчивым любопытством, не только не интересуясь замечательным романом Стивенсона, который он с нею уже три месяца читал (а до того, таким же темпом, читали Киплинга), но не понимая толком ни одного предложения и записывая слова, как записываешь адрес человека, к которому знаешь, что никогда не пойдешь. Даже теперь — или, точнее говоря, именно теперь, и с бóльшим волнением, чем раньше, Федор Константинович, влюбленный в другую, ни с кем не сравнимую по очарованию и уму, подумывал о том, что было бы, если б он положил ладонь на вот эту, слегка дрожащую, маленькую, с острыми ногтями, руку, лежащую так пригласительно близко, — и оттого, что он знал, что тогда было бы, сердце вдруг начинало колотиться, и сразу высыхали губы; однако тут же его невольно отрезвляла какая-нибудь ее интонация, смешок, веяние тех определенных духов, которыми почему-то душились как раз те женщины, которым он нравился, хотя ему был как раз невыносим этот мутный, сладковато-бурый запах. Это была ничтожная, лукавая, с вялой душой женщина; но и нынче, когда кончился урок и он вышел на улицу, его охватила смутная досада: он вообразил гораздо лучше, чем давеча при ней, как, должно быть, податливо и весело на

все нашло бы ответ ее небольшое, сжатое тело, и с болезненной живостью он увидел в воображаемом зеркале свою руку на ее спине и ее закинутую назад, гладкую, рыжеватую голову, а потом зеркало многозначительно опустело, и он почувствовал то, что пошлее всего на свете: укол упущенного случая.

Нет, это было не так, — он ничего не упустил. Единственная прелесть этих несбыточных объятий была в их легкой воображаемости. За последние десять лет одинокой и сдержанной молодости, живя на скале, где всегда было немножко снега и откуда было далеко спускаться в пивоваренный городок под горой, он привык к мысли, что между обманом походной любви и сладостью ее соблазна — пустота, провал жизни, отсутствие всяких реальных действий с его стороны, так что иной раз, когда он заглядывался на прохожую, он купно переживал и потрясающую возможность счастья, и отвращение к его неизбежному несовершенству, — вкладывая в это одно мгновение образ романа, но на среднюю часть сокращая его триптих. Он знал поэтому, что и в данном случае чтение Стивенсона никогда не прервется Дантовой паузой, знал, что, случись такой перерыв, он не испытал бы ничего, кроме убийственного холода, что требования воображения неисполнимы и что тупости взгляда, прощаемой прелестным, влажным глазам, неизбежно соответствует недостаток, до тех пор скрытый, — тупое выражение груди, которое простить невозможно. А иногда он завидовал простому любовному быту других мужчин и тому, как они, должно быть, посвистывали, разуваясь.

Перейдя Виттенбергскую площадь, где, как в цветном кинематографе, дрожали на ветру розы вокруг античной лестницы, ведущей на подземную станцию, он направился в русскую книжную лавку: между уроками был просвет пустого времени. Как бывало всегда, когда он попадал на эту улицу (начинавшуюся под покровительством огромного универсального магазина, торгующего всеми формами местного безвкусия, а кончавшуюся, после нескольких перекрестков, в бюргерской тиши, с тополевой тенью на асфальте, разрисованном детскими мелками), он встретил пожилого, болезненно озлобленного петербургского лите-

ратора, носящего летом пальто, чтобы скрыть убожество костюма, страшно тощего, с карими глазами навыкате, брезгливыми морщинками у обезьяньего рта и одним длинным загнутым волосом, растущим из крупной черной поры на широком носу, — подробность, больше привлекавшая внимание Федора Константиновича, чем разговор этого умного каверзника, немедленно при встрече приступавшего к чему-то вроде притчи, к отвлеченному и длинному анекдоту из прошлого, оказывавшемуся лишь предисловием к забавной сплетне об общем знакомом. Едва Федор Константинович развязался с ним, как завидел двух других литераторов, добродушно-мрачного москвича, осанкой и обликом несколько напоминавшего Наполеона островного периода, и сатирического поэта из «Газеты», тщедушного, беззлобно остроумного человека, с тихим хриплым голоском. Эти двое, как и предыдущий, неизменно попадались в данном районе, которым пользовались для неторопливых прогулок, богатых встречами, так что получалось, как если бы тут, на этой немецкой улице, блуждал призрак русского бульвара, или даже наоборот: улица в России, несколько прохлаждающихся жителей и бледные тени бесчисленных инородцев, мелькавшие промеж них, как привычное и едва заметное наваждение. Поговорили о только что встреченном писателе, и Федор Константинович поплыл дальше. Через несколько шагов он заметил Кончеева, читавшего на тихом ходу подвал парижской «Газеты» с удивительной, ангельской улыбкой на круглом лице. Из русского гастрономического магазина вышел инженер Керн, опасливо суя пакетик в портфель, прижатый к груди, а на поперечной улице (как стечение людей во сне или в последней главе «Дыма») мелькнула Марианна Николаевна Щеголева с какой-то другой дамой, усатой и очень полной, которая, кажется, была Абрамовой. Немедленно затем пересек улицу Александр Яковлевич, — нет, ошибка, — даже не очень похожий на него господин.

Федор Константинович добрался до книжной лавки. В витрине виднелось, среди зигзагов, зубцов и цифр советских обложек (это было время, когда в моде там были заглавия «Любовь Третья», «Шестое чувство», «Семнадцатый пункт»), несколько эмигрантских новинок: новый,

дородный роман генерала Качурина «Красная Княжна», кончеевское «Сообщение», белые, чистые книги двух маститых беллетристов, «Чтец-Декламатор», изданный в Риге, крохотная, в ладонь, книжка стихов молодой поэтессы, руководство «Что должен знать шофер» и последний труд доктора Утина «Основы счастливого брака». Было и несколько старых петербургских гравюр, — одна на зеркальный выворот, с перестановкой ростральной колонны по отношению к соседним зданиям.

В лавке хозяина не оказалось: он ушел к зубному врачу, и его заменяла довольно случайная барышня, читавшая в углу в неудобной позе «Туннель» Келлермана по-русски. Федор Константинович подошел к столику, где были разложены эмигрантские периодические издания. Он развернул литературный номер парижской «Газеты» и с холодком внезапного волнения увидел большой фельетон Христофора Мортуса, посвященный «Сообщению». «А вдруг бранит?» — с безумной надеждой успел подумать он, уже, впрочем, слыша в ушах, вместо мелодии хулы, мчащийся гул оглушительных похвал. Он жадно начал читать.

«Не помню кто — кажется, Розанов, говорит где-то», — начинал, крадучись, Мортус; и, приведя сперва эту недостоверную цитату, потом какую-то мысль, кем-то высказанную в парижском кафе после чьей-то лекции, начинал суживать эти искусственные круги вокруг «Сообщения» Кончеева, причем до конца так и не касался центра, а только изредка направлял к нему месмерический жест с внутреннего круга — и опять кружился. Получалось нечто вроде тех черных спиралей на картонных кругах, которые, в безумном стремлении обратиться в мишень, бесконечно вращаются в витринах берлинских мороженников.

Это был ядовито-пренебрежительный «разнос», без единого замечания по существу, без единого примера, — и не столько слова, сколько вся манера критика претворяла в жалкий и сомнительный призрак книгу, которую на самом деле Мортус не мог не прочесть с наслаждением, а потому выдержек избегал, чтобы не напортить себе несоответствием между тем, что он писал, и тем, о чем он писал; весь фельетон казался сеансом с вызовом духа, который заранее объявляется если не шарлатанством, то

обманом чувств. «Эти стихи, — кончил Мортус, — возбуждают у читателя какое-то неопределенное и непреодолимое отталкивание. Друзьям таланта Кончеева они, вероятно, покажутся прелестными. Не будем спорить, — может быть, это действительно так. Но в наше трудное, по-новому ответственное время, когда в самом воздухе разлита тонкая моральная тревога, ощущение которой является непогрешимым признаком "подлинности" современного поэта, отвлеченно-певучие пьески о полусонных видениях не могут никого обольстить. И право же, от них переходишь с каким-то отрадным облегчением к любому человеческому документу, к тому, что "вычитываешь" у иного советского писателя, пускай и не даровитого, к бесхитростной и горестной исповеди, к частному письму, продиктованному отчаянием и волнением».

Сначала Федор Константинович почувствовал острое, почти физическое удовольствие от этой статьи, но тотчас оно рассеялось, сменившись странным ощущением, словно он принимал участие в хитром и дурном деле. Он вспомнил давешнюю улыбку Кончеева — над этими строками, конечно, — и подумал, что эта улыбка могла бы отнестись и к нему, Годунову-Чердынцеву, заключившему с критиком завистливый союз. Тут же он вспомнил, что сам Кончеев в своих критических обзорах не раз, — свысока и, в сущности, столь же недобросовестно, — задевал Мортуса (который, кстати сказать, был в частной жизни женщиной средних лет, матерью семейства, в молодости печатавшей в «Аполлоне» отличные стихи, а теперь скромно жившей в двух шагах от могилы Башкирцевой и страдавшей неизлечимой болезнью глаз, что придавало каждой строке Мортуса какую-то трагическую ценность). И когда Федор Константинович почувствовал бесконечно лестную враждебность этой статьи, ему стало досадно, что о нем так никто не пишет.

Он еще просмотрел еженедельный иллюстрированный журнальчик, выходивший в Варшаве, и нашел рецензию на тот же предмет, но совсем другого пошиба. Это была критика-буфф. Тамошний Валентин Линев, из номера в номер бесформенно, забубенно и не вполне грамотно изливавший свои литературные впечатления, был славен тем, что не

только не мог разобраться в отчетной книге, но, по-видимому, никогда не дочитывал ее до конца. Бойко творя из-под автора, увлекаясь собственным пересказом, выхватывая отдельные фразы в подтверждение неправильных заключений, плохо понимая начальные страницы, а в следующих энергично пускаясь по ложному следу, он добирался до предпоследней главы в блаженном состоянии пассажира, еще не знающего (а в его случае так и не узнающего), что сел не в тот поезд. Неизменно бывало, что, долистав вслепую длинный роман или коротенькую повесть (размер не играл роли), он навязывал книге собственное окончание, — обыкновенно как раз противоположное замыслу автора. Другими словами, если бы, скажем, Гоголь приходился ему современником и Линев о нем писал, то он прочно остался бы при невинном убеждении, что Хлестаков — ревизор в самом деле. Когда же, как сейчас, он писал о стихах, то простодушно употреблял прием так называемых межцитатных мостиков. Его разбор кончеевской книги сводился к тому, что он за автора отвечал на какую-то подразумеваемую альбомную анкету (Ваш любимый цветок? Любимый герой? Какую добродетель вы больше всего цените?): «Поэт, — писал о Кончееве Линев, — любит, — (следовала цепочка цитат, искаженных насилием их сочетания и винительных падежей). — Его пугает, — (опять обрубки стихов). — Он находит утешение в... — (та же игра); — но с другой стороны... — (три четверти стиха, обращенных посредством кавычек в плоское утверждение); — иногда же ему кажется, что, — и тут Линев ненароком выковырнул что-то более или менее целое:

Виноград созревал, изваянья в аллеях синели.
Небеса опирались на снежные плечи отчизны...» —

и это было так, словно голос скрипки вдруг заглушил болтовню патриархального кретина.

На другом столе, рядом, были разложены советские издания, и можно было нагнуться над омутом московских газет, над адом скуки, и даже попытаться разобрать сокращения, мучительную тесноту нарицательных инициалов, через всю Россию возимых на убой, — их страшная связь

напоминала язык товарных вагонов (бухание буферов, лязг, горбатый смазчик с фонарем, пронзительная грусть глухих станций, дрожь русских рельсов, поезда бесконечно дальнего следования). Между «Звездой» и «Красным Огоньком» (дрожащим в железнодорожном дыму) лежал номер шахматного журнальчика «8 × 8»; Федор Константинович перелистал его, радуясь человеческому языку задачных диаграмм, и заметил статейку с портретом жидкобородого старика, исподлобья глядящего через очки, — статейка была озаглавлена «Чернышевский и шахматы». Он подумал, что это может позабавить Александра Яковлевича, и, отчасти по этой причине, отчасти потому, что вообще любил задачи, журнальчик взял; барышня, оторвавшись от Келлермана, «не сумела сказать», сколько он стоит, но, зная, что Федор Константинович и так должен в лавке, равнодушно отпустила его. Он ушел с приятным чувством, что дома будет развлечение. Не только отменно разбираясь в задачах, но будучи в высшей мере одарен способностью к их составлению, он в этом находил и отдых от литературного труда, и таинственные уроки. Как литератору эти упражнения не проходили ему даром.

Шахматный композитор не должен непременно хорошо играть. Федор Константинович играл весьма посредственно и неохотно. Его утомляла и бесила дисгармония между невыносливостью его шахматной мысли в процессе борьбы и тем восклицательным блеском, к которому она порывалась. Для него составление задачи отличалось от игры приблизительно так, как выверенный сонет отличается от полемики публицистов. Начиналось с того, что, вдали от доски (как в другой области — вдали от бумаги) и при горизонтальном положении тела на диване (т. е. когда тело становится далекой синей линией, горизонтом себя самого), вдруг, от внутреннего толчка, неотличимого от вдохновения поэтического, ему являлся диковинный способ осуществления той или иной изощренной задачной идеи (скажем, союза двух тем, индийской и бристольской, — или идеи вовсе новой). Некоторое время он с закрытыми глазами наслаждался отвлеченной чистотой лишь в провидении воплощенного замысла; потом стремительно раскрывал сафьяновую доску и ящичек с полновесными

фигурами, расставлял их начерно, с разбега, и сразу выяснялось, что идея, осуществленная так чисто в мозгу, тут, на доске, требует — для своего очищения от толстой резной скорлупы — неимоверного труда, предельного напряжения мысли, бесконечных испытаний и забот, а главное — той последовательной находчивости, из которой, в шахматном смысле, складывается истина. Соображая варианты, так и этак исключая громоздкости построения, кляксы и бельма подспорных пешек, борясь с побочными решениями, он добивался крайней точности выражения, крайней экономии гармонических сил. Если бы он не был уверен (как бывал уверен и при литературном творчестве), что воплощение замысла уже существует в некоем другом мире, из которого он его переводил в этот, то сложная и длительная работа на доске была бы невыносимой обузой для разума, допускающего, наряду с возможностью воплощения, возможность его невозможности. Мало-помалу фигуры и клетки начинали оживать и обмениваться впечатлениями. Грубая мощь ферзя превращалась в изысканную силу, сдерживаемую и направляемую системой сверкающих рычагов; умнели пешки; кони выступали испанским шагом. Все было осмысленно, и вместе с тем все было скрыто. Всякий творец — заговорщик; и все фигуры на доске, разыгрывая в лицах его мысль, стояли тут конспираторами и колдунами. Только в последний миг ослепительно вскрывалась их тайна.

Еще два-три очистительных штриха, еще одна проверка, — и задача была готова. Ее ключ, первый ход белых, был замаскирован своей мнимой нелепостью, — но именно расстоянием между ней и ослепительным разрядом смысла измерялось одно из главных художественных достоинств задачи, а в том, как одна фигура, точно смазанная маслом, гладко заходила за другую, скользнув через все поле и забравшись к ней под мышку, была почти телесная приятность, щекочущее ощущение ладности. На доске звездно сияло восхитительное произведение искусства: планетарием мысли. Все тут веселило шахматный глаз: остроумие угроз и защит, грация их взаимного движения, чистота матов (столько-то пуль на столько-то сердец); каждая фигура казалась нарочно сработанной для своего квадрата; но,

может быть, очаровательнее всего была тонкая ткань обмана, обилие подметных ходов (в опровержении которых была еще своя побочная красота), ложных путей, тщательно уготовленных для читателя.

Третий урок в эту пятницу был у Васильева. Редактор берлинской «Газеты», наладив связь с малочитаемым английским журналом, помещал в нем еженедельную статью о положении в советской России. Несколько зная язык, он писал статью начерно, оставляя пробелы, вкрапливая русские фразы и требуя от Федора Константиновича дословного перевода своих передовичных словец: быль молодцу не в укор; чудеса в решете; как дошла ты до жизни такой; се лев, а не собака; пришла беда — растворяй ворота; и волки сыты, и овцы целы; беда, коль пироги начнет печи сапожник; всяк сверчок знай свой шесток; голь на выдумки хитра; милые бранятся — только тешатся; мы и сами с усами; свой своему поневоле брат; паны дерутся — у хлопцев чубы болят; дело не волк — в лес не убежит; снявши голову, по волосам не плачут; нужна реформа, а не реформы. И очень часто попадалось выражение: «произвело впечатление разорвавшейся бомбы». Задача Федора Константиновича состояла в том, чтобы по васильевскому черновику диктовать Васильеву статью в исправленном виде прямо в машинку, — Георгию Ивановичу это казалось чрезвычайно практичным, на самом же деле диктовка чудовищно растягивалась из-за мучительных пауз. Но странно, — вероятно, метод применения басенной морали сгущенно передавал оттенок «moralités»[1], присущий всем сознательным проявлениям советской власти: перечитывая готовую статью, казавшуюся при диктовке вздором, Федор Константинович улавливал, сквозь неуклюжий перевод и газетные эффекты автора, ход стройной и сильной мысли, неуклонно пробирающейся к цели — и спокойно дающей в углу мат.

Провожая его затем до двери, Георгий Иванович вдруг страшно сдвинул усатые брови и быстро проговорил:

«Что, читали, как обложили Кончеева, воображаю, как на него подействовало, какой удар, какая неудача».

---

[1] «Моралите» *(фр., мн. ч.)*, т. е. нравоучительные аллегорические драмы, или нравоучения.

«Ему наплевать, я знаю это», — ответил Федор Константинович, — и на лице у Васильева изобразилось мгновенное разочарование.

«Ну, это он так, хорохорится, — находчиво возразил он, снова повеселев. — На самом деле, наверное, убит».

«Не думаю», — сказал Федор Константинович.

«Во всяком случае, я искренне огорчен за него», — докончил Васильев с таким видом, точно вовсе не желал расставаться со своим огорчением.

Несколько утомленный, но радуясь тому, что трудовой день окончен, Федор Константинович сел в трамвай и раскрыл журнальчик (опять мелькнуло склоненное лицо Н. Г. Чернышевского — о котором он только и знал, что это был «шприц с серной кислотой», — как где-то говорит, кажется, Розанов, — и автор «Что делать?», путавшегося, впрочем, с «Кто виноват?»). Он углубился в рассмотрение задач и вскоре убедился, что, не будь среди них двух гениальных этюдов старого русского мастера да нескольких интересных перепечаток из иностранных изданий, журнальчика не стоило бы покупать. Добросовестные, ученические упражнения молодых советских композиторов были не столько «задачи», сколько «задания»: в них громоздко трактовалась та или иная механическая тема (какое-нибудь «связывание» и «развязывание»), без всякой поэзии; это были шахматные лубки, не более, и подталкивающие друг друга фигуры делали свое неуклюжее дело с пролетарской серьезностью, мирясь с побочными решениями в вялых вариантах и нагромождением милицейских пешек.

Прозевав остановку, он все же успел выскочить у сквера, сразу повернув на каблуках, как обыкновенно делает человек, резко покинувший трамвай, и пошел мимо церкви по Агамемнонштрассе. Дело было под вечер, небо было безоблачно, неподвижное и тихое сияние солнца придавало какую-то мирную, лирическую праздничность всякому предмету. Велосипед, прислоненный к желто-освещенной стене, стоял слегка изогнуто, как пристяжная, но еще совершеннее его самого была его прозрачная тень на стене. Пожилой толстоватый господин, вихляя задом, спешил на теннис, в городских штанах, в сорочке-пупсик, с тремя серыми мячами в сетке, и рядом с ним быстро шла на

резиновых подошвах немецкая девушка спортивного покроя, с оранжевым лицом и золотыми волосами. За ярко раскрашенными насосами, на бензинопое пело радио, а над крышей его павильона выделялись на голубизне неба желтые буквы стойком — название автомобильной фирмы, — причем на второй букве, на «А» (а жаль, что не на первой, на «Д», — получилась бы заставка), сидел живой дрозд, черный, с желтым — из экономии — клювом, и пел громче, чем радио. Дом, где жил Федор Константинович, был угловой и выпирал, как огромный красный корабль, неся на носу стеклянно-сложное башенное сооружение, словно скучный, солидный архитектор внезапно сошел с ума и произвел вылазку в небо. На всех балкончиках, коими дом был многоярусно опоясан, что-то зеленело и цвело, и только щеголевский был неопрятно пуст, с сиротливым горшком на борту и каким-то проветриваемым висельником в молевых мехах.

Еще в самом начале своего пребывания на этой квартире Федор Константинович, полагавший, что ему нужен по вечерам полный покой, выговорил себе право получать ужин в комнату. На столе, среди книг, его ждали теперь два серых бутерброда с глянцевитой мозаикой колбасы, чашка остывшего, отяжелевшего чая и тарелка розового киселя (утрешнего). Жуя и прихлебывая, он снова раскрыл «8 × 8» (снова глянул на него исподлобья бодучий Н. Г. Ч.) и тихо стал наслаждаться этюдом, в котором немногочисленные фигуры белых как бы висели над пропастью, а все-таки добивались своего. Отыскалась затем очаровательная четырехходовка американского мастера, красота которой заключалась не только в остроумно запрятанной матовой комбинации, а еще в том, что при соблазнительной, но ошибочной атаке белых черные, путем втягивания и запирания собственных фигур, как раз успевали устроить себе герметический пат. Зато в одном из советских произведений (П. Митрофанов, Тверь) нашелся прелестный пример того, как можно дать маху: у черных было д е в я т ь пешек, — девятую, по-видимому, добавили в последнюю минуту, чтобы заделать непредвиденную брешь, как если бы писатель торопливо заменил в корректуре «ему обязательно расскажут» более грамотным «ему несомненно расскажут»,

не заметив, что сразу за этим следует: «...о ея сомнительной репутации».

Вдруг ему стало обидно — отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым, как она могла так оболваниться и притупиться? Или в старом стремлении «к свету» таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот «свет» горит в окне тюремного надзирателя, только и всего? Когда началась эта странная зависимость между обострением жажды и замутнением источника? В сороковых годах? В шестидесятых? И «что делать» теперь? Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала, как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды? Когда-нибудь, оторвавшись от писания, я посмотрю в окно и увижу русскую осень.

Какие-то знакомые, уехавшие на лето в Данию, недавно оставили Борису Ивановичу радиоаппарат. Было слышно, как он возится с ним, удавляя пискунов, скрипунов, переставляя призрачную мебель. Тоже — развлечение.

В комнате между тем потемнело; над почерневшими очерками домов за двором, где зажглись уже окна, небо было ультрамаринового тона, и в черных проволоках между черных труб сияла звезда — которую, как всякую звезду, можно было видеть по-настоящему лишь переключив зрение, так что все остальное сдвигалось вон из фокуса. Он подпер кулаком щеку и сидел так у стола, глядя в окно. Вдали какие-то большие часы, местоположение которых он все обещал себе определить, но всегда забывал это сделать, тем более что за слоем дневных звуков их не бывало слышно, медленно пробили девять. Пора было идти на свидание с Зиной.

Они обычно встречались по ту сторону железнодорожной ложбины, на тихой улице поблизости Груневальда, где массивы домов (темные крестословицы, в которых не все еще решил желтый свет) прерывались пустырями, огородами, угольными складами («темы и ноты темнот» — строка Кончеева), где был, между прочим, замечательный забор,

составленный, по-видимому, из когда-то разобранного в другом месте (может быть, в другом городе), ограждавшего до того стоянку бродячего цирка, но доски были теперь расположены в бессмысленном порядке, точно их сколачивал слепой, так что некогда намалеванные на них цирковые звери, перетасовавшись во время перевозки, распались на свои составные части: тут нога зебры, там спина тигра, а чей-то круп соседствует с чужой перевернутой лапой, — обещание жизни грядущего века было по отношению к забору сдержанно, но разъятие земных образов на нем уничтожало земную ценность бессмертия; ночью, впрочем, мало что можно было различить, а преувеличенные тени листьев (вблизи был фонарь) ложились на доски забора вполне осмысленно, по порядку, — это служило некоторым возмещением, тем более что их-то никак нельзя было перенести в другое место, заодно с досками, разбив и спутав узор: их можно было перенести на нем только целиком, вместе со всей ночью.

Ожидание ее прихода. Она всегда опаздывала — и всегда приходила другой дорогой, чем он. Вот и получилось, что даже Берлин может быть таинственным. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего по тумбе пробегает, как соболь пробегает через пень. За пустырем как персик небо тает: вода в огнях, Венеция сквозит, — а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена.

Из темноты, для глаз всегда нежданно, она как тень внезапно появлялась, от родственной стихии отделясь. Сначала освещались только ноги, так ставимые тесно, что казалось, она идет по тонкому канату. Она была в коротком летнем платье ночного цвета — цвета фонарей, теней, стволов, лоснящейся панели: бледнее рук ее, темней лица. Посвящено Георгию Чулкову. Федор Константинович целовал ее в мягкие губы, и затем она на мгновение опускала голову к нему на ключицу и, быстро высвободившись, шла рядом с ним, сперва с такой грустью на лице, словно за двадцать часов их разлуки произошло какое-то небывалое несчастье, но мало-помалу она приходила себя, и вот

улыбалась — так, как днем не улыбалась никогда. Что его больше всего восхищало в ней? Ее совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как уже она указывала ее. И не только Зина была остроумно и изящно создана ему по мерке очень постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их.

Когда он поселился у Щеголевых и увидел ее в первый раз, у него было ощущение, что он уже многое знает о ней, что и имя ее ему давно знакомо, и кое-какие очертания ее жизни, но до разговора с ней он не мог себе уяснить, откуда и как это знает. Сначала он видал ее только за обедом и осторожно наблюдал за ней, изучая каждое ее движение. Она едва говорила с ним, хотя по некоторым признакам — не столько по зрачкам, сколько по отливу глаз, как бы направленному в его сторону, — он знал, что она замечает каждый его взгляд, двигаясь так, словно была все время ограничена легчайшими покровами того самого впечатления, которое на него производила; и оттого, что ему казалось вовсе невозможным какое-либо свое участие в ее душе и жизни, он испытывал страдание, когда выглядывал в ней что-нибудь особенно прелестное, и отрадное облегчение, когда в ней мелькал какой-нибудь недостаток красоты. Ее бледные волосы, светло и незаметно переходившие в солнечный воздух вокруг головы, голубая жилка на виске, другая — на длинной и нежной шее, тонкая кисть, острый локоть, узость боков, слабость плеч и своеобразный наклон стройного стана, как если б пол, по которому она, разогнавшись как на коньках, устремлялась, спускался всегда чуть полого к пристани стула или стола, где был ей нужный предмет, — все это воспринималось им с мучительной отчетливостью, и потом, в течение дня, бесконечное число раз повторялось в его памяти, отзываясь все ленивее, бледнее и отрывистее, теряя жизнь и доходя, из-за машинальных повторений распадающегося образа, до какой-то изломанно тающей схемы, в которой уже почти

ничего не было от первоначальной жизни; но как только он ее видел вновь, вся эта подсознательная работа по уничтожению ее образа, власти которого он все больше боялся, шла насмарку, и опять вспыхивала красота, — ее близость, страшная доступность взгляду, восстановленная связь всех подробностей. Если в те дни ему пришлось бы отвечать перед каким-нибудь сверхчувственным судом (помните, как Гёте говаривал, показывая тростью на звездное небо: «Вот моя совесть!»), то вряд ли бы он решился сказать, что любит ее, — ибо давно догадывался, что никому и ничему всецело отдать душу не способен: оборотный капитал ему был слишком нужен для своих частных дел; но зато, глядя на нее, он сразу добирался (чтобы через минуту скатиться опять) до таких высот нежности, страсти и жалости, до которых редкая любовь доходит. И среди ночи, особенно после долгой работы мысли, наполовину выйдя из сна как бы не с той стороны, где рассудок, а с черного хода бреда, он с безумным, тягучим упоением чувствовал ее присутствие в комнате на поспешно и неряшливо приготовленной бутафором походной койке, в двух шагах от него, но пока он лелеял свое волнение, наслаждался искушением, краткостью расстояния, райской возможностью, в которой, впрочем, ничего плотского не было (а была какая-то блаженная замена плотского, выраженная в терминах полусна), его заманивало обратно забытье, в которое он безнадежно отступал, думая, что все еще держит добычу. По-настоящему же она никогда ему не снилась, довольствуясь присылкой каких-то своих представительниц и наперсниц, которые бывали вовсе на нее не похожи, а возбуждали в нем ощущение, оставлявшее его в дураках, чему был свидетелем синеватый рассвет.

А потом, совсем проснувшись, уже при звуках утра, он сразу попадал в самую гущу счастья, засасывающую сердце, и было весело жить, и теплилось в тумане восхитительное событие, которое вот-вот должно было случиться. Но как только он воображал Зину, он видел лишь бледный набросок, который голос ее за стеной не в силах был зажечь жизнью. А через час-другой он встречался с ней за столом, и все восстанавливалось, и он снова понимал, что, не будь ее, не было бы этого утреннего тумана счастья.

Как-то, спустя дней десять после знакомства, она вдруг вечером постучалась к нему и надменно-решительным шагом, с почти презрительным выражением на лице, вошла, держа в руке небольшую, спрятанную в розовой обертке, книгу. «У меня к вам просьба, — сказала она быстро и сухо. — Сделайте мне тут надпись»; Федор Константинович книгу взял — и узнал в ней приятно потрепанный, приятно размягченный двухлетним пользованием (это было ему совершенно внове) сборничек своих стихов. Он очень медленно стал откупоривать пузырек с чернилами, — хотя в иные минуты, когда хотелось писать, пробка выскакивала, как из бутылки шампанского; Зина же, посмотрев на его теребившие пробку пальцы, поспешно добавила: «Только фамилию, — пожалуйста, только фамилию». Он расписался, хотел было поставить дату, но почему-то подумал, что в этом она может усмотреть вульгарную многозначительность. «Ну вот, спасибо», — сказала она и, дуя на страницу, вышла.

Через день было воскресенье, и около четырех вдруг выяснилось, что она одна дома: он читал у себя, она была в столовой и изредка совершала короткие экспедиции к себе в комнату через переднюю, и при этом посвистывала, и в ее легком топоте была топографическая тайна, — ведь к ней прямо вела дверь из столовой. Но мы читаем и будем читать. «Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой, будет удален от нее» (а вместе с тем, на прогулках в Швейцарии так писавший колотил перебегавших по тропе ящериц — «чертовскую нечисть» — с брезгливостью хохла и злостью изувера). Невообразимое возвращение! Строй? Вот уж все равно какой. При монархии — флаги да барабан, при республике — флаги да выборы... Опять прошла. Нет, не читалось, — мешало волнение, мешало чувство, что другой бы на его месте вышел к ней с непринужденными, ловкими словами; когда же он представлял себе, как сам выплывет и ткнется в столовую, и не будет знать, что сказать, то ему начинало хотеться, чтобы она скорее ушла или чтоб вернулись домой Щеголевы. И в то самое

мгновение, когда он решил больше не прислушиваться и нераздельно заняться Гоголем, Федор Константинович быстро встал и вошел в столовую.

Она сидела у балконной двери и, полуоткрыв блестящие губы, целилась в иглу. В растворенную дверь был виден маленький, бесплодный балкон, и слышалось жестяное позванивание да пощелкивание подпрыгивающих капель, — шел крупный, теплый апрельский дождь.

«Виноват, — не знал, что вы тут, — сказал Федор Константинович лживо. — Я только хотел вам насчет моей книжки: это не то, это плохие стихи, то есть не все плохо, но в общем. То, что я за эти два года печатал в “Газете”, значительно лучше».

«Мне очень понравилось то, что вы раз читали на вечере, — сказала она. — О ласточке, которая вскрикнула».

«Ах, вы там были? Да. Но у меня есть еще лучше, уверяю вас».

Она вдруг соскочила со стула, бросила на сиденье штопку и, болтая опущенными руками, наклоняясь вперед, мелко переставляя как бы скользящие ноги, быстро прошла в свою комнату и вернулась с газетными вырезками, — его и кончеевские стихи.

«Но у меня, кажется, не всё тут», — заметила она.

«Я не знал, что это вообще бывает, — сказал Федор Константинович и добавил неловко: — Буду теперь просить, чтобы делали вокруг такие дырочки пунктиром, — знаете, как талоны, чтоб было легче отрывать».

Она продолжала возиться с чулком на грибе и, не поднимая глаз, но быстро и хитро улыбнувшись, сказала:

«А я знаю, что вы жили на Танненбергской, семь, я часто бывала там».

«Да что вы», — удивился Федор Константинович.

«Я знакома еще по Петербургу с женой Лоренца, — она мне когда-то давала уроки рисования».

«Как это странно», — сказал Федор Константинович.

«А Романов теперь в Мюнхене, — продолжала она. — Глубоко противный тип, но я всегда любила его вещи».

Поговорили о Романове. О его картинах. Достиг полного расцвета. Музеи приобретали... Пройдя через все, нагруженный богатым опытом, он вернулся к выразительной

гармонии линий. Вы знаете его «Футболиста»? Вот как раз журнал с репродукцией. Потное, бледное, напряженно-оскаленное лицо игрока во весь рост, собирающегося на полном бегу со страшной силой шутовать по голу. Растрепанные рыжие волосы, пятно грязи на виске, натянутые мускулы голой шеи. Мятая, промокшая фиолетовая фуфайка, местами обтягивая стан, низко находит на забрызганные трусики, и на ней видна идущая по некой удивительной диагонали мощная складка. Он забирает мяч сбоку, подняв одну руку, пятерня широко распялена — соучастница общего напряжения и порыва. Но главное, конечно, — ноги: блестящая белая ляжка, огромное израненное колено, толстые, темные буцы, распухшие от грязи, бесформенные, а все-таки отмеченные какой-то необыкновенно точной и изящной силой; чулок сполз на яростной кривой икре, нога ступней влипла в жирную землю, другая собирается ударить — и как ударить! — по черному, ужасному мячу, — и все это на темно-сером фоне, насыщенном дождем и снегом. Глядящий на эту картину уже слышал свист кожаного снаряда, уже видел отчаянный бросок вратаря.

«И я еще кое-что знаю, — сказала Зина. — Вы должны были мне помочь с одним переводом, вам это передавал Чарский, но вы почему-то не объявились».

«Как это странно», — повторил Федор Константинович.

В прихожей ухнуло, — это вернулась Марианна Николаевна, — и Зина не спеша встала, собрала вырезки и ушла к себе, — только впоследствии Федор Константинович понял, почему она сочла нужным так поступить, но тогда это ему показалось бесцеремонностью, — и когда Щеголева вошла в столовую, то получилось так, словно он крал сахар из буфета.

Еще через несколько дней вечером он из своей комнаты подслушал сердитый разговор — о том, что сейчас должны прийти гости и что пора Зине спуститься вниз с ключом. Когда она спустилась, он после краткой внутренней борьбы придумал себе прогулку, — скажем, к автомату около сквера за почтовой маркой, — надел для полной иллюзии шляпу, хотя почти никогда шляпы не носил, и пошел вниз. Свет погас, пока он спускался, но тотчас стукнуло и за-

жглось опять: это она внизу нажала кнопку. Она стояла у стеклянной двери, поигрывая ключом, надетым на палец, ярко освещенная, — блестела бирюзовая вязка джампера, блестели ногти, блестели на руке выше кисти ровные волоски.

«Отперто», — сказала она, но он остановился и оба стали смотреть сквозь стекло на темную, подвижную ночь, на газовый фонарь, на тень решетки.

«Что-то они не идут», — пробормотала она, тихо звякнув ключом.

«Вы давно ждете? — спросил он. — Хотите, я сменю вас?» И в эту минуту погасло электричество. «Хотите, я всю ночь тут останусь?» — добавил он в темноте.

Она усмехнулась и порывисто вздохнула, словно ей надоело ожидание. Сквозь стекла пепельный свет с улицы обливал их обоих, и тень железного узора на двери изгибалась через нее и продолжалась на нем наискось, как портупея, а по темной стене ложилась призматическая радуга. И, как часто бывало с ним, — но в этот раз еще глубже, чем когда-либо, — Федор Константинович внезапно почувствовал — в этой стеклянной тьме — странность жизни, странность ее волшебства, будто на миг она завернулась и он увидел ее необыкновенную подкладку. У самого его лица была нежно-пепельная щека, перерезанная тенью, и когда Зина вдруг, с таинственным недоумением в ртутном блеске глаз, повернулась к нему, а тень легла поперек губ, странно ее меняя, он воспользовался совершенной свободой в этом мире теней, чтобы взять ее за призрачные локти; но она выскользнула из узора и быстрым толчком пальца включила свет.

«Почему?» — спросил он.

«Объясню вам как-нибудь в другой раз», — ответила Зина, все не спуская с него взгляда.

«Завтра», — сказал Федор Константинович.

«Хорошо, завтра. Но только хочу вас предупредить, что никаких разговоров не будет у нас с вами дома. Это — решительно и навсегда».

«Тогда давайте...» — начал он, но тут выросли за дверью коренастый полковник Касаткин и его высокая, выцветшая жена.

«Здравия желаю, красавица», — сказал полковник, одним ударом разрубая ночь. Федор Константинович вышел на улицу.

На другой день он устроился так, чтоб застать ее на углу при ее возвращении со службы. Условились встретиться после ужина, у скамьи, которую он высмотрел накануне.

«Почему же?» — спросил он, когда они сели.

«По пяти причинам, — сказала она. — Во-первых, потому что я не немка, во-вторых, потому что только в прошлую среду я разошлась с женихом, в-третьих, потому что это было бы — так, ни к чему, в-четвертых, потому что вы меня совершенно не знаете, в-пятых...» — Она замолчала, и Федор Константинович осторожно поцеловал ее в горячие, тающие, горестные губы. «Вот потому-то», — сказала она, перебирая и сильно сжимая его пальцы.

С той поры они встречались каждый вечер. Марианна Николаевна, не смевшая ее никогда ни о чем спрашивать (уже намек на вопрос вызвал бы хорошо знакомую ей бурю), догадывалась, конечно, что дочь ходит к кому-то на свидания, тем более что знала о существовании таинственного жениха. Это был болезненный, странный, неуравновешенный господин (таким, по крайней мере, он представлялся Федору Константиновичу по Зининым рассказам, — впрочем, эти рассказанные люди обычно наделены одним основным признаком: отсутствием улыбки), с которым она познакомилась в шестнадцать лет, три года тому назад, причем он был старше ее лет на двенадцать, и в этом старшинстве тоже было что-то темное, неприятное и озлобленное. Опять же в ее передаче, ее встречи с ним проходили без всякого выражения влюбленности, и оттого что она не упоминала ни об одном поцелуе, выходило, что это была просто бесконечная череда нудных разговоров. Она решительно отказывалась открыть его имя и даже род занятий (хотя давала понять, что это был человек в некотором роде гениальный), и Федор Константинович был ей втайне признателен за это, понимая, что призрак без имени и без среды легче гаснет, — а все-таки он чувствовал к нему отвратительную ревность, в которую силился не вникать, но она всегда присутствовала где-то за углом, и от мысли, что где-нибудь когда-нибудь он, чего

доброго, может встретиться с тревожными, скорбными глазами этого господина, все вокруг принималось жить поночному, как природа во время затмения. Зина клялась, что никогда не любила его, что тянула с ним вялый роман по безволию и что продолжала бы тянуть, не случись Федора Константиновича. Но особого безволия он в ней не замечал, а замечал смесь женской застенчивости и неженской решительности во всем. Несмотря на сложность ее ума, ей была свойственна убедительнейшая простота, так что она могла позволить себе многое, чего другим бы не разрешалось, и самая быстрота их сближения казалась Федору Константиновичу совершенно естественной при резком свете ее прямоты.

Дома она держалась так, что дико было представить себе вечернюю встречу с этой чужой, хмурой барышней, но это не было притворством, а тоже своеобразным видом прямоты. Когда он однажды, шутя, задержал ее в коридорчике, она побледнела от гнева и не явилась на свидание, а затем заставила его клятвенно обещать, что это никогда не повторится. Очень скоро он понял, почему это было так: домашняя обстановка принадлежала к такому низкопробному сорту, что, на ее фоне, прикосновение рук мимоходом между жильцом и хозяйской дочерью обратилось бы попросту в ш а ш н и.

Отец Зины, Оскар Григорьевич Мерц, умер от грудной жабы в Берлине четыре года тому назад, и немедленно после его кончины Марианна Николаевна вышла замуж за человека, которого Мерц не пустил бы к себе на порог, за одного из тех бравурных российских пошляков, которые при случае смакуют слово «жид», как толстую винную ягоду. Когда же симпатяга отсутствовал, то запросто появлялся в доме один из его темноватых деловых знакомцев, тощий балтийский барон, с которым Марианна Николаевна ему изменяла, — и Федор Константинович, раза два барона видевший, с гадливым интересом старался себе представить, что могут друг в друге найти, и если находят, то какова процедура, эта пожилая, рыхлая, с жабьим лицом женщина и этот немолодой, с гнилыми зубами скелет.

Если бывало мучительно знать порою, что Зина одна в квартире, и по уговору к ней не выходить, было совсем

в другом роде мучительно, когда один в доме оставался Щеголев. Не любя одиночества, Борис Иванович начинал скучать, и Федор Константинович слышал из своей комнаты шуршащий рост этой скуки, точно квартира медленно зарастала лопухами — вот уже подступавшими к его двери. Он молил судьбу, чтобы что-нибудь Щеголева отвлекло, но (до того как появился радиоаппарат) спасения ниоткуда не приходило. Неотвратимо раздавался зловещий, деликатный стук, и, бочком, ужасно улыбаясь, втискивался в комнату Борис Иванович. «Вы спали? Я вам не помешал?» — спрашивал он, видя, что Федор Константинович пластом лежит на кушетке, и затем, весь войдя, плотно прикрывал за собой дверь и садился у него в ногах, вздыхая. «Тощища, тощища», — говорил он и начинал что-нибудь рассказывать. В области литературы он высоко ставил «L'homme qui assassina» Клода Фаррера, а в области философии — «Протоколы сионских мудрецов». Об этих двух книжках он мог толковать часами, и казалось, что ничего другого он в жизни не прочитал. Он был щедр на рассказы из судебной практики в провинции и на еврейские анекдоты. Вместо «выпили шампанского и отправились в путь», он выражался так: «раздавили флакон — и айда». Как у большинства говорунов, у него в воспоминаниях всегда попадался какой-нибудь необыкновенный собеседник, без конца рассказывавший ему интересные вещи, — («второго такого умницы я в жизни не встречал», — замечал он довольно неучтиво), — а так как нельзя было представить себе Бориса Ивановича в качестве молчаливого слушателя, то приходилось допустить, что это было своего рода раздвоением личности.

Однажды, заметив исписанные листочки на столе у Федора Константиновича, он сказал, взяв какой-то новый, прочувствованный тон: «Эх, кабы у меня было времечко, я бы такой роман накатал... Из настоящей жизни. Вот представьте себе такую историю: старый пес, — но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, — знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и конечно, на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, не долго

думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. И в общем — просчет. Время бежит-летит, он стареет, она расцветает, — и ни черта. Пройдет, бывало, рядом, обожжет презрительным взглядом. А? Чувствуете трагедию Достоевского? Эта история, видите ли, произошла с одним моим большим приятелем, в некотором царстве, в некотором самоварстве, во времена царя Гороха. Каково?» — И Борис Иванович, обратя в сторону темные глаза, надул губы и издал меланхолический лопающийся звук.

«Моя супруга-подпруга, — рассказывал он в другой раз, — лет двадцать прожила с иудеем и обросла целым кагалом. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы вытравить этот дух. У Зинки, — (он попеременно, смотря по настроению, называл падчерицу то так, то Аидой), — нет, слава Богу, ничего специфического, — посмотрели бы на ее кузину — такая, знаете, жирная брюнеточка с усиками. Мне иногда даже приходит в башку мысль, — а что, если моя Марианна Николаевна, когда была мадам Мерц... Все-таки ведь тянуло же ее к своим, — пускай она вам как-нибудь расскажет, как задыхалась в этой атмосфере, какие были родственнички — ой, Бозэ мой, — гвалт за столом, а она разливает чай: шутка ли сказать, — мать фрейлина, сама смолянка, а вот вышла за жида, — до сих пор не может объяснить, как это случилось: богат был, говорит, а я глупа, познакомились в Ницце, бежала с ним в Рим, — знаете, на вольном-то воздухе все казалось иначе, ну а когда потом попала в семейную обстановочку, поняла, что влипла».

Зина об этом рассказывала по-другому. В ее передаче, облик ее отца перенимал что-то от прустовского Свана. Его женитьба на ее матери и последующая жизнь окрашивались в дымчато-романтический цвет. Судя по ее словам, судя также по его фотографиям, это был изящный, благородный, умный и мягкий человек, — даже на этих негибких петербургских снимках с золотой тисненой подписью по толстому картону, которые она показывала Федору Константиновичу ночью под фонарем, старомодная пышность светлого уса и высота воротничков ничем не портили тонкого лица с прямым смеющимся взглядом. Она

рассказывала о его надушенном платке, о страсти его к рысакам и к музыке; о том, как в юности он однажды разгромил заезжего гроссмейстера, или о том, как читал наизусть Гомера: рассказывала, подбирая то, что могло бы затронуть воображение Федора, так как ей казалось, что он отзывается лениво и скучно на ее воспоминания об отце, т. е. на самое драгоценное, что у нее было показать. Он сам замечал в себе эту странную заторможенность отзывчивости. В Зине была черта, стеснявшая его: ее домашний быт развил в ней болезненно заостренную гордость, так что, даже говоря с Федором Константиновичем, она упоминала о своей породе с вызывающей выразительностью, словно подчеркивая, что не допускает (а тем самым все-таки допускала), чтоб он относился к евреям если не с неприязнью, в той или иной степени присущей большинству русских людей, то с зябкой усмешкой принудительного доброхотства. Вначале она так натягивала эти струны, что ему, которому вообще было решительно наплевать на распределение людей по породам и на их взаимоотношения, становилось за нее чуть-чуть неловко, а с другой стороны, под влиянием ее горячей, настороженной гордыни он начинал ощущать какой-то личный стыд, оттого что молча выслушивал мерзкий вздор Щеголева и то нарочито гортанное коверкание русской речи, которым тот с наслаждением занимался, — например, говоря мокрому гостю, наследившему на ковре: «Ой, какой вы наследник!»

В течение некоторого времени после кончины ее отца к ним по привычке продолжали ходить прежние знакомые и родственники с отцовской стороны; но мало-помалу они редели, отпадали... и только одна старенькая чета долго еще являлась, — жалея Марианну Николаевну, жалея прошлое и стараясь не замечать, как Щеголев уходит к себе в спальню с чаем и газетой. Зина же сохранила до сих пор связь с этим миром, который ее мать предала, и в гостях у прежних друзей семьи необыкновенно менялась, смягчалась, добрела (сама отмечала это), сидя за чайным столом среди мирных разговоров стариков о болезнях, свадьбах и русской литературе.

В семье у себя она была несчастна и несчастье свое презирала. Презирала она и свою службу, даром что ее шеф

был еврей, — немецкий, впрочем, еврей, т. е. прежде всего — немец, так что она не стеснялась при Федоре его поносить. Она столь живо, столь горько, с таким образным отвращением рассказывала ему об этой адвокатской конторе, где уже два года служила, что он все видел и все обонял так, словно сам там бывал ежедневно. Аэр ее службы чем-то напоминал ему Диккенса (с поправкой, правда, на немецкий перевод), — полусумасшедший мир мрачных дылд и отталкивающих толстячков, каверзы, чернота теней, страшные носы, пыль, вонь и женские слезы. Начиналось с темной, крутой, невероятно запущенной лестницы, которой вполне соответствовала зловещая ветхость помещения конторы, что не относилось лишь к кабинету главного адвоката, где жирные кресла и стеклянный стол-гигант резко отличались от обстановки прочих комнат. Канцелярская, большая, неказистая, с голыми, вздрагивающими окнами, задыхалась от нагромождения пыльной, грязной мебели, — особенно был страшен диван, тускло-багровый, с вылезшими пружинами, — ужасный и непристойный предмет, выброшенный, как на свалку, после постепенного прохождения через кабинет всех трех директоров — Траума, Баума и Кэзебира. Стены были до потолка заставлены исполинскими регалами с грудой грубо-синих папок в каждом гнезде, высунувших длинные ярлыки, по которым иногда ползал голодный сутяжный клоп. У окон располагались четыре машинистки: одна — горбунья, жалованье тратившая на платья, вторая — тоненькая, легкомысленного нрава, «на одном каблучке» (ее отца-мясника вспыльчивый сын убил мясничным крюком), третья — беззащитная девушка, медленно набиравшая приданое, и четвертая — замужняя, сдобная блондинка, с отражением собственной квартиры вместо души, трогательно рассказывавшая, как после дня духовного труда чувствует такую потребность отдохнуть на труде физическом, что, придя вечером домой, растворяет все окна и принимается с упоением стирать. Заведующий конторой, Хамекке (толстое, грубое животное, с вонючими ногами и вечно сочившимся фурункулом на затылке, любившее вспоминать, как, в бытность свою фельдфебелем, оно заставляло нерасторопных новобранцев зубной щеткой вычищать казарменный пол), двух

последних угнетал особенно охотно — одну потому, что потеря службы для нее значила бы отказ от брака, другую потому, что она сразу начинала рыдать, — эти обильные, звучные слезы, которые так легко можно было вызвать, доставляли ему здоровое удовольствие. Едва грамотный, но одаренный железной хваткой, сразу соображающий наименее привлекательную сторону всякого дела, он высоко ценился хозяевами, Траумом, Баумом и Кэзебиром (целая немецкая идиллия, со столиками в зелени и чудным видом). Баума редко было видно; конторские девицы находили, что он дивно одевается, т. е. пиджак как на мраморной статуе, каждая складка — навеки, и белый воротничок к цветной рубашке. Кэзебир подобострастно благоговел перед состоятельными клиентами (впрочем, благоговели все трое), а когда сердился на Зину, говорил, что она слишком задается. Главный хозяин, Траум, был коротенький человек, с пробором займом, с профилем как внешняя сторона полумесяца, с маленькими ручками и бесформенным телом, более широким, чем толстым. Он любил себя страстной и вполне разделенной любовью, женат был на богатенькой, пожилой вдове и, имея нечто актерское в натуре, норовил все делать «красиво», тратя на фасон тысячи, а у секретарши сторговывая полтинник; от служащих он требовал, чтобы его супругу называли «ди гнедиге фрау» («барыня звонили», «барыня просили»); вообще же кичился величавым незнанием того, что в конторе творится, хотя на самом деле знал через Хамекке все, до последней кляксы. Состоя одним из юрисконсультов французского посольства, он часто ездил в Париж, и так как отличительной его чертой была гладчайшая наглость в преследовании выгодных целей, он там энергично заводил полезные знакомства, никогда не стесняясь попросить рекомендацию, приставая, навязываясь и не чувствуя щелчков — кожа у него была, как броня у некоторых насекомоядных. Для приобретения популярности во Франции он писал немецкие книжки о ней («Три Портрета», например, — императрица Евгения, Бриан и Сарра Бернар), причем собирание материалов обращалось у него тоже в собирание связей. Эти торопливо-компилятивные труды, в страшном стиле модерн немецкой республики (и в сущности, мало чем уступавшие трудам

Людвига и Цвейгов), он диктовал секретарше между дел, внезапно изображая вдохновение, которое, впрочем, у него всегда совпадало с досугом. Какой-то французский профессор, в дружбу к которому он втирался, как-то отвечал на его нежнейшие послания крайне невежливой для француза критикой: «Вы фамилию Клемансо пишете то с accent aigu, то без оного. Так как тут необходима известная единообразность, было бы хорошо, если бы вы твердо решили, какой системы желаете придерживаться, чтобы затем от нее не уклоняться. Если же вы почему-либо захотели бы писать эту фамилию правильно, то пишите ее без accent». Траум немедленно на это ответил восторженно-благодарственным письмом, продолжая заодно напирать. Ах, как он умел округлять и подслащивать свои письма, какие были тевтонские рокоты и свисты в бесконечной модуляции обращений и окончаний, какие учтивости: «Vous avez bien voulu bien vouloir...»[1]

Его секретарша, Дора Витгенштейн, прослужившая у него четырнадцать лет, делила небольшую, затхлую комнату с Зиной. Эта стареющая женщина с мешками под глазами, пахнущая падалью сквозь дешевый одеколон, работавшая любое число часов, иссохшая на траумовской службе, похожа была на несчастную, заезженную лошадь, у которой сместилась вся мускулатура и осталось только несколько железных жил. Она была малообразованна, строила жизнь на двух-трех общепринятых понятиях, но руководствовалась какими-то своими частными правилами в обращении с французским языком. Когда Траум писал очередную «книгу», то вызывал ее к себе на дом по воскресеньям, торговался с ней за оплату, задерживал на лишнее время; и, бывало, она с гордостью сообщала Зине, что его шофер ее отвез (правда, только до трамвайной остановки).

Зине приходилось заниматься не только переводами, но, так же как и всем остальным машинисткам, переписыванием длинных приложений, представляемых суду. Часто случалось также стенографировать, при клиенте, сообщаемые им обстоятельства дела, нередко бракоразводного. Эти дела были все довольно мерзостные, комья из всяких слипшихся

---

[1] Вы любезно соблаговолили оказать любезность... *(Фр.)*

гадостей и глупостей. Некто в Коттбусе, разводясь с женщиной, по его словам ненормальной, обвинял ее в сожительстве с догом, а главной свидетельницей выступала дворничиха, будто бы слышавшая через дверь, как та громко выражала псу восхищение относительно некоторых деталей его организма.

«Тебе только смешно, — сердито говорила Зина, — но, честное слово, я больше не могу, не могу, — и я бы тотчас всю эту мразь бросила, если б не знала, что в другой конторе будет такая же мразь или хуже. Эта усталость по вечерам — это что-то феноменальное, это не поддается никакому описанию. Куда я сейчас гожусь? У меня так хребет ломит от машинки, что хочется выть. И главное, это никогда не кончится, потому что если бы это кончилось, то нечего было бы есть, — ведь мама ничего не может, — она даже в кухарки не может пойти, потому что будет рыдать на чужой кухне и бить посуду, а гад умеет только прогорать, — по-моему, он уже прогорел, когда родился. Ты не знаешь, как я его ненавижу, этого хама, хама, хама...»

«Так ты его съешь, — сказал Федор Константинович. — У меня тоже был довольно несимпатичный день. Хотел стихи для тебя, но они как-то еще не очистились».

«Милый мой, радость моя, — воскликнула она. — Неужели это все правда, — этот забор и мутненькая звезда? Когда я была маленькой, я не любила рисовать ничего некончающегося, так что заборов не рисовала, ведь это на бумаге не кончается, нельзя себе представить кончающийся забор, — а всегда что-нибудь завершенное: пирамиду, дом на горе».

«А я любил больше всего горизонт и такие штрихи — всё мельче и мельче: получалось солнце за морем. А самое большое детское мученье: неочиненный или сломанный цветной карандаш».

«Но зато очиненные... Помнишь — белый? Всегда самый длинный, — не то что красные и синие, — оттого что он мало работал, — помнишь?»

«Но как он хотел нравиться! Драма альбиноса. L'inutile beauté[1]. Положим, он у меня потом разошелся всласть.

[1] Бесполезная красота *(фр.)*.

Именно потому, что рисовал невидимое. Можно было массу вообразить. Вообще — неограниченные возможности. Только без ангелов, — а если уж ангел, то с громадной грудной клеткой и с крыльями, как помесь райской птицы с кондором, и душу младую чтоб нес не в объятьях, а в когтях».

«Да, я тоже думаю, что нельзя на этом кончить. Не представляю себе, чтобы мы могли не быть. Во всяком случае, мне бы не хотелось ни во что обращаться».

«В рассеянный свет? Как ты насчет этого? Не очень, помоему? Я-то убежден, что нас ждут необыкновенные сюрпризы. Жаль, что нельзя себе представить то, что не с чем сравнить. Гений — это негр, который во сне видит снег. Знаешь, что больше всего поражало самых первых русских паломников по пути через Европу?»

«Музыка?»

«Нет, — городские фонтаны, мокрые статуи».

«Мне иногда досадно, что ты не чувствуешь музыки. У моего отца был такой слух, что он, бывало, лежит на диване и напевает целую оперу, с начала до конца. Раз он так лежал, а в соседнюю комнату кто-то вошел и заговорил там с мамой, — и он мне сказал: "Этот голос принадлежит такому-то, двадцать лет тому назад я его видел в Карлсбаде, и он мне обещал когда-нибудь приехать". Вот какой был слух».

«А я сегодня встретил Лишневского, и он мне рассказал про какого-то своего знакомого, который жаловался, что в Карлсбаде теперь совсем не то, — а раньше что было! пьешь воду, а рядом с тобой король Эдуард, прекрасный, видный мужчина... костюм из настоящего английского сукна... Ну что ты обиделась? В чем дело?»

«Ах, все равно. Некоторых вещей ты никогда не поймешь».

«Перестань. Почему тут горячо, а тут холодно? Тебе холодно? Посмотри лучше, какая бабочка около фонаря».

«Я уже давно ее вижу».

«Хочешь, я тебе расскажу, почему бабочки летят на свет? Никто этого не знает».

«А ты знаешь?»

«Мне всегда кажется, что я вот-вот догадаюсь, если хорошенько подумаю. Мой отец говорил, что это больше всего похоже на потерю равновесия, как вот неопытного велосипедиста притягивает канава. Свет по сравнению с темнотой пустота. Как она вертится! Но тут еще что-то есть, — вот-вот пойму».

«Мне жалко, что ты так и не написал своей книги. Ах, у меня тысяча планов для тебя. Я так ясно чувствую, что ты когда-нибудь размахнешься. Напиши что-нибудь огромное, чтоб все ахнули».

«Я напишу, — сказал в шутку Федор Константинович, — биографию Чернышевского».

«Все что хочешь. Но чтобы это было совсем, совсем настоящее. Мне нечего тебе говорить, как я люблю твои стихи, но они всегда не совсем по твоему росту, все слова на номер меньше, чем твои настоящие слова».

«Или роман. Это странно, я как будто помню свои будущие вещи, хотя даже не знаю, о чем будут они. Вспомню окончательно и напишу. Скажи-ка, между прочим, как ты в общем себе представляешь: мы всю жизнь будем встречаться так, рядком на скамейке?»

«О нет, — отвечала она певуче-мечтательным голосом. — Зимой мы поедем на бал, а еще этим летом, когда у меня будет отпуск, я поеду на две недели к морю и пришлю тебе открытку с прибоем».

«Я тоже поеду на две недели к морю».

«Не думаю. И потом, не забудь, мы как-нибудь должны встретиться в Тиргартене, в розариуме, там, где статуя принцессы с каменным веером».

«Приятные перспективы», — сказал Федор Константинович.

А как-то через несколько дней ему под руку попался все тот же шахматный журнальчик, он перелистал его, ища недостроенных мест, и, когда оказалось, что все уже сделано, пробежал глазами отрывок в два столбца из юношеского дневника Чернышевского; пробежал, улыбнулся и стал сызнова читать с интересом. Забавно-обстоятельный слог, кропотливо вкрапленные наречия, страсть к точке с запятой, застревание мысли в предложении и неловкие попытки ее оттуда извлечь (причем она сразу застревала

в другом месте, и автору приходилось опять возиться с занозой), долбящий, бубнящий звук слов, ходом коня передвигающийся смысл в мелочном толковании своих мельчайших действий, прилипчивая нелепость этих действий (словно у человека руки были в столярном клее, и обе были левые), серьезность, вялость, честность, бедность, — все это так понравилось Федору Константиновичу, его так поразило и развеселило допущение, что автор, с таким умственным и словесным стилем, мог как-либо повлиять на литературную судьбу России, что на другое же утро он выписал себе в государственной библиотеке полное собрание сочинений Чернышевского. По мере того как он читал, удивление его росло, и в этом чувстве было своего рода блаженство.

Когда, спустя неделю, он принял телефонное приглашение Александры Яковлевны («Что это вас совсем не видать? Скажите, вы сегодня вечером свободны?»), то «8 × 8» с собой не захватил: в этом журнальчике уже была для него сентиментальная драгоценность, воспоминание встречи. В гостях у своих друзей он нашел инженера Керна и объемистого, с толстым старомодным лицом, очень гладкощекого и молчаливого господина, по фамилии Горяинов, который был известен тем, что, отлично пародируя (растягивал рот, причмокивал и говорил бабьим голосом) одного старого, несчастного журналиста со странностями и неважной репутацией, так свыкся с этим образом (тем отомстившим ему), что не только так же растягивал книзу углы рта, когда изображал других своих знакомых, но даже сам, в нормальном разговоре начинал смахивать на него. Александр Яковлевич, осунувшийся и притихший после своей болезни, — ценой этого потускнения выкупивший себе на время здоровье, — был в тот вечер как будто оживленнее, и даже появился знакомый тик; но уже призрак Яши не сидел в углу, не облокачивался сквозь мельницу книг.

«Вы все по-прежнему довольны квартирой? — спросила Александра Яковлевна. — Ну, я очень рада. Не ухаживаете за дочкой? Нет? Между прочим, я как-то вспоминала, что когда-то у меня были общие знакомые с Мерцем, — это был отличный человек, джентльмен во всех смыслах, — но я думаю, что она не очень охотно признается в своем

происхождении. Признается? Ну, не знаю. Думаю, что вы плохо разбираетесь в этом».

«Барышня, во всяком случае, с характером, — сказал инженер Керн. — Я раз видел ее на заседании бального комитета. Ей было все не по носу».

«А нос какой?» — спросила Александра Яковлевна.

«Знаете, я, по правде сказать, не очень ее разглядывал, ведь, в конце концов, все барышни метят в красавицы. Не будем злы».

Горяинов, тот молчал, держа руки сцепленными на животе, и только изредка странно поднимал мясистый подбородок и тонко откашливался, точно кого-то призывал. «Покорно благодарю», — говорил он с поклоном, когда ему предлагали варенья или еще стакан чаю, а если он что-нибудь хотел поведать соседу, то придвигал голову как-то боком, не обращая к нему лица, и, поведав или спросив, медленно опять отодвигался. В разговоре с ним бывали странные провалы, оттого что он ничем не поддерживал вашу фразу и не смотрел на вас, а блуждал по комнате карим взглядом небольших слоновьих глаз и вдруг судорожно прочищал горло. Когда он говорил о себе, то всегда в мрачно-юмористическом духе. Весь его облик вызывал почему-то такие ассоциации, как, например: департамент, селянка, галоши, снег «Мира Искусства» идет за окном, столп, Столыпин, столоначальник.

«Ну что, брат, — неопределенно проговорил Чернышевский, подсев к Федору Константиновичу, — что скажете хорошего? Выглядите вы неважно».

«Помните, — сказал Федор Константинович, — как-то, года три тому назад, вы мне дали благой совет описать жизнь вашего знаменитого однофамильца?»

«Абсолютно не помню», — сказал Александр Яковлевич.

«Жаль, — потому что я теперь подумываю приняться за это».

«Да ну? Вы это серьезно?»

«Совершенно серьезно», — сказал Федор Константинович.

«А почему вам явилась такая дикая мысль? — вмешалась Александра Яковлевна. — Ну, написали бы, — я не знаю, — ну, жизнь Батюшкова или Дельвига, — вообще, что-нибудь около Пушкина, — но при чем тут Чернышевский?»

«Упражнение в стрельбе», — сказал Федор Константинович.

«Ответ по меньшей мере загадочный», — заметил инженер Керн и, блеснув голыми стеклами пенснэ, попытался раздавить орех в ладонях. Горяинов передал ему, таща их за ножку, щипцы.

«Что ж, — сказал Александр Яковлевич, выйдя из минутной задумчивости, — мне это начинает нравиться. В наше страшное время, когда у нас попрана личность и удушена мысль, для писателя должно быть действительно большой радостью окунуться в светлую эпоху шестидесятых годов. Приветствую».

«Да, но от него это так далеко! — сказала Чернышевская. — Нет преемственности, нет традиции. Откровенно говоря, мне самой было бы не очень интересно восстанавливать все, что я чувствовала по этому поводу, когда была курсисткой».

«Мой дядя, — сказал Керн, щелкнув, — был выгнан из гимназии за чтение "Что делать?"».

«А вы как на это смотрите?» — отнеслась Александра Яковлевна к Горяинову.

Горяинов развел руками. «Не имею определенного мнения, — сказал он тонким голосом, как будто кому-то подражая. — Чернышевского не читал, а так, если подумать... Прескучная, прости Господи, фигура!»

Александр Яковлевич слегка откинулся в креслах и, дергая лицом, мигая, то улыбаясь, то потухая опять, сказал так:

«А вот я все-таки приветствую мысль Федора Константиновича. Конечно, многое нам теперь кажется и смешным и скучным. Но в этой эпохе есть нечто святое, нечто вечное. Утилитаризм, отрицание искусства и прочее, — все это лишь случайная оболочка, под которой нельзя не разглядеть основных черт: уважения ко всему роду человеческому, культа свободы, идеи равенства, равноправности. Это была эпоха великой эмансипации: крестьян — от помещиков, гражданина — от государства, женщины — от семейной кабалы. И не забудьте, что не только тогда родились лучшие заветы русского освободительного движения: жажда знания, непреклонность духа, жертвенный героизм, —

но еще именно в ту эпоху, так или иначе питаясь ею, развивались такие великаны, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Достоевский. Уж я не говорю про то, что сам Николай Гаврилович был человек громадного, всестороннего ума, громадной творческой воли и что ужасные мучения, которые он переносил ради идеи, ради человечества, ради России, с лихвой искупают некоторую черствость и прямолинейность его критических взглядов. Мало того, я утверждаю, что критик он был превосходный, — вдумчивый, честный, смелый... Нет, нет, это прекрасно, — непременно напишите!»

Инженер Керн уже некоторое время как встал и расхаживал по комнате, качая головой и порываясь что-то сказать.

«О чем речь? — вдруг воскликнул он, взявшись за спинку стула. — Кому интересно, чтó Чернышевский думал о Пушкине? Руссо был скверным ботаником, и я ни за что не стал бы лечиться у Чехова. Чернышевский был прежде всего ученый экономист, и как такового его надобно рассматривать, — а при всем моем уважении к поэтическому таланту Федора Константиновича, я несколько сомневаюсь, сможет ли он оценить достоинства и недостатки “Комментариев к Миллю”».

«Ваше сравнение абсолютно неправильно, — сказала Александра Яковлевна. — Смешно! В медицине Чехов не оставил ни малейшего следа, музыкальные композиции Руссо — только курьезы, а между тем никакая история русской литературы не может обойти Чернышевского. Но я другого не понимаю, — быстро продолжала она, — какой Федору Константиновичу интерес писать о людях и временах, которых он по всему своему складу бесконечно чужд? Я, конечно, не знаю, какой будет у него подход. Но если ему, скажем просто, хочется вывести на чистую воду прогрессивных критиков, то ему не стоит стараться: Волынский и Айхенвальд уже давно это сделали».

«Ну, что ты, что ты, — сказал Александр Яковлевич, — das kommt nicht in Frage[1]. Молодой писатель заинтересовался одной из важнейших эр русской истории и собира-

[1] Об этом речь не идет *(нем.)*.

ется написать художественную биографию одного из ее самых крупных деятелей. Я в этом ничего странного не вижу. С предметом ознакомиться не так трудно, книг он найдет более чем достаточно, а остальное все зависит от таланта. Ты говоришь — подход, подход. Но, при талантливом подходе к данному предмету, сарказм априори исключается, он ни при чем. Мне так кажется, по крайней мере».

«А Кончеева как выбранили на прошлой неделе, — читали?» — спросил инженер Керн, и разговор принял другой оборот.

На улице, когда Федор Константинович прощался с Горяиновым, тот задержал его руку в своей большой, мягкой руке и, прищурившись, сказал: «А шутник вы, доложу я вам, голубчик. Недавно скончался социал-демократ Беленький, — вечный, так сказать, эмигрант: его выслали и царь и пролетариат, так что, когда он, бывало, предавался реминисценциям, то начинал так: "У нас в Женеве..." Может быть, о нем вы тоже напишете?»

«Не понимаю?» — полувопросительно произнес Федор Константинович.

«Да, но зато я отлично понял. Вы столько же собираетесь писать о Чернышевском, сколько я о Беленьком, но зато одурачили слушателей и заварили любопытный спор. Всего доброго, покойной ночи», — и он ушел своей тихой, тяжелой походкой, опираясь на палку и слегка приподняв одно плечо.

Для Федора Константиновича возобновился тот образ жизни, к которому он пристрастился, когда изучал деятельность отца. Это было одно из тех повторений, один из тех г о л о с о в, которыми, по всем правилам гармонии, судьба обогащает жизнь приметливого человека. Но теперь, наученный опытом, он в пользовании источниками не допускал прежней неряшливости и снабжал малейшую заметку точным ярлыком ее происхождения. Перед государственной библиотекой, около каменного бассейна, по газону среди маргариток разгуливали, гулюкая, голуби. Выписываемые книги приезжали в вагонетке по наклонным рельсам в глубине небольшого как будто помещения, где они ожидали выдачи, причем казалось, что там, на полках,

лежит всего несколько томов, когда на самом деле там набирались тысячи. Федор Константинович обнимал свою порцию и, борясь с ее расскальзывающейся тяжестью, шел к остановке автобуса. С самого начала образ задуманной книги представлялся ему необыкновенно отчетливым по тону и очертанию, было такое чувство, что для каждой отыскиваемой мелочи уже уготовано место и что самая работа по вылавливанию материалов уже окрашена в цвет будущей книги, как море бросает синий отсвет на рыболовную лодку и как она сама отражается в воде вместе с отсветом. «Понимаешь, — объяснял он Зине, — я хочу это все держать как бы на самом краю пародии. Знаешь эти идиотские “биографии романсэ”, где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы? А чтобы с другого края была пропасть серьезного, и вот пробираться по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее. И главное, чтобы все было одним безостановочным ходом мысли. Очистить мое яблоко одной полосой, не отнимая ножа».

По мере изучения предмета он убеждался, что для полного насыщения им необходимо поле деятельности расширить на два десятилетия в каждую сторону. Таким образом ему открылась забавная черта — по существу пустячная, но оказавшаяся ценным руководством: за пятьдесят лет прогрессивной критики, от Белинского до Михайловского, не было ни одного властителя дум, который не произдевался бы над поэзией Фета. А какими метафизическими монстрами оборачивались иной раз самые трезвые суждения этих материалистов о том или другом предмете, точно слово мстило им за пренебрежение к нему! Белинский, этот симпатичный неуч, любивший лилии и олеандры, украшавший свое окно кактусами (как Эмма Бовари), хранивший в коробке из-под Гегеля пятак, пробку да пуговицу и умерший с речью к русскому народу на окровавленных чахоткой устах, поражал воображение Федора Константиновича такими перлами дельной мысли, как, например: «В природе все прекрасно, исключая только те уродливые явления, которые сама природа оставила незаконченными и спрятала во мраке земли и воды (моллюски, черви, инфу-

зории и т. п.)», — точно так же, как у Михайловского легко отыскивалась брюхом вверх плавающая метафора вроде следующих слов (о Достоевском): «...бился как рыба об лед, попадая временами в унизительнейшие положения»; из-за этой униженной рыбы стоило продираться сквозь все писания «докладчика по делам сегодняшнего дня». Отсюда был прямой переход к современному боевому лексикону, к стилю Стеклова («...разночинец, ютившийся в пóрах русской жизни... тараном своей мысли клеймил рутинные взгляды»), к слогу Ленина, употреблявшему слова «сей субъект» отнюдь не в юридическом смысле, а «сей джентльмен» отнюдь не применительно к англичанину, и достигший в полемическом пылу высшего предела смешного: «...здесь нет фигового листочка... и идеалист прямо протягивает руку агностику». Русская проза, какие преступления совершаются во имя твое! «Лица — уродливые гротески, характеры — китайские тени, происшествия — несбыточны и нелепы», — писалось о Гоголе, и этому вполне соответствовало мнение Скабичевского и Михайловского о «г-не Чехове»; то и другое, как зажженный тогда шнур, ныне разрывало этих критиков на мелкие части.

Он читал Помяловского (честность в роли трагической страсти) и находил там компот слов: «малиновые губки, как вишни». Он читал Некрасова и, чуя некий газетно-городской порок в его (часто восхитительной) поэзии, находил как бы объяснение его куплетным прозаизмам («как весело притом делиться мыслию своею с любимым существом» — «Русские Женщины»), когда открывал, что, несмотря на деревенские прогулки, он называл овода шмелем (над стадом «шмелей неугомонный рой»), а десятью строками ниже — осой (лошади «под дым костра спасаются от ос»). Он читал Герцена и опять-таки лучше понимал порок (ложный блеск, поверхность) его обобщений, когда замечал, что Александр Иванович, плохо знавший английский язык (чему осталась свидетельством его автобиографическая справка, начинающаяся смешным галлицизмом «I am born»), спутав по слуху слова «нищий» (beggar) и «мужеложник» (bugger — распространеннейшее английское ругательство), сделал отсюда блестящий вывод об английском уважении к богатству.

Такой метод оценки, доведенный до крайности, был бы еще глупее, чем подход к писателям и критикам как к выразителям общих мыслей. Что же с того, если не нравился сухощоковскому Пушкину Бодлер, и правильно ли осудить прозу Лермонтова, оттого что он дважды ссылается на какого-то невозможного «крокодила» (раз в серьезном и раз в шуточном сравнении)? Федор Константинович остановился вовремя, и приятное чувство, что он открыл легко применимый критерий, не успело испортиться от приторности злоупотреблений.

Он читал очень много — больше, чем когда-либо читал. Изучая повести и романы шестидесятников, он удивлялся, как много в них говорится о том, кто как поклонился. Раздумывая над пленением русской мысли, вечной данницы той или другой орды, он увлекался диковинными сопоставлениями. Как в параграфе 146 цензурного устава 1826 года, в котором предлагалось наблюдать, чтобы «сохранилась чистая нравственность и не заменялась бы одними красотами воображения», можно было вместо «чистая» поставить «гражданская» или что-нибудь в этом роде, — чтобы получить негласный цензурный устав радикальных критиков, так письменное предложение Булгарина придать лицам сочиняемого им романа угодный цензору цвет чем-то напоминало заискивание таких авторов, как даже Тургенев, перед судом общественного мнения; и Щедрин, дравшийся тележной оглоблей, издевавшийся над болезнью Достоевского, или Антонович, называвший его же «прибитой и издыхающей тварью», мало отличались от Буренина, травившего беднягу Надсона; и его смешило предвкушение ныне модной теории в мыслях Зайцева, писавшего задолго до Фрейда, что «все эти чувства прекрасного и тому подобные нас возвышающие обманы суть только видоизменения полового чувства...», — это был тот Зайцев, который называл Лермонтова «разочарованным идиотом», разводил в Локарно на эмигрантском досуге шелковичных червей, которые, впрочем, у него мерли, и по близорукости часто грохался с лестницы.

Он старался разобраться в мутной мешанине тогдашних философских идей, и ему казалось, что в самой перекличке имен, в их карикатурной созвучности, выражался какой-то

грех перед мыслью, какая-то насмешка над ней, какая-то ошибка этой эпохи, когда бредили, кто — Кантом, кто — Контом, кто — Гегелем, кто — Шлегелем. А с другой стороны, он понемножку начинал понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы, и что либералы или славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк.

Ему искренне нравилось, как Чернышевский, противник смертной казни, наповал высмеивал гнусно-благостное и подло-величественное предложение поэта Жуковского окружить смертную казнь мистической таинственностью, дабы присутствующие казни не видели (на людях, дескать, казнимый нагло храбрится, тем оскверняя закон), а только слышали из-за ограды торжественное церковное пение, ибо казнь должна умилять. И при этом Федор Константинович вспоминал, как его отец говорил, что в смертной казни есть какая-то непреодолимая неестественность, кровно чувствуемая человеком, странная и старинная обратность действия, как в зеркальном отражении превращающая любого в левшу: недаром для палача все делается наоборот: хомут надевается верхом вниз, когда везут Разина на казнь, вино кату наливается не с руки, а через руку; и если по швабскому кодексу в случае оскорбления кем-либо шпильмана позволялось последнему в удовлетворение свое ударить тень обидчика, то в Китае именно актером, тенью, исполнялась обязанность палача, т. е. как бы снималась ответственность с человека, и все переносилось в изнаночный, зеркальный мир.

Он живо чувствовал некий государственный обман в действиях «Царя-Освободителя», которому вся эта история с дарованием свобод очень скоро надоела; царская скука и была главным оттенком реакции. После манифеста стреляли в народ на станции Бездна, — и эпиграмматическую жилку в Федоре Константиновиче щекотал безвкусный соблазн дальнейшую судьбу правительственной России рассматривать как перегон между станциями Бездна и Дно.

Постепенно, от всех этих набегов на прошлое русской мысли, в нем развивалась новая, менее пейзажная, чем раньше, тоска по России, опасное желание (с которым успешно боролся) в чем-то ей признаться и в чем-то ее убедить. И, нагромождая знания, извлекая из этой горы свое готовое творение, он еще кое-что вспоминал: кучу камней на азиатском перевале, — шли в поход, клали по камню, шли назад, по камню снимали, а то, что осталось навеки, — счет падшим в бою. Так в куче камней Тамерлан провидел памятник.

К зиме он уже расписался, едва заметно перейдя от накопления к созиданию. Зима, как большинство памятных зим и как все зимы, вводимые в речь ради фразы, выдалась (они всегда «выдаются» в таких случаях) холодная. По вечерам, встречаясь с Зиной в маленьком, пустом кафе, где стойка была выкрашена в кубовый цвет и, мучительно прикидываясь сосудами уюта, горели синие гномы ламп на шести-семи столиках, он читал ей написанное за день, и она слушала, опустив крашеные ресницы, облокотившись, играя перчаткой или портсигаром. Иногда подходила хозяйская собака, толстая сучка без всякой породы, с низко висящими сосцами, клала голову к ней на колени, и, под гладящей, улыбающейся рукой, сдвигающей назад кожу на шелковом круглом лобике, глаза у собаки принимали китайский разрез, а когда ей давали кусок сахара, то, взяв его, она неторопливо, вразвалку, шла в угол, там сворачивалась и грызла со страшным хрустом. «Очень чудно, только, по-моему, так по-русски нельзя», — говорила иногда Зина, и, поспорив, он исправлял гонимое ею выражение. Чернышевского она сокращенно называла Чернышом и настолько свыклась с его принадлежностью Федору и отчасти ей, что подлинная его жизнь в прошлом представлялась ей чем-то вроде плагиата. Идея Федора Константиновича составить его жизнеописание в виде кольца, замыкающегося апокрифическим сонетом, так, чтобы получилась не столько форма книги, которая своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна фраза, следующая по ободу, т. е. бесконечная, сначала казалась ей невоплотимой на плоской и прямой бумаге, — и тем более она обрадовалась, когда заметила,

что все-таки получается круг. Ее совершенно не занимало, прилежно ли автор держится исторической правды, — она принимала это на веру, — ибо если бы это было не так, то просто не стоило бы писать книгу. Зато другая правда, правда, за которую он один был ответственен и которую он один мог найти, была для нее так важна, что малейшая неуклюжесть или туманность слова казалась ей зародышем лжи, который немедленно следовало вытравить. Одаренная гибчайшей памятью, которая как плющ обвивалась вокруг слышанного ею, она, повторением ей особенно понравившихся сочетаний слов, облагораживала их собственным тайным завоем, и когда случалось, что Федор Константинович почему-либо менял запомнившийся ей оборот, развалины портика еще долго стояли на золотом горизонте, не желая исчезнуть. В ее отзывчивости была необычайная грация, незаметно служившая ему регулятором, если не руководством. А иногда, когда набиралось хотя бы трое посетителей, за пианино в углу садилась старая таперша в пенснэ и как марш играла оффенбаховскую баркароллу.

Он уже подходил к окончанию труда (а именно к рождению героя), когда Зина сказала, что не мешало бы ему развлечься и что поэтому они в субботу вместе пойдут на костюмированный бал на дому у знакомого ей художника. Федор Константинович танцовал плохо, немецкой богемы не переносил, а кроме того, наотрез отказывался превращать фантазию в мундир, к чему, в сущности, сводятся бальные маскарады. Сошлись на том, что он пойдет в полумаске и смокинге, года четыре тому назад сшитом и не более четырех раз надеванном. «А я пойду...» — начала она мечтательно, но осеклась. «Только, умоляю, не боярышней и не коломбиной», — сказал Федор. «Вот именно», — презрительно возразила она. «Ах, уверяю тебя, будет страшно весело, — добавила она мягко, видя, что он приуныл. — Ведь, в конце концов, мы будем одни среди всех. Мне так хочется! Мы будем целую ночь вместе, и никто не будет знать, кто ты, и я придумала себе костюм специально для тебя». Он добросовестно представил себе ее с голой нежной спиной и голубоватыми руками, — тут же контрабандой проскользнули чужие возбужденные хари, хамская дребедень громкого немецкого веселья, обожгли пищевод

поганые спиртные напиточки, отрыгнулось крошеным яйцом бутербродов, — но он опять сосредоточил вращающуюся под музыку мысль на ее прозрачном виске. «Конечно, будет весело, конечно, пойдем», — сказал он с убеждением.

Было решено, что она отправится туда в девять, а он последует через час. Стесненный пределом времени, он не сел после ужина за работу, а проваландался с новым журналом, где дважды вскользь упоминался Кончеев, и эти случайные ссылки, подразумевавшие общепризнанность поэта, были драгоценнее самого благожелательного отчета: еще полгода тому назад это бы возбудило в нем Сальериеву муку, а теперь он сам удивился тому, как безразлична ему чужая слава. Посмотрев на часы, он медленно стал раздеваться, затем вытащил сонный смокинг, задумался, рассеянно достал крахмальную рубашку, вставил увертливые запонки, влез в нее, содрогаясь от ее угловатого холодка, замер на минуту, бессознательно натянул черные с лампасами штаны и, вспомнив, что еще утром надумал вычеркнуть последнюю из накануне написанных фраз, нагнулся над и так измаранным листом. Перечтя, он подумал, — а не оставить ли все-таки? — сделал птичку, вписал добавочный эпитет, застыл над ним, — и быстро всю фразу похерил. Но оставить параграф в таком виде, т. е. повисшим над бездной, с заколоченным окном и обвалившимися ступенями, было физически невозможно. Он просмотрел подготовленные для данного места заметки, и вдруг — тронулось и побежало перо. Когда он опять взглянул на часы, был третий час утра, знобило, в комнате все было мутно от табачного дыма. Одновременно донесся звяк американского замочка. Мимоходом из передней в его полуоткрытую дверь Зина увидела его, бледного, с разинутым ртом, в расстегнутой крахмальной рубашке, с подтяжками, висящими до пола, в руке перо, на белизне бумаг чернеющая полумаска. Она с грохотом у себя заперлась, и все стало опять тихо. «Хорош, — вполголоса проговорил Федор Константинович. — Что я наделал?» Он так никогда и не узнал, в каком Зина ездила наряде; но книга была дописана.

Спустя месяц, в понедельник, перебеленную рукопись он понес Васильеву, который еще осенью, зная о его изыс-

каньях, полупредложил ему напечать «Жизнь Чернышевского» в издательстве, прикосновенном к «Газете». Затем, в среду, Федор Константинович был в редакции, мирно беседовал со старичком Ступишиным, носившим в редакции ночные туфли, любовался на горестно и скучно кривившийся рот секретаря, кого-то отшивавшего по телефону... Вдруг открылась дверь кабинета, наполнилась до краев громадой Георгия Ивановича, который с минуту черно смотрел на Федора Константиновича, а затем бесстрастно сказал: «Пожалуйте ко мне», — и посторонился, чтобы дать ему проскользнуть.

«Ну что — прочли?» — спросил Федор Константинович, севши по ту сторону стола.

«Прочел», — ответил Васильев угрюмым басом.

«Я бы, собственно, хотел, чтобы это вышло еще весной», — бодро сказал Федор Константинович.

«Вот ваша рукопись, — вдруг проговорил Васильев, насупив брови и протягивая ему папку. — Берите. Никакой речи не может быть о том, чтобы я был причастен к ее напечатанию. Я полагал, что это серьезный труд, а оказывается, что это беспардонная, антиобщественная, озорная отсебятина. Я удивляюсь вам».

«Ну, это, положим, глупости», — сказал Федор Константинович.

«Нет, милостивый государь, вовсе не глупости, — взревел Васильев, гневно перебирая вещи на столе, катая штемпель, меняя взаимоположение безответных, случайно и без всяких надежд на постоянство счастья сочетавшихся книг "для отзыва". — Нет, милостивый государь! Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться. Мне решительно все равно, талантливы вы или нет, я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта. Я знаю, что вы меня не послушаетесь, но все-таки, — (и Васильев, поморщившись от боли, взялся за сердце), — я как друг прошу вас: не пытайтесь издавать эту вещь, вы загубите свою литературную карьеру, помяните мое слово, от вас все отвернутся».

«Предпочитаю затылки», — сказал Федор Константинович.

Вечером он был приглашен к Чернышевским, но Александра Яковлевна в последнюю минуту его отменила: ее муж «лежал в гриппе» с очень высокой температурой. Зина ушла с кем-то в кинематограф, так что он встретился с нею только на следующий вечер. «Первый клин боком, — как сострил бы твой вотчим», — ответил он на ее вопрос о книге и (как писали в старину) передал ей вкратце разговор в редакции. Возмущение, нежность к нему, желание чем-нибудь тотчас помочь выразились у нее порывом возбужденной и предприимчивой энергии. «Ах, так! — воскликнула она. — Хорошо же. Я добуду денег для издания, вот что я сделаю». — «Ужин ребенку и гробик отцу», — сказал он, и в другое время она бы обиделась на эту вольную шутку.

Она где-то заняла полтораста марок, добавила семьдесят своих, с трудом отложенных за зиму, — но этой суммы было недостаточно, и Федор Константинович решил написать в Америку дяде Олегу, постоянно помогавшему его матери, присылавшему изредка и ему по несколько долларов. Составление этого письма он со дня на день откладывал, так же как откладывал, несмотря на Зинины уговоры, попытку поместить свою вещь в толстом журнале, выходящем в Париже, или заинтересовать ею тамошнее издательство, напечатавшее кончеевские стихи. Она затеяла в свободное время переписку рукописи на машинке, в конторе родственника, и набрала у него же еще пятьдесят марок. Ее сердила вялость Федора — следствие ненависти ко всяческой практической суете. Он между тем беззаботно занялся сочинением шахматных задач, рассеянно ходил на уроки и ежедневно звонил Чернышевской: у Александра Яковлевича грипп перешел в острое воспаление почек. Через несколько дней в книжной лавке он заметил рослого дородного господина с крупными чертами лица, в черной фетровой шляпе (из-под нее — каштановый клок), приветливо и как-то даже поощрительно взглянувшего на него; — «где я встречал его?» — быстро подумал Федор Константинович, стараясь не смотреть. Тот подошел, подал ему руку, щедро, наивно, безоружно распялив ее, заговорил...

и Федор Константинович вспомнил: Буш, два с половиной года тому назад читавший в кружке свою пьесу. Недавно он ее выпустил в свет, — теперь, толкая Федора Константиновича боком, локтем, с детской дрожащей улыбкой на благородном, всегда слегка потном лице, он достал бумажник, из бумажника конверт, из конверта вырезку — бедненькую рецензию, появившуюся в рижской газетке.

«Теперь, — сказал он с грозной многозначительностью, — эта Вещь выйдет и панемецки. Сверх того, я сейчас работаю над Романом».

Федор Константинович попробовал уйти от него, но тот вышел из лавки с ним и предложил себя в попутчики, а так как Федор Константинович шел на урок и, значит, был связан маршрутом, то единственное, чем он мог попытаться избавиться от Буша, было ускорить ход, но при этом так участилась речь спутника, что он в ужасе замедлил шаг снова.

«Мой Роман, — сказал Буш, глядя вдаль и слегка протянутой вбок рукой в дребезжащей манжете, выпиравшей из рукава черного пальто, останавливая Федора Константиновича (это пальто, черная шляпа и кудря делали его похожим на гипнотизера, шахматного маэстро или музыканта), — мой Роман — это трагедия философа, который постиг абсолют-формулу. Он разговаривается и говорит, — (Буш, как фокусник, извлек из воздуха тетрадь и стал на ходу читать): — "Нужно быть набитым ослом, чтобы из факта атома не дедуцировать факта, что сама вселенная лишь атом, или, правильнее будет сказать, какая-либо триллионная часть атома. Это еще геньяльный Блэз Паскаль интуитивно познавал. Но дальше, Луиза! — (При этом имени Федор Константинович вздрогнул и ясно услышал звуки гренадерского марша: 'Пра-ащай, Луиза, отри слезы с лица, не всяка пуля бьет молодца', — и это затем продолжало звучать, как бы за окном дальнейших слов Буша.) — Напрягите, дорогая, внимание. Сперва я поясню на примере фантазии. Допускается, что некто физик сумел разыскать среди абсолют-немыслимой суммы атомов, из которых скомпоновано Все, фатальный атом тот, к которому применяется наше рассуждение. Мы предполагаем, что он додробился до самой малейшей эссенции этого как раз атома,

в который момент Тень Руки (руки физика!) падает на нашу вселенную с катастрофальными результатами, потому что вселенная и есть последняя частичка одного, я думаю, центрального атома, из которых она же состоит. Понять нелегко, но если вы это поймете, то вы всё поймете. Прочь из тюрьмы матматики! Целое равно наимельчайшей части целого, сумма частей равна части суммы. Это есть тайна мира, формула абсолют-бесконечности, но, сделав таковое открытие, человеческая личность больше не может гулять и разговаривать. Закройте рот, Луиза". Это он обращается к одной малютке, своей подруге жизни», — снисходительно-добродушно добавил Буш, пожав могучим плечом.

«Если вы интересуетесь, я вам когда-нибудь с начала почитаю, — продолжал он. — Тэма колоссальная. А вы, смею спросить, что делаете?»

«Я? — проговорил Федор Константинович — усмехнувшись. — Я тоже написал книгу, книгу о критике Чернышевском, а найти для нее издателя не могу».

«А! Популяризатор германского материализма — предателей Гегеля, гробианов-философов! Очень почтенно. Я все более убеждаюсь, что мой издатель охотно возьмет ваш труд. Он комический персонаж, и для него литература — закрытая книга. Но я у него в положении советника, и он выслушивает меня. Дайте мне ваш телефон-нумер, я завтра с ним свижусь, — и если он в принципе соглашается, то пробегу ваш манускрипт и смею надеяться, что рекомендую его самым льстивым образом».

«Какая чушь», — подумал Федор Константинович, а потому был весьма удивлен, когда, на другой же день, добряк действительно позвонил. Издатель оказался полненьким, с жирным носом мужчиной, чем-то напоминавшим Александра Яковлевича, с такими же красными ушами и черными волосиками по бокам отшлифованной лысины. Список им уже изданных книг был мал, но чрезвычайно разнообразен: переводы каких-то немецких психоаналитических романов, сделанные дядей Буша, «Отравительница» Аделаиды Светозаровой, сборник анекдотов, анонимная поэма «Аз», — но среди этого хлама были две-три настоящие книги, как, например, прекрасная «Лестница в Облаках» Германа Лянде и его же «Метаморфозы Мысли». Буш

отозвался о «Жизни Чернышевского» как о пощечине марксизму (о нанесении коей Федор Константинович при сочинении нимало не заботился), и, при втором свидании, издатель, человек, по-видимому, милейший, обещал книгу напечатать к Пасхе, т. е. через месяц. Аванса он не давал никакого, с первой тысячи проданных экземпляров предлагал пять процентов, но зато со следующей доводил авторские до тридцати, что показалось Федору Константиновичу и справедливым, и щедрым. Впрочем, к этой стороне дела он чувствовал полнейшее равнодушие. Другое заполняло его. Пожав влажную руку сияющего Буша, он вышел на улицу, как балерина вылетает на сиренево освещенные подмостки. Моросивший дождь казался ослепительной росой, счастье стояло в горле, радужные ореолы дрожали вокруг фонарей, и книга, написанная им, говорила с ним полным голосом, все время сопутствуя ему, как поток за стеною. Он направился к конторе, где служила Зина; против этого черного дома, с добрым выражением окон наклоненного к нему, он нашел пивную, ею указанную.

«Ну что?» — спросила она, быстро войдя.

«Нет, не берет», — сказал Федор Константинович, внимательно, с наслаждением следя за угасанием ее лица, играя своей властью над ним, предвкушая восхитительный свет, который он сейчас вызовет.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,

с улыбкой женскою и детскою заботой
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.

Сонет — словно преграждающий путь, а может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы всё, — если бы только ум человеческий мог выдержать оное объяснение. Душа окунается в мгновенный сон, — и вот, с особой театральной яркостью восставших из

мертвых, к нам навстречу выходят: с длинной тростию, в шелковой рясе гранатного колера, с вышитым поясом на большом животе о. Гавриил, и с ним, уже освещенный солнцем, весьма привлекательный мальчик: розовый, неуклюжий, нежный. Подошли. Сними шляпу, Николя. Волосы с рыжинкой, веснушки на лобике, в глазах ангельская ясность, свойственная близоруким детям. Кипарисовы, Парадизовы, Златорунные не без удивления вспоминали потом (в тиши своих дальних и бедных приходов) его стыдливую красоту: херувим, увы, оказался наклеенным на крепкий пряник; не всем пришедшийся по зубам.

Поздоровавшись с нами, Николя вновь надевает шляпу — серенький пуховый цилиндр — и тихо отходит, очень миленький в своем домашне-сшитом сюртучке и нанковых брючках, — между тем как его отец, добрейший протоиерей, не чуждый садовничеству, занимает нас обсуждением саратовских вишень, слив, глив. Летучая знойная пыль застилает картину.

Как неизменно отмечается в начале всех решительно писательских биографий, мальчик был пожирателем книг. Но отлично учился. «Государю твоему повинуйся, чти его и будь послушным законам», — тщательно воспроизводил он первую пропись, и помятая подушечка указательного пальца так навсегда и осталась темною от чернил. Вот тридцатые годы кончились, пошли сороковые.

В шестнадцать лет он довольно знал языки, чтобы читать Байрона, Сю и Гёте (до конца дней стесняясь варварского произношения); уже владел семинарской латынью, благо отец был человек образованный. Кроме того, некто Соколовский занимался с ним по-польски, а местный торговец апельсинами преподавал ему персидский язык — и соблазнял табачным курением.

Поступив в саратовскую семинарию, он там показал себя скромным и ни разу не подвергся пороции. Его прозвали «дворянчик», хотя он и не чуждался общих потех. Летом играл в козны, баловался купанием; никогда, однако, не научился ни плавать, ни лепить воробьев из глины, ни мастерить сетки для ловли малявок: ячейки получались неровные, нитки путались, — уловлять рыбу труднее, чем души человеческие (но и души ушли потом через прорехи).

Зимою же, в снежном сумраке, зычно распевая гекзаметры, мчалась под гору шайка горланов на громадных дровнях, — и в ночном колпаке, отведя занавеску, поощрительно усмехался полицеймейстер, довольный тем, что забавы семинаристов отпугивают ночных громил.

Он был бы, как и отец, священником и достиг бы, поди, высокого сана, — ежели бы не прискорбный случай с майором Протопоповым. Это был местный помещик, бонвиван, бабник, собачник; его-то сына о. Гавриил поспешил записать в метрических книгах незаконнорожденным; между тем оказалось, что свадьбу справили, без шума правда, но честно, за сорок дней до рождения ребенка. Уволенный от должности члена консистории, о. Гавриил захандрил и даже поседел. «Вот как вознаграждаются труды бедных священников», — повторяла в сердцах попадья, — и Николе решено было дать образование гражданское. Что сталось потом с молодым Протопоповым, — узнал ли он когда-нибудь, что из-за него?.. Вострепетал ли?.. Или, рано наскуча наслаждениями кипучей младости... Удалясь?..

Кстати: ландшафт, который незадолго до того чудно и томно развивался навстречу бессмертной бричке; все то русское, путевое, вольное до слез; все кроткое, что глядит с поля, с пригорка, промеж продолговатых туч; красота просительная, выжидательная, готовая броситься к тебе по первому знаку и с тобой зарыдать; — ландшафт, короче говоря, воспетый Гоголем, прошел незамеченным мимо очей восемнадцатилетнего Николая Гавриловича, нетороплива, на долгих, ехавшего с матерью в Петербург. Всю дорогу он читал книжку. И то сказать, — склонявшимся в пыль колосьям он предпочел словесную войну.

Тут автор заметил, что в некоторых уже сочиненных строках продолжается, помимо него, брожение, рост, набухание горошинки, — или, определеннее: в той или иной точке намечается дальнейший путь данной темы, — темы «прописей», например: вот, уже студентом, Николай Гаврилович украдкой списывает: «Человек есть то, что ест», — глаже выходит по-немецки, а еще лучше — с помощью правописания, ныне принятого у нас. Развивается, замечаем, и тема «близорукости», начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал, и видел лишь

четыре из семи звезд Большой Медведицы. Первые, медные, очки, надетые в двадцать лет. Серебряные учительские очки, купленные за шесть рублей, чтобы лучше видеть учеников-кадетов. Золотые очки властителя дум, — во дни, когда «Современник» проникал в самую сказочную глушь России. Очки, опять медные, купленные в забайкальской лавчонке, где продавались и валенки, и водка. Мечта об очках в письме к сыновьям из Якутской области, — с просьбой прислать стекла для такого-то зрения (чертой отметил расстояние, на котором различает буквы). Тут до поры до времени мутится тема очков... Проследим и другую, тему «ангельской ясности». Она в дальнейшем развивается так: Христос умер за человечество, ибо любил человечество, которое я тоже люблю, за которое умру тоже. «Будь вторым Спасителем», — советует ему лучший друг, — и как он вспыхивает, робкий! слабый! (почти гоголевский восклицательный знак мелькает в его «студентском» дневнике). Но «Святой Дух» надобно заменить «Здравым Смыслом». Ведь бедность порождает порок; ведь Христу следовало сперва каждого обуть и увенчать цветами, а уж потом проповедовать нравственность. Христос второй прежде всего покончит с нуждой вещественной (тут поможет изобретенная нами машина). И странно сказать, но... что-то сбылось, — да, что-то как будто сбылось. Биографы размечают евангельскими вехами его тернистый путь (известно, что чем левее комментатор, тем питает бо́льшую слабость к выражениям вроде «Голгофа революции»). Страсти Чернышевского начались, когда он достиг Христова возраста. Вот в роли Иуды — Всеволод Костомаров; вот в роли Петра — знаменитый поэт, уклонившийся от свидания с узником. Толстый Герцен, в Лондоне сидючи, именует позорный столб «товарищем Креста». И в некрасовском стихотворении — опять о Распятии, о том, что Чернышевский послан был «рабам (царям) земли напомнить о Христе». Наконец, когда он совсем умер и тело его обмывали, одному из его близких эта худоба, эта крутизна ребер, темная бледность кожи и длинные пальцы ног смутно напомнили «Снятие со Креста», Рембрандта, что ли. Но и на этом тема не кончается: есть еще посмертное надругание, без коего никакая святая жизнь не совершен-

на. Так, серебряный венок с надписью на ленте «Апостолу правды от высших учебных заведений города Харькова» был спустя пять лет выкраден из железной часовни, причем беспечный святотатец, разбив темно-красное стекло, нацарапал осколком на раме имя свое и дату. И еще третья тема готова развиться — и развиться довольно причудливо, коли недоглядеть: тема «путешествия», которая может дойти Бог знает до чего — до тарантаса с небесного цвета жандармом, а там и до якутских саней, запряженных шестеркой собак. Господи, да ведь вилюйского исправника звать Протопоповым! Но покамест все очень мирно. Катится удобная дорожная повозка; дремлет, прикрыв лицо платком, Николина мать Евгения Егоровна, а рядом, лежа, сын читает книжку, — и ухаб теряет значение ухаба, становясь лишь типографской неровностью, скачком строки, — и вот опять ровно проходят слова, проходят деревья, проходит тень их по страницам. И вот наконец Петербург.

Нева ему понравилась своей синевой и прозрачностью, — какая многоводная столица, как чиста в ней вода (он ею немедленно испортил себе желудок); но особенно понравилось стройное распределение воды, дельность каналов: как славно, когда можно соединить это с тем, то с этим; из связи вывести благо. По утрам, отворив окно, он с набожностью, обостренной еще общей культурностью зрелища, крестился на мерцающий блеск куполов: строящийся Исаакий стоял в лесах, — вот мы и напишем батюшке о вызолоченных через огонь главах, а бабушке — о паровозе... Да, видел воочию поезд, — о котором еще так недавно мечтал бедняга Белинский (предшественник), когда, изнуренный чахоткой, дрожащий, страшный на вид, часами, бывало, смотрел сквозь слезы гражданского счастья, как воздвигается вокзал, — тот вокзал опять-таки, на дебаркадере которого спустя немного лет полупомешанный Писарев (преемник), в черной маске, в зеленых перчатках, хватает хлыстом по лицу красавца-соперника.

У меня продолжают расти (сказал автор) без моего позволения и ведома идеи, темы, — иные довольно криво, — и я знаю, что мешает: мешает «машина»; надо выудить эту неуклюжую бирюльку из одной уже сложенной фразы. Большое облегчение. Речь идет о перпетуум-мобиле.

Возня с перпетуум-мобиле продлилась в общем около пяти лет, до 1853 года, когда он, уже учитель гимназии и жених, наконец сжег письмо с чертежами, которые однажды заготовил, боясь, что помрет (от модного аневризма), не одарив мира благодатью вечного и весьма дешевого движения. В описаниях его нелепых опытов, в его комментариях к ним, в этой смеси невежественности и рассудительности, уже сказывается тот едва уловимый, но роковой изъян, который позже придавал его выступлениям как бы оттенок шарлатанства; оттенок мнимый, ибо не забудем: человек — прямой и твердый, как дубовый ствол, «самый честнейший из честнейших» (выражение жены); но такова уж была судьба Чернышевского, что все обращалось против него: к какому бы предмету он ни прикасался, и — исподволь, с язвительнейшей неизбежностью, вскрывалось нечто совершенно противное его понятию о нем. Он, скажем, за синтез, за силу тяготения, за живую связь (читая роман, в слезах целует страницу, где к читателю воззвал автор), а вот готовится ему ответ: распад, одиночество, отчуждение. Он проповедует основательность, толковость во всем, — а точно по чьему-то издевательскому зазыву, его судьбу облепляют оболтусы, сумасброды, безумцы. За все ему воздается «отрицательной сторицей», по удачному слову Страннолюбского, за все его лягает собственная диалектика, за все мстят ему боги: за трезвый взгляд на отвлеченные розы, за добро в беллетристическом порядке, за веру в познание, — и какие неожиданные, какие хитрые формы принимает это возмездие! Что, если — мечтается ему в 48-м году — приделать к ртутному градуснику карандаш, так чтобы он двигался согласно изменениям температуры? Исходя из положения, что температура есть нечто вечное... Но позвольте, кто это, кто это тут кропотливо записывает шифром кропотливые соображения? Молодой изобретатель, не правда ли, с безошибочным глазомером, с врожденной способностью к склеиванию, связыванию, спаиванию косных частей, из которых рождается чудо-движение, — а там, глядь, и жужжит уже ткацкий станок, или паровоз с длинной трубой и машинистом в цилиндре обгоняет кровного рысака? Вот тут-то и трещина с гнездом возмездия, — ибо у этого рассудительного юноши, кото-

рый, не забудем, печется лишь о благе всего человечества, глаза как у крота, а белые, слепые руки движутся в другой плоскости, нежели его плошавшая, но упрямая и мускулистая мысль. Все, к чему он ни прикоснется, разваливается. Невесело в его дневнике читать о снарядах, которыми он пытается пользоваться, — коромыслах, чечевицах, пробках, тазах, — и ничто не вертится, а если и вертится, то, в силу непрошенных законов, в другую сторону, чем он того хочет: обратный ход вечного двигателя — ведь это сущий кошемар, абстракция абстракции, бесконечность со знаком минуса, да разбитый кувшин в придачу.

Мы, сознательно, залетели вперед; вернемся к той рысце, к тому ритму Николиной жизни, с которым наш слух уже свыкся.

Он избрал филологический факультет. Мать ходила на поклон к профессорам, дабы их задобрить: ее голос приобретал льстивые переливы, и постепенно она начинала сморкаться. Из петербургских товаров ее больше всего поразил хрусталь. Наконец, оне (Николя всегда говорил о матери почтительно, употребляя это наше удивительное множественное число, которое, как впоследствии его же эстетика, «пытается выразить качество через количество») собрались обратно в Саратов. На дорогу оне купили себе огромную репу.

Николай Гаврилович сначала поселился с приятелем, а впоследствии делил квартиру с кузиной и ее мужем. Планы этих квартир, как и всех прочих его жизненных стоянок, им начертаны в письмах. Всегда испытывая влечение к точному определению отношений между предметами, он любил планы, столбики цифр, наглядное изображение вещей, тем более что недостижимую для него литературную изобразительность никак не могла заменить мучительная обстоятельность его слога. Его письма к родным — письма юноши примерного: услужливая доброта заместо воображения подсказывала ему, что именно другому мило. Благочинному нравились всякие происшествия, забавные или ужасные казусы. Сын аккуратно ими кормил его в течение нескольких лет. Увеселения Излера, его искусственные Карлсбады; «минерашки», где на воздушных шарах поднимаются отважные петербургские дамы;

трагический случай с лодкой, угодившей под невский пароход, причем один из погибших — многосемейный полковник; мышьяк, предназначенный для мышей, а попавший в муку, так что отравилось более ста человек; и конечно, конечно — столоверчение, легковерие и обман, по мнению обоих корреспондентов.

Как в сумрачные сибирские годы одна из главных его эпистолярных струн — это обращенное к жене и сыновьям заверение, все на одной высокой, не совсем верной ноте, что денег вдосталь, денег не посылайте, так и в юности он просит родителей не заботиться о нем и умудряется жить на двадцать рублей в месяц; из них около двух с половиной уходит на булки, на печения (не терпел пустого чаю, как не терпел пустого чтения, т. е. за книгой непременно что-нибудь грыз: с пряниками читал «Записки Пиквикского Клуба», с сухарями — «Журналь де деба»), а свечи да перья, вакса да мыло обходились в месяц в целковый: был, кстати, нечистоплотен, неряшлив, при этом грубовато возмужал, а тут еще дурной стол, постоянные колики, да неравная борьба с плотью, кончавшаяся тайным компромиссом, — так что вид он имел хилый, глаза потухли, и от отроческой красоты ничего не осталось, разве лишь выражение чудной какой-то беспомощности, бегло озарявшее его черты, когда человек, им чтимый, обходился с ним хорошо («он был ласков ко мне, юноше робкому, безответному», — писал он потом о Иринархе Введенском, с трогательной латинской интонацией: анимула, вагула, бландула...); сам же не сомневался в своей непривлекательности, мирясь с мыслью о ней, но дичась зеркал; все же иногда, собираясь в гости, особливо к своим лучшим друзьям, Лободовским, или желая узнать причину неучтивого взгляда, мрачно всматривался в свое отражение, видел рыжеватый пух, точно прилипший к щекам, считал наливные прыщи — и тут же начинал их давить, да так жестоко, что потом не смел показываться.

Лободовские! Свадьба друга произвела на нашего двадцатилетнего героя одно из тех чрезвычайных впечатлений, которые среди ночи сажают юношу в одном белье за дневник. Эта чужая свадьба, столь взволновавшая его, была сыграна 19 мая 1848 года; в тот же день шестнадцать лет

спустя состоялась гражданская казнь Чернышевского. Совпадение годин, картотека дат. Так их сортирует судьба в предвидении нужд исследователя; похвальная экономия сил.

Ему было радостно на этой свадьбе. Мало того: собственная радость обрадовала его вторично («я, значит, способен питать чистую привязанность к женщине»), — да, он всегда норовил повернуть сердце так, чтобы оно одним боком отражалось в стекле рассудка, или, как выражается лучший его биограф, Страннолюбский, «свои чувства гнал через алембики логики». Но кто бы мог сказать, что мысль о любви занимала его в ту минуту? Много лет спустя, в своих кучерявых «Бытовых Очерках», этот самый Василий Лободовский небрежно ошибся, говоря, что тогдашний его шафер, студент «Крушедолин», так был серьезен, что «наверное, подвергал про себя всестороннему анализу только что прочитанные им сочинения, вышедшие в Англии».

Французский романтизм дал нам поэзию любви, немецкий — поэзию дружбы. Чувствительность молодого Чернышевского — уступка эпохе, когда дружба была великодушна и влажна. Чернышевский плакал охотно и часто. «Выкатилось три слезы», — с характерной точностью заносит он в дневник, — и мимоходом читатель мучится невольною мыслью, может ли число слез быть нечетным, или это только парность их источников заставляет нас требовать чета? «Не помяни мне глупых слез, какими плакал я не раз, своим покоем тяготясь», — обращается Николай Гаврилович к своей убогой юности и под звук некрасовской разночинной рифмочки действительно роняет слезу: «на этом месте в оригинале след от капнувшей слезы», — поясняет подстрочное замечание его сына Михаила. След другой слезы, куда более горячей, горькой и драгоценной, сохранился на его знаменитом письме из крепости, причем описание этой второй слезы у Стеклова грешит, по указанию Страннолюбского, неточностями, — о чем будет дальше. Затем, во дни ссылки, и особенно в Вилюйском остроге — — Но стоп: тема слез непозволительно ширится... вернемся к отправной ее точке. Вот, например, отпевают студента. В голубом гробу лежит восковой юноша,

а студент Татаринов, ухаживавший за больным, но едва знавший его прежде, с ним прощается, долго смотрит, целует его и смотрит опять, без конца... Студент Чернышевский, это записывая, сам изнемогает от нежности; Страннолюбский же, комментируя данные строки, проводит параллель между ними и горестным гоголевским отрывком «Ночи на вилле».

Но, по правде сказать... мечтания молодого Чернышевского в отношении любви и дружбы не отличаются изящностью — и чем больше он предается им, тем яснее вскрывается их порок — их рассудочность; глупейшую из грез он умел согнуть в логическую дугу. Подробно мечтая о том, как у Лободовского, пред которым искренне преклоняется, разовьется чахотка, и о том, как Надежда Егоровна останется молодой вдовой, беспомощной, обездоленной, он преследует особую цель. Подставной образ нужен ему, чтобы оправдать свою влюбленность, заменив ее жалостью к жертве, т. е. подведя под влюбленность утилитарную основу. Ведь иначе сердечных волнений не объяснить ограниченными средствами топорного материализма, которым он уже безнадежно прельстился. Пускай еще вчера, когда Надежда Егоровна «сидела без платка, и миссионер был, конечно, немного разрезан спереди, и была видна некоторая часть пониже шеи» (слог, необыкновенно схожий с говорком нынешнего литературного типа простака-мещанина), он спрашивал себя с честной тревогой, смотрел ли бы он на «эту часть» в первые дни после свадьбы друга. И вот, в мечтах медленно друга уморив, он со вздохом, как бы нехотя, как бы повинуясь долгу, решает на молодой вдове жениться — грустный брак, целомудренный брак (и все эти подставные образы повторяются еще полнее, когда впоследствии он добивается руки Ольги Сократовны). Самая красота бедной женщины еще под сомнением; и метод, который Чернышевский избрал, чтобы прелесть ее проверить, предопределил все дальнейшее его отношение к понятию прекрасного.

Сначала он установил лучший образчик грации Надежды Егоровны: случай поставил для него живую картину в идиллическом роде, хотя и несколько громоздкую. «Василий Петрович стал на стул на колени, лицом к спинке; она

подошла и стала нагибать стул, нагнула несколько и приложила свое личико к его груди... Свеча стояла на чайном столе... и свет падал на нее хорошо довольно, т. е. полусвет, потому что она была в тени от мужа, но ясный». Николай Гаврилович смотрел внимательно, стараясь отыскать что-нибудь, что было бы не так; грубых черт не нашел, однако еще колебался сомнением.

Как дальше быть? Он постоянно сличал ее черты с чертами других женщин, но несовершенство его зрения препятствовало добыче живых особей, необходимых для сравнения. Волей-неволей пришлось обратиться к красоте, пойманной и запечатленной другими, к препаратам красоты, т. е. к женским портретам. Таким образом, понятие искусства с самого начала стало для него, близорукого материалиста (сочетание, в сущности, абсурдное), чем-то прикладным и подсобным, и опытным путем можно было теперь проверить все то, что подсказывала ему влюбленность: превосходство красоты Надежды Егоровны (которую муж звал «милкой» и «куколкой»), т. е. жизни, над красотой всех других «женских головок», т. е. искусства (искусства!).

На Невском проспекте в витринах Юнкера и Дациаро были выставлены поэтические картинки. Хорошенько их изучив, он возвращался домой и записывал свои наблюдения. О чудо! сравнительный метод всегда давал нужный результат. У калабрийской красавицы на гравюре не вышел нос: «Особенно не удалась переносица и части, лежащие около носа, по бокам, где он поднимается». Через неделю, все еще неуверенный в том, что достаточно испытана истина, а не то — желая вновь насладиться уже знакомой податливостью опыта, он шел опять на Невский, посмотреть, нет ли новой красотки в окне. На коленях, в пещере, перед черепом и крестом, молилась Мария Магдалина, и лицо ее в луче лампады было мило, конечно, но насколько лучше полуосвещенное лицо Надежды Егоровны! На белой террасе над морем — две девушки: грациозная блондинка сидит на каменной лавке, целуясь с юношей, а грациозная брюнетка смотрит, не идет ли кто, отодвинув малиновую занавеску, «отделяющую террасу от других частей дома», как отмечаем мы в дневнике, ибо всегда любим

установить, в какой связи находится данная подробность по отношению к ее умозрительной среде. Разумеется, шейка у Надежды Егоровны еще милее. Отсюда важный вывод: жизнь милее (а значит, лучше) живописи, ибо что такое живопись, поэзия, вообще искусство в самом чистом своем виде? Это — солнце пурпурное, опускающееся в море лазурное; это — «красивые» складки платья; это — розовые тени, которые пустой писатель тратит на иллюминовку своих глянцевитых глав; это — гирлянды цветов, феи, фрины, фавны... Чем дальше, тем облачнее: сорная идея растет. Роскошь женских форм на картине уже намекает на роскошь в экономическом смысле. Понятие «фантазии» представляется Николаю Гавриловичу в виде прозрачной, но пышногрудой Сильфиды, которая, без всякого корсета и почти нагая, играя легким покрывалом, прилетает к поэтически поэтизирующему поэту. Две-три колонны, два-три дерева — не то кипарисы, не то тополя, — какая-то мало нам симпатичная урна, — и поклонник чистого искусства рукоплещет. Презренный! Праздный! И действительно, как же не предпочесть всему этому вздору честное описание современного быта, гражданскую горечь, задушевные стишки?

Смело можно сказать, что в те минуты, когда он льнул к витрине, полностью создалась его нехитрая магистерская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» (не удивительно, что он ее впоследствии написал прямо набело, сплеча, в три ночи; удивительнее то, что он за нее, хоть и с шестилетним опозданием, так-таки получил магистра).

Бывали томные, смутные вечера, когда он лежал навзничь на своем страшном, кожаном диване — в кочках, в дырьях, с неистощимым (только тащи) запасом конского волоса — и «сердце как-то чудно билось от первой страницы Мишле, от взглядов Гизо, от теории и языка социалистов, от мысли о Надежде Егоровне, и все это вместе», и вот он начинал петь, завывающим фальшивым голосом, — пел «песню Маргариты», при этом думал об отношениях Лободовских между собой, — и «слезы катились из глаз понемногу». Вдруг он вставал, решив повидать ее немедленно; был, представим себе, октябрьский вечер,

летели тучи, кислой вонью несло из шорных и каретных лавок в низах мрачно-желтых домов, купцы, в чуйках и тулупах, с ключами в руках, уже запирали лавки. Один толкнул его, но он прошел быстро мимо. Гремя по булыжнику своей ручной тележкой, обтрепанный фонарщик подвозил ламповое масло к мутному, на деревянном столбе, фонарю, протирал стекло засаленной тряпкой и со скрипом двигался к следующему — далекому. Начинало моросить. Николай Гаврилович летел проворным аллюром бедных гоголевских героев.

По ночам он долго не мог уснуть, мучась вопросами, удастся ли Василию Петровичу достаточно образовать жену, чтоб она ему служила помощницей, и не следует ли для оживления его чувств послать, например, анонимное письмо, которое разожгло бы в муже ревность. Этим уже предсказаны меры, принимаемые героями романов Чернышевского. Такие же, очень точно вычисленные, но ребячески нелепые планы ссыльный Чернышевский, старик Чернышевский, придумывает для достижения трогательнейших целей. Вот как она пользуется минутой невнимания и распускается, эта тема. Стой, свернись. Да и незачем забираться так далеко. В студентском дневнике найдется такой пример расчетливости: напечатать фальшивый манифест (об отмене рекрутства), чтобы обманом раззадорить мужиков; сам тут же окстился, — зная, как диалектик и как христианин, что внутренняя гнильца разъедает созданное строение и что благая цель, оправдывая дурные средства, только выдает свое роковое с ними родство. Так политика, литература, живопись, даже вокальное искусство приятно сплетались с любовными переживаниями Николая Гавриловича (вернулись к исходной точке).

Какой он был бедный, какой грязный и безалаберный, как далек от соблазнов роскоши... Внимание! Это не столько пролетарское целомудрие, сколько естественное пренебрежение, с которым подвижник относится к покусыванию несменяемой власяницы и оседлых блох. Однако же и власяницу приходится порою чинить. Мы присутствуем при том, как изобретательный Николай Гаврилович замышляет штопание своих старых панталон: ниток черных не оказалось, потому он какие нашлись принялся макать

в чернила; тут же лежал сборник немецких стихов, открытый на начале «Вильгельма Телля». Вследствие того что он махал нитками (чтобы высохли), на эту страницу упало несколько чернильных капель; книга же была чужая. Найдя в бумажном мешочке за окном лимон, он попытался кляксы вывести, но только испачкал лимон да подоконник, где оставил зловредные нитки. Тогда он обратился к помощи ножа и стал скоблить (эта книжка с продырявленными стихами находится в лейпцигской университетской библиотеке; какими путями она попала туда, к сожалению, установить не удалось). Чернилами же (чернила, в сущности, были природной стихией Чернышевского, который буквально, буквально купался в них) он мазал трещины на обуви, когда не хватало ваксы; или же, чтобы замаскировать дырку в сапоге, заворачивал ступню в черный галстук. Бил стаканы, всё пачкал, всё портил: любовь к вещественности без взаимности. Впоследствии, на каторге, он оказался не только неспособен к какому-либо специальному каторжному труду, но и вообще прославился неумением что-либо делать своими руками (при этом постоянно лез помогать ближнему: «Да не суйтесь не в свое дело, стержень добродетели», — грубовато говаривали ссыльные). Мы уже видели мельком, как пихали на улице бестолково летящего юношу. Редко сердился; все же однажды не без гордости записал, как отомстил молодому извозчику, задевшему его оглоблей: вырвал у него клок волос, молча навалившись на сани, между ног двух удивленных купцов. Вообще же был смирный, открытый обидам, — но втайне чувствовал себя способным на поступки «самые отчаянные, самые безумные». Помаленьку занимался и пропагандой, беседуя то с мужиками, то с невским перевозчиком, то с бойким кондитером.

Вступает тема кондитерских. Немало они перевидали. Там Пушкин залпом пьет лимонад перед дуэлью; там Перовская и ее товарищи берут по порции (чего? история не успела — —) перед выходом на канал. Нашего же героя юность была кондитерскими околдована, так что потом, моря себя голодом в крепости, он — в «Что делать?» — наполнял иную реплику невольным воплем желудочной лирики: «У вас есть и кондитерская недалеко? Не знаю,

найдется ли готовый пирог из грецких орехов, — на мой вкус, это самый лучший пирог, Марья Алексеевна». Но будущему воспоминанию наперекор, кондитерские прельщали его вовсе не снедью, — не слоеным пирожком на горьком масле и даже не пышкой с вишневым вареньем, — журналами, господа, журналами, вот чем! Он пробовал разные, — где газет побольше, где попроще да повольнее. Так, у Вольфа «последние оба раза вместо булки его (читай: Вольфа) пил кофе с пятикопеечным калачом (читай: своим), в последний раз не таясь» — т. е. в первый из этих двух последних разов (щепетильная обстоятельность его дневника вызывает в мозжечке щекотку) таился, не зная, как примут захожее тесто. В кондитерской было тепло, тихо, только изредка юго-западный ветерок газетных листов колебал пламя свеч («волнения уже касались нам вверенной России», как выражался царь). «Позвольте-с “Эндепенданс Бельж”. Благодарю-с». Пламя свеч выпрямляется, тишина (но щелкают выстрелы на Бульвар де Капюсин, революция подступает к Тюльери, — и вот Луи Филипп обращается в бегство: по Авеню Нейи, на извозчике).

А потом донимала изжога. Вообще питался всякой дрянью — был нищ и нерасторопен. Здесь уместен стишок Некрасова: «Питаясь чуть не жестию, я часто ощущал такую индижестию, что умереть желал. А тут ходьба далекая... Я по ночам зубрил; каморка невысокая, я в ней курил, курил...» Николай Гаврилович, впрочем, курил не зря, — именно «жуковиной» и лечил желудок (а также зубы). Его дневник, особенно за лето и осень 49-го года, содержит множество точнейших справок относительно того, как и где его рвало. Кроме курения, он лечился ромом с водой, горячим маслом, английской солью, златотысячником с померанцевым листом, да постоянно, добросовестно, с каким-то странным смаком, пользовался римским приемом, — и, вероятно, в конце концов умер бы от истощения, если бы (выпущенный кандидатом и оставленный при университете для занятий) не приехал в Саратов.

И вот тогда, в Саратове... Но как ни хочется поскорее вылезти из черного уголка, куда нас завел разговор о кондитерских, и перейти на солнечную сторону жизни Николая Гавриловича, все же (ради некой скрытой связности)

я еще немного тут потопчусь. Однажды он бросился за большой нуждой в дом на Гороховой (следует многословное, со спохватками, описание расположения дома) и уже оправлялся, когда «какая-то девушка в красном» отворила дверь. Увидав руку, — хотел дверь удержать, — она вскрикнула, «как это бывает обыкновенно». Тяжкий дверной скрип, ржавый крючок отбит, вонь, стужа, — ужасно... но чудак наш вполне готов потолковать с самим собой об истинной чистоте, отмечая с удовлетворением, что «даже не полюбопытствовал, хороша ли она». В своих сновидениях он зато смотрел зорче, и случай сна был к нему милостивее судьбы явной, — но и тут как он радуется, когда, трижды целуя во сне гантированную ручку «весьма светлорусой» дамы (матери подразумеваемого ученика, во сне приютившей его, т. е. нечто во вкусе Жан-Жака), он не может себя упрекнуть ни в какой плотской мысли. Зоркой оказалась и память о той молодой, кривой тоске по красоте. В пятьдесят лет, в письме из Сибири, он вспоминает девушку-ангела, замеченную однажды в юности на выставке Промышленности и Земледелия: «Идет какое-то аристократическое семейство», — повествует он своим позднейшим ветхозаветно-медленным слогом. «Понравилась мне эта девушка, понравилась... Я пошел шагах в трех сбоку и любовался... Они были, очевидно, очень знатные люди. Это видели все по их чрезвычайно милым манерам, — (в патоке этой патетики есть мошка от Диккенса, заметил бы Страннолюбский, но все же не забудем, что это пишет полураздавленный каторгой старик, как справедливо выразился бы Стеклов). — Толпа расступалась... Мне было вовсе свободно идти в шагах трех, не спуская взгляда с той девушки, — (бедненький сателлит!). — И длилось это час или больше» (вообще выставки, например, Лондонская 62-го года и Парижская 89-го года, со странной силой отразились на его судьбе; так, Бувар и Пекюшэ, принимаясь за описание жизни герцога Ангулемского, дивились тому, какую роль сыграли в ней... мосты).

Из всего этого следует, что по приезде в Саратов он не мог не влюбиться в девятнадцатилетнюю дочку доктора Васильева, цыгановатенькую барышню с висячими серьгами в длинных мочках ушей, полуприкрытых темными

прядями. Задира, жеманница, «мишень и краса провинциального бала», по слову безымянного современника, она шумом своих голубых шу и певучестью речи обольстила и оболванила неуклюжего девственника. «Смотрите, какая прелестная ручка», — говорила она, к его запотевшим очкам ручку протягивая — смуглую, голую, с блестящим пушком. Он мазался розовым маслом, кровопролитно брился. А какие придумывал серьезные комплименты! «Вам бы жить в Париже», — сказал он истово, стороной узнав, что она «демократка»; Париж, однако, представлялся ей не очагом наук, а королевством лореток, так что она обиделась.

Перед нами «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье». Увлекающийся Стеклов называет «ликующим гимном любви» это единственное в своем роде произведение, — напоминающее скорее всего добросовестнейший доклад. Докладчик составляет проект любовного объяснения (в точности приведенный в исполнение в феврале 53-го года и без промедления одобренный) с пунктами за женитьбу и против нее (опасался, например, не вздумает ли норовистая супруга носить мужское платье — с легкой ноги Жорж Занд) и со сметой брачного быта, в которой учтено решительно все, и две стеариновые свечи на зимние вечера, и молока на десять копеек, и театр; при этом он уведомляет невесту, что ввиду его образа мыслей («меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня») он рано или поздно «непременно попадется», а для пущей честности рассказывает ей о жене Искандера, которая, будучи беременной («извините, что я говорю такие подробности»), при получении известия, что мужа схватили в Сардинских владениях и отправляют в Россию, «падает мертвой». Ольга Сократовна, как добавил бы тут Алданов, мертвой бы не упала.

«Если когда-нибудь, — писал он далее, — молва запятнает ваше имя, так что вы не будете надеяться иметь другого мужа... всегда буду по одному вашему слову готов стать вашим мужем». Положение рыцарское, но основанное на далеко не рыцарских предпосылках, и этот свойственный ему поворот разом переносит нас на знакомый путь его прежних любовных квазифантазий, с их обстоятельной

жаждой жертвы и защитного цвета состраданием; что не помешало ему испытать самолюбивую досаду, когда невеста предупредила его, что в него не влюблена. Все же был как-то пестро счастлив. Его жениховство — с легким немецким оттенком, с шиллеровскими песнями, с бухгалтерией ласок: «расстегивал сначала две, после три пуговицы на ее мантилье...». Непременно хотел поставить ее ножку (в тупоносенькой серой ботинке, прошитой цветным шелком) на свою голову: сладострастие питалось символами. Иногда он читал ей Лермонтова, Кольцова; читал же стихи, как псалтырь.

Но что занимает почетнейшее место в дневнике и особенно важно для понимания многого в судьбе Николая Гавриловича, это — подробное описание шуточных церемоний, которыми густо украшались саратовские вечера. Он не умел полькировать ловко и плохо танцовал гроссфатер, но зато был охоч до дурачеств, ибо даже пингвин не чужд некоторой игривости, когда, ухаживая за самочкой, окружает ее кольцом из камушков. Собиралась, как говорится, молодежь, и, пуская в ход модный в те дни и в том кругу прием кокетства, Ольга Сократовна за столом кормила с тарелки, как ребенка, того или другого гостя, а Николай Гаврилович прижимал салфетку к сердцу, грозил проткнуть себе вилкой грудь. В свою очередь она притворялась сердитой. Он просил прощения (все это до жути не смешно), целовал «открытые части» ее рук, которые она прятала. «Как вы смеете!» Пингвин принимал «серьезный, унылый вид, потому что в самом деле могло случиться, что сказал что-нибудь такое, чем другая на ее месте оскорбилась бы». По праздникам он озорничал в Божием храме, смеша невесту, — но напрасно марксистский комментатор видит в этом «здоровую кощунственность». Какие глупости. Сын священника, Николай чувствовал себя в церкви как дома (королевич, венчающий кота отцовской короной, отнюдь не выражает этим сочувствия к народовластию). Тем менее его можно упрекнуть в насмешке над крестоносцами, оттого что мелком он по очереди ставил всем на спине крест: знак поклонников Ольги Сократовны, страдающих по ней. И после еще некоторой возни в том же духе происходит — запомним это — шутовская дуэль палками.

А несколько лет спустя, при аресте, забран был этот дневник, написанный ровным, хвостатеньким почерком и зашифрованный домашним способом, с сокращениями вроде «слабь! глупь!» (слабость, глупость!), «свбды-ва» (свободы, равенства) или «чк» (человек, а не другое). Его разбирали люди, видимо, неумелые, ибо допустили кой-какие ошибки, например, слово «подозрения», написанное «дзрья», прочли как «друзья»; вышло: «у меня весьма сильные друзья» вместо: «подозрения против меня будут весьма сильными». Чернышевский ухватился за это и стал утверждать, что весь дневник — вымысел беллетриста, так как, дескать, у него «не было тогда влиятельных друзей, а ведь тут явно действует человек, имеющий друзей сильных в правительстве». Неважно (хотя вопрос сам по себе занимателен), помнил ли он дословно свои настоящие фразы; важно, что им, этим фразам, дано своеобразное алиби в «Что делать?», где развернут полностью их внутренний, «черновой» ритм (например, в песенке одной из участниц пикника: «О дева, друг недобрый я, глухих лесов жилец. Опасна будет жизнь моя, печален мой конец»). Сидя в крепости и зная, что опасный дневник разбирается, он спешил посылать Сенату «образцы своей черновой работы», т. е. вещи, которые он писал исключительно для того, чтобы дневник оправдать, превращая его задним числом тоже в черновик романа (Страннолюбский прямо полагает, что это и толкнуло его писать в крепости «Что делать?», посвященное, кстати, жене и начинающееся в день Св. Ольги). Посему он выражал негодование, что дается юридическое значение сценам выдуманным: «Я ставлю себя и других в разные положения и фантастически развиваю... Какое-то “я” говорит о возможности ареста, одного из этих “я” бьют палкой при невесте». Он надеялся, вспоминая это место, что обстоятельное повествование о всяких домашних играх может быть воспринято как вообще «фантазия»: не станет же солидный человек... (горе в том, что в казенных кругах его и не считали солидным человеком, а именно буффоном, и как раз в шутовстве его журнальных приемов усматривали бесовское проникновение вредоносных идей). И для полного завершения темы саратовских пти-жё давайте еще дальше продвинемся, уже

на каторгу, где отзвук их жив в пьесках, сочиняемых им для товарищей, и особенно в романе «Пролог» (написанном в Александровском заводе в 66-м году), где есть и студент, не смешно валяющий дурака, и красавица, кормящая поклонников. Если к этому добавить, что герой (Волгин), говоря жене о грозящей ему опасности, ссылается на свое добрачное предупреждение, то как не заключить: вот поздняя правда, подведенная наконец под давнишнее утверждение Чернышевского, что дневник — лишь черновик сочинителя... ибо сама плоть «Пролога» сквозь весь мусор беспомощного вымысла теперь и впрямь кажется беллетристическим продолжением саратовских записок.

Преподавая словесность в тамошней гимназии, он показал себя учителем крайне симпатичным: в неписаной классификации, быстро и точно применяемой школьниками к наставникам, он причтен был к типу нервного, рассеянного добряка, легко вспыхивающего, легко отвлекаемого в сторону — и сразу попадающегося в мягкие лапы классному виртуозу (в данном случае Фиолетову-младшему), который в критический миг, когда гибель не знающих урока кажется уже неизбежной, а до звоночка сторожа остается недолго, задает спасительный оттяжной вопрос: «Николай Гаврилович, а вот тут насчет Конвента...» — и Николай Гаврилович сразу загорается, подходит к доске и, кроша мел, чертит план залы заседаний Конвента (он, как мы знаем, был большой мастер на планы), а затем, все больше воодушевляясь, указывает и места, где члены каждой партии сидели.

В те годы в провинции он держался, по-видимому, довольно неосторожно, людей степенных, юношей богобоязненных пугая резкостью взглядов и развязностью манер. Сохранился слегка подкрашенный рассказ о том, как на похоронах матери, едва спущен был гроб, он закурил папироску и ушел под ручку с Ольгой Сократовной, с которой спустя десять дней обвенчался. Но саратовские гимназисты постарше увлекались им; иные из них впоследствии привязались к нему с той восторженной страстью, с которой в эту дидактическую эпоху люди льнули к наставнику, вот-вот готовому стать вождем; а что насчет «словесности», то, по совести говоря, справляться с запятыми он питом-

цев своих не научил. Много ли было из их числа спустя сорок лет на его похоронах? По одним сведениям, двое, по другим — ни одного. Когда же погребальное шествие остановилось было у здания саратовской гимназии, чтобы отслужить литию, директор выслал сказать священнику, что это, знаете, нежелательно, и, сопутствуемая путавшимся в своих полах октябрьским ветром, процессия прошла мимо.

Гораздо менее успешно, чем в Саратове, было его учительство по перемещении в Петербург, где в течение нескольких месяцев 54-го года он преподавал во втором кадетском корпусе. Кадеты на его лекциях вели себя распущенно. Он визгливо кричал на балбесов, чем лишь усугублял кавардак. Не очень разговоришься тут о монтаньярах! Как-то была перемена, в одном из классов шумели, дежурный офицер вошел, гаркнул и оставил за собой относительный порядок, а тут шум поднялся в другом классе, куда (перемена кончилась) с портфелем под мышкой входил Чернышевский. Оборотясь к офицеру, он его остановил прикосновением кисти и со сдержанным раздражением сказал, взглянув поверх очков: «А теперь вам сюда нельзя-с». Офицер оскорбился, учитель извиниться не пожелал и вышел в отставку. Так началась тема «офицеров».

Просветительная забота, однако, определилась у него на всю жизнь. Его журнальная деятельность с 53-го года до 62-го г. проникнута насквозь стремлением питать тощего русского читателя здоровым домашним столом разнообразнейших сведений: порции были огромные, хлеба отпускалось сколько угодно, по воскресеньям давались орехи; ибо, подчеркивая значение мясных блюд политики и философии, Николай Гаврилович никогда не забывал и сладкого. Из его рецензии на «Комнатную Магию» Амарантова явствует, что он у себя дома проверил эту увеселительную физику и один из лучших фокусов, а именно «переноску воды в решете», дополнил собственной поправкой: как у всех популяризаторов, у него была слабость к таким невинным кунстштюкам; не забудем к тому же, что едва ли год прошел с того дня, как по уговору батюшки он окончательно забросил мысль о вечном двигателе.

Он любил читать календари, отмечая для общего сведения подписчиков «Современника» (1855): гинея — 6 руб. 47 с пол. коп.; североамериканский доллар — 1 руб. 31 коп. серебром; или сообщал, что «между Одессой и Очаковым построены на счет пожертвований телеграфические башни». Истинный энциклопедист, своего рода Вольтер, с ударением, правда, на первом слоге, он исписал, не скупясь, тьму страниц (всегда готовый обхватить, как свернутый ковер, и развернуть перед читателем в с ю историю затронутого вопроса), перевел целую библиотеку, использовал все жанры вплоть до стихов и до конца жизни мечтал составить «критический словарь идей и фактов» (что напоминает флоберовскую карикатуру, тот «dictionnaire des idées reçues»[1], иронический эпиграф к которому — «большинство всегда право» — Чернышевский выставил бы всерьез). Об этом-то он пишет жене из крепости, со страстью, с горестью, с ожесточением рассказывая о тех титанических трудах, которые он еще совершит. Далее, все двадцать лет сибирского одиночества, он лечился этой мечтой; но, познакомившись за год до смерти со словарем Брокгауза, увидел в нем ее воплощение. Тогда он возжаждал Брокгауза перевести (а то «напихают туда всякой дряни, вроде мелких немецких художников»), почитая такой труд венцом всей своей жизни; оказалось, что и это уже предпринято.

Еще в начале журнального поприща он писал о Лессинге, который родился ровно за сто лет до него и сходство с которым он сам сознавал: «Для таких натур существует служение более милое, нежели служение любимой науке, — это служение развитию своего народа». Как и Лессинг, он по привычке всегда начинал с частного случая развитие общих мыслей. Помня, что у Лессинга жена умерла от родов, он боялся за Ольгу Сократовну, о первой беременности которой писал отцу по-латыни, точно так же, как Лессинг, сто лет перед тем, писал по-латыни и своему батюшке.

Наведем сюда свет: двадцать первого декабря 53-го года Николай Гаврилович сообщал, что, по словам знающих женщин, жена зачала. Роды. Тяжелые. Мальчик. «Миля-

[1] «Лексикон прописных истин» *(фр.)*.

тятька мой», — гулюкала над первенцем Ольга Сократовна, — очень скоро, однако, маленького Сашу разлюбившая. Врачи предупреждали, что вторые роды убьют ее. Все же она забеременела вновь, — «как-то по нашим грехам, против моей воли», — писал он, жалуясь и томясь, Некрасову... Нет, что-то другое, сильнее, чем боязнь за жену, томило его. По некоторым сведениям, Чернышевский в пятидесятых годах подумывал о самоубийстве; он будто бы даже пил, — какое жуткое видение: пьяный Чернышевский! Что таить, — брак получился несчастный, трижды несчастный, и даже впоследствии, когда ему и удалось с помощью воспоминания «заморозить свое прошлое до состояния статического счастья» (Страннолюбский), все равно еще сказывалась та роковая, смертная тоска, составленная из жалости, ревности и уязвленного самолюбия, — которую также знавал муж совсем другого склада и совсем иначе расправившийся с ней: Пушкин.

И жена, и младенец Виктор выжили; а в декабре 58-го года она вновь чуть не умерла, производя на свет третьего сына, Мишу. Удивительное время — героическое, кроличье, в кринолине — символе многочадия.

«Оне умные, образованные, добрые, я вижу, — а я дура, необразованная, злая», — не без надрывчика говорила Ольга Сократовна о родственницах мужа, Пыпиных, которые, при всей доброте, не пощадили «эту истеричку, эту взбалмошную бабенку с нестерпимым характером». Как она швырялась тарелками! Какому биографу склеить их осколки? А эта страсть к перемене мест... Эти диковинные недомогания... Старухой она любила вспоминать, как в Павловске, пыльным, солнечным вечером, на рысаке, в фаэтоне, перегоняла вел. кн. Константина, откидывая вдруг синюю вуаль и его поражая огненным взглядом, или как изменяла мужу с польским эмигрантом Савицким, человеком, славившимся длиной усов: «Канашечка-то знал... Мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна». Канашечку очень жаль, — и очень мучительны, верно, были ему молодые люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в разных стадиях любовной близости, от аза до ижицы. Вечера у Чернышевской бывали особенно оживлены присутствием ватаги студентов-кавказцев. Николай

Гаврилович почти никогда к ним не выходил. Раз, накануне Нового года, грузины, во главе с гогочущим Гогоберидзе, ворвались в его кабинет, вытащили его, Ольга Сократовна накинула на него мантилью и заставила плясать.

Да, жалко его, — а все-таки... Ну, вытянул бы разок ремнем, ну, послал бы к чортовой матери; или хотя бы: вывел со всеми грехами, воплями, рысканием, несметными изменами в одном из тех романов, писанием которых он заполнял свой тюремный досуг. Так нет же! В «Прологе» (и отчасти в «Что делать?») нас умиляет попытка автора реабилитировать жену. Любовников нет, есть только благоговейные поклонники; нет и той дешевой игривости, которая заставляла «мущинок» (как она, увы, выражалась) принимать ее за женщину еще более доступную, чем была она в действительности, а есть только жизнерадостность остроумной красавицы. Легкомыслие превращено в свободомыслие, а уважению к бойцу-мужу (которое она и в самом деле испытывала к нему, но попусту) дана власть над всеми ее другими чувствами. В «Прологе» студент Миронов, чтобы мистифицировать приятеля, сказал, что Волгина вдова. Это ее так расстроило, что она заплакала, — подобно тому как в «Что делать?» она, все та же «она», тоскует среди лубочных ветреников по арестованном муже. Из типографии Волгин забежал в оперу и тщательно стал осматривать в бинокль сперва одну сторону зала, потом другую; вот остановился, — и слезы нежности потекли из-под стекол. Он пришел проверить, правда ли его жена, сидящая в ложе, милее и наряднее всех, — совершенно так же, как автор в молодости сравнивал Лободовскую с «женскими головками».

И тут мы снова оказались окружены голосами его эстетики, — ибо мотивы жизни Чернышевского теперь мне послушны, — темы я приручил, они привыкли к моему перу; с улыбкой даю им удаляться: развиваясь, они лишь описывают круг, как бумеранг или сокол, чтобы затем снова вернуться к моей руке; и даже если иная уносится далеко, за горизонт моей страницы, я спокоен: она прилетит назад, как вот эта прилетела.

Итак: 10 мая 55-го года Чернышевский защищал в университете уже знакомую нам диссертацию, «Отношения

искусства к действительности», написанную в три августовские ночи, в 53-м году, т. е. именно в ту пору, когда «смутные лирические чувства, подсказавшие ему в юности взгляд на искусство как на снимок с красотки, окончательно вызрели, дав пухлый плод в естественном соответствии с апофеозом супружеской страсти» (Страннолюбский). На этом публичном диспуте было в первый раз провозглашено «умственное направление шестидесятых годов», как потом вспоминал старик Шелгунов, с обескураживающей простотой отмечая, что Плетнев не был тронут речью молодого ученого, не угадал таланта... Слушатели зато были в восхищении. Народу навалило так много, что стояли на окнах. «Налетели, как мухи на падаль», — фыркал Тургенев, который, должно быть, чувствовал себя задетым, в качестве «поклонника прекрасного», — хотя сам был не прочь мухам угождать.

Как часто бывает с идеями порочными, от плоти не освободившимися или обросшими ею, можно в эстетических воззрениях «молодого ученого» расслышать его физический стиль, самый звук его тонкого наставительного голоса. «Прекрасное есть жизнь. Милое нам есть прекрасное; жизнь нам мила в добрых своих проявлениях... Говорите же о жизни, и только о жизни, — (так продолжает этот звук, столь охотно воспринятый акустикой века), — а если человеки не живут по-человечески, — что ж, учите их жить, живописуйте им портреты жизни примерных людей и благоустроенных обществ». Искусство, таким образом, есть замена, или приговор, но отнюдь не ровня жизни, точно так же как «гравюра в художественном отношении гораздо хуже картины», с которой она снята (особенно прелестная мысль). «Единственное, впрочем, — ясно проговорил диссертант, — чем поэзия может стоять выше действительности, это украшение событий прибавкой эффектных аксессуаров и согласованием характера описываемых лиц с теми событиями, в которых они участвуют».

Таким образом, борясь с чистым искусством, шестидесятники, и за ними хорошие русские люди вплоть до девяностых годов, боролись, по неведению своему, с собственным ложным понятием о нем, ибо точно так же, как

двадцать лет спустя Гаршин видел «чистого художника» в Семирадском (!), — или как аскету снится пир, от которого бы чревоугодника стошнило, — так и Чернышевский, будучи лишен малейшего понятия об истинной сущности искусства, видел его венец в искусстве условном, прилизанном (т. е. в антиискусстве), с которым и воевал — поражая пустоту. При этом не следует забывать, что другой лагерь, лагерь «художников», — Дружинин с его педантизмом и дурного тона небесностью, Тургенев с его чересчур стройными видениями и злоупотреблением Италией, — часто давал врагу как раз ту вербную халву, которую легко было хаять.

Николай Гаврилович казнил «чистую поэзию» где только ни отыскивал ее — в самых неожиданных закоулках. Критикуя на страницах «Отечественных Записок» (54-й год) какой-то справочный словарь, он приводит список статей, по его мнению слишком длинных: Лабиринт, Лавр, Ланкло, — и список статей, слишком кратких: Лаборатория, Лафайет, Лен, Лессинг. Красноречивое притязание! Эпиграф ко всей умственной жизни его! Из олеографических волн «поэзии» рождалась (как мы уже видели) пышногрудая «роскошь»; «фантастическое» принимало грозный экономический оборот. «Иллюминации... Конфеты, сыплющиеся на улицы с аэростатов, — перечисляет он (речь идет о праздниках и подарках по случаю крестин сына Людовика Наполеона), — колоссальные бонбоньерки, спускающиеся на парашютах...» А какие вещи у богатых: «Кровати из розового дерева... шкафы с пружинами и выдвижными зеркалами... штофные обои!.. А там, бедный труженик...» Связь найдена, антитеза добыта; с большой обличительной силой и обилием предметов обстановки, Николай Гаврилович вскрывает всю их безнравственность. «Мудрено ли, что при хорошенькой наружности швея, ослабляя мало-помалу свои нравственные правила... Мудрено ли, что, променяв дешевую, сто раз мытую кисею на алансонские кружева и бессонные ночи за тусклым огарком и работой на бессонные ночи в оперном маскараде или загородной оргии, она... несясь» и т. д. (и, подумавши, он разгромил поэта Никитина, но не потому, собственно,

что тот слагал стихи дурно, а за то, что он, воронежский житель, не имел ровно никакого права писать о мраморах и парусах).

Немецкий педагог Кампе, сложив ручки на животе, говаривал: «Выпрясть пфунт шерсти полезнее, нежели написать том стихоф». Вот и мы с такой же солидной серьезностью досадуем на поэта, на здорового человека, который лучше бы ничего не делал, а занимается вырезыванием пустячков «из очень милой цветной бумаги». Пойми, штукарь, пойми, арабесник, что «сила искусства есть сила общих мест» и больше ничего. Для критики «всего интереснее, какое воззрение выразилось в произведении писателя». Волынский и Страннолюбский оба отмечают некое странное несоответствие (одно из тех смертельных внутренних противоречий, которые вскрывались на всем пути нашего героя): дуализм эстетики мониста Чернышевского, — форма и содержание, с приматом содержания, — причем именно форма играет роль души, а содержание — роль тела; и путаница усугубляется тем, что эта «душа» составляется из механических частиц, так как Чернышевский полагал, что ценность произведения есть понятие не качества, а количества и что «если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь жалком, забытом романе с вниманием ловить все проблески наблюдательности, он собрал бы довольно много строк, которые по достоинству ничем не отличаются от строк, из которых составляются страницы произведений, восхищающих нас». Мало того: «Довольно взглянуть на мелочные изделия парижской промышленности, на изящную бронзу, фарфор, деревянные изделия, чтобы понять, как невозможно провести теперь границу между художественным и нехудожественным произведением» (вот эта изящная бронза многое и объясняет).

Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский все видел в именительном. Между тем всякое подлинно новое веяние есть ход коня, перемена теней, сдвиг, смещающий зеркало. Человека серьезного, степенного, уважающего просвещение, искусства, ремёсла, накопившего множество ценностей в области мышления, — быть может, выказавшего вполне передовую разборчивость во время их накопления, но теперь вовсе не желающего, чтобы они

вдруг подверглись пересмотру, такого человека иррациональная новизна сердит пуще темноты ветхого невежества. Так розовый плащ тореадорши на картинке Манэ больше раздражал буржуазного быка, чем если бы он был красным. Так Чернышевский, который, подобно большинству революционеров, был совершенный буржуа в своих художественных и научных вкусах, приходил в бешенство от «возведения сапог в квадраты», от «извлечения кубических корней из голенищ». «Лобачевского знала вся Казань, — писал он из Сибири сыновьям, — вся Казань единодушно говорила, что он круглый дурак... Что такое “кривизна луча” или “кривое пространство”? Что такое “геометрия без аксиомы параллельных линий”? Можно ли писать по-русски без глаголов? Можно — для шутки. “Шелест, робкое дыханье, трели соловья”. Автор ее некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. Идиот, каких мало на свете. Писал это серьезно, и над ним хохотали до боли в боках» (Фета, как и Толстого, он не терпел; в 56-м году, любезничая с Тургеневым — ради «Современника», — он ему писал, «что никакие “Юности”, ни даже стихи Фета... не могут настолько опошлить публику, чтобы она не могла...» — следует грубый комплимент).

Когда однажды, в 55-м году, расписавшись о Пушкине, он захотел дать пример «бессмысленного сочетания слов», то привел мимоходом тут же выдуманное «синий звук», — на свою голову напророчив пробивший через полвека блоковский «звонко-синий час». «Научный анализ показывает вздорность таких сочетаний», — писал он, — не зная о физиологическом факте «окрашенного слуха». «Не все ли равно, — спрашивал он (у радостно соглашавшегося с ним бахмучанского или новомиргородского читателя), — голубоперая щука или щука с голубым пером, — (конечно, второе, крикнули бы мы, — так оно выделяется лучше, в профиль!), — ибо настоящему мыслителю некогда заниматься этим, особенно если он проводит на народной площади больше времени, чем в своей рабочей комнате». Другое дело — «общий план». Любовь к общему (к энциклопедии), презрительная ненависть к особому (к монографии) и заставляли его упрекать Дарвина в недельности, Уоллеса в нелепости («...все эти ученые специальности от изучения

крылышек бабочек до изучения наречий кафрского языка»). У самого Чернышевского был в этом смысле какой-то опасный размах, какое-то разудалое и самоуверенное «все сойдет», бросающее сомнительную тень на достоинства как раз специальных его трудов. «Общий интерес» он понимал, однако, по-своему: исходил из мысли, что больше всего читателя интересует «производительность». Разбирая в 55-м году какой-то журнал, он хвалит в нем статьи «Термометрическое состояние земли» и «Русские каменноугольные бассейны», решительно бракуя, как слишком специальную, ту единственную, которую хотелось бы прочесть: «Географическое распространение верблюда».

Чрезвычайно знаменательна в отношении ко всему этому попытка Чернышевского доказать («Современник», 56-й г.), что трехдольный размер стиха языку нашему свойственнее, чем двухдольный. Первый (кроме того случая, когда из него составляется благородный, «священный», а потому ненавистный гекзаметр) казался Чернышевскому естественнее, «здоровее» двухдольного, как плохому наезднику галоп кажется «проще» рыси. Суть, впрочем, была не в этом, а как раз в о б щ е м правиле, под которое он подводил всё и всех. Сбитый с толку ритмической эмансипацией широко рокочущего некрасовского стиха и кольцовским элементарным анапестом («мужичок»), Чернышевский учуял в трехдольнике что-то демократическое, милое сердцу, «свободное», но и дидактическое, в отличие от аристократизма и антологичности ямба: он полагал, что убеждать следует именно анапестом. Однако и этого еще мало: в некрасовском трехдольнике особенно часто слова, попадая на холостую часть стопы, теряют индивидуальность, зато усиливается их сборный ритм: частное приносится в жертву целому. В небольшом стихотворении, например («Надрывается сердце от муки...»), вот сколько слов неударяемых: «плохо», «внемля», «чувству», «в стаде», «птицы», «грохот», — причем слова всё знатные, а не чернь предлогов или союзов, безмолвствующая иногда и в двухдольнике. Все сказанное нигде, конечно, не выражено самим Чернышевским, но любопытно, что в собственных стихах, производившихся им в сибирские ночи, в том

страшном трехдольнике, который в самой своей аляповатости отзывает безумием, Чернышевский, словно пародируя и до абсурда доводя некрасовский прием, побил рекорд неударяемости: «в стране гор, в стране роз, равнин полночи дочь» (стихи к жене, 75-й год). Повторяем: вся эта тяга к стиху, созданному по образу и подобию определенных социально-экономических богов, была в Чернышевском бессознательна, но только тягу эту уяснив, можно понять истинную подоплеку его странной теории. При этом он не разумел настоящей скрипичной сущности анапеста; не разумел и ямба, самого гибкого из всех размеров как раз в силу превращения ударений в удаления, в те ритмические удаления от метра, которые Чернышевскому казались беззаконными по семинарской памяти; не понимал, наконец, ритма русской прозы; естественно поэтому, что самый метод, им примененный, тут же отомстил ему: в приведенных им отрывках прозы он разделил количество слогов на количество ударений и получил тройку, а не двойку, которую, дескать, получил бы, будь двухдольник приличнее русскому языку; но он не учел главного: пэонов! ибо как раз в приведенных отрывках целые куски фраз звучат наподобие белого стиха, белой кости среди размеров, т. е. именно ямба!

Боюсь, что сапожник, заглянувший в мастерскую к Апеллесу, был скверный сапожник.

Так ли уж все обстоит благополучно с точки зрения математики в тех его специальных экономических трудах, разбор коих требует от исследователя почти сверхъестественной любознательности? Так ли глубоки его комментарии к Миллю (в которых он стремился перестроить некоторые теории «сообразно потребностям нового простонародного элемента мысли и жизни»). Все ли сапоги сшиты по мерке? Или одно лишь стариковское кокетство толкает его вспоминать промахи в логарифмических расчетах о действии земледельческих усовершенствований на урожай хлеба? Грустно, грустно все это. Нам вообще кажется, что материалисты его типа впадали в роковую ошибку: пренебрегая свойствами самой вещи, они все применяли свой сугубо вещественный метод лишь

к отношениям между предметами, а не к предмету самому, т. е. были, по существу, наивнейшими метафизиками как раз тогда, когда более всего хотели стоять на земле.

Некогда в юности у него было одно несчастное утро: зашел знакомый букинист-ходебщик, старый носатый Василий Трофимович, согбенный, как Баба Яга, под грузом огромного холщового мешка, полного запрещенных и полузапрещенных книг. Чужих языков не зная, едва умея складывать латинские литеры и дико, по-мужицки жирно произнося заглавия, он чутьем угадывал степень возмутительности того или другого немца. В то утро он продал Николаю Гавриловичу (оба присели на корточки подле груды книг) не разрезанного еще Фейербаха.

В те годы Андрея Ивановича Фейербаха предпочли Егору Федоровичу Гегелю. Homo feuerbachi[1] есть мыслящая мышца. Андрей Иванович находил, что человек отличается от обезьяны только своей точкой зрения; вряд ли, однако, он изучил обезьян. За ним полвека спустя Ленин опровергал теорию, что «земля есть сочетание человеческих ощущений», тем, что «земля существовала до человека», а к его торговому объявлению: «Мы теперь превращаем кантовскую непознаваемую вещь в себе в вещь для себя посредством органической химии» — серьезно добавлял, что «раз существовал ализарин в каменном угле без нашего ведома, то существуют вещи независимо от нашего познания». Совершенно так же Чернышевский объяснял: «Мы видим дерево; другой человек смотрит на этот же предмет. В глазах у него мы видим, что дерево изображается точь-в-точь такое же. Итак, мы все видим предметы как они действительно существуют». Во всем этом диком вздоре есть еще свой частный смешной завиток: постоянное у «материалистов» апеллирование к дереву особенно забавно тем, что все они плохо знают природу, в частности деревья. Тот осязаемый предмет, который «действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем» («Антропологический принцип в философии»), им просто неведом. Вот какая страшная отвлеченность получилась в конечном счете из «материализма»! Чернышевский не отличал плуга от сохи; путал

[1] Человек фейербахский *(лат.)*.

пиво с мадерой; не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы; но характерно, что это незнание ботаники сразу восполнял «общей мыслью», добавляя с убеждением невежды, что «они (цветы сибирской тайги) всё те же самые, какие цветут по всей России». Какое-то тайное возмездие было в том, что он, строивший свою философию на познании мира, которого сам не познал, теперь очутился, наг и одинок, среди дремучей, своеобразно роскошной, до конца еще не описанной природы северо-восточной Сибири: стихийная, мифологическая кара, не входившая в расчет его человеческих судей.

Еще недавно запах гоголевского Петрушки объясняли тем, что все существующее разумно. Но время задушевного русского гегелианства прошло. Властители дум понять не могли живительную истину Гегеля: истину, не стоячую, как мелкая вода, а, как кровь, струящуюся в самом процессе познания. Простак Фейербах был Чернышевскому больше по вкусу. Есть, однако, всегда опасность, что из космического или умозрительного одна буква выпадет; этой опасности Чернышевский не избежал, когда в статье «Общинное владение» стал оперировать соблазнительной гегелевской триадой, давая такие примеры, как: газообразность мира — тезис, а мягкость мозга — синтез, или, еще глупее: дубина, превращающаяся в штуцер. «В триаде, — говорит Страннолюбский, — кроется смутный образ окружности, — правящей всем мыслимым бытием, которое в ней заключено безвыходно. Это — карусель истины, ибо истина всегда круглая; следовательно, в развитии форм жизни возможна некоторая извинительная кривизна: горб истины; но не более».

«Философия» Чернышевского поднимается через Фейербаха к энциклопедистам. С другой же стороны, прикладное гегелианство, постепенно левея, шло через того же Фейербаха к Марксу, который в своем «Святом семействе» выражается так:

.......ума большого
не надобно, чтобы заметить связь
между ученьем материализма
о прирожденной склонности к добру,

о равенстве способностей людских,
способностей, которые обычно
зовутся умственными, о влиянье
на человека обстоятельств внешних,
о всемогущем опыте, о власти
привычки, воспитанья, о высоком
значении промышленности всей,
о праве нравственном на наслажденье —
и коммунизмом.

Перевожу стихами, чтобы не было так скучно.

Стеклов считает, что при всей своей гениальности Чернышевский не мог быть равен Марксу, по отношению к которому стоит-де как по отношению к Уатту — барнаульский мастеровой Ползунов. Сам Маркс («этот мелкий буржуа до мозга костей», по отзыву Бакунина, не терпевшего немцев) раза два сослался на «замечательные» труды Чернышевского, но оставил не одну презрительную заметку на полях главного экономического труда «дес гроссен руссишен гелертен» (русских вообще Маркс не жаловал). Чернышевский отплатил ему тем же. Уже в семидесятых годах он ко всему «новому» относился небрежно, неблагожелательно. Экономика, в частности, ему осточертела, перестав быть для него орудием борьбы и тем самым приобретя в его сознании вид пустой забавы, «чистой науки». Совершенно ошибочно Ляцкий — со свойственной многим страстью к навигационным аналогиям — сравнивает ссыльного Чернышевского с человеком, «глядящим с пустынного берега на плывущий мимо гигантский корабль (корабль Маркса), идущий открывать новые земли»; выражение, особенно неудачное ввиду того, что сам Чернышевский, словно предчувствуя аналогию и заранее опровергая ее, говорил о «Капитале» (посланном ему в 1872 году): «Просмотрел, да не читал, а отрывал листик за листиком, делал из них кораблики (разрядка моя) и пускал по Вилюю».

Ленин считал, что Чернышевский «единственный действительно великий писатель, который сумел с пятидесятых годов вплоть до 1888 (скостил ему один) остаться на уровне цельного философского материализма». Как-то

Крупская, обернувшись на ветру к Луначарскому, с мягкой грустью сказала ему: «Вряд ли кого-нибудь Владимир Ильич так любил... Я думаю, что между ним и Чернышевским было очень много общего». «Да, несомненно было общее, — добавляет Луначарский, сначала было отнесшийся к этому замечанию скептически. — Было общее и в ясности слога, и в подвижности речи... в широте и глубине суждений, в революционном пламени... В этом соединении огромного содержания и внешней скромности, и, наконец, в моральном облике обоих этих людей». Статью Чернышевского «Антропологический принцип в философии» Стеклов называет «первым философским манифестом русского коммунизма»; знаменательно, что этим первым манифестом был школьный пересказ, ребяческое суждение о труднейших моральных вопросах. «Европейская теория утилитаризма, — говорит Страннолюбский, несколько перефразируя Волынского, — явилась у Чернышевского в упрощенном, сбивчивом, карикатурном виде. Пренебрежительно и развязно судя о Шопенгауэре, под критическим ногтем которого его философия не прожила бы и секунды, он из всех прежних мыслителей, по странной ассоциации идей и ошибочным воспоминаниям, признает лишь Спинозу и Аристотеля, которого он думает, что продолжает».

Чернышевский сколачивал непрочные силлогизмы; отойдет, а силлогизм уже развалился, и торчат гвозди. Устраняя дуализм метафизический, он попался на дуализме гносеологическом, а беспечно приняв материю за причину первоначальную, запутался в понятиях, предполагающих нечто, создающее наше представление о внешнем мире вообще. Профессиональному философу Юркевичу было легко его разгромить. Юркевич все интересовался, как это, собственно говоря, пространственное движение нерва превращается в непространственное ощущение. Вместо ответа на обстоятельную статью бедного философа Чернышевский перепечатал в «Современнике» ровно треть ее (т. е. сколько дозволялось законом), оборвав на полслове, без всяких комментариев. Ему было решительно наплевать на мнения специалистов, и он не видел беды в незнании

подробностей разбираемого предмета: подробности были для него лишь аристократическим элементом в государстве наших общих понятий.

«Голова его думает над общечеловеческими вопросами... пока рука его исполняет черную работу», — писал он о своем «сознательном работнике» (и почему-то нам вспоминаются при этом те гравюры из старинных анатомических атласов, где с приятным лицом юноша, в непринужденной позе прислонившись к колонне, показывает образованному миру все свои внутренности). Но государственный строй, который должен был явиться синтезом в силлогизме, где тезисом была община, не столько походил на советскую Россию, сколько на страну утопистов. Мир Фурье, гармония двенадцати страстей, блаженство общежития, работники в розовых венках, — все это не могло не прийтись по вкусу Чернышевскому, искавшему всегда «связности». Помечтаем о фаланге, живущей во дворце: 1800 душ — и все веселы! Музыка, флаги, сдобные пироги. Миром правит математика, и правит толково; соответствие, которое Фурье устанавливал между нашими влечениями и Ньютоновым тяготением, особенно было пленительно и на всю жизнь определило отношение Чернышевского к Ньютону, — с яблоком которого нам приятно сравнить яблоко Фурье, стоившее коммивояжеру целых четырнадцать су в парижской ресторации, что Фурье навело на размышление об основном беспорядке индустриального механизма, точно так же, как Маркса привел к мысли о необходимости ознакомиться с экономическими проблемами вопрос о гномах-виноделах («мелких крестьянах») в долине Мозеля: грациозное зарождение грандиозных идей.

Отстаивая общинное землевладение с точки зрения большей легкости устройства на Руси ассоциаций, Чернышевский готов был согласиться на освобождение крестьян без земли, обладание коей повело бы в конце концов к новым тяготам. Искры брызнули из-под нашего пера на этой строке. Освобождение крестьян! Эпоха великих реформ! В порыве яркого предчувствия недаром молодой Чернышевский записал в дневнике в сорок восьмом году (год, кем-то прозванный «отдушиной века»): «А что, если

мы в самом деле живем во времена Цицерона и Цезаря, когда seculorum novus nascitur ordo[1], и является новый Мессия, и новая религия, и новый мир?..»

Дозволено курить на улицах. Можно не брить бороды. При всяком музыкальном случае жарят увертюру из «Вильгельма Телля». Ходят слухи, что столица переносится в Москву; что старый стиль календаря меняется на новый. Под этот шумок Россия деятельно готовит материал для немудреной, но сочной салтыковской сатиры. «Каким это новым духом повеяло, желал бы я знать, — говорил генерал Зубатов, — только лакеи стали грубить, а то все осталось по-старому». Помещикам и особливо помещицам снились страшные сны, в сонниках не указанные. Появилась новая ересь: нигилизм. «Безобразное и безнравственное учение, отвергающее все, чего нельзя ощупать», — содрогаясь, толкует Даль это странное слово (в котором «ничто» как бы соответствует «материи»). Лицам духовного звания было видение: по Невскому проспекту шагает громадный Чернышевский в широкополой шляпе, с дубиной в руках.

А первый рескрипт на имя виленского губернатора Назимова! А подпись государева, красивая, крепкая, с двумя полнокровно-могучими росчерками вверху и внизу, впоследствии оторванными бомбой! А восторг самого Николая Гавриловича: «Благословение, обещанное миротворцам и кротким, увенчивает Александра Второго счастьем, каким не был увенчан никто еще из государей Европы...»

Но уже вскоре после образования губернских комитетов пыл его охлаждается: его возмущает дворянское своекорыстие большинства из них. Окончательное разочарование наступает во второй половине 58-го года. Величина выкупной суммы! Малость надельной земли! Тон «Современника» становится резким, откровенным; словцо «гнусно», «гнусность» начинает приятно оживлять страницы этого скучноватого журнала.

Жизнь его руководителя событиями бедна. Публика долго лица его не знала. Его нигде не видать. Уже знаменитый, он как бы остается за кулисами своей деятельной, говорливой мысли.

---

[1] Рождается новый порядок веков *(лат.)*.

Всегда, по тогдашнему обычаю, в халате (закапанном даже сзади стеарином), он сидел день-деньской в своем маленьком кабинете с синими обоями, здоровыми для глаз, с окном во двор (вид на поленницы, покрытые снегом), у большого стола, заваленного книгами, корректурами, вырезками. Работал так лихорадочно, так много курил, так мало спал, что впечатление производил страшноватое: тощий, нервный, взгляд зараз слепой и сверлящий, отрывистая, рассеянная речь, руки трясутся (зато никогда не страдал головной болью и наивно гордился этим, как признаком здравого ума). Способность работать была у него чудовищная, как, впрочем, у большинства русских критиков прошлого века. Секретарю Студентскому, бывшему саратовскому семинаристу, он диктовал перевод истории Шлоссера, а в промежутки, пока тот записывал фразу, писал сам статью для «Современника» или читал что-нибудь, делая на полях пометки. Ему мешали посетители. Не умея избавиться от докучного гостя, он, к собственному озлоблению, все более ввязывался в беседу. Прислонившись к камину и что-нибудь теребя, он говорил звонким, пискливым голосом, а ежели думал о другом, тянул что-то однообразное, с прожевкой, с обильными: ну-с, да-с. У него был особенный тихий смешок (Толстого Льва бросавший в пот), но когда хохотал, то закатывался и ревел оглушительно (издали заслышав эти рулады, Тургенев убегал).

Такие средства познания, как диалектический материализм, необыкновенно напоминают недобросовестные рекламы патентованных снадобий, врачующих сразу все болезни. Случается все же, что такое средство помогает при насморке. Есть, есть классовый душок в отношении к Чернышевскому русских писателей, современных ему. Тургенев, Григорович, Толстой называли его «клоповоняющим господином», всячески между собой над ним измываясь. Как-то в Спасском первые двое, вместе с Боткиным и Дружининым, сочинили и разыграли домашний фарс. В сцене, где горит постель, врывался Тургенев с криком... общими дружескими усилиями его уговорили произнести приписываемые ему слова, которыми в молодости он однажды будто бы обмолвился во время пожара на корабле:

«Спасите, спасите, я единственный сын у матери». Из этого фарса вполне бездарный Григорович впоследствии сделал свою (вполне плоскую) «Школу гостеприимства», наделив одно из лиц, желчного литератора Чернушина, чертами Николая Гавриловича: кротовые глаза, смотревшие как-то вбок, узкие губы, приплюснутое, скомканное лицо, рыжеватые волосы, взбитые на левом виске, и эвфемический запас пережженного рома. Любопытно, что пресловутый взвизг («Спасите» и т. д.) дан как раз Чернушину, чем поощряется мысль Страннолюбского о какой-то мистической связи между Чернышевским и Тургеневым. «Я прочел его отвратительную книгу (диссертацию), — пишет последний в письме к товарищам по насмешке. — Рака! Рака! Рака! Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете». «Из этого “рака”, — суеверно замечает биограф, — получился семь лет спустя Ракеев (жандармский полковник, арестовавший прóклятого), а самое письмо было Тургеневым написано как раз 12 июля в день рождения Чернышевского...» (нам кажется, что Страннолюбский перебарщивает).

В тот же год появился «Рудин», но напал на него Чернышевский (за карикатурное изображение Бакунина) только в 60-м году, когда Тургенев уже был не нужен «Современнику», который он покинул из-за добролюбовского змеиного шипка на «Накануне». Толстой не выносил нашего героя: «Его так и слышишь, — писал он о нем, — тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности... и возмущается в своем уголке, покуда никто не сказал цыц и не посмотрел в глаза». «Аристократы становились грубыми хамами, — замечает по этому поводу Стеклов, — когда заговаривали с нисшими или о нисших по общественному положению». «Нисший», впрочем, не оставался в долгу и, зная, как Тургеневу дорого всякое словечко против Толстого, щедро говорил о «пошлости и хвастовстве» последнего, «хвастовстве бестолкового павлина своим хвостом, не прикрывающим его пошлой задницы» и т. д. «Вы не какой-нибудь Островский или Толстой, — добавлял Николай Гаврилович, — вы наша честь» (а «Рудин» уже вышел, — два года как вышел).

Журналы по мере сил теребили его. Дудышкин («Отечественные Записки») обиженно направлял на него свою тростниковую дудочку: «Поэзия для вас — главы политической экономии, переложенные на стихи». Недоброжелатели мистического толка говорили о «прелести» Чернышевского, о его физическом сходстве с бесом (напр., проф. Костомаров). Другие, попроще, как Благосветлов (считавший себя франтом и державший, несмотря на радикализм, настоящего, неподкрашенного арапа в казачках), говорили о его грязных калошах и пономарско-немецком стиле. Некрасов с вялой улыбкой заступался за «дельного малого» (им же привлеченного к журналу), признавая, что тот успел наложить на «Современник» печать однообразия, набивая его бездарными повестями о взятках и доносами на квартальных; но он хвалил помощника за плодотворный труд: благодаря ему в 58-м году журнал имел 4700 подписчиков, а через три года — 7000. С Некрасовым Николай Гаврилович был дружен, но не более; есть намек на какие-то денежные расчеты, которыми он остался недоволен. В 83-м году, чтобы старика развлечь, Пыпин предложил ему написать «портреты прошлого». Свою первую встречу с Некрасовым Чернышевский изобразил со знакомыми нам дотошностью и кропотливостью (дав сложную схему всех взаимных передвижений по комнате, чуть ли не с числом шагов), звучащими каким-то оскорблением, наносимым честно поработавшему времени, ежели представить себе, что со дня этих маневров прошло тридцать лет. Как поэта он ставил Некрасова выше всех (и Пушкина, и Лермонтова, и Кольцова). У Ленина «Травиата» исторгала рыдания; так и Чернышевский признавался, что поэзия сердца все же милее ему поэзии мысли, и обливался слезами над иными стихами Некрасова (даже ямбами!), высказывающими все, что он сам испытал, все терзания его молодости, все фазы его любви к жене. И то сказать: пятистопный ямб Некрасова особенно чарует нас своей увещевательной, просительной, пророчущей силой и этой своеродной цезурой на второй стопе, цезурой, которая у Пушкина, скажем, является в смысле п е н и я стиха органом рудиментарным, но которая у Некрасова становится действительно органом дыхания, словно из перегородки она превратилась в провал

или словно обе части строки растянулись, так что после второй стопы образовался промежуток, полный музыки. Вслушиваясь в эти впалые строки, в этот гортанный, рыдающий говорок: «Не говори, что дни твои унылы, тюремщиком больного не зови: передо мной холодный мрак могилы, перед тобой — объятия любви! Я знаю, ты другого полюбила, щадить и ждать, — (слышите клекот!), — наскучило тебе... О погоди! близка моя могила...», — вслушиваясь в это, Чернышевский не мог не думать о том, что напрасно жена торопится ему изменять, а близостью могилы была та тень крепости, которая уже протягивалась к нему. Мало того: по-видимому, чувствовал это, — не в разумном, а орфеическом смысле, — и поэт, написавший эти строки, ибо именно их ритм («Не говори...») со странной навязчивостью перекликается с ритмом стихов, впоследствии посвященных им Чернышевскому: «Не говори, забыл он осторожность, он будет сам судьбы своей виной» и т. д.

Звуки Некрасова были, таким образом, милы Чернышевскому, т. е. как раз удовлетворяли его незамысловатой эстетике, за которую он всю жизнь принимал собственную обстоятельную сентиментальность. Описав большой круг, вобрав многое, касавшееся отношения Чернышевского к разным отраслям познания, но все же ни на минуту не портя плавной кривой, мы теперь с новыми силами вернулись к его эстетике. Пора теперь подвести ей итог.

Подобно всем остальным нашим критикам-радикалам, падким на легкую поживу, он не селадонничал с пишущими дамами, энергично разделываясь с Евдокией Растопчиной или Авдотьей Глинкой. Неправильный, небрежный лепет не трогал его. Оба они, и Чернышевский и Добролюбов, с аппетитом терзали литературных кокеток, — но в жизни... одним словом, смотри, что с ними делали, как скручивали и мучили их, хохоча (так хохочут русалки на речках, протекающих невдалеке от скитов и прочих мест спасения), дочки доктора Васильева.

Вкусы его были вполне добротны. Его эпатировал Гюго. Ему импонировал Суинберн (что совсем не странно, если вдуматься). В списке книг, прочитанных им в крепости, фамилия Флобера написана по-французски через «о», — и действительно, он его ставил ниже Захер-Мазоха

и Шпильгагена. Он любил Беранже, как его любили средние французы. «Помилуйте, — восклицает Стеклов, — вы говорите, что этот человек был не поэтичен? Да знаете ли вы, что он со слезами восторга декламировал Беранже и Рылеева!» Его вкусы только окаменели в Сибири, — и по странной деликатности исторической судьбы, Россия за двадцать лет его изгнания не произвела (до Чехова) ни одного настоящего писателя, начала которого он не видел воочию в деятельный период жизни. Из разговоров с ним в Астрахани выясняется: «Да-с, графский-то титул и сделал из Толстого великого-писателя-земли-русской»; когда же к нему приставали, кто же лучший современный беллетрист, то он называл Максима Белинского.

Юношей он записал в дневнике: «Политическая литература — высшая литература». Впоследствии, пространно рассуждая о Белинском (Виссарионе, конечно), о котором распространяться, собственно, не полагалось, он ему следовал, говоря, что «литература не может не быть служительницей того или иного направления идей» и что писатели «неспособные искренне одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг нас... великого ничего не произведут ни в каком случае», ибо «история не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеей прекрасного». Тому же Белинскому, полагавшему, что «Жорж Занд безусловно может входить в реестр имен европейских поэтов, тогда как помещение рядом имен Гоголя, Гомера и Шекспира оскорбляет и приличие, и здравый смысл» и что «не только Сервантес, Вальтер Скотт, Купер, как художники по преимуществу, но и Свифт, Стерн, Вольтер, Руссо имеют несравненно, неизмеримо высшее значение во всей исторической литературе, чем Гоголь», Чернышевский вторил тридцать лет спустя (когда, правда, Жорж Занд поднялась уже на чердак, а Купер спустился в детскую), говоря, что «Гоголь фигура очень мелкая, сравнительно, например, с Диккенсом, или Фильдом, или Стерном».

Бедный Гоголь! Его возглас (как и пушкинский) «Русь!» охотно повторяется шестидесятниками, но уже для тройки нужны шоссейные дороги, ибо даже русская тоска стала утилитарной. Бедный Гоголь! Чтя семинариста в Надеждине

(писавшем литературу через три «т»), Чернышевский находил, что влияние его на Гоголя было бы благотворней влияния Пушкина, и сожалел, что Гоголь не знал таких вещей, как принцип. Бедный Гоголь! Вот и отец Матвей, этот мрачный забавник, тоже заклинал его от Пушкина отречься...

Счастливее оказался Лермонтов. Его проза исторгла у Белинского (имевшего слабость к завоеваниям техники) неожиданное и премилое сравнение Печорина с паровозом, сокрушающим неосторожно попадающихся под его колеса. В его стихах разночинцы почуяли то, что позже стало называться «надсоновщиной». В этом смысле Лермонтов — первый Надсон русской литературы. Ритм, тон, бледный, слезами разбавленный стих гражданских мотивов до «Вы жертвою пали» включительно, — все это пошло от таких лермонтовских строк, как: «Прощай, наш товарищ, недолго ты жил, певец с голубыми очами, лишь крест деревянный себе заслужил да вечную память меж нами». Очарование Лермонтова, даль его поэзии, райская ее живописность и прозрачный привкус неба во влажном стихе — были, конечно, совершенно недоступны пониманию людей склада Чернышевского.

Мы теперь подходим к его самому уязвимому месту; ибо так уже повелось, что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину. Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны: можете раскритиковать Пушкина за любые измены его взыскательной музе и сохранить при этом и талант свой и честь. Браните же его за шестистопную строчку, вкравшуюся в пятистопность «Бориса Годунова», за метрическую погрешность в начале «Пира во время чумы», за пятикратное повторение слова «поминутно» в нескольких строках «Мятели», но, ради Бога, бросьте посторонние разговоры.

Страннолюбский проницательно сравнивает критические высказывания шестидесятых годов о Пушкине с отношением к нему шефа жандармов Бенкендорфа или управляющего Третьим отделением фон Фока. Действительно,

у Чернышевского, так же как у Николая I или Белинского, высшая похвала литератору была: дельно. Когда Чернышевский или Писарев называли пушкинские стихи «вздором и роскошью», то они только повторяли Толмачева, автора «Военного красноречия», в тридцатых годах сказавшего о том же предмете: «Пустяки и побрякушки». Говоря, что Пушкин был «только слабым подражателем Байрона», Чернышевский чудовищно точно воспроизводил фразу графа Воронцова: «Слабый подражатель лорда Байрона». Излюбленная мысль Добролюбова, что «у Пушкина недостаток прочного, глубокого образования», — дружеское аукание с замечанием того же Воронцова: «Нельзя быть истинным поэтом, не работая постоянно для расширения своих познаний, а их у него недостаточно». «Для гения недостаточно смастерить Евгения Онегина», — писал Надеждин, сравнивая Пушкина с портным, изобретателем жилетных узоров, и заключая умственный союз с Уваровым, министром народного просвещения, сказавшим по случаю смерти Пушкина: «Писать стишки не значит еще проходить великое поприще».

Для Чернышевского гений был здравый смысл. Если Пушкин был гений, рассуждал он, дивясь, то как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это уже не «отделка», а черная работа. Ведь здравый смысл высказывается сразу, ибо з н а е т, что хочет сказать. При этом, как человек, творчеству до смешного чуждый, он полагал, что «отделка» происходит «на бумаге», а «настоящая работа», т. е. составление общего плана — «в уме», — признак того опасного дуализма, той трещины в его «материализме», откуда выползла не одна змея, в жизни ужалившая его. Своеобразность Пушкина вообще внушала ему серьезные опасения. «Поэтические произведения хороши тогда, когда, прочитав их, к а ж д ы й (разрядка моя) говорит: да, это не только правдоподобно, но иначе и быть не могло, потому что всегда так бывает».

Пушкина нет в списке книг, доставленных Чернышевскому в крепость, да и немудрено: несмотря на заслуги Пушкина («изобрел русскую поэзию и приучил общество ее читать»), это все-таки был прежде всего сочинитель остреньких стишков о ножках (причем «ножки» в интонации

шестидесятых годов — когда вся природа омещанилась, превратившись в «травку» и «пичужек», — уже значило не то, что разумел Пушкин, — а скорее немецкое «фюсхен»). Особенно возмутительным казалось ему (как и Белинскому), что Пушкин стал так «бесстрастен» к концу жизни. «Прекратились те приятельские отношения, памятником которых осталось стихотворение “Арион”», — вскользь поясняет Чернышевский, но как полно было священного значения это вскользь для читателя «Современника» (которого мы вдруг представили себе рассеянно и жадно кусающим яблоко, — переносящим на яблоко жадность чтения и опять глазами рвущим строки). Поэтому Николая Гавриловича немало, должно быть, раздражала, как лукавый намек, как посягательство на гражданские лавры, которых производитель «пошлой болтовни» (его отзыв о «Стамбул гяуры нынче славят») был недостоин, авторская ремарка в предпоследней сцене «Бориса Годунова»: «Пушкин идет, окруженный народом».

«Перечитывая самые бранчивые критики, — писал както Пушкин осенью, в Болдине, — я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать; кажется, если бы я хотел над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать без всякого замечания». Да ведь именно это и сделал Чернышевский со статьей Юркевича: карикатурное повторение! И вот, «кружащаяся пылинка попала в пушкинский луч, проникающий между штор русской критической мысли», по образному и злому выражению биографа. Мы имеем в виду следующую магическую гамму судьбы: в саратовском дневнике Чернышевский применил к своему жениховству цитату из «Египетских Ночей», с характерным для него, бесслухого, искажением и невозможным заключительным слогом: «Я принял вызов наслаждения, как вызов битвы принял бы». За это «бы» судьба, союзница муз (сама знающая толк в этой частице), ему и отомстила, — да с какой изощренной незаметностью в нарастании кары! Казалось, какое имеет отношение к этой злосчастной цитате замечание Чернышевского (в 62-м году), что: «Если бы человек мог все свои мысли, касающиеся общественных

дел, заявлять в... собраниях, ему бы незачем делать из них журнальных статей»? Однако Немезида здесь уже просыпается. «Вместо того, чтобы писать, он бы говорил, — продолжает Чернышевский, — а если мысли эти должны быть известны всем, не принимавшим участия в собрании, их бы записал стенограф». И развивается возмездие: в Сибири, где одни лиственницы да якуты слушали его, ему не давал покоя образ «эстрады» и «залы», в которой так удобно собрана, так отзывчиво зыблется публика, ибо в конце концов он, как пушкинский импровизатор (с поправкой на «бы»), профессией своей — а потом несбыточным идеалом — избрал рассуждения на заданную тему; на самом закате жизни он сочиняет произведение, в котором мечту воплощает: из Астрахани, незадолго до смерти, он отправляет Лаврову свои «Вечера у княгини Старобельской» для «Русской Мысли» (не нашедшей возможным их напечатать), а затем посылает «Вставку» — прямо в типографию: «К тому месту, где говорится, что общество перешло из столового салона в салон, приготовленный для слушания сказки Вязовского, и описывается устройство этой аудитории... распределение стенографов и стенографисток на два отдела по двум столам или не обозначено там, или обозначено неудовлетворительно. В моей черновой рукописи это место читается так: “По сторонам эстрады стояли два стола для стенографов... Вязовский подошел к стенографам, пожал им руки и разговаривал с ними, пока общество выбирало места”. Те строки беловой рукописи, которые по смыслу соответствуют цитируемому мною месту черновой, должны быть заменены следующими строками: “Мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен за последними стульями; музыканты со своими пюпитрами занимали обе стороны подмостков... Импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон — —”». Виноват, виноват, мы тут всё спутали, — подвернулась выписка из «Египетских Ночей». Восстановим: «Между эстрадой и передним полукругом аудитории, — (пишет Чернышевский в н е с у щ е с т в у ю щ у ю типографию), — несколько правее и левее эстрады, стояли два стола; за тем, который был налево перед эстрадой, если смотреть из середины полукругов к эстраде...» и т. д.

и т. д. — еще много слов в таком же роде, все равно не выражающих ничего.

«Вот вам тема, — сказал ему Чарский: — поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением».

Автора далеко завели раскат и обращение пушкинской идеи в жизни Чернышевского; между тем новый герой, имя которого два-три раза нетерпеливо пробивалось в нашу речь, ждет своего выхода. Теперь как раз пора ему появиться, — и вот он подходит, в наглухо застегнутом, форменном сюртуке с синим воротом, разящий честностью, нескладный, с маленькими близорукими глазами и жидковатыми бакенбардами (barbe en collier[1], которая Флоберу казалась столь симптоматичной); подает руку выездом, т. е. странно суя ее вперед с оттопыренным большим пальцем, и представляется простуженно-конфиденциальным баском: Добролюбов.

Их первую встречу (летом 56-го года) Чернышевский спустя чуть ли не тридцать лет (когда писал и о Некрасове) вспоминал со знакомой нам уже детальностью — в сущности, болезненной и бессильной, но долженствующей оттенить безупречность мысли в сделках со временем. Дружба соединила этих двух людей вензельной связью, которую сто веков не способны распутать (напротив: она лишь укрепляется в сознании потомков). Тут не место распространяться о литературной деятельности младшего. Скажем только, что он был топорно груб и топорно наивен; что в «Свистке» он вышучивал Пирогова, пародируя Лермонтова (вообще пользование канвой лермонтовских стихов для шуток было так в ходу, что в конце концов становилось карикатурой на самое искусство пародии); скажем еще, что, по выражению Страннолюбского, «от толчка, данного Добролюбовым, литература покатилась по наклонной плоскости с тем неизбежным окончанием, когда, докатившись до нуля, она берется в кавычки: студент привез “литературу”». Что еще сказать? Юмор Добролюбова? О, благословенные времена, когда «комар» был с а м п о с е б е смешон, комар, севший на нос, смешнее вдвое, а комар, влетевший в присутствен-

[1] «Голландская» бородка *(фр.)*.

ное место и укусивший столоначальника, заставлял слушателей стонать и корчиться от смеха!

Гораздо занимательнее тупой и тяжеловесной критики Добролюбова (вся эта плеяда радикальных литераторов писала, в сущности, н о г а м и) та легкомысленная сторона его жизни, та лихорадочная романтическая игривость, которая впоследствии послужила Чернышевскому материалом для изображения «любовных интриг» Левицкого (в «Прологе»). Добролюбов был чрезвычайно влюбчив (пускай тут мелькнет: дуется в дурачки с генералом, не простым, со звездой: влюблен в его дочку). У него была немка в Старой Руссе, крепкая, тягостная связь. От поездки к ней Чернышевский удерживал его в полном смысле слова: долго боролись, оба вялые, тощие, потные, — шлепались об пол, о мебель, — все это молча, только слышно сопение; потом, тыкаясь друг в друга, оба искали под опрокинутыми стульями очки. В начале 59-го года до Николая Гавриловича дошла сплетня, что Добролюбов (совсем как Дантес), дабы прикрыть свою «интригу» с Ольгой Сократовной, хочет жениться на ее сестре (имевшей, впрочем, жениха). Обе безбожно Добролюбова разыгрывали; возили на маскарад переодетого капуцином или мороженником, поверяли ему свои тайны. Прогулки с Ольгой Сократовной «совершенно помутили» его. «Я знаю, что тут ничего нельзя добиться, — писал он приятелю, — потому что ни один разговор не обходится без того, что хотя человек я и хороший, но уж слишком неуклюж и почти противен. Я понимаю, что я и не должен ничего добиваться, потому что Николай Гаврилович все-таки мне дороже ее. Но в то же время я не имел сил отстать от нее». Когда сплетня дошла, Николай Гаврилович, не обольщавшийся насчет скромности жены, все же почувствовал обиду: измена была двойная; у него произошло с Добролюбовым откровенное объяснение, а вскоре после этого он уехал в Лондон «ломать Герцена» (как впоследствии выразился), т. е. дать ему нагоняй за нападки в «Колоколе» на того же Добролюбова.

Быть может, впрочем, целью этого свидания было не одно только заступничество за друга: именем Добролюбова, особенно потом, в связи с его смертью, Чернышевский

орудовал весьма умело «в порядке революционной тактики». По иным донесениям из прошлого, он посетил Герцена главным образом для того, чтобы переговорить об издании «Современника» за границей: все предчувствовали, что его скоро закроют. Но вообще этот вояж окружен такой дымкой и так мало следа оставил в писаниях Чернышевского, что хочется, вопреки факту, счесть его за апокриф. Он, всю жизнь занимавшийся Англией, питавший душу Диккенсом и разум «Таймсом», как бы он должен был захлебнуться, как много набрать впечатлений, как настойчиво потом сворачивать на это воспоминание! Чернышевский, однако, о своей поездке никогда потом не говорил, а если уж очень приставали, отвечал кратко: «Да что там много рассказывать, — туман был, качало, ну что еще может быть?» Таким образом, сама жизнь (в который раз) опровергла его же аксиому: «Осязаемый предмет действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем».

Как бы то ни было, 26 июня 1859 года Чернышевский прибыл в Лондон (все думали, что он в Саратове) и оставался там до 30-го. Среди тумана этих четырех дней пробивается косой луч: Тучкова-Огарева идет через зал в солнечный сад, неся на руках годовалую дочку в кружевной пелериночке. По залу (действие происходит в Патнэй, у Герцена) ходит взад и вперед с Александром Ивановичем (тогда были очень приняты эти комнатные прогулки) среднего роста господин, с лицом некрасивым, «но озаренным удивительным выражением самоотверженности и покорности судьбе» (что было, вернее всего, лишь игрою памяти мемуаристки, вспоминавшей это лицо сквозь призму судьбы, уже свершившейся). Герцен познакомил ее со своим собеседником. Чернышевский погладил ребенка по волосам и проговорил своим тихим голосом: «У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу» (он путал имена своих детей: в Саратове находился его маленький Виктор, вскоре там умерший, ибо судьба детей таких описок не прощает, — а он посылал поцелуй «Сашурке», который уже вернулся к нему). «Поздоровайся, подай рученьку», — скороговоркой произнес Герцен и потом сразу стал отвечать на что-то, сказанное до того Чернышевским: «...ну да, —

вот и посылали их в рудники»; а Тучкова проплыла в сад, и косой луч погас навеки.

Диабет и нефрит в придачу к туберкулезу вскоре доконали Добролюбова. Он умирал позднею осенью, в 61-м году; Чернышевский навещал его ежедневно, а от него шел по своим, удивительно скрытым от слежки, заговорщицким делам. Принято считать, что прокламация «К барским крестьянам» написана нашим героем. «Разговоров было мало», — вспоминает Шелгунов (писавший «К солдатам»); и, по-видимому, даже Владислав Костомаров, печатавший эти воззвания, не знал с полной достоверностью об авторстве Чернышевского. По слогу они очень напоминают растопчинские ернические афишки: «Так вот она какая, в исправду-то воля бывает... — («мужицкий надрыв»!) — И чтобы суд был правдивый и ровный всем был бы суд... Что толку-то, если в одном селе булгу поднять». Ежели это и писал Чернышевский — «булга», кстати, волжское слово, — то во всяком случае кто-то другой подсластил.

По сведениям народовольческим, Чернышевский в июле 61-го года предложил Слепцову и его друзьям организовать основную пятерку — ядро «подземного» общества. Система этих пятерок, потом вошедших в «Землю и Волю», состояла в том, что член каждой набирал, кроме того, свою, зная, таким образом, только восемь лиц. Всех членов знал только центр. Всех членов знал Чернышевский. Нам кажется, что тут есть некоторая стилизация.

Но повторяем: он был безупречно осторожен. После студенческих беспорядков в октябре 61-го года надзор за ним установился постоянный, но работа сыщиков не отличалась тонкостью: у Николая Гавриловича служила в кухарках жена швейцара, рослая, румяная старуха с несколько неожиданным именем: Муза. Ее без труда подкупили — пятирублевкой на кофе, до которого она была весьма лакома. За это Муза доставляла содержание мусорной корзины. Зря.

Между тем 17 ноября 1861 г., имея двадцать пять лет от роду, Добролюбов скончался. Его хоронили на Волковом кладбище, «в простом дубовом гробу» (гроб в таких случаях всегда прост), рядом с Белинским. «Вдруг вышел энергичный бритый господин», — вспоминает очевидец

(внешность Чернышевского была все еще мало известна), и так как народу собралось немного и это его раздражало, он поговорил об этом с обстоятельной иронией. Покамест он говорил, Ольга Сократовна сотрясалась от плача, опираясь на руку одного из заботливых студентов, всегда бывших при ней; другой же держал, кроме своей фуражки, енотовую шапку самого, который, в распахнутой шубе — несмотря на мороз, — вынул тетрадь и сердитым наставительным голосом стал читать по ней земляные стихи Добролюбова о честности и смерти; сиял иней на березах; а немного в сторонке, рядом с дряхлой матерью одного из могильщиков, смиренно стоял в новых валенках агент Третьего отделения. «Да-с, — закончил Чернышевский, — тут дело не в том, господа, что цензура, кромсавшая его статьи, довела Добролюбова до болезни почек. Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби. Честность — вот была его смертельная болезнь», — и свернутой в трубку тетрадью указав третье, свободное, место, Чернышевский воскликнул: «Нет для него человека в России!» (был: это место вскоре затем занял Писарев).

Трудно отделаться от впечатления, что Чернышевский, в юности мечтавший предводительствовать в народном восстании, теперь наслаждался разреженным воздухом опасности, окружавшим его. Эту значительность в тайной жизни страны он приобрел неизбежно, с согласия своего века, семейное сходство с которым он сам в себе ощущал. Теперь, казалось, ему необходим лишь день, лишь час исторического везения, мгновенного, страстного союза случая с судьбой, чтобы взвиться. Революция ожидалась в 63-м году, и в списке будущего конституционного министерства он значился премьер-министром. Как он берег в себе этот драгоценный жар! Таинственное «что-то», о котором, вопреки своему «марксизму», говорит Стеклов и которое в Сибири угасло (хотя и «ученость», и «логика», и даже «непримиримость» остались), несомненно было в Чернышевском и проявилось с необыкновенной силой перед самой каторгой. Притягивающее и опасное, оно-то и пугало правительство пуще всех прокламаций. «Эта

бешеная шайка жаждет крови, ужасов, — взволнованно говорилось в доносах, — избавьте нас от Чернышевского...»

«Безлюдие... Россыпи гор... Тьма озер и болот... Недостаток в самых необходимейших вещах... Неисправность почтосодержателей... (Все это) утомляет и гениальное терпение» (так в «Современнике» он выписывал из книги географа Сельского о Якутской области, — думая кое о чем, предполагая кое-что, — быть может, предчувствуя).

В России цензурное ведомство возникло раньше литературы; всегда чувствовалось его роковое старшинство: так и подмывало по нему щелкнуть. Деятельность Чернышевского в «Современнике» превратилась в сладострастное издевательство над цензурой, представляющей собой и впрямь одно из замечательнейших отечественных учреждений наших. И вот, в то время когда власти опасались, например, что «под музыкальными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения», а посему поручали специальным лицам за хороший оклад заняться расшифровыванием нот, Чернышевский в своем журнале, под прикрытием кропотливого шутовства, делал бешеную рекламу Фейербаху. Когда в статьях о Гарибальди или Кавуре (страшно представить себе, сколько саженей мелкой печати этот неутомимый человек перевел из «Таймса»), в комментариях к итальянским событиям он с долбящим упорством ставил в скобках чуть ли не после каждой второй фразы: Италия, в Италии, я говорю об Италии, — развращенный уже читатель знал, что речь о России и крестьянском вопросе. Или еще: он делал вид, что несет что попало, ради одной пустой и темной болтовни, — но в полосах и пятнах слов, в словесном камуфляже вдруг проскакивала нужная мысль. Впоследствии для сведения Третьего отделения была тщательно составлена Владиславом Костомаровым вся гамма этого «буффонства»; работа — подлая, но по существу верно передающая «специальные приемы Чернышевского».

Другой Костомаров, профессор, где-то говорит, что Чернышевский играл в шахматы мастерски. На самом-то деле ни Костомаров, ни Чернышевский ничего в шахматах не смыслили. В юности, правда, Николай Гаврилович как-то купил шахматы, пытался даже осилить руководство,

кое-как научился ходам, довольно долго возился с этим (возню обстоятельно записывая) и наконец, наскуча пустой забавой, всё отдал приятелю. Пятнадцать лет спустя (помня, что Лессинг с Мендельсоном сошелся за шахматной доской) он основал Шах-клуб, который был открыт в январе 62-го года, просуществовал весну, постепенно хирея, и сам бы угас, если б не был закрыт в связи с «петербургскими пожарами». Это был просто литературно-политический кружок, помещавшийся в доме Руадзе. Чернышевский приходил, садился за столик и, пристукивая ладьей (которую называл «пушкой»), рассказывал невинные анекдоты. Приходил Серно-Соловьевич — (тургеневское тире) и в уединенном углу заводил с кем-нибудь беседу. Было довольно пусто. Пьющая братия — Помяловский, Курочкин, Кроль — горланила в буфете. Первый, впрочем, кое-что проповедовал и свое: идею общинного литературного труда, — организовать, мол, общество писателей-тружеников для исследования разных сторон нашего общественного быта, как-то: нищие, мелочные лавки, фонарщики, пожарные — и все добытые сведения помещать в особом журнале. Чернышевский его высмеял, и пошел вздорный слух, что Помяловский «бил ему морду». «Это вранье, я слишком вас уважаю для этого», — писал к нему Помяловский.

В зале того же Руадзе, 2 марта 62-го года, состоялось первое (ежели не считать защиты диссертации и надгробной речи на морозе) публичное выступление Чернышевского. Официально выручка с вечера шла недостаточным студентам; на самом же деле он был в пользу политических заключенных Михайлова и Обручева, недавно взятых. Рубинштейн с блеском исполнил весьма возбудительный марш, профессор Павлов говорил о тысячелетии Руси, — причем двусмысленно сказал, что если правительство остановится на первом шаге (освобождение крестьян), «то оно остановится на краю пропасти, — имяяй уши слышати, да слышит» (его услышали, он был немедленно выслан). Некрасов прочел скверные, но «сильные» стихи, посвященные памяти Добролюбова, а Курочкин — перевод «Птички» Беранже (томление узницы и восторг внезапной свободы); о Добролюбове говорил и Чернышевский.

Встреченный крупными рукоплесканиями (у молодежи в те годы было принято держать ладони вогнутыми при хлопании, так что получалось подобие пушечной пальбы), он некоторое время стоял, мигая и улыбаясь. Увы, его наружность не понравилась дамам, жадно ждавшим трибуна, — портретов которого было не достать. Неинтересное, дескать, лицо, прическа а-ля мужик, и почему-то не фрак, а жакетка с тесьмой и ужасный галстук — «катастрофа красок» (Рыжкова, «Записки шестидесятницы»). Кроме того, он как-то не подготовился, ораторствовать ему было внове, и, стараясь скрыть ажитацию, он взял разговорный тон, который его друзьям показался слишком скромным, а недоброжелателям — слишком развязным. Он сначала поговорил о своем портфеле, из которого вынул тетрадь, объясняя, что его замечательнейшая часть — замок с зубчатым колесиком: «Вот-с, извольте видеть, оно повертывается, и портфель заперт, а если хотите запереть еще безусловнее, оно повертывается другим манером и тогда снимается и кладется в карман, а на том месте, где оно было, на пластинке, вырезаны арабески: очень, очень мило». Затем, тонким, назидательным голосом, он принялся читать всем знакомую добролюбовскую статью, но вдруг оборвал и (как в авторских отклонениях в «Что делать?»), обращаясь с публикой запанибрата, стал чрезвычайно подробно объяснять, что Добролюбовым он-де не руководил; при этом не переставая играл часовой цепочкой, — это влепилось в память всех мемуаристов и тогда же послужило темой журнальным зубоскалам; но, как подумаешь, он, быть может, потому часы теребил, что свободного времени у него и впрямь оставалось немного (всего четыре месяца!). Его тон, «неглиже с отвагой», как говорили в семинарии, и полное отсутствие революционных намеков публику покоробили; он не имел никакого успеха, между тем как Павлова чуть ли не качали. Николадзе замечает, что тотчас по высылке Павлова друзья поняли и оценили осторожность Чернышевского; сам-то он — впоследствии, в своей сибирской пустыне, где только в бреду ему иногда являлась живая и жадная аудитория, — пронзительно жалел о вялости, о фиаско, пеняя на себя, что не ухватился за тот единственный случай (раз все равно был обречен на гибель!)

и с кафедры в зале Руадзе не сказал железной и жгучей речи, той самой речи, которую герой его романа собирался, верно, сказать, когда, по возвращении на волю, сел в пролетку и крикнул: «В Пассаж!»

А события шибко пошли той ветреной весной. Пожары! И вдруг, — на этом оранжево-черном фоне — видение: бегом, держась за шляпу, несется Достоевский: куда?

Духов день (28 мая 1862 г.), дует сильный ветер; пожар начался на Лиговке, а затем мазурики подожгли Апраксин Двор. Бежит Достоевский, мчатся пожарные, «и на окнах аптек в разноцветных шарах вверх ногами на миг отразились». А там густой дым повалил через Фонтанку по направлению к Чернышеву переулку, откуда вскоре поднялся новый черный столб... Между тем Достоевский прибежал. Прибежал к сердцу черноты, к Чернышевскому, и стал истерически его умолять приостановить все это. Тут занятны два момента: вера в адское могущество Николая Гавриловича и слухи о том, что поджоги велись по тому самому плану, который был составлен еще в 1849 году петрашевцами.

Агенты, тоже не без мистического ужаса, доносили, что ночью в разгаре бедствия «слышался смех из окна Чернышевского». Полиция наделяла его дьявольской изворотливостью и во всяком его действии чуяла подвох. Семья Николая Гавриловича уехала на лето в Павловск, и вот, через несколько дней после пожаров, а именно 10 июня (сумерки, комары, музыка), некто Любецкий, адъютант образцового Лейб-гвардии уланского полка, лихой малый, «с фамильей как поцелуй», при выходе «из вокзала» заметил двух дам, резвившихся как шалые, и, по сердечной простоте приняв их за молоденьких камелий, «произвел попытку поймать обеих за талии». Бывшие при них четыре студента окружили его и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из дам — жена литератора Чернышевского, а другая — ее сестра. Что же, по мнению полиции, делает муж? Он домогается отдать дело на суд общества офицеров, — не из соображений чести, а лишь для того, чтобы под рукой достигнуть сближения офицеров со студентами. 5 июля ему пришлось по поводу своей жалобы побывать в Третьем отделении. Потапов, начальник оного, отклонил его домо-

гательство, сказав, что, по его сведениям, улан готов извиниться. Тогда Чернышевский сухо отказался от всяких притязаний и, переменив разговор, спросил: «Скажите, — вот я третьего дня отправил семью в Саратов, и сам собираюсь туда на отдых, — («Современник» уже был закрыт); — но если мне нужно будет увезти жену за границу, на воды, — она, видите ли, страдает нервическими болями, — могу ли выехать беспрепятственно?» — «Разумеется, можете», — добродушно ответил Потапов; а через два дня произошел арест.

Всему этому предшествовало вот какое событие: в Лондоне открылась всемирная выставка (девятнадцатый век необыкновенно любил выставлять свои богатства, пышное и безвкусное приданое, которое нынешний промотал); туда съехались туристы и негоцианты, корреспонденты и соглядатаи; как-то на громадном банкете Герцен, в припадке беспечности, у всех на глазах передал собиравшемуся в Россию Ветошникову письмо, в котором между прочим (письмо было, собственно, от Огарева) просил Серно-Соловьевича обратить внимание Чернышевского на сделанное в «Колоколе» объявление о готовности печатать «Современник» за границей. Не успела легкая нога передатчика коснуться русских песков, как он был схвачен.

Чернышевский жил тогда близ Владимирской церкви (позднее астраханские его адреса тоже определялись близостью к тому или другому храму) в доме Есауловой, где до него, покуда не вышел в министры, жил Муравьев, — изображенный им с таким беспомощным отвращением в «Прологе». 7 июля у него сидели два приятеля: доктор Боков (впоследствии изгнаннику посылавший врачебные советы) и Антонович (член «Земли и Воли», не подозревавший, несмотря на близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен). Сидели в зале, и тут же сел с видом гостя приземистый, неприятный, в черном мундире, с волчьим углом лица, полковник Ракеев, приехавший Чернышевского арестовать. Опять происходит любопытное, «волнующее игрока в историке» (Страннолюбский) соприкосновение исторических узоров: это был тот самый Ракеев, который, олицетворяя собой подлую торопь правительства, умчал из столицы в посмертную ссылку гроб

Пушкина. Поболтав для приличия десять минут, он с любезной улыбкой, от которой доктор Боков «внутренне похолодел», заявил Чернышевскому, что хочет поговорить с ним наедине. «А, тогда пойдем в кабинет», — ответил тот и сам бросился туда первый, да так стремительно, что Ракеев — не то что растерялся — слишком был опытен, — но в своей роли гостя не счел возможным столь же прытко последовать за ним. Чернышевский же тотчас вернулся, судорожно двигая кадыком и запивая что-то холодным чаем (проглоченные бумаги, по жуткой догадке Антоновича), и, глядя поверх очков, пропустил гостя вперед. Его друзья от нечего делать (чересчур неуютно ждалось в зале, где почти вся мебель была в саванах) отправились гулять («...не может быть... я не думаю...» — повторял Боков), а когда воротились к дому, четвертому по Большой Московской, с тревогой увидели, что теперь у двери стоит — в каком-то кротком и тем более гнусном ожидании — казенная карета. Сперва пошел проститься с Чернышевским Боков, затем — Антонович. Николай Гаврилович сидел у письменного стола, играл ножницами, а полковник сидел сбоку, заложив ногу на ногу; беседовали — всё ради приличия — о преимуществах Павловска перед другими дачными местностями. «Общество, главное, отличнейшее», — покашливая, говорил полковник.

«А вы разве тоже уходите и не подождете меня?» — обратился Чернышевский к апостолу. «Мне, к сожалению, пора...» — смутясь душой, ответил тот. «Ну что ж, тогда до свидания», — сказал Николай Гаврилович шутливым тоном и, высоко подняв руку, с размаху опустил ее в руку Антоновича: тип товарищеского прощания, ставший впоследствии весьма распространенным в среде русских революционеров.

«Итак, — восклицает Страннолюбский, в начале лучшей главы своей несравненной монографии, — Чернышевский взят!» Весть об аресте облетает город ночью. Не одна грудь наполняется гремучим негодованием, не одна рука сжимается... Но и немало было злорадных усмешек: ага, убрали буяна, убрали «дерзкого, вопиявшего невежу», как выразилась — впрочем, придурковатая — писательница Кохановская. Далее Страннолюбский выпукло описывает сложную

работу, которую властям пришлось проделать для того, чтобы создать улики, «которые должны были быть, но которых не было», ибо получилось курьезнейшее положение: «Юридически не за что было зацепиться, и приходилось ставить леса, дабы закону влезть и работать». Посему действовали «подставными величинами», с таким расчетом, чтобы все подставки осторожно убрать, лишь только законом огороженная пустота заполнится настоящим. Дело, затеянное против Чернышевского, было призраком; но это был призрак действительной вины; и вот — извне, искусственно, окольными путями — удалось найти некое решение задачи, почти совпадавшее с решением подлинным.

У нас есть три точки: Ч, К, П. Проводится один катет, ЧК. К Чернышевскому власти подобрали отставного уланского корнета Владислава Дмитриевича Костомарова, еще в августе прошлого года, в Москве, за тайное печатание возмутительных изданий разжалованного в рядовые, — человека с безуминкой, с печоринкой, при этом стихотворца: он оставил в литературе сколопендровый след, как переводчик иностранных поэтов. Проводится другой катет, КП. Писарев в «Русском Слове» пишет об этих переводах, браня автора за «драгоценная тиара занялась на нем как фара» («из Гюго»), хваля за «простую и сердечную» передачу куплетов Бернса («Прежде всего, прежде всего да будут все честны... Молитесь все... чтоб человеку человек был брат прежде всего»), а по поводу того, что Костомаров доносит читателю, что Гейне умер нераскаянным грешником, критик ехидно советует «грозному обличителю» «полюбоваться на собственную общественную деятельность». Ненормальность Костомарова сказывалась в витиеватой графомании, в бессмысленном, лунатическом (даром, что на заказ) составлении подложных писем с нанизанными французскими фразами; наконец, в застеночной игривости: свои донесения Путилину (сыщику) он подписывал: «Феофан Отченашенко» или «Венцеслав Лютый». Да и был он действительно лют в своей молчаливой мрачности, фатален и лжив, хвастлив и придавлен. Наделенный курьезными способностями, он умел писать женским почерком, — сам объясняя это тем, что в нем

«в полнолуние гащивает душа царицы Тамары». Множественность почерков в придачу к тому обстоятельству (еще одна шутка судьбы!), что его обычная рука напоминала руку Чернышевского, значительно повышала цену этого сонного предателя. Для косвенного подтверждения того, что воззвание «К барским крестьянам» написано Чернышевским, Костомарову было задано, во-первых, изготовить записочку, будто бы от Чернышевского, содержащую просьбу изменить одно слово в этом воззвании; а во-вторых — письмо (к «Алексею Николаевичу»), в котором находилось бы доказательство деятельного участия Чернышевского в революционном движении. То и другое Костомаров и состряпал. Подделка почерка совершенно очевидна: вначале она еще старательна, но потом фальсификатору работа как бы надоела, и он торопится кончить: взять хотя бы слово «я», которое в подлинных рукописях Чернышевского кончается отводной чертой, прямой и твердой, — даже слегка загибающейся в правую сторону, — а тут, в подложном письме, эта черта с какой-то странной лихостью загибается влево, к голове, словно буква козыряет.

Пока шли эти приготовления, Николай Гаврилович сидел в Алексеевском равелине, в близком соседстве с двадцатидвухлетним Писаревым, заключенным туда за четыре дня до него: проводится гипотенуза, ЧП, и роковой треугольник утвержден. Самым сидением Чернышевский сперва не тяготился: отсутствие назойливых посетителей показалось даже отдохновением... но тишина неизвестности вскоре стала его раздражать. «Глубокий» половик поглощал без остатка шаги часовых, ходивших по коридору... Оттуда лишь доносился классический бой часов, долго дрожавший в ушах... Это была жизнь, для изображения своего требующая от писателя обилия многоточий... Это было то русское недоброе уединение, из которого возникала русская мечта о доброй толпе. Приподняв угол зеленой шерстяной занавески, часовой в дверной глазок мог наблюдать заключенного, сидящего на зеленой деревянной кровати или на зеленом же стуле, в байковом халате, в картузе, — собственный головной убор разрешался, если это только не был цилиндр, — что делает честь правительственному чувству гармонии, но создает по закону

негатива образ довольно назойливый (Писарев, тот сидел в феске). Перо полагалось гусиное; писать можно было на зеленом столике с выдвижным ящиком, дно которого, как пятка Ахиллеса, одно оставалось неокрашенным.

Проходит осень. В тюремном дворе росла небольшая рябина. Арестант номер девятый гулять не любил; однако вначале выходил ежедневно, соображая (крючок мысли, крайне для него характерный), что в это время камера обыскивается, — следовательно, отказ от прогулки внушил бы администрации подозрение, что он у себя что-то прячет; когда же убедился, что это не так (путем оставляемых там и сям пометных ниточек), то с легким сердцем засел за писание: окончил к зиме перевод Шлоссера, принялся за Гервинуса, за Маколея. Писал кое-что и свое. Вспомним «Дневник» — и, из давно пробежавшего параграфа, подберем концы строк, относившихся к его писаниям в крепости... или нет, — вернемся, пожалуй, еще дальше назад, к «теме слез», начавшей свое обращение на первых страницах нашего таинственного вращающегося рассказа.

Перед нами знаменитое письмо Чернышевского к жене, от 5 декабря 62-го года: желтый алмаз среди праха его многочисленных трудов. Мы смотрим на этот жесткий, некрасивый, но удивительно четкий почерк, с решительными взмахами словесных хвостов, с петлистыми «рцы» и «покоями», с широкими, истыми крестами твердых знаков, — и давно не испытанное, чистое чувство, от которого вдруг становится легче дышать, охватывает нас. Этим письмом Страннолюбский справедливо обозначает начало недолгого расцвета Чернышевского. Весь пыл, вся мощь воли и мысли, отпущенные ему, все то, что должно было грянуть в час народного восстания, грянуть и хоть на краткое время зажать в себе верховную власть... рвануть узду и, может быть, обагрить кровью губу России, — все это теперь нашло болезненный исход в его переписке. Можно прямо сказать, что это и было венцом и целью всей его глухо, издавна нараставшей жизненной диалектики, — эти железным бешенством прохваченные послания к комиссии, разбиравшей его дело, которое он вкладывал в письма к жене, эта торжествующая ярость аргументов, эта цепями бряцающая мегаломания. «Люди будут вспоминать нас

с благодарностью», — писал он Ольге Сократовне, — и оказался прав: именно этот звук и отозвался, разлившись по всему оставшему простору века, заставляя искренним и благородным умилением биться сердца миллионов интеллигентных провинциалов. Мы уже упоминали о той части письма, где говорится о планах составления словарей. После слов «как был Аристотель» идут слова: «А впрочем, я заговорил о своих мыслях: они — секрет; ты никому не говори о том, что я сообщаю тебе одной». «Тут, — комментирует Стеклов, — на эти две строки упала капля слезы, и Чернышевский должен был повторить расплывшиеся буквы». Это-то вот и неточно. Капля упала д о начертания этих двух строк, у сгиба; Чернышевскому пришлось наново написать два слова (в начале первой строки и в начале второй), попавшие было на мокрое место, а потому недописанные (се... секрет, о т... о том).

Через два дня, все более сердясь и все более веря в свою неуязвимость, он начал «ломать» своих судей. Это второе письмо к жене можно разделить на пункты: 1) Я тебе говорил по поводу слухов о возможном аресте, что я не запутан ни в какое дело и что правительству придется извиняться, если меня арестуют. 2) Я так полагал, потому что знал, что за мною следят, — хвалились, что следят очень хорошо, — я положился на эту похвальбу, — ибо мой расчет был, что, зная, как я живу и что делаю, будут знать, что подозрения напрасны. 3) Расчет был глуп. Ибо я знал также, что у нас ничего не умеют делать как следует. 4) Таким образом, моим арестованием компрометировали правительство. 5) Что «нам» делать? Извиниться? Но что, если он не примет извинения, а скажет: вы компрометировали правительство, моя обязанность это ему объяснить. 6) Поэтому будем отдалять неприятность. 7) Но правительство спрашивает по временам, виновен ли Чернышевский, — и правительство наконец добьется ответа. 8) Этого ответа я и жду.

«Копия с довольно любопытного письма Чернышевского, — карандашом приписал Потапов. — Но он ошибается: извиняться никому не придется».

А еще спустя несколько дней он начал писать «Что делать?» — и уже 15 января послал первую порцию Пыпину; через неделю послал вторую, и Пыпин передал обе Не-

красову для «Современника», который с февраля был опять разрешен. Тогда же разрешено было и «Русское Слово», после такого же восьмимесячного запрета; и, нетерпеливо ожидая журнальной поживы, опасный сосед уже обмакнул перо.

Отрадно констатировать, что тогда какая-то тайная сила все-таки решилась попробовать хотя бы от этой беды Чернышевского спасти. Ему приходилось особенно тяжело, — как было не сжалиться? 28-го числа, из-за того, что начальство, раздраженное его нападками, не давало ему свидания с женой, он начал голодовку: голодовка была еще тогда в России новинкой, а экспонент попался нерасторопный. Караульные заметили, что он чахнет, но пища как будто съедается... Когда же дня через четыре, пораженные тухлым запахом в камере, сторожа ее обыскали, то выяснилось, что твердая пища пряталась между книг, а щи выливались в щели. В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, врач при крепости, осмотрев арестанта, нашел, что он бледен, язык довольно чистый, пульс несколько слабее, — и в этот же день, в этот же час Некрасов, проездом на извозчике от гостиницы Демута к себе домой, на угол Литейной и Бассейной, потерял сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием «Что делать?». Припомнив с точностью отчаяния весь свой маршрут, он не припомнил того, что, подъезжая к дому, положил сверток рядом с собой, чтобы достать кошелек, — а тут как раз сани сворачивали... скрежетание относа... и «Что делать?» незаметно скатилось: вот это и была попытка тайной силы — в данном случае центробежной — конфисковать книгу, счастливая судьба которой должна была так гибельно отразиться на судьбе ее автора. Но попытка не удалась: на снегу, у Мариинской больницы, розовый сверток поднял бедный чиновник, обремененный большой семьей. Придя восвояси, он надел очки, осмотрел находку... увидел, что это начало какого-то сочинения, и, не вздрогнув, не опалив вялых пальцев, отложил. «Уничтожь!» — напрасно молил безнадежный голос. В «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» напечатано было объявление о пропаже. Чиновник отнес сверток по

означенному адресу, за что и получил обещанное: пятьдесят рублей серебром.

Тем временем Николаю Гавриловичу стали давать капли для возбуждения аппетита; два раза он их принимал, а потом, сильно страдая, объявил, что не будет более, ибо не ест не по отсутствию аппетита, а по капризу. 6-го утром, «по неопытности в различении симптомов страдания», он голодовку прекратил и позавтракал. 12-го Потапов уведомил коменданта, что комиссия не может дозволить Чернышевскому свидание с женой, покамест он совершенно не поправится. На другой же день комендант донес, что Чернышевский здоров и вовсю пишет. Ольга Сократовна явилась с бурными жалобами — на свое здоровье, на Пыпиных, на безденежье, и потом, сквозь слезы, стала смеяться над бородкой, отрощенной мужем, и, вконец расстроившись, принялась его обнимать.

«Будет, голубка, будет», — приговаривал он совершенно спокойно, — тем комнатным тоном, которого неизменно придерживался в сношениях с ней; любил же ее страстно, безнадежно. «Ни у меня, ни у кого другого не может быть оснований думать, что меня не отпустят на свободу», — сказал он ей с особенным ударением на прощание.

Прошел еще месяц. 23 марта была очная ставка с Костомаровым. Владислав Дмитриевич смотрел исподлобья и явно завирался. Чернышевский, брезгливо усмехаясь, отвечал отрывисто и презрительно. Его перевес бил в очи. «И подумать, — восклицает Стеклов, — что в это время он писал жизнерадостное “Что делать?”».

Увы! писать «Что делать?» в крепости было не столь поразительно, сколь безрассудно, — хотя бы потому, что оно было присоединено к делу. Вообще история появления этого романа исключительно любопытна. Цензура разрешила печатание его в «Современнике», рассчитывая на то, что вещь, представляющая собой «нечто в высшей степени антихудожественное», наверное уронит авторитет Чернышевского, что его просто высмеют за нее. И действительно, чего стоят, например, «легкие» сцены в романе: «Верочка была должна выпить полстакана за свою свадьбу, полстакана за свою мастерскую, полстакана за саму Жюли, —

(бывшую парижскую проститутку, а ныне подругу жизни одного из героев!). — Подняли они с Жюли шум, крик, гам... Принялись бороться, упали обе на диван... и уже не захотели встать, а только продолжали кричать, хохотать, и обе заснули». Иногда слог смахивает не то на солдатскую сказку, не то на... Зощенко: «После чаю... пришла она в свою комнату и прилегла. Вот она и читает в своей кроватке, только книга опускается от глаз, и думается Вере Павловне: что это последнее время стало мне несколько скучно иногда?» Много и прелестных безграмотностей, — вот образец: когда медик, заболевший воспалением легких, призвал коллегу, то: «Долго они щупали бока одному из себя».

Но никто не смеялся. Даже русские писатели не смеялись. Даже Герцен, находя, что «гнусно написано», тотчас оговаривался: «с другой стороны, много хорошего, здорового». Все же далее, не удержавшись, он замечает, что роман оканчивается не просто фаланстером, а «фаланстером в борделе». Ибо, конечно, случилось неизбежное: чистейший Чернышевский — никогда таких мест не посещавший, — в бесхитростном стремлении особенно красиво обставить общинную любовь, невольно и бессознательно, по простоте воображения, добрался как раз до ходячих идеалов, выработанных традицией развратных домов; его веселый вечерний бал, основанный на свободе и равенстве отношений (то одна, то другая чета исчезает и потом возвращается опять), очень напоминает, между прочим, заключительные танцы в «Доме Телье».

А все-таки нельзя без трепета трогать этот старенький (март 63-го года) журнал с началом романа; тут же и «Зеленый Шум» («терпи, покуда терпится...»), и зубоскальский разнос «Князя Серебряного»... Вместо ожидаемых насмешек вокруг «Что делать?» сразу создалась атмосфера всеобщего благочестивого поклонения. Его читали, как читают богослужебные книги, — и ни одна вещь Тургенева или Толстого не произвела такого могучего впечатления. Гениальный русский читатель понял то доброе, что тщетно хотел выразить бездарный беллетрист. Казалось бы, увидя свой просчет, правительство должно было прервать печатание романа; оно поступило гораздо умнее.

Сосед Чернышевского тоже теперь записал. 8 октября он послал из крепости для «Русского Слова» статью «Мысли о русских романах», причем сенат уведомил генерал-губернатора, что это не что иное, как разбор романа Чернышевского, с похвалами сему сочинению и подробным развитием материалистических идей, в нем заключающихся. Для характеристики Писарева указывалось, что он подвергался умопомешательству, от коего был пользуем: дементия меланхолика, — четыре месяца в 59-м году провел в сумасшедшем доме.

Как отроком он каждую свою тетрадочку наряжал в радужную обертку, так зрелым мужем Писарев вдруг бросал спешную работу, чтобы тщательно раскрашивать политипажи в книгах, или, отправляясь в деревню, заказывал портному красно-синюю летнюю пару из сарафанного ситца. Его душевная болезнь отличалась каким-то извращенным эстетизмом. Однажды среди студенческого сбора он вдруг встал, поднял, изящно изогнувшись, руку, как будто просил слова, и в этой скульптурной позе упал без чувств. В другой раз, при общем переполохе, он стал раздеваться в гостях, с веселой быстротой скидывая бархатный пиджак, пестрый жилет, клетчатые панталоны... тут его одолели. Забавно, что есть комментаторы, которые зовут Писарева «эпикурейцем», ссылаясь, например, на его письма к матери, — невыносимые, желчные, закушенные фразы о том, что жизнь прекрасна; или еще: для обрисовки его «трезвого реализма» приводится — с виду деловое, ясное — а в действительности совершенно безумное его письмо из крепости к незнакомой девице, с предложением руки: «Та женщина, которая согласится осветить и согреть мою жизнь, получит от меня всю ту любовь, которую оттолкнула Раиса, бросившись на шею своему красивому орлу».

Теперь, заключенный на четыре года за небольшое участие в той общей тогдашней смуте, которая, собственно, основывалась на слепой вере в печатное, и особенно тайнопечатное, слово, Писарев из крепости писал о «Что делать?» по мере того, как роман появлялся в «Современнике», получаемом им. Хотя сенат вначале и выражал опасение, что его похвалы могут иметь вредное влияние на молодое поколение, но в данном случае правительству

было всего важнее получить этим путем полную картину тлетворности Чернышевского, которую Костомаров только наметил в списке его «специальных приемов». «Правительство, — говорит Страннолюбский, — с одной стороны, дозволяя Чернышевскому производить в крепости роман, а с другой — дозволяя Писареву, его соузнику, производить об этом же романе статьи, действовало вполне сознательно, с любопытством выжидая, чтобы Чернышевский весь выболтался, и наблюдая, что из этого получится — в связи с обильными выделениями его соседа по инкубатору».

Тут дело шло гладко и обещало многое, но с Костомаровым приходилось поднажать, так как требовались кое-какие определенные доказательства вины, а Чернышевский продолжал обстоятельно кипеть и издеваться, обзывая комиссию «шалунами» и «бестолковым омутом, который совершенно глуп». Поэтому Костомарова повезли в Москву, и там мещанин Яковлев, его бывший переписчик, пьяница и буян, дал важное показание (получил за это пальто, которое пропил так шумно в Твери, что был посажен в смирительный дом): переписывая по случаю летнего времени в беседке сада, он будто бы слышал, как Николай Гаврилович и Владислав Дмитриевич, ходя между собой под руку (черточка верная!), говорили о поклоне от их доброжелателей барским крестьянам (трудно разобраться в этой смеси правды и подсказки). На втором допросе, в присутствии заново заряженного Костомарова, Чернышевский не совсем удачно сказал, что только раз был у него, да не застал; потом добавил с силой: «Поседею, умру, не изменю моего показания». Показание о том, что не он автор воззвания, написано им дрожащим почерком, — скорее не с перепуга, а от бешенства.

Как бы то ни было, дело подходило к концу. Последовало определение сената: с большим благородством он признавал противозаконное сношение с Герценом недоказанным (как о п р е д е л и л сенат Герцен, смотри ниже в кавычках). Что же касается воззвания «К барским крестьянам»... тут уже созрел плод на шпалерах подлогов и подкупов: полное нравственное убеждение сенаторов, что Чернышевский воззвание сочинил, обращалось в юридическое доказательство письмом к «Алексею Николаевичу» (имелся

в виду как будто Плещеев, мирный поэт, «блондин во всем», — но почему-то никто особенно на этом не настаивал). Так в лице Чернышевского был осужден его — очень похожий — призрак; вымышленную вину чудно подгримировали под настоящую. Приговор был сравнительно мягок — сравнительно с тем, что вообще можно придумать в этом направлении: сослать на четырнадцать лет в каторжную работу в рудниках и затем поселить в Сибири навсегда. От «диких невежд» сената определение было передано «седым злодеям» Государственного совета, вполне присоединившимся, а затем пошло к государю, который его и утвердил, наполовину уменьшив срок каторги. 4 мая 64-го г. приговор был объявлен Чернышевскому, а 19-го, часов в 8 утра, на Мытнинской площади, он был казнен.

Моросило, волновались зонтики, площадь выслякощило, все было мокро: жандармские мундиры, потемневший помост, блестящий от дождя гладкий, черный столб с цепями. Вдруг показалась казенная карета. Из нее вышли необычайно быстро, точно выкатились, Чернышевский в пальто и два мужиковатых палача; все трое скорым шагом прошли по линии солдат к помосту. Публика колыхнулась, жандармы оттеснили первые ряды; раздались там и сям сдержанные крики: «Уберите зонтики!» Покамест чиновник читал уже известный ему приговор, Чернышевский нахохленно озирался, перебирал бородку, поправлял очки и несколько раз сплюнул. Когда чтец, запнувшись, едва выговорил «сацалических идей», Чернышевский улыбнулся и тут же, кого-то узнав в толпе, кивнул, кашлянул, переступил: из-под пальто черные панталоны гармониками падали на калоши. Близко стоявшие видели на его груди продолговатую дощечку с надписью белой краской: «государственный преступ» (последний слог не вышел). По окончании чтения палачи опустили его на колени; старший наотмашь скинул фуражку с его длинных, назад зачесанных, светло-русых волос. Суженное книзу лицо с большим, лоснящимся лбом было теперь опущено, и с треском над ним преломили плохо подпиленную шпагу. Затем взяли его руки, казавшиеся необычайно белыми и слабыми, в черные цепи, прикрепленные к столбу: так он должен

был простоять четверть часа. Дождь пошел сильнее: палач поднял и нахлобучил ему на голову фуражку, — и неспешно, с трудом, — цепи мешали, — Чернышевский поправил ее. Слева, за забором, виднелись леса строившегося дома; с той стороны рабочие полезли на забор, было слышно ерзанье сапог, взлезли, повисли и поругивали преступника издалека. Шел дождь; старший палач посматривал на серебряные часы. Чернышевский чуть поворачивал руками, не поднимая глаз. Вдруг из толпы чистой публики полетели букеты. Жандармы, прыгая, пытались перехватить их на лету. Взрывались в воздухе розы; мгновениями можно было наблюдать редкую комбинацию: городовой в венке. Стриженые дамы в черных бурнусах метали сирень. Между тем Чернышевского поспешно высвободили из цепей, и мертвое тело повезли прочь. Нет, — описка: увы, он был жив, он был даже весел! Студенты бежали подле кареты, с криками: «Прощай, Чернышевский! Д о с в и д а н ь я!» Он высовывался из окна, смеялся, грозил пальцем наиболее рьяным бегунам.

«Увы, жив», — воскликнули мы, — ибо как не предпочесть казнь смертную, содрогания висельника в своем ужасном коконе, тем похоронам, которые спустя двадцать пять бессмысленных лет выпали на долю Чернышевского. Лапа забвения стала медленно забирать его живой образ, как только он был увезен в Сибирь. О, да, разумеется: «Выпьем мы за того, кто "Что делать?" писал...» Но ведь мы пьем за прошлое, за прошлый блеск и соблазн, за великую тень, — а кто станет пить за дрожащего старичка с тиком, где-то в легендарной дали и глуши делающего плохие бумажные кораблики для якутских детей? Утверждаем, что его книга оттянула и собрала в себе весь жар его личности, — жар, которого нет в беспомощно-рассудочных ее построениях, но который таился как бы промеж слов (как бывает горяч только хлеб) и неизбежно обречен был рассеяться со временем (как лишь хлеб умеет становиться черствым). Кажется, ныне одни марксисты еще способны интересоваться призрачной этикой, заключенной в этой маленькой, мертвой книге. Легко и свободно следовать категорическому императиву общей пользы — вот «разумный эгоизм», находимый исследователями в «Что делать?».

Напомним ради забавы домысел Каутского, что идея эгоизма связана с развитием товарного производства, и заключение Плеханова, что Чернышевский все-таки «идеалист», так как у него получается, что массы должны догнать интеллигенцию из расчета, расчет же есть мнение. Но дело обстоит проще: мысль, что расчет — основа всякого поступка (или подвига), приводит к абсурду: сам по себе расчет бывает героический! Всякая вещь, попадая в фокус человеческого мышленья, одухотворяется. Так облагородился «расчет» материалистов; так материя у лучших знатоков ее обратилась в бесплотную игру таинственных сил. Этические построения Чернышевского — своего рода попытка построить все тот же перпетуум-мобиле, где двигатель-материя движет другую материю. Нам очень хочется, чтоб это вертелось: эгоизм-альтруизм-эгоизм-альтруизм... но от трения останавливается колесо. Что делать? Жить, читать, думать. Что делать? Работать над своим развитием, чтобы достигнуть цели жизни: счастья. Что делать? (Но судьба самого автора, вместо дельного знака вопроса, поставила насмешливый восклицательный знак.)

Чернышевского перевели бы на поселение гораздо скорее, если бы не дело каракозовцев: на их суде выяснилось, что ему хотели дать возможность бежать и возглавить революционное движение — или хотя бы издавать в Женеве журнал, — причем, высчитывая даты, судьи нашли в «Что делать?» предсказание даты покушения на царя. И точно: Рахметов, уезжая за границу, «высказал, между прочим, что года через три он возвратится в Россию, потому что, кажется, в России, не теперь, а тогда, года через три, — (многозначительное и типичное для автора повторение), — нужно ему быть». Между тем последняя часть романа подписана 4-м апреля 63-го года, а ровно день в день три года спустя и произошло покушение. Так, даже цифры, золотые рыбки Чернышевского, подвели его.

Рахметов ныне забыт; но в те годы он создал целую школу жизни. С каким пиететом впитывался читателями этот спортивно-революционный элемент романа: Рахметов принял боксерскую дьету — и диалектическую: «Поэтому, если подавались фрукты, он абсолютно ел яблоки, абсолютно не ел абрикосов; апельсины ел в Петербурге,

не ел в провинции, — видите, в Петербурге простой народ ест их, а в провинции не ест».

Откуда вдруг мелькнуло это молодое кругленькое лицо с большим, по-детски выпуклым лбом и щеками, как два горшочка? Кто эта похожая на госпитальную сиделочку девушка в черном платье с белым отложным воротничком и шнурком часиков? Приехав в Севастополь в 72-м году, она пешком исходила окрестные села для ознакомления с бытом крестьян: была она в своем периоде рахметовщины, — спала на соломе, питалась молоком да кашей... И, возвратившись к первоначальному положению, мы опять повторим: в сто крат завиднее мгновенная судьба Перовской, чем угасание славы бойца! Ибо по мере того как, переходя из рук в руки, истрепывались книжки «Современника» с романом, чары Чернышевского слабели; и уважение к нему, давно ставшее задушевной условностью (которая, вынутая из-за души, оказывается мертвой), уже не могло встрепенуться при кончине его в 89-м году. Похороны прошли тихо. Откликов в газетах было немного. На панихиде по нем в Петербурге приведенные для парада друзьями покойного несколько рабочих в партикулярном платье были приняты студентами за сыщиков, — одному даже пустили «гороховое пальто»; что восстановило некое равновесие: не отцы ли этих рабочих ругали коленопреклоненного Чернышевского через забор?

На другой день после той шутовской казни, в сумерки, «с кандалами на ногах и думой в голове», Чернышевский навсегда покинул Петербург. Он ехал в тарантасе, и так как «читать по дороге книжки» разрешили ему только за Иркутском, то первые полтора месяца пути он очень скучал. 23 июля его привезли наконец на рудники Нерчинского горного округа, в Кадаю: пятнадцать верст от Китая, семь тысяч — от Петербурга. Работать ему приходилось мало, жил он в плохо проконопаченном домишке, страдал от ревматизма. Прошло два года. Вдруг случилось чудо: Ольга Сократовна собралась к нему в Сибирь.

Когда он сидел в крепости, она, говорят, рыскала по провинции, так мало заботясь об участи мужа, что родные даже подумывали, не помешалась ли она. Накануне шельмования прискакала в Петербург... 20-го утром уже

ускакала. Мы никогда бы не поверили, что она способна на поездку в Кадаю, если бы не знали этой ее способности легко и лихорадочно передвигаться. Как он ее ждал! Выехав в начале лета 66-го года с семилетним Мишей и доктором Павлиновым (мы опять вступаем в область красивых имен), она добралась до Иркутска, где ее задержали на два месяца; там она стояла в гостинице с драгоценно-дурацким названием — быть может, исковерканным биографами, но вернее всего с особенным вниманием подобранным лукавой судьбой: Hôtel de Amour et Ко. Доктора Павлинова не пустили дальше: вместо него поехал жандармский ротмистр Хмелевский (усовершенное издание павловского удальца), пылкий, пьяный и наглый. Приехали 23 августа. Чтобы отпраздновать встречу супругов, один из ссыльных поляков, бывший повар Кавура, о котором Чернышевский некогда так много и так зло писал, напек тех печений, которыми объедался покойный барин. Но свидание не удалось: удивительно, как все то горькое и героическое, что жизнь изготовляла для Чернышевского, непременно сопровождалось привкусом гнусного фарса. Хмелевский, виясь, не отступал от Ольги Сократовны, в цыганских глазах которой скользило что-то загнанное, но и манящее, — вопреки ее воле, быть может. За ее благосклонность он даже будто бы предложил устроить побег мужу, но тот решительно отказался. Словом, от постоянного присутствия бесстыдника было так тяжело (а какие мы строили планы!), что Чернышевский сам уговаривал жену пуститься в обратный путь, и 27 августа она это и сделала, пробыв, таким образом, после трехмесячного странствия, всего четыре дня — ч е т ы р е дня, читатель! — у мужа, которого теперь покидала на семнадцать с лишним лет. Некрасов посвятил ей «Крестьянских Детей». Жаль, что он ей не посвятил своих «Русских Женщин».

В последних числах сентября Чернышевского перевели на Александровский завод, в тридцати верстах от Кадаи. Зиму он там провел в тюрьме, с каракозовцами и мятежными поляками. Темница была снабжена монгольской особенностью — «палями»: столбами, тесно вкопанными встоячь вокруг тюрьмы; «палисад без сада», острил один из ссыльных, бывший офицер Красовский. В июне следу-

ющего года, по окончании срока испытуемости, Чернышевский был выпущен в вольную команду и снял комнату у дьячка, необыкновенно с лица на него похожего: полуслепые, серые глаза, жиденькая бородка, длинные спутанные волосы... Всегда пьяненький, всегда вздыхающий, он сокрушенно отвечал на расспросы любопытных: «Все пишет, пишет, сердечный!» Но Чернышевский прожил там не больше двух месяцев. Его имя всуе упоминалось на политических судах. Блаженненький мещанин Розанов показывал, что революционеры хотят поймать и посадить в клетку «птицу из царской крови, чтобы выменять Чернышевского». От графа Шувалова была иркутскому генерал-губернатору депеша: «Цель эмиграции — освободить Чернышевского, прошу принять всевозможные меры относительно его». Между тем Красовский, выпущенный вместе с ним, бежал (и погиб в тайге, ограбленный), так что были все причины водворить опасного ссыльного опять в тюрьму и на месяц лишить права переписки.

Невыносимо страдая от сквозняков, он никогда не снимал ни халатика на меху, ни барашковой шапки. Передвигался, как лист, гонимый ветром, нервной, пошатывающейся походкой, и то тут, то там слышался его визгливый голосок. Усугубилась его манера логических рассуждений — «в духе тезки его тестя», как вычурно выражается Страннолюбский. Жил он в «конторе»: просторной комнате, разделенной перегородкой; в большой части шли по всей стене низкие нары, вроде помоста; там, как на сцене (или вот как в зоологических садах выставляют грустного хищника среди скал его родины), стояли кровать и небольшой стол, что было, по существу, обстановкой всей его жизни. Он вставал за полдень, целый день пил чай да полеживал, все время читая, а по-настоящему садился писать в полночь, так как днем непосредственные соседи его, поляки-националисты, совершенно к нему равнодушные, затеяв игру на скрипках, его терзали несмазанной музыкой: по профессии они были колесники. Другим же ссыльным он зимними вечерами читал. Как-то раз заметили, что, хотя он спокойно и плавно читает запутанную повесть, со многими «научными» отступлениями, смотрит-то он в пустую тетрадь. Символ ужасный!

Тогда-то он написал и новый роман. Еще полный успеха «Что делать?», он многого ждал от него — ждал главным образом денег, которые, печатаясь за границей, роман должен был так или иначе принести его семье. «Пролог» весьма автобиографичен. Уже однажды упомянув о нем, мы говорили о своеобразной попытке реабилитации Ольги Сократовны; такая же, по мнению Страннолюбского, скрыта в нем попытка реабилитации самой личности автора, ибо, с одной стороны подчеркивая влияние Волгина, доходившее до того, что «сановники заискивали перед ним через его жену» (полагая, что у него «связи с Лондоном», т. е. с Герценом, которого смертельно боялись новоиспеченные либералы), автор, с другой стороны, упорно настаивает на мнительности, робости, бездейственности Волгина: «ждать и ждать, как можно дольше, как можно тише ждать». Получается впечатление, что упрямый Чернышевский как бы желает иметь последнее слово в споре, хорошенько закрепив то, что повторял своим судьям: меня должно рассматривать на основании моих поступков, а поступков не было и не могло быть.

О «легких» сценах в «Прологе» лучше умолчим. Сквозь их болезненно-обстоятельный эротизм слышится нам такая дребезжащая нежность к жене, что малейшая из них цитата показалась бы чрезмерно глумливой. Зато послушаем вот этот чистый звук — в его письмах к ней за те годы: «Милая радость моя, благодарю тебя за то, что озарена тобою жизнь моя...», «Я был бы здесь даже один из самых счастливых людей на целом свете, если бы не думалось, что эта очень выгодная лично для меня судьба слишком тяжело отзывается на твоей жизни, мой милый друг...», «Прощаешь ли мне горе, которому я подверг тебя?..»

Надежды Чернышевского на литературные доходы не сбылись: эмигранты не только злоупотребляли его именем, но еще воровски печатали его произведения. И вовсе уже пагубными для него были попытки его освободить, попытки сами по себе смелые, но кажущиеся бессмысленными нам, видящим с изволока времени разность между образом «скованного великана» и тем настоящим Чернышевским, которого только бесили старания спасителей: «Эти господа, — говаривал он потом, — даже не знали, что я и верхом

ездить не умею». Вследствие этого внутреннего противоречия и получалась чушь (особый оттенок коей нам уже давно известен). Если верить молве, Ипполит Мышкин, под видом жандармского офицера явившийся в Вилюйск к исправнику с требованием о выдаче ему заключенного, испортил все дело тем, что надел аксельбант на левое плечо вместо правого. До этого, а именно в 71-м году, была уже попытка Лопатина, в которой все несуразно: и то, как в Лондоне он вдруг бросил переводить «Капитал», чтобы Марксу, научившемуся читать по-русски, доставить «ден гроссен руссишен гелертен», и путешествие в Иркутск, под видом члена Географического общества (причем сибирские обыватели принимали его за ревизора инкогнито), и арест вследствие доноса из Швейцарии, и бегство, и поимка, и его письмо генерал-губернатору Восточной Сибири, в котором он с непонятной откровенностью рассказывал о своих планах. Все это только ухудшало судьбу Чернышевского. Юридически поселение должно было начаться 10 августа 70-го года. Но только 2 декабря его перевезли в другое место, в место, оказавшееся гораздо хуже каторги, — в Вилюйск.

«Убранный Богом в долгий ящик Азии, — говорит Страннолюбский, — в глубину Якутской области, далеко на северо-восток, Вилюйск представлял собой поселок, стоявший на огромной куче песку, нанесенного рекой, и окруженный бесконечным моховым болотом, покрытым почти сплошь таежником». Обитатели (500 душ) были: казаки, полудикие якуты и небольшое число мещан (о которых Стеклов выражается весьма живописно: «Местное общество состояло из пары чиновников, пары церковников и пары купцов» — словно речь идет о ковчеге). Там Чернышевского поместили в лучшем доме, а лучшим домом в Вилюйске оказался острог. Дверь его сырой камеры была обита черной клеенкой; два окна, и так упиравшихся в частокол, были забраны решетками. За отсутствием каких-либо других ссыльных, он очутился в совершенном одиночестве. Отчаяние, бессилье, сознание обмана, чувство несправедливости, подобное пропасти, уродливые недостатки полярного быта — все это едва не свело его с ума. Под утро 10 июля 72-го года он вдруг стал ломать

железными щипцами замок входной двери, весь трясясь, бормоча и вскрикивая: «Не приехал ли государь или министр, что урядник осмеливается запирать на ночь двери?» К зиме он немного успокоился, но время от времени доносили... и тут попадается нам одно из тех редких сочетаний, которые составляют гордость исследователя.

Когда-то, а именно в 53-м году, отец ему писал (по поводу его «Опыта словаря Ипатьевской летописи»): «Лучше бы написал какую-нибудь сказочку... сказочка еще и ныне в моде бонтонного мира». Через много лет Чернышевский сообщает жене, что хочет написать «ученую сказочку», задуманную в остроге, в которой ее изобразит в виде двух девушек: «Это будет недурная ученая сказочка, — (повторение отцовского ритма). — Если б ты знала, сколько я хохотал сам с собой, изобретая разные шумные резвости младшей... Сколько плакал от умиления, изображая патетические раздумья... старшей!» «Чернышевский, — доносили его тюремщики, — по ночам то поет, то танцует, то плачет навзрыд».

Почта из Якутска шла раз в месяц. Январская книга петербургского журнала получалась только в мае. Развившуюся у него болезнь (зоб) он пытался сам лечить по учебнику. Изнурительный катар желудка, который он знал студентом, повторился тут с новыми особенностями. «Меня тошнит от “крестьян” и от “крестьянского землевладения”», — писал он сыну, думавшему его заинтересовать присылкой экономических книг. Пища была отвратительная. Питался он почти только кашей: прямо из горшка — серебряной столовой ложкой, почти четверть которой сточилась о глиняные стенки в течение тех двадцати лет, за которые он сточился сам. В теплые летние дни он часами, бывало, стоял, закатав панталоны, в мелкой речке, что вряд ли было полезно, или, завернув голову полотенцем от комаров, похожий на русскую бабу, со своей плетеной корзиной для грибов гулял по лесным тропинкам, никогда в глушь не углубляясь. Забывал сигарочницу под лиственницей, которую не скоро научился отличать от сосны. Собранные цветы (названий которых он не знал) завертывал в папиросную бумагу и посылал сыну Мише, у которого таким образом составился «небольшой гербарий

вилюйской флоры»: так и Волконская внукам своим завещала «коллекцию бабочек, флору Читы». Однажды у него на дворе появился орел... «прилетевший клевать его печень, — замечает Страннолюбский, — но не признавший в нем Прометея».

Удовольствие, которое в юности он испытывал от стройного распределения петербургских вод, получило теперь позднее эхо: от нечего делать он выкапывал каналы, — и чуть не затопил одну из излюбленных вилюйцами дорог. Жажду просветительства он утолял тем, что учил якутов манерам, но по-прежнему туземец снимал шапку за двадцать шагов и в таком положении кротко замирал. Дельность, толковость свелись к тому, что он водоносцу советовал коромыслом заменить волосяную дужку, резавшую ладони; но якут не изменил рутине. В городке, где только и делали, что играли в стуколку да страстно обсуждали цену на дабу, его тоска по общественной деятельности отыскала староверов, записку по делу которых, чрезвычайно подробную и длинную (со включением даже вилюйских дрязг), Чернышевский преспокойно отправил на имя государя, по-дружески предлагая ему помиловать их, потому что они его «почитают святым».

Он писал много, но почти все сжигал. Сообщал родным, что результаты его «ученых занятий», несомненно, будут приняты с сочувствием; труды эти — пепел, мираж. Из всей груды беллетристики, которую он в Сибири произвел, сохранились, кроме «Пролога», две-три повести, какой-то «цикл» недописанных «новелл»... Сочинял он и стихи. По ткани своей они ничем не отличаются от тех, которые когда-то ему задавали в семинарии, когда он так перекладывал псалом Давида: «Одна на мне лежала должность: чтобы отцовских пасть овец, и смладу петь я гимны начал, Творца чтоб ими восхвалять». В 75-м году (Пыпину) и снова в 88-м г. (Лаврову) он посылает «староперсидскую поэму»: страшная вещь! В одной из строф местоимение «их» повторяется с е м ь раз («от скудости стран их, тела их скелеты, и сквозь их лохмотья их ребра видать, широки их лица, и плоски черты их, на плоских чертах их бездушья печать»), а в чудовищных цепях родительных падежей («От вопля томленья их жажды до крови...») на прощание,

при очень низком солнце, сказывается знакомое тяготение автора к связности, к звеньям. Пыпину он пишет мучительные письма, упорно выражая желание наперекор администрации заниматься литературой: «Эта вещь, — (“Академия Лазурных Гор”, подписанная “Дензиль Эллиот” — будто бы с английского), — высоколитературного достоинства... Я терпелив, но — я надеюсь, что никто не имеет мысли мешать мне работать для моего семейства... Я знаменит в русской литературе небрежностью слога... Когда я хочу, я умею писать и всякими хорошими сортами слога».

Плачьте, о! о Лилебее.
Плачем с вами вместе мы.
Плачьте, о! об Акраганте:
Подкреплений наши ждут!

«Что такое (этот) гимн Деве Неба? — Эпизод из прозаического рассказа внука Эмпедокла... А что такое рассказ внука Эмпедокла? Один из бесчисленных рассказов в “Академии Лазурных Гор”». Герцогиня Кентерширская отправилась с компанией светских своих друзей на яхте через Суэцкий канал (разрядка моя) в Ост-Индию, чтобы посетить свое маленькое царство у Лазурных Гор, близ Голконды. «Там занимаются тем, чем занимаются умные и добрые светские люди (рассказыванием рассказов), тем, что будет в следующих пакетах Дензиля Эллиота редактору “Вестника Европы”» (Стасюлевичу, — который ничего не напечатал из этого).

Кружится голова, буквы в глазах плывут и гаснут, — и вот снова мы тут подбираем «тему очков» Чернышевского. Родных он просил прислать ему новые, но, несмотря на старание особенно наглядно объяснить, все-таки напутал, и через полгода ему прислали номер «четыре с половиной вместо пять или пять с четвертью».

Страсти к наставлению он тем давал исход, что Саше писал о Фермате, Мише — о борьбе Пап с императорами, жене — о медицине, Карлсбаде, Италии... Кончилось тем, чем и должно было кончиться: ему предложили прекратить писание «ученых писем». Это его так оскорбило и потрясло, что больше полугода он не писал писем вовсе (никогда власти не дождались от него тех смиренно-просительных

посланий, которые, например, унтер-офицер Достоевский обращал из Семипалатинска к сильным мира сего). «От папаши нет никакого известия, — писала в 79-м году Ольга Сократовна сыну, — уж жив ли он, мой милый», — и за эту интонацию многое простится ей.

Еще один паяц с фамилией на «ский» выскакивает вдруг в статисты: 15 марта 81-го года «твой неизвестный ученик Витевский», как он рекомендуется сам, а по данным полиции — выпивающий врач Ставропольской земской больницы, с совершенно излишней горячностью протестуя против анонимного мнения, что Чернышевский ответствен за убийство царя, отправляет ему в Вилюйск телеграмму: «Твои сочинения исполнены мира и любви. Ты этого (т. е. убийства) совсем не желал». От его ли бесхитростных слов или от чего другого, но правительство смягчилось и в середине июня оказало острожному квартиранту заботливую любезность: стены его помещения были оклеены обоями гри-перль с бордюром, а потолок затянут бязью, что в общем стоило казне 40 рублей и 88 копеек, т. е. несколько дороже, чем пальто Яковлева и кофе Музы. А уже в следующем году торговля призраком Чернышевского закончилась тем, что после переговоров между «добровольной охраной» и исполнительным комитетом «Народной Воли» относительно спокойствия во время коронации было решено, что, если она обойдется благополучно, Чернышевского освободят: так меняли его на царей — и обратно (что получило впоследствии свое вещественное увенчание, когда его памятником советская власть заместила в Саратове памятник Александра Второго). Еще через год, в мае, было подано от имени его сыновей (он, конечно, об этом не знал) прошение, в самом что ни на есть пышном, душещипательном стиле; министр юстиции Набоков сделал соответствующий доклад, и «Государь соизволил перемещение Чернышевского в Астрахань».

В исходе февраля 83-го года (отяжелевшее время уже влачило судьбу его с трудом) жандармы, ни словом не упомянув о резолюции, вдруг повезли его в Иркутск. Все равно, — оставить Вилюйск само по себе было счастьем, и не раз во время летнего пути по длинной Лене (так по-родственному повторяющей волжский изгиб) старик

пускался в пляс, распевая гекзаметры. Но в сентябре путешествие кончилось и с ним — ощущение воли. В первую же ночь Иркутск показался все тем же казематом в сугубо уездной глуши. Поутру к нему зашел начальник жандармского управления Келлер. Николай Гаврилович сидел у стола, облокотившись, и не сразу откликнулся. «Государь вас помиловал», — сказал Келлер, и повторил это еще громче, видя, что тот будто сонный или несмыслящий. «Меня?» — вдруг переспросил старик, встал со стула, положил руки к вестнику на плечи и, тряся головой, зарыдал. Вечером, чувствуя себя как бы выздоравливающим после долгой болезни, но еще слабым, со сладким туманом во всем теле, он пил с Келлером чай, без умолку говорил, рассказывал его детям «более или менее персидские сказки — об ослах, розах, разбойниках...» — как запомнилось одному из слушателей. Через пять дней его повезли в Красноярск, оттуда в Оренбург, — и глубокой осенью, в седьмом часу вечера, он на почтовых проезжал через Саратов; там, на постоялом дворе, у жандармского управления, в подвижном сумраке так качался от ветра фонарик, что никак нельзя было толком рассмотреть меняющееся, молодое, старое, молодое, теплым платком обмотанное лицо Ольги Сократовны, опрометью прибежавшей на нечаянное свидание; и в ту же ночь неизвестно о чем думающий Чернышевский был отправлен дальше.

С большим мастерством, с живостью изложения необыкновенной (ее можно почти принять за сострадание), Страннолюбский описывает его водворение на жительство в Астрахани. Никто не встречал его с распростертыми объятиями, никто даже не приглашал его, и очень скоро он понял, что все громадные замыслы, бывшие в ссылке единственной его подпорой, должны теперь растаять в какой-то глуповато-ясной и совершенно невозмутимой тишине.

К его сибирским болезням Астрахань прибавила желтую лихорадку. Он часто простужался. У него мучительно трепетало сердце. Много и неряшливо курил. А главное — был чрезвычайно нервен. Странно вскакивал посреди разговора, — словно это у него осталось от того порыва в день ареста, когда он бросился в кабинет, опережая рокового Ракеева. На улице его можно было принять за старичка

мастерового: сутуленький, в плохоньком летнем костюме, в мятом картузе. «А скажите...», «А вы не думаете...», «А...»: к нему лезли с нелепыми разговорами случайные любопытные. Актер Сыробоярский все допытывался — «жениться ли, али нет?». Было два-три последних доносика, прошипевших как мокрый фейерверк. Знакомство он водил с местными армянами — мелочными торговцами. Люди образованные удивлялись тому, что он как-то не очень интересуется общественной жизнью. «Да чего вы хотите, — отвечал он невесело, — что могу я в этом понять, — ведь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании...»

Гладко причесанная, с открытыми ушами, слишком для нее большими, и с «птичьим гнездом» чуть пониже макушки — вот она опять с нами (привезла из Саратова конфет, котят); на длинных губах та же насмешливая полуулыбка, еще резче страдальческая линия бровей, а рукава теперь шьются так, что торчат выше плеч. Ей уже за пятьдесят (1833—1918), но характер все тот же, болезненно-озорной; ее истеричность при случае доходит до судорог.

В течение этих последних шести лет жизни бедный, старый, никому не нужный Николай Гаврилович с постоянством машины переводит для издателя Солдатенкова том за томом «Всеобщей истории Георга Вебера», — причем, движимый давней, неудержимой потребностью высказаться, постепенно пытается, промеж Вебера, дать выбраться и собственным мыслям. Перевод свой он подписывает: «Андреев», и в рецензии на первый том («Наблюдатель», февраль 1884 г.) критик замечает, что это «своего рода псевдоним, потому что на Руси Андреевых столько же, как Ивановых и Петровых»; за этим следуют колкие упреки в тяжеловатости слога и маленький выговор: «Господину Андрееву в своем предисловии незачем было распространяться о достоинствах и недостатках Вебера, давно знакомого русскому читателю. Уже в пятидесятых годах вышел его учебник и одновременно три тома “Курса всеобщей истории” в переводе Е. и В. Корша... Ему бы не следовало игнорировать труды своих предшественников».

Этот Е. Корш, любитель архирусских терминов взамен принятых немецкими философами («затреба», «срочная

затычка», «мань» — последнюю, впрочем, он сам выпустил в публику под усиленным караулом кавычек), был теперь восьмидесятилетним старцем, сотрудником Солдатенкова, и в этом качестве корректировал «астраханского переводчика», внося исправления, приводившие в бешенство Чернышевского, который и принялся в письмах к издателю «ломать» Евгения Федоровича по старой своей системе, сначала яростно требуя, чтобы корректура была передана другому, «лучше понимающему, что в России нет человека, который знал бы русский литературный язык так хорошо, как я», а затем, когда своего добился, употребляя свой знаменитый прием «двойной затычки»: «Разве в самом деле интересуюсь я подобными пустяками? Впрочем, если Корш хочет продолжать читать корректуру, то попросите его не делать поправок, они действительно нелепы». С не менее мучительным наслаждением он ломал и Захарьина, по доброте душевной говорившего с Солдатенковым в том смысле, чтоб платить Чернышевскому помесячно (200 рублей) ввиду расточительности Ольги Сократовны. «Вы были одурачены наглостью человека, которого ум расстроен пьянством», — писал Чернышевский, и, пуская в ход весь аппарат своей поржавелой, скрипучей, но все такой же извилистой логики, сначала мотивировал свою досаду тем, что его считают вором, желавшим наживать капитал, а затем объяснял, что гнев его был, собственно, напоказ, ради Ольги Сократовны: «Благодаря тому, что она узнала о своем мотовстве из моего письма к Вам, и я не уступил ей, когда она просила меня смягчить выражения, конвульсий не было». Тут-то (в конце 88-го года) и подоспела еще одна небольшая рецензия — уже на десятый том Вебера. Страшное состояние его души, уязвленное самолюбие, старческую взбалмошность и последние, безнадежные попытки перекричать тишину (что гораздо труднее, чем даже попытка Лира перекричать бурю), — все это надобно помнить, когда читаешь сквозь его очки рецензию на внутренней стороне бледно-земляничной обложки «Вестника Европы»: «...к сожалению, из предисловия оказывается, что русский переводчик только в первых шести томах оставался верным своим простым обязанностям переводчика, но уже с шестого тома он сам возложил на себя новую обязанность...

“очищать” Вебера. Едва ли можно быть признательным ему за подобный перевод с “переодеванием” автора, и притом столь авторитетного, как Вебер».

«Казалось бы, — замечает тут Страннолюбский (несколько путая метафоры), — что этим небрежным пинком судьба достойно завершила цепь возмездий, которую она ковала ему». Но это не так. Нам остается на рассмотр еще одна — самая страшная, и самая совершенная, и самая последняя казнь.

Из всех безумцев, рвавших в клочья жизнь Чернышевского, худшим был его сын; конечно — не младший, Михаил, который жизнь прожил смирную, с любовью занимаясь тарифными вопросами (служил по железнодорожному делу): он-то вывелся из положительной отцовской цифры и сыном был добрым, — ибо в то время, как его блудный брат (получается нравоучительная картинка) выпускал (1896—98 гг.) свои «Рассказы-фантазии» и сборник никчемных стихов, он набожно начинал свое монументальное издание произведений Николая Гавриловича, которое почти довел до конца, когда в 1924 году, окруженный всеобщим уважением, умер — лет через десять после того, как Александр скоропостижно скончался в грешном Риме, в комнатке с каменным полом, объясняясь в нечеловеческой любви к итальянскому искусству и крича в пылу дикого вдохновения, что, если бы люди его послушали, жизнь пошла бы иначе, иначе! Сотворенный словно из всего того, чего отец не выносил, Саша, едва выйдя из отрочества, пристрастился ко всему диковинному, сказочному, непонятному современникам, — зачитывался Гофманом и Эдгаром По, увлекался чистой математикой, а немного позже — один из первых в России — оценил французских «проклятых поэтов». Отец, прозябая в Сибири, не мог следить за развитием сына (воспитывавшегося у Пыпиных), а то, что узнавал, толковал по-своему, тем более что от него скрывали душевную болезнь Саши. Понемногу, однако, чистота этой математики стала Чернышевского раздражать, — и можно легко себе представить, с какими чувствами юноша читал длинные отцовские письма, начинающиеся с подчеркнуто-добродушной шутки, а затем (как разговоры того чеховского героя, который приступал так

хорошо, — старый студент, мол, неисправимый идеалист...) завершавшиеся яростной руганью; его бесила эта математическая страсть не только как проявление неполезного: измываясь над всякой новизной, отставший от жизни Чернышевский отводил душу на всех новаторах, чудаках и неудачниках мира.

Добрейший Пыпин в январе 75-го года посылает ему в Вилюйск прикрашенный образ сына-студента, сообщая ему и то, что может быть приятно создателю Рахметова (Саша, дескать, заказал металлический шар в полпуда для гимнастики), и то, что должно быть лестно всякому отцу: со сдержанной нежностью Пыпин, вспоминая свою молодую дружбу с Николаем Гавриловичем (которому был многим обязан), рассказывает о том, что Саша так же неловок, угловат, как отец, так же смеется громогласно с дискантовыми тонами... Вдруг осенью 77-го года Саша поступает в Невский пехотный полк, но, не доехав до действующей армии, заболевает тифом (в его постоянных несчастьях своеобразно сказывается наследие отца, у которого все ломалось, все выпадало из рук). По возвращении в Петербург он поселился один, давал уроки, печатал статьи по теории вероятности. С 82-го года его душевный недуг обострился, и неоднократно приходилось его помещать в лечебницу. Он боялся пространства или, точнее, боялся соскользнуть в другое измерение, — и, чтоб не погибнуть, все держался за верную, прочную, в эвклидовых складках, юбку Пелагеи Николаевны Фан-дер-Флит (рожденной Пыпиной).

От Чернышевского, переехавшего в Астрахань, продолжали это скрывать. С каким-то истязательским упорством, с чопорной черствостью, под стать преуспевшему буржуа Диккенсова или Бальзакова производства, он в письмах называет сына «нелепой чудачиной», «нищенствующим чудаком» и упрекает его в желании «оставаться нищим». Наконец Пыпин не выдержал и с некоторой горячностью объяснил двоюродному брату, что если Саша и не стал «расчетливым и холодным дельцом», он зато «нажил чистую, честную душу».

И вот Саша приехал в Астрахань. Николай Гаврилович увидел эти лучистые глаза навыкате, услышал эту странную, уклончивую речь... Поступив на службу к керосинщи-

ку Нобелю и получив доверенность на сопровождение по Волге груза на барже, Саша по пути, в знойный, нефтяной, сатанинский полдень, сбил с головы бухгалтера фуражку, бросил в радужную воду ключи и уехал домой в Астрахань. Тем же летом появились в «Вестнике Европы» четыре его стихотворения; таланта проблеск в них есть: «Если жизнь покажется горькой, — (кстати, обратим внимание на мнимо добавочный слог, "жизень", — что чрезвычайно характерно для неуравновешенных русских поэтов из горемык: как бы знак того, что в жизни у них как раз и недостает того, что могло бы превратить ее в песнь), — то, ее не коря, рассуди — ведь ты сам виноват, что родился с теплым, любящим сердцем в груди. Если ж ты не захочешь сознаться даже в столь очевидной вине...» (вот только эта строка звенит по-настоящему).

Совместное житье отца и сына было совместным адом. Чернышевский доводил Сашу до мучительных бессонниц нескончаемыми своими наставлениями (как «материалист» он имел изуверскую смелость полагать, что главная причина Сашиного расстройства — «жалкое материальное положение»), и сам так страдал, как даже не страдал в Сибири. Обоим вздохнулось легче, когда зимой Саша уехал — сперва, кажется, в Гейдельберг с семьей ученика, потом в Петербург «по надобности посоветоваться с медиками». Мелкие, ложносмешные несчастья продолжали сыпаться на него. Так, из письма матери (88-й год) узнаем, что покамест «Саша изволил прогуливаться, дом, в котором он жил, сгорел», причем сгорело и все, что было у него; и уже совершенным бобылем он переселился на дачу Страннолюбского (отца критика?).

В 89-м году Чернышевский получил разрешение переехать в Саратов. Какие бы чувства он при этом ни испытывал, они все равно были отравлены несносной семейной заботой: Саша, у которого всегда была болезненная страсть к выставкам, вдруг предпринял сумасброднейшую и счастливейшую поездку на пресловутую парижскую Exposition universelle[1], — сначала застряв в Берлине, куда пришлось ему выслать деньги на имя консула, с просьбой отправить

---

[1] Всемирная выставка *(фр.)*.

его назад; какое! получив деньги, Саша добрался до Парижа, нагляделся «на дивное колесо, на гигантскую ажурную башню» — и опять очутился без гроша.

Лихорадочная работа Чернышевского над глыбами Вебера (превращавшая его мозг в каторжный завод и являвшаяся, в сущности, величайшей насмешкой над человеческой мыслью) не покрывала неожиданных расходов, — и, день-деньской диктуя, диктуя, диктуя, он чувствовал, что больше не может — что историю мира не может больше обращать в рубли, — а тут еще мучил панический страх, что из Парижа Саша нагрянет в Саратов. 11 октября он написал сыну, что мать ему посылает деньги на возвращение в Петербург, и — в который раз — посоветовал ему взять любую службу и исполнять все, что начальство велит делать: «Твои невежественные, нелепые назидания начальству не могут быть терпимы никакими начальниками» (так завершилась «тема прописей»). Продолжая дергаться и бормотать, он запечатал конверт и сам пошел на вокзал письмо отправить. По городу кружил жестокий ветер, который на первом же углу и продул легко одетого, торопящегося, сердитого старичка. На другой день, несмотря на жар, он перевел восемнадцать страниц убористого шрифта; 13-го хотел продолжать, но его уговорили бросить; 14-го у него начался бред: «Инга, инк... — (вздох), — совсем я расстроен... С новой строки... Если бы послать в Шлезвиг-Гольштейн тысяч тридцать шведского войска, оно легко разобьет все силы датчан и овладеет... всеми островами, кроме разве Копенгагена, который будет защищаться упорно, но в ноябре, в скобках поставьте девятого числа, сдался и Копенгаген — точка с запятой; шведы превратили все население датской столицы в светлое серебро, отослали в Египет энергических людей патриотических партий... Да-с, да-с, так где ж это... С новой строки...» Так он бредил долго, от воображаемого Вебера перескакивая на какие-то воображаемые свои мемуары, кропотливо рассуждая о том, что «самая маленькая судьба этого человека решена, ему нет спасения... В его крови найдена хоть микроскопическая частичка гноя, судьба его решена...». О себе ли он говорил, в себе ли почувствовал эту частичку, тайно испортившую все то, что он за жизнь свою сделал и испытал? Мыслитель,

труженик, светлый ум, населявший свои утопии армией стенографистов, — он теперь дождался того, что его бред записал секретарь. В ночь на 17-е с ним был удар, — чувствовал, что язык во рту какой-то толстый; после чего вскоре скончался. Последними его словами (в 3 часа утра, 16-го) было: «Странное дело: в этой книге ни разу не упоминается о Боге». Жаль, что мы не знаем, какую именно книгу он про себя читал.

Теперь он лежал, окруженный мертвыми томами Вебера; всем под руку попадался футляр с очками.

Шестьдесят один год минуло с того 1828 года, когда появились в Париже первые омнибусы и когда саратовский священник записал у себя в молитвеннике: «Июля 12-го дня поутру в 3-м часу родился сын Николай... Крещен поутру 13-го пред обеднею. Восприемники: протоиерей Фед. Стеф. Вязовский...» Эту фамилию впоследствии Чернышевский дал главному герою-чтецу своих сибирских новелл, — и, по странному совпадению, так или почти так (Ф. В.........ский) подписался неизвестный поэт, поместивший в журнале «Век» (1909 год, ноябрь) стихи, посвященные, по имеющимся у нас сведениям, памяти Н. Г. Чернышевского, — скверный, но любопытный сонет, который мы тут приводим полностью:

Что скажет о тебе далекий правнук твой,
то славя прошлое, то запросто ругая?
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая
могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?

Что подвиг твой не зря свершался, — труд сухой
в поэзию добра попутно обращая
и белое чело кандальника венчая
одной воздушною и замкнутой чертой?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Спустя недели две после выхода «Жизни Чернышевского» отозвалось первое, бесхитростное эхо. Валентин Линев (Варшава) написал так:

«Новая книга Бориса Чердынцева открывается шестью стихами, которые автор почему-то называет сонетом (?),

а засим следует вычурно-капризное описание жизни известного Чернышевского.

Чернышевский, рассказывает автор, был сыном "добрейшего протоиерея" (но когда и где родился, не сказано), окончил семинарию, а когда его отец, прожив святую жизнь, вдохновившую даже Некрасова, умер, мать отправила молодого человека учиться в Петербург, где он сразу, чуть ли не на вокзале, сблизился с тогдашними "властителями дум", как их звали, Писаревым и Белинским. Юноша поступил в университет, занимался техническими изобретениями, много работал и имел первое романтическое приключение с Любовью Егоровной Лобачевской, заразившей его любовью к искусству. После одного столкновения на романтической почве с каким-то офицером в Павловске он, однако, принужден вернуться в Саратов, где делает предложение своей будущей невесте, на которой вскоре и женится.

Он возвращается в Москву, занимается философией, участвует в журналах, много пишет (роман "Что нам делать"), дружит с выдающимися писателями своего времени. Постепенно его затягивает революционная работа, и после одного бурного собрания, где он выступает совместно с Добролюбовым и известным профессором Павловым, тогда еще совсем молодым человеком, Чернышевский принужден уехать за границу. Некоторое время он живет в Лондоне, сотрудничая с Герценом, но затем возвращается в Россию и сразу арестован. Обвиненный в подготовке покушения на Александра Второго, Чернышевский приговорен к смерти и публично казнен.

Вот вкратце история жизни Чернышевского, и все обстояло бы отлично, если б автор не нашел нужным снабдить свой рассказ о ней множеством ненужных подробностей, затемняющих смысл, и всякими длинными отступлениями на самые разнообразные темы. А хуже всего то, что, описав сцену повешения и покончив со своим героем, он этим не удовлетворяется и на протяжении еще многих неудобочитаемых страниц рассуждает о том, что было бы, если бы, — что, если бы Чернышевский, например, был не казнен, а сослан в Сибирь, как Достоевский.

Автор пишет на языке, имеющем мало общего с русским. Он любит выдумывать слова. Он любит длинные запутанные фразы, как например: “Их сортирует (?) судьба в предвидении нужд (!!) биографа”, или вкладывает в уста действующих лиц торжественные, но не совсем грамотные сентенции, вроде: “Поэт сам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять его вдохновением”».

Почти одновременно с этой увеселительной рецензией появился отзыв Христофора Мортуса (Париж), — так возмутивший Зину, что с тех пор у нее таращились глаза и напрягались ноздри всякий раз, как упоминалось это имя.

«Говоря о новом молодом авторе, — (тихо писал Мортус), — обыкновенно испытываешь чувство некоторой неловкости: не собьешь ли его, не повредишь ли ему слишком “скользящим” замечанием? Мне кажется, что в данном случае бояться этого нет основания. Годунов-Чердынцев новичок, правда, но новичок крайне самоуверенный, и сбить его, вероятно, нелегко. Не знаю, предвещает ли какие-либо дальнейшие “достижения” только что вышедшая книга, но если это начало, то его нельзя признать особенно утешительным.

Оговорюсь. Собственно, совершенно неважно, удачно ли или нет произведение Годунова-Чердынцева. Один пишет лучше, другой хуже, и всякого в конце пути поджидает Тема, которой “не избежит никто”. Вопрос, мне кажется, совсем в другом. Безвозвратно прошло то золотое время, когда критика или читателя могло в первую очередь интересовать “художественное” качество или точная степень талантливости книги. Наша литература, — я говорю о настоящей, “несомненной” литературе, — люди с безошибочным вкусом меня поймут, — сделалась проще, серьезнее, суше, — за счет искусства, может быть, но зато (в некоторых стихах Циповича, Бориса Барского, в прозе Коридонова...) зазвучала такой печалью, такой музыкой, таким “безнадежным” небесным очарованием, что, право же, не стоит жалеть о “скучных песнях земли”.

Сама по себе затея написать книжку о выдающемся деятеле шестидесятых годов ничего предосудительного

в себе не содержит. Ну, написал, ну, вышла в свет, — выходили в свет и не такие книги. Но общее настроение автора, "атмосфера" его мысли, внушает странные и неприятные опасения. Я не стану говорить о том, насколько своевременно или нет появление такой книги. Что ж, — никто не может запретить человеку писать о чем ему угодно! Но мне кажется, — и не я один так чувствую, — что в основе произведения Годунова-Чердынцева лежит нечто, по существу глубоко бестактное, нечто режущее и оскорбительное... Его право, конечно (хотя и с этим можно было бы поспорить), так или иначе отнестись к "шестидесятникам", но, "разоблачая" их, он во всяком чутком читателе не может не возбудить удивления и отвращения. Как это все некстати! как это все невпопад! Постараюсь уточнить. Из-за того, что именно сейчас, именно сегодня производится эта безвкусная операция, тем самым задевается то значительное, горькое, трепетное, что зреет в катакомбах нашей эпохи. О, разумеется, — "шестидесятники", и в частности Чернышевский, высказывали немало ошибочного и, может быть, смешного в своих литературных суждениях. Кто в этом не грешен, да и не такой уж это грех... Но в общем "тоне" их критики сквозила какая-то истина, — истина, которая, как это ни кажется парадоксально, стала нам близка и понятна именно сегодня, именно сейчас. Я говорю не о нападках на взяточников и не о женской эмансипации... Дело не в этом, конечно! Мне кажется, что я буду верно понят (поскольку вообще другой может быть понят), если скажу, что в каком-то последнем и непогрешимом смысле наши и их требования совпадают. О, я знаю, — мы тоньше, духовнее, "музыкальнее", и наша конечная цель, — под тем сияющим черным небом, под которым струится жизнь, — не просто "община" или "низвержение деспота". Но и нам, как и им, Некрасов и Лермонтов, особенно последний, ближе, чем Пушкин. Беру именно этот простейший пример, потому что он сразу определяет наше с ними свойство, если не родство. То холодноватое, хлыщеватое, "безответственное", что ощущалось ими в некоторой части пушкинской поэзии, слышится и нам. Мне могут возразить, что мы умнее, восприимчивее... Не спорю; но, в сущности, ведь дело вовсе не

в “рационализме” Чернышевского (или Белинского, или Добролюбова, имена и даты тут роли не играют), а в том, что тогда, как и теперь, люди, духовно передовые, понимали, что одним “искусством”, одной “лирой” сыт не будешь. Мы, изощренные, усталые правнуки, тоже хотим прежде всего человеческого; мы требуем ценностей, необходимых душе. Эта “польза” возвышеннее, может быть, но в каком-то отношении даже и насущнее той, которую проповедовали они.

Я отклонился от прямой темы моей статьи. Но ведь иногда можно гораздо точнее и подлиннее высказаться, бродя “около темы”, в ее плодотворных окрестностях... В сущности говоря, разбор всякой книги нелеп и бесцелен, да кроме того, нас занимает не выполнение “авторского задания” и не самое даже “задание”, а лишь отношение к нему автора.

И еще: так ли уж нужны эти экскурсии в область прошлого с их стилизованными дрязгами и искусственно оживленным бытом? Кому важно знать, как Чернышевский вел себя с женщинами? В наше горькое, нежное, аскетическое время нет места для такого рода озорных изысканий, для праздной литературы, не лишенной к тому же какого-то надменного задора, который самого благосклонного читателя может только оттолкнуть».

После этого посыпалось. Профессор Пражского университета Анучин (известный общественный деятель, человек сияющей нравственной чистоты и большой личной смелости: это был тот профессор Анучин, который в 1922 году, незадолго до высылки, когда наганно-кожаные личности пришли его арестовать, но, заинтересовавшись коллекцией древних монет, замешкались с его уводом, — спокойно сказал, указав на часы: «Господа, история не ждет») напечатал в толстом журнале, выходившем в Париже, обстоятельный разбор «Жизни Чернышевского».

«В прошлом году, — (писал он), — вышла замечательная книга проф. Боннского университета Отто Ледерера (Otto Lederer) “Три Деспота (Александр Туманный, Николай Хладный, Николай Скучный)”. Движимый страстной любовью к свободе человеческого духа и горячей ненавистью к попиравшим его, автор бывал в иных своих оценках

несправедлив, — вовсе не учтя, например, того пафоса российской государственности, который мощной плотью облек символ трона; но излишний пыл и даже ослепление в процессе порицания зла всегда понятнее и простительнее, чем малейшая насмешка, как бы она ни была остроумна, над тем, что ощущается обществом как объективное благо. Однако именно этот второй путь, путь эклектической язвительности, избран господином Годуновым-Чердынцевым в его трактовке жизни и творчества Н. Г. Чернышевского.

Автор, несомненно, основательно и по-своему добросовестно ознакомился с предметом; несомненно также, что у него талантливое перо: некоторые высказываемые им мысли и сопоставления мыслей, несомненно, находчивы; но со всем этим его книга отвратна. Попробуем спокойно разобраться в этом впечатлении.

Взята известная эпоха, и выбран один из ее представителей. Но усвоено ли автором понятие "эпоха"? Нет. Прежде всего у него совершенно не чувствуется сознание той классификации времени, без коей история превращается в произвольное вращение пестрых пятен, в какую-то импрессионистическую картину с фигурой пешехода вверх ногами на несуществующем в природе зеленом небе. Но в этом приеме (уничтожающем, кстати сказать, всякую научную ценность данного труда, несмотря на щегольскую эрудицию) все-таки не главная ошибка автора. Главная его ошибка в том, как он изображает Чернышевского.

Совсем не важно, что Чернышевский хуже разбирался в вопросах поэзии, чем современный молодой эстет. Совсем не важно, что в своей философской концепции он чуждался тех трансцендентальных тонкостей, которые господину Годунову-Чердынцеву приятны. А важно то, что, каков бы ни был взгляд Чернышевского на искусство и науку, это было мировоззрение передовых людей его эпохи, неразрывно к тому же связанное с развитием общественной мысли, с ее жаром и благотворной деятельной силой. Вот в этом аспекте, при этом единственно правильном свете, строй мыслей Чернышевского приобретает значительность, далеко превышающую смысл тех беспочвен-

ных, ничем не связанных с эпохой шестидесятых годов доводов, которыми орудует господин Годунов-Чердынцев, ядовито высмеивая своего героя.

Но издевается он, впрочем, не только над героем, — издевается он и над читателем. Как иначе квалифицировать то, что среди известных авторитетов приводится авторитет несуществующий, к которому автор будто апеллирует? В каком-то смысле можно было бы если не простить, то по крайней мере научно понять глумление над Чернышевским, если бы господин Годунов-Чердынцев был горячим сторонником именно тех, кто Чернышевского преследовал. Это была бы по крайней мере какая-то точка зрения, и, читая рассматриваемый труд, читатель делал бы постоянную поправку на партийную точку зрения автора, тем самым добывая себе истину. Но горе в том, что у господина Годунова-Чердынцева не на что сделать поправку, а точка зрения — "всюду и нигде"; мало того, — как только читателю кажется, что, спускаясь по течению фразы, он наконец вплыл в тихую заводь, в область идей, противных идеям Чернышевского, но кажущихся автору положительными, а потому могущих явиться некоторой опорой для читательских суждений и руководства, автор дает ему неожиданного щелчка, выбивает из-под его ног мнимую подставку, так что опять неизвестно, на чьей же стороне господин Годунов-Чердынцев в своем походе на Чернышевского, — на стороне ли поклонников искусства для искусства, или правительства, или каких-то других врагов Чернышевского, читателю неизвестных. Что же касается издевательства над самим героем, тут автор переходит всякую меру. Нет такой отталкивающей подробности, которой он бы погнушался. Он, вероятно, ответит, что все эти подробности находятся в "Дневнике" молодого Чернышевского; но там они на своем месте, в своей среде, в должных порядке и перспективе, среди многих других мыслей и чувств, гораздо их ценнейших. Но автор выудил и сложил именно их, как если бы кто-нибудь пожелал восстановить образ человека путем лишь кропотливого собирания обрезков его волос, ногтей и телесных выделений.

Иными словами, автор на протяжении всей своей книги всласть измывается над личностью одного из чистейших,

доблестнейших сынов либеральной России, — не говоря о попутных пинках, которыми он награждает других русских передовых мыслителей, уважение к которым является в нашем сознании имманентной частью их исторической сущности. В его книге, находящейся абсолютно вне гуманитарной традиции русской литературы, а потому вне литературы вообще, фактической неправды нет (если не считать вышеприведенного "Страннолюбского", двух-трех сомнительных мелочей да нескольких описок), но та "правда", которая в ней заключается, хуже самой пристрастной лжи, ибо такая правда идет вразрез с той благородной и целомудренной правдой (отсутствие которой лишает историю того, что великий грек назвал "тропотос"), которая является одним из неотъемлемых сокровищ русской общественной мысли. В наши дни, слава Богу, книг на кострах не сжигают, но приходится признать, что, если бы такой обычай еще существовал, книга господина Годунова-Чердынцева могла бы справедливо считаться первой кандидаткой в площадное топливо».

Затем в альманахе «Башня» выступил Кончеев. Он начал с того, что привел картину бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающиеся уносят с собой все, что успевают схватить, причем непременно кто-нибудь тащит с собой большой, в раме, портрет давно забытого родственника. «Вот таким портретом, — (писал Кончеев), — является для русской интеллигенции и образ Чернышевского, который был стихийно, но случайно унесен в эмиграцию, вместе с другими, более нужными вещами», — и этим Кончеев объяснял stupéfaction[1], вызванную появлением книги Федора Константиновича («кто-то вдруг взял и отнял портрет»). Далее, покончив раз навсегда с соображениями идейного порядка и принявшись за рассмотрение книги как произведения искусства, Кончеев стал хвалить ее так, что, читая, Федор Константинович почувствовал, как вокруг его лица собирается некое горячее сияние, а по рукам бежит ртуть. Статья заканчивалась следующими словами: «Увы! За рубежом вряд ли наберется и десяток людей, способных оценить огонь и прелесть этого сказочно-остро-

[1] Изумление *(фр.)*.

умного сочинения; и я бы утверждал, что сейчас в России и одного ценителя не найдется, не доведись мне знать о существовании целых двух таких, одного живущего на Петербургской стороне, другого — где-то в далекой ссылке».

Монархический орган «Восшествие» посвятил «Жизни Чернышевского» заметку, в которой указывалось, что всякий смысл и ценность разоблачения «одного из идеологических дядек большевизма» совершенно подрывается «дешевым либеральничанием автора, всецело переходящего на сторону своего плачевного, но вредного героя, как только долготерпеливый Русский Царь наконец ссылает его в места не столь отдаленные». «И вообще, — добавлял автор заметки, Петр Левченко, — давным-давно пора бросить писать о каких-то там жестокостях "царистского режима" по отношению к никому не интересным "светлым личностям". Красное масонство только обрадуется "труду" господина Годунова-Чердынцева. Прискорбно, что носитель такой фамильи занимается воспеванием "общественных идеалов", давно обратившихся в грошовые идолы».

В «большевизанствующей» газете «Пора» (это была та, которую берлинская «Газета» неизменно называла «рептилией»), в статье о праздновании столетней годовщины рождения Чернышевского, в конце говорилось так: «В богоспасаемой нашей эмиграции тоже зашевелились: некто Годунов-Чердынцев с армейской развязностью поспешил сбить книжонку, натаскав туда материала откуда ни попало и выдав свой гнусный поклеп за "Жизнь Чернышевского". Какой-то пражский профессор поспешил найти эту работу "талантливой и добросовестной", и все дружно подхватили. Написана она лихо и по своему внутреннему стилю ничем не отличается от васильевских передовиц о "близком конце большевизма"».

Последнее было особенно мило в связи с тем, что в своей «Газете» Васильев решительно воспротивился какому-либо упоминанию о книге Федора Константиновича, причем честно сказал ему (хотя тот ни о чем не спрашивал), что, не будь он с ним в добрых отношениях, поместил бы такую статью, после которой от автора «Жизни Чернышевского» «мокрого места бы не осталось». Словом, вокруг

книги создалась хорошая, грозовая атмосфера скандала, повысившая на нее спрос, а вместе с тем, несмотря на нападки, имя Годунова-Чердынцева сразу, как говорится, выдвинулось и, поднявшись над пестрой бурей критических толков, утвердилось у всех на виду, ярко и прочно. Но был один человек, мнение которого Федор Константинович уже узнать не мог. Александр Яковлевич Чернышевский умер незадолго до выхода книги.

Когда однажды французского мыслителя Delalande на чьих-то похоронах спросили, почему он не обнажает головы (ne se découvre pas), он отвечал: «Я жду, чтобы смерть начала первая» (qu 'elle se découvre la première). В этом есть метафизическая негалантность, но смерть большего не стоит. Боязнь рождает благоговение, благоговение ставит жертвенник, его дым восходит к небу, там принимает образ крыл, и склоненная боязнь к нему обращает молитву. Религия имеет такое же отношение к загробному состоянию человека, какое имеет математика к его состоянию земному: то и другое только условия игры. Вера в Бога и вера в цифру: местная истина, истина места. Я знаю, что смерть сама по себе никак не связана с внежизненной областью, ибо дверь есть лишь выход из дома, а не часть его окрестности, какой является дерево или холм. Выйти как-нибудь нужно, «но я отказываюсь видеть в двери больше, чем дыру да то, что сделали столяр и плотник» (Delalande, «Discours sur les ombres», p. 45 et ante). Опять же: несчастная маршрутная мысль, с которой давно свыкся человеческий разум (жизнь в виде некоего пути), есть глупая иллюзия: мы никуда не идем, мы сидим дома. Загробное окружает нас всегда, а вовсе не лежит в конце какого-то путешествия. В земном доме вместо окна — зеркало; дверь до поры до времени затворена; но воздух входит сквозь щели. «Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующей раскрыться нам по распаде тела, это — освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии» (там же, стр. 64). Но все это только символы, символы, которые

становятся обузой для мысли в то мгновение, как она приглядится к ним...

Нельзя ли как-нибудь понять проще, духовно удовлетворительнее, без помощи сего изящного афея, как и без помощи популярных верований? Ибо в религии кроется какая-то подозрительная общедоступность, уничтожающая ценность ее откровений. Если в небесное царство входят нищие духом, представляю себе, как там весело. Достаточно я их перевидал на земле. Кто еще составляет небесное население? Тьма кликуш, грязных монахов, много розовых близоруких душ протестантского, что ли, производства, — какая смертная скука! У меня высокая температура четвертый день, и я уже не могу читать. Странно, мне раньше казалось, что Яша всегда около меня, что я научился общению с призраками, а теперь, когда я, может быть, умираю, эта вера в призраки мне кажется чем-то земным, связанным с самыми низкими земными ощущениями, а вовсе не открытием небесной Америки.

Как-нибудь проще. Как-нибудь проще. Как-нибудь сразу! Одно усилие — и все пойму. Искание Бога: тоска всякого пса по хозяине; дайте мне начальника, и я поклонюсь ему в огромные ноги. Все это земное. Отец, директор гимназии, ректор, хозяин предприятия, царь, Бог. Цифры, цифры, — и ужасно хочется найти самое-самое большое число, дабы все другие что-нибудь значили, куда-нибудь лезли. Нет, этим путем упираешься в ватные тупики, — и все становится неинтересным.

Конечно, я умираю. Эти клещи сзади, эта стальная боль совершенно понятны. Смерть берет за бока, подойдя сзади. А я ведь всю жизнь думал о смерти, и если жил, то жил всегда на полях этой книги, которую не умею прочесть. Кто это был? Давным-давно в Киеве... Как его звали, Боже мой? Брал в библиотеке книгу на неизвестном ему языке, делал на ней пометки и оставлял лежать, чтобы гость думал: знает по-португальски, по-арамейски. Ich habe dasselbe getan[1]. Счастье, горе — восклицательные знаки en marge[2], а контекст абсолютно неведом. Хорошее дело.

[1] Я сделал то же самое *(нем.)*.

[2] На полях *(фр.)*.

Страшно больно покидать чрево жизни. Смертный ужас рождения. L'enfant qui naît ressent les affres de sa mère[1]. Бедный мой Яшенька! Очень странно, что, умирая, я удаляюсь от него, когда, казалось бы, напротив, — всё ближе, ближе... Его первое слово было: муха. И сразу потом — звонок из полиции: опознать тело. Как я его теперь оставлю? В этих комнатах... Некому будет являться — в обоих смыслах. Она ведь все равно не увидит... Бедная Сашенька. Сколько? Пять тысяч восемьсот... И еще те... итого... А потом? Боря поможет, — а может быть, и не поможет.

...Ничего, в общем, в жизни и не было, кроме подготовки к экзамену, к которому все равно подготовиться нельзя. «Ужу, уму — равно ужасно умирать». Неужели все мои знакомые это проделают? Невероятно! Eine alte Geschichte[2]: название фильма, который мы с Сашей смотрели накануне его смерти.

О, нет. Ни за что. Она может уговаривать сколько угодно. Или это она вчера уговаривала? Или давным-давно? Ни в какие больницы меня не увезут. Я буду здесь лежать. Довольно было больниц. Опять сойти с ума перед самым концом, — нет, ни за что. Я останусь здесь. Как трудно ворочать мысли: бревна. Я слишком плохо себя чувствую, чтобы умирать.

«О чем он писал книгу, Саша? Ну скажи, ты помнишь! Говорили об этом. О каком-то священнике, — нет? Ну, ты никогда ничего... Плохо, трудно...»

После этого он уже почти не говорил, впав в состояние сумеречное; Федор Константинович был допущен к нему и навсегда запомнил седую щетину на впалых щеках, потускневшую лысину и руку в серой экземе, шевелившуюся как рак на простыне. На другой день он умер, но перед тем пришел в себя, жаловался на мучения и потом сказал (в комнате было полутемно из-за спущенных штор): «Какие глупости. Конечно, ничего потом нет». Он вздохнул, прислушался к плеску и журчанию за окном и повторил

---

[1] Ребенок, появляющийся на свет, чувствует муки своей матери *(фр.)*.

[2] Старая история *(нем.)*.

необыкновенно отчетливо: «Ничего нет. Это так же ясно, как то, что идет дождь».

А между тем за окном играло на черепицах крыш весеннее солнце, небо было задумчиво и безоблачно, и верхняя квартирантка поливала цветы по краю своего балкона, и вода с журчанием стекала вниз.

В витрине похоронного бюро на углу Кайзераллее была выставлена в виде приманки (как Кук выставляет модель Пульмана) макета крематорской постановки: ряды стульчиков перед крохотной кафедрой, на них сидящие куколки величиной с согнутый мизинец, и впереди, немножко отдельно, можно было различить вдовицу по квадратному сантиметру платочка, поднятого к лицу. Немецкая соблазнительность этой макетки всегда смешила Федора Константиновича, а потому было слегка противно войти в крематорий настоящий, где из-под лавров в кадках по-настоящему опускался при звуках многопудовой органной музыки гроб с телом в образцовую преисподнюю, прямо в печь. Чернышевская платка не держала, а сидела неподвижно и прямо, с мерцающими сквозь черный флер глазами. У друзей и знакомых было на лицах обычное в таких случаях настороженное выражение: подвижность зрачков при некоторой напряженности шейных мускулов. Адвокат Чарский искренне сморкался; Васильев, имевший, как общественный деятель, большой траурный опыт, внимательно следил за паузами пастора (Александр Яковлевич в последнюю минуту оказался лютеранином). Инженер Керн бесстрастно поблескивал стеклами пенснэ; Горяинов все высвобождал из воротничков полную шею, но до покашливания не доходил; дамы, бывавшие у Чернышевских, сидели все вместе; вместе сидели и писатели — Лишневский, Шахматов, Ширин; было много людей, Федору Константиновичу незнакомых, — например, чопорный господин с белокурой бородкой и необыкновенно красными губами (кажется, двоюродный брат покойного) да какие-то немцы, с цилиндрами на коленях, деликатно сидевшие в последнем ряду.

По окончании церемонии присутствующие должны были, по замыслу крематорского распорядителя, подходить по одному к вдове со словами соболезнования, но Федор

Константинович решил этого избежать и вышел на улицу. Все было мокро, солнечно и как-то обнаженно-ярко; на черном, отороченном молодой травой футбольном поле девочки в трусиках занимались гимнастикой. За серым с гуттаперчевым отливом куполом крематория виднелись бирюзовые вышки мечети, а по другую сторону площади блестели зеленые луковки белой, псковского вида, церкви, недавно выросшей вверх из углового дома и казавшейся почти обособленной благодаря зодческому камуфляжу. На террасе у входа в парк два скверных бронзовых боксера, тоже недавно поставленных, застыли в позах, совершенно противных взаимной гармонии кулачного боя: вместо его собранно-горбатой, кругло-мышечной грации получились два голых солдата, повздорившие в бане. С открытого места за деревьями пущенный змей высоко в лазури стоял румяным ромбиком. С удивлением, с досадой, Федор Константинович замечал невозможность остановить свою мысль на образе только что испепеленного, испарившегося человека; он старался сосредоточиться, представить себе недавнюю теплоту их живых отношений, но душа не желала шевелиться, а лежала, сонная и зажмуренная, довольная своей клеткой. Заторможенный стих из «Короля Лира», состоящий целиком из пяти «never»[1], — вот все, что ему приходило на ум. «Ведь я никогда его не увижу больше», — несамостоятельно думал он, — но этот прутик ломался, души не сдвинув. Он старался думать о смерти, и вместо этого думал о том, что мягкое небо, с бледной и нежной, как сало, полосой улегшегося слева облака было бы похоже на ветчину, будь голубизна розовостью. Он старался представить себе какое-то продление Александра Яковлевича за углом жизни — и тут же примечал, как за стеклом чистильно-гладильной под православной церковью с чертовской энергией, с избытком пара, словно в аду, мучат пару плоских мужских брюк. Он старался в чем-то покаяться перед Александром Яковлевичем, хотя бы в дурной мальчишеской мысли, мелькавшей прежде (о неприятном сюрпризе, который он ему готовил своей книгой), — и вдруг вспоминал пошлый пустяк: как Щеголев говорил по какому-то поводу:

[1] Никогда *(англ.)*.

«Когда у меня умирают добрые знакомые, невольно думаю, что они там похлопочут о моей здешней судьбе, — го-го-го!» Это было смутное, слепое состояние души, непонятное ему, как вообще все было непонятно, от неба до желтого трамвая, гремевшего по раскату Гогенцоллерндама (по которому некогда Яша Чернышевский ехал на смерть), но постепенно досада на самого себя проходила, и с каким-то облегчением — точно ответственность за его душу принадлежала не ему, а кому-то знающему, в чем дело, — он чувствовал, что весь этот переплет случайных мыслей, как и все прочее, швы и просветы весеннего дня, неровности воздуха, грубые, так и сяк скрещивающиеся нити неразборчивых звуков — не что иное, как изнанка великолепной ткани, с постепенным ростом и оживлением невидимых ему образов на ее л и ц е в о й стороне.

Он очутился около бронзовых боксеров, вокруг которых на клумбе зыблились бледные с черным анютины глазки, личиками похожие несколько на Чарли Чаплина, и сел на ту скамейку, где ночами раза два сиживал с Зиной, — ибо за последнее время какое-то беспокойство вынесло их далеко за пределы тихой, темной улицы, где они укрывались сначала. По соседству сидела женщина, вязавшая на спицах; рядом с ней маленький ребенок, весь в голубой шерсти, сверху кончавшейся помпоном на колпачке, а снизу штрипочками, утюжил скамейку игрушечным танком, в кустах кричали воробьи, изредка все вместе совершавшие налеты на газон, на бронзу; липко пахло тополевыми почками, а далеко за площадью круглый крематорий имел теперь сытый, облизанный вид. Издали Федор Константинович мог видеть маленькие фигуры расходившихся... он даже различил, как кто-то подвел Александру Яковлевну к макетному автомобилю (завтра нужно будет зайти к ней), и как у остановки трамвая набралась кучка знакомых, как их скрыл остановившийся на мгновение трамвай, и как с легкостью фокуса они исчезли по отводе заслонки.

Федор Константинович собрался было восвояси, когда его сзади окликнул шепелявый голос: он принадлежал Ширину, автору романа «Седина» (с эпиграфом из книги Иова), очень сочувственно встреченного эмигрантской критикой. («Господи, отче — —? По Бродваю, в лихорадочном

шорохе долларов, гетеры и дельцы в гетрах, дерясь, падая, задыхаясь, бежали за золотым тельцом, который, шурщащими боками протискиваясь между небоскребами, обращал к электрическому небу изможденный лик свой и выл. В Париже, в низкопробном притоне, старик Лашез, бывший пионер авиации, а ныне дряхлый бродяга, топтал сапогами старуху проститутку Буль-де-Сюиф. Господи, отчего — —? Из московского подвала вышел палач и, присев у конуры, стал тюлюкать мохнатого щенка: "Махонький, — приговаривал он, — махонький..." В Лондоне лорды и лэди танцовали джимми и распивали коктайль, изредка посматривая на эстраду, где на исходе восемнадцатого ринга огромный негр нок-оутом уложил на ковер своего белокурого противника. В арктических снегах, на пустом ящике из-под мыла сидел путешественник Эриксен и мрачно думал: "Полюс или не полюс?.." Иван Червяков бережно обстригал бахрому единственных брюк. Господи, отчего Вы дозволяете все это?»). Сам Ширин был плотный, коренастый человек, с рыжеватым бобриком, всегда плохо выбритый, в больших очках, за которыми, как в двух аквариумах, плавали два маленьких, прозрачных глаза, совершенно равнодушных к зрительным впечатлениям. Он был слеп как Мильтон, глух как Бетховен и глуп как бетон. Святая ненаблюдательность (а отсюда — полная неосведомленность об окружающем мире — и полная неспособность что-либо именовать) — свойство, почему-то довольно часто встречающееся у русского литератора-середняка, словно тут действует некий благотворный рок, отказывающий бесталанному в благодати чувственного познания, дабы он зря не изгадил материала. Бывает, конечно, что в таком темном человеке играет какой-то собственный фонарик, — не говоря о том, что известны случаи, когда по прихоти находчивой природы, любящей неожиданные приспособления и подмены, такой внутренний свет поразительно ярок — на зависть любому краснощекому таланту. Но даже Достоевский всегда как-то напоминает комнату, в которой днем горит лампа.

Сейчас, идя вместе с Шириным через парк, Федор Константинович бескорыстно наслаждался смешной мыслью, что его спутник — глухой слепец с заткнутыми ноздрями,

но к этому состоянию относится совершенно равнодушно, хотя иногда не прочь наивно вздохнуть о разобщенности интеллигента с природой: недавно Лишневский рассказывал, что Ширин назначил ему деловое свидание в Зоологическом саду и, когда, после часового разговора, Лишневский случайно обратил его внимание на клетку с гиеной, обнаружилось, что тот едва ли сознавал, что в Зоологическом саду бывают звери, а вскользь посмотрев на клетку, машинально заметил: «Плохо, плохо наш брат знает мир животных», — и сразу продолжал обсуждать то, что его особенно в жизни волновало: деятельность и состав правления Общества Русских Литераторов в Германии. И теперь он находился в крайней степени этого волнения, так как «назревало некоторое событие».

Председателем правления был Георгий Иванович Васильев, да и все предопределяло это: его досоветская известность, многолетняя редакторская деятельность, а главное — та непреклонная почти грозная честность, которой имя его славилось; дурной же характер, полемическая резкость и, при громадном общественном опыте, полное незнание людей честности этой не только не вредили, а, наоборот, — придавали ей некую приятную терпкость. Недовольство Ширина было направлено не против него, а против остальных пяти членов правления — во-первых, потому, что ни один (как, впрочем, и две трети всего состава Союза) не имел профессионального касательства к перу, а во-вторых, потому, что трое из них (в том числе казначей и товарищ председателя) были — если не прямыми мошенниками, как пристрастно утверждал Ширин, — то, во всяком случае, ф и л о м е л а м и в своих стыдливых, но изобретательных делах. Вот уже несколько времени, как началась довольно забавная (по мнению Федора Константиновича) и абсолютно неприличная (по терминологии Ширина) история с кассой Союза. Всякий раз, как поступало от какого-нибудь члена прошение о пособии или ссуде (различие между коими было приблизительно такое, как между арендой на девяносто девять лет и пожизненным владением), начиналась погоня за этой кассой, делавшейся при попытке ее нагнать до странности текучей и беспредметной, словно она всегда находилась где-то на полпути между тремя

точками, представляемыми казначеем и двумя членами правления. Погоня затруднялась тем, что Васильев давно с этими тремя членами не разговаривал, отказываясь даже сноситься с ними письменно, и последнее время выплачивал ссуды и пособия из собственных средств, предоставляя другим добывать деньги из Союза для возвращения ему. В конце концов деньги эти по кусочкам выцарапывались, но тогда оказывалось, что казначей у кого-то взял в долг, так что призрачное состояние казны от этого не менялось. Члены Союза, особенно часто обращавшиеся за помощью, начали заметно нервничать. Через месяц созывалось общее собрание, и Ширин подготовил к нему план решительного действия.

«Было время, — сказал он, шагая с Федором Константиновичем по аллее и машинально следуя ее лукаво ненавязчивому завороту, — было время, когда в правление нашего Союза входили все люди высокопорядочные, вроде Подтягина, Лужина, Зиланова, но одни умерли, другие в Париже. Каким-то образом просочился Гурман, а затем постепенно втащил приятелей. Для этой тройки полная апатия добрейших — я ничего не говорю, — но совершенно инертных Керна и Горяинова (это же две глиняные глыбы!) — только прикрытие, блиндаж. А натянутые отношения с Георгием Ивановичем являются залогом и его бездеятельности. Во всем этом виноваты мы, члены Союза. Если бы не наша лень, беспечность, неорганизованность, равнодушное отношение к Союзу, вопиющая неприспособленность к общественной работе, то никогда бы не случилось, что из года в год Гурман со товарищи выбирали себя самих или себе удобных. Пора положить этому конец. На ближайших выборах будет, как всегда, циркулировать их список... А мы тут пустим наш, стопроцентно профессиональный: председатель Васильев, товарищ председателя Гец, члены: Лишневский, Шахматов, Владимиров, вы и я, — ну и ревизионную комиссию составим по-новому, тем более что Беленький и Чернышевский из нее выбыли».

«Нет уж, пожалуйста, — сказал Федор Константинович (мельком полюбовавшись ширинским определением смерти), — на меня не рассчитывайте. Ни в какие правления никогда в жизни не войду».

«Перестаньте! — воскликнул Ширин, поморщившись. — Это недобросовестно».

«Напротив, очень добросовестно. И вообще — если я член Союза, то это по рассеянности. Честно говоря, Кончеев прав, что держится от всего этого в стороне».

«Кончеев, — сказал Ширин сердито. — Кончеев — никому не нужный кустарь-одиночка, абсолютно лишенный каких-либо общих интересов. А вы уж потому должны интересоваться судьбой Союза, что, простите за прямоту, берете оттуда деньги».

«Вот именно, вот именно! Сами понимаете, что если войду в правление, то выдавать себе самому будет невозможно».

«Что вы фантазируете? Почему невозможно? Это вполне законная процедура. Будете просто вставать и удаляться в уборную, на минуту превращаясь, так сказать, в рядового члена, пока обсуждается коллегами ваше прошение. Все это пустые отговорки, которые вы сейчас придумали».

«Как ваш новый роман? — спросил Федор Константинович. — Подходит к концу?»

«Дело сейчас не в моем романе. Я вас очень прошу дать свое согласие. Нужны молодые силы. Этот список мы с Лишневским обдумывали без конца».

«Ни за что, — сказал Федор Константинович. — Не хочу валять дурака».

«Ну, если вы называете общественный долг валянием дурака...»

«Если войду в правление, то валять буду непременно, так что отказываюсь как раз из уважения к долгу».

«Очень печально, — сказал Ширин. — Неужели придется вместо вас взять Ростислава Странного?»

«Конечно! Чудно! Обожаю Ростислава».

«Я, собственно, его отложил для ревизионной комиссии. Есть еще, конечно, Буш... Но вы все-таки еще подумайте. Дело не пустяковое. Будет настоящее сражение с этими разбойниками. Я такое выступление готовлю, что ой-ё-ёй. Подумайте, подумайте, у вас есть еще целый месяц».

За этот месяц вышла книга Федора Константиновича и успело появиться два-три отзыва о ней, так что на общее

собрание он отправился с приятным чувством, что увидит там не одного врага-читателя. Происходило оно, как всегда, в верхнем помещении большого кафе, и, когда он пришел, все уже были в сборе. Феноменально проворный кельнер со стреляющими глазами разносил пиво и кофе. За столиками расположились члены Союза. Чистые литераторы теснились вместе, и уже слышалось энергичное «псст, псст» Шахматова, которому подали не то, что он заказал. В глубине, за длинным столом, сидело правление: грузный, чрезвычайно мрачный Васильев, с инженером Керном и Горяиновым одесную и тремя другими ошую. Керн, занимавшийся главным образом турбинами, но когда-то близко знавший Александра Блока, и бывший чиновник бывшего департамента Горяинов, прекрасно читавший «Горе от Ума», а также диалог Иоанна с литовским послом (причем великолепно подделывал польский акцент), держались с тихим достоинством, давно, впрочем, предав своих трех неправедных коллег. Из этих Гурман (ударение на первом слоге) был толстый, лысый человек, с кофейным родимым пятном в полчерепа, большими покатыми плечами и презрительно-обиженным выражением на толстых, лиловатых губах. Его прикосновенность к литературе исчерпывалась недолгим и всецело коммерческим отношением к какому-то немецкому издательству технических справочников; главной же темой его личности, фабулой его существования, была спекуляция, — особенно он увлекался советскими векселями. Рядом с ним сидел маленький, но крепко-упругий присяжный поверенный, с выдающейся челюстью, волчьим огоньком в правом глазу (другой был от природы прищурен) и целым складом металла во рту, — человек бойкий, горячий, своего рода бретер, постоянно привлекавший людей к третейскому суду, причем об этом говорил (я его вызвал, он отказался) с чеканной суровостью испытанного дуэлянта. Второй приятель Гурмана, рыхлый, серый, томный, в роговых очках, похожий всем обликом на мирную жабу, которая желает только одного — чтобы ее оставили совершенно в покое на сыром месте, — когда-то куда-то давал заметки по экономическим вопросам, — хотя злоязычный Лишневский даже и в этом ему отказывал, клянясь, что единственным его печатным произведением

было письмо в редакцию одесской газеты, в котором он возмущенно отмежевывался от неблаговидного однофамильца, оказавшегося впоследствии его родственником, затем — его двойником, и наконец — им самим, словно тут действовал неотвратимый закон капельного притяжения и слияния.

Федор Константинович сел между Шахматовым и Владимировым, около широкого окна, за которым мокро чернела блестящая ночь, со световыми рекламами двух оттенков (на большее число не хватило берлинского воображения), озонно-лазурного и портвейно-красного, и с гремящим, многооконным, отчетливо-быстро озаренным снутри электрическим поездом, скользившим над площадью по виадуку, в пролеты которого внизу тыкался и все не мог найти лазейку медленный, скрежещущий трамвай.

Между тем председатель правления встал и предложил выбрать председателя собрания, и тогда с разных мест понеслось: «Краевич, просим, Краевич...» — и профессор Краевич (ничего общего не имевший с составителем учебника физики, — он был профессором международного права), подвижный, угловатый старик в вязаном жилете и разлетающемся пиджаке, необычайно быстро, держа левую руку в кармане штанов, а правой подкидывая пенснэ на шнурке, пронесся к столу президиума, опустился между Васильевым и Гурманом (который медленно и угрюмо вкручивал папиросу в янтарный мундштук), тотчас вытянулся опять и объявил собрание открытым.

«Интересно бы знать, — подумал Федор Константинович, искоса взглянув на Владимирова, — прочел ли он уже?..» Владимиров опустил свой стакан и посмотрел на Федора Константиновича, но не произнес ничего. Под пиджаком у него был спортивный свэтер с оранжево-черной каймой по вырезу, убыль волос по бокам лба преувеличивала его размеры, крупный нос был, что называется, с костью, неприятно блестели серовато-желтые зубы из-под слегка приподнятой губы, глаза смотрели умно и равнодушно, — кажется, он учился в Оксфорде и гордился своим псевдобританским пошибом. Он уже был автором двух романов, отличных по силе и скорости зеркального

слога, раздражавшего Федора Константиновича потому, может быть, что он чувствовал некоторое с ним родство. Как собеседник Владимиров был до странности непривлекателен. О нем говорили, что он насмешлив, высокомерен, холоден, не способен к оттепели приятельских прений, — но так говорили и о Кончееве, и о самом Федоре Константиновиче, и о всяком, чья мысль живет в собственном доме, а не в бараке или кабаке.

Когда выбран был и секретарь, профессор Краевич предложил почтить память двух скончавшихся членов Союза вставанием; во время этого пятисекундного оцепенения оглашенный кельнер окидывал глазами столики, забыв, кто ему заказал принесенный им на подносе бутерброд с ветчиной. Каждый стоял как мог. Гурман, например, опустив пегую голову, держал руку ладонью вверх на столе, так, словно выплеснул кости и сокрушенно замер над проигрышем.

«Алло! Хир!» — крикнул Шахматов, с трудом дождавшись того мгновения, когда, с грохотом облегчения, жизнь уселась опять, — и тогда кельнер, быстро подняв указательный палец (вспомнил), скользнул к нему и со звоном поставил тарелку на поддельный мрамор. Шахматов немедленно стал резать бутерброд, крестообразно держа нож и вилку; на краю тарелки желтая нашлепка горчицы подняла, как это обычно бывает, желтый свой рог. Покладисто-наполеоновское лицо Шахматова, с голубовато-стальной прядью, идущей косо к виску, особенно нравилось Федору Константиновичу в эти его гастрономические минуты. Рядом с ним сидел и пил чай с лимоном, сам очень лимонный, с печально приподнятыми бровями, сатирик из «Газеты», псевдоним которого, Фома Мур, содержал, по собственному его заверению, «целый французский роман, страничку английской литературы и немножко еврейского скептицизма». Ширин чинил карандаш над пепельницей, — весьма обиженный на Федора Константиновича за отказ «фигурировать» в избирательном списке. Из литераторов тут был еще Ростислав Странный — страшноватый господин с браслеткой на волосатой кисти, — и пергаментная, с вороными волосами поэтесса Анна Аптекарь, и театральный критик — тощий, своеобразно тихий молодой

человек, с каким-то неуловимо дагерротипным оттенком русских сороковых годов во всем облике, — и, конечно, добрейший Буш, отечески поглядывавший на Федора Константиновича, который, вполуха слушая отчет председателя Союза, теперь перешел взглядом от Буша, Лишневского, Ширина и других сочинителей к общей гуще присутствующих, среди которых было несколько журналистов, вроде старичка Ступишина, въедавшегося ложечкой в клин кофейного торта, и много репортеров, и одиноко сидевшая, неизвестно по какому признаку здесь находившаяся Любовь Марковна, в пугливо блестевшем пенснэ, и вообще большое количество тех, которых Ширин пристрастно называл «пришлым элементом»: представительный адвокат Чарский, державший в белой, всегда дрожащей руке четвертую за это время папиросу; какой-то маленький бородатый мытарь, когда-то напечатавший некролог в бундистском журнальчике; нежный, бледный старик, на вкус напоминавший яблочную пастилу, с увлечением отправлявший должность регента церковного хора; громадный, загадочный толстяк, живший отшельником в сосновом лесу под Берлином, чуть ли не в пещере, и там составивший сборник советских анекдотов; отдельная группа скандалистов, самолюбивых неудачников; приятный молодой человек, неизвестного состояния и назначения («чекист», просто и мрачно говорил Ширин); еще одна дама — чья-то бывшая секретарша; ее муж — брат известного издателя; и все эти люди, начиная от безграмотного оборванца, с тяжелым, пьяным взглядом, пишущего обличительно-мистические стихи, которые еще ни одна газета не согласилась напечатать, и кончая отвратительно маленьким, почти портативным присяжным поверенным Пышкиным, который произносил в разговоре с вами: «Я не дымаю» и «Сымасшествие», — словно устраивая своей фамилье некое алиби, — все они, по мнению Ширина, роняли достоинство Союза и подлежали немедленному изгнанию.

«Засим, — сказал Васильев, кончив свой отчет, — довожу до сведения собрания, что слагаю с себя обязанности председателя Союза и баллотироваться в новое правление не буду».

Он сел. Потянуло холодком. Гурман в изнеможении печали смежил тяжелые веки. Электрический поезд проскользил смычком по басистой струне.

«Далее следует... — сказал профессор Краевич, подняв к глазам пенснэ и смотря в повестку, — отчет казначея. Прошу».

Упругий сосед Гурмана, взяв сразу вызывающий тон, сверкая здоровым глазом и мощно кривя набитый драгоценностями рот, стал читать... посыпались, как искры, цифры, запрыгали металлические слова: «вступили в отчетный год...», «заприходовано...», «обревизовано...», — а Ширин между тем на обороте папиросной коробки быстро начал что-то отмечать, подытожил и победоносно переглянулся с Лишневским.

Дочитав, казначей закрыл со щелком рот, а поодаль уже вырос член ревизионной комиссии, грузинский социалист, с выщербленным оспой лицом, с черными, как сапожная щетка, волосами, и вкратце изложил свои благоприятные впечатления. После этого попросил слова Ширин, и сразу пахнуло чем-то приятным, тревожным и неприличным.

Он сначала придрался к тому, что расход по новогоднему балу непонятно велик; Гурман хотел ответить... председатель, нацелившись карандашом в Ширина, спросил, кончил ли он... «Дайте высказаться, нельзя комкать!» — крикнул Шахматов с места, — и председательский карандаш, трепеща как жало, нацелился в него, снова затем вернувшись к Ширину, который, впрочем, поклонился и сел. Гурман, тяжело встав, презрительно и покорно неся горестное бремя, заговорил... но Ширин вскоре его прервал, и Краевич схватился за колокольчик. Гурман кончил, после чего мгновенно попросил слова казначей, но Ширин уже встал и продолжал: «Объяснение достопочтенного джентльмена с Фридрихштрассе...» — председатель позвонил и просил умерить выражения, пригрозив лишить слова. Ширин опять поклонился и сказал, что у него только один вопрос: в кассе, по словам казначея, находится три тысячи семьдесят шесть марок пятнадцать пфеннигов, — можно на эти деньги сейчас взглянуть?

«Браво», — крикнул Шахматов, — и наименее привлекательный член Союза, мистический поэт, захохотал, захло-

пал в ладоши, чуть не упал со стула. Казначей, побледнев до снегового блеска, стал быстро и дробно говорить... Пока он говорил, прерываемый невозможными восклицаниями с мест, некто Шуф, худой, бритый господин, чем-то похожий на индейца, покинул свой угол, незаметно на резиновых подошвах подошел к столу правления и вдруг по нему шмякнул красным кулаком, так что даже подскочил звоночек. «Вы лжете!» — заорал он и снова уселся.

Скандал уже выпирал отовсюду, причем, к огорчению Ширина, обнаружилось, что есть еще одна партия желающих захватить власть, а именно та группа вечно обойденных, в которую входил и мистик, и господин индейского вида, и маленький бородач, и еще несколько худосочных и неуравновешенных господ, из которых один вдруг начал читать по бумажке список лиц — совершенно неприемлемых, — из которых предлагал составить новое правление. Бой принял новый оборот, довольно запутанный, так как было теперь три воюющих стороны. Летали такие выражения, как «спекулянт», «вы не дуэлеспособны», «вас уже били»... Говорил даже Буш, говорил, перекрикивая оскорбительные возгласы, ибо из-за природной темноты его стиля никто не понимал, что он хочет сказать, пока он сам не объяснил, садясь, что всецело присоединяется к мнению предыдущего оратора. Гурман, усмехаясь одними ноздрями, занимался своим мундштуком. Васильев покинул свое место и, сев в угол, делал вид, что читает газету. Лишневский произнес громовую речь, направленную главным образом против члена правления, похожего на мирную жабу, который при этом только разводил руками и обращал беспомощный взгляд к Гурману и к казначею, старавшимся не смотреть на него. Наконец, когда поэт-мистик, шатко встав и качаясь, с многообещающей улыбкой на потном, буром лице, начал говорить стихами, председатель бешено зазвонил и объявил перерыв, после которого долженствовало приступить к выборам. Ширин метнулся к Васильеву и принялся его уговаривать в углу, а Федор Константинович, почувствовав внезапную скуку, нашел свой макинтош и выбрался на улицу.

Он сердился на себя: ради этого дикого дивертисмента пожертвовать всегдашним, как звезда, свиданием с Зиной!

Желание тотчас ее увидеть его мучило своей парадоксальной неосуществимостью: не спи она в двух с половиной саженях от его изголовья, доступ к ней был бы легче. Потянулся по виадуку поезд: зевок дамы, начавшийся в освещенном окне головного вагона, был закончен другою — в последнем. Федор Константинович тихо пошел к трамвайной остановке, вдоль маслянисто-черной, трубящей улицы. Световая реклама мюзик-холла взбегала по ступеням вертикально расположенных букв, они погасали разом, и снова свет карабкался вверх: какое вавилонское слово достигло бы до небес... сборное название триллиона тонов: бриллиантоволуннолилитовосизолазоревогрозносапфиристосинелилово, и так далее — сколько еще! Может быть, попробовать позвонить? Всего гривенник в кармане, и надо решить: позвонить — все равно значило бы лишить себя трамвая, но позвонить впустую, т. е. не попасть на самое Зину (звать ее через мать не допускалось кодексом), и вернуться пешком, — было бы чересчур обидно. Рискну. Он вошел в пивную, позвонил, и все кончилось очень быстро: получил неправильный номер, попав как раз туда, куда постоянно пытался попасть анонимный русский, постоянно попадавший к Щеголевым. Что ж, — пешедралом, как сказал бы Борис Иванович.

На следующем углу автоматически заработал при его приближении кукольный механизм проституток, всегда староживших там. Одна даже изобразила даму, замешкавшуюся у витрины, и было грустно думать, что эти розовые корсеты на золотых болванках она знает наизусть, наизусть... «Дусенька», — сказала другая с вопросительным смешком. Ночь была теплая, с пылью звезд. Он шел скорым шагом, и обнаженной голове было как-то дурманно-легко от ночного воздуха, — и когда дальше он проходил садами, наплывали привидения сиреней, темнота зелени, чудные голые запахи, стлавшиеся по газону.

Ему было жарко, горел лоб, когда он наконец, тихо защелкнув за собой дверь, очутился в темной прихожей. Верхняя, тускло-стеклянная, часть Зининой двери походила на озаренное море: она, должно быть, читала в постели, — и пока Федор Константинович стоял и смотрел на это таинственное стекло, она кашлянула, шуркнула чем-то,

и — свет потух. Какая нелепая пытка. Войти, войти... Кто бы узнал? Люди, как Щеголевы, спят бесчувственным, простонародным, стопроцентным сном. Зинина щепетильность: ни за что не отопрет на звон ногтя. Но она знает, что я стою в темной передней и задыхаюсь. Эта запретная комната стала за последние месяцы болезнью, обузой, частью его самого, но раздутой и опечатанной: пневматораксом ночи.

Он постоял — и на носках пробрался к себе. В общем — французские чувства. Фома Мур. Спать, спать — тяжесть весны совершенно бездарна. Взять себя в руки: монашеский каламбур. Что дальше? Чего мы, собственно, ждем? Все равно лучшей жены не найду. Но нужна ли мне жена вообще? «Убери лиру, мне негде повернуться...» Нет, она этого никогда не скажет, — в том-то и штука.

А через несколько дней, просто и даже глуповато, наметилось разрешение задачи, казавшейся столь сложной, что невольно спрашивалось: нет ли в ее построении ошибки? Борис Иванович, у которого за последние годы дела шли все хуже, весьма неожиданно получил от берлинской фирмы солиднейшее представительство в Копенгагене. Через два месяца, к первому июля, надо было переселяться туда, по крайней мере на год, а может быть, и навсегда, если дело пойдет успешно. Марианне Николаевне, почему-то любившей Берлин (насиженное место, прекрасные санитарные условия, — сама-то она была грязнющая), уезжать было грустно, но когда она думала об усовершенствованиях быта, ожидавших ее, грусть рассеивалась. Таким образом, было решено, что с июля Зина останется одна в Берлине, продолжая служить у Траума, покамест Щеголев «не подыщет ей службы» в Копенгагене, куда она и приедет «по первому вызову» (т. е. это Щеголевы так думали, — Зина решила совсем, совсем иначе). Оставалось урегулировать вопрос квартиры. Продавать ее Щеголевым не хотелось, так что они стали искать, кому бы ее сдать. Нашли. Какой-то молодой немец с большим коммерческим будущим, в сопровождении невесты, — простоватой, ненакрашенной, хозяйственно-коренастой девицы в зеленом пальто, осмотрел квартиру — столовую, спальни, кухню, Федора Константиновича в постели, — и остался доволен. Однако

квартиру он брал только с первого августа, так что еще в течение месяца после отъезда Щеголевых Зина и жилец могли в ней оставаться. Они считали дни: полсотни, сорок девять, тридцать, двадцать пять, — каждая из этих цифр имела свое лицо: улей, сорока на дереве, силуэт рыцаря, молодой человек. Их вечерние встречи вышли из берегов первоначальной улицы (фонарь, липа, забор) еще весной, а теперь расширяющимися кругами беспокойное блуждание уводило их в далекие и никогда не повторявшиеся углы города. То это был мост над каналом, то трельяжный боскет в парке, за которым пробегали огни, то немощеная улица вдоль туманных пустынь, где стояли темные фургоны, то какие-то странные аркады, которых днем было не отыскать. Изменения навыков перед миграцией, волнение, томная боль в плечах.

Газеты определили молодое еще лето как исключительно жаркое, и действительно — это было длинное многоточие прекрасных дней, прерываемое изредка междометием грозы. В то время как Зина изнемогала от зловонной жары в конторе (пропотевший под мышками пиджак Хамекке один чего стоил... а топленые шеи машинисток... а липкая чернота угольной бумаги!), Федор Константинович с раннего утра уходил на весь день в Груневальд, забросив уроки и стараясь не думать о давно просроченном платеже за комнату. Никогда прежде он не вставал в семь утра, это бы казалось чудовищным, — но теперь при новом свете жизни (в котором как-то смешались возмужание дара, предчувствие новых трудов и близость полного счастья с Зиной) он испытывал прямое наслаждение от быстроты и легкости этих ранних вставаний, от вспышки движения, от идеальной простоты трехсекундного одевания: рубашка, штаны и тапки на босу ногу, — после чего он забирал под мышку плед, свернув в него купальные трусики, совал в карман на ходу апельсин, бутерброд, и вот уже сбегал по лестнице.

Отвернутый половик держал дверь в широко отворенном положении, покамест швейцар энергично выбивал пыльный мат о ствол невинной липы: чем я заслужила битье? Асфальт еще был в синей тени от домов. На панели блестела первая свежая собачья куча. Вот из соседних ворот

осторожно выехал и повернул по пустой улице черный погребальный автомобиль, стоявший вчера у починочной мастерской, и в нем, за стеклом, среди белых искусственных роз, лежал на месте гроба велосипед: чей? почему? Молочная была уже открыта, но еще спал ленивый табачник. Солнце играло на разнообразных предметах по правой части улицы, выбирая, как сорока, маленькие блестящие вещи; а в ее конце, где шел поперек широкий лог железной дороги, вдруг появилось с правой стороны моста разорвавшееся о его железные ребра облако паровозного дыма, тотчас забелелось опять с другой и прерывисто побежало в просветах между деревьями. Проходя затем по этому мосту, Федор Константинович, как всегда, был обрадован удивительной поэзией железнодорожных откосов, их вольной и разнообразной природой: заросли акаций и лозняка, дикая трава, пчелы, бабочки, — все это уединенно и беспечно жило в резком соседстве угольной сыпи, блестевшей внизу, промеж пяти потоков рельсов, и в блаженном отчуждении от городских кулис наверху, от облупившихся стен старых домов, гревших на утреннем солнце татуированные спины. За мостом, около скверика, двое пожилых почтовых служащих, покончив с проверкой марочного автомата и вдруг разыгравшись, на цыпочках, один за другим, один подражая жестам другого, из-за жасмина подкрались к третьему, с закрытыми глазами, кротко и кратко, перед трудовым днем, сомлевшему на скамье, чтобы цветком пощекотать ему нос. Куда мне девать все эти подарки, которыми летнее утро награждает меня — и только меня? Отложить для будущих книг? Употребить немедленно для составления практического руководства: «Как быть Счастливым»? Или глубже, дотошнее: понять, ч т о скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным, зеленым гримом листвы? А что-то ведь есть, что-то есть! И хочется благодарить, а благодарить некого. Список уже поступивших пожертвований: 10 000 дней — от Неизвестного.

Он шел дальше, мимо чугунных оград, мимо глубоких садов банкирских вилл, с гротовыми тенями, буксом, плющом, газонами в бисере поливки, — и там уже попадались, среди ильмов и лип, первые сосны, высланные далеко вперед груневальдским бором (или, напротив: отставшие

от полка?). Звонко посвистывая и поднимаясь (в гору) на педалях своего трехколесного велосипеда, проехал рассыльный пекарни; медленно, с влажным шорохом, прополз водометный автомобиль — кит на колесах, широко орошая асфальт. Некто с портфелем захлопнул за собой выкрашенную в вермилион калитку и отправился на неведомую службу. По его пятам Федор Константинович вышел на бульвар (все тот же Гогенцоллерндам, в начале которого сожгли бедного Александра Яковлевича), и там, сверкнув замком, портфель побежал к трамваю. Теперь до леса было уже близко, и он ускорил шаг, уже чувствуя горячую маску солнца на приподнятом лице. В глазах рябило от частокола, мимо которого он шел. На вчерашнем пустырьке между домами строилась небольшая вилла, и так как небо глядело в провалы будущих окон, и лопухи да солнце, по случаю медленности работ, успели устроиться внутри белых недоконченных стен, они отдавали задумчивостью развалин, вроде слова «некогда», которое служит и будущему и былому. Навстречу Федору Константиновичу прошла молоденькая, с бутылкой молока, девица, похожая чем-то на Зину — или, вернее, содержавшая частицу того очарования — и определенного и вместе безотчетного, — которое он находил во многих, но с особенной полнотой в Зине, так что все они были с Зиной в какой-то таинственной родственной связи, о которой он знал один, хотя совершенно не мог выразить признаки этого родства (вне которого находившиеся женщины вызывали в нем болезненное отвращение), — и теперь, оглянувшись и уловив какую-то давно знакомую, золотую, летучую линию, тотчас исчезнувшую навсегда, он мельком почувствовал наплыв безнадежного желания, вся прелесть и богатство которого были в его неутолимости. Банальный бес бульварных блаженств, не соблазняй меня страшным словцом «мой тип». Не это, не это, а что-то за этим. Определение всегда есть предел, а я домогаюсь далей, я ищу за рогатками (слов, чувств, мира) бесконечность, где сходится все, все.

В конце бульвара зазеленелась опушка бора, с пестрым портиком недавно выстроенного павильона (в атриуме которого находился ассортимент уборных — мужских, жен-

ских, детских), через который — по замыслу местных Ленотров — следовало пройти, чтобы сначала попасть в только что разбитый сад, с альпийской флорой вдоль геометрических дорожек, служивший — все по тому же замыслу — приятным преддверием к лесу. Но Федор Константинович взял влево, избежав преддверия: так было ближе. Сосновая, еще дикая опушка тянулась без конца вдоль автомобильной аллеи, но был неизбежен следующий шаг со стороны отцов города: загородить весь этот свободный доступ бесконечной решеткой, так чтобы портик стал входом по необходимости (в буквальнейшем, первоначальном смысле). Я для тебя устроил казисто, но ты не прельстился; так теперь изволь: казисто, казенно, приказ. Но (по обратному скачку мысли: ф3—г1) вряд ли было лучше, когда этот лес — теперь отступивший, теперь теснившийся вокруг озера, как у нас, отдалившихся от мохнатых предков, растительность постепенно остается лишь по бережкам, — простирался до самого сердца теперешнего города, и рыскало по его дебрям громкое княжеское хамье, с рогами, псами, загонщиками.

Лес, каким я его застал, был еще живым, богатым, полным птиц. Попадались иволги, голуби, сойки; пролетала ворона, пыхтя крыльями: хшу, хшу, хшу; красноголовый дятел стучал в сосновый ствол, — а иногда, полагаю, лишь подражал собственному стуку, и тогда выходило особенно звонко и убедительно (для самочки); ибо ничего нет более обворожительно-божественного в природе, чем ее вспыхивающий в неожиданнейших местах остроумный обман: так, лесной кузнечик (заводящий свой маленький мотор, все не могущий завестись: цик-цик-цик — обрывается), прыгнув и упав, сразу меняет положение тела, поворачивая его так, чтобы направление темных полосок на нем совпадало с направлением палых иголок (и теней иголок!). Но осторожно: люблю вспоминать, что писал мой отец: «При наблюдении происшествий в природе надобно остерегаться того, чтобы в процессе наблюдения, пускай наивнимательнейшего, наш рассудок, этот болтливый, вперед забегающий драгоман, не подсказал объяснения, незаметно начинающего влиять на самый ход наблюдения и искажающего его: так на истину ложится тень инструмента».

Дай руку, дорогой читатель, и войдем со мной в лес. Смотри: сначала — сквозистые места, с островками чертополоха, крапивы или царского чая, среди которых попадаются отбросы: иногда даже рваный матрац со сломанными ржавыми пружинами, — не брезгуй ими! Вот — темный, частый ельничек, где однажды я набрел на ямку (бережно вырытую перед смертью), в которой лежал, удивительно изящно согнувшись, лапы к лапам, труп молодой, тонкомордой собаки волчьих кровей. А вот — голые, без подлеска, только бурыми иглами выстланные, бугры под простоватыми соснами, с протянутым гамаком, наполненным чьим-то нетребовательным телом, — и проволочный остов абажура валяется тут же на земле. Дальше — песчаная проплешина, окруженная акациями, и там, на горячем, сером, прилипчивом песке, сидит, протянув страшные босые ноги, в одном белье женщина и штопает чулок, а около нее возится младенец, с почерневшими от пыли пашками. Со всех этих мест еще видна проезжая аллея, пробегающий блеск автомобильных радиаторов, — но стоит проникнуть немного глубже, и лес выправляется, сосны облагораживаются, под ногами хрустит мох, и кто-нибудь, безработный бродяга, непременно тут спит, прикрыв лицо газетой: философ предпочитает мох розам. Вот точное место, где на днях упал небольшой аэроплан: некто, катая свою даму по утренней лазури, перерезвился, потерял власть над рулем и со свистом, с треском нырнул прямо в сосняк. Я пришел, к сожалению, с опозданием: обломки успели убрать, два полицейских верхами ехали шагом к дороге, — но еще был заметен отпечаток удалой смерти под соснами, одна из коих была сверху донизу обрита крылом, и архитектор Штокшмайсер с собакой объяснял няне с ребенком, что произошло, — а еще через несколько дней всякие следы пропали (только желтела рана на сосновом стволе), и уже в полном неведении на этом самом месте двое, старик и его старуха, она — в лифчике, он — в подштанниках, делали друг перед другом несложную гимнастику.

Дальше становилось совсем хорошо: сосны входили в полную силу, и между розоватыми чешуйчатыми стволами низкая перистая листва рябин и крепкая зелень дубов оживленно дробили полосоватость борового солнца.

В густоте дуба, если смотреть снизу, взаимное перекрытие листьев теневых и освещенных, темно-зеленых и ярко-изумрудных, казалось особенным сцеплением их волнистых краев, и на них садилась, то нежа в блеске свой рыжий шелк, то плотно складывая крылья, вырезная ванесса, с белой скобочкой на диком исподе, и, вдруг снявшись, садилась ко мне на голую грудь, привлеченная человеческим потом. А еще выше, над моим запрокинутым лицом, верхи и стволы сосен сложно обменивались тенями, и хвоя напоминала водоросли, шевелящиеся в прозрачной воде. И если еще больше запрокинуться, так, чтобы сзади трава (неизъяснимо, первозданно-сызнова позеленевшая, — с этой точки перевернутого зрения) казалась растущей куда-то вниз, в пустой прозрачный свет, и была бы верхом мира, я улавливал ощущение, которое должно поразить перелетевшего на другую планету (с другим притяжением, другой плотностью, другим образом чувств) — особенно когда проходила вверх ногами семья гуляющих, причем шаг их становился толчком упругим и странным, а подброшенный мяч казался падающим — все тише — в головокружительную бездну.

При дальнейшем продвижении вперед, — не налево, куда бор простирался без конца, и не направо, где он прерывался молоденьким березняком, свежо и по-детски попахивавшим Россией, — лес становился опять реже, терял подсед, обрывался по песчаным косогорам, и внизу зажигалось столбами света широкое озеро. Солнце разнообразно озаряло противоположные скаты, и когда от наплыва облака воздух смежался, как великое синее веко, и медленно прозревал опять, один берег всегда отставал от другого, в порядке постепенного потухания и просветления. Песчаной каймы на той стороне почти не было, деревья все вместе спускались к густым тростникам, а повыше можно было найти горячие, сухие склоны, поросшие кашкой, кислицей и молочаем, отороченные живой тьмой дубов и буков, валом валивших вниз, в сырые ложбинки, в одной из которых застрелился Яша Чернышевский.

Когда я по утрам приходил в этот лесной мир, образ которого я собственными средствами как бы приподнял над уровнем тех нехитрых воскресных впечатлений

(бумажная дрянь, толпа пикникующих), из которых состояло для берлинцев понятие «Груневальд»; когда в эти жаркие, летние будни я направлялся в его южную сторону, в глушь, в дикие, тайные места, я испытывал не меньшее наслаждение, чем если бы в этих трех верстах от моей Агамемнонштрассе находился первобытный рай. Дойдя до одного излюбленного уголка, сказочно совмещавшего свободный поток солнца и защиту кустарника, я раздевался донага и ложился навзничь на плед, подложив ненужные трусики под затылок. Благодаря сплошному загару, бронзой облившему тело, так что только пятки, ладони и лучевые черты у глаз оставались естественной масти, я чувствовал себя атлетом, тарзаном, адамом, всем чем угодно, но только не голым горожанином. Неловкость, обычно сопряженная с наготой, зависит от сознания нашей беззащитной белизны, давно утратившей связь с окраской окружающего мира, а потому находящейся в искусственной дисгармонии с ним. Но влияние солнца восполняет пробел, уравнивает нас в голых правах с природой, и уже загоревшее тело не ощущает стыда. Все это звучит как брошюрка нюдистов, — но своя правда не виновата, если с ней совпадает правда, взятая бедняком напрокат.

Солнце навалилось. Солнце сплошь лизало меня большим, гладким языком. Я постепенно чувствовал, что становлюсь раскаленно-прозрачным, наливаюсь пламенем и существую, только поскольку существует оно. Как сочинение переводится на экзотическое наречие, я был переведен на солнце. Тощий, зябкий, зимний Федор Годунов-Чердынцев был теперь от меня так же отдален, как если бы я сослал его в Якутскую область. Тот был бледным снимком с меня, а этот, летний, был его бронзовым, преувеличенным подобием. Собственное же мое я, то, которое писало книги, любило слова, цвета, игру мысли, Россию, шоколад, Зину, — как-то разошлось и растворилось, силой света сначала опрозраченное, затем приобщенное ко всему мрению летнего леса, с его атласистой хвоей и райски-зелеными листьями, с его муравьями, ползущими по преображенному, разноцветнейшему сукну пледа, с его птицами, запахами, горячим дыханием крапивы, плотским душком нагретой травы, с его небесной синевой, где высо-

ко-высоко гремел самолет, как бы подернутый синей пылью, синей сущностью тверди: он был синеват, как влажна рыба в воде.

Так можно было раствориться окончательно. Федор Константинович приподнялся и сел. По гладко выбритой груди стекал ручеек пота, впадая в водоем пупа. Впалый живот отливал коричнево и перламутрово. По блестящим черным колечкам волос нервно полз заплутавший муравей. Голени лоснились. Между пальцев ног застряли сосновые иголки. Он трусиками отер коротко остриженную голову, липкий затылок, шею. Белочка с круглой спинкой пробежала по траве, от дерева к дереву, волнисто и чуть неуклюже. Дубовые кусты, бузина, стволы сосен, — все было ослепительно пятнисто, и небольшое облако, ничем не портившее лица летнего дня, ощупью ползло мимо солнца.

Он встал, шагнул — и немедленно легкая лапа лиственной тени легла ему на левое плечо, но соскользнула при последующем шаге. Посмотрев на положение солнца, Федор Константинович перетащил плед на аршин, так чтобы тень листвы не могла на него покуситься. Двигаться нагишом было удивительным блаженством, — свобода чресел особенно веселила его. Он пошел между кустами, прислушиваясь к звону насекомых, к шорохам птиц. Королек, как мышь, скользнул в листве дубка; низко пролетела земляная оса, держа в лапках труп гусеницы; давешняя белка с прерывистым, скребущим звуком вскарабкалась по коре. Где-то невдалеке зазвучали девичьи голоса, и он остановился в пятнах тени, неподвижно застывших у него вдоль руки, но ровно содрогавшихся на левом боку, между ребер. Золотой, коренастый мотылек, снабженный двумя запятыми, сел на дубовый лист, раскрыв крыльца лодочкой, и вдруг стрельнул прочь, как золотая муха. И, как часто бывало в эти лесные дни, особливо когда мелькали знакомые бабочки, Федор Константинович представил себе уединение отца в других лесах, исполинских, бесконечно далеких, по сравнению с которыми *этот* был хворостом, пнем, дребеденью. А все-таки он переживал нечто родственное той зияющей на картах азиатской свободе, духу отцовских странствий, — и здесь труднее всего было

поверить, что, несмотря на волю, на зелень, на счастливый, солнечный мрак, отец все-таки умер.

Голоса зазвучали ближе и прошли стороной. Слепень, незаметно севший к нему на ляжку, успел обжечь тупым хоботком. Мох, мурава, песок — каждый по-своему — сообщался с босой подошвой, и по-разному солнце и тень ложились на горячий шелк тела. Чувства, обостренные вольным зноем, раздражала возможность сильвийских встреч, мифических умыканий. Le sanglot dont j'étais encore ivre[1]. Дал бы год жизни, даже високосный, чтоб сейчас была здесь Зина — или любая из ее кордебалета.

Он опять ложился плашмя, опять вставал; с бьющимся сердцем прислушивался к каким-то лукавым, невнятным, что-то обещающим звукам; затем, натянув только трусики и спрятав плед с одеждой под кустом, уходил бродить по лесу, вокруг озера.

Там и сям, в будни негусто, попадались более или менее оранжевые тела. Всматриваться он избегал, боясь перехода от Пана к Симплициссимусу. Но иногда, рядом с школьным портфелем и сверкающим велосипедом, прислоненным к стволу, лежала одинокая нимфа, раскинув обнаженные до пахов замшево-нежные ноги, заломив руки, показывая солнцу блестящие мышки; стрела соблазна едва успевала пропеть и вонзиться, как уже он замечал, что, на некотором расстоянии, в трех одинаково отдаленных точках, образующих магический треугольник вокруг (чьей?) добычи, виднеются среди стволов три неподвижных ловца, друг другу незнакомых: два молодых (этот ничком, тот на боку) и старый господин в жилете, с резинками на рукавах рубашки, плотно сидящий на траве, неподвижный, вечный, с грустными, но терпеливыми глазами; и казалось, эти три ударяющих в одну точку взгляда наконец, с помощью солнца, прожгут дырку в черном купальном трико бедной немецкой девочки, не поднимающей маслом смазанных век.

Он спускался на песчаный бережок озера и тут, в грохоте голосов, ткань очарования, которую он сам так тщательно свил, совсем разрывалась, и он с отвращением видел измятые, выкрученные, искривленные норд-остом жизни, голые и полураздетые — вторые были страшнее —

[1] Рыдание, которым я еще был опьянен *(фр.)*.

тела купальщиков (мелких мещан, праздных рабочих), шевелившихся в грязно-сером песке. Там, где береговая дорога шла вдоль этой узкой, темной губы озера, последняя была от дороги отделена кольями с замученной, провалившейся проволокой, и береговыми завсегдатаями особенно ценилось место около этих кольев — то ли потому, что на них удобно вешались штаны на своих подтяжках (а белье клалось на пыльную крапиву), то ли из-за смутно охранного ощущения ограды за спиной. Там же, где дорога поднималась выше, к озеру спускались грубо-песчаные скаты в заплатах стоптанной травы и в различных по положению солнца наплывах пегой тени от буков и сосен, несдержанно сошедших вниз.

Серые, в наростах и вздутых жилах, старческие ноги, какая-нибудь плоская ступня и янтарная, туземная мозоль, розовое, как свинья, пузо, мокрые, бледные от воды, хриплоголосые подростки, глобусы грудей и тяжелые гузна, рыхлые, в голубых подтеках, ляжки, гусиная кожа, прыщавые лопатки кривоногих дев, крепкие шеи и ягодицы мускулистых хулиганов, безнадежная, безбожная тупость довольных лиц, возня, гогот, плеск — все это сливалось в апофеоз того славного немецкого добродушия, которое с такой естественной легкостью может в любую минуту обернуться бешеным улюлюканием. И над всем этим, особенно по воскресеньям, когда теснота была всего гаже, господствовал незабываемый запах, запах пыли, пота, тины, нечистого белья, проветриваемой и сохнувшей бедности, запах вяленых, копченых, грошевых душ. Но самое озеро, с ярко-зелеными купами деревьев на той стороне и солнечной рябью посредине, держалось с достоинством.

Выбрав тайный затончик среди камышей, Федор Константинович пускался вплавь. Теплая муть воды, в глазах искры солнца. Он плавал долго, полчаса, пять часов, сутки, неделю, другую. Наконец, двадцать восьмого июня, около трех часов пополудни, он вышел на тот берег.

Выбравшись из прибрежного шпината, он сразу попал в дубраву и оттуда полез на горячий скат, где скоро обсох на солнце. Справа был буерак, заросший дубком и ежевикой. И сегодня, как всякий раз, когда он попадал сюда, Федор Константинович спустился в эту глубь, всегда

притягивавшую его, словно он был как-то повинен в гибели незнакомого юноши, застрелившегося здесь, — вот здесь. Он подумал о том, что и Александра Яковлевна сюда приходила, маленькими, в черных перчатках, руками деловито шарила между кустов... Он не знал ее тогда, не мог видеть это, — но по ее рассказу о своих многократных паломничествах чувствовал, что это было именно так: искание чего-то, шуршание, тыкающий зонтик, сияющие глаза, дрожащие от рыданий губы. Он вспомнил, как этой весной виделся с ней — в последний раз — после кончины мужа, и странное ощущение, которое он испытал, глядя на ее опущенное, не по-житейскому нахмуренное лицо, точно ее никогда раньше не видел по-настоящему, а теперь различал на этом лице сходство с ее покойным мужем, чья смерть выразилась в ней каким-то скрытым дотоле траурно-кровным родством с ним. Через день она уехала к родственникам в Ригу, — и уже теперь ее образ, рассказы о сыне, литературные вечера в ее доме, душевная болезнь Александра Яковлевича — все это отслужившее само собой смоталось, кончилось, как накрест связанный сверток жизни, который будет храниться долго, но которого никогда не развяжут опять ленивые, все откладывающие на другой день, неблагодарные руки. Его охватило паническое желание не дать этому замкнуться так и пропасть в углу душевного чулана, желание применить все это к себе, к своей вечности, к своей правде, помочь ему произрасти по-новому. Есть способ, — единственный способ.

Он поднялся по другому скату, и там, наверху, у спускавшейся опять тропинки сидел на скамейке под дубом, с медленно чертящей тростью в задумчивых руках, сутулый молодой человек в черном костюме. Как ему, должно быть, жарко, подумал голый Федор Константинович. Сидящий взглянул... Солнце, как деликатный фотограф, повернуло и слегка приподняло его лицо, бескровное лицо с широко расставленными близоруко-серыми глазами. Между углами крахмального воротничка типа «собачья радость» блеснула запонка над съехавшим узлом галстука.

«Как вы, однако, загорели, — сказал Кончеев, — вряд ли это безвредно. А где, собственно, ваша одежа?»

«Там, — ответил Федор Константинович, — на той стороне, в лесу».

«Могут украсть, — заметил Кончеев. — Недаром есть поговорка: руссак тороват, пруссак бороват».

Федор Константинович сел и сказал: «А вы знаете, где мы с вами находимся? Вон за этой ожиной, внизу, застрелился когда-то сын Чернышевских, поэт».

«А, это было здесь, — без особого любопытства проговорил Кончеев. — Что ж — его Ольга недавно вышла за меховщика и уехала в Соединенные Штаты. Не совсем улан, но все-таки...»

«Неужели вам не жарко?» — спросил Федор Константинович.

«Нисколько. У меня слабая грудь, и я всегда зябну. Но, конечно, когда сидишь рядом с голым, физически чувствуешь существование магазинов готового платья. И телу темно. Зато, мне кажется, всякая работа мысли совершенно невозможна для вас при этаком обнаженном состоянии?»

«Пожалуй, — усмехнулся Федор Константинович. — Все больше — живешь на поверхности собственной кожи...»

«В том-то и дело. Только и занимаешься обходом самого себя да слежкой за солнцем. А мысль любит занавеску, камеру обскуру. Солнце хорошо, поскольку при нем повышается ценность тени. Тюрьма без тюремщика и сад без садовника — вот, по-моему, идеал. Скажите, вы читали, что я написал о вашей книге?»

«Читал, — ответил Федор Константинович, следя за маленькой гусеницей-землемером, проверявшей, сколько дюймов на скамье между ним и соседом. — Очень даже читал. Я сначала хотел вам написать благодарственное письмо, — знаете, с трогательной ссылкой на незаслуженность и так далее, — но потом подумал, что это внесло бы нестерпимый человеческий душок в область свободного мнения. И потом, — если я что-нибудь хорошо сочинил, то я должен благодарить не вас, а себя, точно так же, как вы должны благодарить не меня, а себя за понимание этого хорошего, — правда? Если же мы начнем друг другу кланяться, то как только один из нас перестанет, другой обидится и уйдет надутым».

«Я от вас не ожидал труизмов, — проговорил Кончеев с улыбкой. — Да, все это так. Раз в жизни, только раз, я поблагодарил критика, и он ответил: “Что ж, мне действительно очень понравилось”, — вот это “действительно” меня навсегда отрезвило. Между прочим, я не все сказал о вас, что мог бы... Вас так много бранили за недостатки несуществующие, что уже мне не хотелось придраться к недостаткам, для меня несомненным. К тому же в следующем вашем сочинении вы либо отделаетесь от них, либо они разовьются в сторону своеобразных качеств, как пятнышко на зародыше превращается в глаз. Вы ведь зоолог, кажется?»

«Так, по-любительски. Но какие это недостатки? Я хотел бы проверить, совпадают ли они с теми, которые я знаю сам».

«Во-первых, — излишнее доверие к слову. У вас случается, что слова провозят нужную мысль контрабандой. Фраза, может быть, и отличная, но все-таки это — контрабанда, — и главное, зря, так как законный путь открыт. А ваши контрабандисты под прикрытием темноты слога, со всякими сложными ухищрениями, провозят товар, на который и так нет пошлины. Во-вторых, — некоторая неумелость в переработке источников: вы словно так и не можете решить, навязать ли былым делам и речам ваш стиль, или еще обострить их собственный. Я не поленился сравнить кое-какие места вашей книги с контекстом в полном издании Чернышевского, по экземпляру, которым, по-видимому, пользовались вы: я нашел между страницами ваш пепел. В-третьих, — вы иногда доводите пародию до такой натуральности, что она, в сущности, становится настоящей серьезной мыслью, и, в этом плане, вдруг дает непроизвольный перебой, который является уже собственной ужимкой, а не пародией на ужимку, хотя именно в этом роде черточки вы и выслеживаете, то есть получается так, как если кто-нибудь, пародируя неряшливое актерское чтение Шекспира, увлекся бы, загремел бы по-настоящему, но мимоходом переврал бы стих. В-четвертых, — у вас кое-где наблюдается механичность, если не машинальность, переходов, причем заметно, что вы преследуете тут свою выгоду, себе самому облегчаете путь. В одном месте,

например, таким переходом служит простой каламбур. В-пятых, наконец, — вы порой говорите вещи, рассчитанные главным образом на то, чтобы уколоть ваших современников, а ведь вам всякая женщина скажет, что ничто так не теряется, как шпильки, — не говоря уже о том, что малейший поворот моды может изъять их из употребления: подумайте, сколько повыкопано заостренных предметиков, точного назначения которых не знает ни один археолог! Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного: будущего, — который, в свою очередь, лишь отражение автора во времени. Вот, кажется, сумма моих претензий к вам, и в общем они пустячны. Они совершенно меркнут при блеске ваших достоинств, — о которых я бы тоже мог еще поговорить».

«Ну, это не так интересно», — сказал Федор Константинович, который во время этой тирады (как писали Тургенев, Гончаров, граф Салиас, Григорович, Боборыкин) кивал головой с одобрительной миной. «Вы очень хорошо определили мои недостатки, — продолжал он, — и они соответствуют моим претензиям к себе, — хотя, конечно, у меня распорядок другой, — некоторые пункты сливаются, а другие еще подразделены. Но кроме недочетов, которые вы отметили, я знаю за собой по крайней мере еще три, — они-то, может быть, самые главные. Да только я вам никогда их не скажу, — и в следующей моей книге не будет их. Хотите теперь — поговорим о ваших стихах?»

«Нет, пожалуйста, не надо, — со страхом сказал Кончеев. — У меня есть основание думать, что они вам по душе, но я органически не выношу их обсуждения. Когда я был мал, я перед сном говорил длинную и малопонятную молитву, которой меня научила покойная мать — набожная и очень несчастная женщина, — она-то, конечно, сказала бы, что эти две вещи несовместимы, но ведь и то правда, что счастье не идет в чернецы. Эту молитву я помнил и повторял долго, почти до юности, но однажды я вник в ее смысл, понял все ее слова, — и как только понял, сразу забыл, словно нарушил какие-то невосстановимые чары. Мне кажется, что то же самое произойдет с моими стихами, — что если я начну о них осмысленно думать, то

мгновенно потеряю способность их сочинять. Вы-то, я знаю, давно развратили свою поэзию словами и смыслом, — и вряд ли будете продолжать ею заниматься. Слишком богаты, слишком жадны. Муза прелестна бедностью».

«Знаете, как странно, — сказал Федор Константинович, — однажды, давно, я себе страшно живо представил разговор с вами на такие темы, — и ведь вышло как-то похоже! хотя, конечно, вы бесстыдно подыгрывали мне и все такое. То, что я вас так хорошо знаю, в сущности, не зная вас вовсе, невероятно меня радует, ибо, значит, есть союзы в мире, которые не зависят ни от каких дубовых дружб, ослиных симпатий, "веяний века", ни от каких духовных организаций или сообществ поэтов, где дюжина крепко сплоченных бездарностей общими усилиями "горит"».

«На всякий случай я хочу вас предупредить, — сказал честно Кончеев, — чтобы вы не обольщались насчет нашего сходства: мы с вами во многом различны, у меня другие вкусы, другие навыки, вашего Фета я, например, не терплю, а зато горячо люблю автора "Двойника" и "Бесов", которого вы склонны третировать... Мне не нравится в вас многое, — петербургский стиль, галльская закваска, ваше неовольтерианство и слабость к Флоберу, — и меня просто оскорбляет ваша, простите, похабно-спортивная нагота. Но вот, с этими оговорками, правильно, пожалуй, будет сказать, что где-то — не здесь, но в другой плоскости, угол которой, кстати, вы сознаете еще смутнее меня, — где-то на задворках нашего существования, очень далеко, очень таинственно и невыразимо, крепнет довольно божественная между нами связь. А может быть, вы это всё так чувствуете и говорите, потому что я печатно похвалил вашу книгу, — это, знаете, тоже бывает».

«Да, знаю. Я об этом сам подумал. Особенно ввиду того, что я прежде завидовал вашей славе. Но, по совести говоря — —».

«Слава? — перебил Кончеев. — Не смешите. Кто знает мои стихи? Сто, полтораста, от силы, от силы, двести интеллигентных изгнанников, из которых, опять же, девяносто процентов не понимают их. Это провинциальный успех, а не слава. В будущем, может быть, отыграюсь, но

что-то уж очень много времени пройдет, пока тунгуз и калмык начнут друг у друга вырывать мое "Сообщение", под завистливым оком финна».

«Но есть утешительное ощущение, — задумчиво сказал Федор Константинович. — Можно ведь занимать под наследство. Разве не забавно вообразить, что когда-нибудь, вот сюда, на этот брег, под этот дуб, придет и сядет заезжий мечтатель и в свою очередь вообразит, что мы с вами тут когда-то сидели».

«А историк сухо скажет ему, что мы никогда вместе не гуляли, едва были знакомы, а если и встречались, то говорили о злободневных пустяках».

«И все-таки попробуйте! Попробуйте почувствовать этот чужой, будущий, ретроспективный трепет... Все волоски на душе становятся дыбом! Вообще, хорошо бы покончить с нашим варварским восприятием времени, особенно, по-моему, мило, когда заходит речь о том, что земля через триллион лет остынет, и все исчезнет, если заблаговременно не будут переведены наши типографии на соседнюю звезду. Или ерунда с вечностью: столь много отпущено времени вселенной, что цифра ее гибели уже должна была выйти, как нельзя ни в одном отрезке времени разумно представить себе целым яйцо, лежащее на дороге, по которой без конца проходит армия. Как это глупо! Наше превратное чувство времени как некоего роста есть следствие нашей конечности, которая, всегда находясь на уровне настоящего, подразумевает его постоянное повышение между водяной бездной прошедшего и воздушной бездной будущего. Бытие, таким образом, определяется для нас как вечная переработка будущего в прошедшее, — призрачный, в сущности, процесс, — лишь отражение вещественных метаморфоз, происходящих в нас. При этих обстоятельствах попытка постижения мира сводится к попытке постичь то, что мы сами создали как непостижимое. Абсурд, до которого доходит пытливая мысль, — только естественный видовой признак ее принадлежности человеку, а стремление непременно добиться ответа — то же, что требовать от куриного бульона, чтобы он закудахтал. Наиболее для меня заманчивое мнение — что времени нет, что всё есть некое настоящее, которое как сияние находится вне

нашей слепоты, — такая же безнадежно конечная гипотеза, как и все остальные. “Поймешь, когда будешь большой”, — вот все-таки самые мудрые слова, которые я знаю. Если к этому добавить, что у природы двоилось в глазах, когда она создавала нас (о, эта проклятая парность, от которой некуда деваться: лошадь—корова, кошка—собака, крыса—мышь, блоха—клоп), что симметричность в строении живых тел есть следствие мирового вращения (достаточно долго пущенный волчок начнет, быть может, жить, расти, размножаться), а что в порыве к асимметрии, к неравенству, слышится мне вопль по настоящей свободе, желание вырваться из кольца — —»

«Herrliches Wetter, — in der Zeitung steht es aber, dass es morgen bestimmt regnen wird»[1], — проговорил наконец сидящий на скамье рядом с Федором Константиновичем молодой немец, показавшийся ему похожим на Кончеева.

Опять, значит, воображение, — а как жаль! Даже покойную мать ему придумал для приманки действительности... Почему разговор с ним никак не может распуститься явью, дорваться до осуществления? Или это и есть осуществление, и лучшего не нужно... — так как подлинная беседа была бы только разочарованием, — пеньками запинок, жмыхами хмыканья, осыпью мелких слов?

«Da kommen die Wolken schon»[2], — продолжал кончеевовидный немец, указывая пальцем полногрудое облако, поднимавшееся с запада. (Студент, пожалуй. Может быть, с философской или музыкальной прожилкой. Где теперь Яшин приятель? Вряд ли сюда заглядывает.)

«Halb fünf ungefähr»[3], — добавил он на вопрос Федора Константиновича и, забрав свою трость, покинул скамейку. Его темная, сутулая фигура удалилась по тенистой тропе. (Может быть, поэт? Ведь есть же в Германии поэты. Плохонькие, местные, — но все-таки не мясники. Или только гарнир к мясу?)

---

[1] Прекрасная погода, — однако в газете пишут, что завтра будет дождь *(нем.)*.

[2] Вот уже показались облака *(нем.)*.

[3] Примерно половина пятого *(нем.)*.

Ему было лень возвращаться на другой берег вплавь; он побрел по дорожке, огибающей озеро с северной стороны. Там, где шел широкий песчаный свалок к воде, с обнаженными корнями опасливых сосен, удерживающими оползающий берег, было опять людно, и внизу, на полоске травы, лежало три голых трупа, белый, розовый и коричневый, как тройной образец действия солнца. Дальше, по загибу озера, тянулось болотце, и темная, почти черная земля тропы свежо липла к пяткам. Он поднялся опять наверх, по усыпанному хвойными иголками скату, и пошел пестрым лесом к своему логовищу. Было весело, грустно, солнечно, тенисто, — не хотелось возвращаться домой, а пора было. На минуту он прилег у старого дерева, словно подозвавшего — покажу что-то интересное. Среди деревьев зазвучала песенка, и вот — показались, идущие скорым шагом, пять евангелических сестер, круглолицых, в черных платьях и белых наколках, и песенка — смесь гимназического и ангельского — все время висела между ними, покамест то одна, то другая наклонялась на ходу, чтобы сорвать скромный цветок (незримый Федору Константиновичу, хотя он лежал близко), и разгибалась особенно ловко, одновременно догоняя остальных, подхватывая такт и приобщая призрак цветка к призрачному пучку идиллическим жестом (пальцы большой и указательный соединены на миг, другие отогнуты), — и стало ясно: ведь все это сценическое действие, — и какое умение во всем, какая бездна грации и мастерства, какой режиссер за соснами, как все рассчитано, — и то, что идут слегка вразброд, а вот теперь выровнялись, спереди три, сзади две, и то, что сзади одна мимолетно смеется (очень келейный юмор), оттого что идущая впереди вдруг, с оттенком экспансивности, полувсплеснула руками на особенно небесной ноте, и то, как песенка мельчает, удаляясь, между тем как все наклоняется плечо, и пальцы ловят стебель травы (но он, лишь качнувшись, остался блестеть на солнце... где это уже раз так было — что качнулось?..), — и вот — все уходят за деревья своей скорой походкой на пуговках, и какой-то полуголый мальчик, будто ища свой мяч в траве, грубовато и машинально повторяет обрывок их песенки (знакомый музыкантам смешной повтор). Как это поставлено! Сколько труда было

положено на эту легкую, быструю сцену, на это проворное прохождение, какие мускулы под этим тяжелым с виду черным сукном, которое после антракта будет сменено на газовые пачки!

Облако забрало солнце, лес поплыл и постепенно потух. Федор Константинович направился в чащу, где оставил одежду. В ямке под кустом, всегда так услужливо укрывавшей ее, он теперь нашел только одну туфлю: все остальное — плед, рубашка, штаны — исчезло. Есть рассказ о том, как пассажир, нечаянно выронивший из вагонного окна перчатку, немедленно выбросил вторую, чтобы по крайней мере у нашедшего оказалась пара. В данном случае похититель поступил наоборот: туфли, вероятно, ему не годились, да и резина на подошвах была в дырках, но, чтоб пошутить над своей жертвой, он пару разобщил. В туфле, кроме того, был оставлен клочок газеты с карандашной надписью: «Vielen Dank»[1].

Федор Константинович побродил кругом да около, никого и ничего не найдя. Рубашка была поношенная, Бог с ней, но клетчатого пледа, вывезенного из России, и хороших фланелевых штанов, купленных сравнительно недавно, было немного жалко. Со штанами ушли двадцать марок, третьего дня добытые для частичной хотя бы уплаты за комнату. Еще ушел карандашик, платок и связка ключей. Последнее было почему-то неприятнее всего. Если сейчас никого дома нет, что вполне вероятно, то попасть в квартиру невозможно.

Ослепительно загорелся край облака, и солнце выскользнуло. Оно источало такую жгучую, блаженную силу, что Федор Константинович, забыв досаду, прилег на мох и стал смотреть туда, где, съедая синеву, близилась следующая снежная громада: солнце в нее гладко въехало, с каким-то траурным трепетом в двоящемся ободке огня, дрожа и летя сквозь кучевую бель, — а затем, найдя выход, сперва выбросило три луча, а потом распустилось пятнистым огнем в глазах, прокатя их на вороных (так что, куда ни взглянешь, скользят призраки каланчовых баллов), — и по мере усиления или обмирания света все тени в лесу

[1] Большое спасибо *(нем.)*.

дышали, то припадая грудью к земле, то приподымаясь на руках.

Маленьким побочным утешением служило то, что благодаря завтрашнему отъезду Щеголевых в Данию будет все равно лишняя связка ключей, — значит, можно умолчать о пропаже. Уезжают, уезжают, уезжают! Он вообразил то, что постоянно воображал в течение последних двух месяцев, завтрашнее начало полной жизни с Зиной — освобождение, утоление, — а между тем заряженная солнцем туча, наливаясь, растя, с набухшими бирюзовыми жилами, с огненным зудом в ее грозовом корне, всем своим тяжким, неповоротливым великолепием заняла небо, лес, его самого, — и разрешить это напряжение казалось чудовищным, человечески непереносимым счастьем. Ветер пробежал по его груди, волнение медленно ослабло, все было темно и душно, надо было спешить домой. Он еще пошарил под кустами; пожал плечами, потуже завел резиновый поясок трусиков — и отправился в обратный путь.

Когда он вышел из леса и стал переходить улицу, смоляное прикосновение асфальта к босой ступне оказалось приятной новинкой. Дальше, по панели, было тоже интересно идти. Легкость сновидения. Пожилой прохожий в черной фетровой шляпе остановился, глядя ему вслед, и грубо сказал что-то, — но тут же, в виде благого возмещения убытка, слепой, сидящий с гармоникой спиной к каменной ограде, пробормотал как ни в чем не бывало просьбу о малой милости, выжимая многоугольный звук (странно все же, — ведь он должен был слышать, что я бос). Два школьника с кормы трамвая окликнули голого мимоездом, и затем воробьи вернулись на газон, между рельсов, откуда их спугнул гремящий желтый вагон. Начал капать дождь, и это было так, словно кто-то прикладывал к разным частям его тела серебряную монету. От газетной будки медленно отделился и перешел к нему молодой полицейский.

«Так по городу гулять воспрещается», — сказал он, глядя Федору Константиновичу в пупок.

«Всё украли», — объяснил Федор Константинович кратко.

«Этого случаться не должно», — сказал полицейский.

«Да, но все-таки случилось», — сказал, кивая, Федор

Константинович (несколько человек уже остановилось подле и следило с любопытством за диалогом).

«Обокрали ли вас или нет, ходить по улицам нагишом нельзя», — сказал полицейский, начиная сердиться.

«Однако я должен же как-нибудь дойти до стоянки таксомоторов, — как вы полагаете?»

«В таком виде — не можете».

«К сожалению, я не способен обратиться в дым или обрасти костюмом».

«А я вам говорю, что так гулять нельзя», — сказал полицейский. («Неслыханное бесстыдство», — комментировал чей-то толстый голос сзади.)

«В таком случае, — сказал Федор Константинович, — вам остается пойти за такси для меня, а я пока постою здесь».

«Стоять в голом виде тоже нельзя», — сказал полицейский.

«Я сниму трусики и изображу статую», — предложил Федор Константинович.

Полицейский вынул книжечку и так вырвал из нее карандаш, что уронил его на панель. Какой-то мастеровой подобострастно поднял.

«Фамилия и адрес», — сказал полицейский, кипя.

«Федор Годунов-Чердынцев», — сказал Федор Константинович.

«Перестаньте делать вицы и скажите ваше имя», — заревел полицейский.

Подошел другой, чином постарше, и полюбопытствовал, в чем дело.

«У меня в лесу украли одежду», — терпеливо сказал Федор Константинович и вдруг почувствовал, что совершенно влажен от дождя. Кое-кто из зевак убежал под прикрытие навеса, а старушка, стоявшая у его локтя, распустила зонтик, едва не выколов ему глаз.

«Кто украл?» — спросил вахмистр.

«Я не знаю кто, и главное, мне это совершенно безразлично, — сказал Федор Константинович. — Сейчас я хочу ехать домой, а вы меня задерживаете».

Дождь внезапно усилился и понесся через асфальт, по всей плоскости которого запрыгали свечки, свечки, свечки.

Полицейским (уже вконец свалявшимся и почерневшим от мокроты) ливень, вероятно, показался стихией, в которой купальные штаны — если не уместны — то, во всяком случае, терпимы. Младший попробовал еще раз добраться до адреса Федора Константиновича, но старший махнул рукой, и оба, слегка ускорив чинный шаг, отступили под навес колониальной лавки. Блестящий Федор Константинович побежал среди шумного плеска, завернул за угол и нырнул в автомобиль.

Доехав и велев шоферу подождать, он нажал кнопку, до восьми часов вечера автоматически отпиравшую дверь, и ринулся вверх по лестнице. Его впустила Марианна Николаевна; в прихожей было полно народу и вещей: Щеголев, без пиджака, двое мужиков, возившихся с ящиком (в котором, кажется, было радио), миловидная шляпница с картонкой, какая-то проволока, горка белья из прачечной...

«Вы с ума сошли!» — вскрикнула Марианна Николаевна.

«Ради Бога, заплатите за такси», — сказал Федор Константинович, холодным телом извиваясь между людей и вещей, — и наконец, через баррикаду чемоданов, он дорвался до своей комнаты.

В тот вечер трапеза была общая, а попозже должны были прийти Касаткины, балтийский барон, еще кто-то... За ужином Федор Константинович рассказывал, не без прикрас, о приключившемся с ним, и Щеголев смеялся здоровым смехом, а Марианна Николаевна интересовалась (не зря), сколько в штанах было денег. Зина же пожимала плечами и с непривычной откровенностью науськивала Федора Константиновича на водку, явно опасаясь, что он простудился.

«Ну что ж, — последний наш вечерок! — сказал Борис Иванович, вдоволь нахохотавшись. — За ваше преуспевание, синьор. Кто-то мне на днях говорил, что вы накатали презлой реферат о Петрашевском. Похвально. Слушай, мама, там стоит еще бутылочка, незачем везти, отдашь Касаткиным».

«...Значит, остаетесь сиротой, — (продолжал он, принимаясь за итальянский салат и необыкновенно грязно его

пожирая). — Не думаю, что наша Зинаида Оскаровна будет особенно холить вас. Ась, принцесса?»

«...Да, так-то, дорогой, меняется судьба человечья, печенка овечья. Думал ли я, что вдруг улыбнется счастье, — тьфу, тьфу, тьфу, не сглазить. Еще этой зимой ведь прикидывал: зубы на полку али продать Марианну Николаевну на слом?.. Полтора года как-никак прожили с вами вместе, душа — извините за выражение — в душу, а завтра расстанемся — вероятно, навсегда. Судьба играет человеком. Нынче — пан, завтра — папан».

Когда ужин кончился и Зина пошла вниз впускать гостей, Федор Константинович беззвучно отступил в свою комнату, где от ветра и дождя все было тревожно-оживленно. Он прикрыл раму, но через минуту ночь сказала: «Нет», — и с какой-то широкоглазой назойливостью, презирая удары, подступила опять. «Мне было так забавно узнать, что у Тани родилась девочка, и я страшно рад за нее, за тебя. Я Тане на днях написал длинное лирическое письмо, но у меня неприятное чувство, что я неправильно надписал ваш адрес: вместо "сто двадцать два" — какой-то другой номер, на ура (тоже в рифму), как уже было раз, не понимаю, отчего это происходит, — пишешь, пишешь адрес, множество раз, машинально и правильно, а потом вдруг спохватишься, посмотришь на него сознательно, и видишь, что не уверен в нем, что он незнакомый, — очень странно... Знаешь: потолок, па-та-лок, pas ta loque[1], патолог, — и так далее, — пока "потолок" не становится совершенно чужим и одичалым, как "локотоп" или "покотол". Я думаю, что когда-нибудь со всей жизнью так будет. Во всяком случае, передай Танечке всякого от меня веселого, зеленого, лешински-летнего. Завтра уезжают мои хозяева, и от радости я вне себя: вне себя, — очень приятное положение, как ночью на крыше. Еще месяц я останусь на Агамемноне, а потом переεду... Не знаю, как сложится дальше. Между прочим, мой Чернышевский сравнительно неплохо идет. Кто именно тебе говорил, что Бунин хвалит? Мне уже кажется давнишним делом моя возня с этой книгой, и все те маленькие бури мысли, заботы пера, — и теперь я совершенно пуст, чист, и готов принять снова постояльцев. Знаешь, я как цыган черен от

[1] Не твое тряпье *(фр.)*.

груневальдского солнца. Кое-что вообще намечается, — вот напишу классический роман, с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами — —»

Дверь вдруг открылась, наполовину вошла Зина и, не отпуская дверной ручки, бросила к нему на стол что-то.

«Это заплатите маме», — сказала она; прищурилась — и исчезла.

Он развернул бумажку. Двести. Сумма представилась огромной, но минутное вычисление показало, что только как раз хватит за два прошлых месяца, восемьдесят плюс восемьдесят, и за ближайший тридцать пять, уже без еды. Но все вдруг спуталось, когда он начал соображать, что в этом последнем месяце не обедал, но зато получал более сытный ужин; кроме того, внес за это время десять (или пятнадцать?) марок, а, с другой стороны, должен за телефонные разговоры и за кое-какие мелочи, как, например, сегодняшний таксомотор. Решение задачи было ему не по силам, скучно; он засунул деньги под словарь.

«— — и с описанием природы. Я очень рад, что ты перечитываешь мою штуку, но теперь пора ее забыть, — это только упражнение, проба, сочинение накануне каникул. Очень я соскучился по тебе и, может быть (повторяю, не знаю, как сложится...), посещу тебя в Париже. Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну, — где все мне чуждо и противно, где роман о кровосмешении или бездарно-ударная, приторно-риторическая, фальшивовшивая повесть о войне считается венцом литературы; где литературы на самом деле нет, и давно нет; где из тумана какой-то скучнейшей демократической мокроты — тоже фальшивой — торчат все те же сапоги и каска; где наш родной социальный заказ заменен социальной оказией, — и так далее, так далее... я бы мог еще долго, — и занятно, что полвека тому назад любой русский мыслитель с чемоданом совершенно то же самое строчил, — обвинение настолько очевидное, что становится даже плоским. Зато раньше, в золотой середине века, Боже мой, какие восторги! "Маленькая гемютная Германия" — ах, кирпичные домики, ах, ребятишки ходят в школу, ах, мужичок не бьет лошадку дрекольем!.. Ничего, — он ее по-своему замучит, по-немецки, в укромном уголку, каленым железом. Да,

я бы давно уехал, но есть некоторые личные обстоятельства (не говоря о моем чудном здесь одиночестве, о чудном благотворном контрасте между моим внутренним обыкновением и страшно холодным миром вокруг; знаешь, ведь в холодных странах теплее, в комнатах; конопатят и топят лучше), но и эти личные обстоятельства способны так повернуться, что, может быть, скоро, прихватив их с собой, покину Карманию. А когда мы вернемся в Россию? Какой идиотской сантиментальностью, каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян. А ведь она не историческая, — только человеческая, — но как им объяснить? Мне-то, конечно, легче, чем другому, жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь, — во-первых, потому что увез с собой от нее ключи, а во-вторых, потому что все равно когда, через сто, через двести лет, — буду жить там в своих книгах или хотя бы в подстрочном примечании исследователя. Вот это уже, пожалуй, надежда историческая, историко-литературная... "Вожделею бессмертия, — хотя бы его земной тени!" Я тебе сегодня пишу сквозные глупости (как бывают сквозные поезда), потому что я здоров, счастлив, — а кроме того, все это каким-то косвенным образом относится к Таниному ребеночку.

Альманах называется "Башня". У меня нет, но, я думаю, ты найдешь в любой русской библиотеке. От дяди Олега мне ничего не было. Когда он выслал? По-моему, ты что-то спутала. Ну вот. Будь здорова, целую тебя. Ночь, тихо идет дождь, — он нашел свой ночной темп и теперь может идти бесконечно».

Послышалось, как прихожая напОлнилась прощающимися голосами, как упал чей-то зонтик, как ухнул и остановился Зиной вызванный снизу лифт. Все стихло опять. Федор Константинович вошел в столовую, где Щеголев, усевшись, дощелкивал орехи, жуя на одной стороне, а Марианна Николаевна убирала со стола. Ее полное, темно-розовое лицо, с лоснящимися закрутками ноздрей, лиловые брови, абрикосовые волосы, переходящие в колючую синеву на голом, жирном загривке, васильковое око, с засоренным ресничной краской лузгом, мимоходом окунувшее взгляд в опивочную тину на дне чайника, кОльца,

гранатовая брошь, цветистый платочек на плечах, — все это составляло вместе грубо, но сочно намалеванную картину, несколько заезженного жанра. Она надела очки и достала из сумки листок с цифрами, когда Федор Константинович спросил, сколько он должен. Щеголев при этом удивленно поднял брови: он был уверен, что с жильца не получит уже ни копейки, и, будучи, в сущности, человеком добрым, еще вчера советовал жене не наседать, а через недели две написать Федору Константиновичу из Копенгагена с угрозой обратиться к его родным. После расчета от двухсот марок Федору Константиновичу осталось три с полтиной, и он пошел спать. В прихожей он встретился с Зиной, вернувшейся снизу. «Ну?» — сказала она, держа палец на выключателе, — полувопросительное, полуподгоняющее междометие, значившее приблизительно: «Вы проходите? Я здесь тушу, проходите». Ямка ее обнаженной руки, светло-шелковые ноги в бархатных башмаках, опущенное лицо. Погасло.

Он лег и под шепот дождя начал засыпать. Как всегда, на грани сознания и сна всякий словесный брак, блестя и звеня, вылез наружу: хрустальный хруст той ночи христианской под хризолитовой звездой... — и прислушавшаяся на мгновение мысль, в стремлении прибрать и использовать, от себя стала добавлять: и умер исполин яснополянский, и умер Пушкин молодой... — а так как это было ужасно, то побежала дальше рябь рифмы: и умер врач зубной Шполянский, астраханский, ханский, сломал наш Ганс кий... Ветер переменился, и пошло на «зе»: изобразили и бриз из Бразилии, изобразили и ризу грозы... — тут был опять кончик, доделанный мыслью, которая опускалась все ниже в ад аллигаторских аллитераций, в адские кооперативы слов, не «благо», а «blague»[1]. Сквозь этот бессмысленный разговор в щеку кругло ткнулась пуговица наволочки, он перевалился на другой бок, и по темному фону побежали голые в груневальдскую воду, и какое-то пятно света в вензельном образе инфузории поплыло наискось в верхний угол подвечного зрения. За некой прикрытой дверцей в мозгу, держась за ее ручку и отворотясь, мысль принялась

[1] Шутка, обман *(фр.)*.

обсуждать с кем-то сложную важную тайну, но когда на минуту дверца отворилась, то оказалось, что речь идет просто о каких-то стульях, столах, атоллах. Вдруг, среди сгущающейся мглы, у последней заставы разума, серебром ударил телефонный звонок, и Федор Константинович перевалился ничком, падая... Звон остался в пальцах, как если бы он острекался. В прихожей, уже опустив трубку обратно в черный футляр, стояла Зина, — она казалась испуганной. «Это звонили тебе, — сказала она вполголоса. — Твоя бывшая хозяйка, Egda Stoboy. Просит, чтоб ты немедленно приехал. Там кто-то тебя ждет. Поторопись». Он натянул фланелевые штаны и пошел, задыхаясь, по улице. В это время года в Берлине бывает подобие белых ночей: воздух был прозрачно-сер, и мыльным маревом плыли туманные дома. Какие-то ночные рабочие разворотили мостовую на углу, и нужно было пролезть через узкие бревенчатые коридоры, причем у входа всякому давалось по фонарику, которые оставлялись у выхода, на крюках, вбитых в столб, или просто на панели, рядом с бутылками из-под молока. Оставив и свою бутылку, он побежал дальше по матовым улицам, и предчувствие чего-то невероятного, невозможного, нечеловечески изумительного обдавало ему сердце какой-то снежной смесью счастья и ужаса. В серой мгле из здания гимназии вышли парами и прошли мимо слепые дети в темных очках, которые учатся ночью (в экономно-темных школах, днем полных детей зрячих), и пастор, сопровождавший их, был похож на лешинского сельского учителя Бычкова. Прислонившись к фонарю, опустив лохматую голову, расставя ножницами ноги в узких панталонах со штрипками и заложив в карманы руки, стоял худощавый пьяница, словно сошедший со страницы старинной «Стрекозы». В русском книжном магазине был еще свет, — там выдавали книжки ночным шоферам, и сквозь желтоватую муть стекла он заметил силуэт Миши Березовского, протягивавший кому-то черный атлас Петри. Тяжело, должно быть, так работать по ночам! Волнение опять захлестнуло его, как только он попал в район, где жил прежде. Было трудно дышать от бега, свернутый плед оттягивал руку, — надо было спешить, а между тем он запамятовал расположение улиц, пепельная ночь спутала

все, переменив, как на негативе, взаимную связь темных и бледных мест, и некого было спросить, все спали. Вдруг вырос тополь, и за ним — высокая кирка, с фиолетово-красным окном в арлекиновых ромбах света: внутри шла ночная служба, и спешила подняться по ступенькам траурная старушка, с ваткой под седельцем очков. Он нашел свою улицу, но у ее начала столб с нарисованной рукой в перчатке с раструбом указывал, что надо проникать в нее с другого конца, где почтамт, так как с этого свалены флаги для завтрашних торжеств. Но он боялся потерять ее во время обхода, а к тому же почтамт — это будет потом, — если только матери уже не отправлена телеграмма. Он перелез через доски, ящики, куклу гренадера в буклях, и увидел знакомый дом, и там рабочие уже протянули от порога через панель красную полоску ковра, как бывало перед особняком на Набережной в бальную ночь. Он взбежал по лестнице, фрау Стобой сразу отворила ему. Лицо у нее горело, на ней был белый госпитальный халат, — она прежде занималась медициной. «Только не волноваться, — сказала она. — Идите к себе в комнату и ждите там». «Вы должны быть готовы ко всему», — добавила она с звоном в голосе и втолкнула его в ту комнату, в которую он думал, что никогда в жизни больше не войдет. Он схватил ее за локоть, теряя власть над собой, но она его стряхнула. «К вам кто-то приехал, — сказала Стобой, — он отдыхает... Обождите пару минут». Дверь захлопнулась. В комнате было совершенно так, как если б он до сих пор в ней жил: те же лебеди и лилии на обоях, тот же тибетскими бабочками (вот, напр., Thecla bieti) дивно разрисованный потолок. Ожидание, страх, мороз счастья, напор рыданий — все смешалось в одно ослепительное волнение, и он стоял посреди комнаты, не в силах двинуться, прислушиваясь и глядя на дверь. Он знал, кто войдет сейчас, и теперь мысль о том, как он прежде сомневался в этом возвращении, удивляла его: это сомнение казалось ему теперь тупым упрямством полоумного, недоверием варвара, самодовольством невежды. У него разрывалось сердце, как у человека перед казнью, но вместе с тем эта казнь была такой радостью, перед которой меркнет жизнь, и ему было непонятно отвращение, которое он, бывало, испытывал, когда

в наспех построенных снах ему мерещилось то, что свершалось теперь наяву. Вдруг, за вздрогнувшей дверью (где-то далеко отворилась другая), послышалась знакомая поступь, домашний сафьяновый шаг, дверь бесшумно, но со страшной силой открылась, и на пороге остановился отец. Он был в золотой тюбетейке, в черной шевиотовой куртке, с карманами на груди для портсигара и лупы; коричневые щеки в резком разбеге парных борозд были особенно чисто выбриты; в темной бороде блестела, как соль, седина; глаза тепло и мохнато смеялись из сети морщин; — а Федор стоял и не мог ступить шага. Отец произнес что-то, но так тихо, что разобрать было нельзя, хотя как-то зналось: это относится к тому, что вернулся он невредимым, целым, человечески настоящим. И все-таки было страшно приблизиться, — так страшно, что Федору казалось — он умрет, если вошедший к нему двинется. Где-то в задних комнатах раздался предостерегающе-счастливый смех матери, а отец тихо почмокал, почти не раскрывая рта, как делал, когда решался на что-нибудь или искал чего-нибудь на странице... потом опять заговорил, — и это опять значило, что все хорошо и просто, что это и есть воскресение, что иначе быть не могло, и еще: что он доволен, доволен, — охотой, возвращением, книгой сына о нем, — и тогда наконец все полегчало, прорвался свет, и отец уверенно-радостно раскрыл объятья. Застонав, всхлипнув, Федор шагнул к нему, и в сборном ощущении шерстяной куртки, больших ладоней, нежных уколов подстриженных усов наросло блаженно-счастливое, живое, не перестающее расти, огромное, как рай, тепло, в котором его ледяное сердце растаяло и растворилось.

Сначала нагромождение чего-то на чем-то и бледная дышащая полоса, идущая вверх, были совершенно непонятны, как слова на забытом языке или части разобранной машины, — и от этой бессмысленной путаницы панический трепет пробежал по душе: проснулся в гробу, на луне, в темнице вялого небытия. Но что-то в мозгу повернулось, мысль осела, поспешила замазать правду, — и он понял, что смотрит на занавеску полураскрытого окна, на стол, перед окном: таков договор с рассудком, — театр земной привычки, мундир временного естества. Он опустил голову

на подушку и попытался нагнать теплое, дивное, все объясняющее, — но уже теперь приснилось что-то бесталанно-компилятивное, кое-как сшитое из обрезков дневного житья и подогнанное под него.

Утро было пасмурное, прохладное, с серо-черными лужами на асфальте двора, и раздавался противно-плоский стук выбиваемых ковров. Щеголевы кончали укладывать чемоданы, Зина ушла на службу, а в час дня должна была встретиться с матерью, чтобы обедать с ней в «Фатерланде». Присоединиться к ним Федору Константиновичу, к счастью, не предложили, — напротив, Марианна Николаевна, подогревая ему кофе на кухне, где он сидел в халате, сбитый с толку бивуачным настроением в квартире, предупредила, что в кладовке оставлено ему на обед немного итальянского салата и ветчины. Выяснилось, между прочим, что ночью звонил все тот же незадачливый абонент: на этот раз был в ужасном волнении, случилось что-то, — так и оставшееся неизвестным.

Борис Иванович в десятый раз перекладывал из одного чемодана в другой башмаки на колодках, все чистенькие, блестящие, — он был необыкновенно щепетилен в смысле обуви.

Потом они оделись и ушли, а Федор Константинович долго и удачно купался, брился, подстригал на ногах ногти, было особенно приятно подлезть под тугой уголок, щелкнуть, — они стреляли по всей ванной. Стучался швейцар, но не мог войти, потому что Щеголевы, уйдя, заперли дверь на американский замок, а ключи Федора Константиновича неизвестно где разгуливали. В щелку, звякнув заслонкой, почтальон бросил белградскую газетку «За Царя и Церковь», которую выписывал Борис Иванович, а погодя кто-то всунул (оставшийся торчать лодочкой) рекламный листок недавно открывшейся парикмахерской. Ровно в половине двенадцатого донесся с лестницы гулкий лай и взволнованное нисхождение эльзасской овчарки, которую в это время водили гулять. С гребешком в руке он выходил на балкон, посмотреть, не прояснилось ли, но, хотя не было дождя, небо белело тускло и безнадежно, — и немыслимо было представить себе, что можно было вчера лежать в лесу. В щеголевской спальне валялась бумажная

рвань, один из чемоданов был раскрыт, и в нем сверху лежала на вафельном полотенце резиновая груша. На двор пришел бродячий усач с цимбалами, барабаном, саксофоном, весь увешанный музыкой, с блестящей музыкой на голове, с обезьянкой в красной фуфайке, и долго пел, притоптывая и бряцая, — не заглушая, впрочем, пальбы по коврам на козлах. Осторожно толкнув дверь, Федор Константинович вошел в Зинину комнату, где не бывал никогда, и со странным чувством веселого новоселья долго смотрел на бойко тикающий будильник, на розу в стакане, со стеблем, обросшим пузырьками, на оттоманку, превращавшуюся на ночь в постель, и на чулки, сохнувшие на паровом отоплении. Он закусил, затем сел у своего стола, окунул перо и замер над белой страницей. Вернулись Щеголевы, приходил швейцар, Марианна Николаевна разбила флакон духов, — а он все сидел над исподлобья глядевшим листом и только очнулся, когда Щеголевы собрались ехать на вокзал. До отхода поезда оставалось часа два, но вокзал, правда, находился далеко. «Грешный человек, — люблю приезжать сранья», — бодро сказал Борис Иванович, захватывая себя за рукав и манжетку, чтобы влезть в пальто. Федор Константинович помог ему (тот с вежливым восклицанием, еще половинчатый, шарахнулся и вдруг, в углу, превратился в страшного горбуна), а потом пошел проститься с Марианной Николаевной, которая перед зеркальным шкафом, странно изменив выражение лица (затуманивая и задабривая свое отражение), надевала синюю с синей вуалеткой шляпу. Федору Константиновичу вдруг стало странно жаль ее, и, подумав, он предложил пойти на угол за такси. «Да, пожалуйста», — сказала Марианна Николаевна, тяжело ринувшись к перчаткам на диване.

На стоянке автомобилей не оказалось, разобрали, и ему пришлось перейти через площадь и там поискать. Когда он наконец подъехал к дому, Щеголевы уже стояли внизу, сами снеся чемоданы («тяжелый багаж» был отправлен вчера).

«Ну, храни вас Бог», — сказала Марианна Николаевна и гуттаперчевыми губами поцеловала его в лоб.

«Сароцка, Сароцка, телеграфуй!» — крикнул Борис Иванович, шутливо махая ручкой, и автомобиль, повернувшись, отъехал.

«Навсегда», — с облегчением подумал Федор Константинович и, посвистывая, поднялся наверх.

Тут только он понял, что войти в квартиру не может. Особенно было обидно глядеть, приподняв заслонку, в почтовую щель на связку ключей, звездой лежавшую на полу в прихожей: их всунула обратно Марианна Николаевна, заперев за собою дверь. Он сошел по ступеням гораздо медленнее, чем поднялся. Зина, он знал, собиралась поехать со службы на вокзал: считая, что поезд отходит через полтора часа с лишним и что езды на автобусе час, она (и ключи) раньше, чем часа через три, не вернется. На улице было ветрено и смуро; идти было не к кому, а в пивные, в кафе он никогда не захаживал, ненавидя их люто. В кармане было три с полтиной, он купил папирос, и так как сосущая, как голод, потребность поскорей увидеть Зину (теперь-то, когда все позволено), собственно, и оттягивала от улицы, от неба, от воздуха, весь свет и смысл, он поспешил на тот угол, где проходил нужный автобус. То, что он был в ночных туфлях, в старейшем мятом костюме, запятнанном спереди, с недостающей на гульфике пуговкой, мешками на коленях и материнской заплатой на заду, нимало его не беспокоило. Загар и раскрытый ворот чистой рубашки давали ему некий приятный иммунитет.

Был какой-то государственный праздник. Из окон домов торчали трех сортов флаги: черно-желто-красные, черно-бело-красные и просто красные: каждый сорт что-то означал, а смешнее всего: это что-то кого-то могло волновать гордостью или злобой. Были флаги большие и малые, на коротких древках и на длинных, но от всего этого эксгибиционизма гражданского возбуждения город не стал привлекательнее. На Тауэнтциенштрассе автобус задержала мрачная процессия; сзади, на медленном грузовике, ехали полицейские в черных крагах, а среди знамен было одно с русской надписью «За Серб и Молт!», так что некоторое время Федор тяготился мыслью, где это живут Молты, — или это Молдаване? Вдруг он представил себе казенные фестивали в России, долгополых солдат, культ скул, исполинский плакат с орущим общим местом в ленинском

пиджачке и кепке, и среди грома глупости, литавров скуки, рабьих великолепий — маленький ярмарочный писк грошовой истины. Вот оно, вечное, все более чудовищное в своем радушии, повторение Ходынки, с гостинцами — во какими (гораздо больше сперва предлагавшихся) и прекрасно организованным увозом трупов... А в общем — пускай. Все пройдет и забудется, — и опять через двести лет самолюбивый неудачник отведет душу на мечтающих о довольстве простаках (если только не будет моего мира, где каждый сам по себе, и нет равенства, и нет властей, — впрочем, если не хотите, не надо, мне решительно все равно).

Потсдамская площадь, всегда искалеченная городскими работами (о, старые открытки с нее, где все так просторно, отрада извозчиков, подолы дам в кушачках, метущие пыль, — но те же жирные цветочницы). Псевдопарижский пошиб Унтер-ден-Линдена. Узость торговых улиц за ним. Мост, баржа и чайки. Мертвые глаза старых гостиниц второго, третьего, сотого разряда. Еще несколько минут езды, и вот — вокзал.

Он увидел Зину в бланжевом жоржетовом платье и белой шапочке, взбегающую по ступеням. Она взбегала, прижав к бокам розовые локти, зажав сумку, — и когда он ее полуобнял, догнав, она обернулась с той нежной, матовой улыбкой, с той счастливой грустью в глазах, которыми она встречала его наедине. «Слушай, — сказала она суетливо, — я опаздываю, бежим». Но он ответил, что уже распрощался с ними и подождет ее внизу.

Низкое, садящееся за крыши, солнце как бы выпало из облаков, покрывавших свод (но уже совсем мягких и отрешенных, как волнистое их таяние на зеленоватом плафоне), и там, в узком просвете, небо было раскалено, а напротив, как медь, горело окно и металлические буквы. Длинная тень носильщика, катящая тень тачки, втянула эту тень в себя, но она опять острым углом выперла на повороте.

«Будем скучать без тебя, Зиночка, — сказала Марианна Николаевна, уже из вагона. — Но ты, во всяком случае, возьми отпуск в августе и приезжай к нам, — посмотрим, может быть, и совсем останешься».

«Не думаю, — сказала Зина. — Ах да. Я сегодня дала тебе мои ключи. Не увези их, пожалуйста».

«Я, знаешь, их в передней оставила... А Борины в столе... Ничего: Годунов тебя впустит», — добавила Марианна Николаевна примирительно.

«Так-то. Счастливо оставаться, — вращая глазами, сказал Борис Иванович, из-за жениного полного плеча. — Ах, Зинка, Зинка, — вот приедешь к нам, на велосипеде будешь кататься, молоко хлестать, — лафа!»

Поезд содрогнулся и вот пополз. Марианна Николаевна еще долго махала. Щеголев, как черепаха, втянул голову (а сев, вероятно, крякнул).

Она вприпрыжку сбежала по ступеням, — сумка теперь свисала с пальцев, и от последнего солнечного луча бронзовый блеск пробежал у нее в зрачках, когда она подлетела к Федору Константиновичу. Они поцеловались так, словно она только что приехала издалека, после долгой разлуки.

«А теперь поедем ужинать, — сказала она, беря его под руку. — Ты, наверное, безумно голоден».

Он кивнул. Чем это объяснить? Откуда это странное смущение — вместо ликующей, говорливой свободы, которую я так, так предвкушал? Я словно отвык от нее или не могу с ней, прежней, примениться к этой свободе.

«Что с тобой? Почему ты окислился?» — заметливо спросила она после молчания (они шли к остановке автобуса).

«Грустно расстаться с Борисом Бодрым», — ответил он, стараясь хоть остротой разрешить стеснение чувств.

«А я думаю, что это вчерашнее безобразие», — усмехнулась Зина, — и вдруг он уловил в ее тоне какой-то приподнятый звон, по-своему отвечавший его собственному замешательству и тем самым подчеркивавший и усиливавший его.

«Глупости. Дождь был теплый. Я дивно себя чувствую».

Подкатил, сели. Федор Константинович заплатил из ладони за два билета. Зина сказала: «Жалованье я получаю только завтра, так что у меня сейчас всего две марки. Сколько у тебя?».

«Слабо. От твоих двухсот мне отчислилось три с полтиной, но из них больше половины уже ухнуло».

«На ужин-то у нас хватит», — сказала Зина.

«Ты совсем уверена, что тебе нравится идея ресторана? Потому что мне — не очень».

«Ничего, примирись. Вообще теперь со здоровым домашним столом кончено. Я не умею делать даже яичницу. Надо будет подумать, как устроиться. А сейчас я знаю отличное место».

Несколько минут молчания. Уже зажигались фонари, витрины; от незрелого света улицы осунулись и поседели, а небо было светло, широко, в облачках, отороченных фламинговым пухом.

«Смотри, готовы фоточки».

Он их взял из ее холодных пальцев. Зина на улице, перед конторой, прямая и светлая, с тесно составленными ногами, и тень липового ствола поперек панели, как опущенный перед ней шлагбаум; Зина, боком сидящая на подоконнике с солнечным венцом вокруг головы; Зина за работой, плохо вышедшая, темнолицая, — зато на первом плане — царственная машинка, с блеском на рычажке каретки.

Она их засунула обратно в сумку, вынула и положила обратно месячный трамвайный билет в целлофане, вынула зеркальце, посмотрела, оскалившись на пломбу в переднем зубе, положила обратно, защелкнула сумку, опустила ее к себе на колени, посмотрела себе на плечо, смахнула пушинку, надела перчатки, повернула голову к окну, — все это необыкновенно быстро, с движением на лице, с миганием, с каким-то внутренним покусыванием и втягиванием щек. Но теперь она сидела неподвижно, сухожилье было натянуто на бледной шее, руки в белых перчатках лежали на зеркальной коже сумки.

Теснина Бранденбургских ворот.

За Потсдамской площадью, при приближении к каналу, пожилая скуластая дама (где я ее видел?), с глазастой, дрожащей собачкой под мышкой, рванулась к выходу, шатаясь, борясь с призраками, и Зина посмотрела вверх на нее беглым небесным взглядом.

«Узнал? — спросила она. — Это Лоренц. Кажется, безумно на меня обижена, что я ей не звоню. В общем, совершенно лишняя дама».

«У тебя копоть на скуле, — сказал Федор Константинович. — Осторожно, не размажь».

Опять сумка, платочек, зеркальце.

«Нам скоро вылезать, — проговорила она погодя. — Что?»

«Ничего. Соглашаюсь. Вылезем где хочешь».

«Здесь», — сказала она еще через две остановки, взяв его за локоть, приподнявшись, сев опять от толчка, поднявшись окончательно, вылавливая, как из воды, сумку.

Огни уже отстоялись; небо совсем обмерло. Проехал грузовик с возвращавшимися после каких-то гражданских оргий, чем-то махавшими, что-то выкрикивавшими молодыми людьми. Посреди бездревесного сквера, состоявшего из большого продолговатого цветника, обведенного дорожкой, цвела армия роз. Открытый загончик ресторана (шесть столиков) против этого сквера был отделен от панели беленым барьером с петуньями поверху.

Рядом жрут кабан с кабанихой, у кельнера черный ноготь окунается в соус, а к золотой каемке моего пивного стакана вчера льнула губа с язвочкой... Туман какой-то грусти обволок Зину — ее щеки, прищуренные глаза, душку на шее, косточку, — и этому как-то способствовал бледный дым ее папиросы. Шаркание прохожих как бы месило сгущавшуюся темноту.

Вдруг, в откровенно ночном небе, очень высоко — —

«Смотри, — сказал он. — Какая прелесть!»

По темному бархату медленно скользила брошка с тремя рубинами, — так высоко, что даже грома мотора не было слышно.

Она улыбнулась, приоткрыв губы, глядя вверх.

«Сегодня?» — спросил он, тоже глядя вверх.

Теперь только он вступил в строй чувств, который он себе сулил, когда прежде думал о том, как с ней выскользнет из плена, постепенно утвердившегося за время их встреч, постепенно ставшего привычным, хотя был основан на чем-то искусственном и, в сущности, недостойном того значения, которое оно приобрело: теперь казалось непонятным, почему в любой из этих четырехсот пятидесяти пяти дней они просто не съехали со щеголевской квартиры, чтобы поселиться вдвоем; но вместе с тем он

подразумно знал, что эта внешняя помеха была только предлогом, только показным приемом судьбы, наспех поставившей первую попавшуюся под руку загородку, чтобы тем временем заняться важным, сложным делом, внутренней необходимостью которого была как раз задержка развития, зависевшая будто бы от житейской преграды.

Теперь (в этом белом, освещенном загончике, при золотистой близости Зины и при участии теплой вогнутой темноты, сразу за вырезным озарением петуний) он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного «романа», о котором он накануне вскользь сообщал матери. Об этом-то он и заговорил сейчас, так заговорил, словно это было только лучшее, естественнейшее выражение счастья, — которое тут же, побочно, в более общедоступном издании, выражалось такими вещами, как бархатистость воздуха, три липовых изумрудных листа, попавших в фонарный свет, холод пива, лунные вулканы картофельного пюре, смутный говор, шаги, звезда среди развалин туч...

«Вот что я хотел бы сделать, — сказал он. — Нечто похожее на работу судьбы в н а ш е м отношении. Подумай, как она за это принялась три года с лишним тому назад... Первая попытка свести нас: аляповатая, громоздкая! Одна перевозка мебели чего стоила... Тут было что-то такое размашистое, “средств не жалею”, — шутка ли сказать, — перевезти в дом, куда я только что въехал, Лоренцов и всю их обстановку! Идея была грубая: через жену Лоренца познакомить меня с тобой, — а для ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку к ним. Но тут-то судьба и дала маху: посредник был взят неудачный, неприятный мне, — и получилось как раз обратное: из-за него я стал избегать знакомства с Лоренцами, — так что все это громоздкое построение пошло к чорту, судьба осталась с мебельным фургоном на руках, затраты не окупились».

«Смотри, — сказала Зина, — на эту критику она может теперь обидеться — и отомстить».

«Слушай дальше. Она сделала свою вторую попытку, уже более дешевую, но обещавшую успех, потому что я-то нуждался в деньгах и должен был бы ухватиться за пред-

ложенную работу — помочь незнакомой барышне с переводом каких-то документов; но и это не вышло. Во-первых, потому что адвокат Чарский оказался тоже маклером неподходящим, а во-вторых, потому что я ненавижу заниматься переводами на немецкий, — так что опять сорвалось. Тогда-то наконец, после этой неудачи, судьба решила бить наверняка, то есть прямо вселить меня в квартиру, где ты живешь, и для этого в посредники она выбрала уже не первого попавшегося, а человека, не только мне симпатичного, но энергично взявшегося за дело и не давшего мне увильнуть. В последнюю минуту, правда, случился затор, чуть не погубивший всего: второпях — или поскупившись — судьба не потратилась на твое присутствие во время моего первого посещения; я же, понимаешь, когда пять минут поговорил с твоим вотчимом, собственно по небрежности выпущенным из клетки, и через его плечо увидел ничем не привлекательную комнату, решил ее не снимать, — и тогда, из крайних средств, как последний отчаянный маневр, судьба, не могшая немедленно мне показать тебя, показала мне твое бальное голубоватое платье на стуле, — и, странно, сам не понимаю почему, но маневр удался, представляю себе, как судьба вздохнула».

«Только это было не мое платье, а моей кузины Раисы, — причем она очень милая, но совершенная морда, — кажется, она мне его оставила, чтобы что-то снять или пришить».

«Тогда это совсем остроумно. Какая находчивость! Все самое очаровательное в природе и искусстве основано на обмане. Вот видишь — начала с ухарь-купеческого размаха, а кончила тончайшим штрихом. Разве это не линия для замечательного романа? Какая тема! Но обстроить, завесить, окружить чащей жизни — моей жизни, с моими писательскими страстями, заботами».

«Да, но это получится автобиография, с массовыми казнями добрых знакомых».

«Ну, положим, — я это все так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну... таких своих специй добавлю, так пропитаю собой, что от автобиографии останется только пыль, — но такая пыль, конечно, из которой делается

самое оранжевое небо. И не сейчас я это напишу, а буду еще долго готовиться, годами, может быть... Во всяком случае, сперва примусь за другое, — хочу кое-что по-своему перевести из одного старинного французского умницы, — так, для окончательного порабощения слов, а то в моем "Чернышевском" они еще пытаются голосовать».

«Это все чудно, — сказала Зина. — Это мне все страшно нравится. Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, — когда слишком поздно спохватится... Но любишь ли ты меня?»

«То, что говорю, и есть в некотором роде объяснение в любви», — ответил Федор Константинович.

«Мне мало "некоторого рода". Знаешь, временами я, вероятно, буду дико несчастна с тобой. Но в общем-то мне все равно, иду на это».

Она улыбнулась, широко раскрыв глаза и подняв брови, а потом слегка откинулась на своем стуле и стала пудрить подбородок и нос.

«Ах, я должен тебе сказать, — это великолепно, — есть у него знаменитое место, которое, кажется, могу сказать наизусть, если не собьюсь, не перебивай меня, перевод еще приблизительный: был однажды человек... он жил истинным христианином; творил много добра, когда словом, когда делом, а когда молчанием; соблюдал посты; пил воду горных долин (это хорошо, — правда?); питал дух созерцанием и бдением; прожил чистую, трудную, мудрую жизнь; когда же почуял приближение смерти, тогда, вместо мысли о ней, слез покаяния, прощаний и скорби, вместо монахов и черного нотария, созвал гостей на пир, акробатов, актеров, поэтов, ораву танцовщиц, трех волшебников, толленбургских студентов-гуляк, путешественника с Тапробаны, осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой, среди сладких стихов, масок и музыки... Правда, великолепно? Если мне когда-нибудь придется умирать, то я хотел бы именно так».

«Только без танцовщиц», — сказала Зина.

«Ну, это просто символ веселого общества... Может быть, теперь пойдем?»

«Надо заплатить, — сказала Зина. — Кликни его».

После этого у них осталось одиннадцать пфеннигов, считая почерневшую монетку, которую она на днях подобрала с панели: приносит счастье. Когда они пошли по улице, он почувствовал быструю дрожь вдоль спины и — опять стеснение чувств, но уже в другом, томном, преломлении. До дому было минут двадцать тихой ходьбы, и сосало под ложечкой от воздуха, от мрака, от медового запаха цветущих лип. Этот запах таял, заменяясь черной свежестью, от липы до липы, и опять, под ждущим шатром, нарастало душное, пьяное облако, и Зина, напрягая ноздри, говорила: «Ах... понюхай», — и опять преснел мрак, и опять наливался медом. Неужели сегодня, неужели сейчас? Груз и угроза счастья. Когда я иду так с тобой, медленно-медленно, и держу тебя за плечо, все немного качается, шум в голове, и хочется волочить ноги, соскальзывает с пятки левая туфля, тащимся, тянемся, туманимся, — вот-вот истаем совсем... И все это мы когда-нибудь вспомним, — и липы, и тень на стене, и чьего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи. И звезду, звезду. А вот площадь и темная кирка с желтыми часами. А вот, на углу, — дом.

Прощай же, книга! Для видений — отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, — но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть... судьба сама еще звенит, — и для ума внимательного нет границы — там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ (СИРИН)

ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ

и другие рассказы

...ТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

...Нью-Йорк

В. СИРИНЪ

СОГЛЯДАТАЙ

Изд-во "Русскія Записки"

Рассказы

1935 — 1937

ИЗ СБОРНИКА

СОГЛЯДАТАЙ

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

За стеною Павел Романович с хохотом рассказывал, как от него ушла жена.

Я не выдержала этого ужасного звука и, не спросясь зеркала, в мятом платье, в котором валялась после обеда, и, вероятно, с печатью подушки на щеке, выскочила туда, то есть в хозяйскую столовую, где застаю такую картину: мой хозяин, некто Пришвин (не родственник писателя), поощрительно слушает, безостановочно набивая папиросы, а Павел Романович ходит кругом стола с кошмарным лицом, до того бледный, что, кажется, даже побледнела его чистоплотно обритая голова, — чистоплотность особенно русская, инженерно-военная какая-то, но которая сейчас напоминает мне что-то нехорошее, страшное, вроде как каторжное. Он пришел, собственно, к моему брату, который как раз уехал, но это ему, в сущности, все равно, его горе должно говорить, и вот он нашел довольного слушателя в едва знакомом, малосимпатичном человеке и, хохоча, причем глаза не участвуют, рассказывает, как жена собирала на квартире вещи, как по ошибке увезла его любимое пенснэ, как все ее родственники были в курсе дела до него, как... «Вот интересно, — вдруг обращается он прямо к Пришвину, богомольному вдовцу, а то все больше говорил в пространство, — вот интересно, как будет на том свете, будет ли она там жить со мной или с этим холуем?» — «Пойдемте ко мне, Павел Романович», — сказала я своим самым хрустальным тоном, и только тогда он заметил мое присутствие, я стояла, грустно прижавшись к углу темного буфета, с которым словно сливалась моя

небольшая фигура в черном платье, — да, я ношу траур, по всем, по всём, по себе, по России, по зародышам, выскобленным из меня. Мы перешли в мою комнатку, крохотную, там едва помещается шелковое ложе поперек себя шире и на низком столике стеклянная бомба лампы, налитая водой, и в этой атмосфере моего личного уюта Павел Романович сразу сделался другим, молча сел, потер воспаленные глаза. Я свернулась рядом, похлопала по подушкам и задумалась, женской облокоченной задумчивостью, глядя на него, на его голубую голову, на крепкие плечи, которым бы шел скорее китель, а не этот двубортный пиджак. Я глядела на него и все удивлялась, как могла некогда увлекаться этим низкорослым, коренастым мужчиной с простым лицом (только зубы больно хороши, это нужно признать), а ведь увлекалась же я им два года тому назад, когда он еще только собирался жениться на своей красавице, — и как еще увлекалась, как плакала из-за него, как снилась мне эта тонкая цепочка на его волосатой кисти! Из заднего кармана он добыл свой большой и, как он выражался, «боевой» портсигар и, удрученно кивая, постучал несколько раз, больше раз, чем обычно, папиросой о крышку. «Да, Марья Васильевна, — сказал он наконец сквозь зубы, закуривая и поднимая треугольные брови, — да, никто не мог думать, что оно так случится, верил в бабу, крепко верил». После его припадка разговорчивости все казалось теперь страшно тихим, слышно было, как дождь капает о подоконник, как за стеной щелкает своей набивалкой Пришвин. Оттого ли, что день был пасмурный, или оттого, что такое несчастье, как несчастье Павла Романовича, требует и от видимого мира распада, затмения, но мне сдавалось, что уже давно вечер, хотя было всего три часа дня и мне еще предстояло ехать за город по братнему делу. «Какая сволочь, — сказал Павел Романович со свистом, — ведь она и только она ее свела с ним, она мне всегда была противна, я от Леночки этого не скрывал. Какая сволочь! Вы ее, кажется, видали, — под шестьдесят, красится в гнедую масть, жирна, горбата от жира. Весьма жаль, что Коля уехал. Когда он вернется, пускай мне позвонит немедленно. Я, как вы знаете, простой, прямой человек, и я давно Леночке говорил: у тебя мать дурная, вредная.

Теперь вот какая вещь: может быть, мне Коля поможет сварганить письмо к старухе, формальное, так сказать, заявление, что я отлично знаю и понимаю, чье это влияние, кто это мою жену подталкивал, — вот в таком духе и абсолютно вежливо, конечно».

Я молчала. Впервые он был у меня, именно у меня, визиты к брату не считались, впервые сидел у меня на кауче, ронял пепел на мои разноцветные подушки, — но то, что прежде было бы для меня райским удовольствием, теперь вовсе меня не радовало. Давно уже добрые люди доносили, что его брак неудачен, что его жена оказалась дрянной, взбалмошной дурой, — и дальновидная молва давно давала ей в любовники как раз того оригинала, который ныне прельстился ее коровьей красотой. Катастрофа поэтому не являлась для меня сюрпризом, — мало того, я, может быть, и ожидала, что когда-нибудь Павел Романович вот так будет прибит ко мне. Но нет, — как я ни скребла по самому донышку души, не находила я радости, а напротив, мне было так тяжело, так тяжело, что просто не умею выразить. Все мои романы, по какому-то секретному соглашению между их героями, всегда были как на подбор бездарны и трагичны, или, точнее, бездарностью и обуславливалась их трагичность. Их вступления мне вспоминать совестно, развязки — противно, — а средней части, то есть как раз самой сути, как бы вовсе и нет, а вспоминается только какое-то вялое копошение, как сквозь мутную воду или липкий туман. Мое увлечение Павлом Романовичем было хоть тем славно, что оно не походило на все другое, оставаясь холодным и прелестным, — но сейчас и оно, такое уже далекое, минувшее, — обратным порядком заимствовало от настоящего дня оттенок несчастья, неудачи, даже просто какого-то конфуза, из-за того, что мне теперь приходилось выслушивать эти жалобы на жену, на тещу.

«Поскорее бы Коля вернулся, — сказал Павел Романович. — У меня еще есть один план, и, кажется, неплохой. А пока что я, пожалуй, пойду».

Я молчала, горестно глядя на него и прикрыв рот бахромой черной шали. Он подошел к окну, по стеклу которого, стуча и жужжа, кубарем поднималась муха и опять

съезжала; потом он потрогал корешки книг на полке. Как большинство людей, мало читающих, он питал пристрастие к словарям и теперь вытащил толстозадый том с одуванчиком и девицей в рыжих локонах на обложке. «Прекрасная штука», — сказал он, втиснул слона обратно и вдруг громко зарыдал. Я усадила его рядом с собой, он покачнулся, рыдая все пуще, и уткнулся лицом в мои колени. Легкими пальцами я касалась его горячей наждачной головы и розового крепкого затылка, который мне так нравится в мужчинах. Понемножку его рыдания утихли. Он мягко укусил меня сквозь платье и выпрямился. «Знаете что, — сказал он, звучно шлепнув в большие полые ладони (у меня был волжский дядюшка, который так показывал, как коровы кладут пироги), — пойдемте ко мне, голубушка. Я оставаться один не в силах. Мы вот вместе поужинаем, водочки трахнем, затем в кино, а?»

Я не могла не согласиться, хотя знала, что буду об этом жалеть. Отменяя по телефону дело, я видела себя в зеркале и себе самой казалась монашкой со строгим восковым лицом, но через минуту, пудрясь и надевая шляпу, я как бы окунулась в свои огромные, черные, опытные глаза, и в них был блеск отнюдь не монашеский, — даже сквозь вуалетку они горели, ух как горели. По дороге, в трамвае Павел Романович стал чужим, угрюмым, я рассказывала ему про Колину службу, а у него шнырял взгляд, он явно не слушал. Приехали. В трех небольших комнатах, которые он со своей Леночкой занимал, господствовал невероятный беспорядок, точно самые вещи, его и ее, передрались между собой. Чтобы развлечь Павла Романовича, я стала изображать субретку, надела всеми забытый в углу кухни передничек, внесла успокоение в ряды мебели, чистенько накрыла на стол, так что Павел Романович наконец опять шлепнул в ладони и решил сварить борщ, он очень гордился своими поварскими способностями.

После первых двух-трех рюмок он пришел в необыкновенно бодрое, деловитое настроение, точно в самом деле был какой-то план, к выполнению которого надо было приступить. Не знаю, заразился ли он сам от себя той напускной серьезностью, которой умеющий выпить мужчина обставляет водку, или же впрямь ему казалось, что еще

у меня в комнате мы с ним вместе начали что-то такое вырабатывать, обсуждать, но он зарядил самопишущее перо, с многозначительным видом принес досье — письма жены к нему, когда он весной уезжал в Бремен или куда-то, и стал приводить из них цитаты, доказывающие, что она именно *его* любит, а не того. При этом он что-то бодро приговаривал, — «так-с», «отлично-с», «вот, изволите видеть», — и продолжал пить. Рассуждение его сводилось к тому, что если Леночка ему писала: «Мысленно ласкаю тебя, Павианыч милый», то она не может любить другого, а посему заблуждается, и нужно ей заблуждение это растолковать. Еще выпив, он переменился, потемнел, погрубел, почему-то разулся, а потом снова, как давеча, разрыдался и рыдая ходил по комнатам, словно не было меня, и со всей силой босой ступней отпихивал стул, когда на него натыкался. Он докончил между тем графин, и тогда наступила третья фаза, заключительная часть этого пьяного силлогизма, в которой сочетались по всем правилам диалектики первоначальная деловитость и последовавшая за нею мрачность. Теперь выходило так, что мы с ним установили кое-что (что именно, было довольно неясно), в чрезвычайно неблаговидном свете рисующее ее любовника, и план состоял в том, чтобы я, как бы по собственному почину, отправилась к ней и «предупредила», причем надо было зараз дать ей понять и то, что Павел Романович абсолютно против всякого вмешательства, и то, что его советы носят характер ангельского бескорыстия. Не успела я опомниться, как уже, окруженная и стесненная густым шепотом Павла Романовича, тут же поспешно обувавшегося, звонила ей по телефону, и только когда услышала ее голос, высокий, глупо звонкий, — вдруг ясно поняла, что я пьяна и делаю глупости. Я разъединила, но он принялся целовать мои холодные, мои сжимающиеся руки, и я позвонила опять, была признана без энтузиазма, сказала, что должна ее повидать по делу, и она с некоторой запинкой согласилась, чтобы я пришла к ней тотчас. Тут, то есть когда уже мы вместе с Павлом Романовичем вышли из дома, оказалось, что план наш созрел окончательно и поразительно прост: я должна была ей сказать, что у Павла Романовича есть нечто сообщить ей исключительно важное, — никак,

никак не касающееся их расхождения (на это он особенно напирал, смакуя такую тактику), и что он ее ждет в пивной напротив.

Я как-то очень долго поднималась по лестнице, и меня почему-то страшно мучила мысль, что последний раз, когда мы с нею виделись, я была в той же шляпе и с той же черной лисой на плече. Леночка зато вышла ко мне нарядная, только что, видимо, завитая, но плохо завитая, да и вообще подурневшая, с какими-то пожилыми припухлостями вокруг шикарно намазанного рта, из-за которых весь этот шик пропадал напрасно. «Я не верю, что это так важно, — сказала она, глядя на меня с любопытством, — но если он думает, что мы еще не обо всем переговорили, пожалуйста, я согласна, только прошу при свидетелях, одна я боюсь с ним остаться, довольно, господа».

Когда мы вошли в пивную, Павел Романович сидел облокотясь о стол, тер мизинцем красные, голые глаза и длинно, однотонно рассказывал что-то, какой-то «случай из жизни», совершенно незнакомому немцу, сидевшему за его столом, огромного роста мужчине с прилизанным пробором, но с темным пухом сзади на шее и с обкусанными ногтями. «С другой стороны, — говорил Павел Романович, — мой отец не хотел влипнуть в историю и поэтому решил его окружить забором. Хорошо-с. От нас было до них как примерно...» Он рассеянно кивнул жене и продолжал как ни в чем не бывало: «...примерно до трамвая, так что никаких претензий у них быть не могло. Но согласитесь, что провести всю осень в Вильне без света — не шутка. Тогда, скрепя сердце...» Было совершенно непонятно, о чем он рассказывает. Немец слушал прилежно, слегка раскрыв рот, он с трудом понимал по-русски, но самый процесс понимания доставлял ему удовольствие. Леночка, сидевшая так близко от меня, что я чувствовала ее неприятную теплоту, принялась рыться в своей сумке. «Этому решению, — говорил Павел Романович, — посодействовала болезнь отца. Если вы там действительно жили, то, конечно, помните улицу. По ночам там темно, и часто случается...» — «Павлик, — сказала Леночка, — вот твое пенснэ, я нечаянно увезла в сумке». — «По ночам там темно», — повторил Павел Романович; растворил, говоря, футлярчик

который она ему перебросила через стол, надел пенснэ и, вынув револьвер, начал в жену стрелять.

Она с воплем упала под стол, увлекая меня за собой, а немец, отпрянувший от Павла Романовича, споткнулся о нас и тоже упал, так что мы трое как-то спутались на полу, но я успела увидеть, как подскочивший к стрелявшему официант со страшным наслаждением и силой ударил его по темени железной пепельницей. Потом было обычное в таких случаях медленное приведение разбитого мира в порядок, — с участием зевак, полиции, санитаров. Фальшиво стонущая, навылет раненная в толстое загорелое плечо Леночка была отвезена в больницу, а вот как Павла Романовича уводили, я не видела. Когда все кончилось, то есть когда все опять заняли свои места — фонари, дома, звезды, — я очутилась на пустынной улице вместе с немцем: громадный, с обнаженной головой, в просторном макинтоше, он словно плыл рядом со мной. Мне сначала казалось, что он провожает меня домой, но внезапно сообразила, что это я его провожаю. Медленно, веско, но не без поэзии, и почему-то на дурном французском языке, он объяснил мне у своих ворот, что не может повести меня к себе, потому что живет с приятелем, который заменяет ему и отца, и брата, и жену. Его извинения показались мне столь оскорбительными, что я велела ему вызвать немедленно таксомотор и отвезти меня восвояси, но он испуганно улыбнулся и захлопнул мне дверь в лицо, — и вот я уже шла по мокрой, — хотя дождь давно перестал, — мокрой и точно пристыженной улице, совсем одна, как мне от века идти полагается, и перед глазами у меня все поднимался, поднимался Павел Романович, стирая с бедной своей головы кровь и пепел.

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА

ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ

ТЯЖЕЛЫЙ ДЫМ

Когда зажглись, чуть ли не одним махом до самого Байришер Плац, висящие над улицей фонари, все в неосвещенной комнате слегка сдвинулось со своих линий под влиянием уличных лучей, снявших первым делом копию с узора кисейной занавески. Уже часа три, за вычетом краткого промежутка ужина (краткого и совершенно безмолвного, благо отец и сестра были опять в ссоре и читали за столом), он так лежал на кушетке, длинный, плоский юноша в пенснэ, поблескивающем среди полумрака. Одурманенный хорошо знакомым ему томительным, протяжным чувством, он лежал, и смотрел, и прищуривался, и любая продольная черта, перекладина, тень перекладины обращались в морской горизонт или в кайму далекого берега. Как только глаз научился механизму этих метаморфоз, они стали происходить сами по себе, как продолжают за спиной чудотворца зря оживать камушки, и теперь, то в одном, то в другом месте комнатного космоса, складывалась вдруг и углублялась мнимая перспектива, графический мираж, обольстительный своей прозрачностью и пустынностью: полоса воды, скажем, и черный мыс с маленьким силуэтом араукарии.

Из глубины соседней гостиной, отделенной от его комнаты раздвижными дверьми (сквозь слепое, зыбкое стекло которых горел рассыпанный по зыби желтый блеск тамошней лампы, а пониже сквозил, как в глубокой воде, расплывчато-темный прислон стула, ставимого так ввиду поползновения дверей медленно, с содроганиями, разъезжаться), слышался по временам невнятный, малословный

разговор. Там (должно быть, на дальней оттоманке) сидела сестра со своим знакомым, и, судя по таинственным паузам, разрешавшимся наконец покашливанием или нежно-вопросительным смешком, они целовались. Были еще звуки с улицы: завивался вверх, как легкий столб, шум автомобиля, венчаясь гудком на перекрестке, или, наоборот, начиналось с гудка и проносилось дребезжанием, в котором принимала посильное участие дрожь дверей.

И как сквозь медузу проходит свет воды и каждое ее колебание, так все проникало через него, и ощущение этой текучести преображалось в подобие ясновидения: лежа плашмя на кушетке, относимой вбок течением теней, он вместе с тем сопутствовал далеким прохожим и воображал то панель у самых глаз, с дотошной отчетливостью, с какой видит ее собака, то рисунок голых ветвей на не совсем еще бескрасочном небе, то чередование витрин: куклу парикмахера, анатомически не более ра́звитую, чем дама червей; рамочный магазин с вересковыми пейзажами и неизбежной Inconnue de la Seine (столь популярной в Берлине) среди многочисленных портретов главы государства; магазин ламп, где все они горят, и невольно спрашиваешь себя, какая же из них там своя, обиходная...

Он спохватился, лежа мумией в темноте, что получается неловко: сестра, может быть, думает, что его нет дома. Но двинуться было неимоверно трудно. Трудно, — ибо сейчас форма его существа совершенно лишилась отличительных примет и устойчивых границ; его рукой мог быть, например, переулок по ту сторону дома, а позвоночником — хребтообразная туча через все небо с холодком звезд на востоке. Ни полосатая темнота в комнате, ни освещенное золотою зыбью ночное море, в которое преобразилось стекло дверей, не давали ему верного способа отмерить и отмежевать самого себя, и он только тогда отыскал этот способ, когда проворным чувствилищем вдруг повернувшегося во рту языка (бросившегося как бы спросонья проверить, все ли благополучно) нащупал инородную мягкость застрявшего в зубах говяжьего волоконца и заодно подумал, сколько уже раз в продолжение двадцатилетней жизни менялась эта невидимая, но осязаемая обстановка зубов, к которой язык привыкал, пока не выпадала пломба,

оставляя за собой пропасть, которая со временем заполнялась вновь.

Понуждаемый не столько откровенной тишиной за дверьми, сколько желанием найти что-нибудь остренькое для подмоги одинокому слепому работнику, он наконец потянулся, приподнялся и, засветив лампу на столе, полностью восстановил свой телесный образ. Он увидел и ощутил себя (пенснэ, черные усики, нечистая кожа на лбу) с тем омерзением, которое всегда испытывал, когда на минуту возвращался к себе и в себя из томного тумана, предвещавшего... что? Какой образ примет наконец мучительная сила, раздражающая душу? Откуда оно взялось, это растущее во мне? Мой день был такой, как всегда: университет, библиотека, — но по мокрой крыше трактира на краю пустыря, когда с поручением отца пришлось переть к Осиповым, стлался отяжелевший от сырости, сытый, сонный дым из трубы, не хотел подняться, не хотел отделиться от милого тлена, и тогда-то именно ёкнуло в груди, тогда-то...

На столе лоснилась клеенчатая тетрадь, и рядом валялся, на пегом от клякс бюваре, бритвенный ножичек с каемкой ржавчины вокруг отверстий. Кроме того, лампа освещала английскую булавку. Он ее разогнул и острием, следуя несколько суетливым указаниям языка, извлек волоконце, проглотил... лучше всяких яств... После чего язык, довольный, улегся.

Вдруг, сквозь зыбкое стекло дверей, появилась, приложенная извне, русалочья рука; затем половины судорожно раздвинулись и просунулась кудлатая голова сестры.

— Гришенька, — сказала она, — пожалуйста, будь ангел, достань папирос у папы.

Он ничего не ответил, и она совсем сузила яркие щели мохнатых глаз (очень плохо видела без своих роговых очков), стараясь рассмотреть, не спит ли он.

— Достань, Гришенька, — повторила она еще просительнее, — ну, сделай это. Я не хочу к нему ходить после вчерашнего.

— Я, может быть, тоже не хочу, — сказал он.

— Скоренько, — нежно произнесла сестра. — А, Гришенька?

— Хорошо, отстань, — сказал он наконец, и, бережно воссоединив дверные половины, она растворилась в стекле.

Он опять подвинулся к освещенному столу, с надеждой вспомнив, что куда-то засунул забытую однажды приятелем коробочку папирос. Теперь уже не видно было блестящей булавки, а клеенчатая тетрадь лежала иначе, полураскрывшись (как человек меняет положение во сне). Кажется — между книгами. Полки тянулись сразу над столом, свет лампы добирался до корешков. Тут был и случайный хлам (больше всего), и учебники по политической экономии (я хотел совсем другое, но отец настоял на своем); были и любимые, в разное время потрафившие душе, книги: «Шатёр» и «Сестра моя жизнь», «Вечер у Клэр» и «Bal du comte d'Orgel», «Защита Лужина» и «Двенадцать стульев», Гофман и Гельдерлин, Баратынский и старый русский Бэдекер. Он почувствовал, — уже не первый, — нежный, таинственный толчок в душе и замер, прислушиваясь — не повторится ли? Душа была напряжена до крайности, мысли затмевались, и, придя в себя, он не сразу вспомнил, почему стоит у стола и трогает книги. Бело-синяя картонная коробочка, засунутая между Зомбартом и Достоевским, оказалась пустой. По-видимому, не отвертеться. Была, впрочем, еще одна возможность.

Вяло и почти беззвучно волоча ноги в ветхих ночных туфлях и неподтянутых штанах, он из своей комнаты переместился в прихожую и там нащупал свет. На подзеркальнике, около щегольской бэжевой кепки гостя, остался мягкий, мятый кусок бумаги: оболочка освобожденных роз. Он пошарил в пальто отца, проникая брезгливыми пальцами в бесчувственный мир чужого кармана, но не нашел в нем тех запасных папирос, которые надеялся добыть, зная тяжеловатую отцовскую предусмотрительность. Ничего не поделаешь, надо к нему...

Но тут, т. е. в каком-то неопределенном месте сомнамбулического его маршрута, он снова попал в полосу тумана, и на этот раз возобновившиеся толчки в душе были так властны, а главное, настолько живее всех внешних восприятий, что он не тотчас и не вполне признал собою, своим пределом и обликом, сутуловатого юношу с бледной

небритой щекой и красным ухом, бесшумно проплывшего в зеркале. Догнав себя, он вошел в столовую.

Там, у стола, накрытого давно опочившей прислугой к вечернему чаю, сидел отец и, одним пальцем шурша в черной с проседью бороде, а в пальцах другой руки держа на отлете за упругие зажимчики пенснэ, изучал большой, рвущийся на сгибах план Берлина. На днях произошел страстный, русского порядка, спор у знакомых о том, как ближе пройти от такой-то до такой-то улицы, по которым, впрочем, никто из споривших никогда не хаживал, и теперь, судя по удивленно недовольному выражению на склоненном лице отца, с двумя розовыми восьмерками по бокам носа, выяснилось, что он был тогда не прав.

— Что тебе? — спросил он, вскинув глаза на сына (может быть, с тайной надеждой, что я сяду, сниму попону с чайника, налью себе, ему). — Папирос? — продолжал он тем же вопросительным тоном, уловив направление взгляда сына, который было зашел за его спину, чтобы достать коробку, стоявшую около его прибора, но отец уже передавал ее слева направо, так что случилась заминка.

— Он ушел? — задал он третий вопрос.

— Нет, — сказал сын, забрав горсть шелковистых папирос.

Выходя из столовой, он еще заметил, как отец всем корпусом повернулся на стуле к стенным часам с таким видом, будто они сказали что-то, а потом начал поворачиваться обратно, но тут дверь закрылась, я не досмотрел. Я не досмотрел, мне не до этого, но и это, и давешние морские дали, и маленькое горящее лицо сестры, и невнятный гул круглой, прозрачной ночи, все, по-видимому, помогало образоваться тому, что сейчас наконец определилось. Страшно ясно, словно душа озарилась бесшумным взрывом, мелькнуло будущее воспоминание, мелькнула мысль, что точно так же, как теперь иногда вспоминается манера покойной матери при слишком громких за столом ссорах делать плачущее лицо и хвататься за висок, вспоминать придется когда-нибудь, с беспощадной, непоправимой остротой, обиженные плечи отца, сидящего за рваной картой, мрачного, в теплой домашней куртке, обсыпанной пеплом и перхотью; и все это животворно смешалось

с сегодняшним впечатлением от синего дыма, льнувшего к желтым листьям на мокрой крыше.

Промеж дверей, невидимые, жадные пальцы отняли у него то, что он держал, и вот снова он лежал на кушетке, но уже не было прежнего томления. Громадная, живая, вытягивалась и загибалась стихотворная строка; на повороте сладко и жарко зажигалась рифма, и тогда появлялась, как на стене, когда поднимаешься по лестнице со свечой, подвижная тень дальнейших строк.

Пьяные от итальянской музыки аллитераций, от желания жить, от нового соблазна старых слов — «хлад», «брег», «ветр», — ничтожные, бренные стихи, которые к сроку появления следующих неизбежно зачахнут, как зачахли одни за другими все прежние, записанные в черную тетрадь; но все равно: сейчас я верю восхитительным обещаниям еще не застывшего, еще вращающегося стиха, лицо мокро от слез, душа разрывается от счастья, и я знаю, что это счастье — лучшее, что есть на земле.

НАБОР

Он был стар, болен, никому на свете не нужен и в бедности дошел до той степени, когда человек уже не спрашивает себя, чем будет жить завтра, а только удивляется, чем жил вчера. Кроме болезни, у него не было на свете никаких личных привязанностей. Его старшая, незамужняя сестра, с которой он в двадцатых годах выехал из России, давно умерла: он отвык от нее, привыкнув к пустоте, имеющей ее форму; но нынче, в трамвае, возвращаясь с кладбища, где был на похоронах профессора Д., он с бесплодным огорчением размышлял о том, что могила ее запущена, краска на кресте потрескалась, а имя уже едва отличимо от липовой тени, скользящей по нему, стирающей его. На похоронах профессора Д. присутствовало с дюжину старых смирных людей, постыдно связанных пошлым равенством смерти, стоявших, как в таких случаях бывает, и вместе и порознь, в каком-то сокрушенном ожидании, пока совершался прерываемый светским волнением ветвей бедный обряд; пекло

невыносимое натощак солнце, а он был из приличия в пальто, скрывавшем кроткий срам костюма. И хотя профессора Д. он знал довольно близко, и хотя он старался прямо и твердо перед глазами держать на этом жарком, счастливом июльском ветру уже зыблющийся, и заворачивающийся, и рвущийся из рук добрый образ покойного, но мысль все соскальзывала в ту сторону памяти, где со своими неизменными привычками деловито воскресала сестра, такая же, как он сам, грузная, полная, в очках той же, как у него, силы на совершенно мужском, крупном и красном, словно налакированном носу, одетая в серый жакет, какой носят и по сей день русские общественные деятельницы: чудная, чудная душа — на скорый взгляд, живущая умно, умело и бойко, но, как ни странно, с удивительными просветами грусти, известной ему одному, за которые, собственно, он и любил ее так.

В трамвае среди чужой берлинской тесноты до самого конца уцелел еще один из бывших на кладбище — мало знакомый Василию Ивановичу старый присяжный поверенный (тоже никому, кроме как мне, не нужный), и Василий Иванович некоторое время занимался вопросом, заговорить ли с ним, если тасовка трамвайной толпы случайно сведет их вместе; тот, впрочем, не отрываясь смотрел в окно на вращение улиц с выражением иронии на сильно запущенном лице. Наконец (и этот момент я как раз и схватил, после чего уже ни на минуту не упускал из вида рекрута) Василий Иванович вышел, и так как был тяжел и неуклюж, то кондуктор помог ему слезть на продолговатый каменный остров: слезши, он с неторопливой благодарностью принял сверху собственную руку, которую за рукав еще держал кондуктор, медленно переставил ступни, повернулся и, выглядывая опасность, потянулся к асфальту с намерением перейти через улицу.

Перешел благополучно. Недавно, когда дрожащий иерей предложил приступить к пению вечной памяти, Василий Иванович так долго, с таким трудом опускался на колено, что все уже было кончено, когда наконец опустился, и тогда он уже не мог подняться, и старик Тихоцкий помог ему, как вот сейчас помог кондуктор. Это двойное

впечатление усугубило чувство особенного, как бы чем-то уже сродного земле, утомления, в котором, однако, была своя приятность, и, рассудив, что все равно рано, чтобы направиться к хорошим, скучным людям, у которых он столовался, Василий Иванович указал себе самому тростью на скамью и медленно, до предпоследней секунды не даваясь силе притяжения, сел, сдался.

Хотелось бы все-таки понять, откуда оно, это счастье, этот наплыв счастья, обращающего сразу душу во что-то большое, прозрачное и драгоценное. Ведь помилуйте, человек стар, болен, на нем уже метка смерти, он всех растерял, кого любил: жену, еще в России ушедшую от него к известному черносотенцу доктору Малиновскому, газету, в которой работал, читателя, друга детства и тезку, милейшего Василия Ивановича Малера, замученного в провинции в годы Гражданской войны, брата, умершего в Харбине от рака, сестру.

Он опять с досадой подумал о зыбкости ее могилы, уже переходившей ползком в стан природы; вот уже семь лет, как он перестал о ней печься, отпустив на волю. Ни с того ни с сего с резкой яркостью Василий Иванович вдруг увидел в воображении человека, которого сестра когда-то любила, — единственного человека, которого она любила, — гаршинской породы, полусумасшедшего, чахоточного, обаятельного, с угольно-черной бородой и цыганскими глазами, неожиданно застрелившегося из-за другой, кровь на манишке, маленькие ноги в щегольских штиблетах. Затем, безо всякой связи, он сестру увидел подростком, с новенькой головой, остриженной после тифа, объясняющую ему в диванной сложную систему прикосновений к предметам, которую она выработала, так что жизнь ее превратилась в постоянные хлопоты по сохранению таинственного равновесия между вещами: тронуть стену проходя, скользнуть ладонью левой руки, правой — как бы окуная руки в ощущение предмета, чтобы были чистые, в мире с миром, отражаясь друг в дружке, а впоследствии она интересовалась главным образом женским вопросом, учреждала какие-то женские аптеки и безумно боялась покойников, потому что, как говорила, не верила в Бога.

Так вот: потерявший почти десять лет тому назад эту сестру, которую за ночные слезы особенно нежно любил; воротясь только что с кладбища, где дурацкая канитель с землей оживила воспоминание; столь тяжелый, слабый, нерасторопный, что не мог ни встать с колен, ни сойти с трамвайной площадки (протянутые вниз руки милосердно склонившегося кондуктора, — и по-моему, еще кто-то помогал из пассажиров); усталый, одинокий, толстый, стыдящийся со всеми тонкостями старомодной стыдливости своего заштопанного белья, истлевающих панталон, всей своей нехоленой, никем не любимой, дурно обставленной тучности, Василий Иванович был, однако, преисполнен какого-то неприличного счастья, происхождения неизвестного, не раз за всю его долгую и довольно-таки крутую жизнь удивлявшего его своим внезапным нашествием. Он сидел совсем тихо, положив руки (изредка только расправляя пальцы) на загиб трости и расставя широкие ляжки, так что округлое основание живота в раме расстегнутого пальто покоилось на краю скамейки. Пчелы обслуживали цветущую липу над ним; оттуда, из ее нарядной гущи, плыл мутный медовый запах, а внизу, в ее тени, вдоль панели, ярко желтела цветочная осыпь, похожая на протертый навозец. Через весь газон посредине сквера лежала красная мокрая кишка, и подальше из нее била сияющая вода с разноцветным призраком в ореоле брызг. Между кустами боярышника и выдержанной в стиле шалэ публичной уборной сквозила сизая улица; там стоял толстым шутом рекламный столб и проходил с бряцанием и воем трамвай.

Этот сквер, эти розы, эту зелень во всех их незамысловатых преображениях он видел тысячу раз, но все насквозь сверкало жизнью, новизной, участием в его судьбе, когда с ним и со мной случались такие припадки счастья. Рядом, на ту же в темно-синюю краску выкрашенную, горячую от солнца, гостеприимную и равнодушную скамейку, сел господин с русской газетой. Описать этого господина мне трудно, да и незачем, автопортрет редко бывает удачен, ибо в выражении глаз почти всегда остается напряженность: гипноз зеркала, без которого не обойтись. Почему я решил,

что человека, с которым я сел рядом, зовут Василием Ивановичем? Да потому, что это сочетание имен как кресло, а он был широк и мягок, с большим домашним лицом, и, положа руки на трость, сидел удобно, неподвижно, — только сновали зрачки за стеклами очков, от облака, идущего в одну сторону, к идущему в другую грузовику, или от воробьихи, кормящей на гравии сына, к прерывистым дергающимся движениям, делаемым маленьким деревянным автомобилем, который за нитку тянул за собой забывший о нем ребенок (вот упал на бок, но продолжал ехать). Некролог профессора Д. занимал видное место в газете, и вот, спеша как-нибудь помрачнее и потипичнее меблировать утро Василия Ивановича, я и устроил ему эту поездку на похороны, хотя писали, что день будет объявлен особо, но, повторяю, я спешил, да и хотелось мне, чтобы это было так, — ведь он был именно из тех, которых видишь на русских торжествах за границей стоящими как бы в сторонке, но тем самым подчеркивающими обыкновенность своего присутствия, и так как в мягких чертах его полного бритого лица было что-то напоминающее мне черты московской общественной дамы А. М. Аксаковой, которую помню с детства — она приходилась мне дальней родственницей, — я почти нечаянно, но уже с неудержимыми подробностями, ее сделал его сестрою, — и все это совершилось с головокружительной скоростью, потому что мне во что бы то ни стало нужно было вот такого, как он, для эпизода романа, с которым вожусь третий год. Какое мне было дело, что толстый старый этот человек, которого я сначала увидел опускаемым из трамвая и который теперь сидел рядом, вовсе, может быть, и не русский? Я был так доволен им! Он был такой вместительный! По странному стечению чувств, мне казалось, что я заражаю незнакомца тем искрометным счастьем, от которого у меня мороз пробегает по коже... Я желал, чтобы, несмотря на старость, на бедность, на опухоль в животе, Василий Иванович разделял бы страшную силу моего блаженства, соучастием искупая его беззаконность; так, чтобы оно перестало быть ощущением никому не известным, редчайшим видом сумасшествия, чудовищной радугой во всю душу, а сделалось хотя

бы двум только человекам доступным, стало бы предметом их разговора и через это приобрело бы житейские права, которых иначе мое дикое, душное счастье лишено совершенно. Василий Иванович (я упорствовал в этом названии) снял черную фетровую шляпу, как будто не с целью освежить голову, а затем именно, чтобы приветствовать мои мысли. Он медленно погладил себя по темени, и тени липовых листьев прошли по жилам большой руки и опять легли на седоватые волосы. Все так же медленно он повернул голову ко мне, взглянул на мою газету, на мое загримированное под читателя лицо и, величаво отвернувшись, снова надел шляпу.

Но он был уже мой. Вот с усилием он поднялся, выпрямился, переложил трость из одной руки в другую и, сделав сперва короткий пробный шажок, спокойно двинулся прочь — если не ошибаюсь, навеки, — но как чуму он уносил с собой необыкновенную заразу и был заповедно связан со мной, обреченный появиться на минуту в глубине такой-то главы, на повороте такой-то фразы.

Мой представитель был теперь один на скамейке, и так как он передвинулся в тень, где только что сидел Василий Иванович, то на лбу у него колебалась та же липовая прохлада, которая венчала ушедшего.

ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ

Весна в Фиальте облачна и скучна. Все мокро: пегие стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко, в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен и ощупью ищущих опоры (кладбищенский кипарис тянется за ними), расплывчато очерченная гора Св. Георгия менее чем когда-либо похожа на цветные снимки с нее, которые тут же туриста ожидают (с тысяча девятьсот десятого года, примерно, судя по шляпам дам и молодости извозчиков), теснясь в застывшей карусели своей стойки между оскалом камня в аметистовых кристаллах и морским рококо раковин. Ветра нет, воздух

тепл, отдает гарью. Море, опоенное и опресненное дождем, тускло-оливково; никак не могут вспениться неповоротливые волны.

Именно в один из таких дней раскрываюсь, как глаз, посреди города на крутой улице, сразу вбирая все: и прилавок с открытками, и витрину с распятиями, и объявление заезжего цирка, с углом, слизанным со стены, и совсем еще желтую апельсинную корку на старой, сизой панели, сохранившей там и сям, как сквозь сон, странные следы мозаики. Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, самого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты; потому ли, что его сонная весна особенно умащивает душу, не знаю; но как я был рад очнуться в нем, и вот шлепать вверх, навстречу ручьям, без шапки, с мокрой головой, в макинтоше, надетом прямо на рубашку!

Я приехал ночным экспрессом, в каком-то своем, паровозном, азарте норовившем набрать с грохотом как можно больше туннелей; приехал невзначай, на день, на два, воспользовавшись передышкой посреди делового путешествия. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества, всегда плывущую рядом со мной, даже сквозь меня, а все-таки вне меня, систему счастья.

Со ступеньки встал и пошел, с выпученным серым, пупастым животом, мужского пола младенец, ковыляя на калачиках и стараясь нести зараз три апельсина, неизменно один роняя, пока сам не упал, и тогда мгновенно у него все отняла тремя руками девочка с тяжелым ожерельем вокруг смуглой шеи и в длинной, как у цыганки, юбке. Далее, на мокрой террасе кофейни официант вытирал столики; с ним беседовал, опершись с моей стороны на перила, безнадежно усатый продавец сложных, с лунным отливом, сластей в безнадежно полной корзине. Моросить не то перестало, не то Фиальта привыкла и уже сама не знала, чем дышит, влажным ли воздухом или теплым дождем. На ходу набивая из резинового кисета трубку, прочного вывозного сорта англичанин в клетчатых шароварах появился из-под арки

и вошел в аптеку, где за стеклом давно изнемогали от жажды большие бледные губки в синей вазе. Боже мой, какое я ощущал растекающееся по всем жилам наслаждение, как все во мне благодарно отзывалось на шорохи, запахи этого серого дня, насыщенного весной, но в себе еще ее не чующего! Голова у меня была прозрачна после бессонной ночи; я все понимал: свист дрозда в миндальном саду за часовней, и мирную тесноту этих жилых развалин вместо домов, и далекое за вуалью воздуха, дух переводящее море, и ревнивый блеск взъерошенных бутылочных осколков по верху стены (за ней штукатурная гордость местного богатея), и объявление цирка, на эту стену наклеенное; пернатый индеец, на всем скаку выбросив лассо, окрутил невозможную зебру, а на тумбах, испещренных звездами, сидят одураченные слоны.

Тот же англичанин теперь обогнал меня. Мельком, заодно со всем прочим, впитывая и его, я заметил, как, в сторону скользнув большим аквамариновым глазом с воспаленным лузгом, он самым кончиком языка молниеносно облизнулся. Я машинально посмотрел туда же и увидел Нину.

Всякий раз, когда мы встречались с ней, за все время нашего пятнадцатилетнего... назвать в точности не берусь: приятельства? романа?.. — она как бы не сразу узнавала меня; и ныне тоже она на мгновение осталась стоять, полуобернувшись, натянув тень на шее, обвязанной лимонно-желтым шарфом, в исполненной любопытства, приветливой неуверенности... и вот уже вскрикнула, подняв руки, играя всеми десятью пальцами в воздухе, и посреди улицы, с откровенной пылкостью давней дружбы (с той же лаской, с какой быстро меня крестила, когда мы расставались), всем ртом трижды поцеловала меня и зашагала рядом со мной, вися на мне, прилаживая путем прыжка и глиссады к моему шагу свой, в узкой рыжей юбке с разрезом вдоль голени.

— Фердинандушка здесь, как же, — ответила она и тотчас в свою очередь вежливенько и весело осведомилась о моей жене.

— Шатается где-то с Сегюром, — продолжала она о

муже, — а мне нужно кое-что купить, мы сейчас уезжаем. Погоди, куда это ты меня ведешь, Васенька?

Собственно говоря, назад в прошлое, что я всякий раз делал при встрече с ней, будто повторяя все накопление действия сначала вплоть до последнего добавления, как в русской сказке подбирается уже сказанное при новом толчке вперед. Теперь мы свиделись в туманной и теплой Фиальте, и я не мог бы с бóльшим изяществом праздновать это свидание (перечнем, с виньетками, от руки крашенными, всех прежних заслуг судьбы), знай я даже, что оно последнее; последнее, говорю; ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом.

Я познакомился с Ниной очень уже давно, в тысяча девятьсот семнадцатом, должно быть, судя по тем местам, где время износилось. Было это в какой-то именинный вечер в гостях у моей тетки, в ее лужском имении, чистой деревенской зимой (как помню первый знак приближения к нему: красный амбар посреди белого поля). Я только что кончил лицей; Нина уже обручилась: ровесница века, она, несмотря на малый рост и худобу, а может быть, благодаря им, была на вид значительно старше своих лет, точно так же как в тридцать два казалась намного моложе. Ее тогдашний жених, боевой офицер из аккуратных, красавец собой, тяжеловатый и положительный, взвешивавший всякое слово на всегда вычищенных и выверенных весах, говоривший ровным ласковым баритоном, делавшимся еще более ровным и ласковым, когда он обращался к ней; словом, один из тех людей, все мнение о которых исчерпывается ссылкой на их совершенную порядочность (прекрасный товарищ, идеал секунданта) и которые, если уже влюбляются, то не просто любят, а боготворят, успешно теперь работает инженером в какой-то очень далекой тропической стране, куда за ним она не последовала.

Зажигаются окна и ложатся, с крестом на спине, ничком на темный, толстый снег; ложится меж них и веерный просвет над парадной дверью. Не помню, почему мы все повысыпали из звонкой с колоннами залы в эту неподвижную темноту, населенную лишь елками, распухшими вдвое

от снежного дородства: сторожа ли позвали поглядеть на многообещающее зарево далекого пожара, любовались ли мы на ледяного коня, изваянного около пруда швейцарцем моих двоюродных братьев; но воспоминание только тогда приходит в действие, когда мы уже возвращаемся в освещенный дом, ступая гуськом по узкой тропе среди сумрачных сугробов с тем скрип-скрип-скрипом, который, бывало, служил единственной темой зимней неразговорчивой ночи. Я шел в хвосте; передо мной в трех скользких шагах шло маленькое склоненное очертание; елки молча торговали своими голубоватыми пирогами; оступившись, я уронил и не сразу мог нащупать фонарь с мертвой батареей, который мне кто-то всучил, и тотчас привлеченная моим чертыханием, с торопящимся, оживленно тихим, смешное предвкушающим смехом, Нина проворно повернулась ко мне. Я зову ее Нина, но тогда едва ли я знал ее имя, едва ли мы с нею успели что-либо, о чем-либо... «Кто это?» — спросила она любознательно, а я уже целовал ее в шею, гладкую и совсем огненную за шиворотом, накаленную лисьим мехом, навязчиво мне мешавшим, пока она не обратила ко мне и к моим губам не приладила, с честной простотой, ей одной присущей, своих отзывчивых, исполнительных губ.

Но, взрывом веселья мгновенно разлучая нас, в сумраке началась снежная свалка, и кто-то, спасаясь, падая, хрустя, хохоча с запышкой, влез на сугроб, побежал, охнул сугроб, произвел ампутацию валенка. И потом до самого разъезда так мы друг с дружкой ни о чем и не потолковали, не сговаривались насчет тех будущих, в даль уже тронувшихся, пятнадцати дорожных лет, нагруженных частями наших несобранных встреч, и, следя за ней в лабиринте жестов и теней жестов, из которых состоял вечер (его общий узор могу ныне восстановить только по другим, подобным ему, вечерам, но без Нины), я был, помнится, поражен не столько ее невниманием ко мне, сколько чистосердечнейшей естественностью этого невнимания, ибо я еще тогда не знал, что, скажи я два слова, оно сменилось бы тотчас чудной окраской чувств, веселым, добрым, по возможности деятельным участием, точно женская любовь была родниковой водой, содержащей целебные соли, которой

она из своего ковшика охотно поила всякого, только напомни.

— Последний раз мы виделись, кажется, в Париже, — заметил я, чтобы вызвать одно из знакомых мне выражений на ее маленьком скуластом лице с темно-малиновыми губами; и действительно: она так усмехнулась, как будто я плоско пошутил или, подробнее, как будто все эти города, где нам рок назначал свидания, на которые сам не являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть бутафорские переулки, были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что упоминать о них было почти безвкусно.

Я сопроводил ее в случайную лавку под аркадами; там, в бисерной полутьме, она долго возилась, перебирая какие-то красные кожаные кошельки, набитые нежной бумагой, смотря на подвески с ценой, словно желая узнать их возраст; затем потребовала непременно такого же, но коричневого, и когда, после десятиминутного шелеста, именно такой чудом отыскался, она было взяла из моих рук монеты, но вовремя опомнилась, и мы вышли, ничего не купив.

Улица была все такая же влажная, неоживленная; чадом, волнующим татарскую мою память, несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спустя рукава до самой земли; двое рабочих в широких шляпах закусывали сыром с чесноком, прислонившись к афишной доске, на которую были наклеены гусар, укротитель в усах и оранжевый тигр на белой подкладке, причем в стремлении сделать его как можно свирепее художник зашел так далеко, что вернулся с другой стороны, придав его морде кое-что человеческое.

— Au fond[1], я хотела гребенку, — сказала Нина с поздним сожалением.

Как мне была знакома ее зыбкость, нерешительность, спохватки, легкая дорожная суета! Она всегда или только

[1] В сущности *(фр.)*.

что приехала или сейчас уезжала. Если бы мне надо было предъявить на конкурс земного бытия образец ее позы, я бы, пожалуй, поставил ее у прилавка в путевой конторе, ноги свиты, одна бьет носком линолеум, локти и сумка на прилавке, за которым служащий, взяв из-за уха карандаш, раздумывает вместе с ней над планом спального вагона.

В первый раз за границей я встретил ее в Берлине, у знакомых. Я собирался жениться; она только что разошлась с женихом. Я вошел, увидел ее издали и машинально, но безошибочно определил, оглянув других мужчин в комнате, кто из них больше знает о ней, чем знал я. Она сидела с ногами в углу дивана, сложив свое небольшое, удобное тело в виде зета; у каблучка стояла на диване пепельница; и, всмотревшись в меня и вслушавшись в мое имя, она отняла от губ длинный, как стебель, мундштук и протяжно, радостно воскликнула: «Нет!» (в значении «глазам не верю»), и сразу всем показалось, ей первой, что мы в давних приятельских отношениях: поцелуя она не помнила вовсе, но зато (через него все-таки) у нее осталось общее впечатление чего-то задушевного, воспоминание какой-то дружбы, в действительности никогда между нами не существовавшей. Таким образом, весь склад наших отношений был первоначально основан на небывшем, на мнимом благе, если, однако, не считать за прямое добро ее беспечного, тороватого, дружеского любострастия. Встреча была совершенно ничтожна в смысле сказанных слов, но уже никакие преграды не разделяли нас, и, оказавшись с ней рядом за чайным столом, я бессовестно испытывал степень ее тайного терпения.

Потом она пропадает опять, а спустя год я с женой провожал брата в Вену, и когда поезд, поднимая рамы и отворачиваясь, ушел и мы направились к выходу по другой стороне дебаркадера, неожиданно около вагона парижского экспресса я увидел Нину, окунувшую лицо в розы, посреди группы людей, мне раздражительно незнакомых, кольцом стоявших и смотревших на нее, как зеваки смотрят на уличное препирательство, найденыша или раненого, то есть явно провожавших ее. Она махнула мне цветами,

я познакомил ее с Еленой Константиновной, и на этом ускорявшем жизнь вокзальном ветерке было достаточно обмена нескольких слов для того, чтобы две женщины, между собой во всем различные, уже со следующей встречи друг дружку называли по именам, так свободно уменьшая их, точно они у них порхали на устах с детства. Тогда-то, в синей тени вагона, был впервые упомянут Фердинанд: я узнал, что она выходит за него замуж. Пора было садиться, она быстро, но набожно всех перецеловала, влезла в тамбур, исчезла, а затем сквозь стекло я видел, как она располагалась в купэ, вдруг забыв о нас, перейдя в другой мир, и было так, словно все мы, державшие руки в карманах, подглядывали ничего не подозревавшую жизнь за окном, покуда она не очнулась опять, по стеклу барабаня, затем вскидывая глаза, вешая картину, но ничего не получалось; кто-то помог ей, и она высунулась, страшно довольная; один из нас, уже вынужденный шагать, передал ей журнал и Таухниц (по-английски она читала только в поезде), все ускользало прочь с безупречной гладкостью, и я держал скомканный до неузнаваемости перронный билет, а в голове назойливо звенел, Бог весть почему выплывший из музыкального ящика памяти, другого века романс (связанный, говорили, с какой-то парижской драмой любви), который певала дальняя моя родственница, старая дева, безобразная, с желтым, как церковный воск, лицом, но одержимая таким могучим, упоительно-полным голосом, что он как огненное облако поглощал ее всю, как только она начинала:

On dit que tu te maries,
tu sais que j'en vais mourir[1],

и этот мотив, мучительная обида и музыкой вызванный союз между венцом и кончиной, и самый голос певицы, сопроводивший воспоминание, как собственник напева, несколько часов подряд не давали мне покоя, да и потом еще возникали с растущими перерывами, как последние,

[1] Говорят, ты женишься,
ты знаешь, что я от этого умру *(фр.)*.

все реже и все рассеяннее приплескивающие, плоские, мелкие волны или как слепые содрогания слабеющего била, после того как звонарь уже сидит снова в кругу своей веселой семьи. А еще через год или два был я по делу в Париже, и у поворота лестницы в гостинице, где я ловил нужного мне актера, мы опять без сговору столкнулись с ней: собиралась вниз, держала ключ в руке. «Фердинанд фехтовать уехал», — сказала она непринужденно и, посмотрев на нижнюю часть моего лица и про себя что-то быстро обдумав (любовная сообразительность была у нее бесподобна), повернулась и меня повела, виляя на тонких лодыжках, по голубому бобрику, и на стуле у двери ее номера стоял вынесенный поднос с остатками первого завтрака, следами меда на ноже и множеством крошек на сером фарфоре посуды, но комната была уже убрана, и от нашего сквозняка всосался и застрял волан белыми далиями вышитой кисеи промеж оживших половинок дверного окна, выходившего на узенький чугунный балкон, и лишь тогда, когда мы заперлись, они с блаженным выдохом отпустили складку занавески; а немного позже я шагнул на этот балкончик, и пахнуло с утренней пустой и пасмурной улицы сиреневатой сизостью, бензином, осенним кленовым листом: да, все случилось так просто, те несколько восклицаний и смешков, которые были нами произведены, так не соответствовали романтической терминологии, что уже негде было разложить парчовое слово: измена; и так как я еще не умел чувствовать ту болезненную жалость, которая отравляла мои встречи с Ниной, я был, вероятно, совершенно весел (уж она-то наверное была весела), когда мы оттуда поехали в какое-то бюро разыскивать какой-то ею утерянный чемодан, а потом отправились в кафе, где был со своей тогдашней свитой ее муж.

Не называю фамилии, а из приличия даже меняю имя этого венгерца, пишущего по-французски, этого известного еще писателя... мне не хотелось бы распространяться о нем, но он выпирает из-под моего пера. Теперь слава его потускнела, и это меня радует: значит, не я один противился его демонскому обаянию; не я один испытывал офиологический холодок, когда брал в руки очередную его книгу.

Молва о таких, как он, носится резво, но вскоре тяжелеет, охлаждаясь до полузабвения, а уж история только и сохранит, что эпитафию да анекдот. Насмешливый, высокомерный, всегда с цианистым каламбуром наготове, со странным выжидательным выражением египетских глаз, этот мнимый весельчак действовал неотразимо на мелких млекопитающих. В совершенстве изучив природу вымысла, он особенно кичился званием сочинителя, которое ставил выше звания писателя; я же никогда не понимал, как это можно книги выдумывать, что проку в выдумке; и, не убоясь его издевательски любезного взгляда, я ему признался однажды, что, будь я литератором, лишь сердцу своему позволял бы иметь воображение, да еще, пожалуй, допускал бы память, эту длинную вечернюю тень истины, но рассудка ни за что не возил бы по маскарадам.

О ту пору, когда я встретился с ним, его книги мне были известны; поверхностный восторг, который я себе сперва разрешал, читая его, уже сменялся легким отвращением. В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно-знакомое расположение деревьев... но с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь. Но как он опасен был в своем расцвете, каким ядом прыскал, каким бичом хлестал, если его задевали! После вихря своего прохождения он оставлял за собой голую гладь, где ровнехонько лежал бурелом, да вился еще прах, да вчерашний рецензент, воя от боли, волчком вертелся во прахе. Гремел тогда по Парижу его «Passage à niveau»[1], он был очень, как говорится, окружен, и Нина (у которой гибкость и хваткость восполняли недостаток образования) уже вошла в роль я не скажу музы, но близкого товарища мужа-творца; даже более: тихой советницы, чутко скользящей по его сокровенным извилинам, хотя на самом деле вряд ли одолела хоть одну из его книг,

[1] «Железнодорожный переезд» *(фр.).*

изумительно зная их лучшие подробности из разговора избранных друзей. Когда мы вошли в кафе, там играл дамский оркестр; я мимоходом заметил, как в одной из граненых колонн, облицованных зеркалами, отражается страусовая ляжка арфы; а затем тотчас увидел составной стол, за которым, посреди долгой стороны и спиной к плюшу, председательствовал Фердинанд, и на мгновение эта поза его, положение расставленных рук и обращенные к нему лица сотрапезников напомнили мне с кошмарной карикатурностью... что́ именно напомнили, я сам тогда не понял, а потом, поняв, удивился кощунственности сопоставления, не более кощунственного, впрочем, чем самое искусство его. Он поглядывал на музыку; на нем был под каштановым пиджаком белый вязаный свэтер с высоким сборчатым воротом; над зачесанными с висков волосами нимбом стоял папиросный дым, повторенный за ним в зеркале; костистое и, как это принято определять, породистое лицо было неподвижно, только глаза скользили туда и сюда, полные удовлетворения. Изменив заведениям очевидным, где профан склонен был бы искать как раз его, он облюбовал это приличное, скучноватое кафе и стал его завсегдатаем из особого ему крайне свойственного чувства смешного, находя восхитительно забавной именно жалкую приманку этого кафе: оркестр из полудюжины прядущих музыку дам, утомленный и стыдливый, не знающий, по его выражению, куда девать грудь, лишнюю в мире гармонии. После каждого номера на него находила эпилепсия рукоплесканий, уже возбуждавших (так мне казалось) первое сомнение в хозяине кафе и в его бесхитростных посетителях, но весьма веселивших приятелей Фердинанда. Тут были: живописец с идеально голой, но слегка обитой головой, которую он постоянно вписывал в свои картины (Саломея с кегельным шаром); и поэт, умевший посредством пяти спичек представить всю историю грехопадения, и благовоспитанный, с умоляющими глазами, педераст; и очень известный пианист, так с лица ничего, но с ужасным выражением пальцев; и молодцеватый советский писатель с ежом и трубочкой, свято не понимавший, в какое общество он попал; сидели тут и еще всякие господа, теперь спутавшиеся у меня в памяти, и из всех двое, трое, наверное, погуляли

с Ниной. Она была единственной женщиной за столом, сутулилась, присосавшись к соломинке, и с какой-то детской быстротой понижался уровень жидкости в бокале, и только когда у нее на дне забулькало и запищало и она языком отставила соломинку, только тогда я наконец поймал ее взгляд, который упорно ловил, все еще не постигая, что она успела совершенно забыть случившееся утром; настолько крепко забыть, что, встретившись со мной глазами, она ответила мне вопросительной улыбкой, и только всмотревшись, спохватилась вдруг, что следует улыбнуться иначе. Между тем Фердинанд, благо дамы, отодвинув, как мебель, инструменты, временно ушли с эстрады, потешался над севшим неподалеку чужим стариком, с красной штучкой в петлице и седой бородой, в середке вместе с усами образующей уютное желтоватое гнездо для жадно жующего рта. Фердинанда всегда почему-то смешили регалии старости.

Я в Париже пробыл недолго, но за три дня совместного валанданья у меня с Фердинандом завязались те жизнерадостные отношения, которые он был такой мастер починать. Впоследствии я даже оказался ему полезен: моя фирма купила у него фабулу для фильмы, и уж он тогда замучил меня телеграммами. За эти десять лет мы и на «ты» перешли, и оставили в двух-трех пунктах небольшие депо общих воспоминаний... Но мне всегда было не по себе в его присутствии, и теперь, узнав, что и он в Фиальте, я почувствовал знакомый упадок душевных сил; только одно ободряло меня: недавний провал его новой пьесы.

И вот уж он шел к нам навстречу, в абсолютно непромокаемом пальто с поясом, клапанами, фотоаппаратом через плечо, в пестрых башмаках, подбитых гуттаперчей, сося невозмутимо (а все же с оттенком смотрите-какое-сосу-смешное) длинный леденец лунного блеска, специальность Фиальты. Рядом с ним чуть пританцовывающей походкой шел Сегюр, хлыщеватый господин с девичьим румянцем до самых глаз и гладкими иссиня-черными волосами, поклонник изящного и набитый дурак; он на что-то был Фердинанду нужен (Нина, при случае, с неподражаемой своей стонущей нежностью, ни к чему не обязывающей, вскользь восклицала: «Душка такой, Сегюр», но

в подробности не вдавалась). Они подошли, мы с Фердинандом преувеличенно поздоровались, стараясь побольше втиснуть, зная по опыту, что это, собственно, все, но делая вид, что это только начало; так у нас водилось всегда: после обычной разлуки мы встречались под аккомпанемент взволнованно настраиваемых струн, в суете дружелюбия, в шуме рассаживающихся чувств; но капельдинеры закрывали двери, и уж больше никто не впускался.

Сегюр пожаловался мне на погоду, а я даже сперва не понял, о какой погоде он говорит: весеннюю, серую, оранжерейно-влажную сущность Фиальты если и можно было назвать погодой, то находилась она в такой же мере вне всего того, что могло служить нам с ним предметом разговора, как худенький Нинин локоть, который я держал между двумя пальцами, или сверкание серебряной бумажки, поодаль брошенной посреди горбатой мостовой. Мы вчетвером двинулись дальше, все с той же целью неопределенных покупок. «Какой чудный индеец!» — вдруг крикнул с неистовым аппетитом Фердинанд, сильно теребя меня за рукав, пихая меня и указывая на афишу. Немного дальше, около фонтана, он подарил свой медленный леденец туземной девчонке с ожерельем; мы остановились, чтобы его подождать: присев на корточки, он что-то говорил, обращаясь к ее опущенным, будто смазанным сажей, ресницам, а потом догнал нас, осклабясь и делая одно из тех похабных замечаний, которыми любил орлить свою речь. Затем внимание его привлек выставленный в сувенирной лавке несчастный уродливый предмет: каменное подобие горы Св. Георгия с черным туннелем у подножия, оказывавшимся отверстием чернильницы, и со сработанным в виде железнодорожных рельсов желобом для перьев. Разинув рот, дрожа от ликования, он повертел в руках эту пыльную, громоздкую и совершенно невменяемую вещь, заплатил не торгуясь, и, все еще с открытым ртом, вышел, неся урода. Как деспот окружает себя горбунами и карлами, он пристращивался к той или другой безобразной вещи, это состояние могло длиться от пяти минут до нескольких дней, и даже дольше, если вещь была одушевленная.

Нина стала мечтать о завтраке, и, улучив минуту, когда Фердинанд и Сегюр зашли на почтамт, я поторопился ее увести. Сам не понимаю, что значила для меня эта маленькая узкоплечая женщина, с пушкинскими ножками (как при мне сказал о ней русский поэт, чувствительный и жеманный, один из немногих людей, вздыхавших по ней платонически), а еще меньше понимаю, чего от нас хотела судьба, постоянно сводя нас. Я довольно долго не видел ее после той парижской встречи, а потом как-то прихожу домой и вижу, пьет чай с моей женой и просматривает на руке с просвечивающим обручальным кольцом какие-то шелковые чулки, купленные по дешевке. Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале. Как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом. Однажды, по случайному поручению зайдя к незнакомым людям, я увидел среди пальто на вешалке (у хозяев были гости) ее шубку. В другой раз она кивнула мне из книги мужа из-за строк, относившихся к эпизодической служанке, но приютивших ее (вопреки, быть может, его сознательной воле): «Ее облик, — писал Фердинанд, — был скорее моментальным снимком природы, чем кропотливым портретом, так что, припоминая его, вы ничего не удерживали, кроме мелькания разъединенных черт: пушистых на свет выступов скул, янтарной темноты быстрых глаз, губ, сложенных в дружескую усмешку, всегда готовую перейти в горячий поцелуй». Вновь и вновь она впопыхах появлялась на полях моей жизни, совершенно не влияя на основной текст. Раз, когда моя семья была на даче, а я писал, лежа в постели, в мучительно солнечную пятницу (выколачивали ковры), я услышал ее голос в прихожей: заехала, чтобы оставить какой-то в дорожных орденах сундук, и я никогда не дописал начатого, а за ее сундуком, через много месяцев, явился симпатичный немец, который (по невыразимым, но несомненным признакам) состоял в том же, очень международном, союзе, в котором состоял и я. Иногда, где-нибудь, среди общего разговора, упоминалось ее имя, и она сбегала по ступеням чьей-нибудь фразы, не оборачиваясь. Попав в пиренейский городок, я провел неделю в доме ее друзей, она тоже гостила у них с мужем, и я никогда не забуду

первой ночи, мной проведенной там: как я ждал, как я был убежден, что она проберется ко мне, но она не пришла, и как бесновались сверчки в орошенной луной, дрожащей бездне скалистого сада, как журчали источники, и как я разрывался между блаженной, южной, дорожной усталостью и дикой жаждой ее вкрадчивого прихода, розовых щиколок над лебяжьей опушкой туфелек, но гремела ночь, и она не пришла, а когда на другой день, во время общей прогулки по вересковым холмам, я рассказал ей о своем ожидании, она всплеснула руками от огорчения и сразу быстрым взглядом прикинула, достаточно ли удалились спины жестикулирующего Фердинанда и его приятеля. Помню, как я с ней говорил по телефону через половину Европы, долго не узнавая ее лающего голоска, когда она позвонила мне по делу мужа; и помню, как однажды она снилась мне: будто моя старшая девочка прибежала сказать, что у швейцара несчастье, и когда я к нему спустился, то увидел, что там, в проходе, на сундуке, подложив свернутую рогожку под голову, бледная и замотанная в платок, мертвым сном спит Нина, как спят нищие переселенцы на Богом забытых вокзалах. И что бы ни случалось со мной или с ней, а у нее тоже, конечно, бывали свои семейные «заботы-радости» (ее скороговорка), мы никогда ни о чем не расспрашивали друг дружку, как никогда друг о дружке не думали в перерывах нашей судьбы, так что, когда мы встречались, скорость жизни сразу менялась, атомы перемещались, и мы с ней жили в другом, менее плотном, времени, измерявшемся не разлуками, а теми несколькими свиданиями, из которых сбивалась эта наша короткая, мнимо легкая жизнь. И с каждой новой встречей мне делалось тревожнее; при этом подчеркиваю, что никакого внутреннего разрыва чувств я не испытывал, ни тени трагедии нам не сопутствовало, моя супружеская жизнь оставалась неприкосновенной, а с другой стороны Фердинанд (сам эклектик в плотском быту, изобретательнейшими способами обирающий природу) предпочитал на жену не оглядываться, хотя, может быть, извлекал косвенную и почти невольную выгоду из ее быстрых связей. Мне делалось тревожно, оттого что попусту тратилось что-то милое,

изящное и неповторимое, которым я злоупотреблял, выхватывая наиболее случайные, жалко очаровательные крупицы и пренебрегая всем тем скромным, но верным, что, может быть, шепотом обещало оно. Мне было тревожно, оттого что я как-никак принимал Нинину жизнь, ложь и бред этой жизни. Мне было тревожно, оттого что, несмотря на отсутствие разлада, я все-таки был вынужден, хотя бы в порядке отвлеченного толкования собственного бытия, выбирать между миром, где я как на картине сидел с женой, дочками, доберман-пинчером (полевые венки, перстень и тонкая трость), между вот этим счастливым, умным, добрым миром... и чем? Неужели была какая-либо возможность жизни моей с Ниной, жизни едва вообразимой, напоенной наперед страстной, нестерпимой печалью, жизни, каждое мгновение которой прислушивалось бы, дрожа, к тишине прошлого? Глупости, глупости! Да и она, связанная с мужем крепкой каторжной дружбой... Глупости! Так что же мне было делать, Нина, с тобой, куда было сбыть запас грусти, который исподволь уже накопился от повторения наших как будто беспечных, а на самом деле безнадежных встреч!

Фиальта состоит из старого и нового города; но между собой новый и старый переплелись... и вот борются, не то чтобы распутаться, не то чтобы вытеснить друг друга, и тут у каждого свои приемы: новый борется честно пальмовой просадью, фасадом меняльной конторы, красным песком тенниса, старый же из-за угла выползает улочкой на костылях или папертью обвалившейся церкви. Направляясь к гостинице, мы прошли мимо еще недостроенной, еще пустой и сорной внутри, белой виллы, на стене которой: опять все те же слоны, расставя чудовищно-младенческие колени, сидели на тумбищах; в эфирных пачках наездница (уже с надрисованными усами) отдыхала на толстом коне; и клоун с томатовым носом шел по канату, держа зонтик, изукрашенный все теми же звездами: смутное воспоминание о небесной родине циркачей. Тут, в бель-этаже Фиальты, гораздо курортнее хрустел мокрый гравий, и слышнее было ленивое уханье моря. На заднем дворе гостиницы поваренок с ножом бежал за развившей гоночную скорость

курицей. Знакомый чистильщик сапог с беззубой улыбкой предлагал мне свой черный престол. Под платанами стояли немецкой марки мотоциклетка, старый грязный лимузин, еще сохранивший идею каретности, и желтая, похожая на жука, машина: «Наша, то есть Сегюра, — сказала Нина, добавив: — Поезжай-ка ты, Васенька, с нами, а?», хотя отлично знала, что я не могу поехать. По лаку надкрыльников пролег гуаш неба и ветвей; в металле одного из снарядоподобных фонарей мы с ней сами отразились на миг, проходя по окату, а потом, через несколько шагов, я почему-то оглянулся и как бы увидел то, что действительно произошло через полтора часа: как они втроем усаживались, в автомобильных чепцах, улыбаясь и помахивая мне, прозрачные, как призраки, сквозь которые виден цвет мира, и вот дернулись, тронулись, уменьшились (Нинин последний десятипалый привет): но на самом деле автомобиль стоял еще неподвижно, гладкий и целый, как яйцо, а Нина со мной входила на стеклянную веранду отельного ресторана, и через окно мы уже видели, как (другим путем, чем пришли мы) приближаются Фердинанд и Сегюр.

На веранде, где мы завтракали, не было никого, кроме недавно виденного мной англичанина; на столике перед ним стоял большой стакан с ярко-алым напитком, бросавшим овальный отсвет на скатерть. Я заметил в его прозрачных глазах то же упрямое вожделение, которое уже раз видел, но теперь оно никоим образом не относилось к Нине, на нее он не смотрел совершенно, а направлял пристальный, жадный взгляд на верхний угол широкого окна, у которого сидел.

Содрав с маленьких сухощавых рук перчатки, Нина последний раз в жизни ела моллюски, которые так любила. Фердинанд тоже занялся едой, и я воспользовался его голодом, чтобы завести разговор, дававший мне тень власти над ним: именно, я упомянул о недавней его неудаче. Пройдя небольшой период модного религиозного прозрения, во время которого и благодать сходила на него, и предпринимались им какие-то сомнительные паломничества, завершившиеся и вовсе скандальной историей, он обратил свои темные глаза на варварскую Москву. Меня всегда раздражало самодовольное убеждение, что край-

ность в искусстве находится в некой метафизической связи с крайностью в политике, при настоящем соприкосновении с которой изысканнейшая литература, конечно, становится, по ужасному, еще мало исследованному *свиному закону*, такой же затасканной и общедоступной серединой, как любая идейная дребедень. В случае Фердинанда этот закон, правда, еще не действовал: мускулы его музы были еще слишком крепки (не говоря о том, что ему было наплевать на благосостояние народов), но от этих озорных узоров, не для всех к тому же вразумительных, его искусство стало еще гаже и мертвее. Что касается пьесы, то никто ничего не понял в ней; сам я не видел ее, но хорошо представлял себе эту гиперборейскую ночь, среди которой он пускал по невозможным спиралям разнообразные колеса разъятых символов; и теперь я не без удовольствия спросил его, читал ли он критику о себе.

— Критика! — воскликнул он. — Хороша критика! Всякая темная личность мне читает мораль. Благодарю покорно. К моим книгам притрагиваются с опаской, как к неизвестному электрическому аппарату. Их разбирают со всех точек зрения, кроме существенной. Вроде того, как если бы натуралист, толкуя о лошади, начал говорить о седлах, чепраках или Mme de V. — (он назвал даму литературного света, в самом деле очень похожую на оскаленную лошадь). — Я тоже хочу этой голубиной крови, — продолжал он тем же громким, рвущим голосом, обращаясь к лакею, который понял его желание, посмотрев по направлению перста, бесцеремонно указывавшего на стакан англичанина. Сегюр упомянул имя общего знакомого, художника, любившего писать стекло, и разговор принял менее оскорбительный характер. Между тем англичанин вдруг решительно поднялся, встал на стул, оттуда шагнул на подоконник и, выпрямившись во весь свой громадный рост, снял с верхнего угла оконницы и ловко перевел в коробок ночную бабочку с бобровой спинкой.

— ...это как белая лошадь Вувермана, — сказал Фердинанд, рассуждая о чем-то с Сегюром.

— Tu es très hippique ce matin[1], — заметил тот.

[1] Ты сегодня очень увлечен лошадьми *(фр.)*.

Вскоре они оба ушли телефонировать. Фердинанд необыкновенно любил эти телефонные звонки дальнего следования и особенно виртуозно снабжал их, на любое расстояние, дружеским теплом, когда надобно было, как, например, сейчас, заручиться даровым ночлегом.

Откуда-то издали доносились звуки трубы и цитры. Мы с Ниной пошли бродить снова. Цирк, видимо, выслал гонцов: проходило рекламное шествие; но мы не застали его начала, так как оно завернуло вверх, в боковую улочку: удалялся золоченый кузов какой-то повозки, человек в бурнусе провел верблюда, четверо неважных индейцев один за другим пронесли на древках плакаты, а сзади, на очень маленьком пони с очень большой челкой, благоговейно сидел частный мальчик в матроске.

Помню, мы проходили мимо почти высохшей, но все еще пустой кофейни; официант осматривал (и, быть может, потом приголубил) страшного подкидыша: нелепый письменный прибор, мимоходом оставленный на перилах Фердинандом. Помню еще: нам понравилась старая каменная лестница, и мы полезли наверх, и я смотрел на острый угол Нининого восходящего шага, когда, подбирая юбку, чему прежде учила длина, а теперь узость, она поднималась по седым ступеням; от нее шло знакомое тепло, и, поднимаясь мыслью рядом с ней, я видел нашу предпоследнюю встречу, на званом вечере в парижском доме, где было очень много народу, и мой милый друг Jules Darboux, желая мне оказать какую-то тонкую эстетическую услугу, тронул меня за рукав, говоря: «Я хочу тебя познакомить...», и подвел меня к Нине, сидевшей в углу дивана, сложившись зетом, с пепельницей у каблучка, и Нина отняла от губ длинный бирюзовый мундштук и радостно, протяжно произнесла: «Нет!», и потом весь вечер у меня разрывалось сердце, и я переходил со своим липким стаканчиком от группы к группе, иногда издали глядя на нее (она на меня не глядела), слушал разговоры, слушал господина, который другому говорил: «Смешно, как они одинаково пахнут, горелым сквозь духи, все эти сухие хорошенькие шатеночки», и, как часто бывает, пошлость, неизвестно к чему относившаяся, крепко обвилась вокруг воспоминания, питаясь его грустью.

Поднявшись по лестнице, мы очутились на щербатой площадке: отсюда видна была нежно-пепельная гора Св. Георгия с собранием крапинок костяной белизны на боку (какая-то деревушка); огибая подножие, бежал дымок невидимого поезда и вдруг скрылся; еще ниже виден был за разнобоем крыш единственный кипарис, издали похожий на завернутый черный кончик акварельной кисти; справа виднелось море, серое, в светлых морщинах. У ног наших валялся ржавый ключ, и на стене полуразрушенного дома, к которой площадка примыкала, остались висеть концы какой-то проволоки... я подумал о том, что некогда тут была жизнь, семья вкушала по вечерам прохладу, неумелые дети при свете лампы раскрашивали картинки. Мы стояли, как будто слушая что-то; Нина, стоявшая выше, положила руку ко мне на плечо, улыбаясь и осторожно, так чтобы не разбить улыбки, целуя меня. С невыносимой силой я пережил (или так мне кажется теперь) все, что когда-либо было между нами, начиная вот с такого же поцелуя, как этот; и я сказал, наше дешевое, официальное *ты* заменяя тем одухотворенным, выразительным *вы*, к которому кругосветный пловец возвращается, обогащенный кругом: «А что, если я вас люблю?» Нина взглянула, я повторил, я хотел добавить... но что-то, как летучая мышь, мелькнуло по ее лицу, быстрое, странное, почти некрасивое выражение, и она, которая запросто, как в раю, произносила непристойные словечки, смутилась; мне тоже стало неловко... «Я пошутил, пошутил», — поспешил я воскликнуть, слегка обнимая ее под правую грудь. Откуда-то появился у нее в руках плотный букет темных, мелких, бескорыстно пахучих фиалок, и, прежде чем вернуться к гостинице, мы еще постояли у парапета, и все было по-прежнему безнадежно. Но камень был, как тело, теплый, и внезапно я понял то, чего, видя, не понимал дотоле, почему давеча так сверкала серебряная бумажка, почему дрожал отсвет стакана, почему мерцало море: белое небо над Фиальтой незаметно налилось солнцем, и теперь оно было солнечное сплошь, и это белое сияние ширилось, ширилось, все растворялось в нем, все исчезало, и я уже стоял на вокзале, в Милане, с газетой, из которой узнал, что желтый автомобиль, виденный мной под платанами, потерпел за Фиальтой крушение, влетев на

полном ходу в фургон бродячего цирка, причем Фердинанд и его приятель, неуязвимые пройдохи, саламандры судьбы, василиски счастья, отделались местным и временным повреждением чешуи, тогда как Нина, несмотря на свое давнее, преданное подражание им, оказалась все-таки смертной.

ОБЛАКО, ОЗЕРО, БАШНЯ

Один из моих представителей, скромный, кроткий холостяк, прекрасный работник, как-то на благотворительном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл увеселительную поездку. Хотя берлинское лето находилось в полном разливе (вторую неделю было сыро, холодно, обидно за всё зеленевшее зря, и только воробьи не унывали), ехать ему никуда не хотелось, но когда в конторе общества увеспоездок он попробовал билет свой продать, ему ответили, что для этого необходимо особое разрешение от Министерства путей сообщения; когда же он и туда сунулся, то оказалось, что сначала нужно составить сложное прошение у нотариуса на гербовой бумаге, да кроме того, раздобыть в полиции так называемое «свидетельство о невыезде из города на летнее время», причем выяснилось, что издержки составят треть стоимости билета, то есть как раз ту сумму, которую, по истечении нескольких месяцев, он мог надеяться получить. Тогда, повздыхав, он решил ехать. Взял у знакомых алюминиевую фляжку, подновил подошвы, купил пояс и фланелевую рубашку вольного фасона, — одну из тех, которые с таким нетерпением ждут стирки, чтобы сесть. Она, впрочем, была велика этому милому, коротковатому человеку, всегда аккуратно подстриженному, с умными и добрыми глазами. Я сейчас не могу вспомнить его имя и отчество. Кажется, Василий Иванович.

Он плохо спал накануне отбытия. Почему? Не только потому, что утром надо вставать непривычно рано и, таким образом, брать с собой в сон личико часов, тикающих рядом на столике, а потому что в ту ночь ни с того ни с сего ему начало мниться, что эта поездка, навязанная ему

случайной судьбой в открытом платье, поездка, на которую он решился так неохотно, принесет ему вдруг чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с волнением, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русской поэзии, и с каким-то когда-то виденным во сне вечерним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он восьмой год безвыходно любил (но еще полнее и значительнее всего этого). И кроме того, он думал о том, что всякая настоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-то, к кому-то.

Утро поднялось пасмурное, но теплое, парное, с внутренним солнцем, и было совсем приятно трястись в трамвае на далекий вокзал, где был сборный пункт: в экскурсии, увы, участвовало несколько персон. Кто они будут, эти сонные — как всё еще нам незнакомые — спутники? У кассы номер шесть, в семь утра, как было указано в примечании к билету, он и увидел их (его уже ждали: минуты на три он все-таки опоздал). Сразу выделился долговязый блондин в тирольском костюме, загорелый до цвета петушиного гребня, с огромными, золотисто-оранжевыми, волосатыми коленями и лакированным носом. Это был снаряженный обществом вожак, и как только новоприбывший присоединился к группе (состоявшей из четырех женщин и стольких же мужчин), он ее повел к запрятанному за поездами поезду, с устрашающей легкостью неся на спине свой чудовищный рюкзак и крепко цокая подкованными башмаками. Разместились в пустом вагончике сугубо третьего класса, и Василий Иванович, сев в сторонке и положив в рот мятку, тотчас раскрыл томик Тютчева, которого давно собирался перечесть («Мы слизь. Реченная есть ложь», — и дивное о румяном восклицании); но его попросили отложить книжку и присоединиться ко всей группе. Пожилой почтовый чиновник в очках, со щетинисто-сизыми черепом, подбородком и верхней губой, словно он сбрил ради этой поездки какую-то необыкновенно обильную растительность, тотчас сообщил, что бывал в России и знает немножко по-русски, например «пацлуй», да так подмигнул, вспоминая проказы в Царицыне, что его толстая жена набросала в воздухе начало оплеухи наотмашь. Вообще становилось шумно. Перекидывались

пудовыми шутками четверо, связанные тем, что служили в одной и той же строительной фирме, — мужчина постарше, Шульц, мужчина помоложе, Шульц тоже, и две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливые. Рыжая, несколько фарсового типа вдова в спортивной юбке тоже кое-что знала о России (Рижское взморье). Еще был темный, с глазами без блеска, молодой человек, по фамилии Шрам, с чем-то неопределенным, бархатно-гнусным в облике и манерах, все время переводивший разговор на те или другие выгодные стороны экскурсии и дававший первый знак к восхищению: это был, как узналось впоследствии, специальный подогреватель от общества увеселительных поездок.

Паровоз, шибко-шибко работая локтями, бежал сосновым лесом, затем — облегченно — полями, и, понимая еще только смутно всю чушь и ужас своего положения и, пожалуй, пытаясь уговорить себя, что все очень мило, Василий Иванович ухитрялся наслаждаться мимолетными дарами дороги. И действительно: как это все увлекательно, какую прелесть приобретает мир, когда заведен и движется каруселью! Какие выясняются вещи! Жгучее солнце пробиралось к углу окошка и вдруг обливало желтую лавку. Безумно быстро неслась плохо выглаженная тень вагона по травяному скату, где цветы сливались в цветные строки. Шлагбаум: ждет велосипедист, опираясь одной ногой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно, поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые моды. Синяя сырость оврага. Воспоминание любви, переодетое лугом. Перистые облака, вроде небесных борзых. Нас с ним всегда поражала эта страшная для души анонимность всех частей пейзажа, невозможность никогда узнать, куда ведет вон та тропинка, — а ведь какая соблазнительная глушь! Бывало, на дальнем склоне или в лесном просвете появится и как бы замрет на мгновение, как задержанный в груди воздух, место до того очаровательное, — полянка, терраса, — такое полное выражение нежной, благожелательной красоты, — что, кажется, вот бы остановить поезд и — туда, навсегда, к тебе, моя любовь... но уже бешено заскакали, вертясь в солнечном кипятке, тысячи буковых стволов, и опять прозевал счастье. А на остановках Василий Ивано-

вич смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов — пятно на платформе, вишневая косточка, окурок, — и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который, однако, сейчас он видит до бессмертности ясно; или еще, глядя на кучку детей, ожидающих поезда, он изо всех сил старался высмотреть хоть одну замечательную судьбу — в форме скрипки или короны, пропеллера или лиры, — и досматривался до того, что вся эта компания деревенских школьников являлась ему как на старом снимке, воспроизведенном теперь с белым крестиком над лицом крайнего мальчика: детство героя.

Но глядеть в окно можно было только урывками. Всем были розданы нотные листки со стихами от общества:

Распростись с пустой тревогой,
палку толстую возьми
и шагай большой дорогой
вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
вместе с добрыми людьми,
без тревоги нелюдимой,
без сомнений, чорт возьми.

Километр за километром,
ми-ре-до и до-ре-ми,
вместе с солнцем, вместе с ветром,
вместе с добрыми людьми.

Это надо было петь хором. Василий Иванович, который не то что петь, а даже плохо мог произносить немецкие слова, воспользовался неразборчивым ревом слившихся голосов, чтобы только приоткрывать рот и слегка покачиваться, будто в самом деле пел, — но предводитель по знаку вкрадчивого Шрама вдруг резко приостановил общее пение и, подозрительно щурясь в сторону Василия Ивановича, потребовал, чтоб он пропел соло. Василий Иванович прочистил горло, застенчиво начал, и после минуты одиночного мучения подхватили все, но он уже не смел выпасть.

У него было с собой: любимый огурец из русской лавки, булка и три яйца. Когда наступил вечер и низкое алое солнце целиком вошло в замызганный, закачанный, собственным грохотом оглушенный вагон, было всем предложено выдать свою провизию, дабы разделить ее поровну, — это тем более было легко, что у всех кроме Василия Ивановича было одно и то же. Огурец всех рассмешил, был признан несъедобным и выброшен в окошко. Ввиду недостаточности пая Василий Иванович получил меньшую порцию колбасы.

Его заставляли играть в скат, тормошили, расспрашивали, проверяли, может ли он показать на карте маршрут предпринятого путешествия, — словом, все занимались им, сперва добродушно, потом с угрозой, растущей по мере приближения ночи. Обеих девиц звали Гретами, рыжая вдова была чем-то похожа на самого петуха-предводителя; Шрам, Шульц и другой Шульц, почтовый чиновник и его жена, все они сливались постепенно, срастаясь, образуя одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деваться. Оно налезало на него со всех сторон. Но вдруг на какой-то станции все повылезли, и это было уже в темноте, хотя на западе еще стояло длиннейшее, розовейшее облако, и, пронзая душу, подальше на пути горел дрожащей звездой фонарь сквозь медленный дым паровоза, и во мраке цыкали сверчки, и откуда-то пахло жасмином и сеном, моя любовь.

Ночевали в кривой харчевне. Матерой клоп ужасен, но есть известная грация в движении шелковистой лепизмы. Почтового чиновника отделили от жены, помещенной с рыжей, и подарили на ночь Василию Ивановичу. Кровати занимали всю комнату. Сверху перина, снизу горшок. Чиновник сказал, что спать ему что-то не хочется, и стал рассказывать о своих русских впечатлениях, несколько подробнее, чем в поезде. Это было упрямое и обстоятельное чудовище в арестантских подштанниках, с перламутровыми когтями на грязных ногах и медвежьим мехом между толстыми грудями. Ночная бабочка металась по потолку, чокаясь со своей тенью. «В Царицыне, — говорил чиновник, — теперь имеются три школы: немецкая, чешская

и китайская. Так, по крайней мере, уверяет мой зять, ездивший туда строить тракторы».

На другой день с раннего утра и до пяти пополудни пылили по шоссе, лениво переходившему с холма на холм, а затем пошли зеленой дорогой через густой бор. Василию Ивановичу, как наименее нагруженному, дали нести под мышкой огромный круглый хлеб. До чего я тебя ненавижу, насущный! И все-таки его драгоценные, опытные глаза примечали что нужно. На фоне еловой черноты вертикально висит сухая иголка на невидимой паутинке.

Опять ввалились в поезд, и опять было пусто в маленьком, без перегородок, вагоне. Другой Шульц стал учить Василия Ивановича играть на мандолине. Было много смеху. Когда это надоело, затеяли славную забаву, которой руководил Шрам; она состояла вот в чем: женщины ложились на выбранные лавки, а под лавками уже спрятаны были мужчины, и вот, когда из-под той или другой вылезала красная голова с ушами или большая, с подъюбочным направлением пальцев, рука (вызывавшая визг), то и выяснялось, кто с кем попал в пару. Трижды Василий Иванович ложился в мерзкую тьму, и трижды никого не оказывалось на скамейке, когда он из-под нее выползал. Его признали проигравшим и заставили съесть окурок.

Ночь провели на соломенных тюфяках в каком-то сарае и спозаранку отправились снова пешком. Елки, обрывы, пенистые речки. От жары, от песен, которые надо было беспрестанно горланить, Василий Иванович так изнемог, что на полдневном привале немедленно уснул и только тогда проснулся, когда на нем стали шлепать мнимых оводов. А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал.

Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня. Таких, разумеется, видов в Средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности, — любовь

моя! послушная моя! — был чем-то таким единственным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел, тут ли оно, чтоб его отдать.

Поодаль Шрам, тыкая в воздух альпенштоком предводителя, обращал Бог весть на что внимание экскурсантов, расположившихся кругом на траве в любительских позах, а предводитель сидел на пне, задом к озеру, и закусывал. Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Иванович пошел берегом и вышел к постоялому двору, где, прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, его приветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом, пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком, и нашел хозяина, рослого старика, смутно инвалидной внешности, столь плохо и мягко изъяснявшегося по-немецки, что Василий Иванович перешел на русскую речь, но тот понимал как сквозь сон и продолжал на языке своего быта, своей семьи. Наверху была комната для приезжих. «Знаете, я сниму ее на всю жизнь», — будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не было особенного, — напротив, это была самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, — но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отдаваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще не испытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но все кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться. Мигом он сообразил, как это исполнить, как сделать, чтобы в Берлин не возвращаться более, как выписать сюда свое небольшое имущество — книги, синий костюм, ее фотографию. Все выходило так просто! У меня он зарабатывал достаточно на малую русскую жизнь.

— Друзья мои, — крикнул он, прибежав снова вниз на прибрежную полянку. — Друзья мои, прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути. Я дальше не еду. Никуда не еду. Прощайте!

— То есть как это? — странным голосом проговорил предводитель, выдержав небольшую паузу, в течение которой медленно линяла улыбка на губах у Василия Ивановича, между тем как сидевшие на траве привстали и каменными глазами смотрели на него.

— А что? — пролепетал он. — Я здесь решил...

— Молчать! — вдруг со страшной силой заорал почтовый чиновник. — Опомнись, пьяная свинья!

— Постойте, господа, — сказал предводитель, — одну минуточку, — и, облизнувшись, он обратился к Василию Ивановичу:

— Вы, должно быть, действительно, подвыпили, — сказал он спокойно. — Или сошли с ума. Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Завтра по указанному маршруту — посмотрите у себя на билете — мы все возвращаемся в Берлин. Речи не может быть о том, чтобы кто-либо из нас — в данном случае вы — отказался продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню, — вспомните, что там было сказано. Теперь довольно! Собирайтесь, дети, мы идем дальше.

— Нас ждет пиво в Эвальде, — ласково сказал Шрам. — Пять часов поездом. Прогулки. Охотничий павильон. Угольные копи. Масса интересного.

— Я буду жаловаться, — завопил Василий Иванович. — Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, — будто добавил он, когда его подхватили под руки.

— Если нужно, мы вас понесем, — сказал предводитель, — но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мертвым.

Увлекаемый, как в дикой сказке по лесной дороге, зажатый, скрученный, Василий Иванович не мог даже обернуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаляется, дробимое деревьями, и вот уже нет его, и кругом чернеет бездейственно ропщущая чаща. Как только сели

в вагон и поезд двинулся, его начали избивать, — били долго и довольно изощренно. Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал действовать как чорт ловко. Молодчина! Остальные мужчины больше полагались на свои железные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да пощечинами. Было превесело.

По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказаться от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется.

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

М. А. АЛДАНОВ. «ПЕЩЕРА». ТОМ II.
Изд. «Петрополис». Берлин. 1936.

Вот она и закончена, эта стройная трилогия. Браун погиб, увлекая за собой весь мир: мир, который населен был героями «Ключа», «Бегства» и «Пещеры». Среди них образ Брауна особенно удался автору; та сочиненность его, о которой глухо толкуют в кулуарах алдановской славы, на самом деле гораздо живее мертвой молодцеватости литературных героев, кажущихся среднему читателю списанными с натуры. Натуру средний читатель едва ли знает, а принимает за нее вчерашнюю условность. В этой мнимой жизненности нельзя героев Алданова упрекнуть. На всех них заметна творческая печать легкой карикатурности. Я употребляю это неловкое слово в совершенно положительном смысле: усмешка создателя образует душу создания.

Думаю, что не всякий, проглотив этот второй том «Пещеры» (Алдановым библиофаг питается неряшливо и торопливо), оценит полностью очаровательную правильность строения, изысканную музыкальность авторской мысли. В частности, было бы глупой ошибкой жадно извлечь и вылизать «новеллу», которая вовсе не является искусственно вкрапленной, искусственно размещенной в романе, а, напротив, тонко связана с его основным ритмом и если возвращается вновь и вновь, нарастая и переливаясь, то не для поддразнивания праздного любопытства (и уж конечно, не ради литературной игры), а для вернейшего, внутреннейшего изображения главного лица в романе, написавшего «новеллу», — Брауна. Тот, кто выхватывал или пропускал страницы, относящиеся к ней, т. е. не читал книги подряд, многое потерял. Тут уместно отметить, что,

судя по «Деверу», Браун был исключительно одаренным писателем (единственная стилистическая погрешность, которую придирчивость может у него добыть, это дважды повторенное на одной странице механическое слово «костюм»). Брауновская новелла, проникнутая высокой прохладой, выдержанная в синих тонах, дает всему роману тот просвет в небо, которого не хватало ему.

Итак: счастье Клервиллей распадается, Федосьев удаляется в пещеру, Витя, не без поощрительного кивка автора, бежит на войну, пошляк-газетчик становится фильмовым магнатом: перед самым самоубийством Браун на вокзале как раз видит его — роскошно отбывающего в Америку. Правда, в жизни Дон-Педро уехал бы за семь часов до или четыре дня после, совпадения не получилось бы; но не было бы никаких романов без совпадений, и автор вправе там и сям проглаживать складку судьбы.

Интересно и поучительно наблюдать приемы алдановского творчества. С прозрачной простотой слога, лишенного ложных прикрас (удивительно: слова у него даже не отбрасывают тени), как-то гармонирует строгая однообразность подступов: автор пользуется одной и той же дверью, скрытой в стене библиотеки, для вхождения в ту или другую чужую жизнь. Так, глава пятая («Клервилль не любил баккара»), восьмая («Публика действительно была парадная»), двенадцатая («Серизье не удалось выехать из Довиля в первом поезде»), пятнадцатая («Большинство мелодий этой оперетки было знакомо Вите»), девятнадцатая («Для Клервилля наступило тяжелое время»), двадцатая («Клервилль оживился еще в автомобиле»), двадцать первая («Мистер Блэквуд сожалел, что назначил на этот день свидание») начинаются с утверждения, и эта одинаковость вступлений придает особую естественность повествованию. Другой типичный для Алданова прием — это система иронических (чаще всего иронически-исторических) сопоставлений: «как Коперник...», «как Мольер...», «как Людовик XIV...» («Альфред Исаевич сокрушался, что все еще не знает ни Ротшильдов, ни Шиффа, — как Коперник на смертном одре выражал скорбь, что не пришлось ему увидеть Меркурий»). На протяжении каких-нибудь пяти

страниц (в сцене Серизье и его секретарши) есть даже некоторый переизбыток таких сравнений, как: «Серизье себя теперь чувствовал как писатель, становящийся при жизни классиком», «...спросила весело секретарша таким тоном, каким на маленьком балу... хозяин мог бы спросить Анну Павлову: “Разве вы не умеете танцовать вальс?”», «Он иногда подводил мины под Шазаля, — вроде того как Расин писал “Андромаху” назло Корнелю», «Он говорил теперь с секретаршей, как Наполеон мог говорить с беззаветно преданным сержантом старой гвардии...». Кстати, насчет Серизье: замечательно построена сцена прихода к нему Жульетт — с лейтмотивом спадающего носка. Когда она явилась, Серизье был не одет и, спеша, «натянул носки на панталоны пижамы», отчего, собственно, они должны были бы держаться и без подвязок; однако во время разговора Серизье «вдруг почувствовал, что левый носок на ноге начинает спускаться». Через несколько строк «носок опустился до туфли, открыв волосатую ногу», а потом «перестал его беспокоить». Уходя, Жульетт скользнула взглядом по этой волосатости и почувствовала позднее отвращение, хотя неизвестно, чего именно можно было ждать от ноги пожилого француза. Не менее замечательно написана и другая любовная сцена: «падение» Муси; но тут, мне кажется, не вполне оправдан переход (несмотря на коньяк) от восхитительно умного разговора к любовной возне, от политики к полу.

Смерть Брауна безукоризненна. Холодок пробегает, когда он ищет «бессмертие» в энциклопедическом словаре. Вообще, если начать выбирать из романа все сокровища наблюдательности, все образцы вдохновения мысли, то никогда не кончишь. Кое-чего все же не могу не привести. Как хорошо скучает Витя в первый день своего пребывания в Париже! «Витя с облегчением повесил трубку; в этом огромном городе нашелся близкий, хоть старый и скучный, человек». Незабываем старый еврей-ювелир, который «с выражением напряженного, почти страдальческого любопытства на лице, полураскрыв рот, читал газету». Все «письмо из России» великолепно, и особенно описание, как Ленин с шайкой «снимался для потомства». «За его

стулом стояли Троцкий во френче и Зиновьев в какой-то блузе или толстовке». «...Какие Люциферовы чувства они должны испытывать к нежно любимому Ильичу...» «А ведь, если б в таком-то году, на таком-то съезде, голосовать не так, а иначе, да на такую-то брошюру ответить вот так, то ведь не он, а я сидел бы "Давыдычем" на стуле, а он стоял бы у меня за спиной с доброй, товарищески-верноподданической улыбкой!» Это звучит приговором окончательным, вечным, тем приговором, который вынесут будущие времена.

[ПАМЯТИ А. О. ФОНДАМИНСКОЙ]

В октябре 1932 года я приехал на месяц в Париж. Илью Исидоровича я уже несколько лет как знал; с Амалией же Осиповной встречался впервые. Есть редкие люди, которые входят в нашу жизнь так просто и свободно, с такой улыбкой, точно место для них уготовлено уже очень давно, — и отныне невозможно представить себе, что вчера мы были незнакомы: все прошлое как бы поднимается сразу до уровня мгновенья встречи и затем, вновь отливая, уносит с собой, к себе, тень живого образа, мешает его с тенями действительно бывшей и минувшей жизни, так что получается, что ради одного этого человека (по самому своему существу, априори, родного нам) создается некое подставное время, объясняющее задним числом чувство естественнейшей близости, прочной нежности, испытанной теплоты, которое при такой встрече охватывает нас. Вот какова была атмосфера моего знакомства с Амалией Осиповной. Накануне, помнится, я впервые побывал на Rue Chernoviz, Амалию Осиповну не застал и, беседуя с И. И., любовался ее сиамским котом. Темно-бежевый, с более бледными оттенками у сгибов, с шоколадными лапами и таким же хвостом (сравнительно коротким и толстоватым, что, в соединении с мастью бобриковой шерсти, придавало его крупу нечто кенгуровое), он неизвестно на что глядел прозрачными глазами, до краев налитыми сафирной водой, —

и эта диковинная лазурь, да немота, да таинственная осмотрительность движений делали из него и впрямь священного, храмового зверя. О нем-то мы, вероятно, прежде всего и заговорили с Амалией Осиповной. Лицо ее сияло приветом, умная улыбка скользила по губам, глаза были внимательны и молоды, грациозный голос ласков и тих. Что-то было бесконечно трогательное в ее темном платье, в ее маленьком росте, в легчайшей поступи. Как все приезжие в незнакомом городе, я жадно пользовался чужими телефонами, — попросил и теперь позволения позвонить, а когда опять сел к чайному столу, Амалия Осиповна, молча и не без лукавства, протянула мне письмо, которое я никак не полагал могло быть у нее, — мое письмо к Степуну, однажды попросившему меня просмотреть английский перевод его «Переслегина», перевод, показавшийся мне неточным, — да и вообще отнесся я к нему с придирчивостью, внушенной щепетильным страхом что-либо пропустить, — а так как одной из двух переводчиц являлась Амалия Осиповна, то Федор Августович и передал ей письмо с моим нелестным отзывом, сказав ей, по-видимому, что мне неизвестно, кто делал перевод. Этот поворот разговора сразу вывел его на простор веселой откровенности, причем выяснилось, что Амалия Осиповна — тонкая ценительница того, что можно назвать искусством гафф. Мы обсудили с ней те, которые я в русском Париже уже успел совершить — по рассеянности, по отсутствию житейского чутья, — и просто так, — здорово живешь. Между тем к коту опустилось, подобно полной луне, блюдечко с молоком, которое он стал лакать, соблюдая дактилический ритм. И он, и вся обстановка квартиры — все предметы — от письменного прибора Амалии Осиповны до большого мата у дверей, под которым русские парижане доверчиво прячут ключ, — все носило неуловимую, но несомненную печать доброты и душевности, которой отличаются вещи в доме у людей лучистых, щедрых на свои лучи. С прозрачнейшей — до дна — душевной добротой сочеталась у Амалии Осиповны нежность к миру, — любовь к «своенравным прозваниям» (как выразился Баратынский), стремление особенным, собственным образом все заново именовать

в мире, — словно она верила — и, может быть, не зря, — что улучшением имени можно улучшить его носителя.

Я стал бывать у Фондаминских почти ежедневно, а к концу моего пребывания в Париже и совсем к ним переселился: Амалия Осиповна с умилительной — но и беспрекословной — заботливостью решила, что я «замотался», что мне нужно «отдохнуть» перед тем моим публичным чтением, в устройстве коего она и ее друзья принимали ничем мной не заслуженное участие. Как же я запомнил прелестную, покойную комнату, осененную книжными полками, — и заботу, продуманную до мелочей — до бутылки минеральной воды, до lotion для волос, до душистого талька. И с каким жаром она продавала билеты, и как отчетливо сохранилась в памяти картина: в тихой, теплой гостиной Амалия Осиповна переписывает для меня на машинке несколько страниц из «Отчаяния», а на камине греется кот. И с каким-то острым чувством стыда, раскаяния — не могу определить — вспоминаю, как я много в квартире курил, не знал, что прокуренный воздух ей вреден, — она же, разумеется, не говорила мне ничего. Вообще боюсь, что я жильцом был тяжелым, — но она так изящно прощала мне все. Как-то — для примера — я, вернувшись очень поздно, когда в доме все уже спали, — хотел в прихожей потушить свет, а выключателей было несколько, не знал какой, попробовал один, другой, — в окрестных комнатах начали просыпаться лампы, я испугался, что эдак освещу весь дом, и, оставив свет в передней, отправился спать, — но потом обеспокоилась совесть, — я встал, вернулся в переднюю, стал осторожно испытывать выключатели — и было неприятно, что один из них никакого видимого действия не производил, — а впоследствии обнаружилось, что при первом опыте я зажег — и благополучно потушил — свет у Амалии Осиповны в спальне, а когда вернулся в прихожую, осветил ее спальню снова и уже так оставил, — и она погодя проснулась и погасила сама, с совершенным юмором отнесясь к этой кошмарной иллюминации.

Скоро я уехал из Парижа, и мое последнее воспоминание: маленькая темная фигура Амалии Осиповны на плат-

форме: поехала меня провожать. Я уже больше никогда ее не видел. И вот сейчас хочется слабыми человеческими руками удержать еще на несколько мгновений все это, — все это чудное и такое валкое, — готовое вот-вот беззвучно рухнуть в темный и мягкий ров забвения (но что-то главное останется в душе навсегда, как бы жизнь ни заметала следы, как бы ненадежна ни оказалась яркость еще нынче столь памятных подробностей).

ПРИМЕЧАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ,
НАЗВАНИЯ КОТОРЫХ ДАЮТСЯ В СОКРАЩЕНИЯХ

Б98 — Н. Букс. Эшафот в хрустальном дворце. М., 1998.

Вересаев — В. В. Вересаев. Пушкин в жизни. Изд. 6-е. Т. 1–2. М., 1936.

ГГ — Г. Е. Грум-Гржимайло. Описание путешествия в Западный Китай. М., 1948.

Д82 — С. Давыдов. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. Мюнхен, 1982.

ДБ — В. Набоков. Другие берега // В. Набоков. Собрание сочинений в 4 т. М., 1990. Т. 4.

Д-Т89 — А. Долинин, Р. Тименчик. Примечания к книге: Владимир Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. М., Книга, 1989.

Лемке — М. К. Лемке. Политические процессы в России 1860-х гг. (По архивным документам). Изд. 2-е. М.—Пг., 1923.

Летопись — Н. М. Чернышевская-Быстрова. Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского. М.—Л., 1933.

ЛН — Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие. Т. 1–3 / Под ред. и прим. Н. А. Алексеева, М. Н. Чернышевского и проф. С. Н. Чернова. М.—Л., 1928–1930.

Н97 — В. В. Набоков: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей / Антология. СПб., РХГИ, 1997.

НГЧ — Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников. М., 1982.

ПП — А. Долинин. Пушкинские подтексты в «Приглашении на казнь» // Пушкин и русская эмиграция. М., в печати.

ПСС — Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений в 16 т. М., 1939–1953.

Р49 — В. И. Роборовский. Путешествие в Восточный Тянь-Шань и в Нань-Шань. Труды экспедиции Русского Географического общества по Центральной Азии, совершенной в 1893–1895 гг. М., 1949.

РК — А. Волынский. Русские критики. СПб., 1896.

Стеклов — Ю. М. Стеклов. Н. Г. Чернышевский. Его жизнь и деятельность. 1828–1889. Изд. 2-е. Т. 1–2. М.—Л., 1928.

С-Ш97 — С. Сендерович, Е. Шварц. Вербная штучка: Набоков и популярная культура // Новое литературное обозрение. 1997. № 24.

T86 — P. Tammi. Invitation to a Decoding. Dostoevskij as Subtext in Nabokov's «Priglashenie na kasn» // Scando-Slavica. Tomus 32. 1986.

ЧВС — Чернышевский в Сибири. Переписка с родными / Статья Е. А. Ляцкого. Примечания М. Н. Чернышевского. Вып. 1–3. СПб., 1913.

Ш81 — Г. Шапиро. Русские литературные аллюзии в романе «Приглашение на казнь» // Russian Literature. 1981. Vol. 9. № 4.

BCNA — Vladimir Nabokov Archives // Berg Collection. New York Public Library.

D97 — A. Dolinin. «Thriller Square» and «The Place de la Revolution» // Nabokovian. № 38. Spring 1997.

GSA — Gleb Struve Archives // Hoover Institution Archive. Stanford, California.

J85 — D. Barton Johnson. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, 1985.

LCNA — Vladimir Nabokov Archives // The Library of Congress. Washington, D. C.

N-W79 — The Nabokov-Wilson Letters: Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson: 1940–1971. Ed. by S. Karlinsky. London: Weidenfeld and Nicolson, 1979.

SL89 — Vladimir Nabokov. Selected Letters: 1940–1977. Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. New York: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark Layman, 1989.

УПОМИНАЕМЫЕ В ПРИМЕЧАНИЯХ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

Возрождение. Париж, 1925–1940. Орган русской национальной мысли.

Последние новости. Париж, 1920–1940. Ежедневная газета. Ред. М. Л. Гольдштейн, П. Н. Милюков.

Руль. Берлин, 16 ноября 1920 — 14 октября 1931. Ежедневная газета. Отв. ред. И. В. Гессен, при участии А. А. Аргунова, проф. А. И. Каминки, В. Д. Набокова.

Русские записки. Париж, Шанхай, 1937–1939 (№ 1 — 20/21). Общественно-политический и литературный журнал. Ред. П. Н. Милюков, при участии Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка, В. В. Руднева.

Сегодня. Рига, 1919–1940. Ежедневная независимая демократическая газета. Ред.: А. В. Круминский (1929–1930), А. Добросельский (1939–1940).

Современные записки. Париж, 1920–1940 (Кн. 1–70). Ежемесячный общественно-политический и литературный журнал. Редколлегия: Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков (Фондаминский), М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев.

Числа. Париж, 1930–1934 (Кн. 1–10). Сборник. Ред. И. В. де Манциарли, Н. А. Оцуп.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ

Впервые: «Современные записки», 1935–1936 (кн. LVIII, с. 5–56; кн. LIX, с. 45–97; кн. LX, с. 59–119). Отдельным изданием: «Дом книги», Париж, 1938. В 1966 г. роман выпущен парижским издательством «Editions Victor». Печатается по этому изданию.

В откликах критиков, появлявшихся по мере серийной публикации романа в «Современных записках», не раз звучала озадаченность непредсказуемым течением сюжета, новым поэтическим языком, многозначным, ускользающим замыслом автора. «...Читатель широко откроет глаза, — писал П. Пильский в рижской газете “Сегодня”. — В романах он все еще привык встречать живых людей. У В. Сирина в его “Приглашении на казнь” — марионетки, карикатуры, призраки, небывалая жизнь. ⟨...⟩ Фигуры похожи на... заводные игрушки» (5 июля 1935). «Ее [повесть] читаешь будто ребус. Почти всегда опытный глаз предвидит развязку повести или романа — концы угадываются. Тут — все таинственно (29 ноября 1935). По словам В. Ходасевича, «Сирин упрямо и сознательно интригует читателя, создавая перед ним какой-то странный, отчасти фантастический мир. ⟨...⟩ Читая “Приглашение на казнь”, как бы следишь за пучком лучей, которые должны в какой-то точке наконец сойтись и все объяснить, но точка эта все удаляется, и всякий раз, когда читателю кажется, что он уже все понял и разгадал, Сирин вдруг заставляет отказаться от прежней разгадки и искать новую» (Возрождение. 11 июля 1935). «Весьма возможно, что загадка, предложенная Сириным, вообще не имеет исчерпывающего решения...» (Возрождение. 28 ноября 1935).

Вариативность «разгадок» была замечена и З. Шаховской, которая осознала ее как художественный принцип текста: «“Приглашение на казнь” имеет множество интерпретаций, может быть разрезано на разных уровнях глубины» («La Cité Chrétienne», Bruxelles, juillet, 1937. Цит. по: Зинаида Шаховская. В поисках отражений. Париж, 1979. С. 152. В дальнейшем этот принцип всесторонне анализируется Леоной Токер в книге «Nabokov: The Mystery of Literary Structures». Ithaca: Cornell University Press, 1989. P. 124–141).

Из всех пишущих о романе лишь С. Осокин (как указывается А. А. Долининым и Р. Д. Тименчиком — псевдоним Вадима Андреева) не увидел значительности нового произведения писателя, упрекнув Сирина во «внешней акробатике и внутренней схематизации и упрощении» (Русские записки. 1939. № 13. С. 199). Остальные критики, как бы ни разнились их трактовки, признали «Приглашение на казнь», по выражению Шаховской, «большой книгой большого писателя».

Для Г. Адамовича роман, наряду с предшествующим ему «Отчаянием», явился произведением, в котором с особой силой сказался темный, но подлинный гений писателя. «Тема старая, десятки раз разработанная, но — поверьте, Сирин-то разработал ее так, как никто никогда этого не делал! ⟨...⟩ Цинциннат не разглагольствует о бренности человеческой жизни, о правах личности, о великом значении свободы... Он ведет все тот же единый "отчаянный" сиринский монолог, бесчеловечный и мучительный» (Последние новости. 4 июля 1935). «...Бесспорно в этом романе есть тот творческий огонь, который... все искупает и все возвышает... Одна только оговорка... это вещь безумная. Более, чем когда бы то ни было, теперь ясно, почему у Сирина постоянно что-то не ладилось в повествованиях о людях обычных, находящихся в обыкновенной обстановке, и почему была в его квазибытовых романах какая-то искусственность и лживость ⟨...⟩ Теперь он наконец в своей сфере...» Признавая художественную силу книги, Адамович говорит о закрытости ее для читателя, несозвучности «тревогам» поколения. «...Этот мир его, — его и больше ничей!.. Какое дело нам до Цинцинната, с его бредом, с его видениями и воспоминаниями?» (Последние новости. 28 ноября 1935). В книге «Одиночество и свобода» (Нью-Йорк, 1955) Адамович высказывает свое окончательное мнение о задаче романа как задаче декадентской: автор «приглашает» нас в мир небытия, «где холод и безразличие проникли так глубоко, что оживление едва ли возможно». Этот мир, мир смерти, с точки зрения Адамовича, не преодолевается, но утверждается художником. Перед лицом творимой им мертвой реальности «даже сологубовские сны показались бы проявлением здорового, кипучего юношеского энтузиазма» (С. 216).

Если для Г. Адамовича набоковский роман вырван из контекста эмигрантской культуры, то В. Варшавский рассматривает его на фоне социально-духовной трагедии поколения и считает Сирина наиболее талантливым ее выразителем. Сиринские произведения ярче, чем иные произведения русских писателей-эмигрантов, «изображают в каком-то обездушенном, необитаемом для живого существа виде все формы совместной людской жизни и рисуют странное одиночество героя, не могущего приспособиться не только ни к какой социальной среде, но ни к какому вообще общению с людьми. Чтобы уйти от ужаса и мучения, испытываемых им на своей "социализированной"... поверхности, сознание героя... обращается вглубь себя...» Путь Цинцинната, характерного эмигрантского героя для Варшавского, есть мучительное исследование собственного «я», и этот путь, в противовес мнению Адамовича, обладает метафизической ценностью: «...вместе со смутными подземными волнами станет доступным телесному зрению

что-то "оттуда", хотя бы самое низменное и темное, но приносящее реальное ощущение потусторонней жизни души» (О прозе младших эмигрантских писателей // Современные записки. 1936. Кн. LXI. С. 112). Позднее в своей книге «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк, 1956) Варшавский воспримет отверженность Цинцинната как позицию инакомыслящего в условиях тоталитарного режима и представит «Приглашение на казнь» как антиутопию: «Действие романа происходит в каком-то неопределенном будущем, после того как тотальная социализация всей жизни привела к упадку культуры и вырождению человечества. В этом будущем обществе индивидуум существует не абсолютно, а только поскольку выполняет какую-либо социальную функцию ⟨...⟩ Цинциннат единственный человек, единственная личность, живое существо, наделенное душой, совестью и свободной волей. Именно в этом его преступление, и именно за это он приговорен к смертной казни. В сущности, он "внутренний эмигрант" в самом буквальном смысле. Он отказывается следовать "генеральной линии" и... не хочет признать "общий мир" за единственную реальность» (С. 217). Варшавский подчеркивает свое несогласие с В. Ходасевичем, полагавшим, что крепость и тюремщики являются призраками фантазии Цинцинната. «Общий мир», или «бред», окружающий героя, существует «против его воли и вполне объективно», настаивает критик, и роман видится ему одним из первых предупреждений о реальной исторической угрозе этого мира «всему свободному и творческому, что есть в человеке».

Вместе с тем и Ходасевич на определенном этапе осмысления «Приглашения на казнь» прочитывал в нем социально-публицистическое задание. Сатирическое изображение «будущего человечества» — одна из сторон произведения, более «предумышленная», чем другая, «собственно литературная», но менее убедительная. «Противо-утопия Сирина разделяет судьбу всех утопий и противо-утопий: ей трудно поверить ⟨...⟩ История движется не по прямой, а по кривой, заранее не вычислимой. Та жизнь, которую нам показывает Сирин, может настать и не настать ⟨...⟩ Получается то, что некогда сказал Лев Толстой о Леониде Андрееве: он пугает, а мне не страшно. Точнее: мне, может быть, и страшно, но не *так*, не тем страхом, который мне предлагает Сирин ⟨...⟩ Другое дело — убедительность художественная. "Приглашение на казнь" очень сильно и убедительно просто потому, что целостно, что несколько первоначально возникших образов в нем с замечательной гармонией развиты в картину большого охвата. Вот это *развитие образов* и было, мне кажется, вторым, а по внутреннему напряжению даже и первейшим заданием Сирина. Полагаю, что в русской (а вероятно — и в мировой) литературе есть только одно произведение, генетически схожее

с "Приглашением на казнь": это — гоголевский "Нос", в котором историки литературы напрасно ищут (и не находят) скрытый философский и моральный смысл и весь действительный смысл которого заключается в совершенно аморальной игре образов ⟨...⟩ В "Приглашении на казнь" Сирин, как Гоголь в "Носе", дает не что иное, как ряд блестящих *арабесок*, возникающих из нескольких основных мотивов, основных тем и объединенных... не единством "идейного" замысла, а лишь единством стиля» (Возрождение. 12 марта 1935).

В итоговой статье «О Сирине» Ходасевич усиливает эту последнюю эстетическую, или металитературную, версию романа: «В "Приглашении на казнь" нет реальной жизни, как нет и реальных персонажей, за исключением Цинцинната. Все прочее — только игра декораторов-эльфов, игра приемов и образов, заполняющая творческое сознание или, лучше сказать, творческий бред Цинцинната. С окончанием их игры повесть обрывается. Цинциннат не казнен и не не-казнен, потому что на протяжении всей повести мы видим его в воображаемом мире, где никакие реальные события невозможны. В заключительных строках двумерный намалеванный мир Цинцинната рушится ⟨...⟩ Если угодно, в эту минуту казнь совершается, но не та и не в том смысле, как ее ждали герой и читатель: с возвращением в мир "существ, подобных ему", пресекается бытие Цинцинната-художника» (Возрождение. 13 февраля 1937).

В своей статье «Возрождение Аллегории» (Современные записки. 1936. Кн. LXI) и в более поздней рецензии на выход романа отдельным изданием (Современные записки. 1939. Кн. LXVIII) П. Бицилли также обращается к «эстетическому заданию» «Приглашения на казнь», однако для него это задание не противостоит «идейному» (как считал Ходасевич), но, напротив, тесно связано с ним. Искусство по своей глубинной природе метафизично, оно, полагал критик, «есть результат усилия *освободиться* от действительности и, пользуясь... эмпирической данностью как *материалом*, переработать его так, чтобы прикоснуться к другому, идеальному миру» (Современные записки. 1939. Кн. LXVIII. С. 476). «Приглашение на казнь» как на тематическом, так и на формальном уровне является неким крайним выражением этой природы: «Сирин показывает привычную реальность как целую коллекцию разных *"неток"*, то есть абсолютно нелепых предметов ⟨...⟩ — и сущность творчества в таком случае сводится к поискам того "непонятного и уродливого зеркала", отражаясь в котором "непонятный и уродливый предмет" превращался бы в "чудный стройный образ"». Сирин не первый, кто берется за тему «жизнь есть сон» и тему человека-узника; «это известные общечеловеческие темы, и в мировой литературе они затрагивались множество раз...

Но ни у кого... эти темы не были единственными, никем они до сих пор еще не разрабатывались с такой последовательностью и с таким, этой последовательностью обусловленным, совершенством, с таким мастерством переосмысления восходящих к Гоголю, к романтикам, к Салтыкову, Свифту стилистических приемов и композиционных мотивов». Бицилли первым показал, что метафизический пафос романа: разоблачение мировой данности и попытка приобщиться к иной, запредельной области не только заложены в его содержании, но и манифестируются мельчайшими элементами его поэтики: каламбуры, ассонансы, аллитерации непосредственно выполняют функцию «восстановления подлинного мира». Пытаясь проследить генезис набоковских произведений, критик возводит их к искусству средневековой аллегории. Эта традиция находит отражение, в частности, в особом статусе персонажей «Приглашения на казнь», которые видятся Бицилли не индивидуальными характерами, а «двумя аспектами "человека вообще", everyman'а английской средневековой "площадной драмы", мистерии. "М-сье-пьеровское" начало есть в каждом человеке, покуда он живет, то есть покуда пребывает в том состоянии "дурной дремоты", **смерти**, которую мы считаем жизнью. Умереть для "Цинцинната" и значит вытравить из себя "м-сье Пьера" ⟨...⟩ безличное "общечеловеческое" начало...» Так получает философское и историко-литературное обоснование высказываемая в дальнейшем идея двойничества набоковских жертвы и палача. Интересно и соотнесение Бицилли «Приглашения на казнь» с «Историей одного города», «Запутанным делом», «Господами Головлевыми», а также «Дневником провинциала в Петербурге». Обнаружив в романе реминисценции сюжетных ходов и интонаций Салтыкова-Щедрина, критик подходит к открытию еще одного важного принципа изучения Набокова — отыскивания в его произведениях следов чужих текстов — «родимых пятен» культуры.

«Приглашение на казнь» вплоть до сегодняшнего дня продолжает вызывать пристальный интерес исследователей. При работе над настоящими примечаниями, наряду с указанными в тексте источниками, использованы главы, посвященные роману, в книгах В. Александрова (Nabokov's Otherworld. Princeton, New Jersey, 1991) и Дж. Коннолли (Nabokov'Early Fiction: Patterns of Self and Other. Cambridge, 1993).

С. 47. Делаланд. — В предисловии к английской версии «Приглашения на казнь» («Invitation to the Beheading». Перевод Д. Набокова в соавторстве с В. Набоковым. N. Y.: G. P. Putnam's Sons, 1959) автор назвал «единственного» писателя, «чье влияние в период работы над этой книгой» он «с благодарностью» признает:

«печального, сумасбродного, мудрого, остроумного, волшебного и во всех отношениях восхитительного Пьера Делаланда», которого он «выдумал» (Перевод Г. А. Левинтона // Владимир Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. М., Книга, 1989. С. 406). Пьер Делаланд упоминается также в «Даре» (см. прим. к с. 484). Можно предположить, что фамилия набоковского философа восходит к персонажу романа о Граале Вольфрама фон Эшенбаха, рыцарю Орилусу Делаландеру (как указывает А. Д. Михайлов, искажение французского Orgueilleux de la Lande, в переводе — Гордец из Долины. См.: Средневековый роман и повесть. М., 1974. С. 631). В «Парцифале» фон Эшенбаха Грааль предстает, согласно различным мистическим толкованиям, — священным камнем, отсюда и имя набоковского героя — Пьер. По мнению Г. Шапиро, «Лаланд» заимствован из беловой рукописи «Евгения Онегина»: «Прочел он Гердера, Руссо, / Лаланда, Гиббона, Шамфора...» (8, XXXV) (*Ш81.* P. 369). В пользу последней версии говорит то, что упоминаемый Пушкиным Жозеф Жером Лефрансуа де Лаланд, французский астроном (1732–1807), был видным масоном, что, как и в случае со средневековым прототипом, может откликаться в имени «Пьер» и вместе с тем вплетаться в сложный узор масонского сюжета, развиваемый в романе. Характерно, что Лаланд известен в качестве основателя знаменитой ложи Девяти сестер (т. е. девяти муз) эпохи Великой французской революции, составляющей, как показывает А. Долинин (см. прим. к с. 61 и др.), призрачный исторический фон романа. Кроме того, М. Алданов в романе «Бегство» (1929) упоминает его как легендарного персонажа, который беседовал с Наполеоном о Боге и «из тщеславия ел пауков» — деталь, возможно отзывающаяся во вражде Цинцинната с пожирателем бабочек и мух, делящим с ним камеру.

Цинциннат. — По мнению Э. Филда, имя героя отсылает не столько к Люцию Квинкцию Цинциннату, легендарному римскому полководцу и землепашцу, который считался образцом гражданской добродетели и скромности, сколько к его сыну, высланному в 461 г. до н. э. из Рима за высокомерное поведение и бунтарские речи (см.: A. Field. The Life and Art of Vladimir Nabokov. N. Y., 1986. P. 145).

...змея в расселину. — С. Давыдов, выявивший присутствие в романе гностического мифа, указывает на то, что змея — центральный символ гностиков, «царь тьмы и зла». Сама крепость, где каждый коридор приводит узника обратно в камеру, построена наподобие гностического лабиринта (*Д82.* С. 112).

Тюремщик Родион... — Как отмечает П. Тамми, имена тюремщиков (в дальнейшем: адвокат Роман, директор тюрьмы Родриг)

отсылают к герою «Преступления и наказания» Родиону Романовичу Раскольникову (*Т86.* Р. 64).

...одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь. — По наблюдению Н. Букс, — аллюзия на камеру Раскольникова, которая сравнивается в романе Достоевского с «морской каютой» (Н. Букс. Эшафот в хрустальном дворце: о романе Вл. Набокова «Приглашение на казнь» // Cahiers du monde russe et sovietique. XXXU (4), 1994, octobre-decembre. Приводится по: *Б98.* С. 134). Помещенный в камере Раскольникова и окруженный тюремщиками, носящими его имя, Цинциннат оказывается заключен в мир «Преступления и наказания» и вынужден играть в сентиментально-жестоком фарсе, каким видятся Набокову конфликты романов Достоевского.

С. 48. ...паук... — официальный друг заключенных. — По мнению Г. Шапиро, здесь усматривается аллюзия на «Шильонского узника» Байрона в переводе В. А. Жуковского, где герой, описывая свое заточение в каземате, восклицает: «И подземелье стало вдруг / Мне милой кровлей... там все друг, / Все однодомец было мой: / Паук темничный надо мной / Там мирно ткал в моем окне. / За резвой мышью при луне / Я там подсматривать любил...» Последние строки отзываются чуть дальше, когда Цинциннат замечает, как «луна сверкала на чернильнице, а... мусорная корзинка... клокотала: должно быть, в нее свалилась мышь» (*Ш81.* С. 371). А. А. Долинин и Р. Д. Тименчик считают, что другие возможные источники мотива — «повесть В. Гюго "Последний день приговоренного к смерти", в которой упоминается и паутина, лохмотьями свисающая со свода в камере смертника, и "мохнатые лапы и холодное брюшко" ползущего паука (гл. XII), а также восходящий к ней и к "Шильонскому узнику" рассказ князя Мышкина в "Идиоте" Достоевского о несчастных узниках, один из которых заводит "знакомство с пауком". В связи с тем, что у Набокова паук в камере выступает как непременный атрибут пародируемой романтической "тюремной" литературы, можно вспомнить и "Приключения Гекльберри Финна" М. Твена, где Том Сойер, организуя заточение Джима по всем "книжным" романтическим правилам, осведомляется, есть ли у него в сарае пауки (ч. 1, гл. 5)» (*Д-Т89.* С. 508). Аллюзия на эпизод «Идиота» приводится также у П. Тамми наряду с отсылками к другим паукам Достоевского: из ставрогинского дневника («Бесы»), «Записок из подполья», «Братьев Карамазовых», а также знаменитого образа свидригайловской вечности в «Преступлении и наказании» — «комнатки... вроде деревенской бани... а по всем углам пауки» (*Т86.* Р. 65—66).

С. 49. ...стражник... в песьей маске... — напоминает русских опричников, носивших у пояса собачью голову, и вместе с тем

восходит к звериным маскам гностических демонов-архонов (*Д82.* С. 112).

С. 50. пудинг-кабинет — рисовый пудинг.

сабайон — гоголь-моголь с добавлением белого вина.

С. 52. ...вспыхнуло несколько рыжих волосков. — Аллюзия на «три огнистых сверкающих волоска» на темени героя гофмановской сказки «Крошка Цахес». В этих волосках заключалась дарованная ему волшебная сила, позволявшая злобному и глупому уродцу внушать окружающим трепет и восхищение. Подобно оборотню Цахесу, персонажи «Приглашения на казнь» — призраки, куклы, пародии — притворяются настоящими.

С. 53—54. ...на черном бархате... появилось... лицо Марфиньки... на... шее была черная бархатка, а бархатная тишина платья... сливалась с темнотой. См. также далее: *...бархатный паук, чем-то похожий на Марфиньку.* — Как показывают С. Сендерович и Е. Шварц, героиня списана с ярмарочного экспоната, балаганной «женщины-паука»: «...на полированном столике лежало мохнатое туловище огромного паука с большими паучьими лапами и женской головой, которая разговаривала, отвечала на вопросы, подмигивала. Достигался этот эффект с помощью системы зеркал и черного бархата...» (А. Ф. Некрылова. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец XVIII — нач. XX века. Л., 1984. С. 155. Цит. по: *С-Ш97.* С. 96.) Вместе с кукольной Марфинькой в роман вводятся мотивы городских народных праздничных гуляний, на которых выстроен весь город «Приглашения на казнь».

С. 54. декапитация — (от *лат.* capitis — «голова») обезглавливание.

красный цилиндр. — Под этим названием фигурирует «Приглашение на казнь» в романе «Смотри на арлекинов!», представляющем галерею автопародий.

С. 55. ...которые с чашкой тепловатого шоколада принес ему Родион... — аллюзия на роман «Шоколад» (см. о нем в прим. к «Отчаянию», т. III наст. изд., с. 756). Автор его, Тарасов-Родионов, пытался убедить Набокова вернуться в Россию, что могло быть воспринято им как настоящее приглашение на казнь. В туре вальса, предложенном галантным тюремщиком Цинциннату, отзывается героиня «Шоколада» по фамилии Вальц. Сам Тарасов-Родионов был тюремщиком по призванию. В романе-хронике «Февраль» писатель рассказывает о том, как после Февральской революции Петроградский Совет рекомендовал его на должность коменданта Петропавловской крепости (С. Сендерович, Е. Шварц. Приглашение на казнь. Комментарий к мотиву // Набоковский вестник. СПб., 1998. Вып. 1. С. 83).

С. 56. ...не сгреб пестрых газет в ком ⟨...⟩ надел черный халат, слишком для него длинный, черные туфли... — Эти детали указывают на один из важных подтекстов романа, пьесу Н. Н. Евреинова «Четвертая стена» (1915), которая представляет собой пародию на постановку оперы «Фауст» в реалистическом театре и начинается с того, что актер, играющий Фауста, просыпается на сцене, обставленной под его кабинет, и надевает «средневековый халат и такие же туфли». Комическая условность подчеркивается тем, что сторож приносит ему вместе с завтраком «Петроградскую газету». Актер, которого вынуждают вживаться в роль, чувствует себя как в тюрьме. Роль Фауста настойчиво предлагается и Цинциннату (см. прим. к с. 134). (Об этом: С. Сендерович, Е. Шварц. Старичок из евреев (Комментарий к «Приглашению на казнь» Владимира Набокова) // Russian Literature. XLIII (1998) P. 313.)

тычь (тычка) — игра в свайку, или в ножички.

...ночь ⟨...⟩ Какие звезды, — какая мысль и грусть наверху, — а внизу ничего не знают. — Аллюзия на стихотворение А. Блока «Ночь. Город угомонился...» (1907): «Звезды, звезды, / Расскажите причину грусти! ⟨...⟩ Звезды, звезды, / Откуда такая тоска?»

С. 57. ...на ижицу, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями. — Графический контур ижицы, последней буквы церковнославянского и старого русского алфавита, напоминает рогатку или летящую птицу (Ѵ). Здесь, как замечает Д. Бартон Джонсон, впервые проводится важная для романа тема иконичности алфавита. «Ижица» противопоставлена стертому и обыденному языку окружающего Цинцинната мира, и ее графический облик намекает на возможность преодоления героем лингвистического плена и обретения иного, собственно поэтического наречия, адекватного его запредельным озарениям (*J85.* P. 35). Вместе с тем мотив «маргинальной» ижицы, которая еще в 20—30-е гг. XIX в. воспринималась как лишняя, ненужная буква и которую, по словам Н. И. Надеждина, Н. И. Греч в своей «Практической грамматике» вовсе «изгонял из алфавитного Эдема», оттеняет судьбу отторгнутого обществом Цинцинната. Любопытно, что в шутливом стихотворении Надеждина, напечатанном в «Вестнике Европы» в 1828 г., несчастная ижица жалуется на то, что она «в тихой, тихой, скромной доле... не сносила головы» — участь, уготованная и набоковскому герою.

...в плавучей библиотеке имени д-ра Синеокова, утонувшего... — аллюзия на стихотворение А. Блока «Незнакомка»: «...очи синие бездонные / Цветут на дальнем берегу» (указано А. В. Леденевым в кн.: Из истории русской поэзии и прозы. Ярославль, 1996. С. 19). Доктор Синеоков (ср. доктора Блю из «Лолиты») — одна из созданных Набоковым масок Блока.

С. 58. ...маленький волосатый Пушкин в бекеше... — восходит к двум мемуарным свидетельствам, которые приводятся в книге В. Вересаева «Пушкин в жизни». Во-первых, к воспоминаниям Н. М. Колмакова (1834—1836): «В числе гулявшей по Невскому публики почасту можно было приметить Александа Сергеевича Пушкина, но он, останавливая и привлекая на себя взоры всех и каждого, не поражал их костюмом, напротив, шляпа его далеко не отличалась новизною, а длинная бекешь его тоже старенькая. Я не погрешу перед потомством, если скажу, что на его бекеши сзади на талии недоставало одной пуговки. Отсутствие этой пуговки меня каждый раз смущало, когда я встречал А. Сер-ча и видел это» (Пушкин в жизни. В 2 т. Т. 2. СПб., 1995. С. 240). (По-видимому, эта бекеша «без пуговки» откликается в «застегнутом на все пуговки Добролюбове», который появляется в набоковском тексте чуть ниже.) Во-вторых, здесь проецируется записка В. А. Жуковского о том, что перед тем, как ехать на дуэль, Пушкин приказал «подать бекешь», потом, видимо, передумал и надел шубу (там же. С. 373). Тема смерти поэта ложится на судьбу Цинцинната и в дальнейшем угадывается в романе (*ПП*).

...похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете... — напоминает известный дагерротип 1845 г., запечатлевший писателя среди русских художников в Риме и послуживший Набокову фронтисписом для первого издания его книги о Гоголе. О том, что Набоков подразумевал именно этот снимок, свидетельствует следующее описание: «Нос большой, острый ⟨...⟩ На нем... франтовской жилет. И если бы блеклый отпечаток прошлого мог расцвести красками, мы увидели бы бутылочно-зеленый цвет жилета с оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазками...» (Николай Гоголь. Перевод Е. Голышевой // В. В. Набоков. Собр. соч. в 5 т. Американский период. СПб., «Симпозиум», 1997. Т. 1. С. 408. Об этом: Г. Шапиро. Реминисценции из «Мертвых душ» в «Приглашении на казнь» Набокова // Гоголевский сборник. Сост. С. А. Гончаров. СПб., 1994. С. 175, 180).

...лепет Марфиньки, ее ноги в белых чулках... — Такой предстает Райскому Марфенька в «Обрыве» И. А. Гончарова (часть 2, гл. 3): он «с улыбкой слушал ее... лепет», «пристально следил, как она... приподняла край платья и как из-под платья вытягивалась кругленькая, точно выточенная, крепкая, небольшая нога, в белом чулке». Ср. также восприятие ее Райским в начале их знакомства как «цельной и чистой» «натуры» и мир Марфиньки, в глазах Цинцинната, состоящий «из простых частиц, просто соединенных», «невинная гладкость», которую она умеет придать волосам (*Ш81.* С. 372).

С. 59. ...приняв фальшиво-развязную позу оперных гуляк в сцене погребка... Родион баритонным басом пел... Эту же удалую песню

певала прежде и Марфинька. Слезы брызнули из глаз Цинцинната. — Как отмечает Н. Букс, текстом-адресатом этой аллюзии является знаменитая «Песня Крысы», исполняемая Брендером, второстепенным, как и Родион, персонажем, в сцене погребка Ауэрбаха в драматической легенде Г. Берлиоза «Осуждение Фауста» (1843), в основу которой лег измененный текст Гёте. В песне высмеивается обреченная на гибель крыса (во французском оригинале либретто крыса — le rat — мужского рода), которую повар отравил ядом и которая мечется в смертном ужасе по замкнутому пространству дома, словно охваченная любовью. Содержание песни прочитывается как гротескное отражение романной ситуации. К традиционным декорациям первого акта оперы Берлиоза (на заднем плане — вид крепости на горе) отсылает и пейзаж «Приглашения на казнь», где «из каждой точки... была видна... высокая крепость» (N. Buhks. Les fantomes de l'opera dans les romans de V. Nabokov // Nabokov dans le miroir du XX-e siecle. Ed. N. Buhks. Cahiers de l'emigration russe. Paris. (В печати)).

С. 60. ...разряда Ф... — Как полагает Д. Бартон Джонсон, имеется в виду еще одна буква старого русского алфавита «фита» (*J85.* P. 33). «Фита», как и «ижица», была исключена орфографической реформой 1917—1918 гг. и также издавна воспринималась как лишняя, бесполезная.

С. 60—61. ...его наиболее прозорливых товарищей по работе в мастерской. (...) и один произнес громким голосом: «Горожане, между нами находится...» — тут последовало страшное, почти забытое слово, — и налетел ветер на акации... — Здесь прочитывается намек на фрагмент основной масонской легенды, отразившейся в ритуале посвящения ученика в степень мастера. Великий строитель Храма Соломона, Хирам, обладающий божественным знанием, не открыл завистливым работникам, «товарищам» или «подмастерьям», сокровенного, древнего «слова», был убит ими и тайно захоронен. Разоблачительной уликой стала ветка акации (символ верности, изображаемый на масонских атрибутах), которой убийцы отметили место погребения Хирама и которая предательски зазеленела. Нашедшие тело великого мастера из боязни, что их древнее мастерское слово стало известно непосвященным, решают заменить его первым, которое будет произнесено при открытии могилы. «Забытое» или «потерянное слово» обозначает в масонской символике сакральное, недоступное профанам знание. Тень Хирама, избранного хранителя этого знания, полученного от самого Адама, ложится, таким образом, на Цинцинната, на «горожан» же, работников мастерской могут быть спроецированы как предатели — убийцы, так и верные Хираму братья по цеху. (Об этом: О. Сконечная. Масонская тема в русском творчестве

Набокова: о переосмыслении писателем бродячих сюжетов массового сознания // Nabokov dans le miroir du XX-e siecle.)

С. 61. Закатный луч повторял уже знакомые эффекты. — А. Долинин указывает на звучание здесь темы Мари-Андре Шенье (1762–1794), поэта, казненного на гильотине якобинцами. В своем «Как над стихами силы средней...» (1956) Набоков процитирует первую строку «Ямба IV» Шенье: «...как луч последний, как последний / зефир... comme un dernier rayon...» Этот «последний луч» проникает и в камеру Цинцинната (ср. также далее: «красноватый вечерний луч»). Сам жест Цинцинната: «сел... уминая ладонью лоб» — повторяет знаменательное движение Шенье, на которое указывает Пушкин в примечаниях к его «Андрею Шенье» (1825): «На месте казни он ударил себя в голову и сказал: pourtant j'avais quelque chose la [Все-таки у меня там кое-что было]» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. В 10 т. Т. 2. М., 1956. С. 264). Пушкин также цитирует эти слова в письме П. А. Вяземскому: «И я, как А. Шенье, могу ударить себя в голову и сказать: il y avait quelque chose la» (В. Вересаев. Пушкин в жизни. Т. 1. С. 279). В «Гении Христианства» Ф. Р. де Шатобриан поясняет, что Шенье имел в виду Музу, открывшую ему его собственный дар только перед самой смертью. Цинциннат произносит нечто подобное: «У меня в голове несколько начатых и в разное время прерванных работ». Шенье, который до заключения опубликовал лишь два стихотворения, в тюремной камере, как и Цинциннат, обращается к своим прежним замыслам и продолжает писать до самой казни (*Д97.* Р. 44). Соседство аллюзии на масонскую легенду с отсылкой к Андрею Шенье и одновременно к сюжету Великой французской революции указывает на то, что Набоков обыгрывает в романе предание о связи якобинцев со средневековыми тамплиерами и масонских истоках революции, которое пересказывается в статье М. Волошина «Пророки и мстители. Предвестия Великой революции» (1905): «Из масонских лож вышли все деятели Великой революции» (М. Волошин. Лики творчества. Л., 1988. С. 206).

...стены, друг другу на плечи положившие руки, как четверо неслышным шепотом обсуждающих квадратную тайну... — Как заметили С. Сендерович и Е. Шварц, здесь обыгрывается название пьесы Н. Н. Евреинова «Четвертая стена» (Набоковский Фауст: предварительные заметки // Vladimir Nabokov-Sirine: Les annees européennes. Ed. Nora Buhks. Cahiers de l'emigration russe. Paris. 1999. № 5. P. 164). К пьесе Евреинова восходит и «глиняный кувшин... поивший всех узников мира»: в «Четвертой стене» кувшин также предстает данью традиции.

С. 61–62. ...снял халат, ермолку, туфли. ⟨...⟩ Снял, как парик, голову... снял грудную клетку, как кольчугу. ⟨...⟩ затем, окунувшись...

в свою тайную среду ⟨...⟩ *Цинциннат, тебя освежило преступное твое упражнение.* — По версии С. Давыдова, Цинциннат проделывает ряд ритуальных гностических упражнений, так называемых «разоблачений», в которых душа снимает с себя оболочку за оболочкой и таким образом подготавливает себя для посмертного восхождения (*Д82.* С. 120).

С. 63. Запонку потерял... — П. Бицилли замечает здесь перекличку с эпизодом «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина. Мать Иудушки представляет себе, как тот явится на похороны своего брата Павла, как будет притворяться скорбящим, как примется за проверку наследства. И в ушах ее звенит голос сына: «А помните, маменька, у брата золотенькие запоночки были... И куда только эти запоночки девались — ума приложить не могу!» (Возрождение Аллегории. С. 196).

С. 66. ...засмеялся директор ⟨...⟩ *— Да-с, — продолжал тот, потряхивая ключами...* — Превращение директора Родрига Ивановича в дворника Родиона с моментальным переходом к просторечию отсылает к приему перевоплощения героини «Самого главного» (1921) Н. Н. Евреинова, танцовщицы-босоножки, изображающей на «сцене жизни» прислугу и постоянно переходящей от нейтральной речи к нарочитому простонародному говору.

...Я покоряюсь вам — призраки ⟨...⟩ *Но все-таки я требую... чтобы мне сказали, сколько мне осталось жить...* — Цинциннат вторит настойчивым вопросам героя «Рассказа о семи повешенных» (1908) Л. Андреева, когда его «будут вешать». К андреевскому рассказу восходит и мотив кукольного, призрачного мира заключения. «И с первого дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол... И все стало казаться игрушечным... присужденному к смертной казни...: его камера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вылепленная крепость, и особенно та механическая кукла с ружьем, которая стучит ногами по коридору...» (Л. Н. Андреев. Повести и рассказы. Челябинск, 1979. С. 335—336).

С. 68. бланжевый — (от *фр.* blanche) телесного цвета.

...и через выгнутый мост шел кто-то крохотный в красном, и бегущая точка перед ним была, вероятно, собака. — Аллюзия на картину П. Брейгеля «Охотники на снегу» (1565). Цинциннат, возможно, видит идущего в крепость палача (ср. его охотничий костюм в последней сцене романа, а также его «красный платочек», его фокусы, которые называются «красной магией») (*Б98.* С. 129).

Родион нашел где-то метлу и молча мел плиты террасы. — См. прим. к с. 178.

С. 70. муаровый — из плотной шелковой ткани с разводами, переливающейся на свету разными оттенками.

С. 71. ...ты, как в поэтической древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потемней... — парафраз двух последних строф стихотворения М. Ю. Лермонтова «Соседка» (1840), в котором узник обращается к дочери тюремщика: «У отца ты ключи мне украдешь, / Сторожей за пирушку усадишь, / А уж с тем, что поставлен к дверям, / Постараюсь я справиться сам. // Избери только ночь потемнее, / Да отцу дай вина похмельнее, / Да повесь, чтобы ведать я мог, / На окно полосатый платок» (*Ш81.* С. 371). Ср. также муаровый кушак Эммочки.

Эммочка! ⟨...⟩ скажи мне... когда я умру? — Аллюзия на вопрос Пушкина, который, согласно свидетельству В. А. Жуковского, он задал накануне кончины: «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» (П. Е. Щеголев. Дуэль и смерть Пушкина. СПб., 1999. С. 174. Об этом: *ПП*).

Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! — Контаминация пушкинской и блоковской тем. Первая — тема смерти поэта — возникает через отзвук воспоминаний Жуковского о предсмертной тоске Пушкина: «Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски. “Ах, какая тоска! — восклицал он иногда... — Сердце изнывает”» (П. Щеголев. Указ. соч. С. 174. Об этом: *ПП*). «Ах, какая тоска! — восклицал он иногда...» (В. Вересаев. Пушкин в жизни. Т. 2. С. 405. Об этом: *ПП*). Вторая — тема обращения к высшему миру, вновь восходящая к стихотворению Блока «Ночь. Город угомонился...»: «Звезды, звезды, / Откуда такая тоска? / И звезды рассказывают. / Все рассказывают звезды».

С. 72. Тоска, тоска... — отсылка к лейтмотиву тоски «Путешествия Онегина»: «Тоска ⟨...⟩ Чего мне ждать? тоска, тоска!..» (*ПП*).

С. 77. ...как отражения в поколебленной воде ⟨...⟩ он поплыл, запутался и начал тонуть. — Проходящая через весь текст метафора заключения в земной темнице времени и пространства как плавания в опасных, неверных водах восходит, возможно, к фрагменту «Мыслей» Паскаля, который откликается в знаменитом пассаже о «двух идеально черных вечностях», «преджизненной» и посмертной, в «Других берегах» (об этой отсылке к Паскалю в набоковской автобиографии см: М. Гришакова. О некоторых аллюзиях у В. Набокова // Культура русской диаспоры: Набоков —100. Сост. И. З. Белобровцева, А. А. Данилевский. Таллин, 2000, в печати). Человек у Паскаля «равным образом — не способен понять небытие, из которого извлечен, и бесконечность, которою он поглощается... мы ограничены со всех сторон ⟨...⟩ Мы плаваем на обширном пространстве посередине, вечно неуверенные и колеблющиеся; нас носит от одного берега к другому; к какой бы тверди мы ни захотели пристать и закрепиться у нее, она качается, уходит от нас, а если мы попытаемся за нее зацепиться, ускользает от нас и навечно пускается в бегство; ничто не застывает на месте для нас. Такое состояние для нас естественно, и однако же

оно противнее всего нашим склонностям» (Б. Паскаль. Мысли. М., 1995. Перевод Ю. Гинзбург. Фрагм. 427 (194), 682 (232)). Ср. также метафору «водяной тюрьмы» в одноименном рассказе Г. Газданова (1930), где есть и «пленник», и «директор» и где мотивы воды и плавания воплощают эсхатологическую тему затонувшего материка эмигрантской жизни, присутствующую и в «Приглашении на казнь».

...Мы нервозны как маленькая женщина... Дышите свободно. Есть можете все. Ночные поты бывают? — Аллюзия на героя «Преступления и наказания», который нервен, «чересчур раздражителен», легко теряет сознание. Медицинские замечания вторят словам Зосимова, обращенным к больному Раскольникову: «Ну, так как мы теперь себя чувствуем, а? 〈...〉 Да все ему можно давать... Супу, чаю» (*Б98.* С. 134).

С. 78. ...неподвижно, как сахарный, сидел безбородый толстячок, лет тридцати, в старомодной, но чистой... пижамке... в новеньких... туфлях... светло-русые волосы на удивительно круглой голове были разделены пробором... длинные ресницы бросали тень на херувимскую щеку, между малиновых губ сквозила белизна чудных, ровных зубов. — В портрете м-сье Пьера (или Петра Петровича) угадываются черты Порфирия Петровича («Преступление и наказание», часть 3, гл. 5): Он «был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и стоптанных туфлях. Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый... с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове...» (*Б98.* С. 135). Вместе с тем описание м-сье Пьера напоминает фарфорового херувима (в дальнейшем его улыбка названа «фарфоровой»), который продавался на вербной ярмарке. «Неподвижность» его, возможно, восходит к мотиву «вербного херувима» в пушкинских черновиках к «Евгению Онегину»: «...Румян, как вербный херувим, / Затянут, нем и недвижим» (*С-Ш97.* С. 104, 109).

С. 82. Покуда в тех садах будут дубы... — По мнению Н. Букс, — отзвук утопических садов, «где растут дуб и липа» из четвертого сна Веры Павловны, героини романа «Что делать?». «Приглашение на казнь», полагает исследовательница, представляет собой «пародийно реализованную утопию, изображенную в романе “Что делать?”, в которой главный герой, философ-“идеалист”, является пародийным отражением самого Чернышевского» (*Б98.* С. 123, 124).

...самое строение его грудной клетки... выражало решетчатую сущность его... темницы. — Как замечает С. Давыдов, в гностической поэтике «тюрьма» является не только символом заключенности человека в материальном мире, но и символом плоти, в которой томится душа-узница (*Д82.* С. 114).

куприк — копчик, крестец.

С. 83. ...не спал... плаха, бархат... — Связь этих мотивов восходит к «Итальянским стихам» А. Блока, где в цикле «Венеция» (1909) соседствуют стихотворения «Холодный ветер от лагуны...», с темой сна и образом отрубленной головы поэта: «Все спит — дворцы, каналы, люди 〈...〉 Лишь голова на черном блюде / Глядит с тоской в окрестный мрак», и «Слабеет жизни гул упорный...» с повторяющимся «бархатом»: «И некий ветр сквозь бархат черный / О жизни будущей поет», «Мечты, виденья, думы — прочь! / Волна возвратного прилива / Бросает в бархатную ночь!»

С. 87. Обвиненный... в гносеологической гнусности... — В английской версии — «гностической», что дало основание исследователям Д. Мойнагану и вслед за ним С. Давыдову рассмотреть конфликт романа как гностическое противостояние избранного героя — носителя божественной искры косному материальному миру, сотворенному злым и коварным демиургом. В то же время слово «гнусность» — один из многих знаков, указующих на родство героя «Приглашения на казнь» с набоковским Чернышевским, журнальную деятельность которого также обвиняли в «гнусности»: «Тон... становится... откровенным; словцо “гнусно”, “гнусность” начинает приятно оживлять страницы» («Дар». Об этом: *Б98.* С. 122).

...этой казни (которая ясно предощущалась им, как выверт, рывок и хруст чудовищного зуба, причем все его тело было воспаленной десной, а голова этим зубом)... — по-видимому, аллюзия на строки стихотворения В. Ф. Ходасевича «Из дневника» (1921), проникнутого дуалистической образностью: «Прорезываться начал дух, / Как зуб из-под припухших десен». Перекликаются и финалы произведений. У Ходасевича: «А я останусь тут лежать 〈...〉 Кричать и биться в мире вашем». У Набокова бессмертный двойник казненного Цинцинната спрашивает: «Зачем я тут? Отчего так лежу?»

С. 87—88. ...Цинциннат... почувствовал дикий позыв к свободе 〈...〉 слушая... звон часов, которые как раз начали свой неторопливый счет 〈...〉 фонтан у мавзолея капитана Сонного... орошает... каменного капитана, барельеф у его слоновых ног... — Эти разрозненные фрагменты текста складываются в аллюзию на стихотворение Блока «Шаги Командора» (1912): «Что теперь твоя постылая свобода, / Страх познавший Дон-Жуан? 〈...〉 Тихими, тяжелыми шагами / В дом вступает Командор 〈...〉 Словно хриплый бой ночных часов — / Бой часов 〈...〉 Бьют часы в последний раз...» Цинциннат — Дон-Жуан слышит, как отсчитываются оставшиеся ему часы: (у Блока: «Миги жизни сочтены»). Символ неумолимой смерти Командор (или пушкинский каменный гость) является в романе в образе «каменного капитана», а о шагах его, «тихих»

и «тяжелых», воплощающих само грозное время, напоминают слоновьи ноги статуи. Блоковское эхо, с одной стороны, вносит мотив «постылой», уже не нужной Цинциннату здешней свободы, обманчивость которой он поймет в дальнейшем, с другой — «Шаги Командора» усиливают эсхатологический подтекст романа, подключая к нему символистское звучание темы. Не случайна и фамилия капитана — «Сонный» — это один из характерных эпитетов Блока, становящийся в набоковском тексте знаком блоковского присутствия.

...плывут по бульвару сделанные в виде лебедей или лодок электрические вагонетки, в которых сидишь как в карусельной люльке 〈...〉 *знаменитый каламбурист, жадный хохлатый старик...* — Здесь, по мнению С. Сендеровича и Е. Шварц, слышны отзвуки праздничных гуляний на Марсовом поле, как они описываются мемуаристами (бульвары в городе Цинцинната называются Первым, Вторым, подобно линиям балаганов на Марсовом поле): «...скрип каруселей и качелей 〈...〉 всяческие зазывания, прибаутки и шутки дедов... петрушка, раешник, торговцы сластями 〈...〉 Карусели 〈...〉 состояли из деревянных коней 〈...〉 За каждой парой коней были подвешены две пары четырех и шестиместных люлек...» (А. В. Лейферт. Балаганы. Пг., 1922. С. 61, 71).

С. 88. карбурин — пары́ углеродистых веществ: бензина, нафталина и др.

С. 90. ...всматривались в искусственную даль за витриной... — отсылка к финалу блоковской драмы «Балаганчик» (1906): «Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге».

С. 95. ...а усики у нас трепещут, а жилка на шейке бьется... — аллюзия на реплику Порфирия Петровича: «Ишь ручка-то как дрожит» (часть 3, гл. 5), пародирующая фигуру следователя-друга, его особую ироничную проницательность, доверительность, участие.

С. 95–96. Кто утешит рыдающего младенца, кто подклеит его игрушку? 〈...〉 *Кто заступится за вдовицу?* 〈...〉 *Кто снабдит трезвым советом, кто укажет лекарство, кто принесет отрадную весть?* — Одна из многослойных аллюзий, по мнению Г. Шапиро, иронически отсылающая к Священному Писанию: «...защищайте сироту; вступайтесь за вдову» (Исаия. 1: 17) — что, в свою очередь, отзывается в самооценке одного из очевидных литературных предков м-сье Пьера, Чичикова: «...подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте горемыке...» (Г. Шапиро. Реминисценции из «Мертвых душ» в «Приглашении на казнь» Набокова. С. 177). Вместе с тем реплика Пьера, как считает Н. Букс, указывает и на другого его прототипа — Доктора Гаспара из сказки Ю. Олеши «Три толстяка» (см. о ней прим. к с. 115), который должен подклеить куклу наследника Тутти и тем утешить мальчика (*Б98.* С. 133)

Наконец, слова м-сье Пьера связывают его с персонажем пьесы Евреинова «Самое главное», Параклетом, или по-гречески — «советчиком», «помощником», «утешителем». В вопросе: «Кто подклеит...» заключен акроним имени евреиновского героя, причем единственное недостающее «р» осталось в слове «игрушка». По мнению С. Сендеровича и Е. Шварц, сближая евреиновского Параклета с Пьером, Набоков демонстрирует жестокость идеи театрализации жизни как рецепта всеобщего счастья. Театральная иллюзия, призванная избавить человечество от страданий, превращается в «Приглашении на казнь» в грубый, издевательский балаган, злонамеренный розыгрыш, осуществляемый палачом, который притворяется спасителем будущей жертвы (ср. признание Пьера: «меня обвинили в попытке помочь вам бежать отсюда») («Старичок из евреев...». P. 312–313).

С. 97. ...губки вздрагивают... — неточная цитата из «Преступления и наказания», вновь воспроизводящая одну из реплик Порфирия Петровича (часть 4, гл. 2), обращенных к Раскольникову: «Губка-то опять, как и тогда, вздрагивает...»

С. 98. петит, цицеро — названия типографских шрифтов — соответственно, мелкого и крупного.

...как перстень с перлом в кровавом жиру акулы... — Затонувшая жемчужина — идущее от «Гимна перлу» общегностическое обозначение потерянной, плененной души.

Быть может, гражданин столетия грядущего... — еще одна отсылка к стихотворению Блока «Слабеет жизни гул упорный...» с его темой посмертного рождения и открытия великой тайны бытия: «Быть может, венецейской девы / Канцоной нежной слух пленя, / Отец грядущий сквозь напевы / Уже предчувствует меня? // И неужель в грядущем веке / Младенцу мне — велит судьба / Впервые дрогнувшие веки / Открыть у львиного столба?»

... поторопившийся гость (хозяйка еще и не вставала)... я прожил... — аллюзия на убитого Ленского («Евгений Онегин», 6, XXXII): «Тому назад одно мгновенье / В сем сердце билось вдохновенье, / Вражда, надежда и любовь, / Играла жизнь, кипела кровь; / Теперь, как в доме опустелом, / Все в нем и тихо и темно; / Замолкло навсегда оно. / 〈...〉 Хозяйки нет. / А где, бог весть. Пропал и след». Тема Ленского в связи с Цинциннатом отчетливо обозначена ниже, когда набоковский герой сравнивает себя с «поэтическим дуэлянтом». Тайком приводя в монолог героя пушкинскую метафору, автор противопоставляет нарисованную в «Евгении Онегине» картину смерти и ушедшего вместе с жизнью вдохновения как дома, оставленного хозяйкой, будущему пробуждению Цинцинната, развитию его поэтического дара, который и гарантирует ему бессмертие (если в первом случае

«хозяйки» больше «нет», то во втором — она «еще и не вставала», но вот-вот проснется).

С. 99. ...черные трупы удавленных слов, как висельники... вечерние очерки глаголей, воронье... — еще один пример иконичности алфавита, графически воссоздающей тему томления героя в неволе языка: в букве «глаголь» оживает вместе ее образ («Г» как виселица) и смысл — «слово», поэтический «глагол». Задушенные, «удавленные» слова не могут передать сокровенного знания героя. (Об этом: *J85.* P. 36.)

...и вот обрушил на меня свой деревянный молот исполинский резной медведь. — Богородская игрушка, представляющая собой фигурки кузнецов — медведя и мужика с молотами, которые они поочередно опускают. Впервые появляется в набоковском описании ярмарки на Вербной неделе в эссе «Смех и мечты» (1923). Затем возникает в рассказе «Занятой человек» (1931) и, так же как и в «Приглашении на казнь», попадает в контекст мыслей о смерти, которыми «занят» главный герой: «Между тем стихи... становились все игривее и простодушнее (ибо никто задним числом не должен был усмотреть в них предчувствия близкого конца), и эти легкие, деревянные стихи, ритм которых напоминал движение вербной штучки, медведя и мужика и в которых рифмовали "проталин" и "Сталин", — именно стихи, а не что-нибудь другое, оказывались наиболее ладной и вещественной стороной его бытия» (т. III наст. изд. С. 558) (См.: *С-Ш97.* С. 93). Следует также добавить, что упоминание медведя и молота — автоцитата, так как на той же странице романа тайно появляется сам герой «Занятого человека» — Граф Ит («догрызаюсь до графита») и, следовательно, знак тоталитарной эпохи (Сталин), вблизи которого возникает игрушка в рассказе, переходит и в роман.

С. 100. ...пишу я темно и вяло, как у Пушкина поэтический дуэлянт. — То есть как Ленский накануне дуэли с Онегиным (6, XXIII). В контексте первой скрытой аллюзии на Ленского (см. прим. к с. 98) эта самооценка как бы подвергается сомнению со стороны автора, теряет силу приговора.

С. 101. Тупое «тут», подпертое и запертое четою «твердо», темная тюрьма, в которую заключен неуемно воющий ужас, держит меня и теснит. — «Твердо» — название буквы «Т» в старом русском алфавите. Весь фрагмент со словом «тут», в котором высвечена графическая и фонетическая оболочка, — по мнению Д. Бартона Джонсона, — смысловое ядро «темницы языка», воссозданной в романе (*J85.* P. 38—39).

...сонный мир ⟨...⟩ синий... — А. Долинин возводит это словосочетание к блоковскому повторяющемуся мотиву «лазурного сновиденья», «синего сна» (Набоков и Блок // Тезисы докладов

научной конференции «А. Блок и русский постсимволизм». Тарту, 1991. С. 37).

Там, там — оригинал тех садов... — С. Давыдов и другие исследователи указывают на два подтекста этой фразы. Первый — стихотворение Бодлера «Приглашение к путешествию» (1854?) с его рефреном: «Там красота, там гармоничный строй, / там сладострастье, роскошь и покой». (Более очевидна эта аллюзия в английской версии, где одно из «там» заменено французским La-bas. Об этом: *Т86.* P. 68–69.) Второй — прозаическое переложение стихотворения Руперта Брука из набоковского эссе о нем. «Там — Лик, а мы здесь только призраки его. Там — верная беззакатная Звезда и Цветок, бледную тень которого любим мы на земле. Там нет ни единой слезы, а есть только Скорбь» (т. I наст. изд. С. 730). Как замечают А. Долинин и Р. Тименчик (*Д-Т89.* С. 509), «на той же анафоре строится и набоковский перевод стихотворения Брука “Царство Небесное” (1913), в котором люди, грезящие о потусторонности, иронически уподоблены рыбам, мечтающим об “иных водах”: “Там будет слизистее слизь, влажнее влага, тина гуще... Там проплывает Всемогущий... Там, под водою, в мухе жирной крючок зловещий не сокрыт... Там тина золотом горит, там ил прекрасный, ил пречистый... И там, куда все рыбьи грезы устремлены сквозь влажный свет, там, верят рыбы, суши нет...” (в оригинале анафора отсутствует)».

С. 102. ...шарю в воде, где ищу на песчаном дне мелькнувший блеск... — еще одна аллюзия на гностический символ души-жемчужины: в манихейском мифе дождевая капля падает в море, прячется в раковину устрицы и превращается в перл. Водолазы ныряют на морское дно и выносят жемчужину (*Д82.* С. 122).

...я, как кружка к фонтану, цепью прикован к этому столу... — Возможно, восходит к тютчевской метафоре фонтана — «водомета» «смертной мысли» («Фонтан», 1836), рвущейся в высоту, но ограниченной своей земной природой. Ср. также «вечный фонтан», который «орошает» статую капитана на с. 88 и строфу Тютчева: «Здесь фонтан неутомимый / День и ночь поет в углу / И кропит росой незримой / Очарованную мглу» («Как ни дышит полдень знойный...», 1850).

...холодном доме... — по-видимому, отсылка к названию романа «Холодный дом», которая подсвечивает диккенсовской традицией тему несчастного детства.

Хорошо же запомнился тот день! — Как полагает С. Давыдов, эта фраза и следующее за ней воспоминание Цинцинната о том, как он «прямо с подоконника сошел на... воздух» — отзвук стихотворения В. Ходасевича «Не матерью, но тульскою крестьянкой...» (1917, 1922), в котором есть следующие строки: «Лишь раз, когда упал я из окна, / Но встал живой (как помню этот

день я!)...» Звучащая в стихотворении тема сбережения «завещанного веками» «волшебного языка» угадывается в пристальном интересе Цинцинната к культуре прошлого.

С. 103. гичка. — Как явствует из английского перевода «Приглашения на казнь», это слово — набоковская имитация школьного жаргона, сокращенное «педагогичка» (*Д-Т89.* С. 509).

С. 104. бранденбург — (по названию немецкого города) нашивка на петлице из золотой или серебряной мишурной тесьмы; род украшения на петлях.

С. 107. Mali è trano t'amesti... — Г. Барабтарло увидел во фрагменте этой «квазиитальянской арии» анаграмму русской фразы «Смерть мила; это тайна», написанную латиницей. При этом диакритический знак над «е» обозначает «э», а апостроф указывает на мягкость «t» в слове «смерть». То, что фраза заключает в себе сокровенную истину, выдает испуг певца: «...осекся и посмотрел на брата, который сделал страшные глаза». (См.: G. Barabtarlo. «Aeriel View»: Essays on Nabokov's Art and Metaphysics. N. Y., 1993. P. 192–193.)

С. 108. ...друга муругого. — То есть полосатого: намек на траурную повязку на рукаве шурина и его кошачий облик.

С. 110. бридочка — (от *фр.* bride) завязка, лямка, бретелька.

С. 112. ...в Вышнеграде ⟨...⟩ плодовые сады ⟨...⟩ угощу вас нашими вышнями... — Обыгрывается мрачное слово «вышка», а также намечается комическая аллюзия на чеховский «Вишневый сад», которая будет поддержана в дальнейшем. См. также прим. к с. 134.

«я здесь перед вами стою в упоенье...» — по-видимому, парафраз строки романса, которую дважды напевает фатоватый персонаж чеховской «Чайки» доктор Дорн: «Я вновь пред тобою стою очарован...»

С. 114. ...и погулять, и пошалить... — парафраз «Евгения Онегина»: «и погулять и отдохнуть» (3, XLI).

С. 115. Это в детских сказках бегут из темницы. — Аллюзия на сказку Ю. Олеши «Три толстяка» — утопию для детей, пародируемую в романе. Центральная героиня сказки — маленькая танцовщица Суок, которая, притворяясь куклой, помогает бежать из темницы оружейнику Просперо, находит отражение в балерине Эммочке, обещающей спасти Цинцинната. Сказка Олеши была впервые опубликована в 1928 г. и сразу приобрела огромную популярность. Нашумевшее советское произведение могло быть известно Набокову в том числе и от автора иллюстраций Добужинского, у которого он в детстве учился рисованию и которому в 1926 г. посвятил стихотворение «Ut pictura poesis» (*Б98.* С. 121–122).

С. 116. ...подпись, как танец с покрывалом. — В английской версии «как танец с семью покрывалами», по наблюдению Г. Шапиро, —

аллюзия на «танец семи покрывал» из драмы О. Уайльда «Саломея» (1892) и на евангельский сюжет, к которому она восходит. Этот сюжет подсвечивает в романе тему Эммочки. Согласно Евангелию, падчерица иудейского царя Ирода Саломея (не называемая в Писании по имени) попросила у него в награду за свой танец голову Иоанна Крестителя. В соответствии с евангельским сюжетом, маленькая танцовщица содействует гибели героя: пообещав спасти, коварно приводит его на трапезу к отцу — своеобразной версии жестокого пира Ирода. Уайльдовская трактовка сюжета проступает в мотиве ревности к «толстой и старой» жене, отчасти объясняющей беззаботное Эммочкино коварство: декадентская Саломея мстит Иоанну Крестителю за неразделенную любовь. (Об этом: G. Shapiro. The Salome Motif in Naokov's «Invitation to a Beheading» // Nabokov Studies. 1996. № 3. P. 107–111.)

С. 117. Со стенами дело обстояло так: их было неизменно четыре; они были сплошь выкрашены в желтый цвет... основной тон казался темно-гладким... — Здесь прочитывается несколько аллюзий. Во-первых, вновь на пьесу Евреинова «Четвертая стена» (см. прим. к с. 56, 61). Во-вторых, возможно, на сонет Бодлера «На картину "Тассо в темнице" Эжена Делакруа» (1842?), к которому, по мнению А. Долинина, восходит центральная для романа тема «мира как тюрьмы»: «И этот запертый в дыре тлетворный гений, / Среди кружащихся, глумящихся видений, — / Мечтатель, ужасом разбуженный от сна, // Чей потрясенный ум безумью отдается, — / Вот образ той Души, что в мрак погружена / И в четырех стенах Действительности бьется» (перевод В. Левика). (См.: А. Долинин. Цветная спираль Набокова // Владимир Набоков. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. С. 466–467.) В-третьих, желтые стены Цинциннатовой камеры снова указывают на каморку Раскольникова и, еще более отчетливо, на воссоздающую эту каморку комнату Александра Дудкина из романа А. Белого «Петербург». Ср.: «Я называю тем пространством [имеется в виду мировое пространство. — *О. С.*] мое обиталище на Васильевском Острове: четыре перпендикулярных стены, оклеенных обоями темновато-желтого цвета...» (Андрей Белый. Петербург. М., 1981. С. 90). Как и в «Приглашении на казнь», тема плена и ужаса пространства у Белого является одной из центральных.

С. 118. ...слаб и глуп. — Еще один знак родства Цинцинната и Чернышевского: автор отмечает характерное сокращение в дневнике, изъятом у последнего при аресте: «слабь! глупь!» (слабость, глупость!) («Дар». С. 409).

С. 120. Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба. Там, где Цинциннат остановился, дубу шел третий век ⟨...⟩ автор чере-

дой разворачивал все те... события... коих дуб мог быть свидетелем; то это был диалог между воинами, сошедшими с коней... — Как заметила М. Гришакова, — аллюзия на роман Вирджинии Вулф «Орландо» (1828), герой которого пишет книгу под названием «Дуб». Орландо «связал свое сердце с дубом», три столетия проходят перед его глазами, а сам герой ничуть не меняется. Набоков, назвавший в письме З. Шаховской «Орландо» «образцом первоклассной пошлятины», здесь использует его для обнажения условности повествования с неподвижным и неизменным наблюдателем. Вместе с тем, подчеркивает исследовательница, сам «Дуб» в романе В. Вулф, пародирующем различные литературные штампы, «по-видимому, отсылает к огромному числу английских поучительных и исторических повествований о “старине” от имени столь мифогенного в английской культуре дерева, особенно в конце XIX — начале XX века. Например, описания в книге Изабеллы Берт “Воспоминания Дуба” очень напоминают “Quercus”»: «Мы засмотрелись на старый дуб, и сколько видений прежних дней проносится пред нашим мысленным взором. Прихотливые картины облика местности в те времена, когда это старое дерево было побегом... или воображение являет нам надменного, неотесанного барона и его полудиких слуг, разгоряченных погоней за лесным зверем ⟨...⟩ Века проходят ⟨...⟩ и новые поколения располагаются на отдых подле старого дуба...» (I. Burt. Memorials of the Oak Tree, with Notices of the Classical and Historical Associations Connected wit It. L., 1860. P. 69–70. Перевод наш. — *О. С.*).

изабелловый — (от *фр.* isabelle) буланый.

Был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на «п». — Здесь, вероятно, вклинивается пародия на модернистский роман «Петербург» с характерной для А. Белого семантизацией фонетики. Одна из глав романа называется «Пепп Пеппович Пепп» и представляет персонажа, созданного бредом Николая Аполлоновича.

С. 121. фриштык — (от *нем.* Frühstück) завтрак.

...повернувшись к стене, долго-долго помогал образоваться на ней рисункам... находил, например, крохотный профиль с большим мышьим ухом... — контаминация двух тем «Петербурга» — кошмара, который мучает Дудкина: «на коричневато-желтоватых обоях его обиталища от времени до времени появлялось призрачное лицо», и характерных деталей Аполлона Аполлоновича Аблеухова — колоссальных ушей, торчащих на его маленькой голове, а также мышиного мотива, сопровождающего сенатора: «мышиный халат... и огромные контуры совершенно мертвых ушей».

С. 122. Тит — сподвижник святого апостола Павла, адресат одного из его посланий.

Пуд — один из первохристиан, упоминается во Втором послании к Тимофею святого апостола Павла (4: 21).

Вечный Жид — персонаж западноевропейской средневековой легенды. За свое жестокосердие он приговорен к бессмертию и вынужден скитаться из века в век. Вечный жид с нетерпением ожидает конца света и второго пришествия Христа, который может снять с него проклятье, положить предел его земной, принудительной вечности. Появление его на страницах «Quercus»'а вместе с апостолами, по-видимому, подготавливает эсхатологический финал романа и намекает на грядущее освобождение узника. Наряду с бутафорским желудем, который упадет в камеру Цинцинната, и бабочкой, принесенной Родионом, оно может быть интерпретировано как один из тайных знаков, подаваемых автором герою (ср. следующий за этой сценой вопрос Цинцинната: «Неужели никто не спасет?»). Вместе с тем Набоков обыгрывает здесь мировую литературную традицию, в которой Вечный жид, подобно Вечному дубу, предстает свидетелем многовековой череды исторических событий, неким совершенным наблюдателем, в чьих глазах читается летопись веков. Сам Сирин в ранней драме «Агасфер» (1923) переосмысляет образ Вечного жида как образ творца, преодолевающего время и историю. (См. об этом: O. Skonechnaia. Le Juif errant chez Nabokov. Trad. Gerard Abensour // Slovo. Paris. 1999. № 22–23. P. 136–137.)

С. 126. ...если меня угощают такой ловкой пародией на мать... — Герой «Рассказа о семи повешенных» во время свидания с матерью думал: «Господи! Да ведь это же кукла. Кукла матери» (Л. Андреев. Указ. соч. С. 336).

Только голос, — лица не видала 〈...〉 — *...я думаю, мы его сделаем* 〈...〉 *плотником...* — По мнению Г. Шапиро, судьба Цинцинната может быть соотнесена «с нередко сниженными» мотивами из жизни Христа. Так, в обстоятельствах появления героя на свет усматривается пародирование сюжета непорочного зачатия. Вместе с тем здесь обыгрывается тема отцовства Иосифа-плотника (Г. Шапиро. Христианские мотивы, их иконография и символика, в романе Владимира Набокова «Приглашение на казнь» // Russian Literature Journal. XXXIII. № 116 (1979). P. 144–145).

С. 130. ...нес ...полишинеля под мышкой... — 〈...〉 *Ну, сиди прямо, тезка.* — Полишинель — (от *um.* Пульчинелла) французское название комического персонажа народного кукольного театра. В русском кукольном действе ему соответствует Петрушка. Поэтому м-сье Пьер называет Полишинеля тезкой. С. Сендерович и Е. Шварц выводят происхождение слова «м-сье» из петрушечной комедии. В лубочных книжках о Петрушке, которые издавались с 1880-х и до революции 1917 г., герой непременно называл себя, как и его называли, «мусье» или «мусью»: «Петрушка. Я мусье фон-

гер — Петрушка, вас забавлю, попотешу, да и с праздником поздравлю ⟨...⟩ Цыган. Мусье Петрушка, здравствуй!» (Петрушка, 1885). (Цит. по: *С-Ш97.* С. 100.) Многие портретные детали Пьера напоминают Петрушку — короткие ножки, смешной поклон, тонкий голос. Вместе с тем реплика героя вновь отсылает к пьесе «Самое главное» и опять соединяет набоковского персонажа с евреиновским Параклетом, призывающим одеться «клоунами, паяцами, полишинелями» и «отдаться в руки» детям «как живые игрушки». Подобно Пьеру, нанятый Параклетом Комик призван развлекать, болтать, рассказывать анекдоты, «и в горестях утешить, и в шахматы побаловаться». В набоковском романе евреиновский веселый мир театральных иллюзий превращается в тоталитарную фантасмагорию, где насильственное всеобщее счастье насаждается настоящими «живыми игрушками», куклами, клоунами, а главный иллюзионист-утешитель становится палачом.

...или каким-нибудь чудаковатым орудием... — Автор намекает на черепок от разбившегося кувшина, а затем на железную ручку от кастрюли, которыми герой Дюма Эдмон Дантес методично скреб стену своей темницы, пытаясь ее разрушить. (Аллюзия на «Графа Монте-Кристо» приводится у Л. Токер (указ. соч. С. 126) и других исследователей.)

С. 132. приап — в античной мифологии итифаллическое божество производительных сил природы (изначально собственно фаллос). Часто изображается как старичок с фаллообразной головой, который одной рукой поддерживает корзинку с овощами, фруктами и зеленью, а другой — фаллос.

С. 133. ...свои тонкокожие, обезьяньи уши, которые ты прячешь под прядями чудных женских волос... — проекция на неверную Марфиньку Ольги Сократовны, легкомысленной супруги Чернышевского, «гладко причесанной, с открытыми ушами, слишком для нее большими» (*Б98.* С. 119).

...и связали бы мне фаршик. — Значимая садистская оговорка («фаршик» вместо «шарфик»), намекающая на предстоящую «рубку».

С. 134. ...из многочисленных соблазнов жизни, которые, как бы играя, но вместе с тем очень серьезно, собираюсь постепенно представить вашему вниманию... — Как замечает Н. Букс (*Б98.* С. 186) — пародийное отражение речей Мефистофеля. На гётевского беса намекает и происхождение Пьера — он послан кем-то неизвестным из Вышнеграда и является к Цинциннату в обманном качестве «наперсника, товарища». По мнению С. Сендеровича и Е. Шварц, классический сюжет подается в романе сквозь призму «Четвертой стены» Евреинова, где главная роль навязывается персонажу-актеру. Цинцинната также заставляют играть роль

Фауста, которой он в конечном итоге не принимает, не желая соблазняться радостями и надеждой здешней жизни.

С. 135. ...в шахматы вы не умеете... — Сцена игры в шахматы отсылает к гравюре немецкого художника Фридриха Августа Морица Ретцша (Retzsch, 1779—1857), известного в первую очередь своими иллюстрациями к Гёте и Шиллеру. Гравюра Ретцша написана на сюжет средневековой аллегории: сатана играет с рыцарем в шахматы. В отличие от Набокова, у Ретцша перевес на стороне дьявола, которому вот-вот достанется душа противника. Ср. также заочную партию Лужина—Фауста с Валентиновым—Мефистофелем в «Защите Лужина» (т. II наст. изд.).

С. 136. Почему от вас так пахнет? — Намек на слугу Чичикова (подобно Мефистофелю, «адского коммивояжера», по выражению Набокова) Петрушку, который «имел обыкновение... носить всегда с собою какой-то особенный воздух».

С. 138. ...явился м-сье Пьер, в парчовой тюбетейке... пышно раскурив длинную пенковую трубку с резным подобием пэри... — аллюзия на Чичикова в заключительной главе второго тома «Мертвых душ» (ранняя редакция), изображенного надевшим «на голову ярмолку, вышитую золотом и бусами... как персидский шах, исполненный достоинства и величия» (Г. Шапиро. Реминисценции из «Мертвых душ» в «Приглашении на казнь». С. 176).

пэри — (пери) один из духов иранской мифологии, часто предстающий в европейской литературе в облике обольстительной женщины.

С. 139. ...одетые первой клейкой листвой ⟨...⟩ первые скромные листочки. — Пародия на гимн жизни, звучащий в устах Ивана в «Братьях Карамазовых» (часть 1, кн. 5, гл. 3): «...но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки ⟨...⟩ Клейкие весенние листочки... вот что!»

С. 140. «О, вернись, вернись; дай мне еще раз пережить тебя...» — намек на знаменитый возглас Фауста: «Мгновенье, прекрасно ты, продлись, постой!» (перевод Н. Холодковского).

С. 141. Молчу, молчу... — Эту реплику произносят чеховские персонажи Войницкий в «Дяде Ване» и дважды — Гаев в «Вишневом саде» (*Ш81.* P. 375).

Царства ему предлагаешь... Мне ведь нужно так мало, — одно словцо, кивок. — Как считает Г. Шапиро, аллюзия на третье искушение Христа дьяволом: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если падши поклонишься мне» (Матфей. 4: 8—9). (Христианские мотивы, их иконография и символика, в романе Владимира Набокова «Приглашение на казнь». С. 149.)

Может быть: просто каменщики. — Характеристика их невидимого орудия, состоящего «из амальгамы негоднейшего вещества и всесильной человеческой воли», делает этих «просто каменщиков» вольными каменщиками. Ложные спасители вплетаются в прихотливый узор темы заговора, одной из метафор которого у Набокова часто выступает масонство. Заговорщиками же в «Приглашении на казнь» становятся все: как представители тюремного мира, оплетающие Цинцинната паутиной обманных земных угроз и надежд, так и сам Цинциннат — «собственный сообщник» или сообщник кого-то свыше, посылающего ему тайные и подлинные знаки будущей свободы.

С. 144. ...из черной дыры... вылез, с киркой в руке... м-сье Пьер... — Возможно, этот эпизод восходит к кошмару А. Белого, описанному в «Записках чудака»: «...смутно чудилось мне: Казимир Кузьмич Пепп вел подкоп под меня; понял я: будет день; и — взлетит моя комната; стены развалятся; бреши и дыры проступят отчетливо; в дыры войдут "Казимир Кузьмичи" из подземного мира» (Андрей Белый. Записки чудака. Т. 2. М., Берлин, 1922. С. 179). Эпизод находит отражение в «Петербурге», где Казимир Кузьмич обращается в Пеппа Пепповича Пеппа — мучительный бред Николая Аполлоновича, материализующийся в «шаровидного» толстяка. Инициалы героя и вырастающий из них его пухлый, круглый облик напоминают имя и внешность набоковского палача. Отметим и то, что именно в этой главе м-сье Пьера впервые представляют как Петра Петровича и в ней же впервые показывается содержимое рокового футляра. В главе «Пепп Пеппович Пепп» Николай Аполлонович также в первый раз постигает «ужасное содержание» смертоносной «сардинницы».

...воспользоваться этим превосходным туннелем... — пародийное развитие сюжета Дюма: узникам замка Иф удается проделать тайный ход, и Дантес в конце концов оказывается в соседней камере аббата Фариа.

С. 145. Одеяло, сшитое из разноцветных ромбов... — напоминание о костюме Арлекина — одной из личин Параклета в «Самом главном». Пьер в романе надевает и другие маски комедии дель арте: Пьеро (ср. его «меловое лицо»), Доктора («задержал... пальцы Цинцинната, как задерживает пожатие пожилой ласковый доктор»).

С. 146. ...невеста прозрачна для взгляда опытного жениха. — Пьер примеряет на Цинцинната роль Невесты — еще одного традиционного персонажа комедии дель арте, равно как и петрушечного балагана. Эта роль в романе также разыгрывается Марфинькой в период цинциннатовского жениховства и Эммочкой, невестой Пьера в составленном им фотогороскопе.

С. 149. венецианская ярь — сине-зеленая краска, очищенная ярь-медянка.

Каникулам конец... — По наблюдению Г. Шапиро, казнь Цинцинната приурочена к концу лета, что вновь связывает судьбу героя с судьбой Иоанна Крестителя, обезглавленного 29 августа в соответствии с христианским календарем (The Salome Motif in Nabokov's «Invitation to a Beheading». P. 102).

С. 150. антимакассар — накидка на сиденье или спинку кресла.

С. 154. ...перед самым таинством. — Аллюзия на статью В. А. Жуковского «О смертной казни» (1849), призывающего дать «этому совершению характер таинства». В «Даре» Годунов-Чердынцев говорит о «гнусноблагостном и подловеличественном предложении поэта Жуковского окружать смертную казнь мистической таинственностью».

С. 157. гектографировать — размножить на гектографе, упрощенном печатном приборе.

С. 158. ...эти томики... по-арабски, что ли... — По мнению С. Давыдова (*Д82.* С. 131), — древние гностические книги, служащие одним из тайных знаков, подаваемых избранному.

...надвинул куколь. — Этот ритуальный убор, возможно, восходит к эпизоду «Американских записок» (1842) Диккенса, где автор рассказывает о тюрьме города Филадельфии, которую он посетил во время одной из своих поездок в США: «Поверх головы и лица каждого заключенного, поступающего в этот дом скорби, надевается черный куколь; и в этом покрывале, символизирующем завесу между ним и внешним миром, его ведут в камеру, из которой он никогда уже не выйдет вплоть до окончания срока заключения» (Цит. по: Г. Шапиро. Отголоски «Тюремных досугов» Набокова в «Приглашении на казнь» // Vladimir Nabokov-Sirine: Les annees européennes. 1999. № 5. P. 72–73). Об «Американских записках» Диккенса упоминает В. Д. Набоков в своих «Тюремных досугах» (1908) — как полагает Шапиро, одном из претекстов романа.

С. 159. ...вдруг явился театрально освещенный подъезд с белесыми колоннами... лаврами в кадках... — как считает Н. Букс (*Б98.* С. 123), отражение утопического мира из романа «Что делать?». В четвертом сне Веры Павловны рисуется «хрустальный дом» с «белыми колоннами» и «южными деревьями», где обедают счастливые люди будущего.

Тут были все 〈...〉 Тут выделялся 〈...〉 тут вспыхивал 〈...〉 тут находился... — воспроизведение анафоры, обрамляющей описание светского раута в восьмой главе (XXIV–XXVI) «Евгения Онегина»: «Тут был, однако, цвет столицы, / И знать, и моды образцы, / Везде встречаемые лица, / Необходимые глупцы; / Тут были дамы пожилые / В чепцах и в розах, с виду злые; / Тут было несколько

девиц, / Не улыбающихся лиц; / Тут был посланник, говоривший / О государственных делах...» и т. д.

С. 160. ...с белой розой, отличительно от других украшавшей его прибор. — Аллюзия на Христа, символом непорочности которого является белая роза (Г. Шапиро. Христианские мотивы, их иконография и символика, в романе Владимира Набокова «Приглашение на казнь». С. 146).

С. 161. ...лез большим серым ухом... — еще одна отсылка к портрету сенатора из «Петербурга» А. Белого.

С. 166. ...строки старых, старых стихов, — о, как на склоне... и суеверней!.. — Имеется в виду стихотворение Ф. И. Тютчева «Последняя любовь» (1854?): «О, как на склоне наших лет / Нежней мы любим и суеверней...»

С. 166–167. ...неистовый отказ выпустить игрушку... все-таки смотрите, куклы, как я боюсь... — возможно, аллюзия на Платона: «Человек — это какая-то выдуманная игрушка Бога 〈...〉 Люди в большей своей части куклы и лишь немного причастны истине» (Законы. 803:с).

С. 167. Сохраните эти листы... последнее желание, — нельзя не исполнить. — Как указывает А. Долинин, — аллюзия на стихотворение Пушкина «Андрей Шенье», в котором описывается последняя ночь поэта накануне казни: «Исполните мое последнее желанье 〈...〉 Храните рукопись, о други, для себя!..» (*Д97.* Р. 45).

С. 169. ватерпруф — (*англ.* waterproof) плащ, непромокаемое пальто.

С. 170. ...на мне предлагает жениться 〈...〉 пугало рваное... — намек на связь Марфиньки с очередным «приапом», деревянные изваяния которого воздвигались в античности в садах и огородах, которые, как считалось, он охранял от воров и вредителей.

...взял одну из этих слез... — просто капля комнатной воды. — Ср. в «Рассказе о семи повешенных»: «...и стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода» (Л. Андреев. Указ. соч. С. 336–337).

С. 173. Это была просто ночная бабочка, — но какая! — величиной с мужскую ладонь, с... крыльями, каждое из коих было посредине украшено круглым, стального отлива, пятном в виде ока. — Как замечает Г. Барабтарло, Набоков рисует здесь бабочку «Павлиний глаз» (Saturnia pavlini), самую большую европейскую ночницу (Г. Барабтарло. Очерк особенностей устройства двигателя в «Приглашении на казнь» // *Н97.* С. 447). Исследователи (В. Александров, Г. Барабтарло и др.) указывают на связь этого образа с бабочкой — откровенным символом бессмертной души из рассказа «Рождество» (1925). Вместе с тем мотив бабочки в тюремной камере, по-видимому, восходит к стихотворению Жуковского «Узник к мотыльку, влетевшему в его темницу» (1813): «Откуда

ты, эфира житель 〈...〉 Увы! Убитая тоской / Душа весь мир в тебе узрела, / Надежда ясная влетела / В темницу к узнику с тобой».

С. 175. ...я бы начал с азов... — По наблюдениям Д. Бартона Джонсона (*J85.* P. 40), здесь обыгрывается двойная роль церковнославянского «аза» как первой буквы алфавита и как местоимения первого лица. Цинциннат, используя известный фразеологизм — «начать с азов», то есть с самого начала, вместе с тем говорит и о том, что, будь у него возможность, он сумел бы высказать свое сокровенное «я», потому что он — единственный, кто владеет истиной. Таким образом, герой проходит путь от «ижицы» (гл. 2) до «аза» (гл. 19) и накануне смерти оказывается на пороге обретения своего «я», выхода из «темницы языка», начала своей подлинной жизни.

С. 177. ...я прошу три минуты, — уйдите на это время... — Г. Шапиро возводит просьбу Цинцинната к последнему желанию Людовика XVI и указывает на комический отголосок этого эпизода в рассказе «Подлец» (1930): «Антон Петрович... вдруг топнул ногой, как топнул Людовик, когда сказали ему, что пора ехать на эшафот» (G. Shapiro. Cincinnatus as Solus Rex // Nabokovian. 1984. № 33. P. 23–24). По мнению А. Долинина (*Д97.* P. 45), источник обоих фрагментов — любимая Набоковым книга Томаса Карлейля о Французской революции: «В девять часов Сантер говорит: “Пора”. Король просит позволения удалиться еще на три минуты. По прошествии трех минут Сантер повторяет, что пора. Топнув правой ногой об пол, Людовик отвечает: “Partons” [Едем]» (Т. Карлейль. Французская революция. История. М., 1991. С. 428).

...после чего, так и быть, доиграю с вами эту вздорную пьесу. — Цинциннат здесь как бы отвечает на реплику Директора в финале «Самого главного»: «Самое главное — это вовремя окончить пьесу». Ср. также реплику одной из героинь: «Стало быть, по-вашему, если в пьесе сказано, что “отрубает ей голову”, вы и в самом деле мне голову отрубите?» (Н. Евреинов. Самое главное. Ревель, 1921. С. 40).

С. 178. Есть для тебя, Родька, работа 〈...〉 Родригу в дверь подали метлу, и он принялся за дело. — Ср. в «Самом главном»: «Режиссер: “Подмести сцену!” 〈...〉 Входит рабочий с метлой» (С. 41).

С. 181. Мнимый сумасшедший, старичок из евреев, вот уже много лет удивший несуществующую рыбу в безводной реке, складывал свои манатки, торопясь присоединиться к первой же кучке горожан, устремившихся на Интересную площадь. — За пародийным эхом евангельского сюжета о призвании Христом апостола Петра «ловить человеков» кроется намек на блоковский отзвук темы, прозвучавший в лирической драме «Король на площади» (1906), где действует Шут, «представитель здравого смысла»,

который «садится верхом на рампу и закидывает удочку в оркестр», а затем «держит путь в толпе». (Тот же Шут с удочкой — герой Диалога «О любви, поэзии и государственной службе», 1906.) Картину блоковской драмы воссоздают также другие персонажи и детали города накануне казни: «жирная цветочница» (у Блока — продавщица роз), «девушки», скупающие у нее все цветы (у Блока — «девушка», покупающая розы), «франты на блестящих часиках» (у Блока — «франты»), бегущие «красные и синие мальчишки» и «красноватая пыль» (у Блока — снующие в пыли «красные слухи» и «дымный красноватый свет»), наконец, проходящий через весь роман «стук», вначале производимый невидимыми «каменщиками» — обманными спасителями, затем рабочими, возводящими эшафот (у Блока — «стук топоров со стороны моря», воздвигающих сооружения для встречи кораблей, которые должны принести городу счастье и свободу или гибель). Блоковский подтекст вновь подготавливает эсхатологический финал романа, указывая симптомы конца света: агонию обывательского здравомыслия, волнение масс на городской площади, общее ощущение призрачности бытия.

С. 182. Марфинька, сидя в ветвях бесплодной яблони... — развитие приапических мотивов, связанных с образом Марфиньки, которая выступает здесь сама, подобно античному богу плодородия, в роли садового пугала (см. прим. к с. 170). Возможно также, что Набоков связывает любвеобильную Марфиньку с героиней одной из приапей — стихотворений, вошедших в сборник «Carmina Priapea» (I в. до н. э. — I в. н. э.) анонимного латинского поэта, — неплодной (как и брак Марфиньки с Цинциннатом) яблоней, которая рассказывает поселянину, что угнетает ее не старость, не холод, не дожди, а тяжелые вирши никудышного поэта (Carmina Priapea: LXI).

С. 183. От статуи капитана Сонного оставались только ноги до бедер, окруженные розами... — комическое развитие блоковской темы неумолимого Времени: шаги Командора застывают в его каменных ногах (см. также прим. к с. 87—88, 97). Вместе с тем здесь, по-видимому, откликается и другой блоковский «каменный истукан» — дремлющий Король — символ Власти города, разбитый в финале «Короля на площади»: «Ясно видно, как в красном свете факелов люди рыщут внизу... поднимают... каменный осколок торса, каменную руку». Добавим, что «розы» — важный лейтмотив драмы, амбивалентный знак «душного» земного уюта и небесного совершенства.

С. 185. ...опера-фарс «Сократись, Сократик». — Как замечает Н. Букс (*Б98*. С. 122), название оперы обыгрывает отчество жены Чернышевского, Ольги Сократовны, а также пародирует «манеру логических рассуждений Чернышевского “в духе тезки его тестя”».

Гибель Сократа, Чернышевского, Цинцинната в контексте «Приглашения на казнь» и «Дара» образуют, по словам исследовательницы, общий пародийный ряд. По мнению А. Долинина (*Д97.* Р. 48), упоминание «оперы-фарса» отсылает к эпизоду «Замогильных записок» (опубл. 1848–1850) Ф. Р. де Шатобриана: «...В “Ле Монитер” от 21 января 1793 г. я прочел слова, которые следовали за описанием казни Людовика XVI: “Через два часа после экзекуции ничто в Париже уже не напоминало о том, что тот, кто некогда был главой нации, был казнен как преступник”. И далее было помещено объявление: “Амбруаз, комическая опера”» (Châteaubriand. Memoires d'outretombe. Paris, 1951. P. 878. Перевод наш. — *О. С.*).

С. 186. ...все подавались куда-то, шарахаясь 〈...〉 *Помост давно рухнул в облаке красноватой пыли* 〈...〉 *деревья... едва держались ветвями за рвущиеся сетки неба. Все расползалось. Все падало* 〈...〉 *и Цинциннат пошел среди пыли, и падших вещей, и трепетавших полотен...* — Исследователи усматривают в этой сцене как отзвук собственно апокалиптической катастрофы (Г. Шапиро, С. Давыдов и др.), так и одной из ее декадентско-символистских версий (А. Долинин соотносит концовку романа с заключительной сценой «Балаганчика», где лопается «нарисованная на бумаге» даль, «декорации взвиваются и улетают вверх», «все бросаются в ужасе в разные стороны», «маски разбегаются», и Пьеро остается один на пустой сцене. «Набоков и Блок». С. 37).

О. Сконечная

ДАР

Впервые (главы 1–3 и 5): Современные записки. 1937–1938. Кн. LXIII (С. 5–87); Кн. LXIV (С. 98–150); Кн. LXV (С. 5–70); Кн. LXVI (С. 5–42); Кн. LXVII (С. 69–146). В кн. LXVII после заголовка «Глава 4» напечатаны две строки точек с редакционным примечанием: «Глава 4-ая, целиком состоящая из “Жизни Чернышевского”, написанной героем романа, пропущена с согласия автора» (С. 69). Публикации главы воспрепятствовали редакторы журнала, и прежде всего М. В. Вишняк, который счел ее недопустимым пасквилем на Чернышевского. «По мнению редакции, — писал он в своих мемуарах, — жизнь Чернышевского изображалась в романе со столь натуралистическими — или физиологическими — подробностями, что художественность изображения становилась сомнительной. Уступив настояниям редакции, автор внутренне с ней остался не согласен...» (М. В. Вишняк. «Современные записки». Воспоминания редактора. СПб., 1993. С. 180).

Полностью роман был опубликован отдельной книгой в нью-йоркском «Издательстве имени Чехова» в 1952 г. Второе, исправленное автором издание вышло в издательстве «Ардис» (Анн Арбор) в 1975 г. Роман печатается по этому изданию. Сверка с журнальной публикацией, проведенная М. Маликовой, выявила минимальные разночтения, которые отмечены в примечаниях.

Критические отзывы современников о романе немногочисленны и в основном ограничиваются газетными обзорами текущих номеров «Современных записок». В. Ходасевич отмечал огромную образную и стилистическую насыщенность романа, высочайший уровень его художественной культуры, который «в равной степени чужд и советской словесности, переживающей в некотором роде пещерный период... и словесности эмигрантской, подменившей традицию эпигонством и боящейся новизны пуще сквозняков» (Возрождение. 15 мая 1937). Во второй главе его восхитил рассказ об отце героя, сделанный «с замечательной живостью и с такой богатой изобретательностью по части развертывания сюжета, что могло бы служить любопытнейшим материалом для исследования современной прозы» (Возрождение. 15 октября 1937); в третьей — он обратил особое внимание на рассказ о том, как герой работал над биографией Чернышевского, где «под видом озорной шутки сказаны очень важные и печальные вещи», и предсказал автору много плохого: «Все выученики и почитатели прогрессивной полиции умов, надзиравшей за русской литературой с сороковых годов прошлого века, должны взбеситься. Их засилье не совсем еще миновало, и над автором “Дара” они взовьются теперь классическим “журнальным роем” слепней и комаров» (Возрождение. 24 июня 1938). Окончательную оценку «Дара» Ходасевич предполагал дать в «особой статье», когда роман «появится в отдельном издании, без сокращений» (Возрождение. 11 ноября 1938), но этому не суждено было случиться.

Первые отзывы Г. Адамовича, постоянного оппонента Ходасевича и Набокова, были беглыми, но комплиментарными. После публикации второй главы романа критик писал: «...восхитительный по мастерству, своеобразию и одушевлению, рассказ об отце героя, не менее восхитительные строки о Пушкине заслуживают того, чтобы, так сказать, les saluer au passage[1]. Газданов, например, тоже очень даровитый стилист. Но здесь, у Сирина, совсем не то. Здесь удивляет и пленяет не стиль, не умение прекрасно писать о чем угодно, а слияние автора с предметом, способность высечь огонь отовсюду, дар найти свою, ничью другую, а именно свою тему, и как-то так ее вывернуть, обглодать, выжать, что, кажется,

[1] Мимоходом отдать им дань восхищения *(фр.)*.

больше ничего из нее уж и извлечь невозможно» (Последние новости. 7 октября 1937). Однако, узнав себя в Мортусе, появившемся в третьей главе «Дара», обиженный Адамович резко сменил тон. В очередном обзоре «Современных записок» он упомянул роман лишь в одной, последней фразе: «“Дар” Сирина длится — и сквозь читательский, не магический “кристалл” еще не видно, куда и к чему его клонит» (Последние новости. 20 января 1938). По этому поводу Ходасевич написал Набокову 25 января 1938 г.: «Мортус, как Вы, конечно, заметили, озверел, но это полезно» (Из переписки В. Ф. Ходасевича (1925–1938) / Публикация Джона Мальмстада // Минувшее. Вып. 3. Paris, 1987. С. 281). Столь же лаконичным был и отзыв о следующей части романа, хотя Адамович признал, что «Сирин романист слишком талантливый, чтобы досада довольно быстро не сменилась удовлетворением от остроты и выразительности его письма» (Последние новости. 2 июня 1938). Наконец, по завершении публикации «Дара», критик особо отозвался о включенных в пятую главу пародиях на критические рецензии (и в том числе его собственные). «Пародия, — писал он, — самый легкий литературный жанр, и будем беспристрастны: Сирину его “рецензии” удались. Если все же эти страницы “Дара” как-то неловко и досадно читать, то потому главным образом, что они не только портретны, но и автопортретны: ясно, что Линев — это такой-то, Христофор Мортус — такой-то, но еще яснее и несомненнее, что Годунов-Чердынцев — это сам Сирин!.. Ограниченные критики отзываются о Годунове отрицательно, прозорливые и понимающие — положительно: рецепт до крайности элементарен. Некоторые, самые проницательные, утверждают даже, что “за рубежом вряд ли наберется десяток людей, способных оценить огонь и прелесть этого сказочно-остроумного сочинения”. Насчет остроумия можно согласиться, хоть и отбросив “сказочность”. Сирин действительно исключительно остроумный писатель, остроумный не в смысле зубоскальства или насмешливости, сказавшихся в пародии, а в смысле умения делать из неожиданных наблюдений самые непредвиденные выводы. Остроумно всякое его сравнение, всякое описание. Но остроумие и ум — вовсе не то же самое: порой даже они друг друга исключают. ⟨...⟩ Все эти замечания ничуть не изменяют, конечно, отношения к автору “Дара” как к художнику. О его блестящих данных, о его удивительной самостоятельности мне приходилось писать не раз. В напечатанном отрывке романа — много страниц, укрепляющих установившееся мнение; например, сцена в лесу. Писателя, как, впрочем, и всякого человека, следует брать таким, как он есть. А Сирин, каковы бы ни были его недостатки, в нашей новой литературе все-таки один, и было бы глупо и мелочно поддаваться случайному раздражению, как в иных случаях

глупо и мелочно поддаваться лести» (Последние новости. 10 ноября 1938).

В 1963 г. вышел в свет английский перевод романа: V. Nabokov. The Gift / Translated by M. Scammel and V. Nabokov. N. Y., 1963. В предисловии к нему Набоков предостерег читателей от отождествления героя «Дара» с его автором, заявив, что узнает самого себя скорее в поэте Кончееве и прозаике Владимирове, нежели в Федоре Годунове-Чердынцеве. Героиней романа писатель назвал не Зину Мерц, а русскую литературу и охарактеризовал его композицию следующим образом: «Сюжет первой главы сосредоточен на стихах Федора. Глава вторая — это прорыв к Пушкину в литературном развитии Федора, и в нее включена его попытка описать зоологические исследования его отца. Третья глава сдвигается в сторону Гоголя, но ее истинным ядром являются любовные стихи, посвященные Зине. Книга Федора о Чернышевском, спираль, заключенная в сонете, берет на себя главу четвертую. Последняя глава соединяет все предшествующие темы и содержит эскиз книги, которую Федор мечтает когда-нибудь написать, то есть “Дара”. Мне было бы интересно знать, насколько далеко воображение читателя последует за молодыми возлюбленными после того, как я даю им вольную» (перевод наш. — *А. Д.*).

Заглавие романа полемически обращено к самому скептическому стихотворению Пушкина: «Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана? / Иль зачем судьбою тайной / Ты на казнь осуждена?..» (1828). Этот подтекст раскрывается в финале так называемого «Второго дополнения к “Дару”» — эссе Федора о естественнонаучных теориях его отца, которое Набоков намеревался включить в отдельное издание романа, — где Константин Кириллович Годунов-Чердынцев говорит какому-то собеседнику: «Да, конечно, напрасно сказал: *случайный* и случайно сказал *напрасный*, я тут заодно с духовенством, тем более что для всех растений и животных, с которыми мне приходилось сталкиваться, это безусловный и настоящий...» (цит. по: А. Долинин. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // *Н97.* С. 698. Прим. 1). Аллюзия на стихотворение митрополита Филарета «Не напрасно, не случайно / Жизнь от Бога мне дана...», написанное в ответ Пушкину, раскрывает оптимистический смысл заглавия, хотя набоковская идея жизни как дара далека от христианской. Как писал сам В. Набоков З. Шаховской в марте 1936 года, сообщая ей о решении прибавить к первоначальному заглавию романа «Да!» одну букву, «утверждение» тем самым превратилось «в нечто цветущее, языческое, даже приапическое!» (*LCNA.* Box 16. № 19). Из многих других литературных параллелей к заглавию следует указать и на стихотворение В. Ходасевича: «Горит звезда, дрожит

эфир, / Таится ночь в пролеты арок, / Как не любить весь этот мир, / Невероятный твой подарок? // Ты дал мне пять неверных чувств, / Ты дал мне время и пространство, / Играет в мареве искусств / Моей души непостоянство. // И я творю из ничего / Твои моря, пустыни, горы, / Всю славу солнца Твоего, / Так ослепляющего взоры. // И разрушаю вдруг шутя / Всю эту пышную нелепость, / Так рушит малое дитя / Из карт построенную крепость» (1921).

Имя и двойная фамилия главного героя «Дара» имеют сложную ассоциативную ауру. Имя Федор, которое в переводе с древнегреческого означает «дар Бога», синонимично заглавию романа и содержит его фонетический отголосок. Вместе с боярско-царской фамилией Годунов, отсылающей прежде всего к упомянутой в тексте трагедии Пушкина, оно намекает на то, что в главном герое «Дара» следует видеть «царевича», любимого «царского сына» (напомним, что исторический Федор Годунов был сыном царя Бориса), но, конечно, не в прямом, а в переносном смысле, поскольку для Набокова «царь» или «король» — это прежде всего фигуральные титулы художника, творца, провидца (ср. в стихотворении Пушкина «Поэту» (1830): «Ты царь: живи один»). Зная пристрастие Набокова к игре с иноязычной лексикой, нельзя не отметить и присутствие в фамилии Годунов английского God — «Бог».

Вторая фамилия героя, по замыслу Набокова, должна была принадлежать какому-нибудь старинному угасшему роду, и он обратился к знатоку российской истории и словесности Н. Яковлеву, его старому знакомому по берлинским литературным кружкам, который к тому времени переехал в Ригу, с просьбой помочь ему в поисках. Как уточнил Набоков, ему требуется реальная фамилия, которая содержала бы шипящую согласную и состояла из трех слогов, по возможности с амфибрахическим ударением. 18 и 27 января 1934 года Яковлев послал Набокову два небольших списка, сделанных по «Российскому гербовнику» Бобринского и «Родословной книге» Долгорукова (*BCNA*. Box 2, folder 122, shoebox). В первом из них Набоков и нашел фамилию Чердынцев (происходящую, по замечанию Яковлева, не от имени, а от названия города Чердынь), которая полностью удовлетворила его условиям. Из списков, составленных Яковлевым, Набоков позаимствовал, кроме того, фамилии Сухощеков и Кончеев, которые он дал двум персонажам романа.

В примечаниях учтены сведения, содержащиеся в работах В. Александрова, Д. Бартона Джонсона, С. Давыдова, С. Карлинского, Ю. Левина, И. Паперно, П. Тамми и нескольких других исследователей, а также в следующих комментированных изданиях «Дара»: В. Набоков. Собрание сочинений в 4 т. М.: Правда,

1990. Т. 3 (комментарий О. Дарка); В. Набоков. Избранное. М.: Радуга, 1990 (комментарий А. Долинина); V. Nabokov. Gesammelte Werke / Herausgegeben von Dieter E. Zimmer. Deutsch von Annelore Engel-Braunschmidt. Hamburg: Rowohlt, 1993. Band V (комментарий Аннелоре Энгель-Брауншмидт и Дитера Циммера). Пояснения из области энтомологии основаны на справочных указателях Д. Циммера в каталоге: Les Papillons de Nabokov / Catalogue de l'exposition. 26 november 1993 — 29 janvier 1994. Lausanne, 1993.

Памяти моей матери — посвящение памяти Елены Ивановны Набоковой (урожд. Рукавишникова, 1876—1939) дано роману в отдельном издании 1952 г. Английский перевод «Дара» посвящен В. Е. Набоковой.

Дуб — дерево. ⟨...⟩ *Смерть неизбежна.* — Эпиграф точно воспроизводит полный текст упражнения для разбора из гимназического «Учебника русской грамматики» (Изд. 17-е. М., 1903. С. 78) Петра Владимировича Смирновского (1846—1904).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

С. 191. ...первого апреля 192... года... — Сокрытие даты здесь носит игровой характер, так как многочисленные хронологические указания в тексте позволяют установить, что действие романа начинается 1 апреля (по новому стилю) 1926 г., а заканчивается 29 июня 1929 г. Этими же числами впоследствии датировал начало и конец романа сам Набоков (см.: The Stories of Vladimir Nabokov. N. Y., 1995. P. 649). Следует отметить, однако, что внутренний календарь «Дара» далеко не всегда совпадает с календарем реальным. Многие упоминания об исторических событиях 1920-х гг. представляют собой явные анахронизмы; иногда расходится с календарным временем и фабула. Так, по календарю романа, 29 июня 1929 г. и следующий за ним день — будни (Зина приходит домой с работы и сообщает, что завтра получит жалованье), тогда как на самом деле это были суббота и воскресенье. В этом смысле «Дар» действительно начинается и заканчивается в 192... году (подробнее о временной структуре романа см.: А. А. Долинин. «Двойное время» у Набокова. (От «Дара» к «Лолите») // Пути и миражи русской культуры. СПб., 1994. С. 283—322).

русские авторы... не договаривают единиц... — Из классических произведений русской прозы, начинающихся, как и «Дар», с неопределенной даты, в первую очередь нужно назвать «Капитанскую дочку» А. Пушкина и «Детство» Л. Толстого.

...по Танненбергской улице... — По иронии судьбы, улица носит имя деревни в Восточной Пруссии, близ которой в 1914 г. немецкие

войска нанесли сокрушительное поражение наступавшей русской армии.

С. 196. ...до сих пор неизвестного автора... — В «Современных записках» (Кн. LXIII. С. 11): «до сих неизвестного автора».

...от «лунных грез» до символической латыни... — Слово «грезы» в заглавии книги — характерный признак дилетантской и графоманской поэзии 1900–1910-х гг. Ср., например, «Юные грезы. Стихотворения» Б. Самовского (Батум, 1909), «Лучи и грезы: стихи, поэмы и миниатюры» Н. Шульговского (СПб., 1912), «Крымские грезы: стихотворения» Родиона Иванова (СПб., 1913) и особенно «Напевные грезы» (СПб., 1916) Модеста Дружинина, чьи курьезные стихи нередко цитировались в печати как образец нелепицы. Латинские названия, наоборот, характерны для «высокой» поэзии того же периода. Моду на них инициировал В. Брюсов сборниками «Me eum esse» («Это — я», 1897), «Tertia Vigilia» («Третья стража», 1900) и «Urbi et orbi» («Городу и миру», 1903). За ними, среди прочих, последовали Вячеслав Иванов с двумя книгами «Cor ardens» («Пылающее сердце», 1911), А. Тиняков с «Navis nigra» («Черный корабль», 1912) и др.

С. 197. ...что было действительно им... — В «Современных записках» (Кн. LXIII. С. 12) слово «им» выделено разрядкой.

С. 198. пуппенмейстер — (от *нем.* puppenmeister) кукловод, режиссер кукольного театра. Уподобление романиста «пуппенмейстеру» восходит к роману У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».

С. 199. В целом ряде подкупающих искренностью... нет, вздор, кого подкупаешь? кто этот продажный читатель? не надо его. — В архиве Набокова сохранилось его пояснение к этой сцене, раскрывающее адресат пародирования: «Моему герою ⟨...⟩ только что сообщили, что появилась рецензия на его стихи. Он еще не читал ее, но живо ее воображает. Это дало мне повод сочинить пародию на всем известный род критики. Между прочим, я имел в виду некоего Петра Пильского, писавшего в рижской газете “Сегодня”, совершенно незабываемой по какой-то своей роскошной пошлости, литературные фельетоны» (V. Nabokov. Introductory Remarks to Poetry Recital, New York // *LCNA.* Box 8, folder 5). П. М. Пильский (1879–1941), возглавлявший литературный отдел газеты «Сегодня», неоднократно выступал в нем с неблагожелательными отзывами о произведениях Набокова.

С. 200. просвечивавшей верещагинским полымем, когда внутри зажигалась свеча, от которой... сгорело все здание. — Имеется в виду цикл картин художника-баталиста В. В. Верещагина (1842–1904) о пожаре Москвы во время Отечественной войны 1812 г. («В Кремле — пожар» и др.). Как отметил Р. Д. Тименчик, эта аллюзия должна привести на память пословицу «От копеечной свечи Москва загорелась», которая «создает определенное сюжет-

ное ожидание, ратифицированное автором в следующей фразе» (Р. Д. Тименчик. Вопросы к тексту // Тыняновский сборник. Шестые, седьмые, восьмые тыняновские чтения. М., 1998. С. 418).

С. 201. Английская Набережная — идет по левому берегу Невы, от Сенатской площади к Николаевскому мосту. Недалеко от Английской набережной, в том же аристократическом районе Петербурга, находились особняк родителей Набокова на Большой Морской улице и особняк его деда по материнской линии на Адмиралтейской набережной.

С. 202. алматолитовый. — В доступных нам словарях и энциклопедиях это слово не зафиксировано. Возможно, следует читать «альмандиновый», то есть сделанный из граната или рубина.

...сойотская табакерка... — Сойоты (сойоны, тувинцы) — тюркская народность, населяющая главным образом территорию Тувы.

...из кэрийского нефрита... — Кэрия — город в Синьцзяне (Китай), расположенный в плодородном оазисе. Славится горными промыслами, и прежде всего поделками из местного нефрита (или камня юй), о которых упоминает Н. М. Пржевальский в книге «От Кяхты на истоки Желтой реки» (М., 1948. С. 268–269).

С. 203. ...чихнуть без гусара... — Выражение «пустить в нос гусара» означает щекотать в носу травинкой или соломинкой.

С. 204. камы (алтайск.) — шаманы.

Я выехал семь лет тому назад... — Во второй главе «Дара» уточняется, что семья Годуновых-Чердынцевых выехала за границу в середине 1919 г., через полгода после получения известия о гибели отца.

...летоисчисление, сходное с тем, которое некогда ввел французский ражий гражданин в честь новорожденной свободы. — Имеется в виду новый республиканский календарь революционной Франции, разработанный Жильбертом Роммом (1750–1795) и утвержденный Конвентом 5 октября 1793 г. Согласно этому календарю, летосчисление начиналось с 22 сентября 1792 г., дня провозглашения республики.

С. 205. ...la Princesse Toumanoff... Monsieur Danzas... — княгиня Туманова... господин Данзас *(фр.)*. Набоков вводит в текст фамилию своих родственников Данзасов, которая немедленно вызывает в памяти пушкинские ассоциации. Константин Карлович Данзас (1801–1870), как известно, был товарищем Пушкина по Лицею и его секундантом на дуэли с Дантесом. (О родственных связях Набоковых и Данзасов см.: В. П. Старк. Данзасы // Набоковский вестник. Вып. 2. Набоков в родственном окружении. СПб., 1998. С. 48–55; Р. Г. Жуйкова, Н. К. Телетова. Е. Д. Данзас — «петербургская тетка» Набокова // Там же. С. 60–63.)

С. 206. ...продавец воздушных шаров 〈...〉 начал подниматься стояком в голубое небо... — В ранней поэме Набокова «Петербург» («Так вот он, прежний чародей») одна из ностальгических городских зарисовок — «шаров воздушных продавец / (знакомы с детства гроздь цветная, / передник, ножницы его)» (т. I наст. изд. С. 578). Сценой «фантастического полета» продавца воздушных шаров открывается вторая часть «Трех толстяков» Ю. Олеши. Ср.: «Он летел над городом, повиснув на веревочке, к которой были привязаны шары. Высоко в сверкающем синем небе они походили на волшебную летающую гроздь разноцветного винограда».

С. 207. санки от Сангалли — то есть санки, изготовленные на металлическом заводе компании «Сангалли» в Петербурге.

...полутаврическом саду... — Обыгрывается название Таврического сада в Петербурге, примыкающего к Таврическому дворцу. Прогулки в Таврическом саду Набоков упоминает в «Защите Лужина» (см. т. II наст. изд. С. 332) и в «Других берегах» (*ДБ*. С. 265).

...из нашего Александровского... перекочевывал вместе со своим каменным верблюдом генерал Николай Михайлович Пржевальский... — В Александровском саду у здания Адмиралтейства (то есть вблизи от Английской набережной, где живут Годуновы-Чердынцевы) установлен памятник знаменитому путешественнику Н. М. Пржевальскому (1839—1888) по проекту А. А. Бильдерлинга (открыт в 1892 г.). Постамент памятника сделан в виде скалы, у основания которой лежит бронзовый верблюд.

Сининские Альпы. — Это название Г. Е. Грум-Гржимайло дал горам в Китае, лежащим между долинами Желтой реки (Хуанхэ) и Сининхэ (см.: *ГГ.* С. 450).

С. 209. Когда все перешли в гостиную, один из мужчин, весь вечер молчавший... — Здесь Набоков пародирует рамочную конструкцию, типичную для реалистической прозы XIX века, и прежде всего для повестей Тургенева: мотивировка повествования как рассказа об интересном «случае из жизни» одного из участников дружеской послеобеденной беседы.

стеатопигия — толстые жировые наросты на ягодицах и бедрах, встречающиеся у бушменов и других народностей Южной Африки.

С. 210. фаберовский карандаш — то есть карандаш, изготовленный нюрнбергской фирмой «Фабер и Либнер». В «Других берегах» Набоков рассказывает тот же случай, произошедший в детстве с ним самим, замечая, что «будущему узкому специалисту-словеснику будет небезынтересно проследить, как именно изменился» эпизод «при передаче литературному герою» (*ДБ*. С. 148—149).

...около Треймана... — Имеется в виду магазин фирмы «Ф. Трейман» на Невском проспекте, д. 18, где, по воспоминаниям Набокова, «продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня» (*ДБ*. С. 149).

С. 213. ...нашего славного четырехстопника (которому уже Пушкин, сам пустивший его гулять, грозил в окно, крича, что школьникам отдаст его в забаву)... — аллюзия на первые строки поэмы Пушкина «Домик в Коломне»: «Четырехстопный ямб мне надоел: / Им пишет всякий. Мальчикам в забаву / Пора б его оставить...» Сюда же вплетена и реминисценция хрестоматийной строки из «Евгения Онегина», написанного «славным четырехстопником»: «А мать грозит ему в окно» (5, XI).

С. 215. Лук-с, ваша светлость. — Двойной каламбур, обыгрывающий, кроме русского слова, еще и значение латинского lux — «свет».

С. 216. ...дивясь, как ронсаровская старуха... — Имеется в виду сонет французского поэта Пьера де Ронсара (1524—1585) «Quand vous serez bien vieille, au soir a la chandelle» («Сонеты к Елене», II, 43), который сам Набоков в 1922 г. перевел на русский язык: «Когда на склоне лет и в час вечерний, чарам / стихов моих дивясь и греясь у огня, / вы скажете, лицо над пряжею склоня: / «Весна моя была прославлена Ронсаром», — / при имени моем служанка в доме старом, / уже дремотою работу заменя, / очнется, услыхав, что знали вы меня, / вы, озаренная моим бессмертным даром. / Я буду под землей, и, призрак без костей, / покой я обрету средь миртовых теней. / Вы будете, в тиши, склоненная, седая, / жалеть мою любовь и гордый холод свой. / Не ждите — от миртовых дней, цените день живой, / спешите розы взять у жизненного мая» (т. I наст. изд. С. 642—643). Упоминание об этом сонете связано с заданной в нем темой «бессмертного дара», ключевой для романа, и подсказывает, какой эпитет Федор безуспешно ищет для слова «дар» в своем стихотворении.

За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? — Сочетание «и крылатый», дающее каламбурное прочтение «икры + латы» (и потому напомнившее Федору Годунову-Чердынцеву изображения римских воинов), встречается в двух незаконченных стихотворениях Пушкина: «В прохладе сладостной фонтанов...» (1828) и «Дельвигу» («Мы рождены, мой брат названый...», 1830).

С. 217. В мокром луче фонаря... капли на кожухе все до одной дрожали. — Возможно, отголосок первой строфы известного стихотворения Фета: «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали / Лучи у наших ног в гостиной без огней. Рояль был весь раскрыт,

и струны в нем дрожали, / Как и сердца у нас за песнию твоей» (1877).

С. 218. Гольсуорти — Голсуорси Джон (1867–1933) — английский писатель реалистического направления, автор некогда популярной «Саги о Форсайтах».

Александра Яковлевна... Александр Яковлевич... — Такие же парные имена в романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» (гл. 8) носят завхоз 2-го дома Старсобеса, стыдливый вор Альхен, и его жена. Ср.: «Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его — Александрой Яковлевной».

С. 219. ...пыльной вазой танагра... — «Танаграми» обычно называют античные терракотовые статуэтки (4–3 вв. до н. э.), обнаруженные при раскопках древнего беотийского города Танагра, а также их копии, которые пользовались большой популярностью в начале XX в. Особых ваз в стиле «танагра» история керамики не выделяет.

инженер Керн — еще одна фамилия, вызывающая пушкинские ассоциации: Анне Петровне Керн (1800–1879), одной из возлюбленных Пушкина, посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» и несколько эпиграмм. Кроме того, сочетание «инженер Керн», с повторяющимся ударным слогом в обоих словах, напоминает об инженере Германне в «Пиковой даме».

С. 221. Эредиа Жозе Мария де (1842–1905) — французский поэт, видный представитель так называемой Парнасской школы, автор, по определению Гумилева, «безупречных сонетов». В начале 1920-х гг. переводческий семинарий под руководством М. Л. Лозинского готовил к печати коллективный перевод его книги «Трофеи», который тогда так и не вышел в свет (опубликован в серии «Литературные памятники», М., 1973). В работе над переводом принимали участие, среди прочих, Гумилев, Г. Иванов, Адамович, а также хорошо известная Набокову поэтесса Р. Блох (см. его рецензию на ее сборник в т. II наст. изд., с. 653 и прим.).

Рильке Райнер Мария (1875–1926) — немецкий поэт. К его культу, сложившемуся в 1920-е гг., Набоков относился, как кажется, весьма скептически, о чем свидетельствует эпизод «Защиты Лужина», когда жена героя «по совету приказчика» покупает ему «томик Рильке» (т. II наст. изд. С. 407), и чрезвычайно резкий отзыв о статье Цветаевой «Несколько писем Райнер Мариа Рильке» и опубликованных ею материалах в рецензии на «Волю России» (там же. С. 671–672).

...в зените славы и добра... — искаженная цитата из стихотворения Пушкина «Стансы» (1826). Правильно: «В надежде славы и добра».

С. 222. ...рядом с кнопкой «Локарно»... — Имеется в виду международная конференция, проходившая в швейцарском курорт-

ном городе Локарно с 5 по 16 октября 1925 г. Она была созвана для разрешения споров между Германией и странами-победительницами в Первой мировой войне.

Гинденбург Пауль фон (1847–1934) — немецкий фельдмаршал и политический деятель, с 1925 по 1933 г. президент Германии.

Пенлеве Поль (1863–1933) — французский математик и политический деятель, один из основателей блока левых партий, победившего на парламентских выборах 1924 г., в 1917 и 1925 гг. — премьер-министр.

Эррио Эдуар (1872–1957) — французский политик левого толка, лидер партии радикалов, трижды (1924–1925, 1926 и 1932) занимавший пост премьер-министра. Его правительство, к возмущению русской эмиграции, установило дипломатические отношения с СССР.

С. 224. ...потому что прочитал Шпенглера... — Речь идет о книге немецкого философа Освальда Шпенглера (1880–1936) «Закат Европы» (1918–1922), в которой была предложена циклическая концепция развития цивилизаций. Согласно Шпенглеру, западная культура уже вступила в стадию упадка и приближается к неминуемой гибели. Идеи Шпенглера пользовались в 1920-е гг. большой популярностью среди многих русских эмигрантов. Так, например, Г. Адамович, переадресуя Шпенглеру слова Тютчева о Наполеоне, писал в 1924 г.: «Что можно противопоставить его книге во всей европейской литературе последних десятилетий? С чем можно сравнить ее увлекательную мощь, ее "ширококрылых вдохновений / Орлиный, дерзостный полет"?» (Г. Адамович. Литературные беседы. Кн. 1. «Звено». 1923–1926. СПб., 1998. С. 69–70). Впоследствии он же вспоминал о «русском шпенглерианстве, вспыхнувшем и погасшем в берлинских и парижских кофейнях» (Г. Адамович. Комментарии. Washington, D. C., 1967. С. 5).

...Яшины тетради, полные ритмических ходов — треугольников да трапеций! — Яша Чернышевский, как и Годунов-Чердынцев в юности (см. с. 332 и прим.), занимался стихосложением по системе Андрея Белого, изложенной последним в статьях, которые вошли в его сборник «Символизм» (М., 1910. С. 232–395). Согласно Андрею Белому, ритмическое богатство ямбического стиха определяется структурой полуударений, которую он схематически представлял в виде разнообразных геометрических фигур. Сам Набоков познакомился с исследованиями Андрея Белого в 1918–1919 гг. и полностью принял их основные положения. В архиве писателя сохранилось несколько тетрадей этих лет с таблицами и схемами ямбических ударений и полуударений в стихотворениях Ломоносова, Жуковского, Баратынского и Бенедиктова, а также в его собственных юношеских сочинениях.

Он в стихах, полных модных банальностей... — В журнальной публикации это предложение начиналось словами: «Смесь Ленского и Каннегисера» (далее по тексту), что прямо указывало на два прототипа Яши Чернышевского: героя «Евгения Онегина», писавшего, как и Яша, «темно и вяло», и Леонида Каннегисера (1896–1918), юного поэта-дилетанта, который убил начальника Петроградской ЧК Урицкого, за что был расстрелян большевиками. В 1928 г. в Париже вышел в свет маленький сборник его стихотворений со статьями Г. Адамовича, М. Алданова и Г. Иванова; кроме того, М. Алданов, лично знавший Каннегисера, включил очерк о нем в свою книгу «Современники» (Берлин, 1928. С. 220–270). В рецензии на эту книгу В. Ходасевич, процитировав слова Алданова о том, что вся короткая жизнь Каннегисера «прошла в поисках мучительных ощущений», охарактеризовал его как «детище... запоздалого и падающего символизма» и поставил в один ряд с чередой «литературных самоубийц» того же жизнетворческого склада — Виктором Гофманом, Надеждой Львовой, Андреем Соболем и Ниной Петровской (В. Ходасевич. Пастыри человечества // Возрождение. 27 ноября 1928).

С. 224–225. ...«горчайшую» любовь к России... — В рецензии на «Стихотворение» А. Булкина Набоков охарактеризовал сочетание «тишайшая любовь» как «дань Цеху», имея в виду пристрастие к прилагательным в превосходной степени у «младших акмеистов» — Г. Адамовича, Г. Иванова, И. Одоевцевой, Н. Оцупа, составлявших сначала петроградский, а затем берлинский и парижский Цех поэтов (см. т. II наст. изд., с. 636 и прим.), а также у повлиявшей на них Ахматовой (см., например, в сборнике «Anno Domini»: «сладчайший день», «сладчайшее имя», «сладчайший сон», «счастливейшая любовь» и т. п.). Заметив подобное словоупотребление в стихах Г. П. Струве, Набоков писал ему 19 февраля 1927 г.: «Поэты “Цеха” вконец опошлили такие превосходной степени прилагательные, как “сладчайший”, “тишайший” и “обыкновеннейший”» (*GSA*. Box 108, folder 18).

С. 225. ...голубизну блоковских болот... — Мотив болот играет весьма заметную роль в лирике Блока, особенно в стихотворениях из цикла «Пузыри земли» (1904–1905) и в поэме «Ночная фиалка. Сон» (1906). Как отметил Н. Анциферов, этот мотив связан с его видением Петербурга как столицы, построенной на болотной почве, над трясиною: «Окрест нее зачумленный сон воды с ржавой волной... Все болота, болота, где вскакивают пузыри земли» (Н. Анциферов. Душа Петербурга. Л., 1990. С. 190). Однако отождествление блоковских болот с голубым цветом, по всей вероятности, мотивировано лишь эвфоническими соображениями (аллитерация на *б-л*), так как у самого Блока болото неизменно ассоциируется с зелеными и лиловыми тонами.

...снежок на торцах акмеизма... — В черновой редакции первой главы «Дара» вместо «снежка на торцах акмеизма» образцом для эпигонской поэзии Яши были названы «правительственные здания Мандельштама» из его «Петербургских строф» (1913): «Над желтизной правительственных зданий / Кружилась долго мутная метель...» Окончательная формула носит более широкий характер и отсылает не только к Мандельштаму (ср. в его стихотворении 1915 г. «Дворцовая площадь»: «И на площади, как воды, / Глухо плещутся торцы»), но и к его подражателям, в частности к Г. Иванову, у которого есть петербургские стихи со сходными образами: ср. начало четвертого стихотворения в цикле «Столица на Неве», вошедшем в сборник «Памятник славы» (Пг., 1915): «Опять на площади Дворцовой / Блестит колонна серебром. / На гулкой мостовой торцовой / Морозный иней лег ковром» (Г. Иванов. Собрание стихотворений. Ed. by V. Setchkarev and M. Dalton. Würzburg, 1975. С. 69) и строки из «Мне все мерещится тревога и закат» (сборник «Сады», 1921): «Одет холодной мглой Адмиралтейский сад, / И шины шелестят по мостовой торцовой» (там же. С. 131). О Мандельштаме и его подражателях Набоков писал в неопубликованной рецензии на три сборника стихов — «Песни без слов» Дмитрия Шаховского (Брюссель, 1924), «Оттепель» Льва Гордона (Берлин, 1924) и «Разноцвет» Ильи Британа (Берлин, 1924):

«Существует прекрасный поэт Мандельштам. Творчество его не является новым этапом русской поэзии: это только изящный вариант, одна из ветвей поэзии в известную минуту ее развития, когда таких ветвей она вытянула много и вправо и влево, меж тем как рост ее в вышину был почти незаметен после первого свежего толчка символистов. Поэтому Мандельштам важен только как своеобразный узор. Он поддерживает, украшает, но не двигает. Он — прелестный тупик. Подражать ему значит впадать в своего рода плагиат. Подражают ему (отчасти) скучноватые поэты Цеха. Подражает — и ему и скучноватому Цеху — Лев Гордон.

Облик Мандельштама, его холодное изящество выражается в особых, как бы стеклянных стихах, в нежности к вещественным мелочам, в чувстве веса, весомости: — так прилагательные, выражающие легкость или тяжесть, почти совершенно вытесняют прилагательные чувственные, преобладающие у других поэтов. Отсюда — холод стиха, стрельчатая гармония, в которой самые нежные земные слова, как, например, "ласточка" или имена богинь, превращаются в звук иглы, падающей на хрустальное донце. Банальность Льва Гордона состоит в том, что он подражает этому. У Мандельштама тяжесть вызывает не чувство гнета, духоты, а легкость, чувство тонкой тошноты, головокружения» (*BCNA*. Box 1, folder 8).

В английском переводе «Дара» Набоков, по сути дела, вернулся к первоначальному варианту, заменив «торцы акмеизма» на «торцы мандельштамовского неоклассицизма» (wooden paving blocks of Mandelshtam's neoclassicism).

...невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя. — Ср. в стихотворении Набокова «Санкт-Петербург» (1924): «Орлы мерцают вдоль опушки. / Нева, лениво шелестя, / как Лета льется. След локтя / оставил на граните Пушкин» (т. I наст. изд. С. 623). Образ восходит к строфам XLVII—XLVIII первой главы «Евгения Онегина», в которых автор рассказывает о своих прогулках с Евгением по набережным Невы белыми ночами (ср. особенно: «С душою, полной сожалений, / И опершися на гранит, / Стоял задумчиво Евгений, / Как описал себя пиит»), а также к иллюстрирующему эти строфы рисунку Пушкина, где он изобразил себя облокотившимся на гранитный парапет рядом с Онегиным (см.: А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Изд. АН СССР. Т. 13. Переписка. Вкладка между с. 120 и 121).

...обеднгвшие некогда слова вроде «роза», совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть... — вероятно, намек на заглавие сборника Георгия Иванова «Розы» (1931). Посылая Г. П. Струве свою эпиграмму на Иванова «Такого нет мошенника второго...» (см. т. III наст. изд. С. 829), Набоков добавил: «Это автору “Роз” в виде небольшого знака внимания» (Письмо от 7 июня 1931 г. // *GSA*. Box 108, folder 17).

...как на «вы» обращается больной француз к Богу или молодая русская поэтесса к любимому господину. — Сарказм Набокова по поводу лицемерной набожности французов здесь безоснователен, так как различия в обращении к Богу у молящихся объяснялись не состоянием здоровья, а конфессией: протестанты обычно обращаются к Богу на «Ты», а католики до XXI Вселенского Собора (1962—1965) использовали исключительно «Вы» (за эту справку я признателен профессору Е. Кушкину. — *А. Д.*). Что же касается русских поэтесс, то в рецензии на сборник «Зодчий» Набоков уже отметил у Екатерины Таубер «черту, присущую всем поэтессам. Это обращение не на “ты”, а на “вы”» (т. II наст. изд. С. 648). Примерам несть числа. Ср. также в «Подвиге» о дилетантских стихах Аллы Черносвитовой: «такие звучные, такие пряные, всегда обращались к мужчины на “вы”» (т. III наст. изд. С. 117).

С. 226. ...крестил, — в Вольске, кажется, — отец знаменитого Чернышевского, толстый, энергичный священник, любивший миссионерствовать среди евреев и в придачу к духовному благу дававший им свою фамилию... — Гавриил Иванович Чернышевский (1793—1861), саратовский протоиерей, в 1844 г. был командирован в г. Вольск для обращения в православие военных кантонистов

и крестил 15 евреев (*Летопись*. С. 24; *Стеклов*. Т. 1. С. 4, прим. 2). Обращаемым и воспринимаемым он давал свою фамилию и отчество Гаврилович, откуда пошли выкресты Чернышевские в Саратовской губернии (Е. Ляцкий. Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет // Современный мир. 1908. Май. С. 51).

...я все предвижу возраженья на предложение мое... — искаженная цитата из «Евгения Онегина»: «Я не предвижу возражений / На представление мое» (6, XXVII). Чернышевский путает слова Онегина с другой пушкинской строкой из «Разговора книгопродавца с поэтом»: «Предвижу ваше возраженье».

С. 227. ...нашел бы в этой истории... нечто в высшей степени характерное для «настроений молодежи в послевоенные годы»... вздор, о симптомах века и трагедиях юношества. — Как установила Энн Несбет (см.: Anne Nesbet. Suicide as Literary Fact in the 1920s. // Slavic Review. V. 50. № 4 (Winter 1991). P. 827–835), в истории Яши Чернышевского отразилось двойное самоубийство молодых русских эмигрантов в Берлине, о котором газета «Руль» впервые сообщила 19 апреля 1928 года в заметке «Русская драма»: «В Груневальде русский студент медик Алексей Френкель 21 года застрелил свою подругу ученицу художественной школы Веру Каминскую 22 лет, после чего застрелился сам. Вторая молодая девушка Татьяна Занфтлебен, которая должна была также покончить с собой, в последнюю минуту не решилась и, оставив обоих своих друзей лежащими на полу, выбежала на улицу и, встретив полицейский патруль, сообщила о катастрофе». На следующий день газета уточнила имя и фамилию убитой, которую на самом деле звали Валерия Каменская, а также место происшествия — берег Чертова озера в Груневальдском лесу (В Берлине. Хроника // Руль. 20 апреля 1928). В статье «Трагедия русской молодежи» известный философ Семен Франк, лично знавший Френкеля и его друзей, назвал эту историю «поучительным показателем болезненного состояния духа, овладевшего частью русской эмигрантской молодежи». Согласно Франку, Френкель осуществил идею коллективного самоубийства без всяких на то причин, «в форме внезапного дикого озорства», и оно было мотивировано «только общей опустошенностью души, потерей интереса к жизни и веры в какие-либо идеалы». «Нельзя, к сожалению, отрицать и не следует замалчивать, — писал Франк, — что настроение, ярким выразителем которого был этот несчастный юноша, в своей основе близко и легкодоступно целому поколению русской эмигрантской молодежи. ‹...› Многие, если не большинство из них, не только не имеют прочного мировоззрения, но не имеют вообще серьезных интересов, веры во что бы то ни было, не знают, что с собой начать и для чего жить. Скептицизм, наивные эпикурейские

теории, доктрины "прожигания жизни" часто пользуются успехом у этих незрелых душ, лишенных нормальных условий духовно-нравственного созревания. Трагедия бедного Френкеля в ее общем, основном духовном содержании есть, по крайней мере — отчасти, трагедия едва ли не большинства подрастающей в эмиграции русской молодежи» (Руль. 22 апреля 1928).

...в глубокомысленной с гнусным фрейдовским душком беллетристике. — Резко критическое отношение Набокова к фрейдизму сложилось уже в 20-е гг. и оставалось неизменным на протяжении всей его жизни (см. его антифрейдистский фельетон 1931 г. «Что всякий должен знать?», т. III наст. изд., с. 697). Отвечая на предложение Г. П. Струве написать статью о фрейдизме в современной литературе для французского журнала «Le Mois», Набоков заметил: «Кроме всего, фрейдизма я, ей-Богу, не вижу в литературе (у модных пошляков, вроде, скажем, Стеф[ана] Цвейга, оного сколько угодно — но ведь это не литература)» (Письмо без даты 1931 г. // *GSA*. Box 108, folder 17).

зажора — по Словарю В. Даля, подснежная вода в ямине, на дороге.

С. 229. ...Альбрехт Кох тосковал о «золотой логике» в мире безумных... — По всей вероятности, мистификация. В черновой рукописи Набоков сначала написал какую-то другую фамилию, начинающуюся на «Б», затем вычеркнул ее и заменил на «Кох».

...наставник с матовым челом, будущий вождь, будущий мученик... — Имеется в виду Н. Г. Чернышевский. Ту же мысль Годунов-Чердынцев выскажет в своей книге о нем, где будет отмечена «восторженная страсть», с которой к Чернышевскому, как к «наставнику, вот-вот готовому стать вождем», привязывалась молодежь. Набоков, по всей вероятности, пародирует здесь патетическое стихотворение В. П. Буренина о гражданской казни Чернышевского, в котором есть такие строки: «И с открытым челом он стоял под дождем / С бледным ликом, исполненным муки» (Поэты 1860-х годов. Л., 1968. С. 230).

«и степь, и ночь, и при луне...» — цитата из стихотворения Пушкина «Не пой, красавица, при мне...» (1828).

С. 230. amante — возлюбленная, любящая *(фр.)*. В списках действующих лиц у Мольера и других «старинных французских драматургов» слова «amante» и, в мужском роде, «amant» указывали, в кого влюблен и кому признался в любви тот или иной персонаж. Например, в списке к «Мизантропу» Мольера обозначено, что Альцест — amant de Celimene (то есть он влюблен в Селимену), а Селимена, соответственно, его amante.

пак — (*англ.* puck) шайба.

...Оля занималась искусствоведением... — так же как и ее прототип, Валерия Каменская (см. прим. к с. 227).

С. 234. «Кипарисовый Ларец» (1910) — посмертно изданный сборник стихотворений И. Ф. Анненского.

«Тяжелая Лира» (1922) — сборник стихотворений В. Ф. Ходасевича.

Штокшмайсер. — В переводе с немецкого фамилия означает «бросатель палки», то есть соответствует тому, чем занимался в парке архитектор, «закидывавший по просьбе пса палку в воду».

С. 235. ...на углу улицы с лирическим названием Сиреневой... — В русской прозе Набокова слова «сирень» и «сиреневый» часто являются знаками авторского присутствия, так как созвучны псевдониму писателя.

С. 236. ...в России наблюдалось распространение абортов и возрождение дачников... — Хроникально-газетное перечисление разномасштабных событий пародирует прием, многократно использованный в автобиографической книге Р. Гуля «Жизнь на фукса» (М.—Л., 1927), которая была воспринята в эмиграции как сменовеховский пасквиль. Ср., например: «В эти годы земной шар бежал так же, как вечность тому назад. В рейхстаге заседала конференция интернационалов. В Генуе заседала конференция государств Европы. В Москве был XIII конгресс РКП. В Италии Муссолини сел на коня, и фашизм пришел к власти. В столицах Европы убили Нарутовича, Эрцберга и Ратенау. Профессор Эйнштейн публиковал теорию относительности. Профессор Воронов рекламировал омоложение людей. Под Москвой тихо умер Петр Кропоткин. И Чарли Чаплин сделал мировое имя» (с. 203).

...умерли Дузе, Пуччини, Франс... — итальянская драматическая актриса Элеонора Дузе (род. 1858), итальянский композитор Джакомо Пуччини (род. 1858) и французский писатель Анатоль Франс (род. 1844) скончались, как и Ленин, в 1924 г.

Ирвинг и Маллори. — Английские альпинисты Эндрю Ирвинг (род. 1902) и Джордж Мэллори (род. 1886) погибли во время восхождения на Джомолунгму (Эверест) 8 июня 1924 г.

...старик Долгорукий... ходил в Россию... — Имеется в виду князь Павел Дмитриевич Долгоруков (1866—1927), председатель фракции кадетской партии в Государственной думе. После революции эмигрировал; несколько раз нелегально переходил советскую границу и совершал поездки по стране. В 1927 г. был схвачен и расстрелян.

циклонетки — трехколесные моторикши.

...первый дирижабль медленно перешагнул океан... — Здесь имеется в виду либо трансатлантический перелет немецкого дирижабля ZR-3 в США в 1924 г., либо первый трансарктический перелет со Шпицбергена на Аляску американского воздухоплавателя Линкольна Элсворта на дирижабле «Норге» в 1926 г.

Куэ Эмиль (1857–1926) — французский психиатр, чья теория самовнушения имела шумный успех в 1920-е гг. Пациенты Куэ должны были многократно повторять формулу: «Tous les jours, à tous les points de vue, je vaix de mieux en mieux» («Каждый день, со всех точек зрения, мне становится все лучше и лучше»).

Чан-Солин (Чжан Цзолинь, 1876–1928) — китайский генерал и политический деятель. В 1927 г. провозгласил себя военным правителем страны, но вскоре был убит японскими интервентами.

Тутанкамон. — Речь идет об одной из научных сенсаций 1920-х гг. — раскопанной английским археологом Э. Картером в 1922 г. гробнице египетского фараона Тутанхамона.

С. 237. ...ухаря-купца... — реминисценция известного стихотворения И. С. Никитина «Ехал из ярмарки ухарь-купец...» (1858).

С. 238. доклад назывался «Блок на войне». — Статья А. Кулаковского «Блок и Гумилев на войне» была опубликована в газете «Россия и славянство» 1 октября 1932 г.

С. 240. ...с французским «l»... — В «Современных записках» (Кн. LXIII. С. 63–64): «с французским "л"».

С. 241. Сократ Антокольского. — Имеется в виду одна из лучших работ скульптора М. М. Антокольского (1842–1902) «Смерть Сократа» (1875). Умирающий Сократ изображен сидящим; его ноги выдвинуты далеко вперед.

С. 242. Благодарю тебя, отчизна... — О некоторых классических (строфа XLV шестой главы «Евгения Онегина», «Благодарность» Лермонтова) и современных («Благодарность» Д. Кнута, «За все, за все спасибо. За войну...» Г. Адамовича) поэтических подтекстах этого стихотворения см.: А. Долинин. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар». С. 697–710. К ним следует добавить «За все тебя, Господь, благодарю!» (1901) Бунина, в котором есть мотивы благодарности за дар («Даруешь мне вечернюю зарю»), счастливого одиночества и тайного разговора: «И счастлив я печальною судьбой, / И есть отрада тайная в сознанье, / Что я один в безмолвном созерцанье, / Что всем я чужд и говорю — с Тобой» (И. А. Бунин. Собр. соч. в 6 т. Т. 1. М., 1987. С. 105). Как указал С. Блэквелл, стихотворение Годунова-Чердынцева перекликается и с «Для берегов отчизны дальной...» (1830) Пушкина (S. Blackwell. Three Notes on *The Gift*. A Mutation, An Intertext, and A Puzzle Solved // The Nabokovian. № 40. Summer 1998. P. 37–38).

...скользнувший с угла... — В «Современных записках» (Кн. LXIII. С. 65): «с угла скользнувший».

С. 243. Канариенфогель — (*нем.* Kanarienvogel) канарейка.

Сан-Суси — дворец и одноименный парк в Потсдаме, резиденция прусского короля Фридриха Великого (годы правл. 1740–1786).

...встречу кайзера с царем... — По-видимому, имеется в виду встреча кайзера Вильгельма с Николаем II в июне 1907 г. в Ревеле, куда оба императора прибыли на своих яхтах.

С. 245. «O sole mio» — «О мое солнце» *(ит.)*, популярная неаполитанская песня.

С. 248. «Газета». — Подразумевается берлинский «Руль», газета, основанная И. В. Гессеном, А. И. Каминкой и В. Д. Набоковым в 1920 г. (выходила до октября 1931 г.). В «Других берегах» Набоков писал: «О “Руле” вспоминаю с большой благодарностью. Иосиф Владимирович Гессен был моим первым читателем. Задолго до того, как в его же издательстве стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством мне давал питать “Руль” незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокружение, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России, — все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. близко подносил лист к лицу» (*ДБ.* С. 286). Инициалы редактора «Газеты» Васильева — Г. И. В. — деликатно намекают на И. В. Гессена, хотя внешний облик, характер, биография и литературные вкусы обоих редакторов ничего общего между собой не имеют.

Кончеев. — Фамилию этого персонажа Набоков позаимствовал из списка, присланного ему Н. Яковлевым (см. преамбулу к прим., с. 638), который указал, что она рязанского происхождения. Именно поэтому, кстати сказать, у Кончеева «рязанское лицо». По значению фамилия связана с «концом» или «окончанием», что можно интерпретировать как намек на завершение в творчестве Кончеева поэтической традиции. С другой стороны, по звучанию она напоминает английское слово «conche» (раковина), что отсылает к символике раковины как источника неумирающего звука, связывающей ее с поэзией и музыкой. Ср., например, в стихотворении Ходасевича «Душа» (1909): «К чему рукоплескать шутам? Живи на берегу угрюмом. / Там, раковины приложив к ушам, внемли плененным шумам,— / Проникни в отдаленный мир: глухой старик ворчит сердито, / Ладья скрипит, шуршит весло, да вопли — с берегов Коцита». Мифологические мотивы «Души» перекликаются с теми стихами о пути в загробный мир, которые Годунов-Чердынцев «вместе» с Кончеевым сочиняют в конце первой главы. Вместе с тем, как справедливо заметил Джон Мальмстад, «нельзя прямо отождествлять в романе Ходасевича с поэтом Кончеевым, как это часто делается. Ходасевич, конечно, “присутствует” в этом характере (как самый ценимый Набоковым поэт современности), но присутствуют и В. А. Комаровский (физическое сходство), и В. Л. Корвин-Пиотровский... чью даровитость он уважал» (Из переписки В. Ф. Ходасевича. С. 287).

Опавшие листья... коробясь... — вероятно, намек на эссеистическую книгу философа и публициста В. В. Розанова (1856—1919) «Опавшие листья» (1913—1915), тома которой названы «коробами».

С. 249. И она повела его к рентгеноскопу... — В 20-е гг. применение рентгеноскопов в обувных магазинах было модным новшеством и считалось знаком технического прогресса, «американизации» быта. Подобную сцену покупки обуви в Берлине описал И. Эренбург в очерках о Германии:

«Не подозревая всей зловещести места, я запросто померил ботинки: хорошо, по ноге беру. Не тут-то было! Продавщица, бесстрастно улыбаясь, заявила:

— Теперь, пожалуйста, к аппарату.

Нажата кнопка, вспыхнули лампочки, мою бедную ногу подвергают рентгеноскопии: нужно, мол, проверить, действительно ли ботинки по ноге. Гениальное приспособление! Я, правда, не очень-то верю в его практическую необходимость, зато я согласен признать всю его глубокую традиционность: это фантастика из новелл Гофмана, и Курфюрстендам отныне тесно связан с туманами Брокена или даже со средневековым фонарем, хранящимся в каждом приличном музее» (И. Эренбург. Собр. соч. в 8 т. М., 1990. Т. 4. С. 62).

О подобном аппарате как символе американского «комфорта и удобства» также писала В. Инбер в путевых очерках «Америка в Париже» (Харьков, 1929. С. 47).

Вот этим я ступлю на брег с парома Харона. — Перекличка с образом лодки перевозчика Харона в поэме Маяковского «Про это» (1923): «Вон в лодке, скутан саваном, / Недвижный перевозчик. ⟨...⟩ Что ж — ступлю».

С. 250. ...талант которого только дар Изоры мог бы пресечь... — Чувства, которые Годунов-Чердынцев испытывает к Кончееву, соотнесены здесь с завистью Сальери к Моцарту в трагедии Пушкина. «Даром Изоры» Сальери называет яд, который хранится у него в кольце и которым он убивает Моцарта.

...статьей Христофора Мортуса «Голос Мэри в современных стихах». — Псевдоним критика (*лат.* mortus — «мертвый, мертвец»), согласно Словарю Даля, означает «служитель при чумных; обреченный или обрекшийся уходу за трупами, в чуму», что коррелирует с названием его статьи, которое отсылает к песне «задумчивой Мери» в «Пире во время чумы» Пушкина. В тематический репертуар поэзии XX в. пушкинскую героиню и ее «голос грустный» ввел Блок ранним стихотворением «Мэри» с подзаголовком «Пир во время чумы» (1899) и одноименным циклом (1911). Кроме того, Набоков, очевидно, учитывал «Стихи к Пушкину» своего знакомого по Берлину В. Пиотровского (возможно, одного из прототипов Кончеева), чей поэтический дар он высоко

ценил (см. его рецензию на книгу «Беатриче», т. III наст. изд., с. 681–683). Ср.: «Шарлоттенбург, Курфюрстендам, — не верю,— / Я выдумал, проснусь и не пойму — / Спой песенку, задумчивая Мэри, / Как пела Дженни другу своему — / Блестит асфальт. Бессонница, как птица, / Во мглу витрин закинула крыло,— / Вон, в зеркале, бледнеет и томится / Еще одно поникшее чело. / За ним — другой. Насмешливый повеса, // Иль призрак ночи, иль убийца? Что ж, / Когда поэт на Пушкина похож, / То тень его похожа на Дантеса» (Руль. 5 февраля 1928).

С. 251. Козлов Петр Кузьмич (1864–1935) — известный путешественник, исследователь Центральной Азии, участник четвертой экспедиции Пржевальского, а также экспедиций под руководством М. В. Певцова и В. И. Роборовского, начальник трех больших экспедиций в Монголию и Китай (1899–1901, 1907–1909, 1923–1924). Его труды — важный источник второй главы «Дара».

Буш. — Фамилия подчеркивает комический характер персонажа, так как отсылает к знаменитому немецкому цирку Буша (по имени основателя Пауля Буша, 1850–1927).

С. 252 ...идущий по дороге Одинокий Спутник... — Как указала О. Сконечная, это пародийная аллюзия на ремарку в драме Блока «Песнь судьбы»: «Печальный одинокий Спутник садится на большой камень среди пустыря» (О. Сконечная. Черно-белый калейдоскоп. Андрей Белый в отражениях В. В. Набокова // *Н97.* С. 683, прим. 1). На «Песнь судьбы» указывает реплика Спутника: «Всё есть судьба».

Фалес (ок. 625 — ок. 547 г. до н. э.) — один из семи древнегреческих мудрецов, основатель физики; согласно Аристотелю, его учение было основано на идее, что мир происходит из воды и в нее возвращается, поэтому вода для него — вечный и божественный элемент, из которого состоит все сущее.

Анаксимен (6 в. до н. э.) — древнегреческий философ, считавший, что космос окружен бесконечным и вечно движущимся воздухом, или паром, являющимся первоосновой всех феноменов.

Пифагор (6 в. до н. э.) — древнегреческий философ, считается основоположником теории чисел, которые он называл ключом к постижению мира как единого целого. Его последователи, именуемые пифагорейцами, утверждали, что все явления представляют собой определенные числа.

Гераклит (5 в. до н. э.) — древнегреческий философ; согласно его учению, божественным атрибутом вечности является Логос, который он отождествил с трансцендентальным знанием и огнем.

...волну физика де Бройля... — Имеется в виду французский физик Луи де Бройль (1892–1987), основоположник волновой теории материи.

С. 254. «Слушайте, слушайте!» — вмешался хор, вроде как в английском парламенте. — В Англии и США восклицанием «Hear! Hear!» во время публичных выступлений слушатели выражают одобрение оратору.

С. 255. гемахт — (*нем.* gemacht) дело сделано.

С. 256. Вы рассматривали персидские миниатюры. Не заметили ли вы там одной — разительное сходство! — из коллекции петербургской публичной библиотеки — ее писал, кажется, Riza Abbasi... носатый, усатый... Сталин. — Как установила Аннелоре Энгель-Браунпшидт, Кончеев, по всей вероятности, рассматривал немецкий альбом «Miniaturmalerei im islamischen Orient» (Berlin, 1923), где воспроизведена (с пометой «Публичная библиотека, Петербург») миниатюра персидского художника Риза-йи-Аббаса (ум. 1635) «Змеи», на которой действительно изображен усатый мужчина, похожий на Сталина.

...не знаю уж, чей грех: «На Тебе, Б о ж е, что мне негоже». Я в этом усматриваю обожествление калик. — Годунов-Чердынцев излишне строг к неизвестному журналисту. Именно в такой форме русская пословица зафиксирована как в Словаре Даля, так и в его сборнике «Пословицы русского народа», хотя оба источника указывают, что «Боже» в данном случае есть искаженное «небоже» (звательный падеж от украинского и диалектного существительного «небога» — бедняк, убогий, нищий, калека, увечный, а также племянник).

«о Шиллере, о подвигах, о славе» — контаминация двух стихотворных строк: «О Шиллере, о славе, о любви» из «19 октября» Пушкина и «О доблестях, о подвигах, о славе», с которой начинается стихотворение Блока (1908).

...наш Пегас пег... — пародийный отголосок «Нашего марша» (1917) Маяковского: «Дней бык пег. / Медленна дней арба. / Наш бог бег. / Сердце наш барабан».

«Россию погубили два Ильича» — то есть Илья Ильич Обломов и Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

...о безобразной гигиене тогдашних любовных падений? Кринолин и сырая скамья? — Имеется в виду знаменитая любовная сцена в романе И. А. Гончарова «Обрыв» (часть 4, гл. 12), когда его героиня Вера отдается Марку Волохову на скамье в полуразвалившейся беседке.

С. 256–257. ...у Райского в минуту задумчивости переливается в губах розовая влага? — Набоков подсмеивается над попыткой Гончарова изобразить в «Обрыве» то, как в мальчике, будущем художнике Райском, пробуждается творческое начало: «Он сидит в своем углу, рисует, стирает, тушует, опять стирает или молча задумывается; в зрачке ляжет синева, и глаза покроются будто

туманом, только губы едва-едва заметно шевелятся и в них переливается розовая влага» (часть 1, гл. 6).

С. 257. ...герои Писемского в минуту сильного душевного волнения рукой растирают себе грудь? — Ср., например, фразу из романа А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов» (1869): «— Э, что тут говорить, — начал снова Неведомов, выпрямляясь и растирая себе грудь» (часть 2, гл. 18).

...как лакеи в передней во время бала перекидываются... сапогом? — Речь идет об эпизоде в романе «Люди сороковых годов», когда герой, вызванный во время бала в уездном дворянском собрании в переднюю, становится свидетелем «довольно странной сцены»: «...приезжие лакеи забавлялись и перебрасывали друг на друга чей-то страшно грязный, истоптанный женский плисовый сапог, и в ту именно минуту, когда герой вошел, сапог этот попал одному лакею в лицо» (часть 3, гл. 11).

...нарочитые «аболоны»... — Имеется в виду «сказовый» стиль повести Н. С. Лескова «Левша» (1881), где для создания комического эффекта коверкается ученая и литературная лексика. Так, например, Аполлона Бельведерского рассказчик именует «Аболоном полведерским».

«Соборяне» (1872) — роман Лескова, главный герой которого — «добродетельный поп» Савелий Туберозов.

Галилейский призрак, прохладный и тихий... — Когда Савелий Туберозов в «Соборянах», проснувшись, пытается вспомнить только что увиденный, чудесный сон, в котором ему явился Иисус Христос, ему мнится, «что сейчас возле него стоял кто-то прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы» (гл. 17).

Или пасть пса с сингватым... зевом? Или молния, ночью освещающая подробно комнату... — Годунов-Чердынцев вспоминает два ярких описания в повести Лескова «Несмертельный Голован» (1880): изображение «огромной собачьей морды в мелких пестринках — сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно напомаженном зеве» и развернутое сравнение происходящего с тем, «как при блеске молоньи среди темной ночи... вдруг видишь чрезвычайное множество предметов зараз: занавес кровати, ширму... и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магнезия».

Лев Толстой, тот был больше насчет лилового... — По предположению И. Паперно, Набокову могла быть известна книга В. Шкловского «Материал и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”» (1928), в которой (вслед за работой Н. Апостолова «Лев Толстой над страницами истории», 1928) особо отмечено использование Толстым лилового цвета как цвета условно-художественного.

«Темно-лиловый цвет, — пишет Шкловский, — попадался Толстому при необходимости что-нибудь окрасить» (И. Паперно. Как сделан «Дар» Набокова // *Н97*. С. 509–510).

...какое блаженство пройтись с грачами по пашне босиком! — Набоков отождествляет мемуарные свидетельства о привычках Толстого и его хрестоматийные изображения (например, картины Репина «На молитве» и «Толстой на пашне») с образами стихотворения Бунина «Пахарь» (1903–1906), в котором по-толстовски подчеркнут лилово-синий цвет земли. Ср.: «Так хорошо разутыми ногами / Ступать на бархат теплой борозды. // В лилово-синем море чернозема / Затерян я...» (И. А. Бунин. Собр. соч. в 6 т. Т. 1. С. 175).

«Русалка»... — В конспекте финала второго тома «Дара» — неосуществленного замысла Набокова — Годунов-Чердынцев признается Кончееву: «Меня всегда мучил оборванный хвост “Русалки”, это повисшее в воздухе, опереточное восклицание “откуда ты, прекрасное дитя”. ⟨...⟩ Я продолжил и закончил, чтобы отделаться от этого раздражения» (цит. по: А. Долинин. Загадка недописанного романа // Звезда. 1997. № 12. С. 218). Окончание «Русалки», первоначально задуманное как произведение Годунова-Чердынцева, Набоков опубликовал под своей подписью во втором номере «Нового журнала» (1942). В английском переводе «Дара» вместо «Русалки» упоминается повесть «Метель», претензии к которой Годунов-Чердынцев выскажет в «Жизнеописании Чернышевского»: «Браните же [Пушкина]... за пятикратное повторение слова “поминутно” в нескольких строках “Метели”...»

...щенок, который делает «уюм, уюм, уюм»... — Возможно, имеется в виду щенок из рассказа Чехова «Белолобый» (1895), хотя он скулит иначе: «Мня, мня... нга, нга, нга!»

...бутылка крымского... — Бутылку крымского шампанского, «довольно плохого вина», всегда ставят на стол у Кати, героини повести Чехова «Скучная история» (1889).

Гоголь? Я думаю, что мы весь состав его пропустим. — Молодой Набоков, подобно Годунову-Чердынцеву, относился к Гоголю с восхищением как к непревзойденному художнику, чьим мастерством «наслаждаться... можно без конца» (см. его ранний доклад о «Мертвых душах»: Звезда. 1999. № 4. С. 14–19). Мысль о том, что сама проза Набокова так или иначе восходит к гоголевской традиции, неоднократно варьировалась в эмигрантской критике. Г. Адамович, выделив у Гоголя «“безумную”, холостую, холодную... линию» (доминирующую, например, в повести «Нос»), причислил Сирина к ее продолжателям (Г. Адамович. Сирин // Последние новости. 4 января 1934; Его же. «Современные записки», кн. 55-я. Часть литературная // Последние новости. 24 мая 1934). По мнению П. Бицилли, гоголевские корни Набокова зна-

чительно шире: «...если духовное сродство и степень влияния определяются по “тону”, по “голосу”, — писал он, — то стоит прислушаться к “голосу” В. Сирина, особенно внятно звучащему в “Отчаянии” и в “Приглашении на казнь”, чтобы заметить, что всего ближе он к автору “Носа”, “Записок сумасшедшего” и “Мертвых душ”» (П. Бицилли. Несколько замечаний о современной зарубежной литературе // Новый град. 1936. № 11. С. 133).

Обратное превращение Бедлама в Вифлеем, — вот вам Достоевский. — Английское существительное Bedlam в значении «бедлам», «сумасшедший дом», «хаос» возникло как искажение слова Bethlehem (Вифлеем), входившего в название лондонской лечебницы для душевнобольных.

«Оговорюсь», как выражается Мортус. — Обилие вводных слов и оборотов, в том числе «оговорюсь» и «должен оговориться», — характерная черта стиля критических статей Г. Адамовича, главного прототипа Мортуса.

В Карамазовых есть круглый след от мокрой рюмки на садовом столе, это сохранить стоит... — Имеется в виду деталь во второй главе пятой книги «Братьев Карамазовых», когда Алеша приходит в беседку, где накануне встречался с Дмитрием. Разбирая художественные особенности «Братьев Карамазовых» в неопубликованном докладе «Достоевский без достоевщины» (1931), Набоков отметил изобразительное мастерство Достоевского в тех эпизодах, где появляется Дмитрий, от присутствия которого «все наполняется жизнью». Среди подобных эпизодов он особо упомянул и сцену в беседке, «стариннейшей зеленой, но почерневшей, среди кустов смородины и бузины, калины и сирени. В этой беседке с решетчатыми стенками, но крытым верхом, полуистлевшей, сырой, шаткой, стоял деревянный зеленый стол, врытый в землю, а кругом шли лавки, тоже зеленые, на которых еще можно было сидеть. На этом столе — бутылка коньяка и рюмочка. ⟨...⟩ зеленый стол в беседке является таким же полноправным гражданином романа, как и герои. Когда Алеша на другой день приходит туда же, в надежде на том же самом месте... найти Дмитрия... то беседка показалась ему почему-то гораздо более ветхой, чем вчера; на зеленом столе отпечатался кружок от вчерашней, должно быть расплескавшейся рюмки с коньяком — подробность, делающая честь зоркости писателя» (*BCNA*. Box 1, folder 4). (Подробнее об этом докладе и об отношении Набокова к Достоевскому в 1930-е гг. см.: А. Долинин. Набоков, Достоевский и достоевщина // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 38–46).

С. 258. акатники — согласно Словарю Даля, акатник — это то же, что и золотарник, многолетняя трава с желтыми цветами.

...за серый отлив черных шелков... — аллюзия на фразу в главе 14 романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»: «Как строен показался ему

ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка!» — восхищенный взгляд Аркадия Кирсанова на Одинцову, с которой он только что познакомился на балу.

...про Аксакова нечего говорить... это стыд и срам. — Имеется в виду очерк С. Т. Аксакова (1791–1859) «Собирание бабочек» (1859), который Набоков в «Других берегах» охарактеризовал как бездарнейшее сочинение, полное всякими нелепицами (см. *ДБ*. С. 207).

...лермонтовский «знакомый труп»... — Имеется в виду последняя строфа стихотворения Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...», 1841): «И снилась ей долина Дагестана: / Знакомый труп лежал в долине той; / В его груди, дымясь, чернела рана, / И кровь лилась хладеющей струей».

«загородись двойною рамою... и на дорогу не гляди» — цитата из поэмы Некрасова «Несчастные» (1856) с заменой женских окончаний в нечетных стихах (рамой — упрямой) на дактилические.

«прозвенело в померкшем лугу» — вторая строка стихотворения А. А. Фета «Вечер» («Прозвучало над ясной рекой...», 1855).

...за росу счастья... — реминисценция последней строфы стихотворения Фета «Не упрекай, что я смущаюсь...» (1891): «Уже мерцает свет, готовый / Все озарить, всему помочь, / И, согреваясь жизнью новой, / Росою счастья плачет ночь».

...за дышащую бабочку... — Имеется в виду стихотворение Фета «Бабочка» (1884): «Ты прав. Одним воздушным очертаньем / Я так мила. / Весь бархат мой с его живым миганьем — / Лишь два крыла. // Не спрашивай: откуда появилась? / Куда спешу? / Здесь на цветок я легкий опустилась / И вот — дышу. // Надолго ли, без цели, без усилья, / Дышать хочу? / Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья / И улечу».

«Как дышат края облаков...» — Цитируется строка из стихотворения К. Д. Бальмонта «Она отдалась без упрека...» (сборник «Будем как солнце», 1903).

«Облака небывалой услады» — первая строка стихотворения Блока из цикла «Распутья» (1903).

...всех пятерых, начинающихся на «Б»... — то есть пяти крупнейших поэтов Серебряного века: Бальмонта, Андрея Белого, Блока, Брюсова и Бунина. Об «упорном главенстве буквы Б в поколении так называемых символистов» писала М. Цветаева в эссе «Герой труда. Записи о В. Я. Брюсове» (1925), имея в виду те же имена за исключением враждебного символизму Бунина, место которого у нее отдано Балтрушайтису. Подобный афоризм Набоков уже использовал ранее в романе «Подвиг» (см. т. III наст. изд., с. 200 и прим.).

С. 259. ...у меня с детства в сильнейшей и подробнейшей степени audition coloree. — Имеется в виду одна из форм синестезии, так

называемый «цветной слух», или способность воспринимать буквы окрашенными в определенные цвета. Набоков передает герою свой собственный «цветной слух», о котором он подробно писал в автобиографической книге «Другие берега» (*ДБ.* С. 146–147), где приводятся цвета почти всех букв русского алфавита, в основном совпадающие с описанием Годунова-Чердынцева. Набоков отмечал также, что единозвучные буквы разных языков отличаются друг от друга цветовыми оттенками.

...с оттенками, которые ему не снились, — и не сонет, а толстый том. — Речь идет о французском поэте Артюре Рембо (1854–1891) и его знаменитом синестетическом сонете «Гласные» (1883), в котором буквы соотнесены с различными цветами.

...вату, которую изымали из майковских рам? — аллюзия на стихотворение Аполлона Николаевича Майкова (1821–1897) «Весна! выставляется первая рама —» (1854).

Buchstaben von Feuer — огненные буквы *(нем.)*. Цитата из баллады Генриха Гейне «Валтасар» (сборник «Книга песен», 1827) на ветхозаветный сюжет о пире царя Валтасара, во время которого таинственная рука начертала на стене загадочное пророчество (Даниил, 5).

...а в пятнадцать элегии, — и всё о закатах, закатах... — В юношеской книге Набокова «Стихи» (1916) встречается целый ряд банальных романсовых формул с мотивом заката: «закат умирает в мерцании», «сжигал себя закат безумием цветным», «заката бледный паж», «страстно догорало / Заката торжество» и т. п.

«И медленно, пройдя меж пьяными...» — цитата из стихотворения Блока «Незнакомка» («По вечерам над ресторанами...», 1906).

С. 260. От стихов она требовала только ямщикнегонилошадейности... — то есть ценила в поэзии лишь душещипательные романсы типа «Ямщик, не гони лошадей!» Николая Риттера на музыку Фельдмана (см.: Русский романс / Составитель В. Рабинович. М., 1987. С. 521).

...Бог знает где, Бог знает как... — В черновом варианте строфы XXXIV шестой главы «Евгения Онегина» есть аналогичная строка: «Не помню где, не помню как».

...вот этим с черного парома... вот этим я ступлю... — В «Современных записках» (Кн. LXIII. С. 84) «вот этим» выделено разрядкой.

...ведь река-то, собственно, — Стикс. — Замечание связано с тем, что выше, в первой строфе рождающегося у Годунова-Чердынцева стихотворения, была упомянута «летейская погода», в результате чего происходит смешение двух рек загробного мира в древнегреческой мифологии: реки забвения Леты и Стикса, через который Харон перевозит тени умерших.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С. 261. ...однажды, в Ордосе... вошел в основу радуги... — Ордос — плато в Китае, в северной излучине реки Хуанхэ. По свидетельству Г. Н. Потанина, путешествовавшего по восточному Ордосу, местные монголы связывают образ небесной радуги с грядущим пришествием «какого-то... богоподобного существа» (Г. Н. Потанин. Тангутско-тибетская окраина Китая и центральная Монголия. М., 1950. С. 148).

С. 264. фольмильх и экстраштарк — (от *нем.* Vollmilkh и extrastark) цельное молоко и преотличнейший (о товарах в торговой рекламе).

С. 266. ровница (или ровнитель) — сетчатый цилиндр на бумагоделательной машине для прессования и выравнивания бумажной массы.

С. 267. ...ветер грубо его обыскал... — Возможно, реминисценция стиха из поэмы Маяковского «Про это» (1923): «Был вором-ветром мальчишка обыскан».

...трамвайного тепла... — словосочетание из стихотворения Мандельштама «Вы, с квадратными окошками, невысокие дома...» (1924): «После бани, после оперы, — все равно, куда ни шло,— / Бестолковое, последнее трамвайное тепло!»

С. 268. ...кончиком пальцев... — В «Современных записках» (Кн. LXIV. С. 107): «кончиками пальцев».

...данлоповую полосу... — От названия английской фирмы «Данлоп», производящей автомобильные и велосипедные шины.

С. 269. ...идя на всех маркизах... — Маркиза — матерчатый навес над окном и балконом.

С. 272. Chemin du Pendu — Дорога повешенного (висельника) *(фр.)*. Как сообщает Набоков в англоязычном варианте своей автобиографии («Speak, Memory», 1967), в их семье так называли лесную дорогу близ Батово, имения его бабушки по отцовской линии М. Ф. Набоковой (урожден. фон Корф, 1842–1926). В начале XIX в. Батово принадлежало матери К. Ф. Рылеева, одного из пяти повешенных декабристов. Согласно преданию, Рылеев любил прогуливаться по этой дороге, откуда и пошло ее название.

С. 273. ...на бертолетовом снегу... — Имеется в виду имитация снега из бертолетовой соли.

...с особым шиком были поданы виноградины пота, катящиеся по блестящим лицам фабричных, — а фабрикант все курил сигару. — Кадры из фильма С. М. Эйзенштейна «Стачка» (1924), хрестоматийный пример параллельного монтажа.

С. 275. королларий — (от *лат.* corollarium и *англ.* corollary) дополнение, естественное следствие, положение, которое вытекает из предшествующего и потому не требует доказательств.

С. 276. ...эпитеты были поставлены позади существительных... и почему-то раз десять повторялось слово «сторожко»... — Набоков издевается над характерными особенностями орнаментального стиля, получившего широкое распространение в советской (и отчасти эмигрантской) прозе 1920-х гг., — злоупотреблением инверсиями и диалектизмами.

С. 277. ...так непрочно, / так плохо сделана луна, / хотя из Гамбурга нарочно / она сюда привезена... — Обыгрываются слова безумного Поприщина из «Записок сумасшедшего» Гоголя: «Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге, и прескверно делается».

С. 278. «Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой» — цитата из «Путешествия в Арзрум» Пушкина (гл. 2). По замечанию И. Паперно, «Путешествие в Арзрум» могло послужить для Набокова моделью использования документального материала во второй и четвертой главах «Дара», поскольку Пушкин включал в свои путевые заметки сведения, заимствованные из целого ряда литературных источников (Как сделан «Дар» Набокова. С. 498). Вопреки предположению исследователя, статья Тынянова о «Путешествии в Арзрум» (1936), в которой приводится ряд примеров «деформации» материала у Пушкина, никак не могла повлиять на повествовательную стратегию Набокова, ибо она вышла в свет уже после того, как вторая и четвертая главы романа были вчерне закончены.

fraxini — от названия крупной бабочки-ночницы: Catocala fraxini Linnaeus *(таксономич. лат.).*

...То не лист, дар Борея... — реминисценция стихотворения Пушкина «Румяный критик мой, насмешник толстопузый» (1830): «И листья на другом, размокнув и желтея, / Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея».

arborea — от названия мотылька: Epicnaptera arborea Blocker или Phyllodesma japonica arborea Blocker *(таксономич. лат.).*

С. 279. «Жатва струилась, ожидая серпа» ⟨...⟩ «то-то был он ужасен!» ⟨...⟩ «Оне сидели верхами...» — цитаты из «Путешествия в Арзрум» (гл. 1 и 2).

С. 280. ...книги Григория Ефимовича... — Имеется в виду трехтомное «Описание путешествия в Западный Китай» (1896–1907) русского географа, этнографа и энтомолога Г. Е. Грум-Гржимайло (1860–1936).

...книги великого князя... — Великий князь Николай Михайлович (1859–1919), видный ученый-историк, президент Императорского Исторического общества, занимался, кроме того, энтомологией и опубликовал девятитомный труд на французском,

английском и немецком языках «Mémoires sur les lépidoptères» (1884–1901), который Набоков назвал замечательным (*ДБ.* С. 204).

...напиши к Авинову, к Верити, напиши к немцу... Бенгас? Бонгас? — Речь идет о собирателях и исследователях бабочек: русском энтомологе и художнике Андрее Николаевиче Авинове (1884–1949; с 1917 г. жил в США), итальянском враче и лепидоптерологе Руджеро Верити (1883–1959) и совладельце немецкой фирмы, специализировавшейся на торговле коллекционными насекомыми, Отто Банг-Хаасе (1882–1948).

Тринг — английский город в 50 км от Лондона, где находится филиал Музея естественной истории, так называемый Зоологический музей Уолтера Ротшильда (по имени основателя, открывшего свои коллекции для публики в 1892 г.).

...он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина... — Сходными метафорами описывал свое отношение к Пушкину В. В. Розанов в «Опавших листьях» (см. прим. к с. 248): «Пушкин... я его *ел*. Уже знаешь страницу, сцену: и перечтешь вновь; но это — *еда*. Вошло в меня, бежит в крови, освежает мозг, чистит душу от грехов» (В. В. Розанов. Уединенное. М., 1990. С. 213).

Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный — максима из «Капитанской дочки» Пушкина (гл. 13).

Закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку... — Сравнение отсылает к биографии Пушкина, который, как пишут многие мемуаристы, любил ходить на прогулки в Михайловском с тяжелой железной палкой в руках, чтобы развивать мускульную силу (см.: *Вересаев.* Т. 1. С. 272, 276, 284, 285, 286 и др.).

Навстречу шла Каролина Шмидт... купившая кровать, на которой умер Шонинг. — Отсылка к незавершенной повести Пушкина «Мария Шонинг», основанной на документальном отчете о громком уголовном процессе в Германии по делу о детоубийстве. В статье «“Мария Шонинг” как этап историко-социального романа Пушкина» (Звенья. Вып. 3–4. М.–Л., 1934. С. 146–167) Д. Якубович показал, что Пушкин, отталкиваясь от источника, ввел в сюжет «массу оригинальных деталей»: конкретизировал образы, придумал новые эпизоды, например сцену продажи с аукциона имущества отца героини, где рядом с реальными лицами появляются вымышленные персонажи, и среди них — Каролина Шмидт, «девушка сильно нарумяненная, виду скромного и смиренного», купившая на этом аукционе «кровать, на которой умер Шонинг». Таким образом, «Мария Шонинг», вместе с «Путешествием в Арзрум» (см. прим. к с. 278) и «Капитанской дочкой», входит в ряд пушкинских текстов, по которым Годунов-Чердынцев учится работать с документальными источниками.

...похожий на Симеона Вырина смотритель, и так же стояли горшки с бальзамином. — Рассказчик повести Пушкина «Станционный смотритель», описывая свою первую встречу с героем, — тогда «человеком лет пятидесяти, свежим и бодрым», — замечает, что в его доме на окнах были «горшки с бальзамином». Набоков называет смотрителя Вырина Симеоном, потому что именно так его имя ошибочно печаталось во всех изданиях Пушкина до конца 1920-х гг. Впоследствии его заменили на правильное Самсон, по беловой рукописи и списку опечаток в первом издании «Повестей Белкина».

Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов. — Перифраз того места повести Пушкина «Барышня-крестьянка», где Алексей Берестов, придя на свидание с понравившейся ему крестьянской девушкой, «наконец... увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины».

Он находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосонья... — Переадресованная герою с помощью замены «Я» на «Он» цитата из второй главы «Капитанской дочки», где эта фраза вводит пророческий сон Гринева.

С. 281. ...откуда была Арина Родионовна, — из-за Гатчины, с Суйды... и она тоже говорила «эдак певком». — Вспоминая любимую няню Пушкина Арину Родионовну, кучер Петр из Михайловского в 1850-е гг. рассказывал: «...она ведь из Гатчины, с Суйды, там эдак все певком говорят» (*Вересаев.* Т. 1. С. 284). Суйда была главным имением Ганнибалов в Петербургской губернии, близ Гатчины.

«Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль» — цитата из стихотворения Пушкина «Художнику» (1836). Древнегреческие имена Аполлон и Ниобея одновременно являются лепидоптерическими названиями (аполлоны — это некоторые виды рода Parnassius Linnaeus; ниобея — бабочка-фритиллария Fabriciana niobe Linnaeus), что обыгрывает здесь Набоков.

С. 282. О, нет, мне жизнь не надоела... — Первые четыре стиха взяты из чернового наброска Пушкина в редакции А. Ф. Онегина, переставившего во втором стихе параллельные члены синтаксического ряда для улучшения рифмы (А. С. Пушкин. Собр. соч. Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV. СПб., 1910. С. 51). Второе четверостишие представляет собой стилизацию, основанную на зачеркнутых у Пушкина словах «Мицкевич созреет» и «роман». Выведенный на рифму глагол «упьюсь» заимствован из пушкинской «Элегии» 1930 г. (ср.: «Порой опять гармонией упьюсь»), основная мысль которой, как заметил Д. П. Якубович, исследовавший и опубликовавший набросок, близка к «О, нет, мне жизнь не надоела».

Незаконченная у Пушкина вторая строфа в небесспорной реконструкции Якубовича читается следующим образом: «Еще хранятся наслажденья / Для любопытства моего / Для милых снов воображенья / [Для чувств] всего» (см.: Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина. Труды Пушкинского Дома при Российской Академии наук. Пг., 1922. С. 80–82).

...кой-чем я сам еще займусь. — В «Современных записках» (Кн. LXIV. С. 123): «еще я сам кой-чем займусь».

экартэ — простая карточная игра для двух человек. Каждому игроку сдается по пять карт, которые в любом количестве можно заменить на карты из колоды; выигрывает тот, кто берет на свои карты три и более взяток.

кильбот — (от *англ.* keel-boat) закрытая речная баржа с килем.

С. 283. ...сорокалетним Рип-ван-Винкелем проснувшись в изменившемся Петербурге... — Имеется в виду новелла американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783–1859) «Рип-ван-Винкль» о человеке, который под воздействием колдовских чар проспал в горах 20 лет и вернулся в родную деревню уже в иную историческую эпоху.

Ольдридж Айра (1805–1867) — английский драматический актер-негр африканского происхождения, прославившийся исполнением роли Отелло. Несколько раз выступал с гастролями в России, где пользовался особой популярностью.

С. 284. Что, если это и впрямь Пушкин, грезилось мне, Пушкин в шестьдесят лет, Пушкин, пощаженный пулей рокового хлыща... — В неопубликованном докладе о Пушкине конца 1920-х — начала 1930-х гг. Набоков писал: «И снова возвращается мысль к погибельной его судьбе, к быстротечности его жизни, и хочется предаться пустой грезе, — что было бы, если бы... Что было бы, если бы и эта дуэль окончилась благополучно? Но разве можно представить себе Пушкина седым, с седыми бакенбардами, Пушкина в сюртуке шестидесятых годов, степенного Пушкина, старого Пушкина, дряхлого Пушкина. Что ждет его на склоне лет, — мрачные тени бесталанных Писаревых и Чернышевских, или, быть может, прекрасная дружба с Толстым и Тургеневым? Но есть что-то соблазнительное и кощунственное в таком гадании...» (*BCNA*. Box 6, album). Сцена с пушкинским «двойником» несколько напоминает финальный эпизод новеллы Мих. Осоргина «Человек, похожий на Пушкина», в которой рассказывается о московском чиновнике, отмеченном поразительным сходством с молодым Пушкиным. Много лет спустя, «в дни революции, разрухи и московского голода», рассказчик сталкивается «с человеком странного вида, толстогубым, с полуседыми редкими кудрявыми баками, в легкой вызеленевшей крылатке» и узнает в нем постаревшего «двойника»: «Но вот что, помню, пришло мне тогда в голову. Пушкина

мы все знаем по его молодым портретам, и умер он молодым. Мне же, — и тут смеяться нечему! — удалось видеть его старым и несчастным. Потому что ведь сходство то, столь разительное, сохранилось бы и в старости!» (Последние новости. 11 июня 1930. Цит. по: Тайна Пушкина. Из прозы и публицистики первой эмиграции. М., 1998. С. 105–115).

С. 285. ...по 1917 год... — В «Современных записках» (Кн. LXIV. С. 127): «по 1914 год».

...4 тома из предполагавшихся 6-ти, 1912–1916 гг. — В «Современных записках» (там же): «5 томов из предполагавшихся 12-ти, 1903–1916 гг.».

Фишер фон Вальдгейм Готхельф (1771–1853) — немецкий натуралист и энтомолог, приглашенный на работу в Россию, профессор Московского университета.

Менетриэ — Менетрие Эдуар (1802–1861) — французский врач и энтомолог, собравший большую коллекцию бабочек для Российской Академии наук и переехавший в Петербург, где он служил главным хранителем академического музея.

Эверсман Эдуард Фридрих (1794–1860) — врач и естествоиспытатель немецкого происхождения, профессор зоологии и ботаники Казанского университета, автор ряда статей о бабочках Поволжья и Урала.

Холодковский Николай Александрович (1858–1921) — видный ученый-зоолог, известный также своим переводом «Фауста» Гёте и ряда других поэтических произведений.

Шарль Обертюр (1845–1924) — французский энтомолог, издатель научных сборников «Энтомологические исследования» (1876–1902) и «Исследования по сравнительной лепидоптерологии» (1904–1925).

...вел. кн. Николая Михайловича... — См. прим. к с. 280.

Лич Джон Хенри (1862–1900) — английский энтомолог, исследователь бабочек Китая, Японии и Кореи.

Зайтц Адальберт (1860–1938) — немецкий зоолог и лепидоптеролог; главный редактор и ведущий автор многотомного энциклопедического издания «Бабочки Земли», которое выходило в Штутгарте с 1906 по 1954 г. и осталось незаконченным.

С. 286. «Austautia simonoides n. sp., a Geometrid moth mimicking a small Parnassius» (таксономич. лат. и англ.) — первые два слова в заглавии статьи — латинское название описываемой бабочки (n. sp. — принятое сокращение, означающее «новый вид»); далее следует ее краткое энтомологическое описание: «Мотылек геометрида, принимающий защитную окраску мелкой разновидности бабочки *Parnassius*». По замечанию Д. Циммера, с научной точки зрения это заглавие заведомо абсурдно и представляет собой шутливый отклик на спор вокруг чрезвычайно редкого вида

бабочек *Parnassius*, описанного швейцарским энтомологом Жюлем Леоном Осто (Austaut, 1844—1929) на основании изучения лишь одного экземпляра, относящегося к особому подвиду (подробнее см.: Les Papillons de Nabokov. P. 69—70). С другой стороны, сами значения латинских названий позволяют интерпретировать эту научную шутку и как намек на лежащую в основе романа «мимикрирующую» позицию его подразумеваемого автора (мастера-«Геометра»), который притворяется «парнасцем» иного вида.

Trans. Ent. Soc. London — «Труды лондонского энтомологического общества» *(англ., сокр.)*. Научный журнал, выходивший с 1834 по 1932 г.

...полемизировал со Штаудингером, автором пресловутого «Katalog». — Имеется в виду немецкий энтомолог и торговец коллекционными насекомыми Отто Штаудингер (1830—1900), составивший «Каталог чешуекрылых палеарктической зоны» (Catalogs der Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebiets, 1861, второе изд. 1901), в котором была использована упрощенная и научно несостоятельная система номенклатуры. О недостатках школы Штаудингера Набоков подробнее писал в *ДБ* (С. 204—205). В «Современных записках» (Кн. LXIV. С. 127): «Catalog».

С. 287. ...скалы Гаварни... — Имеется в виду так называемый Цирк Гаварни (Cirque de Gavarnie, по названию близлежащей французской деревушки), естественный амфитеатр среди живописных скал в Центральных Пиренеях, близ франко-испанской границы.

«Une Vie» — «Жизнь» (1883), роман Ги де Мопассана.

С. 288. ...заячий тулупчик из «Капитанской Дочки»... — то есть подобный тому заячьему тулупу, который Гринев в «Капитанской дочке» дарит Пугачеву (гл. 2). Этот начальный дар приводит в действие весь сюжетный механизм пушкинского романа, строящийся на ситуациях взаимного обмена дарами и расплаты, и в конечном счете вознаграждается судьбой. В главной теме «Дара» видны явственные параллели к теме судьбоносного дарения в «Капитанской дочке», чем, очевидно, и мотивируются многочисленные аллюзии на нее в тексте (см. также прим. к с. 191, 280).

Tartarin de Tarascon — Тартарен из Тараскона, главный герой трилогии французского писателя Альфонса Доде (1840—1897) — хвастун, фанфарон, горе-путешественник.

С. 289. ...вдоль цельных окон... — реминисценция стиха из «Евгения Онегина»: «По цельным окнам тени ходят» (1, XXVII).

С. 290. ...Гаральд, который дрался со львами на Цареградской арене... — Имеется в виду норвежский конунг Гаральд III (1015—1066). В юности он был вынужден бежать из родной страны; служил в Византии, в Новгороде, в Киеве, где женился на Елизавете, дочери князя Ярослава; воевал в Италии, Палестине,

Малой Азии, Англии, Северной Африке; в русской литературе он известен главным образом по балладе А. К. Толстого «Песня о Гаральде и Ярославне» (1869).

С. 290–291. очаровательный ляпсус, сделанный компиляторшей (некой госпожой Лялиной), которая... приняла, видимо, солдатскую прямоту слога в одном из его писем за орнитологическую деталь... — Набоков точно цитирует книгу М. А. Лялиной «Путешествие Н. М. Пржевальского в Восточной и Центральной Азии» (изд. 2-е. СПб., 1898. С. 87). «Компиляторша» действительно не поняла, что Пржевальский имел в виду дефекацию, когда 14 января 1871 г. писал М. П. Тихменеву из Пекина: «Грязь и вонь невообразимые, так как жители обыкновенно льют все помои на улицу, и, сверх того, здесь постоянно можно видеть, идя по улице, сидящих орлом то справа, то слева» (Н. Ф. Дубровин. Николай Михайлович Пржевальский. Биографический очерк. СПб., 1890. С. 109).

С. 291. ...Х. В. Барановского — в нем было что-то пасхальное... — О Пасхе прежде всего напоминают инициалы генерала: Х. В. = Христос Воскрес.

митенки — (от *фр.* mitaine) женские перчатки без пальцев.

Живо бери рампетку... — В «Современных записках» (Кн. LXIV. С. 134): «карпетку», — видимо, опечатка.

С. 291–292. ...басню Флориана о... нарядном пти-метре мотыльке. — В басне «Сверчок» французского поэта и писателя Жана Пьера Клари де Флориана (1755–1794) яркая бабочка Пти-метр (*фр.* «Щеголь») гибнет из-за своего легкомыслия.

С. 292. ...книгу Фабра... — французский энтомолог Жан Анри Фавр (1829–1915) был автором популярных книг «Жизнь насекомых» в десяти томах, «Инстинкты и нравы насекомых» и мн. др.

Верный — старое название Алма-Аты.

С. 293. шартрез — сорт ликера.

С. 294. ...мышиный писк нашей адамовой головы... — Упоминание о бабочке адамова, или мертвая голова (Acherontia atropos Linnaeus), с энтомологической точки зрения вполне корректное, исподволь отсылает к критику Мортусу (см. прим. к с. 257) и к его прототипу Адамовичу. Как отметил Дж. Малмстад, это отождествление выясняется из Словаря Даля: «*Адамова-голова, мертвая* голова, т. е. человеческий череп; ⟨...⟩ Самый большой сумеречник, бабочка *мертвая голова*, Sphinx Caput mortuum, на спинке которой виднеется изображение человеческого черепа» (Из переписки В. Ф. Ходасевича. С. 286). На той же игре построены и прямо обращенные к Адамовичу инвективы в стихотворении-мистификации Набокова «Из Калмбрудовой поэмы “Ночное путешествие” (1931): «Бедняга! Он скрипит костями, / бренча на лире жестяной; / он клонится к могильной яме / адамовою головой» (т. III наст. изд. С. 669).

...эволюциониста, наблюдавшего питающихся бабочками обезьян... — Как установил В. Александров, речь здесь идет об экспериментах английского энтомолога-дарвиниста Дж. Д. Хейла Карпентера, описанных в его книге: G. D. Hale Carpenter. Mimicry. L., 1933. Пытаясь подтвердить эволюционную теорию мимикрии, Карпентер кормил разными бабочками двух молодых обезьян и фиксировал их реакцию на различные виды защитной окраски (см.: V. Alexandrov. A Note on Nabokov's Anti-Darwinism, or Why Apes Feed on Butterflies in *The Gift* // Freedom and Responsibility in Russian Literature. Papers in Honor of Robert Louis Jackson. Evanston, Ill., 1995).

...«крашеная дама» англичан, «красавица» французов... — Бабочка репейница (Vanessa cardui Linnaeus) по-английски называется Painted Lady, а по-французски — la Belle-dame.

С. 295. Гельголанд — остров в Северном море, в 45 км от побережья Германии.

Одновременно с англичанином Tutt... — Имеется в виду английский лепидоптеролог Джеймс Уильям Татт (1858–1911), автор четырехтомной «Естественной истории британских чешуекрылых» (1899–1904).

С. 296. Линней Карл (1707–1778) — знаменитый шведский естествоиспытатель, создатель научной номенклатуры флоры и фауны.

Свен Гедин (1865–1952) — шведский путешественник, этнограф и натуралист, исследователь Тибета, Индии и Китая.

С. 297. ...на стоянках упражнялся в стрельбе, что служило превосходным средством против всяких приставаний. — Перед началом третьего путешествия Пржевальского, во время трехнедельной стоянки в Зайсане, члены его экспедиции ежедневно упражнялись в стрельбе (Н. М. Пржевальский. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. СПб., 1883. С. 8). О подобных стрельбах на походных стоянках упоминает и П. К. Козлов (см. прим. к с. 251) в отчете о путешествии 1907–1909 гг. во внутреннюю Азию: «...В хорошие, ясные дни, когда солнце уже склонялось к закату и становилось прохладнее, мы нередко упражнялись в стрельбе из винтовок. ⟨...⟩ Наша стрельба привлекала любопытство местной публики, состоящей из монголов и китайцев» (П. К. Козлов. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото. М., 1948. С. 119).

...неслыханно свободно путешествуя по запретным местам Тибета, в непосредственной близости Лхассы, он не осмотрел ее... — Отказ Годунова-Чердынцева от посещения открытой для него священной столицы Тибета Лхассы инвертирует ситуацию, возникшую во время третьего путешествия Пржевальского, когда его караван был остановлен на пути в Лхассу и ему пришлось

«с грустным чувством» повернуть назад (см.: Н. Ф. Дубровин. Николай Михайлович Пржевальский. С. 327).

С. 298. ...где-то на страшной высоте... — Возможно, отголосок стихотворения Мандельштама «На страшной высоте блуждающий огонь» (1918) из сборника «Tristia».

«монте-кристо» — духовое ружье.

С. 299. ...дожидаться лета... — В «Современных записках» (Кн. LXIV. С. 142): «дождаться лета».

...мой отец знает кое-что такое, чего не знает никто... — Ср. многократно повторенное восклицание Цинцинната Ц. в «Приглашении на казнь»: «Я кое-что знаю. Я кое-что знаю».

...Марко Поло покидает Венецию. — Марко Поло (1254–1324) — венецианский купец, совершивший знаменитое путешествие через всю Азию и 17 лет проживший в Китае. Книга об этом путешествии была записана с его слов тосканским писателем Рустикелла да Пиза и дошла до наших дней в нескольких версиях и под различными заглавиями («О многообразии мира», «О чудесах мира», «Миллион», «Путешествия Марко Поло»). В кабинете Годунова-Чердынцева висела копия с миниатюры на фронтисписе рукописной книги конца XIV в. (хранится в Bodleian Library, Оксфорд).

...снаряжение отцовского каравана в Пржевальске... — Годунов-Чердынцев начинает путешествие из того же пункта, откуда сам Пржевальский должен был отправиться в свое пятое путешествие и где он неожиданно умер от брюшного тифа. Ранее город назывался Каракола и был переименован после кончины Пржевальского для увековечения его памяти. В описании подготовки к путешествию Набоков следует за отчетом известного исследователя Центральной Азии, помощника и ученика Пржевальского, Всеволода Ивановича Роборовского (1856–1910) о его экспедиции 1893–1895 гг., которая также отправлялась из Пржевальска (см.: *Р49.* С. 38–39).

...после панихиды на берегу озера у могильной скалы Пржевальского, увенчанной бронзовым орлом... — На могиле Пржевальского, похороненного на берегу озера Иссык-Куль, был поставлен памятник по проекту А. А. Бильдерлинга, изображающий скалу, на вершине которой сидит большой бронзовый орел. Как сообщает Роборовский, перед выходом в путь его экспедиции все ее участники посетили могилу «незабвенного учителя нашего» (*Р49.* С. 41).

С. 299–300. ...между холмами райски-зеленой окраски, столько же зависящей от их травяного покрова, кипца, сколько от яблочно-яркой породы, эпидотового сланца, слагающей их. — Эти холмы Грум-Гржимайло наблюдал не в начале, а в самом конце своего путешествия, спустившись в предгорья Тянь-Шаня. В его описании

Набоков изменил всего несколько слов, введя важный мотив входа в рай. (Ср.: *ГГ.* С. 603.)

С. 300. Далее я вижу горы: хребет Тянь-Шань. В поисках перевалов... караван поднимался по кручам, по узким карнизам... и вверх, вверх по едва проходимым тропам. — Поискам перевала через Тянь-Шань посвящена отдельная глава книги Грум-Гржимайло «Описание путешествия в Западный Китай», откуда Набоков заимствовал целый ряд подробностей (см.: *ГГ.* С. 61, 69, 75–76).

...наполнялась грудь и голова... — В «Современных записках» (Кн. LXIV. С. 145): «наполнялись грудь и голова».

С. 301. ...младший урядник Семен Жаркой, например, или бурят Буянтуев... — Набоков использует реальные фамилии участников нескольких экспедиций по Центральной Азии. Семен Жаркой входил в состав отряда Пржевальского во время его последнего путешествия, а затем участвовал в экспедициях М. В. Певцова и П. К. Козлова. В списке отряда В. И. Роборовского младший урядник Семен Жаркой значится рядом с казаком Гантыпом Буянтуевым (*Р49.* С. 40).

тань — постоялый двор *(кит.)*.

С. 303. ...наш караван... вышел в каменистую пустыню. — Последующее описание основано на нескольких источниках, в которых рассказывается о переходах через различные участки безводной Хамийской пустыни. (См.: Н. М. Пржевальский. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. С. 84–92; *ГГ.* С. 289–293, 329–330; *Р49.* С. 114–116, 132–136.)

...испещренной там и сям налетами грязного снега да выцветами соли, которые мы принимали издали за стены искомого города. — Ср.: «проводник... всматривался вперед, точно ждал, что вот-вот вынырнут перед нами из темноты стены [города] Куфи. Того же ждали и мы, не раз принимая снеговые наметы и выцветы соли за эти стены» (*ГГ.* С. 330).

Дорога была опасна вследствие страшных бурь... Из-за этих бурь поверхность земли изменилась невероятно, представляя диковинные очертания каких-то замков, колоннад, лестниц; или же ураган выдувал котловину... — Ср.: «Нам... говорили много страстей про эту дорогу, пустынную и опасную, вследствие безводья и ее страшных бурь, которые производят невероятные изменения в поверхности земли, представляющей фантастические формы гигантских зданий, замков, обелисков и пр. и выдутые... обширные котловины» (*Р49.* С. 114–115).

Но бывали и дни чудного затишья, когда мимическими трелями заливались рогатые жаворонки... — Ср.: «Когда же днем случалось затишье... солнце грело ощутительно и жаворонки пели по-весеннему» (П. К. Козлов. Русский путешественник в Центральной Азии. Избранные труды. М., 1963. С. 301). Набоков, видимо,

спутал рогатого жаворонка (совр. лат. назв.: Elemophila alpestris; у Пржевальского и Козлова Otocoris albigula или Otocorys penicillata), обитающего в пустыне Гоби, а также в предгорьях Тянь-Шаня и часто упоминаемого у всех путешественников, с монгольским жаворонком (Melanocorypha mongolica), о котором писал Пржевальский в книге «Монголия и страна тангутов»: «Монгольский жаворонок — лучший певун центральноазиатской пустыни. В этом искусстве он почти не уступает своему европейскому собрату. Кроме того, он обладает замечательной способностью передразнивать голоса других птиц и часто вклеивает их в строфы своей собственной песни» (М., 1946. С. 55).

Нападали, бывало, тангуты — в бараньих шубах и красно-синих, шерстяных сапогах... — Тангутами в этнографической литературе конца XIX — начала XX в. обычно называли северотибетские племена. О нападениях разбойников-тангутов на экспедиционный отряд рассказывает Пржевальский в книге «От Кяхты на истоки Желтой реки» (С. 119—121; там же, на с. 103, см. описание традиционной тангутской одежды: баранья шуба и сапоги из цветной шерстяной ткани).

С. 303—304. Бывали и миражи... видения воды стояли столь ясные, что в них отражались соседние, настоящие скалы! — Эту подробность Набоков взял из книги Пржевальского «Монголия и страна тангутов». Ср.: «Мираж, как злой дух пустыни, почти каждодневно являлся перед нами и до того обманчиво представлял волнующуюся воду, что в ней совершенно ясно отражались даже скалы соседних холмов» (С. 301).

С. 304. Далее шли тихие гобийские пески, проходил бархан за барханом, как волны, открывая короткие охряные горизонты, и только слышалось среди бархатного воздуха тяжелое, учащенное дыхание верблюдов да шорох их широких лап. То поднимаясь на гребень барханов, то погружаясь, шел караван... — Близкий к источнику пересказ фрагмента книги П. К. Козлова (см. прим. к с. 251) «Монголия и Кам»: «В общем пески тихи, монотонны, безжизненны. Целыми днями идешь среди бесконечного песчаного моря: бархан за барханом, словно гигантские волны, встают перед глазами усталого путника, открывая короткие, желтые горизонты. ⟨...⟩ Животной жизни также не видно и не слышно; слышится только тяжелое, учащенное дыхание верблюдов да шорох их широких лап. Красивой гигантской змеей извивается по пескам верблюжий караван, то поднимаясь на гребни барханов, то погружаясь между их капризных скатов» (М., 1948. С. 92).

Пятикаратный алмаз Венеры на западе исчезал вместе с вечерней зарей, которая все искажала бланжевым, оранжевым, фиолетовым светом. — Источник этой фразы — рассказ Пржевальского о великолепных вечерних зорях, которые он наблюдал в Гобийской

пустыне в ноябре и декабре 1883 г. Пржевальский отмечает удивительную смену цветов на небе от ярко-бланжевого к фиолетовому и ярко-оранжевому и добавляет: «Среди изменяющихся переливов света на западе ярко, словно бриллиант, блестела Венера, скрывавшаяся за горизонт почти одновременно с исчезанием зари... Почти все это время дивная заря отбрасывала тень и особенным, каким-то фантастическим светом освещала все предметы пустыни» (Н. М. Пржевальский. От Кяхты на истоки Желтой реки. С. 39). *Бланжевый* — см. прим. к с. 68.

...американцев Сахтлебена и Аллена, невозмутимо совершавших спортивную поездку через всю Азию в Пекин. — Возможно, мистификация, так как никаких сведений об этих путешественниках обнаружить не удалось.

Весна ждала нас в горах Нань-Шаня. — Нань-Шань — горная система в Центральной Азии, между пустыней Гоби и Цайдамской котловиной. Этот район, среди прочих, исследовала экспедиция Г. Е. Грум-Гржимайло, чей маршрут до озера Куку-нор повторяет здесь Годунов-Чердынцев. Рассказ о данном отрезке пути у Набокова в большой степени представляет собой монтаж цитат и перифраз отдельных пассажей из книги Грум-Гржимайло.

...журчание воды в ручейках... «масса звуков, происхождение которых трудно себе объяснить»... — Не только взятая в кавычки фраза, но и все предшествующее ей описание весны в горах Нань-Шаня взяты у Грум-Гржимайло. Ср.: «Журчание воды в ручейках, издалека несшийся грохот реки, свист пищух, встревоженных нашим приближением, прелестное пение жаворонка, и масса звуков, происхождение коих трудно себе объяснить, все это настоятельно говорило теперь об идущей нам навстречу весне» (*ГГ.* С. 407).

потанинская разновидность бутлеровой белянки — разновидность бабочки Pieris butleri var. potanini Alph, впервые описанная русским путешественником-натуралистом Григорием Николаевичем Потаниным (1835–1920). Имея ее в виду, Грум-Гржимайло пишет о том, как во время перехода через Нань-Шань отстал от каравана «ради ловли первой в этом году интересной бабочки» (*ГГ.* С. 406).

газель Пржевальского — разновидность, открытая и описанная Пржевальским. Как сообщает Грум-Гржимайло, именно в горах Нань-Шаня «нашими казаками была... убита первая антилопа — Gazella przewalskii Buchner» (*ГГ.* С. 414).

фазан Штрауха — новый вид, открытый Пржевальским и названный им в честь видного русского зоолога, академика А. А. Штрауха (1832–1893). Грум-Гржимайло отмечает, что на южных склонах Нань-Шаня ему удалось добыть фазана Штрауха высоко в горах (*ГГ.* С. 418).

...фантастические очерки фанз, светающие скалы... Точно в пучину, уходит река во мглу предутренних сумерек... — Набоков следует здесь за пространным описанием раннего утра в долине реки Чи-ю-хэ у Грум-Гржимайло, рисующего «реку, которая тут же, на глазах, исчезает, точно в пучине, в сумраке раннего утра, еще царствующего в ущелье» и туман, «который придает фантастические очертания разбросанным вдоль реки фанзам» (*ГГ.* С. 362).

...уже проснулось на ивах у мельницы целое общество голубых сорок. — Ср.: «Здесь в деревне, у мельницы, мы встретили целое общество красивых голубых сорок» (*ГГ.* С. 419).

С. 304–305. В сопровождении человек пятнадцати пеших китайских солдат, вооруженных алебардами и несущих громадные, дурацки яркие знамена, мы пересекли множество раз хребет по перевалам. — Ср.: «Караван наш в этот день представлял внушительное и оригинальное зрелище: человек пятнадцать китайских пеших солдат, фитильные ружья, алебарды и пики, штук десять развернутых громадных красных и желто-синих знамен...» (*ГГ.* С. 407).

С. 305. Несмотря на середину лета, там ночью стоят такие морозы, что утром цветы подернуты инеем и становятся столь хрупкими, что ломаются под ногами... — Этот феномен отметил Роборовский, писавший, что в горах Нань-Шаня некоторые альпийские растения «каждое утро замерзают... и иногда покрываются инеем. На утреннем морозе они ломаются и крошатся под ногами, но лишь их обогреет солнце, они снова оживают и принимают свежий, бодрый вид» (*Р49.* С. 213).

...прыскали из-под ног кузнечики, собаки бежали, высунув языки, ища защиты от зноя в короткой тени, бросаемой лошадьми. — Ср.: «...прыскают в стороны кузнечики... Лошади идут уже в мыле, собаки бегут, высунув языки, тщетно ища защиты от зноя в короткой тени, бросаемой лошадьми...» (*ГГ.* С. 530–531).

Вода в колодцах пахла порохом... — И. Паперно усматривает здесь отголосок пушкинской фразы из «Путешествия в Арзрум»: Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой» (Как сделан «Дар» Набокова. С. 498).

Деревья казались ботаническим бредом: белая с алебастровыми ягодами рябина или береза с красной корой! — Имеются в виду древесные породы Тэтунгских лесов восточного Нань-Шаня, упомянутые у Пржевальского: «*Рябина гималайская* (Sorbus microphilla) с белыми, алебастрового цвета ягодами» и «*береза* (Betula Bhojpattra) с буровато-красною опадающею корою, которую тангуты употребляют для заверток вместо бумаги» (Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. С. 410, 409; те же сведения в его кн.: Монголия и страна тангутов. С. 204–205).

...отец смотрит с высокого отрога, с гольцев Танегмы, на озеро Куку-Нор — огромную площадь темно-синей воды. Там, внизу, в золотистых степях, проносится косяк киангов, а по скалам мелькает тень орла; наверху же — совершенный покой, тишина, прозрачность... — Куку-нор — крупнейшее озеро Тибета, расположенное на высоте 3200 м. Его посещали и описывали многие русские путешественники (см., например: Н. М. Пржевальский. Монголия и страна тангутов. С. 233–342; П. К. Козлов. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото. С. 178–210 и др.), но Набоков здесь следует в основном за Грум-Гржимайло. Ср.: «Озеро Куку-Нор... я увидел... поднявшись на высокий отрог Южно-Кукунорских гор, известных у тибетцев под названием Танегма. Огромная площадь темно-синей воды резко выделялась на золотисто-зеленом фоне степи... В общем, величественная картина, которая много выигрывала от необыкновенно прозрачного воздуха и совершенно ясного неба... я совершил экскурсию в горы и... поднялся до гольцов Танегмы... мы совершенно неожиданно столкнулись с шедшим нам навстречу косяком диких ослов-киангов» (*ГГ.* С. 479–481). «Теневой» мотив орла и скал напоминает о надгробии Пржевальского (см. прим. к с. 299), который ранее проходил те же места.

кавалер Эльвеза — редчайшая бабочка, названная по имени английского ботаника и зоолога Генри Джона Эльвеза (1846–1922).

...большие рога двадцати диких яков, застигнутых при переправе внезапно образовавшимся льдом... — Эту красочную небылицу со всеми подробностями Набоков заимствовал из книги французского миссионера и путешественника Эвариста Гюка (1813–1860) «Воспоминания о путешествии в Татарию, Тибет и Китай в 1844, 1845 и 1846 годах» (Evariste Huc. Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, Tibet et Chine pendant les années 1844, 1845, 1846). См. англ. перевод У. Хазлитта: M. Huc. Travels in Tartary, Thibet, and China, During the Years 1844–5–6. Second Edition. L., n. d. Vol. 2. P. 119–120.

С. 306. ...отблеск пламени... — В «Современных записках» (Кн. LXV. С. 5) слово «отблеск» выделено разрядкой.

Нередко приходилось идти напролом, не слушая китайских застращиваний и запрещений: умение метко стрелять — лучший паспорт. — Перефразируются слова Пржевальского: «Умение хорошо стрелять... наилучший из всех китайских паспортов. Не будь мы отлично вооружены... мы не могли бы идти напролом... не слушая китайских стращаний и запрещений» (Н. М. Пржевальский. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. С. 8).

Татцьен-лу — Tatsien-lu — английская и французская транслитерация старого (до 1913 г.) названия китайского города Кьянг-

Тинг в провинции Сычуань, близ границы с Тибетом (у Пржевальского — Да-дзянь-лу; см. его: Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. С. 176. Прим. 1; у Роборовского — Дар-чан-до или Да-дзян-лу, см.: *Р49*. С. 290). В Татцьен-лу закончил свое путешествие через Тибет Эварист Гюк (см.: М. Huc. Travels in Tartary, Thibet, and China. Vol. 2. P. 302).

...собирали для своих корыстных нужд китайский ревень... — О сборе лекарственного ревеня (Rheum palmatum) см.: Н. М. Пржевальский. Монголия и страна тангутов. С. 206–208.

Все врут в Тибете: дьявольски трудно было добиться точных названий мест и указания правильных дорог... — Как писал Пржевальский, все обитатели Северного Тибета, с которыми ему приходилось иметь дело, «люди без всякой совести и поголовные обманщики» (Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. С. 258).

С. 306–307. Всюду на гранитных глыбах можно было прочесть «мистическую формулу» — шаманский набор слов, который иные поэтические путники «красиво» толкуют как: о, жемчужина в лотосе, о! — О священной буддистской формуле, высеченной на «гранитных глыбах» в ущелье реки Кырчумак, пишет Грум-Гржимайло, оспаривая ее перевод, впервые предложенный французским исследователем Габэ в 1847 г. (*ГГ*. С. 587; полный текст соответствующего примечания и фотографии см.: Г. Е. Грум-Гржимайло. Описание путешествия в Западный Китай в 3 т. СПб., 1896–1907. Т. III. С. 213).

С. 307. Ко мне высылались из Лхассы какие-то чиновники, заклинавшие меня о чем-то, грозившие чем-то... — Когда отряд Пржевальского был задержан в Тибете, где были распущены слухи, будто бы тайной целью русских являлось похищение Далай-ламы, к нему были высланы чиновники из Лхассы, умолявшие путешественников повернуть назад (см.: Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой реки. С. 273–277).

Я видел с большой высоты темную болотную котловину... да так и называлась она: Звездная Степь. — Изобилующую ключами «болотистую котловину» Одон-тала, что в переводе с монгольского означает «звездная равнина» или «звездная степь», упоминает Пржевальский в книгах «Монголия и страна тангутов» (С. 252) и «От Кяхты на истоки Желтой реки» (С. 81–82). Как он уточняет, название дано ей «по случаю многочисленных родников, бьющих из-под земли и похожих, для смотрящего с высоты, на звезды, рассеянные по небосклону» (От Кяхты на истоки Желтой реки. С. 81).

Тарым... образует обширное тростниковое болото, нынешний Кара-Кошук-Куль, Лоб-Нор Пржевальского, — и Лоб-Нор ханских времен, — что бы ни говорил Ритгофен. — Речь идет об озере

в пустыне, образованном рекой Тарим, которое открыл Пржевальский во время своего второго центральноазиатского путешествия. Он отождествил его с озером Лоб-нор, известным по древним китайским источникам, что вызвало длительную и оживленную полемику в научной литературе. Пржевальскому возражал немецкий географ и геолог, барон Фердинанд Пауль Вильгельм фон Рихтгофен (1833–1905), указавший, что, согласно данным истории и китайской географии, исторический Лоб-нор должен находиться не там, где его нашел Пржевальский. Кроме того, он отметил, что истинный Лоб-нор, упомянутый в древних источниках, имеет соленую воду, тогда как Лоб-нор Пржевальского — пресную. Во время четвертого путешествия Пржевальский снова посетил Лоб-нор, а в дальнейшем его изучали М. В. Певцов, П. К. Козлов, Свен Гедин и другие путешественники, так и не пришедшие к единому мнению по поводу местонахождения исторического озера. Наиболее последовательно в защиту гипотезы Пржевальского выступил П. К. Козлов, посвятивший этому вопросу специальную статью «Лоб-нор» (Известия Русского Географического общества. Т. 34. Вып. 1. СПб., 1898. С. 60–116) и значительную часть своего «Отчета помощника начальника экспедиции... совершенной в 1893–1895 годах под начальством В. И. Роборовского» (см.: П. К. Козлов. Русский путешественник в Центральной Азии. С. 198–208). По его заключению, озеро, известное под современным местным наименованием Кара-кошун-куль, «есть не только Лоб-нор незабвенного моего учителя Н. М. Пржевальского, но и древний, исторический, настоящий Лоб-нор китайских географов» (там же. С. 208).

Как-то весной я в пять дней объехал его. ⟨...⟩ Кочковатый солончак был усеян раковинами моллюсков. — Здесь Набоков опирается на сведения о Кара-кошун-куле (Лоб-норе), приведенные в книге М. В. Певцова «Путешествие в Кашгарию и Кун-Лунь». «Кунчикан-бек, — сообщает Певцов, — объехавший все озеро вокруг, передавал мне, что он пробыл в пути ровно пять дней... По удостоверению этого бека, оно окружено необозримым кочковатым солончаком... покрытым местами раковинами» (М., 1949. С. 229). Чуть ниже уточняется, что это «раковины пресноводных моллюсков» (там же. С. 231).

Вечерами, при полном безмолвии, доносились стройные мелодичные звуки лебяжьего полета; желтизна камыша особенно отчетливо выделяла матовую белизну птиц. — К описанию, основанному на материале из книги Певцова, Набоков «приклеивает» слегка измененную цитату из рассказа П. К. Козлова о следовании южным берегом Лоб-нора. Ср.: «Вечером, при полном безмолвии вокруг, слышались стройные, мелодичные звуки лебяжьего полета. Фон желтого камыша резко выделял матовую белизну птиц»

(П. К. Козлов. Русский путешественник в Центральной Азии. С. 209).

В сих местах в 1862 году полгода прожило человек шестьдесят староверов с женами и детьми, после чего ушли в Турфан, а куда девались затем — неизвестно. — Набоков следует за рассказом о пребывании русских староверов на Лоб-норе в книге Пржевальского «От Кульджи на Тянь-Шань и на Лоб-нор» (М., 1947. С. 57–58).

Далее — пустыня Лоб: каменистая равнина, ярусы глинистых обрывов, стеклянисто-соленые лужи... — Годунов-Чердынцев возвращается той же древней (и давно не существующей) дорогой через пустыню Лоб, по которой некогда, — в обратном направлении, из города Лоб в оазис Са-чжоу, — прошел караван Марко Поло. Одним из немногих европейцев, проделавшим часть этого пути в конце XIX в., был П. К. Козлов, описавший в своем «Отчете» маршрут по «каменистой равнине» к солончаку с «песчано-глинистыми обрывами» и кое-где разбросанными «лужами горько-соленой воды» (П. К. Козлов. Русский путешественник в Центральной Азии. С. 210).

пьерида Роборовского — бабочка Pieris deota de Niceville, одно время называвшаяся Pieris roborowskii, в честь В. И. Роборовского (см. прим. к с. 299 и др.). Упоминание о ней служит сигналом, указывающим на имя начальника той экспедиции, чьим материалом Набоков пользуется в данном абзаце.

С. 308. В этой пустыне сохранились следы древней дороги, по которой за шесть веков до меня проходил Марко Поло: указатели ее, сложенные из камней. — Слегка измененная фраза П. К. Козлова: «Местами, на каменистой равнине, прекрасно сохранились следы древней дороги, по которой некогда проходил Марко Поло; остались также и ее указатели, сложенные из камней» (П. К. Козлов. Русский путешественник в Центральной Азии. С. 210).

...я видел и слышал то же, что Марко Поло... — В «Путешествиях Марко Поло» (см. прим. к с. 299) рассказывается о том, что во время перехода через пустыню Лоб путешественники слышат голоса духов, увлекающие их в сторону от дороги, а также звуки музыкальных инструментов и барабанов (см.: Путешествия Марко Поло. СПб., 1902. С. 73). Подобные же рассказы местных жителей о таинственных голосах и звуках в пустыне, отманивающих путешественников от дороги и от воды, приводит Роборовский (*Р49.* С. 124). Г. Н. Потанин свидетельствует: «Китайские путешественники, пересекавшие пустыню, иногда рассказывают басню о разговоре духов, который они слышали при этом случае. Эти рассказы, кажется, небезосновательны. Когда мы в полдень, во время сильной жары, проходили пространство между холмами Шюбугур и урочищем Кобден-оботу, я и жена моя испытывали ощущение,

как будто до нас доносился откуда-то разговор людей в виде неясной речи» (Г. Н. Потанин. Тангутско-тибетская окраина Китая... С. 513).

...он же ответствовал, что не поведал и половины виденного на самом деле. — Этот анекдот о Марко Поло, восходящий к хронике его современника Джакопо д'Акюи, приводится едва ли не во всех биографиях «великого землепроходца» (см. предисловие к английскому научному изданию: The Book of Ser Marco Polo the Venetian Concerning the Kingdoms and Marvels of the East / Translated and Edited, with Notes, by Colonel Sir Henry Yule... Third Edition. Vol. 1. N. Y., 1929. P. 54).

...как вода — Офелии. — Аллюзия на рассказ королевы Гертруды в «Гамлете» Шекспира о гибели Офелии, утонувшей в ручье (акт 4, сц. 7). Гертруду особенно поразило, что, упав в воду, Офелия нисколько не испугалась, словно «существо, которому эта стихия родима и свойственна» («like a creature native and endued / Unto that element»). Ср. соответствующее место в переводе Набокова: «Она обрывки песен пела, / как бы не чуя гибели — в привычной, / родной среде...» (т. III наст. изд. С. 673).

С. 311. ...с романсом «Чайка», переодетым в защитную форму («...Вот прапорщик юный со взводом пехоты...»)... — Популярный романс «Чайка» на стихи Е. А. Буланиной (1876–1941?) начинается словами: «Вот вспыхнуло утро. Румянятся воды. / Над озером быстрая чайка летит...» В годы Первой мировой войны существовало несколько его переделок на героический лад, вроде той, которую цитирует здесь Набоков.

Феона Алексей Николаевич (1879–1949) — актер драматического и музыкального театра; с 1911 г. выступал в петербургской оперетте.

«Вова приспособился» — комедия актера и драматурга Е. А. Мировича (наст. фамилия Дунаев, 1878–1952).

С. 312. Теперь ты бич судьбы над родиною милой... — В заметке на полях принадлежавшего ему экземпляра «Подвига» Набоков указал, что здесь «цитуется» строфа из раннего стихотворения Георгия Иванова (см.: G. Shapiro. From Nabokov's Private Library // The Nabokovian. № 42. Spring 1999. P. 146). В годы Первой мировой войны Георгий Иванов действительно напечатал довольно много слабых патриотических стихотворений (в «Аполлоне», в благотворительных альманахах, в суворинском еженедельнике «Лукоморье»), включив часть из них в сборник «Памятник славы», но ни в одном из них нет ни подобной строфы, ни даже шестистопного ямба. Скорее, речь должна идти о пародии на общий тон и публицистическую риторику таких стихов Иванова, как «Насильники» (ср.: «Топчите, гунны, правду Божью, / Не долго ждать уже суда, — / Он грянет, и позорной ложью / Вы не

откупитесь тогда»), «Западным славянам» (ср: «И дряхлые цепи тевтонских коварств / Не сдержат возмездия лаву»), «Снова влечет тебя светлое знамя», «Куликово поле», «Родине» (ср.: «С тобою — Бог. На подвиг правый / Ты меч недаром подняла! / И мир глядит на бой кровавый, / Моля, чтобы Орел Двуглавый / Сразил тевтонского орла») и др.

...сатира, недавно описанного Кузнецовым... — Имеется в виду бабочка Hipparchia euxina, впервые пойманная в Крыму выдающимся русским энтомологом и физиологом Николаем Яковлевичем Кузнецовым (1873–1948) и описанная им в специальной работе 1909 г. В своей статье о бабочках Крыма, напечатанной в английском журнале «The Entomologist» (1920), Набоков с сожалением отметил, что сатира Кузнецова ему наблюдать не пришлось.

...о многотомном труде, упорно продолжавшем издаваться в Штутгарте... — Скорее всего, имеется в виду издание «Бабочки Земли» Зайтца (см. прим. к с. 285).

С. 313. ...Ви... Зо-вас? — (от *нем.* Wie... So-was) как... что-то.

энтоптические — то есть находящиеся внутри глазного яблока (о зрительных образах, возникающих при закрытии глаз или вследствие повреждений сетчатки).

С. 315. ...отверстые зеницы. — Аллюзия на стихотворение Пушкина «Пророк» (1826), которое, как выяснится впоследствии, любил декламировать Константин Кириллович Годунов-Чердынцев: «Перстами легкими как сон / Моих зениц коснулся он. / Отверзлись вещие зеницы, / Как у испуганной орлицы».

С. 317. к отцу Мартэну, умиравшему в дальней харчевне. — Набоков использует фамилию французского путешественника Жозефа Мартина (Joseph Martin), о печальной судьбе которого рассказывает Грум-Гржимайло, встретившийся с ним во время стоянки в Су-чжоу. После этой встречи Мартин отправился в труднейшее путешествие через Лоб-нор на Хотан, «дабы повторить путь Марко Поло», тяжело заболел и в 1892 г. умер в военном госпитале г. Нового Маргелана (*ГГ.* С. 532–533). Кроме того, в фамилии можно увидеть отсылку к имени героя романа «Подвиг» и к французу Martin, «представителю автора» в «Камере обскуре» (см. т. III наст. изд.).

С. 318. ...к его дяде, географу Березовскому... — В автобиографическом рассказе Набокова «Лебеда» упоминается учитель географии Березовский, чьим прототипом был преподаватель Тенишевского училища Николай Ильич Березин (см. т. III наст. изд., с. 50 и прим.). Кроме того, Набоков, безусловно, знал, что в экспедиции Г. Н. Потанина по Тибету, Китаю и Монголии принимал участие натуралист-зоолог М. М. Березовский, собравший

превосходные коллекции и опубликовавший обширную орнитологическую работу «Птицы Гансуйского путешествия 1884–1887 гг.» (СПб., 1891).

С. 319. Ак-Булат — правильно: Ак-Булан, поселок на юге Оренбургской губернии.

Семиречье (по числу рек, впадающих в озеро Балхаш) — историко-географическая область между озером Балхаш на севере, Джунгарским Алатау на востоке и бассейном верхнего течения реки Нарын на юге.

...на чубарой юрге... — Чубарый (о масти лошадей) — пестрый, пятнистый, крапчатый. Юрга — (от *татарск.* юрга-ат) иноходец.

Тургайская область (по названию реки Тургай) — административная единица в старой России, ныне северо-западная часть Казахстана.

«В чем твое звание?» — спросил Пугачев астронома Ловица. «В исчислении звезд». Вот и повесил его, чтобы был поближе к звездам. — Пересказывается эпизод «Истории Пугачева» Пушкина: «Пугачев бежал по берегу Волги. Тут он встретил астронома Ловица и спросил, что он за человек. Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил небесных, он велел его повесить *поближе к звездам*» (гл. 8).

...с Лавром Корниловым... объездил Степь Отчаяния, а впоследствии встречался с ним в Китае? — Имеется в виду генерал Лавр Георгиевич Корнилов (1870–1918), исследователь-путешественник, герой русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, организатор неудачной попытки военного мятежа в августе 1917 г., создатель Добровольческой армии. В 1901 г., молодым офицером во главе небольшой экспедиции (состоявшей из двух казаков и двух туркменов), он совершил труднейшее семимесячное путешествие по так называемой Степи Отчаяния, или пустыне Дашти-Наумед, в Восточной Персии, которая до тех пор не была исследована европейцами (см. главу «В Степи Отчаяния» в кн.: В. Севский. Генерал Корнилов / Издание Корниловского ударного полка. Ростов-на-Дону, 1919. С. 8–11). С 1907 по 1911 г. Корнилов был военным представителем России в Китае.

С. 320. Как ждал он с ними во мраке? С усмешкой пренебрежения. — Мотив презрительной насмешки жертвы, ожидающей расстрела, над палачами восходит к стихотворению Набокова «Расстрел» («Небритый, смеющийся, бледный...», т. II наст. изд., с. 586). В статье «Искусство литературы и здравый смысл» («The Art of Literature and Common Sense») Набоков писал, что диктаторы и убийцы больше всего на свете ненавидят подобный «неистребимый, вечно ускользающий и вечто провоцирующий блеск в глазах. Одной из главных причин, почему ленинские бандиты около тридцати лет назад убили храбрейшего русского поэта

Гумилева, было то, что все время, пока длились его мучения, — в полутемном кабинете следователя, в пыточной камере, в извилистых коридорах, по которым его вели к грузовику, в грузовике, в котором его везли убивать, на месте казни, где шаркали ногами неумелые и угрюмые солдаты расстрельной команды, — поэт не переставал улыбаться» (V. Nabokov. Lectures on Literature. N.Y. & L., 1980. P. 376).

...холмы моей печали... — реминисценция первой строфы стихотворения Пушкина: «На холмах Грузии лежит ночная мгла; / Шумит Арагва предо мною. / Мне грустно и легко. Печаль моя светла; / Печаль моя полна тобою» (1829).

...змея, который молодой Гринев мастерил из географической карты... — Имеется в виду эпизод в начале «Капитанской дочки», которым завершается домашнее воспитание юного героя: когда Гринев, решив сделать из географической карты змея, «прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды», в комнату вошел его отец и, «увидя его упражнения в географии», дернул сына за ухо и прогнал его воспитателя со двора. Эта аллюзия указывает на то, что Годунов-Чердынцев тоже заканчивает начальное воспитание, опасаясь вызвать неудовольствие отца своими «упражнениями в географии».

Ладак — горная область в Кашмире, близ границы Китая и Индии.

С. 323. яволь — (*нем.* jawohl) да, совершенно верно, так точно.

С. 324. Фамилия — Щеголев, это вам ничего не говорит... — На самом деле, фамилия должна кое-что сказать Годунову-Чердынцеву, поскольку напоминает об известном историке и пушкинисте П. Е. Щеголеве (1877–1931). На выбор этой фамилии для малоприятного персонажа «Дара» (даже внешне несколько напоминающего своего знаменитого однофамильца) могли повлиять не только последовательный «историзм» Щеголева-исследователя, но и его поведение при советской власти. Как писал Ходасевич в некрологе «Памяти П. Е. Щеголева», «в последние годы он слишком часто и явно переступал естественные пределы той неизбежной приспособляемости, на которую имеют неотъемлемое право все жители СССР. 〈...〉 Даже простота изложения, всегда бывшая одним из выдающихся достоинств Щеголева, в недавние годы была им доведена до того утрированно-советского стиля, который своей поддельной простенькостью напоминает стиль ростопчинских афиш. Все это (и еще многое, о чем не буду распространяться) слишком часто в знающих Щеголева и привыкших его уважать вызывало чувство горечи и негодования» (Возрождение. 29 января 1931). Среди работ Щеголева 1920-х гг. — публикации неизданной прозы Чернышевского, написанной в заключении, а также статья о нем «Страсть писателя (Н. Г. Чернышевский)»,

вошедшая в кн.: П. Е. Щеголев. Алексеевский равелин. Книга о падении и величии человека. М., 1929. С. 29–52.

Агамемнонштрассе. — Название улицы иронически соотносит семейную ситуацию Щеголевых с древнегреческим мифом о царе Агамемноне (убитом его женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом). После гибели Агамемнона его дочь Электра некоторое время жила с матерью, вышедшей за Эгисфа замуж, и отчимом.

хох-модерн — (*нем.* hochmodern) сверхсовременный.

кауч — (*англ.* couch) диван.

С. 327. Расстояние от старого до нового жилья было примерно такое, как где-нибудь в России от Пушкинской — до улицы Гоголя. — Имеются в виду, соответственно, последняя и первая улицы, отходящие в западном направлении от Невского проспекта в Петербурге, расстояние между которыми около 3 км. Упоминание о них отмечает переход от пушкинских тем, доминирующих во второй главе романа, к темам гоголевским, которые выходят на первый план в дальнейшем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

С. 329. ...еще сохранились рифмы, богатенькие вперемежку с нищими: поцелуя—тоскуя, лип—скрип, аллея—алея (листья или закат?). — Рифма «алея—аллея» встречается в юношеском стихотворении Набокова «Ласка»: «Ласкаясь к лазури, прозрачно алея, / Стыдился, смеясь, изумительный день; / Змеей золотистой казалась аллея; / Крылом голубиным — лиловая тень» (В. В. Набоков. Стихи. СПб., 1997. С. 16), где действительно остается неясным, что именно алеет: осенние «румяные листья» или же закат. В том же сборнике «Стихи» есть несколько вариантов рифмы к «поцелуя»: ликуя, танцуя, ревнуя (С. 9, 25, 46), а также глагольная рифма «тоскуют—целуют» (С. 29). Что же касается рифмы «лип—скрип», то она использована не в ученических опытах Набокова, а в стихотворении Бунина «Тихой ночью поздний месяц вышел...» (1916; далее следует: «Из-за черных лип. / Дверь балкона скрипнула, — я слышал / Этот легкий скрип»), которое по своей теме — юношеская любовь — перекликается с воспоминаниями Годунова-Чердынцева.

...перевод из Апухтина: Le gros grec d'Odessa... — Соответствующая строфа стихотворения А. Н. Апухтина «Пара гнедых» читается так: «Грек из Одессы и жид из Варшавы, / Юный корнет и седой генерал — / Каждый искал в ней любви и забавы / И на груди у нее засыпал». Ирония заключается в том, что «Пара гнедых» — это, в свою очередь, перевод французского романса С. И. Донаурова «Pauvres chevaux», который и цитируется здесь.

С. 330. ...несравненную «Бабочку» Фета... — См. прим. к с. 258.

...тютчевские «Тени сизые»... — В стихотворении Ф. И. Тютчева «Тени сизые смесились...» (1835) также есть «лепидоптерологические» строки: «Мотылька полет незримый / Слышен в воздухе ночном».

...попал на самое скверное у самого лучшего из них (там, где появляется невозможный, невыносимый «джентльмен» и рифмуется «ковер» и «сёр»)... — Имеется в виду стихотворение Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (1912) из цикла «Страшный мир». В первой его строфе слово «джентльмен» стоит в такой позиции, что в нем должен произноситься «невозможный» лишний слог («Вошел тот джент[е]льмен. За ним лохматый пес»), во второй — рифмуются «ковер—сёр» (вместо «сэр»).

«Громокипящий Кубок» (1913) — сборник стихотворений эгофутуриста Игоря Северянина (наст. имя Игорь Васильевич Лотарев, 1887—1941), чья поэзия вызывала у Набокова устойчиво-неприязненный интерес. В его тетради 1918 г. записана следующая эпиграмма «Игорю Северянину»: «Средь парикмахеров ты гений, / но на Парнасе — просто шут. / Ты все унизил — от сирени / до девушки. Похвальный труд! / Тебя приветил город темный. / Здесь победителем восстань! / Здесь полудевственницы томно / твою читают “златодрянь”!» (*LCNA.* Box 8, folder 4). Как показал Б. А. Кац, «роман в строфах» Игоря Северянина «Рояль Леандра» — предмет полемики в «Университетской поэме» Набокова (см.: Б. Кац. «Уж если настраивать лиру на пушкинский лад...» О возможном источнике «Университетской поэмы» В. Сирина-Набокова // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 279—295).

С. 331. ...пахло по-тургеневски гелиотропом. — В романе И. С. Тургенева «Дым» (1867) «сильный, очень приятный и знакомый запах» гелиотропов заставляет героя вспомнить свою первую любовь (гл. 6—8).

С. 332. ...монументальное исследование Андрея Белого о ритмах... — То есть стиховедческие работы, вошедшие в сборник статей Андрея Белого «Символизм» (см. прим. к с. 224).

С. 332—333. При изображении ритмической структуры этого чудовища получалось нечто вроде той шаткой башни из кофейниц, корзин, подносов, ваз... — Среди названий, которые Андрей Белый дал своим «графическим фигуркам», обозначающим отступления от метрической схемы, — большая корзина, малая корзина, домик, крыша, лестница и т. п.

С. 333. ...автор «Хочу быть дерзким» пустил в обиход тот искусственный четырехстопный ямб, с наростом лишнего слога посредине строки... — Имеется в виду К. Д. Бальмонт, чье стихотворение «Хочу» (из сборника «Будем как солнце») написано тем самым четырехстопным ямбом с цезурным наращением после

ударного слога во второй стопе, о котором говорит здесь рассказчик. Ср.: «Хочу быть, дерзКИМ, хочу быть смелым, / Из сочных гроздИЙ венки свивать. / Хочу упитьСЯ роскошным телом, / Хочу одеждЫ с тебя сорвать!»

Легче обстояло дело с мечтательной запинкой блоковского ритма, однако, как только я начинал пользоваться им, незаметно вкрадывался в мой стих голубой паж, инок или царевна... — Как и весь пассаж о ранней поэзии Годунова-Чердынцева, это признание носит отчетливо автобиографический характер. По точному наблюдению Г. П. Струве, во многих стихах Набокова 1920-х гг. заметно подражание блоковским интонациям (см.: Г. Струве. Русская литература в изгнании. Изд. 3-е. Париж—М., 1996. С. 120); нередко Набоков перенимал у Блока и некоторые образы и мотивы, типичные, главным образом, для «Стихов о Прекрасной Даме» и «Распутий». Так, например, начало «Ласточек» (т. I наст. изд., с. 534): «Инок ласковый, мы реем / над твоим монастырем» вызывает в памяти целый ряд стихотворений Блока с монастырской топикой («Мы живем в старинной келье...», «Брожу в стенах монастыря...» и т. п.); «смеющаяся царевна» в стихотворении «Глаза» (там же, с. 457) напоминает многочисленных блоковских царевен и королевен (вступление к «Стихам о Прекрасной Даме», «Царица смотрела заставки...», «Дали слепы, дни безгневны...» и мн. др.).

...как по ночам к антиквару Штольцу приходила за своей треуголкой тень Бонапарта. — В английском переводе «Дара» Набоков уточнил, что это аллюзия на какую-то немецкую повесть (a German tale), но поиски ее пока не увенчались успехом.

«Летучий» сразу собирал тучи над кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы. — Набоков отталкивается от рассуждения о рифмах в незаконченной статье Пушкина «Путешествие из Москвы в Петербург»: «Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. *Пламень* неминуемо тащит за собою *камень*. Из-за чувства выглядывает непременно *искусство*. Кому не надоели *любовь* и *кровь*, *трудный* и *чудный*, *верный* и *лицемерный*, и проч.».

Венский конгресс — съезд представителей европейских государств после падения Наполеона, проведенный с целью установления нового политического порядка в Европе (1814—1815).

С. 333—334. «Ветер» был одинок — только вдали бегал непривлекательный сеттер, — да пользовалась его предложным падежом крымская гора, а родительный — приглашал геометра. — «Ветер» и «сеттер» зарифмовал Г. Иванов в стихотворении «Визжа ползет тяжелая лебедка...» (сб. «Вереск», 1916): «Вот капитан. За ним плетется сеттер, / Неся в зубах витой испанский хлыст, / И, якоря раскачивая, — ветер / Взметает пыль и обрывает лист». Подразумеваемая рифма «Ай-Петри—ветре» встречается у В. Брюсова

в стихотворении «Где подступает к морю сад...» (1898, сб. «Tertia Vigilia»), а также в стихотворении Маяковского «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума» (1920). В стихотворении Блока «На островах» (1909, цикл «Страшный мир») «геометра» рифмуется с «ветра»: «Нет, с постоянством геометра / Я числю каждый раз без слов / Мосты, часовню, резкость ветра, / Безлюдность низких островов».

С. 334. ...«аметистовый», к которому я не сразу подыскал «перелистывай» и совершенно неприменимого неистового пристава. — Первая рифма — из стихотворения Г. Иванова «М. Кузмину» (сб. «Отплытие на о. Цитеру», 1912): «Разрываю конверт... Машинально / Синюю бумагу перелистываю. / Над озером заря аметистовая / Отцветает печально». И. Анненский в стихотворении «Аметисты» (сб. «Кипарисовый ларец») зарифмовал «неистов» и «аметистов».

С. 337. «Красная Новь» — первый советский толстый литературный и научно-публицистический журнал (выходил в Москве с 1921 по 1942 г.).

«Современные Записки» — наиболее авторитетный литературный и общественно-политический журнал русской эмиграции. Выходил в Париже с 1920 по 1940 г.

С. 337—338. Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина... ты будешь только вымыслу верна... — Годунов-Чердынцев сочиняет стихи, которые обращены к Зине Мерц и обыгрывают ее имя и фамилию. В античной мифологии Мнемозина (*букв.* память) — мать девяти муз. Некоторые образы стихотворения (нагорный снег и цветы в инее) отсылают к описанию путешествий по Центральной Азии во второй главе романа, а также к их источникам (см. прим. к с. 304—305).

С. 338. В полдень послышался клюнувший ключ, и характерно трахнул замок... Муза Российския прозы, простись навсегда с капустным гекзаметром автора «Москвы». — Первая и начало второй фразы (до слова «навсегда») пародируют ритмизованную дактилическую прозу, которой написана большая часть трилогии Андрея Белого «Москва» (1926—1932). В журнальной публикации «характерно» напечатано с ударением над вторым «а», подчеркивая метр. Эпитет «капустная» подсказывает, какое слово можно было бы подставить вместо выпадающего из размера советизма «*продуктами*».

С. 339. L'oeil regardait Caïn. — Око смотрело на Каина *(фр.)*. Цитируется заключительная строка стихотворения В. Гюго «Совесть», вошедшего в первый том его цикла «Легенды веков» (1859—1883). Страшное око, отовсюду глядящее на Каина, олицетворяет его муки совести после убийства Авеля.

Степь Отчаяния — См. прим. к с. 319.

иммортелевая — от названия цветка: иммортель, или бессмертник.

С. 340. Полный разрыв с Англией, Хинчука по шапке... 〈...〉 выстрел Коверды... — Речь идет о разрыве дипломатических отношений между Великобританией и СССР в мае 1927 г. Поводом для разрыва послужил обыск, проведенный английской полицией в лондонском помещении советской торговой компании АРКОС, которую тогда возглавлял старый большевик, агент Коминтерна Л. М. Хинчук (1868–1938?). Ссылаясь на эти события, Набоков допускает явный анахронизм, так как упомянутое ниже убийство советского полпреда в Польше П. Л. Войкова русским эмигрантом Ковердой произошло не до, а через месяц после того, как «Хинчуку дали по шапке», — 7 июня 1927 г.

С. 341. лимитрофы. — В 1920–30-е гг. так называли граничащие с СССР прибалтийские государства, образовавшиеся из западных окраин Российской Империи.

польский коридор — узкая полоса между Восточной Пруссией и остальной частью Германии, которая после Первой мировой войны, согласно Версальскому договору, отошла к Польше, чтобы обеспечить ей свободный выход к морю.

Данциг (ныне Гданьск, Польша) — в период между двумя мировыми войнами государство, «вольный город», отторгнутый по условиям Версальского договора от Германии.

...английским «тоже» орудовал, как немецким «итак»... — Эти слова в обоих языках пишутся одинаково: also.

...окончание в слове, означавшем «одежды»... — Имеется в виду *англ.* clothes.

С. 342. ...аллеей покоем... — то есть буквой «П» (по ее названию в церковнославянском алфавите).

С. 343. ...черное чудовище на вывороченных ступнях с пятном усов на белой физиономии под котелком и гнутой тростью в отставленной руке. — В конце жизни Набоков с удовольствием вспоминал, как в Берлине в двадцатые годы он смотрел фильмы Чарли Чаплина (B. Boyd. Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton, 1991. P. 579). Чарли Чаплин пользовался гигантской популярностью в догитлеровской Германии; когда в 1932 г. он посетил страну, ему был устроен королевский прием.

...стены... в странных, привлекательных и как будто ни от чего не зависевших белесых разводах, напоминавших... что-то очень далекое и полузабытое... — Белесые разводы на стенах должны напомнить описание перехода через пустыню во второй главе, где путешественники принимают налеты грязного снега и выцветы соли за далекие стены искомого города (см. прим. к с. 303). Эту перекличку поддерживает и выражение «как будто ни от чего не зависевших», которое не только подразумевает некую зависимость

данного изображения от предшествующего, но и отсылает к другому мотиву путешествия — мотиву «райской окраски», зависящей от определенных факторов (см. прим. к с. 299–300).

С. 344. ...ко всему сору жизни, который путем мгновенной алхимической перегонки, королевского опыта, становится чем-то драгоценным и вечным. — В средневековой алхимии «королевским искусством» (ars regia) или «королевским опытом» называлось получение философского камня или эликсира, то есть некоего совершенного, абсолютно чистого вещества, — процесс, конечной целью которого являлось созревание и преображение души алхимика, достигающей слияния с Абсолютом и всеобъемлющего мистического знания (гнозиса). Как показал Омри Ронен, сравнение искусства с алхимическими трансмутациями восходит к трактату Шелли «Защита поэзии», где говорится, что поэзия своей «тайной алхимией» преобразует в жидкое золото «те отравленные воды, которые текут из смерти сквозь жизнь» (см.: Omri Ronen. The Fallacy of the Silver Age in Twenieth-Century Russian Literature. Amsterdam, 1997. P. 97, note 5).

С. 345. ...паркеровском «Путешествии Духа»... — По всей вероятности, мистификация.

С. 346. ...чтение Стивенсона никогда не прервется Дантовой паузой... — Имеется в виду известный сюжет Дантова «Ада», история несчастных возлюбленных Паоло и Франчески, которые впервые поцеловались, когда вдвоем сидели над книгой (песнь V).

Перейдя Виттенбергскую площадь... он направился в русскую книжную лавку... — Имеется в виду русский книжный магазин и библиотека «Des Westens», помещавшиеся на Пассауерштрассе, 3, рядом с одноименным универмагом.

С. 347. ...парижской «Газеты»... — Подразумевается парижская ежедневная газета «Последние новости», ее литературный отдел вел Г. Адамович.

...как стечение людей... в последней главе «Дыма»... — В последней главе романа Тургенева «Дым» его герой Литвинов, прожив три года в своем имении, едет в гости к своей бывшей невесте, которая живет в двухстах верстах от него, и по дороге встречает, одного за другим, пятерых своих старых знакомых по Баден-Бадену.

...в моде там были заглавия «Любовь Третья», «Шестое чувство», «Семнадцатый пункт»... — Подобные заглавия с порядковым числительным действительно получили в советской литературе 1920–30-х гг. широкое распространение. Приведем лишь несколько примеров: книги В. Шкловского «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза» (1923) и «Третья фабрика» (1926), роман И. Эренбурга «День второй» (1933), повести Б. Лавренева «Сорок первый» (1926) и «Седьмой спутник» (1927), Б. Пильняка

«Третья столица» (1923), М. Слонимского «Шестой стрелковый» (1922) и т. п. Из писателей-эмигрантов той же моделью пользовались А. М. Ремизов (повесть «Пятая язва», 1923) и В. С. Яновский («Любовь вторая. Парижская повесть», 1935), к творчеству которых Набоков относился резко критически.

С. 348. ...роман генерала Качурина «Красная Княжна»... — Подразумевается генерал П. Н. Краснов (1869—1947), в эмиграции плодовитый беллетрист, автор романов-эпопей «От двуглавого орла к красному знамени» (в 4 т., 1921), «С нами Бог» (в 2 т., 1927) и многих других произведений в разных жанрах. Слово «княжна» в названии намекает на родство прозы Краснова и Лидии Чарской, сочинительницы исторических романов и повестей для юношества, среди которых наибольшей известностью пользовалась «Княжна Джаваха».

...«Чтец-Декламатор», изданный в Риге... — Антология русской поэзии под таким названием (составленная по образцу одноименных сборников, выходивших в России до революции) была издана в Берлине в 1922 г.

...«Туннель» Келлермана по-русски... — Русский перевод популярного технофутурологического романа немецкого писателя Бернхарда Келлермана (1879—1951) «Туннель» (1913) выдержал в 1920-е гг. несколько изданий, как в СССР, так и за рубежом.

«Не помню кто — кажется, Розанов, говорит где-то»... — Недостоверная или приблизительная цитата (часто с неопределенной отсылкой к Розанову) — один из постоянных приемов в критических статьях Г. Адамовича, которые здесь пародируются. Адресат пародии был опознан современниками. После публикации первой части третьей главы «Дара» в «Современных записках» Марк Алданов пенял Набокову: «Зачем Вы это делаете? Разумеется, в редакции “Последних новостей” (и везде) в этом *все*, вплоть до дактилографки “Ляли”, тотчас признали Адамовича (я пытался отрицать, но никто и слушать не хотел), и не скрою, на Вас сердятся» (Письмо от 29 января 1938 г. // *LCNA*. Box 8, folder 17).

С. 349. ...когда в самом воздухе разлита тонкая моральная тревога... пьески о полусонных видениях не могут никого обольстить. И право же, от них переходишь с каким-то отрадным облегчением к любому человеческому документу... — Пародия высмеивает основные положения программной статьи Г. Адамовича «Жизнь и “жизнь”» (Последние новости. 4 апреля 1935), в которой он вступил в полемику с Ходасевичем по поводу молодой эмигрантской поэзии так называемой «парижской школы». Возражая Ходасевичу, обвинявшему парижских поэтов в «пренебрежении к литературной стороне поэзии» и в культивировании заведомо

«плохих стихов» как прямого эмоционального выражения душевного упадка и отчаяния (см.: В. Ходасевич. Книги и люди / Новые стихи // Последние новости. 28 марта 1935), Адамович заявил, что в условиях современного духовного кризиса, который «раздирает сознание», «человечность» искреннего, хотя и беспомощного высказывания намного более созвучна «глубокой болезни личности», чем пустые, бессодержательные, но гармонические «пьесы». «Конечно, из одной человечности искусства не сделаешь, — писал он, — получаются только “человеческие документы”, но... она все-таки ценнее, чем преуспевающее творчество “как ни в чем не бывало”, слепое, глухое, беззаботное, ничего не видящее, ничего не знающее, ничего не понимающее».

...был в частной жизни женщиной средних лет... в молодости печатавшей в «Аполлоне» отличные стихи, а теперь скромно жившей в двух шагах от могилы Башкирцевой... — Набоков выстраивает краткую биографию Мортуса таким образом, чтобы она не вызвала слишком прямых ассоциаций с прототипами. С одной стороны, упоминание об «Аполлоне» — журнале, который воспринимался как главный орган акмеизма, — косвенно намекает на акмеистическую родословную Адамовича, который, правда, по молодости лет успел напечатать в нем только одно стихотворение. Сближение с похороненной близ Парижа Марией Башкирцевой (1860—1884), русской художницей, чей стилизованный, экзальтированный «Дневник», по замыслу автора, должен был явить образец «человеческого документа», тоже может быть понято как издевательская параллель к критическим установкам Адамовича, считавшего, например, что ужасающий с художественной точки зрения «женский» роман Е. Бакуниной «Тело» представляет очень большую ценность как серьезный «человеческий документ» (см.: Г. Адамович. «Человеческий документ» // Последние новости. 9 марта 1933). С другой стороны, Башкирцева, как известно, была одним из кумиров Марины Цветаевой, которая посвятила ее «блестящей памяти» свой первый сборник «Вечерний альбом» и на близость прозы которой «Дневнику» Башкирцевой указывал не кто иной, как Адамович. То, что Мортус — это немолодая женщина, пишущая под мужским псевдонимом, заставляет вспомнить и о Зинаиде Гиппиус, — принадлежавшей, вместе с Адамовичем, к числу литературных врагов Набокова, — которая публиковала статьи и рецензии под псевдонимами «Антон Крайний» и «Лев Пущин». К ней же (и к Цветаевой, но никак не к Адамовичу) может относиться высокая оценка стихов, которые Мортус писал(а) в молодости. Характерно, что в рецензии на сборник «Литературный смотр» (1940) Набоков назвал Зинаиду Гиппиус «незаурядным поэтом».

Линев. — Набоков дает горе-критику фамилию главного героя пропагандистского романа советского писателя А. Тарасова-Родионова «Трава и кровь (Линев)» (1926), а также художника-дилетанта А. Л. Линева, который известен как автор портрета Пушкина. По предположению Ходасевича, прототипом Линева мог быть Михаил Осипович Цетлин (1882—1945), литературный критик, редактор отдела поэзии «Современных записок» (см.: Из переписки В. Ф. Ходасевича. С. 281). С другой стороны, Марк Алданов в процитированном выше письме к Набокову от 29 января 1938 г. без колебаний отождествил его с П. Пильским, что представляется более вероятным, так как «фамильярно-фальшивый голосок» безымянного рецензента, преследующий Федора в первой главе и, как мы знаем, пародирующий Пильского (см. прим. к с. 199), похож на критический стиль Линева.

С. 350. Виноград созревал, изваянья в аллеях синели. / Небеса опирались на снежные плечи отчизны... словно голос скрипки вдруг заглушил болтовню патриархального кретина. — Размер приведенного двустишия (пятистопный анапест с женскими окончаниями) и, отчасти, его лексика напоминают стихотворение Бориса Поплавского (1903—1935) «Морелла», особенно пятую строфу: «Ты, как нежная вечность, расправила черные перья, / Ты на желтых закатах влюбилась в сиянье отчизны. / О, Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни, / Будь, как черные дети, забудь свою родину, — Пэри». В английском варианте своей автобиографии Набоков, процитировав третий стих этой строфы, назвал поэтический голос Поплавского «далекой скрипкой среди близких балалаек («a far violin among near balalaikas») и признался, что не может себе простить раздраженную рецензию на его книгу (V. Nabokov. Speak, Memory. An Autobiograhpy Revisited. N. Y., 1996. P. 287). То, что в обоих случаях голос поэта сравнивается с одиноким голосом скрипки, подтверждает предположение о соотнесенности двустишия Кончеева с «Мореллой».

С. 351. Между «Звездой» и «Красным Огоньком»... — Речь идет о ленинградском ежемесячном журнале «Звезда» (выходит с 1924 г.) и еженедельнике «Огонек» (выходит с 1923 г.), к названию которого добавлен стандартный советский эпитет, чтобы подчеркнуть его отличие от одноименного дореволюционного либерального журнала (1899—1918).

...номер шахматного журнальчика «8 × 8»... статейка была озаглавлена «Чернышевский и шахматы». — Как установил Д. Зубарев, в 1928 г. в советском журнале «64. Шахматы и шашки в рабочем клубе» была напечатана статья А. Новикова «Шахматы в жизни и творчестве Чернышевского» с портретом «выдающегося мыслителя-революционера» и «большого и настоящего любителя шахматной игры». В этой статье, посвященной столетию Чернышев-

ского, приводились довольно большие фрагменты из его юношеского дневника (я благодарен Д. Зубареву за эту информацию. — *А. Д.*).

...двух тем, индийской и бристольской... — В шахматной композиции темой называют определенную стратегию для решения задачи. Индийская тема заключается в том, что белые сначала перекрывают линию атаки собственной главной фигуре, чтобы избежать пата, а затем дают мат. Бристольская тема — это увод атакующей фигуры белых (ладьи или слона) на край доски с целью освободить необходимые поля ферзю, который и матует черного короля.

С. 352. ...кони выступали испанским шагом. — Испанский шаг — прием высшей школы верховой езды, при котором конь идет под всадником, попеременно поднимая и вытягивая передние ноги, широко вынося их вперед. Следует отметить также, что одним из самых популярных дебютов в шахматах является испанская партия с быстрым развитием коней и слонов.

С. 353. ...как дошла ты до жизни такой... — расхожая цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная» (1857): «Подзовем-ка ее да расспросим: / “Как дошла ты до жизни такой?”»

...беда, коль пироги начнет печи сапожник... — цитата из басни И. А. Крылова «Щука и кот» (1813).

С. 354. ...это был «шприц с серной кислотой», — как где-то говорит, кажется, Розанов... — Судя по вводным конструкциям, Годунов-Чердынцев взял эту недостоверную цитату из какой-то статьи Мортуса (см. прим. к с. 348). Хотя в сочинениях Розанова ее обнаружить не удалось, она отсылает к целому ряду его высказываний о Чернышевском, которые имеют несколько точек пересечения с концепцией «Дара». В книге «Уединенное» Розанов сожалел о том, что «кипучая энергия» Чернышевского, из которого мог бы получиться незаурядный практический деятель, осталась невостребованной правительством, из-за чего он был выброшен «в литературу, публицистику, философствующие оттенки и даже в беллетристику: где... он переломал все стулья, разбил столы, испачкал жилые удобные комнаты, и вообще совершил “нигилизм” — и ничего иного совершить не мог» (В. Розанов. Уединенное. С. 32). В «Опавших листьях» (см. прим. к с. 212) он назвал Чернышевского-публициста «отвратительной гнойной мухой» на спине быка (там же. С. 287). По определению Розанова, Чернышевский относился к «людям лунного света» (то есть был личностью инфантильно-гомосексуального типа), чем объясняется его воздействие на современную ему молодежь (см. об этом: Olga Skonechnaia. «People of the Moonlight»: Silver Age Parodies in Nabokov's *The Eye* and *The Gift* // Nabokov Studies. Vol. 3. 1996. P. 33–52).

«Кто виноват?» (1841–1846, отд. изд. 1847) — роман А. И. Герцена.

С. 355. ...название автомобильной фирмы... — Имеется в виду немецкая автомобильная фирма «Даймлер» (с 1926 г. «Даймлер-Бенц»). Как явствует из письма Набокова З. Шаховской, которое можно датировать первой половиной марта 1936 года, первоначально он намеревался озаглавить роман утвердительным «Да» (как в первом слоге названия фирмы).

С. 356. ...от всякой родины, кроме той, которая... пристала, как серебро морского песка к коже подошв... — Обыгрываются (и оспариваются) слова Дантона, отказавшегося перед арестом бежать из Франции: «On n'emporte pas la patrie à la semelle des ses souliers» (Родину не унести на подошве башмаков).

крестословицы — калька с *англ.* crossword (кроссворд), вошедшая в обиход эмигрантской печати в середине 1920-х гг. Набоков, который составлял кроссворды английского типа для берлинской газеты «Руль», утверждал, что именно он придумал это новое слово (см. *ДБ.* С. 286).

С. 357. ...под липовым цветением мигает... 〈...〉 не скажешь, руку протянув: стена. — Герой продолжает стихотворение, начатое утром того же дня (см. прим. к с. 337–338). Упомянутые в нем Венеция и Китай отсылают к теме путешествия Марко Поло во второй главе (см. прим. к с. 299 и 308).

Из темноты, для глаз всегда нежданно... 〈...〉 Посвящено Георгию Чулкову. — Белые пятистопные ямбы, которые сочиняет здесь герой, стилизованы под стихи Блока, составившие цикл «Вольные мысли» (1907), посвященный Г. И. Чулкову (1879–1939), поэту, прозаику и критику символистского круга. Другая, неназванная параллель — белые стихи Ходасевича из его книги «Путем зерна» (1920), и особенно «Встреча»: «В час утренний у Santa Margherita / Я повстречал ее. Она стояла / На мостике, спиной к перилам. Пальцы / На сером камне, точно лепестки, / Легко лежали. Сжатые колени / Под белым платьем проступали слабо...» В рецензии на «Собрание стихов» Ходасевича Набоков отметил, что в его белых стихах чувствуется «смутное влияние Блока» (т. II наст. изд. С. 652).

...от родственной стихии отделясь. — Перекличка с шекспировским образом «родимой стихии» в «Гамлете» (см. прим. к с. 308).

С. 359. ...как Гёте говаривал, показывая тростью на звездное небо: «Вот моя совесть!» — по всей вероятности, фиктивная аллюзия, в которой явственно слышны отголоски знаменитого афоризма И. Канта из заключения «Критики практического разума»: «Две вещи наполняют душу все возрастающим удивлением и благоговением... звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

С. 360. «Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле...» — цитата из письма Н. В. Гоголя В. А. Жуковскому от 28 июня 1836 г. (Н. В. Гоголь. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 11. С. 49).

...колотил перебегавших по тропе ящериц... — В письме Жуковскому от 31 октября 1836 г. Гоголь писал о своем пребывании в Швейцарии: «...завладел местами ваших прогулок... колотя палкою бегавших по стенам ящериц» (там же. С. 73).

С. 362. шутовать по голу (устар.) — бить по воротам.

С. 366. «L'homme qui assassina» — «Человек, который убил» (1907), авантюрный роман французского писателя Клода Фаррера (псевдоним Фредерика Шарля Эдуара Баргона, 1876—1957).

«Протоколы сионских мудрецов» — давно разоблаченная фальшивка, изготовленная агентами русской охранки с целью подтвердить существование всемирного жидо-масонского заговора.

...старый пес... знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка... — фабульная схема, впоследствии разработанная Набоковым в повести «Волшебник» и романе «Лолита».

С. 367. ...перенимал что-то от прустовского Свана. — Сван — трагический герой цикла романов французского писателя Марселя Пруста (1871—1922) «В поисках утраченного времени» (1913—1927). Богатый рафинированный еврей, принятый в лучшем аристократическом обществе, он женится на своей любовнице Одетте, которая вовлекает его в вульгарную буржуазную среду. После смерти Свана Одетта выходит замуж и становится хозяйкой фешенебельного салона.

С. 369. аэр — (от *фр.* и *англ.* air) атмосфера, воздух.

С. 370. ...Траумом, Баумом и Кэзебиром (целая немецкая идиллия, со столиками в зелени и чудным видом). — Все три немецкие фамилии значимы: Traum — мечта; Baum — дерево; Käse + Bier — сыр + пиво, и соответствуют описанной «немецкой идиллии». В лекциях о романе Ч. Диккенса «Холодный дом» Набоков обратил особое внимание на игру с «эмблематическими именами» трех владельцев лондонской адвокатской конторы: Chizzle, Mizzle, Drizzle (V. Nabokov. Lectures on Literature. N. Y. & L., 1980. P. 72).

«ди гнедиге фрау» — (*нем.* die gnädige Frau) уважаемая госпожа.

императрица Евгения (Евгения Мария де Монтийо де Гузман, 1826—1920) — жена императора Франции Наполеона III.

Бриан Аристид (1862—1932) — французский политический и государственный деятель; между 1909 и 1921 гг. одиннадцать раз занимал пост премьер-министра. С 1925 г. — министр иностранных дел.

Сарра Бернар (наст. имя: Розин Бернар, 1844—1923) — прославленная французская драматическая актриса.

С. 370—371. ...трудам Людвига и Цвейгов... — Имеются в виду многочисленные книги немецких писателей Эмиля Людвига

(1881–1948) и Стефана Цвейга (1881–1942) в модном жанре романизированных биографий «замечательных людей». Однофамилец последнего, Арнольд Цвейг (1887–1968), биографий не писал, а был известен как автор реалистических романов с социальной проблематикой.

С. 371. Клемансо Жорж (1841–1929) — французский политический деятель, премьер-министр в 1906–1909 и 1917–1919 гг.

accent aigu (фр.) — диакритический знак [ˊ], уточняющий произношение гласного.

С. 373. ...помесь райской птицы с кондором... — намек на райскую птицу Сирин и, следовательно, на псевдоним Набокова.

...душу младую чтоб нес не в объятьях... — аллюзия на стихотворение Лермонтова «Ангел» (1832): «Он душу младую в объятиях нес / Для мира печали и слез».

...что больше всего поражало самых первых русских паломников по пути через Европу? ⟨...⟩ городские фонтаны, мокрые статуи. — Имеется в виду первое русское описание путешествия на Запад «Хождение на Флорентийский собор» (XV в.), анонимный автор которого восторгается фонтанами в Любеке, Люнебурге и других европейских городах (см.: Памятники литературы Древней Руси. XIV — середина XV в. М., 1981. С. 475).

король Эдуард — король Великобритании Эдуард VII (1841–1910, правл. с 1901 г.).

С. 374. ...в Тиргартене, в розариуме, там, где статуя принцессы с каменным веером. — В розариуме берлинского парка Тиргартен была установлена мраморная статуя принцессы Августы Виктории — правда, не с веером, а с каким-то документом в руке.

С. 376. ...такие ассоциации, как, например: департамент, селянка, галоши, снег «Мира Искусства» идет за окном, столп, Столыпин, столоначальник. — В английском переводе «Дара» уточнено; что департаментом является министерство внутренних дел. Это заставляет соотнести его с Учреждением (или департаментом), изображенным в романе Андрея Белого «Петербург» и, в свою очередь, отсылающим к «одному департаменту», о котором говорит Гоголь в повести «Шинель». Сам ассоциативный ряд дает двойственный обобщенный образ Петербурга начала века: с одной стороны, как административно-бюрократического центра (отсюда — упоминание о П. А. Столыпине (1862–1911), министре внутренних дел и председателе кабинета министров), а с другой, как предмета изысканных стилизаций в графике и живописи художников, входивших в объединение «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, А. П. Остроумова-Лебедева, К. А. Сомов и др.).

С. 377. «Упражнение в стрельбе»... — Смысл ответа Годунова-Чердынцева раскрывают его рассуждения о стрельбе во второй

главе, восходящие к книгам Пржевальского и Козлова (см. прим. к с. 297 и 306).

С. 378. Руссо был скверным ботаником... — Речь идет о трактате французского философа и писателя Жан-Жака Руссо (1712–1778) «Lettres élémentaires sur la Bonanique» («Элементарные письма о ботанике», 1771–1773), который с научной точки зрения имел чисто дилетантский характер.

«Комментарии к Миллю» (1860–1861) — Н. Г. Чернышевский перевел и напечатал в «Современнике» часть книги английского философа и экономиста Джона Стюарта Милля (1806–1873) «Основания политической экономии» (1857), снабдив ее своими пространными примечаниями. Эти примечания считаются его главным трудом в области политической экономии.

...музыкальные композиции Руссо — только курьезы... — В конце 1740 — начале 1750-х гг. Ж.-Ж. Руссо увлекся сочинением музыки, и одна из его опер, «Le devin du village» («Плут», 1752), имела большой успех при дворе.

...Волынский и Айхенвальд уже давно это сделали. — Литературные критики идеалистического направления А. Волынский (псевдоним Акима Львовича Флексера, 1863–1926) и Юлий Исаевич Айхенвальд (1872–1928) известны своими полемическими выступлениями против утилитаристской эстетики. В яркой книге «Русские критики» (1896) Волынский оспорил теории Чернышевского, Добролюбова, Писарева и других «революционных демократов» 1860-х гг. В этюде, опубликованном в третьем выпуске второго издания «Силуэтов русских писателей» (1913), и в отдельной брошюре «Спор о Белинском» (1914) Айхенвальд, поставив под сомнение литературную компетентность и умственную зрелость Белинского, доказывал, что его взгляды развивались в «сторону вульгарного утилитаризма».

С. 380. ...идиотские «биографии романсэ», где Байрону преспокойно подсовывается сон, извлеченный из его же поэмы? — Намек на одну из самых известных «романизированных биографий», книгу французского писателя Андре Моруа «Байрон» (1930), в которой использована техника внутреннего монолога с вкраплениями цитат из произведений поэта. В «Современных записках» (Кн. LXVI. С. 28): «биографи романсэ».

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — публицист, социолог и литературный критик, идеолог народничества.

Белинский, этот симпатичный неуч... — Набоков следует здесь за Ю. Айхенвальдом (см. прим. к с. 378), утверждавшим, что Белинский был несведущ в тех вопросах, о которых писал (см.: Ю. Айхенвальд. Силуэты русских писателей. М., 1995. С. 503–504). Эта характеристика Белинского, а также описание его смерти

в журнальной публикации были купированы по настоянию одного из редакторов «Современных записок» М. В. Вишняка.

...любивший лилии и олеандры... — О страсти Белинского к цветам пишет И. И. Панаев в своих мемуарах (см.: И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., 1988. С. 325).

...украшавший свое окно кактусами (как Эмма Бовари)... — В романе Флобера «Госпожа Бовари» героиня начинает увлекаться кактусами, когда их вводит в моду «один светский роман»; кактусы привозит ей из Руана влюбленный в нее молодой клерк Лион: «Эмма заказала для горшков полочку с решеткой и подвесила ее под окошком. Клерк тоже завел себе подвесной садик. Поливая цветы, каждый у своего окна, они видели друг друга» (Г. Флобер. Собр. соч. в 5 т. М., 1956. Т. 1. С. 113).

...умерший с речью к русскому народу на окровавленных чахоткой устах... — Ср. описание последних минут жизни Белинского у А. Волынского: «Что-то светлое, какое-то сияние лежит на его предсмертных страданиях: исхудалый, с горящими глазами, устремленными вдаль, лежа в жару, без сил и без памяти, он вдруг разразился патетической речью к русскому народу... Так именно должен был умереть Белинский: с пылкими речами на мертвеющих устах» (*РК.* С. 22–23). В «Современных записках» (Кн. LXVI. С. 29): «на окровавленных чахоткой устах» опущено.

С. 380–381. «В природе все прекрасно... (...инфузории и т. п.)... — Не вполне точная цитата из статьи Белинского «Речь о критике... А. Никитенко» (1842). Ср.: В. Г. Белинский. Собр. соч. в 9 т. М., 1979. Т. 5. С. 71–72.

С. 381. ...у Михайловского легко отыскивалась... метафора вроде следующих слов (о Достоевском)... — В статьях Н. К. Михайловского (см. прим. к с. 380) о Достоевском такую фразу отыскать не удалось.

...«докладчика по делам сегодняшнего дня». — Как писал Н. К. Михайловский в статье «Страшен сон, да милостив Бог. (Несколько слов г. Слонимскому)» (1889), фрагменты из которой составили предисловие к его Собранию сочинений (СПб., 1897. Т. 1. С. VI), его часто привлекала к себе «всею своею плотью и кровью житейская практика сегодняшнего дня», ради которой он «бросал высоты теории».

...к стилю Стеклова... — Юрий Михайлович Стеклов (наст. фам. Нахамкис, 1873–1939?), ветеран российской социал-демократии, член партии большевиков с 1903 г., публицист и государственный деятель, был автором целого ряда марксистских апологетических работ о Чернышевском, и в том числе двухтомной монографии «Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность» (М.–Л., 1928), которая явилась главным источником четвертой главы «Дара». В скобках приведены образцы его стиля из двух

книг: *Стеклов.* Т. 1. С. 141; Ю. Стеклов. Еще о Н. Г. Чернышевском. Мыслитель, революционер, человек / Сб. статей. М.—Л., 1930. С. 108.

«...здесь нет фигового листочка... и идеалист прямо протягивает руку агностику». — Цитируется работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм»: Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 18. С. 148.

«Лица — уродливые гротески, характеры — китайские тени, происшествия — несбыточны и нелепы»... — Цитата из статьи Н. А. Полевого о «Ревизоре» Гоголя (Русский вестник. 1842. № 1. Отд. III (критика)). Эти же слова Полевой повторил и в рецензии на «Мертвые души» (там же. 1842. № 5—6).

...мнение Скабичевского и Михайловского о «г-не Чехове»... — Имеются в виду статьи о Чехове ведущих русских критиков либерально-народнического направления Александра Михайловича Скабичевского (1838—1910) и Н. К. Михайловского (см. прим. к с. 380). Оба они именовали Чехова «господином» в знак пренебрежительно-отчужденного отношения к его творчеству. Так, самая известная статья Скабичевского называлась «Есть ли у г. Чехова идеалы?» (1895), а Михайловского — «Об отцах и детях и о г. Чехове» (1890).

...«малиновые губки, как вишни»... — В повести Николая Герасимовича Помяловского (1835—1863) «Мещанское счастье» (1861) фраза еще более нелепа: «малиновые как вишни губки сжались» (Н. Г. Помяловский. Полн. собр. соч. в 2 т. М.—Л., 1935. Т. 1. С. 96).

«как весело притом делиться мыслию своею с любимым существом» — цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая», ч. 1).

...он называл овода шмелем (над стадом «шмелей неугомонный рой»), а десятью строками ниже — осой (лошади «под дым костра спасаются от ос»). — Эти ляпсусы Некрасов допустил в девятой и десятой строфах стихотворения «Уныние» (1874).

...автобиографическая справка, начинающаяся смешным галлицизмом «I am born»... — По-английски, в отличие от французского Je suis née, глагол «быть» должен стоять в форме прошедшего времени: I was born. Герцен сделал эту ошибку в письме к Ш.-Э. Хоецкому от 15 августа 1861 г., которое могло быть известно Набокову, но не Годунову-Чердынцеву, так как впервые было опубликовано только в 1933 г. (Звенья. Вып. 2. М.—Л., 1933. С. 370).

...спутав по слуху слова «нищий» (beggar) и «мужеложник» (bugger — распространеннейшее английское ругательство), сделал отсюда блестящий вывод об английском уважении к богатству. — В автобиографической книге «Былое и думы» (Ч. 5. Западные арабески, тетрадь первая) Герцен писал об Англии: «Страна, которая

не знает слова более оскорбительного, как слово beggar [нищий], тем больше преследует иностранца, чем он беззащитнее и беднее» (А. И. Герцен. Собр. соч. в 4 т. М., 1988. Т. 2. С. 310).

С. 382. ...осудить прозу Лермонтова, оттого что он дважды ссылается на какого-то невозможного «крокодила»... — Сравнения с крокодилом на дне колодца, — восходящие к повести французского писателя Ф. Р. де Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей» (1801) и к стихотворению К. Н. Батюшкова «Счастливец» (1810), — действительно дважды встречаются в ранней прозе Лермонтова: «На дне... удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого, прозрачного американского колодца» («Вадим», гл. 9); «Такая горничная... подобна крокодилу на дне светлого американского колодца» («Княгиня Лиговская», гл. 3).

...в параграфе 146 цензурного устава 1826 года... — Цензурный устав 1826 г., который отличался исключительной строгостью, за что был прозван «чугунным», просуществовал всего два года. Набоков цитирует его параграф 176 (sic!): «При рассмотрении всех прочих произведений словесности Цензор, сохраняя общие Цензурные правила, наблюдает в особенности, чтобы в сочинениях сего рода сохранялась чистая нравственность и не заменялась бы одними красотами воображения» (Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. СПб., 1862. С. 172).

...письменное предложение Булгарина придать лицам сочиняемого им романа угодный цензору цвет... — В письме к цензору А. В. Никитенко от 31 октября 1834 г. Фаддей Венедиктович Булгарин (1789—1859), возражая на замечания по поводу первой части своего романа «Памятные записки титулярного советника Чухина...» (1835), просил: «...я бы чрезвычайно благодарен был вам, если б вы посвятили мне полчаса времени и написали, как вы желаете, чтоб я дорисовал лица, которые ввергли вас в сомнение. Вторая часть еще в работе, и я могу дать такой цвет лицам, какой вам угодно» (Из архива А. В. Никитенко. (Письма к нему графа Д. А. Толстого, Ф. В. Булгарина, А. Ф. Писемского и князя Григ. Волконского) / Сообщ. С. А. Никитенко // Русская старина. Т. 101. 1900, январь. С. 173).

...Щедрин, дравшийся тележной оглоблей, издевавшийся над болезнью Достоевского, или Антонович, называвший его же «прибитой и издыхающей тварью»... — В оценке полемических выступлений М. Е. Салтыкова-Щедрина Годунов-Чердынцев следует за Волынским, который заметил, что он преследовал своих литературных противников «с тележной оглоблей в руках» (*РК.* С. 452), и ошибочно приписал ему фельетон «Стрижам», напечатанный в «Современнике», где были допущены издевательские намеки на эпилепсию Достоевского. В действительности автором этого фель-

стона был один из ближайших сотрудников Чернышевского по «Современнику» Максим Алексеевич Антонович (1835–1918). В той же июльской книжке «Современника» за 1864 г. он напечатал еще одну статью против Достоевского «Торжество ерундистов», в которой заявил, что выступления его оппонента пропитаны «болезненной злостью прибитой и издыхающей твари» (*РК.* С. 417).

...Буренина, травившего беднягу Надсона... — Виктор Петрович Буренин (1841–1926), фельетонист, пародист, литературный и театральный критик, сотрудник одиозной газеты «Новое время», часто переходил границы приличия в своих статьях. В конце 1886 г. он выступил с грубыми нападками на умиравшего от туберкулеза поэта С. Я. Надсона (1862–1887).

...в мыслях Зайцева, писавшего задолго до Фрейда, что «все эти чувства... только видоизменения полового чувства...» — Варфоломей Александрович Зайцев (1842–1882) — публицист и критик вульгарно-материалистического направления, единомышленник и последователь Писарева. Приведенные в кавычках слова принадлежат не собственно Зайцеву, а критику Р. В. Иванову-Разумнику, который так изложил его взгляды в главе «Истории русской литературы XIX века» под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского (в 5 т. М., 1911. Т. 3. С. 62).

...называл Лермонтова «разочарованным идиотом»... — точнее, не Лермонтова, а Печорина, хотя Зайцев неоднократно подчеркивал, что между ними нет никакой разницы. В статье «Стихотворения Н. Некрасова» (1864) он писал: «[мы] смеемся над разочарованными идиотами вроде Печорина» (В. А. Зайцев. Избранные сочинения в 2 т. М., 1934. Т. 1. С. 266).

...разводил в Локарно... шелковичных червей... и... грохался с лестницы. — Эти смешные подробности Набоков почерпнул из публикации: В. А. Зайцев за границей. По его письмам и воспоминаниям жены // Минувшие годы. 1908. № 11. С. 89–90.

С. 383. ...высмеивал... предложение поэта Жуковского окружить смертную казнь мистической таинственностью... — Имеется в виду статья В. А. Жуковского «О смертной казни» (1849), которую Чернышевский высмеял в рецензии на тома X—XIII «Сочинений» поэта, опубликованной в 1857 г. в «Современнике» (*ПСС.* Т. 4. С. 851–592). Набоковская оценка предложения Жуковского придать смертной казни «характер таинства» близка к тому, что в 1934 г. писал об этом предложении Г. Адамович, назвавший его «елейной мерзостью» (Г. Адамович. Святые мечты // Последние новости. 30 августа 1934).

шпильман — (*нем.* Spielmann) бродячий актер.

...стреляли в народ на станции Бездна... — Имеется в виду одно из самых крупных крестьянских восстаний 1861 г. Крестьяне села Бездна Спасского уезда Казанской губернии, недовольные

«Положением» об отмене крепостного права, отпускавшим их на волю без земли, подняли бунт, жестоко подавленный присланными войсками. Погиб 51 участник восстания, более 300 было ранено.

Дно — железнодорожная станция на пересечении линий Петроград — Витебск и Псков — Бологое. 27 февраля 1917 г. восставшие солдаты задержали здесь царский поезд и вынудили Николая II подписать отречение от престола.

С. 384. ...кучу камней на азиатском перевале, — шли в поход, клали по камню... — Подобный холм из камней упоминает Грум-Гржимайло, приводя местную легенду о том, что он был сложен по приказанию китайского полководца Цзо-гумбоу (Цзо-цзунтана), «пожелавшего таким наглядным путем показать громадную численность своей армии». Грум-Гржимайло добавляет, что в Хамийском оазисе «аналогичные действия приписывались дунганскому вождю Баян-ху, причем мне указывали даже такие груды камней, давнее происхождение коих не подлежало сомнению» (*ГГ.* С. 565). Возможно, именно поэтому Набоков, развив предания в связную легенду, переадресовал ее властителю древней азиатской империи и прославленному полководцу Тамерлану (Тимуру, 1336–1405).

кубовый — ярко-синий.

С. 385. оффенбаховская баркаролла. — Имеется в виду баркаролла «Scöne Nacht, du Liebesnacht» из оперы франко-немецкого композитора Жака Оффенбаха (1819–1880) «Сказки Гофмана» (акт 4, сц. 1).

С. 387. Есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться. — Васильев в утрированной форме высказывает те же претензии к «Жизнеописанию Чернышевского», что и один из редакторов «Современных записок» В. В. Руднев, который в 1937 г. отверг предложение Набокова напечатать четвертую главу «Дара» сразу же после первой, как отдельный текст. «Искренне считаю, — писал он Набокову 10 августа 1937 г., — что “Жизнеописание Ч[ернышевского]” — **одна из самых замечательных вещей**. Вещь, правда, ядовитая, издевательская от начала до конца, убийственная для бедного Ч[ернышевского], но — и дьявольски сильная. Но именно потому, что Ч[ернышевский] — не вымышленный персонаж, а лицо историческое, притом игравшее выдающуюся роль в русском освободительном движении, — неизбежно, дорогой Владимир Владимирович, хотите ли Вы, хочу ли я этого или нет, возникает вопрос: возможно ли к **такому** произведению приложить оценку лишь **художественную** исключительно, и не подлежит ли оно, по необходимости, также и критерию **общественному**?» (*LCNA.* Box 8, folder 14).

С. 388. «Ужин ребенку и гробик отцу» — искаженная цитата (вместо «Гробик ребенку и ужин отцу») из стихотворения Н. А. Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...» (1847). Речь в нем идет о бедной женщине, которая продает себя, чтобы накормить мужа и похоронить ребенка.

С. 389. ...сама вселенная лишь атом, или, правильнее будет сказать, какая-либо триллионная часть атома. Это еще геньяльный Блэз Паскаль интуитивно познавал. — Имеется в виду рассуждение в «Мыслях» Б. Паскаля (№ 230) о мельчайшей частице материи, «конечном микрокосме природы»: «Я хочу, чтоб мы увидели в ней новую пропасть. Я хочу описать для нас не только видимую вселенную, но и необъятность того, что может быть понято о природе в пределах этого миниатюрного атома. Мы можем увидеть в нем бесконечность вселенных, каждая из которых имеет свою твердь, свои планеты и землю в том же соотношении, как и в видимом мире...»

...звуки гренадерского марша: «Пра-ащай, Луиза...» — переложение старинной немецкой солдатской песни: «Nun adjö, Louise, wisch ab das Gesicht, / Eine jede Kugel die trifft ja nicht» (слова Виллибальда Алексиса, музыка Карла Леве).

С. 390. гробиан — невежда, грубиян (по имени персонажа немецкой сатиры XV—XVII вв.).

...анонимная поэма «Аз»... — По предположению Аннелоре Энгель-Брауншмидт, название поэмы — насмешка над стихотворным циклом Маяковского «Я» (1913). В пользу этого предположения говорит и то, что последнее стихотворение цикла «Несколько слов обо мне самом» («Я люблю смотреть, как умирают дети») заканчивается рифмой на «-аз»: «Хоть ты, хромой богомаз... / Я одинок, как последний глаз». К Маяковскому, возможно, отсылает и семантически близкая фамилия Светозарова.

Герман Лянде. — Фамилия этого вымышленного автора явно перекликается с фамилией Delalande, которой Набоков подписал эпиграф к «Приглашению на казнь». Апофегмы «французского мыслителя Delalande» будут приведены в пятой главе «Дара» (см. прим. к с. 484). Как заметил Г. Шапиро, одним из возможных прототипов Лянде и Delalande следует считать философа и публициста Григория Адольфовича Ландау (1877—1941), активного сотрудника редакции газеты «Руль», с которым Набоков был близко знаком по Берлину (см.: G. Shapiro. Hermann Lande's Possible Prototypes in *The Gift*//The Nabokovian. № 37 (1996 Fall). P. 53—55). Набокову, безусловно, должна была запомниться некрологическая статья Ландау о его отце, где В. Д. Набоков определялся как человек «естественной, саморазумеющейся простоты», которая в русской культуре ассоциируется с Пушкиным. «Но уже давно вышла из тени всезаслоняющая достоевско-розановская

проблематика, и изощренный излом “модернизма” дробит твердыни былого. Правда, Пушкин остался — как угрызение или обетование — мечтой для Достоевского и стилизацией в модернизме; но, быть может, никогда он в такой мере не перестал быть жизненно-действенным, как когда стал излюбленным объектом изучения и перетолкования. ⟨...⟩ Если — по знаменитому слову — на явление Петра Россия через столетие ответила Пушкиным, то она возразила на него Толстым. Против пушкинской простоты — слияния культуры с природой во вторую природу — пошел стихийный протест толстовского опрощения, пошла скудная простоватость разночинца от Чернышевского. Среди опрощения и простоватости, среди проблематики и излома — гаснет пушкинский свет; и быть может, к последним все редеющим отблескам его относится простота — личная и общественная, политическая и духовная — Набокова» (Г. Ландау. Похоронное // Руль. 6 апреля 1922). В этих размышлениях Ландау нетрудно увидеть корни всей концепции русской культуры в «Даре», и прежде всего отождествления отца Годунова-Чердынцева с Пушкиным.

С. 391. ...как балерина вылетает на сиренево освещенные подмостки. — Очередной «сиреневый», то есть «сиринский» след, знак незримого присутствия в романе его «подлинного» автора (см. прим. к с. 235).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

С. 392. ...с вышитым поясом на большом животе о. Гавриил... — Цитируя неуказанные источники, Н. А. Алексеев пишет в примечаниях к автобиографии Чернышевского, что его отец (см. прим. к с. 226) был «высокого роста, очень представительный», дома носил «вышитый пояс», а в своих священнических одеждах «был чинен» (*ЛН.* Т. 1. С. 708).

...привлекательный мальчик: розовый, неуклюжий, нежный. ⟨...⟩ Волосы с рыжинкой, веснушки на лобике, в глазах ангельская ясность, свойственная близоруким детям. — Портрет основан на воспоминаниях И. У. Палимпсестова, чей брат Федор был другом Чернышевского по семинарии: «Я нередко видел, как Гавриил Иванович вел за руку своего малютку, идя из церкви... Врезались в моей памяти черты лица этого малютки, которого называли не иначе как херувимчиком. Чистое, белое личико с легкою тенью румянца и едва заметными веснушками, открытый лобик, кроткие пытливые глаза; ...шелковистые рыжеватые кудерьки» (цит. по: *Стеклов.* Т. 1. С. 5). «Необыкновенно нежное, женственное лицо» юного Чернышевского и его «крайнюю близорукость» отмечает другой мемуарист, А. И. Розанов (цит. по: *Стеклов.* Т. 1. С. 6).

Кипарисовы, Парадизовы, Златорунные. — Павел Кипарисов и Александр Парадизов, вместе с Чернышевским, значатся в списке «низшего второго отделения» Саратовской семинарии за 1844 г. (Е. Ляцкий. Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет. С. 66. Прим. 3). В дневнике Чернышевский однажды упоминает Златорунного, своего товарища по семинарии, похожего на лисицу (*ЛН.* Т. 1. С. 339: запись от 6 декабря 1848 г.).

...серенький пуховый цилиндр... — деталь из мемуаров Александра Федоровича Раева (1823–1901), дальнего родственника и земляка Чернышевского, которого он помнил еще мальчиком «в светлом пуховом цилиндре, в светло-сером костюме» (цит. по: *ЛН.* Т. 1. С. 711; *НГЧ.* С. 124).

глива — сорт груши (в переносном значении: дуля, кукиш).

«Государю твоему повинуйся, чти его и будь послушным законам», — тщательно воспроизводил он первую пропись... — Цитируется (не вполне точно) изречение из второй ученической тетрадки Чернышевского с прописями (Е. Ляцкий. Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет. С. 60).

Сю Эжен (наст. имя Мари Жозеф, 1804–1857) — французский писатель, автор популярных романов-фельетонов «Парижские тайны» (1842–1843), «Вечный жид» (1844–1845) и др.

...некто Соколовский занимался с ним по-польски... — Ошибочное упоминание о том, что Чернышевский в юности изучил польский язык, содержится в мемуарах А. И. Розанова (*НГЧ.* С. 133). Под именем Соколовского в романе Чернышевского «Пролог» выведен близкий к нему польский революционер, сотрудник «Современника» Сигизмунд Игнатьевич Сераковский (1826–1863).

...местный торговец апельсинами преподавал ему персидский язык... — Об этом, якобы со слов современников, рассказал саратовский старожил Н. Ф. Хованский (*Стеклов.* Т. 1. С. 9). По другим источникам, Чернышевский брал уроки персидского языка у купцов, которые останавливались в Саратове проездом на нижегородскую ярмарку (*НГЧ.* С. 111–112).

поронция — то есть порка, словцо из бурсацкого жаргона. В саратовской семинарии провинившихся учеников «не секли, но ставили на колени, в угол, заставляли в виде наказания молиться в столовой за обедом и класть известное число земных поклонов» (А. А. Лебедев. Николай Гаврилович Чернышевский. (Наброски по неизданным материалам) // Русская старина. Т. 149. 1912, март. С. 316).

Его прозвали «дворянчик»... — По воспоминаниям соучеников Чернышевского, «в семинарии Н. Г. был крайне застенчивый, тихий и смирный; он казался вялым и ни с кем не решался заговорить первым. Его товарищи называли его между собою

дворянчиком, так как он и одет был лучше других, и был сын известного протоиерея» (*НГЧ.* С. 42).

Летом играл в козны... — Об увлечении Чернышевского игрой в козны (бабки) и другими играми см.: *НГЧ.* С. 30 и *ЛН.* Т. 1. С. 171.

...уловлять рыбу труднее, чем души человеческие... — Обыгрывается новозаветный сюжет об апостоле Симоне. Поймав множество рыбы «по слову Иисуса», так что лодки начали тонуть, он пришел в ужас «от этого лова»: «И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков» (Лука. 5: 5—10).

С. 393. ...зычно распевая гекзаметры, мчалась под гору шайка горланов на громадных дровнях... забавы семинаристов отпугивают ночных громил. — Эпизод из автобиографии Чернышевского: «Мы катались каждый вечер... иногда человек до 15 — и все на одних дровнях... с латинскими разговорами, пением лермонтовских, кольцовских и простонародных песен, декламированием отрывков из трагедии. ⟨...⟩ Тогдашний полицмейстер... сочувствовал нашему занятию: наша компания со своим шумом и гамом отпугивала мошенников на несколько улиц. Несколько раз он в своих ночных объездах по городу приостанавливался полюбоваться, как мы несемся на своих огромных дровнях» (*ЛН.* Т. 1. С. 173).

...прискорбный случай с майором Протопоповым. — Излагая эту историю, Набоков следует версии А. Ф. Раева: «У меня сохранилось несколько писем протоиерея Гавриила Ивановича Чернышевского ко мне в Петербург: из них видно, что он записал в метрические книги незаконнорожденным ребенка, родившегося от брака, заключенного за месяц до его рождения; притом же брак был совершен в деревне, что было неизвестно протоиерею Чернышевскому. За это он, по доносу, был уволен от должности члена консистории». Раев также цитирует письма жены о. Гавриила, сообщавшей, что муж поседел от горя. «Всякий бедный священник работай, трудись, терпи бедность, — писала она, — а вот награда самому лучшему из них» (*НГЧ.* С. 126). Послужной список Гавриила Ивановича дает возможность противоположного толкования его провинности: он был уволен «за неправильную записку незаконнорожденного сына майора Протопопова, Якова, родившегося через месяц после брака» (*НГЧ.* С. 50).

...навстречу бессмертной бричке... — Имеются в виду дорожные пейзажи в «Мертвых душах» Гоголя, и прежде всего лирическое отступление в последней главе, когда Чичиков покидает город N. Ср.: «Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? ⟨...⟩ Русь! ⟨...⟩ Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. ⟨...⟩ Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух...»

«Человек есть то, что ест» — (*нем.* «Der Mensch ist, was er ißt») изречение немецкого философа Людвига Фейербаха (1804—1872) из его рецензии на книгу Молешотта «Физиология пищевых продуктов» (1850).

С. 394. «Будь вторым Спасителем», — советует ему лучший друг... — Имеется в виду Василий Петрович Лободовский (ум. 1890), недоучившийся студент Петербургского университета, преподаватель кадетского корпуса, с которым Чернышевский был очень близок в студенческие годы. Набоков излагает здесь содержание дневниковой записи Чернышевского о разговоре с Лободовским: «И говорил мне, чтобы я был вторым спасителем, о чем он не раз и раньше намекал... тут у меня более, чем прежде, ясно явилась мысль, что Иисус Христос, может быть, не так делал, как должно было... который мог освободить человека от физических нужд, должен был раньше это сделать, а не проповедовать нравственность и любовь» (*ЛН.* Т. 1. С. 426: 28 мая 1849 г.). Сам Чернышевский в то время намеревался совершить «необыкновенный переворот» и облагодетельствовать человечество с помощью изобретения «машины вечного движения», проектированием которой он занимался много лет.

...чем левее комментатор, тем питает бóльшую слабость к выражениям вроде «Голгофа революции». — Седьмая часть монографии Ю. М. Стеклова (см. прим. к с. 381) озаглавлена «Страстной путь».

Вот в роли Иуды — Всеволод Костомаров... — Корнет уланского полка и поэт-переводчик Всеволод Дмитриевич Костомаров (1839—1865) участвовал в революционном движении и встречался с Чернышевским. В августе 1861 г. он был арестован по делу о тайном печатании нелегальных произведений и начал рьяно сотрудничать с Третьим отделением. Фактически все обвинение Чернышевского строилось на его ложных показаниях и сфабрикованных им документах.

...в роли Петра — знаменитый поэт, уклонившийся от свидания с узником. — Имеется в виду Н. А. Некрасов. Друг и соратник Чернышевского, он, получив официальное разрешение на свидание с ним накануне его отправки на каторгу, не только сам предусмотрительно уехал за границу, но и, по воспоминаниям М. Антоновича, горячо отговаривал других от прощального свидания с узником (*Стеклов.* Т. 2. С. 491).

...Герцен... именует позорный столб «товарищем Креста». — В примечании к статье по поводу вынесения приговора Чернышевскому, опубликованной в «Колоколе», 1864, № 186 (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30 т. М., 1959. Т. 18. С. 222).

«рабам (царям) земли напомнить о Христе» — заключительная строка стихотворения Некрасова «Пророк» (1874), которое, как

принято считать, посвящено Чернышевскому: «Его еще покамест не распяли, / Но час придет — он будет на кресте; / Его послал Бог Гнева и Печали / Рабам [вариант: Царям] земли напомнить о Христе».

...одному из его близких эта худоба, эта крутизна ребер... смутно напомнили «Снятие со Креста», Рембрандта, что ли. — Михаил Николаевич Пыпин (1851—1906), двоюродный брат Чернышевского, обмывавший тело покойного и обративший внимание на его изнурение, писал: оно «вызывало в моем воображении картину какого-то великого художника, изображающую «Снятие со креста», снимок с которой, виденный мною уже не помню где, издавна как-то врезался в мою память» (М. Чернышевский. Последние дни жизни Н. Г. Чернышевского // Былое. 1907. № 8/20 (август). С. 142, 146). Этой картиной, как предполагает Набоков, могло быть «Снятие с креста» Рембрандта, известное в двух вариантах (1633: Alte Pinakothek, Мюнхен; 1634: Эрмитаж).

С. 395. ...серебряный венок... был... выкраден из железной часовни... — Все подробности (кроме цвета разбитого стекла) точно соответствуют фактам, приведенным в статье М. Н. Чернышевского «Последние дни жизни Н. Г. Чернышевского» (С. 135 [надпись на венке], 150).

...вилюйского исправника звать Протопоповым! — О своем знакомстве с вилюйским исправником Аполлинарием Григорьевичем Протопоповым Чернышевский пишет в «Записке по делу сосланных в Вилюйск старообрядцев Чистоплюевых и Головачевой» (1879; см. *ПСС.* Т. 10. С. 523). По словам Е. Ляцкого, это был «человек не дурной, даже расположенный к Николаю Гавриловичу» (*ЧВС.* Вып. 3. С. XXVI).

...Белинский... смотрел... как воздвигается вокзал... — Имеется в виду Николаевский (ныне Московский) вокзал в Петербурге, который строился в 1845—1851 гг. по проекту К. А. Тона в связи с сооружением железной дороги между двумя столицами. По воспоминаниям Достоевского, встретившего Белинского напротив строящегося здания, тот сказал ему: «Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка... Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне сердце» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 т. Л., 1980. Т. 21. С. 12).

...тот вокзал... на дебаркадере которого... полупомешанный Писарев... хватает хлыстом по лицу красавца-соперника. — Влюбленный в свою кузину Раису Александровну Кореневу, Д. И. Писарев после ее венчания с отставным прапорщиком Евгением Николаевичем Гарднером в начале мая 1862 г. устроил безобразную сцену на Николаевском (по другим сведениям, Царскосельском: *Лемке.* С. 556—559) вокзале в Петербурге. Как пишет Волынский,

«не помня себя от отчаяния и ревности к сопернику... переодетый и с маской на лице, он быстро подошел к Гарднеру и ударил его хлыстом по лицу» (*РК.* С. 495).

С. 396. Возня с перпетуум-мобиле продлилась в общем около пяти лет, до 1853 года... — 9 января 1853 г. в Саратове Чернышевский, найдя изъян в своем проекте вечного двигателя (см. прим. к с. 394), записал в дневнике: «Это меня так озадачило, что я решился бросить все это... и решился уничтожить все следы своих глупостей, поэтому изорвал письмо в Академию Наук» (*ЛН.* Т. 1. С. 546).

Страннолюбский. — Значимую фамилию вымышленного биографа Набоков позаимствовал у реального лица — математика и педагога А. Н. Страннолюбского (1839–1903), который давал уроки старшему сыну Чернышевского Александру (Н. А. Пыпин. Сыновья Чернышевского. Из воспоминаний // Звенья. Вып. 1. М.–Л., 1932. С. 267).

С. 397. Увеселения Излера... — Иван Иванович Излер (1811–1877) — содержатель кофейни и загородного «заведения искусственных минеральных вод» в Петербурге. О «вечерах Излера», где «беспрестанно... летали воздухоплаватели... даже... и дамы», Чернышевский писал родителям 23 августа 1849 г. (*ЛН.* Т. 2. С. 135). Прочие петербургские новости см. в его письмах к отцу за 1853–1854 гг. (*ЛН.* Т. 2. С. 195, 202, 225).

С. 398. «Журналь де деба» («Journal des débats») — парижский журнал.

...«он был ласков ко мне, юноше робкому, безответному», — писал он потом об Иринархе Введенском... — Цитируется письмо Чернышевского к сыну Михаилу от 25 апреля 1877 г. (*ЧВС.* Вып. 2. С. 156). Иринарх Иванович Введенский (1813–1855), известный переводчик английской прозы, в годы студенчества Чернышевского оказывал ему покровительство и привлек его в свой либеральный литературный кружок, где часто обсуждались вопросы современной политики и философии.

...анимула, вагула, бландула... — душа моя милая, трепетная, нежная *(лат.)*. Этими словами начал обращение к своей душе умирающий римский император Адриан (76–138 н. э.).

Лободовские! Свадьба друга произвела на нашего двадцатилетнего героя одно из тех чрезвычайных впечатлений, которые среди ночи сажают юношу в одном белье за дневник. — Дневник Чернышевского, который он вел с 1848 по 1853 г., начинается с пространной записи о женитьбе В. П. Лободовского (см. прим. к с. 394). Самое сильное впечатление на него произвела жена друга Надежда Егоровна, которая на долгое время стала предметом не только его «чистой привязанности» (*ЛН.* Т. 1. С. 195), но и тайных воздыханий.

С. 399. алембик — (от *фр.* alambic, *англ.* alembic) перегонный аппарат.

...в своих кучерявых «Бытовых Очерках»... Василий Лободовский небрежно ошибся... — Цитируются беллетризованные воспоминания В. П. Лободовского «Бытовые очерки» (опубл. 1904–1905), в которых Чернышевский выведен под именем Крушедолина (Русская старина. 1905. № 2. С. 378–380).

«Не помяни мне глупых слез... своим покоем тяготясь», — обращается Николай Гаврилович к своей убогой юности и... роняет слезу... — Чернышевский цитировал фрагмент стихотворения Некрасова «На Волге (Детство Валежникова)» (1860), начиная со строк «Стучусь я робко у дверей / Убогой юности моей...» и кончая «Твоим ["своим" у Набокова — ошибка или опечатка] покоем тяготясь», в первоначальной редакции своих автобиографических заметок. Примечание М. Н. Чернышевского к словам «Не помяни» приведено без изменений (*ЛН.* Т. 1. С. 115).

С. 399–400. В голубом гробу лежит восковый юноша, а студент Татаринов... с ним прощается... смотрит опять, без конца... — В письме к родителям от 29 января 1847 г. Чернышевский рассказывает о похоронах своего товарища по факультету и курсу, студента-филолога Глазкова, который умер от скоротечной чахотки: «Он лежал такой хорошенький, молоденький. Простой голубой гроб... Все мы плакали. Но если бы вы видели, с какой нежною любовью прощался, целовал его, глядел на него в последний раз один студент, Татаринов! Он прежде не знал его. Но в больнице просидел у его кровати безотходно две последние недели, простоял у его гроба все эти ночи. Я не знаю, кажется, никакие рыдания не могли бы так тронуть, как та тихая, грустная, грустная нежность, с какою он последний целовал его, потом еще, еще, смотрел на него; смотрит на него, нежно, нежно и поцелует его тихо» (*ЛН.* Т. 2. С. 97).

С. 400. «Ночи на вилле» — автобиографический набросок Гоголя, в котором описаны его бдения у постели умирающего юноши Иосифа Вьельгорского на римской вилле княгини З. Волконской в 1839 г.

...мечтая о том, как у Лободовского... разовьется чахотка, и о том, как Надежда Егоровна останется молодой вдовой... — Ср. дневниковые записи от 28 и 29 октября 1848 г.: «...думал о Вас. Петр. и его чахотке. ⟨...⟩ Что будет, когда он умрет? Тут моя мечтательность открывает себе широкое поле и прогуливается по нем. ⟨...⟩ Какие будут мои отношения с Над. Ег.? Конечно, я должен поддерживать ее; может быть, должен жениться на ней и т. д. в самом целомудренном духе» (*ЛН.* Т. 1. С. 309).

...Надежда Егоровна «сидела без платка... и была видна некоторая часть пониже шеи»... — дневниковая запись от 13 октября 1848 г. (*ЛН.* Т. 1. С. 301).

миссионер — домашнее платье.

...слог... схожий с говорком нынешнего литературного типа простака-мещанина... — Имеется в виду мещанский «сказ» у М. Зощенко.

С. 400—401. «Василий Петрович стал на стул... полусвет... но ясный» — дневниковая запись от 8 августа 1848 г. с несущественными изменениями (*ЛН.* Т. 1. С. 234).

С. 401. На Невском проспекте в витринах Юнкера и Дациаро были выставлены поэтические картинки. Хорошенько их изучив, он... записывал свои наблюдения. — Разглядывание картин в витринах художественных лавок на Невском проспекте было излюбленным развлечением Чернышевского в студенческие годы. Ср., например, дневниковую запись от 11 августа 1848 г., которая частично цитируется ниже: «...шел по Невскому смотреть картинки, у Юнкера много новых красавиц; внимательно, долго рассматривал я двух... долго и беспристрастно сравнивал и нашел, что они хуже Над. Ег., много хуже, потому что в ее лице я не могу найти неудовлетворительных качеств, а в этих много нахожу, особенно не выходит почти никогда порядком нос, особенно у одной красавицы, у переносицы и части, лежащей около носа по бокам, где он подымается...» (*ЛН.* Т. 1. С. 240—241). Далее Набоков пересказывает и точно цитирует пространное описание новых картинок у Дациаро (запись от 17 августа 1848 г. // *ЛН.* Т. 1. С. 245). В этих записях Чернышевского Набоков, в отличие от их автора, замечает и выявляет перекличку с петербургскими повестями Гоголя. Именно у магазина Юнкера собирается толпа любопытных, чтобы увидеть нос коллежского асессора Ковалева, но вместо носа какой-то «заслуженный полковник» видит только «картинку с изображением девушки, поправляющей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою». В «Шинели» внимание Акакия Акакиевича привлекает выставленная в окошке магазина картина, «где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную».

С. 402. Это — солнце пурпурное, опускающееся в море лазурное... — реминисценция двух строк из стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858): «Созерцая, как солнце пурпурное / Погружается в море лазурное...»

...магистерская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности»... написал прямо набело, сплеча, в три ночи... с шестилетним опозданием так-таки получил магистра. — Чернышевский написал свою диссертацию, конечно же, не за три ночи, но, как отмечает Ю. Стеклов, очень быстро и «прямо набело» (*Стеклов.* Т. 1. С. 135). Судя по его письмам к отцу, он начал работу над ней не ранее 17 августа 1853 г., к 7 сентября у него уже

было готово 3/5 текста, а 11 сентября он отдал законченную рукопись на просмотр А. В. Никитенко (*ЛН.* Т. 2. С. 194, 197, 198). Диссертация была защищена 10 мая 1855 г. и вскоре утверждена всеми инстанциями, кроме министра народного просвещения, который оставил дело без движения до осени 1858 г. Чернышевский получил диплом магистра только 11 февраля 1859 г., когда потерял всякий интерес к ученой карьере (*Стеклов.* Т. 1. С. 142–143).

...«сердце как-то чудно билось от первой страницы Мишле... и все это вместе»... — дневниковая запись от 13 октября 1848 г. В этот день Чернышевский начал читать книгу «Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel» («История последних философских систем в Германии от Канта до Гегеля», 1837–1838) немецкого философа-гегельянца Карла Людвига Мишле (1801–1893). Перед этим, в течение почти двух месяцев, он изучал труды знаменитого французского историка и политического деятеля Франсуа Пьера Гийома Гизо (1787–1874) «История революции в Англии» (1828) и «История цивилизации во Франции» (1829–1832).

...пел «песню Маргариты»... и «слезы катились из глаз понемногу». — Набоков отталкивается от дневниковой записи от 31 августа 1848 г.: «...лег на диван и стал петь... после песню Маргариты, при которой я постоянно думал о В. П. и Над. Ег. 〈...〉 Когда пел эти песни, понемногу расчувствовался так, что стали катиться слезы. Так провел я с полчаса или более, лежал на диване, раскинувшись на спине и поя, слезы катились из глаз понемногу» (*ЛН.* Т. 1. С. 259). Ранее Чернышевский отмечал в дневнике, что часто поет «песню Маргариты из Фауста — Meine Ruh ist hin [Мой покой исчез]» (*ЛН.* Т. 1. С. 238), имея в виду песню Франца Шуберта «Гретхен за веретеном» («Gretchen am Spinnrade», 1814) на слова из первой части «Фауста» Гёте (сцена «В комнате Гретхен»).

С. 403. ...обтрепанный фонарщик подвозил ламповое масло к мутному... 〈...〉 фонарю... Николай Гаврилович летел проворным аллюром бедных гоголевских героев. — Характер молодого Чернышевского проецируется на образную систему петербургских повестей Гоголя. Образ фонарщика отсылает к финалу «Невского проспекта»: «Далее, ради Бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда... когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде». «Проворный аллюр» напоминает об изменившейся походке Акакия Акакиевича в новой шинели, когда он сам дивит-

ся своей «неизвестно откуда взявшейся рыси». В той же сцене «Шинели», кстати, упоминаются фонари, масло и закрытые лавки.

Мы присутствуем при том, как изобретательный Николай Гаврилович замышляет штопание своих старых панталон... — Источник сцены — дневниковая запись от 16 июля 1849 г. (*ЛН.* Т. 1. С. 445–446), откуда Годунов-Чердынцев взял почти все подробности, кроме придуманного лимона в бумажном пакете за окном (у Чернышевского сказано кратко: «Так как кислота не выедала, я выскоблил их насквозь ножом»).

С. 404. «Вильгельм Телль» (1804) — драма Ф. Шиллера.

Впоследствии, на каторге, он... прославился неумением что-либо делать своими руками (...«Да не суйтесь не в свое дело, стержень добродетели», — грубовато говаривали ссыльные). — Набоков отталкивается от воспоминаний П. Ф. Николаева (1844–1910), который отбывал каторжные работы вместе с Чернышевским: «Вообще, в этом отношении с ним было просто беда. Он не мог видеть нас работающими без того, чтобы не вмешаться и не помешать. ⟨...⟩ Да и страшно за него было: так он ловок был, что того и гляди покалечит себя, так что частенько приходилось насильно отнимать у него режущие и колющие инструменты и дружелюбно его выталкивать. После мы выучились отделываться от него напоминанием о некоем дворнике, которому, по его собственному рассказу, он хотел помочь внести дрова на пятый этаж и так ловко помог, что рассыпал всю вязанку, за что и получил надлежащее возмездие в форме крепких слов. Как сунется Николай Гаврилович "помогать" нам, так и крикнем ему: "а вспомните, стержень добродетели (так мы шутливо называли его), дворника", — ну и отстанет» (П. Ф. Николаев. Личные воспоминания о пребывании Николая Гавриловича Чернышевского в каторге (В Александровском заводе) 1867–1872 гг. М., 1906. С. 15; цит. по: Е. Ляцкий. Н. Г. Чернышевский в Сибири // *ЧВС.* Вып. 1. С. XX).

...однажды не без гордости записал, как отомстил молодому извозчику... — запись от 15 ноября 1848 г. (*ЛН.* Т. 1. С. 323–324).

Там Пушкин залпом пьет лимонад перед дуэлью... — В кондитерской Вольфа на углу Невского проспекта и набережной Мойки Пушкин перед дуэлью встречался со своим секундантом К. К. Данзасом (см. прим. к с. 205). Как записал рассказ последнего А. Аммосов, «выпив стакан лимонада или воды, Данзас не помнит, Пушкин вышел с ним из кондитерской; сели в сани и отправились...» (*Вересаев.* Т. 2. С. 388).

...там Перовская и ее товарищи берут по порции (чего? история не успела — —) перед выходом на канал. — Имеется в виду убийство Александра II, совершенное 1 марта 1881 г. группой террористов во главе с Софьей Львовной Перовской (1854–1881). Перед

покушением заговорщики «собрались в кондитерской Андреева, помещавшейся на Невском против Гостиного двора, в подвальном этаже, и ждали момента, когда пора будет выходить. Один только Гриневицкий мог спокойно съесть поданную ему порцию» (Ник. Ашешов. Софья Перовская. Материалы для биографии и характеристики. Пг., 1920. С. 104).

С. 405. ...«последние оба раза... не таясь»... — дневниковая запись от 13 июня 1849 г. (*ЛН.* Т. 1. С. 431).

...«волнения уже касались нам вверенной России», как выражался царь. — В Манифесте 14 марта 1848 г. по поводу революций в Западной Европе Николай I заявлял: «Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей Богом вверенной России» (цит. по: Эпоха Николая I / Под. ред. М. О. Гершензона. М., 1910. С. 9).

«Эндепендансъ Бельж» — (*фр.* «Indépendancebelge») консервативная бельгийская ежедневная газета (выходила с 1831 г.).

...щелкают выстрелы на Бульвар де Капюсин... — Речь идет о событиях Французской революции 1848 г., за которыми Чернышевский внимательно следил по иностранным газетам и журналам.

«Питаясь чуть не жестию... я в ней курил, курил» — цитата из комической пьесы Некрасова «Забракованные» (1859).

С. 406. Однажды он бросился за большой нуждой в дом на Гороховой... — Эпизод соответствует дневниковой записи от 7 октября 1848 г., которая выборочно цитируется ниже (*ЛН.* Т. 1. С. 296).

...как он радуется, когда, трижды целуя во сне гантированную ручку «весьма светло-русой» дамы (матери подразумеваемого ученика... нечто во вкусе Жан-Жака), он не может себя упрекнуть ни в какой плотской мысли. — Дневниковая запись от 14 июля 1849 г.: «...мне снилась долгая история о том, что я поступил в какое-то знатное семейство учителем сына (лет 7 или 8), и собственно потому, что мы с этою дамою любим друг друга... я также люблю ее... Она белокурая высокая, волоса даже весьма светло-русые, золотистые, такая прекрасная. Я у нее целовал 2—3 раза руку... Итак, я чувствовал себя весьма радостным от этой любви с ней, с наслаждением целовал ее руку (которая, кажется, была в перчатке и еще темного цвета). ⟨...⟩ Никакой мысли плотской не было (каким образом, это странно), решительно никакой плотской мысли, а только радость на душе...» (*ЛН.* Т. 1. С. 444). Любовь молодого учителя-разночинца и покровительствующей ему женщины из высшего общества ассоциируется с сюжетом романа Жан-Жака Руссо (см. прим. к с. 378) «Новая Элоиза» и с его же откровенной «Исповедью». Чернышевский, который, кстати, переводил «Исповедь» на русский язык, в молодости строил свой

образ по руссоистским моделям (см. об этом: I. Paperno. Chernyshevsky and the Age of Reason. Stanford, 1988. P. 94–95).

...в письме из Сибири, он вспоминает девушку-ангела, замеченную однажды в юности на выставке Промышленности и Земледелия... — Цитируется письмо к жене от 8 марта 1878 г. (*ЧВС.* Вып. 3. С. 88–89).

Бувар и Пекюшэ — герои одноименного незаконченного романа Г. Флобера. Собираясь писать жизнеописание сына Карла X, герцога Ангулемского (1775–1844), они заносят в конспект следующий пункт: «В будущем труде необходимо отметить, какое значение в жизни герцога имели мосты».

С. 407. шу — (от *фр.* choux) большие пышные банты.

«Вам бы жить в Париже», — сказал он... стороной узнав, что она «демократка»... — дневниковая запись от 20 февраля 1852 г. (*ЛН.* Т. 1. С. 551).

«Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье» — так сам Чернышевский озаглавил свой саратовский дневник 1853 г., в котором подробнейшим образом описана история его отношений с Ольгой Сократовной Васильевой (1833–1918), ставшей его женой в апреле 1853 г. Этот интимный дневник был написан особой скорописью, с применением целого ряда своеобразных сокращений и обозначений; конфискованный при аресте Чернышевского в 1862 г., он вызвал сильнейшие подозрения у следственной комиссии, которой не удалось полностью его расшифровать.

Увлекающийся Стеклов называет «ликующим гимном любви» это... произведение... — точнее, «настоящим любовным гимном, увлекательной поэмой в прозе» (*Стеклов.* Т. 1. С. 113).

«меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня» — Здесь и далее цитируется и пересказывается объяснение Чернышевского с Ольгой Сократовной, состоявшееся 19 февраля 1853 г. (*ЛН.* Т. 1. С. 555–559; *Стеклов.* Т. 1. С. 114–116).

...рассказывает ей о жене Искандера... — то есть о жене А. И. Герцена, Наталье Алексеевне (урожд. Захарьина, 1817–1852).

Алданов Марк (псевдонив Марка Александровича Ландау, 1889–1957) — русский писатель, с 1919 г. в эмиграции; один из немногих литературных знакомых Набокова, которые, по его словам, возбуждали в нем душевную приязнь. «Проницательный ум и милая сдержанность Алданова были всегда для меня полны очарования», — пишет он в своей автобиографической книге (*ДБ.* С. 287).

С. 408. Его жениховство... с бухгалтерией ласок: «расстегивал сначала две, после три пуговицы на ее мантилье...». Непременно хотел поставить ее ножку... на свою голову... — дневниковые записи от 4, 5 и 6 апреля 1853 г. (*ЛН.* Т. 1. С. 675–677).

...занимает почетнейшее место в дневнике... описание шуточных церемоний... — См.: *ЛН.* Т. 1. С. 551 (кормление с тарелки), 577 («открытые части» рук), 592—593 (крест на спине, шуточная дуэль на палках), 659 (шалости в церкви).

гроссфатер — бальный танец. Упоминается в дневнике Чернышевского: «сидим с ней в гостиной, пока другие танцуют гросфатер» (*ЛН.* Т. 1. С. 657).

С. 409. Чернышевский... стал утверждать, что весь дневник — вымысел беллетриста... — Годунов-Чердынцев точно излагает содержание пункта 12 прошения Чернышевского с возражениями против предъявленного ему обвинительного заключения сенатской следственной комиссии (*Лемке.* С. 454—456).

пти-жё — (от *фр.* petit-jeux) — салонные игры.

С. 410. Фиолетову-младшему... — Александр Фиолетов был соучеником Чернышевского по саратовской семинарии (Е. Ляцкий. Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет. С. 66. Прим. 3). Его младший брат, по всей вероятности, фигура вымышленная, так как в известных нам источниках не упоминается.

...Николай Гаврилович... чертит план Конвента... — Источник эпизода — воспоминания саратовского приятеля Чернышевского Е. А. Белова, рассказавшего, как однажды, отвечая на какой-то заданный учениками вопрос, он «увлекся, разговорился, нарисовал план залы заседаний Конвента, обрисовал партии, указал места, где члены каждой партии сидели, и т. д.» (*Стеклов.* Т. 1. С. 97. Прим. 3).

Сохранился... рассказ о том, как на похоронах матери... он закурил папироску и ушел под ручку с Ольгой Сократовной... — Эти «обывательские пересуды», сообщенные П. Юдиным, приведены у *Стеклова* (Т. 1. С. 121—122).

С. 411. ...у здания саратовской гимназии, чтобы отслужить литию... — Ср. рассказ М. Н. Пыпина (см. прим. к с. 394) о похоронах Чернышевского: «...все громче и громче стали раздаваться голоса, чтобы служить литию у гимназии, но директор, очевидно ожидая этого, выслал сказать священнику, что он не желает, чтобы у гимназии служили литию, и священник отказался ее служить» (М. Чернышевский. Последние дни жизни Н. Г. Чернышевского. С. 143).

...в течение нескольких месяцев 54-го года он преподавал во втором кадетском корпусе. — Чернышевский состоял на службе во Втором кадетском корпусе с января 1854 г. по 1 мая 1855 г. О конфликте с дежурным офицером, приведшем к его отставке, см.: *Стеклов.* Т. 1. С. 131.

монтаньяры — (от *фр.* montagnards) радикально настроенные депутаты французского Конвента, сторонники Робеспьера.

Из его рецензии на «Комнатную Магию» Амарантова... — Имеется в виду рецензия на книгу «Комнатная магия, или Увеселительные фокусы и опыты, основанные на физике и химии. Сочинение Г. Ф. Амарантова» (*ПСС.* Т. 2. С. 419–420).

С. 412. ...мечтал составить «критический словарь идей и фактов»... — В письме к жене из Петропавловской крепости от 5 октября 1862 г. Чернышевский сообщал ей о задуманных больших трудах, среди которых — многотомный «Критический словарь идей и фактов», где «будут перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом случае будет указываться истинная точка зрения» (*ЛН.* Т. 2. С. 412).

...флоберовскую карикатуру, тот *«dictionnaire des idées reçues»...* — Имеется в виду «Лексикон прописных истин», часть собранной Г. Флобером «коллекции глупостей», которая, по его замыслу, должна была составить второй том «Бувара и Пекюше» (см. прим. к с. 406). С 1910 г. печатается вместе с романом. Один из эпиграфов «Лексикона» — латинское изречение «Vox populi — vox dei» (Глас народа — глас божий).

...познакомившись за год до смерти со словарем Брокгауза... — неточность. Десятое издание немецкого энциклопедического словаря Брокгауза было у Чернышевского в Сибири (*ЛН.* Т. 2. С. 548), а осенью 1884 г. в Астрахани он заказал и получил новое издание (*ЛН.* Т. 3. С. 78). В 1888 г., т. е. за год до смерти, ему пришла в голову мысль заняться переделкой энциклопедии для русской публики (*ЛН.* Т. 3. С. 263).

Еще в начале журнального поприща он писал о Лессинге... — Имеется в виду работа Чернышевского «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» (1856–1857), в которой автор стремится отождествить себя с немецким просветителем, придавая ему черты своего идеального биографического двойника (см. об этом: *Стеклов.* Т. 1. С. 162).

С. 413. ...«как-то по нашим грехам, против моей воли», — писал он... Некрасову... — в письме от 7 февраля 1857 г. (*ЛН.* Т. 2. С. 349–350).

По некоторым сведениям, Чернышевский в пятидесятых годах подумывал о самоубийстве; он будто бы даже пил... — В письме к Некрасову от 5 ноября 1856 г. Чернышевский признался: «Скажу даже, что лично для меня личные мои дела имеют более значения, нежели все мировые вопросы: не от мировых вопросов люди топятся, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это...» (*ЛН.* Т. 2. С. 340). Как заметил в предисловии к книге «Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым» Н. К. Пиксанов, из этого письма мы впервые узнаем, что Чернышевский «переживал в 50-х годах настроения самоубийцы и пытался забыться от горя в пьянстве. ⟨...⟩ Есть

веские данные думать, что причиной была интимная семейная жизнь, отношения с женой» (М., 1925. С. 28, 42).

«Оне умные, образованные, добрые, я вижу, — а я дура, необразованная, злая», — ...говорила Ольга Сократовна о родственницах мужа, Пыпиных... — Эти слова Ольги Сократовны о двоюродных сестрах мужа, Евгении Николаевне и Пелагее Николаевне Пыпиных, привел в письме к их брату, своему ближайшему другу Александру Николаевичу Пыпину (1833—1904) сам Чернышевский (*ЧВС.* Вып. 3. С. 55).

...не пощадили «эту истеричку, эту взбалмошную бабенку с нестерпимым характером». — По-видимому, имеется в виду книга Варвары Александровны Пыпиной «Любовь в жизни Чернышевского. Размышления и воспоминания» (Пг., 1923), в которой подчеркнуты тяжелые свойства характера Ольги Сократовны: ее неуравновешенность, взбалмошность, истеричность, раздражительность, мнительность и «отсутствие доброго отношения к кому-либо».

Как она швырялась тарелками! — О скандалах в семье Чернышевского докладывал по начальству тайный агент Третьего отделения, который вел наблюдение за его квартирой: Ольга Сократовна, сообщал он 27 января 1862 г., «постоянно ссорится с мужем, раздражая еще более и без того уже желчный его характер. Между супругами бывают иногда весьма неприличные сцены, оканчивающиеся низкой бранью» (Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III отделения (1861—1862 гг.) / Публикация А. Шилова // Красный архив. Т. 1 (14). 1926. С. 109).

Старухой она любила вспоминать, как в Павловске... перегоняла вел. кн. Константина... или как изменяла мужу с польским эмигрантом Савицким... — Набоков следует за рассказом В. А. Пыпиной о разговоре с Ольгой Сократовной в Павловске в середине 1880-х гг.: «Ольга Сократовна предалась отдаленным воспоминаниям: как сиживала она здесь, окруженная молодежью, как перегонялась на рысаке с великим князем Константином Николаевичем, закутав лицо вуалью, иногда опуская ее, чтобы поразить огненным взглядом, как он был заинтригован, как многие мужчины ее любили. "А вот Иван Федорович (Савицкий, польский эмигрант, Stella) ловко вел свои дела, никому и в голову не приходило, что он мой любовник... Канашечка-то знал: мы с Иваном Федоровичем в алькове, а он пишет себе у окна"» (Любовь в жизни Чернышевского. С. 105). И. Ф. Савицкий (1831—1911) — отставной полковник Генерального штаба, участвовал в революционном движении под псевдонимом Стелла, командовал повстанческим отрядом в Галиции.

С. 414. Раз, накануне Нового года, грузины, во главе с гогочущим Гогоберидзе, ворвались в его кабинет... — Источник эпизода —

фрагмент из очерка Г. М. Туманова «Н. Г. Чернышевский и кавказцы», приведенный у *Стеклова* (Т. 1. С. 213). Мемуарист упоминает трех членов кружка грузин-студентов по фамилии Гогоберидзе, которая, скорее всего, привлекла внимание Набокова созвучием с эпитетом «гогочущий».

С. 415. ...провозглашено «умственное направление шестидесятых годов», как потом вспоминал старик Шелгунов... — Николай Васильевич Шелгунов (1824–1891), публицист, сотрудник «Современника», близкий к революционным конспирациям, в мемуарном очерке «Из прошлого и настоящего» (1884–1885) вспоминал: «Умственное направление шестидесятых годов было провозглашено в 1855 году на публичном диспуте в Петербургском университете. Я говорю о публичной защите Чернышевским его диссертации... Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. ⟨...⟩ Это была целая проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство. Вот в чем заключалась влекущая сила этого нового слова, приведшего в восторг всех, кто был на диспуте, но не тронувшего только Плетнева и заседавших с ним профессоров. Плетнев, гордившийся тем, что он угадывал и поощрял новые таланты, тут не угадал и не прозрел ничего...» (Н. В. Шелгунов. Воспоминания. М.—Пг., 1923. С. 163, 166). Известный критик и поэт, друг Пушкина Петр Александрович Плетнев (1792–1865) председательствовал на защите диссертации Чернышевского, так как был в то время ректором Петербургского университета.

«Прекрасное есть жизнь ⟨...⟩ согласованием характера описываемых лиц с теми событиями, в которых они участвуют». — Цитируются и перефразируются центральные тезисы диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (*ПСС.* Т. 2. С. 10–13, 77), а также их изложение в кн.: *Стеклов.* Т. 1. С. 325.

С. 416. ...Гаршин видел «чистого художника» в Семирадском... — Генрих Ипполитович Семирадский (1843–1902) — живописец академической школы, автор огромных полотен на исторические и библейские сюжеты. Писатель В. М. Гаршин подверг критике его творчество в статье «Новая картина Семирадского “Светочи христианства”» (1877).

Дружинин Александр Васильевич (1824–1864) — русский литературный критик и прозаик, видный представитель так называемой «эстетической» критики середины XIX в. Уйдя из «Современника», он предпринял попытку объединить вокруг себя писателей, враждебных лагерю Чернышевского, чтобы противодействовать «всем нынешним неистовствам и безобразиям» (*Стеклов.* Т. 2. С. 18–19).

...вербную халву... — обыгрываются поговорка «Сколько ни говори: “халва”, во рту слаще не станет» и выражение «вербная каша» (сережки вербы, которые варят в каше и едят в вербное воскресенье), где «вербное» переосмыслено как «словесное» (от *лат.* verbum — «слово»).

Критикуя на страницах «Отечественных Записок» (54-й год) какой-то справочный словарь... — Имеется в виду рецензия на седьмой том «Справочного энциклопедического словаря» под редакцией А. Старчевского (Отечественные записки. Т. 97. 1854. № 11; *ПСС.* Т. 2. С. 345–358).

«Иллюминации... Конфеты 〈...〉 штофные обои 〈...〉 в... загородной оргии» — монтаж фрагментов из «Заграничных известий», помещенных в № 7 «Современника» за 1856 г. (*ПСС.* Т. 3. С. 730–732).

...разгромил поэта Никитина... — См. рецензию Чернышевского на сборник стихотворений И. Никитина (*ПСС.* Т. 3. С. 495–501).

С. 417. Кампе Иоахим-Генрих (1746–1818) — немецкий педагог и детский писатель, автор дидактического переложения «Робинзона» и других назидательных сочинений. Его афоризм приведен в статье Чернышевского «О поэзии. Сочинение Аристотеля» (*ПСС.* Т. 2. С. 369).

«если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь жалком, забытом романе...» — цитируется статья Чернышевского о сочинениях Пушкина в издании П. В. Анненкова (*ПСС.* Т. 2. С. 465).

...всякое подлинно новое веяние есть ход коня... сдвиг... — И. Паперно возводит эти метафоры к теориям русских формалистов, и в частности к книге Виктора Шкловского «Ход коня» (М.— Берлин, 1923), где шахматная метафора описывает принцип условности в искусстве (Как сделан «Дар» Набокова. С. 493).

С. 418. ...розовый плащ тореадорши на картинке Манэ... — Имеется в виду знаменитая картина французского художника Эдуара Мане «Мадемуазель Викториана в костюме матадора» (1862), которая в свое время шокировала зрителей не меньше, чем его «Завтрак на траве». Мулета в руках у натурщицы действительно розового, а не ожидаемого красного цвета.

«Лобачевского знала вся Казань, — писал он из Сибири сыновьям, — вся Казань единодушно говорила, что он круглый дурак...» — цитируется (с неотмеченными купюрами, перестановками и сокращениями) письмо Чернышевского к сыновьям от 8 марта 1878 г., где неэвклидова геометрия Лобачевского и Гельмгольца названа «дикой фантазией невежды». «Геометрию без аксиомы параллельных линий» Чернышевский считал такой же дурацкой шалостью, как стихи без глаголов. Неточно вспомнив начало безглагольного стихотворения А. Фета «Шепот, робкое дыханье...» (1850), он

продолжал: «Я знавал Фета. Он — положительно идиот: идиот, каких мало на свете, но с поэтическим талантом. И ту пьесу без глаголов он написал как вещь серьезную. Пока помнили Фета, все знали эту дивную пьесу, и когда кто начинал декламировать ее, все... принимались хохотать до боли в боках» (*ЛН.* Т. 2. С. 492–498).

...любезничая с Тургеневым... он ему писал... — В недатированном письме к И. С. Тургеневу, которое Е. Ляцкий отнес к концу 1856 г., Чернышевский писал: «Что касается до публики, поверьте, никакие "Юности" и "Охоты на Кавказе", ни даже стихи Фета и статьи о стихах Фета и т. п. не могут настолько опошлить ее, чтобы она не умела отличать людей от... ну, хотя бы от тупцов» (*ЛН.* Т. 2. С. 358–359).

Когда однажды, в 55-м году, расписавшись о Пушкине, он захотел дать пример «бессмысленного сочетания слов», то привел мимоходом тут же выдуманное «синий звук»... — Чернышевский приводит «синий звук» в качестве примера «выражений совершенно бессмысленных» не в статьях о Пушкине, а в работе «Антропологический принцип в философии» (*ПСС.* Т. 7. С. 279–280).

...блоковский «звонко-синий час»... — последние слова стихотворения А. Блока «Осень поздняя. Небо открытое...» (1905) из цикла «Пузыри земли».

...не зная о физиологическом факте «окрашенного слуха». — См. прим. к с. 259.

...щука с голубым пером... — реминисценция оды Г. Р. Державина «Евгению. Жизнь званская» (1807): «Багряна ветчина, зелены щи с желтком, / Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, / Что смоль, янтарь-икра, и с голубым пером / Там щука пестрая — прекрасны». В работе об анненковском издании Пушкина Чернышевский утверждал, что у великих писателей нет времени «на соображения о том, как лучше написать: щука с голубым пером или голубоперая щука, и хороша ли выйдет картина, если сказать: краезлатые облака» (*ПСС.* Т. 2. С. 452).

...упрекать Дарвина в недельности... — Чернышевский неоднократно высмеивал дарвиновскую теорию борьбы за существование в письмах сыновьям из Сибири (см., например: *ЧВС.* Вып. 1. С. 68–72; Вып. 2. С. 17–18 и др.).

С. 418–419. ...Уоллеса в нелепости («...все эти ученые специальности от изучения крылышек бабочек до изучения наречий кафрского языка»). — Цитируется письмо Чернышевского к сыну Михаилу от 1 апреля 1881 г., где английский ученый Алфред Рассел Уоллес (1822–1913), пришедший независимо от Дарвина к идее эволюции и естественного отбора, назван нелепым (*ЧВС.* Вып. 3. С. 152).

С. 419. Разбирая в 55-м году какой-то журнал... — Имеется в виду рецензия на третий том «Магазина землевладения и путешествий. Географический сборник» (*ПСС.* Т. 2. С. 614–624).

...попытка Чернышевского доказать («Современник», 56-й г.), что трехдольный размер стиха языку нашему свойственнее, чем двухдольный. — Осенью 1854 г. Чернышевский написал две стиховедческие статьи: «Какие стопы — 2-сложные или 3-сложные — свойственнее русской версификации» и «О гекзаметре», которые были отклонены редакцией «Отечественных записок» и не сохранились (*Летопись.* С. 79). Основные их положения, которые Набоков точно передает и подвергает вполне справедливой критике, он изложил в двух работах, напечатанных в «Современнике» в 1855 г. (№ 3 и 4), — в большой работе об анненковском издании Пушкина и в рецензии на «Пропилеи» П. Леонтьева (*ПСС.* Т. 2. С. 469–472; 553–555; см. о них: Вас. В. Гиппиус. Чернышевский-стиховед // Н. Г. Чернышевский. Саратов, 1926).

...кольцовским элементарным анапестом («мужичок»)... — Имеется в виду стихотворения А. Кольцова «Что ты спишь, мужичок» (1839), написанное двустопным анапестом.

«Надрывается сердце от муки...» (1862 или 1863) — стихотворение Н. А. Некрасова. Неударяемые слова, перечисленные Набоковым, стоят в начале следующих стихов: «Плохо верится в силу добра», «Внемля в мире царящие звуки», «Чувству жизни ты вся предана», «В стаде весело ржет жеребенок», «Птицы севера вьются, кричат», «Грохот тройки, скрипенье подводы».

С. 420. ...стихи к жене, 75-й год. — В письме к Ольге Сократовне от 18 марта 1875 г. Чернышевский процитировал четверостишие из поздравительной поэмы, которую он писал ко дню ее рождения и от которой, по его словам, «не отказались бы ни Лермонтов, ни Пушкин»: «Волоса и глаза твои черны как ночь; / И сияние солнца во взгляде твоем, / О царица сердец в царстве солнца святом, / В стране гор, стране роз, равнин полночи дочь» (*ЧВС.* Вып. 1. С. 149).

...сапожник, заглянувший в мастерскую к Апеллесу, был скверный сапожник. — Аллюзия на эпиграмму Пушкина «Сапожник (Притча)» (1829): «Картину раз высматривал сапожник / И в обуви ошибку взял; / Взяв тотчас кисть, исправился художник. / Вот, подбочась, сапожник продолжал: / “Мне кажется, лицо немного криво... / А эта грудь не слишком ли нага?”... / Тут Апеллес прервал нетерпеливо: / “Суди, дружок, не свыше сапога!”...»

...вспоминать промахи в логарифмических расчетах о действии земледельческих усовершенствований на урожай хлеба? — О своих математических ошибках в «Примечаниях к Миллю» Чернышевский упоминает в письме к сыновьям от 21 апреля 1877 г. (*ЧВС.* Т. 2. С. 140–141).

С. 421. ...зашел знакомый букинист-ходебщик ⟨...⟩ *продал Николаю Гавриловичу... не разрезанного еще Фейербаха.* — Набоков разворачивает в сцену поздний рассказ Чернышевского о знакомстве с идеями немецкого философа Людвига Фейербаха (1804—1872) из его предисловия к предполагавшемуся в 1888 г. новому изданию «Эстетических отношений искусства к действительности», где он писал о себе в третьем лице: «Автор... получил возможность... употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 году. ⟨...⟩ В это время случайным образом попалось желавшему сформировать себе такой образ мысли юноше одно из главных сочинений Фейербаха. Он стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда житейские надобности отвлекли его от ученых занятий, он усердно перечитывал и перечитывал сочинения Фейербаха» (*ЛН.* Т. 1. С. 145). Описание букиниста-ходебщика, торгующего запрещенными иностранными книгами, в основном заимствовано из воспоминаний А. Н. Пыпина (*НГЧ.* С. 119—120; частично цит. по: *Стеклов.* Т. 1. С. 42—43) с добавлением имени и конкретных портретных характеристик. При этом Набоков игнорирует замечание мемуариста, что Чернышевский «мог тогда приобрести главные сочинения Фейербаха, как помню, в свежих, неразрезанных экземплярах» независимо «от этих негоциантов». Как следует из студенческого дневника Чернышевского, до 1850 г. из сочинений Фейербаха ему была известна только книга «Происхождение христианства» (1841), которую он получил от своего приятеля А. В. Ханыкова, члена кружка петрашевцев (*ЛН.* Т. 1. С. 395—401).

В те годы Андрея Ивановича Фейербаха предпочли Егору Федоровичу Гегелю. — Обыгрывается шутка В. Г. Белинского из его письма В. П. Боткину от 1 марта 1841 г., где он заявляет о своем отречении от «Егора Федоровича» Гегеля. Второе имя Л. Фейербаха — Андреас, второе имя его отца — Иоганн.

...Ленин опровергал теорию, что «земля есть сочетание человеческих ощущений»... — в работе «Материализм и эмпириокритицизм»: Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 18. С. 71—84.

«Мы теперь превращаем кантовскую непознаваемую вещь в себе ⟨...⟩ *независимо от нашего познания»* — монтаж основных тезисов второй главы «Материализма и эмпириокритицизма» (там же. С. 100—102).

«Мы видим дерево ⟨...⟩ *видим предметы как они действительно существуют»* — перефразируются и частично цитируются философские рассуждения Чернышевского в письме к сыновьям от 6 апреля 1878 г. (*ЛН.* Т. 2. С. 563—564).

Тот осязаемый предмет, который «действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем» («Антропологический принцип в философии»)... — цитируется главное философское сочинение Черны-

шевского (1860), в котором изложены основные понятия примитивного материализма (*ПСС.* Т. 7. С. 232).

С. 421–422. Чернышевский не отличал плуга от сохи, путал пиво с мадерой; не мог назвать ни одного лесного цветка... — В письмах к жене сам Чернышевский неоднократно признавался, что не умеет «отличить соху от плуга, старую лошадь от жеребенка» (*ЧВС.* Вып. 1. С. 74), «плохо различает лиственницу от сосны» (*ЧВС.* Вып. 2. С. 24) и не знает по именам здешнюю флору (*ЧВС.* Вып. 3. С. 102, 167). Он же рассказал историю о том, как когда-то в гостях принял «обыкновенное русское пиво» за мадеру (*ЧВС.* Вып. 3. С. 106–107).

С. 422. ...кроме дикой розы; ...добавляя... что «они (цветы сибирской тайги) всё те же самые, какие цветут по всей России». — Из письма жене от 1 ноября 1881 г.: «...кроме дикой розы, не умею назвать по имени ни одного из здешних цветков, хоть они все те же самые, какие растут по всей России» (*ЧВС.* Вып. 3. С. 167).

...запах гоголевского Петрушки... — Петрушка, лакей Чичикова в «Мертвых душах», всегда носит с собою «какой-то свой особенный воздух, свой собственный запах». «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты в баню», — говорит ему Чичиков. Подобным неистребимым запахом Набоков наделил м-сье Пьера, палача в романе «Приглашение на казнь».

...все существующее разумно. — Один из центральных постулатов философии Гегеля, выраженный в афористической форме в его книге «Философия права» (1821): «То, что разумно, — действительно; то, что действительно, — разумно».

...в статье «Общинное владение» стал оперировать... гегелевской триадой... — Имеется в виду статья «Критика философских предубеждений против общинного владения» (1858), где приведены упомянутые в тексте примеры трех фазисов развития (см. *ПСС.* Т. 5. С. 364–366, 373).

...к Марксу, который в своем «Святом семействе» выражается так... — Ср. канонический перевод этого пассажа: «Не требуется большой остроты ума, чтобы усмотреть необходимую связь между учением материализма о прирожденной склонности людей к добру и равенстве их умственных способностей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних обстоятельств на человека, о высоком значении промышленности, о правомерности наслаждения и т. д. — и коммунизмом и социализмом» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч. Изд. 2-е. М., 1955. Т. 2. С. 145).

С. 423. Стеклов считает, что при всей своей гениальности Чернышевский не мог быть равен Марксу... — Ср.: «Конечно, никто никогда не доказывал, что Чернышевский равен Марксу... При всей гениальности Чернышевского это было невозможно в силу

отсталости русской жизни... Но отсталость страны не мешает выдвижению отдельных выдающихся личностей... Слабость русского экономического развития не помешала тому, что одновременно с Уаттом русский мастеровой Ползунов изобрел в 1766 году в Барнауле паровую машину» (Ю. Стеклов. Еще о Н. Г. Чернышевском. С. 55–56).

...Маркс («этот мелкий буржуа до мозга костей» по отзыву Бакунина...)... — В письме к Георгу Гервегу русский революционер-анархист М. А. Бакунин (1814–1876) писал о Марксе и Энгельсе: «сами все с ног до головы захолустные буржуа» (Ю. Стеклов. Михаил Александрович Бакунин. Его жизнь и деятельность. В 4 т.: М., 1926–1927. Т. 1. С. 237).

«дес гроссен руссишен гелертен» — (*нем.* des großen russischen Gehlerten) «великого русского ученого». Так Маркс отозвался о Чернышевском в предисловии ко второму изданию «Капитала».

...ошибочно Ляцкий... сравнивает ссыльного Чернышевского с человеком, «глядящим... на плывущий мимо гигантский корабль (корабль Маркса)...» — Евгений Александрович Ляцкий (1868–1942) — историк русской литературы, автор многих работ о Чернышевском. Здесь перефразируется его сравнение из вступительной статьи к *ЧВС* (Вып. 3. С. XLIII).

...Чернышевский... говорил о «Капитале»...: «Просмотрел, да не читал, а отрывал листик за листиком... и пускал по Вилюю». — Это высказывание Чернышевского передал писатель А. И. Эртель, встречавшийся с ним в 1884 г. в Астрахани (цит. по: *Стеклов.* Т. 1. С. 272, *ЧВС.* Вып. 3. С. XLIII).

Ленин считал, что Чернышевский «единственный действительно великий писатель...». — Цитируется добавление к параграфу 1 четвертой главы книги «Материализм и эмпириокритицизм» (Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 18. С. 384).

С. 424. Как-то Крупская, обернувшись... к Луначарскому... сказала ему... — Об этом разговоре с Н. К. Крупской А. В. Луначарский вспоминает в статье «К юбилею Н. Г. Чернышевского», вошедшей в его книгу «Н. Г. Чернышевский» (1928). Слова Крупской и рассуждение самого Луначарского цитируются с несущественными изменениями (см.: А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8 т. М., 1963. Т. 1. С. 230–231).

Статью... «Антропологический принцип в философии» Стеклов называет «первым философским манифестом русского коммунизма»... — в книге «Еще о Н. Г. Чернышевском» (С. 78).

...говорит Страннолюбский, несколько перефразируя Волынского... — Ср.: «Трудно поверить, что европейская теория утилитаризма, обставленная сложными доводами, могла проявиться в России в таком упрощенном, сбивчивом, почти карикатурном виде... Шопенгауэр — прекрасный человек, но плохой мыслитель!

Шопенгауэр мало понимал в философии — Шопенгауэр, в критических когтях которого философские произведения Чернышевского не прожили бы больше нескольких секунд! 〈...〉 Из всех мыслителей прошедшего времени Чернышевский, по какой-то странной ассоциации идей и, без сомнения, ошибочных воспоминаний, готов признать только Аристотеля и Спинозу. В своем фантастическом представлении о системах этих двух действительно великих творцов в области человеческой мысли, он полагает, что... является их продолжателем...» (*РК.* С. 270, 271, 273).

Профессиональному философу Юркевичу было легко его разгромить. — Памфил Данилович Юркевич (1826–1876) — русский религиозный философ, учитель Влад. Соловьева. В статье «Из науки о человеческом духе», опубликованной в «Трудах Киевской Духовной Академии» (1860. № 4) и частично перепечатанной в журнале «Русский вестник» (1861. № 4), подверг уничтожающей критике статью Чернышевского «Антропологический принцип в философии» (см. прим. к с. 421 и 424). Подробный анализ статьи и развернувшейся вокруг нее полемики см.: *РК.* С. 281–311. Отвечая на критику в фельетоне «Полемические красоты. Коллекция первая. Красоты, собранные из “Русского вестника”» (*ПСС.* Т. 7. С. 726–732), Чернышевский перепечатал большой фрагмент работы Юркевича с ироническим предуведомлением: «Я не имею права перепечатывать больше, как треть статьи. Я вполне должен воспользоваться этим правом».

С. 425. «Голова его думает над общечеловеческими вопросами... пока рука его исполняет черную работу», — писал он о своем «сознательном работнике»... — Цитируется «Антропологический принцип в философии» (*ПСС.* Т. 7. С. 236).

Мир Фурье, гармония двенадцати страстей, блаженство общежития, работники в розовых венках... — Набоков иронически каталогизирует основные положения утопического учения Шарля Фурье (1772–1837), с которым Чернышевский познакомился в студенческие годы (см.: Е. Ляцкий. Н. Г. Чернышевский и Ш. Фурье // Современный мир. 1909. № 11. С. 161–187). Интересно, что идеи Фурье сначала показались Чернышевскому весьма нелепыми и напомнили ему «Записки сумасшедшего» Гоголя (*ЛН.* Т. 1. С. 339), но постепенно он подпал под их сильнейшее влияние, которое особенно очевидно в утопических фантазиях романа «Что делать?».

...яблоко Фурье, стоившее коммивояжеру целых четырнадцать су в парижской ресторации... — По словам самого Фурье, идея социального переустройства родилась у него в парижском ресторане: «Для меня, как и для Ньютона, компасом расчета явилось одно яблоко. За это яблоко, достойное знаменитости, было за-

плачено 15 су путешественником, обедавшим со мною в ресторане Феврье в Париже. Я тогда прибыл из области, где такие же яблоки и даже лучше по качеству и величине продавались по пол-ливра, то есть более ста штук за 14 су. Я был так поражен этой разницей в цене... что начал подозревать наличие фундаментальной неисправности в индустриальном механизме, и отсюда начались поиски, которые через четыре года привели меня к открытию серий индустриальных групп и в результате — законов мирового движения, упущенных Ньютоном» (цит. по: Ю. Василькова. Фурье. М., 1978. С. 50–51).

С. 425–426. «А что, если мы в самом деле живем во времена Цицерона и Цезаря... и является новый Мессия, и новая религия, и новый мир?..» — дневниковая запись от 10 октября 1848 г. Далее следует: «У меня, робкого, волнуется при этом сердце, и дрожит душа, и хотел бы сохранения прежнего — слабость! глупость!» (*ЛН.* Т. 1. С. 343).

seculorum novus nascitur ordo — рождается новый порядок веков *(искаж. лат.).* Чернышевский неточно цитирует те строки из четвертой эклоги Вергилия, которые в средние века интерпретировались как пророчество о рождении Иисуса Христа: «Magnum ab integro saeclorum nascitur ordo. ⟨...⟩ Iam nova progenies caelo demittitur alto» («Великий порядок веков рождается вновь. ⟨...⟩ С небес сейчас нисходит новое поколение»).

С. 426. ...жарят увертюру из «Вильгельма Телля»... — Имеется в виду опера Дж. Россини «Вильгельм Телль» (1829), которая имела устойчивую славу революционного сочинения. В дневнике Чернышевский заметил, что она всегда приводит его в восторженное состояние, а при звуках увертюры у него на глаза наворачиваются слезы (*ЛН.* Т. 1. С. 116).

генерал Зубатов — постоянный персонаж сатирических циклов М. Е. Салтыкова-Щедрина «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе», ретроград и солдафон. Годунов-Чердынцев перефразирует его реплику из фельетона «К читателям»: «Толкуют там: новым духом веет! новым духом веет! Каким это новым духом, желал бы я знать! Только лакеи стали грубить, а то все остается по-старому.

...рескрипт на имя виленского губернатора Назимова! — Речь идет о рескрипте Александра II от 20 ноября 1857 г., объявлявшем о начале крестьянской реформы. Рескрипт был адресован виленскому генерал-губернатору Владимиру Ивановичу Назимову (1802–1874), который ранее предложил начать освобождение крестьян с северо-западных губерний Российской Империи.

«Благословение, обещанное миротворцам и кротким...» — цитата из статьи Чернышевского «О новых условиях сельского быта» (*ПСС.* Т. 5. С. 70).

С. 427. Всегда, по тогдашнему обычаю, в халате... — Ср. рассказ о визитах к Чернышевскому в воспоминаниях революционера-шестидесятника Л. Ф. Пантелеева: «...он всегда принимал в своем кабинете. То была небольшая комната во двор, крайне просто меблированная, заваленная книгами, корректурами и т. п. 〈...〉 По тогдашнему обычаю, Н. Г. всегда был в халате. В этой-то комнатке по целым дням, а нередко и за полночь, диктовал он свои статьи Алексею Осип. Студенскому, кажется, бывшему семинаристу из Саратова, фанатически преданному Н. Г.» (*НГЧ.* С. 229–230).

...перевод истории Шлоссера... — Перевод на русский язык многотомной «Всемирной истории» немецкого историка либерального направления Фридриха Христофора Шлоссера (1776–1861) был предпринят по инициативе Чернышевского, который сам участвовал в подготовке издания как редактор и переводчик. О том, как Чернышевский диктовал перевод секретарю, а в промежутках читал или что-нибудь сочинял, вспоминает А. Я. Панаева. См. ее «Воспоминания» (М., 1986. С. 279).

Тургенев, Григорович, Толстой называли его «клоповоняющим господином»... — См., например, письмо И. С. Тургенева В. П. Боткину от 9 (21) июля 1855 г. (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28 т. Письма. М., 1961. Т. 2. С. 290) и письмо Л. Н. Толстого Н. А. Некрасову от 2 июля 1856 г. (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90 т. М., 1949. Т. 10. С. 75).

Как-то в Спасском первые двое, вместе с Боткиным и Дружининым, сочинили... домашний фарс. — В конце мая 1855 г. у Тургенева в имении Спасском гостили его друзья: писатели Д. В. Григорович (1822–1899) и А. В. Дружинин (см. прим. к с. 416), а также критик и переводчик В. П. Боткин (1810–1869). «Мы проводили время очень приятно и шумно, — писал Тургенев П. В. Анненкову, — разыграли на домашнем театре фарс нашего сочинения...» (И. С. Тургенев. Указ. соч. С. 276). Этот фарс Григорович вскоре переработал в повесть «Школа гостеприимства» (1855), где изобразил Чернышевского в карикатурном виде. Подробнее об этом см.: Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. М., 1987. С. 125–127; Ю. Стеклов. Еще о Н. Г. Чернышевском. С. 135–143.

С. 428. «Я прочел его отвратительную книгу... Рака! Рака! Рака! Вы знаете, что ужаснее этого еврейского проклятия нет ничего на свете». — Цитируется письмо Тургенева Дружинину и Григоровичу от 10 (22) июля 1855 г. (И. С. Тургенев. Указ. соч. С. 293; цит. по: *Стеклов.* Т. 2. С. 19–20). *Рака* по-древнееврейски — оскорбительное слово; Тургенев, по-видимому, запомнил его из Нового Завета: «кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону» (Матфей. 5: 22).

...Тургенев уже был не нужен «Современнику», который он покинул из-за добролюбовского змеиного шипка на «Накануне». — Имеется в виду статья Н. А. Добролюбова «Новая повесть г. Тургенева. (Когда же придет настоящий день?)», напечатанная в «Современнике» (1860. № 3). Познакомившись с ней по корректурным листам, Тургенев пришел в ярость и, по свидетельству А. Я. Панаевой, предъявил Некрасову ультиматум: «Выбирай: я или Добролюбов» (А. Я. Панаева. Воспоминания. С. 287). Некрасов выбрал Добролюбова, что и послужило поводом для окончательного разрыва Тургенева с редакцией «Современника».

«Его так и слышишь...» — цитируется письмо Л. Н. Толстого Н. А. Некрасову от 2 июля 1856 г. (см. прим. к с. 427; цит. по: *Стеклов.* Т. 2. С. 19–20).

«Аристократы становились грубыми хамами, — замечает по этому поводу Стеклов, — когда заговаривали с нисшими...» — усеченная цитата с измененной орфографией в слове «низший» (*Стеклов.* Т. 2. С. 19, прим. 4).

...зная, как Тургеневу дорого всякое словечко против Толстого, щедро говорил о «пошлости и хвастовстве» последнего... — В письме к Тургеневу от 7 января 1857 г. Чернышевский писал о Толстом: «...прочитайте его “Юность” — Вы увидите, какой это вздор, какая это размазня (кроме трех-четырех глав) — вот и плоды аристарховых советов — аристархи в восторге от этого пустословия, в котором 9/10 — пошлость и скука, бессмыслие, хвастовство бестолкового павлина своим хвостом, — не прикрывающим его пошлой задницы, — именно потому и не прикрывающим, что павлин слишком кичливо распустил его» (*ЛН.* Т. 2. С. 360).

Дудышкин Степан Семенович (1820–1866) — журналист и критик, в 1860–1866 гг. один из редакторов-издателей «Отечественных записок». Годунов-Чердынцев цитирует его программную статью, направленную против «Современника» (Отечественные записки. 1861. № 8. Русская литература. С. 148–167; цит. по: *Стеклов.* Т. 2. С. 179–181; *РК.* С. 308–309).

С. 429. Недоброжелатели... говорили о «прелести» Чернышевского, о его физическом сходстве с бесом (напр., проф. Костомаров). — Историк Николай Иванович Костомаров (1817–1885), хороший знакомый Чернышевского по Саратову и Петербургу, в конце 1850-х гг. полностью разошелся с ним во взглядах и прервал дружеские отношения. В своей «Автобиографии» (опубл. посмертно в 1922 г.) он, соглашаясь с саратовским архимандритом Никанором, заметившим в связи с Чернышевским, что бес «принимает на себя самый светлый образ ангелов и даже самого Христа, и тогда-то бес наиболее бывает опасен», припомнил «многое из жизни, когда Чернышевский как бы играл из себя настоящего беса» (цит. по: *Стеклов.* Т. 1. С. 111).

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824–1880) — публицист-шестидесятник, товарищ Чернышевского по Саратовской семинарии и Петербургскому университету, редактор радикального журнала «Русское слово» (1860–1866), в котором сотрудничали Писарев и В. Зайцев (см. прим. к с. 382), член тайного общества «Земля и воля». О его неистовой страсти к личному обогащению и роскоши, плохо совместимой с революционными взглядами, пишут многие мемуаристы (см., например: Н. В. Шелгунов. Воспоминания. С. 278–279; А. М. Скабичеський. Литературные воспоминания. М.—Л., 1928. С. 130–131). Уничижительная оценка Чернышевского содержится в письме Благосветлова к Я. П. Полонскому от 1 мая 1859 г.: «Спорить о том — почему Чернышевский любит носить грязные калоши, а я — чистые сапоги — не стоит и сального огарка. Очень странно, но писать гадко, неопрятно, немецки-пономарским стилем для меня также отвратительно, как спать на паршивой постели» (Звенья. Вып. 1. С. 33).

Некрасов... заступался за «дельного малого»... — В письме к И. С. Тургеневу от 27 июля 1857 г. Некрасов писал: «Чернышевский малый дельный и полезный, но крайне односторонний, — что-то вроде если не ненависти, то презрения питает он к легкой литературе и успел в течение года наложить на журнал печать однообразия и односторонности» (Переписка Н. А. Некрасова в 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 482).

В 83-м году... Пыпин предложил ему написать «портреты прошлого». Свою первую встречу с Некрасовым Чернышевский изобразил со знакомыми нам дотошностью и кропотливостью... — В письме от 28 ноября и 24 декабря 1883 г. А. Н. Пыпин (см. прим. к с. 413) попросил Чернышевского написать для него воспоминания о 50-х годах и, в частности, об известных литераторах эпохи (*ЛН.* Т. 3. С. 540, 542–543). Откликаясь на эту просьбу, Чернышевский написал несколько фрагментарных заметок о Некрасове, Добролюбове и Тургеневе (*ЛН.* Т. 3. С. 455–510).

С. 430. «Не говори, что дни твои унылы...» — цитируются (без последнего стиха) пятая и шестая строфы стихотворения Н. А. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю...» (1855).

«Не говори, забыл он осторожность...» — начало стихотворения Некрасова «Пророк» (см. прим. к с. 394) с измененной пунктуацией.

Растопчина Евдокия Петровна, графиня (1811–1858) — поэтесса и писательница. Чернышевский в издевательском тоне писал о ней в рецензиях на двухтомное собрание ее стихотворений (*ПСС.* Т. 3. С. 453–468, 611–615).

Глинка Авдотья Павловна (1795–1863) — поэтесса, жена Федора Глинки. В 1850-е гг. выступала со светскими повестями, одну

из которых — «Графиня Полина» (1856) — Чернышевский высмеял в «Современнике» (*ПСС.* Т. 3. С. 502—506).

Неправильный, небрежный лепет... — цитата из «Евгения Онегина» (3, XXIX).

Его эпатировал Гюго. Ему импонировал Суинберн (что совсем не странно, если вдуматься). — В письме сыну Михаилу от 25 апреля 1877 г. Чернышевский раздраженно писал: «Драмы Виктора Гюго — нелепая дичь, как и его романы, и лирические его произведения. Нестерпим он мне. И я даже полагаю, что у него нет таланта, а есть только дикая заносчивость воображения. Горько и смешно было мне прочесть, что английский поэт Суинборн пишет стихотворные панегирики ему, своему будто бы учителю. Суинборн в десять раз талантливее его» (*ЧВС.* Вып. 2. С. 157). Творчество Алджернона Чарлза Суинберна (1837—1909) отличалось форсированной подачей «запретных тем», декларативным свободолюбием и подчеркнуто музыкальной организацией стиха. Набоков намекает на то, что Суинберн, несмотря на свой поверхностный эстетизм, был дидактом-разрушителем с ограниченным сознанием того же «лунного» типа, что и Чернышевский.

...фамилия Флобера написана по-французски через «о»... — то есть неправильно. Нужно: Flaubert.

С. 430—431. ...он его ставил ниже Захер-Мазоха и Шпильгагена. — Леопольд фон Захер-Мазох (1836—1895) — австрийский писатель, автор социальных романов с заметным интересом к сексуальной психопатологии, откуда возник термин «мазохизм». Фридрих Шпильгаген (1829—1911) — немецкий писатель; отстаивал принципы «объективного романа», нередко сочетая их с мелодраматическими эффектами. Чернышевский писал в письме к сыну Михаилу от 14 мая 1878 г., что оба они «много выше» Флобера и других модных французов (*ЧВС.* Вып. 3. С. 104).

С. 431. Он любил Беранже... — В «Очерках гоголевского периода русской литературы» (1856) Чернышевский, говоря об общем ничтожестве французской литературы XIX века, заявил, что единственное исключение составлял Пьер Жан Беранже (1780—1857), оставшийся не понятым критикой (*ПСС.* Т. 3. С. 213). Ту же оценку он повторил много лет спустя, в письме к сыну Александру от 10 августа 1883 г. (*ЧВС.* Вып. 3. С. 228).

«Помилуйте, — восклицает Стеклов, — ...он со слезами восторга декламировал Беранже и Рылеева!» — Стеклов не говорит этого прямо, а лишь приводит выдержку из мемуаров М. Антоновича, который вспоминал: «[Чернышевский] с каким-то особенным наслаждением декламировал любимые им стихотворения классических поэтов, наших и немецких, и французские демократические песенки. При декламировании стихотворений с политическим

оттенком, напр. Рылеева, голос его дрожал от волнения и в глазах навертывались слезы» (*Стеклов*. Т. 1. С. 110, прим. 1).

Из разговоров с ним в Астрахани выясняется... — Высказывания Чернышевского о «графе Толстом» и Максиме Белинском приводит в своих воспоминаниях шестидесятник Л. Ф. Пантелеев, встречавшийся с ним в Астрахани (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. М., 1958. С. 470; *Стеклов*. Т. 2. С. 603). Максима Белинского (псевдоним Иеронима Иеронимовича Ясинского, 1850–1931), автора поверхностных повестей «обличительного направления», Чернышевский хвалил также в разговоре с начальником Иркутского жандармского управления Келером (*Стеклов*. Т. 2. С. 586, прим. 1), а «графа Толстого» бранил в беседе с писателем В. Г. Короленко (там же. С. 631).

«Политическая литература — высшая литература» — дневниковая запись от 10 декабря 1848 г. (*ЛН*. Т. 1. С. 342).

...«литература не может не быть служительницей того или иного направления идей... история не знает произведений искусства, которые были бы созданы исключительно идеей прекрасного». — Цитируются фрагменты девятой и седьмой статей, входящих в «Очерки гоголевского периода русской литературы» (*ПСС*. Т. 3. С. 301, 303, 237).

...«Жорж Занд безусловно может входить ⟨...⟩ чем Гоголь». — С небольшими неточностями и пропусками цитируется статья В. Г. Белинского «Объяснения на объяснение по поводу поэмы Гоголя “Мертвые Души”» (Собр. соч. Т. 5. С. 150–151).

«Гоголь фигура очень мелкая, сравнительно... с... Фильдом...» — Цитируется письмо Чернышевского к жене от 30 августа 1877 г. (*ЧВС*. Вып. 2. С. 204; *Стеклов*. Т. 1. С. 158, прим. 1). Вместо «Фильдом» (опечатка или описка Набокова) следует читать «Фильдингом» (как в обоих источниках).

Его возглас (как и пушкинский) «Русь!»... — Годунов-Чердынцев проводит параллель между знаменитым восклицанием в финале первого тома «Мертвых душ»: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ» и пушкинским шутливым переводом латинского эпиграфа ко второй главе «Евгения Онегина»: «О Русь!»

Надеждин Николай Иванович (1804–1856) — критик, эстетик, издатель журнала «Телескоп»; окончил духовную семинарию в Рязани. В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский писал о нем как о мыслителе, опередившем свое время, непосредственном предшественнике Белинского: по его словам, в пушкинскую эпоху только один Надеждин «понимал вещи в их истинном свете» (*ПСС*. Т. 3. С. 157). В статье о «Сочинениях и письмах Н. В. Гоголя» (1857) он сожалел о том, что Гоголь в молодости не воспринял прогрессивные «понятия» На-

деждина и Н. Полевого, а подпал под пагубное влияние Пушкина и его кружка (*ПСС.* Т. 4. С. 631–634).

С. 432. отец Матвей (Матвей Александрович Константиновский, 1792–1857) — ржевский протоиерей, один из корреспондентов Гоголя после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями»; требовал от писателя еще большего морального ригоризма. В январе — феврале 1852 г. встречался с Гоголем в Москве, призывая его отказаться от Пушкина как от «еретика и язычника» и оставить художественное творчество.

...у Белинского... сравнение Печорина с паровозом... — неточность. На самом деле Белинский в статье «Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова...» (1840) сравнил Печорина с пароходом (Собр. соч. Т. 3. С. 144).

«Вы жертвою пали» — революционная похоронная песня 1870-х гг. на стихи неизвестного автора.

«Прощай, наш товарищ, недолго ты жил...» — заключительные строки стихотворения Лермонтова «В рядах стояли безмолвной толпой...» (1833).

...во влажном стихе... — В незаконченной поэме «Сказка для детей» Лермонтов писал о своей любви к «влажным рифмам».

Браните же его за шестистопную строчку, вкравшуюся в пятистопность «Бориса Годунова», за метрическую погрешность в начале «Пира во время чумы»... — В английском переводе «Дара» Набоков уточнил, что речь идет о девятой сцене «Бориса Годунова» (ст. 50: «У Вишневецкого, что на одре болезни») и двадцать первом стихе «Пира во время чумы»: «Я предлагаю выпить в его память».

фон Фок Максим Яковлевич (1777–1831) — управляющий Третьим отделением, ближайший помощник шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа; в его донесениях Пушкин охарактеризован как «честолюбец, пожираемый жаждою вожделений» (*Вересаев.* Т. 1. С. 317) и легкомысленный «человек, не думающий ни о чем, но готовый на все» (*Вересаев.* Т. 2. С. 57).

С. 433. Толмачев Яков Васильевич (1779–1873) — автор книг по риторике, профессор Петербургского университета и Благородного пансиона, где преподавал словесность и логику. Его отзыв о Пушкине приводит в своих мемуарах учившийся у него И. И. Панаев, отмечая, что «Яков Васильевич питал закоренелую ненависть ко всему живому и современному» (И. И. Панаев. Литературные воспоминания. С. 36).

Говоря, что «Пушкин был «только слабым подражателем Байрона»... — В письме к жене от 30 августа 1877 г. Чернышевский заметил: «Наши знаменитейшие поэты, Пушкин и Лермонтов, были только слабыми подражателями Байрона. Этого никто не отрицает» (*ЧВС.* Вып. 2. С. 203; *Стеклов.* Т. 1. С. 158).

...точно воспроизводил фразу графа Воронцова... — М. С. Воронцов (1782—1856), новороссийский генерал-губернатор и наместник Бессарабский, известный враждебным отношением к Пушкину, назвал его «слабым подражателем лорда Байрона» в письме к К. В. Нессельроде от 28 марта 1824 г. (*Вересаев.* Т. 1. С. 227).

Излюбленная мысль Добролюбова, что «у Пушкина недостаток... образования»... — О «недостатке серьезного образования» у Пушкина Добролюбов писал в рецензии на дополнительный том его Собрания сочинений (Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в 9 т. М.—Л., 1962. Т. 2. С. 174), о «легкости теоретического образования» — в статье «Александр Сергеевич Пушкин» (Там же. Т. 1. С. 298) и т. п.

«Нельзя быть истинным поэтом...» — замечание М. С. Воронцова о Пушкине из письма к П. Д. Киселеву от 6 марта 1824 г. (*Вересаев.* Т. 1. С. 229).

«Для гения недостаточно смастерить Евгения Онегина», — писал Надеждин, сравнивая Пушкина с портным... — В статье «Полтава. Поэма Александра Пушкина», написанной в форме диалога (Вестник Европы. 1829. № 8), один из собеседников язвительно замечает: «Для гения не довольно смастерить Евгения» и сравнивает творчество Пушкина с красивыми модными изделиями портного, «чьей творческой дланью *создан* этот пышный жилет, роскошествующий всеми радужными цветами на груди вашей».

Уваров Сергей Семенович (1786—1855) — с 1818 г. президент Академии наук, с 1834 г. — министр народного просвещения, председатель Главного управления цензуры. В 30-е гг. его отношения с Пушкиным постепенно приобрели характер острой вражды. Устный отклик Уварова на смерть Пушкина передал М. А. Дундуков-Корсаков в беседе с А. А. Краевским (*Вересаев.* Т. 2. С. 443).

...как истолковать количество помарок в его черновиках? Ведь это уже не «отделка», а черная работа. — Пространные рассуждения на эту тему см. в статьях Чернышевского об анненковском издании Пушкина (*ПСС.* Т. 2. С. 455—468). Далее Годунов-Чердынцев в заостренной форме излагает центральные положения этой работы.

С. 434. фюсхен — (*нем.* Füßchen) ножки.

...производитель «пошлой болтовни» (его отзыв о «Стамбул гяуры нынче славят»)... — В неоконченной работе «Крымская война по Кинглеку» (1863), написанной в Петропавловской крепости, Чернышевский, процитировав начало стихотворения Пушкина «Стамбул гяуры нынче славят...» (1830), восклицает: «Это была болтовня, читатель, пустая болтовня... это была только пустая, праздная, пошлая болтовня...» (*ПСС.* Т. 10. С. 330).

«Перечитывая самые бранчивые критики... перепечатать без всякого замечания» — цитата из заметок Пушкина, которые обычно печатаются под заглавием «Опровержение на критики» (1830).

...именно это и сделал Чернышевский со статьей Юркевича... — См. прим. к с. 424.

«Я принял вызов наслажденья, как вызов битвы принял бы». — Именно так Чернышевский исказил стихи из «Египетских ночей» (правильно: «Он принял вызов наслажденья, / Как принимал во дни войны / Он вызов ярого сраженья») в дневниковой записи «Почему Ольга Сократовна моя невеста?» (*ЛН.* Т. 1. С. 614).

С. 434—435. ...замечание Чернышевского (в 62-м году), что: «Если бы человек мог все свои мысли 〈...〉 *стенограф»* — В сочинениях Чернышевского 1862 г. процитированный пассаж нам найти не удалось.

С. 435. ...отправляет Лаврову свои «Вечера у княгини Старобельской»... а затем посылает «Вставку»... — См. письма Чернышевского Вуколу Михайловичу Лаврову (1852—1912), издателю журнала «Русская мысль», и в типографию (*ЛН.* Т. 3. С. 340, 364).

С. 436. «Вот вам тема, — сказал ему Чарский: — поэт сам избирает предметы для своих песен...» — цитата из «Египетских ночей» Пушкина (гл. 2).

...в «Свистке» он вышучивал Пирогова, пародируя Лермонтова... — «Свисток» — сатирическое приложение к «Современнику» — был основан по инициативе Н. А. Добролюбова, который регулярно писал для него пародии и стихи на злобу дня, обычно в форме комических перепевов известнейших произведений русской лирики. Подобный перепев лермонтовского «Выхожу один я на дорогу» — стихотворение «Грустная дума гимназиста лютеранского исповедания и не Киевского округа» («Выхожу задумчиво из класса...», 1860) — вышучивал знаменитого врача и педагога Н. И. Пирогова (1810—1881), попечителя Киевского учебного округа, за то, что он занял компромиссную позицию по вопросу телесных наказаний в школах.

С. 437. Добролюбов был чрезвычайно влюбчив... — Биографические сведения о сердечных привязанностях Добролюбова (в том числе к Ольге Сократовне и ее сестре) Годунов-Чердынцев почерпнул из его переписки с И. Бордюговым (см.: Н. А. Добролюбов. Собр. соч. Т. 9. С. 345, 348, 359 и др.), а также из письма Чернышевского А. Н. Пыпину от 25 февраля 1878 г. (*ЛН.* Т. 3. С. 503—509). Эти источники цитируются и перефразируются ниже.

...уехал в Лондон «ломать Герцена» (как впоследствии выразился), т. е. дать ему нагоняй за нападки в «Колоколе» на того же Добролюбова. — В письме к издателю К. Д. Солдатенкову от 26 декабря 1888 г. Чернышевский писал: «Я ломаю каждого, кому вздумаю помять ребра; я медведь. Я ломал людей, ломавших все

и всех, до чего и до кого дотронутся; я ломал Герцена (я ездил к нему дать ему выговор за нападение на Добролюбова и — он вертелся передо мной, как школьник)...» (*ЛН.* Т. 3. С. 349). Короткую поездку в Лондон Чернышевский совершил в июне 1859 г., сразу после появления в «Колоколе» резко полемической статьи Герцена «Very Dangerous!!!», направленной против радикальной позиции «Современника» и, в частности, против Добролюбова, но об этом вояже, как справедливо пишет Годунов-Чердынцев, известно крайне мало (см.: М. А. Антонович. Поездка Н. Г. Чернышевского в Лондон к А. И. Герцену // Шестидесятые годы. М.—Л., 1933. С. 48—97; *Стеклов.* Т. 2. С. 48—51).

С. 438. Тучкова-Огарева Наталья Александровна (1829—1913) — жена Н. П. Огарева, уехавшая с ним в эмиграцию. В Англии разошлась с мужем и жила в гражданском браке с А. И. Герценом. Оставила «Воспоминания», где описала, в частности, свидание Герцена с Чернышевским, единственной мимолетной свидетельницей которого она оказалась. Согласно Тучковой-Огаревой, целью визита Чернышевского были переговоры об издании «Современника» за границей в случае его запрещения, что считается ошибкой памяти. «Как теперь вижу этого человека, — писала она: — я шла в сад через зал, неся на руках свою маленькую дочь, которой было немного более года; Чернышевский ходил по зале с Александром Ивановичем; последний остановил меня и познакомил со своим собеседником. Чернышевский был среднего роста; лицо его было некрасиво, черты неправильны, но выражение лица, эта особенная красота некрасивых, было замечательно, исполнено кроткой задумчивости, в которой светились самопожертвование и покорность судьбе. Он погладил ребенка по голове и проговорил тихо: “У меня тоже есть такие, но я почти никогда их не вижу”» (*НГЧ.* С. 264). Это описание Набоков разворачивает в драматическую сцену, примысливая к нему целый ряд подробностей.

...он путал имена своих детей: в Саратове находился его маленький Виктор, вскоре там умерший... а он посылал поцелуй «Сашурке»... — Чернышевский спутал имена сыновей в письме к отцу от 5 сентября 1860 г.; по этому поводу Ольга Сократовна сделала приписку: «Заврался папаша» (*ЛН.* Т. 2. С. 303). Виктор (род. 1857) умер от скарлатины в Саратове 19 ноября 1860 г.

С. 439. Принято считать, что прокламация «К барским крестьянам» написана нашим героем. «Разговоров было мало», — вспоминает Шелгунов (писавший «К солдатам»)... — Автором прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» Чернышевский прямо назван в мемуарах Н. В. Шелгунова (см. прим. к с. 415), сообщавшего: «...я написал прокламацию “К солдатам”, а Чернышевский прокламацию “К народу”, и вручил их для

печатания Костомарову. Разговоров вообще было у нас мало, а о прокламациях тем более» (*НГЧ.* С. 182).

...растопчинские ернические афишки... — Растопчин Федор Васильевич, граф (1763–1828), — государственный деятель, писатель. В 1812 г., во время наступления Наполеона, будучи генерал-губернатором Москвы, издавал обращения к народу, написанные нарочито простецким слогом и названные им «афишами».

«Так вот она какая, в исправду-то воля бывает... булгу поднять». — Цитируется прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» (*Лемке.* С. 327, 328).

...«булга»... волжское слово... — В Словаре Даля слово «булга» (тревога, суета, беспокойство) имеет помету «симбирское».

По сведениям народовольческим, Чернышевский... предложил Слепцову и его друзьям организовать основную пятерку... — Хотя Чернышевский, бесспорно, был идейным вдохновителем тайного общества «Земля и воля», вопрос о его практическом участии в нем до сих пор остается дискуссионным. Один из первых руководителей «Земли и воли» Александр Александрович Слепцов (1835–1906), вскоре отошедший от революционного движения, утверждал, что Чернышевский явился инициатором создания организации и членом ее центральной конспиративной пятерки (*НГЧ.* С. 241), но сообщенные им сведения оспариваются в ряде других свидетельств.

...у Николая Гавриловича служила в кухарках жена швейцара, рослая, румяная старуха с несколько неожиданным именем: Муза. Ее без труда подкупили... — В донесениях тайных агентов Третьего отделения упоминаются их осведомители: «подкупленный швейцар» и его жена, которую определили в кухарки к Чернышевским, выдав «для поощрения... несколько рублей на кофе» (Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III отделения. С. 98–99, 101). Имя шпионки, ее рост, возраст и цвет лица историческими источниками не засвидетельствованы. Называя кухарку Музой, Набоков иронически откликается на слова Чернышевского, писавшего: «В наш век не нужно быть поэтом, чтобы иметь Музу или Цецилию; ни впадать в галлюцинацию, чтобы видеть ее; (*ПСС.* Т. 12. С. 191).

«Вдруг вышел энергичный бритый господин», — вспоминает очевидец... — Этим очевидцем был Николай Викторович Рейнгардт (1842 — после 1905), который впервые увидел Чернышевского, своего кумира, во время похорон Добролюбова (*НГЧ.* С. 380–381). Кроме Рейнгардта, отчеты и воспоминания о похоронах оставили еще несколько современников: А. Я. Панаева (именно ей принадлежит процитированная фраза о «простом дубовом гробе»), В. А. Добролюбов (он упоминает распахнувшуюся енотовую шубу Чернышевского), И. И. Панаев, А. С. Гиероглифов, а также безымянный

агент Третьего отделения (см.: Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 280–322). Поскольку текст речи Чернышевского над могилой друга неизвестен, Набоков реконструирует ее финал, монтируя отдельные фразы, приведенные в вышеупомянутых источниках и в «Дневнике» А. В. Никитенко (цит. по: *Стеклов*. Т. 2. С. 232), и добавляет к ним концовку некролога «Н. А. Добролюбов», помещенного Чернышевским в «Современнике» (*ПСС*. Т. 7. С. 852).

С. 440. ...стал читать по ней земляные стихи Добролюбова о честности и смерти... — По воспоминаниям Н. В. Рейнгардта, Чернышевский читал последние четыре строфы стихотворения «Еще работы в жизни много...» (1860 или 1861) и «Пускай умру — печали мало» (1861), а по донесению секретного агента — «Памяти отца» (1857) и предсмертное «Милый друг, я умираю / Оттого, что был я честен; / Но зато родному краю, / Верно, буду я известен...» К последнему стихотворению и отсылает здесь Набоков.

Таинственное «что-то», о котором... говорит Стеклов... — Имеется в виду следующее замечание: «Физически Чернышевский пережил вилюйскую ссылку, но духовно он вышел из нее искалеченным, с надорванными силами и душевным надломом. В отдельности все в нем как будто сохранилось: и ум, и энергия, и революционное настроение; а в целом чего-то уже не хватало, что-то исчезло бесследно, и это *что-то* было как раз то, что в свое время сделало из него идейного вождя революционного поколения шестидесятых годов» (*Стеклов*. Т. 2. С. 537).

С. 441. «Эта бешеная шайка жаждет крови... избавьте нас от Чернышевского...» — Из анонимного письма, поступившего в Третье отделение (*Лемке*. С. 179; *Стеклов*. Т. 2. С. 357–358).

...он выписывал из книги географа Сельского о Якутской области... — Статью И. С. Сельского «Описание дороги от Якутска до Среднеколымска» Чернышевский цитировал в рецензии на «Записки Сибирского отдела Императорского Русского Географического общества», книжка 1, СПб., 1856 (*ПСС*. Т. 3. С. 595).

...власти опасались, например, что «под музыкальными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения»... — В распоряжении по Московскому Цензурному Комитету 15 марта 1851 г. указывалось: «Имея в виду опасения, что под знаками нотными могут быть скрыты злонамеренные сочинения, написанные по известному ключу... Главное Управление Цензуры, для предупреждения такого злоупотребления, предоставило Цензурному Комитету, в случаях сомнительных, поручать известным Комитету лицам, знающим музыку, предварительное рассмотрение музыкальных пьес и о вознаграждении их, по мере трудов, входить с особыми представлениями в конце года» (Сборник постановлений и распоряжений по цензуре. С. 273).

...в статьях о Гарибальди или Кавуре... — Прежде всего имеются в виду обзоры современной политики в «Современнике», где Чернышевский часто обсуждал события в Италии, а также его некрологическая статья о графе Камилло Бенсо ди Кавуре (1810–1861), видном итальянском политическом деятеле, первом премьер-министре объединенной Италии (*ПСС.* Т. 7. С. 669–684). На тайный смысл этой статьи указал М. Н. Катков, который, обращаясь к Чернышевскому, писал в «Русском вестнике»: «...вы сочинили игру в Кавура и Гарибальди, водевиль, имеющий своим сюжетом прогрессистов крайних и прогрессистов умеренных» (*Стеклов.* Т. 2. С. 168).

...для сведения Третьего отделения была... составлена Владиславом Костомаровым вся гамма этого «буффонства»... — Ошибка в имени Всеволода Костомарова (см. прим. к с. 394), очевидно, сделана преднамеренно, чтобы оправдать наблюдение дотошного рецензента книги Годунова-Чердынцева, заметившего в ней несколько описок (см. с. 482). Вс. Костомаров действительно составил для следственной комиссии подробный «Разбор литературной деятельности Чернышевского», где, в частности, указал на характерное для «Современника» «надувательство цензуры» с помощью «методы *полуслов* и *намеков*, слишком понятных для *вникающего читателя*» (*Лемке.* С. 392–396).

Другой Костомаров, профессор... — См. прим. к с. 429. В заметках по поводу ранней редакции автобиографических заметок Н. И. Костомарова Чернышевский писал: «Действительно, играли в шахматы (только напрасно он думает, что я “играл мастерски”; я играл, как тогда, так и после, до такой степени плохо, что хорошие игроки, попробовав сыграть со мною одну партию, не хотели играть больше...)» (*ЛН.* Т. 3. С. 525).

С. 442. ...помня, что Лессинг с Мендельсоном сошелся за шахматной доской. — В своей работе о Лессинге (см. прим. к с. 412) Чернышевский отметил, что философ Мозес Мендельсон (1726–1786) был рекомендован ему «как хороший шахматный игрок, и они сблизились за шахматной доскою» (*ПСС.* Т. 4. С. 119).

...он основал Шах-клуб... — Описывая обстановку в Шахматном клубе, который просуществовал с 10 января по 8 июля 1861 г., Годунов-Чердынцев почти дословно воспроизводит соответствующий фрагмент «Воспоминаний» Л. Ф. Пантелеева (С. 270–271; *Стеклов.* Т. 2. С. 226–227).

...помещавшийся в доме Руадзе. — Годунов-Чердынцев повторяет ошибку, допущенную Стекловым (см.: *Стеклов.* Т. 2. С. 227). На самом деле Шахматный клуб помещался не в доме Руадзе (ныне набережная Мойки, д. 61), где состоялся упомянутый ниже литературный вечер, а в доме Елисеева на Невском проспекте, д. 15.

Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834–1866) — публицист, активный участник революционного подполья 60-х гг., член «Земли и воли»; был арестован в один день с Чернышевским, умер в ссылке.

Курочкин Василий Степанович (1831–1875) — поэт, журналист, переводчик, тесно связанный с революционным движением, член центрального комитета «Земли и воли».

Кроль Николай Иванович (1822–1871) — поэт; его пристрастие к выпивке отмечают все мемуаристы.

...проповедовал и свое: ...организовать, мол, общество писателей-тружеников для исследования разных сторон нашего... быта... — Идеи Помяловского изложены здесь по очерку его биографа Н. А. Благовещенского (Н. Г. Помяловский. Полн. собр. соч. в 2 т. Т. 1. С. XXXIX–XL), за единственным исключением: к списку объектов исследования Набоков добавил фонарщиков, что отсылает к введенным ранее гоголевским подтекстам (см. прим. к с. 403).

«Это вранье, я слишком вас уважаю...» — писал к нему Помяловский. — Цитируемое письмо см.: *ЛН.* Т. 2. С. 404.

Михайлов Михаил Илларионович (1829–1865) — поэт-переводчик, публицист, революционер. В 1861 г. был отправлен в каторжные работы за составление и распространение прокламаций.

Обручев Владимир Александрович (1836–1912) — участник революционного движения шестидесятников, член тайного общества «Великоросс». В 1862 г. был арестован и осужден на каторжные работы.

Рубинштейн... исполнил весьма возбудительный марш... — Известный пианист и композитор А. Г. Рубинштейн (1829–1894) играл на вечере в доме Руадзе марш Бетховена к драме А. фон Коцебу «Афинские развалины» (1811).

Павлов Платон Васильевич (1833–1894) — историк, общественный деятель, профессор Петербургского университета; за выступление на вечере в доме Руадзе, имевшее огромный успех у публики, был выслан в административном порядке.

Некрасов прочел... стихи, посвященные памяти Добролюбова... — неточность. На вечере Некрасов прочел стихотворение М. Гартмана «Белое покрывало» в переводе М. И. Михайлова.

С. 443. ...его наружность не понравилась дамам... — Основной источник описания — мемуары писателя П. Д. Боборыкина, присутствовавшего на вечере: «Когда Чернышевский появился на эстраде, его внешность мне не понравилась. ⟨...⟩ Он тогда... носил волосы à la mougik (есть такие его карточки)... одет был не так, как обыкновенно одеваются на литературных вечерах, не во фраке, а в пиджаке и цветном галстуке. И как он держал себя

у кафедры, играя постоянно часовой цепочкой, и каким тоном стал говорить с публикой, и даже то, *что* он говорил, — все это мне пришлось сильно не по вкусу. Была какая-то бесцеремонность и запанибратство во всем, что он тут говорил о Добролюбове, — не с личностью покойного критика, а именно с публикой. Было нечто напоминавшее те обращения к читателю, которыми испещрен был два-три года спустя его роман “Что делать?”. Главная его тема состояла в том, чтобы выставить вперед Добролюбова и показать, что он, Чернышевский, нимало не претендует считать себя руководителем Добролюбова... В сущности это было симпатично, но тон все портил» (*Стеклов.* Т. 2. С. 203–204, прим. 2). Непосредственный отклик Боборыкина на вечер, где он также ставил в вину Чернышевскому неприличную развязность, был в свое время помещен в «Библиотеке для чтения» и вызвал полемический ответ В. С. Курочкина — пародийный фарс «Цепочка и грязная шея». Кроме этих материалов, Набоков использовал воспоминания Н. Я. Николадзе (см. *НГЧ.* С. 246).

Рыжкова, «Записки шестидесятницы» — мистификация. Мемуары с таким заглавием принадлежат Екатерине Жуковской (см.: Звенья. Вып. 1. С. 345–373), но в них ничего не говорится о выступлении Чернышевского.

«...оно повертывается, и портфель заперт... очень, очень мило». — Цитата из незаконченной повести Чернышевского «Алферьев», над которой он работал в Петропавловской крепости (*ПСС.* Т. 12. С. 25).

Николадзе Николай (Нико) Яковлевич (1843–1928) — грузинский публицист и общественный деятель. В конце 50-х — начале 60-х гг. учился в Петербургском университете, принимал участие в студенческих волнениях, входил в кружок студентов-кавказцев, близкий к Чернышевскому. В своих «Воспоминаниях о шестидесятых годах» он писал о вечере в доме Руадзе: «Дебют Чернышевского... не удался. Он был встречен такою овацией, какой при мне едва ли кто удостаивался. Он не читал, а рассказывал, скромно, тихо, точно разговаривал с приятелем... Ни малейшей театральности, никакого желания привлечь внимание слушателей, а тем более увлечь их не было и следа... Зал так и ахнул от разочарования... Несколько дней спустя стало известно, что П. В. Павлов по высочайшему повелению выслан из столицы в одну из наиболее отдаленных губерний за свои продерзости на вечере. Только тогда мы простили Чернышевскому его осторожность и поняли, что благодаря сдержанности своей он избег той же участи» (*НГЧ.* С. 246–247).

С. 444. ...и крикнул: «В Пассаж!» — Словами «В Пассаж! — сказала дама в трауре, только теперь она была не в трауре...» начинается очень короткая заключительная глава романа «Что делать?»,

по времени действия отнесенная в будущее. Рядом с дамой в коляске сидит «мужчина лет тридцати», по-видимому, сам Чернышевский, только что вернувшийся в Петербург после долгого отсутствия (где он был, в тюрьме или за границей, читателю неизвестно). Эта реминисценция в данном контексте подспудно вводит тему Достоевского, поскольку его сатирическая повесть, направленная против Чернышевского и его последователей-«нигилистов», называлась «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в “Пассаже”» (1865).

Пожары! — Опустошительные пожары в Петербурге (истинные их виновники до сих пор неизвестны) начались 16 мая 1862 г. и продолжались в течение двух недель, вызвав панику в городе. 28—30 мая сгорели тысячи лавок в Апраксином и Щукином дворах, расположенных между Фонтанкой, Садовой улицей и Чернышовым переулком (ныне — улица Ломоносова).

...мчатся пожарные, «и на окнах аптек в разноцветных шарах...». — Цитируются строки поэмы Некрасова «О погоде» (гл. 2, 1865), описывающие выезд пожарной команды.

...Достоевский прибежал... к Чернышевскому... — Встреча Чернышевского с Достоевским, о которой здесь идет речь, произошла, по-видимому, за несколько дней до пожара в Апраксином дворе, причем воспоминания обоих писателей о ней существенно расходятся. Набоков следует версии Чернышевского, известной по его автобиографической заметке «Мои свидания с Ф. М. Достоевским» (*ЛН.* Т. 3. С. 532—533) и по устному рассказу в записи политкаторжанина Н. В. Шаганова: «В мае 1862 г., в самое время петербургских пожаров, рано поутру врывается в квартиру Чернышевского Ф. Достоевский и прямо обращается к нему с следующими словами: “Николай Гаврилович, ради самого Господа, прикажите остановить пожары!..” Большого труда тогда стоило, говорил Чернышевский, что-нибудь объяснить Ф. Достоевскому. Он ничему верить не хотел и... убежал обратно» (*Стеклов.* Т. 2. С. 324, прим. 1). Рассказ Достоевского об этой встрече см.: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 23—26.

Агенты... доносили, что ночью... «слышался смех из окна Чернышевского». — В донесении от 5 июня 1862 г. сообщалось: «В день пожара, 28 числа, когда горел Толкучий рынок, к Чернышевскому приходило очень много лиц... Собравшись вместе, они были чрезвычайно веселы и все время смеялись громко, так что возбудили удивление других жильцов дома, слышавших это через открытые окна» (Н. Г. Чернышевский и III отделение / Публ. Б. Козьмина // Красный архив. Т. 4 (29). 1928. С. 177).

...некто Любецкий, адъютант... уланского полка... заметил двух дам... — В отчете Третьего отделения за 1862 г. инцидент с Любецким описан следующим образом: «В Павловске, 10 июня, при

выходе из вокзала, адъютант образцового кавалерийского эскадрона ротмистр Лейб-гвардии уланского полка Любецкий, приняв по ошибке двух дам за женщин вольного обращения, оскорбил их. Бывшие при них 4 студента окружили Любецкого и, угрожая ему мщением, объявили, что одна из этих дам — жена литератора Чернышевского, а другая — сестра ее. Любецкий, чрез родственников их и полицмейстера, просил извинения, но муж Чернышевский, желая воспользоваться этим случаем для сближения офицеров помянутого эскадрона со студентами, домогался отдать дело на суд общества офицеров. Сделанными ему в III отделении внушениями это домогательство отклонено, и Чернышевский отказался от всяких притязаний к Любецкому, а жену свою отправил в Саратов» (А. А. Сергеев. К биографии Н. Г. и О. С. Чернышевских // Красный архив. Т. 3. 1923. С. 298).

5 июля ему пришлось по поводу своей жалобы побывать в Третьем отделении. — Неточность. Чернышевский имел беседу с управляющим Третьим отделением, генерал-майором Алексеем Львовичем Потаповым (1818–1886) 16 июня 1862 г. (*Летопись.* С. 115; Н. Г. Чернышевский. Переписка с Д. А. Милютиным // Звенья. Вып. 3–4. М.–Л., 1934. С. 582). Содержание беседы, известное по воспоминаниям Н. В. Рейнгардта, изложено также не совсем верно: на самом деле Чернышевский спрашивал Потапова, может ли он уехать в Саратов, а не за границу (*НГЧ.* С. 392).

С. 445. Герцен... передал собиравшемуся в Россию Ветошникову письмо... — Историю этого «рокового промаха» Герцен рассказал в «Былом и думах» (глава «Апогей и перигей»). Арестованный по его вине чиновник Павел Александрович Ветошников (1831–186?) был приговорен к ссылке в Сибирь, откуда уже не вернулся.

Муравьев Михаил Николаевич, граф (1796–1866), — государственный деятель, ярый противник освобождения крестьян; проявил крайнюю жестокость при подавлении польского восстания, за что получил прозвище «Вешатель». Выведен в романе Чернышевского «Пролог» под именем графа Чаплина.

Боков Петр Иванович (1835–1915) — врач, один из ближайших друзей Чернышевского; по убеждению современников, главный прототип Лопухова в романе «Что делать?».

...Антонович (член «Земли и Воли», не подозревавший, несмотря на близкую с Чернышевским дружбу, что и тот к обществу причастен). — М. А. Антонович (см. прим. к с. 382) назван членом организации «Земля и воля» в мемуарном очерке «Штурманы грядущей бури» М. Н. Слепцовой, которая замечает: «Как известно, он был у Чернышевского в день его ареста, причем даже не подозревал причастности Н. Г. к “Земле и воле”» (Звенья. Вып. 2. М.–Л., 1933. С. 440). Воспоминания Антоновича об аресте Чернышевского

(*НГЧ.* С. 274–277) — основной источник эпизода, хотя Годунов-Чердынцев дополняет рассказ очевидца несколькими вымышленными подробностями.

С. 445–446. ...полковник Ракеев, приехавший Чернышевского арестовать... тот самый Ракеев, который... умчал... в посмертную ссылку гроб Пушкина. — По воспоминаниям М. И. Михайлова (см. прим. к с. 442), жандармский полковник Федор Спиридонович Ракеев, проводивший у него обыск, говорил ему: «А знаете-с? Ведь и я попаду в историю! Да-с, попаду! Ведь я-с препровождал... Назначен был шефом нашим препроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его» (Н. В. Шелгунов. Л. П. Шелгунова. М. Л. Михайлов. Воспоминания в 2 т. М., 1967. Т. 2. С. 260).

С. 446. проглоченные бумаги, по жуткой догадке Антоновича... — Догадка принадлежит автору, поскольку Антонович подобных предположений не высказывает. Комментируя его рассказ, Стеклов заметил, что Чернышевский, видимо, «хотел (и успел) уничтожить какие-то компрометирующие документы» (*Стеклов.* Т. 2. С. 367, прим. 2).

...убрали «дерзкого, вопиявшего невежу», как выразилась... писательница Кохановская. — Из письма И. С. Аксакову Надежды Степановны Кохановской (наст. фам. Соханская, 1825–1884), писательницы-славянофилки (цит. по: *Стеклов.* Т. 2. С. 206, прим. 2).

С. 447. У нас есть три точки: Ч, К, П. Проводится один катет... — Годунов-Чердынцев пародирует метод рассуждений, характерный для Чернышевского, который часто прибегал к помощи псевдоматематических графиков и схем, и попутно обыгрывает советские аббревиатуры.

Писарев в «Русском Слове» пишет об этих переводах... — Имеется в виду статья Писарева «Вольные русские переводчики» (1862), посвященная сборникам переводов В. Костомарова и Ф. Берга, где он, по замечанию М. Лемке, «сумел хоть намеком увековечить истинную физиономию» доносчика (*Лемке.* С. 500–501).

...свои донесения Путилину (сыщику) он подписывал: «Феофан Отченашенко» или «Венцеслав Лютый». — Известный сыщик Иван Дмитриевич Путилин (1830–1898) принимал активное участие в следствии по делу Чернышевского и, воспользовавшись «довольно хорошим знакомством» с Костомаровым, убедил его стать осведомителем и провокатором. Конспиративные письма Костомарова к Путилину, подписанные разнообразными псевдонимами, см.: *Лемке.* С. 207–218, 243–248. Как отмечает Стеклов, эти письма «писаны совершенно различными почерками, причем иногда похожими на почерк Чернышевского» (*Стеклов.* Т. 2. С. 400, прим. 1).

С. 448. ...к «Алексею Николаевичу»... — По сценарию следствия, поддельное письмо, уличающее Чернышевского, почему-то должно было быть адресовано поэту Алексею Николаевичу Плещееву (1825—1893), который не имел никакого отношения к революционным делам.

Подделка почерка совершенно очевидна... — Как показала графологическая экспертиза, проведенная в 1927 г., документы состояли «из смеси неискусно подделанных типов почерка Чернышевского с явными признаками почерка Костомарова» (см.: Ю. Стеклов. Решенный вопрос. (Экспертиза по делу Н. Г. Чернышевского.) // Красный архив. Т. 6 (25). 1927. С. 135—181).

«Глубокий» половик поглощал без остатка шаги часовых... — В описании Алексеевского равелина Набоков следует за записками Ивана Борисова, в 1862—1865 гг. служившего в канцелярии Петропавловской крепости (см. *НГЧ.* С. 280—285; цит по: *Лемке.* С. 555—556).

С. 449. ...окончил к зиме перевод Шлоссера, принялся за Гервинуса, за Маколея. — О переводе Шлоссера см. прим. к с. 427. В Петропавловской крепости Чернышевский перевел книгу немецкого историка Георга Гервинуса (1805—1871) «Введение в историю XIX века» (1853) и два тома «Истории Англии» английского историка и политического деятеля Томаса Баббингтона Маколея (1800—1859).

...письмо Чернышевского к жене, от 5 декабря 62-го года... — Ошибка в датировке: речь идет о письме от 5 октября 1862 г. (*ЛН.* Т. 2. С. 411—413). Факсимиле двух страниц этого письма было воспроизведено в указанном издании, так что все текстологические наблюдения Годунова-Чердынцева имеют под собой достаточно серьезные основания.

мегаломания — мания величия.

С. 450. «Тут, — комментирует Стеклов, — на эти две строки упала капля слезы...» — *Стеклов.* Т. 2. С. 378, прим. 1. Слово «слезы» в источнике отсутствует.

...второе письме к жене... — Имеется в виду третье из задержанных писем Чернышевского к жене, датированное 7 декабря 1862 г. См.: *ЛН.* Т. 2. С. 414—416; там же — карандашная приписка Потапова (см. о нем прим. к с. 444).

С. 451. 28-го числа... он начал голодовку... — Подробности о голодовке Чернышевского, которая продолжалась до 6 февраля 1863 г., приведены в записках Ивана Борисова (*НГЧ.* С. 284—285; цит. по: *Лемке.* С. 237).

...Некрасов, проездом на извозчике... потерял сверток... — О потере пакета с рукописью «Что делать?» подробно рассказывается в «Воспоминаниях» А. Я. Панаевой (С. 338—341). Кроме этого источника, Набоков использовал также текст объявления о пропаже,

помещенный Некрасовым в «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции»: «В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, проездом по Б. Конюшенной от гостиницы Демут до угольного дома Каппера, а оттуда чрез Невский пр., Караванную и Симеоновский мост до дома Краевского, на углу Литейного и Бассейной, обронен сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием "Что делать?". Кто доставит этот сверток в означенный дом Краевского к Некрасову, тот получит пятьдесят руб. сер.» (*Лемке.* С. 317, прим. 1).

С. 452. ...«по неопытности в различении симптомов страдания»... — Из письма Чернышевского коменданту Петропавловской крепости (*Лемке.* С. 238; *ЛН.* Т. 2. С. 444).

23 марта была очная ставка с Костомаровым. — Ошибка в датировке: очная ставка Чернышевского с Костомаровым была проведена 19 марта 1863 г. (*Летопись.* С. 123; *Лемке.* С. 315).

«И подумать, — восклицает Стеклов, — что в это время он писал жизнерадостное "Что делать?"». — Перефразируется авторское примечание к: *Стеклов.* Т. 2. С. 427.

...рассчитывая на то, что вещь, представляющая собой «нечто в высшей степени антихудожественное»... уронит авторитет Чернышевского... — Цитируются воспоминания А. М. Скабичевского, передавшего слухи о том, почему цензура разрешила печатание «Что делать?» (А. М. Скабичевский. Литературные воспоминания. С. 248).

С. 452—453. «Верочка была должна выпить полстакана ⟨...⟩ и обе заснули». — *ПСС.* Т. 11. С. 115.

С. 453. «После чаю ⟨...⟩ несколько скучно иногда?» — *ПСС.* Т. 11. С. 166 (Третий сон Веры Павловны).

«Долго они щупали бока одному из себя». — *ПСС.* Т. 11. С. 140.

...Герцен, находя, что «гнусно написано»... оговаривался... — См. письмо Герцена к Н. П. Огареву от 29 (17) июля 1867 г. (А. И. Герцен. Собр. соч. Т. 29. Кн. 1. С. 157).

...оканчивается... «фаланстером в борделе». — Перифраз слов Герцена из письма к Н. П. Огареву от 8 августа (27 июля) 1867 г. (там же. С. 167).

...заключительные танцы в «Доме Телье». — Имеется в виду новелла Ги де Мопассана «Заведение Телье», действие которой происходит в публичном доме.

«Зеленый Шум» (1863) — стихотворение Некрасова.

...зубоскальский разнос «Князя Серебряного»... — Автором издевательской статьи об историческом романе А. К. Толстого «Князь Серебряный», напечатанной без подписи в № 4 «Современника» за 1863 г., был М. Е. Салтыков-Щедрин.

С. 454. «Мысли о русских романах» — Эта статья Писарева после заключения сенатской комиссии, процитированного ниже,

была ему возвращена и появилась в «Русском слове» лишь два года спустя под заглавием «Новый тип» (*Лемке.* С. 576).

Для характеристики Писарева указывалось, что он подвергался умопомешательству... — В определении сенатской комиссии по делу Писарева отмечалось: «Писарев во время производства дела сего ходатайствовал о смягчении ему наказания, оправдывая себя тем, что преступление его было плодом минутного увлечения и что он — человек впечатлительный до такой степени, что даже подвергался умопомешательству, от коего и был пользуем» (*Лемке.* С. 589–590).

дементия — (*лат.* dementia) умопомешательство.

...Писарев вдруг бросил спешную работу, чтобы... раскрашивать политипажи... — Обо всех упомянутых здесь безумных поступках Писарева, страдавшего тяжелым душевным расстройством, рассказывает хорошо знавший его А. М. Скабический (Литературные воспоминания. С. 139, 212; см. также: *РК.* С. 484, 499, 501–502, 507).

...есть комментаторы, которые зовут Писарева «эпикурейцем»... — Имеется в виду историк русской литературы Е. А. Соловьев, который в своей книге «Д. И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность» (3-е изд. Берлин, 1922) писал: «...он является перед нами в образе ликующего эпикурейца, которому действительно сам черт... не брат» (С. 145). Там же приводится «совершенно безумное» письмо Писарева из Петропавловской крепости «к незнакомой девице», некоей Лидии Осиповне (С. 170–181), которое точно цитируется ниже в тексте.

Раиса — то есть Раиса Коренева-Гарднер (см. прим. к с. 395).

С. 455. ...обзывая комиссию «шалунами» и «бестолковым омутом, который совершенно глуп». — В записках коменданту Петропавловской крепости Сорокину от 10 и 12 марта 1863 г. (*Лемке.* С. 299, 305; *ЛН.* Т. 2. С. 446–447).

...мещанин Яковлев... дал важное показание... — О Яковлеве и его ложных показаниях см.: *Лемке.* С. 293–294; *Стеклов.* Т. 2. С. 418–420.

...«Поседею, умру, не изменю моего показания». — Как пишет Лемке, после второй очной ставки с Костомаровым 12 апреля 1863 г. Чернышевский, обратясь к комиссии, сказал: «Сколько бы меня ни держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю» (*Лемке.* С. 332).

Показание о том, что не он автор воззвания, написано им дрожащим почерком. — Ср.: «...показание относительно воззвания к крестьянам написано дрожащим и нервным почерком...» (*Стеклов.* Т. 2. С. 426, прим. 3).

С. 456. ...Плещеев... «блондин во всем»... — Это апокрифическое высказывание Достоевского о Плещееве (см. прим. к с. 448)

приводит, без ссылки на какой-либо источник, П. И. Сакулин: «Он прекрасный поэт, — саркастически заметил о Плещееве Достоевский, — но какой-то он во всем блондин» (История русской литературы XIX в. Т. 3. С. 490).

От «диких невежд» сената... «седым злодеям» Государственного совета... — определения Герцена из его статьи в «Колоколе» о приговоре, вынесенном Чернышевскому (см. прим. к с. 394).

...19-го, часов в 8 утра, на Мытнинской площади, он был казнен. — Описание гражданской казни Чернышевского по большей части представляет собой монтаж цитат и перефразировок из нескольких рассказов о «печальной церемонии», приведенных в кн.: *Стеклов.* Т. 2. С. 481–488. Любопытно, что до Набокова сходным способом описал казнь Вас. Е. Чешихин-Ветринский в очерке «19-е мая 1864 г.» (см. его кн.: Н. Г. Чернышевский. 1828–1889. Пг., 1923. С. 169–174).

С. 457. «Выпьем мы за того, кто “Что делать?” писал...» — Цитируется популярная в конце XIX в. студенческая песня «Золотых наших дней...» с припевом: «Проведемте же, друзья / Эту ночь веселей, / Пусть студентов семья / Соберется тесней!» В строфе о Чернышевском далее следовало: «За героев его, / За его идеал».

С. 458. ...домысел Каутского, что идея эгоизма связана с развитием товарного производства... — См.: К. Каутский. Этика и материалистическое понимание истории. СПб., 1906. С. 103 (*Стеклов.* Т. 1. С. 306, прим. 1).

...заключение Плеханова, что Чернышевский все-таки «идеалист»... — См.: Г. В. Плеханов. Сочинения. М., б. г. Т. 5. С. 261–271; Т. 6. С. 380. С этими высказываниями Плеханова спорит *Стеклов* (Т. 1. С. 352–358).

...если бы не дело каракозовцев... — Речь идет о деле Д. В. Каракозова, который 4 апреля 1866 г. совершил покушение на жизнь Александра II, и арестованных вместе с ним его товарищей по революционным кружкам «Ад» и «Организация». О материалах следствия и суда, имевших отношение к судьбе Чернышевского, см.: *Стеклов.* Т. 2. С. 132, прим. 2; 494, 511–512.

С. 458–459. «Поэтому, если подавались фрукты... а в провинции не ест». — *ПСС.* Т. 11. С. 202.

С. 459. Приехав в Севастополь в 72-м году, она пешком исходила окрестные села для ознакомления с бытом крестьян... — Речь идет о «хождении в народ» С. Перовской (см. прим. к с. 404), которая летом 1872 г. занималась прививкой оспы в селах Ставропольского уезда Самарской губернии. Спутав Поволжье с Крымом, Годунов-Чердынцев в остальном следует за ее биографом. Ср.: «Пешком исходила все окрестные села и деревни... Ночевала она в первой попавшейся избе, ела ту же грубую крестьянскую пищу,

ничем не брезгая. Спала на полу на подушке, сделанной из соломы. И вообще, по наблюдениям знавших Перовскую, она в этот период была вся охвачена “рахметовщиной”» (Ник. Ашешов. Софья Перовская. С. 31).

На панихиде по нем в Петербурге... несколько рабочих... были приняты студентами за сыщиков... — *Стеклов.* Т. 2. С. 656–657.

...Ольга Сократовна собралась к нему в Сибирь. — Все подробности поездки Ольги Сократовны в Сибирь заимствованы из мемуарного комментария М. Н. Чернышевского к *ЧВС* (Вып. 1), где упоминаются и друг семьи Чернышевских, врач Евгений Михайлович Павлинов, и французское название гостиницы в Иркутске (*букв.*: «Отель любви и Компания»), и «полупьяный жандармский капитан Хмелевский, который на каждой станции так ублаготворялся, что нередко доводил мою матушку прямо до слез», и поляк, бывший повар Кавура (см. прим. к с. 441), испекший «целую корзину превкусных сладких печений» (С. 176–177).

С. 460. За ее благосклонность он даже будто бы предложил устроить побег мужу... — Набоков остроумно относит к Хмелевскому переданный артистом М. И. Писаревым поздний рассказ Чернышевского об «одном жандармском офицере, ухаживавшем за Ольгой Сократовной и предлагавшем за ее благосклонность мою свободу, от чего я отказался» (*НГЧ.* С. 396).

Красовский Андрей Афанасьевич (1822–1868) — революционер-шестидесятник; находился на каторге в Александровском заводе одновременно с Чернышевским. Долгое время считалось, что его ограбили и убили в тайге во время побега; позднее выяснилось, что он, сбившись с пути и потеряв карту, покончил с собой. Основные мемуарные свидетельства о пребывании Чернышевского в Александровском заводе см.: *Стеклов.* Т. 2. С. 495–505.

С. 461. ...снял комнату у дьячка, необыкновенно с лица на него похожего... — Набоков актуализирует здесь перекличку между двумя фрагментами мемуаров политкаторжанина П. Ф. Николаева. Описывая первую встречу с Чернышевским, Николаев замечает, что внешность Николая Гавриловича напомнила ему дьячков, которые часто попадаются «по нашим погостам»: «самое обыкновенное лицо... с полуслепыми серыми глазами, в золотых очках, с жиденькой белокурой бородкой, с длинными, несколько спутанными волосами» (П. Ф. Николаев. Личные воспоминания о пребывании Николая Гавриловича Чернышевского в каторге. С. 6). На следующей странице он рассказывает о «полупьяном и достаточно дикообразном дьячке», у которого жил на квартире Чернышевский и который «на... вопрос о здоровье его квартиранта ответил: “все пишет, все пишет, сердечный”» (там же. С. 7).

Блаженненький мещанин Розанов показывал, что революционеры хотят поймать... «птицу из царской крови, чтобы выменять

Чернышевского». — Череповецкий мещанин Иван Глебович Розанов был арестован на границе по возвращении из Западной Европы, где он общался с политическими эмигрантами, и с перепугу дал фантастические показания о заговоре с целью освободить Чернышевского. Хотя следственная комиссия вскоре пришла к выводу, что Розанов «вывел всю эту мистификацию», чтобы облегчить свою участь, шеф жандармов, граф Петр Андреевич Шувалов (1827–1889), успел дать иркутскому военному генерал-губернатору процитированную в тексте телеграмму, которая вызвала новые репрессии против Чернышевского (*Стеклов.* Т. 2. С. 513–515).

...он никогда не снимал ни халатика на меху, ни барашковой шапки. — Образ жизни Чернышевского в Александровском заводе описан по воспоминаниям его товарищей по каторге П. Ф. Николаева, С. Г. Стахевича и В. Н. Шаганова (см.: *Стеклов.* Т. 2. С. 497–504; *НГЧ.* С. 289–353; *ЧВС.* Вып. 1. С. XIX–XXII).

С. 462. «Милая радость моя 〈...〉 *Прощаешь ли мне горе, которому я подверг тебя?..»* — Цитируются письма Чернышевского к жене от 29 апреля 1869 г. и 12 января 1871 г. (*ЧВС.* Вып. 1. С. 16, 25).

С. 462–463. «Эти господа, — говаривал он потом, — даже не знали, что я и верхом ездить не умею». — Эту фразу Чернышевского передал саратовский старожил Хованский, посетивший его в Астрахани (*Стеклов.* Т. 2. С. 550, прим. 3).

С. 463. Ипполит Мышкин (1848–1885) — революционер-народник; подробности его неудачной попытки освободить Чернышевского в 1875 г. см.: *Стеклов.* Т. 2. С. 546–549.

Лопатин Герман Александрович (1845–1918) — революционер, первый переводчик «Капитала» на русский язык, член исполнительного комитета «Народной воли». Все сведения о его авантюре Набоков заимствовал у *Стеклова* (Т. 2. С. 539–542).

...Стеклов выражается весьма живописно: «Местное общество состояло из пары чиновников, пары церковников и пары купцов». — *Стеклов.* Т. 2. С. 528.

...лучшим домом в Вилюйске оказался острог. — «Лучшим домом в городе» назвал вилюйскую тюрьму сам Чернышевский в письме к жене от 31 января 1872 г. (*ЧВС.* Вып. 1. С. 33). Набоков, вероятно, учитывает и перекличку со строкой, исключенной цензурой из поэмы Лермонтова «Тамбовская казначейша»: «Там зданье лучшее острог». Описание камеры Чернышевского по мемуарам Шаганова см.: *Стеклов.* Т. 2. С. 528–529.

С. 463–464. Под утро 10 июля 72-го года он вдруг стал ломать железными щипцами замок входной двери... — Согласно документам, этот приступ острого умопомешательства у Чернышевского случился в ночь на 15 июля 1872 г. Все остальные подробности соответствуют источникам (*Стеклов.* Т. 2. С. 530).

С. 464. Когда-то... отец ему писал... — Цитируется письмо Г. И. Чернышевского от 30 октября 1853 г. (*ЛН.* Т. 2. С. 207, прим. 1).

«Это будет недурная ученая сказочка...» — из письма к жене от 10 марта 1883 г. (*ЧВС.* Вып. 3. С. 212–213).

«Чернышевский, — доносили его тюремщики, — по ночам то поет, то танцует, то плачет навзрыд». — Сообщение жены жандарма Щепина, приставленного к Чернышевскому в Вилюйске (*Стеклов.* Т. 2. С. 537).

«Меня тошнит от "крестьян" и от "крестьянского землевладения"»... — Из письма Чернышевского к сыну Александру от 24 апреля 1878 г. по поводу присланных ему исследований крестьянского вопроса. «От предмета... тошнит меня, мой милый друг, — добавляет он... — Не осуди меня за то, что тошнит меня от этого предмета. Как быть! — Тошнит» (*ЧВС.* Вып. 3. С. 100).

С. 464–465. Собранные цветы... посылал сыну Мише, у которого таким образом составился «небольшой гербарий вилюйской флоры»... — Как явствует из вилюйских писем Чернышевского, он посылал засушенные цветы не сыну, а жене. В примечании к его письму Ольге Сократовне от 5 ноября 1878 г. Михаил Чернышевский пишет: «Цветы доходили в полной сохранности. Каждый цветок был бережно завернут в папиросную бумагу... Все эти цветы наклеены теперь мною на отдельные листы и составили небольшой гербарий вилюйской флоры» (*ЧВС.* Вып. 3. С. 232).

С. 465. ...так и Волконская внукам своим завещала «коллекцию бабочек, флору Читы». — Цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Русские женщины» («Княгиня М. Н. Волконская. (Бабушкины записки)», гл. 1).

Однажды у него на дворе появился орел... «прилетевший клевать его печень... но не признавший в нем Прометея». — В письме жене от 18 августа 1874 г. Чернышевский сообщал: «Теперь вздумал поселиться на дворе моего дома — орел из породы рыболовов; да, орел; слыханное ли у натуралистов дело? — орел живет на дворе человеческого жилища» (*ЧВС.* Вып. 1. С. 104). Набоков иронически представляет это происшествие как реализацию сравнения Чернышевского с прикованным к скале Прометеем, пущенного в обиход Г. В. Плехановым и ставшего общим местом в марксистской литературе (см., например, главу под названием «Прометей на скале» в кн.: В. К. Иков. Жизнь и деятельность Николая Гавриловича Чернышевского. М., 1928. С. 160–178). Им явно злоупотребляет Стеклов, когда пишет, например: «Самодержавный коршун основательно исклевал печень скованного Прометея» (*Стеклов.* Т. 2. С. 587). Язвительная фраза Страннолюбского имеет и литературный подтекст — пассаж в третьей главе «Мертвых душ» о «правителе канцелярии», уподобленном Прометею: «В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так

и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, какого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку!»

...от нечего делать он выкапывал каналы... — См. письмо к жене от 30 октября 1876 г. (*ЧВС.* Вып. 2. С. 82).

...по-прежнему туземец снимал шапку за двадцать шагов... — См. письмо к жене от 17 мая 1872 г. (*ЧВС.* Вып. 1. С. 40).

...водоносцу советовал коромыслом заменить волосяную дужку... — Эту историю Чернышевский рассказал Н. В. Рейнгардту (*НГЧ.* С. 393).

даба (сибирск.) — дешевая бумажная ткань китайского производства.

...отыскала староверов, записку по делу которых... Чернышевский... отправил на имя государя... — Имеются в виду сосланные в Вилюйск старообрядцы, Фома Павлович и Катерина Николаевна Чистоплюевы и Марфа Никифоровна Головачева, чьей судьбой чрезвычайно заинтересовался Чернышевский. В записке по их делу, адресованной Александру II, он подробно рассказал обо всех обстоятельствах суда над ними и умолял Государя помиловать людей, которые «почитают Ваше Величество святым человеком» (*ПСС.* Т. 10. С. 518–678). Ходатайство Чернышевского было оставлено без ответа, а самих старообрядцев удалили из Вилюйска в еще более глухие места (*ЧВС.* Вып. 3. С. XXVIII–XXIX).

В 75-м году (Пыпину) и снова в 88-м г. (Лаврову) он посылает «староперсидскую поэму»... — В приложении к задержанному жандармами письму к А. Н. Пыпину от 3 мая 1875 г. Чернышевский сообщал, что работает над поэмой «Эль-Шемс Эль-Леила Наме», или «Книга солнца ночи», во вкусе персидских поэтов средних веков, и приводил два фрагмента из нее, которые цитируются в тексте (*ЛН.* Т. 2. С. 468–469); в конце 1880-х гг. он задумал включить эту поэму (частично в прозаическом пересказе) в цикл новелл «Вечера у княгини Старобельской» и писал об этом В. М. Лаврову (см. прим. к с. 435) 29 декабря 1888 г. (*ЛН.* Т. 3. С. 361–363). Как поэма, так и «Вечера...» носят явные признаки графомании и потому при жизни Чернышевского напечатаны не были.

С. 466. «Эта вещь ⟨...⟩ редактору "Вестника Европы"» — Цитируются фрагменты из задержанного письма к А. Н. Пыпину от 3 мая 1875 г. (*ЛН.* Т. 2. С. 470–471), а также из связанного с ним письма к редактору журнала «Вестник Европы» Михаилу Матвеевичу Стасюлевичу (1826–1911), где Чернышевский рассказывал о своих новых беллетристических и поэтических произведениях, предлагая печатать их под именем вымышленного английского писателя, «мистера Дензиля Элиота» (*ЧВС.* Вып. 1. С. 18–20).

Фермат (Ферма) Пьер (1608–1655) — французский математик.

С. 467. ...посланий, которые... Достоевский обращал... к сильным мира сего. — Имеются в виду верноподданнические письма, прошения и стихи, которые сосланный в солдаты (и позднее произведенный в офицерский чин) Достоевский посылал как своим непосредственным начальникам, так и высокопоставленным покровителям в Петербурге, пытаясь добиться улучшения своего положения.

«От папаши нет никакого известия... уж жив ли он, мой милый»... — Из письма Ольги Сократовны к сыну Александру от 12 июля 1879 г. (*ЧВС*. Вып. 3. С. 232).

«твой неизвестный ученик Витевский»... — О курьезном случае с телеграммой ставропольского врача В. Д. Витевского (был ли он человеком пьющим, история умалчивает) см.: *Стеклов*. Т. 2. С. 556.

...стены его помещения были оклеены обоями гри-перль с бордюром, а потолок затянут бязью... — Ср.: «Другая любезность, оказанная Чернышевскому в середине июня 1881 г., была еще поразительнее. Администрация сама, по собственному почину, решила произвести ремонт... и к началу сентября комната его стала неузнаваема: стены были оклеены светло-серыми обоями с бордюром, а потолок затянут бязью. Общий расход казны на этот ремонт комнаты Чернышевского выразился в сумме 40 руб. 88 коп.» (*ЧВС*. Вып. 3. С. XXXV—XXXVI). *Гри-перль* — (от *фр.* gris de perle) жемчужно-серый цвет.

...переговоров между «добровольной охраной» и исполнительным комитетом «Народной Воли»... — После убийства Александра II в 1881 г. придворная аристократия для наведения порядка в стране создала неофициальную тайную полицию, «Священную дружину», со своей службой безопасности — так называемой «Добровольной охраной». В 1882 г. «Священная дружина» через посредников вступила в переговоры с находившимися за границей членами исполнительного комитета террористической организации «Народная воля», чтобы обеспечить безопасность Александра III во время коронации. Одним из требований, выдвинутых «Народной волей» на этих переговорах, было освобождение Чернышевского.

...было подано от имени его сыновей... прошение... министр юстиции Набоков сделал соответствующий доклад, и «Государь соизволил перемещение Чернышевского в Астрахань». — Прошение сыновей Чернышевского см.: *Стеклов*. Т. 2. С. 581—582. На этом прошении, поясняет Стеклов, записана резолюция: «Государь император изъявил предварительное соизволение на перемещение Чернышевского под надзор полиции в Астрахань...» О царской резолюции «Д. Толстой 7 июня сообщил министру юстиции Д. Н. Набокову, который должен был сделать царю окончательный

доклад. Этот доклад состоялся 6 июля...» (*Стеклов*. Т. 2. С. 582). Упоминая о своем деде Дмитрии Николаевиче (1827–1904), Набоков использует тот же прием, что и Пушкин в «Борисе Годунове» (ср. процитированную на с. 434 авторскую ремарку: «Пушкин идет, окруженный народом»).

С. 467–468. ...не раз... старик пускался в пляс, распевая гекзаметры. — Основные сведения о поездке Чернышевского в Иркутск со слов жандармского полковника В. В. Келера записал Л. Ф. Пантелеев (Воспоминания. С. 481–486; цит. по: *Стеклов*. Т. 2. С. 584–586). Пересказывая их, Годунов-Чердынцев добавляет несколько подробностей, которые перекликаются с предшествующими эпизодами. Если, по свидетельству жандармов, сопровождавших Чернышевского, «во время пути по Лене [он] несколько раз принимался плясать и петь», то у Годунова-Чердынцева Чернышевский поет гекзаметры, что возвращает нас к эпизоду катания на дровнях из его волжской юности; если, согласно источнику, Чернышевский рассказывал детям Келера сказки из «Тысячи и одной ночи», то Годунов-Чердынцев превращает их в сказки «более или менее персидские», чтобы напомнить о персидском языке, который он учил в юности, и о староперсидской поэме, сочиненной в Сибири, и т. п.

С. 469. «Да чего вы хотите, — отвечал он невесело, — что могу я в этом понять, — ведь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании...» — Ср. в воспоминаниях В. Г. Короленко: «— Публицистика!.. — сказал однажды Чернышевский на вопрос моего брата, отчего он опять не возьмется за нее. — Как вы хотите, чтобы я занялся публицистикой. Вот у вас теперь на очереди вопрос о нападении на земство, на новые суды... Что я напишу об них: во всю мою жизнь я не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании» (*НГЧ*. С. 402).

...переводит для издателя Солдатенкова том за томом «Всеобщей истории Георга Вебера»... — Козьма Терентьевич Солдатенков (1818–1901) — московский книгоиздатель; на протяжении последних лет жизни Чернышевский переводил для него капитальный труд немецкого историка Георга Вебера (1808–1888) «Всеобщая история» (1857–1880). Первый том перевода вышел в свет в декабре 1885 г., последний — двенадцатый, законченный уже после смерти Чернышевского В. Неведомским, — в 1890 г.

...в рецензии на первый том («Наблюдатель», февраль 1884 г.)... — Год издания указан неверно. Рецензия, которая здесь скорее перефразируется, чем цитируется, была опубликована в петербургском журнале «Наблюдатель» в 1886 г. (№ 2. Новые книги. С. 31–32).

Корш Евгений Федорович (1810–1897) и его брат Валентин (1828–1883) — журналисты, переводчики, публицисты. Их пере-

вод более ранней работы Г. Вебера «Курс всеобщей истории» в 4 т. вышел в 1859–1861 гг. Е. Ф. Корш был главным сотрудником К. Т. Солдатенкова в делах по изданию переводной литературы. Он читал корректуру первых томов «Всеобщей истории» Г. Вебера и своими исправлениями навлек на себя гнев Чернышевского, который в письме от 9 декабря 1888 г. к И. И. Барышеву, управляющему делами книгоиздательства Солдатенкова, возмущался: «...я прочел две, три строки — и ужаснулся: это уж “не чорт знает что”, — а нечто такое, чего и сам чорт не знает: дикие слова, нелепые обороты речи. Я развернул том на другом месте — то же самое. Мне стало мерзко смотреть» (*ЛН.* Т. 3. С. 335).

С. 470. ...принялся в письмах к издателю «ломать» Евгения Федоровича по старой своей системе... — См. прим. к с. 437. Ниже цитируются письма Чернышевского к И. И. Барышеву от 9 декабря 1888 г. и 12 января 1889 г. (*ЛН.* Т. 3. С. 334, 373–374).

Захарьин Александр Васильевич (1834–1892) — близкий знакомый Пыпиных и Чернышевских, принимавший участие в революционном движении 60-х гг. После возвращения Чернышевского из ссылки вел его литературные дела в Петербурге и Москве. В конце 1888 г. Захарьин попытался вмешаться в распоряжение гонорарами, которые Чернышевский получал от Солдатенкова, чтобы оградить его от непомерного мотовства Ольги Сократовны (*ЛН.* Т. 3. С. 577–579). Это, по-видимому, вызвало семейный скандал, и Чернышевскому пришлось в письмах Солдатенкову, которые цитируются в тексте, сначала грубо дезавуировать Захарьина (*ЛН.* Т. 2. С. 320–322), а затем признаться, что нападал на него исключительно для успокоения жены (*ЛН.* Т. 3. С. 343–353).

...небольшая рецензия — уже на десятый том Вебера. — Вестник Европы. 1888. № 11 (Библиографический листок). Напечатана на третьей странице обложки. Об этой рецензии Чернышевскому сообщил А. Н. Пыпин в письме от 24 ноября 1888 г.: «...я прочел на обложке последней книги “Вестника Европы”... отзыв о Вебере, именно о сокращениях немецкого текста, отзыв несочувственный и с шуточками. Я спросил Стасюлевича, знает ли он, кто переводит Вебера; “да ведь какой-то Андреев”, — и был смущен, когда я ему объяснил дело» (*ЛН.* Т. 3. С. 568).

...попытка Лира перекричать бурю... — «Король Лир», акт 3, сц. 2.

С. 471. ...«Рассказы-фантазии» и сборник никчемных стихов... — Александр Николаевич Чернышевский (1854–1915) выпустил небольшую книгу «Фантастические рассказы» (СПб., 1900) и сборник стихотворений «Fiat lux! Из дней былых и этих дней» (СПб., 1900). Основной источник биографических сведений о нем и его брате — очерк Н. А. Пыпина «Сыновья Чернышевского. Из воспоминаний» (Звенья. Вып. 1. С. 266–281).

...оценил французских «проклятых поэтов» — «Прóклятыми поэтами» называют группу французских поэтов-символистов: П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме и др.

С. 471—472. ...как разговоры того чеховского героя, который приступал так хорошо, — старый студент, мол, идеалист... — Имеется в виду персонаж рассказа Чехова «У знакомых» (1898) Сергей Сергеич Лосев, пошляк, болтун и мот, выдающий себя за «старого студента-идеалиста».

С. 472. ...Пыпин в январе 75-го года посылает ему в Вилюйск прикрашенный образ сына-студента... — См. письмо А. Н. Пыпина от 2 января 1875 г. (*ЧВС.* Вып. 1. С. 117—118).

*Пелагея Николаевна Фан-дер-Флит (*1837—1915) — родная сестра А. Н. Пыпина. А. Н. Чернышевский подолгу жил в ее семье, и, по воспоминаниям родственников, лишь она могла успокоить его во время приступов душевной болезни: «...он целыми днями ходил, держась за ее платье, как маленький ребенок» (*ЛН.* Т. 3. С. 187).

...называет сына «нелепой чудачиной», «нищенствующим чудаком» и упрекает его в желании «оставаться нищим». — См. письма к В. Н. Пыпиной от 14 ноября и 9 декабря 1883 г. (*ЛН.* Т. 3. С. 8, 31—32).

...Пыпин... объяснил двоюродному брату, что... Саша... «нажил чистую, честную душу». — В приписке к письму от 7 марта 1884 г. (*ЛН.* Т. 3. С. 548—549).

С. 472—473. Поступив на службу к керосинщику Нобелю... Саша... бросил в радужную воду ключи и уехал домой в Астрахань. — Сведения о нелепом поступке Саши, сообщенные М. Н. и Е. М. Чернышевскими, приведены в комментарии к *ЛН* (Т. 3. С. 60—62). Нобель — крупная фирма по торговле керосином и нефтепродуктами.

С. 473. ...появились в «Вестнике Европы» четыре его стихотворения... — Пять стихотворений А. Н. Чернышевского были напечатаны в № 6 «Вестника Европы» за 1884 г.

...из письма матери (88-й год) узнаем... — В письме к мужу от 4 августа 1888 г. из Петербурга Ольга Сократовна сообщала: «С Сашей с нашим случилось несчастье. В то время, когда он изволил прогуливаться, — дом, в котором он жил, сгорел, и все, что было у него, также. Деньги, которые ты послал ему... также сгорели. 〈...〉 Теперь Саша живет на даче Страннолюбского» (*ЛН.* Т. 3. С. 630). О Страннолюбском см. прим. к с. 396.

Exposition universelle — Всемирная выставка *(фр.).* В комментариях к письму Чернышевского к сыну Михаилу от 15 июля 1889 г., где упомянута поездка его «несчастного брата на Парижскую выставку», поясняется: «Речь идет о поездке А. Н. Чернышевского на Парижскую выставку, предпринятой в болезненном состоянии

психики. Истратив взятую с собою в дорогу небольшую сумму денег, А. Н. уже в Берлине впал в тяжелую задолженность и просил родных о высылке денег. ⟨...⟩ деньги были высланы, на имя берлинского консула, которому было написано о болезненном состоянии А. Н. Семья просила консула содействовать возвращению А. Н. в Россию, но последний, получив деньги, все же поехал в Париж, нагляделся на выставку (у него была страсть к выставкам вообще) и опять очутился без денег» (*ЛН.* Т. 3. С. 439).

С. 474. «Твои невежественные, нелепые назидания начальству не могут быть терпимы никакими начальниками»... — Цитируется (с мелкими неточностями) последнее письмо Чернышевского, написанное за шесть дней до смерти (*ЛН.* Т. 3. С. 452).

...14-го у него начался бред... — Предсмертный бред Чернышевского и его последние слова приводятся по записи его секретаря К. Ф. Федорова. См.: М. Н. Чернышевский. Последние дни жизни Н. Г. Чернышевского. С. 132–133.

С. 475. «Июля 12-го дня поутру в 3-м часу ⟨...⟩ Фед. Стеф. Вязовский...» — Запись цитируется по: Е. Ляцкий. Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет. С. 50, прим. 1.

ГЛАВА ПЯТАЯ

С. 475. Валентин Линев. — См. прим. к с. 349.

С. 477. «Поэт сам избрает предметы для своих песен...» — цитата из «Египетских ночей» Пушкина (см. прим. к с. 436).

...отзыв Христофора Мортуса... — См. прим. к с. 250, 257, 294. С точки зрения стиля, этот отзыв продолжает пародировать Г. Адамовича, но лежащая в его основе параллель между утилитаризмом шестидесятников и современной философско-религиозной критикой направлена прежде всего против З. Гиппиус. В своей рецензии Мортус декларирует эстетические принципы, которые, согласно Ходасевичу, сформировались у Гиппиус еще в ту эпоху, когда над умами властвовали идеи Писарева и Чернышевского: «Ими была проникнута вся “передовая” критика, с варварской наивностью отделявшая в искусстве форму от содержания. ⟨...⟩ Вот от этих-то эстетических воззрений, воспринятых в молодости, а потому с особой силой, Гиппиус и несвободна до сего дня. ⟨...⟩ В конце концов получилось, что ее писания представляют собой внутренне противоестественное сочетание модернистской (порой очень прямой) тематики с “дореформенной” эстетикой» (В. Ходасевич. О форме и содержании // Возрождение. 15 июня 1933).

...в некоторых стихах Циповича, Бориса Барского, в прозе Коридонова... — В этом перечне закодированы имена литературных

врагов Набокова, группировавшихся в начале 1930-х гг. вокруг парижского журнала «Числа», — поэта и главного редактора «Чисел» Н. А. Оцупа (1894–1958), спаренного с Г. Адамовичем, Бориса Поплавского (см. прим. к с. 350), спаренного с бароном А. С. Штейгером (1907–1944), а также Георгия Иванова, печатавшего в «Числах» отрывки из романа «Третий Рим» (фамилия Коридонов образована от литературного имени Коридон, которое использовано в «Эклогах» римского поэта Вергилия, где его носит пастух, потерявший разум от любви, — намек на образ «мечтательного пастуха» как центрального лирического героя в первом сборнике Иванова «Отплытие на о. Цитера», 1912). Контаминация Поплавского и Штейгера, кроме общего для обоих неприятия Набокова, мотивирована тем, что Г. Адамович в восторженных тонах писал об их стихах в одной статье (Последние новости. 30 апреля 1936).

...не стоит жалеть о «скучных песнях земли». — Мортус цитирует последнюю строку стихотворения Лермонтова «Ангел» (см. прим. к с. 373): «И звуков небес заменить не могли / Ей скучные песни земли». Эта же цитата встречается в статье Г. Адамовича «Несостоявшаяся прогулка»: «Действительно, это “скучные песни земли”... без ответа и полета» (Современные записки. 1935. Кн. LVIII. С. 290).

С. 478. ...нам... Некрасов и Лермонтов, особенно последний, ближе, чем Пушкин. — Тезис о превосходстве «глубокой», «религиозной» «искренней» поэзии Лермонтова, близкой к «духовным запросам современности», над «ограниченным», «безответственным», «поверхностно-гармоничным» творчеством Пушкина, не знавшего «мировых бездн», был важной частью эстетической программы журнала «Числа», и прежде всего Г. Адамовича (см. об этом: А. Долинин. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар». С. 704–706). Некрасов также входил в пантеон «парижской школы» как поэт безусловной, трагической искренности. «Пусть идеалы Некрасова и его единомышленников сами по себе не вечны, пусть цели их коротки, — писал Н. Оцуп. — Не беда, что достижение этих целей слишком мало на земле изменит и не избавит от тоски по другим целям, более глубоким и трудным. Важна готовность жизнь свою положить за какие-то цели, хотя бы и короткие» (Н. Оцуп. Из дневника // Числа. Кн. 2–3. 1930. С. 165). По определению Адамовича, «Некрасов *промычал*, не находя слов, о великих, действительно мировых трагедиях, как глухонемой, и за сердце хватаешься, читая его, от высоты и ужаса полета, от отсутствия воздуха. В черновике и в проекции Некрасов величайший русский поэт» (Г. Адамович. Комментарии // Там же. С. 174). Ту же мысль Адамович повторил и в статье об Ахматовой, в поэзии которой он увидел «явление... несущее на себе,

как и Некрасов, — печать какого-то невыраженного трагизма» (Г. Адамович. Анна Ахматова // Последние новости. 18 января 1934).

С. 482. ...что великий грек назвал «тропотос»... — По всей вероятности, ложная псевдоученая отсылка, так как в древнегреческом языке «тропотос» — это малоупотребительное слово в значении «кожаная петля для прикрепления весел на галере».

С. 483. В «большевизанствующей» газете «Пора»... — Подразумевается просоветская берлинская газета «Накануне», выходившая с 1922 по 1924 г.

С. 484. ...французского мыслителя Delalande... — Как признался сам Набоков в предисловии к английскому переводу «Приглашения на казнь», «печального, сумасбродного, мудрого, остроумного, волшебного и во всех отношениях восхитительного Пьера Делаланда» он выдумал. Эпиграф к «Приглашению на казнь» — «цитата» из того же «Рассуждения о тенях» («Discours sur les ombres») Делаланда, которое «переводит» Годунов-Чердынцев. Выбор фамилии мудреца, возможно, связан с личностью прославленного французского астронома Жозефа Жерома Лефрансуа де Лаланда (1732–1807), о котором писал Карамзин в «Письмах русского путешественника»: «[Лаланд], забывая все земное, более сорока лет беспрестанно занимается небесным и открыл множество новых звезд. Он есть Талес нашего времени... Кроме своей учености, Лаланд любезен, жив, весел, как самый любезнейший молодой француз» (Н. М. Карамзин. Избр. соч. в 2 т. М.—Л., 1964. Т. 1. С. 423–424). В черновом варианте строфы XXXV восьмой главы «Евгения Онегина» Лаланд упоминается (вместо Манзони) среди авторов, которых «без разбора» читает герой. По всей вероятности, Пушкин имел в виду не ученые труды Лаланда, а его путевые записки «Путешествие француза в Италию» (1769).

С. 485. афей — (атей, от *фр.* athée) атеист. В письме к Кюхельбекеру из Одессы (апрель или май 1824 г.) Пушкин назвал своего знакомого, английского врача Хатчинсона, «единственным умным афеем», которого он встречал.

...на полях этой книги, которую не умею прочесть. — Перекличка с предсмертными словами Н. Г. Чернышевского (см. с. 474), а также с мотивом книг «на непонятном языке», которые в «Приглашении на казнь» приносят Цинциннату.

С. 486. Eine alte Geschichte — старая история *(нем.)*. Цитата из хрестоматийного стихотворения Г. Гейне «Ein Jüngling liebt ein Mädchen», где «старой историей, которая всегда нова», названа история неразделенной любви.

С. 487. ...как Кук выставляет модель Пульмана... — Имеется в виду туристическое бюро фирмы «Томас Кук и сын» (Thos. Cook & Son, осн. 1845) и комфортабельный спальный «пульмановский»

вагон (по имени американского изобретателя Джорджа Пулмана, 1831–1897). О рекламной модели «коричневого спального вагона», выставленной в агентстве на Невском проспекте, Набоков вспоминает в «Других берегах» (*ДБ.* С. 213).

Адвокат Чарский... — Фамилия персонажа (появлявшегося в первой главе, когда он едва не свел Годунова-Чердынцева с Зиной) заимствована из цитировавшихся ранее «Египетских ночей» Пушкина. Пушкинский Чарский — поэт, стесняющийся своего дара: «Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое».

...Лишневский, Шахматов, Ширин... — По звучанию фамилий эта троица должна вызвать ассоциацию с тремя писателями-архаистами пушкинской поры — А. С. Шишковым (1754–1841), С. А. Ширинским-Шихматовым (1783–1837) и А. А. Шаховским (1777–1846), которых Пушкин высмеял в эпиграмме: «Угрюмых тройка есть певцов — / Шихматов, Шаховской, Шишков, / Уму есть тройка супостатов — / Шишков наш, Шаховской, Шихматов, / Но кто глупей из тройки злой? / Шишков, Шихматов, Шаховской!» Набокову, безусловно, было хорошо знакомо и имя современного Ширинского-Шихматова, Юрия Алексеевича (1890–1942), главного редактора эмигрантского журнала «Утверждения» (1931–1932), лидера движения «национал-максимализм», которое выступало за синтез русской национальной идеи и советской государственности.

...господин с белокурой бородкой и необыкновенно красными губами... — Вампирическая наружность этого господина отсылает к портрету Свидригайлова в «Преступлении и наказании» Достоевского.

С. 488. ...стих из «Короля Лира», состоящий целиком из пяти «never»... — Имеются в виду предсмертные слова короля Лира, обращенные к мертвой Корделии (акт 5, сц. 3, ст. 312–314): «Why should a dog, a horse, a rat have life, / And thou no breath at all? Thou'lt come no more, / Never, never, never, never, never» («Почему есть жизнь в собаке, в лошади, в крысе, / А ты совсем не дышишь? Тебя не будет больше / Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда!»).

С. 489–490. ...автору романа «Седина» (с эпиграфом из книги Иова), очень сочувственно встреченного эмигрантской критикой. («Господи, отче — —? ⟨...⟩) Господи, отчего Вы дозволяете все это?») — Отрывок из романа Ширина представляет собой синтетическую пародию на целый ряд тематических стереотипов (связанных главным образом с критикой разлагающегося Запада) и модных стилистических приемов современной прозы, как советской, так и эмигрантской. Его монтажное построение пароди-

рует аналогичные конструкции у Б. Пильняка, И. Эренбурга и В. Шкловского, а также в романе «Повесть о пустяках» (1934) художника-эмигранта Ю. Анненкова (писавшего под псевдонимом Б. Темирязев), где обнаруживается и эмоциональный монолог напуганного обывателя, обращенный к Господу. Использование библейских эпиграфов было также характерно для «модернистской» прозы 1920–30-х гг. (подробнее см.: А. Долинин. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар». С. 728–733).

По Бродваю, в лихорадочном шорохе долларов... дерясь, падая, задыхаясь, бежали за золотым тельцом... — пародийный отголосок антиамериканского стихотворения Маяковского «Вызов» (1925): «Но пока доллар всех поэм родовей. / Обирая, лапя, хапая, / выступает, порфирой надев Бродвей, / капитал — его препохабие».

С. 490. ...дельцы... за золотым тельцом... — Ср. первый стих стихотворения Б. Пастернака «Бальзак»: «Париж в златых тельцах, дельцах» (Б. Пастернак. Собр. соч. в 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 234).

...старик Лашез... топтал сапогами старуху проститутку Буль-де-Сюиф. — Пер-Лашез (Père-Lachaise) — название парижского кладбища (по имени основателя иезуитского ордена). Буль-де-Сюиф (*фр.* Boule de suif, *букв.*: «круглый комок жира») — уничижительное прозвище проститутки, главной героини одноименной новеллы Ги де Мопассана (русск. перев. «Пышка»). Натуралистическими сценами с обязательным избиением проститутки любил эпатировать читателей эмигрантский прозаик В. С. Яновский (1906–1989). См., например, в его новелле «Тринадцатые»: «Схватив за волосы, он нагибал лицо проститутки к земле и бил ногой в живот. Бил не торопясь, с холодной злобой» (Числа. 1930. Кн. 2–3. С. 141).

...палач... стал тюлюкать мохнатого щенка... — В неопубликованном докладе «Несколько слов об убожестве советской беллетристики и попытка установить причину оного» (1926) Набоков особо отметил пристрастие современных советских писателей к стереотипным ситуациям в духе «опошленного Достоевского», иллюстрирующим «широту славянской души», ее способность соединять в себе жестокость и жалость, и привел в качестве примера повесть «Перегной» Л. Сейфуллиной, где «мужик, укокошив помещика, ласкает заблудшую козу» (на самом деле герой-коммунист «Перегноя» убивает двух местных интеллигентов, после чего ласкает новорожденного барашка; см.: Л. Сейфуллина. Собр. соч. Изд. 4-е. М.–Л., 1929. Т. 2. С. 99–100). Аналогичным эпизодом заканчивается рассказ Е. Замятина «Дракон»: укокошив интеллигента, звероподобный красноармеец отогревает замерзшего воробышка.

...где на исходе восемнадцатого ринга... — Рецензируя роман В. С. Яновского «Мир» — «скучный, шаблонный, наивный... с надоевшими реминисценциями из Достоевского и с эпиграфом из Евангелия», — Набоков обратил особое внимание на вопиющие ошибки в описании футбольного матча, свидетельствующие о том, что «автор до смешного лишен наблюдательности» (т. III наст. изд. С. 702). В одной из статей Б. Поплавского, считавшегося знатоком спорта, были допущены нелепые ошибки в объяснении боксерской терминологии (см.: Аполлон Безобразов. О боксе // Числа. 1930. Кн. 1. С. 260).

В арктических снегах... сидел путешественник Эриксен... — Полярная тема получила широкое распространение в советской литературе 1920–30-х гг. См., например, повести «Мать-мачеха» и «Заволочье» Б. Пильняка, «Белая гибель» и «Большая земля» Б. Лавренева и мн. др. Один из персонажей «Белой гибели» — норвежский полярник Эриксен.

Иван Червяков. — Имя заимствовано из юмористического рассказа Чехова «Смерть чиновника», герой которого — экзекутор Иван Дмитрич Червяков.

Он был слеп как Мильтон, глух как Бетховен и глуп как бетон. — Этот каламбур (обыгрывающий слова «глуп» и «бетон» как контаминации «ГЛУх+слеП» и «БЕТховен+МильТОН») — единственная фраза романа, добавленная в книжной редакции 1952 г.

...даже Достоевский всегда как-то напоминает комнату, в которой днем горит лампа. — Сравнение представляет собой полемическую трансформацию восходящего к Вяч. Иванову эссеистического клише, уподобляющего духовную мощь Достоевского источнику света. Г. Адамович, например, находил в Достоевском «постоянное свечение рассказа изнутри, сквозь мутную, кое-какую оболочку неудержимым сиянием», что, на его взгляд, искупало все изъяны формальной «отделки» (Г. Адамович. Сумерки Достоевского // Последние новости. 17 сентября 1936). По-видимому, Набоков отвечал именно на эти слова Адамовича, которого, в свою очередь, фраза о Достоевском сильно задела. «Очень метко как образ, — писал он. — Но в контексте со всем, что вообще написано Сириным, при сопоставлении с его собственным представлением о человеке и жизни, тут за этой "лампой" разверзается бездна обезоруживающей наивности. К Достоевскому фраза не имеет отношения, но к Сирину в ней — ценнейший комментарий» (Г. Адамович. «Современные записки», кн. 67. Часть литературная // Последние новости. 10 ноября 1938).

С. 491. ...в Зоологическом саду... обратил его внимание на клетку с гиеной... — По всей вероятности, здесь высмеивается беспомощное описание берлинского зоопарка, и в частности гиены, в книге В. Шкловского «Zoo, или Письма не о любви»: «День

и ночь, как шибера, метались в клетках гиены. Все четыре лапы гиены поставлены у нее как-то очень близко к тазу» (В. Шкловский. Жили-были. М., 1964. С. 143).

...были... филомелами... — то есть соловьями (по имени Филомелы, героини древнегреческого мифа, превращенной в соловья). Смысл шутки раскрывает английский перевод «Дара», где «филомелам» оригинала соответствуют shadelovers, то есть любители тени. Трое членов правления, как соловьи, любят тень и мрак, то есть занимаются темными делами.

С. 492. ...вроде Подтягина, Лужина, Зиланова... — отсылка к трем романам Набокова: старый поэт Антон Сергеевич Подтягин — персонаж «Машеньки»; романист и детский писатель Иван Лужин — «Защиты Лужина», публицист и политический деятель Михаил Платонович Зиланов — «Подвига».

С. 493. Кончеев — никому не нужный кустарь-одиночка... — Принятый в советской социальной классификации термин «кустарь-одиночка» в литературе 1920-х гг. часто обыгрывался комически. См., например, «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова или «Бурную жизнь Лазика Ройтшванеца» (1928) И. Эренбурга.

С. 494. ...одесную... ошую... — по правую руку — по левую руку.

...диалог Иоанна с литовским послом... — вторая сцена третьего действия трагедии А. К. Толстого «Смерть Ивана Грозного».

С. 495. Владимиров. — В предисловии к английскому переводу «Дара» Набоков отметил, что именно в романисте Владимирове (а не в Годунове-Чердынцеве) он различает «некоторые мелкие осколки самого себя около 1925 года». На то, что Владимиров представительствует за автора романа, указывают его фамилия, внешность, британское образование, а также характеристика его прозаического стиля («зеркальный слог»).

...Краевич (ничего общего не имевший с составителем учебника физики...) — Имеется в виду К. Д. Краевич (1833—1892), автор стандартных школьных учебников физики и алгебры.

С. 496. хир — (*нем.* hier) сюда.

...псевдоним... Фома Мур, содержал... «целый французский роман, страничку английской литературы и немножко еврейского скептицизма». — По-французски псевдоним прочитывается как сочетание двух существительных: femme (женщина) и amour (любовь); кроме того, он отсылает к английскому поэту-романтику Томасу (то есть, в русифицированной форме, Фоме) Муру (1779—1852), а также к одному из апостолов, Фоме Неверующему, который отказывался поверить в воскресение Иисуса Христа, пока самолично не увидит ран от гвоздей и не вложит в них перста (Иоанн. 20: 25).

С. 496—497. ...театральный критик — тощий, своеобразно тихий молодой человек... — Вероятно, прототипом этого эпизодического

персонажа послужил театральный и литературный критик «Руля» Ю. В. Офросимов (1894–1967; печатался чаще всего под псевдонимом Г. Росимов), который вместе с Набоковым входил в берлинский литературный кружок «Братство Круглого Стола» и в берлинский Союз русских писателей и журналистов (см.: А. Долинин. Доклады Владимира Набокова в берлинском литературном кружке // Звезда. 1999. № 4. С. 8).

С. 497. ...Пышкиным, который произносил в разговоре с вами: «Я не дымаю» и «Сымасшествие», — словно устраивая своей фамилье некое алиби... — Образцом для анекдота, очевидно, послужил рассказ Вл. Пяста в книге «Встречи» (1929) о журналисте А. В. Руманове: «У него была особая манера отвечать на телефонные звонки. "У телефуна Руманов", — протягивал он немного в нос... как бы предупреждая, что и в его фамилии "о" будет звучать так же "закрыто", что, собственно говоря, его фамилия такая же, как и у царствующего дома» (Вл. Пяст. Стихотворения. Воспоминания. Томск, 1997. С. 276; я благодарен О. Ронену, напомнившему мне об этом эпизоде. — *А. Д.*). Фамилия присяжного поверенного, кроме того, намекает на псевдоним Булкин, под которым журналист А. Я. Браславский опубликовал сборник «Стихотворения», отрецензированный Набоковым (см. т. II наст. изд. С. 635). По воспоминаниям В. С. Яновского, Булкин был похож на адвоката, а когда у него осведомлялись, почему он избрал себе такой странный псевдоним, объяснял: «Ну, Пушкин, ну, Булкин, какая разница» (В. С. Яновский. Поля Елисейские. Книга памяти. Нью-Йорк, 1983. С. 221).

С. 500. ...наплывали привидения сиреней... — очередной знак авторского присутствия в тексте (см. прим. к с. 235 и 391).

С. 502. трельяжный боскет — элемент регулярного парка, сплошная зеленая стена из вьющихся растений, поддерживаемых специальными тонкими решетками, так называемыми трельяжами.

С. 503. букс — (от *нем.* Buchsbaum) самшит.

ильм — (от *англ.* elm) вяз.

С. 504. вермилион — (от *англ.* vermillion и *фр.* vermillon) киноварь, ярко-красная краска.

С. 505. Ленотр Андре (1613–1700) — французский архитектор, создатель регулярных парков в Версале, Трианоне и др.

ф3–г1 (в современной шахматной нотации f3–g1) — обратный ход коня, возвращающегося на свою исходную позицию (см. прим. к с. 417).

С. 506. ...безработный бродяга... спит, прикрыв лицо газетой... — Действие романа Набокова «Отчаяние» начинается с того, что герой-рассказчик случайно наталкивается на спящего бродягу, прикрывшего лицо картузом.

архитектор Штокшмайсер — см. прим. к с. 234.

С. 507. ...над моим запрокинутым лицом... — Во французской статье «Писатели и эпоха» (1931) Набоков сравнил попытки художника выйти за пределы настоящего времени и увидеть реальность с точки зрения будущего, как «воскресшее прошлое», с «непривычным смещением пространства... когда лежишь навзничь на песке, запрокинув голову, и смотришь на идущих вверх ногами... — и вдруг на мгновение рождается зримое ощущение гравитации» (Звезда. 1996. № 11. С. 46; перевод О. Сконечной).

С. 507—508. ...тех нехитрых воскресных впечатлений... из которых состояло для берлинцев понятие «Груневальд»... — Поездки за город, в парки и на общественные пляжи, где загорающим позволялось оголяться в любой степени, были массовым явлением, характерным для немецкой культуры 1920-х гг. Например, 3 мая 1928 г. газета «Руль» в разделе «Хроника» сообщала: «Хорошая погода увлекла почти всех берлинцев за город. Одни только трамваи перевезли свыше 2 миллионов человек». По воспоминаниям английского поэта С. Спендера, который жил тогда в Германии, «тысячи людей отправлялись в бассейны на открытом воздухе или лежали на берегах рек и озер, почти, а иногда и полностью обнаженные...» (World within World. The Autobiography of Stephen Spender. N. Y., 1994. P. 107). В тех же мемуарах Спендер описывает и прогулки в Груневальдском лесу, среди «тел, усеявших кремнисто-серую траву» (P. 126).

С. 508. ...тарзаном... — Имеется в виду Тарзан, юноша, живущий в джунглях среди зверей, — герой романа «Тарзан из обезьяннего племени» (1914) американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875—1950) и многочисленных поставленных по нему фильмов (первый немой фильм: 1918, звуковой: 1932).

Все это звучит, как брошюрка нюдистов... — Вероятно, имеется в виду книга немецкого нудиста Ганса Сурена (1885—1972) «Человек и солнце» («Der Mensch und die Sonne», 1925), чрезвычайно популярная в веймарской Германии.

С. 510. сильвийские — (от *лат.* silva — «лес») лесные.

Le sanglot dont j'étais encore ivre. — Рыдание, которым я еще был опьянен *(фр.)*. Цитата из стихотворения французского поэта-символиста Стефана Малларме (1842—1898) «Полуденный отдых Фавна» (1887), эротические темы которого перекликаются с грезами героя.

...боясь перехода от Пана к Симплициссимусу. — То есть от античных образов Малларме (в Древнем Риме фавна отождествляли с греческим богом полей и лесов Паном) к немецкой сатире (Симплициссимус — *лат.* «простак» — герой одноименного сатирического романа немецкого писателя Ханса Якоба Кристоффеля фон Гриммельсхаузена, 1621—1676, и название сатирического журнала, 1896—1944).

С. 513. ожина — то же, что и ежевика.

...его Ольга недавно вышла за меховщика... Не совсем улан, но все-таки... — аллюзия на «Евгения Онегина», где Ольга Ларина вскоре после смерти Ленского выходит замуж за улана и уезжает с ним в полк (7, VIII).

...мысль любит... камеру обскуру. — Кончеев употребляет латинское название оптического прибора camera obscura не столько в терминологическом, сколько в буквальном значении: «темная комната». Упоминание о камере обскуре является и очевидной автореференцией, так как отсылает к одноименному роману Набокова.

С. 515. ...как писали Тургенев, Гончаров, граф Салиас, Григорович, Боборыкин... — В один ряд с общепризнанными классиками (Тургенев, Гончаров) и прозаиками второго ряда (Григорович, Боборыкин) Набоков включает и сочинителя исторических романов, графа Евгения Андреевича Салиаса-де-Турнемира (1840—1908), чье имя к 1920-м гг. стало синонимом дурного, безнадежно устаревшего вкуса.

С. 517. ...пока тунгуз и калмык... под завистливым оком финна. — Аллюзия на третью строфу стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836): «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, / И назовет меня всяк сущий в ней язык, / И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгус, и друг степей калмык».

С. 519. ...где это уже раз так было — что качнулось?.. — По точному наблюдению С. Блэквелла, ответ на вопрос Годунова-Чердынцева — деталь второй главы, когда после прощания с отцом Федор выходит на любимую лужайку и замечает, как с ромашки слетает бабочка махаон, а «цветок, покинутый им, выпрямился и закачался» (S. Blackwell. Three Notes on *The Gift*. P. 38—39). Другая возможная параллель — сцена разгрузки мебельного фургона в самом начале романа, где скользят и качаются ветви, отраженные в зеркальном шкафу.

С. 520. ...прокатя их на вороных... призраки каланчовых баллов... — Обыгрывается выражение «прокатить на вороных», то есть забаллотировать, набросать при голосовании больше черных шаров (баллов), чем белых. Черные шары для голосования ассоциируются с черными сигнальными шарами (баллами), которые вывешивались на каланче для оповещения о пожаре или сильном морозе, а фигуральные «вороные» — с картинным выездом пожарной команды на лошадях. См., например, в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова: «Перед ним мгновенно возникли пожарные колесницы, блеск огней, звуки труб и барабанная дробь. Засверкали топоры, закачались факелы, земля разверзлась,

и вороные драконы понесли его на пожар городского театра» (гл. 19; я благодарен Ю. К. Щеглову, указавшему мне эту параллель. — *А. Д.*).

С. 522. делать вицы — (калька с *нем.*: Witze zu machen) острить.

С. 523. о Петрашевском. — Щеголев путает Чернышевского с Михаилом Васильевичем Петрашевским (1821—1856), петербургским литератором, арестованным в 1849 г. за организацию оппозиционного кружка.

С. 524. ...я совершенно пуст, чист, и готов принять снова постояльцев. — Сходную метафору использовал Б. Пастернак в «Охранной грамоте», описывая весеннее преображение жизни и души: «...кругом на земле, как неразвешанные зеркала, лицом вверх, лежали озера и лужи, говорившие о том, что безумно емкий мир очищен и помещенье готово к новому найму» (Б. Пастернак. Собр. соч. в 5 т. Т. 4. С. 177).

С. 525. ...с описанием природы. — В «Современных записках» (Кн. LXVII. С. 127): «с описаниями природы».

...роман о кровосмешении... — Как установил Д. Бартон Джонсон, речь идет о популярном романе немецкого писателя Леонхарда Франка (1882—1961) «Брат и сестра» («Bruder und Schwester», 1929), который впоследствии послужит Набокову источником «Ады» (D. Barton Johnson. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, 1985. P. 119—124). «Пошлейшая книжка» Франка о кровосмесительстве упоминается также в рассказе Набокова «Встреча» (см. т. III наст. изд. С. 571).

...фальшиво-вшивая повесть о войне... — Имеется в виду роман Э.-М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929), пользовавшийся огромным успехом в Германии.

гемютная — (от *нем.* gemütlich) уютная, приятная, милая.

С. 527. ...врач... Шполянский... ханский... — Прапорщик броневого дивизиона, поэт, оратор и литературовед Михаил Семенович Шполянский — персонаж романа М. Булгакова «Белая гвардия», чьим прототипом послужил Виктор Шкловский. О том, что это едва ли случайное совпадение, свидетельствуют стоящие рядом слова, которые могут намекать на профессию Булгакова, его книгу «Записки юного врача» и рассказ «Ханский огонь» (1924).

...сломал наш Ганс кий... — отголосок реплики Яши в третьем действии «Вишневого сада» Чехова: «Епиходов бильярдный кий сломал!..»

С. 528. «Стрекоза» — русский еженедельный юмористический журнал, выходивший в Петербурге с 1879 по 1908 г.

Петри Эдуард Юльевич (1854—1899) — профессор географии и антропологии Петербургского университета. Под его редакцией вышли «Всемирный настольный атлас А. Ф. Маркса» и «Учебный атлас» для средней школы.

С. 529. Thecla bieti — маленькая бабочка-голубянка, описанная Шарлем Обертюром (см. прим. к с. 285) и названная им в честь французского миссионера в Тибете Феликса Биета, который впервые поймал ее близ китайского города Татцьен-лу (см. прим. к с. 306).

С. 531. ...белградскую газетку «За Царя и Церковь»... — С 1921 по 1930 г. в Белграде выходила монархическая газета «Новое время» под ред. М. А. Суворина, сына издателя одиозной петербургской газеты с тем же названием и сходной политической ориентацией.

С. 533. ...трех сортов флаги: черно-желто-красные, черно-бело-красные и просто красные... — Три сорта флагов соответствуют трем основным политическим силам в Германии 1920-х—начала 1930-х гг. Черно-красно-желтый флаг был официальным символом Веймарской республики, и под ним демонстрировали сторонники демократического правительства. Ни правая, ни левая оппозиция этот флаг не признавали и пользовались, соответственно, черно-бело-красным флагом Германской империи (к которому нацисты добавили свастику) и революционным красным знаменем.

С. 534 бланжевый — см. прим. к с. 68.

С. 536. Теснина Бранденбургских ворот. — Символика «тесных ворот» восходит к Новому Завету: «Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матфей. 7: 13–14). Евангельский образ тесных врат, через которые ведет путь в бессмертие, использован в стихотворении Пушкина «Странник»: «Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света; / Пусть будет он тебе единственная мета, / Пока ты тесных врат спасенья не достиг». В финале «Подвига» тот же путь через «тесные» Бранденбургские ворота (где движение идет только в одну сторону) проделывает герой романа (см. т. III наст. изд., с. 232, 233 и прим.).

...дама... с... собачкой... — Совпадение с заглавием рассказа Чехова «Дама с собачкой» здесь едва ли случайно.

С. 540. ...толленбургских студентов-гуляк... — Толленбург — вымышленное название (от *нем.* toll — «безумный, сумасшедший, абсурдный, смешной»).

Тапробана — название острова Цейлон у античных и средневековых географов.

С. 541. Прощай же, книга! Для видений — отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, — но удаляется поэт. — Последний абзац «Дара» представляет собой правильную онегинскую строфу и перекликается с финалом «Евгения Онегина».

А. Долинин

РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА «СОГЛЯДАТАЙ»

«Соглядатай» — второй сборник короткой прозы Владимира Набокова-Сирина, последовавший через восемь лет после первого, «Возвращение Чорба» (Берлин, «Слово», 1930). В парижском издательстве «Русские записки» предполагалось издать рассказы Набокова 1930-х гг. в двух томах: «Соглядатай» (1938) и «Весна в Фиальте» (1939). Однако до войны успела выйти в свет лишь первая из запланированных книг — сборник «Весна в Фиальте» был издан в нью-йоркском «Издательстве имени Чехова» только в 1956 г. Названный по заглавию вошедшей в него повести, «Соглядатай» включил в себя также двенадцать рассказов, ранее опубликованных в эмигрантской печати в период с 1930 по 1935 г. Критика встретила новый сборник набоковских рассказов без особого энтузиазма. В 1978 г. сборник был переиздан репринтным способом издательством «Ардис» (Анн Арбор). Рассказы печатаются по тексту сборника, но располагаются в порядке первых публикаций в периодической печати.

Случай из жизни. Впервые: Последние новости. 22 сентября 1935. Написан в начале сентября. Единственное произведение Набокова, целиком написанное от женского лица. Скептически относившийся к «женской прозе», наблюдательный автор удобрил свою незлобную пародию такими перлами, как «женская облокоченная задумчивость» или муха, которая «кубарем поднималась» по стеклу. Перевод на английский язык появился в книге «Подробности заката и другие истории» («Details of a Sunset and Other Stories». McGraw-Hill, N. Y., 1976) с авторским сопровождением: «Итак, сэр, какую цель Вы преследовали, сочиняя эту историю сорок лет назад? Просто записало перо (ибо мне так и не суждено было научиться печатать, а долгому царствованию карандаша 3В, увенчанного ластиком, предстояло начаться гораздо позже — в припаркованных автомобилях и мотелях); но я никогда не думал о каких-то “целях”, сочиняя рассказы — для себя, для жены и еще полудюжины дорогих уже ушедших друзей, которые им радовались»[1] (цит. по: Vladimir Nabokov. «Collected Stories». Penguin, 1997. P. 655).

С. 545. ...некто Пришвин (не родственник писателя)... — Пришвин Михаил Михайлович (1873—1954) — русский советский писатель, первое собрание сочинений которого вышло в 1912—1914 гг.,

[1] Здесь и далее перевод наш. — *Ю. Л.*

в 1920–30-х гг. активно печатался в журналах «Новый мир» и «Красная новь».

С. 547. кауч — см. прим. к с. 324.

...добрые люди доносили... — В газете: «добрые люди донесли».

С. 548. ...толстозадый том с одуванчиком и девицей в рыжих локонах на обложке. — Одуванчик и девочка украшали обложки старых изданий французского толкового словаря Larousse. (Благодарю Омри Ронена за справку. — *Ю. Л.*)

С. 550. ...и с обкусанными ногтями. — В газете: «и с отполированными, но обкусанными ногтями».

РАССКАЗЫ ИЗ СБОРНИКА «ВЕСНА В ФИАЛЬТЕ»

Издательская судьба рассказов, составивших набоковский сборник «Весна в Фиальте», по-своему трагична. Запланированная в издательстве «Русские записки» (Париж) на 1939 г. книга под этим названием вышла спустя более чем пятнадцать лет и на другом континенте. В ноябре 1954 г. Набоков предложил «Издательству имени Чехова» (Нью-Йорк) опубликовать коллекцию своих русских рассказов, до этого известных только по единичным публикациям в эмигрантской прессе. К тому времени издательство уже выпустило, впервые без купюр, роман «Дар». Сборник «Весна в Фиальте», состоящий из 14 рассказов, написанных в период с 1931 по 1939 г., появился в 1956 г. и от первоначального замысла отличался тем, что к тринадцати рассказам был добавлен «Ultima Thule», фрагмент недописанного романа «Solus Rex» (1940), остальные наброски к которому Набоков уничтожил. В 1978 г. сборник был переиздан издательством «Ардис» (Анн Арбор). Рассказы печатаются по тексту сборника, но располагаются в порядке первых публикаций в периодической печати. В английском переводе рассказы из «Весны в Фиальте» были включены в сборники «Nabokov's Dozen» (Doubleday & Company, Garden City, N. Y., 1958), «A Russian Beauty and Other Stories» (McGraw-Hill, N. Y., 1973), «Tyrants Destroyed and Other Stories» (McGraw-Hill, N. Y., 1975).

Тяжелый дым. Впервые: Последние новости. 3 марта 1935. В сборнике указана дата написания: «1934 или 1935». Заслуживает внимания позднее набоковское послесловие (1973) к рассказу, где автор, в частности, говорит: «Рассказ принадлежит к циклу моей короткой прозы, выросшей из эмигрантской жизни в Берлине поры между 1920 и поздними тридцатыми годами. Искатели лакомых кусочков биографии должны быть предупреждены, что

главным моим наслаждением в сочинении тех вещиц было безжалостное изобретательство целой вереницы изгнанников — ни характером, ни классом, ни внешними чертами, ни чем-либо другим совершенно не похожих ни на кого из Набоковых». Английский перевод «Тяжелого дыма» впервые был опубликован в журнале «Triquarterly» (1973. № 27). В примечании к переводу Набоков предупредил, что в двух-трех пассажах он вставил «коротенькие фразы, дабы пояснить некоторые детали быта и места действия, непонятные сегодня не только иностранному читателю, но и нелюбопытным внукам русских, бежавших в Западную Европу в первые три-четыре года после большевистской революции». Во всем остальном, как уверяет писатель, английский перевод «акробатически верен».

С. 552. Байришер Плац. — Координаты площади (*Bayerischer-Platz*), расположенной в юго-западной части Берлина, близки к месту проживания Набоковых с июля 1932 по январь 1937 г. по адресу Несторштрассе, 22. Как писал Набоков в послесловии, «лишь две вещи напоминают здесь о сходстве между героем и автором — оба пишут стихи по-русски, а я, как и он, одно время проживал в похожих печальных берлинских апартаментах».

...с узора кисейной занавески. — В газете: «с узора на кисее занавески».

араукария — род высоких хвойных деревьев, распространенных преимущественно в Южной Америке и Австралии (по названию чилийской провинции Арауко).

С. 553. ...с дотошной отчетливостью... — В газете: «со струящейся, но дотошной отчетливостью».

Inconnue de la Seine (столь популярной в Берлине) — (*фр.* «Незнакомка из Сены») неизвестная девушка, утонувшая в Сене. Популярностью пользовался сделанный с ее лица гипсовый слепок. Подобные слепки-сувениры служили украшением европейских домов в 1930-е гг. Фразы в скобках в газетной публикации нет.

...отличительных примет... — В газете: «отличных примет».

...в которое преобразилось стекло... — В газете: «заменившее стекло».

С. 555. ...но отец настоял... — В газете: «но он настоял».

«Шатёр» — поэтический сборник Н. С. Гумилева (1886–1921), вышедший за несколько месяцев до его гибели.

«Сестра моя жизнь» — книга стихов Б. Л. Пастернака (1890–1960), изданная в 1922 г. (Об отношении Набокова к Пастернаку см. прим. Р. Тименчика в т. II наст. изд. С. 760–761.)

«Вечер у Клэр» — дебютный роман Гайто Газданова (1903–1971), вышедший отдельным изданием в 1929 г. (О взаимовлиянии писателей см.: Ю. Левинг. Тайны литературных адресатов В. В. Набокова: Гайто Газданов // Набоковский вестник. 1999. № 4. С. 75–90.)

«Bal du comte d'Orgel» — «Бал графа д'Оржеля» — любовно-психологический роман из великосветской жизни, принадлежащий перу французского писателя Реймона Радиге (Radiguet, 1903–1923). Издан посмертно в 1924 г. (в русском переводе под названием «Маб», 1926).

«Защита Лужина» — роман В. Набокова (1930). В газете названия этого романа нет.

«Двенадцать стульев» — Набоков с неизменным восхищением отзывался об этом произведении (1928) советских коллег И. Ильфа и Е. Петрова. Через два года после публикации «Тяжелого дыма» он напишет в письме Вере Набоковой: «Бедный Ильф умер. И каким-то образом представляешь, что разлучили сиамских близнецов» (*SL89.* P. 24). В газете название этого романа отсутствует.

Гёльдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770–1843) — немецкий поэт, новатор в области поэтического языка, сочетавший лиризм с эпическим материалом и античными формами стиха. В 1804 г. заболел душевной болезнью.

Бэдекер — популярная серия путеводителей фирмы, основанной немецким книгоиздателем Карлом Бедекером (Baedeker, 1801–1859) в 1827 г. Отличались подробной информацией и точными картами.

Зомбарт Вернер (1863–1941) — немецкий экономист, историк, социолог.

С. 556. ...страстный, русского порядка, спор у знакомых о том, как ближе пройти от такой-то до такой-то улицы... — Подмеченной среди русских эмигрантов страстью Набоков щедро делился с разными своими персонажами. Герой рассказа «Памяти Л. И. Шигаева» досконально знает окрестности Берлина и любит заниматься «кропотливым составлением маршрута»; в «Даре» (гл. 2) демонстрируется, как пассажир может для своей выгоды при знании маршрутов использовать «некий чисто немецкий порок в планировке трамвайных линий»; Тимофей Пнин «подобно многим русским испытывал необычайное пристрастие ко всякого рода расписаниям, картам, каталогам», что подводит его уже в первой главе романа.

Набор. Впервые: Последние новости. 18 августа 1935. Написан в конце июля в Берлине. Англоязычный читатель смог ознакомиться с переводом (осуществленным автором совместно с сыном Д. Набоковым) в сборнике «Истребление тиранов и другие рассказы» («Tyrants Destroyed and Other Stories». McGraw-Hill, N. Y., 1975).

С. 557. ...не было на свете... привязанностей. — В газете: «не было... привязанностей».

...сестра... давно умерла... — В английском варианте: «умерла десять лет назад».

С. 558. ...воскресала сестра... — В газете: «воскресла сестра».

С. 559. ...указал себе самому... — В газете: «показал себе самому».

...гаршинской породы, полусумасшедшего... — Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — русский писатель. С начала 1870-х гг. страдал психическим заболеванием. В 1888 г. во время очередного припадка покончил с собой, бросившись в пролет лестницы.

...читателя... — В газете: «читателей».

С. 560. ...не раз за всю его долгую... жизнь... — В газете: «но не раз за всю долгую... жизнь».

шалэ — (от *фр.* chalet) постройка дачного или сельского типа.

...участием в его судьбе... — В газете: «участием к его судьбе».

С. 561. ...как кресло... — В газете: «как кресла».

...положа руки... — В газете: «положив руки».

...так как в мягких чертах... — В газете: «оттого что в мягких чертах».

...что-то напоминающее... — В газете: «что-то напоминавшее».

...московской общественной дамы А. М. Аксаковой... она приходилась мне дальней родственницей... — На свое родство с Аксаковыми по отцовской линии Набоков указывает в «Других берегах» (гл. 3 (1)). Если устанавливать точную связь, то сестра прабабки писателя Нины Корф (Шишковой), София, являлась женой Григория Аксакова — сына писателя С. Т. Аксакова (1791—1859).

...для эпизода романа, с которым вожусь третий год. — Имеется в виду роман «Дар», начатый зимой 1932—1933 гг.

С. 562. ...такой-то фразы. — В газете: «какой-то фразы».

Весна в Фиальте. Впервые: Современные записки. 1936. Кн. LXI. Рассказ написан в апреле того же года. (В сборнике ошибочно указана дата написания: 1938.) Рассказ являет собой модернистскую модель мифа о Св. Георгии, в котором дракона представляет Фердинанд, в финале отделавшийся «повреждением чешуи», а его противника — сам повествователь. С выпадением из классической схемы третьего элемента (смерть Нины) исчезает объект гипотетического спора. Герою приходится вступать в духовный, а не физический поединок, — в котором копье замещено пером, — и не с драконом, а с собственной памятью. Результатом и безусловной победой метафизического противостояния становится факт написания героем «Весны в Фиальте», чья композиция, таким образом, предвосхищает структуру «Дара», устроенного по принципу ленты Мёбиуса. Писательский дар символически закодирован в горé с именем Победоносца, под видом сувенира-*чернильницы* реализующей его творческую потенцию. Теряя в конце концов контроль над похищенной любовницей (сказочная

жертва дракона), герой овладевает бóльшим: он обретает то, от чего отказывается его противник-писатель, — дар самовыражения. (См.: Ю. Завьялов-Левинг. Убить дракона: Георгиевский комплекс в рассказе Набокова «Весна в Фиальте» // Russian Language Journal. 1998. № 171–173.)

Англоязычная версия рассказа содержит различные изменения, иногда смыслового характера. Был усилен мифологический подтекст (так, Василий превратился в Виктора: «победитель» в функции Георгия *Победоносца*). Перевод появился в журнале «Harper's Bazaar» в мае 1947 г., через одиннадцать лет после публикации русского оригинала. Этому предшествовали попытки Набокова опубликовать рассказ в США в течение пяти лет: в 1942 г. редакторы «Harper's Bazaar» нашли «Весну в Фиальте» «искусной, но чересчур длинной». Более откровенно высказался в переписке с писателем Эдмунд Вильсон: «Боюсь, что для “Нью-Йоркера” длинновато, хотя они и могут взять, если Вы подрежете... но с точки зрения журнала — да, пожалуй, и с нашей [с женой] тоже — тут бедноват сюжет. От эпизода в Фиальте ожидается большего» (*N-W79*. P. 63).

С. 562. ...гора Св. Георгия... — Название вымышленное.

С. 563. Дома я оставил жену, детей: всегда присутствующую на ясном севере моего естества... систему счастья. — Слегка измененной автоцитатой метафора войдет в письмо, адресованное Набоковым жене из Парижа 20 февраля 1937 г.: «*My dear love*, все Ирины мира бессильны... Восточная сторона каждой моей минуты уже освещена светом нашей приближающейся встречи» (*SL89*. P. 19).

С. 564. ...изнемогали от жажды... — В журнале: «изнемогли от жажды».

глиссада — (от *фр.* glisser — «скользить») скольжение.

С. 566. запышка. — Как объясняет В. Даль, «состояние запыхавшегося, одышка, удушье от всякого усиленного движения».

...охнул сугроб, произвел ампутацию валенка. — В журнале: «охнул: сугроб произвел ампутацию валенки».

С. 567. ...гусар, укротитель в усах... — В журнале: «гусар-укротитель в усах».

С. 568. тороватый (устар.) — щедрый.

С. 569. Таухниц — книга одноименного издательства, названного в честь основателя Христиана Бернгарда фон Таухница (1816–1895). С 1841 г. выпускались дешевые книги на английском языке в серии «Коллекция британских и американских писателей» («Collection of British and American Authors»).

С. 570. било (или ботало) — язык колокола.

далия — георгин.

...отравляла мои встречи... — В журнале: «впоследствии отравляла мои встречи».

...офиологический холодок... — Офиология (от *греч.* ophi — «змея») — раздел зоологии, изучающий змей.

*С. 571. **В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад... но с каждым годом роспись становилась все гуще... лиловизна все грознее... Но как он опасен был в своем расцвете, каким ядом прыскал... если его задевали!*** — Учитывая, что чернила — орудие Фердинанда, а сквозной мотив рассказа — сувенир-чернильница в виде горы Св. Георгия, пассаж, возможно, противопоставлен пушкинскому «К моей чернильнице» (1821), где о чернилах сказано: «Но их не разводил / Ни тайной злости пеной, / Ни ядом клеветы».

В качестве одного из прототипов Фердинанда, по крайней мере его писательской манеры, укажем Ивана Бунина. Ключом к параллели является стих самого Сирина (1921), посвященный учителю:

Ты любишь *змей* — тяжелых, *злых узлов*
лиловый лоск на дне сухой ложбины. ⟨...⟩
Твой стих *роскошный* и скупой, *холодный*
и *жгучий* стих, один горит, один ⟨...⟩
и нагота твоих созвучий стройных
сияет мне как бы *сквозь шелк цветной.*

С. 572. ...живописец с идеально голой... головой, которую он всегда вписывал в свои картины (Саломея с кегельным шаром)... — Вместо фразы в скобках в английском варианте следует пассаж с очевидным намеком на Пабло Пикассо: «в свои глазасто-гитаристые полотна». В английской версии в компании Фердинанда оказывается «комолый бизнесмен, который финансировал сюрреалистские авантюры (и платил за аперитивы), если позволялось в уголке печатать панегирические ссылки к актриске, которую он содержал». Расширен пассаж и о коллеге Фердинанда из СССР: «бойкий, но лингвистически импотентный советский писатель, только что приехавший из Москвы, со старенькой трубкой и новыми наручными часиками».

С. 574. орлить — клеймить казенным (с изображением орла на государственном гербе) клеймом; например, гири или монеты.

С. 575. ...шелковые чулки, купленные по дешевке. — В английской версии добавлено: «...купленные по дешевке на Tauentzienstrasse». Реальная улица в Берлине (Набоков вставил в середине «t»). Как видно на берлинской городской карте 1930-х гг., улица находится непосредственно в топографическом пространстве романа «Дар», между Курфюрстендам и площадью Виттенберга, где около магазина, «торгующего всеми формами местного безвкусия», Федор встречает фердинандоподобного «болезненно озлобленного литератора».

Как-то осенью мне показали ее лицо в модном журнале. Как-то на Пасху она мне прислала открытку с яйцом. — В английской версии рассказа Набоков расширяет этот пассаж, детализируя журнальные картинки, среди которых, кроме журнального портрета, появляются «осенние листья, перчатки и сметенные ветром связки гольфов», и добавляет новое «воспоминание» о том, как «на пляже Ривьеры она [Нина] чуть не ускользнула от взгляда [Виктора] за своими солнцезащитными очками и терракотовым загаром». Изменяется изображение на присланной Виктору открытке. Поздравление Нины приурочено уже не к Пасхе, а к Рождеству, и вместо рисунка яйца на почтовой карточке изображены снег и звезды.

...несомненным признакам... — В журнале: «несомненным приметам».

С. 577. ...в эфирных пачках... — то есть в воздушной юбке, короткой и пышной (в несколько слоев).

С. 579. ...выпрямившись во весь свой... рост... — В журнале: «вытянувшись во весь... рост».

...белая лошадь Вувермана... — Голландский художник Филипп Вуверман (1619—1668) писал батальные, охотничьи сцены. Прославился безупречной техникой изображения лошадей, чаще всего — белой масти.

С. 581. ...и я сказал, наше дешевое, официальное ты *заменяя тем одухотворенным, выразительным* вы, *к которому кругосветный пловец возвращается, обогащенный кругом: «А что, если я вас люблю?»* — Двойная аллюзия на стихотворения Пушкина «Я вас любил: любовь еще, быть может...» (1829) и «Ты и вы» (1828):

Пустое *вы* сердечным *ты*
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.

Облако, озеро, башня. Впервые под названием «Озеро, облако, башня»: Русские записки. 1937. № 2. Написанный в Мариенбаде (Чехословакия), в рукописи рассказ датирован 25—26 июня. Набоков отдавал себе отчет в том, что его рассказ сочтут слишком «антигерманским, не говоря уже антинацистским» (*N-W79*. P. 39). Перевод появился в американском журнале «Atlantic Monthly» в июне 1941 г. В английском названии вновь был изменен порядок слов из соображений благозвучия: «Cloud, Castle, Lake» («Облако, башня, озеро»).

С. 582. ...берлинское лето находилось в полном разливе... — Английский перевод проясняет, что речь идет о 1936 или 1937 г.

...он попробовал билет свой продать... — Ходовая метафора «возвращения билета» Создателю имеет долгую литературную традицию. Не исключено, что у Набокова, в свете финального авторского «отпущения», она восходит к Достоевскому: «Не Бога я не принимаю... я только билет ему почтительнейше возвращаю» («Братья Карамазовы». Часть 2, кн. 5, гл. 4).

...часов, тикающих... — В журнале: «часов, тикавших».

С. 583. ...всё еще нам незнакомые... — В журнале: «всё еще нам незнакомое».

«Мы слизь. Реченная есть ложь», — и дивное о румяном восклицании... — Искаженная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium!» (1830): «Мысль изреченная есть ложь». Другое стихотворение Тютчева «Вчера, в мечтах обвороженных...» (1836) оканчивается строками:

Румяным, громким восклицаньем
Раскрыло шелк ресниц твоих!

...обильную растительность... — В журнале: «обильную и прочную растительность».

С. 585. Всем были розданы нотные листки со стихами от общества... — В английской версии текст песенки несколько изменен:

Покончи с хандрой и забудь про тревогу,
возьми узловатую палку
и выходи в путь-дорогу
с отличными здоровыми парнями!

Топчи жнивье и травку стороны родной
с отличными здоровыми парнями,
отшельника бей с его в голове ерундой,
и к черту сомненья и вздохи!

Где миля, две иль пять — там еще двадцать ждут,
и солнечное небо и ветер в изобилии...
Но что нам эти мили, шагай с парнями в путь!

Ср. с другой имитацией у Набокова неуклюжей тоталитарной риторики: «Шли мы тропиной исторенной, / горькие ели грибы, / пока ворота истории / не дрогнули от колотьбы!» («Истребление тиранов», 1938). Готовя перевод рассказа для републикации в книжном варианте 1958 года, Набоков переписал три заключительные строки, превратив их в катрен:

В вересковом раю,
где мышки полевые с писком подыхали,
мы все промаршируем и вместе пропотеем
с парнями из кожи и стали!

Километр за километром, / ми-ре-до и до-ре-ми... — В журнале «нотная» часть фразы отсутствует.

С. 586. скат — (от *англ.* skat) карточная игра, играют втроем тридцатью двумя картами.

Обеих девиц звали Гретами... Шрам, Шульц и другой Шульц... — Мир диктатуры клонов, противостоящих индивиду, Набоков вскоре реализовал в пьесе «Изобретение Вальса» (1938), среди действующих лиц которой генералы с псевдонемецкими фамилиями: Берг, Бриг, Брег, Герб, Гроб, Граб и т. д. В журнале: «звали Грета».

...шелковистой лепизмы. — Лепизма (чешуйница) — насекомое отряда щетинохвостых, серебристого оттенка; предпочитает влажные и темные места, обитает в жилых домах, на продовольственных складах, на мельницах. В журнале: «шелковых мокриц».

С. 586—587. В Царицыне... уверяет мой зять, ездивший туда строить тракторы. — Царицын — после 1925 г. стал называться Сталинград, с 1961 г. — Волгоград. Немцы в начале 1930-х гг. принимали активное участие в строительстве Сталинградского тракторного завода.

С. 587. ...огромный круглый хлеб. До чего я тебя ненавижу, насущный! — Не исключено, что следующее после упоминания о Царицыне признание в ненависти от первого лица прочитывается как буквальная отсылка к названию А. Н. Толстого «Хлеб (Оборона Царицына)». В октябре—ноябре 1937 г. главы из повести были опубликованы в «Молодой гвардии» (№ 9—10), рассказ Набокова впервые напечатан в ноябрьском номере «Русских записок» того же года. В повести Толстого о Гражданской войне, превозносящей диктатуру пролетариата, *хлеб* оказывается тавтологизированной целью и абсолютной ценностью коммунистического режима, который, подобно его нацистскому близнецу, Набокову омерзителен.

...вы́силась пря́мо из да́ктиля в да́ктиль стари́нная чёрная ба́шня. — Отрывок написан дактилическим размером.

С. 588. ...так понимал... — В журнале: «понимал» выделено курсивом.

...комнатка... — В журнале: «комната».

С. 589. ...кто-либо... отказался... — В журнале «кто-либо отказывался».

Да ведь это какое-то приглашение на казнь. — В. Ходасевич назвал рассказ «послесловием» или, скорее, «предисловием» к роману Набокова «Приглашение на казнь» (Книги и люди: «Русские записки», книга 2-я // Возрождение. 8 августа 1936).

...будто добавил он... — В журнале: «будто бы добавил он».

Ю. Левинг

ЭССЕ. РЕЦЕНЗИИ

М. А. Алданов. Пещера. Впервые: Современные записки. 1936. Кн. LXI. С. 470–472. Печатается по этой публикации.

С. 593. Алданов (Ландау) Марк Александрович (1886–1957) — писатель. Эмигрировал в 1919 г. Автор тетралогии «Мыслитель» (1921–1927), в которую входят романы: «Девятое термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена, маленький остров», — посвященные осмыслению событий русской и европейской истории конца XVIII — начала XIX веков. В романах «Ключ» (1928–1929), «Истоки» (1950) и др. раскрывается предыстория революции в России. Проза Алданова тяготеет к традиции русской классической литературы, сочетает историческую достоверность с занимательностью сюжета. См. также прим. к с. 407.

[Памяти А. О. Фондаминской]. Впервые: сборник «Памяти Амалии Осиповны Фондаминской». Париж, 1937. С. 69–72. Печатается по этому изданию.

Сборник, изданный через два года после смерти от туберкулеза А. О. Фондаминской (? — 6.06.1935), состоит из очерков-воспоминаний, написанных близкими семье Фондаминских лицами: З. Гиппиус, Д. Мережковским, Ф. Степуном, М. Цетлиным, В. Набоковым, В. Зензиновым и сестрой милосердия А. Яшвиль. Поминальное слово на французском языке завершает все воспоминания. Книга была издана на средства друзей тиражом в несколько десятков экземпляров, она не предназначалась для продажи и сразу стала библиографической редкостью.

С. 596. Илья Исидорович Фондаминский (псевд. Бунаков, 17 февраля 1880 — 19 ноября 1942) — общественно-политический деятель, историк, публицист, издатель, член ЦК партии эсеров. В 1906 г. через Финляндию эмигрировал во Францию. В 1917 г. вместе с В. М. Черновым, Н. Д. Авксентьевым, Б. В. Савинковым и др. вернулся в Петроград. Комиссар Временного правительства Черноморского флота. Весной 1918 г. — в Москве член «Союза возрождения России». 5 апреля 1919 г. вместе с В. В. Рудневым, А. Н. Толстым, М. А. Алдановым эмигрировал через Константинополь в Марсель и Париж. В 1919—1920 гг. сотрудничал в журнале «Грядущая Россия». В 1920 г. — соредактор журнала «Современные записки», где опубликовал исторически-философское исследование «Пути России». В 1931—1939 гг. вместе с Ф. А. Степуном и Г. П. Федотовым издавал журнал «Новый град». Являлся членом Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции, участником литературного собрания «Зеленая лампа» (1927–1939) и литературного объединения «Круг» (1935—1939). В 1930 г. — один из организаторов «Лиги православной культуры». С 1935 г. — один из основателей (вместе с Н. Бердяевым и матерью Марией)

объединения «Православное дело». Во время оккупации Парижа 22 июня 1941 г. был арестован, в августе 1942 г. — отправлен в Германию. Погиб в Освенциме.

...с такой улыбкой... — В автографе, хранящемся в Архиве русской и восточноевропейской истории и культуры (Бахметевском) Колумбийского университета в Нью-Йорке, США (Bakmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Columbia University, New York, USA), в фонде В. М. Зензинова (Zenzinov Papers. Box 3), и в авторизованной машинописи, хранящейся там же: «с такою улыбкой».

...Rue Chernoviz... — В автографе и машинописи: «rue Chernowitz».

С. 597. ...перевод его «Переслегина»... — Роман Ф. А. Степуна (1884—1965) «Николай Переслегин» был опубликован в «Современных записках» (1923—1925. Кн. XIV, XV, XVII, XVIII, XX, XXI, XXII, XXV). Отдельной книгой вышел в 1927 г.

...Федор Августович... — В автографе и машинописи: «Ф. А.».

гафф — (от *фр.* gaffe) пошлый промах, оплошность.

...как выразился Баратынский... — Имеется в виду стихотворение Е. А. Баратынского «Своенравное прозванье...» (1834).

С. 598. «Отчаяние» — роман В. Набокова (впервые в «Современных записках», 1934, кн. XLIV, XLV, XLVI; отдельной книгой вышел в издательстве «Петрополис», Берлин, 1936; см. т. III наст. изд.).

...не знал... — В автографе и машинописи: «не зная».

...к этой... иллюминации. — В автографе и машинописи: «к такой... иллюминации».

С. 599. ...следы... — В автографе и машинописи: «следов».

В машинописи после последнего предложения имеются еще два абзаца:

«Неправда, что нет слов утешения! есть! Их только невыразимо трудно ввести в нашу ничтожную речь — но каждый их смутно знает, каждый — какую бы ни исповедовал веру — чует, что это не может кончиться ТАК; что последним словом жизни не может быть молчание смерти; что нелепостью непереносимой — даже для нашего самим собою заколдованного разума — было бы полагать, что единственная возможность вечности есть лишь вечное расставание. Нет. Слишком много начато, и обещано, и задумано земной жизнью, слишком богата она многозначительными мгновениями подъема и просвета, слишком пропитана какой-то дикой тоской по неслыханному, неизъяснимому, но, в сущности, естественному разрешению своему...

Не может же быть, что нет больше на свете этой милой души, этой обаятельной души. Я знаком с нею был недолго, но в этом малом времени как бы сгустились долгие годы дружбы».

Автограф подписан «В. Набоков», статья в сборнике — «В. Сирин».

Г. Глушанок

СОДЕРЖАНИЕ

Набоков В. В.

Н 14 Русский период. Собрание сочинений в 5 томах / Сост. Н. Артеменко-Толстой. Предисл. А. Долинина. Прим. О. Сконечной, А. Долинина, Ю. Левинга, Г. Глушанок. — СПб.: «Симпозиум», 2002. — 784 стр. (т. 4).

ISBN 5-89091-083-3 (т. 4)
ISBN 5-89091-051-5

Настоящий том собрания русскоязычных произведений Владимира Набокова (1899–1977) посвящен периоду 1935–1937 гг., когда были опубликованы его романы «Приглашение на казнь» (1935–1936; 1938) и «Дар» (1937–1938; 1952), а также рассказы, позже вошедшие в сборники «Соглядатай» и «Весна в Фиальте».

Во всех возможных случаях тексты сверены с первоизданиями, сопровождаются подробными примечаниями. В данном томе впервые проводится анализ трех авторских редакций текста эссе [Памяти А. О. Фондаминской] (1937): автографа, машинописи и окончательного печатного варианта.

Владимир Набоков
Русский период
Собрание сочинений в 5 томах
Том IV

Составление
Н. И. Артеменко-Толстой

Отв. редакторы *А. К. Кононов, М. В. Козикова*
Редактор *М. В. Козикова*
Художник *М. Г. Занько*
Технический редактор *Е. И. Каплунова*
Верстка *И. В. Петрова*
Корректор *Е. Д. Шнитникова*

Издательство «Симпозиум»
190000,Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 5
Тел./факс +7 (812) 314-46-13, 314-84-49
e-mail: symposium@online.ru
ЛР № 066158 от 02.11.98.

Подписано в печать 05.01.02. Формат издания 84×108/32.
Гарнитура Ньютон. Печать высокая. Усл. печ. л. 41,16.
Тираж 3000 экз. Заказ № 2793.

Отпечатано с фотоформ в ФГУП «Печатный двор»
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

ВЫШЕЛ В СВЕТ:

Брайан
БОЙД

Владимир Набоков — русские годы

Энциклопедическая биография. Том I

Впервые на русском языке выходит обстоятельнейшая, монументальная, единственная в своем роде энциклопедическая биография Владимира Набокова, написанная Брайаном Бойдом, профессором Оклендского и Принстонского университетов. Публикация монографий Бойда не только вывела из научного обращения аналогичные опыты его предшественников, но и «закрыла» вопрос о новой биографии Набокова. Фундаментальные труды профессора Бойда получили высочайшие оценки исследователей и поклонников творчества В. Набокова за подробность и лаконичную точность изложения, универсальный справочный аппарат и примечания, тщательно подобранный комплект фотоматериалов.

Издание подготовлено совместно с издательством «Независимая Газета».

Авторизованный перевод с английского.

Художник — А. Рыбаков
Формат $70 \times 100\,^{1}/_{16}$
Объем I тома — 704 стр. + вклейка

Готовится к изданию том II:

ВЛАДИМИР НАБОКОВ — АМЕРИКАНСКИЕ ГОДЫ

Объем ≈ 800 стр. + вклейка

**По коммерческим вопросам,
а также по вопросам оптовой торговли обращаться:**

в Санкт-Петербурге: тел. (812) 314-4613, 314-8449
в Москве: тел./факс (095) 207-5362
E-mail: symposium@online.ru

В розницу книги издательства «Symposium» реализует

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ КНИГИ»
(Невский пр., 28; тел. 318-6794)

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА
в ДК им. Н.К.Крупской**
(пр. Обуховской обороны, 105; 2-й этаж, места №№ 6, 83)

**Книги издательства «Symposium»
в МОСКВЕ реализуют:**

оптом и в розницу

«Б.С.Г.-ПРЕСС»
ул. Гиляровского, 1; тел. 207-5362;
E-mail: bsgpress@mtu-net.ru
книжный клуб в «Олимпийском», №№ 128, 173а, 295

в розницу:

ТОРГОВЫЙ ДОМ «БИБЛИО-ГЛОБУС»
(ул. Мясницкая, 6; тел. 928-3567)

«МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ»
(ул. Новый Арбат, 8; тел. 290-4507)

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «МОСКВА»
(ул. Тверская, 8; тел. 229-6483)